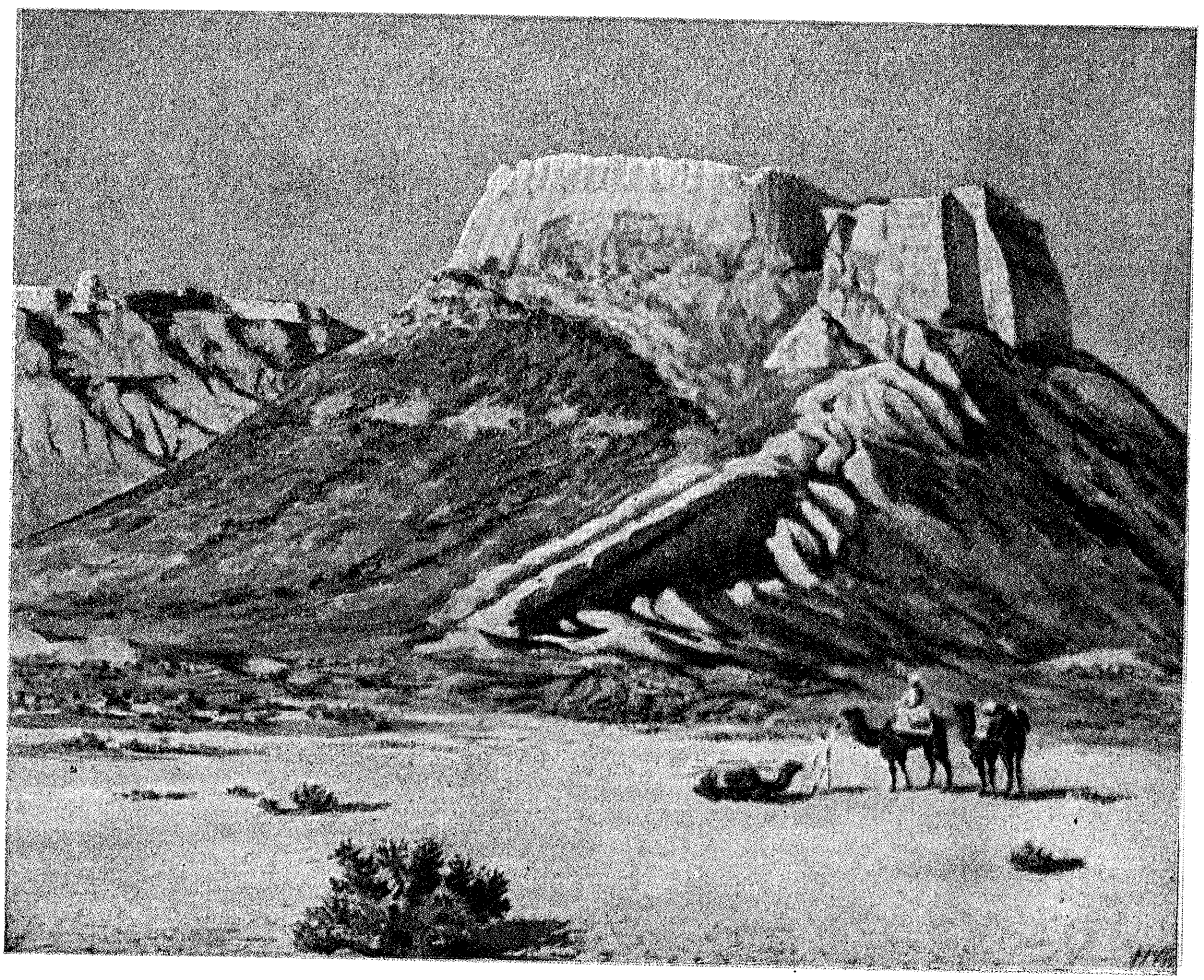
С. П. ТОЛСТОВ

ДРЕВНИЙ ХОРЕЗМ



Ляз-кала

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

С. П. ТОЛСТОВ

ДРЕВНИЙ ХОРЕЗМ

Опыт историко-археологического исследования

ИЗДАНИЕ МГУ
МОСКВА—1948

Обложка, фронтиспис, шмуцтитулы, концовки и цветные таблицы художника *Н. П. Толстова.*

Отв. редактор чл.-корр. АН СССР М. Н. Тихомиров. Техн. редактор А. Б. Гальперин.

Л 92001. Подписано к печати 24/I 1948 г. Зак. № 1100. М. Г. У. № 503—47.
Печ. л. $66^1/_2$ +8 вклеек $= 70^3/_4$ п. л. Уч.-ав. л. $60^1/_2$. Тираж 3000. Цена 40 рублей.

16-я типография треста «Полиграфкнига» ОГИЗа при Совете Министров СССР.
Москва, Трехпрудный пер., д. 9.

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Страница	Колонка	Строка*	Примечание	Напечатано	Надо
13	прав.	2 сн.	—	В Ахсызе	В Атсызе
19	лев.	9 сн.	—	Pauly-Wisowa	Pauly-Wissowa
20	лев.	—	2	geographie	Geographie
»	»	—	5	und	and
45	»	24 сн.	—	аральского	Аральского
60	прав.	—	1	Lymnara	Lymnaea
64	»	6 св.	—	в золе	в зоне
77	подзаголовок			(Древний) Хорезм	(Древний Хорезм).
97	прав.	2 св.		под	над
115	лев.	5 св.		25 м.	0,25 м.
139	лев.	—	3	Bere.	Berl.
160	лев.	4 св.	—	Каптар-ханы и Кават-Калы	Каптар-ханы Кават-калы
192	прав.	18 св.	—	9	ϑ
197	прав.	—	7	Churziter	Churriter
198	прав.	—	1,3	von le Cog	von Le Coq
211	лев.	2 св.	—	рим	Рим
215	лев.	—	3	Primeton univ.	Princeton Univ.
222	прав.	14 св.	—	r ‖.	r ‖ l.
223	прав.	—	1	Фамицын	Фаминцын
249	прав.	—	3	Deutcshen Morgenlandische	Deutschen Morgenländischen
253	лев.	—	2	Wb. Quirgass	Wl. Guirgass
255	лев.	—	2	J.R.a.S.	J.R.A.S
257	лев.	—	1	дипломатия	демократия
»	прав.	—	1	Sklavenkriegen	Sklavenkrieg
259	»	—	1	toqur	toquz
»	»	—	8	Zuschriften	Inschriften
261	прав.	—	1	Stänke wesen	Ständewesen
271	прав.	—	4	E. d. Sachau	Ed. Sachau
272	лев.	12 13 сн.	—	Ниша Бури	Нишабури
277	лев.	—	2	Rhiva	Khiva
»	прав.	—	3	Marquarv, Eranšal	Marquart, Eranšahr
300	лев.	12 сн.	—	не окаменевает	окаменевает
303	прав.	27 сн.	—	Чжань-цяня	Чжан-цяня
320	лев.	3 сн.	—	837	783
326	лев.	10 сн.	—	редкостью	резкостью
332	прав.	3 св.	—	983	883
»	»	13 сн.	—	Абу-Мухсина	Аху-Мухсина
346	прав.	17 св.	—	Revien	Review
348	лев.	6 св.	—	т. е.	т. к.
350	лев.	29 св.	—	silenee	silence
»	прав.	33 св.	—	Sranistki	Iranistik
351	лев.	25 св.	—	кушынов	кушанов

ПОПРАВКА

На вклейке между стр. 46 и 47 вместо—Топран-кала следует Топрак-кала
» —Мешик-кала » Тешик-кала

* Строка снизу указывается без учета примечаний.

Зак. 1100.

Ведь камня этих стен так много рук касалось,
Что оттиски легли на каждый уголок.
Привратником здесь был властитель Вавилона,—
О слушай, Туркестан,—трубит военный рог.

Балконы рухнули, отполыхали балки.
Здесь был когда-то пол, здесь—круглый потолок.
Не удивляйся! Там, где соловьи гремели,
Одна сова кричит плачевный свой упрек.

Афзаль-ад-Дин Хагани.

... громаду лет прорвет
И явится весомо, грубо, зримо,
Как в наши дни вошел водопровод,
Сработанный еще рабами Рима.

В. Маяковский.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Список принятых сокращений 6

От автора 7

Глава I—**Стена в пустыне**

I. Предистория Великого Хорезма . . . 13
II. «Земли древнего орошения» и Хорезмская экспедиция 1937—1940 гг. . . . 27

Глава II—**Рустаки Гавхорэ**

I. К истории вопроса 37
II. Памятники доирригационного периода 39
III. Динамика древней ирригационной сети 43
IV. Исторические предпосылки сокращений ирригационной сети Хорезма . . 48
V. К истории повторных освоений «земель древнего орошения» Хорезма 55

Глава III—**Башня Африга**

I. Время шалашей рыболовов 59
1. Хорезмийский неолит 59
2. Бронзовый век Хорезма 66
3. Ранне-железный век Хорезма . . 68
4. К вопросу о протохорезмийской письменности 71
II. Время тысячи городов 77
1. Городища с жилыми стенами . . 77
2. Городища кангюйского времени 84
3. Городища кушанского времени 102
4. Кушано-афригидские памятники 119
III. Время двенадцати тысяч замков . . 128
1. Мертвый оазис Беркут-кала . . 128
2. Тешик-кала 138
3. Вопросы социальной истории . . 150
IV. Время «Великих Хорезмшахов» . . . 154

Глава IV—**Хорезмийский всадник**

I. Монеты Сиявушидов-Афригидов . . 173
II. Древнехорезмийские терракоты . . 196
III. Конница Кангюя 211

Экскурс I—**Угроза Евтидема**

I. Греческая колонизация 231
II. Возникновение греко-бактрийского и парфянского царств 232
III. Евтидем из Магнезии и Антиох III 236
IV. Пушьямитра, яваны и наследники Маурья 237
V. Евкратид и Гелиокл 238
VI. Митридат I, массагеты-юечжи и падение греко-бактрийского царства 241

Экскурс II—**Тиранния Абруя**

I. Легенда об Абруе 248
II. Абруй и Або-каган 250
III. Кризис тюркского каганата в 80-х годах VI в. н. э. и восстание Або-кагана 256
IV. Социальная база движения Або-Абвруя в Нижней Согдиане 269
V. Эфталиты, Маздак и Абруй 276

Экскурс III—**Путь корибантов**

I. Кави и карапаны 282
1. Ферганский науруз 282
2. Агура-Мазда и Ангро-Майнью 286
3. Ажи-Дахака и Трэтаона . . . 292
4. Змей и конь 303
5. Кави и карапаны 307
6. Атеш-кеде 314
7. Кави, каяниды и цари-жрецы домусульманской Средней Азии 317
II. Скверна Муканны 320
1. Текст Нершахи 320
2. Массагетский обычай 321
3. Сукана и энареи 323
4. Yavanânîs 325
5. Маздак, Муканна, карматы . 331

Глава V—**Опыт исторического синтеза** 341

Addenda 346

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

АНСССР—Академия Наук СССР.
Бнд—Бундахишн. SBE V.
ВДИ—Вестник Древней Истории.
ГАИМК—Государственная Академия Истории Материальной Культуры (Ленинград).
ГИМ—Государственный Исторический Музей (Москва).
ЖМНП—Журнал Министерства Народного Просвещения.
ЗВО (ЗВОРАО)—Записки Восточного Отдела Русского Археологического Общества.
ЗИВ—Записки Института Востоковедения АНСССР.
ЗКВ—Записки Коллегии Востоковедов при Азиатском Музее АНСССР.
ЗС—Зад-Спарам SBEV.
ИАК—Известия Археологической Комиссии.
Иакинф. Собр. Свед.—Собрание сведений о народах, обитавших в Ср. Азии в древние времена, соч. монаха Иакинфа (Бичурина) I—III, Спб. 1851.
ИГАИМК—Известия ГАИМК.
ИЗ—Исторические Записки (изд. Института Истории АНСССР).
ИИМК—Институт Истории Материальной Культуры им. Н. Я. Марра АНСССР.
ИОИФ—Известия АН СССР, серия Истории и Философии.
ИОН—Известия Отделения Общественных Наук АНСССР.
ИРАИМК—Известия Российской Академии Истории Материальной Культуры.
ИТОИРГО—Известия Туркестанского Отдела Русского Географического Общества.
КСИИМК—Краткие Сообщения о докладах и полевых исследованиях ИИМК.
КСИЭ—Краткие Сообщения Института Этнографии АНСССР.
МАР—Материалы по Археологии России.
МАЭ—Музей Антропологии и Этнографии АНСССР.
МИИКК—Материалы и исследования по истории киргиз и Киргизии. Изд. Киргизского филиала АН СССР. Фрунзе.
МИТТ—Материалы по Истории туркмен и Туркмении. Изд. Ин-та Востоковедения АНСССР. Ленинград.
МИУТТ—Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Изд. АНСССР. Ленинград, 1933.
МЭ—Материалы по Этнографии (Изд. Русского Музея, Ленинград).
ПИДО—Проблемы Истории Докапиталистических Обществ (журнал, изд. ГАИМК, Ленинград).
ПТКЛА—Протоколы Туркестанского Кружка Любителей Археологии (Ташкент).
РАНИОН—Российская Ассоциация Научно-Исследовательских Институтов Общественных Наук.
СА—Советская Археология.
СВ—Советское Востоковедение.
Собр. Свед.—См. Иакинф. Собр. Свед.
СОНАТ—Социалистическая Наука и Техника (журнал, Ташкент).
СЭ—Советская Этнография.
ТАКЭ—Термезская Археологическая Комплексная Экспедиция.
ТВО (ТВОРАО)—Труды Восточного Отдела Русского Археологического Общества.
ТИГ—Труды Института Географии АНСССР.
ТИЭ—Труды Института Этнографии АНСССР.
ТОВЭ—Труды Отдела Востока Государственного Эрмитажа.
УЗМГУ—Ученые Записки Московского государственного Университета.
Штернберг П. Р.—Л. Я. Штернберг. Первобытная религия в свете этнографии. Л. 1936.
ЯС—Яфетический Сборник.
Bartholomae AIW—Chr. Bartholomae. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg. 1904.
BGA—Biblioteca Geographicorum Arabicorum. Ed. de Goeje.
Brown LHP—E. G. Brown. A Literary History of Persia. From the Earliest Times until Firdawsi. London and Leipzig. 1909.
BSOS—Bulletin of the School of Oriental Studies.
Chavannes, Doc.—Ed. Chavannes. Documents sur les Tou-Kiue (turcs) occidentaux. Спб. 1903.
Doc.—Chavannes, Doc.
ESA—Eurasia Septentrionalis Antiqua (Helsinki).
JRAS—Journal of the Royal Asiatic Society.
MAGW—Mitteilungen der Anthropologischen Gasellschaft in Wien.
MAR—The Mythology of all Races. ed. L. H. Dray and U. F. Moore.
NC—Numismatic Chronicle.
OLZ—Orientalische Literaturzeitung.
RW—Pauly-Wissowa, Realenzyclopaedie.
RN—Revue Numismatique.
SBE—Sacred Books of East. Ed. M. Müller.
SPA—Survey of Persian Art. Ed. A. U. Pope.
ZDMG—Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gessellschaft.
ZFN—Zeitschrift für Numismatik.

ОТ АВТОРА

Работая в 1931—1937 гг. над вопросами ранней истории Средней Азии и других стран Ближнего и Среднего Востока, автор настоящей работы вынужден был убедиться, что существовавшая в литературе трактовка социально-экономического строя домусульманского периода, как сложившегося феодального строя—не верна и в сущности ни на чем не основана. Напротив, письменные источники с несомненностью сигнализировали наличие многих черт, свойственных рабовладельческому строю. Автор в ряде своих работ попытался обосновать это положение (для арабов—в 1932 году, для кочевых народов Средней и Центральной Азии—в 1934 г., в общетеоретическом, сравнительно-этнографическом плане—в 1935 г., наконец, для оседлых народов Средней Азии—в 1935—1938 гг.)[1].

В этой работе огромную методологическую помощь автору оказали труды академика В. В. Струве, показавшего на обширном материале классического Востока несостоятельность феодальной концепции древневосточной истории.

Однако, отстаивая в целом ряде дискуссий[2] свою точку зрения, автор не мог не видеть слабых мест своей аргументации, являющихся неизбежным следствием скудости источников, их фрагментарности, допускающей большое разнообразие толкований. Для него стало ясно, что только поход за новыми, скрытыми в земле, историческими фактами, только широко поставленные и целеустремленные археологические работы могут поставить разработку дискуссионных проблем древней истории Средней Азии на прочную, не допускающую кривотолков, базу. До этого автор мог использовать лишь крайне фрагментарный, хотя и весьма интересный материал, большей частью происходящий из случайных сборов дореволюционных коллекционеров, из крайне несовершенных с методической стороны раскопок единственного домусульманского памятника (не считая Анау), изучавшегося до революции, — Афрасиаба[1] да еще очень немногих данных первых советских экспедиций, из которых особенно нужно отметить работы экспедиции Музея восточных культур под руководством Б. П. Денике в Термезе[2], работы М. В. Воеводского, М. П. Грязнова[3] и А. И. Тереножкина[4] по усуньским могильникам Семиречья, работы Термезской экспедиции М. Е. Массона, связанные с находкой в 1933 г. фрагмента скульптурного карниза начала н. э. в Айртаме близ Термеза[5] и раскопки экспедиции А. А. Фреймана на горе Муг на верхнем

[1] См. наши работы: «Очерки первоначального ислама». «Советская этнография», 1932 г., № 2. «Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах». Сб. «Проблемы генезиса и развития феодализма». Л. 1934. «Военная демократия и проблема генетической революции» ПИДО, 1935, № 7—8. «Основные вопросы древней истории Средней Азии», ВДИ, 1938, № 1. «Тиранния Абруя», ИЗ, 1938, III.

[2] Пленум ГАИМК в июне 1933 г., Среднеазиатский пленум ГАИМК, 1935 г. и др.

[1] В. Л. Вяткин. Афрасиаб—городище былого Самарканда. Самарканд—Ташкент, 1927.

[2] «Культура Востока». Вып. 1, М., 1927. Вып. 2, М., 1928.

[3] М. В. Воеводский и М. П. Грязнов. ВДИ, 1938, № 3—4.

[4] А. И. Тереножкин. ПИДО. 1935, № 5—6.

[5] М. Е. Массон. Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков н. э. Ташкент, 1933.

Зеравшане, обогатившие науку блестящим комплексом согдийских документов начала VIII в.[1] Лишь в процессе работ автор смог ознакомиться с прекрасными результатами работ Термезской экспедиции М. Е. Массона 1936—1938 гг

Объектом своих полевых исследований автор избрал Хорезм. Выбор этот был не случайным. Автор связан по работе с Хорезмом еще с 1929 г., когда он впервые приехал сюда в качестве участника историко-этнографической экспедиции РАНИОН в Куня-Ургенчский и Ходжейлинский районы. Эта экспедиция определила все направление последующей работы автора, в центре внимания которого, куда бы его ни отвлекали разнообразные привходящие задания, оставались история, этнография и археология этой своеобразной области Средней Азии, «Среднеазиатского Египта», одной из древнейших культурных областей нашей страны. Полевые исследования, начатые в 1929 г., были продолжены им как руководителем Среднеазиатской историко-этнографической экспедиции Музея народов СССР, выполняя план которой, в 1932 и 1934 гг. автор посетил Хивинский, Турткульский и Чимбайский районы. Все эти работы, приводя автора к заключению об исключительной роли Хорезма в системе историко-культурных связей Средней Азии и евразиатского Севера, также диктовали необходимость археологического углубления этих исследований. Так как на Хорезмской территории скрестились обе линии исследовательских интересов автора, это предопределило выбор именно Хорезма в качестве базы для развертывания широко поставленных археологических работ.

Настоящая работа представляет собой результат четырехлетних полевых исследований возглавляемой автором Хорезмской археологической экспедиции Московского отделения ИИМК Академии Наук СССР, целевые установки которой определились сформулированными выше положениями.

Эта книга отнюдь не является попыткой систематической публикации обильных и разнообразных материалов, добытых экспедицией за четыре года работы. Разработка этих материалов продолжается автором и его сотрудниками, и пройдет немало лет, пока они целиком смогут быть введены в научный оборот.

Однако сейчас уже пора подвести некоторые итоги проделанной работы, суммировать наиболее существенные из тех исторических и историко-культурных выводов, которые уже сейчас позволяет сделать материал. Это необходимо и для того, чтобы наиболее важные итоги наших работ стали достоянием широких кругов советских историков и сделали свое дело в разрешении упомянутых выше дискуссионных вопросов, и для того, чтобы мы сами могли более планомерно и целеустремленно продолжать разработку добытых материалов. Опытом такой итоговой работы, суммирующей выводы, на которые дает право наш материал по важнейшим линиям исследования (история ирригации, типов жилищ и поселений, фортификации, вооружения, нумизматики, нумизматической эпиграфики, изобразительного искусства), и является настоящая книга.

Надо отметить, что автор и возглавляемый им коллектив работников Хорезмской экспедиции были не одиноки в своей работе по выявлению новых документов по истории домусульманской Средней Азии. Почти одновременно широко развертывается работа в целом ряде других районов. Отметим большую Термезскую комплексную экспедицию М. Е. Массона (1936—1938 гг.)[1], продолжившую работы Термезской экспедиции Музея восточных культур 1926—1927 гг., многолетние труды Г. В. Григорьева по изучению приташкентских городищ, начатые еще в 1934 г.[2], и блестящие результаты исследования тем же автором античного городища Тали-Барзу близ Самарканда[3], экспедицию М. Е. Массона по трассе Большого Ферганского канала (1939 г.), давшую исключительно ценные материалы по культуре древней Давани[4], большую экспедицию А. Н. Берн-

[1] Согдийский сборник. Изд. АН СССР. Л. 1934.

[1] Термезская комплексная археологическая экспедиция 1936 г. Труды УзАФН, серия 1, в. 2, Ташкент, 1941.

[2] Г. В. Григорьев. Отчет об археологической разведке в Янгиюльском районе УзССР в 1934 г. Ташкент, 1935. Его же, Краткий отчет о работах Янгиюльской археологической экспедиции 1937 г. Ташкент, 1940. Его же, Каунчи-тепе. УзФАН, 1940.

[3] Его же. Тали-Барзу. ТОВЭ, I.

[4] М. Е. Массон. КСИИМК, V.

штама в Киргизию и Юго-Вост. Казахстан (1933—1946 гг.)[1], работы В. А. Шишкина на западной окраине Бухарского оазиса в 1937 г.[2], наконец, работы А. И. Тереножкина в Ак-тепе под Ташкентом[3] и на Ташкентском канале им. Молотова[4].

Эти работы дали нам возможность опереться на многообразный сравнительный материал и во многом подкрепить и уточнить наши выводы и заключения. Социально-экономические выводы, к которым приводит многих из этих авторов анализ их материала, во многом перекликаются с нашими, сформулированными еще в работах 1938—1941 гг. и развиваемыми ниже. Так, М. Е. Массон в заключении своей работы в Трудах ТАКЭ пишет:

«В свое время, когда археологические исследования Средней Азии находились в самом зачаточном состоянии, В. В. Бартольд, оперируя в силу этого по преимуществу письменными источниками, весьма ограниченными для времени до арабского завоевания, констатировал, что по ним он не видел существенной разницы в жизни Туркестана между IV веком до н. э. и VII веком н. э. А так как к моменту арабского завоевания в области Мавераннахра можно видеть ряд признаков феодальных отношений, то невольно создалась тенденция относить их в Средней Азии в глубь тысячелетий. С такого рода положением известные теперь археологические данные, почерпнутые из изучения памятников материальной культуры, отражающих в себе современные их созданию производственные отношения, находились бы, пожалуй, в вопиющем конфликте»[5].

И ниже автор, анализируя констатированный им по археологическим данным культурный кризис V—VI вв., задает вопрос: «Не приходится ли он на грани становления новой формации, когда процесс разложения базиса предшествующей формации, при соответствующем толчке извне, стал проходить с большой интенсивностью?»[1]

К еще более решительной формулировке приходит А. Н. Бернштам, определяя способ производства археологически исследованных им согдийских колоний Семиречья, как рабовладельческий[2].

То обстоятельство, что предлагаемая вниманию читателя книга эта базируется на новом, лишь частично и предварительно опубликованном материале, делает особенно трудным разрешение задачи ее построения. Стремясь дать последовательное изложение истории культуры Хорезма, как она предстает перед нами в свете наших памятников, автор одновременно должен был обосновывать свои хронологические определения, базирующиеся на комплексе признаков, относящихся к различным областям культуры, и только в целом делающие эти определения достаточно убедительными. Взаимное перекрещивание нумизматических, керамических, историко-архитектурных и других штудий крайне затрудняло последовательное тематическое и хронологическое расположение материала. Поэтому автор вынужден был, памятуя указание Маркса, отказаться от подчинения метода изложения методу исследования. Распределив материал по тематически-хронологическому принципу, он для облегчения ориентации дал в начале краткую хронологическую классификацию памятников, вводящую читателя в принятую автором систематику и терминологию. Развернутое обоснование каждого из определений этой классификации читатель найдет в соответствующих разделах последующих глав.

Вместе с тем, ряд выводов, делаемых автором, не может быть обоснован на одном хорезмийском материале. Это относится, прежде всего, ко многим фактам социально-экономического

---

[1] А. Н. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. МИИКК IV, Фрунзе, 1941, а также его же Памятники старины Таласской долины. Алма-Ата, 1941, и отчеты в ВДИ, 1939, № 4, 1940, № 2, КСИИМК № 1 и № 2.

[2] В. А. Шишкин. Археологические работы 1937 г. в западной части Бухарского оазиса. Изд. УзФАН. Ташкент, 1940.

[3] А. И. Тереножкин. Раскопки холма Ак-тепе близ Ташкента. Изв. УзФАН, 1941, № 3.

[4] Его же. Памятники материальной культуры на Ташкентском канале. Изв. УзФАН, 1940, № 9.

[5] М. Е. Массон. Городища Старого Термеза и их изучение. Труды УзФАН. Серия 1, вып. 2, стр. 102.

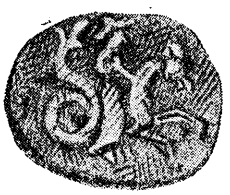
[1] Там же, стр. 103. В статье «Термезская археологическая комплексная экспедиция» в КСИИМК, VIII, 1940, стр. 114. М. Е. Массон прямо говорит о «периоде рабовладельческой формации».

[2] Цит. соч., стр. 57.

строя и социальных движений древнего Хорезма, сигнализируемых археологическими данными, но осмысляемых только в свете всего среднеазиатского документального материала, которым мы располагаем. Поэтому, чтобы не загружать основной текст посторонним Хорезму материалом, мы сочли наиболее целесообразным включить в состав нашей книги в качестве особых экскурсов очерк, посвященный анализу политических событий в Средней Азии во II—I вв. до н. э., позволяющий выяснить роль Кангхи—Хорезма в эту эпоху, и нашу работу 1938 г. «Тиранния Абруя» (в несколько переработанном виде), которая пополняет наш археологический материал данными всех известных нам письменных источников по смежным районам Средней Азии, прежде всего по Согду, и обосновывает таким образом с новой стороны наши заключительные выводы, и, наконец, небольшое исследование проблемы пережитков традиций первобытной общины в Средней Азии античной и средневековых эпох, базирующееся на привлечении к освещению археологических данных и древних текстов широкого сравнительно-этнографического материала.

При написании основного текста книги автор также использовал в ряде мест текст своих ранее опубликованных статей в ВДИ 1938 г. № 4, ВДИ 1939 г. № 2 и 3, ВДИ 1941 г. № 1, подвергнув его, однако, коренной переработке и дополнению. Заново написаны I и II главы, первый и четвертый разделы III главы, второй и третий разделы IV и вся V глава, экскурсы I и III.

В заключение автор считает своим приятным долгом выразить глубокую благодарность прежде всего дружному коллективу своих сотрудников по экспедиции, без самоотверженной работы которых было бы невозможно создание этой книги, прежде всего археологам Я. Г. Гулямову и А. И. Тереножкину и художнику Н. П. Толстову, лаборанту ИИМК В. В. Штылько, оказавшей нам исключительно большую помощь в организации камеральной работы над коллекциями, а также всем тем, кто в процессе восьмилетней работы над материалом оказал ему помощь указаниями, советами и критикой—академику В. В. Струве, академику И. А. Орбели, членам-корреспондентам Академии Наук СССР А. А. Фрейману, С. Е. Малову, К. В. Тревер, А. Ю. Якубовскому, профессорам М. Е. Массону, В. Д. Блаватскому, покойным А. Н. Зографу и Б. П. Денике и многим другим.



ГЛАВА I

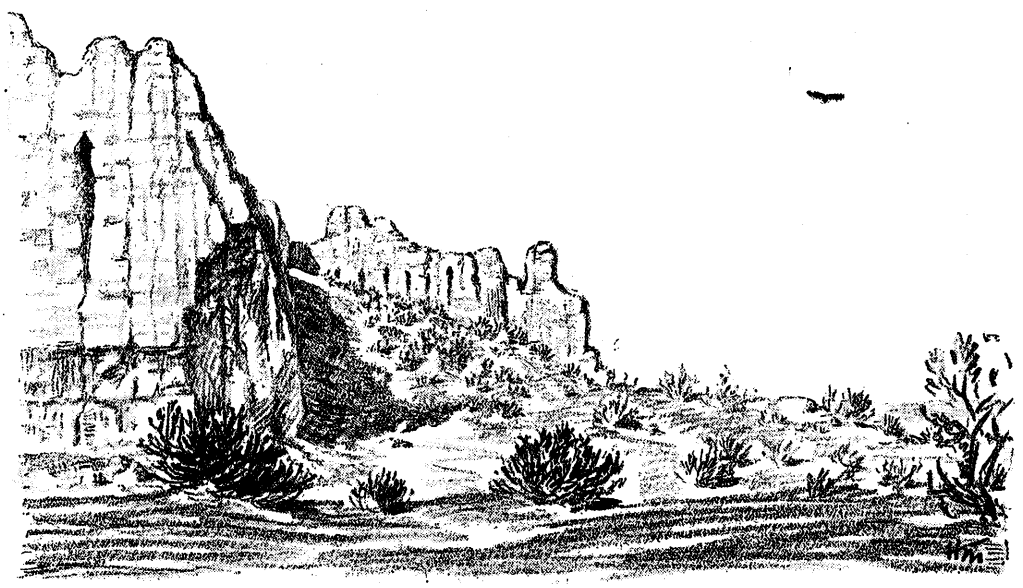
СТЕНА В ПУСТЫНЕ

«КАС—на языке жителей Хорезма—это стена в пустыне, ничем не окруженная».

Якут. IV. 222.

«И люди построили на берегах ее более трехсот городов и селений, от которых сохранились развалины до сих пор».

ал-Бируни.



Джанбас-кала

1. ПРЕДИСТОРИЯ ВЕЛИКОГО ХОРЕЗМА

В великолепном памятнике средневековой грузинской литературы «Вепхис ткаосани» Руставели автор говорит устами родителей своей героини—царя и царицы Индии:

«Царь сказал—«Хорезм шах правит
Хоремийскою страной.
Если он отдаст нам сына—кто сравнится с ним другой».
И царица подтвердила: «Хорезмиец славный нам
Сына даст в зятья, который не подстать ничьим сынам».
(Перевод Петренко)

Эти слова навеяны образами современного Грузии Тамары Великого Хорезма, грандиозной империи XII—XIII вв., простиравшейся от Ферганы до границ Грузии и от Инда до Казахстанских степей.

Эта империя, рухнувшая под ударами монгольских полчищ, приняв на себя их первый натиск в их разрушительном движении на запад, разделив таким образом с Русью великую заслугу спасения западноевропейской цивилизации, накануне своего крушения была могущественнейшим из государств Среднего и Ближнего Востока.

Посетивший Хорезм накануне катастрофы знаменитый арабский географ и путешественник Якут оставил нам полные восхищения страницы, посвященные ядру государства, цветущей Хорезмийской земле, ее богатым городам, ее мирным селениям, процветавшим под эгидой могучей власти централизованной монархии Хорезмшахов.

«Не думаю,—пишет он,—чтобы в мире был город, подобный главному городу Хорезма по обилию богатства и величине столицы, большому количеству населения и близости к добру и исполнению религиозных предписаний и веры»[1].

«Не думаю,—пишет он в другом месте,—чтобы в мире были где-нибудь обширные земли шире Хорезмских и более населенные, притом, что жители приучены к трудной жизни и довольству немногим. Большинство селений Хорезма—города, имеющие рынки, жизненные блага и лавки. Как редкость бывают селения, в которых нет рынка. Все это при общей безопасности и полной безмятежности»[1].

А Якут, объехавший многие страны мусульманского мира, безусловно располагал достаточным материалом для сравнения.

Возвышение империи Хорезмшахов, намечающееся уже в XI веке, охватывающее XII и достигающее апогея к началу XIII,—не похоже на историю образования предшествующих, а частью и последующих феодальных восточных империй.

Это не результат молниеносного движения полчищ конных варваров-кочевников, как арабский халифат, государства сельджуков и караханидов; это не результат военного переворота, переносящего политический центр ослабевшей империи в новое место, как было дело с государствами саманидов и газневидов.

Это итог длительного, медленного процесса «собирания земель» вокруг определенного центра экономического и политического тяготения, сопровождающегося умелым лавированием между могущественными завоевательными империями—сельджуками и каракитаями, использованием их сильных и слабых сторон в интересах растущей власти правителей поднимающейся новой феодальной монархии. Этот процесс, оборванный монгольской катастрофой, гораздо ближе напоминает процесс формирования монархий зрелого европейского феодализма, французского королевства Валуа, английской монархии, Московской Руси, чем процесс возникновения перечисленных выше азиатских ранне-средневековых империй.

В Ахсызе, Текеше, Мухаммеде мы найдем, по существу, гораздо больше общего Людови-

[1] Якут, изд. Wüstenfeld, II, 486, МИТТ 1, стр. 421.

[1] Якут, II, 481, МИТТ 1, 449.

ком XI или с Иваном Калитой, чем с Махмудом Газнийским или внуками Сельджука.

Исторические предпосылки гегемонии Хорезма в рамках ближайшей эпохи вряд ли могут возбудить сомнения.

Хорезм выступает перед нами в X—XII веках как естественный центр тяготения кочевых племен Средней Азии, как форпост переднеазиатской мусульманской цивилизации в гузской и кыпчакской степи. Города Хорезма ведут широкие торговые операции со степью.

«Кас (Кят)—главный город Хорезма, ворота в Туркестан Гузский, складочное место товаров тюрок, Туркестана, Мавераннахра и области хазаров, место стечения купцов»,—пишет анонимный автор персидской географии X века «Книги границ мира»[1].

«Джурджания (Ургенч)—это самый большой город в Хорезме после столицы; он место торговли с гузами и оттуда отправляются караваны в Джурджан, к хазарам и в Хорасан»,—пишет ал-Истахри[2].

Хорезмийские купцы связаны с кочевниками тесными узами, обеспечивающими безопасность торговли. Так, по ибн-Фадлану:

«И не может ни один из мусульман проехать в их страну, пока не назначат ему из их среды друга, у которого он останавливается и привозит ему из страны ислама одежды, а для жены его покрывало, немного перца, проса, изюма и орехов... Таков же и тюркский обычай: если он въезжает в ал-Джурджанию (Ургенч) и спрашивает о своем госте, то останавливается у него, пока не уедет (обратно)»[3].

Мангышлак и Нижняя Сыр-дарья, связанные тесными экономическими связями с Хорезмом, первыми входят и в сферу политической его гегемонии.

Однако этим дело не исчерпывается. Хорезм X—XII столетий выступает перед нами как важнейший центр экономических связей между странами халифата, с одной стороны, и обширными пространствами Восточной Европы и Западной Сибири—с другой. Города Хорезма, особенно Ургенч, быстро оттесняющий на второй план дофеодальную столицу Кят,—это крупнейшие перевалочные пункты торговли Востока и Севера.

Ярким документом этих связей является приводимый ал-Макдиси перечень поступающих в страны халифата из Хорезма товаров.

«Из Хорезма—соболя, серые белки, горностаи, степные лисицы, куницы, лисицы, бобры, крашеные зайцы, козы, воск, стрелы, белая кора тополя, колпаки, рыбий клей и рыбьи зубы, бобровая струя, амбра, «кимухт» (сорт кожи), мед, лесные орехи, соколы, мечи, кольчуги, береза, рабы из славян, бараны и коровы,—все это от булгар[1]. И в нем производится виноград, много изюма, печенье, кунжут, полосатые одежды, ковры, одеяла, прекрасная парча, покрывала «мульхам», замки, цветные одежды, луки, которые могут натянуть только самые сильные люди, особый сыр, сыворотка, рыба. Суда там строятся и отделываются»[2].

Помимо того, что это самая богатая из всех приводимых Макдиси номенклатур предметов экспорта различных областей Средней Азии—половина списка падает на товары, реэкспортируемые из Восточной Европы и Казахстанских степей. Это подтверждает и ал-Истахри[3].

«В стране их (жителей Хорезма) нет золотых и серебряных рудников и никаких драгоценных камней, большая часть богатств их—от торговли с тюрками и разведения скота. К ним попадает большая часть рабов славян, хазар и соседних с ними, равно как и рабов тюркских и большая часть мехов степных лисиц, соболей, лисиц, бобров и других».

Арабские авторы отмечают многочисленные хорезмийские колонии в городах Хорасана и на севере—в землях хазар и булгар.

Так, ал-Истахри говорил:

«Они (хорезмийцы) более всех жителей Хорасана рассеяны по чужим местам и более всех путешествуют: в Хорасане нет большого города, в котором не было бы большого количества жителей Хорезма»[4].

Характерно, что особое стремление хорезмийцев к дальним торговым экспедициям подчеркивается и более ранними источниками. В истории династии Тан мы читаем такую характеристику хорезмийцев эпохи арабского завоевания: «Среди всех западных варваров это единственный народ, который запрягает быков в повозки; купцы ездят на них в отдаленные страны»[5].

По данным ибн-Фадлана, в X в. значительная колония хорезмийцев была в Булгаре[6]. Почти целиком из хорезмийцев состояла в том же X в. большая мусульманская колония в Итиле—столице Хазарии, где, как известно, из мусульман-хорезмийцев комплектовался десятитысячный гвардейский корпус кагана Хазарии, так называемые ал-Арсия[7].

---

[1] Худуд ал-Алем, 256, МИТТ 1, 26.
[2] BGA 1, 299. МИТТ 1, 178.
[3] Путешествие ибн-Фадлана на Волгу. Л., 1939, 200 б.

[1] Разрядка наша. *С. Т.*
[2] BGA II, стр. 325. МИТТ 1, 202.
[3] BGA 1, 305. МИТТ 1, 180. Ср. Бартольд, Туркестан, 245 сл.
[4] Там же. Разрядка наша. *С. Т.*
[5] Тан-Шу CCXXI в. Ср. Chavannes, Documents, стр. 145.
[6] Путешествие ибн-Фадлана на Волгу. Перев. под ред. акад. И. Ю. Крачковского. М.—Л., 1939, стр. 77.
[7] Maçoudi, II, 10 сл.

Экономические связи Хорезма с Восточной Европой нашли свое отражение и в древнерусском языке. Так, не подлежит сомнению, что старорусское название Каспийского моря «Хвалынское—Хвалисское море» отражает в себе имя хорезмийцев (с характерным для хорезмийского консонантизма переходом l||r—хвалисс∾хвариз+м), являвшихся, видимо, и тогда, через пристани Мангышлака, хозяевами судоходства в северной части Каспия.

Посредствующим звеном в передаче этого имени могли быть и кочевники Арало-Каспийских степей. Во всяком случае, у печенегов «ал-Ховалис», название хорезмийцев, принесенное печенегами с их Приаральской родины, становится уже к X веку нарицательным именем для мусульман вообще.

«Они (печенеги) теперь называют тех (мусульман), которые к ним попадают—будут ли они из полоненных владетелем Константинополя или из других—ал-Ховалис»[1].

О роли Ургенча эпохи Великих Хорезмшахов, как центра экономического тяготения различных восточноевропейских областей Поволжья (хазары), Северного Кавказа (аланы) и Руси, ярко свидетельствует показание Плано Карпини, сообщающего в своем описании разрушения Ургенча монголами ряд весьма интересных данных по этому вопросу:

«Пошли они (монголы) также против города, который именуется Орнас (Ургенч.—*С. Т.*). Этот город был очень многолюдный, ибо там было очень много христиан, именно хазар (gazari), русских, аланов и других, а также саррацинов (мусульман.—*С. Т.*), саррацинам же принадлежала и власть над городом. А этот город был полон многими богатствами, ибо был расположен на некоей реке, которая течет через Янкинт (ошибка Плано Карпини, путающего Аму-дарью с Сыр-дарьей.—*С. Т.*) и страну Бисерминов и которая впадает в море, отсюда этот город служит как бы гаванью, и другие саррацины имели в нем огромный рынок. И так как они не могли одолеть его иначе, то перекопали реку, которая текла через город, и потопили его с имуществом и людьми»[2].

Хорезмийская экспансия на север не ограничивается экономическими связями. В X веке Хорезм выступает в качестве активной политической силы по отношению к народам Поволжья. К X веку относится свидетельство ибн-Хаукаля о походах хорезмийцев на границы Булгарского царства, откуда они возвращаются с добычей и рабами[3].

[1] Известия ал-Бекри, изд. Куника и Розена, текст 43, перев. 60.

[2] Плано Карпини V, § III, 4, перев. Малеина, 24.

[3] BGA II, 281, 9 сл. Ср. также Гаркави «Сказания мусульманских писателей о славянах и русских», Спб, 1870, стр. 219.

Особенно значительной была роль хорезмийцев (как мы видели, хорезмийские наемники составляли основную военную силу поздней Хазарии) в политической борьбе на юго-востоке Европы в годы падения Хазарского каганата. По свидетельству ибн-ал-Асира, хазарское правительство пытается в своей борьбе с руссами и кочевыми тюркскими племенами опереться на военную мощь Хорезма, признав его политический суверенитет над Хазарией. По свидетельству ал-Макдиси[1], ургенчский эмир Мамун (конец X в.) предпринял поход на Хазарию, подчинив и исламизировав ее. Остатки разгромленных руссами хазар, по свидетельству ибн-Хаукаля, отступают на п-ов Мангышлак («о. Сиях-кух») под покровительство своих хорезмийских союзников. Отуркменившиеся остатки хазар продолжают (по Абуль-Гази) жить в XVII в. на северо-западе Хорезма, в Адаке, под именем адаклы-хызыр и доживают и до наших дней в виде туркменского племени хызыр-эли.

Марвази[2] и Ауфи[3] сохранили в высшей степени интересное свидетельство о деятельности хорезмийских миссионеров при дворе Владимира, проливающее новый свет на летописное сказание о «пытании о вере» и вообще на религиозную политику Владимира, предшествующую окончательному утверждению христианства на Руси. Эти тексты, исследованные В. В. Бартольдом[4], В. Ф. Минорским и Б. Н. Заходером[5], представляют еще широкое поле для дальнейшего исследования, но бесспорно одно: хорезмийско-русские связи в X веке были гораздо непосредственнее и глубже, чем до сих пор обычно предполагается[6].

Одновременно с политической экспансией на северо-запад, правители Хорезма развивают активную политику и на юг, в Хорасан, где, как мы видели, торговые колонии жителей Хорезма были столь же обильны. Под эгидой бессильных поздних саманидских эмиров, номинальных, как и аббасидские халифы, сюзеренов Хорезма

[1] «Я слышал, что ал-Мамун нашествовал на них (хазар) из Джурджании (Ургенча), победил их и обратил их к исламу. Затем слышал я, что племя из Рума, которое зовется Рус, нашествовало на них и овладело их страною». Цит. по Гаркави, стр. 282.

[2] Sharaf az-Zaman Tahir Marvazī on China, the Turks and India, by W. Minorsky, London, 1942, стр. 36 (transl), 23 (texte), 118 (comm).

[3] ЗВО IX, 1896, стр. 262 сл.

[4] СВ 1940, 1, стр. 39.

[5] Известия Всес. Геогр. Общества, 1943, № 6.

[6] Весьма вероятно, что под «салтанами за землями», упоминаемыми в «Слове о Полку Игореве» (в обращении к Галицкому Ярославу Осмомыслу: «Стреляеши с отня злата стола салтани за землями. Стреляй, господине, Кончака, поганого кощея, за землю Рускую, за раны Игоревы, буего Святославлича»), нужно разуметь хорезмшахов, носивших, как известно, титул султанов и в XII веке выступавших на мусульманском Востоке в качестве султанов par excellence.

и ургенческий эмир Мамун и кятский хорезмшах абу-Абдаллах пытаются закрепить за собой ряд уделов в Хорасане. Мамун получает от саманида Нуха б. Мансура Неса, а абу-Абдаллах—Абиверд[1]—города, замыкающие с юга транскаракумский путь, связывавший Западный Хорасан с Хорезмом, а через него с Казахстанскими степями и Восточной Европой.

Мы видим таким образом, что имеющиеся у нас сведения по экономической географии и политической истории X—XI столетий делают понятной ту роль, которую Хорезму было суждено сыграть в XII—XIII веках. Но в свою очередь факты X—XI вв. требуют углубления их исторической перспективы, заставляют предполагать, что положение Хорезма, как форпоста восточной цивилизации в Евразийских степях, как связующего звена славяно-хазаро-булгарского, тюркского кочевого и переднеазиатского культурных миров было предопределено длительной предисторией, в ходе которой Хорезм завоевал свое историческое место.

В пользу того, что Хорезм и в домусульманский период играл исключительно крупную политическую роль, говорит один любопытный факт, на который до сих пор мало обращали внимания. Я имею в виду отмеченное уже В. В. Бартольдом[2] свидетельство Табари[3] о том, что цари среднеазиатских областей в эпоху арабского завоевания ежегодно собирались для решения общих дел «в один из городов близ Хорезма», который Якуби[4] называет Кандакин (Kndākīn).

Из контекста ясно, что под Хорезмом здесь нужно разуметь не страну, а город (Кят) и что, следовательно, собрание среднеазиатских царей происходило в пределах Хорезма, в одном из городов Правобережья.

Локализация в Хорезме, отдаленном северо-западном углу Средней Азии этого своеобразного центра конфедерации среднеазиатских царств, объяснима лишь при условии принятия гипотезы о том, что этот факт связан с политической традицией, отводившей Хорезму руководящее место в концерте среднеазиатских городских царств и их локальных федераций.

В пользу этого говорит и то, что, по свидетельству Нершахи, в VIII веке монета хорезмийского чекана господствовала в бухарском денежном обращении[5].

К экономическим и политическим фактам надо прибавить и факты культурные—то выдающееся положение, которое хорезмийская наука, особенно математика, геодезия, астрономия, география, сразу занимает в научном движении мусульманского мира IX—XI вв. Гигантские фигуры Мухаммеда ибн-Муса ал-Хорезми, имя которого до сих пор живет в известном математическом термине алгорифм и трудам которого мы обязаны тому синтезу индийской алгебры и античной геометрии, которая легла в основу развития средневековой арабской и современной европейской математической науки, и особенно ал-Бируни, этого великого энциклопедиста раннего Средневековья, понятны лишь при условии принятия тезиса о длительной предистории средневековой хорезмийской науки, о высокой культуре древнего, домусульманского Хорезма, где скрещивались те влияния местной, иранской, античной и индийской культур, которые так ярко проявились в трудах этих великих ученых-хорезмийцев.

И действительно, из трудов того же ал-Бируни и ал-Табари мы узнаем, что домусульманский Хорезм обладал своей большой литературой, в частности, исторической, лишь обрывки которой донесены до нас в средневековых памятниках, прежде всего у того же Бируни.

Интереснейшие отрывки из «Истории Хорезма» ал-Бируни, основанной, несомненно, на древних местных источниках, мы находим в труде того же автора по истории летоисчислений древних народов Востока и в неопубликованном пока трактате по топографии[1].

Сведения о Хорезме в древних источниках скудны, но во многом весьма показательны. В древних источниках мы почти не имеем непосредственных сведений по доахеменидской истории Хорезма. Лишь тщательная критика древнеиранских текстов позволила Маркварту, а за ним ряду других исследователей нащупать контуры этой предистории Хорезма.

Авеста упоминает имя Хорезма (Хвайризем) лишь один раз—в Михр Яшт 14, где описывается: «Страна, где управляют и предводительствуют многочисленными войсками мужественные вожди, где высокие горы, изобилующие пастбищами и водами, производят все необходимое для скотоводства, где глубокие озера с обширными водами, где судоходные реки с широкими руслами стремят свои бурные волны к Иската и Поурута, к Моуру, Харева, Гау, Сугда, Хвайризем».

Если таким образом в Авесте о Хорезме почти не упоминается, то в позднейшей зороастрийской традиции, в пехлевийских текстах и восходящих к ним арабских источниках Хорезму уделено весьма крупное место в религиозной географии первоначального зороастризма.

---

[1] В. В. Бартольд. Туркестан II, 274.
[2] Там же, стр. 186.
[3] Tabari II, 394.
[4] BGA VII, 299.
[5] Нершахи. История Бухары. Ташкент, 1897, Лерх. Монеты бухар-худатов, ТВО XVIII, 58.

---

[1] ВДИ, 1941, № 1, стр. 192—196.

Особый интерес представляет свидетельство Бундахишна[1], риваятов[2], ибн-ал-Факиха[3] и др. источников о первом и наиболее чтимом из трех священных огней маздеизма, огне Фробак, Хурдад или Адархурра, покровителе касты жрецов, который был помещен Йимой-Джемшидом в Хорезме (второй огонь—покровитель воинов в Азербайджане, третий—покровитель земледельцев—в Хорасане). Хорезм оказывается, таким образом, местом, где локализуется древнейшая и наиболее чтимая святыня зороастризма.

Это противоречие не могло не обратить внимания исследователей и, как ниже мы увидим, послужило основанием для весьма существенных исторических выводов.

Вопрос о взаимоотношениях Хорезма (как и других областей Средней Азии) с древневосточными монархиями доахеменидского времени остается совершенно темным, если не считать того, что Ктесий (Диодор II) в числе якобы подчиненных Нину Ассирийскому народов упоминает «хорамнийцев» Χοραμνιοι, у Ст. Византийского Χωραμνιοι [после гирканцев, дрангов, дербиков и карманийцев и перед борканиями (париканы) и парфянами], в которых мы весьма вероятно можем видеть искаженное имя хорезмийцев[4].

Первые, относительно обильные литературные сведения о Хорезме связаны уже с ахеменидским периодом его истории. Хорезм во второй половине VI века входит в состав державы Ахеменидов и с тех пор его имя мы неизменно видим в царских надписях Дария, рядом с именами других Среднеазиатских областей. (Например, в Бегист. I, 6. Хорезм стоит между Драгианой и Арией с одной стороны, Бактрией и Согдианой с другой.) В составе подданных ахеменидской империи именует хорезмийцев и Геродот. Уже Гекатей (Fragmenta № 173) рассказывает о городе Χορασμίη и области, обитаемой народом хорасмиев, локализуемой этим автором к востоку от Парфии. По Гекатею страна хорасмиев состояла из равнин и гор. Эти данные явились впоследствии базой для утверждения В. В. Тарна о локализации древнейшего Хорезма где-то в бассейне Герируда. Однако, как мы покажем ниже, гористый ландшафт окраин древнего Хорезма позволяет не искать для Гекатеевской страны хорасмиев новой локализации, а указание на его восточное положение по отношению к Парфии может быть отнесено за счет обычной для этого времени географической неточности, если здесь мы не имеем указания на зону политической гегемонии доахеменидского Хорезма—тема, к которой нам придется ниже не раз вернуться.

По данным Геродота (III, 89), Хорезм входил в XVI сатрапию, вместе с парфянами, согдами и ареями и уплачивал 300 талантов дани Дарию. Сочетание имен народов, входивших в XVI сатрапию, не безынтересно, к нему мы также вернемся ниже, в связи с гипотезой Маркварта о доахеменидском хорезмийском царстве.

Хорасмии принимали участие в походе Ксеркса на Грецию (VII, 21), причем входили в одно соединение с парфянами, под командованием Артабаза, сына Фарнаха (VII, 66).

Хорезмийцев мы застаем в V веке на службе ахеменидов. Они занимают различные должности в западных провинциях ахеменидского царства. В частности, по данным папирусов еврейской военной колонии в Элефантине, в состав ее гарнизона входили и хорезмийцы. В одном из элефантинских документов конца V в. упоминается имя хорезмийца Даргмана[1].

Однако в IV веке Хорезм выступает уже в качестве независимого государства[2]. Хорезмийцы отсутствуют в составе войск Дария III во время его трагической борьбы с Александром. По данным Арриана[3], подтверждаемым, с некоторыми отклонениями в деталях, и Курцием[4], хорезмийский царь Фарасман с 1500 всадников посетил Александра во время его зимовки в Бактрах (329—328 г.), предлагая ему союз против колхов и амазонок. Этот текст давно уже привлек внимание исследователей. Гутшмид[5], а за ним Бартольд[6] констатируют характерную параллель между этими данными и последующей судьбой Хорезма, в Средние века тесно связанного с Юго-восточной Европой и входившего в состав Золотоордынского государства джучидов.

Как мы увидим ниже, это сопоставление имеет под собой значительно большую почву, чем могли предполагать оба цитированные автора, и связь Хорезма с Восточной Европой не только оказывается в античное время более значительной, чем они думали, но и уходит своими корнями еще в далекую неолитическую эпоху. В данном случае подчеркнем лишь то, что в словах Фарасмана мы можем видеть указание на возможную политическую гегемонию Хорезма эпохи Александра над северо-каспийскими степями, ибо иначе трудно интерпретировать слова о соседд-

[1] E. West. Pahlavi texts I (Bnd. XVII), Sacred books of the East V, Oxford, 1880, 61—65.
[2] Иностранцев, цит. соч., 298.
[3] BGA V, 324. Иностранцев, цит. соч., 297.
[4] Ср. F. König. Der Falsche Bardija. Klotho 4, Wien, 1938, стр. 133.

[1] Ed. Meyer. Der Papyrusfund von Elefantine. Leipzig, 1912, стр. 28.
[2] В. В. Бартольд. Восточно-иранский вопрос. ИРАИМК II, 1922, стр. 365.
[3] IV, 15, 4.
[4] VIII, 1, 8.
[5] A. Gutschmid. Geschichte Irans. Tübingen, 1888, стр. 10.
[6] Бартольд. Сведения об Аральском море. Ташкент, 1902, стр. 2.

стве Хорезма с Колхидой и областью амазонок, обычно локализуемой в районе Меотиды. Это древнее политическое объединение является, вероятно, ареной, где в I тысячелетии до н. э. шли те глоттогонические процессы, которые в конечном счете привели к формированию осетино-хорезмийской языковой общности (см. ниже). Любопытно в этой связи отметить, что впоследствии имя Фарасман—весьма возможно* Xʷarazman—становится одним из излюбленных имен иберийских царей римского времени, начиная с Фарасмана I Доблестного (35—74 гг. н. э.).

Мы мало знаем о Хорезме в последующий период. Весьма любопытным является указание Страбона о бегстве к хорасмиям согдийского народного вождя Спитамена, причем здесь же указывается на вхождение хоразмиев в состав массагетских народов (XI, 8,8).

Китайские источники для II в. до н.э. упоминают Юегянь (奥 鍵), идентифицируемый всеми исследователями с Ургенчем, в составе пяти зависимых от правителей Кангюйского царства владений. Никаких сведений, характеризующих юегяньские владения, в Ши-цзи и Цянь-Хань-шу мы не находим.

Вопроса о самом Кангюйском царстве и месте Хорезма в его системе мы коснемся ниже.

Очень сжатую характеристику Хорезма, относящуюся к VIII веку, т. е. к тому времени, когда данные по истории Хорезма появляются уже и в арабских источниках, мы находим только в хронике династии Тан.

Период истории Хорезма между I и VIII вв. н. э. мы можем лишь реконструировать, исходя из данных Бируни и других ранне-средневековых арабских писателей и отрывочных свидетельств сасанидских и византийских памятников, материал которых, весьма скудный сам по себе, получает, однако, большое значение в свете археологических источников.

Очень неясными остаются отношения Хорезма с сасанидским государством. Отрывочные свидетельства апокрифического «Письма Тансара» и надписи шахиншаха Нарсе (293—300) в Пайкули[1] позволяют, как будто, предполагать наличие какой-то степени политической зависимости Хорезма от сасанидов в первый период их истории, когда они делают активные попытки овладеть среднеазиатским наследством кушанов. Однако, если такая зависимость и имела место, она была очень кратковременной, ибо все источники, связанные с последующими событиями, о вхождении Хорезма в состав сасанидской империи не говорят. Да и в надписи в Пайкули, хорезмшах упоминается в начале перечня «принявших повеления» Нарсе и приславших к нему послов царей, следом за царем кушанов и... римским кесарем. Контекст многозначительный и скорее говорящий п р о т и в, чем з а реальную зависимость Хорезма от сасанидов.

Забегая вперед, мы должны сказать, что полное отсутствие сасанидских монет в обильном, собранном нами в Хорезме нумизматическом материале, не говорит в пользу претензий ранне-сасанидских источников.

Мы совершенно не имеем прямых свидетельств о судьбах Хорезма в период, когда северная граница сасанидской империи определенно фиксируется по Гургену и южным рубежам современной Туркмении и когда Средняя Азия к северу от этой границы оказывается в системе эфталитского государства (V—VI вв.).

Однако некоторые отрывочные и поздние свидетельства позволяют предполагать значительную роль Хорезма в истории Восточноевропейско-среднеазиатских степей в хуннскую эпоху.

Известный венгерский хронист Joh. Thwrocz сообщает среди прочих полулегендарных сведений об эпохе Аттилы, сохраненных венгерской традицией, о том, что сын Аттилы, Хаба, по возвращении в «Скифию» взял себе жену не из скифского народа, а из корозманов, соседнего со Скифией племени (I, XXIII, 95)[1]. То же свидетельство мы находим у другого хрониста Simona de Keza[2].

Это свидетельство о связи хорезмийцев (ибо нет никакого сомнения в идентификации «Корозманов») с европейскими гуннами в V в. н. э., несмотря на свой полулегендарный характер, позднюю запись, не может нами игнорироваться, тесно увязываясь со всей предшествующей и последующей историей хорезмско-восточно-европейских связей.

Зато для II половины VI века, для времени, последовавшего за завоеванием эфталитских владений тюрками, мы имеем исключительно ценное византийское свидетельство о Хорезме. Я имею в виду сохраненное нам Менандром показание Земарха, посла императора Юстина к правителю тюрков Дизавулу (569 г.), проехавшего на своем пути через страну Холиатов или Хоалитов, уже давно и вполне закономерно отождествляемых с хвалиссами-хоразмиями[3].

---

[1] Herzfeld. Paikuli, стр. 119.

[1] G. Schwandtner. Scriptores rerum Hungaricarum, I, Vindobonae, 1766.

[2] Propter quod e Scitio uxorem non accepit, sed traduit de gente Corosmina. Simonis de Keza Gesta Hunnorum 4. Rerum Hungaricarum Monumenta Arpadiana I, Scriptores ed. Endlicher, Sangalli, 1848, стр. 101.

[3] Lerch. Khiva. SPB 1873, стр. 24—25. Н. Веселовский. Очерк историко-географических сведений о хивинском ханстве. СПБ. 1877, стр. 18—19. В. В. Бар-

Менандр сообщает очень существенный факт для истории внешнеполитического положения Хорезма этого времени. Дизавул, согласно этому свидетельству, отказал различным среднеазиатским правителям, добивавшимся у него разрешения на это, присоединиться ко второму тюркскому посольству, выезжавшему в Константинополь вместе с возвращающимся Земархом, но разрешил это правителю Хоалитов. Это позволяет заключить о сохранении суверенности Хорезмского государства после тюркского завоевания Средней Азии и о дружественных отношениях его с тюрками.

Вот, собственно, и все, что мы имеем достоверного из свидетельств письменных памятников по огромному периоду истории Хорезма до арабского завоевания.

Однако, как мы увидим ниже, более детальный анализ литературных источников дает возможность значительно пополнить эти данные.

Европейская историография Древнего Хорезма довольно обширна, хотя и далеко уступает историографии Согда и Бактрии.

Работ, посвященных специально древнему Хорезму, немного. Больше мы встречаем экскурсы, посвященные хорезмийским древностям в общих работах по истории и истории культуры Ирана и Средней Азии.

Из специальных работ назовем прежде всего E. Sachau, «Zur Geschichte und Chronologie von Khwârizm (1873)[1] и К. А. Иностранцева «О домусульманской культуре Хивинского оазиса» (1911)[2]. Кроме того, должны быть названы обстоятельные разделы по древней истории Хорезма в общих очерках истории Хорезма П. Лерха[3] и Н. Веселовского[4]. Чрезвычайно содержательны, хотя по необходимости кратки, очерки о Хорезме в Realencyclopaedie Pauly-Wisowa (III, 2406—2408, Tomaschek) и Enzyclopaedie des Islam (Бартольд).

Мы не можем пытаться перечислить экскурсы по истории древнего Хорезма в общих трудах по Ирану и Средней Азии. Ниже мы не раз будем цитировать эти экскурсы. Как наиболее существенные, отмечу прежде всего, труды В.В. Бартольда «Сведения об Аральском море и низовьях Аму-Дарьи с древнейших времен до XVII века»[1] и «К истории орошения Туркестана»[2], капитальные труды W. Geiger'a—Ostiranische kultur in Altertum[3] и Grundriss der iranischen Philologie II[4] и, наконец, Eranšahr Маркварта и его посмертный труд Wehrot und Arang[5]. Из новейших авторов значительный экскурс посвящает Хорезму W. W. Tarn в своей книге «Greeks in Bactria and India»[6].

Для исторической географии древнего Хорезма (помимо уже упомянутых работ) большое значение имеет исследование M. J. de Goeje—Das alte Bett der Oxus[7] и A. Hermann—Alte geographie des unteren Oxusgebiets[8], а также классические Sogdiana[9] и Kritik d. ältesten Nachrichten über den skythischen Norden Томашека[10].

Заслуга постановки вопроса о выдающейся роли Хорезма уже на заре истории древних народов Средней Азии и Ирана принадлежит крупному европейскому исследователю этого темного периода истории Среднего Востока—Маркварту[11].

По мнению этого ученого, текст Авесты, лишь один раз упоминающий имя Хорезма (Михр-Яшт), заставляет предполагать, что эта страна, которой такое место отводит позднейшая пехлевийская традиция, скрыта в Авесте под другим именем. Легендарная Айрьянем Вэджо, (Айранвэж) Авесты, родина пророка Заратуштры, по мнению Маркварта, должна локализоваться именно в Хорезме, куда ведут и те географические черты, которыми характеризует эту область текст Вендидада (самая северная и самая холодная из областей расселения иранских народов). Гипотезу Маркварта, несмотря на сделанные Нельдеке[12] возражения, принял другой крупнейший историк Средней Азии—В. В. Бартольд, писавший в своей статье о Хорезме в Энциклопедии Ислама, что: «Гипотеза Маркварта об Айрьянем-Вэджо—Хорезме имеет многое за себя»[13]. К этой гипотезе примыкают некоторые высказывания Томашека[14] и Гейгера[15].

тольд, Свед. об Аральском море, стр. 29—30, приводя мнение Лерха, пишет: «Однако, при последнем объяснении остается непонятным целый ряд подробностей рассказа, именно слова о продолжительности странствования от берегов реки (Ὦηκ, Оих, которую Лерх считает Аму-дарьей. *С. Т.*) до озера; о двенадцати днях пути вдоль берегов последнего; о песчаном характере этих берегов (как известно, такой характер имеет только восточный берег Арала)».

[1] Stz. Ber. der Wiener Ak. der Wiss. Phil. Hist. Classe, B 73.

[2] ЖМНП, 1911, февраль, стр. 284 сл.

[3] P. Lerch. Khiva oder Khārezm, seine historische und geographische Verhältnisse, 1873.

[4] Н. Веселовский. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. Птб. 1877.

[1] ИТОИРГО IV, Научные результаты Аральской экспедиции. Ташкент, 1902.

[2] СПБ, 1914.

[3] Erlangen 1882, стр. 29—30.

[4] Стр. 392—393.

[5] Leiden. 1938.

[6] Cambridge, 1938.

[7] Leiden, 1875.

[8] Berlin. 1914. AK Ges. d. Wiss. zu. Gottingen Ph. h. Cl. NG, XV, № 4.

[9] Centralasiatische Studien I SB WAW Ph. h. Cl, B. LXXXVII, 1887, стр. 172 сл.

[10] SB WAW Ph. h. Cl, B. CXVI, 1888.

[11] Eranšahr, nach der Geographie d. Moses Xorenac'i Abh. d. Ges. d. Wiss. zu Gött. Ph. h. Cl IV, F III, 1901, стр. 155.

[12] Рецензия в ZDMG. 1902.

[13] Enzyclopaedie des Islam, статья Khwârizm.

[14] PW, статья Ariakai II, 811—812.

[15] Grundriss d. Iran. Philologie II, стр. 401.

Впоследствии эту гипотезу разделяет безоговорочно или с некоторыми оговорками целый ряд крупных исследователей древней истории Иранских стран—Герцфельд[1], Андреас[2], Бенвенист[3], Германн[4], Тарн[5] и др. Эта точка зрения вообще может считаться преобладающей среди сторонников восточной локализации родины зороастризма. Лишь немногие авторы пытаются локализовать Айрьянем-Вэджо в других областях иранского Востока—в частности, в Припамирских странах[6]. Одиноко стоит и недавняя, мало на наш взгляд обоснованная гипотеза К. В. Тревер об Айрьянем-Вэджо—Согде[7].

К более широкой концепции Айрьянем-Вэджо приходит К. А. Иностранцев, помещая ее на востоке области расселения иранских народов: «Мы рассматриваем,—пишет он,—Айрианэм-Ваэджо Авесты, Аиран—Вэдж парсийских авторов, как обширную территорию скифов-саков (кит. Сэ) за всю эпоху их миграций от крайних северо-восточных пр делов Ирана, приаральских и прикаспийских степей до юго-восточных границ его, до Индии»[8].

В своей посмертной работе «Wehrot und Arang» (1938) Маркварт снова возвращается к вопросу о роли Хорезма на заре истории и выдвигает гипотезу о существовании обширного Хорезмийского царства, в доахеменидский период господствовавшего над значительной частью Средней Азии и Хорасана, и лишь в результате персидского завоевания уступившего первое место Бактрии.

Крупный английский историк-эллинист В. Тарн[9] в специальном экскурсе «Chorasmia» в своей большой монографии о греко-бактрийском царстве, целиком оставаясь на почве старой гипотезы Маркварта, также независимо от «Wehrot und Arang» приходит к мысли о господстве хорасмиев в доахеменидский период над Восточным Хорасаном и в имени п а с и е в (пасианов) Страбона хочет видеть п а р с и е в—хорасмиев, не только, по его мнению, сыгравших крупнейшую роль в низвержении власти греко-македонян в Бактрии, но и, в гораздо более ранний период, положивших основание самой персидской монархии.

Как мы уже отмечали в нашей рецензии на книгу Тарна[1], нельзя во всем следовать здесь Тарну, но во многом, как и его предшественники, он безусловно прав, и это мы попытаемся показать ниже, в заключительной главе нашей книги.

Ниже мы попытаемся использовать имеющиеся в нашем распоряжении археологические данные для дополнительного выяснения правильности уравнения Айрьянем-Вэджо—Хорезм. Сейчас мы остановимся на другом вопросе, имеющем, с нашей точки зрения, еще большее значение, на вопросе о взаимоотношении Хорезма, Кангхи Авесты и Кангюя (Канцзюй) китайских источников 康居

Вопрос о локализации Кангхи Авесты—Кангюя[2] китайских источников нам представляется чрезвычайно существенным. Согласно пехлевийской традиции и Шах-Намэ, Кангдиз является ареной деятельности божественного героя Сиявуша, в хорезмийских преданиях являющегося родоначальником хорезмийской династии сиявушидов-афригидов, правившей в Хорезме, по ал-Бируни, с XIII в. до н. э. до конца X в. н. э. (Как мы увидим ниже, свидетельство ал-Бируни о непрерывной династической преемственности правящего дома Хорезма по крайней мере на протяжении всего I тысячелетия н. э. целиком подтверждаются нумизматическими данными). Пехлевийская традиция неизменно помещает Кангдиз рядом с Айранвеж, часто, по существу, не делая между ними различия[3]. Поэтому, я думаю, мы имеем немало оснований для того, чтобы рассматривать проблему Айрьянем-Вэджо и проблему Кангхи, как разные стороны одной проблемы.

По данным китайских источников, во II в. до н. э. Согдиана, Хорезм и Средняя и Ниж-

---

[1] Arch. Mitteilungen aus Iran 1, стр. 104. В своих последующих работах Герцфельд, впрочем, трактует Айрьянем-Вэджо шире, связывая это имя со всей территорией «Русского Туркестана». См. Iran in the Ancient East, L. 1941, стр. 191.

[2] Доклад Andreas на Копенгагенском конгрессе ориенталистов 1909. Цит. по A. Hermann. Alte geographie d. Oxusgebiets, 43.

[3] E. B e n v e n i s t e. L' Érán-véž et l'origine légendaire des Iraniens. BSOS VII, 2, стр. 265—274.

[4] Alte Geographie d. unteren Oxusgebiets, стр. 43—44.

[5] Grecks in Bactria und India, стр. 478 сл.

[6] Эту точку зрения разделяли Риттер, Масперо, Дройзен. Ср. Иностранцев, цит. соч., стр. 313—314.

[7] К. В. Т р е в е р. Гопатшах—пастух-царь. ТОВЭ II, стр. 80. Насколько нам известно, в последнее время этот автор начинает, впрочем, склоняться к хорезмийской гипотезе.

[8] Цит. соч., стр. 316. В сущности к этой точке зрения примыкает указанный выше взгляд Герцфельда в его книге 1941 г.

[9] W. T a r n. Цит. соч., экскурс II, стр. 478—488.

---

[1] ВДИ, 1940, № 4.

[2] Идентификация Кангхи Авесты, Кангюя китайцев и Кангдиза пехлевийской традиции и Шах-Нам. давно принято в литературе. Ср. В. В. Бартольд История культурной жизни Туркестана, стр. 5.

[3] Бундахишн локализует Кангдиз в районе озера Вурукаша, отождествляемого многими авторами с Аралом, а Минохиред прямо помещает его на границах Айранвэжа, объединяя таким образом проблему Кангхи—Хорезма и Айрьянэм-Вэджо—Хорезма в одно целое. W. Geiger. Ostiranische Kultur in Altertum. Erlangen 1882, стр. 52; M. Reinaud. Geographie d'Aboulfida. Paris 1848 1 CCXV и М. Е. Массон. Загадочное городище Канка. СОНАТ. 1934. № 10—11, стр. 110 сл. Е. Т. Смирнов. Развалины города Канка. Прилож. к прот. № 4 ПТКЛА 1901, стр. 164—184.

няя Сыр-Дарья составляют единое государство—Кангюй, центр которого был расположен в 2000 ли (около 1000 км) на СЗ от столицы Ферганы Гуйшаня (Касан)[1].

Второй исходной точкой для определения локализации Кангюя является указанное тем же Чжан-цянем расстояние его от области аорсов-аланов (Яньцай), определяемое этим автором также в 2000 ли[2]. Нам представляется для этого времени маловероятной локализация Яньцай в Северном Приаральи.

Вся позднейшая история алан делает гораздо более правдоподобной определения местоположения центра Яньцай в Северном Прикаспии[3].

Центр Кангюя, если базироваться на этих сведениях, мог лежать только на Нижней Сыр-Дарье или в Хорезме. Всякая другая его локализация нацело противоречила бы китайским данным.

Однако только уравнение Кангюй—Хорезм делает понятным указание Цянь-Хань-шу, что Аньси (Парфия) «на севере граничит с Кангюем»[4].

Характерно, что в то время как Кангюй неизменно фигурирует в китайских источниках, как могущественное и обширное государство, расцвет которого явно падает на время до юечжийского завоевания Бактрии 140—130 гг. до н. э. и последующих гуннских походов на запад, как государство, охватывающее почти всю территорию нынешнего Узбекистана с Каракалпакией и ЮЗ Казахстана,—античные авторы ровно ничего не знают о Кангхе—Кангюе. Мы не найдем этого имени не только в повествованиях о событиях в Средней Азии у Геродота, Полибия, Страбона, Трога Помпея и других, но даже в сухих перечнях имен городов, областей, рек и племен у Плиния и Птоломея. При всей фрагментарности этого материала, его совершенно достаточно для того, чтобы с полной уверенностью заключить, что государство Ка гха-Кангюй античным авторам под этим именем не было известно. Но не знать его они, конечно, не могли—слишком крупную историческую роль оно играло как раз в ту эпоху, к которой восходит большинство дошедших до нас античных сведений.

Единственный античный источник, в котором можно усмотреть указание на имя Кангюй, в высшей степени показателен. Это—сведения, даваемые Аммианом Марцелинном о расселении аланов, почерпнутые этим писателем, несомненно, из аланской информации.

По Аммиану, на востоке, «parte alia propre Amazonum sedes Halani sunt orienti adclines, diffusi per populosas gentes et amplas, Asiaticos vergentes in tractus, quas dilatari ad usque gangen accepi fluvium interessantem terras Indorum mareque inundantem australe» (XXXI,16).

Если мы вспомним, что по китайским источникам юго-восточная граница расселения алан примыкает к Кангюю, и что к Индийскому Гангу их территория никакого отношения не имеет, в «Ганге» Аммиана можно видеть только Кангху—Кангюй.

А если мы вспомним приведенное выше свидетельство Бируни, локализующее древние поселения алан к западу от Хорезма, нам представляется—не останется сомнений в том, что под рекою Гангом, впадающей в Южное море с учетом географических представлений аланских информаторов Аммиана, здесь можно разуметь лишь Кангхскую реку, впадающую в Аральское море, т. е. Аму-Дарью.

Не менее характерно и то, что если Авеста знает Кангху—ее совершенно не знают памятники персидской клинописи.

Единственным выводом отсюда может быть то, что и персы, и греки, и римляне знали Кангху-Кангюй под другим названием. На путь поисков этого названия вступил ряд исследователей. Так, Гутшмид[1] отождествлял народ Кангкй с сакараваками античных авторов. Эту точку зрения с оговорками принимает и Тарн[2]. В экскурсе I нашей книги мы вернемся к этой идентификации.

Авеста упоминает Кангху только один раз (Ардвисур-Яшт V, XIV—54). Ввиду интереса, представляемого для нашей темы этим текстом, приведем его целиком:

[1] «Кангюй лежит почти в 2000 ли от Давани на северо-запад. Это кочевое же владение в обычаях совершенно сходно с юечжи; имеют до 90.000 воинов. Кангюй смежен с Даванью и по своей слабости признает над собой на юге власть юечжи, на востоке—власть хуннов» (Иакинф, Собр. свед. III, 6).

[2] «Яньцай лежит почти в 2000 ли от Кангюя на СЗ. И это кочевое владение в обычаях совершенно сходно с Кангюем. Войска более 100.000. Лежит при большом озере, которое не имеет высоких берегов. Это есть северное море». (Там же.)

[3] Ср. также данные истории младших Хань, которые, совершенно не соответствуя Приаралью, явно указывают на Северный Прикаспий и Южное Приуралье. «Владение Янь лежит от Яньцай на север, состоит в зависимости от Кангюя, которому подать платит кожами зверков мышиной породы».

«Владение Яньцай переименовалось Аланья, состоит в зависимости от Кангюй. Климат умеренный. Много сосны, ракитника, ковыля. Обыкновения и одеяние народа сходны с кангюйскими» (Собр. свед. III, стр. 121). Хоу-хань-шу CXVIII, стр. 13а.

[4] Собр. свед. III, стр. 53.

[1] Gesch, Irans, стр. 58, 70—73.

[2] Tarn, цит. соч., стр. 291.

«Дай мне, о святая и благодетельная Ардвисура Анахита, победить Урва Хунава Весхаки у ворот Кшатрасаока, ближайших к Кангхе высокой и священной, чтобы я разгромил страны Турана...»

Так обращается к Ардвисуре Туса, «ездящий на колеснице», один из каянидских героев.

Уже E. Sachau принадлежит заслуга установления тождества Урва Авесты и последующего Урге(нч)а—идентификация, прочно обоснованная законами древнеиранского консонантизма (Урва—Урга ср. Vehrkana—Гиркания)[1].

Оформление текста мне не представляется особенно древним. Против этого говорит упоминание в нем хуннов, проникновение которых в Среднюю Азию датируется II—I в. до н. э. Вероятнее всего предположить здесь модернизирующую переработку текста древнего гимна, вводящую нас в обстановку борьбы кангхского царства с хуннами в I в. до н. э.—вряд ли позднее. Если это так, то Урва—Ургенч был в это время оккупирован хуннскими правителями, которые, как мы знаем, около этого времени подчинили себе Яньцай—область аланов, охватывающую степи, начиная с Приаралья и далее на запад, до Северного Кавказа.

Предлагаемая нами, таким образом, датировка последней редакции приводимого текста не снижает, впрочем, возраста его первоначального ядра. Против этого говорит упоминание «ворот Кшатрасаока», совершенно прозрачно переводящихся как «ворота Царствующих Скифов». Локализация царских скифов общеизвестна, как и их дата. Поэтому я склонен думать, что текст в первоначальной редакции может быть датирован временем не позднее VI в. до н. э.,—временем отмечаемой Геродотом борьбы царских скифов с массагетами где-то в районе Аракса (Аму-Дарьи, см. по этому вопросу ниже).

Если учесть отнесение Страбоном (XI,8,8) хорасмиев к массагетским племенам, становится весьма вероятным локализовать эти события на СЗ от Хорезма, близ Урвы-Ургенча, и видеть в «воротах Царских Скифов»—могучие обрывы Устюрта, степями которого должны были следовать на запад царские скифы после поражения их хорасмиями-массагетами.

Кангха, ближайший к «воротам Царских Скифов» город авестийского мира, его северо-западный форпост. Для нас в этой связи важно выяснить место, занимаемое авестийской Урвой-Ургенчем и китайским Юегянь-Ургенчем в географических представлениях древних. Нельзя ли действительно Урву и Юегянь отождествить с Хорезмом, как это делают все без исключения писавшие об этом авторы и искать Кангху где-то по близости от Хорезма, но вне его (Бухара? Нижняя Сыр-дарья?). Против этого говорит, мне думается, вся позднейшая история политико-географических отношений в Хорезме. Хорезмийские предания ничего не знают о древнем левобережном центре Хорезма. Сказания, передаваемые Бируни, ал-Макдиси и Якутом, неизменно говорят о Кяте, как древнейшей столице страны. Кят у ранне-средневековых авторов—это «город Хорезм». Слово Кят (Кяс) значит просто «город»—древний термин, продолжавший во времена Якута жить как нарицательное имя развалин древних городов (см. эпиграф к настоящей главе). Вплоть до Якута арабские географы дискутируют вопрос—что такое Хорезм—имя города (Кята) или имя страны.

У нас нет никаких данных ни письменных, ни археологических, для предположения о том, что на рубеже X—XI вв. Ургенч возвращает себе некогда отнятое у него Кятом место. Наоборот, традиция неизменно подчеркивает, что в лице Ургенча мы имеем новую столицу. Характерно, что в VIII—X вв. мы видим противопоставление резидировавших в Кяте хорезмшахов афригидской династии и «эмиров Ургенча». Арабские источники нигде не говорят о том, что разделение Хорезма на Верхний и Нижний возникло только в результате арабского завоевания. Наоборот, есть все основания предполагать, что это деление восходит к глубокой древности.

В таком случае и Урва Авесты и Юегянь китайских источников—названия не Хорезма в собственном смысле, а самостоятельного Нижнехорезмского Ургенчского владения. Хорезм не назван таким образом у Чжан-цяня в Ши-цзи и Цянь-Хань-шу, если не предположить, что его имя скрывается за термином Кангюй. А ближайшим к Урве и «вратам Царских Скифов» пунктом авестийского правоверия может быть только верхний Хорезм, Хорезм par excellence.

Нам представляется таким образом наиболее вероятным предположение, что термин Кангха равнозначен термину Хорезм. В пользу этого говорит следующее:

1. В то время как античные и древнеперсидские источники знают только Хорезм, не зная Кангхи, китайские источники Ханьского времени, так же как индийские, знают только Кангху, не зная Хорезма. Напротив, восходящие к местной традиции Авеста, Бундахишн и другие пехлевийские тексты знают и Кангху и Хорезм, причем то и другое упоминается в разных текстах (Кангха—в Ардвисур-яшт, Хорезм—в Михр-яшт и т. д.).

2. Пехлевийская традиция и Шах-Намэ связывают деятельность Сиявуша с Кангхой (Канг-диз, Канг-и-Сиявуш). Хорезмийская традиция связывает деятельность Сиявуша с Хорезмом, причем Хорезм является областью,

[1] Zur Gesch. und Chron., I.

где действительно до X века правил царский дом Сиявушидов.

3. Согласно Тан-шу среднеазиатские городские царства составляли конфедерацию под именем области Кан, в которую входили Бухара, Вардана, Кабудан, Ташкент, Маймург, Кушания, Кеш, Хорезм, т. е. вся область древнего Кангюя. По показанию Табари, такая конфедерация действительно существовала и цари входивших в ее состав государств съезжались на совет в «один из городов близ (города) Хорезма», т. е. в Хорезмской области.

4. Авеста считает Кангху ближайшим пунктом к Урва (Ургенчу). Таким пунктом может быть только главный город собственно Хорезма.

5. Пехлевийские тексты связывают Кангдиз с Айрьянем-Вэджо, отождествленным Марквартом с Хорезмом. В различных текстах местом древнейшей оседлости иранцев после перехода ими «моря Вурукаша» оказывается то Хорезм, то Кангдиз.

6. Имя Кангха, наконец, сохранилось в Средние века в именах соседних с Хорезмом кочевых племен— к а н г'л ы на севере и на северо-востоке (Нижняя Сыр-Дарья — Волга) и печенеги—к а н г а р—на северо-западе от Хорезма (Устюрт).

Константин Порфиродный, De Adm. Imp. XXXVII пишет: «Должно знать, что печенеги именуются Кангар (Καγγαρ), но не все, а только народ трех округов: Явдвиирти (в первом списке в начале главы Иртим), Кварцицура (в первом списке Цур) и Хавуксингила (в первом списке Гила; в первом списке эти три имени стоят на первом месте. *С. Т.*), как храбрейшие и благороднейшие из других, ибо это обозначает прозвание «Кангар».

Ср. XXXVIII, где говорится о войне печенегов «раньше называвшихся Кангар (ибо это наименование применялось у них в отношении к благородству и доблести)», с хазарами и об отступлении их в результате поражения хазарами в землю турков (венгров).

Маркварт[1] об имени Καγγαρ Константина Багрянородного говорит: «Kang-är bedeut somit «Leute von Kang» (vom unteren Jaxartes)», ничем однако не мотивируя свою локализацию страны Kang. Между тем обращает на себя внимание следующее: ни одним источником восточные группы печенегов (тюркские печенеги) не локализуются на нижней Сыр-Дарье и вообще к востоку от Хорезма. Наоборот, все говорят об их местоположении на северо-запад от Хорезма.

Для вопроса о хорезмийско-печенежских отношениях помимо приведенного выше печенежского «Ховалис-мусульманин» интересно свидетельство Константина Порфиророднoго[1]:

«Должно знать, что по сю сторону реки Днепра, в стороне, обращенной к Булгарии; у переправ через эту реку имеются опустевшие города: первый город, называемый у печенегов Белым, вследствие того, что камни его кажутся белыми, второй город Т у н г а т ы, третий— К р а к н а к а т ы, четвертый—С а л м а к а т ы, пятый С а н к а т ы, шестой Г и з у к а т ы. В самых зданиях этих древних городов встречаются некоторые признаки церквей и кресты, высеченные в туфовых камнях. Вследствие сего существует у некоторых предание, что некогда там жили Ромеи».

Из контекста ясно, что эти п е ч е н е ж с к и е названия были даны уже р а з р у ш е н н ы м м е р т в ы м г о р о д а м. В этой связи весьма важно отметить нарицательное значение слова kaϑ كث в хорезмийском у Якута (IV. 222) «развалины в пустыне», букв. «стена в пустыне, ничем не окруженная», при сохранении древнего значения «город» в собственном имени древней столицы Хорезма—Кята. Нам представляется несомненным, что в печенежском kat—«развалины» мы имеем ранне-средневековое заимствование из хорезмийского.

Уже П. Голубовский[2] сближает имя Кангар с именем Канглы. Надо при этом заметить, что последнее имя по Махмуду Кашгарскому[3] имело то же самое нарицательное значение, что и Кангар у Константина Порфиророднoго:

«Канглы у кыпчаков—наименование важного лица».

قنكلى - إسم رجل عظيم من قفجاق

По Вильгельму де Рубруку[4] земля «Канглы» начинается непосредственно за Волгой; Рубрук попадает туда вскоре после того как покинул ставку Сартаха: «На второй день после Воздвиженья Святого креста мы выехали, причем у нас троих было 2 вьючные лошади и мы ехали не переставая в восточном направлении вплоть до дня праздника Всех Святых. И по всей этой земле и еще дальше ж и л и К а н г л ы, к а к и е-т о р о д с т в е н н и к и К о м а н о в. К северу от нас была Великая

---

[1] J. M a r q u a r t. Über das Volkstum der Komanen, стр. 26, прим. 2. Ср. Chronologie Alttürk. Inschr., стр. 10.

[1] De Adm. Imp. XIV; ИГАИМК 91, стр. 16. См. там же прим. 51, стр. 60. Ср. также Ласкин, прим. 10, стр. 214—223; Брун. Зап. Вост. Общ., т. III, стр. 351—353.

[2] Об Узах и Торках, ЖМНП 1884, стр. 19—20.

[3] III, 2, 980,

[4] Перев. Малеина, стр. 101. Ср. стр. 102. Ср. также стр. 95.

Булгария, а к югу вышеупомянутое Каспийское море».

О соседстве Канглы (Кангитов) с Хорезмом, к которому они примыкают с северо-запада, говорит и Плано Карпини:

«Из земли Кангитов мы въехали в землю Бисерминов. Эти люди говорили и доселе еще говорят команским языком, а закона держатся Саррацинского. В этой земле мы нашли бесчисленные истребленные города, разрушенные крепости и много опустошенных селений. В этой земле есть одна большая река, имя которой нам неизвестно; на ней стоит некий город, именуемый Янкинт (Janckint), другой по имени Бархин и третий, именуемый Орнас (Ургенч. *С. Т.*), и очень много иных, имена которых нам неизвестны. У этой земли был владыка, которого звали Высокий Султан (Хорезмшах. *С. Т.*), он был умерщвлен татарами со всем своим потомством, собственное имя его нам неизвестно»[1].

Вряд ли нужно говорить, насколько антиисторической является попытка верное само по себе сопоставление Кангюй—Канглы трактовать в плане превращения древних кангюйцев в «тюркское племя канглы»—трактовка, привившаяся у некоторых авторов с легкой руки Аристова[2] и Бронникова[3]. К сожалению, это мы находим и в недавно вышедшей и «Истории Казахской ССР»[4], где в совершенно бездоказательной форме «канглы» и усуни фигурируют в качестве «тюркских народов». На карте на стр. 60 того же сочинения дана ни с чем несообразная локализация этих мифических «канглы» III—I вв. до н. э. от Средней Сыр-Дарьи до... Балхаша.

Бесспорно имя «Канглы» является поздним переоформлением тюркским суффиксом более древнего «Кангар» и, как и последний, обозначает «люди Кангхи», т. е. имя средневекового племенного союза восходит к древнему имени страны.

Из существующих гипотез о локализации Кангхи (Бухара, Ташкент, Нижняя Сыр-Дарья, Восточный Туркестан)[5] ни одна не может мобилизовать в свою пользу достаточного количества аргументов. Бухара и Ташкент не отвечают географическим показаниям китайцев. Нижняя Сыр-Дарья, при наличии значительного количества развалин, нигде не дает картины, хоть сколько-нибудь напоминающей Хорезм. Разбросанные культурные оазисы Нижней Сыр-Дарьи вряд ли могли явиться базой для создания обширной рабовладельческой империи. Скорее можно предположить, что как и в Средние века, эта область входила в ближайшую сферу политического влияния Хорезма и, возможно, ее укрепленные поселения и города являлись Хорезмийскими колониями. Широкая колонизационная деятельность согдийцев в эллинистическую и последующую эпохи в Семиречьи и Восточном Туркестане позволяет предполагать аналогичную деятельность хорезмийцев, что является особенно вероятным в свете приведенных выше данных о хорезмийской колонизации в раннем Средневековьи. Однако окончательно решить этот вопрос мы сможем лишь после проведения археологических работ на Нижней Сыр-Дарье.

Все вышеизложенное заставляет нас притти к выводу, что Кангха и Хорезм являются синонимами, причем первый термин, повидимому, первоначально обозначавший «область дельты»[1], в местном словоупотреблении получил значение политического термина, употреблявшегося для наименования всей совокупности подчиненных Хорезму областей и правящей ими династии, восходящей к Хорезмийским сиявушидам, в то время как второй сохранил значение более узкого термина для обозначения первона-

---

[1] Плано Карпини, пер. Малеина, стр. 51. Снова упомянутая выше ошибка Карпини, помещающего Янгыкент и Ургенч на одной реке.

[2] Живая старина, 1894, III—IV.

[3] Зап. Моск. Арх. Ин-та XXXV, 1914.

[4] Под ред. Абдыкалыкова и Панкратовой, Алма-Ата. 1943, стр. 47 и сл.

[5] Лассен (Indische Alterthumskunde 1, стр. 1023) локализует Канка Магабхараты в Тибете, В. В. Григорьев (О скифском народе саках, стр. 43) в Восточном Туркестане. По Раулинсону (JRAS X) Канг-Ташкурган. Юсти (Beiträge d. Alt. Geogr. Persiens, стр. 11) помещает его в районе Ташкента. Дармстетер, приводя это определение как наиболее распространенное, указывает на возможность локализовать Канг-Кангдиз, исходя из легенд Нершахи—в Бухаре, а при учете преданий ал-Бируни—в Хорезме. Бартольд (Ист. культурн. жизни, стр. 5) локализует Кагнху-Кангюй на средней Сыр-Дарье.

[1] Раулинсон вводит в «Канг» пехлевийскую основу со значением «небо» (JRAS X, стр. 146 и 321).

Однако эта гипотеза представляется нам натянутой. Я думаю, что истину надо искать в другом направлении. Герцфельд, не анализируя самого термина, приводит интересное указание, что этим же именем (Kang, Miyan-i-Kang) называлась дельта Гильменда, заселенная, как мы попытаемся показать ниже, родственными хорезмийцам племенами (E. Herzfeld. Altpersische Inschriften. Berlin 1938, стр. 226). В этой связи интересно привлечь и имя великой индийской реки Ганга, с которым древнеиндийская традиция в первую очередь ассоциирует представление о крайней разветвленности. Все это заставляет меня искать этимологию слова «канг» в широко распространенном в индоевропейских языках корне, откуда и «канал», «канава». Ср. новоперсидск. (کن) کندن «копать», «рыть». М. Е. Массон, со слов Я. Г. Гулямова, отмечает (СОНАТ 1934, № 10—11, стр. 119, прим. 20), что термин Кан—как составной элемент названий арыков встречается в Бухаре—ср. «Кан Абу Муслим»—канал Абу Муслима. Ср. также «Канарык»—имя двух каналов близ Ташкента.

чального ядра Кангхско-Хорезмского государства[1].

Предлагаемая конструкция, конечно, является пока только гипотезой. Здесь мы ограничиваемся только историко-литературными аргументами для ее обоснования.

Ниже мы не раз вернемся к ней в связи с нашими археологическими данными и надеемся, что к концу нашей книги она станет чем-то бо́льшим, чем гипотеза.

Несмотря на то, что уже во времена Чжан-цяня восточная и южная окраина Кангюя оказалась под гегемонией его могущественных соседей— хуннов на востоке и юечжи на юге, Кангюй продолжает играть в политической жизни Средней Азии выдающуюся роль. По данным Чжан-цяня, Кангюй имеет до 90.000 «натягивающих лук». Цянь-Хань-шу увеличивает эту цифру до 120.000 человек (при 600.000 душ населения). Если мы учтем, что по данным того же источника войско Больших Юечжи не превышало 100.000, то эта цифра, со всеми поправками на преувеличение, окажется достаточно внушительной.

Во время китайского похода на Фергану приближение кангюйских союзных войск вынудило китайского полководца снять осаду с Ферганской столицы[2].

В 36 г. до н. э. Кангюй оказывается базой для шаньюя западных хуннов Чжичжи в его борьбе с Китаем. Заключительный акт этой борьбы происходит на территории Кангюя, куда вторгаются китайские войска Гань-яньшоу и Чень-тхана. Повидимому, Кангюй активно участвует в этой борьбе, потому что при императоре Чен-ди, видимо, вследствие военного разгрома, правитель Кангюя оказывается вынужденным послать в заложники к китайскому двору своего сына. Однако Цянь-хань-шу подчеркивает, что и после этого правитель Кангюя продолжает держать себя по отношению к Китаю как независимый государь. «Кангюй,— пишет наместник Го-шун в своем донесении двору,—горд, дерзок и никак не соглашается делать поклонение перед нашими посланниками. Чиновников, посылаемых к нему от наместника, сажает ниже усуньских послов».

Наместник объясняет посылку к китайскому двору сыновей кангюйского царя своекорыстными целями последнего, заинтересованного торговлей с Китаем. Наместник в силу этого настаивал на разрыве сношений с Кангюем, на что, впрочем, правительство Китая не пошло. Цянь-Хань-шу вынуждена констатировать, что Кангюй «не зависит от наместника»[1].

Безотносительно от решения поставленной нами проблемы Кангюй=Хорезм, вхождение Хорезма в состав Кангюйского государства является фактом бесспорным. В соответствии с этим, подчинение на рубеже христианской эры Кангюя империи кушанов должно быть расширено и на Хорезм. На это указывают и данные китайских источников, согласно которым правившая в Хорезме в период династий Суй и Тан династия, как и династии Согда и Шаша, происходила от «Больших Юечжи», т. е. от кушанских царей. В соответствии с этим новейшие исторические атласы включают Хорезм в границы Кушанской империи (ср. A. Hermann, Political and Commercial Altas of China). Никаких конкретных фактов всего этого периода истории Хорезма письменные источники нам не сохранили, если не считать отрывочных данных в истории Младших Хань.

Если верно отождествление Кангюй-Хорезм, то из этой хроники мы можем извлечь не мало существенного. Прежде всего нужно отметить, что Кангюй, как самостоятельный объект для описания, в посвященном «Западным странам» разделе этой хроники, не фигурирует. Это будет понятно при принятии предположения, что около начала н. э. Кангюй политически вошел в империю Кушанов. Однако существовать он не только не перестал, но и развил значительную внешнеполитическую активность, направленную, однако, не на юг и юго-восток, где он сам выступал в качестве вассала могущественных кушанов, а на северо-запад, в область аорсов (Яньцай-Аланья), подчинив себе эти прежде независимые племена и обложив данью население вплоть до Приуралья, откуда от племен Янь в Кангюй поступала пушнина (см. выше). Таким образом в начале н. э. как бы предвосхищается ситуация VIII—X вв., когда Хорезм, утратив свои позиции на юге,

---

[1] По этимологии Клиперта и Лерха Хорезм—«Низменная», resp. «Плодородная земля». Юсти и Шпигель трактуют имя Хорезма иначе: «Schlechtes, unfruchtbares Land». Напротив, Бюрнуф, Захау и Гейгер переводят «Futterland, Fruchtland» (Tomaschek PW Chorasmia 2407). Нашу точку зрения на происхождение имени «Хорезм» (Hvairizem) мы попытаемся сформулировать и обосновать ниже.

В топонимике мы встречаем название Канка, как имя городища в западной части долины Ангрена в 9 км от впадения ее в Сыр-Дарью, обследованное (1896 г.) Е. Т. Смирновым и в 1934 г. М. Е. Массоном (ПТКЛА 1901, стр. 164 сл. СОНАТ 1934, № 10—11, стр. 109 сл.). По данным последнего, это городище восходит к домусульманскому времени, хотя расцвет его жизни падает на IX—X вв. н. э. Близ этого городища расположен канал, носящий название Канарык. По определению Массона (там же, стр. 117), это городище может быть отождествлено с Хараш-кятом ал-Истахри и ибн-Хаукаля. Не исключено, что имя, данное окружающим населением, восходит к речи древних соседей Кангхи-Кангюя, обозначивших так одну из приграничных крепостей последнего. Характерно, что имя Канга мы встречаем и на другой границе Кангюйского царства—в имени Канга-Дарьи, самого южного из рукавов древней Сары-камышской дельты Аму Дарьи.

[2] Собр. свед. III, стр. 27—28.

[1] Собр. свед. III, стр. 56—58.

развивает особенно активную деятельность на северо-западе.

Во всяком случае сказанного достаточно, чтобы составить представление о том, насколько существенным узлом историко-этнографических и историко-политических проблем является древний оазис Нижней Аму-Дарьи.

Решение этих проблем в течение десятилетий оставалось замкнутым в заколдованный круг тем скудным набором литературных источников, которым наша наука располагала.

Нужно было разорвать этот круг. Сделать это могла только археология.

Автор и его сотрудники и стали тем отрядом советских археологов, на которых была возложена эта почетная и ответственная задача.

II. «ЗЕМЛИ ДРЕВНЕГО ОРОШЕНИЯ» И ХОРЕЗМСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 1937—1940 гг.

Приведенные эпиграфом к настоящей главе строки из Якута и ал-Бируни представляют большой интерес. Они свидетельствуют (и это подтвердили наши исследования) о том, что в XI и в XIII веке цветущий оазис Хорезма был окружен многочисленными развалинами, время происхождения которых терялось во мгле столетий. Уже тогда пустыня на подступах Хорезма носила облик той своеобразной призрачной страны, которую сейчас пересекает путешественник, прежде чем увидеть стройные стрелы хорезмийских тополей, поднимающихся над темной зеленью садов.

Пустыня, окружающая оазис Хорезма с запада и востока,—странная пустыня. Между тяжелыми грядами песков, среди гребней барханных цепей, на вершинах пустынных пестрых скал отрогов Султан-уиз-дага, на обрывах Устюртского Чинка, на плоских розоватых поверхностях такыров,—повсюду, на площади сотен тысяч гектаров, мы встречаемся со следами человеческой деятельности. Это—двойные линии обветренных бугров, пунктиром тянущиеся на десятки километров — остатки обочин древних магистральных каналов, шашечный рисунок оросительной сети на такырах. Это покрывающие такыры на протяжении десятков квадратных километров бесчисленные обломки керамики, то красной гладкой и звонкой, то грубой красновато-коричневой, то многоцветной поливной, фрагменты меди, железа, наконечники древних трехгранных бронзовых стрел, серьги и подвески, браслеты и перстни, среди которых можно нередко найти геммы с изображением всадников, грифонов и гиппокампов, терракотовые статуэтки мужчин и женщин в своеобразных одеждах, фигурки коней и верблюдов, быков и баранов и монеты с изображениями царей в пышных уборах на одной стороне и всадников, окруженных знаками древнего алфавита,—с другой. Это остатки древних жилищ, поселений, городов. Иногда это лишь слабые следы на блестящей поверхности такыра—остатки планировки древних жилищ, красноватые кольца некогда врытых в землю и срезанных в уровень с такыром пифосов-хумов. Иногда это целые мертвые города, селения, крепости, замки, развалины целых, некогда населенных районов, постройки которых поднимают на 10—12, а то и на 20 метров над руслами сухих, развеянных ветром и занесенных песком каналов свои суровые стены с узкими щелями стреловидных бойниц, грозные башни, круглые и стрельчатые арки порталов.

Я никогда не забуду того впечатления, когда однажды после тяжелого перехода через пески я со своими спутниками—рабочим казахом и фотографом Е. А. Поляковым—вышел на пространство Ангка-калинских такыров. У ног наших верблюдов, у подножия пройденных песчаных холмов, расстилалась гладкая глиняная равнина, покрытая багряной россыпью античной керамики. А над ней поднимался квадрат серовато-розовых сырцовых стен, покрытых частыми высокими щелями стрельчатых бойниц, с прямоугольными башнями по углам и посредине пролетов.

Крепость, простоявшая больше полутора тысячелетий, казалась покинутой только вчера.

Наш маленький караван прошел между мощными пилонами ворот, внутрь прохода которых тоже глядели настороженным взглядом темные щели бойниц,—и вышел на гулкую площадку двора. Такыр двора, растрескавшийся многогранниками, в щелях между которыми зеленели ростки пустынной растительности, казался вымощенным булыжником. Я поднялся по песчаному откосу на стену и пошел узким коридором стрелковой галлереи, спугнув по дороге нашедшую здесь убежище степную лисицу.

Малиновое пламя заката, охватившее западную половину горизонта, предвещало разразившуюся на следующий день песчаную бурю. И там, на западе, за тяжелой грядой пройденных

4*

нами песков, в багряное море зари врезались черные силуэты бесчисленных башен, домов, замков. Казалось, это силуэт большого многолюдного города, тянущегося далеко на север, где темнеет абрис суровых хребтов Султан-уиз-дага, замыкающий с севера горизонт. Но мертвая тишина пустыни, предгрозовое молчание песков окружали меня. Этот созданный некогда трудом человека мир был мертв. Замки и крепости, города и жилища стали достоянием воронов, ящериц и змей.

Это ощущение сказочности, призрачности окружающего, забываемое в разгар работ, в оживлении экспедиционного лагеря, неизменно выступало в дни одиноких разведок. Когда я целыми днями бродил один по такырам мертвых оазисов Беркут-калы и Кават-калы, нанося развалины на планшет,—нередко это ощущение становилось особенно острым. Дома и замки VIII и XII вв. стояли иногда почти нетронутые временем. Гладкая поверхность такыров зеленела эфемерной растительностью. Повсюду, до горизонта, поднимались среди песков силуэты построек. Казалось, что ты затерян в каком-то заколдованном царстве, в мире миража, ставшего трехмерным и материальным. Но сказку надо было сделать историей. Надо было прочесть книгу мертвого Хорезма. И год за годом она открывала нам свои новые и новые страницы.

«Земли древнего орошения» Правобережного и Левобережного Хорезма, древние каналы и расположенные на них развалины были известны давно. Сведения о них мы находим уже в отчетах первых русских экспедиций в Хорезм, начиная с отчета капитана Н. Муравьева, посетившего развалины юго-западной периферии Хорезма. Развалины Ташаузской области не раз описывались и зарисовки их публиковались в описаниях военных действий России против Хивы в 1873 г. О древних каналах Левобережья мы найдем немало сведений у Глуховского, Кошнина и других географов. У Каульбарса мы находим первые данные о «землях древнего орошения» ККАССР.

Значительная часть памятников и многие древние каналы были нанесены на географические карты.

После революции «земли древнего орошения» и Ташаузской области ТуркССР и ККАССР привлекли внимание советских хозяйственных организаций, заинтересованных в возможности повторного освоения этих земель. Так «земли древнего орошения» ККАССР стали объектом специального изучения почвоведа Давидовского.

Однако волнующий ученых уже много десятилетий вопрос о причинах запустения этих земель, несмотря на многочисленность выдвигавшихся по этому вопросу гипотез, оставался открытым. Наука ничего не знала о времени действия мертвых каналов, о времени жизни мертвых городов и селений «земель древнего орошения». Дореволюционные археологические обследования не поднимались над уровнем самых первичных разведок, сделанных, к тому же, не специалистами и никогда не отрывались от границ культурных земель.

Только революция создала предпосылки для широкого развертывания этих исследований.

Еще в 1927 г. Б. П. Денике, возглавлявший коллектив археологов-востоковедов Музея восточных культур, подчеркивал срочную необходимость разворачивания работ в Хорезме, мысля их как естественное продолжение начатых Музеем восточных культур работ в Термезе.

Приступом к археологическим работам в Хорезме мы обязаны А. Ю. Якубовскому, который в исполнение прямого указания В. В. Бартольда[1], провел в 1928—29 гг. значительные разведочно-обследовательские работы в районе Куня-Ургенча, которым мы обязаны первым систематическим описанием Ургенческого комплекса развалин[2]. В 1934 г. работы в Хорезме были продолжены экспедицией ГАИМК М. В. Воеводского, проведшего разведки в Южном левобережном Хорезме и первые стационарные работы на развалинах средневекового города Замахшара (ныне городище Змухшир)[3].

Работы обеих экспедиций, дав богатейший материал в археологии Средневекового Хорезма (преимущественно XIII—XIV вв., частью XII в.), почти ничего не дали для истории древнего периода. Правда, отдельные вещи—керамика, фрагменты статуэток и оссуариев—и были в числе случайных находок, но скудость этих материалов и хронологическая их неопределимость не позволили сделать из них никаких выводов.

Приступом к исследованию памятников домусульманского Хорезма мы обязаны работникам Узкомстариса Я. Г. Гулямову и Т. Миргиязову, в 1936 г. открывшим и раскопавшим интереснейший оссуарный могильник (наус) на горе Кубатау близ Мангыта, относящийся к середине I тысячелетия[4].

Но для того чтобы с наибольшей эффективностью выявить домусульманские памятники, нужно было оторваться от культурной полосы, войти в пространства пустыни, в мир мертвых

---

[1] См. А. Ю. Якубовский. ГАИМК—ИИМК и археологическое изучение Средней Азии за 20 лет. КСИИМК VI, 1940, стр. 16 сл.

[2] А. Ю. Якубовский. Развалины Ургенча. Л., 1930. Его же. Городище Миздахкан. ЗКВ V. 1930, стр. 551 сл.

[3] M. Voyevodsky. A Summary Report of a Khwarizm Expedition. Bull. Amer. Inst. for Iran. Art and Arch. 1938, № 3, стр. 235—245.

[4] J. Gulam. Otmuz izlari (Arxeologik texsirislar «Gulistan» 1937, № 4, стр. 6 сл.

городов и призрачных оазисов «земель древнего орошения».

Это диктовалось и опытом экспедиций начала XX века в Восточный Туркестан, где именно развалины в пустыне дали наиболее обильную жатву, и самим характером Среднеазиатской агрикультуры. Интенсивность культуры, густота заселения в пределах орошенной зоны имела своим неизбежным следствием уничтожение или, в лучшем случае, погребение под мощными пластами позднейших наслоений древнейших памятников в рамках культурной полосы. Лишь большие и тяжелые раскопки, связанные со снятием многометровых толщ поздних культурных пластов, давали возможность рассчитывать на открытие слабых следов того, что должно было сохраниться на поверхности земли в районах, запустевших в начале средневековья или еще раньше.

Выход в пустыню, поиски запустевших в возможно более раннее время земель—такова была задача, поставленная нами во главу угла при организации нашей экспедиции.

Исходя из этого, когда в 1937 г. на автора настоящей работы было возложено руководство работами Хорезмской археологической экспедиции ГАИМК, мы выбрали в качестве первоначального объекта исследования земли древнего орошения Турткульского и Шаббасского районов ККАССР.

Уже в 1932—34 гг. мы получили от работников КК Научно-исследовательского института (т. Гнеденко и др.) и Музея (т. Бродский и Гиппиус) ряд сведений об этих землях, об обилии и сохранности покрывающих их развалин, о находках в окрестностях совхоза Гульдурсун многочисленных домусульманских монет.

Вместе с тем показания письменных источников позволяли предполагать, что жизнь на такырах «земель древнего орошения» Правобережья оборвалась значительно раньше, чем в большинстве районов Левобережного Хорезма. Переход центра государства в Ургенч в конце X века, сведения ал-Бируни о разрушении Кята Аму-Дарьей[1], свидетельство Сам'ани о том, что некоторые из городов Правобережья в его время лежали в развалинах и площадь их распахивалась[2], наконец, показание ибн-Батуты о том, что в начале XIV в. по пути из Кята в Бухару, т. е. как раз в районе «земель древнего орошения», не было ни одного селения[3], определили наш выбор.

Незадолго до начала работ мы имели возможность ознакомиться по большой статье в газете «Qьzьl Qaraqalpaqьstan» с первоначальными итогами разведок, проведенных на юго-западной окраине «земель древнего орошения» ККАССР (район Гульдурсуна и Наринджана) сотрудниками Узкомстариса тт. Я.Г. Гулямовым и Р. Набиевым, которые еще более укрепили нас в выборе данного района для приступа к планируемой работе.

Проведение археологической разведки «земель древнего орошения» ККАССР в плане расширения разведок Я. Г. Гулямова и Р. Набиева мы возложили на работавшего под нашим руководством аспиранта МОГАИМК А. И. Тереножкина.

Результаты разведок вполне оправдали наш выбор района исследований, дав, помимо новых ценных данных по археологии раннемусульманского Хорезма, первые массовые данные по домусульманской культуре.

А. И. Тереножкиным были открыты и рекогносцировочно обследованы комплексы развалин Беркут-кала (VI—IX вв.), Кават-кала (X—XIII вв.), Аяз-кала (I—VII вв.), крепости Думан-кала, Джильдык-кала (первые века н. э.), Кош-парсан кала (середина I тысячелетия н. э.) и продолжено начатое Я. Г. Гулямовым обследование развалин Гульдурсун, Наринджан (раннее средневековье) и Пиль-кала (близ г. Шаббаса).

В процессе этих работ были проведены давшие интересные результаты рекогносцировочные раскопки маленького замка № 4 (VII—VIII вв.) близ развалин Беркут-кала, двух жилых домов X—XII в. близ крепости Гульдурсун и в комплексе развалин города Наринджана и раннемусульманского, частично сохранившего еще зороастрийские ритуальные черты, могильника в Наринджане, откуда был добыт значительный краниологический материал.

Важнейшим результатом работы А. И. Тереножкина явилась данная им впервые характеристика памятников позднеафригидского времени—VII—VIII вв.

Особенно нужно отметить собранный А. И. Тереножкиным и исследованный нами обильный материал по нумизматике афригидского Хорезма, давший возможность впервые ввести в научный оборот древнехорезмийские монеты — не только как памятник политической и экономической истории, но и как первый памятник древнехорезмийской письменности[1].

Успешные разведки 1937 г. явились отправной точкой для широкого развертывания раз-

---

[1] Chronologie Oriental. Völker, стр. 35 ср. Истахри (BGA 1, 301) и ибн-Хаукаль (BGA II, 351).

[2] Бартольд. Туркестан 1 (тексты), стр. 53.

[3] Voyages d'Ibn Batoutah III, стр. 19—20 (texte et traduction par Defrémery et Sanguinetti, Paris, 1885).

[1] Предварительные итоги работ 1937 г. см. в статье А. И. Тереножкина, Археологические разведки в Хорезме, СА VI, 1940 и С. П. Толстова, Монеты шахов древнего Хорезма и древнехорезмийский алфавит, ВДИ, 1938, № 4.

ведочных и раскопочных работ в следующем 1938 г.

В экспедиции 1938 г., помимо МОИИМК, приняли участие Исторический факультет Московского университета, Узбекистанский Комитет по изучению и охране памятников материальной культуры (Узкомстарис), Гос. Эрмитаж и Центральный краеведческий музей ККАССР.

Экспедиция работала в следующем составе: начальник экспедиции С. П. Толстов (МОИИМК), научные сотрудники А. И. Тереножкин (МОИИМК), Я. Г. Гулямов (Узкомстарис), архитектор И. Н. Тихомирова (МОИИМК), фотограф Е. А. Поляков (Узкомстарис) и четыре студента-практиканта тт. Старостин и Вальдман из МГУ и тт. Ибрагимов и Малевич с Высших музейных курсов НКПроса РСФСР.

Работы продолжались около 3,5 месяцев (июль—октябрь). Объектом стационарных раскопок явилась укрепленная усадьба VII—VIII вв. Тешик-кала, лежащая на южном конце Беркут-калинского мертвого оазиса. Одновременно под руководством А. И. Тереножкина были проведены раскопки небольшой усадьбы того же времени — «замка» № 34 близ Беркут-кала.

Параллельно с раскопками велось обследование прилегающей территории в радиусе 7—10 км. В частности, между Тешик-калой и развалинами г. Наринджана автором и А. И. Тереножкиным были открыты первые стоянки бронзового века.

По окончании раскопок отряд в составе С. П. Толстова, Я. Г. Гулямова и Е. А. Полякова провел разведки наиболее удаленной в пустыню дуги развалин, открыв и обследовав крепости античного времени Кой-крылган-кала, Ангка-кала, Кузы-крылган-кала, Базар-кала, Джанбас-кала, Кургашин-кала, Кырк-кыз-кала, М. Кырк-кыз, Топрак-кала, Кызыл-кала и замок VII—VIII вв. Карга-тышкан-кала. Было продолжено обследование открытого в 1937 г. А. И. Тереножкиным комплекса развалин Аяз-кала.

Работы 1938 года, помимо того что им мы обязаны полным раскрытием характера афригидской культуры Хорезма на базе такого первоклассного памятника, как Тешик-кала, дали нам впервые большой и хорошо датирующийся комплекс античных городищ IV в. до н. э.—V в. н. э. и первые памятники бронзового века Хорезма[1].

[1] Предварительные итоги работ 1938 года см. в статьях С. П. Толстова, Древнехорезмийские памятники Каракалпакии, ВДИ 1939 г. № 3 и в КСИИМК 1, 1939 и Я. Г. Гулямова. Qzilqum icida qadimgi madanijat izlari. Sotsialistik Fan va Turmuş. 1939, № 7—8 и его же Qzilqum icida. Gulistan, 1939, № 6.

Работы 1939 года, третьего сезона работ Хорезмской экспедиции осуществлялись в значительно более широком масштабе, чем работы предшествующих двух лет.

В работах принимало участие восемь научно-исследовательских учреждений четырех республик и пяти городов: Московское отделение ИИМК АН СССР, Истфак Московского государственного университета, Гос. Эрмитаж, Гос. исторический музей (Москва), Всесоюзная академия архитектуры (Москва), Узкомстарис, Туркменистанский институт истории, Центральный краеведческий музей ККАССР.

В экспедиции участвовало 16 научных и научнотехнических сотрудников: начальник экспедиции С. П. Толстов (МОИИМК), научные сотрудники археологи тт. С. А. Ершов, С. С. Гасанов (Турк. институт истории), Я. Г. Гулямов, А. Н. Тереножкин (Узкомстарис), Л. А. Ельницкий (Гос. исторический музей), архитекторы В. И. Пилявский и Г. Али-Задэ (Всес. акад. архитектуры), художник Н. П. Толстов (МОИИМК), коллекторы Н. А. Сугробов (МОИИМК) и М. Г. Мамлеев (Центр. краев. музей ККАССР), фотограф В. Б. Шапошников, студенты-практиканты А. Я. Абрамович, Н. Н. Вактурская, И. И. Комлев, И. В. Пташникова (Истфак МГУ).

Работа велась около 5 месяцев (июнь—октябрь) и распадалась на 2 части: 1) стационарные работы в зоне земель древнего орошения ККАССР и 2) разведки вдоль обоих берегов Аму-Дарьи между Чарджоу и Турткулем и по трассе древнего канала Чермен-яб (в Ташаузской области ТССР).

Объектами раскопочных работ были 2 усадьбы кушанского времени, входящие в комплекс развалин Аяз-кала, развалины крепости кангюйского времени (IV в. до н. э. — I в. н. э.) Джанбас-кала и развалины замка № 36 VIII—IX вв. н. э. в комплексе развалин этого периода на Беркут-калинском мертвом канале.

Следует отметить, что во время работ в Джанбас-кала, в окрестностях этой крепости был обнаружен ряд стоянок неолитического, бронзового и раннежелезного века, из которых наибольший интерес представляет неолитическая стоянка Джанбас-кала № 4.

По средней Аму-Дарье обследование шло двумя отрядами. Правобережный, под руководством С. П. Толстова, обследовал развалины Дингли-гыр, Устык, Ильджик, Ак-рабат, Наргыз, Йигит-кала, Кыз-кала, Кок-огуз, Кукертли, Сартараш, Топрак-кала, Эшек-рабат, Даш-кала (№ 1 и № 2), Мешекли-кала.

По левому берегу отряд С. А. Ершова обследовал Орта-тепе, Мовыз-ата-тепе, Моор, Таш-акыр, Сен-рабат, Кош-кала № 1

Нукус
Беш-тюбе
Назар хан
Кара-тюбе
Чильпык
Гяур-кала
Джанпык
Султан Уиз Даг
Кунр Ургенч
Ильдыз
Ташауз
Кунз Ала
Калалы-кыр II
Калалы-кыр I
Кизили-кыр
Даудан-кала
Кызылча
Кол Чагыл
Змукшир
Шах-сенем
Гяур кала
Ер Уйрыл ата
Дев кала
Ургенч
Хива
Шадда
Шуракар
Турткуль
Питняк
Ата-тюре-кала
Чаш-кала
Мешекли-кала
Кургашин-кала
Кырк кыз
Нюх кала
Уй кала
Беркут кала
Джанбас кала
Даш кала
Эшек рабат
Турпак-кала
Сартараш
Джигирбент
Ак кала
Дарганата
Дарган
Кукертли
Баирак тепе
Гугерджели
Кетменчи
Дая-Хатын
Кок-Огуз
Уч-керсен
Кыз-кала
Тупрак-кала
Игит-кала
Кош-кала №2
Кош-кала №1
Кабаклы
Сен-рабат
Бухарский пост
Таш-Акыр
Нар кыз
Ак рабат
Мзор
Ильджик
Мозыз-Ата-тепе
Орт-тепе
Устык
Динглы-Кыр
Дейнау
Чарджоу
Т. С. С. Р.
К. А. С. С. Р.
Уз. С. С. Р.
М.
0 15 30 45 60 75 клм

Работы на землях древнего орошения Турткульского и Шаббасского р-нов К.К.АССР.

Султан-Уиз-Даг
Кургашин-Кала
м. Кырк-кыз
Кырк-кыз-кала
Аяз-кала
Султан-баба
Кызыл-кала
Кош-ларим
Топрак-кала
Кават-кала
Уй-кала
Джилдык-кала
Базар-кала
Беркут-кала
Ангка-кала
Джанбас-кала
Нарынджи-баба
Думан-кала
Кузы-Крылган-кала
Кюшик-кала
Кюз-Бакан-кала
Гульдурсин
Пилав-кала
Шаббас
Ургенч
Эрес-кала
Шурахан
Турткуль
М.
0 5 10 15 клм. 40

Условные обозначения:
Маршрут 1937г.
Маршрут 1938г.
Маршрут 1939г.
Маршрут 1940г.
Место и дата раскопок
Границы республик

Схема работ
Хорезмской Археологической Экспедиции
1937г. — 1940г.

и № 2, Топрак-кала, Уч-керсен, Дая-хатын, Кетменчи, Гугерждели, Байрак-тепе, Дарган, Ак-кала, Джигирибент, Данишер-кала, Чашкала, Ата-тюрк-кала[1].

Чермен-ябский маршрут (под нашим руководством) дал нам ряд античных и средневековых городищ: повторно обследованный объект работ М. В. Воеводского Змухшир (Замахшар) и Кюнерли-кала и вновь описанные Дауданкала, Калалы-гыр № 1, Куня-уаз, Калалы-гыр № 2, Кюзели-гыр, Кызылча-кала, Шах-сенем № 1 и № 2, Гяур-кала, Дэв-кала[2].

Важнейшими итогами 1939 г. было открытие хорезмийского неолита, стоянок раннежелезного века и городищ ахеменидского времени, а также впервые широко поставленные раскопки памятников античного времени, наиболее интересным результатом которых было открытие «дома огня» в Джанбас-кала, выяснение крайне архаической планировки этого городища, получение в связи с находкой в доме № 1 в Аяз-кала монет Канишки, точно датированного II в. н. э. археологического комплекса и ряд менее значительных данных, добытых в результате раскопок и обследований[3].

Работы 1940 года, четвертого полевого сезона работ экспедиции, значительно расширили хронологические рамки ее тематики. Если в предшествующие три года внимание экспедиции было сосредоточено в основном на изучении античных и афригидских памятников, в то время как более ранний и поздний материал затрагивался лишь в порядке рекогносцировок, в 1940 г. центр тяжести работ лежал, с одной стороны, в изучении памятников первобытного Хорезма, с другой — памятников средневековых.

Помимо этого, задачами экспедиции являлось в порядке разведок и обследований: а) по возможности заполнить хронологические пробелы в цепи открытых ранее памятников, чтобы иметь возможность добиться максимально связной характеристики процесса развития материальной культуры Хорезма, б) продолжить исследование древней ирригационной сети правобережного Хорезма и выяснение ее исторической динамики, в) расширить изучаемую территорию за пределы в основном обследованного Верхнего Хорезма, продвинувшись через Султан-уиз-дагские горы в Нижний Хорезм — в область дельты Аму-Дарьи.

[1] Итоги работ левобережного отряда см. в статье С. А. Ершова, ВДИ, 1941, № 1.

[2] Из этих городищ Калалы-гыр № 1 и 2, Кюзели-гыр, Кызылча и Шах-сенем в 1938 г. были посещены архитектором В. И. Пилявским.

[3] Предварительные итоги работ 1939 г. см. С. П. Толстов, Древности Верхнего Хорезма. ВДИ 1941, № 1 и его же статью в КСИИМК VI.

В организации экспедиции 1940 г. участвовали, помимо ИИМК, Истфак МГУ, сектор археологии Института истории, языка и литературы УзФАН, Центральный краеведческий музей ККАССР и Всесоюзная академия архитектуры в лице Архитектурного музея и Московский архитектурный институт, выделившие в состав экспедиции своих сотрудников и студентов.

Экспедиция работала в следующем составе: 1) Начальник экспедиции С. П. Толстов (ИИМК), 2) пом. нач. экспедиции ст. научный сотрудник Я. Г. Гулямов (УзФАН), архитекторы: 3) В. А. Лавров (ИИМК) и 4) В. И. Пилявский (Ак. архитектуры), 5) художник Н. П. Толстов (ИИМК), 6) фотограф В. И. Котовский (ИИМК), 7) коллектор М. Г. Мамлеев (Центр. краеведческий музей ККАССР), студенты-практиканты: 8) И. В. Пташникова, 9) Н. Н. Вактурская, 10) Т. В. Равдина (МГУ), 11) Э. Биксон, 12) М. А. Орлов, 13) В. И. Пентман (Архитект. институт).

Экспедиция работала с 31.VII по 4.XI 1940 г.

1940 г. дал нам возможность разносторонне характеризовать быт и культуру хорезмийцев неолитической эпохи, обогатил наш материал рядом вновь открытых памятников бронзового и раннежелезного века. Изучение городища Топрак-кала, дав нам стратиграфическую увязку кушанских и афригидских слоев, вместе с тем позволило впервые выявить планировку позднеантичного хорезмийского города. Вновь были открыты античные городища Гяур-кала, Эрес-кала, Ак-тепе, Малая Кават-кала, афригидские Якке-парсан, Кум-кала, Адамли-кала, замки IX—X вв. Буран-кала № 1 и 2 и Наиб-кала, город XII в. Джанпык-кала. Были подвергнуты детальному изучению открытый в 1937 г. мертвый оазис XI—XIII вв. Кават-кала и позднеантичные развалины Думан-кала и Джильдык-кала.

Большой интерес представляет открытие наскальных знаков и изображений в урочищах Чильпык, Кара-тюбе и Беш-тюбе.

Наконец, в 1940 г. была в основном закончена съемка древней оросительной системы Правобережья Верхнего Хорезма, начатая нами в 1939 г.[1].

Четыре года работ экспедиции дали в наши руки большое количество памятников, относя-

[1] Кроме цитированных выше работ, итогам Хорезмийской экспедиции посвящен еще ряд статей: С. П. Толстов. Хорезмийский всадник. КСИИМК 1939, 1. Его же. По следам древней цивилизации. Газ. «Известия» 1940, 10 сентября и в газ. «Советская Каракалпакия» 1940, 21—23 сентября. Его же. Ancient Khorezm «Sowiet Land» 1940, № 3. А. И. Тереножкин. О древнем гончарстве в Хорезме. Изв. УзФАН, 1940, № 6. Его же. Жилые постройки XI—XII вв. н. э. в Кара-калпакской АССР. Изв. УзФАН, 1940, № 7. Его же. К истории искусства Хорезма. «Искусство», 1939, № 2. Посланный нами в Америку по запросу ВОКС богато иллюстрированный сводный очерк работ 1937—1938 гг. был опубликован H. Field'ом и E. Prostov'ым в «Ars Islamica», VI, 2, 1939.

щихся к различным периодам истории Хорезма. В совокупности они составляют почти непрерывную свиту, охватывающую огромный период около четырех тысяч лет, с IV—III тысячелетия до н. э. до XIV в. н. э.

Мы можем сейчас, с большей или меньшей степенью детальности и точности, расчленить историю культуры первобытного, древнего и ранне-средневекового Хорезма на ряд хронологических периодов, каждый из которых имеет вполне конкретную историко-культурную физиономию.

Я позволю себе поэтому предпослать нашему изложению сжатую характеристику этих периодов, которая облегчит ознакомление с последующим изложением и найдет в нем свое развернутое обоснование (см. таблицу хронологической классификации памятников в конце текста).

А. ПЕРВОБЫТНЫЙ ХОРЕЗМ

I. Кельтеминарская культура. IV—III тысячелетие до нашей эры. Неолит. Рыболовство и охота. Материнский род, возможно еще с дислокальным браком. Большие овальные дома из дерева и камыша. Круглодонная, богато орнаментированная, окрашенная в красный цвет керамика. Орнамент расположен кольцевыми зонами, заполненными оттисками разнообразных штампов и штриховым рисунком. Ладьевидные сосуды. Кремневый (микролитоидный) и костяной инвентарь. Круглые подвески из камня и раковин, цилиндрические раковинные бусы. Характерные памятники: стоянки Джанбас-кала № 4 и 5.

II. Тазабагъябская культура. II тысячелетие до нашей эры. Бронзовый век. Мотыжное земледелие и пастушеское скотоводство. Материнский род. Образование союзов племен. Тип жилища неизвестен. Плоскодонная, тонкая, окрашенная, орнаментированная штампованным и нарезным узором керамика, сделанная без круга. Основные элементы орнамента незамкнутые треугольники, углы, косоугольные меандры. Пиктограф ческие знаки на скалах. Характерные памятники—стоянки Ангка-кала № 1, Тешик-кала № 1 и 2 и др.

III. Амирабадская культура. Первая половина I тысячелетия до н. э. Раннежелезный век. Земледелие и скотоводство. Материнский род. Укрепление и развитие союзов племен. Длинные глиняные прямоугольные общинные дома. Плоскодонная, темная, слабо орнаментированная керамика с нарезным орнаментом, сделанная без круга. Характерные памятники стоянки Джанбас-кала № 1, 2, 7 и др.

Б. АНТИЧНЫЙ ХОРЕЗМ

IV. Культура городищ с жилыми стенами. Ахеменидское время. Середина I тысячелетия до нашей эры (VI—IV вв. до н. э.). Постройка больших каналов. Зарождение государства. Вхождение Хорезма в систему империи ахеменидов. «Городища с жилыми стенами», аналогичные «квадратной Варе» Авесты («жилище для людей и загон для скота»). Керамика, сделанная на ручном гончарном круге, с горизонтально-рубчатой поверхностью. Хумы и крупные сосуды с прямым венчиком, с переходом к корпусу в виде прямоугольного уступа. Тесто грубое, с дресвой, обжиг неравномерный. Чаши без дисковидного поддона. Появление красного (на чашах) и белого (на горшках) ангоба. Бронзовые трехгранные стрелы небольших размеров, с выступающей втулкой. Статуэтки «архаического стиля» (богиня, кони). Характерные памятники—Кюзели-гыр, ранний слой Базар-калы.

V. Кангюйская культура. Эллинистическое время. IV век до нашей эры — I век нашей эры. Расцвет кангюйско-хорезмийского государства, городов, ремесел. Укрепленные прямоугольные селения с сохранением общинно-родового уклада. Многокомнатные дома-массивы, группирующиеся в два основных квартала (фратрии). «Дома огня» как сосредоточие общественной жизни поселений.

Отдельно стоящие укрепленные родовые дома-массивы (Кюнерли-кала, Ак-тепе). Планировка городов повторяет планировку селений (дома-массивы, делящиеся центральной улицей на два комплекса, соответствующие фратриям). Черная, красная и светлая с черной и красной раскраской керамика, сделанная на ножном круге. Красный лак, прорезной и раскрашенный орнамент в виде треугольников, спускающихся на плечики сосудов. Хумы с венчиком в виде круглого валика и высокой шейкой, отделенной от корпуса рельефным пояском. Чаши с дисковидным поддоном. Бокалы. Светлая, тонкостенная керамика, сделанная без круга. Сосуды с высоким горлом. Большие блюда с прямыми стенками. Многочисленные статуэтки людей и животных кангюйского стиля. Бронзовые стрелы вытянутых пропорций и крупных размеров. Зернотерки очень крупных размеров. Бипирамидальные и бочковидные каменные, стеклянные и пастовые, мелкие стеклянные и квадратные пиритовые бусы. Перстни с овальным или круглым глазком. Овальные печати, двусторонние и скарабеоиды, с изображениями всадников, грифонов, гиппокампов, птиц. Кангюйские монеты с имитацией надписи Эвкратида. Характерные памятники Джанбас-кала, Кой-крылган-кала, Малый Кырк-кыз, Кюнерли-кала, Ак-тепе и др.

VI. Кушанская культура. Римское время. II—III вв. н. э. Продолжение расцвета античного Хорезма. Переход от укрепленных общинных поселений к деревням, не имеющим внеш-

них стен и состоящим из отдельных большесемейных усадеб. Резкое выделение усадеб аристократии. Сохранение в городах больших общинных домов-кварталов. Цитадель — замок правителя. Керамика с красным ангобом и лаком и с белым ангобом. Черной керамики нет, раскрашенная исчезает почти совершенно. Появление фрагментов керамики светлозеленого полива. Хумы с низким и прямым венчиком, без шейки. Чаши без поддона. Вьючные фляги с плоским боком. Светлая тонкостенная керамика, сделанная без круга, наряду с более грубой. Дисковидные, грубого теста крышки от котлов с ямочным орнаментом по краю. Бронзовые трехгранные стрелы небольших размеров, со скрытой втулкой. Зернотерки. Появление первых ручных жерновов. Стеклянные бусы и перстни того же типа, что и в кангюйское время. Появление значительного количества каменных, шаровидных и цилиндрических бус (сердолик, халцедон, мрамор, коралл). Характерный памятник—Аяз-кала № 3, средний слой Топрак-кала.

VII. Кушанско-афригидская культура (III—V вв. н. э.). Упадок античной культуры Хорезма. Города сохраняют прежний тип, но к концу периода многие из них пустеют. Переход к расселению замкового типа. Замки с внешними пахсовыми стенами, с кирпичными донжонами в центре или цитаделями с внутренним двором. Квадратно-концентрический план и террасообразное расположение (внутренние дворы повышаются по сравнению с внешними). В керамике постепенный переход от античных к афригидским формам. Упадок ремесленного (городского) керамического производства. Из специфических форм характерны хумы с прямым, высоким горлом, сменяющиеся затем хумами с венчиком, опоясанным двумя сильно выступающими рубцами. Крупные, грубые сосуды и блюда с лепным орнаментом по краю. Двурогие подставки под котлы. Близкие к афригидским кувшины с неорнаментированной, резко сужающейся книзу ручкой. К концу периода античные формы исчезают совершенно. Раннеафригидские монеты (группа А α). Характерные памятники—Топрак-кала, Якке-парсан, Малая Кават-кала.

В. СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ХОРЕЗМ

VIII. Афригидская культура (VI—IX вв. н. э.). Зарождение элементов феодальных отношений при господстве патриархально-рабовладельческого строя на стадии разложения. Резкое сокращение числа городов. Зарождение городов нового типа в виде посадов при замках-усадьбах крупных феодалов (Беркут-кала). Рассеянное расселение отдельными укрепленными усадьбами-замками. Донжоны со сводчатым или массивным цоколем, расположенные эксцентрически (на углу или в середине одной из стен). Гофрировка донжонов полуколоннами без бойниц или с ложными бойницами. Купольные перекрытия, образованные напуском кирпича, на трапецевидных парусах. Очень крупные хумы с овальным в сечении венчиком, орнаментированным косыми насечками или пальцевыми вдавлениями. Тонкостенные водоносные кувшины, с треугольным в сечении венчиком и широкой плоской ручкой, орнаментированной полосками или пальцевыми вдавлениями.

Разнообразная, сделанная без круга, керамика. Крупные железные черешковые трехгранные наконечники стрел и дротиков. Большие тонкие ручные жернова. Шаровидные сердоликовые и халцедоновые бусы. Перстни с круглым глазком. Круглые печати различного размера. Афригидские монеты (группа В β). Характерные памятники — Беркут-кала, Тешик-кала (верхний слой).

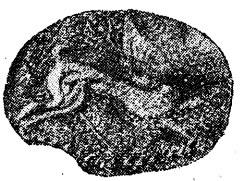
IX. Афригидо-саманидская культура (IX—XI вв.). Формирование феодальных отношений. Замки без донжонов, но с большим центральным зданием. Стены пахсовые. Угловые башни круглые или квадратные. Гофрировка башен полуколоннами переходного от афригидского к хорезмшахскому типу. Керамика — черная с лепным орнаментом, поливная керамика с раскраской под поливу в теплых красновато-коричневых тонах. Отдельные находки согдийской рельефной керамики саманидского типа. Характерные памятники — Буран-кала, Наиб-кала, «старый город» Наринджана.

X. Хорезмшахская культура (XI—XIII вв.). Расцвет феодализма. Новое освоение заброшенных ранее земель. Новый подъем городской жизни, ремесел, торговли. Резкая дифференциация феодального замка и неукрепленной крестьянской усадьбы. Сохранение большесемейного характера последней. Декоративное перерождение частной фортификации при сильном развитии государственной. Почти полное господство пахсы в строительном деле. Мелкий квадратный сырец, широкое распространение жженого кирпича. Стрельчатая арка.

Каптар-ханы. Гофрировка стен тонкими горельефными полуколоннами со стрельчатыми арками. Подчеркнутая фасадность архитектуры. Развитие портала. В парадных и культовых зданиях декоровка при помощи узорной кирпичной выкладки. Керамика черная с исключительно богатым лепным и резным орнаментом и поливная, где, наряду с подглазурной росписью описанного выше типа, появляются люстр и роспись в тонах холодной гаммы.

Характерные памятники—Кават-кала, Джанпык-кала.

XI. Хорезмийско-джучидская культура. Памятники этого периода экспедицией пока специально не исследовались. Общую характеристику см. в работах А. Ю. Якубовского («Развалины Ургенча», «Происхождение ремесленной промышленности Сарая Берке»). Основные признаки: переход к полихромной изразцовой декоровке парадных и культовых зданий, широкое распространение керамики с бирюзовой, синей, зеленой глазурью. Характерный памятник — Куня-Ургенч.



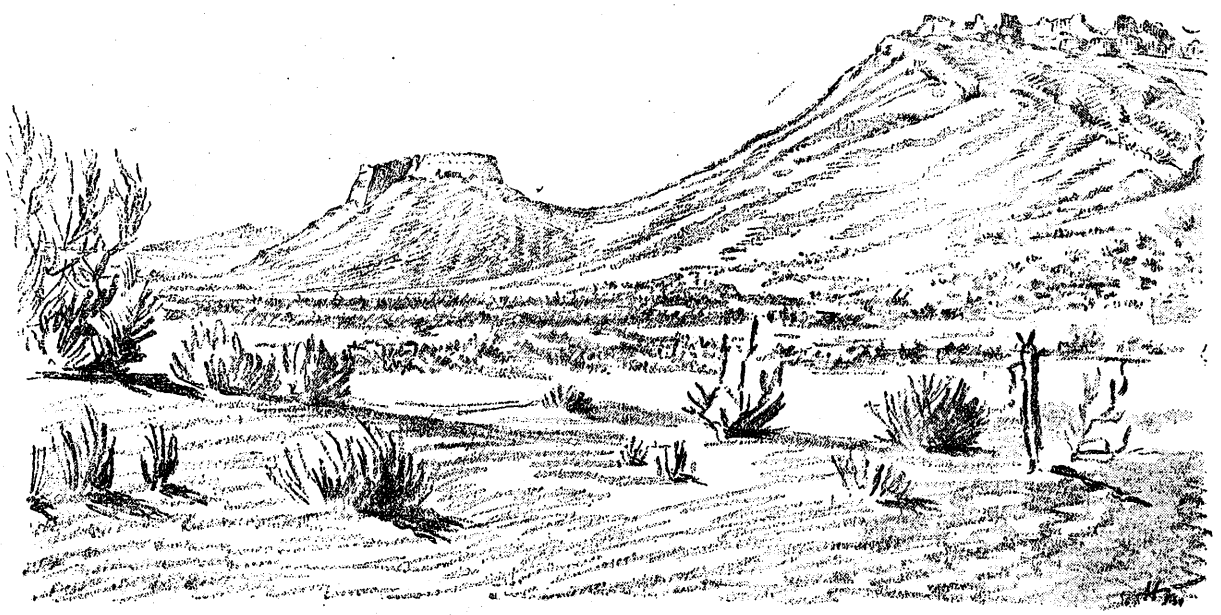
ГЛАВА II

РУСТАКИ ГАВХОРЭ

(К исторической динамике древней ирригационной сети Хорезма)

«Они провели из нее (реки) каналы и построили на ней города».

Ал-Макдиси, BGA, III, 285.



Аяз-кала

I. К ИСТОРИИ ВОПРОСА

В вышедшей в 1937 г. работе известного специалиста по палеогеографии Средней Азии проф. И. П. Герасимова, в заключении его перечня районов древнего обводнения, мы читаем:

«Наряду с хорошей сохранностью аллювиально-аккумулятивных черт громадное большинство подобных площадей обладает еще одной весьма важной особенностью, а именно, все они отмечены многочисленными памятниками бывших здесь поселений человека, развалинами укреплений, мечетей и следами древних ирригационных сооружений.

К сожалению, дело изучения этих интереснейших памятников до настоящего времени не поставлено надлежащим образом. Достаточно полной картины истории ирригационной культуры в Туране мы не имеем. В сводной работе, посвященной этому вопросу (имеется в виду работа В. В. Бартольда «К истории орошения Туркестана»[1].—*С. Т.*), содержится лишь ряд весьма фрагментарных указаний, не позволяющих с необходимой уверенностью определять возраст тех или иных древних сооружений. При этом большая часть этих указаний основывается на анализе исторического и литературного материала. Большинство древних сооружений, встречаемых в районах сухих ныне русел, не было вообще подвергнуто непосредственному изучению в необходимой степени»[2].

Эти слова мы можем рассматривать как известный упрек нашей археологической науке, как постановку перед нами проблемы, интересующей не только историков и специалистов в области истории материальной культуры, но и геологов, палеогеографов, почвоведов, специалистов по ирригации и представителей целого ряда смежных дисциплин.

Действительно, почти во всех работах, посвященных этому кругу вопросов, связанных со Средней Азией, вопросы истории древнего орошения Средней Азии в той или иной мере затрагиваются и те слова, которые так четко и ясно сформулированы в работе проф. Герасимова, в более краткой и менее отчетливой формулировке мы найдем во многих работах исследователей различных специальностей, посвященных истории природы Средней Азии[1].

Естественно, что поставленная здесь проблема не оставалась вне поля зрения археологов. Правда, как мы знаем, дореволюционная археология Средней Азии находилась в младенческом состоянии, и потребовался достаточно длительный период после революции, прежде чем мы подошли вплотную к тому, чтобы недвусмысленно ответить на те вопросы, которые перед нами ставят специалисты других областей знания.

Уже с первым десятилетием Октября связаны стоявшие еще, правда, одиноко работы инженера-ирригатора и энтузиаста-археолога Д. Д. Букинича, наблюдения и обобщения которого в области древнейших этапов истории ирригационного хозяйства Средней Азии до сих пор остаются непоколебленными[2]. Они были подкреплены результатами работ Латынина и Оболдуевой в Фергане в 1934 г.[3].

К 1934 г. относятся работы уже упоминавшейся нами Хорезмской экспедиции М. В. Воеводского, среди задач которой стояла и задача выяснения взаимоотношений древних ирригационных сооружений и археологических памятников[4]

---

[1] В. В. Бартольд. К истории орошения Туркестана. СПБ, 1914.

[2] И. П. Герасимов. Основные черты развития современной поверхности Турана. ТИГ АН СССР XXV. М.—Л., 1937.

[1] Ср., напр., А. С. Кесь. Русло Узбой и его генезис. ТИГ АН СССР XXX, 1939, стр. 109—110 и др.

[2] Д. Д. Букинич. История первобытного орошаемого земледелия в Закаспийской области, в связи с вопросом о происхождении земледелия и скотоводства. «Хлопковое дело», 1924, № 3, стр. 92—135.

[3] Б. А. Латынин. Работы в районе проектируемых электростанций на р. Нарыне. Известия ГАИМК 110, 1935.

[4] M. Voyevodsky. A summary Report of a Khwarizm Expedition, Bull. of Iranian Art and Archeology, V, 3, 1938, стр. 235.

Правда, новизна темы и неразработанность методики исследования позволили М. В. Воеводскому сделать лишь весьма ограниченные выводы.

Как раз годы, непосредственно предшествующие и следующие за 1937 годом, годом выхода цитированной мною работы проф. И. П. Герасимова, явились в этом отношении переломными. К этому времени относится развертывание ряда крупных археологических работ, в значительной мере посвященных истории древнего орошения Средней Азии.

В 1936 г. начата продолжавшаяся до 1938 г. Термезская экспедиция М. Е. Массона, давшая ценные материалы, в частности, и по истории ирригации[1].

К 1937 г. относится начало работ нашей экспедиции. К этому же 1937 г. относятся работы на Нижнем Зеравшане, проводившиеся под руководством В. А. Шишкина[2]. На ближайшие годы падает начало целого ряда других работ (Ферганская экспедиция проф. М. Е. Массона и др.). Словом, за последние годы начал накапливаться материал, который сейчас может быть, несмотря на его фрагментарность и недостаточность, все же в известной степени обобщен.

Выводы, сделанные нами на основе хорезмского материала, перекликаются с теми заключениями, которые делают руководители других археологических работ, в частности, археологических работ в географически близком и сходном по своему типу районе Средней Азии— районе Нижнего Зеравшана.

В результате наших работ нам удалось изучить и картографировать древнюю оросительную сеть правобережья Верхнего Хорезма— между г. Турткулем и горами Султан-уиз-даг.

Кроме того, наши исследования выявили еще ряд моментов, имеющих непосредственное отношение к интересующей нас проблеме, — это прежде всего взаимоотношение щита такыров, образованных отложениями лессовидных суглинков, составляющего район так наз. «Земель древнего орошения» ККАССР, с различными культурами доземледельческого, доирригационного периода, с памятниками неолита, бронзового и раннежелезного века, относящимися к периоду между IV и началом I тысячелетия до н. э.

Хронологическое расчленение памятников ирригационного периода, связанных с древней оросительной сетью, приведенное нами в предыдущей главе, дало возможность выяснить даты первоначального освоения и запустения отдельных районов «Земель древнего орошения».

Наконец, в результате этих обследовательских и топографических работ нам удалось установить структуру древней ирригационной сети и, в соответствии с отмеченным мною хронологическим расчленением памятников, время действия ее различных ответвлений.

Работы по изучению древней ирригационной сети Хорезма, как и других районов Средней Азии, представляют собой задачу, достаточно сложную и трудоемкую. Непременным предварительным условием для того, чтобы эти работы дали необходимые результаты, является всестороннее комплексное изучение самих археологических памятников, расположенных в районе этих древних ирригационных земель. Без всесторонней характеристики этих памятников могут остаться непонятными и те процессы исторической динамики древней ирригационной сети, которым посвящена эта глава. Только то, что нам удалось определить время, к которому относятся памятники различных типов, расположенные в районе древних ирригационных земель, дало нам ключ к пониманию многих вопросов.

С другой стороны, самый процесс прослеживания древних оросительных систем представляет задачу достаточно трудную: не везде древние каналы сохранились одинаково хорошо. В частности, на исследованной территории только в своей нижней части древние каналы представляют хорошо выраженные, тянущиеся на много километров линии параллельных валов—обочин этих древних оросительных магистралей. Ближе к югу, ближе к современной ирригационной системе мы встречаемся с большей степенью разрушенности древних каналов благодаря тому, что здесь, на периферии современной сети, в районе сброса современной ирригационной системы, быстро шли процессы дефляции такыров. Древние арыки оказались частично разрушенными, частично занесенными песками. Иногда (как, например, магистральный канал в окрестностях Беркут-калы) они прослеживаются в виде слабой плоской глинистой возвышенности, тянущейся по такырам, иногда мы их наблюдаем в виде небольших вытянутых глинистых останцев среди глубоких песков, окаймляющих современную границу культурного оазиса Правобережного Хорезма. В таком случае только картографирование дает возможность определить происхождение этих останцев (как в районе Кум-баскан-калы и между Гульдурсуном и Кават-калой). Поэтому только к четвертому году работ картина древней оросительной сети начала постепенно приобретать тот вид, который отражен на прилагаемой карте.

---

[1] См. Термезская археологическая комплексная экспедиция 1936 г. Тр. УзФАН, серия 1, вып. 2. Ташкент, 1941.

[2] В. А. Шишкин. Археологические работы 1937 г. в западной части Бухарского оазиса. Ташкент, 1940.

II. ТОПОГРАФИЯ И СТРАТИГРАФИЯ ПАМЯТНИКОВ ДОИРРИГАЦИОННОГО ПЕРИОДА

После этих необходимых предварительных замечаний я позволю себе перейти к непосредственной характеристике различных памятников, связанных в той или иной мере с древней оросительной сетью Правобережного Хорезма.

Прежде всего я должен остановиться на памятниках доирригационного периода, на памятниках первобытной культуры, ибо их связь с самими такырами «Земель древнего орошения» позволяет пролить некоторый свет на проблему генезиса этих такыров, остававшуюся до настоящего времени в значительной мере спорной.

Если посмотреть на прилагаемую карту, то можно убедиться, что от Аму-дарьи, от г. Турткуля и Шурахана расходится веер полос такыровидных отложений «Земель древнего орошения». Всего таких полос, расходящихся веерообразно по направлению с юга на север, мы отмечаем семь. Возможно, что их было несколько больше. На севере эти полосы сливаются в один, вытянутый в широтном направлении, сплошной массив такыров, непосредственно упирающийся в южный склон Султан-уиз-дага и его восточные отроги — возвышенности Аязкала и Кокча. Между отдельными полосами такыров тянутся гривы глубоких песков, причем эоловые барханные пески, составляющие их поверхность, подстилаются характерным слюдистым, стально-серым аму-дарьинским песком. Этим же песком подстилаются и такыры, достигающие в средней части полос мощности сколо 1,5 метра, причем эта мощность постепенно увеличивается к северу. По краям такыры выклиниваются и окраинные их части достигают мощности не более 10—20 см.

Стоянки неолита и бронзового века расположены вне полос такыров. Они лежат в зоне контакта такыров и песчаных гряд, разделяющих отдельные полосы такыров. Как правило, в тех случаях, когда мы видим неразвеянные стоянки, они оказываются перекрытыми периферическими тонкими такырными отложениями. Наиболее полную картину мы наблюдаем на неолитической стоянке Джанбас-кала № 4, являющейся характерным памятником так называемой кельтеминарской культуры и датируемой концом IV—III тысячелетием до н. э. Эта стоянка была нами обнаружена в окрестностях возвышенности и развалин Джанбас-кала. Стоянка расположена на погребенном песчаном всхолмлении типа бархана, перекрытом тонким слоем такыровидных суглинков. Наибольшая мощность этого перекрывающего стоянку такыра около 40 см. По мере приближения к вершине погребенного бархана мощность такыра падает до 10—5 см и, наконец, в южной части стоянки, соответствующей гребню бархана, такыр совершенно выклинивается, уступая место котловине выдува. Развеянный культурный слой в примыкающей к такыру части котловины и дал нам возможность обнаружить стоянку.

Исследования этой стоянки открыли перед нами довольно полную и характерную картину условий существования неолитических обитателей Хорезма. Это было поселение оседлых охотников и рыболовов. Никаких намеков на скотоводство и земледелие ископаемая фауна и инвентарь стоянки нам не дали. Основным содержанием культурного слоя были многочисленные остатки рыбьих костей, преимущественно принадлежащих щуке и сому. Кроме того, было обнаружено большое количество костей различных диких животных, главным образом дикой свиньи (Sus scrofa), одного из видов оленей (Cervus ex gr. elaphus), степных грызунов, черепах и, наконец, водоплавающей птицы. Найдены также скорлупа яиц водоплавающей птицы и много раковин моллюсков, часть из которых употреблялась в пищу, часть использовалась для изготовления украшений.

Основным занятием обитателей этой стоянки были, таким образом, рыболовство, охота на водоплавающую птицу, охота на наземную, преимущественно лесную (тугайную) фауну, частично собирательство. Анализ фауны, про-

изведенный проф. В. И. Громовым, проф. Г. И. Никольским и рядом других работников Зоологического музея Московского университета, позволяет охарактеризовать окружавший обитателей стоянки ландшафт как контрастное сочетание болотно-тугайного ландшафта с пустынным, причем состав фауны говорит об очень большом сходстве с современным тугайно-пустынным режимом.

Характерной особенностью этой стоянки является место ее расположения. После того как нами был вскрыт покрывающий ее такыр и проведен ряд профилей стоянки, выяснилось, что стоянка представляла собой один большой общинный дом овальной формы размерами 24 × 17 метров. Этот дом из дерева и камыша был возведен на вершине бархана, причем этот бархан поразил нас необычайной ориентировкой. Он имел пологий скат, обращенный к югу, и крутой, обращенный к северу. Обследование окружающего района привело нас к заключению, что это явление не случайное. Многочисленные котловины выдувов, образованные на такырах этого района, все, повидимому, имели первоначальным местом своего образования вершины погребенных барханов, в результате чего мы видим характерную серповидность этих котловин выдувов, особенно молодых котловин, образовавшихся недавно, причем все они повернуты вогнутой стороной к северу. В целом современный рельеф рисуется нам как своего рода негативное отображение древнего, ныне погребенного барханного рельефа. Анализ этого материала позволяет нам притти к ряду заключений, одни из которых могут считаться более или менее установленными, другие должны рассматриваться лишь как рабочие гипотезы, как вопросы, с которыми мы, археологи, должны будем обратиться к специалистам палеоклиматологам и палеогеографам.

Я думаю, что сейчас мы можем уже подойти вплотную к выяснению всей окружающей картины.

То, что сейчас представляется полосами такыров, представляло, повидимому, в ту эпоху замирающие протоки правобережной части древней верхней дельты Аму-дарьи, подпертой Султан-уиз-дагским хребтом, вдоль южного склона которого располагалось озеро, тянущееся с запада на восток. Из восточного угла этого озера воды прорывались в обход Султан-уиз-дагской гряды, на север, к аральской котловине. Свидетельством этого является узкая полоса такыров, тянущаяся через колодцы Таджи-казган и Кара-батыр и на севере сливающаяся с тахта-купырскими (даукаринскими) такырами — остатком одного из древних водоемов Аральской системы. Между протоками правобережной части дельты лежали песчаные острова. Эти-то острова и были местом, где воздвигались постройки обитателей тогдашнего Хорезма. Тугайные заросли и камыши, окаймлявшие эти острова, были местом охоты неолитических хорезмийцев.

Погребенные барханы, на которых залегают неолитические стоянки, повернуты крутым склоном к северу, что заставляет предполагать, что роза ветров Хорезма в IV — III тысячелетии до н. э. резко отличалась от современной и что существующие сейчас северные ветры не были тогда господствующими. Южные ветры, которые сейчас выступают в этом районе лишь в редких случаях затишья северных ветров, обусловили собой формирование древнего песчаного рельефа.

Нельзя в связи с этим не вспомнить, что геологические и географические исследования с каждым годом убеждают специалистов в крайней молодости Арала.

Еще в 1908 г. Л. С. Берг писал: «После окончания ледниковой эпохи климат Туркестана был значительно континентальнее нынешнего, лето было жарче, зима холоднее и осадков меньше, уровень Арала тогда стоял ниже»[1].

Особенно большой интерес для нашей проблемы представляют данные Л. С. Берга о химическом составе аральской воды. Автор обращает внимание на поразительный факт крайне малой солености Арала, находящейся в трудно примиримом противоречии с обильным испарением, с одной стороны, и обилием солей в воде Аму-дарьи и Сыр-дарьи — с другой. По подсчету Берга, «достаточно 322 лет, чтобы реки принесли морю такое же количество по весу солей, какое в нем содержится»[2].

Разумеется, Л. С. Берг совершенно прав, когда говорит, что «сделать отсюда вывод, что водное содержимое моря существует лишь 322 года, конечно, нельзя».

Но ему так и не удается найти удовлетворительное разрешение проблемы малой солености Арала. Из двух единственно возможных гипотез, объясняющих причину что 1) полное высыхание Арала в историческое время (гипотеза Реклю), 2) временный исток, сделавший Арал проточным, автор склоняется ко второй. Однако и здесь он также совершенно прав,— он убедительно показывает невозможность такого соединения в историческое время[3] и замечает, что «время, когда Арал был проточным озером, совпадает, надо думать, с эпохой, непосредственно следовавшей за арало-каспийской трансгрессией»[4].

Эта трансгрессия не может быть отнесена к постплейстоценовому времени и должна быть,

---

[1] Л. Берг. Аральское море. СПБ, 1908, стр. 534.
[2] Цит. соч., стр. 266.
[3] Ср. цит. соч., стр. 529.
[4] Цит. соч., стр. 269.

следовательно, отделена от наших дней периодом порядка 10—20 тысяч лет.

Новейшие авторы, отрицая принимаемую Бергом теорию соединения Арала и Каспия в четвертичную эпоху и относя Аральскую трансгрессию к среднечетвертичному времени[1], также ищут объяснения проблемы малой солености Узбоя в наличии стока из Арала в Каспий. Однако, по их же данным, время деятельности Узбоя относится к верхнекаспийской (хвалынской) эпохе, по времени совпадающей со второй половиной четвертичного периода [2] и большинством авторов относимой к вюрмскому периоду оледенения, т. е., если вообще здесь можно оперировать абсолютными цифрами, отделено от нас 15—30 тысячами лет.

Разница между 300—400 годами и 10—30 тысячами лет слишком значительна, чтобы со всеми поправками на поглощение солей организмами (которыми Арал, как подчеркивает сам Л. С. Берг, крайне беден) за счет деятельности плейстоценовой реки объяснить опреснение Арала.

Нам представляется гораздо более правильным принять, в несколько модифицированном виде, гипотезу Реклю и предположить, что, возникнув в среднечетвертичное время как пресноводное проточное озеро, Арал в постплювиальное голоценовое время, в связи с резким понижением влажности климата, сильно понизил уровень, потерял сток в Каспий, а затем и почти совершенно высох, сохранившись, вероятно, лишь в виде системы реликтовых озер, в которых и могла сохраниться остаточная каспийская фауна.

Эта трактовка проблемы подкрепляется нашими наблюдениями. Господство южных ветров в IV—III тысячелетиях до н. э. должно было с неизбежностью определять резкое понижение влажности климата, а соответственно—сильное усыхание Арала.

Переходя к памятникам следующего периода—бронзового века, мы сталкиваемся с иным характером культуры. Правда, мы не имеем здесь пока столь детально изученных памятников, как стоянка Джанбас-кала № 4, но все же целый ряд исследованных нами памятников дает уже общую характеристику культуры и общий характер залегания культурного слоя.

Облик культуры, оказывающейся чрезвычайно близкой к так называемой андроновской культуре Казахстана, южной Сибири и срубной культуре Поволжья, позволяет сделать определенные заключения. Памятники андроновской и срубной культур известны хорошо. Это памятники, связанные с земледельческо-скотоводческим хозяйством. Керамика тазабагъябского типа, чрезвычайно близкая к этим культурам Южной Сибири и Поволжья, позволяет с почти полной уверенностью утверждать, что быт тогдашних обитателей Хорезма принципиально не отличался от быта носителей андроновской культуры. Но люди попрежнему продолжали жить на песчаных дюнах на побережьи протоков Аму-дарьи, попрежнему не существовало такыров «Земель древнего орошения» с их ирригационной сетью, и наиболее вероятным, с моей точки зрения, является предположение, что земледельческая культура была связана с окраинами этих водоемов, с так называемыми «каирами» («каирными землями»), которые не требуют орошения благодаря высокому стоянию почвенных вод[1]. Как известно, каирный способ земледелия распространен в настоящее время в пойме дельты Аму-дарьи, и весьма вероятно, что этот способ является древнейшим для данного района.

Для неолита и бронзового века мы можем Среднюю Азию разделить на два круга районов. Одни—это районы предгорья, районы контакта гор с равниной, где земледелие возникает на базе использования вод горных речек и ручьев. Здесь, как показали исследования Д. Д. Букинича, земледелие на базе более раннего собирательства диких семян возникает раньше всего (видимо, уже на рубеже IV и III тысячелетий до н. э.). Это зона распространения памятников крашеной, угловато-ленточной керамики анаусского типа[2].

Другие районы — это районы, где земледелие возникает значительно позднее, на базе высокоразвитого оседло-рыболовческого хозяйства, и первоначально, повидимому, не связано с ирригацией. Таковы районы каирных земель, каиров, районы дельт больших среднеазиатских рек и в первую очередь Аму-дарьи.

Памятники следующего периода, относящиеся к так называемой амирабадской культуре по нашей классификации, датируемые первой четвертью I тысячелетия до н. э., дают нам уже новую картину. Для того чтобы достаточно отчетливо понять характер залегания этих памятников, мы должны снова вернуться к стоянке Джанбас-кала № 4, но уже не к ее характеристике, а к характеристике перекрывающих ее такырных наслоений. Стоянка эта, как мы видели, расположена на бархане, причем бархане довольно высоком. Как показал шурф, заложенный нами, желтый барханный песок идет до глубины четырех метров, лишь там сменяясь

---

[1] И. П. Герасимов и К. К. Марков. Четвертичная геология. М., 1939, стр. 336 и сл.

[2] И. П. Герасимов и К. К. Марков. Ледниковый период на территории СССР. М.—Л., 1939, стр. 423.

[1] Б. М. Георгиевский. Южный Хорезм, ч. 1, Ташкент, 1937, стр. 81, сл. и др.

[2] Д. Д. Букинич. История первобытного орошаемого земледелия в Закаспийской области в связи с вопросом о происхождении земледелия и скотоводства «Хлопковое дело», 1924, № 3—4, стр. 92 и сл.

аму-дарьинским аллювием. Затем она оказалась перекрытой такырными отложениями, следовательно, затопленной. Эти такырные отложения носят в нижней своей части слоистый характер с отпечатками болотных растений. Верхняя часть такыров представляет, наоборот, гомогенное образование с слабо прослеживаемой структурой. Может быть, это объясняется почвообразовательными процессами, вероятнее же, как мне представляется, это объяснение нужно искать в том, что процесс затопления стоянки носил сперва периодический характер, в связи с паводками, а затем завершился образованием более или менее устойчивого водоема, лежащего значительно выше уровня более древнего водоема правобережной части древней верхней дельты. На поверхности образованных этим водоемом такыров, перекрывающих стоянку Джанбас-кала № 4, мы находим керамику, относящуюся к амирабадскому времени, к началу I тысячелетия до н. э.

Памятники начала железного века мы находим в двояких условиях. С одной стороны, они встречаются в тех же условиях, как памятники неолитического времени и бронзового века. С другой стороны, мы находим их и на поверхности такыров. Это мы наблюдаем и в окрестностях стоянки Джанбас-кала № 4, и к северо-западу отсюда, между развалинами Джанбас-кала и Кырк-кыз-кала, и в районе развалин города Наринджана.

Отсюда мы можем заключить, что в конце бронзового века и в начале железного, около 1000 г. до н. э., имело место очень значительное повышение уровня воды в этих районах, в результате чего все расположенные, как правило, на высоких местах стоянки неолитического и бронзового периода были затоплены. Видимо, это соответствует по времени последней аральской трансгрессии. Однако это затопление не было, повидимому, особенно долговременным. Возможно, что следствием отмеченного подъема уровня вод был прорыв их через западную часть Султан-уиз-дага, приведший к образованию современного главного русла и новому резкому снижению уровня водоемов, некогда подпиравшихся Султан-уиз-дагом. Мы можем отнести завершение процесса формирования такыров, во всяком случае, уже к началу I тысячелетия до н. э. Протоки были сплошь занесены наносами и превратились в сухие полосы такыровидных суглинков. На поверхности этих такыров началась культурная жизнь, которая продолжалась впоследствии на протяжении двух тысячелетий. Однако памятники раннежелезного века пока еще не связаны с большими ирригационными сооружениями древнего Хорезма. Они лежат, как правило, далеко от ирригационных каналов. Очень характерна в этом отношении локализация целой серии амирабадских стоянок к югу от возвышенности Джан ас-кала. Повидимому, все они располагались на южном берегу озерного водоема, окаймлявшего с юга эту возвышенность. Никаких следов ирригационной сети на маломощных такырах между барханами, где локализованы эти стоянки, не обнаружено. Видимо, земледелие этой эпохи сохранило тот же характер, что и в бронзовом веке, а именно — это было попрежнему каирное земледелие.

III. ДИНАМИКА ДРЕВНЕЙ ИРРИГАЦИОННОЙ СЕТИ

Древнейшие памятники, непосредственно связанные с ирригационной системой, которые мы проследили на поверхности такыров «Земель древнего орошения», датируются более поздним временем: они восходят к середине I тысячелетия до н. э. Хорошо сохранившихся развалин этого времени на территории Правобережного Хорезма нет, и, как мы увидим дальше, это вполне понятно, ибо там, где продолжалась культурная жизнь, более древние памятники разрушались. Эти более древние памятники мы имеем в сохранном виде лишь в левобережьи, в районе древнего канала Чермен-яб (городища Калалы-гыр № 1 и Кюзели-гыр). Но вещи, совершенно подобные тем, которые мы нашли на этих городищах, мы в изобилии находим в окрестностях древних каналов правобережья. Напротив, вдали от этих каналов, там, где локализованы первобытные стоянки, вещи середины I тысячелетия до н. э. не зарегистрированы. Это является достаточно твердым основанием для определения времени проведения древних каналов второй четвертью I тысячелетия до н. э. Кроме того, мы располагаем и некоторыми историческими свидетельствами. Эти исторические свидетельства, на мой взгляд, совершенно неопровержимо доказывают, что к середине I тысячелетия до н. э. ирригационная сеть Хорезма была построена и время ее постройки начало уже окутываться легендарной дымкой в преданиях тогдашних обитателей Хорезма. Я имею в виду известный рассказ Геродота о реке Аке, который В. В. Бартольд, крупнейший из специалистов по истории Средней Азии и истории ирригации в частности, считал наиболее вероятным связывать с Хорезмом и низовьями Аму-дарьи, хотя и находил в тексте некоторые противоречия, мешающие принять это окончательно[1]. За последнее время Томашеком, Германном, Марквартом и другими[2] делались попытки привязать эту легенду к другим районам, в частности, к району Герируда, но, мне думается, эти гипотезы представляются чрезвычайно натянутыми, в то время как гипотеза В. В. Бартольда наиболее вероятна. Вот что пишет Геродот в III книге своего труда:

«Есть в Азии долина, окруженная со всех сторон горами; в горах есть пять проходов; когда-то эта долина принадлежала хорасмийцам, находясь на границе земель самих хорасмийцев, парфян, сарангов и фаманейцев (таманаи.—*С. Т.*), а с тех пор как господство перешло к персам, она принадлежит (персидскому) царю. Из окрестных гор течет большая река; имя ей Ак (Ἄκης). Прежде река орошала земли упомянутых народов, причем отовсюду были проведены каналы, и каждый народ приводил к себе воду по одному из проходов; но с тех пор как они находятся под властью персов, их постигло следующее: запрудив выходы из гор, царь у каждого выхода поставил ворота; воде был закрыт выход, и долина внутри гор превратилась в озеро, так как в нее входила река, а выхода нигде не имела. Для тех, кто раньше привык пользоваться водой, лишение возможности пользоваться ею составляет большое бедствие. Зимой бог посылает им дождь, как и другим людям, а летом они, когда сеют просо и сезам, пользуются водой. Когда они перестают получать воду, то они идут со своими женами в страну персов, становятся у ворот царского дворца, кричат и плачут; царь тогда велит открыть соответствующие ворота тем, кто более всего нуждается (в воде). Когда же земля достаточно пропитается водой, то эти ворота закрываются, и (царь) велит открыть ворота другим, кто более всего нуждается (в воде) из остальных. Как мне рассказывали, он за открытие ворот взимает большие деньги, независимо от (ежегодной) дани»[1].

Прежде чем перейти к анализу этого текста, я позволю себе привести другой текст, восходящий к X веку и принадлежащий перу известного арабского географа Макдиси. Макдиси приводит такую легенду о происхождении хорезмийцев:

---

[1] В. В. Бартольд. Сведения об Аральском море. Ташкент, 1902, стр. 8.

[2] W. Tomaschek, статья Akes в Realenziclopaedie PW, A. Hermann. Alte Geographie des unteren Oksusgebiets. Berlin, 1914, стр. 31—38. Ср. у Marquart. Wehrot und Arang. Leiden, 1938, стр. 9.

[1] Геродот, III, 117.

«... в древности царь Востока разгневался на 400 человек из своего государства, из приближенных слуг (своих), и велел отвести их в место, отдаленное от населенных пунктов на 100 фарсахов, а таким оказалось место (где теперь город) Кас (столица древнего Хорезма, ныне Шаббаз.—*С. Т.*). Когда прошло долгое время, он послал людей, чтобы они сообщили ему о них. Когда те пришли к ним, то нашли, что они живы, построили себе шалаши, ловят рыбу и питаются ею, там много дров. Когда они вернулись к царю и сообщили ему об этом, он спросил: «Как они называют мясо?». Те ответили: «хор» (или «хвар»). Он спросил: «А дрова?» Они ответили: «разм». Он сказал: «Так я утверждаю за ними эту местность и даю ей название Хоразм (Хваразм)». Он велел отвести к ним 400 девушек-тюрчанок, и до сих пор у них осталось сходство с тюрками. Царь, когда сослал их в Хорезм, провел им канал из главного русла Джейхуна, чтобы они жили от него, а главное русло (тогда) достигало города позади Несы, который называется Балхан» (речь идет о Узбое.—*С. Т.*).

Дальше текст, повидимому, несколько испорчен. Мы читаем:

«Он (видимо, царь, сославший предков хорезмийцев.—*С. Т.*) увидал людей крепких, пил и забавлялся вместе с их царем. Хорезмиец обыграл его, а ставкой было то, что он даст им течение реки на один день и ночь. Он исполнил (это), когда же он пустил ее (реку), вода разлилась, он не смог ее запереть, и она стала (течь там) до сих пор. Они провели из нее каналы и построили на ней города, а Балхан пришел в запустение»[1].

Обе легенды чрезвычайно напоминают друг друга. В обеих первоначальное направление течения реки было изменено ввиду каких-то ирригационных сооружений, в обеих с этим связывается образование какого-то большого озера. Обе легенды связаны с территорией Хорезма. Однако рассказ Макдиси содержит две важные детали, которых нет в рассказе Геродота: 1) он связывает эту легенду с запустением земель по Узбою, в то время как Геродот не локализует точно места запустевших земель, ограничиваясь перечислением племен, 2) он говорит, что хотя, как в рассказе Геродота, осуществление поворота реки принадлежит иноземному царю, инициаторами этого были хорезмийцы, о чем Геродот не говорит.

Я думаю, однако, что первое объясняется прежде всего тем, что, как правильно указывал в свое время В. В. Бартольд[2], ни Геродот, ни позднейшие античные авторы не имели отчетливого представления о местоположении Хорезма и даже «не знали, что хорезмийцы живут на Аму-дарье», а второе — различием источников информации обоих авторов: в то время как Макдиси передает хорезмийскую легенду, почерпнутую им непосредственно у хорезмийцев, Геродот пользуется восходящей к той же легенде информацией, прошедшей через западно-иранскую среду.

Тем не менее, несмотря на огромный хронологический разрыв в полторы тысячи лет, первоисточник обоих рассказов несомненно один — хорезмийское предание о начале ирригации в Хорезме и связанном с этим запустении зоны Узбоя.

Возражения против локализации места действия рассказа Геродота в историческом Хорезме сводятся к двум пунктам. Во-первых, Хорезм не окружен горами и поэтому не соответствует описанию Геродота. Во-вторых, перечень народов, фигурирующих в предании, свидетельствует якобы о иной локализации этой долины. Однако мы не можем признать эти соображения основательными. Если для современного жителя Хорезма его страна окружена не горами, а пустыней, то для древнего хорезмийца дело обстояло совершенно иначе. Древние орошенные земли Хорезма, заселенные уже в доирригационный период, о чем свидетельствует распространение амирабадской керамики, повсюду упираются в горы, хотя и не могущие конкурировать с Кавказом или Памиром, но все же достаточно внушительные, что может подтвердить всякий, кому пришлось бродить по скалистым ущельям Султан-тау и видеть суровые обрывы «гыров» и «чинков», окаймляющих древние земли Хорезма с запада. Горы, окружающие древний Хорезм, это — Султан-уиз-даг и его восточные отроги на востоке и северо-востоке, Устюртский чинк на северо-западе, возвышенности Тарим-гая, Гяур-гыр, Зенги-баба, Эшек-ангыран-гыр и другие на юге и юго-западе, составляющие почти непрерывную цепь, через которую прорываются староречья Аму-дарьи. При этом, что, несомненно, важно подчеркнуть, считая современное русло реки (геологически отнюдь не намного более молодое, чем староречья), важнейших древних протоков Аму-дарьи действительно пять: с запада на восток мы имеем долину Туны-дарья—Канга-дарья, затем Даудан—Мангыр-дарья, затем Дарьялык, затем нынешнее русло и, наконец, Су-Ярган[1]. Правда, левые староречья, впадая в Сарыкамыш, дают затем начало одному древнему протоку—Узбою, но и так мы можем скорее не упрекать Геродота в том, что он этого не упоминает, а поражаться точности его информации. «Пятиречье» хорезмийской древней дельты,

[1] BGA. III, 285 сл. МИТТ 1, 185 сл

[2] Орошение, стр. 71.

[1] См. труды Ин-та географии АН СССР 1940. Староречья левого берега хорошо отражены на карте фиг. 11 (против стр. 14).

прочно вошедшее, как мы покажем ниже, в хорезмийскую народную традицию, отразившись в традиционной пятиричности связанных исторически с Хорезмом этнографических и географических классификаций (вплоть до «Бешкала» — «Пятиградье» — как условный термин для обозначения центрального Хорезма хорезмийских хроник XIX века; фактически было, конечно, не пять, а значительно больше городов) отразилось и в геродотовом рассказе.

Что касается перечня этнических имен, заставлявших многих авторов сомневаться в возможности локализовать геродотову долину в Хорезме, то из них три: хорасмии, гирканцы и парфяне, и в историческое время обитавшие если не на Аму-дарье и Узбое, то в непосредственном соседстве с последним, вполне увязываются с приведенной интерпретацией геродотова текста.

Сложнее дело обстоит с сарангами (zaranka древне-персидских надписей), обитавшими во времена Александра Великого в Седжестане, древней Драангиане, и таманаями, локализуемыми в Западном Афганистане. Попытку разрешения этого вопроса нам придется, однако, несколько отложить. Остановиться на этом мы сможем, лишь рассмотрев последующие этапы истории хорезмийской ирригации.

Во всяком случае, приведенные нами легенды являются косвенным доказательством того, что во времена Геродота, в V веке, ирригационная сеть древнего Хорезма уже существовала и была построена достаточно давно, чтобы вокруг истории ее возникновения начали создаваться легендарные рассказы. Вместе с тем эти древнейшие ирригационные сооружения как-то ассоциируются с образованием аральского моря. Связь здесь, понятно, нужно искать не причинную, а хронологическую. Видимо, время древнейших ирригационных сооружений близко ко времени последней Аральской трансгрессии. Археологический материал целиком подкрепляет это предположение. Именно в середине I тысячелетия мы имеем впервые твердые данные о наличии здесь ирригационной культуры, причем ирригационная сеть Правобережного и исследованной нами части Левобережного Хорезма в это время была построена уже целиком.

Мы не можем проследить постепенного развития этой сети. Повидимому, она построена была очень быстро, в течение короткого времени, потому что памятники ахеменидского времени расположены по всем каналам этой сети, в том числе и по такому грандиозному каналу левобережья, как Чермен-яб. Анализ конфигурации древней ирригационной сети позволяет притти к любопытным выводам об истории ее возникновения. Она целиком повторяет конфигурацию древней дельты. Каналы тянутся по средней линии каждой из описанных нами выше веерообразно расходящихся полос отложений лессовидных суглинков древнедельтовых такыров. Это в одинаковой мере относится и к левобережью в обследованной нами его части — чермен-ябских такырах, отложенных крайним южным рукавом сарыкамышской части дельты. Слагается впечатление, что люди как бы сознательно восстанавливали исчезающую (как мы видели, как раз около этого времени) древнюю дельту. Если мы учтем, что задолго до времени создания ирригационной сети каиры древней дельты были густо заселены земледельческим населением, мы, может быть, сможем понять смысл отмеченного явления. Люди как бы подтаскивают, возвращают к своим полям постепенно уходящую воду усыхающих протоков. Весьма возможно, что именно так, ощупью, эмпирически был открыт принцип выведения больших каналов с отнесением головных сооружений далеко вверх по реке, чтобы обеспечить самотечное движение воды на поля. Весьма возможно, что наблюдение естественного движения паводковых вод по руслу высохших протоков определило развитие техники нивелировки трасс каналов. Во всяком случае в отдаленную эпоху создания древней ирригационной сети Хорезма человек еще не противопоставляет себя природе, своей техникой лишь следуя ей, усиливая полезные для него стороны ее деятельности.

В свое время В. В. Бартольд отметил для Согда, для бассейна Зеравшана и Кашка-дарьи, что «арабы, как мы увидим, застали здесь ту же ирригационную систему, которая потом сохранилась без существенных изменений до русского завоевания»[1]. Этот момент он не раз подчеркивает в своих работах. Создание ирригационной сети относится им к домусульманскому времени. Для Хорезма мы можем сказать, что создание ирригационной сети относится ко времени очень далекому от арабского завоевания, отстоящему от него примерно на полтора тысячелетия. Время постройки этой сети может быть нами достаточно определенно датировано второй четвертью I тысячелетия до н. э. Как мы увидим ниже, В. А. Шишкин приходит к близкой датировке создания каналов Нижнего Зеравшана.

Теперь я позволю себе перейти к характеристике дальнейших процессов, которые можем наблюдать в истории древней ирригационной сети Хорезма. Если мы посмотрим на прилагаемую карту, то увидим прежде всего современную оросительную сеть: магистральный канал, называемый Шураханским каналом, или Пахта-Арна, который разделяется на три ныне

[1] В. В. Бартольд. К истории орошения Туркестана, стр. 13—14.

действующих канала: Кельтеминар, Тазабагъяб и Амирабад. Древняя сеть в расширенном виде воспроизводит современную.

Древний Кельтеминар тянется от развалин Эрес-кала, через развалины Ангка-кала и Базар-кала. Видимо, правое ответвление этого канала орошало окрестности крепости Джанбас-кала.

Второй древний канал, соответствующий современному Тазабагъябу, тянется на северо-восток между развалинами Большого и Малого Гульдурсуна к развалинам Кум-баскан-кала, Беркут-кала и Кырк-кыз-кала; большое западное ответвление этого канала тянулось через развалины города Наринджан на север, к крепостям Буран-кала, Кум-кала, Яккепарсан, завершаясь у крепости Малый Кырккыз. Ответвление этого канала шло через развалины Кош-парсан к окрестностям крепости Аяз-кала.

Третий канал, наиболее сильно пострадавший от дефляции, ибо здесь как раз находится район сброса вод системы современного Амирабада, соответствовал последнему и шел на север через развалины Думан-кала.

Севернее Думан-калы, начиная от Джильдык-калы на север, хорошо прослеживается канал, орошавший окрестности Кават-кала, Топрак-кала и Кзыл-кала.

Этот канал, повидимому, может быть с достаточной определенностью отождествлен с каналом Гавхорэ, описанном авторами X—XIII столетий[1]. Гавхорэ, по данным этих авторов, протекал в 12 фарсахах (т. е., примерно, в 70 километрах) от тогдашней столицы Хорезма — города Кята. Голова Шураханского канала, если итти по реке, находится, примерно, в 70 км от города Шаббаза, расположенного на месте древнего Кята. Кроме того, это единственный из больших каналов правобережья, который действовал в X—XI—XIII вв. Размеры этого канала вполне соответствуют тому описанию, которое мы находим у Истахри и других средневековых авторов.

Здесь я воспользуюсь случаем, чтобы исправить ошибку, вкравшуюся в работы В. В. Бартольда по отношению к этому каналу[2]. Дело в том, что, согласно Истахри, этот канал начинался в трех фарсахах ниже теснины на Амударье, носящей название Львиная Пасть (Дахан-и-Шир), а так как это название связывают обычно с тесниной Дульдуль-Атлаган, то и начало этого канала В. В. Бартольд искал где-то в этом районе, предполагая, что расстояние в 12 фарсахов между Кятом (Шаббазом) и Гавхорэ дано Истахри не по течению реки, а по широте. Помимо малой вероятности такого измерения расстояний у арабского географа, район, лежащий в 70 км к востоку от Шаббаза, как и район к северу от Дульдуль-атлаганской теснины, не имеют никаких следов орошения, следовательно, и Гавхорэ следует искать совсем не здесь. В источниках, несомненно, спутаны Дульдуль-атлаганская и Тюя-муюнская теснины, а расстояние последней до головы Шураханского канала лишь не на много превышает 3 фарсаха.

Оросительная сеть Правобережного Хорезма начинает сокращаться с III—IV столетий. До этого времени все каналы действовали полностью. В III—IV веках мы встречаемся с чрезвычайно характерным процессом: выпадают, с одной стороны, восточные ответвления системы, с другой стороны, хвостовые части остальных каналов. Так, древний Кельтеминар, самый восточный из этих каналов, выпадает по большей части своего течения до развалин Карга-Тышкан-кала; одновременно выпадает его правое ответвление, орошавшее окрестности Джанбас-кала. Приходят в запустение окрестности Малого Кырк-кыза и Аяз-кала.

Второй период резкого сокращения ирригационной системы падает на время VIII—IX вв. н. э. К этому времени относится полное выпадение из эксплоатации самого большого правого ответвления Гавхорэ, орошавшего окрестности Беркут-кала и Кырк-кыз-кала. Только верхняя часть второго ответвления, орошавшая окрестности города Наринджан, продолжала действовать и позднее. Выпадает целиком канал, орошавший окрестности крепости Топрак-кала. Только вдоль самого Гавхорэ сохраняется культура и в более позднее время. Видимо, канал Гирье или Карих, который, согласно арабским источникам, ответвляется в пяти фарсахах от верховьев Гавхорэ, соответствовал каналу, орошавшему окрестности города Наринджан.

Третий период сокращения ирригационной сети падает на время XIII—XIV веков. XII—начало XIII века—это время расцвета культуры на такырах Гавхорэ. От этого времени здесь сохранились бесчисленные развалины домов, замков, городов, крепостей. Вся поверхность сплошь покрыта культурными остатками раннего средневековья. Основная масса находок и архитектурные памятники свидетельствуют о том, что последний период интенсивной культурной жизни на этих такырах падает на XII—

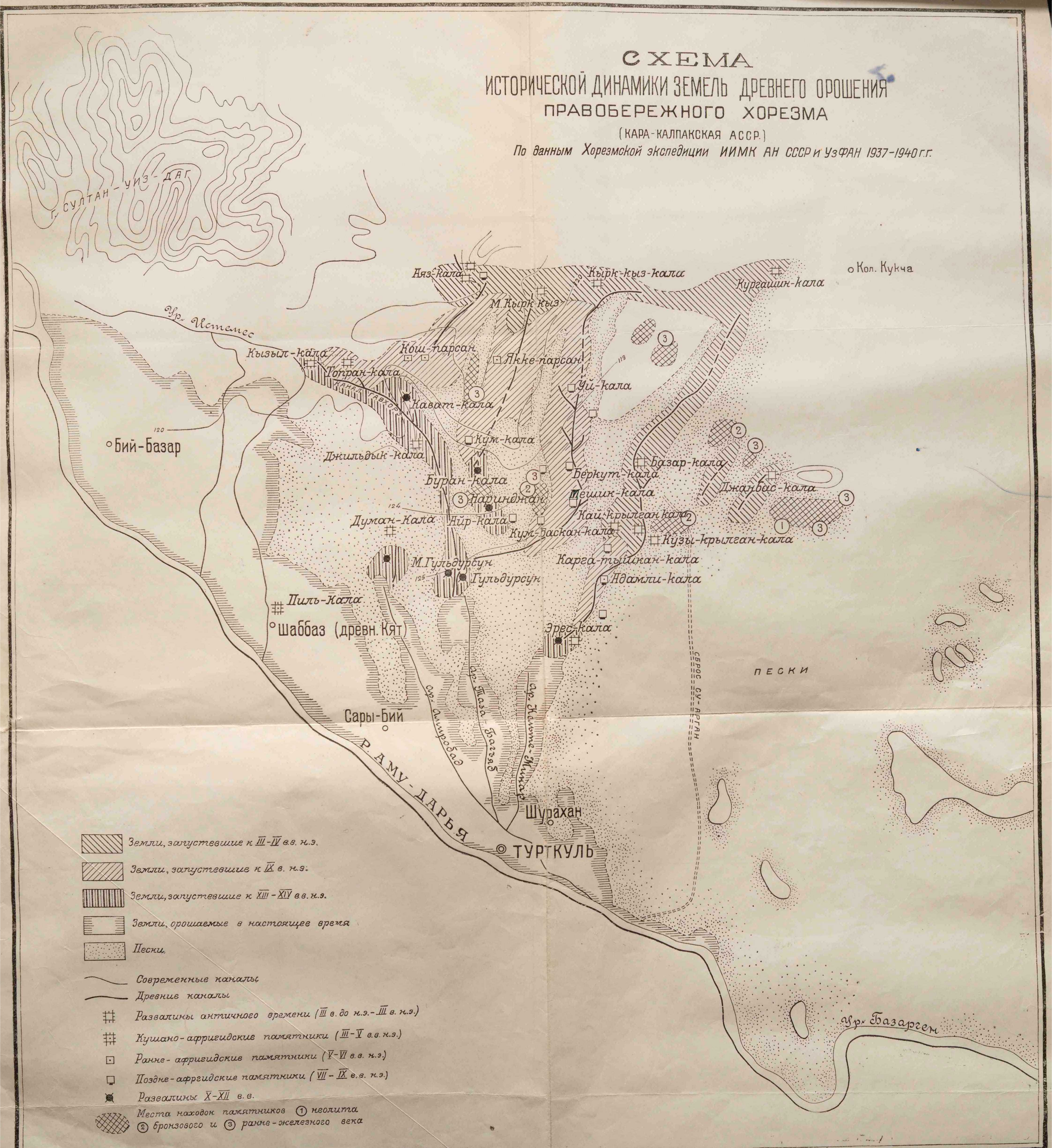
[1] Истахри BG. A. 1, стр. 301. МИТТ 1, стр. 178, 180. Бейхаки, 1862, стр. 586. МИТТ 1, стр. 305. Якут II, стр. 230. МИТТ, стр. 431.

[2] К истории орошения Туркестана, стр. 80. Отметим, что эта ошибочная локализация Гавхорэ вообще довольно распространена в историко-географической литературе. Так, ле-Стрендж (q. Le Strange. The Lands of the Eastern Califate, Cambridge Univ. Press, стр. 452, карта X) на своей карте ведет этот канал от Даргана на север и затем на СЗ, где он оканчивается в 25 англ. милях к востоку от Кята. Впрочем, локализация почти всех городов и каналов Хорезма у ле-Стренджа явно ошибочна.

СХЕМА
ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ ЗЕМЕЛЬ ДРЕВНЕГО ОРОШЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ХОРЕЗМА

(КАРА-КАЛПАКСКАЯ АССР.)

По данным Хорезмской экспедиции ИИМК АН СССР и УзФАН 1937-1940 г.г.



начало XIII столетия. После этого район запустел. Некоторые признаки оживления этого района, правда, очень слабого (следы ремонта разрушенных в XIII веке замков, небольшое количество керамического материала), относящиеся к XIV веку, мы здесь находим; но с XV века жизнь прекращается совершенно. Словом, мы имеем два резких сокращения: первое запустение в XIII веке, некоторое оживление в начале XIV в. и затем второй удар. Арабский путешественник Ибн-Батута[1] пишет, что он в этом районе не встретил ни одного селения. За Кятом, по направлению к Бухаре, начиналась пустыня: в XIII—XIV вв. выпала из эксплоатации не только область древнего орошения, но и современная орошенная область. Земледелие сохранилось, повидимому, только на самом побережьи Аму-дарьи.

Если мы обратимся теперь к памятникам Левобережного Хорезма, известным нам в меньшей степени, то мы увидим там не менее характерную картину. Громадный арык Чермен-яб тянется по направлению к урочищу Хатыб, расположенному на юго-восточной окраине Сарыкамышской котловины. Этот канал полностью действовал с ахеменидского времени до III—IV вв. н. э. После IV века он выпадает целиком. Памятников VI — X вв. мы совершенно не находим на поверхности чермен-ябских такыров, и это вполне соответствует данным арабских источников, которые ничего не говорят нам для X века и более раннего времени о культуре этого района. Канал Мадра, имя которого по всем признакам является древним названием Чермен-яба, доходил, повидимому, в X в. только до границы современной культурной полосы левобережья, соответствуя современному каналу Газават. На протяжении почти тысячелетия земли этого древнего канала остаются запустевшими, вплоть до развалин города Замахшара (ныне городище Змухшир), но в XII веке, в эпоху высшего подъема государства хорезмшахов, эта область снова осваивается почти на всем своем протяжении, вплоть до развалин Шах-сенем. Затем, как и в правобережьи, в XIII веке мы видим резкий упадок культуры, слабо теплящейся в XIV в. С XV века—полное запустение.

Исследования в области Нижнего Зеравшана, проведенные В. А. Шишкиным в 1937 г., позволяют притти к выводу, что закономерности, установленные нами для Хорезма, не являются свойственными только ему одному. В. А. Шишкин прежде всего, так же как и мы, приходит для Нижнего Зеравшана к выводу, что уже очень давно, во всяком случае во времена, предшествующие походам Александра Македонского, ирригационная сеть Нижнего Зеравшана уже существовала.

Вот что он пишет по этому поводу:

«На основании беглого обследования данного района уже можно сказать, что вряд ли прав В. В. Бартольд, утверждавший, что ко времени похода Александра (328 — 327 г. до н.э.) „при отсутствии сильной правительственной власти мало вероятно, чтобы в Средней Азии в эту эпоху были выдающиеся ирригационные сооружения". Сделанные во время нашей экспедиции наблюдения приводят к выводу, что устройство даже хвостовой части Гау-Китфара (и, надо полагать, некоторых других крупных каналов Бухары и других областей Средней Азии) относится ко времени, предшествующему походу Александра.

Гораздо определеннее можно датировать период хозяйственного запустения района «западной группы развалин», приведшего к захвату его пустыней. Археологический материал, собранный здесь, свидетельствует о том, что это явление имело место не позднее середины первого тысячелетия нашей эры».

Иными словами, даты, которые выдвигает В. А. Шишкин, целиком сходятся с нашими датами.

«Вся территория древней земледельческой культуры, за исключением «западной группы», дает в значительной мере другую картину. Если в группе Беш-тепе — Аяк-тепе как бы прощупываются древнейшие изначальные слои, то здесь они совершенно скрыты под многометровой толщей городищ и тепе.

Конечный момент существования земледельческой культуры на этой территории, по археологическим материалам, может быть указан в пределах X—XII вв. нашей эры. Есть некоторые указания... на то, что отдельные пункты были заброшены несколько раньше, но в общем запустение района произошло в течение относительно короткого времени, производя впечатление какой-то грандиозной катастрофы, когда летучие пески решительно преодолели сопротивление человека»[1].

Одним словом, как мы видим, выводы В. А. Шишкина целиком совпадают с нашими выводами.

Что же это за периоды, что это за даты, с которыми связано скачкообразное, резкое сокращение ирригационной зоны и Зеравшана и нижней Аму-дарьи?

---

[1] Voyages d'Ibn Batutah, ed. par Defreméry et Sanguinetti, Paris, 1885, III, стр. 19.

[1] В. А. Шишкин. Цит. соч., стр. 42—43. К аналогичным выводам для бассейна Сурхан-дарьи пришел в 1940 г., подводя итоги работ Термезской экспедиции, М. Е. Массон. «Выяснено также,—пишет он,—что основная система ирригационных магистралей была создана еще в период рабовладельческой формации, так как по берегам главных каналов открыты остатки поселений с керамикой кушанского времени (КСИИМК, 1940, VIII, стр. 114).

IV. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОКРАЩЕНИЙ ИРРИГАЦИОННОЙ СЕТИ ХОРЕЗМА

Установление ряда переломных дат в истории ирригационной сети Хорезма и Нижнего Зеравшана позволяет нам вплотную подойти к выяснению исторических предпосылок фиксированных нами изменений.

Здесь нам в сильной степени могут помочь установившаяся к настоящему времени, хотя и требующая значительного уточнения, социально-экономическая периодизация истории Средней Азии, с одной стороны, и те общие выводы о закономерностях истории ирригации на Востоке, к которым в свое время пришли основоположники марксизма—с другой.

Период максимального расцвета ирригационной сети Хорезма и Нижнего Зеравшана (VII—VI вв. до н. э. — III в. н. э.) — эпоха среднеазиатской античности. Весь этот период, несмотря на сложность его истории, характеризуется большим единством всего комплекса культуры. Типы жилищ и поселений, строительная техника, фортификация, вооружение, одежда и украшения, керамика—этот наиболее массовый материал всякой археологической коллекции, все это, при всем обилии исторических вариаций, не выходит на протяжении античного периода за рамки определенного круга форм. Так, на всем протяжении античности господствует квадратный сырцовый кирпич, обычно стандарта $40 \times 40 \times 10$ см, коробовый свод из трапецевидных кирпичей, расположенных наклонными полукольцами, двойные стены укреплений, со стрелковыми галлереями в верхней части и с характерными, часто расположенными стреловидными бойницами, рассчитанными на навесной бой, квадратные или прямоугольные в плане башни, предвратные лабиринты—все это в одинаковой мере характерно для ахеменидского, кангюйского и кушанского периодов истории Хорезма. Бронзовые втульчатые стрелы скифского типа, продолговатые зернотерки, перстни с овальным глазком, женские и мужские головные уборы в виде фригийской шапки, керамика с преобладающим красным ангобом, ряд форм которой мало варьирует на всем протяжении античной истории Хорезма, также связывают все этапы античного периода. Словом, перед нами одна историко-культурная эпоха, внутренне единая и резко отличная по всему комплексу характеризующих ее признаков от предшествующих и последующих периодов. Это единство культуры заставляет, естественно, предполагать и единство общественно-экономического строя.

Сейчас, в результате многолетних археологических и историко-литературных исследований[1], можно уже с полной определенностью определить этот общественно-экономический строй. Это — восточный вариант античного рабовладельческого строя, то, что мы можем определить термином «общинно-рабовладельческий строй».

Исключительно большая роль общинного уклада твердо устанавливается на основании изучения типов поселений, которому посвящена следующая глава нашей книги. Огромные многокамерные общинно-родовые дома, открытые нами в Джанбас-кале и Топрак-кале, не оставляют в этом сомнения. Вместе с тем как письменные источники, так и общий характер культуры, несомненно, свидетельствуют о классовом характере общества и широком и многообразном применении рабского труда. Господство поселений городского типа, засвидетельствованное и письменными памятниками и археологическим материалом, не оставляет сомнения в рабовладельческом направлении развития общества.

Наиболее важным документом политической истории является нумизматический материал.

---

[1] См. наши работы: Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ 1938, № 1, Тирания Абруя, «Исторические записки», III, 1938, а также цитированные в начале нашей книги отчетные статьи о работах нашей экспедиции за 1937—1939 гг.

По крайней мере, для кушанского времени (I—III вв. н. э.) этот материал свидетельствует о высокой степени политической централизации, ибо даже массовая медная монета кушанских царей одинаково типична для различных концов Кушанской империи — Хорезма и Северной Индии. Не менее характерна для этого вывода цепь замыкающих хвостовые части всех каналов Правобережного Хорезма крепостей, построенных большею частью еще в докушанское время, и производящая впечатление построенной по единому государственному плану обороны земледельческой полосы со стороны пустыни.

Итак, мы можем притти к определению трех наиболее интересующих нас в связи с нашей темой особенностей общественно-политического строя античной Средней Азии. Это— община, рабство, централизованное государство. Вряд ли нужно напоминать, что это именно те особенности, которые Маркс и Энгельс считали наиболее существенными предпосылками расцвета восточного ирригационного хозяйства[1].

«Эта элементарная необходимость экономного и совместного использования воды, которая на Западе толкнула частную предприимчивость соединяться в добровольные ассоциации, как во Фландрии и в Италии, на Востоке, где цивилизация была на слишком низком уровне и где размеры территории слишком обширны, чтобы вызвать к жизни добровольные ассоциации, повелительно требовала вмешательства централизующей силы правительства. Отсюда та экономическая функция, которую вынуждены были выполнять все азиатские правительства, а именно функция организации публичных работ»,— писал Маркс в статье «Британское владычество в Индии» 10 июня 1853 г.[2].

«Земледелие,—писал Энгельс Марксу 6 июня 1853 г.,—здесь (на Востоке.—*С. Т.*) построено на искусственном орошении, а это орошение является уже делом общины, области или центральной власти»[3].

И в тех же статьях и письмах Маркс и Энгельс с предельной четкостью открывают нам причины упадка древних ирригационных культур Востока.

«Эта система искусственного оплодотворения почвы, зависевшая от центрального правительства и приходившая немедленно в упадок при нерадивом отношении этого правительства к ирригационным и осушительным работам, объясняет тот необъяснимый иначе факт, что мы видим теперь бесплодными и пустынными целые территории, некогда бывшие прекрасно обработанными, как, например, Пальмиру, Петру, развалины Иемена и обширные провинции Египта, Персии и Индостана. Этим также объясняется тот факт, что одна разорительная война оказалась способной обезлюдить страну на целые столетия и лишить ее всей ее цивилизации»[1].

Это положение целиком подтверждается всей совокупностью наших материалов.

Установленная нами выше дата создания ирригационной сети Хорезма в этой связи представляет немаловажный интерес. Напомню, что до настоящего времени в науке остается открытым вопрос о времени возникновения государственности в Средней Азии. Как известно, Прашек в свое время подвел итоги дискуссиям XIX в. по этому вопросу, придя к заключению, что источники не дают права предполагать существование доахеменидского древне-бактрийского царства, в котором не сомневалось большинство исследователей XIX века (Дункер и др.). Недавно в посмертной работе Маркварта опубликована гипотеза последнего о существовании в доахеменидский период большого Хорезмийского царства, гегемония которого простиралась до северных границ современного Ирана[2]. Хотя мы и не можем принять всю аргументацию Маркварта [он исходит главным образом из показания Геродота о принадлежности хорезмийцам долины р. Ака, которую он без должных оснований (см. выше) принимает за Герируд], однако я думаю, что наш материал позволяет поставить вновь на пересмотр вопрос о существовании в Средней Азии доахеменидской государственности. Во всяком случае, создать великие каналы Хорезма могла только централизованная восточная деспотия.

Если мы учтем, что советская историография в связи с новыми археологическими открытиями все больше и больше обосновывает среднеазиатское происхождение и доахеменидский возраст Авесты и религии Заратуштры и что до сих пор наиболее обоснованной остается гипотеза того же Маркварта, разделяемая В. Р. Бартольдом и целым рядом позднейших исследователей о локализации Айрьянем-Вэджо в Хорезме, то это, вместе с нашими данными по ирригации, должно явиться сильным аргументом в пользу того, что в доахеменидский период, видимо, во второй четверти I тысячелетия до н. э. на территории Средней Азии складываются по меньшей мере два примитивных государственных образования — Хорезм — государство, с нашей точки зрения, тождественное с Кангхой~Кангюем, с центром в южном Приаральи, и Бактрия— с центром на Верхней Аму-Дарье (аргументацию в пользу существования доахеменидского Бактрийского государства см. в наших рабо-

---

[1] Соч., IX, 347—348, XIV, 182, XXI, 493—494 и др.
[2] IX, 338.
[3] XXI, 493.

[1] IX, 348.
[2] I. Marquart. Wehrot und Arang. Leiden, 1938, стр. 9—10.

тах в ВДИ 1938 г. № 1 и в I томе «Истории СССР» изд. ИИМК АН).

Период, с которым связано первое значительное сокращение ирригационной сети Хорезма, IV — VI вв. нашей эры, характерен во многих отношениях. Прежде всего мы можем охарактеризовать его как период полного и очень бурного изменения всего комплекса культуры. Античная культура сменяется тем, что мы называем культурой афригидской. Поселения городского типа приходят в упадок и запустевают. На место античного типа расселения приходит столь характерное для всей позднейшей истории Хорезма расселение разбросанными укрепленными большесемейными усадьбами—«курганчами». Место общинно-государственной фортификации занимает достигающая своего расцвета частная фортификация. Меняется и строительная техника. Здания возводятся уже не из кирпича, отступающего на второй план перед начинающей господствовать пахсовой глинобитной кладкой, доминирующей в строительстве Хорезма и сейчас. Там, где кирпич сохраняется, резко меняется его стандарт ($35 \times 35 \times 8$ см—размер, столь же характерный для афригидского Хорезма, как $40 \times 40 \times 10$—для античного). Пахсовые монолитные стены крепостей, круглые угловые башни, донжоны, фланкирующие ворота, небольшого размера прямоугольные бойницы (только в башнях) характеризуют полную смену системы фортификации. Большие трехперые черешковые железные стрелы приходят на смену трехгранным втульчатым ме ным, перстни с круглым глазком заменяют античную форму с овальным глазком, значительно более грубая, сделанная на ручном круге керамика домашнего производства вытесняет образцы античного городского гончарного ремесла. Место овальных античных зернотерок занимают круглые вращающиеся ручные жернова. Даже в мелких бытовых деталях ощущается эта смена эпох. Классическая античная борода на монетных изображениях сменяется бритым подбородком и небольшими усами—результат распространения центральноазиатской кочевнической моды, любопытный документ варварских движений, разрушивших античную империю Среднего Востока — царство кушанов.

Нумизматика дает и более важные свидетельства о происшедших переменах в сфере политической жизни. Мы не имеем уже единой монетной системы, как в кушанское время. Хорезмские, бухарские, согдийские, кабульские и другие цари различных областей бывшей Кушанской империи начинают чеканить свою монету, резко отличную по типу и свидетельствующую о разных направлениях культурно-политических связей (сохранение эллинистического типа в Хорезме, сасанидские влияния в Бухаре и Кабуле, китайские в Согде и т. д.).

Да и весь облик культуры различных районов, сравнительно однообразный в кушанское время, приобретает резко выраженную локальную окраску, и материальная культура даже столь близко расположенных областей, как Хорезм и Бухара, оказывается по многим признакам глубоко различной.

Сопоставляя эти данные археологии со скудными, но вполне определенными свидетельствами письменных источников, мы можем заключить, что IV—VI вв., время первого крупного сокращения ирригационной сети Хорезма, это время крупных социально-политических изменений, видимо, носивших катастрофический характер. Это время упадка античной Кушанской империи и распада ее на отдельные враждующие между собой государства, имеющие тенденцию к дальнейшему раздроблению. Это время варварских завоеваний гуннов — эфталитов, а затем тюрков — тугю. Это время обострения социальных противоречий, выливающихся во вспышки открытых гражданских войн (ср. тиранию Абруя в Бухаре в 80-х годах VI века). Это, наконец, и в этом главное, время разложения общинно-рабовладельческого строя и бурного роста элементов феодальной экономики. Я акцентирую именно это, во избежание того, чтобы видеть единственную причину упадка оросительной сети непосредственно в разрушении ее во время военных катастроф — гражданских войн, усобиц и варварских нашествий. Эти катастрофы—лишь один из факторов, хотя и немаловажный. Напомню в этой связи цитированные выше слова Маркса:

«Этим (ролью искусственного орошения.— *С. Т.*) также объясняется тот факт, что одна разорительная война оказалась способной обезлюдить страну на целые столетия и лишить ее всей ее цивилизации»[1].

Главное, однако, в изменении самого способа производства и политического строя: разрушении трех устоев древней ирригационной культуры — общины, рабства, централизованной деспотии.

Второй период сокращения ирригации (после некоторой стабилизации VII — VIII веков), падающий на время IX, отчасти VIII столетия, не менее богат историческим содержанием. Это время, последовавшее за арабским завоеванием. Общеизвестны широкие народные антифеодальные движения Абу-Муслима и Муканны. В Хорезме мы видим аналогичное народное движение в еще более ранний период: к 712 г. относится восстание Хурразада, против которого правивший тогда хорезмшах призвал арабского полководца Кутейбу ибн-Мус-

[1] IX, 348.

лима, жестоко подавившего это восстание. Этот открытый еще восстанием Абруя в конце VI в. период народных движений — период победоносного наступления феодальных порядков на пережитки общинно-рабовладельческого строя, еще продолжавшего доминировать в хозяйственно-политической жизни Средней Азии. Торжество феодальных порядков и предшествующий этому социальный кризис—вот историческая база, на которой происходит второе резкое сокращение оросительной сети. Видимо, период последующий (об этом свидетельствуют и исторические источники и археологические памятники) был периодом, когда разрушенная в эпоху арабского завоевания и народных антифеодальных движений оросительная сеть в какой-то мере воссоздается, но воссоздается в ничтожной степени, и лишь XII — XIII вв. являются периодом бурного возрождения ирригационной системы, особенно в левобережной части Хорезма, где был центр хозяйственной и политической жизни страны. Вспомним, что это время подъема и расцвета средневековой империи хорезмшахов, в результате которого Ургенч делается к началу XIII века грандиозной столицей величайшего государства Востока, простиравшегося от Грузии до Тянь-Шаня и от Арала до Инда.

Хорезмийские археологические памятники XII—начала XIII века в высшей степени показательны. Это время подъема и расцвета зрелого феодального общества Средней Азии. Наиболее показательным, с нашей точки зрения, является резкий сдвиг в типе фортификации Хорезма: снова частная фортификация сходит на-нет. Грозные замки аристократии и большесемейных крестьянских общин исчезают. Мы видим неукрепленную крестьянскую усадьбу и загородные замки мелких и крупных феодалов, укрепления которых претерпевают глубокое декоративное вырождение. Тонкие стены этих укреплений богато орнаментируются рядами изящных полуколонн и резьбой по сырой глине. Угловые башни приобретают декоративный характер. Военная роль замков сводится к нулю. Зато огромный прогресс может быть отмечен в отношении государственной фортификации. Такие крепости, как Гульдурсун или Кыз-кала, пограничные укрепления хорезмшахов, дают нам сложную систему фортификационных сооружений, — рвы, выносные башни, соединенные с основными подъемными мостами, низкие внешние стены-барьеры, обстреливаемые сверху с башен и с основных стен и т. д.—все это демонстрирует нам исключительный прогресс в сфере военного искусства.

Итак, перед нами несомненные памятники централизованной феодальной монархии, помогающие нам понять причины нового подъема ирригационного дела в Хорезме. Политическая централизация, мощное государство, регулирующее ирригацию, содействуют бурному, хотя и кратковременному, росту ирригационного хозяйства Хорезма (отметим, впрочем, что и в этот наиболее цветущий период средневековья ирригационная сеть далеко не достигает своих античных границ).

XIII век—катастрофа монгольского завоевания. Некоторые робкие попытки возрождения в начале XIV века и вторая катастрофа, во всяком случае для Хорезма и нижней Сыр-Дарьи,— походы Тимура. Как это ни парадоксально звучит, но время больших мировых завоевательных империй XIII — XV вв., время монгольской и тимуридской империи, было временем наибольшего развития феодально-удельной раздробленности Средней Азии. Кратковременный период возрождения политической централизации при самом Тимуре мало что изменил, ибо это был одновременно период жестоких внешних войн, особенно тяжело отразившихся на северной периферии Средней Азии. Военные разрушения, с одной стороны, и политическая раздробленность, отсутствие мощной регулирующей ирригационное хозяйство центральной власти, с другой, являются ключом к пониманию той крайней степени упадка, в который впадает ирригация Хорезма в XIII — XV вв.

Дальше мы обращаемся уже преимущественно к сведениям исторических источников. Они дают нам возможность заключить, что возрождение ирригационной сети Хорезма падает на узбекский период, период после завоевания Шейбани-хана. Уже XVI век дает нам целый ряд сведений о постройке больших каналов. Так, например, Али-Султан строит канал Ташлы-Ярмыш. Араб-Мухаммед-хан, отец знаменитого Абульгази-хана, в 1602 г. также проводит большой канал. Особенно энергичная строительная деятельность связана с именем самого Абульгази и его сына и преемника Анушахана. Примерно к 1681 г. относится постройка канала Шахабад, ныне Шават. К концу XVII или самому началу XVIII века относится постройка канала Газават и города, носящего то же название[1].

В этой связи стоит подчеркнуть, что нередко у нас в литературе имеется тенденция рассматривать XVI — XIX вв. в истории Средней Азии как время хозяйственного и культурного упадка. Эта точка зрения совершенно неверна. Можно говорить лишь об отставании темпов развития Средней Азии от Запада, корень чего лежит, повидимому, как и в России, в тяжелых последствиях монгольского нашествия. С точки зрения внутреннего развития период XVI — XIX вв. был, безусловно, прогрессивным. Вновь, в част-

[1] В. В. Бартольд. История орошения, стр. 94 сл.

стности, выступают с особой силой тенденции политической централизации, формирования позднефеодальных абсолютных монархий, объединения Средней Азии вокруг трех экономических и политических центров — Бухары, Хивы и впоследствии Коканда.

Ирригационное строительство, как ярко свидетельствуют нам хивинские хроники, становится в центре внимания узбекских правительств. В частности, к этому периоду относится и восстановление древней ирригационной сети правобережья Верхнего Хорезма, каналы которого построены в конце XVIII—в XIX столетиях.

Середина XVIII века — время глубокого социально-политического кризиса, когда, по словам Муниса, «деревни и пашни обратились в заросли, озера—в камышевые болота, дикие звери заменили людей; в столице оставалось не более 40 семейств, по некоторым известиям не более 15; пятничный намаз совершался в присутствии 3—4 человек». Как известно, этот кризис переживают одновременно и другие области Средней Азии.

Конец XVIII—XIX вв.—время нового хозяйственного подъема и новых ирригационных строительств.

Таким образом мы видим, что наши археологические работы, в связи с письменными источниками в той мере, в какой они могут быть привлечены, позволяют сейчас для Хорезма и в меньшей мере, в силу меньшего разворота работ, для целого ряда других районов установить определенную закономерность исторической динамики культурных земель.

Первый и очень важный вывод, который мы должны сделать для исследуемого нами района, заключается в том, что со времени создания ирригационной сети правобережья, т. е. со второй четверти первого тысячелетия до нашей эры, и до настоящего времени эта система сохранила ту же конфигурацию и что, следовательно, мы не имеем никакого права утверждать, что за это время могли произойти сколько-нибудь серьезные изменения в режиме этого участка Аму-Дарьи.

Второй вывод, который мы должны сделать на основании исследования полученного нами материала, это то, что сокращение ирригационной системы Хорезма, Нижнего Зеравшана, видимо, Сурхан-Дарьи и Ферганы, носит скачкообразный характер, падает во всех районах на одни и те же исторические периоды, причем предпосылкой является переход от рабовладельческого общества к феодальному и последующий рост феодальной раздробленности, феодальные усобицы и кочевнические завоевания.

Периоды относительного подъема и повторного частичного освоения древних орошенных земель неизменно совпадают с периодами роста политической централизации — важнейшего условия успешного развития ирригационного хозяйства.

Мне представляется таким образом, что сейчас мы можем совершенно определенно отказаться от имевших широкое хождение в литературе разнообразных гипотез, объяснявших запустение земель древнего орошения естественно-историческими факторами, такими, как изменение базиса эррозии той или иной реки, изменение направления течения реки, общее усыхание Средней Азии и т. п.[1].

Было бы, конечно, ошибкой и упрощением вопроса игнорировать естественно-исторические факторы в процессе запустения этих земель. Процесс засолонения, процесс размыва периферических частей культурных земель, процесс наступления песков усиливают действие социально-исторических факторов. Ясно, что когда общество переживало периоды кризиса, природные факторы играли свою роль, усиливая действие социально-исторических

[1] Между прочим, первая, очень интересная теория этого типа принадлежит перу гениального хорезмийского ученого XI в. ал-Бируни и изложена им в его интереснейшем труде «Тахидд нихайат ал-амакин фитахсих масафат ал-масакин», выдержка из которого, извлеченная из архива В. В. Бартольда, недавно опубликована в «Вестнике древней истории» 1941, № 1, стр. 193—194. Ал-Бируни дает, на основании анализа древних русел и других следов деятельности вод, стоящую почти на уровне геологических теорий XIX века концепцию миграций Аму-Дарьи, давая первое научное объяснение происхождения Келифского Узбоя и Унгуза, древних русел Северных Кызыл-кумов и, наконец, Устюртского Узбоя. Однако вскрытые им процессы относятся к далекому геологическому прошлому, и его попытка связать с этими древними изменениями Аму-Дарьи происхождение различных групп развалин не выдерживает критики в свете историко-геологических и археологических данных. Никак нельзя поэтому согласиться с автором комментария к указанному отрывку из ал-Бируни С. Л. Волиным, который пытается, опираясь на гипотезу Бируни о древнем, направлявшемся к Фарабу (Отрару) русле Аму-Дарьи, полемизировать с нашей теорией о доминировании социально-исторических факторов в процессах запустения древних орошенных земель Хорезма. Под многочисленными развалинами городов по фарабскому руслу Аму-Дарьи Бируни разумеет, несомненно, не исследованные нами развалины, хронологически в большинстве своем слишком к нему близкие и, вероятно, хорошо ему известные, а действительно очень многочисленные развалины по Жаны-Дарье, которую Бируни ошибочно трактует как русло Аму-Дарьи, исходя из действительного соединения старых русел правобережной дельты Аму-Дарьи с руслами Сыр-Дарьинской системы в Юго-восточном Приаралье.

Во всяком случае, теория Бируни, являясь блестящим документом естественно-научной мысли раннесредневековой Средней Азии, к нашим памятникам никакого отношения не имеет.

причин, но первопричиной этих процессов являются, несомненно, социально-исторические факторы. Видимо, социально-исторический фактор вообще в истории самой природы Средней Азии должен учитываться в большей мере, чем это сейчас делается.

Сейчас мы можем вновь вернуться к отложенной нами в начале настоящей главы проблеме Узбоя. Я хочу обратить внимание на весьма любопытное хронологическое совпадение тех данных, которые мы извлекли из письменных источников и археологических памятников об исторической динамике орошенных земель Хорезма, с данными по истории течения воды по Узбою, с историей Сарыкамышской котловины и других озер дельты Аму-Дарьи.

Многолетние геолого-географические исследования зоны Узбоя, опровергнув гипотезу Коншина о его морском происхождении, показали вместе с тем, что не только в историческое время, но и в пределах геологической современности эта долина не была нормально функционирующей рекой. Время ее функционирования относится к ранне-четвертичному периоду.

Однако исторические свидетельства говорят нам как-будто иное.

Как мы знаем, античные памятники с достаточной определенностью позволяют установить, что в середине первого тысячелетия до нашей эры узбойский рукав Аму-Дарьи еще существовал[1]. Гекатей Милетский, дошедший до нас в изложении Геродота и отчасти Страбона, сам Геродот и ряд последующих авторов говорят нам о том, что долина Узбоя представляла собой сильно обводненную область. Было ли здесь постоянное сплошное течение или значительно большее обводнение, чем сейчас, связанное с временными прорывами паводковых вод,—сказать трудно, но несомненно, что Узбой был гораздо более обводненным, чем в позднейшее время[2].

Начиная с конца первого тысячелетия нашей эры, мы все больше и больше видим, что античная традиция забывает Узбой. Так, Помпоний Мела (автор I в. н. э.)[1] ничего не пишет об этом рукаве, точно так же, как и другой позднеантичный автор Аммиан Марцеллин[2]. У обоих мы находим прямые указания только на аральское устье Аму-Дарьи.

Как установил В. В. Бартольд, период между XIII и XIV вв.—это период, когда снова появляются сведения об обводненности Узбоя[3]. К концу XVI века Абульгази относит его новое, окончательное усыхание.

В конце XVIII и начале XIX вв. хивинскими хрониками Муниса и Огахи зарегистрирован ряд значительных прорывов аму-дарьинских вод на запад, через старое русло[4].

Все эти сведения позволяют установить одну характерную закономерность. Древние сведения об Узбое относятся к самому началу ирригационного земледелия в Хорезме. Цитированные выше легенды о повороте Аму-Дарьи в Арал неизменно связывают этот поворот с теми или иными ирригационными мероприятиями.

---

[1] A. Hermann. Цит. соч., стр. 8 сл.

[2] Древнейшим свидетельством об Узбое является рассказ Геродота о реке Араксе, приведенный в описании похода Кира против массагетов (1, 202). Уже это исключает возможность отожествления этой реки с современным закавказским Араксом. Как уже показал Hermann, совершенно ошибочной и в корне противоречащей самому смыслу геродотова рассказа является довольно прочно утвердившаяся в литературе тенденция связывать геродотов Аракс с Яксартом (Сыр-Дарьей), единственным основанием чего является мнимое созвучие этих названий, на деле не имеющих между собой ничего общего и ни в какой лингвистической среде не могущих перейти одно в другое. Напротив, среди многих названий Аму-дарьи, восходящих к языкам разноплеменного древнего населения ее побережий (Окс, Огуз, Вахш, Акес, Дайтья), мы имеем одно, зафиксированное в Авесте в форме Ранга и в форме Аранг, несомненно, фонетически очень близкое к Аракс. Да и самая локализация и описание этой реки у Геродота—а практика анализа древних текстов учит, что прежде всего нужно исходить из них самих и лишь во вторую очередь из того, насколько они увязываются с гипотетическими построениями прежних исследователей—не оставляет сомнения в том, что здесь речь может итти только об Аму-Дарье.

В этом тексте Геродот пишет: «Река Аракс вытекет из земли Матиенов, откуда берет свое начало и река Гинд, которую Кир разделил на 360 каналов. Она (Аракс) изливается сорока устьями; все устья, за исключением одного, теряются в болотах и топях. Здесь живут, говорят, люди, питающиеся сырой рыбой и одевающиеся в тюленьи шкуры. Единственный из рукавов Аракса протекает по открытой местности и впадает в Каспийское море».

Я думаю, что нет никаких оснований, как это делает В. В. Бартольд (Сведения об Аральском море, стр. 5, прим. 3), сомневаться в правильности отождествления Гинд—Инд у Коншина. (Разъяснение вопроса о древнем течении Аму-Дарьи. Зап. ИРГО XXXIII № 1, 1897, стр. 166) и Глуховского (П опуск вод Аму-Дарьи по ее старому руслу в Каспийское море, СПБ, 1893, стр. 2). Место Геродота, на которое в этом случае ссылаются (1, 189), явно путает Инд с Индом-Диялой, притоком Тигра. И описание устьев реки, и локализация на ней войны с массагетами, кочевья которых, по тому же Геродоту, да и вообще по всем данным античных авторов, начинались непосредственно к востоку от Каспийского моря, позволяют считать, что Коншин прав, хотя нельзя, конечно, не учесть и отмеченного Hermann'ом некоторого смешения Геродотом сведений о трех Араксах античности (Аму-Дарья, Волга, Аракс).

[1] De Situ Orbis. III, 42. Так интерпретирует, и на наш взгляд правильно, A. Hermann (цит. соч., стр. 24) известие о впадении Окса и Яксарта в «Скифский залив». Уже А. фон-Гумбольдт (1844, стр. 518) указал, что Мела описал современное течение Аму-Дарьи. Указание Мелы на «Скифский залив» (Арал), как часть Каспийского моря, A. Hermann (стр. 25) справедливо рассматривает как ошибку под влиянием старых источников.

[2] XXIII, 6, 59. Ср. Бартольд. Сведения об Аральском море, стр. 18.

[3] В. В. Бартольд. К истории орошения Туркестана, стр. 89 сл. Сведения об Аральском море, стр. 50 сл.

[4] В. В. Бартольд. К истории орошения, стр. 98—99.

Расцвет античного ирригационного хозяйства сопровождается постепенным затуханием традиции о каспийском рукаве. Напротив, время упадка ирригационной системы имеет своим историческим следствием появление новых сведений о течении воды по Узбою. Восстановление ирригационной системы непосредственно ассоциируется с новым прекращением этих сведений.

Лохтин (1879 г.)[1] объяснял поворот Аму-Дарьи в сторону Аральского моря заносом русла, связанным с разбором воды на орошение. Раньше и позднее варианты этой гипотезы высказывались рядом авторов (Дженкинсон, Штумм, Вуд)[2], из которых последним являлся известный историк—эллинист Тарн[3], который в своей большой монографии 1938 года о грекобактрийском царстве, в разделе, посвященном истории античного Оксо-Каспийского водного пути, пытается объяснить установленный В. В. Бартольдом факт обводнения Узбоя в средние века разрушением ирригационных систем верхней и нижней Аму-Дарьи монголами и сбросом излишка воды в Сарыкамыш и Узбой. Конечно, пока мы не провели детального археологического обследования самой долины Узбоя, окончательно этот вопрос решен быть не может. Однако в качестве рабочей гипотезы мне все же представляется весьма вероятным, что сброс излишка воды в Сарыкамыш, а частично, может быть, и в Узбой, стоит в прямой зависимости от степени использования аму-дарьинских вод на орошение[1].

Мы можем теперь возвратиться и к вопросу о геродотовом рассказе о реке Акес. Для нас важно отметить, что усыхание Узбоя в XVI столетии имело одним из своих последствий широкое переселенческое движение туркменских племен из зоны Узбоя и связанных с ним кочевий Мангышлака на юг. Так, локализуемое Абуль-гази[2] на Узбое племя Али-эли между XVI и XVII вв. передвигается на юго-запад до Андхоя. Племя Эрсари с Балхана и Мангышлака передвигается в Мургабский оазис и т. д.

Есть все основания предполагать, что как изменение режима Узбоя в конце XVI и XVII вв. послужило толчком к передвижению туркменских племен Узбоя на юг, в юго-восточную Туркмению и Иранский и Афганский Хорасан, так и аналогичное изменение VII—VI вв. до н. э. могло послужить предпосылкой для аналогичного движения, приведя сарангов и таманаев в места их зарегистрированного античными авторами обитания.

---

[1] В. Лохтин. Река Аму-Дарья и ее древнее соединение с Каспийским морем. СПБ., 1879.

[2] Цит. по Д. Д. Букинич. Старые русла Окса и аму-дарьинская проблема. М.—Л., 1906 (отд. оттиск из 4 книги «Библиотеки хлопкового дела»), стр. 8—9. См. также Лохтин, цит. соч., стр. 52.

[3] W. Tarn. The Greeks in Bactria and India. Cambridge, 1938, стр. 492—493.

[1] Если мы учтем, что по данным В. Цинзерлинга для заполнения Сарыкамышской котловины до отметки 36,0 саж. над уровнем Каспия и образования стока в Узбой потребуется в течение 65 лет ср.-год. расход воды 30 кб. саж. в секунду, в то время как расход на ирригацию в начале XX в. составлял, по данным того же Цинзерлинга, свыше 1 млрд. кб. саж. в год, и что в результате монгольского нашествия оросительная сеть Аму-Дарьи сократилась, по крайней мере, на $^1/_3$ по сравнению с современной, в этой гипотезе не будет ничего невероятного. См. В. Цинзерлинг. Орошение на Аму-Дарье. М., 1927, стр. 80, 141, 526, 527 и др.

[2] Aboul-Ghazi, ed. par Desmaisons, стр. 207 (texte).

V. К ИСТОРИИ ПОВТОРНЫХ ОСВОЕНИЙ «ЗЕМЕЛЬ ДРЕВНЕГО ОРОШЕНИЯ» ХОРЕЗМА

В заключение я должен остановиться на проблеме повторных освоений этой территории на протяжении ее исторического развития и на вопросе о мелиоративных мероприятиях древнего населения Хорезма.

Я уже отмечал факты повторного освоения этих земель в различные периоды. Между тем мы знаем, что в специальной почвоведческой литературе, посвященной проблеме «Земель древнего орошения», ставится вообще под сомнение возможность освоения этих земель, и, во всяком случае, выдвигается вопрос о необходимости сложных мелиоративных мероприятий[1]. Однако факт широкого освоения в XII веке черменябских «Земель древнего орошения» говорит, что такое освоение является тем более возможным теперь, когда в наших руках имеются несравненно более могучие технические средства.

Каковы же были те мелиоративные мероприятия, которыми пользовалось древнее население Хорезма?

Прежде всего мы можем установить широкое использование для удобрения старых построек — этот своеобразный бич среднеазиатских археологов, от которого сильно страдают древние сооружения, постоянно разбираемые на удобрение полей.

Обращаю внимание на один чрезвычайно характерный факт. Во всех районах сохранившиеся развалины относятся именно к тому времени, когда данный район окончательно запустел. Более ранних развалин, как правило, нет. В лучшем случае мы находим на поверхности такыров следы более древних планировок, сравненных (распашкой) заподлицо с землей, но зато мы имеем повсюду бесчисленное множество керамики, металла, стекла и т. д. и т. п., относящегося к более раннему времени, чем расположенные рядом развалины. Все это разбросано по поверхности древних полей. Иногда этот сплошной покров керамики и других культурных остатков создает впечатление, что здесь был какой-то большой центр, чуть ли не город. Но перед нами, конечно, не остатки поселений, а результаты разноса этих поселений на поверхность полей в качестве удобрения. Введение этого приема относится, несомненно, уже к античному времени. Во всяком случае, на поверхности такыров, запустевших в античное время, мы это явление уже наблюдаем.

Второй прием—это внесение песка. Здесь мне приходится базироваться не на своих наблюдениях, а на наблюдениях специалиста—почвоведа Давидовского, который, ссылаясь на исследования проф. Димо, пришел к выводу, что находящийся в поверхностных слоях такыров крупнозернистый песок не мог попасть туда естественным путем[1]. Таким образом современный прием мелиорации почв путем внесения песка применялся также уже начиная с античной эпохи.

Третий прием, повидимому, получил широкое развитие только в средние века—это перенесение земли с одного места на другое, что явилось одним из методов борьбы с засолонением. Датировка этого приема может быть определена путем сопоставления античных, афригидских и средневековых земель древнего орошения. И первые и вторые лишены погребенных культурных слоев вне пределов жилых комплексов. Напротив, в районах с памятниками средневекового времени (например Кават-кала) на различной глубине были зарегистрированы нами тонкие прослойки с остатками античной керамики—следы погребенной дневной поверхности

---

[1] М. Р. Давидовский. Земли древнего орошения Каракалпакии и перспективы их освоения. «Каракалпакия», Л.—Л., 1934, стр. 85 и др.

[1] Давидовский. Цит. соч., стр. 82.

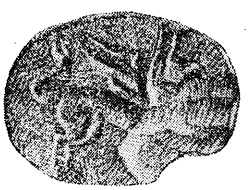
древних полей. То же отмечает Георгиевский для Хорезмской области[1].

Таким образом древние земледельцы и ирригаторы в античную эпоху и, во всяком случае, начиная с раннего средневековья, широко применяли те самые мелиоративные мероприятия, которые применяются в местном земледелии Хорезма и по сей день. Повидимому, уже античная ирригационная техника мало отличается от доживающей до наших дней традиционной местной техники. Поскольку это можно проследить по устройству каналов, по структуре распределительной и оросительной сети, существенных, принципиальных различий мы отметить не можем.

Остановлюсь в двух словах на вопросе о времени появления чигиря (водоподъемного колеса). Несомненные чигирные горшки появляются с самого начала средневековья. Но не исключено, что для более раннего времени применялось и более примитивное водоподъемное сооружение, именно шадуфы—водоподъемные журавли. В пользу этого говорит тот факт, что Хорезм является единственной областью Средней Азии, где до наших дней применяется колодезный журавль. Если сопоставить это с тем, что Хорезм сейчас основной район чигирного орошения (заменяемого теперь насосным), то локализация ареала колодезного журавля в Средней Азии именно в Хорезме может быть совершенно не случайной.

Несмотря на то, что наши исследования захватили сравнительно еще небольшую территорию и длились в течение короткого периода времени, все же мы можем в известной степени отвести тот упрек, который был брошен в 1937 г. археологам проф. И. П. Герасимовым. Кое-что археологические исследования могут уже дать для решения целого ряда вопросов, связанных с хронологией земель древнего обводнения и особенно для истории древнего орошения Средней Азии. Вывод о том, что главной причиной запустения некогда цветущих областей древнего орошения являются факторы социально-исторические, вооружает нас в борьбе за новое освоение этих земель, ибо утверждения о необратимых, якобы, естественных закономерностях, которые часто высказывались в качестве аргумента против возможности нового освоения этих земель, тем самым отметаются. Но еще огромные территории Средней Азии остаются необследованными в этом отношении, еще далеко не все получено из письменных источников, которые могут нам помочь в выяснении целого ряда темных вопросов. Работы В. В. Бартольда только положили начало нашим исследованиям в этом направлении.

[1] Георгиевский. Цит. соч., стр. 98 и сл. Отметим, что Б. М. Георгиевский определяет быстроту нарастания культурно-поливных наносов с учетом внесения компоста на 1,5 мм в год. Между тем, по данным его шурфовок (стр. 100), залегание керамической прослойки (древняя дневная поверхность античной эпохи) в культурно-поливных землях достигает не свыше 1,60 м. Отсюда можно сделать тот же вывод, что и из наших наблюдений в Кават-кала, что мелиорация путем переноса земли в связи с борьбой с засолонением насчитывает в истории агрикультуры Хорезма давность около 1000 лет, т. е. может быть приурочена лишь к средневековью.



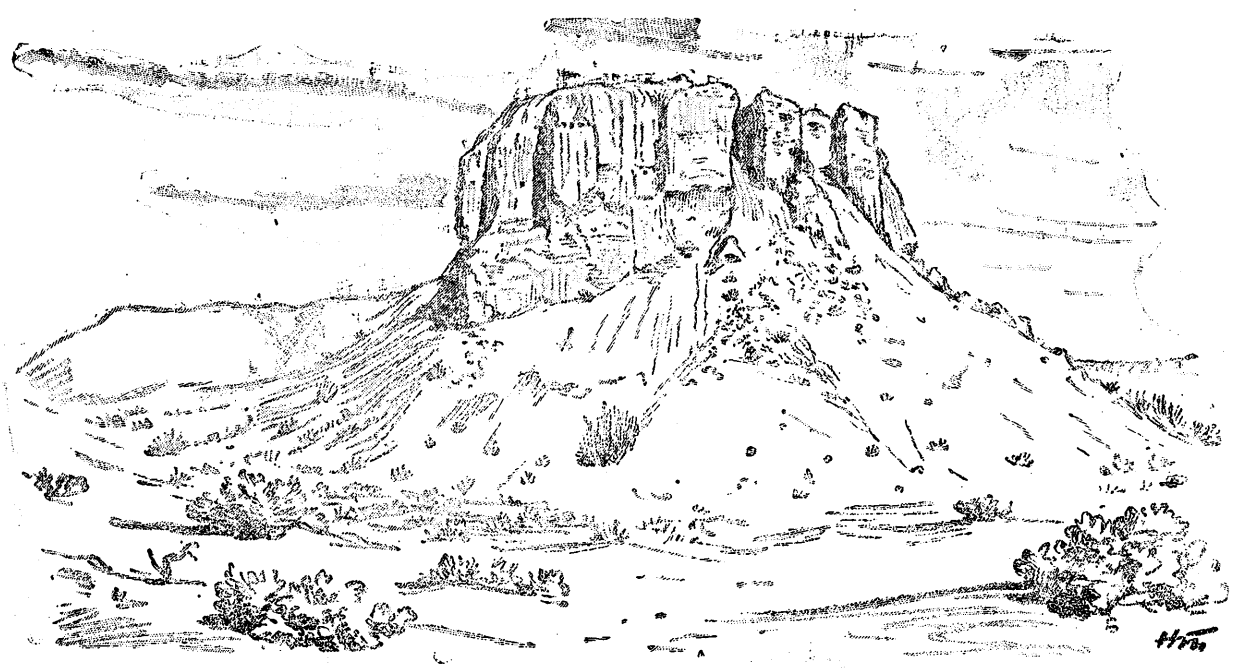
ГЛАВА III

БАШНЯ АФРИГА

(История типов поселений древнего Хорезма в связи с социально-экономической историей)

«И построил Африг свой замок внутри ал-Фира в 660 году от Александра, и ведут летоисчисление от него и потомков его».

Ал-Бируни.



Топрак-кала

I. ВРЕМЯ ШАЛАШЕЙ РЫБОЛОВОВ (Первобытный Хорезм)

«Когда те пришли к ним, то нашли, что они живы, построили себе шалаши, ловят рыбу и питаются ею. Там много дров».

Ал-Макдиси. BGA, III, 285.

1. ХОРЕЗМИЙСКИЙ НЕОЛИТ

Взятые нами в качестве эпиграфа строки исследованного в предыдущей главе текста ал-Макдиси о первоначальной колонизации Хорезма представляют для нас немалый интерес. В исторической традиции хорезмийцев в эпоху раннего средневековья еще жили смутные воспоминания об исходном этапе развития древне-хорезмийской цивилизации—о времени, когда на песчаных островах огромной древней дельты Окса, в богатой водами приаральской низине обитали оседлые племена первобытных рыболовов, далеких предков создателей яркой и своеобразной цивилизации античного Хорезма.

В 1,5 км к югу от Джанбас-калы в 1939 г. была обнаружена первая в Хорезме стоянка неолитической культуры, названной нами по имени ближайшего населенного пункта кельтеминарской, Джанбас-кала № 4, найденная сотудниками экспедиции, студентами МГУ А. Я. Абрамовичем и Н. Н. Вактурской.

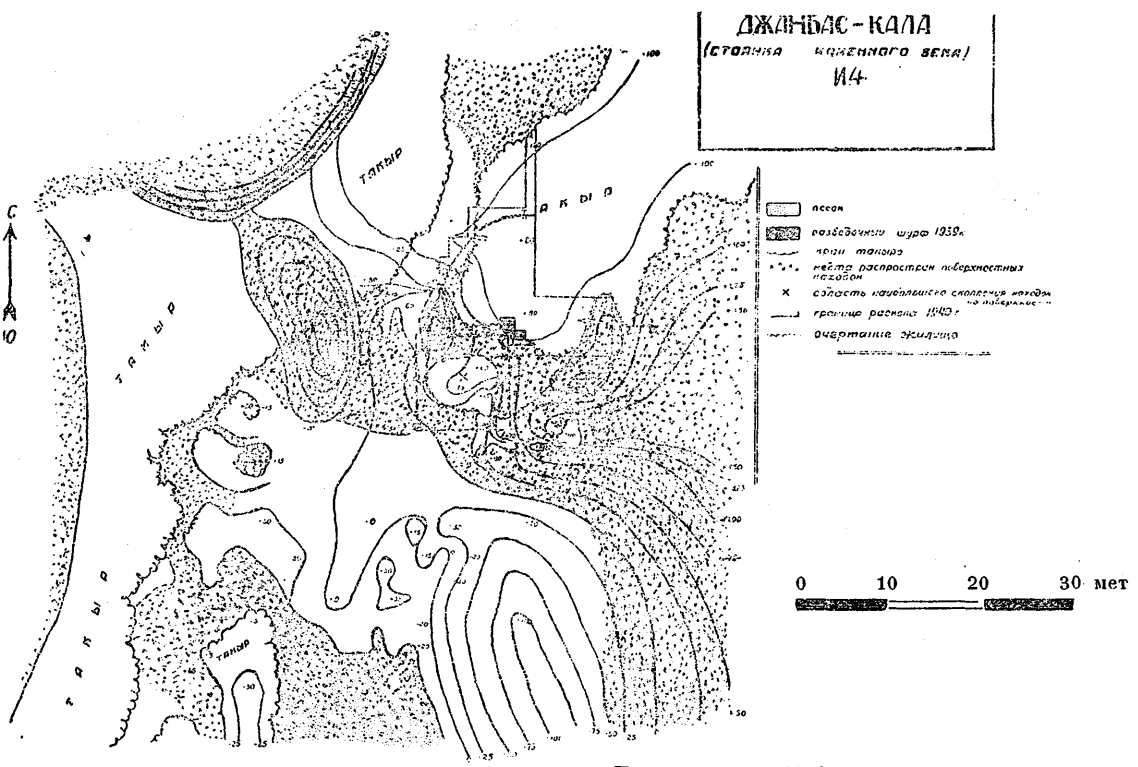


Рис. 1. Местоположение стоянки Джанбас-кала № 4.

Стоянка Джанбас-кала № 4 (см. табл. 8—16) занимает одну из расположенных у подножья Джанбаскалинской возвышенности плоских песчаных котловин выдува, почти сплошь покрытую многочисленными культурными остатками—керамикой, костями рыб, птиц, млекопитающих, раковинами, кремневыми отщепами и орудиями и т. д. Находки лежат прямо на песке и на несколько сантиметров под поверхностью песка. Рядом с окаймляющим котловину с севера такыром находится возвышающаяся на 25—30 см над окружающим песком площадка в 15 кв. м из губчатой песчано-глинистой массы с примесью голубовато-серой золы (как показало дальнейшее исследование, неразвеянный останец культурного слоя). На площадке больше всего находок. В средней части площадки обнаружено много небольших песчаниковых плиток, разбросанных по периферии квадрата около 4 кв. м. Заложенный на краю такыра неподалеку от описанной площадки разведочный шурф дал стратиграфию стоянки.

Верхний слой—тонкая (5—26 см) такырная корка, утолщающаяся к центру такыра (где, по данным раскопок 1940 г., она достигает 40 см). Корка состоит из розовато-серого лёссовидного суглинка, разделяющегося на слои, между которыми видны отпечатки широколистных болотных растений. Корка подстилается тонким синеватым глинисто-песчаным слоем, под которым лежит серовато-желтый дюнный песок. Уже в верхних слоях песка начинают попадаться культурные остатки—отдельные кремневые пластинки, осколки керамики и, особенно, кости рыб. Под этим слоем на глубине 45—50 см под поверхностью лежит темный золистый слой, содержащий наибольшее количество находок. Он достигает мощности 6—10 см и подстилается желтым дюнным песком с многочисленными костями рыб. На глубине около 1,5 м находки в песке прекращаются.

Переходим к характеристике находок, учитывая, что стоянка, несомненно, имеет один культурный слой, отложившийся за сравнительно незначительное время.

Анализ орудий и фауны стоянки позволяет видеть в кельтеминарцах охотников и особенно рыболовов. Об этом говорит огромное количество рыбьих костей, переполняющих культурный слой на всей площади стоянки. По предварительному определению костей профессором Г. В. Никольским, среди рыб преобладают щука и сом. Кости млекопитающих представляют остатки пищи, они сильно фрагментированы. Все определимые кости принадлежат, по определению проф. В. И. Громова, исключительно диким животным: дикая свинья (Sus scrofa), олень (Cervus ex gr. elaphus), козуля (Cervu cupreoles), черепаха и ряд диких птиц. Кроме того, многочисленны находки раковин и наземных и пресноводных моллюсков[1] и скорлупы птичьих яиц.

Состав фауны, по заключению В. И. Громова, говорит о резко отличном от современного характера ландшафте, о значительной обводненности местности и о наличии лесных зарослей.

Большой интерес представляют детали залегания культурного слоя. Жилище было расположено на песчаной дюне, на растоптанной вершине бархана, причем сохранившийся его рельеф показывает, что бархан был повернут своей крутой вогнутой стороной к северу. После того как дом сгорел и был заброшен, он, еще во время существования других жилищ стоянки, был занесен песком, образовавшим несколько маленьких песчаных всхолмлений, также повернутых

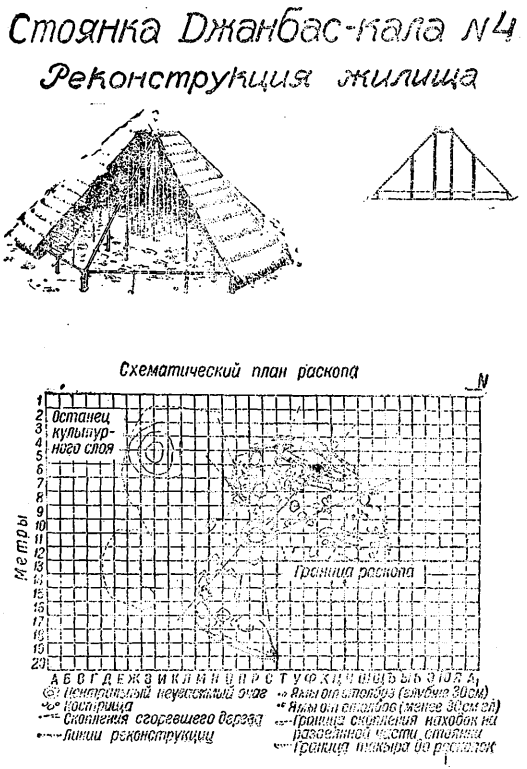


Рис. 2. Раскопки неолитического жилища.

вогнутой стороной к северу. Рельеф этих всхолмлений сохранился под покрывающей его тонкой такырной коркой, образовавшейся в результате затопления стоянки озерными водами[2].

Вся совокупность этих данных заставляет нас, как уже отмечалось выше, предполагать,

[1] По определению Б. Н. Цветкова:

1. Pulmonata: 1) Planorbis planorbis var. sub angulatus Phil., 2) Planorbis ehrenbergi Beck., 3) Lymnaea sp., 4) Futicicoda sp. ?. Lamellibranchia, 5) Anodonta cyrea var. и Anodonta Ullensis var.

По заключению В. Н. Цветкова, наличие Anodonta, Pl. planobris и Lymnara свидетельствует о наличии реки с многочисленными старицами и мелкими водоемами.

[2] См. нашу статью ВДИ № 1 за 1941 г.

что направление ветров в IV—III тысячелетиях до нашей эры было прямо противоположным современному.

В 1940 г. на стоянке нами была вскрыта площадь в 200 кв. метров и проведены сборы подъемного материала с развеянной части стоянки—также около 200 кв. метров, с регистрацией находок по квадратам и нанесением на план. В целом таким образом в плане зафиксировано около 400 кв. метров площади стоянки.

Как показали раскопки, стоянка Джанбас-кала № 4 представляет собой одно большое общинное жилище с четко очерченными границами, за пределами которых количество находок резко сокращается.

Жилище имело в плане форму, приближающуюся к овалу, в основе которого лежал вытянутый с ССВ на ЮЮЗ многогранник. Общая площадь жилища 24 × 17 м, т. е. около 290 кв. м. Жилище было наземным и имело деревянный каркас в виде системы столбов и балок, перекрытой сверху камышевой кровлей. Столбы, от которых остались углубления, выполненные черноватой золистой массой с углями, образовывали три концентрических кольца—одно по периферии многогранника, одно приближающееся по форме к квадрату—в центре, вокруг центрального очага, о котором речь будет ниже, и одно в промежутке между предыдущими. Глина при постройке жилища совершенно не использовалась. На столбы опирались радиальные стропила кровли, на которых лежала частая обрешетка из жердей. План рухнувшей кровли дома хорошо прослеживается по интенсивным углистым полосам на поверхности основного культурного слоя. Везде на площади дома встречается значительное количество обуглившегося камыша—остатки перекрытия крыши. В центре жилища был расположен большой центральный очаг, круглый в плане, 1,20 м в диаметре, резко отличающийся по типу от многочисленных бытовых очагов, расположенных в несколько рядов по периферии жилища. Основными чертами центрального очага являются: 1) отсутствие в нем и вокруг него бытовых находок и кухонных остатков, которыми изобилуют обычные очаги; 2) совершенно иной характер золы: в то время как в бытовых очагах мы имеем преимущественно черную и серую золу и угли, здесь мы имеем плотный чистый белый пепел, свидетельствующий о полном сгорании топлива; 3) под центральным очагом лежит полуметровый слой песка, который в результате длительного прокаливания получил ярко-красную окраску. Аналогичный красный песок подстилает и обычные бытовые очаги, но там его слой не превышает 0,5—2 см.

Все это в целом заставило нас притти к заключению, что мы имеем здесь очаг не бытового, а культового назначения, при этом очаг, в котором в течение длительного времени поддерживался неугасимый огонь. По всем данным мы имеем здесь дело с неугасимым очагом, являвшимся религиозным центром обитавшей в большом доме родовой общины.

Так как (к этому мы еще вернемся ниже) дата кельтеминарской культуры в целом и стоянки Джанбас-кала № 4, в частности, не может быть позже начала III тысячелетия до н. э. (совокупность данных позволяет скорее относить ее к IV тысячелетию), мы должны констатировать, что в центральном очаге большого дома нашей стоянки мы имеем наиболее древний памятник культа огня в Средней Азии, да, пожалуй, и вообще на Востоке. Этот факт приобретает особый интерес в связи с той ролью, которую культ огня играет впоследствии в маздеизме—господствующей религии домусульманской Средней Азии и Ирана.

Неугасимый огонь стоянки Джанбас-кала № 4 является новым аргументом в пользу неоднократно подчеркивавшегося нами[1] положения об архаическом, восходящем к культам первобытной общины, характере основного ядра маздеистской религии, и в первую очередь тех черт, которые придают ей особое своеобразие по сравнению с другими религиями древности (культ огня, дуализм, своеобразный погребальный обряд и др.).

Как мы уже отметили, на периферии жилища располагались в несколько рядов бытовые кострища. В раскопанной части жилища, составляющей 144 кв. метра, таких кострищ вскрыто 56, откуда надо заключить, что вместе с развеянной и оставшейся пока нераскопанной частью дома число бытовых кострищ должно измеряться цифрой не менее сотни. Однако здесь должно быть учтено, что очаги—неодновременны (это вытекает из того, что некоторые из них перекрывают друг друга) и большинство их существовало недолго, из чего можно заключить, что места очагов менялись сравнительно часто. Из анализа расположения кострищ и находок можно заключить, что, повидимому, они первоначально были расположены в 2 ряда—один близ внешней стены дома и второй в 4—5 метрах от первого по направлению к середине дома. Вместе с тем наблюдается некоторая закономерность распределения кострищ по секторам дома, образуемым радиальными линиями столбов. Центральная площадка каждого такого сектора, как правило, свободна от кострищ. На северо-северо-восток от центрального очага располагалась вытянутая по длинной оси дома полоса, также свободная от бытовых кострищ. Судя по группировке кострищ и находок, вход в жилище, повидимому, располагался по сере-

[1] С. П. Толстов. Черты общественного строя Восточного Ирана и Средней Азии по Авесте. «История СССР», I—II, изд. АН СССР. М.—Л., 1939, стр. 186—188.

дине его короткой северной стороны, куда явно продолжается упомянутая свободная от кострищ полоса. Против предположения о возможности нахождения входа в южной развеянной части жилища говорит исключительное обилие и равномерное распределение находок в этой части, заставляющее предполагать здесь непрерывные линии кострищ, так как основная масса находок в раскопанной части дома неизменно связана с кострищами.

Характер планировки дома позволяет сделать некоторые заключения о характере родовой организации кельтеминарцев.

Обилие бытовых кострищ, остающееся несомненным и при учете разновременности их, и самый факт неустойчивости, подвижности очагов говорит против выделения из общины прочной парной семьи, с которой связаны устойчивые конструктивно оформленные очаги больших домов трипольской[1] и ананьинской[2] культур, которые, как и большие дома Бискупинского селища[3], должны быть отнесены к последнему этапу материнского рода, к эпохе его полного расцвета, сочетающегося с первыми признаками его разложения.

Еще в большей мере это относится к протоисторическим многокомнатным общинным жилищам поселения близ Персеполя, открытого и раскопанного Э. Герцфельдом в 1923—1928—1931 гг.[4], типологически примыкающим, несмотря на ранний возраст (IV тысячелетие) к многокомнатным общинным домам античного Хорезма (Джанбас-кала. Топрак-кала, см. ниже).

Для кельтеминарской культуры вероятнее всего был характерен дислокальный брак, во всяком случае еще очень слабая устойчивость парной семьи. Жилище кельтемирнарцев более архаическое, чем длинные дома ирокезов[5], скорее может быть сближено с общинными хижинами манданов[6], бакаири и особенно с общинными хижинами андаманцев[7], с которыми кельтеминарцев сближает не только круглый план, но и наличие центрального неугасимого общинного огня и планировка бытовых очагов вокруг него.

Количество обитателей дома должно было быть очень значительно. Манданские дома—около 11 м в диаметре (около 96 кв. м) вмещают 30—40 человек. Андаманские жилища—около 14 м в диаметре (около 154 кв. м) вмещали, по Мэну, до 100 человек. В манданском доме на одного человека падает таким образом от 2,4 до 3,2 кв. м, вандаманском—около 1,5 кв. метров. Исходя из этих цифр, количество обитателей большого джанбас-калинского дома (около 290 кв. м) может быть определено от 90 до 185 человек. Думаю, что мы вряд ли намного ошибемся, если примем цифру около 100—125 человек.

Добытый при раскопках материал позволяет уже сейчас предложить опыт реконструкции кельтеминарского жилища, привлекая к данным, непосредственно почерпнутым из раскопок, данные наиболее конструктивно близких жилищ первобытных народов, известным по этнографическим данным. В частности, на этих параллелях основывается определение высоты жилища—8—10 метров. Действительно, общинные хижины андаманцев при диаметре 60 футов (около 17 м) имеют высоту 30 футов (около 8,5 м), при диаметре 20 метров—высоту 10 метров. Анализ как пропорций андаманского дома, так и других однотипных построек показывает, что наиболее распространенным в круглых постройках первобытных народов отношением высоты к диаметру является 1 : 2, т. е. уклон кровли близок к 45°. Это наиболее целесообразное решение, дающее: 1) оптимальное распределение действия силы тяжести по обоим направлениям—вертикальному на столбы и наклонному—вдоль склона крыши, 2) уклон крыши достаточно сильный, чтобы дождь и снег с нее скатывались, и вместе с тем достаточно пологий, чтобы не сползли сама обрешетка и перекрытие кровли. Тополя—одно из основных растений аму-дарьинских тугаев—доставляли прекрасный материал для высоких столбов здания.

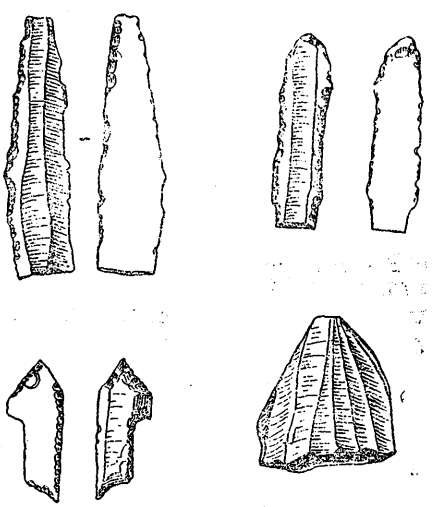


Рис. 3. Кремневые орудия из стоянки Джанбас-кала № 4.

---

[1] Т. С. Пассек, Исследования трипольской культуры в УССР за 20 лет. ВДИ, 1938, 1/2, стр. 265—266.

[2] А. В. Збруева. Коллективное жилище в Прикамье. ВДИ. 1940, 2, стр. 200 сл., рис. на стр. 201.

[3] М. В. Воеводский. Остатки торфяного поселения Лужицкой культуры в Польше. ВДИ, 1938, 2/3, стр. 224 сл.

[4] E. Herzfeld. Iran in the ancient East, L.—NY. 1941, pp. 10—11.

[5] Л. Г. Морган. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. Л., 1934, стр. 80 сл.

[6] Там же, стр. 85.

[7] A. R. Brown. The Andaman Islanders. Cambridge 1922, стр. 35, E. H. Man. The aboriginal Inhabitans of Andaman Islands. London, 1883.

Исключительно обильный кремневый материал (наряду с белым и коричневым прекрасного качества кремнем, много орудий из яшмовидных пород) представлен большим количеством микролитоидных лезвий, скребков, резцов, скобелей, проколок, одношипных наконечников стрел из пластин с односторонней обработкой, кремневых наконечников с двусторонней плоской ретушью, типа, характерного для сибирского и уральского неолита (рис. 3).

Очень близкие аналогии к кельтеминарскому кремневому инвентарю мы встречаем в упомянутом выше поздне-неолитическом поселении близ Персеполя, открытом Герцфельдом (ср. изображения орудий на рис. 1, стр. 12 в Iran in the Ancient East).

Найдены также более крупные и грубые ножевидные пластины с ретушью и шлифованные плоские сланцевые ножи с дугообразным рабочим краем. Несколько фрагментов крупных шлифованных орудий (топоров?) из зеленого камня не дают, к сожалению, возможности полностью определить их форму. Во всяком случае, это не сверленые топоры. Костяные орудия представлены большим количеством длинных, цилиндро-конических, иногда со слабым перехватом по шейке, наконечников стрел и двумя крупными костяными орудиями, требующими реставрации (повидимому, основы для орудий со вкладышами). Добыто большое количество плоских песчаниковых плиток с зашлифованной поверхностью, находимых вокруг очагов, много красной и желтой краски. Украшения представлены обильными бусами и подвесками из привозных морских раковин, цветных камней, птичьих костей. Преобладают цилиндрические раковинные (Scaphopoda, три вида рода Dentalium) и костяные пронизки и овальные, с отверстием у одного из концов, каменные и костяные плоские подвески, плоские створки раковин (Pecten sp. и Cardium edule L.) с отверстием у одного края и т. п.

Стоянка дала многочисленные остатки нескольких типов круглодонных сосудов. Прежде всего сосуды, покрытые разнообразным штампованным и штриховым орнаментом, расположенным кольцевыми зонами, особенно в верхней части сосуда (рис. 4, 5).

Венчики сосудов—прямые, с очень незначительным утолщением изнутри по краю. Характерна идущая по перегибу от корпуса к шейке зона орнамента из отдельных вытянутых трапеций или прямоугольников, заполненных вертикальными оттисками овального штампа.

Керамика сравнительно тонкостенная, относительно хорошего обжига, с желтовато-коричневой гладкой поверхностью, иногда сохраняющей остатки красной окраски. Эта керамика пока занимает обособленное место среди окружающих культур. Она в какой-то мере входит, как наиболее раннее звено, в комплекс культур энеолита северо-восточной Европы и северо-западной Азии, сближаясь с древне-ямной культурой восточной Европы и особенно с афанасьевской культурой южной Сибири[1], отличаясь от них значительно большим архаизмом. Однако наиболее близкие аналогии и в керамике и в кремневых орудиях мы встречаем на далеком северо-западе, в Прикамье, в Лёвшинской энеолитической стоянке у устья р. Чусовой, исследованной А. В. Шмидтом[2] и Н. А. Прокошевым[3] и датированной этими авторами концом III тысячелетия до н. э.[4].

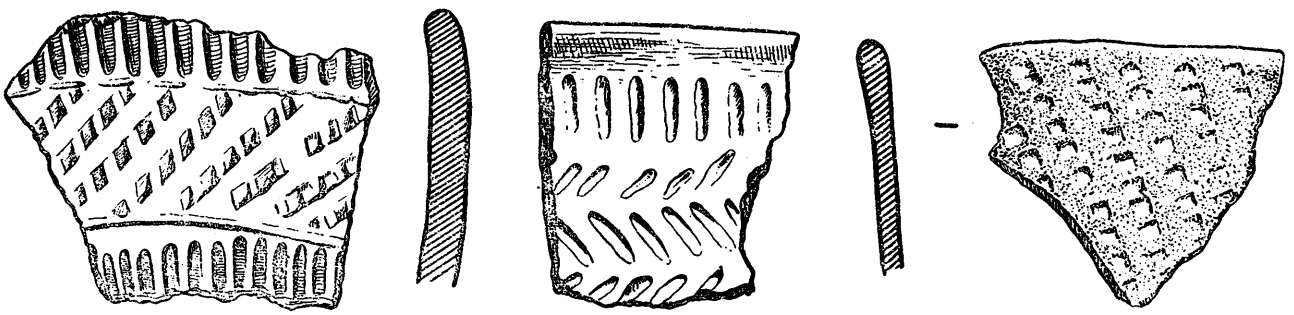


Рис. 4. Образцы керамики из стоянки Джанбас-кала № 4.

Наличие металла (медный нож) и находка днища плоскодонного сосуда заставляют, однако, считать и Лёвшинскую стоянку более поздней, чем Джанбас-кала № 4, подкрепляя нашу приведенную выше дату.

Несомненные, хотя и значительно более удаленные, черты связи с кельтеминарской обнаруживает и керамика памятников нижнеобского неолита, исследованных В. Н. Чернецовым[5].

[1] Теплоухов. Древние погребения в Минусинском крае. «Материалы по этнографии», III, 2, Л. 1927, стр. 72—76, особенно табл. VI, рис. 7, 10, 4, а также табл. III, рис. 1 и табл. IV, рис. 1—2.

[2] А. В. Шмидт. Левшинская стоянка. «Советская археология», V, 1940, стр. 1 сл.

[3] Н. А. Прокошев. К вопросу о неолитических памятниках Камского Приуралья, МИА № 1, 1940, стр. 20 сл.

[4] Шмидт, цит. соч., стр. 26—27. Прокошев, цит. соч., стр. 39.

[5] В. Н. Чернецов. КСИИМК IX, 1941, стр. 19, рис. 2 (1—7).

Фрагмент одного большого толстостенного сосуда из Джанбас-кала № 4 весьма близок к некоторым сосудам позднего неолита южной Сибири, в памятниках которого вообще можно обнаружить много параллелей с керамикой и кремневым инвентарем нашей стоянки[1]. В 1940 г. добыты фрагменты сосудов, отдельные зоны которых покрыты криволинейным орнаментом из тонких, заходящих друг за друга, сегментов круга, образованных оттисками серповидного штампа[2].

Особый интерес представляют «ладьевидные сосуды»—тонкостенные глубокие чаши, по форме напоминающие половину разрезанного вдоль яйца (более острый один и более тупой другой конец, сдвинутость наиболее глубокой части в сторону тупого конца). Один из таких сосудов, некогда выкрашенный в красный цвет, был по краю покрыт широкой полосой штрихового орнамента, разделенного вертикальными линиями узора на прямоугольные орнаментальные поля. Наряду с ладьевидными сосудами встречаются более мелкие овальные, несколько угловатых очертаний, чаши, слабо или совсем не орнаментированные. Одна из таких чаш имеет на узком конце два конических выступа—своего рода рукоятку, несколько напоминающую парные конические выступы некоторых антропоморфных сосудов из Тепе-Гиссар, Трои и среднеевропейского неолита, где они символизируют женские груди. В то время как ладьевидные сосуды стоят особняком среди известных нам керамических форм неолита и бронзового века, последняя группа угловато-овальных чаш встречает некоторые параллели в керамике приуральской бронзы II тысячелетия до н. э.[1]; в которых можно видеть реминисценцию кельтеминарских форм сосудов.

Особенно обильны фрагменты крупных сосудов, сплошь покрытых зигзагообразным («елочным») орнаментом, встречающим параллели в той же афанасьевской культуре[2], в зауральских культурах шигирского типа в широком смысле слова и особенно близкую параллель—в керамике Восточного Туркестана, собранной экспедицией А. Стейна вместе с микролитоидным, очень близким по типу к кельтеминарскому, кремневым инвентарем с развеянных стоянок в золе размыва маломощных такыров, в песках на окраинах бассейна Яркенд-Дарьи километрах в 45 от реки и в устье Курук-Дарьи[3].

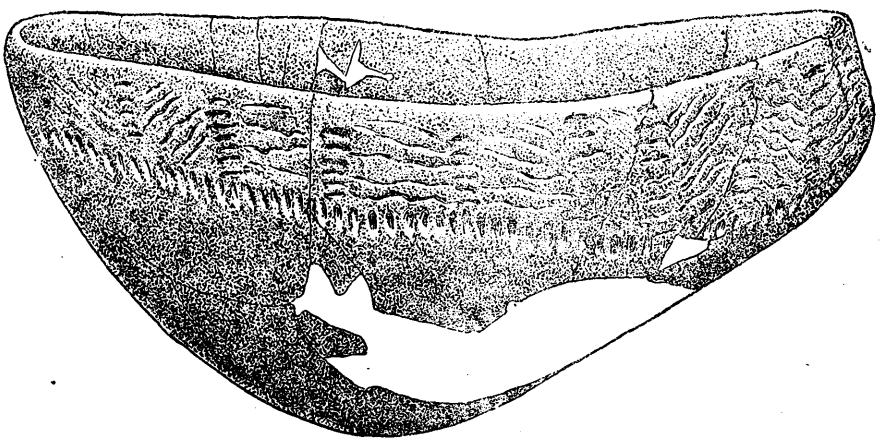


Рис. 5. «Ладьевидный сосуд» из стоянки Джанбас-кала № 4.

В целом мы можем более или менее точно определить круг историко-культурных связей кельтеминарской культуры. Она выступает перед нами как одна из поздненеолитических культур с микролитоидной традицией, зона распространения которой охватывает территорию от Приаралья до Синьцзяна и которая, повидимому, исторически связана в той или иной мере с синхронными культурами от Персидского залива до области Гоби. На северо-запад сфера влияния кельтеминарских элементов тянется до низовьев Чусовой и на север—до устьев Оби, и мы можем сейчас уже с достаточной уверенностью утверждать, что ранние комплексы культур шигирского круга слагались под очень сильным воздей-

[1] Ср. Б. Петри. Неолитические находки на Байкале, сб. МАЭ, III, 1915. Ср. также статью Г. П. Сосновского в ИГАИМК, вып. 100, стр. 210 сл., табл. I.

[2] Больше всего таких фрагментов найдено в находящемся в 300 м к югу от большого дома Джанбас-кала № 4 целиком развеянном аналогичном жилище (Джанбас-кала № 5).

[1] Ср. К. В. Сальников. Андроновский курганный могильник у с. Федоровки. Материалы и исследов. по археологии СССР № 1, 1940, стр. 63, табл. 1, рис. 4 и 12 и стр. 65.

[2] С. А. Теплоухов. Древние погребения в Минусинском крае. М. Э. III, 2, Л. 1927, стр. 7, таб. III, рис. 1, стр. 7; табл. IV, р. 3 и др.

[3] A. Stein. Innermost Asia I, стр. 85, 196, 205, 206, III табл., XXII, XXIII. Ср. Его же. «Serindia» I, стр. 357 (находка в Лоулане). Ср. также статью B. A. Smith в журн. Man, XI, 1911, стр. 81 сл.

ствием неолитических культур Аральского бассейна.

Сильное влияние неолитических культур кельтеминарского круга в широком смысле слова очень заметно в южно-сибирском неолите, где оно скрещивается с местной макролитоидной традицией и переживает в афанасьевской культуре, возможно воспринявшей и новые дополнительные влияния поздних дериватов Кельтеминара. Культурное влияние или этнические передвижения, приведшие к возникновению черт общности афанасьевской и кельтеминарской культуры, шли из Приаралья в Сибирь. За это говорит нахождение в погребениях афанасьевской культуры поделок из раковин Corbicula fluminalis, встречающихся в живом виде только у устья Аму-дарьи[1]. На юге исследуемый ареал прослеживается за пределы Средней Азии, охватывая Северную Индию, вплоть до гор Виндхья на юге и Бирмы на юго-востоке.

К сожалению, керамика этих областей изучена плохо, несомненно лишь включение ее в круг примитивной керамики со штампованным, в том числе елочным, орнаментом. Что же касается кремневого инвентаря, то он несет отпечаток тех же микролитоидных традиций и близок к исследуемому комплексу[2].

В высшей степени важно, что среди украшений из раковин и необработанных раковин из Джанбас-кала № 4 мы Corbicula fluminalis пока не встретили. Однако найденные нами раковины представляют неменьший историко-этнологический интерес.

По определению специалиста Зоологического музея МГУ Б. Н. Цветкова, в составе этих находок мы встречаем ряд неизвестных Аралу морских форм, в том числе три вида Scaphopoda, относящихся к роду Dentalium. Один из них, Dentalium entale L., широко распространен (Баренцово, Северное, Средиземное, Красное море, Персидский залив). Два других вида относятся к формам, обитающим только в водах Индо-океанского бассейна—в Красном море, Персидском и Аравийском заливах, что позволяет считать установленным наличие непосредственных связей неолитического Хорезма с побережьем бассейна Индийского океана.

В этой связи я должен обратить внимание на неоднократно отмечавшиеся лингвистами (начиная с Кёрёши-Чома, 1782—1842) связи между языками доарийской Индии—дравидскими и мунда и финно-угорскими, особенно угорскими языками Северной Евразии[1].

Исторические корни этих связей могут быть отнесены лишь к весьма древнему времени, ибо с середины I тысячелетия до н. э. этнографическая карта промежуточных областей становится нам достаточно хорошо известной, чтобы исключить возможность этих связей, когда между финно-уграми, с одной стороны, и мунда и дравидами,—с другой, оказался массив народов арийской (индо иранской) группы. Думаю, что и II тысячелетие, когда отчетливо выкристаллизовывается этнокультурное единство населения евразийских степей от Дона до Минусинского края, в виде устойчивого комплекса срубно-андроновской культуры, не встречающей уже параллелей в культурах к югу от среднеазиатских пустынь, должно быть исключено.

Напротив, широкая исторически регистрируемая общность поздне-неолитических культур обширной территории от Северной Индии до Енисея, устья Оби и Прикамья позволяет, мне думается, поставить вопрос о том, что именно эта эпоха могла явиться решающей в процессе возникновения индо-угорских параллелей,

[1] С. А. Теплоухов, цит. соч., стр. 75—76 и «Мат. по Этн.» IV, стр. 42—3.

[2] J. H. Rovett-Carnac. Some implements from the North-West of India. Calcutta, 1883; R. Bruce Foote collection of Indian Prehistoric and Protohistoric Antiquities. Madras 1916; W. J. Blaudford. Proceedings of the As. Soc. of Bengal, 1886, стр. 230, табл. II—IV; R. Bruce Foote. Notes of prehistoric founds of India. I. K. A. I. XVI 1887, стр. 70; Coqqin Brown. Catalogue Raisonne of the Prehistoric Antiquities in the Indian Museum of Calcutta. Simla 1917, табл. VIII—IX; O. Menghin. Weltgeschichte der Steinzeit. Wien, 1931, стр. 197.

[1] Об угорско-дравидских связях см. Caldwell. A comparative grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages, III ed. L. 1913, p. 67 и др. O. Schrader. Dravidisch und Uralish Zeitschrift für Indologie und Iranistik, III, 1925, ср. 81 сл. Связи угорских языков с мунда еще в 1928 г. были выдвинуты в работе Г. А. Uxbond. Munda-Magyar-Maori, 1928, оставшейся малозамеченной, и особенно в многочисленных работах G. Hevesy (On W. Schmidt's Mundo-Monkmer Comparison. BSOS. London VI, 1930, стр. 187—200; его же. Finnisch-Ugrisches in Indien. Wien 1932, его же. Ob-ougriens de Siberie et Munda de l'Inde. L'Anthropologie XLVI 1936, стр. 613, его же статьи в OLZ 1936 и др.), вызвавших большую полемику. Финно-угроведы Венгрии, Финляндии и других стран, за малыми исключениями, отвергли его выводы (критику работ Hevesy см. A. Sauvageot в Bull. de la Soc. de Ling. de Paris XXXIV, стр. 180 сл.; Ggoldi. Revue des Etudes Hongroises 1933, стр. 334 сл.; скептически к ним относится B. Stein. India between the cultures. Indian Culture IV, № 3, 1938, стр. 296. Среди некоторых индийских ученых работы Hevesy нашли активную поддержку. См. B. Bonnerjea. Traces of Ugrian Occupation. Indian Culture (Calcutta) III. № 4, 1937, стр. 621—632.

С нашей точки зрения, одинаково ошибочно как включение мунда в финно-угорские, так и причисление последних к дравидийским. Однако представители обоих направлений достаточно убедительно установили наличие глубоких лексических и морфологических связей между обеими древнеиндийскими лингвистическими системами и финно-угорскими, особенно угорскими языками, с несомненностью свидетельствующими о наличии достаточно прочных протоисторических связей между доарийской Индией и евразийским Севером, связей, линия которых могла пролегать только через Приаралье.

и область Приаралья—одним из важнейших звеньев этих связей. В самом деле, линия, идущая от устьев Инда через Гамунское озеро, по Гильмендч и Мургабу, через Хорезм и далее, по Иргизу, Тургаю и, может быть, Эмбе в Зауралье и по Чусовой, на Каму—наиболее прямой и доступный путь индо-уральских коммуникаций, и вскрываемая характером окружающей кельтеминарцев природы значительно большая обводненность местности в доагрикультурный период, будучи распространенной на зоны соседних рек, снимает единственное возражение против этого направления—обилие сейчас на этом пути пустынных пространств.

Видимо, эта линия, а не трудно проходимые и сейчас горные перевалы Гиндукуша и Памира, является важнейшей осью процессов этнокультурной консолидации древних племен Индии, Ирана, Средней Азии и Восточной Европы, сперва обусловивших появление черт общности между языками доарийской Индии и доиндоевропейской Восточной Европы, а впоследствии определяющих этногонию восточных групп индоевропейцев.

Весьма вероятно, что связи, определившие формирование индо-угорской общности, уходят в еще более глубокое время. В пользу этого говорит находка Д. Д. Букиничем в зоне Унгуза фрагментон керамики, гораздо более грубой и толстостенной, чем кельтеминарская, и сплошь покрытой круглоямочным орнаментом, очень близкой по типу к ранненеолитической ямочной керамике Восточной Европы.

Надо отметить, вместе с тем, наличие большого количества фрагментов керамики, соединяющих штампованный орнамент с раскраской поверхности красной краской, подтверждающих наши заключения (см. наши статьи в газ. «Известия» от 10/X 1940 г., а также в «Советской Каракалпакии» от 21/X 1940 г.) о скрещении в кельтеминарской культуре доминирующей культурной струи, связанной с уральским и сибирским неолитом и вырастающей на их базе «степной бронзой», с сильными влияниями культур крашеной керамики типа раннего Анау. Овальная планировка жилища кельтеминарцев также в этой связи небезынтересна. Многочисленные этнографические факты показывают, что овальные формы жилища, как правило, возникают в зоне контакта народов, обладающих прямоугольными формами жилища, и народов, обитающих в круглых домах. Так, в Южной Америке овальные дома встречаются у араваков—яманади на р. Пуруж (правый приток Амазонки), у караибов—бакаири в верховьях Шингу, т. е. у племен, обитающих к югу от основной зоны распространения прямоугольной «малока» и к северу от зоны господства полусферического жилища (племена Мато-Гроссо и Бразильской возвышенности); в Африке овальный план встречается у мангбатту, живущих на границе Судана, где господствует круговой план, и бассейна Конго, где преобладают прямоугольные постройки.

Анализ конструкции, в частности наличие центрального очага и системы столбов вокруг него, поддерживающих среднюю часть кровли, заставляют полагать в качестве родоначальной формы овального кельтеминарского дома круглый дом с характерной системой конструкции крыши с центральным отверстием, причем, как и керамика Кельтеминара, этот тип подвергается влиянию прямоугольного дома, связанного с культурой Анаусского круга.

2. БРОНЗОВЫЙ ВЕК ХОРЕЗМА

Во время проводившихся мною, совместно с А. И. Тереножкиным, в 1938 г. разведок в песках между Беркут-кала и Наринджаном нами была обнаружена керамика, резко отличная от керамики всех остальных памятников. Керамика эта несет достаточно ясно выраженные признаки, позволяющие датировать ее эпохой бронзового века и, вероятнее всего, серединой второго тысячелетия до нашей эры. Эта керамика, слабо обожженная, сделанная без гончарного круга, имеет поверхность, покрытую орнаментом, из характерных треугольников и углов, чрезвычайно близко напоминая керамику бронзового века Поволжья, Казахстана и Минусинского края, относящуюся к так наз. срубной (Поволжье) и андроновской (Сибирь и Казахстан) культурам. Она представляет таким образом своеобразный вариант бронзового века степной полосы юго-восточной Европы и смежных областей Азии.

В 1940 г. к СВ от Ангка-калы Н. П. Толстовым была открыта развеянная стоянка той же эпохи, давшая прекрасные образцы богато орнаментированной плоскодонной керамики. Благодаря этой находке удается установить преемственность кельтеминарской культуры, культуры бронзового века Хорезма, названной нами тазабагъябской, и амирабадской культуры ранне-железного века, о которой речь будет ниже. Керамика второй из них, сохраняя многие особенности кельтеминарской орнаментики (наряду с господствующими новыми элементами, сближающими ее со срубной и андроновской культурами)[1], по характерной форме днища, выступающего в стороны по сравнению с ниж-

[1] См. нашу статью в ВДИ № 3 за 1939 г.

ней частью стенок[1], связывается с амирабадской культурой, также обладающей этой особенностью. Вместе с тем мы можем установить и специфические особенности керамики тазабагъябской культуры. Орнамент, расположенный

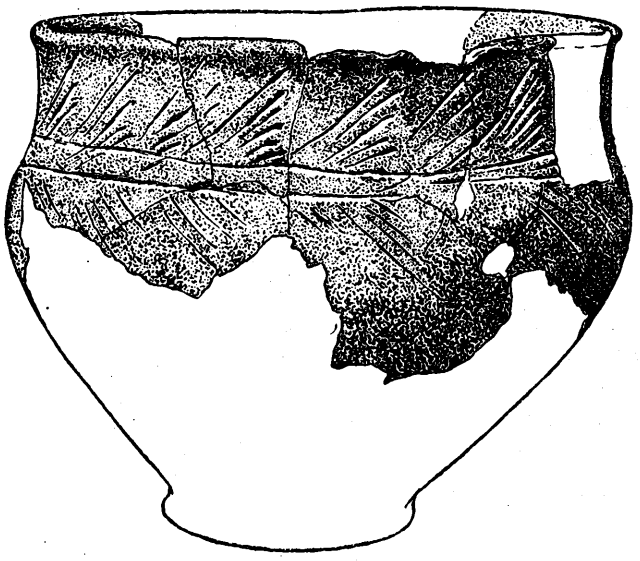


Рис. 6. Сосуд тазабагъябской культуры из стоянки близ Ангка-кала.

полосой вокруг перегиба от корпуса к шейке сосуда, образован, как правило, двумя рядами обращенных основанием друг к другу треугольников, разделенных двойной опоясывающей сосуд линией. Специфичен рисунок треугольников: они образованы веером расходящихся из левого угла треугольника оттисков длинного зубчатого штампа. Контур треугольника остается таким образом справа незамкнутым (см. рис. 6, а также табл. 17, рис. 5—9).

Не входя в детали анализа этого материала, нужно сказать, что он позволяет сделать чрезвычайно существенные исторические заключения. Первое сводится к тому, что, как и хорезмийский неолит, бронзовый век Хорезма примыкает не к бронзовому веку южной полосы Средней Азии (Анау и сходные с анаусской культуры), а к бронзовому веку степной зоны Восточной Европы, Казахстана и Сибири.

Ближе всего тазабагъябская культура может быть сопоставлена с исследованным О. А. Граковой западным вариантом андроновской культуры[2], хотя, несомненно, представляет своеобразный вариант степной бронзы.

[1] Ср. аналогичные формы в срубной культуре ESA II, стр. 86, рис. 58—3, стр. 123, рис. 70, стр. 163, рис. 96—2.

[2] Р. А. Гракова. Отчет о раскопках Алексеевской стоянки в Кустанайском районе. Археологические исследования в РСФСР 1934—1936 гг. М. — Л. 1941, стр. 288 сл.

Близость керамики хорезмийского бронзового века к андроновской и срубной позволяет, несмотря на отсутствие прямых свидетельств в нашем материале, предположить, что хозяйственная база и социально-экономический строй Хорезма этой эпохи не отличались существенно от того, который встает перед нами на основании изучения богатых андроновских памятников Сибири и Казахстана и памятников срубной культуры Поволжья. Помимо того, что эта эпоха связана с широким внедрением бронзовых изделий, весь уклад хозяйственной жизни андроновцев резко отличен от того, что мы наблюдаем в кельтеминарской культуре. Хотя охота и рыболовство и сохраняются, однако господствующее место занимают скотоводство (овца, бык, лошадь) и мотыжное земледелие (пшеница и другие злаки). Зернотерки, костяные мотыги, бронзовые серпы свидетельствуют, наряду с костями животных и остатками зерен, о происшедшей перемене. Меняется и тип жилища. Стоянки и срубной и андроновской культур дают нам прямоугольные жилища с крышей на столбах, повидимому, двускатной. Размеры жилища близки к кельтеминарским. Так, жилище срубного времени у с. Костенок близ Воронежа дает размеры 20×9 м, жилища близ хутора Ляничева на Дону—20×9 м и 20×8 м. Однако, как и кельтеминарские дома, эти постройки, повидимому, имели еще общий центральный очаг, свидетельствующий о прочности связей обитающей в доме общины.

Как мы увидим ниже, следующий этап истории первобытного Хорезма позволяет предполагать появление нового типа жилищ, так наз. «длинного дома», в котором на первый план выступают уже многочисленные устойчивые очаги отдельных парных семей.

Установленный нами в 1938 г. факт вхождения северо-западной части Средней Азии в сферу распространения культур бронзового века северо-евразийских степей сейчас, в результате работ А. И. Тереножкина[1] на Ташкентском канале им. В. М. Молотова, получает новый смысл. Мы можем сейчас говорить уже не только о Хорезме, но и о всей северной, равнинно-аллювиальной части Средней Азии, о всей равнинной части Аральского бассейна как области распространения «андроноидных» культур, что представляет немалый интерес для выяснения древнейших этапов этногонического процесса Восточной Европы, Сибири и Средней Азии. Напомню в этой связи одну из недавних работ Е. Ю. Кричевского[2], считающего время около середины II тысячелетия до н. э. временем образования в Европе широких союзов скотовод-

[1] А. И. Тереножкин. Памятники материальной культуры на Ташкентском канале. Изв. УзФАН, 1940, № 9.

[2] Е. Ю. Кричевский в КСИИМК, IV, стр. 6 сл.

ческо-земледельческих племен, в рамках которых, по его мнению, развиваются процессы индоевропейского глоттогенеза.

Датировка памятников тазабагъябской культуры соответствует датировке культур андроновской и срубной и может быть определена временем около середины II тысячелетия до н. э. Если правильно наше заключение о земледельческом характере тазабагъябской культуры, то эта дата удивительным образом совпадает с древнейшей хорезмийской эрой, по ал-Бируни начинающейся с 980 г. до Александра (Македонского)[1] и связываемой с первоначальной земледельческой колонизацией Хорезма. Это предание, опирающееся, повидимому, на какие-то генеалогические или астрономические расчеты, содержит таким образом зерно истины и связано с каким-то существенным сдвигом в социально-экономической и этнической истории древнехорезмийских племен.

Повидимому, одна из сторон этого сдвига заключается в уже отмеченном выше переходе к земледелию. Но это не исчерпывает всего вопроса. В этой связи большой интерес представляет вторая хорезмийская эра, приводимая эл-Бируни и отделенная от первой 90 годами. Бируни связывает эту эру с приходом в Хорезм легендарного героя Сиявуша, родоначальника династии хорезмийских царей. В другом месте мы подробно остановимся на анализе мифа о Сиявуше—центральном образе хорезмийской мифологии. Сейчас нам важно другое—эра Сиявуша в концепции Бируни является эрой начала хорезмийской государственности.

Наш материал не позволяет принять это положение буквально. Но есть все основания предполагать, что переход к земледелию и бронзе и новые этнические перегруппировки в низовьях Аму-Дарьи были связаны с началом перехода хорезмийских племен на стадию военной демократии, сопровождаемую образованием широких военных конфедераций племен, вожди-жрецы которых персонифицировались в легенде в образе божественного героя Сиявуша.

Эра колонизации и эра Сиявуша—это, безусловно, варианты одной и той же эры, начинающейся с XIII в. до н. э. и дошедшей до ал-Бируни в двух незначительно различающихся между собой версиях.

Если это так, то, памятуя, что середина II тысячелетия является временем появления первых памятников протоиндоевропейской речи в Передней Азии,—эра ал-Бируни может рассматриваться вместе с тем как один из переломных этапов индоевропейского глоттогенеза в Средней Азии, развивающегося в рамках племенных союзов носителей срубно-андроноидной культуры.

В этой связи небезынтересно отметить появление в Анау III значительного количества фрагментов близкой к кельтеминарской и тазабагъябской керамики[1],—явно свидетельствующая о скрещении обеих культур первобытной Средней Азии—анаусской культуры древних земледельцев и андроноидной культуры потомков кельтеминарских рыболовов. Хорезмийская легенда приводит, в свою очередь, Сиявуша с юга. Выше мы отмечали наличие анаусских влияний в Кельтеминаре. Я думаю, что это дает нам право—в порядке, конечно, гипотетическом,—видеть именно в этом скрещении носителей культуры крашеной керамики с носителями сперва охотничье-рыболовной, а затем скотоводческо-земледельческих культур евразиатского севера—одну из важнейших предпосылок индоевропейского этногенеза вообще и сложения индоиранской группы индоевропейцев в частности.

Богатая ресурсами котловина Приаралья, заселенная потомками кельтеминарских рыболовов, переходящими под влиянием южных примитивных земледельцев, носителей «каспийской» цивилизации Герцфельда, к скотоводству и земледелию, видимо, играет в этом процессе выдающуюся роль и, вероятно, вполне заслуженно отождествляется Марквартом с Айрьянем-Вэджо, родиной ариев авестийских легенд. Я думаю, что отмеченное нами выше движение сарангов и таманаев на юг из Приузбойской зоны может рассматриваться, как одно из поздних звеньев расселения древних приаральцев, связанного с переходом их на новый этап исторического развития, которому, по всей вероятности, предшествовал ряд аналогичных, более древних движений.

3. РАННЕ-ЖЕЛЕЗНЫЙ ВЕК ХОРЕЗМА

Как мы отметили в предыдущей главе, открытые нами стоянки кельтеминарской и тазабагъябской культуры лежат исключительно в зонах дефляции маломощных такыров на окраинах «Земель древнего орошения». Они залегают не на поверхности серого аллювиального песка, а на скрытых под поверхностью такыров древних дюнах.

Повидимому, в период хорезмийского неолита и бронзы местом обитания людей были окраины обширного водоема юго-восточных предгорий

[1] Chronologie orientalischer Völker, стр. 356.

[1] Ср. K. Pumpelly. Explorations in the Turkestan Exped. 1904, I, Washinghton. 1907, табл. 15.

Султан-Уиз-дага и побережья ведших к нему от реки протоков, покрытые песчаными дюнами, окруженными густыми зарослями тугаев.

Исследование стоянки Джанбас-кала № 4 и стоянок хорезмийской бронзы позволяют судить и о дальнейшей истории среды, окружавшей людей. Повидимому, в конце эпохи бронзы, около начала I тысячелетия до н. э., в Хорезме затопляются и заболачиваются стоянки, ранее расположенные на сравнительно высоких точках побережья Южно-Султан-Уиз-дагского водоема. Над ними отлагаются прослойки такырных сероземов.

Если исходить из датировки конца тазабагьябской культуры, последней «подтакырной» культуры Хорезма, это повышение уровня аму-дарьинских вод падает на рубеж II и I тысячелетий до н. э., т. е. будет довольно близко ко времени конца суббореального периода восточно-европейской равнины.

В этой связи важны условия залегания третьей культуры первобытного Хорезма— амирабадской. Памятники ее обнаружены нами первоначально на западной окраине беркут-калинских такыров и в зоне дефляции такыров к ЮЗ от Тешик-кала. В 1939 г. значительные местонахождения керамики этого типа обнаружены на такырах в 10—15 км к ССЗ от Джанбас-кала № 4, но на поверхности такыров.

Для этой эпохи характерны грубые, иногда толстостенные сосуды, часто с сильной примесью дресвы, с черной или черно-серой поверхностью, с плоским дном, округленно-выпуклыми стенками и резко отогнутыми или вертикальными низкими венчиками. Сосуды, если орнаментированы, то только по краю.

Наиболее часто встречается нарезной «елочный орнамент», идущий кругом по венчику сосуда (табл. 17, рис. 1—4).

Ближайшую аналогию к керамике этого типа я склонен видеть в некоторых формах керамики «доскифских» стоянок Северного Кавказа, описанных А. А. Миллером, в частности в керамике Кобякова городища[1]. Характерно, что оба слоя «доскифской» культуры Кобякова городища подстилаются илистым отложением, под которым залегает слой намытого лёссовидного суглинка[2]. Сходство кобяковской и амирабадской культур интересно потому, что есть основания предполагать связь древнего населения Прикубанья с массагетскими племенами Приаралья. Китайские источники позволяют говорить, что аорсы—аланы были на рубеже н. э. северными соседями массагетов, занимая территорию к северу от Усть-Урта и Аральского моря[1]. По ал-Бируни, в древности аланы обитали по соседству с Хорезмом[2]. Мне уже приходилось обращать внимание на следы аланов в Хорезмской топонимике (развалины Алан-кала на ЮВ окраине Усть-Урта) и, вслед за Г. И. Карповым, на наличие среди средне-аму-дарьинских туркмен племени, до сих пор именующим себя аланами[3].

В амирабадской керамике можно предполагать памятник культуры массагетов[4]. Тогда ее близость к северо-кавказским «доскифским» культурам подтвердит древние связи Приаралья с Приазовьем, отразившиеся в алано-массагетских генеалогических связях, регистрируемых впоследствии Аммианом Марцеллином.

Это разъяснит и условия глоттогенеза исторических хорезмийцев[5], ту этнографическую среду, в которой могли оформиться языковые особенности, сближающие хорезмийский язык с осетинским.

В 1940 г. нами открыто большое количество новых стоянок амирабадской эпохи в зоне разрушения такыров к северо-востоку от Наринджана, в «уях» (котловинах выдува) между развалинами Кош-парсан и Якке-парсан, представляющих большой интерес для выяснения социально-экономического уклада этой эпохи. Вдоль южного берега окаймляющей с севера Джанбас-калинскую возвышенность низины на несколько километров к востоку от стоянки Джанбас-кала № 4 идет почти сплошная полоса этих стоянок. Наконец аналогичные материалы были найдены в зоне большого канала к югу от Базар-калы.

Особенно интересно открытое Я. Г. Гулямовым поселение Джанбас-кала № 7, где хорошо видна планировка жилища этой эпохи (рис. 7).

В это время, относимое нами к VIII—VII вв. до н. э., господствовали уже глиняные прямоугольные постройки, однако, сохранившие еще целиком характер общинных жилищ. «Большой дом» в Джанбас-кала № 7, вытянутый с запада на восток, параллельно склону возвышенности, окаймляющей с юга упомянутую низину, расположен, как и дом в Джанбас-кала

---

[1] Ср. рис. 36 в отчете А. А. Миллера в «Сообщениях ГАИМК», т. I, л. 1926, стр. 141 с нашим рис. 6 в ВДИ, 1941, № 1.

[2] «Сообщения ГАИМК», т. I, 1926, стр. 140—141.

[1] Цянь-Хань-шу, цзюань 96, стр. 28 и др.

[2] ZDMG, 1936, B. 90, 3/4, стр. 28.

[3] ВДИ, 1938, № 1, стр. 197, ср. А. Бахтиаров (Г. Карпов). Осколки «исчезнувших» аланов «Туркменоведение» № 8—9, стр. 39—40.

[4] Ср. Страбон, XI, 8.

[5] На связь хорезмийского языка с аланским указывает ал-Бируни ZDMG B. 90, 3—4, стр. 28. Об осетинско-хорезмийских связях см. там же, стр. 30, где Henning говорит о большей близости хорезмийского языка к осетинскому, чем к согдийскому. Из новейших работ см. также А. А. Фрейман. Хорезмийский язык, ЗИВ АН СССР, VII, 1939, стр. 306. С. Л. Волин. Новый источник для изучения хорезмийского языка, там же, стр. 79.

№ 4, на песчаной дюне. Он имеет в длину 77 метров при ширине около 20 метров. Стены достигают мощности 1,5—2 м.

Дом разделен идущей вдоль него внутренней стеной на два параллельных коридорообразных помещения, шириной одно около 10, другое—около 5 метров.

Этот тип большого дома генетически увязывается с открытым нами в 1939 году на Чермен-

культуры близ Наринджана нами, во время нашей совместной с Я. Г. Гулямовым разведки, было в ряде случаев обнаружено нахождение вместе с позднеамирабадской керамикой некоторых форм сосудов культуры «городищ с жилыми стенами» (венчики сосудов характерной формы: прямой высокий венчик, внешняя поверхность которого выступает вперед по сравнению со стенкой сосуда, так что переход от вен-

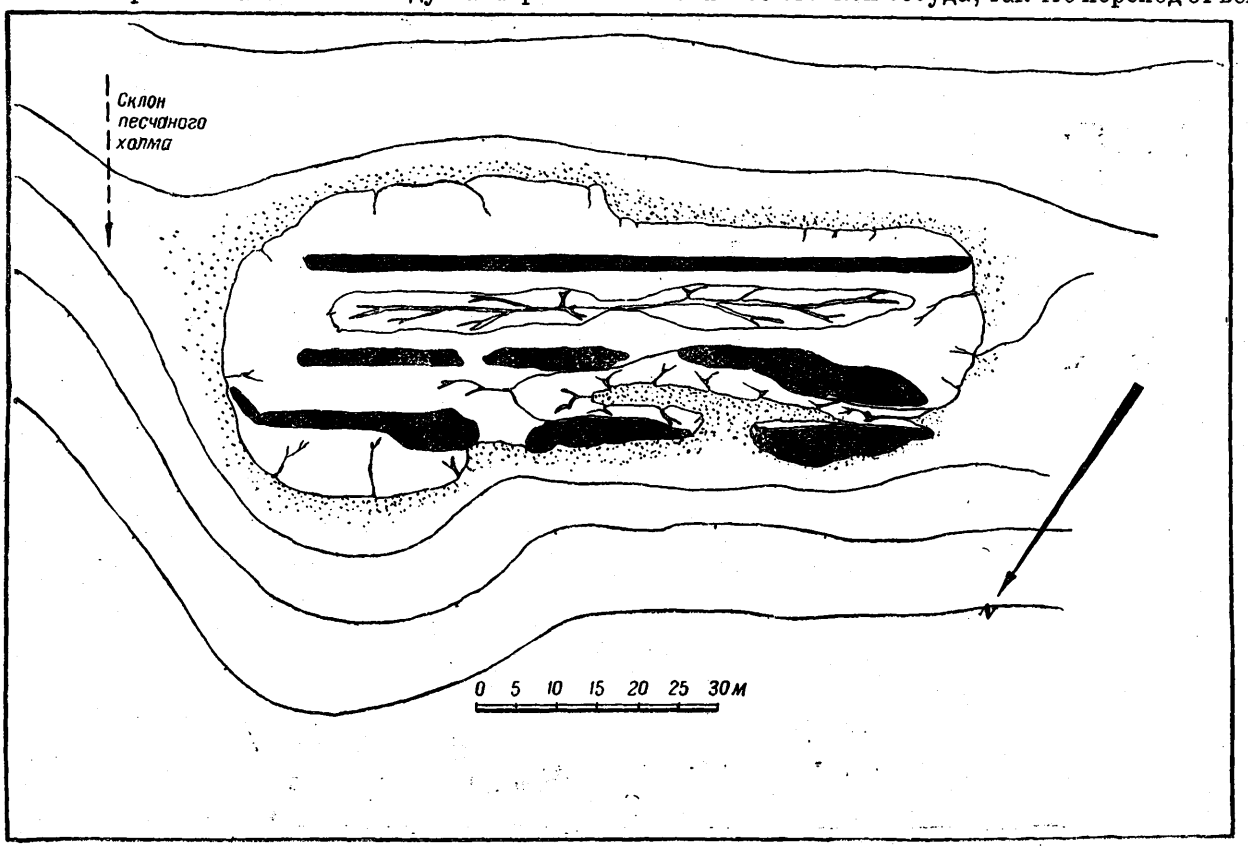


Рис. 7. Большой дом в поселении амирабадской культуры Джанбас-кала № 7.

ябе наиболее древним типом античных городищ—«городищами с жилыми стенами»—Кюзели-гыр и Калалы-гыр, которые мы, на основании характерных форм, сделанных на ручном круге сосудов с горизонтально-рубчатой поверхностью, во многом напоминающих металлические сосуды ахеменидского времени и сосуды, изображенные на ахеменидских рельефах, так же, как некоторые формы керамики так называемой культуры Анау III, и на основании нахождения на городище вместе с этой керамикой многочисленных скифских стрел сравнительно раннего типа, считаем возможным датировать ахеменидским временем: V—IV, может быть, VI—IV вв. до н. э.[1]

Интересно то, что на стоянках амирабадской

чика к стенке образует прямоугольный рубец).

Это дает нам непосредственный переход от амирабадской культуры к развитой культуре «городищ с жилыми стенами», в свою очередь увязывающихся некоторыми формами своей керамики с «кангюйской культурой» IV в. до н. э.—I в. н. э.

Вытянутый план дома—по аналогии с жилищами поселений бронзового и ранне-железного века в Восточной Европе (Триполье, Бискупинское селище; ананьинская культура) и этнографическими данными (ирокезы),—видимо, связан с выделившимися устойчивыми очагами отдельных парных семей, постепенно эмансипирующихся из домовой общины. Линейное расположение этих очагов диктует вытянутые пропорции длинного прямоугольного жилища.

[1] См. нашу статью в ВДИ № 1 за 1941 г., стр. 178.

4. К ВОПРОСУ О ПРОТОХОРЕЗМИЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Во время наших разведок 1940 года по маршруту Турткуль—Нукус нами было открыто расположенное к северу от теснины, образованной прорывом вод Аму-Дарьи через западные отроги Султан-Уиз-дага, весьма интересное укрепление Чильпык. Укрепление, по керамическим и архитектурным данным относящееся к ранне-афригидскому времени, резко выделяется из круга синхроничных памятников, несколько напоминая, может быть, только Аяз-калу № 2. Это круглая, в плане небольшая (ок. 60 м в диаметре) пахсовая крепость, увенчивающая вершину конического холма высотой около 35 метров. К входу, расположенному с востока, ведет защищенный боковыми стенами глинобитный пандус. Стены, за исключением ворот, частично воздвигнутых из кирпича античных размеров (субструкция пандуса в воротах—из кирпича с прослойками песка)—пахсовые. Никаких следов жилых помещений в крепости нет.

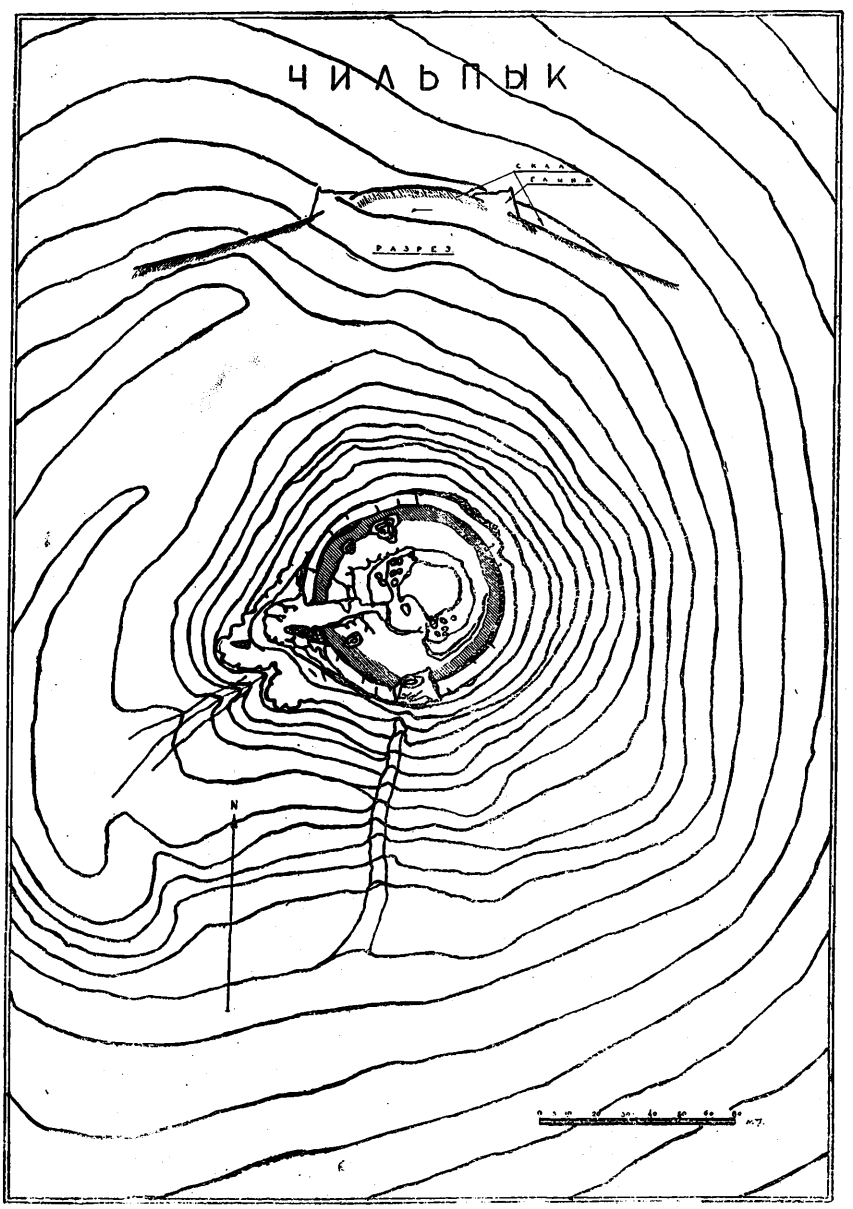


Рис. 8. Укрепление Чильпык. План и разрез.

Вся ее внутренность представляет собой сплошную глиняную площадку, вымощенную на забутовке из обломков черного песчаника, почти в уровень с внешней стеной. В центре площадки выступает вершина песчаниковой скалы. На склонах было найдено немало обломков глиняных оссуариев. Воздерживаясь пока от окончательного решения вопроса о характере

этого укрепления, не производящего впечатления ни замка-усадьбы, ни стратегического пункта, ибо отсутствие следов жилищ в укреплении слишком очевидно, думаю, в качестве одного из возможных, предположение о культовом назначении этого памятника. В пользу этого говорит еще одна черта: выступающий в центре площадки укрепления утес сплошь покрыт надписями и знаками, относящимися к самым различным временам. Нахождение на склонах холма фрагментов оссуариев позволяет считать наиболее вероятным Чильпыкское «укрепление» не чем иным, как «башней молчания»—д а х м о й, где трупы покойников предоставлялись действию атмосферы и отдавались на съедение птицам, чтобы затем кости, очищенные таким образом, собрать в оссуарии и перенести в места постоянного погребения. Основную массу высеченных в скале изображений составляют сложные геометрические начертания. Знаки того же типа были нами открыты в дальнейшем на смежной возвышенности Карат юбе и на расположенных, примерно в 20 км к югу от Нукуса, буграх Беш-тюбе (см. табл. 18—22).

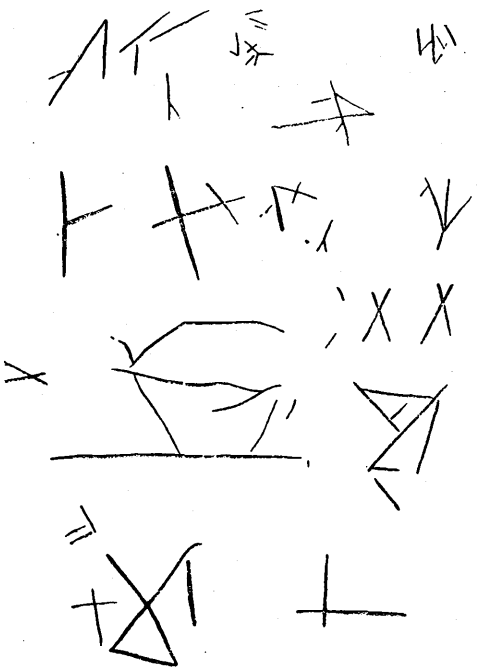


Рис. 9. Наскальные знаки из Кара-тюбе.

Переходя к характеристике этих знаков, должен отметить, что они могут быть по техническому и тематическому признаку разделены на 4 группы:

1. Наиболее многочисленная группа—это сложные геометрические знаки, глубоко в ы р е з а н н ы е в песчанике (рис. 9—13).

2. Менее многочисленны особо богато представленные в Беш-тюбе изображения всадников, верблюдов, сабель, боевых сцен, контуры которых в ы б и т ы на поверхности скалы (рис. 15,1).

3. Изображения животных (верблюдов, коней), в которых выбиты в скале не только контур, но и вся ограниченная им поверхность (рис. 15,1—справа).

4. Очень схематические изображения всадников и арабские надписи н а ц а р а п а н н ы е н а с к а л е (рис. 15,2).

Характерно распределение этих групп в отношении близости их к дороге, проходящей мимо Чильпыка. Если на последнем мы имеем не только надписи арабским алфавитом, но и современные русские или латинизированные надписи, то на Кара-тюбе лишь на одном из концов возвышенности, ближе всего к Чильпыку, оказались 2 мусульманские надписи (среди сотен наскальных знаков), одна из которых

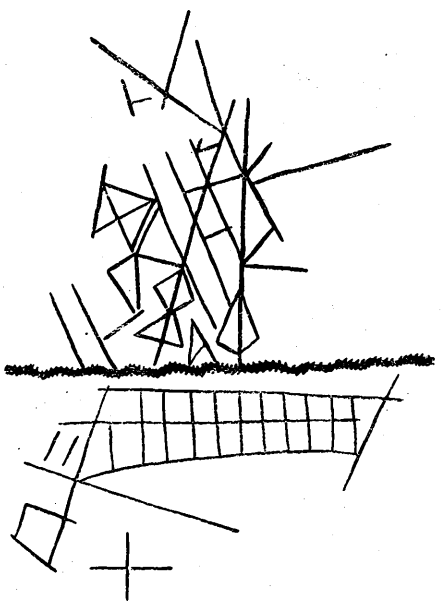
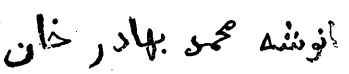


Рис. 10. То же.



(«Ануша Мухаммед Богадур хан») принадлежит сыну знаменитого Абуль-гази и датируется XVII веком, а вторая, на том же камне, но в другой технике, еще окончательно не разобранная, может быть, принадлежит хорезмшаху Текешу, и тогда должна быть возведена к XII столетию.

В Беш-тюбе мусульманских надписей совсем нет, в то время как на Кара-тюбе и Чильпыке совсем нет изображений людей и животных. Все это вместе взятое заставляет меня датировать эти последние изображения време-

нем раннего средневековья (terminus post quem дает изображение сабель), за исключением некоторых из них, резко отличных по технике (нацарапывание), которые должны быть отнесены к позднему средневековью.

Наибольший интерес представляет наиболее богато представленная в Кара-тюбе группа разнообразных знаков, резко отличных по своему типу от описанных нами в 1939 г. «загадочных знаков» средневековых городищ Чермен-яба[1].

Наряду с простыми начертаниями линейного характера, мы встречаем здесь сложные комбинации пересекающихся под разными углами прямых и изогнутых линий, в том числе особенно характерные решетчатые прямоугольники, прямые и косые решетки и т. п. Наиболее близкие ассоциации знаки встречают в ранней иероглифике Ближнего, Среднего и Дальнего Востока—в протоэламских надписях, иероглифах хеттов и Мохенджодаро, с одной стороны, в ранней китайской графике—с другой.

Рис. 11. Наскальные знаки из Кара-тюбе.

Вместе с тем эта группа ассоциируется с открытыми О. Н. Бадером[2] геометрическими начертаниями поздней группы изображений «Каменной могилы» в Приазовье, датируемыми автором предположительно бронзовым веком, что позволяет думать о сравнительно очень ранней датировке наших знаков. По совокупности данных я склонен видеть в них пиктографические знаки местного происхождения и датировать их временем, во всяком случае предшествующим широкому внедрению арамейской письменности.

Пиктографический характер знаков несомненен. Об этом говорит композиционная и графически закрепленная связанность отдельных начертаний, особенно видная на рис. 13 (слева, верх), где начертание, видимо, изображающее схематизированную человеческую, вероятно, женскую[1] фигуру, ломаной линией (змея? вода? молния?) соединено с другим изображением ромбоидального начертания.

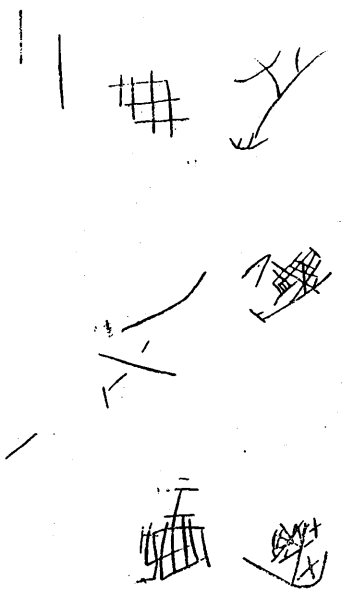


Рис. 12. То же.

Одно из изображений явно представляет схематизированное изображение всадника (рис. 13, середина, верх). Ряд изображений дает схемы человеческих фигур. Наконец, технологически к этой же группе примыкает глубоко врезанное в песчанике изображение лодки, на котором мы остановимся ниже.

Наиболее часто встречающимся знаком, как мы указывали, является квадратная, прямоугольная или косая решетка, нередко дополняемая рядом косых черт, иногда связывающих интересующий нас знак с комплексом других пиктограмм.

По определению Б. Грозного, этот знак в трех вариантах в протоиндий-

[1] КС ИИМК 1940, VI, стр. 77.

[2] О. Н. Бадер. Древние изображения на потолках гротов в Приазовье. Мат. и иссл. по арх. СССР, 2, 1941, стр. 126, см. особенно рис. 9, 11, а также 8, 12 и др.

[1] Ср. изображение людей в юкагирской пиктографии. В. И. Иохельсон. Одульский (юкагирский) язык. Языки и письменность народов Севера III. М.—Л. 1934, стр. 154 сл., таблица против стр. 156.

ских письменах имеет значение идеограммы для «дома, дворца, магазина»[1].

Я думаю, что, хотя, видимо, этот знак представляет собой схему плана многокомнатного общинного дома, однако его значение шире. Понять его мы можем, исходя из общего определения семантики наших пиктографических комплексов.

Видимо, скалистые площадки Беш-тюбе, Кара-тюбе и Чильпыка представляли собой древние места каких-то культовых церемоний, традиция которых тянется и дальше, вплоть до самой поздней античности, о чем свидетельствует включение древней культовой площадки в систему ранне-афригидского сооружения—Чильпыка. Если мы правы в определении Чильпыка как дахмы, в скалистых площадках первобытного Хорезма надо видеть также места погребального культа, древний прототип «башен молчания», место выкладывания трупов. Ритуал этот, несомненно уходящий корнями в глубокую первобытность Средней и Центральной Азии, вошел в историческую эпоху, с одной стороны, в зороастрийском обряде древней Средней Азии и Ирана, с другой—в буддийском обряде современного Тибета.

Если это так, то наскальные пиктографические комплексы Хорезма имеют отношение к погребальному ритуалу и заупокойному культу предков. Почти всюду встречающаяся «решетка» может поэтому читаться как пиктограмма «дом», но в смысле асс.-вавил. bit, арабск. beyt, ср.-аз.—иранск. ked, т. е. домовая, resp. родовая община, «совокупность обитателей большого общинного дома», а пиктографические комплексы как магические обращения к духам-хранителям рода—дома, прежде всего в форме простых наименований такового. В таком случае каждый комплекс, естественно, будет состоять из пиктограммы-детерминатива «род» и индивидуального комплекса знаков, содержащих имя рода и, может быть, молитвенную формулу.

Наряду с «решеткой» можно отметить целый ряд уже отчетливо оформившихся линейных начертаний, как сложных в виде квадрата с вписанной звездой или в виде симметричной системы углов и треугольников , так и простых, среди которых тождественны с мохенджодарскими: прямой и косой крест , черта с ответвлением или угол , простая вертикальная черта , черта, повторяемая 2 и 5 раз , разомкнутый

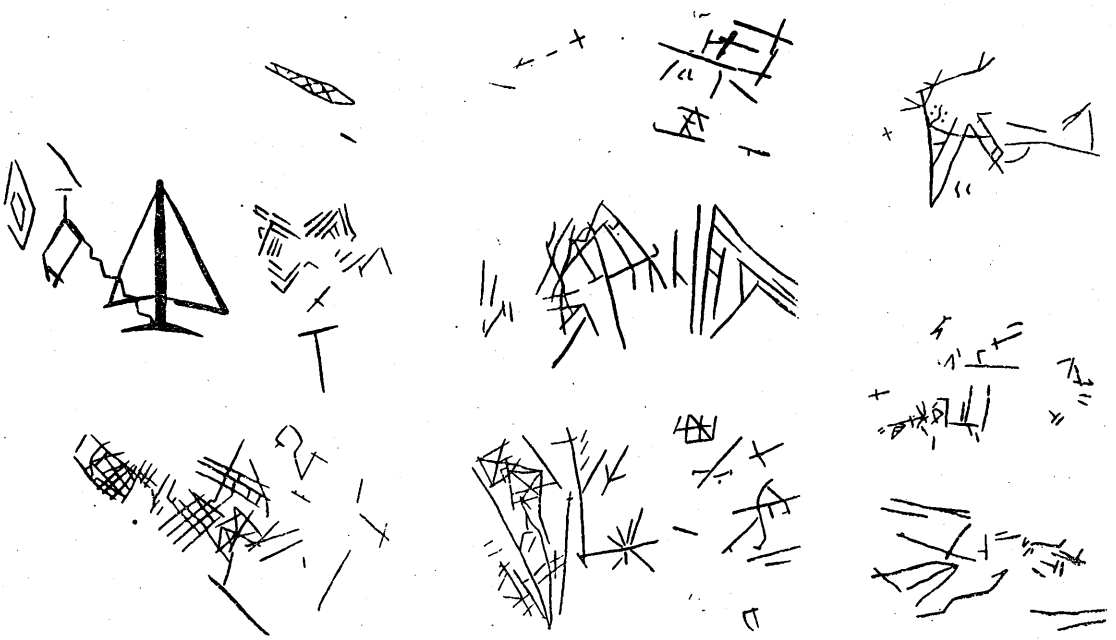


Рис. 13. Наскальные знаки из Кара-тюбе.

[1] Б. Грозный. Протоиндийские письмена и их расшифровка. ВДИ, 1940, № 2, стр. 26.

сверху прямоугольник , тройной развилок , круг с чертой . Часты и расположенная под ней

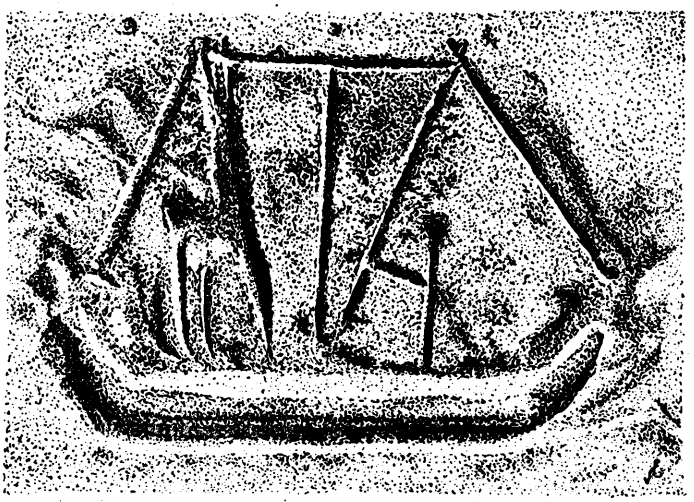


Рис. 14. Изображение лодки из Беш-тюбе (древний комплекс).

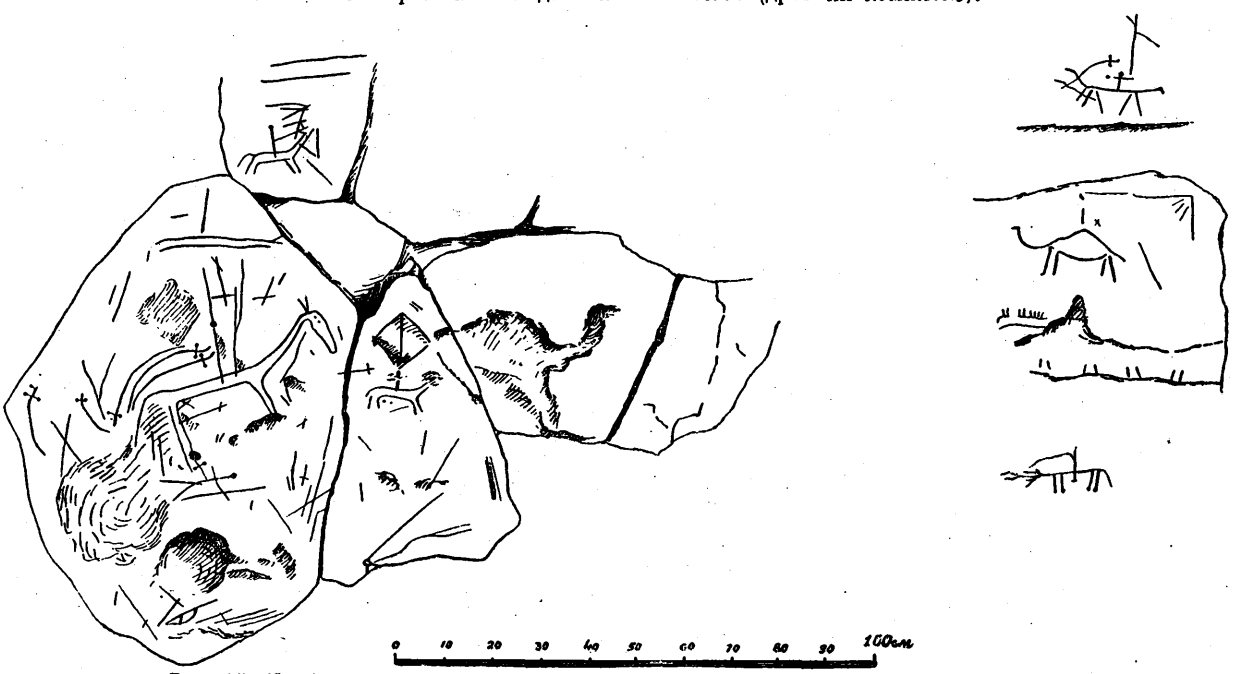


Рис. 15. Изображения всадников и животных из Беш-тюбе (поздний комплекс).

различные виды треугольников или .

и их систем и др. Иногда эти элементарные знаки входят в систему пиктографических композиций, иногда стоят изолированно, иногда образуют правильные строки, напр.:

Это тип знаков, чрезвычайно близкий (если сделать поправку на лапидарность протохорезмийских начертаний) к протоиндийским, позволяет предполагать начало перехода от пиктографии к идеографии и видеть здесь первые шаги иероглифического письма.

Для датировки исследуемого комплекса имеет, бесспорно, значение наличие в составе технологически примыкающих к нему изображений изображения парусного судна с двумя схематическими человеческими фигурами на нем (рис. 14).

Судно, своим профилем резко отличаясь от современных аму-дарьинских каюков (которые, впрочем, также чрезвычайно архаичны), скорее ассоциируется с изображениями судов на памятниках архаического Египта[1]. Это, однако, не может служить достаточным основанием для слишком ранней датировки нашего комплекса, против которой говорит наличие в его составе изображений всадников.

Вся совокупность вышеизложенных данных позволяет датировать протохорезмийские наскальные начертания временем от III до начала I тысячелетия, т. е. бронзовым веком Хорезма. К этому времени, по нашему мнению, относятся и северо-западные—приазовские и приводимые в той же работе О. Н. Бадера западноевропейские аналогии протохорезмийских знаков, созданные, как и они, в процессе тех больших социальных и этнических сдвигов, которыми сопровождался процесс становления индоевропейской системы языков на обширном пространстве от СЗ Индии до левобережья Нижнего Рейна.

При несомненных связях хорезмийских, европейских, мохенджодарских, хеттских и протоэламских знаков трудно пока со сколько-нибудь достаточной отчетливостью установить конкретные условия и направление формирования этих связей. Возможно, что здесь мы видим постепенное расширение на север и запад влияния древней, вряд ли не древнейшей в истории человечества, индоокеанской цивилизации. Возможно и другое. Может быть, перед нами распространение в сферу этой цивилизации элементов культуры втянутых в ее круг первобытных варваров Иранского нагорья и Туранской низменности, касситов, митанийцев, хеттов, а может быть, и самих сумеров, связи которых с урало-алтайским языковым миром вполне убедительно установлены Гоммелем[1]. Вернее же здесь сплетение, сложное и длительное, обоих процессов.

---

[1] J. de Morgan. Prehistoire orientale, II, стр. 89, 283 и др.

[1] F. Hommel. Ethnologie und Geographie des alten Orients. München, 1926, стр. 21.

II. ВРЕМЯ ТЫСЯЧИ ГОРОДОВ
(Древний) Хорезм

«В это время отпал и Диодот, наместник тысячи бактрийских городов».

Трог Помпей XII.

1. ГОРОДИЩА С ЖИЛЫМИ СТЕНАМИ

Мы переходим теперь к периоду, когда были уже созданы великие каналы Хорезма, когда, как мы отметили уже выше, есть все основания предполагать сложение в Хорезме классов и государства. Мы еще мало знаем о памятниках предахеменидского периода. Сюда, повидимому, относятся довольно многочисленные, собранные на такырах «Земель древнего орошения», плоские двуперые медные втульчатые стрелы, по типу тождественные с ранне-скифскими стрелами VII—VI вв. до н. э.

К этому же периоду, видимо, относятся найденные А. И. Тереножкиным в 1937 г. на беркут-калинских такырах два сосуда, сделанных «без гончарного круга из глины без примесей и обожженных на костре. Один из сосудов близок по форме к кувшинам. Дно маленькое, плоское; стенки внизу отлогие, а выше перегиба—сравнительно крутые и высокие, образуют выпуклый объемистый корпус; легкий отгиб простых бережков наружу образует небольшую шейку... Второй сосуд похож на глубокую миску с загнутыми внутрь краями»[1].

Эта керамика представляется нам переходной от амирабадской к сделанной без круга античной керамике Хорезма и наиболее близкие аналогии встречает в ранне-скифской керамике Восточной Европы.

Наконец сюда же относятся близкие к характерным для «городищ с жилыми стенами» усеченно-коническим (расширяющимся книзу) сосудам с ребристой поверхностью, сделанные на ручном гончарном круге, но гораздо более грубые сосуды, найденные М. В. Воеводским во время разведок в южном Левобережном Хорезме и хранящиеся в Историческом музее в Москве.

[1] А. И. Тереножкин. Изв. УзФАН, 1940, № 6, стр. 55 (табл. I, рис. 1—2).

Памятники ахеменидского периода истории Хорезма изучены также очень слабо. Однако мы уже можем дать характеристику, пожалуй, важнейшей стороне древнехорезмийского быта этой эпохи—типу поселений. Ахеменидское время характеризуется здесь появлением на смену «длинным домам» амирабадского типа так называемых «городищ с жилыми стенами», представленных открытыми нами в 1939 г. развалинами Кюзели-гыр и Калалы-гыр на древнем канале Чермен-яб, в примыкающей к культурным землям Ташаузской области ТССР части Каракумской пустыни. Эти городища датируются по керамическим данным временем между VI—IV вв. до н. э.[1].

Характер керамики Кюзели-гыра, сделанной на ручном круге, довольно грубой и сопровождаемой находками стрел скифского типа, восходящего к VI—IV вв. до н. э.[2], позволяет считать эти городища наиболее ранними в нашей серии. Характерна поверхность сосудов, изборожденная горизонтальными рубцами, — явно связанная с технологическим процессом работы на ручном круге, еще недостаточно освоенном. Этим поверхность кюзели-гырской керамики близко напоминает поверхность металлических сосудов ахеменидской эпохи (где этот прием, перенесенный с керамики, имеет уже чисто декоративное значение) и керамических сосудов из Суз, относящихся к тому же времени[3]. Однако наличие значительного количества сосудов (чаш) с красным ангобом, близким к

[1] С. П. Толстов. Древности верхнего Хорезма, ВДИ, 1941, стр. 178.

[2] Ср. стрелы из оренбургских скифских курганов этого времени. B. N. Grakov. Deux tombaux de l'époque scythique aux environs de la ville d'Orenbourg ESA, IV, 1929, рис. 4, стр. 173, рис. 7, стр. 175.

[3] Ср. F. Sarre. Die Kunst der Alten Persiens. Berlin, 1923, табл. 46, 47.

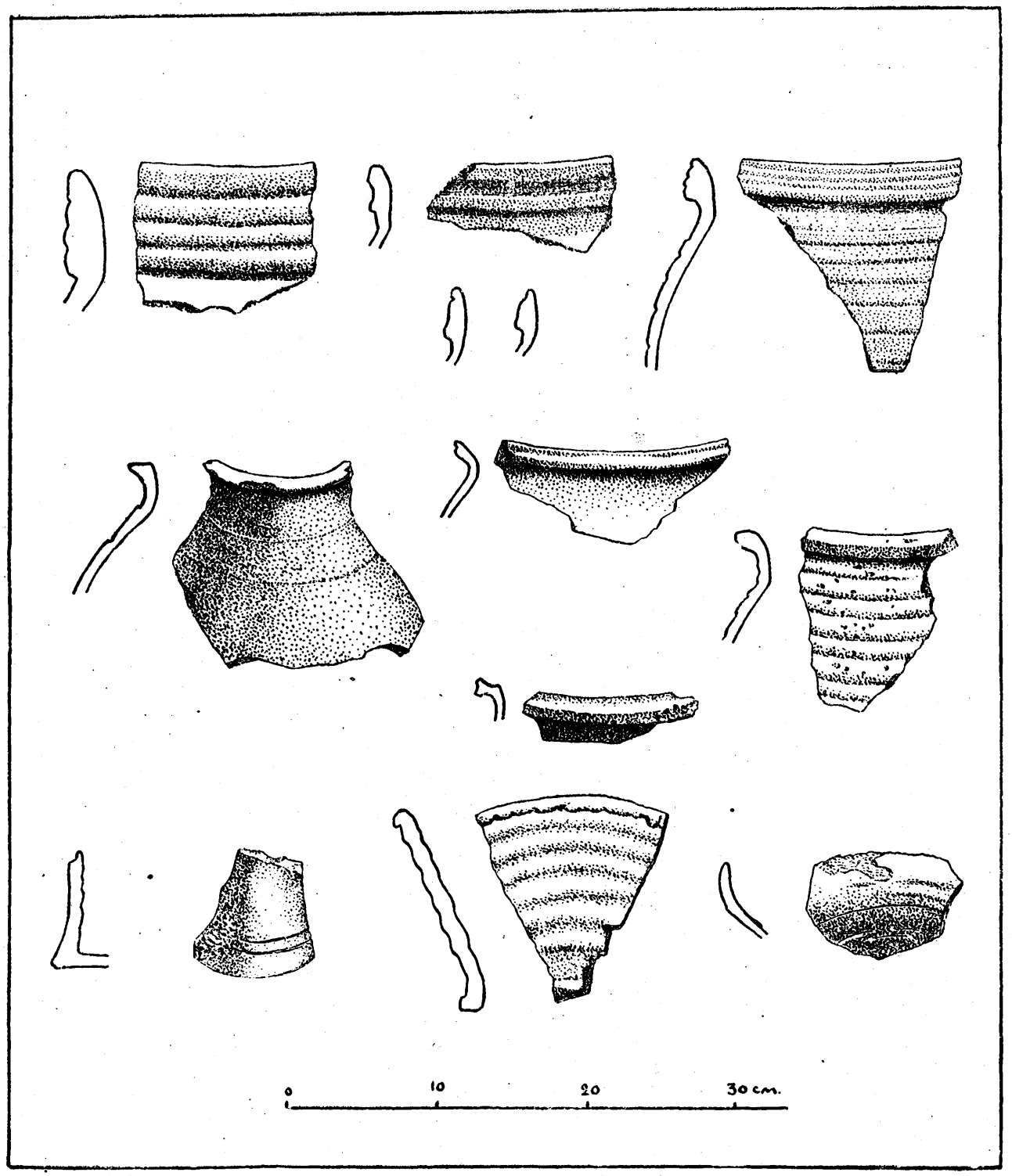


Рис. 16. Образцы керамики из Кюзели-гыра (культура городищ с жилыми стенами).

кангюйскому (см. ниже), хотя и отличных по форме (отсутствие дисковидного поддона), не позволяет нам особенно завышать возраст этих памятников, повидимому непосредственно предшествующих кангюйским. В пользу этого говорит и форма стрел, среди которых отсутствуют ранне-скифские формы (двуперые стрелы), известные нам по подъемным материалам.

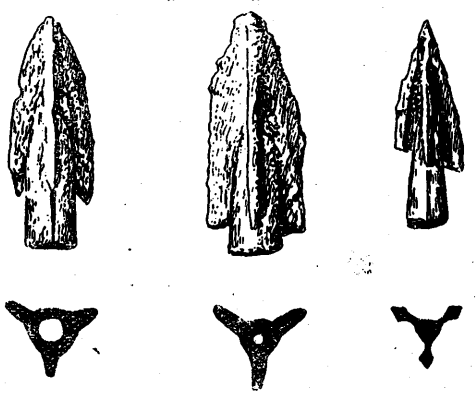


Рис. 17. Наконечники стрел из Кюзели-гыра.

Городища этого типа располагаются на останцевых возвышенностях, довольно далеко от русла канала, чем они сильно отличаются от позднейших античных городищ, которые, вне зависимости от того, расположены ли они в низине или на возвышенности, всегда находятся непосредственно на обслуживавшей их водной магистрали.

Городища ахеменидского времени характеризуются огромными размерами, целиком занимая площадку облюбованного холма. Калалы-гыр имеет форму довольно правильного четырехугольника (рис. 19). Кюзели-гыр—в соответствии с очертаниями холма—подтреугольную форму (рис. 18). Размер первого 1000 × 700 м, второго—1000 (основание △) × 400 (высота △). Они значительно крупнее самых крупных из обследованных нами городищ более поздней античности, как правило, не превышающих в длину полукилометра. Но особенно интересна их планировка. Огромная внутренняя площадь обоих городищ оказалась почти совершенно свободной от культурных остатков. С несомненностью можно утверждать, что она не использовалась под жилье. Вся жизнь была сосредоточена внутри массива мощных стен городищ, заключающих в себе по 2 или 3 ряда параллельных узких коридорообразных жилых помещений, опоясывавших все городища кругом. На Кюзели-гыре, «жилые стены» которого разрушены почти до основания, удалось хорошо выяснить планировку этих своеобразных жилищ.

Сопоставляя этот тип поселения с описанным выше типом амирабадского «длинного дома» из Джанбас-калы № 7, мы видим, что городища с «жилыми стенами» являются непосредственным развитием амирабадских домов. По существу это огромной длины амирабадские дома, поставленные по краям избранного для поселения холма так, что они образуют замкнутую фигуру с гигантским внутренним двором. Кроме этих домов, на городищах имеются и другие постройки, однако имеющие особое, не жилое назначение.

В Кюзели-гыре, недалеко от центра городища, мы обнаружили 3 оплывших бугра построек, размерами каждая 20 × 20 метров, вытянутых в ряд с промежутками в 3 метра. Функцию этих построек определить пока не удалось, но их особое место в центре городища, среди огромной пустой площади не позволяет их рассматривать, как обычные дома. У северной стены Калалы-гыра, близ СВ угла, находится большое, сложной планировки здание из сырцового кирпича. На поверхности земли в комнатах этого здания валялось большое количество черепков оссуариев и оссуарных хумов (погребальных корчаг). Заложенный в одном из по-

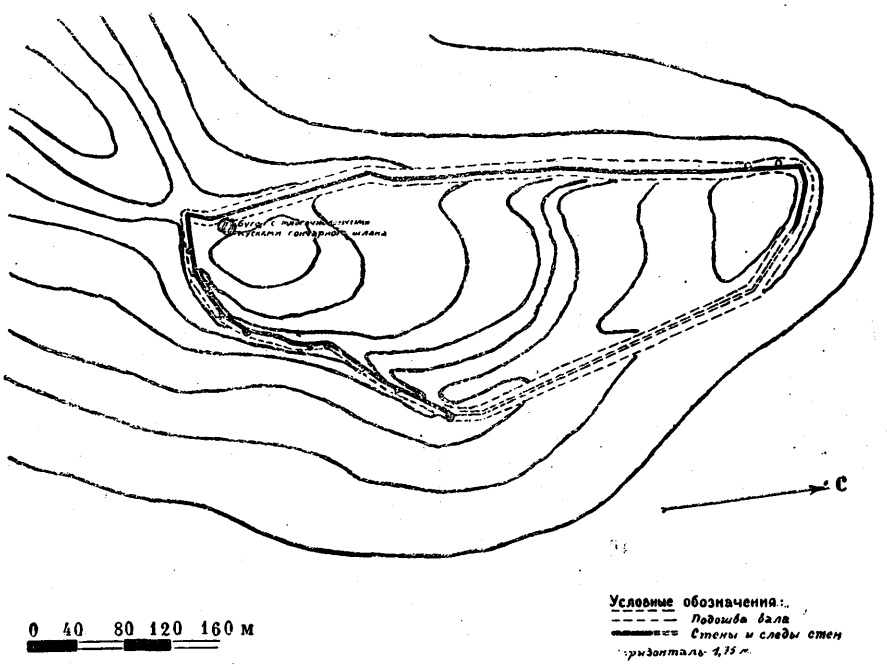


Рис. 18. Кюзели-гыр—схематический план (съемка С. Толстова и С. Гасанова).

мещений дома шурф обнаружил погребение в таком хуме. Все это заставляет видеть в этом доме культовый центр городища и прежде всего место погребения членов обитавшей на городище общины.

Оборонительная система обоих городищ уже довольно совершенная. Стены извне защищены многочисленными башнями, четверо ворот Калалы-гыра имеют сложные предвратные лабиринты, также защищенные башнями.

Хотя стены не сохранились до уровня бойниц, общая структурная близость конструкции стен и типа оборонительных сооружений «городищ с жилыми стенами» и позднейших хорезмийских городищ позволяет почти полностью реконструировать характер этих сооружений.

Первоначальный вид «домов-стен» может быть восстановлен в следующем виде (рис. 20). Две или три сложенных из крупного сырцового кирпича 40 × 40 × 10 см параллельных галлереи, перекрытых, вероятно, высокими и узкими эллиптическими сводами, образовывали вместе толщу стены городища. Плоская кровля из настланных поверх сводов кирпичей образовывала пол шедшей над жилыми галлереями стрелковой галлереи, откуда, вероятно, через люки, служившие одновременно световыми колодцами, можно было попасть в жилое помещение. Стрелковая галлерея была снаружи и, вероятно, изнутри защищена идущим вверх продолжением внешних стен дома-стены и открывалась наружу многочисленными, часто на расстоянии около одного метра друг от друга расположенными высокими и узкими бойницами стреловидной формы (см. ниже). Была ли стрелковая галлерея перекрыта сверху плоской кровлей, сказать трудно. Вероятнее основанное на анализе стрелковой галлереи в крепости IV в. до н. э.—I в. н. э. Джанбас-кала (см. ниже) предположение, что не была. Тогда вместе с тем легче объяснить и условия освещения жилых галлерей.

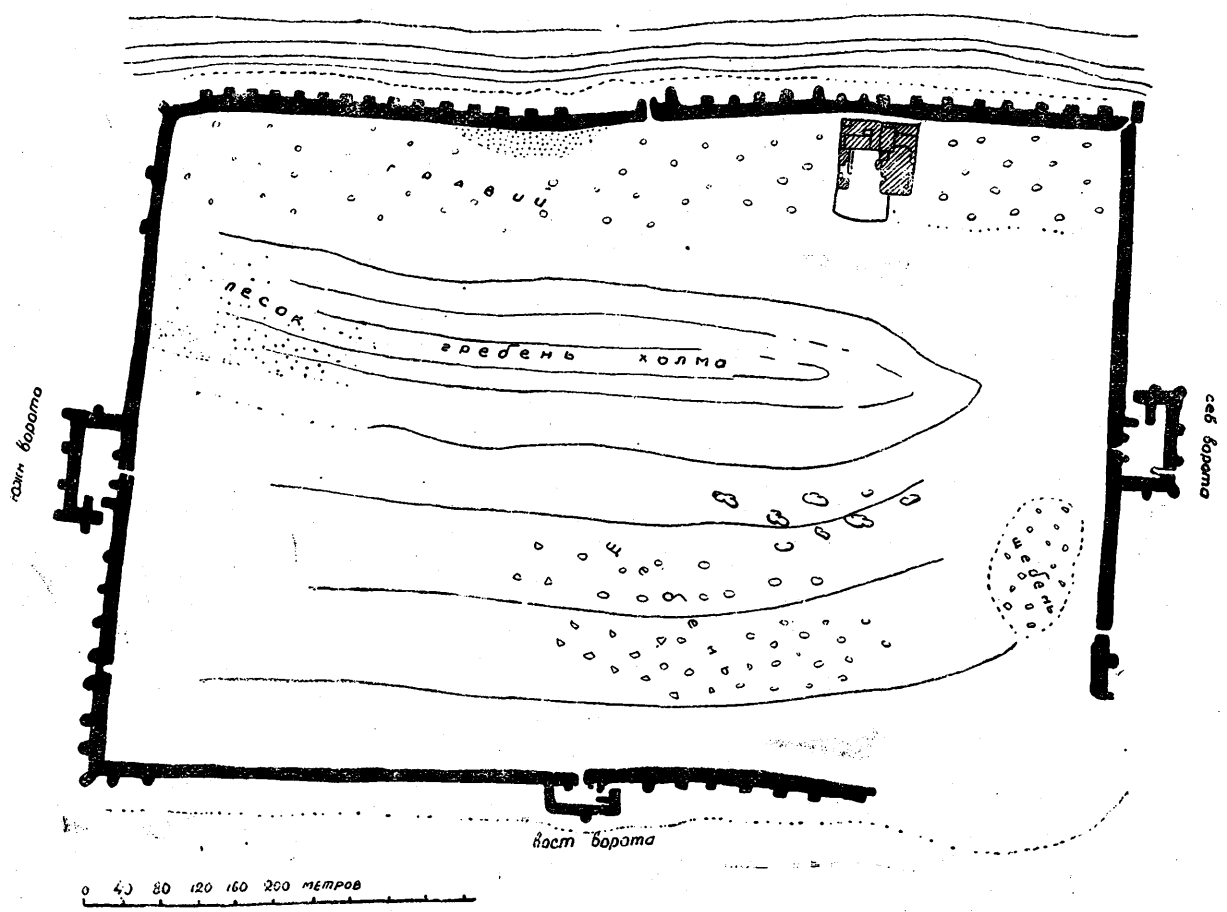


Рис. 19. Калалы-гыр—схематический план (съемка С. Толстова и С. Гасанова).

Остается вопрос о назначении огромной внутренней площади городища. Высота ее над уровнем воды в каналах исключает возможность использования ее под поля, огороды или сады. Наиболее вероятным является предположение, что мы имеем здесь загон для скота, видимо, являющегося основным, подлежащим защите, богатством древних хорезмийцев.

«Городища с жилыми стенами» очень близко воспроизводят тот тип поселения древнейшей Средней Азии, который описан в некоторых текстах Авесты. В первую очередь я имею в виду текст II фаргарда Вендидада, описывающий постройку культурным героем Авесты Йимой (Джемшид эпоса) укрепленного поселения «четырехугольной Вары»:

«33. И Йима построил Вару, длиной в лошадиный бег[1] по всем четырем сторонам и перенес туда семена, быков, людей, собак, птиц и огней, красных, пылающих. Он сделал Вару длиной в лошадиный бег по всем четырем сторонам жилищем для людей, Вару, длиной в лошадиный бег по всем четырем сторонам—загоном для скота.

34. Туда он провел воду по пути, длиной в хатр...[2] Там он построил жилища, дом, свод, двор, место, закрытое со всех сторон.

37. В широкой части постройки он сделал девять проходов — шесть в средней части, три в узкой...

38. ...И сделал он вход и световой люк»...

Этот текст, содержащий много темных мест и непонятных терминов, полностью дешифровывается при сопоставлении со структурой «городищ с жилыми стенами».

Квадрат мощных сырцовых стен, 12 км в окружности, имеющих в наиболее широких местах девять сводчатых проходов внутри массива стены и в наиболее узких—три прохода, как в Кюзели-гыре, перекрытых коробовыми сводами со световыми люками, служащих жилищем для людей, окружающий двор, служащий загоном для скота—это точное описание «городища с жилыми стенами».

Историки походов Александра—Арриан, Курций, Плутарх—в один голос говорят нам об огромных размерах укрепленных поселений доэллинистической Средней Азии: «скала» Хорисна—укрепленное поселение на площадке скалистой возвышенности имела в окружности «до 60 стадий» (Арриан, IV, 21), т. е. около 9 километров. «Скала» Сатибарзана (Курций, VI, 6, 25) имела окружность в 32 стадия (около 5 км). «Скала» Сизимитра (Страбон, XI, 11,4)—80 стадий (около 12 км). По Курцию (VII, II, 1) «скала» Аримаза имела 150 стадий (свыше 23 км) в окружности.

По Помпею Трогу (XII, 5), Александрия на Танаиде (построенная, по «Дорожнику Александра» 84, руками пленных, вероятно, по местному образцу) имела в окружности 6 миль, т. е. около 7,5 километра. Макаранда, крупнейший город Согда, имела, по Курцию (VII, 6, 10), в окружности 70 стадий, т. е. около 11 км, причем кроме внешних стен имела также и внутреннюю цитадель.

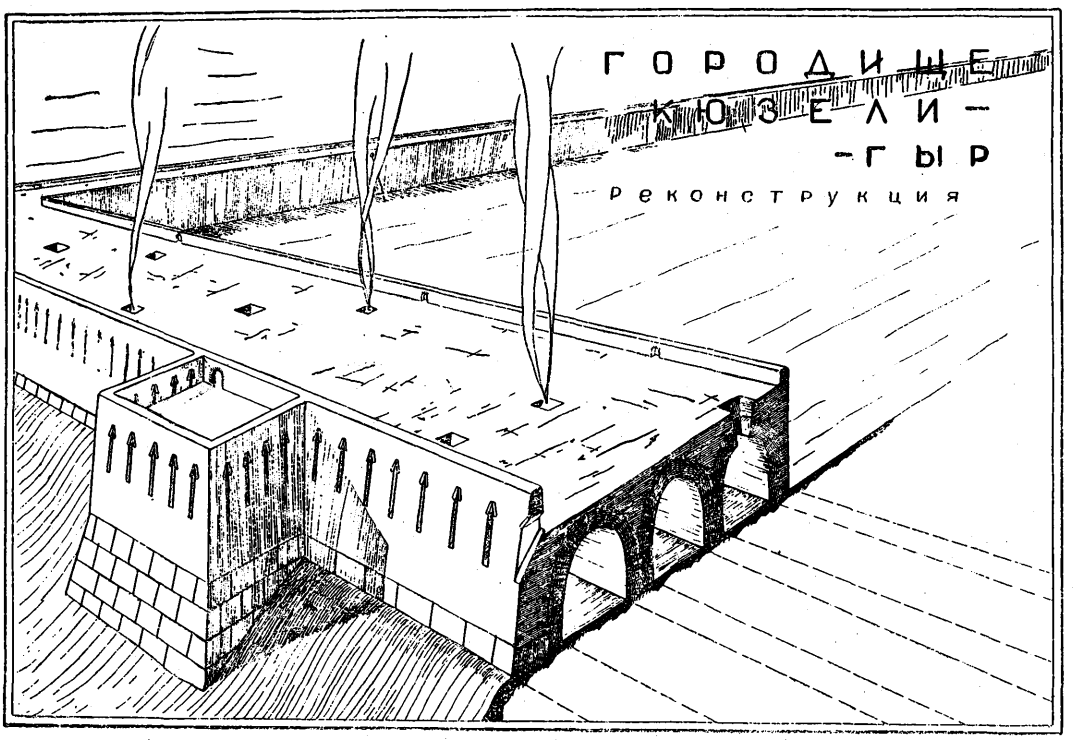


Рис. 20. Городище Кюзели-гыр. Структура «Жилой стены». Реконструкция С. Толстова.

[1] По Дармстетеру—около 2 англ. миль, т. е. около 3 км.

[2] Около 1,5 км.

Конечно, эти цифры, во всяком случае некоторые из них, видимо, преувеличены. Однако характерна общая тенденция, с несомненностью говорящая об огромных для греческого наблюдателя размерах согдийских и бактрийских «городов», вполне соответствующих размерам «квадратной Вары» Авесты (12 км в окружности) и «городищ с жилыми стенами» Хорезма (2—3 км в окружности).

Именно этот архаический тип планировки поселения и является объяснением парадоксального факта, что, как отметил Бартольд в отношении размера Мараканды по Курцию, «таких больших городов потом не было в Туркестане до арабского завоевания»[1].

Действительно, среди археологических памятников домусульманской Средней Азии «городища с жилыми стенами»—самые большие по размеру. Крупнейшие известные нам домусульманские города Хорезма эллинистического времени (Базар-кала) не превышают двух километров в окружности, а Калалы-гыр и Кюзели-гыр, несомненно, отнюдь не принадлежат к «крупным городам», а являются всего-навсего заурядными поселениями.

Если обратиться к этнографическим параллелям, то очень близкую аналогию мы встретим в описанном Л. Г. Морганом типе поселения так называемых «строителей насыпей» в бассейне р. Миссисипи, в частности, в пуэбло «Высокой насыпи», реконструированном Дж. Кутлером[2]. Основная часть этого пуэбло составляла неправильный квадрат 270 × 270 м, образованный семью поставленными в виде каре «длинными домами», поднятыми на глинобитный цоколь 3,5 м высоты и около 14 м ширины в основании.

Раскрываемый таким образом перед нами господствующий план поселения Хорезма ахеменидской эпохи—укрепленного общинного поселения (типа пуэбло) крупных размеров, с обширным внутренним двором—загоном для скота, иногда, возможно, используемым под посевы, окончательно, нам думается, разрешает проблему бесчисленных городов Средней Азии, о которых говорят нам почти все древние авторы.

Наиболее ранним является свидетельство Ктесия (V в. до н. э.) о Бактрии—термин, вероятно, собирательный, в смысле бактрийской сатрапии, включавшей большую часть Средней Азии. Ктесий (Диодор II, 5,6) говорит о «множестве неприступных укрепленных мест», о «большом количестве крупных городов в Бактриане». Трог Помпей (XII, 4) называет Диодота Бактрийского (середина III века до н. э.) правителем тысячи бактрийских городов. О семидесяти больших и малых городах Ферганы рассказывает для конца II в. до н. э. Чжан-цянь.

В этой связи стоит упомянуть недавно выдвинутую известным английским историком эллинизма В. В. Тарном, посвятившим истории Греко-бактрийского царства фундаментальную монографию[1], гипотезу о том, что укрепленные общинные поселения появляются в Средней Азии лишь после греко-македонского завоевания, в результате мудрой социальной политики Евтидема. Им, якобы, предшествовали «неукрепленные поселения крепостных крестьян», сидевших на землях «согдийских баронов».

Наш материал рисует совсем иную картину общественного быта ахеменидской Средней Азии. Не «феодализм», а мощные пласты первобытно-общинного строя, сочетавшегося, вероятно, с элементами примитивного рабовладения, не «открытые поселения крепостных крестьян», а обнесенные высокими стенами укрепленные пуэбло первобытных общин выступают здесь перед нами. При этом наши данные увязываются не только с показаниями Авесты.

Прямые свидетельства историков походов Александра, упомянутые нами ранее, в которых многое до открытия «городищ с жилыми стенами» оставалось непонятным, сейчас могут быть истолкованы только как свидетельства именно об этом типе укрепленных поселений. При этом, несмотря на явную преувеличенность приводимых ими цифр, из них можно сделать один очень существенный для нас вывод: поселения ахеменидской Средней Азии располагались преимущественно на возвышенностях и отличались огромными размерами.

Более, конечно, скромные, но все же достаточно внушительные, намного превосходившие все, что мы имеем в более позднее время, размеры наших «городищ с жилыми стенами» и их расположение позволяют с достаточной определенностью заключить, что именно такого типа поселения мы должны видеть в «скалах» согдийских и бактрийских вождей, описанных Аррианом, Курцием и Страбоном.

Только принятие этого тезиса сделает понятным огромные, ни с чем, казалось бы, несообразные размеры этих поселений.

---

[1] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 2.

[2] Л. Морган. Дома и домашняя жизнь американских туземцев. Л., 1934, стр. 52.

[1] W. W. Tarn. The greeks in Bactria and India. Cambridge, 1938 г. См. нашу рецензию в ВДИ, 1940, № 4.

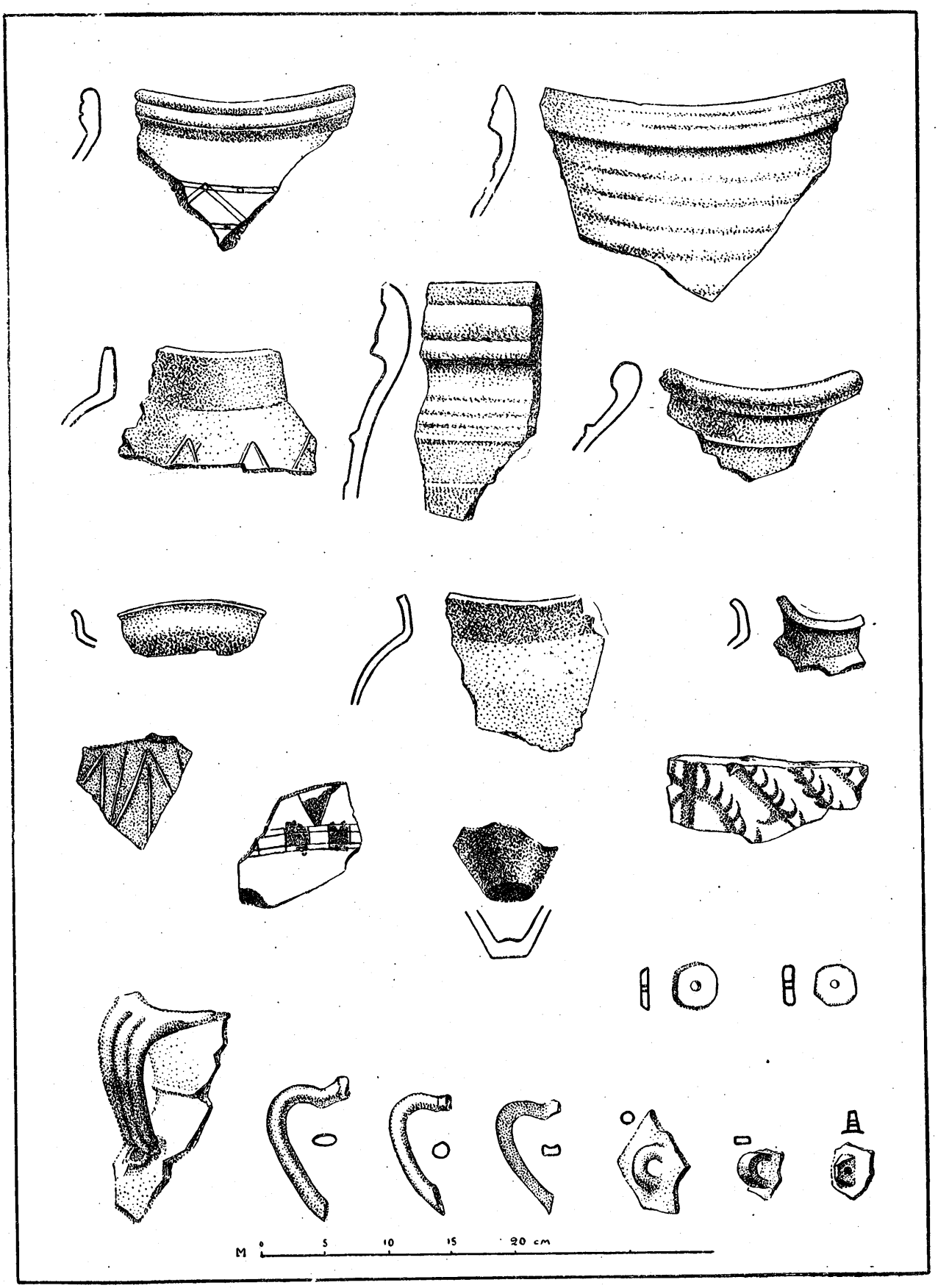


Рис. 21. Керамика из Базар-кала (ранне-кангюйский комплекс).

2. ГОРОДИЩА КАНГЮЙСКОГО ВРЕМЕНИ (IV в. до н. э.—I в. н. э.)

Памятники следующего исторического этапа дают нам несравненно более обильный и разнообразный материал. Развалины исключительно хорошо сохранились. Великолепно сохранились стены, бойницы, башни и другие оборонительные сооружения. Что касается жилых домов, то они сохранились гораздо хуже, чем в зоне, датируемой следующим, афригидским периодом. С одной стороны, время, повидимому, оказало свое влияние, с другой стороны, сказался и иной тип жилищ, менее укрепленных, чем в афригидскую эпоху.

Датирующим материалом является прежде всего материал керамический. Доминирующей является керамика, сделанная на ножном гончарном круге, из хорошо отмученной глины, хорошего обжига, тонкая, красного цвета на изломе, иногда покрытая сверху красным ангобом или красным лаком. Очень редко встречаются фрагменты, в одном случае (на античном поселении близ замка № 13 в комплексе Беркут-кала)—целый кувшин эллинистического облика, покрытый черной краской (см. рис. 21а). Этой же черной краской покрыты наиболее архаические по типу фрагменты блюда с изображением тигра и джейрана из Джанбас-калы

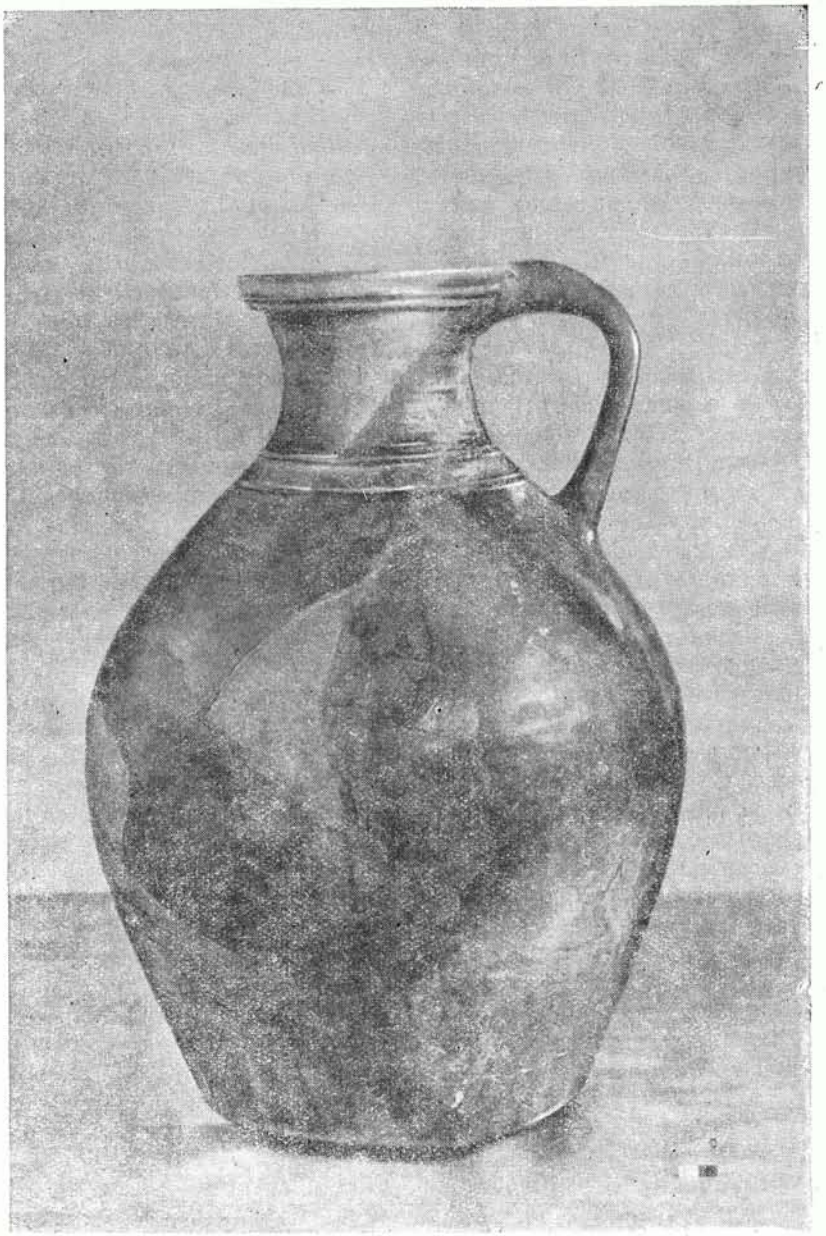


Рис. 21а. Сосуд из поселения около замка № 13 района Беркут-кала.

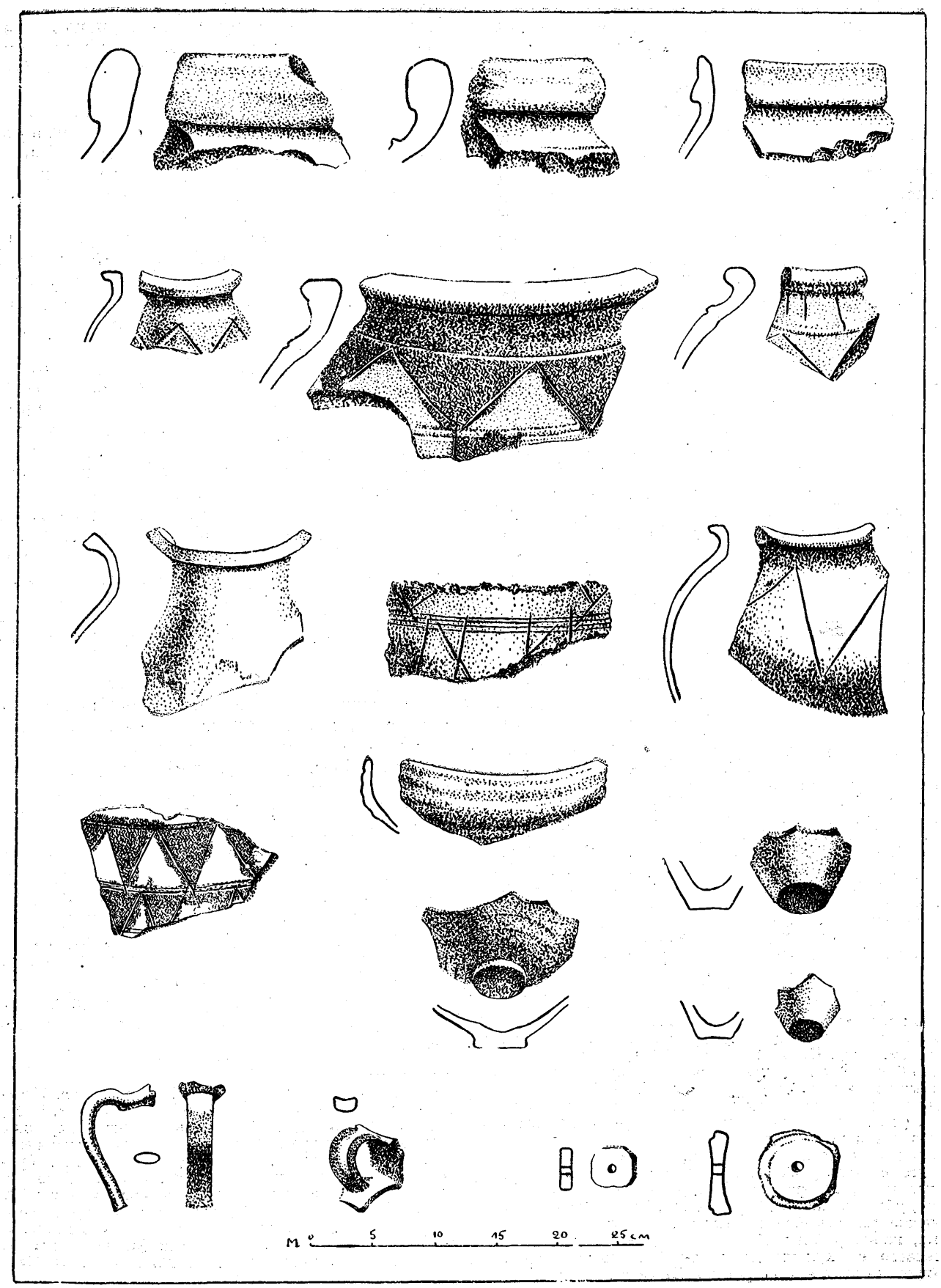


Рис. 22. Керамика из Кой-крылган-кала (ранне-кангюйский комплекс).

и фрагмент крайне грубой женской статуэтки оттуда же (см. ниже, гл. IV—3). Судя по всему, эта керамика должна быть отнесена к самому раннему этапу хорезмийского эллинизма, вероятно, к III в. до н. э. Видимо, она отражает влияние греческой чернолаковой керамики—влияние, бывшее, впрочем, в Хорезме весьма непрочным. Если говорить о форме сосудов, отметим, прежде всего, широкие плоские чаши, имеющие очень характерный поддон в виде выступающего небольшого диска. Отметим далее сравнительно редко встречающиеся бокаловидные чаши на высокой ножке и чаши в форме обращенного усеченного конуса, узкие днища которых во множестве находятся на развалинах. Формы кувшинов, мисок, корчаг весьма разнообразны. Корчаги (хумы) имеют характерную закраину, в виде круглого или овального в сечении валика[1]. Среди фрагментов хумов многие имеют по светлому фону раскраску черной и красной краской. Эти сосуды встречаются по преимуществу на наиболее ранних городищах (Базар-кала, Кой-крылган-кала, М. Кырк-кыз, Джанбас-кала; см. рис. 21, 22, 23).

Наряду с краснолаковой керамикой, чрезвычайно близкой к керамике из Айртама, близ Термеза, датируемой на основании монетных данных (монеты Канишки) I—II в. н. э.[2], и с керамикой нижних слоев раскопанного Г. В. Григорьевым городища Тали-барзу близ Самарканда (ТБ I—IV по терминологии Г. В. Григорьева[3]), мы встречаем керамику другого типа, более грубую, сделанную без гончарного круга, с грубой серой поверхностью. Среди нее характерны крупные, сравнительно тонкостенные сосуды с прямым высоким горлом, образующим при переходе к туловищу резкий перегиб. Характерны также плоские чаши, сделанные более притимивной техникой, чем керамика первого типа. Отметим конические поддоны от котлов из глины, напоминающие поддоны скифских медных котлов.

Мы здесь видим аналогию с культурой «сарматского» времени Киргизии и Казахстана. В частности, несомненны аналогии с усуньскими могильниками, которые также датируются концом дохристианской и началом христианской эры[1].

Если выйти за пределы Средней Азии, то керамика первого типа найдет наибольшее количество аналогий с керамикой Причерноморья позднеэллинистического и римского времени.

Наряду с этими двумя группами хорезмийской античной керамики мы встречаем на этих памятниках керамику несколько иного типа, связанную с наиболее ранними слоями городищ кангюйского времени. Это крупные сосуды (небольшие корчаги) с нарезным орнаментом, спускающимся на плечики сосудов в виде треугольников, покрытых красной краской по светлому желтовато-коричневому фону (наиболее ярко представлены в Кой-крылган-кала, см. рис. 22, а также цветную таблицу I).

На всех этих памятниках найдено ничтожное количество монет в противоположность памятникам афригидской эпохи, дающим десятки и сотни монет. На одном из селищ с керамикой поздней из описанных групп (к западу от Беркут-калы) нами найдены две медные кушанские монеты II в. н. э., на другом, близ Ангка-калы—две медные раннехорезмийские монеты с изображением царя в шлеме в виде орла; серебряные монеты с изображением такого же царя имеют, наряду с хорезмийской, и греческую надпись и датируются нами III в. н. э.[2].

Значительное количество медных кушанских монет и их имитаций было найдено в Аяз-кала и Топрак-кала, а монет с царем в «орлином шлеме» и в последней и в Джильдык-кала.

---

[1] Ср. А. И. Тереножкин. Изв. УзФАН, 1940, № 6, стр. 4, рис. 1.

[2] М. Е. Массон. Находка фрагмента скульптурного карниза первых веков н. э. Материалы Узкомстариса, вып. I. Ташкент, 1938. Его же. Археологические работы в Узбекистане за последние годы (1933—1935), СОНАТ, 1936, № 2, стр. 49. Его же. Термезская экспедиция, КСИИМК, VII.

[3] Г. В. Григорьев. Тали-барзу. СОНАТ, 1938, № 2—3. Его же, КСИИМК, VI, 1940, стр. 24—34. Его же. Городище Тали-барзу, ТОВЭ II, 1940, стр. 87 сл. К. В. Тревер. Гопатшах—пастух-царь. Там же, стр. 71 сл.

Даваемые Г. В. Григорьевым датировки (ТБ—I—вторая четверть I тысячелетия до н. э., ТБ II—V—IV вв. до н. э., ТБ III—III—II вв. до н. э., ТБ IV—I—II вв. н. э.) безусловно завышены. Весь комплекс вещей, представленный в изданиях и в собраниях Гос. Эрмитажа, весьма близок к кушанскому слою Термеза и к нашим комплексам кангюйского и кушанского периодов, второй из которых датирован монетами II в. н. э. (см. ниже, III, II, 2), а первый, в Джанбас-кала, очень близкий к ТБ I и II, хорошо датируется черной керамикой в нижних слоях и буддийскими статуэтками в верхних периодом между IV в. до н. э. и I в. н. э. (см. ниже). Весь комплекс ТБ I—IV довольно однороден и не позволяет хронологически углублять его в доэллинистическое время. Он не имеет ничего общего с культурой «городищ с жилыми стенами». В частности, изображение человека-быка на стенке хума, убедительно раскрытое К. В. Тревер, как изображение мифического Гопатшаха, по типу венчика хума, на который нанесено изображение, почти тождественного с хумами Джанбас-калы, должно быть датировано временем не раньше III века до н. э.

[1] М. В. Воеводский и М. П. Грязнов. Усунские могильники на территории Киргизской ССР. ВДИ, 1938, № 3, стр. 171, 179. Очень близка к керамике этого комплекса древнейшая керамика из Приташкентских тепе (Каунчи и др.), исследованных Г. В. Григорьевым (см. его Каунчи-тепе. Изд. УзФАН, Ташкент, 1940), которую этот исследователь ошибочно относит «к концу II—к началу I тысячелетия до н. э.», стр. 39—40, и которая на деле датируется, как и наши памятники, последними веками до н. э. и началом н. э.

[2] См. нашу работу в ВДИ, 1938, № 4, стр. 127, а также ниже главу IV, I.

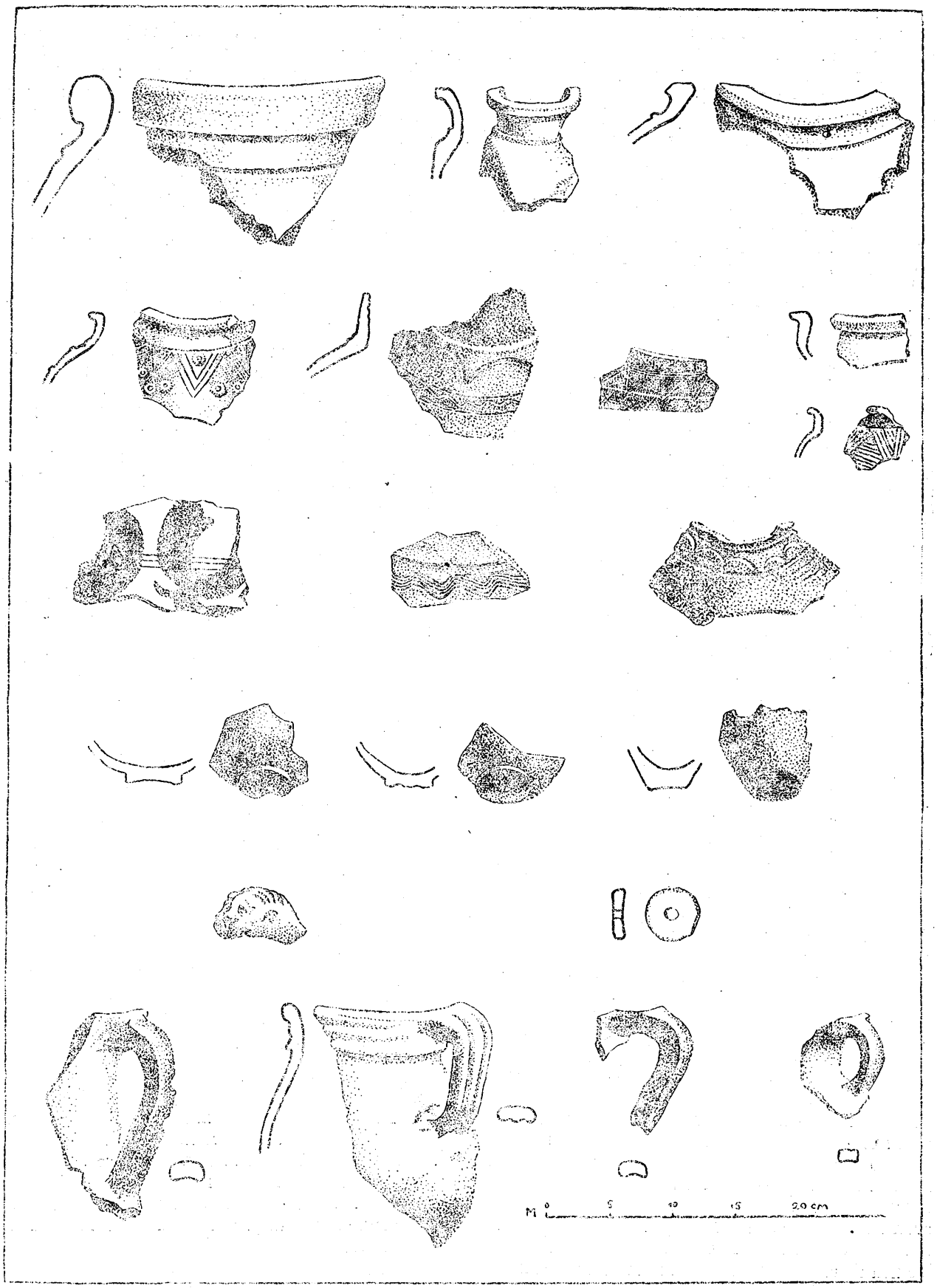


Рис. 23. Керамика из Джанбас-кала (кангюйский комплекс).

Таким образом все данные позволяют установить III—IV вв. н. э., как terminus ante quem для этой серии памятников. Однако, несмотря на сохраняющееся от конца ахеменидского времени—до III—IV вв. н. э. несомненное единство типа культуры древнего Хорезма, отражающееся, как мы увидим ниже, и в типе жилищ, поселений и фортификации, мы можем этот комплекс разделить на две хорошо прослеживающихся группы. Первую из них мы относим к периоду, который мы называем по имени государства, в состав которого в этот период входит Хорезм (и как мы попытаемся показать ниже—центром которого он являлся)—кангюйским периодом. Второй, описание памятников которого мы дадим в следующей главе, мы называем, исходя из тех же соображений, периодом кушанским.

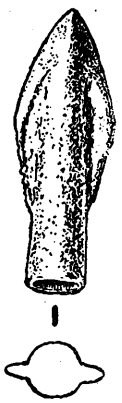


Рис. 24. Наконечник стрелы из Койкрылган-кала.

К первому периоду несомненно относится городище Джанбас-кала. Оно дает почти исключительно материал раннего керамического комплекса (рис. 23). Среди многих сотен металлических поделок и фрагментов нет ни одной монеты, что не позволяет считать это городище моложе I в. н. э., ибо со II в. в массовый оборот в Хорезме входят монеты великих кушанов, а затем и раннехорезмийские. Среди многочисленных бус (рис. 26; табл. 1) преобладают мелкие стеклянные бусы различной формы и цвета, типов, широко распространенных в северном Причерноморьи в III в. до н. э.—II в. н. э. (каменные бусы редки. Среди них отмечу просверленные кристаллы пирита, бочковидные крупные бусы из бурого железняка и шаровидные из гагата). Terminus ante quem дает описанная нами ниже (гл. IV, 3) гандхароидная группа статуэток, датируемая I в. н. э. Terminus post quem определяется незначительным процентом форм сосудов, свойственным городищам с жилыми стенами в нижних горизонтах городища и наличием там упомянутой нами выше черной раннеэллинистической керамики. Я склонен определять возраст памятника, исходя из этих данных, временем IV в. до н. э.—I в. н. э.

Джанбас-кала (рис. 25) является наиболее выдвинутой на северо-восток крепостью «Земель древнего орошения». Она расположена на северо-западном склоне пустынной, вытянутой с северо-запада на юго-восток плоской возвышенности, замыкающей цепь холмов, тянущихся на юго-восток от Султан-уиз-дага.

Поверхность возвышенности покрыта щебнем, галькой, местами песком и редкими зарослями колючки.

Вокруг стен крепости, на 10—15 м от них,—немногочисленные остатки керамики.

Крепость, образующая прямоугольник 200 × 170 м, ориентирована углами довольно точно по странам света[1].

Стены крепости, местами закрытые до значительной высоты песчаными барханами, прекрасно сохранились, достигая почти повсюду высоты 9,5—10 м над уровнем окружающей поверхности холма. Стена двойная, общей мощностью свыше 5 м. Внешняя стена, мощность которой сильно увеличивается книзу, на уровне верхнего края нижнего ряда бойниц имеет толщину 1,30 м, внутренняя на том же уровне—около 1 м. Проход между стенами 2,80 м. Нижняя часть как внешней, так и внутренней стены глинобитная, с прослойкой кирпича на высоте 2 м. От уровня бойниц стены сложены из сырцового кирпича с примесью самана,

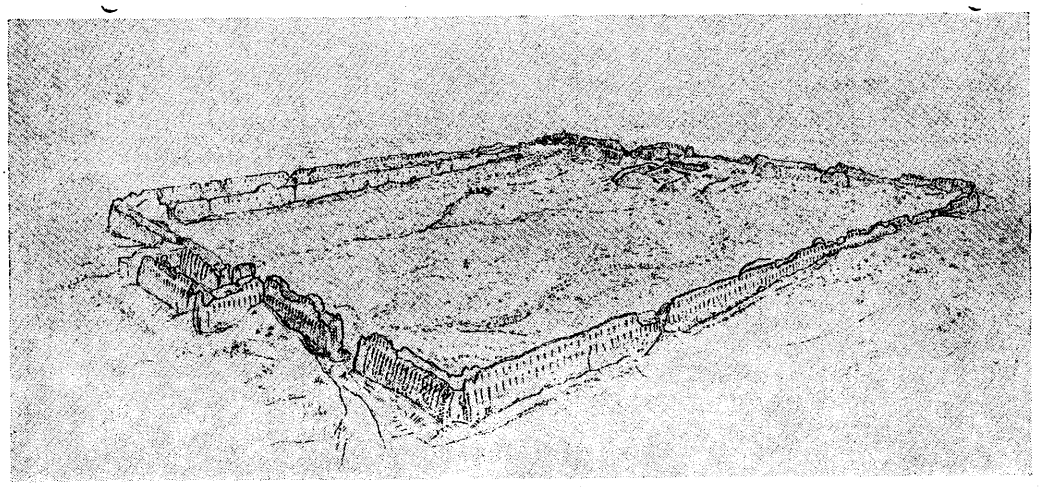


Рис. 25. Джанбас-кала. Общий вид. Перспективная зарисовка Н. И. Толстова.

[1] ВДИ, 1941, № 1, рис. 4, стр. 162.

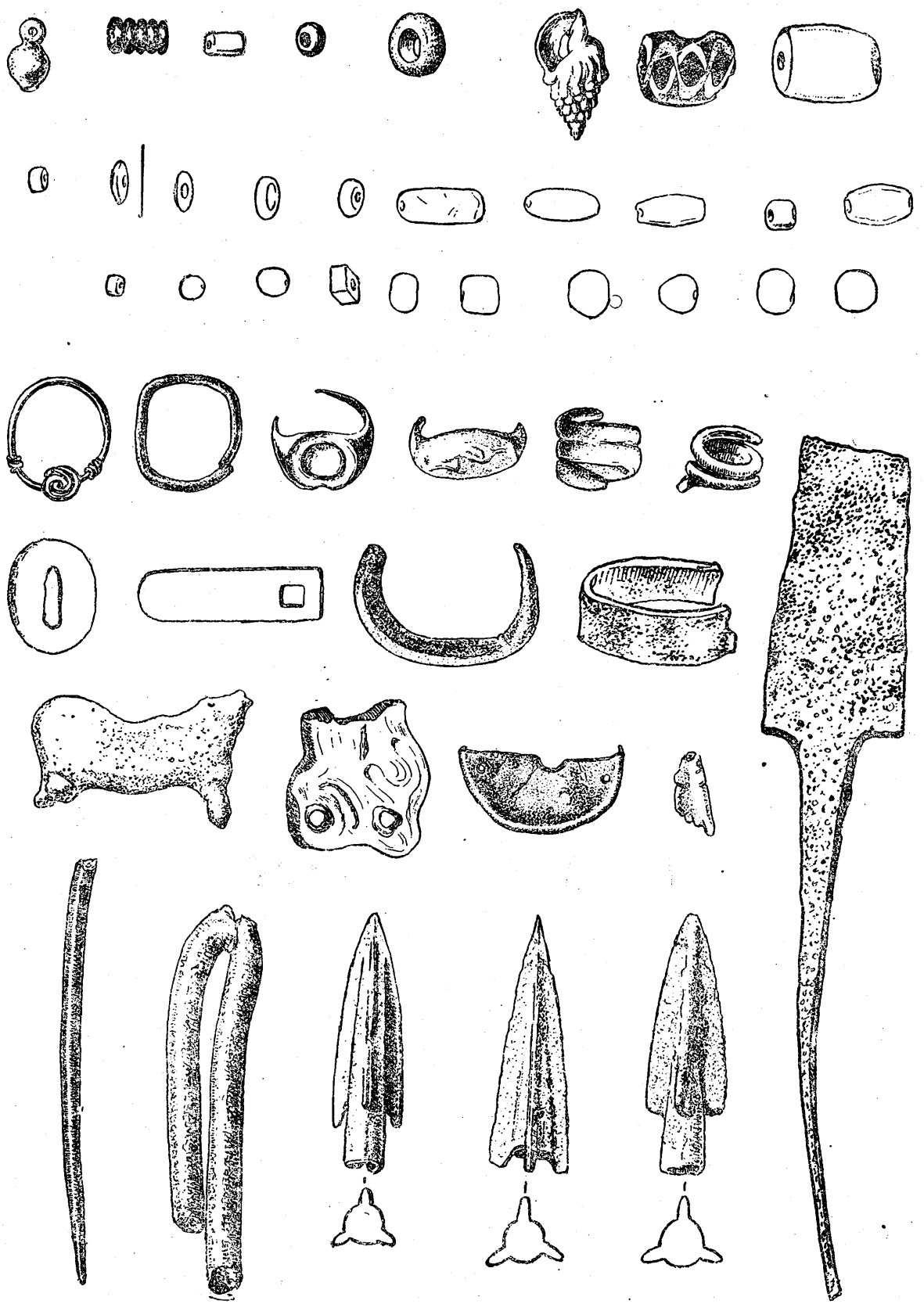


Рис. 26. Бусы, стрелы и другие металлические предметы из Джанбас-кала.

размером 40 × 40 × 10 см, на глиняном растворе. Внешняя стена вся сплошь покрыта узкими и высокими стреловидными бойницами, расположенными в два ряда в шахматном порядке[1] (рис. 25).

Ширина бойниц 18—20 см, расстояние между ними 1,20 см. Бойницы рассчитаны на «навесной бой»—обстрел подножья стены. Низ бойниц резко спускается кнаружи, и если раствор нижней бойницы внутри не превышает 75 см,

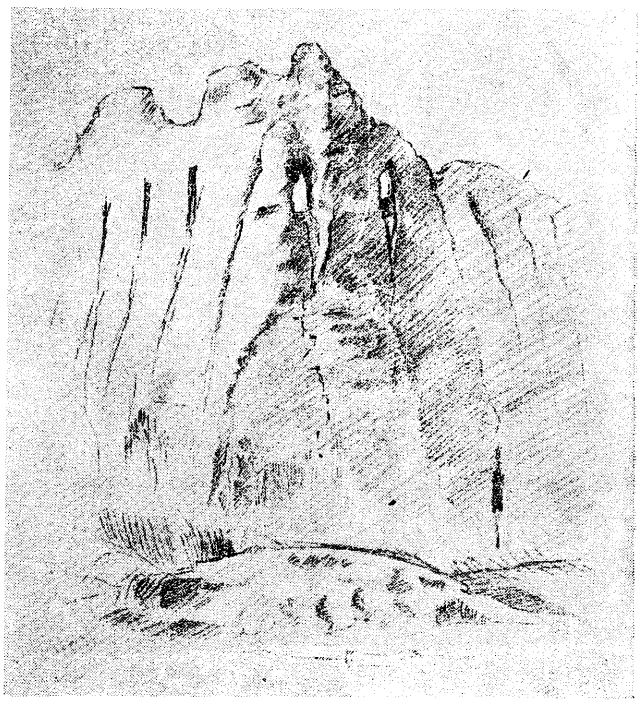


Рис. 27. Оборона угла Джанбас-кала. Рисунок Н. П. Толстова.

то снаружи он достигает двух метров (соответственно верхние бойницы, имеющие меньшие размеры, дают цифры 0,63 и 1,30 м). Между обоими рядами бойниц внутренний проход стены разделен плоским перекрытием (гнезда от его балок сохранились) на два этажа.

Стреловидные бойницы этого типа восходят к ассирийской традиции и проходят через историю ахеменидского и парфянского Ирана, не переходя, однако, в сасанидскую эпоху. Бойницы Ассура времен Саргона по очертанию и профилю совершенно тождественны с бойницами Джанбас-кала и других хорезмийских памятников кангюйско-кушанского времени. Этот же рисунок бойниц, перенесенных, однако, на зубцы, мы находим в Ассуре и Варке аршакидского времени[2].

[1] ВДИ, 1939, № 3, рис. 4, стр. 178.

[2] Herzfeld, Paikuli. Рис. 3, стр. 4. Тип бойниц, по очертаниям тождественный с описанным, мы встречаем и в декоративных бойничках башенки на спине слона на датируемых II в. до н. э. бактрийских фалерах. К. В. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства. Л., 1940, табл. I—II. Та же система часто расположенных бойниц характерна и для исследованного Григорьевым античного Согда. См. КСИИМК, VI, стр. 26, рис. 2.

Характерной чертой Джанбас-кала, выделяющей ее из всех исследованных нами крепостей, является полное отсутствие башен как угловых, так и вдоль стен. Для флангового поражения наступающего противника использована система косых бойниц, которые располагаются через 20—25 обыкновенных бойниц, группами по три бойницы—одна прямая в середине и две косые, обращенные в стороны, по бокам. Каждую такую группу бойниц мог обслуживать только один стрелок, находившийся в небольшой круглоарочной нише в метр шириной и 85 см глубиной, куда открывались внутренние отверстия всех трех бойниц (рис. 28).

Углы также защищены системой косых бойниц, расположенных попарно (в одном случае угол защищен одной бойницей).

Ворота защищены сложным сооружением в виде прямоугольного выступа стены (выступание по сравнению с основной стеной—20 м, длина—52 м). Предвратное сооружение прекрасно сохранилось, позволяя полностью восстановить систему обороны ворот. Входивший в эти ворота, расположенные возле северного угла предвратного сооружения, попадал в узкий ход внутри этого сооружения, образующий, благодаря наличию двух вдающихся внутрь прохода башнеобразных выступов, пять изгибающихся под прямым углом колен, со всех сторон обстреливаемых открывающимися внутрь хода бойницами. В двух местах на уровне нижнего ряда бойниц проход внутри стены открывается внутрь коленчатого хода предвратного сооружения круглыми, хорошо сохранившимися арками, вероятно предназначенными для вылазки во время боя внутри ворот[1]. Третья такая же арка ведет из межстенного хода предвратного сооружения внутрь двора крепости.

В местах, где ход внутри основной стены примыкает к предвратному сооружению, он прегражден поперечными стенами, также с бойницами. В случае взятия стены или ворот бой переносился внутрь стен, и защитники через эти бойницы могли обстреливать захваченный врагом участок.

Эта своеобразная система обороны ворот, своего рода «предвратный лабиринт», была, повидимому, весьма эффективной. Об этом свидетельствует наличие в непосредственном соседстве с воротами, к югу от них, широкого пролома в стене. Южный край этого пролома имеет

[1] ВДИ, 1939, № 3, рис. 5, стр. 179. Ars Islamica. VI, 2, 1939, рис. 3—4.

внизу глубокую округлую выбоину—несомненный след действия стенобитного тарана. Следовательно, ввиду невозможности взятия хорошо укрепленных ворот крепости неприятель был вынужден ворваться в нее через пролом в стене.

Поверхность внутреннего двора городища сплошь покрыта буграми разрушенных построек и почти сплошным слоем керамики, настолько густым, что вся поверхность двора имеет красный цвет. Среди керамики встречено большое количество произведений искусства. Большая часть собранных нами статуэток, о которых речь будет ниже, происходит из Джанбас-калы.

Возвращаясь к характеристике оборонительных сооружений, мы должны отметить, что система обороны имеет чрезвычайно примитивный характер. Здесь совершенно не использован наиболее рациональный способ фланговой защиты стен при помощи башен. Отсутствие башен вызвало к жизни крайне неэкономную систему бойниц, посаженных на расстоянии метра с небольшим, а если мы учтем два ряда, то и на расстоянии полуметра одна от другой. Для одновременного обслуживания этих бойниц должно быть использовано около двух тысяч стрелков—цифра громадная для сравнительно небольшой крепости. Совершенно естественно, что столь нерациональный способ расположения бойниц говорит об архаизме этого типа обороны и о его несомненно местном происхождении, ибо система обороны стен и углов при помощи башен на древнем Востоке восходит еще по меньшей мере к III тысячелетию до н. э. В этой связи стоит еще раз упомянуть гипотезу, недавно высказанную Тарном[1], согласно которой до греко-македонского завоевания Средняя Азия, якобы, не знала укрепленных поселений (за исключением пограничных персидских крепостей). Как материал «городищ с жилыми стенами», так и материал Джанбас-калы, исключающий возможность говорить о заимствовании принципов фортификации из античного Средиземноморья, позволяет опровергнуть эту гипотезу.

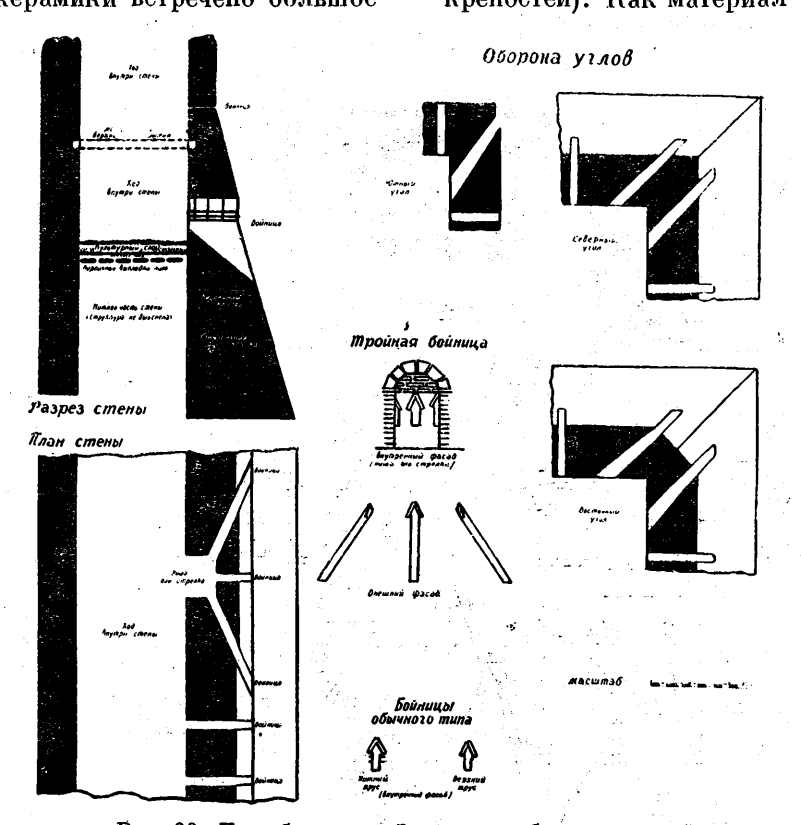


Рис. 28. Джанбас-кала. Эскизные обмеры деталей.

Вместе с тем тип укреплений Джанбас-калы позволяет заключить, что эта система была рассчитана на участие в обороне всего (и притом, видимо, не только мужского) населения крепости. Вряд ли все население, примерно, 400 жилых комнат городища (см. об этом ниже) могло превышать только что упомянутую цифру; поэтому, если предположить, что, согласно принятым в китайских источниках того времени в Средней Азии расчетам, число способных носить оружие мужчин составляло 20% этой цифры, мы должны притти к выводу, что эти 400 мужчин обеспечивали оборону одно-

[1] W. W. Tarn, цит. соч., стр. 476—477.

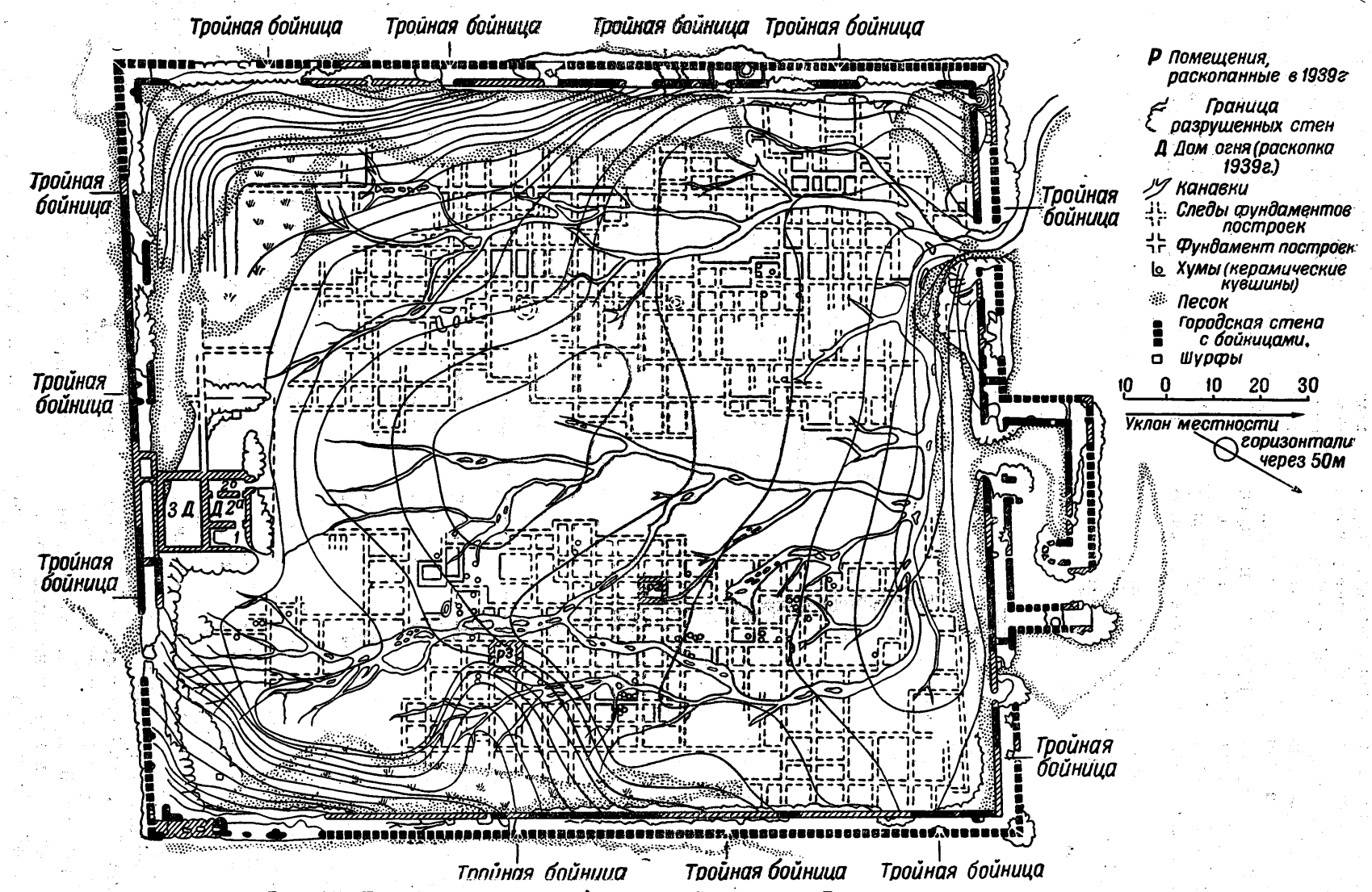
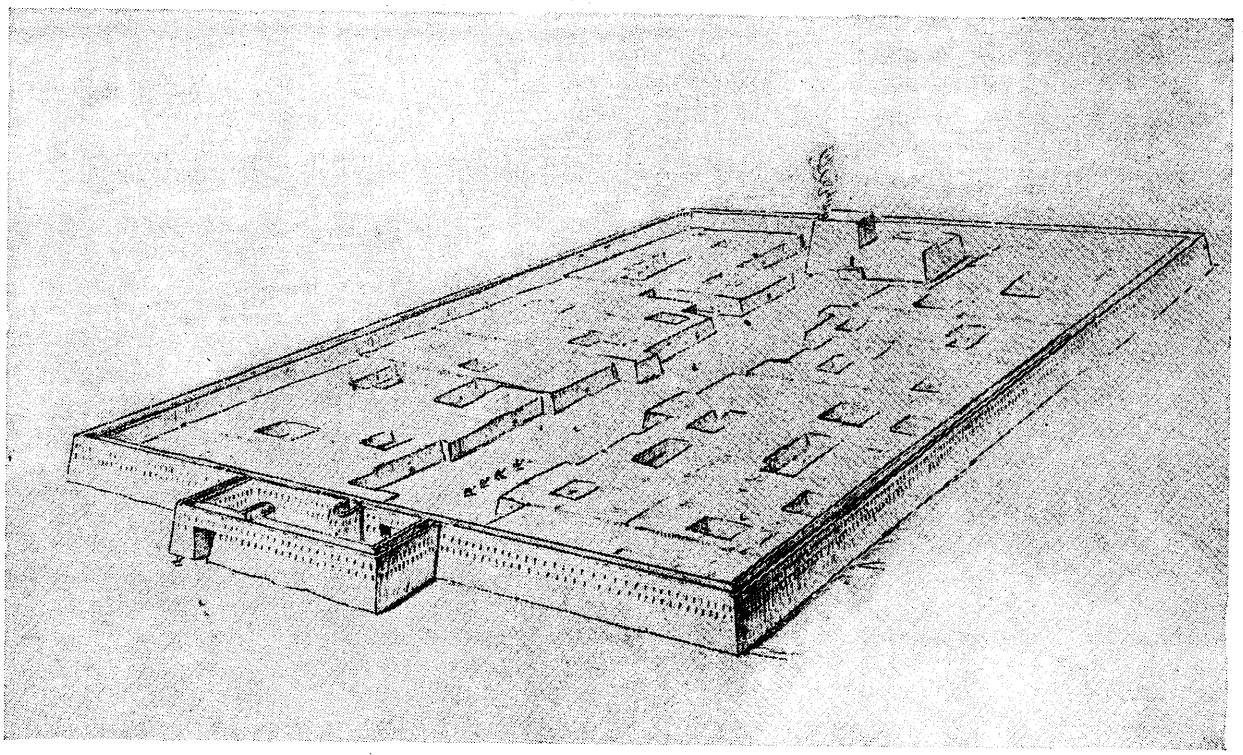


Рис. 29. Джанбас-кала. Генеральный план. Съемка арх. В. Пилявского и Г. Али-Задэ.

временно лишь одной стены, да и то не используя всех бойниц.

Тип укреплений Джанбас-калы свидетельствует таким образом о весьма архаическом характере самой организации вооруженных сил, несущем все признаки традиций первобытной демократии и, возможно, являясь косвенным подтверждением активного участия женщин в военном деле, о котором в отношении массагетов (а Страбон, как известно, относит хо-



29а. Джанбас-кала. Реконструкция С. П. и Н. П. Толстовых.

резмийцев к массагетам) свидетельствуют древние авторы.

В 1939 году нам удалось совместно с архитекторами В. И. Пилявским и Г. Али-Задэ с большой детальностью проследить внутреннюю планировку городища. Этому содействовал характер разрушения жилой застройки городища. Строительный завал разрушенных построек почти повсюду смыт и под тонкой глиняной коркой почти везде выходит культурный слой, поверхность которого резко отличается от выходящих на плоскость поверхности городища срезанных в уровне с нею стен помещений. Незастроенные площади резко отличаются от застроенных отсутствием выхода на поверхность керамики и, напротив, выходами щебнистой материковой поверхности возвышенности, которую увенчивает Джанбас-кала. Вся площадь городища была разбита нами на квадраты, в пределах которых была произведена съемка выходящей на дневную поверхность планировки. В сомнительных случаях мною производились небольшие зачистки для более точного выяснения границ помещений.

Полученная нами картина[1] оказалась достаточно характерной. Площадь городища, по медиане с СЗ на ЮВ, пересекает идущая от ворот к развалинам большого здания у ЮВ стены широкая (около 30 м) улица. Направо и налево от нее располагаются два обширных жилых квартала. Каждый из этих кварталов представляет собой единый массив жилых помещений, без каких бы то ни было признаков разделяющих отдельные дома улиц. Незастроенными в пределах каждого массива оставались лишь несколько площадок, носивших характер небольших внутренних двориков. Каждый массив состоял из большого количества сравнительно небольших комнат, примерно одинакового размера.

В каждом из массивов нами насчитано более чем по 150 таких комнат; вероятно, если учесть неясные места и места, скрытые под барханами, количество комнат в каждом из массивов превысит 200.

Заложенные на площади городища два раскопа (по одной комнате каждый) и наблюдения за подъемным материалом показали, что перед

[1] ВДИ, 1941, № 1, рис. 4, стр. 162.

нами жилые сообщающиеся комнаты, культурный слой которых (состоящий из нескольких обмазок полов, между которыми сохранилось большое количество культурных остатков, по преимуществу керамики и костей животных) сохранился на глубину около 50 см, что дает возможность постановки здесь плодотворных раскопок более крупного масштаба.

В одном из раскопов обнаружены в углу остатки небольшой глиняной печи—тандыра, ульевидной формы, вырубленной в стене и отделенной от комнаты низенькой, неправильно круглой стенкой.

Как на поверхности городища, так и в культурном слое найдены многочисленные фрагменты продолговатых зернотерок, типичных для всех кангюйско-кушанских памятников Хорезма и резко отличающих их культуру от культуры афригидского времени, когда эти зернотерки заменяются круглыми ручными жерновами.

Для решения вопроса о природе жилых комплексов Джанбас-калы представляет значительный интерес наблюдение над тамгами на кирпичах окружающих городище стен. Обнаруженных нами на широких поверхностях кирпичей в перекрытии бойниц тамг было зарегистрировано 9 форм, причем оказалось, что тамги на стенах, примыкающих к ЮЗ жилому массиву, резко отличны от тамг стен СВ массива[1] (рис. 30).

Сравнительно небольшое количество тамг и несомненная связь между отдельными их вариантами (в пределах каждого из комплексов) заставляет видеть здесь родовые тамги строителей крепости, причем тамги строителей стен, примыкающих к каждому из массивов, повидимому, обитателей этих массивов, говорят о принадлежности их не только к разным родам, но и к разным группам родственных родов. Каждый массив был таким образом, повидимому, заселен особой группой родственно связанных между собой родов, отличной от группы родов противоположного массива.

Этот факт имеет существенное значение. В нем мы можем видеть отражение той крайне характерной формы общественного расчленения племени у всех первобытных народов, которая носит название дуальной организации, деления племени на две экзогамные фратрии или первоначальные рода (по выражению Энгельса[2]), составляющие совокупность нескольких (обычно 3—5) родственных родов, представители каждого из которых вступают в брак только с представителями определенного рода противоположной фратрии.

[1] ВДИ, 1941, № 1, рис. 5, стр. 163.
[2] Соч., т. XVI, ч. I, стр. 69, ср. там же, стр. 134.

Фратрии—институт настолько универсальный, что, пожалуй, трудно найти уголок земного шара, где—в виде живого общественного института, культового пережитка или отражения в фольклоре—они бы не обнаруживались.

Весьма распространенным является у многих народов тип планировки поселения, в котором каждая фратрия занимает отдельную часть деревни. Это мы встречаем в Австралии, в Меланезии, в Южной Америке, словом, почти везде, где фратрии играют крупную роль в реальной общественной жизни.

На наличие пережитков дуальной организации у народов Средней Азии нам приходилось указывать неоднократно. Она была прослежена нами в структуре туркменских племен[1]. Нами была отмечена также связь зороастрийского дуализма с дуалистической мифологией первобытных народов, являющейся проекцией дуальной организации в сферу первобытной идеологии[2].

Сейчас я должен отметить еще одну сторону вопроса, имеющую особенно близкое отношение к нашей теме. Я имею в виду сведения о делении ряда средневековых городов Средней Азии и В. Ирана на две части, находящиеся в традиционной, носящей полуритуальный характер, вражде между собой.

Так, Макдиси (конец X в.) рассказывает о ритуальной борьбе жителей Гургана, приуроченной к мусульманскому празднику жертвоприношений. Борьба «из-за головы верблюда» происходила между жителями двух, разделенных рекой, частей Гургана—Шахристана и Бекрабада[3].

Об аналогичной борьбе Макдиси рассказывает для Мерва (между жителями города «медина» и «старого базара»), для Несы (между обитателями квартала ал-Хана и «начала базара»), для Абиверда (между Кардари и «началом города»), для Балха, для Самарканда[4]. Любопытна приводимая Макдиси абивердская пословица: «Никто не выпьет воды его (Абиверда), чтобы не вступить во вражду на стороне одной из партий», свидетельствующая о глубокой традиционности этой борьбы. В Нишапуре и Серахсе эта борьба приобретает религиозный оттенок, так как каждая половина города становится местом распространения особого му-

[1] ПИДО, 1935, № 9/10, стр. 3 и сл.
[2] С. П. Толстов. Черты общественного строя Восточного Ирана и Средней Азии по Авесте «История СССР», I, 1939, стр. 186—187. На связь зороастрийского дуализма с первобытными верованиями этнографы неоднократно обращали внимание. См. Э. Тейлор. Первобытная культура. М., 1939, стр. 455. Штернберг. Первобытная религия. Л., 1936, стр. 225. А. М. Золотарев. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1939, стр. 147.
[3] BGA II, стр. 358, 371, МИТТ, 1, стр. 208—209.
[4] BGA III, 336, МИТТ, 205.

сульманского толка. Однако есть все основания полагать, что это лишь позднейшее оформление традиционной борьбы, восходящей к весьма архаическим отношениям.

Что «дикая борьба» между двумя половинами города имеет глубокие исторические корни, говорит характерное сообщение Тан-шу о ритуальной борьбе между двумя половинами населения во время новогоднего праздника в домусульманской Фергане[1].

Ритуальная вражда и ритуальные состязания фратрий являются одним из характерных признаков первобытной дуальной организации,

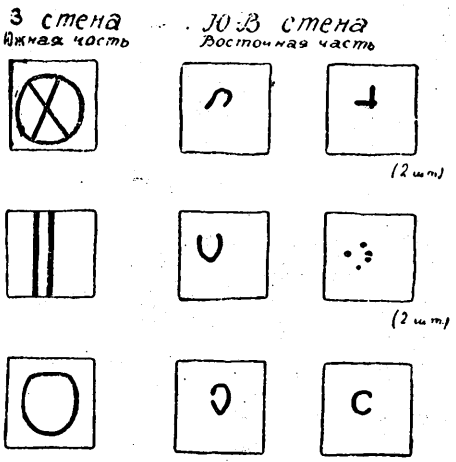


Рис. 30. Тамги на кирпичах Джанбас-кала.

признаком, часто, как у ирокезов[2], переживающим значительно дольше других.

А. М. Золотарев прослеживает ее, помимо племен Северной Америки, также и в древнем Перу, в Меланезии—на архипелаге Бисмарка и на Банксовых островах, у арунта в Австралии, у негидальцев в Приамурье и др.[3].

В пользу нашего положения о связи двух жилых массивов Джанбас-кала с дуальной организацией говорит и тот факт, что в различных формах деление городища на две части прослежено нами и на других памятниках. Так, городище Гяур-кала (на Чермен-ябе, рис. 54)[4] имеет сплошную застройку в виде трех-четырех рядов однотипных комнат вдоль длинных стен городища. Городище Куня-уаз[5] (рис. 59) было разделено на две равные части внутренней стеной, идущей от ворот к противоположной им стене, причем каждая половина была застроена сплошными массивами построек с внутренними дворами близ углов крепости. Ниже тот же тип мы встретим в планировке позднекушанского городища Топрак-кала[1].

Таким образом перед нами не случайная планировка, а тип, ставший традиционным, причем двойное разделение поселения обеспечивалось различными средствами. Если почему-

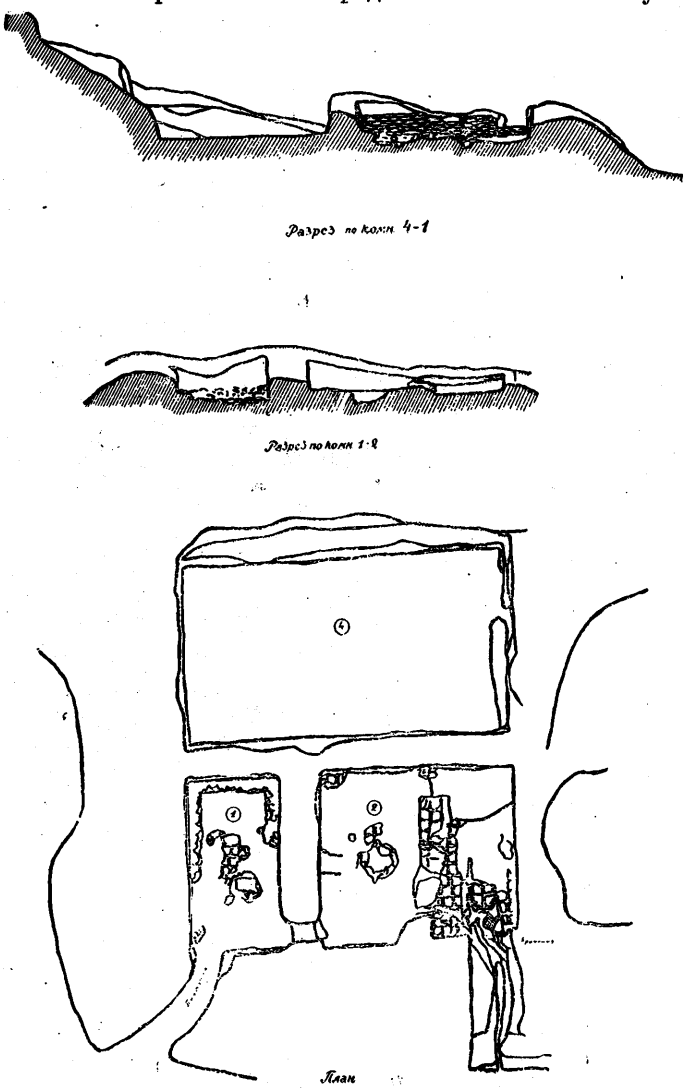


Рис. 31. Джанбас-кала. Дом огня. План и разрезы. Обмеры В. Пилявского и Г. Али-Задэ.

либо не удовлетворяло деление при помощи улицы, строилась внутренняя стена.

Если традиционная планировка Джанбас-калы вскрывает перед нами глубокий архаизм общественных отношений этой эпохи, стойкость и прочность первобытно-общинных традиций, противостоящих разрушительному воздействию развивающихся классовых отношений, то не меньший интерес в этом плане представляют данные, выявленные в результате раскопок большого здания, замыкающего с противопо-

[1] Тан-шу, Цзюань 221 в., стр. 8-а.
[2] L. H. Morgan. Ancient Society. Chicago (C. H. Kerr), стр. 90. Его же. League of the Iroquois, стр. 294.
[3] А. М. Золотарев, цит. соч., стр. 138, 145—148.
[4] ВДИ, 1941, рис. 16, стр. 179.
[5] ВДИ, 1941, рис. 15, стр. 178.

[1] О традициях дуальной организации у народов Ср. Азии см. подробнее Экскурс III, 1.

ложной воротам стороны единственную улицу исследуемого городища.

Здание это представляет поднимающийся на 4,5 метра над окружающей площадью крупный бугор, размерами 40 × 25 м, с оплывшими очертаниями, позволяющими, однако, проследить уже с поверхности следы планировки внутренних помещений.

Нами раскопана лучше сохранившаяся северо-восточная половина здания. Она состоит из четырех неравных по размерам помещений, три из которых сообщались между собой. Два из них, комнаты 2 и 2а—из последней был, повидимому, выход наружу по направлению к воротам городища—разрушены и функции их трудно определить. Комната 2а была, повидимому, предвходным коридором и отделялась от комнаты 2 деревянной дверью, пята которой в виде камня с полушаровидным углублением была нами обнаружена. Середина комнаты 2 размыта большой промоиной.

Зато большой интерес представляет небольшая угловая комната 1, размером 4 × 7,25 м. Здесь под тонкой, в 2—3 см мощностью, коркой глиняного натека был обнаружен по краям комнаты слой красновато-черной золы, в то время как середина комнаты была заполнена песком с прослойками песчано-глиняного натека и пятнами беловатой золы. В углах комнаты, а частью и по середине местами лежали груды кирпичного строительного завала.

Особенно мощным оказался завал у ЮВ стены, где толстым слоем лежали комья глины, под которыми обнаружилась прослойка обломков сильно закопченой глиняной штукатурки. Аналогичный завал был обнаружен в дверях, ведущих в комнату 2. Стены носили сильные следы пожара. После расчистки завала обнаружилась ровная поверхность пола № 1, состоящая из глиняной обмазки с заметной примесью белой саксаульной золы. На полу было обнаружено лишь небольшое количество фрагментов античной керамики. По середине пола оказалось овальное, заполненное песком углубление. Дно углубления оказалось состоящим из идущих на различных уровнях слоев обмазки и кирпичной кладки.

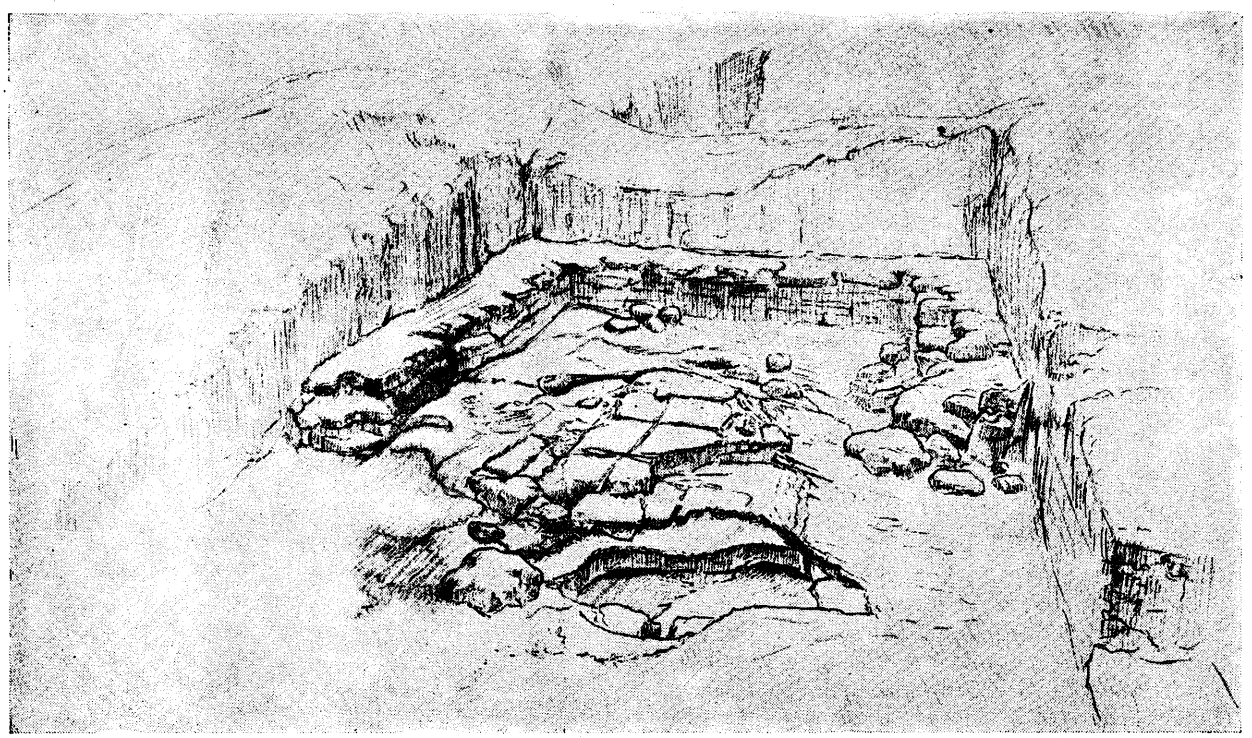


Рис. 32. Джанбас-кала. Дом огня. Святилище. Вид после раскрытия среднего горизонта. Рис. Н. П. Толстова.

Разборка пола выявила весьма своеобразную картину. Оказалось, что он подстилается мощным слоем твердой, плотнослежавшейся, минерализованной саксаульной золы беловато-серого, иногда голубоватого или желтоватого цвета. Под ней лежала тонкая (8—9 см) прослойка очень темного сажистого культурного слоя, с небольшим количеством находок античной керамики.

Расчистка обнаружившегося в результате пола № 2 выявила весьма характерную плани-

ровку комнаты. По ЮВ стене, загибаясь на северо-восточную и юго-западную, шла узкая кирпичная скамья около 40 см высоты, верхнему краю которой путем специального подбора размеров кирпича и фигурной обмазки были приданы характерные волнистые очертания, вероятно с целью отделить одно сиденье от другого. Середину комнаты занимало, к сожалению в северо-западной части разрушенное промоиной, правильное овальное возвышение, склоны которого полого поднимались к верхней площадке, обмазка которой была, за исключением краев, разрушена (рис. 32).

Возвышение образовано двумя рядами положенных плашмя больших античных кирпичей. По краю оно оформлено поставленными наклонно на ребро и образующими фигуру овала кирпичами. Концы овала (вернее, уцелевший ЮВ конец) оформлены фигурной выкладкой из специально подобранных фрагментов кирпича, покрытых сверху несколькими слоями обмазки и образующих усеченный сектор круга.

Тщательность оформления возвышения и фигурная обмазка скамьи заставляют предполагать, что здесь мы имеем помещение, предназначенное для особых функций. Еще на большие размышления наводит использование саксаульной золы, как строительного материала, и странная планировка верхнего пола. Все это вместе взятое привело нас к заключению, что перед нами не что иное, как общинное святилище огня—помещение, где на овальном возвышении, повидимому, на металлическом жертвеннике, горел неугасимый огонь Джанбас-калы. Отсутствие на поверхности жертвенника следов действия огня является важным аргументом в пользу этого предположения, так как оно необъяснимо, если предположить здесь место бытового очага, в то время как металлические жертвенники—типичное явление зороастрийской ритуальной практики.

Зола священного огня, повидимому, не должна была выбрасываться из помещения. Поэтому, когда ее накопилось слишком много, она была уплотнена, обмазана сверху глиной, а поверхность возвышения для жертвенника оставлена открытой на дне овального, повторяющего форму возвышения и даже рисунок ограничивающей его обмазки углубления.

В пользу этого говорит и выяснение еще более ранней планировки святилища Джанбас-калы. Зачистка в северном углу, где поверхность 2-го пола была разрушена промоиной, обнаружила третий пол, объясняющий ряд неясных явлений в планировке и особенно рельефе 2-го пола. Как можно видеть на профиле, ЮЗ часть пола комнаты значительно выше СВ части. То же мы видим в отношении более высокой северо-западной и более низкой юго-восточной части пола.

Оказалось, что первоначально жертвенник поднимался значительно выше и круче под уровнем третьего пола, расположенного на 12 см (по линии СЗ конца жертвенника) глубже 2-го пола, под слоем обмазки и вторым сажистым слоем на 3-м полу (около 9 см мощностью).

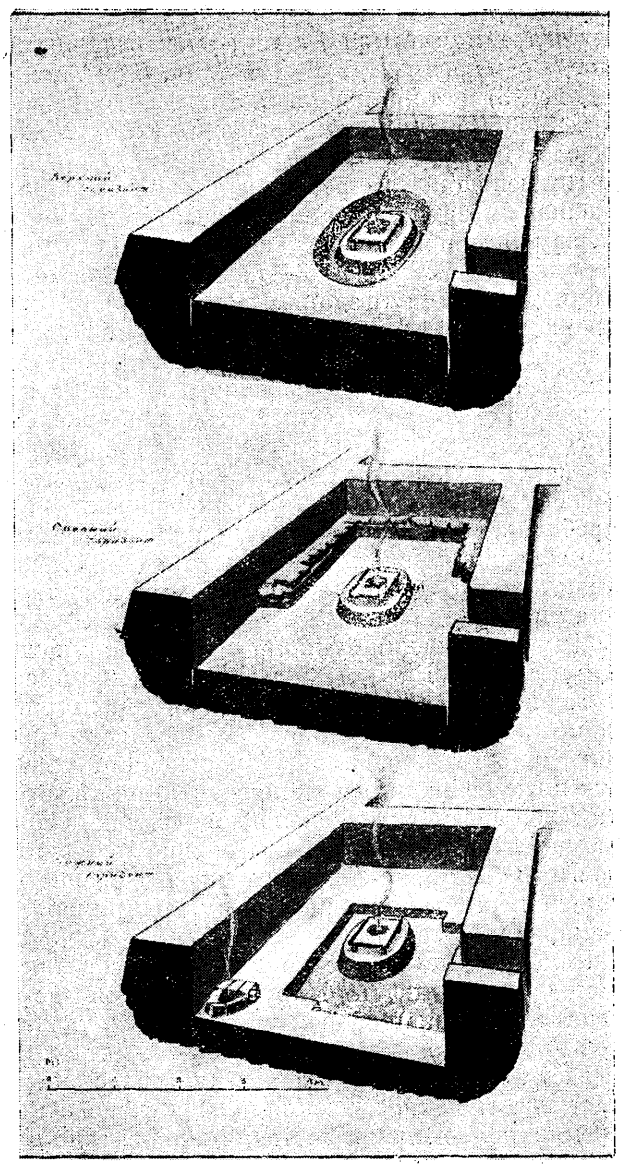


Рис. 33. Джанбас-кала. Дом огня. Святилище. Три этапа планировки (снизу вверх). Реконструкция С. П. и Н. П. Толстовых.

Вокруг комнаты шла не высокая скамья, а узкая—в 1,5 кирпича, низкая—в 1 кирпич высотой—вымостка, шедшая по СЗ, ЮЗ (до середины комнаты, где очертания края вымостки проступают через разрушенную обмазку 2-го пола) и, частично, СВ стене. Как показывает нивеллировка выступающей в ямке у ЮВ конца жертвенника кирпичной кладки 3-го

пола, ЮВ конец комнаты занимал широкий кирпичный помост высотой в 1 кирпич, доходивший к центру комнаты почти до жертвенника, а у СВ стены, возможно, соединявшийся с описанной выше, окаймляющей комнату, вымосткой (рис. 33) В целом эта древняя планировка, окончательное раскрытие которой мы отложили до дальнейших раскопок, оказывается чрезвычайно близкой к планировке предполагаемого храма огня во дворе Тешик-кала (см. ниже, гл. III, 3) и столь же близкой к почти тождественной планировке сасанидского храма огня в Шапуре[1].

Не меньший интерес представляет расположенная позади описанных трех помещений, между ними и внешней стеной городища, огромная комната № 4 (№ 3—нераскопанная пока комната в ЮЗ части здания). Размер ее 8 × 14 метров, причем она оказалась лишенной всяких признаков внутренней архитектуры. Обширный пол ее был совершенно гладким, а поверхность его на всех трех этапах его жизни, когда, поверх культурного слоя, он покрывался свежей обмазкой, оказалась покрытой черепками бытовой посуды и многочисленными, раздробленными на части костями животных. Есть все основания видеть здесь место, где происходили какие-то трапезы с большим количеством участников.

Для разъяснения функции как этой комнаты, так и здания в целом, большое значение имеет указание ал-Бируни при описании зороастрийских праздников Согдианы, что во время многих из этих праздников происходили общественные собрания и коллективные трапезы жителей согдийских селений в «домах огня» (buyut niran)[2]. «Дома огня», можно заключить из этого текста, имелись в каждой деревне (в городах их было по нескольку, например, в Самарканде—семь)[3].

Как нами не раз подчеркивалось[4], пережитком «домов огня» ал-Бируни являются «дома огня» (алау-хана) современных горных таджиков—постройки обычно при мечетях (что указывает на их первоначальное культовое значение), где мужчины селения проводят свободное время, коллективно доставляя дрова для постоянно горящего большого огня и припасы для совместного питания. Эти своеобразные мужские клубы горных таджиков являются одновременно местом пристанища для останавливающихся в селении путешественников[1].

Мы уже отмечали[2], что все эти явления чрезвычайно типичны для одного из весьма характерных, повсеместно распространенных (у индейцев обеих Америк, эскимосов, меланезийцев, народов Индонезии и Индокитая, местами в Индии, в Центральной Африке и т. д.) учреждений первобытных народов на определенном этапе их исторического развития—для так наз. «мужских домов», специальных построек, где мужчины селения проводят свободное время, а иногда часть их, в первую очередь неженатые юноши—живет постоянно, питаясь вскладчину, коллективно, где хранятся культовые предметы и справляются религиозные церемонии и где находят себе убежище путешественники[3].

Эти же «дома мужчин»—они же «общинные дома» вполне прозрачно переживают до сих пор в «громмах» кафиров Гиндукуша—среднеазиатского народа, сохранившего до начала XIX века свою первобытную религию[4].

Таким образом как планировка городища в целом, так и характер господствующей над ее площадью, замыкающей ее улицу постройки, говорит о глубокой традиционности и архаизме общественного уклада древне-хорезмийского укрепленного общинного селения, примером которого может служить Джанбас-кала.

В качестве прототипа хорезмийских селений кангюйского и, как мы увидим, значительно более позднего времени, могут, бесспорно, рассматриваться общинные многокомнатные дома протоисторической персепольской культуры, открытой Герцфельдом,—дома, которые этот автор справедливо считает памятниками материнского рода[5].

Расцвет городской жизни, высокое развитие ремесел и искусства, говорящие о далеко зашедшем общественном разделении труда, несомненное существование классов и сильных государств, находится в противоречивом единстве с тем косным неподвижным пьедесталом хорезмийского общества ахеменидской и кангюйской эпохи, который представляют собой сохранившие чрезвычайно архаические черты

---

[1] ВДИ, 1939, № 3, стр. 195. О других типах зороастрийских храмов Ирана см. E. Herzfeld. Archeological History of Iran, London, 1935, стр. 88—93.

[2] Chronologie Orientalischer Völker von Albirûni. Hsg. v. Sachau. Lpz. 1923, стр. 234—235.

[3] К. А. Иностранцев. ЖМНП, 1911, февраль, стр. 290.

[4] «Религии народов Средней Азии» в сб. «Религиозные верования народов СССР», I, М. 1931, стр. 247. «Тирания Абруя», ИЗ III, 1938, стр. 35.

[1] О «домах огня» горных таджиков см. М. С. Андреев. Сб. «Таджикистан», стр. 163—165, Арандаренко «Военный сборник» 1883, № 12, стр. 310; Н. А. Кисляков. Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Бахио-боло, М.—Л., 1936, стр. 234—235.

[2] ИЗ III, 1939, стр. 35, прим. 3.

[3] Из большой литературы о «мужских домах» укажу классический труд Г. Шурца. Altersklassen und Männerbunde, Berlin 1902, и специальный раздел в его «Истории первобытной культуры», перев. Смирнова под ред. Клеменца, стр. 104 сл.

[4] G. Robertson. The Kafirs of the Hindukush. 1896, стр. 479, 483—497. На связь «громмов» с мужскими домами указывал уже Шурц, Altersklassen, стр. 284.

[5] E. Herzfeld. Iran in the Ancient East, стр. 10—11.

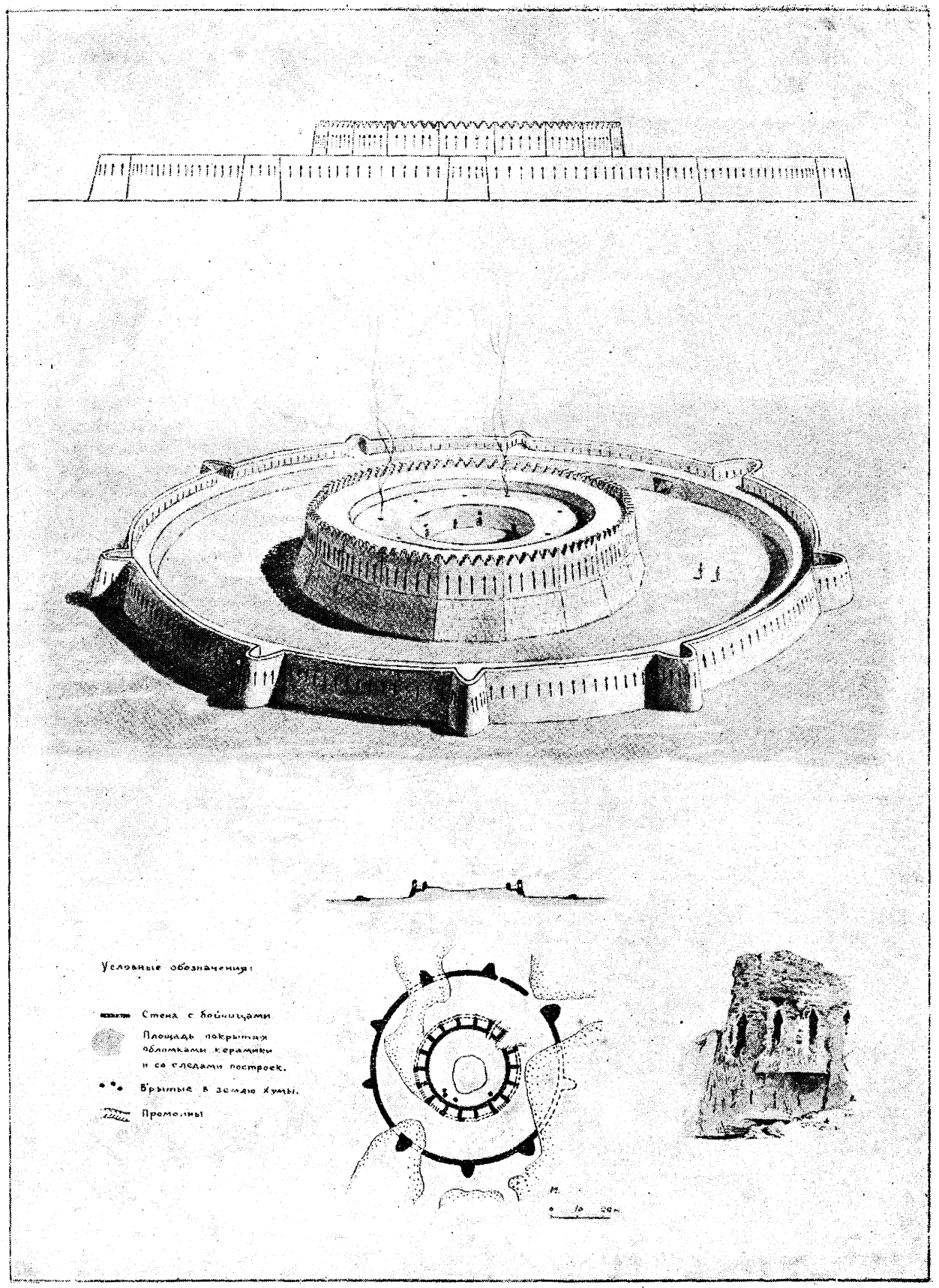


Рис. 34. Кой-крылган-кала. План и разрез (обмеры С. П. Толстова). Реконструкция С. П. и Н. П. Толстовых.

общественной организации сельские родовые общины, обитающие за глиняными стенами больших деревень.

К этому же историко-культурному периоду относится ряд памятников, показывающих варианты описанного нами для Джанбас-калы типа обороны. Для всех них характерны попытки усилить оборону стен, не прибегая к башням. Сюда относят две крепости, основой плана которых является круг. Это Кой-

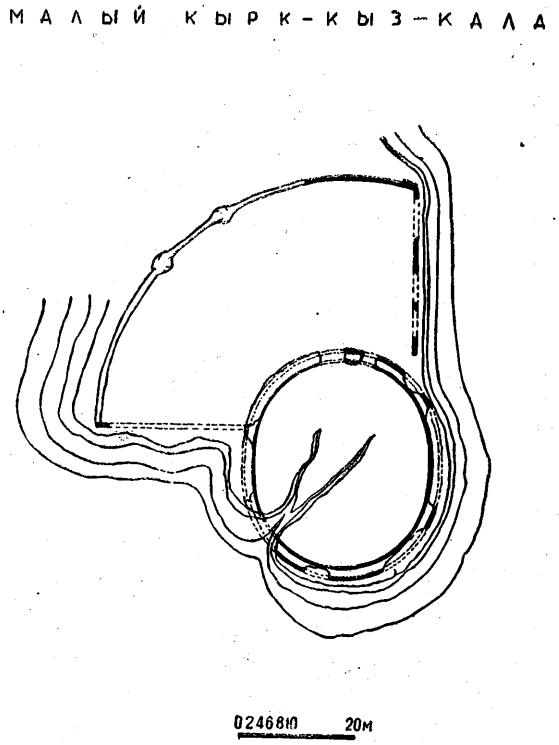


Рис. 35. Малый Кырк-кыз. Схематический план. Обмер С. П. Толстова.

крылган-кала (рис. 34) и Малый Кырк-кыз (рис. 35).

Остановимся на первой из них, являющейся одним из наиболее интересных из обследованных нами памятников[1].

Кой-крылган-кала расположена на расстоянии около 3,5—4 км к востоку от основного центра наших работ 1938 г.—крепости Тешик-кала. От Беркут-калинского мертвого оазиса, на южной оконечности которого расположена Тешик-кала, Кой-крылган-кала отделена широкой грядой тяжелых барханных песков, являющейся продолжением той большой гряды, которая врезается глубоко в современную культурную полосу между арыками Тазабагъяб и Кельтеминар.

К развалинам примыкает пространство такыров, покрытых многочисленными следами жилищ и огромным количеством керамики. Такыры со следами керамики тянутся главным образом на юг и на восток, в обоих направлениях на расстоянии около километра.

Крепость окружена образующей правильный круг стеной, превратившейся в невысокий вал. Стена имела некогда девять башен, расположенных друг от друга через интервалы (по дуге) от 18 до 26 м. Башни превратились в вытянутые бугры, поднимающиеся несколько выше уровня вала.

Центр круга занимает цитадель крепости, стены которой отстоят от внешней кольцевой стены на расстояние (по радиусу) 15 м. Стены цитадели, хотя частью и сильно разрушенные, все же сохранились достаточно, чтобы полностью выяснить первоначальный облик сооружения. Цитадель образует правильный восемнадцатигранник диаметром около 40 м. Каждая грань имела по 5 бойниц обычного для крепостей античного времени типа, расположенных в один ярус, на расстоянии 80 см друг от друга.

Стена из сырцового кирпича достигает в наилучше сохранившихся гранях высоты 6,75 см над уровнем площадки внешнего двора крепости, в свою очередь поднимающегося над окружающим такыром на высоту около 0,75 м. Толщина внешней стены—1,10 см, внутренней—1 м, пространство между ними шириной в 2 м 80 см разделено поперечными стенками на казематы, по одному на каждую грань.

В некоторых местах, где завал внутри каземата не достигает большой мощности, прощупывается пол, лежащий на 0,75 м ниже внутреннего нижнего края бойниц. На полу культурный слой, состоящий из золы, коровьего и овечьего навоза и большого количества керамики, достигает мощности 35—40 см.

Внутренность цитадели образует круглую площадку диаметром в 31 м. Кругом, за исключением небольшого дворика в центре, площадка была, повидимому, застроена располагавшимися по внешней стороне круга жилыми и хозяйственными помещениями. Остатки этих помещений образуют полого спускающийся к центру площадки скат, сплошь покрытый многочисленными остатками керамики—описанных выше чаш с красным ангобом, хумов с прорезным и раскрашенным орнаментом и др.

Кой-крылган-кала, резко отличаясь по своему характеру от Джанбас-кала и аналогичных ей крупных укрепленных поселений, может рассматриваться как своеобразный вариант представленного рядом памятников второго типа античных жилых комплексов—отдельно стоящих общинно-родовых укрепленных домов-массивов.

Этот второй тип мы находим для кангюйского времени в таких памятниках как Кюнер-

[1] См. ВДИ, 1939, № 3, рис. 6, стр. 181.

ли-кала (на Чермен-ябе, рис. 36 и 38), Ак-тепе (близ Кават-калы, рис. 37), Кузы-крылган-кала и, наконец, укрепленный дом к югу от Базар-кала.

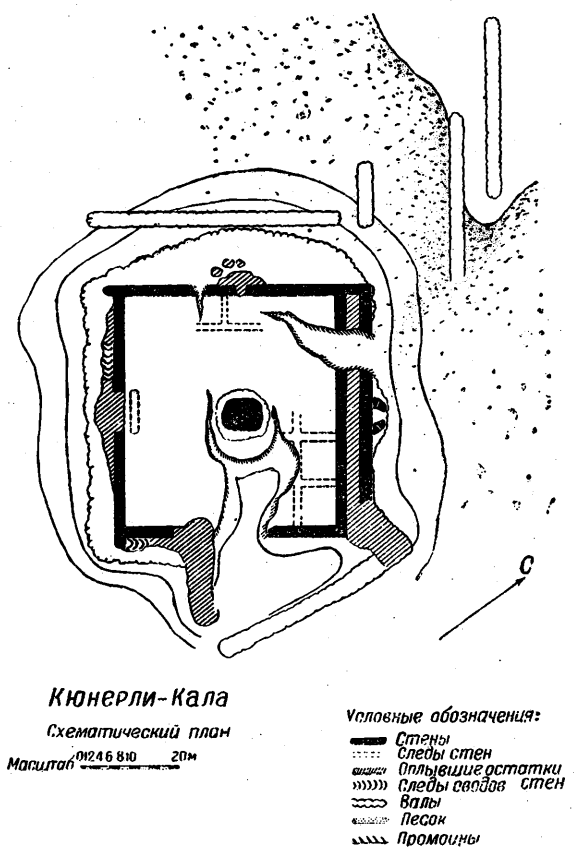


Рис. 36. Кюнерли-кала. План. Обмер С. Толстова и С. Гасанова.

Кюнерли-кала представляет собой мощный, сложенный из сырцового кирпича античных размеров, прямоугольный массив 55 × 55 метров при высоте около 8 метров, не считая поднимающейся еще на 3 метра глиняной башни в центре здания. С ЮВ расположен укрепленный вход, посередине каждой из остальных трех

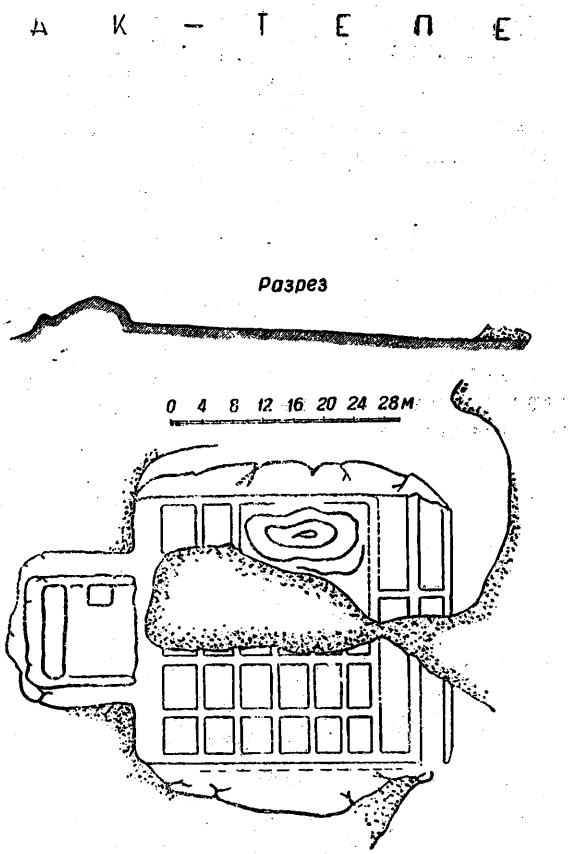


Рис. 37. Ак-тепе. План и разрез. Обмер С. Толстова.

сторон сохранились небольшие башни с бойницами, с СЗ и СВ—следы мощных стен окружающего здание двора. Снаружи здание опо-

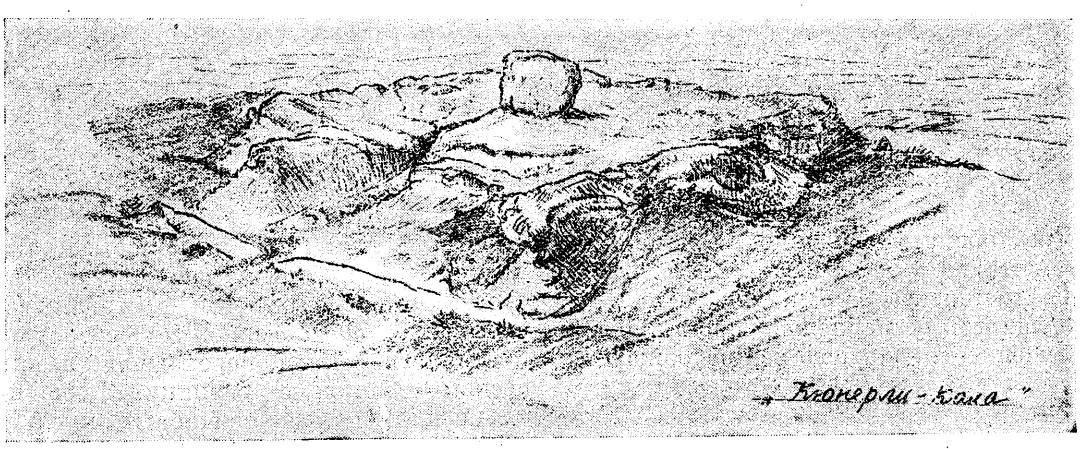


Рис. 38. Кюнерли-кала. Общий вид развалин. Рис. Н. Толстова.

ясано сводчатым коридором—вся же внутренняя площадь разбита кирпичными стенами на многочисленные большие комнаты (размером 7×8 метров).

Здание дало исключительно обильную керамику того же типа, что и в Кой-крылган-кала. Аналогична планировка и конструкция и остальных упомянутых домов-массивов.

Эта традиция продолжается и в Кушанскую эпоху, к которой относятся такие памятники, как Кзыл-кала (рис. 65), Джильдык-кала (рис. 58), древняя часть Аяз-калы № 2.

Сопоставление этих памятников с комплексом Джанбас-кала и Топрак-кала (см. ниже) позволяет притти к выводу, что перед нами изолированно поставленные дома, совершенно функционально соответствующие многокомнатным домам-массивам обоих упомянутых памятников, но благодаря своему обособленному положению, принявшие на себя функции не только жилья, но и укрепления. Видимо мы должны здесь видеть лишь сельский вариант характерного равным образом и для поселений городского типа жилища—общинно-родовой дом-массив, позднее отражение того же социально-бытового уклада, который убедительно вскрыт Э. Герцфельдом для энеолитического поселения близ Персеполя.

3. ГОРОДИЩА КУШАНСКОГО ВРЕМЕНИ

Совершенно иной тип поселения выступает перед нами в несколько более позднем комплексе памятников — комплексе трех крепостей, объединяемых общим названием Аяз-кала[1] (рис. 39—40, а также таблицы 25—32).

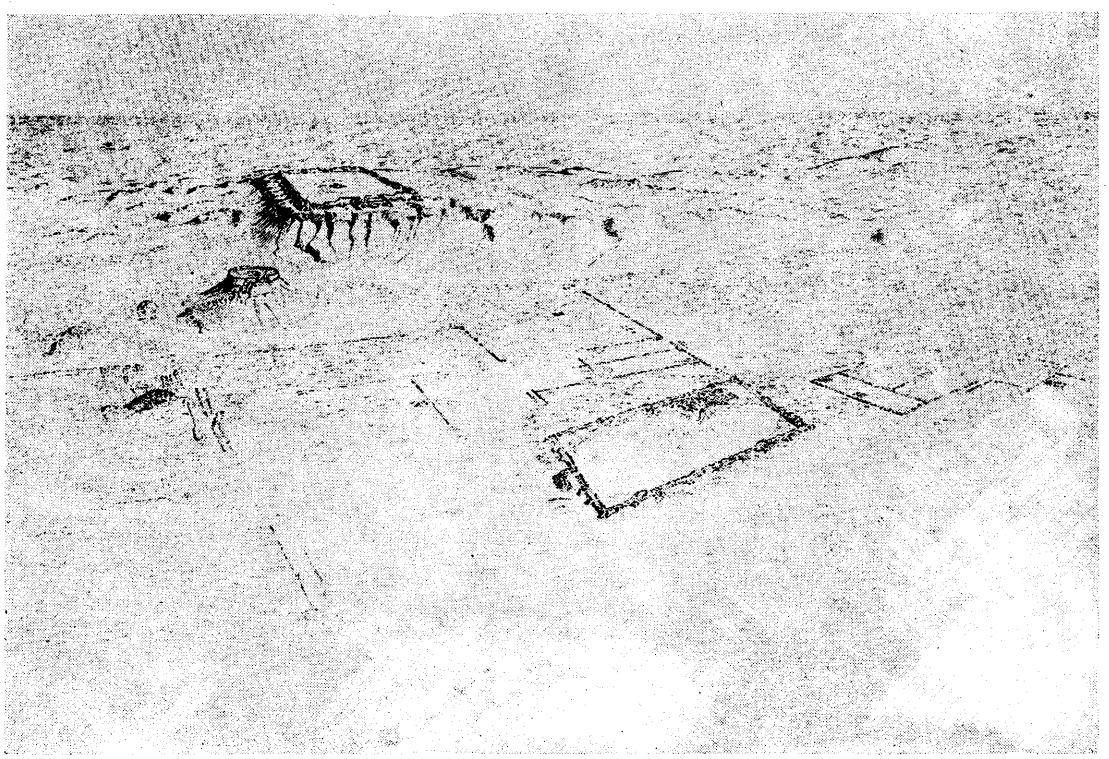


Рис. 39. Аяз-кала. Перспективный вид комплекса. Рис. Н. П. Толстова.

Развалины комплекса Аяз-кала расположены на вершине и у подножья обрывистой к югу возвышенности — одного из продолжающих Султан-уиз-даг на восток холмов, образованных выходом коренных пород. Крутые обрывы Аяз-калы, поднимающиеся на высоту до 60 м, обнажающие разноцветные, с преобладанием буро-красных оттенков, пласты скалы своей дикой суровостью оставляют трудно забываемое впечатление. На север уходит более пологий склон, переходящий в занесенную песком обширную равнину. Вершину Аяз-калинской скалы увенчивают прекрасно сохранившиеся развалины крепости Аяз-кала № 1, с мощной стеной с сводчатым ходом в осно-

[1] См. план и описание в ВДИ, 1941, № 1, стр. 167, рис. 7. Ср. СА, 1940, VI, 172—173.

вании и типичной для античного Хорезма стрелковой галлереей с бойницами над этим ходом. Вдоль стен идут часто расположенные полукруглые башни, образующие на углах характерное сочетание двух смежных башен

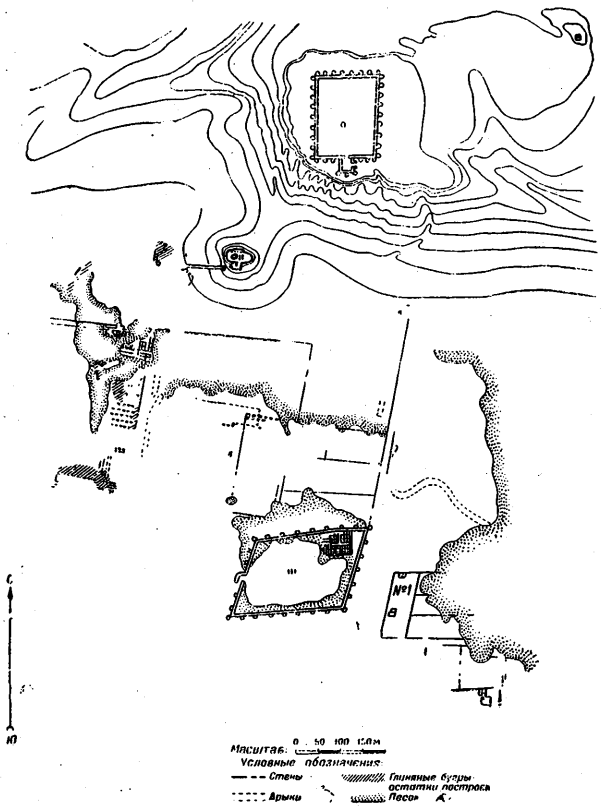


Рис. 40. Комплекс Аяз-кала. Глазомерная съемка Н. П. Толстова.

в форме ласточкина хвоста[1]. Полукруглая форма башен, не характерная для античных крепостей и, напротив, сближающаяся с формами афригидских укреплений, заставляет относить Аяз-кала № 1 к середине или к концу кушанского времени, к периоду не раньше II и, вероятно, не позднее IV в. н. э.

У склона Аяз-калинской скалы, на вершине более низкого, метров около 30 высоты, холма, расположена крепость Аяз-кала № 2 (рис. 42), представляющая собой памятник двух эпох— кушанской и афригидской[2]. Овальный замок, составляющий ядро крепости, построен, видимо, во время, близкое к постройке Аяз-калы № 1, являясь разновидностью описанного мною в отчете 1938 г.[3] дома-замка типа Кзыл-калы и Кузы-крылган-калы. Однако в афригидское время к основному зданию была присоединена прямоугольная пристройка и само здание, во всяком случае его верхняя часть, было коренным образом перестроено, получив характерную декоровку полуколоннами, делающую Аяз-калу № 2 одним из наиболее эффектных произведений ранне-афригидской архитектуры. Между прочим, здесь особенно ясно видна связь полуколонн с бойницами, развитие первых в качестве декоративного оформления межбойничных пространств. Эта связь прослеживается и в виде ложных бойниц на полуколоннах Тешик-калы[1] и дает возможность установить непрерывную историческую связь между архитектурными формами кангюйско-кушанского, афригидского и мусульманского Хорезма[2].

У подножья холмов расстилаются обширные, сильно занесенные песками такыры, на которых расположены остатки крупного поселения, представляющего совокупность примыкающих друг к другу обширных дворов, обнесенных кирпичными стенами. Площадь одного из средних размеров дворов—двора № 1, подвергнутого нами раскопкам, составляет около 9.000 кв. метров. Внутренность дворов, как правило, совершенно пустая, и в шурфах во дворе № 1 мы напрасно искали признаков культурного слоя. У одной из стен двора обычно располагается значительных размеров многокомнатное здание. Шесть комнат в 150 кв. м, раскопанных нами во дворе № 1, составляют, повидимому, около шестой части жилого здания этого двора. Иногда как в том же дворе № 1, —следы небольшого, отдельно стоящего здания обнаруживаются и по середине двора. Среди усадеб резко выделяются своими размерами две. Одна—это огромная, окруженная многобашенной стеной, крепость Аяз-кала № 3, площадью в 260 × 180 м, представляющая однако по существу усадьбу, совершенно аналогичную двору № 1 и другим ее окружающим дворам. И здесь, у северной стены колоссального, совершенно пустого двора, расположено огромное многокомнатное здание, состоявшее из 40 комнат, не считая входа, занимавшее площадь около 2400 кв. метров. Это здание представляет собой большой бугор с плоским верхом, достигающий 3,5 м высоты. Верх этого бугра образует выравненную силами природы площадку, на поверхности которой выступают валики стен, позволяющие почти полностью восстановить планировку дома без его раскопок (рис. 40). Мы видим здесь два коридора, идущие крест-накрест и делящие дом на 4 сектора, каждый из которых разбивается на большое количество небольших комнат.

[1] СА 1940, VI, стр. 174, рис. 3, 175, рис. 4, ВДИ, 1939. № 3, стр. 184, рис. 9.

[2] СА VI, стр. 171, рис. 2, ВДИ, 1941, № 1, стр. 168, рис. 8.

[3] ВДИ № 3, 939, стр. 190.

[1] См. там же, рис. 17 на стр. 191.

[2] На возможность такой связи обратил внимание А. И. Тероножкин. См. СА VI, 1940, стр. 184.

Другая—это расположенная в западной части поселения усадьба, сильно разрушенная, с хорошо прослеживающимся огромным домом, насчитывающим не меньше, а скорее больше комнат, чем большой дом Аяз-кала № 3.

Повидимому, все поселение представляло собой единый, приблизительно единовременный комплекс, датируемый обнаруженными

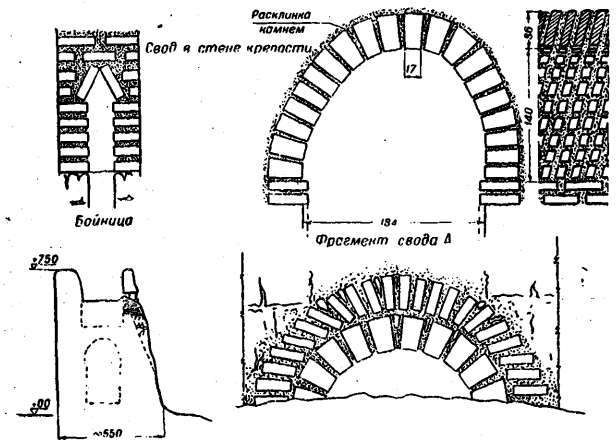


Рис. 41. Аяз-кала № 1. Детали. Обмеры арх. В. Пилявского.

в культурном слое дома во дворе № 1 монетами Канишки, и многочисленными находками монет на такырах, II веком н. э. Повидимому, селение существовало, как можно судить по культурному слою дома двора № 1, сравнительно недолго, вряд ли дожив до времени более позднего, чем III, может быть—IV век.

Я склонен полагать, что Аяз-кала № 1, занимающая важное стратегическое положение на подступах к Хорезму, господствующая над окружающей пустыней и имеющая вынесенную далеко на восток сторожевую башню и вместе с тем не имеющая внутри следов построек, являлась чисто стратегическим сооружением, крепостью центрального правительства. Гарнизон крепости, повидимому, размещался в сводчатых помещениях в основании стен[1].

Эта крепость могла служить также и в качестве refugium'а для обитателей примыкающего к ней селения в случае серьезной военной опасности.

Обильные находки в крепости, наряду с античной, также керамики XI—XIII веков, заставляют полагать, что и во время Великих Хорезмшахов крепость сохраняла свое значение пограничного укрепления Хорезма.

Крепости Аяз-кала № 2, № 3 и безымянные развалины большого здания в западной части селения, повидимому, являлись усадьбами трех наиболее могущественных аристократических фамилий селения. Наиболее значительная из них, весьма вероятно—фамилия правителя селения—обитала в замке Аяз-кала № 2, занимающем, как мы видим, особое положение в комплексе.

Остальные усадьбы являлись, по всем данным, местами обитания больших патриархального типа семейных общин земледельческого населения. Таким образом, по сравнению с типом поселения кангюйского времени, отраженным в Джанбас-кала, произошли крупные изменения, несомненно, связанные с изменениями социально-экономического уклада хорезмийской деревни.

Из большого общинно-родового укрепленного поселения выделились отдельные, патриархального типа, большесемейные общины, видимо, близкие к типу античной familia, живущие в больших домах отдельными, хотя еще и связанными друг с другом, усадьбами.

Резко обособился слой аристократических фамилий, усадьбы которых господствуют над поселением.

Было бы ошибкой, конечно, подходить к вопросу упрощенно, считать, что это различие носит абсолютный характер. С одной стороны, повидимому, Джанбас-кала, как мы видели, продолжала жить в ранне-кушанское время. С другой, и для более раннего времени мы имеем основание предполагать, во всяком случае, начальные стадии выделения большесемейных усадеб в первую очередь—аристократических фамилий, из общинного поселения.

Я полагаю, что этот процесс выделения сильных фамилий из общинного поселения начинается очень рано, но ко времени расцвета кушанской империи он вступает в новый этап, когда начинает распадаться и само общинное поселение, и рядовые общинники также переселяются в большесемейные усадьбы.

Раскопки большого дома в Аяз-кала № 3 позволили установить, что культурный слой в этом здании совершенно уничтожен—стены

[1] Структуру коробового свода в Аяз-кала № 1 по обмеру члена экспедиции арх. В. И. Пилявского мы даем на рис. 41. Аяз-кала № 1 и Топрак-кала дают нам наилучше сохранившийся образец сводчатых перекрытий, типичных для всего античного периода истории Хорезма. Как и другие выше и ниже отмечаемые особенности архитектуры, фортификации и строительного искусства древнего Хорезма—эти своды вводят нас в круг древне-восточных ассоциаций. Выложенные без кружал, из специального клиновидного кирпича, эти своды клались наклонными полукольцами, что переносило часть тяжести свода на одну из торцовых стен—прием, хорошо известный в вавилонском строительном искусстве. В несколько измененном виде этот принцип продолжает жить и в строительном деле афригидского Хорезма.

разрушены и смыты до уровня пола, и лежавшие на этом полу культурные остатки—многочисленная керамика и фрагменты зернотерок оказались на поверхности холма.

Однако разборка пола и расчистка фундамента вскрыла весьма интересную для истории строительного искусства древнего Хорезма картину субструкций этого здания.

Цоколь здания образовал лежащий на поверхности такыра большой, повидимому, естественный, песчаный бархан длиной около 60 м, шириной около 40 м и высотой (до начала субструкции внешних и внутренних стен здания) 3 м. Склоны этого бархана и расчищенная на его поверхности площадка были при постройке дома закреплены путем обсыпки строительным мусором—комьями глины и обломками кирпичей. Затем этот мусор был обильно полит водой, в результате чего глина, сцементировавшись с песком, образовала чрезвычайно прочный песчаникообразный панцырь, превратив бархан в мощный цоколь здания.

После этого начали возводить стены из типичного крупного античного квадратного кирпича. Внешние стены имеют невысокий (0,5 м) пахсовый цоколь, расширяющийся книзу как наружу, так и внутрь здания. Внутренние стены кирпичные с самого низа.

На высоте 1,40 м на основание стен были настланы полы. Структура их не менее любопытна.

Образованные нижними частями внешних и внутренних разделяющих комнаты и коридоры стен, клетки до указанной выше высоты 1,40 м были наполнены песком. Поверх этого песка вновь был насыпан слой строительного мусора, сцементированного водой с песком в песчаникообразную корку толщиной около 45 см. Лишь поверх этой субструкции была положена глиняная обмазка полов.

В целом—здание получило мощный цоколь, представляющий прочную и эластичную комбинацию песка, глиняно-песчаной корки, глины и кирпича, составляющий в целом исключительно устойчивую и долговечную субструкцию здания, оказавшуюся в состоянии противостоять разрушительным силам природы в течение двух тысячелетий, в то время как верхние части постройки (может быть, впрочем, не без участия человека) оказались целиком разрушенными.

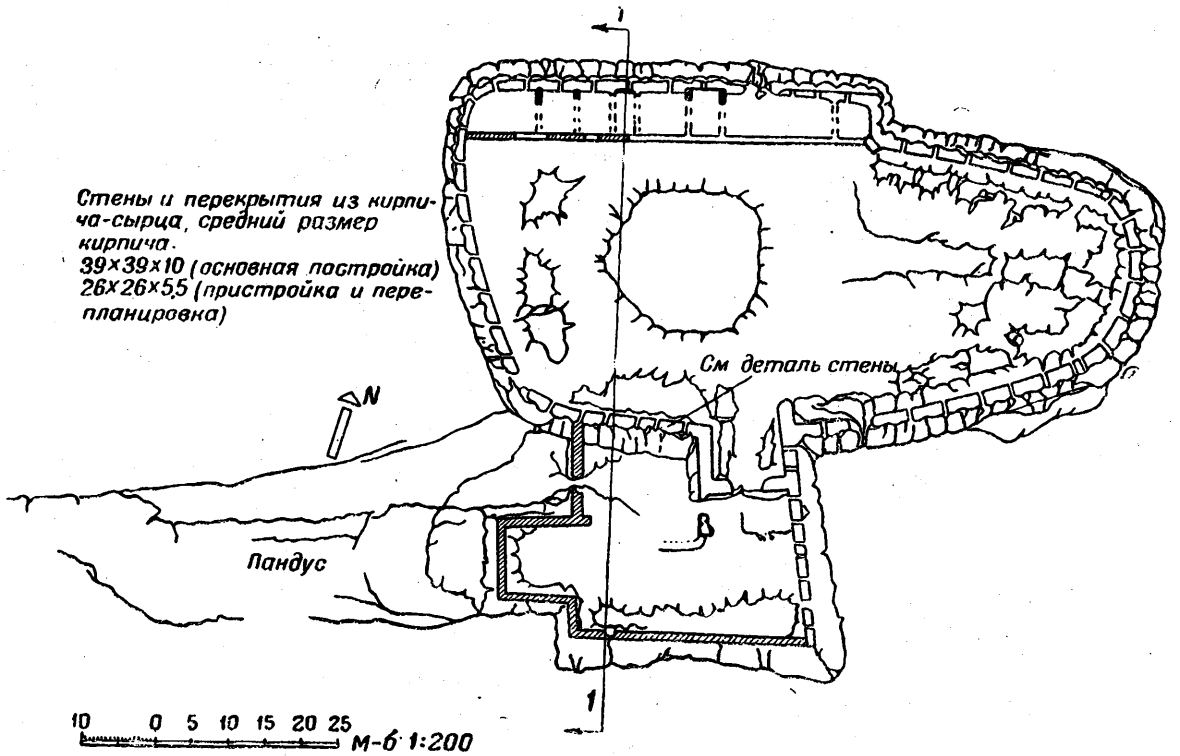


Рис. 42. Аяз-кала № 2. План. Обмеры В. Пилявского.

Как показали разведки на Чермен-ябе, этот строительный прием был общераспространенным в античном Хорезме. Укрепленный глиной песчаный бархан составляет субструкцию дома-замка кангюйско-кушанского времени Кюнерли-кала. Песчаное основание имеют построенные в античную эпоху стены города Змукшира (Замахшар средневековых источников). Песчаное основание имеют стены городища Кюзели-гыр.

Интересные новые данные для этого вопроса дало произведенное нами в 1940 году обследо-

вание античного «дома-замка» Джильдык-кала. Цоколь Джильдык-калы имел очень сложную структуру. Он представлял собой систему перпендикулярных сторонам замка кирпичных стен с коридорообразными проходами между ними, заполненными слоями свободно-положенных сырцовых кирпичей, разделенными прослойками белого аллювиального песка в 10—12 см. Снаружи эта конструкция была, повидимому, одета кирпичной рубашкой. В этой связи разъясняется характерная деталь структуры цоколя дома огня Джанбас-калы, в одной из промоин которого в 1939 г. мы обнаружили аналогичную кладку с прослойками песка. Анализ цоколя Джильдык-калы приводит к выводу, что это был столь же распространенный в хорезмийской античности прием, как и сооружение сплошных песчаных цоколей, описанных нами для Аяз-калы[1].

Сопоставление ряда античных хорезмийских памятников с песчаным или песчано-кирпичным цоколем, с памятниками предшествующего времени—амирабадской и даже кельтеминарской эпох, позволяет сейчас выдвинуть гипотезу, не является ли эта специфическая для древнего Хорезма форма продолжением и видоизменением первобытной традиции постройки жилищ на песчаных дюнах, прослеживаемой со времен неолита. В самом деле, кельтеминарский дом в Джанбас-кала № 4, амирабадский дом в Джанбас-кала № 7, ахеменидское городище

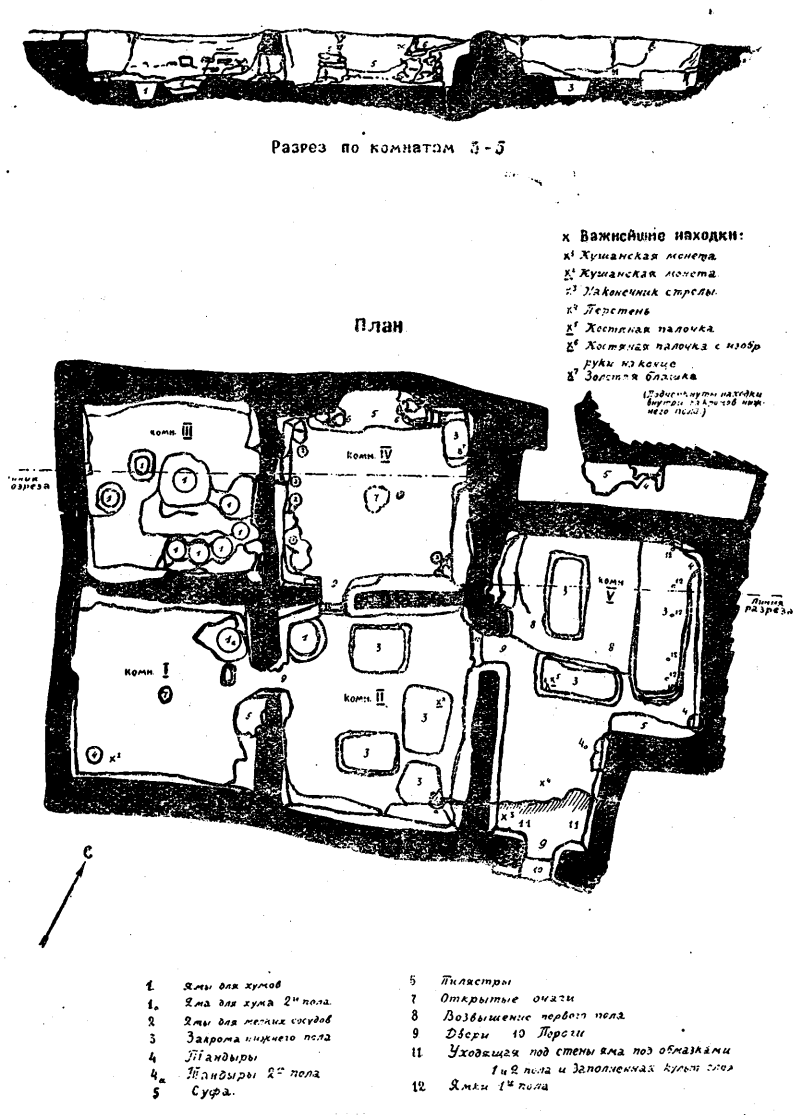


Рис. 43. Аяз-кала. Дом № 1. Раскопки.

[1] См. КСИИМК VI, 1940, стр. 75.

Кюзели-гыр, кангюйский «дом огня» в Джанбас-кала, кангюйско-кушанский «дом-замок» Кюнерли-кала, кушанская Аяз-кала № 3 и Джильдык-кала образуют непрерывную цепь построек, сооруженных на сперва естественных, а затем искусственных песчаных холмах. Причина этого явления более чем прозрачна—влажная, болотистая, часто засоленная почва нижне-Аму-дарьинской низменности, и посейчас являющаяся бичом строителей, а в эпоху несравненно большей обводненности в доагрикультурный и ранне-агрикультурный период, пока большие каналы не дренировали в достаточной мере эту равнину, бывшая особенно ощутимой. Недаром еще в XIII веке Якут писал по этому поводу:

«Почва ее (области Хорезма) дурная и расположена на болотах, со множеством мест, где просачивается вода»[1].

Раскопки большого дома в Аяз-кала № 3 позволили уточнить внешнюю планировку здания. Оказалось, что здание с трех сторон—кроме стороны, примыкающей к внешней стене—имело небольшие квадратные башни, выступающие по середине стен. Одна из этих башен была раскопана. Ее субструкция не отличается от описанной выше общей субструкции здания, но склон холма против башни укреплен особенно тщательно—при помощи двух дугообразных линий поставленных на ребро кирпичей, спаянных с общей глиняно-песчаной коркой склона.

Выступающие посредине стен большого укрепленного дома-замка квадратные башенки, как выясняется,—характерная особенность архитектуры этого времени. Это мы имеем в описанной в 1938 г. Кзыл-кале[2] (рис. 65). В 1939 г. этот же тип укрепления мы зарегистрировали в более ранней (кангюйской) Кюнерли-кале на Чермен-ябе[3] (рис. 38).

Для характеристики быта кушанского Хорезма богатый материал дали раскопки усадьбы № 1, расположенной рядом с Аяз-кала № 3, к востоку от нее.

Усадьба—типичная для этого времени средняя земледельческая усадьба—представляет собой неправильный четырехугольник, приближающийся к фигуре параллелограмма, длиной 150 м и шириной 60 м, окруженный превратившейся в невысокий вал кирпичной стеной. Северная часть усадьбы занята большим зданием, тянущимся, насколько можно проследить с поверхности, во всю ширину двора, т. е. на 60 м, и с севера на юг имеющее ширину около 20 м.

Кроме этого двора, посредине двора располагалась небольшая сильно разрушенная постройка. Края главного здания сильно размыты и сходят на-нет к поверхности такыра. В средней части, где стены хорошо прослеживаются, нами и был заложен раскоп, площадь 15 × 10 м, захвативший 5 комнат и часть примыкающего к внешней стене усадьбы коридора (рис. 43).

Стены комнат, пространство внутри которых было выполнено в верхней части песчано-глиняным наплывом и кирпичным завалом, а в нижней—тонкой прослойкой культурного слоя с многочисленными находками, сохранились на высоту до 1,60 м. Они были сложены из сырцового кирпича с сильной примесью самана, размером 40 × 40 × 10 см. Саманная примесь, повидимому, и обусловливает сильную степень изношенности стен как этого здания, так и других построек комплекса Аяз-кала. Стены сильно выветрены, имеют неправильную поверхность, структура их прослеживается с трудом, за исключением некоторых, повидимому, несколько более новых участков кладки (например, стены между комнатой № 5 и коридором). На многих кирпичах имеется тамга в виде латинского S, тождественная с верхней частью тамги Афригидов и с тамгой надчеканки на кушанских монетах, находимых в окрестностях Аяз-калы.

Здание, как показали раскопки, несколько раз подвергалось перепланировке. Самый старый план—пока неясен. К нему принадлежит обширная яма, охватывающая вход в комнату № 5 со стороны двора и смежный угол комнаты № 2, заполненная культурным слоем с керамикой обычного для дома типа. Стены комнат 5 и 2 пересекают эту яму, и относящийся к нижнему горизонту пола комнаты № 2 угловой закром, вырубленный в такыре, врезается углом в эту яму, что позволяет считать ее старше того и другого. Полы до конца были вскрыты в комнатах 2 и 5. Оказалось, что первоначально обе эти комнаты были хозяйственными хранилищами, пол которых был покрыт закромами в форме ванн различных размеров, глубиной от 30 до 60 см (табл. 26 рис. 2). Аналогичная «ванна» была обнаружена в В углу комнаты № 4. В последний период жизни дома функция комнат 2 и 5 была изменена. «Ванны» были покрыты двойным слоем плотной глиняной обмазки. В углу комнаты № 5 было устроено полого спускающееся по краям глиняное возвышение, своего рода суфа, повидимому, место для трапез, в пользу чего говорит тот факт, что именно на этом участке комнаты было сделано наибольшее количество находок раздробленных костей животных и фрагментов бытовой посуды. Вдоль ЮВ стены комнаты вытянулся ряд небольших круглых углублений—возможно, для установки какого-то стана или помоста.

К бытовым функциям была приспособлена

[1] Якут, изд. Wüstenfeld. II, 481, МИТТ, I, стр. 419.
[2] ВДИ, 1939, № 3, стр. 190, и рис. 13 на стр. 187.
[3] ВДИ, 1941, № 1, стр. 177.

и комната № 2. Лишь в северном углу, в круглой яме был поставлен огромный хум (пифос), вероятно, для хранения воды.

Бытовой была и комната № 1, со следами костра в центре и широкой низкой суфой у ЮВ стены. В восточном углу была покрыта обмазкой яма для хума первого горизонта пола и примыкающие к ней два небольших прямоугольных углубления.

Хозяйственным хранилищем являлась комната № 3. Весь пол ее был покрыт многочисленными, часто смыкающимися друг с другом, ямами для хумов, во многих из которых сохранились разбитые пифосы. В комнате было найдено большое количество более мелких как хозяйственных, так и бытовых сосудов. Функция этой комнаты как кладовой была подчеркнута затрудненностью доступа в нее. Старая дверь из комнаты № 4 близ южного угла была заложена кирпичом.

В комнату № 3 попадали из 4-й комнаты через находившуюся у пола низкую лазейку в СВ части разделяющей эти комнаты перегородки.

Комната № 4 резко выделяется из остальных своей архитектурой. В ней было сравнительно мало находок на полу, что говорит об ее относительной чистоте. Посредине были следы небольшого открытого очага. Вдоль смежной с комнатой № 3 стены шел ряд небольших углублений для вкапывания маленьких сосудов, причем фрагменты некоторых из них оказались на месте. Такие же ямки были в южном углу. Наибольший интерес представляет архитектура СВ стены. Она имела посредине нишу, подчеркнутую с боков двумя выступающими вперед кирпичными пилястрами. Дно ниши было приподнято на 0,5 м по сравнению с уровнем пола в комнате.

В целом—комната производит парадное впечатление. Возможно, что ниша являлась своего рода «почетным местом» в комнате, аналогичном также оформленной двумя могучими пилястрами нише в парадной комнате № 8 жилой башни Тешик-калы[1].

Комнаты были перекрыты высокими элиптическими сводами, о чем позволяет судить хорошо прослеживаемая структура завала перекрытия комнаты № 4.

В большинстве комнат были обнаружены тандыры в виде небольших ульевидных печей, врубленных в полу или в стене помещений и изнутри покрытых тонким слоем глиняной обмазки. Края тандыров обычно обложены для прочности битой керамикой, покрытой обмазкой. В комнате № 1 обнаружен один тандыр, в комнате № 2 также один, относящийся ко второму горизонту обмазки, в комнате пола № 5—три: один в стене, соответствующий верхнему горизонту, и два, относящиеся к более ранним. Один тандыр обнаружен в предвходном коридоре.

Повидимому, этот тип печей являлся важнейшим отопительным приспособлением античного хорезмийского дома, так как открытые очаги были обнаружены далеко не во всех жилых комнатах дома.

В этом существенное отличие от афригидских домов, где тандыр—сравнительно редкое явление и обычно, как в Тешик-кале, имеет другой тип, изготовляясь из старого хума, или, как в замке № 36, возводясь из глины на полу, а не под полом и не в стене.

Переходя к находкам, сделанным в Аяз-кале, отмечу, помимо костей животных, типичной для кушанского времени керамики, мелких дисковидных и катушкообразных стеклянных, призматических пиритовых, шаровидных, сердоликовых и мраморных, восьмеркообразных халцедоновых бус, датируемых северночерноморскими параллелями I—III вв н. э., прежде всего две кушанские медные монеты царя Канишки, время правления которого датируется разными исследователями временем от 78 г. н. э. до середины II в. н. э.

При этом характерно, что в то время как в комнате № 1 монета была найдена на верхней поверхности пола, в комнате № 2 она была обнаружена на дне ванны-закрома, перекрытой обмазками двух полов. Это позволяет считать период жизни постройки сравнительно кратковременным—в пределах нескольких десятилетий.

Добытый при раскопках керамический материал представляет таким образом хорошо датированный комплекс, позволяющий разобраться в других, не датированных монетами памятниках. Сжатую характеристику мы дали выше, в классификации памятников, данной в главе 1, 2.

Как я уже отмечал, на такырах в окрестностях Аяз-кала было сделано много находок медных кушанских монет, часть которых имела на краю (с обеих сторон) надчеканку в виде S.

Связь этой тамги с верхней частью тамги афригидов и нахождение такой же тамги на кирпичах дома № 1 наводит на размышления.

Возможно, что эта тамга преафригидских представителей Сиявушидской династии, начавших проявлять себя в сфере монетной чеканки надчеканкой своей тамги на кушанских монетах.

Напомню также, что тамгу в форме S мы находим в поле двух ранних хорезмийских монет Эрмитажного собрания, опубликованных мною в 1938 г.[1].

Если S царская или княжеская тамга, то

[1] ВДИ, № 3, 1939, стр. 193, рис. 18 на стр. 192.

[1] ВДИ, 1938, № 4, стр. 126, табл. I, рис. 5—6. Также стр. 127, 128 и 136.

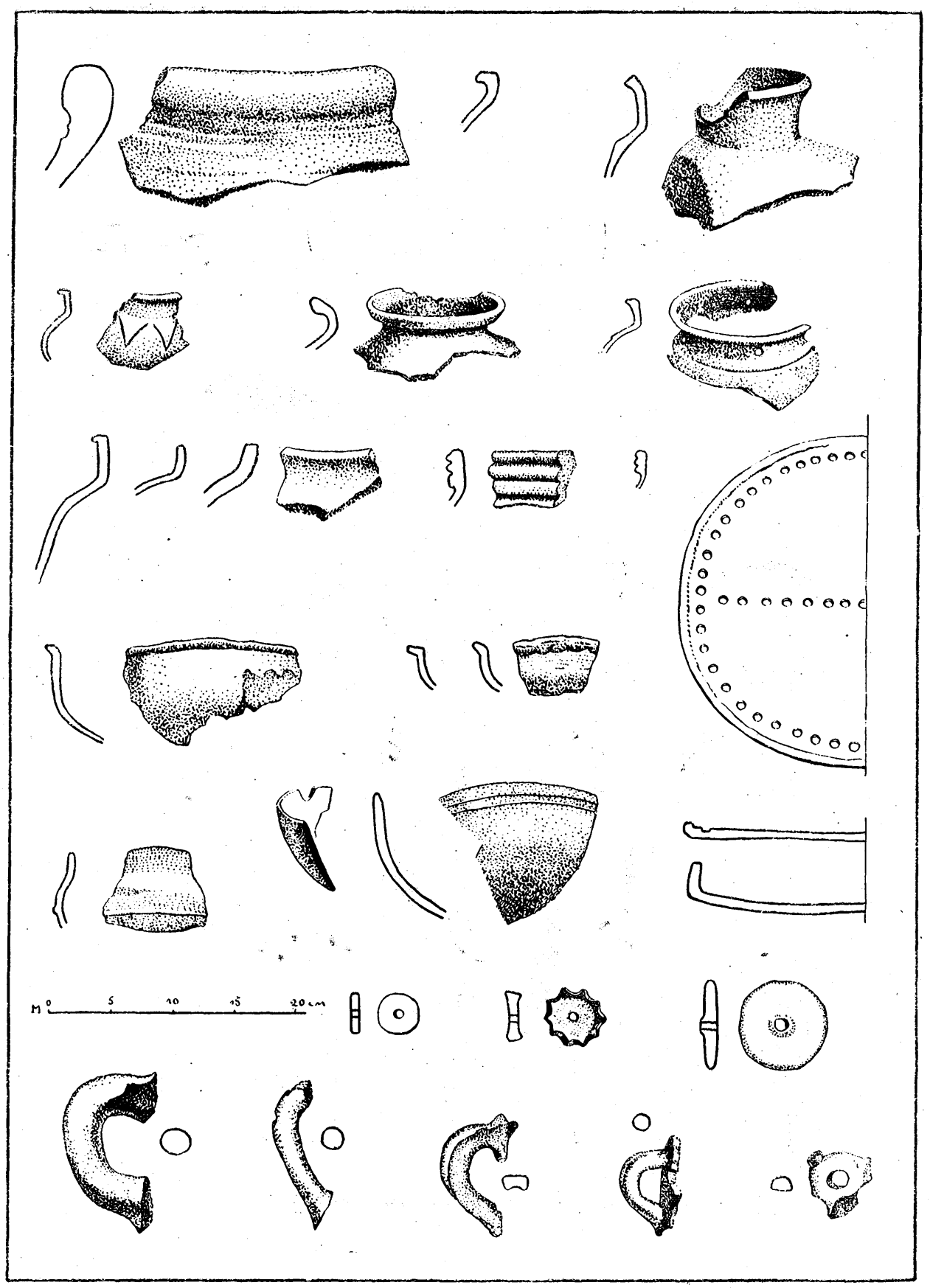


Рис. 44. Аяз-кала. Керамика из дома № 1. Кушанский комплекс.

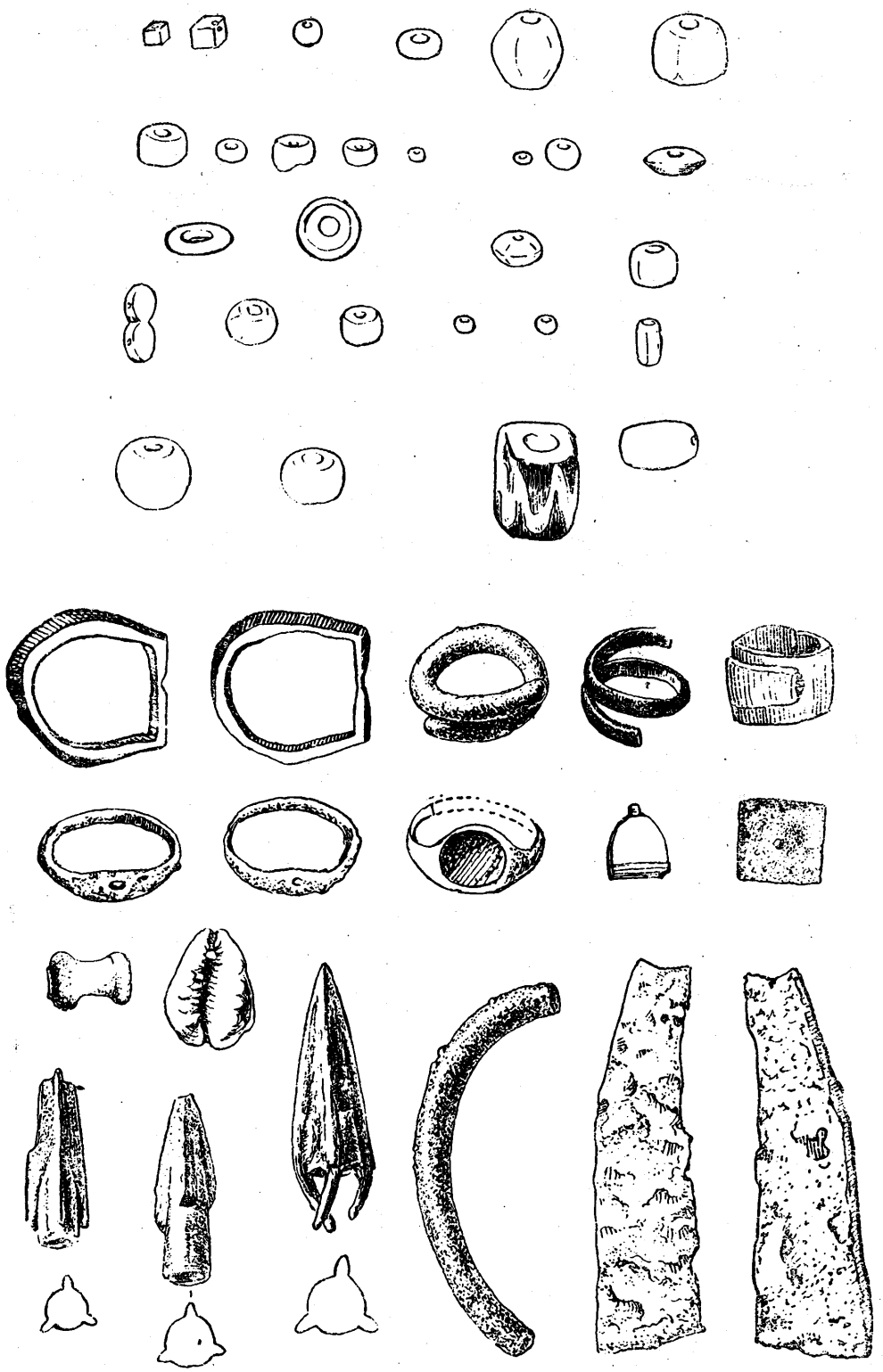


Рис. 45. Аяз-кала. Бусы и металлические предметы. Кушанский комплекс.

мы, возможно, имеем в ее оттиске на кирпичах заурядного крестьянского дома принципиально новое по сравнению с тамгами Джанбас-калы явление, отражающее новый тип социально-экономических отношений (княжеские рабы в роли строителей? Принадлежность дома родичу или клиенту князя?).

Большой интерес представляет находка в одном из закромов комнаты № 5 двух костяных заостренных палочек с резными головками, одна из которых изображает человеческую руку с вытянутыми и сложенными вместе большим и указательным и прижатыми к ладони остальными тремя пальцами (рис. 1 табл. 27).

Вероятно, перед нами стили для письма.

Наконец, в комнате № 4, также на дне закрома, обнаружена золотая бляшка, повидимому, звено ожерелья, с вставленным в нее овальным, хорошо отшлифованным камнем (индийский альмандин — рис. 2 табл. 27).

По своему типу это украшение очень близко к синхроничным произведениям ювелирного искусства Северного Причерноморья.

Наконец, отмечу находку трехгранной бронзовой стрелы, форма которой характерна для скифских стрел Причерноморья позднеэллинистического времени.

Из находок на такырах стоит отметить 3 фрагмента алебастрового сосуда с орнаментом из ритмически повторяющихся схематических и трактованных женских фигур, в резко расширяющихся книзу, образуя фигуру треугольника, юбках и с поднятыми в стороны, согнутыми в локте руками с растопыренными пальцами[1] (рис. 6—8 табл. 27). Мотив этот, столь же характерный для русских и карельских народных вышивок, дающих почти тождественную трактовку женской фигуры, прибавляет новое звено в постепенно прослеживаемой нами цепи хорезмийско восточно-европейских культурных связей[2].

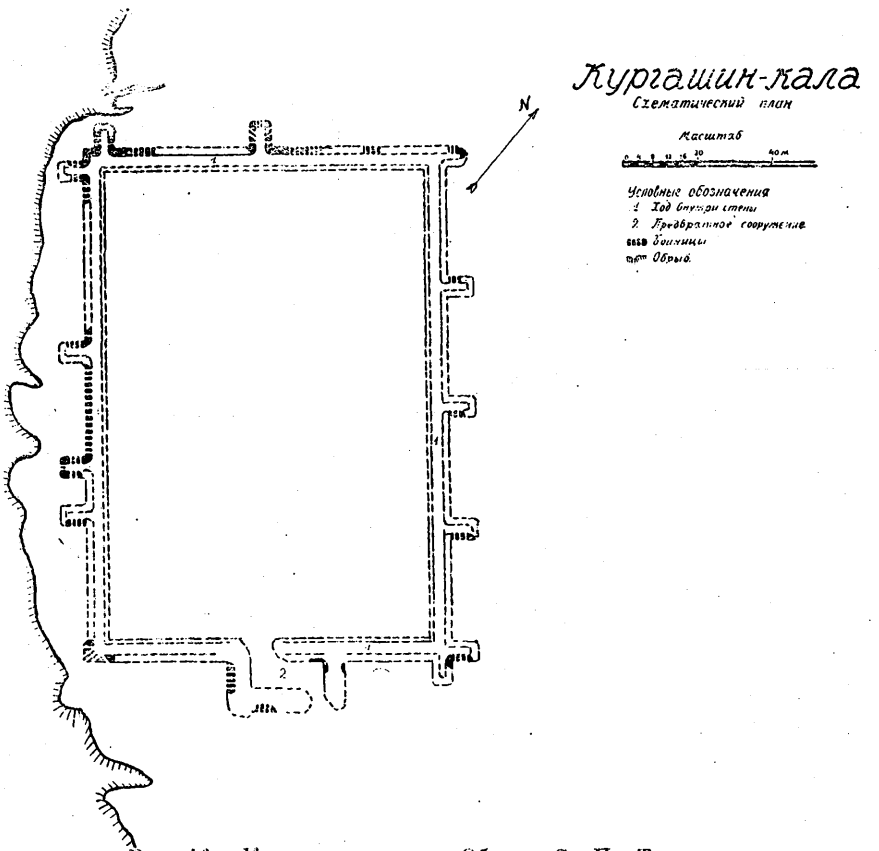


Рис. 46. Кургашин-кала. Обмер С. П. Толстова.

На крепостях кушанского времени можно проследить переход от примитивной системы обороны типа Джанбас-кала к более совершенной. Так в крепости Кургашин-кала мы имеем

[1] ВДИ, 1941, № 1, стр. 171, табл. III, 4.

[2] Ниже, в главе IV, мы пытаемся реконструировать древний пласт культуры античного Хорезма, связывающий ее с культурой фрако-фригийского круга племен. Ряд ассоциаций между массагетами—хорасмиями и их соседями—дахами, с одной стороны, и гетами и даками северо-западного Черноморья, с другой, заставляет нас и только что отмеченный образ вводить в круг этих ассоциаций. В этой связи мы не можем не упомянуть работу В. А. Городцова «Сармато-дакские религиозные элементы в русском народном творчестве» (Труды ГИМ I, М., 1926, стр. 7 сл.), посвященной прослеживанию другого отрезка древних хорезмско-русских этно-культурных коммуникаций.

сразу три варианта обороны углов (рис. 46). Один из углов крепости был защищен косой бойницей.

метров) к углу, но угол крепости все же выступал между башнями. На третьем углу мы имеем

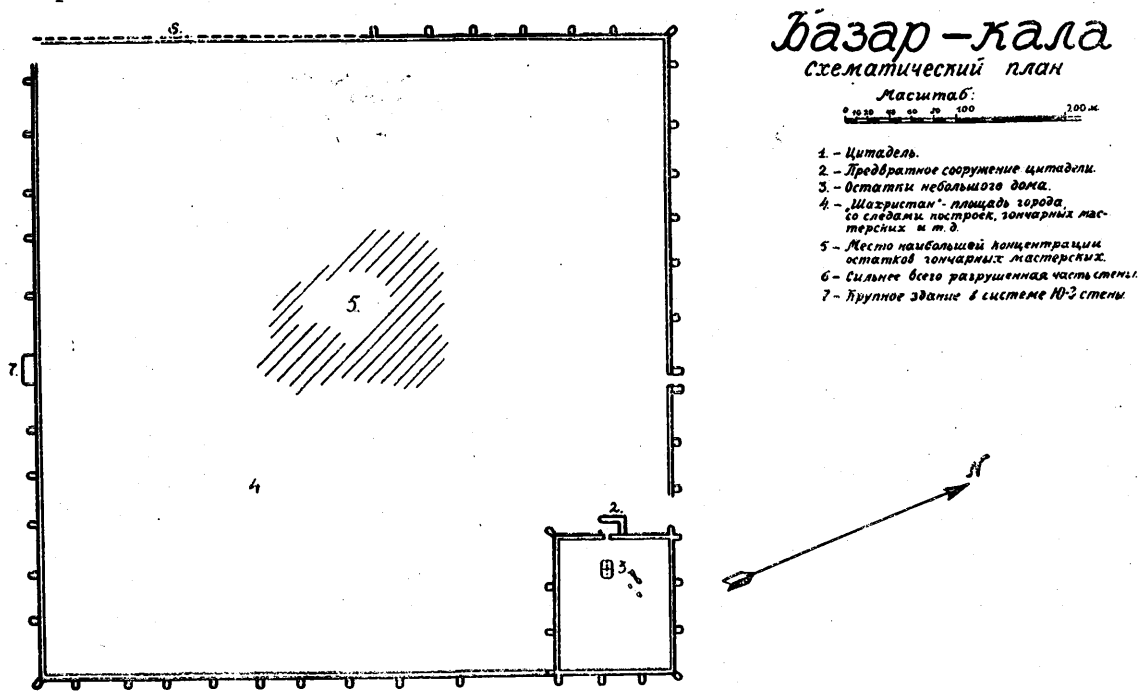


Рис. 47. Базар-кала. Обмер С. П. Толстова.

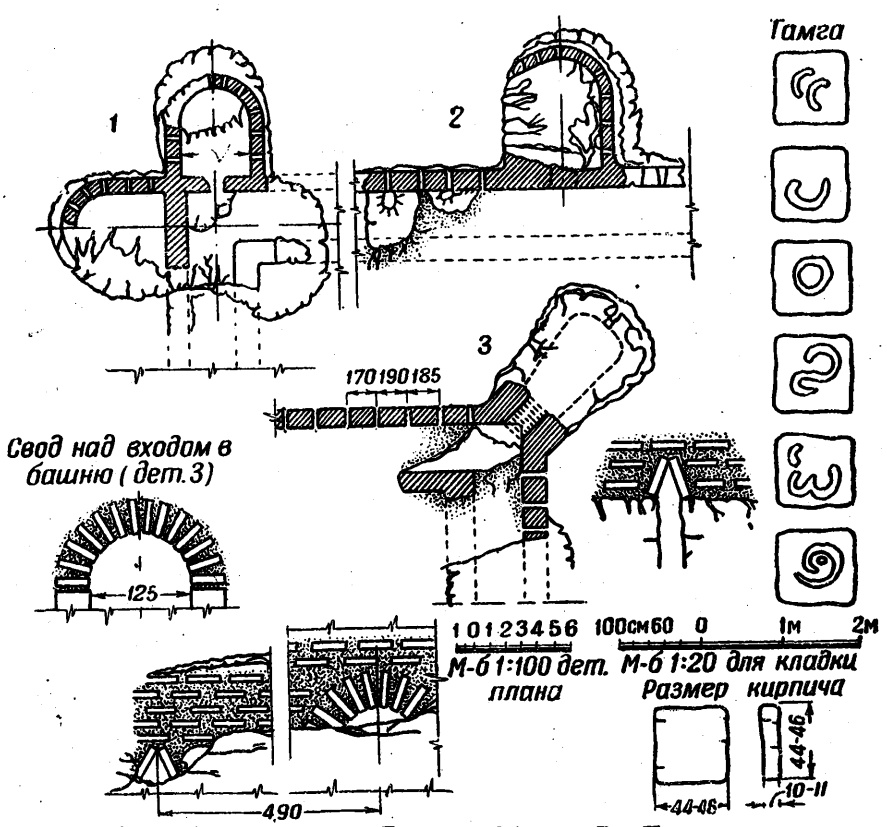


Рис. 48. Базар-кала. Детали. Обмеры В. Пилявского.

Второй был защищен двумя башнями, придвинутыми почти вплотную (на расстоянии трех

две стенные башни, сошедшиеся вплотную Угол оказался поглощенным этими башнями

Они сомкнулись, образовав в плане фигуру, наподобие «ласточкина хвоста». Особенно хорошо этот тип обороны углов представлен в крепости Аяз-кала № 1 (рис. 40).

Этот тип «ласточкина хвоста» достаточно древен, если оперировать масштабами всего древнего Востока. Мы имеем его на плане, лежащем на коленях статуи Гудеи[1], который правил Лагашем в XXV в. до н. э. Мы имеем его также и в древнеегипетской фортификационной практике. Он особенно хорошо выражен в развалинах крепости Семне[2] и изображениях крепостей на некоторых шиферных таблетках архаического периода. Предшествующий ему тип, отраженный на втором в нашем перечне углу крепости Курагашин-кала, встречает прямую аналогию в системе обороны цитадели ассирийского дворца в Хорсабаде. Факт появления этих типов в Хорезме в сравнительно столь позднее время говорит о самостоятельном пути развития хорезмийской фортификации, через много веков после возникновения упомянутых выше памятников Двуречья и Египта, в сходных исторических условиях самостоятельно повторившей путь развития фортификации древнего Востока.

Этот тип «ласточкина хвоста» мы встречаем также и на двух углах датируемой кушанским временем цитадели Базар-кала (рис. 47—48). Два других угла защищены башнями, ось которых составляет продолжение диагонали крепости, т. е. башнями, тип которых становится обычным в афригидское время. Переходным к этому типом является тип угловых башен крепости Ангка-кала, которая заслуживает того, чтобы на ней остановиться подробнее.

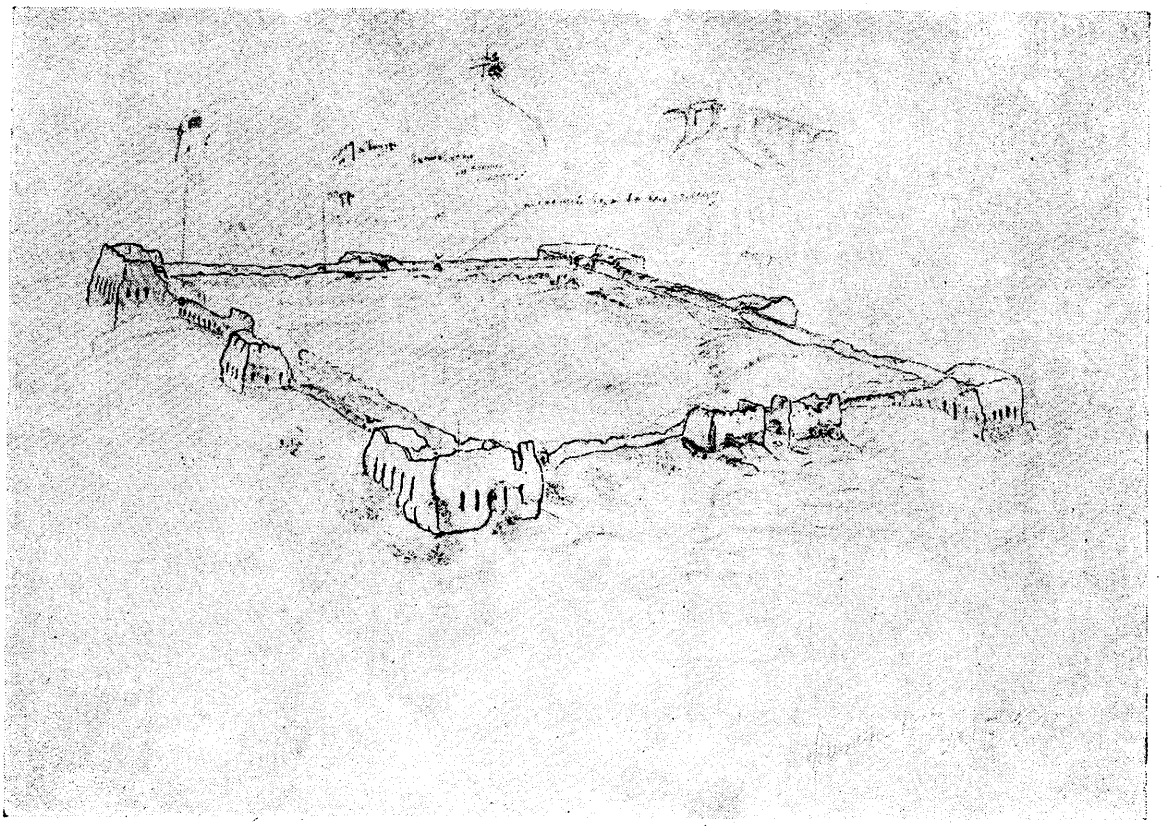


Рис. 49. Ангка-кала. Перспектива. Зарисовка худ. Н. П. Толстова.

Эта крепость относится к поздне-кушанскому времени и представляет большой интерес для истории хорезмийской фортификации (рис. 49—50).

Ангка-кала расположена примерно в двух километрах к востоку от Кой-крылган-кала, от которой отделена грядой песков. Крепость окружена полосой такыра, покрытого многочисленными остатками керамики, следами жилищ и поселений. Примерно, в 200 м к востоку от крепости расположены развалины квадратного дома с превратившимися в вал кирпичными стенами толщиной около 4 м, размеры внутреннего помещения которого равняются 12 × 12 м. К северо-востоку и особенно к северо-западу от крепости расположены следы значительных поселений, — сильно разрушенные бугры построек, сплошь покрытые густым слоем керами-

[1] O. Montelius. Die Aelteren Kulturperioden im Orient und Europe. Stockholm, 1903, 1925, стр. 156.

[2] C. Schuchhart. Die Burg im Wandel und Weltgeschichte, Lpz. 1931, стр. 3 (рис. 3), стр. 7 (рис. 7). Ср. Reallex der Vorg. Табл. 86, стр. 258—259.

ки, принадлежащей к описанному выше кушанскому комплексу, среди которой попадаются терракотовые статуэтки. На развалинах одного дома найдены две медные хорезмийские монеты с изображением царя в орлином шлеме, датируемые нами III в. н. э.[1]

гают толщины 15 см). Кирпичи положены на глиняный раствор, прослойка между кирпичами достигает 8 см.

Ворота, открывающиеся посредине юго-восточной стены крепости, защищены с обеих сторон прямоугольными башнями (5 × 8 м), каж-

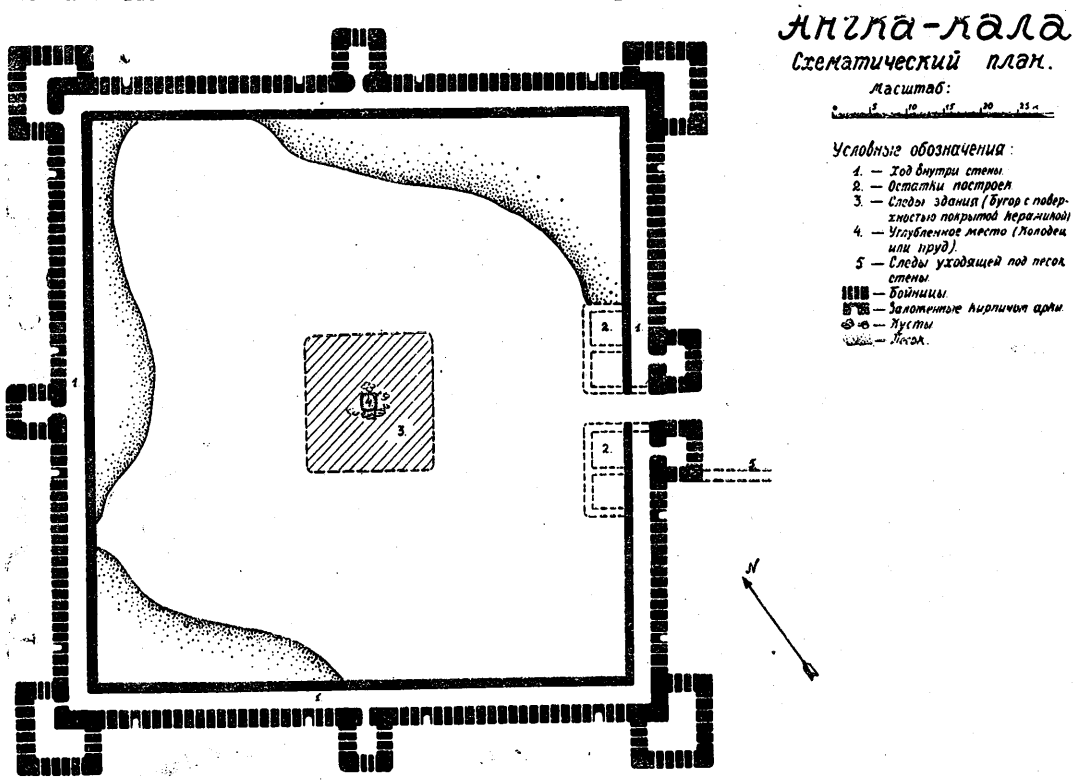


Рис. 50. Ангка-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

Ангка-кала отличается от других античных крепостей Хорезма сравнительно небольшими размерами. Она образует правильный квадрат

дая из которых открывается внутрь ворот одной бойницей.

На каждом из углов расположена квадратная

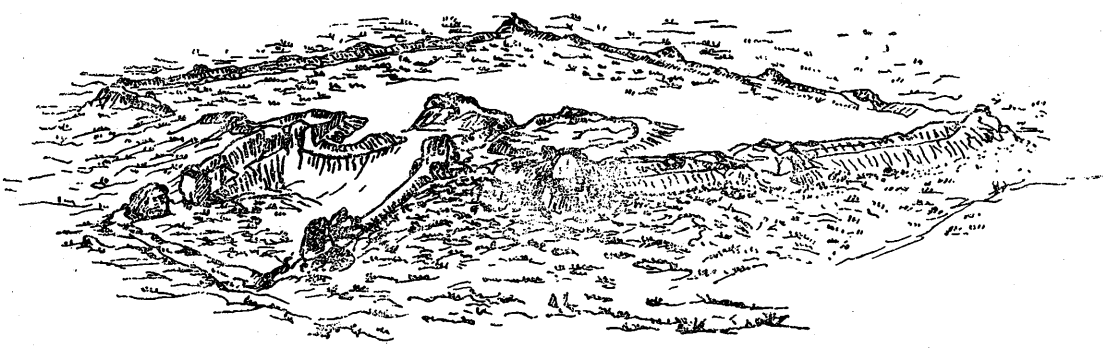


Рис. 51. Калалы-гыр № 2. Перспектива. Рис. худ. Н. П. Толстова.

75 × 75 м, обнесенный типичной для античных крепостей двойной стеной, сложенной из очень крупного квадратного сырцового кирпича размером 40 × 40 × 10 см (иногда кирпичи дости-

[1] См. цитированную нами выше статью в ВДИ, 1938, № 4. а также ниже, гл. IV, 1.

башня, средним размером 11 × 11 м. План башни крайне своеобразен, резко отличаясь от угловых сооружений всех других крепостей. Башня как бы облекает с двух сторон входящий в нее угол крепости.

Посредине каждой из остальных трех стен располагается одна прямоугольная башня пло-

щадью 5 × 7 м. Башня, как правило, выше, чем стена. Сохранившаяся высота башен превышает сохранившуюся высоту стен на 1—3 м.

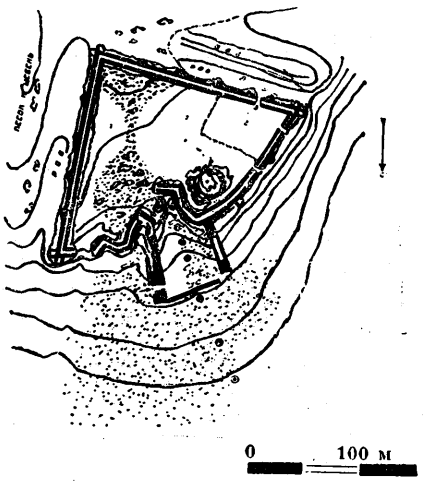


Рис. 52. Калалы-гыр № 2. План. Обмер С. П. Толстова.

Внешняя стена, имеющая посредине высоты толщину около 2 м, открывается наружу рядом обычных для античных крепостей и описанных нами выше высоких и узких бойниц (внешний раствор 1,90 м, внутренний 1,20 м, ширина 25 м, расстояние между бойницами—1,30 м). Низ бойниц расположен на высоте около 4,30 м над уровнем окружающей земли. Стены сохранились на высоту 7 м.

Характерной деталью системы обороны Ангка-калы является наличие по обоим краям каждого простенка между башнями открывающихся наружу круглоарочных дверей 80 см ширины, расположенных на расстоянии около 4 м от башен. Нижний край арок соответствует нижнему краю бойниц. Все арки заложены кирпичом. Повидимому, они были предназначены для вылазок.

Посредине двора крепости расположен плоский, низкий квадратный бугор 18 × 18 м, с квадратным же, около 2,5 × 2,5 м, углублением посредине, вокруг которого расположена группа кустарника. Повидимому, это остатки дома с колодцем или прудом посредине. Керамика, грудами лежащая посредине этого бугра, по своему типу примыкает к керамике X—XII вв., характерной для развалин раннемусульманского времени в окрестностях Наринджана, резко отличаясь от керамики, покрывающей окрестные крепости.

Это говорит о том, что крепость, как и некоторые другие, продолжала в какой-то мере использоваться много позднее времени ее постройки и интенсивной жизни в ее окрестностях.

Ряд отмеченных выше отличий от обычного типа античных крепостей, особенно размеры, устройство ворот и тип башен, заставляет видеть в Ангка-кала одно из поздних произведений античной военной архитектуры Хорезма. На это указывают и монетные находки в ее окрестностях, позволяющие датировать ее III—IV в. н. э.

Рис. 53. Гяур-кала (Султан Уиз-даг; фасад). Обмер худ. Н. П. Толстова.

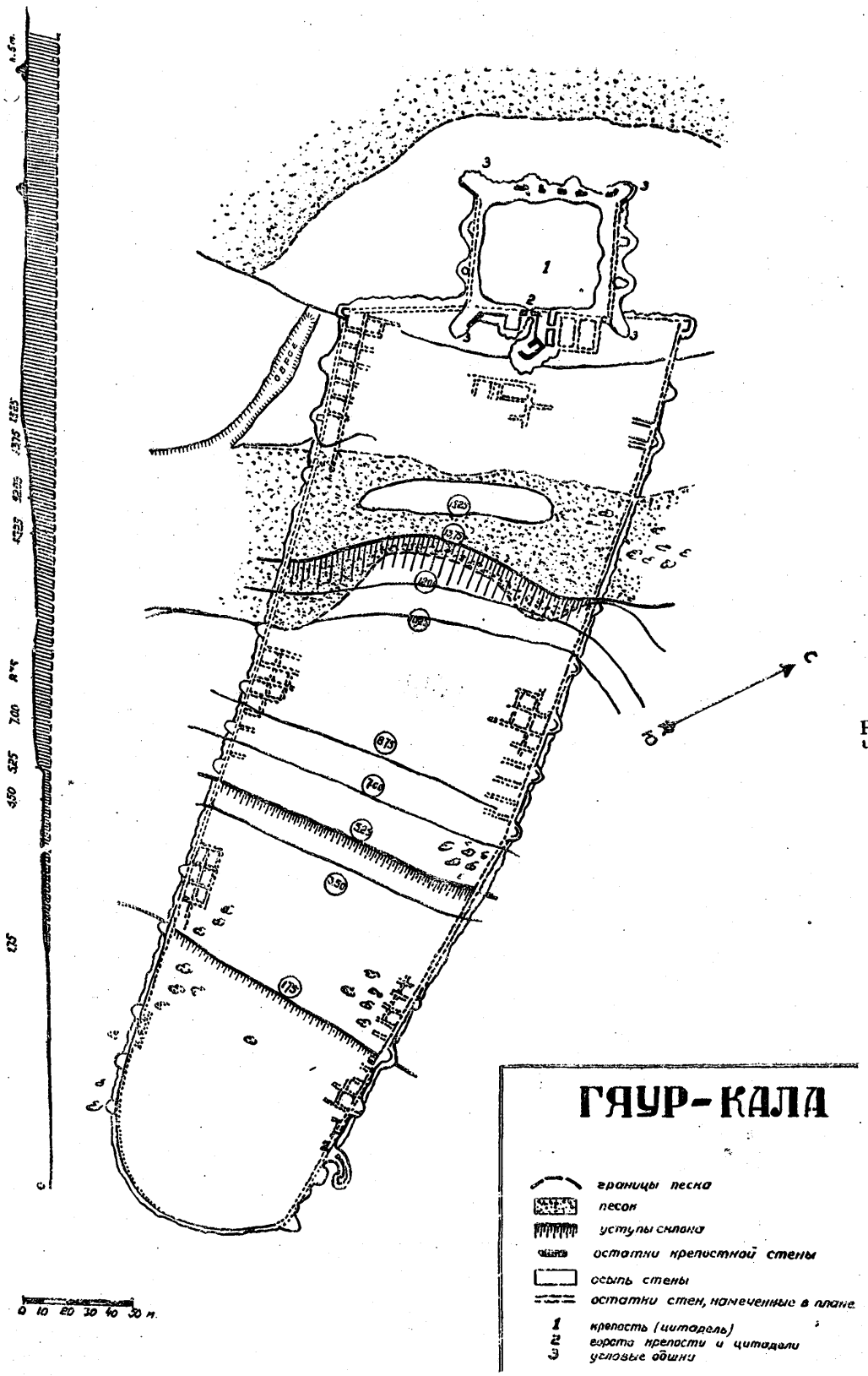


Рис. 54. Гяур-кала на Чермен-ябе (план). Обмер С. П. Толстова и С. С. Гасанова.

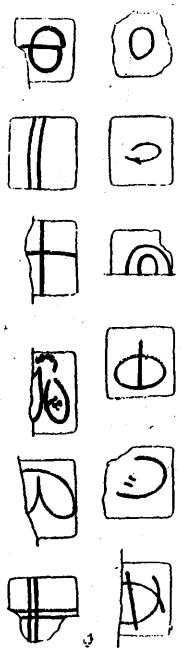


Рис. 55. Гяур-кала на Чермен-ябе. Тамги на кирпичах.

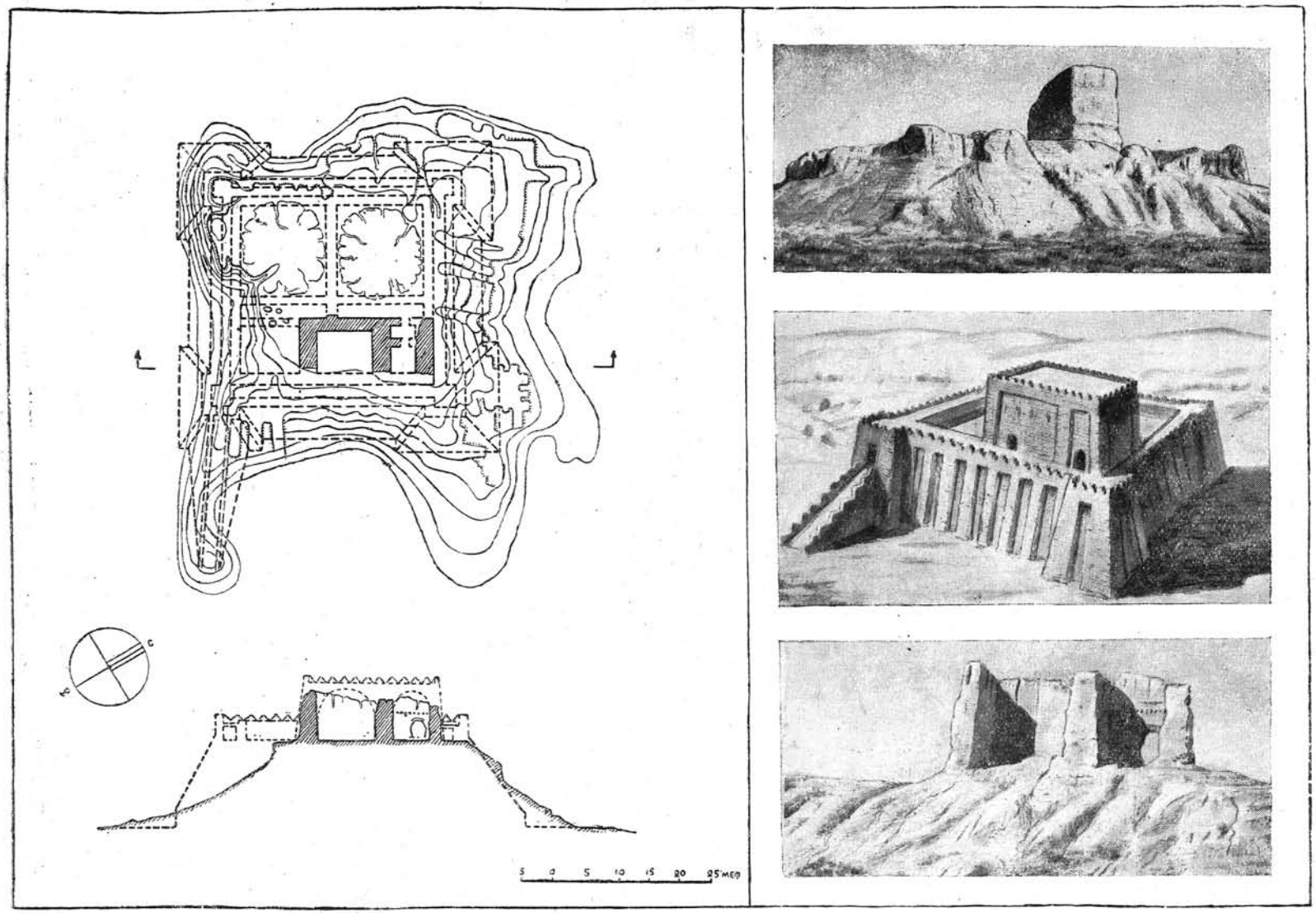


Рис. 56. Джильдык-кала. Обмер арх. В. А. Лаврова.

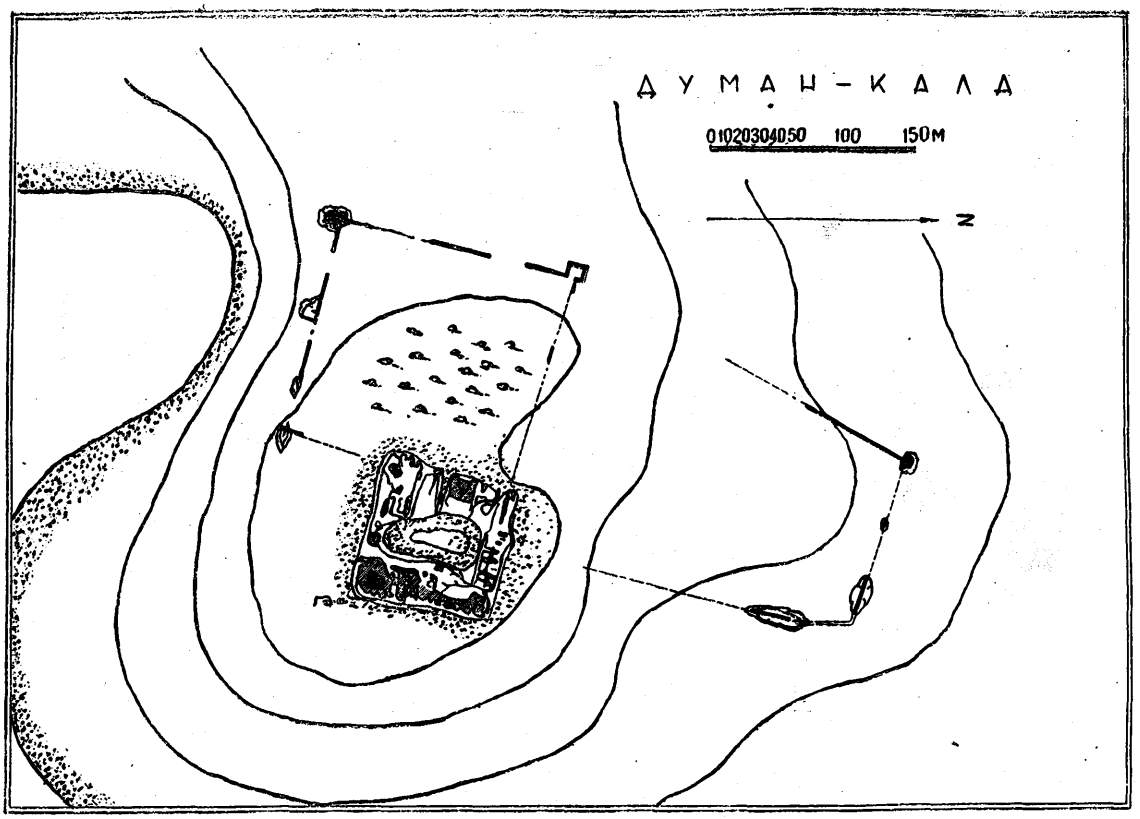


Рис. 57. Думан-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

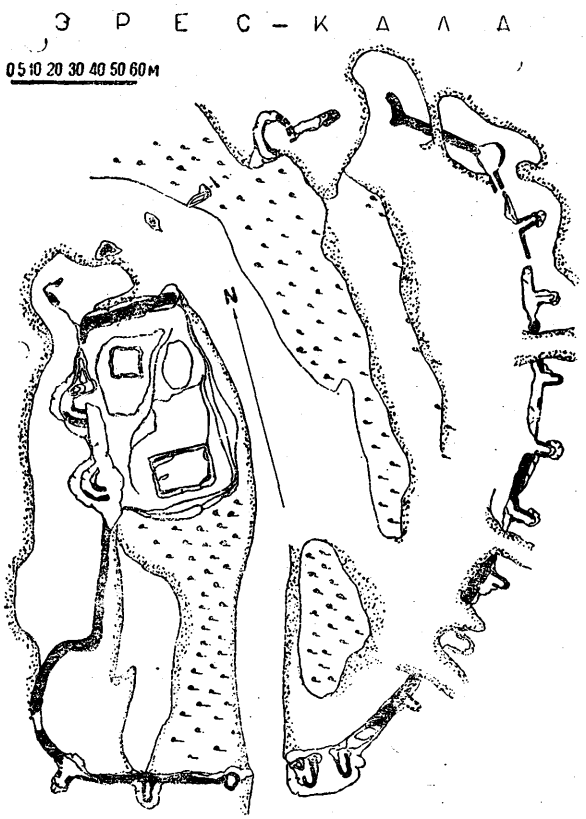


Рис. 58. Эрес-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

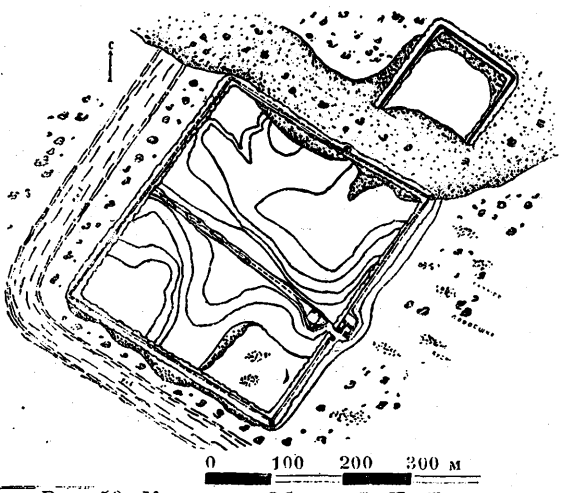


Рис. 59. Куня-уаз. Обмер С. П. Толстова.

Рис. 60. Вещи из кушанских памятников. Бронзовые серьги слева—Джильдык-кала, справа—Думан-кала (нат. вел.). В середине—фигурка из светлозеленой египетской пасты, сильно увеличена (высота 13 мм). Базар-кала, цитадель.

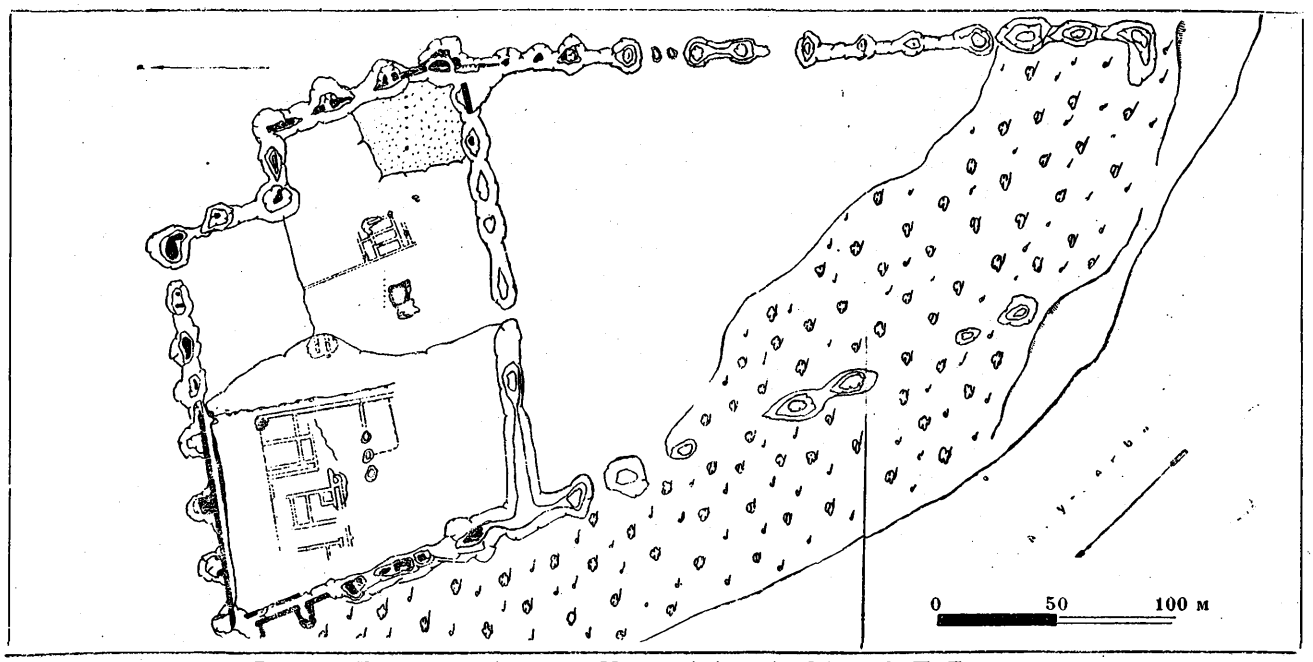


Рис. 61. Гяур-кала (Султан Уиз-даг) (план). Обмер С. П. Толстова.

4. КУШАНО-АФРИГИДСКИЕ ПАМЯТНИКИ (ТОПРАК-КАЛА И ЯККЕ-ПАРСАН)

Следующим временем, по которому экспедиции удалось в 1940 году добыть много нового материала, явился период, названный нами кушано-афригидским и охватывающий время IV—V вв. н. э.—период, лежащий между культурой эпохи расцвета кушанской культуры (Аяз-кала III) до эпохи расцвета культуры афригидской (Беркут-кала).

К этому периоду относится целый ряд частью ранее открытых, но в 1940 г. заново обследованных и по-новому освещенных городищ (Топрак-кала, впервые обследованная нами в 1938 г., Кош-парсан № 1 и № 2, посещенные А. И. Тереножкиным в 1937 г.), частью памятников, посещенных впервые в 1940 г. (Малая Кават-кала к западу от Наринджана, Яккепарсан к СЗ от Уй-кала, Эрес-кала на низовьях канала Кельтеминар). Памятники эти довольно различны. Эрес-кала, Топрак-кала, к которым надо прибавить Кырк-кыз-калу—это города, возникшие еще в кангюйское время, но продолжавшие жить полной жизнью и в ранне-афригидский период, вплоть до V—VI века, когда они приходят в упадок. Оба Кош-парсана, Якке-парсан и Малая Кават-кала—это ранне-афригидские замки, построенные, видимо, не раньше начала перехода власти в Хорезме от кушанов к афригидской династии, не раньше конца III и начала IV века.

Особенно интересна Топрак-кала (рис. 62 сл.). Городище дало исключительно обильные монетные находки, с подавляющим преобладанием ранне-афригидских монет III—IV вв.н.э. Наряду с ними попадается довольно много кушанских монет, по преимуществу Васудевы.

Особняком стоит одна хорезмийская монета с имитацией надписи Эвкратида, датируемая нами концом I в. до н. э. (см. ниже).

Поздне-афригидские монеты, весьма многочисленные на окружающих такырах, на городище встречаются единицами. Стратиграфический шурф, заложенный на городище, показал, что этот памятник, поверхность которого сильно разрушена пухлым солончаком, дает культурный слой мощностью в 4 м, в котором выделяется 10 горизонтов, разделенных между собою хорошо прослеживаемыми глиняными полами, не считая более мелких прослоек.

Нижние горизонты дают характерную поздне-кангюйскую и кушанскую керамику, поверхностные сборы и верхние горизонты—керамику ранне-афригидскую, не позднее V—начала VI века. Таким образом вся свита культурных слоев Топрак-кала охватывает период около пяти веков.

Интересна планировка городища. Оно имеет форму правильного прямоугольника 500 × 350 метров, вытянутого с севера на юг, с мощными стенами из сырцового кирпича античных размеров с многочисленными квадратными башнями. Сохранность стен—плохая. Весь северо-западный угол крепости занимает огромный замок правителя города, состоящий из двора 180 × 180 м со сложной планировкой и величественного трехбашенного донжона, сохранившегося на высоту до 25 метров и

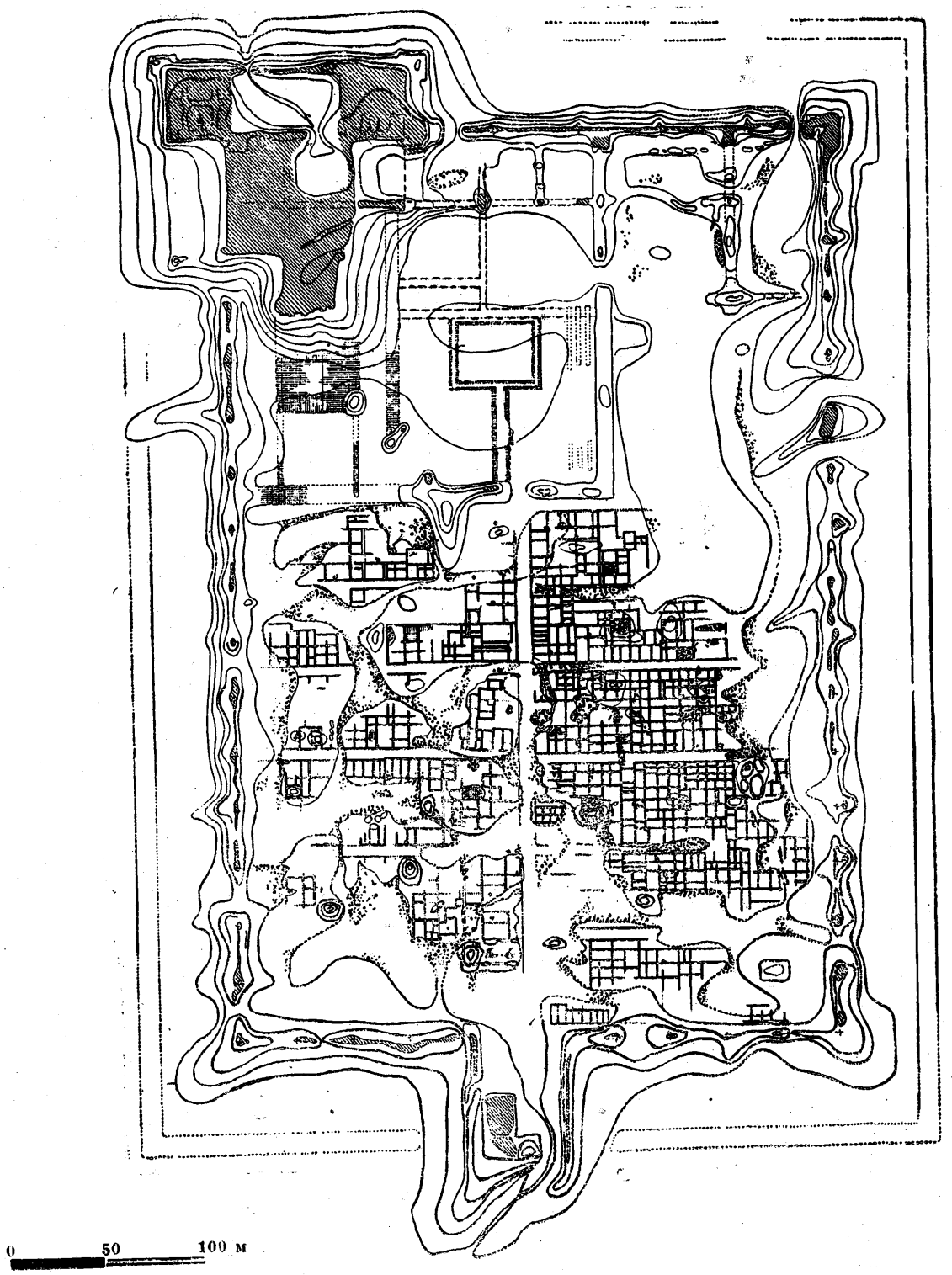


Рис. 62. Топрак-кала. План. Обмеры С. П. Толстова, В. И. Лаврова, М. А. Орлова, В. Пилявского.

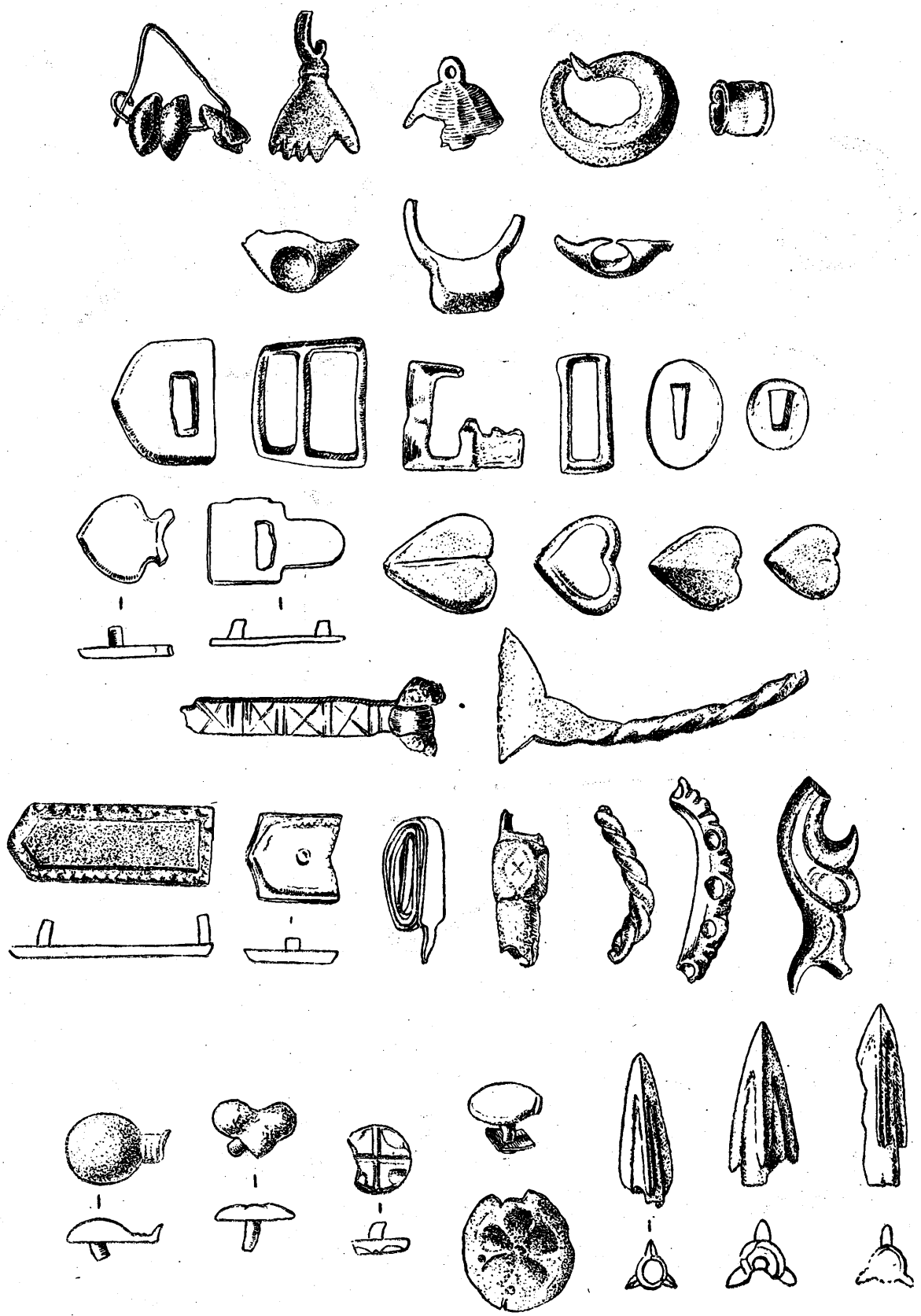


Рис. 63. Топрак-кала. Находки с городища.

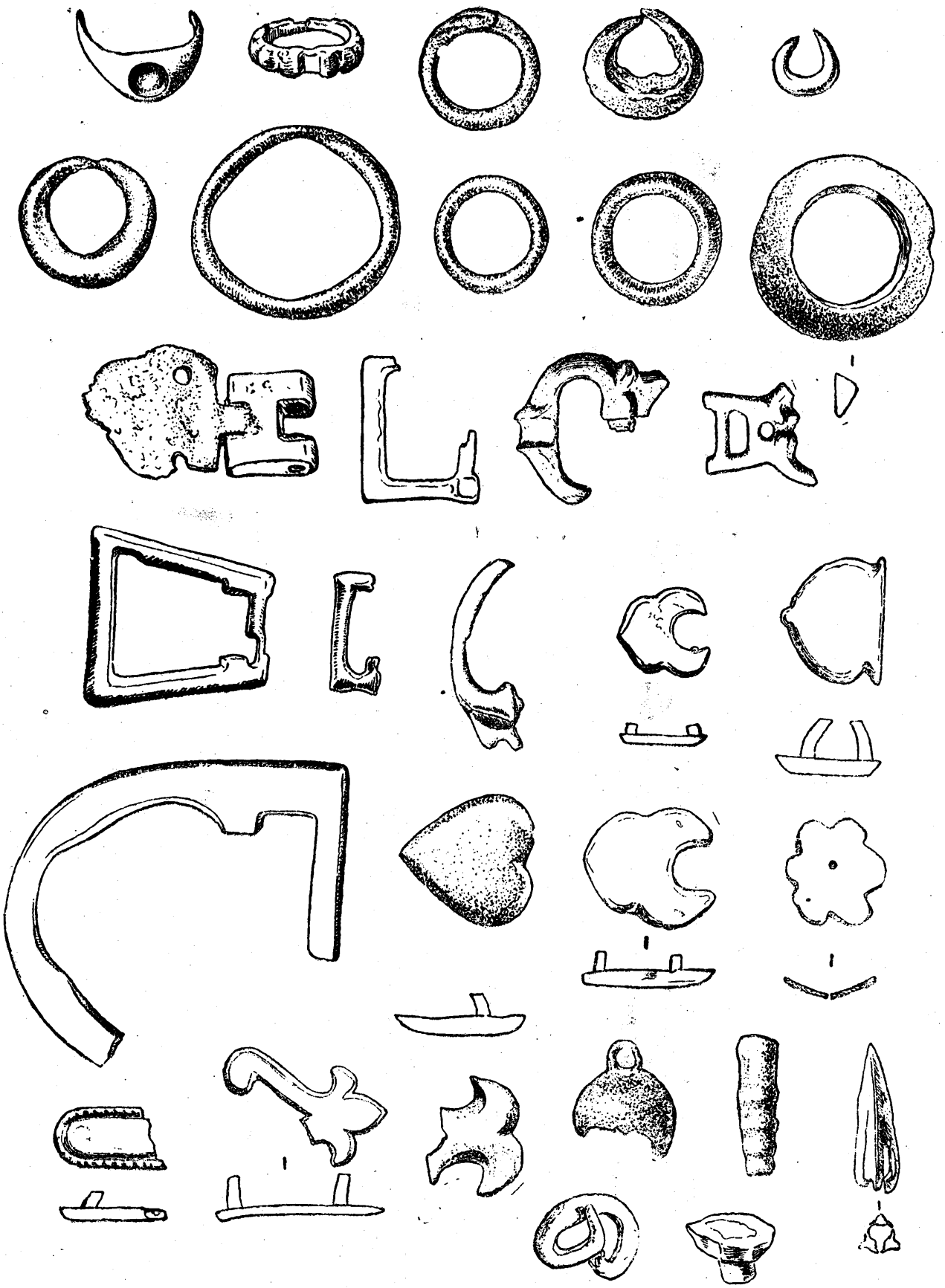


Рис. 64. Топрак-кала. Находки с окружающих такыров.

содержащего многочисленные, целиком сохранившиеся сводчатые помещения.

Как замок, так и угловые башни города сохранили следы декоровки прямоугольными пилястрами, разделяющие стреловидные бойницы внешних стен, расположенных таким образом в прямоугольных нишах между пилястрами. Это резко отличает Топрак-калу от более ранних античных крепостей с их строгими гладкими поверхностями стен, разбитых лишь узкими и высокими щелями бойниц. В этом отношении Топрак-кала и, видимо, синхроничная Кзыл-кала, расположенная в непосредственном соседстве с первой, являясь памятником последнего этапа истории архитектуры античного Хорезма, может рассматриваться как прототип гофрированных массивными полуколоннами замков афригидского времени.

К ЮВ углу замка примыкают остатки обширного комплекса сооружений, центром которого являлось огромное прямоугольное помещение, обнесенное мощной двойной кирпичной стеной с проходом внутри, к которому с юга примыкает длинный коридор, ведущий по направлению к главной улице городища. Наличие большого количества выходящей на поверхность белой золы в центральном прямоугольнике и общая планировка с характерным обходным коридором вокруг этого прямоугольника, очень похожая на планировку храма огня в Шапуре, позволяет предполагать в этом здании городской храм огня. Центральное здание храма было окружено сплошной застройкой в виде системы длинных коридорообразных сооружений, следы которых сохранились. Снаружи замковый и храмовый комплексы были обнесены мощной стеной, с башнями посредине восточной и южной сторон и с целой системой внутренних дворов, расположенных к северу от храмового здания. Ко входу в южный коридор храма извне примыкал квадратный двор, обнесенный портиком с колоннами. Угол между замком и храмовым комплексом и восточной стеной образует лишенную следов построек площадку, по нашему предположению,—базарную площадь. Остальная часть городища—жилая часть города разделена улицей, идущей по средней линии от расположенных в южной стене ворот к храму и замку правителя. По обе стороны этой улицы расположены разделенные симметричными переулками 8—10 кварталов, каждый из которых представляет из себя сплошной жилой массив, без всяких признаков разделения на дома, огромный комплекс смежных комнат, число которых в каждом массиве доходит до 200. Почти каждый массив имеет близ центра возвышенную часть, нередко в виде вымощенной сплошь кирпичом площадки. По нашему мнению, это остатки поднимавшихся над каждым массивом центральных башен—прототип афригидских кёшков.

В целом картина позднеантичного хорезмийского города раскрывается с большой полнотой, целиком подтверждая выдвинутую нами в свое время на основании письменных источников гипотезу о том, что позднеантичный среднеазиатский город представлял собой совокупность большесемейных домовых общин, связанных с достаточно архаическим типом общественно-бытового уклада[1].

В позднеантичном городе продолжает в основных чертах сохраняться тот уклад жизни, который мы устанавливаем для укрепленного поселения кангюйского времени типа Джанбас-кала, вплоть до сохранения традиционного деления поселения главной улицей

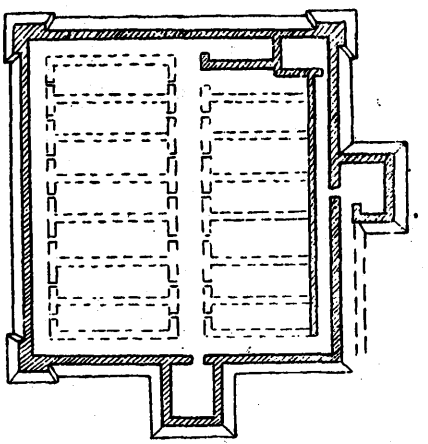


Рис. 65. Кзыл-кала. План (обмеры арх. В. Лаврова).

на два квартала, вероятно, и здесь сохраняющего в той или иной мере связь с фратриями.

Новое—в мощном трехбашенном замке, господствующем над городом, в усадьбе-гиганте, перед которой огромные большесемейные жилые комплексы шахристана кажутся карликами.

В целом, архитектурная композиция Топрак-калы, в которой выступает на первый план вертикальное членение объемов (башни домов-кварталов, замок правителя) и высотное решение центрального здания, подавляющее человека своей колоссальной массой, тесно ассоциируется с формами архитектуры классического Востока. Так, в своем развитии хорез-

[1] ИЗ 1938, № 3, стр. 26: Большой интерес в этой связи представляют данные «согдийских старых писем» II века н. э., найденных А. Стейном в Дун-хуане, подтверждающих наше положение о наличии в согдийских городах прочно спаянных большесемейных общин, «совет» которых мог распоряжаться судьбою их членов. H. Reichelt. Die Soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums II. Heidelberg, 1931, III, 9. Ср. Ф. А. Розенберг. Согдийские старые письма. К ранней истории согдийских колоний в Центральной Азии. ИОН, 1932, № 5, стр. 464.

мийская позднеантичная архитектура повторяет много веков спустя путь, некогда пройденный зодчеством древнего Двуречья,—факт немаловажный для социально-экономической атрибуции хорезмийской античности. Характерно, что аналогичные Топрак-калинской, хотя и менее грандиозные, усадьбы-замки мы находим и на остальных городищах этого времени—на Эрес-кале и в Кырк-кыз-кале, в противоположность более ранним городищам типа Базар-калы, где цитадель лишена жилых построек и, очевидно, является refugium'ом,

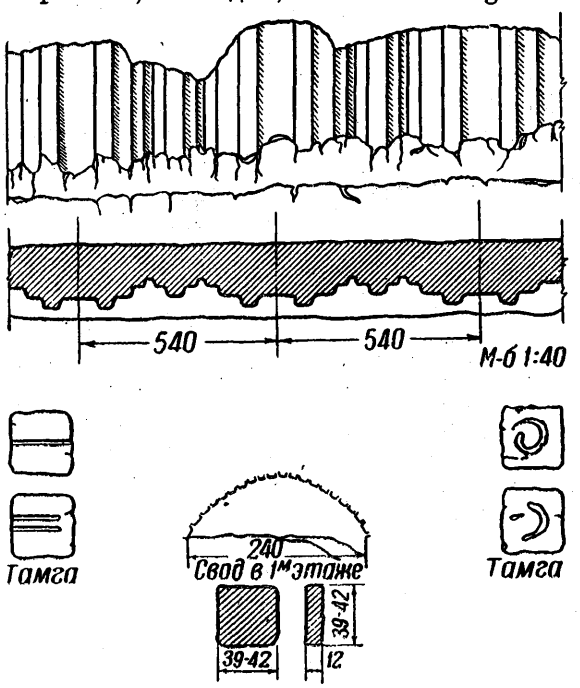


Рис. 66. Кзыл-кала. Детали (обмеры арх. В. Лаврова).

местом общественных собраний и культов, как дом огня в Джанбас-кала.

Перед нами, таким образом, раскрывается в основных чертах характер общественного строя зрелой среднеазиатской античности, некоторые особенности развития которого мы пытались вскрыть в нашей работе 1938 года. Позднеантичный Хорезм встает перед нами в облике своих археологических памятников, как типичное древневосточное общество, с его противоречивым сочетанием развитой городской жизни сложившегося государства, возглавляемого могущественной рабовладельческой аристократией, с одной стороны, и глубоко-архаическим, устойчивым и косным общинным укладом, несущим с собой разнообразные и прочные традиции родового строя. Город в условиях позднеантичного Хорезма—носитель уходящих традиций Древнего Востока. Анализ хорезмийской деревни этого времени показывает, что именно она явилась сферой проявления новых социально-экономических тенденций, знаменующих зарождение элементов феодализма[1].

Упадок городской жизни, характеризующий этот процесс, нашел яркое отражение в Топрак-кала. В V—VI веке наблюдается резкий упадок городского ремесла, особенно проявляющийся в керамике. Она становится более грубой. В тесте хумов и крупных сосудов появляется сильная примесь дресвы. Сильно растет процент грубой керамики домашнего производства, сделанной без гончарного круга. К VII веку сам город пустеет, превращаясь

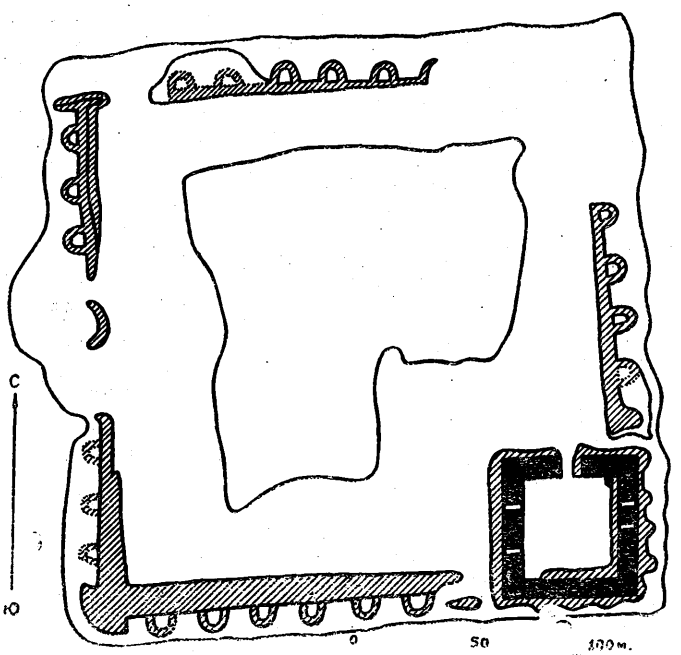


Рис. 67. Пиль-кала. План (обмеры А. И. Тереножкина).

в гигантский некрополь оссуарных погребений. Напротив, на окружающих такырах жизнь продолжается, судя по монетным находкам, до конца афригидской эпохи. Таким образом и здесь проявляется установленная Марксом и Энгельсом закономерность, характерная для перехода от античного строя к феодализму—перенос центра общественной жизни из города в деревню, установление доминирующего положения последней.

Расположенные вне городов замки кушано-афригидского времени, датируемые IV—VI вв., характеризуются следующими основными признаками, отличающими их от позднеафригидских.

1. Донжоны их построены из кирпича античных размеров, в то время как внешние стены глинобитные.

2. Донжоны расположены в центре двора, а не в углу, у ворот, как в позднеафригидских замках.

[1] См. нашу статью в ВДИ, 1941, № 1, стр. 168.

3. Замок имеет, таким образом, концентрический план в виде двух или трех вписанных друг в друга квадратов.

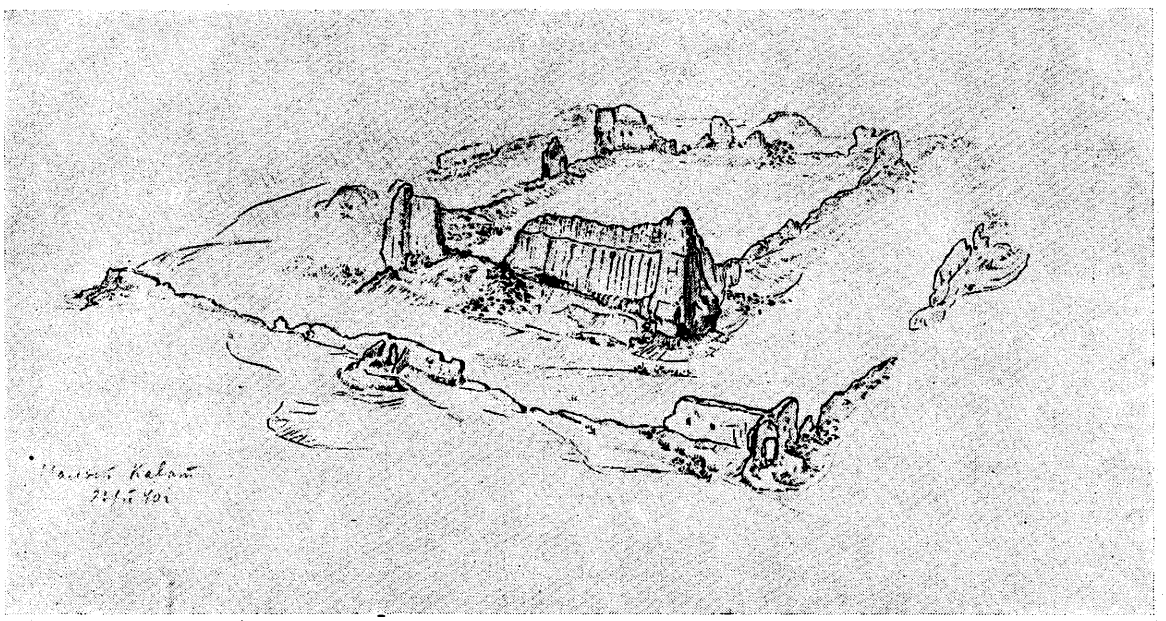


Рис. 68. Малая Кават-кала. Общий вид. Рисунок худ. Н. П. Толстова.

4. Внешний и внутренний дворы образуют по отношению к окружающей их поверхности такыра систему все повышающихся (метра на 1,5—2) террас, увенчанных, наконец, донжоном.

5. В наиболее архаичном замке—Малой Кават-кале (рис. 68)—центральная цитадель не представляет собой цельное замкнутое сверху здание—башню, а имеет внутри обширный, некогда окруженный помещениями двор, а стены цитадели (здесь вряд ли уместен самый тер-

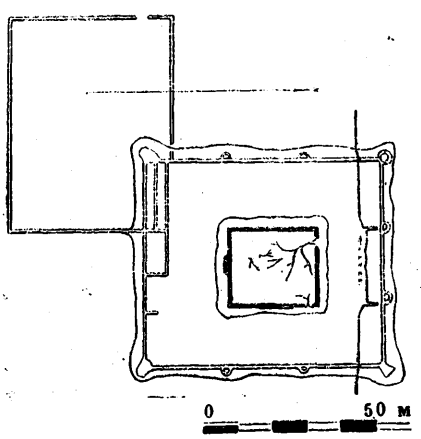


Рис. 69. Кош-парсан. План. Обмер С. П. Толстова.

мин донжон) покрыты многочисленными бойницами, частыми и высокими, как в античных крепостях, но имеющими уже не стрельчатое, а горизонтальное перекрытие, как в афригидских памятниках.

В целом—ранне-афригидские и кушано-афригидские замки, особенно замок Якке-парсан, в центре двора которого поднимается мощный

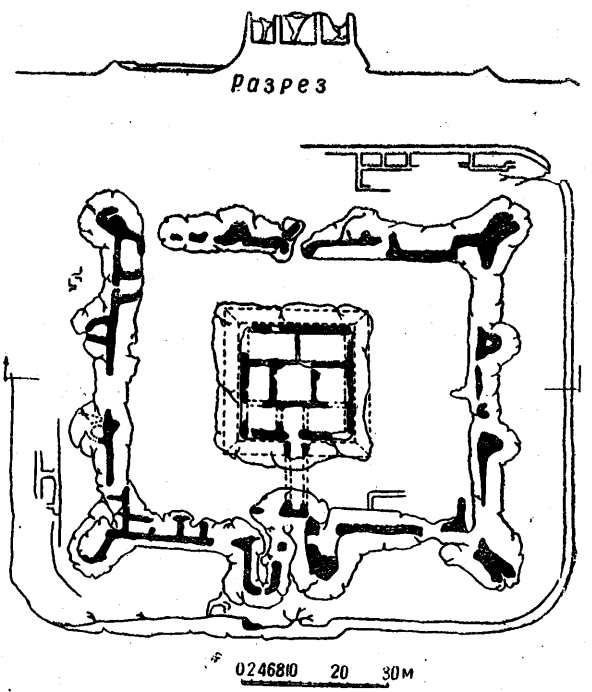


Рис. 70. Якке-парсан. План. Обмер арх. В. И. Пилявского.

донжон, со стенами выше цоколя, декорованный эффектными полуколоннами, обнесенными тремя квадратами глиняных стен, повы-

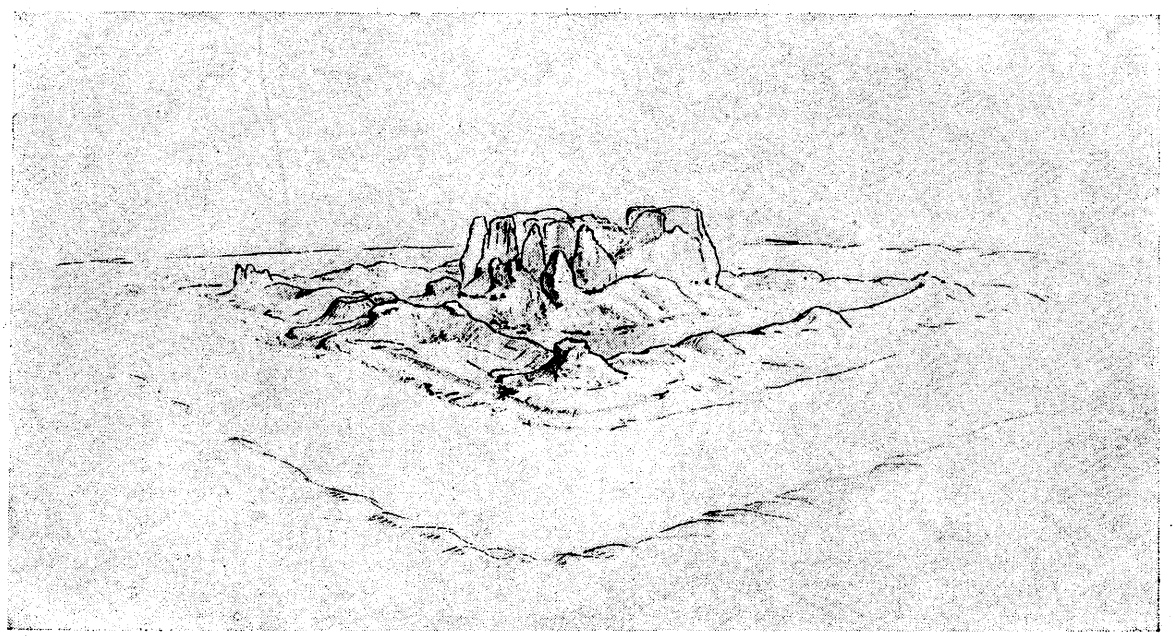


Рис. 71. Якке-парсан. Общий вид. Рис. худ. Н. П. Толстова.

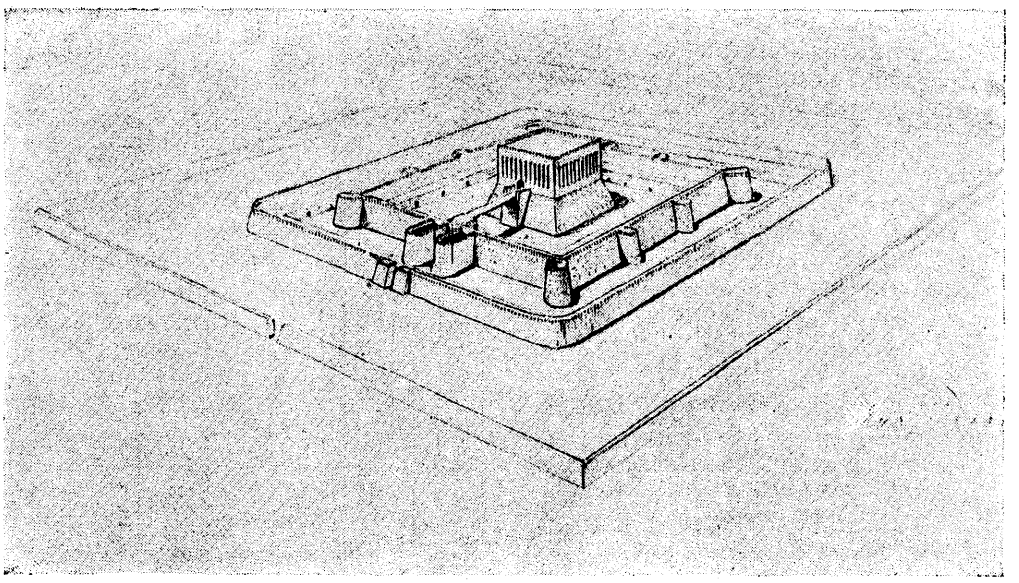


Рис. 72. Якке-парсан. Реконструкция С. П. и Н. П. Толстовых.

шающихся от периферии к центру, заставляют нас вспомнить описание, данное ал-Бируни замку Фир близ столицы Хорезма—Кята, относимое им к IV в. н. э.[1].

«И построил (Африг) свой замок (qasr^{un}) внутри ал-Фира в 660 году после Александра (Македонского). И ведут летоисчисление от него (Африга) и от потомков его. И был ал-Фир крепостью близ города Хорезма с построенными из глины и сырцового кирпича (libn^{un}) тремя стенами, одна внутри другой, следуя друг за другом по высоте, и превосходил все их замок царей, так же как Гумдан в Иемене, когда был резиденцией Тоббов».

---

[1] Chronologie orientalischer Völker fon Albêrûni. Herausg. v. Ed. Sachau. Lpz. 1923, S. 35.

III. ВРЕМЯ ДВЕНАДЦАТИ ТЫСЯЧ ЗАМКОВ (Раннее средневековье Хорезма)

«Маздахкан—большой город, вокруг него двенадцать тысяч замков и обширный рустак», Ал-Макдиси. BGA III, 288.

1. МЕРТВЫЙ ОАЗИС БЕРКУТ-КАЛА

Если мы двинемся из крепости Кырк-кыз, лежащей посредине обращенной выпуклостью к северу дуги древних крепостей на юг, перед нами развернется совершенно иной, чем в предыдущей зоне, культурный ландшафт. Вокруг нас подымаются бесчисленные укрепленные замки и усадьбы, каждая из которых представляет собой целую крепость с донжоном в центре одной из стен или в середине и с мощной стеной, окружающей надворные постройки.

Перед нами картина, рисующая общество, характер уклада которого резко изменился по сравнению с тем, что мы имели в предшествующую эпоху. Перед нами памятники, созданные людьми, жившими в постоянном страхе нападения, в эпоху каких-то бурных социальных и межплеменных столкновений.

Наиболее характерную картину хорезмийского расселения эпохи арабского завоевания дает мертвый оазис, в центре которого расположены руины крепости Беркут-кала. Он вытянут узкой (1—3 км) полосой, около 25 км длины, вдоль русла большого древнего канала. На севере он тянется почти до самой крепости Кырк-кыз, на юге—до развалин замка Тешик-кала, бывшего основным объектом наших раскопок. Еще южнее, в 2—2,5 км, расположены эффектные развалины замка Кум-баскан-кала (в переводе—«Засыпанный песком», что вполне соответствует действительности). На площади оазиса разбросано свыше 100 укрепленных усадеб различных размеров (рис. 77—78).

Мы не имеем здесь ни городов, ни деревень в собственном смысле слова. Повсюду поднимаются высокие руины отдельно стоящих на расстоянии 100—200 м одна от другой укрепленных усадеб различных размеров—от грандиозных развалин больших замков (площадью в среднем 100 × 100 м) до небольших усадеб, площадь двора которых варьирует около 30—40 м в квадрате, спускаясь иногда до 10 × 10 м и даже ниже. Однако все они, несмотря на резкие различия в размерах, характеризуются единым типом планировки (рис. 75 и 86). Средоточие каждой усадьбы составляет жилая башня, донжон, помещения которой подняты на массивном глинобитном цоколе в виде усеченной пирамиды. Размеры усадеб крайне разнообразны. Цоколи донжонов больших замков достигают высоты 6—8 м, высота цоколей маленьких усадеб колеблется вокруг 3—4 м. Соответственно колеблются и размеры жилого этажа донжонов, форма которого приближается обычно к квадрату, с длиной стороны около 6—7 м.

Структура донжонов варьирует довольно значительно. Повидимому, более древней формой, представляющей переход от построек эллинистической эпохи, являются донжоны, цоколь которых состоит из двух параллельных вытянутых помещений, перекрытых коробовыми сводами, по структуре близких к описанным нами выше для античной эпохи, но отличающимися некоторыми особенностями кладки. Таков донжон раскопанного в 1938 г. А. И. Тереножкиным дома № 34 в окрестностях развалин крепости Беркут-кала, раскопанного нами в 1939 г. замка № 36 близ Тешик-кала и ряда других зданий, обследованных нами в том же районе[1].

[1] Прототипом этой категории зданий, восходящим, однако, к гораздо более раннему, кангюйско-кушанскому времени, относятся большие дома-замки Кызыл-кала и Кузы-крылган-кала. Оба эти замка представляют собой большие (Кузы-крылган-кала 30 × 48 м, Кызыл-кала еще больших размеров) здания, цоколь которых, целиком выложенный из кирпича, представляет сложную систему идущих то параллельно, то под прямым углом сводчатых помещений. Верхний этаж Кузы-крылган-кала разрушен, зато с ним можно было хорошо ознакомиться в Кызыл-кале. Там он образует

Рис. 73. Беркут-кала. Находки с такыров. Античное и афригидское время.

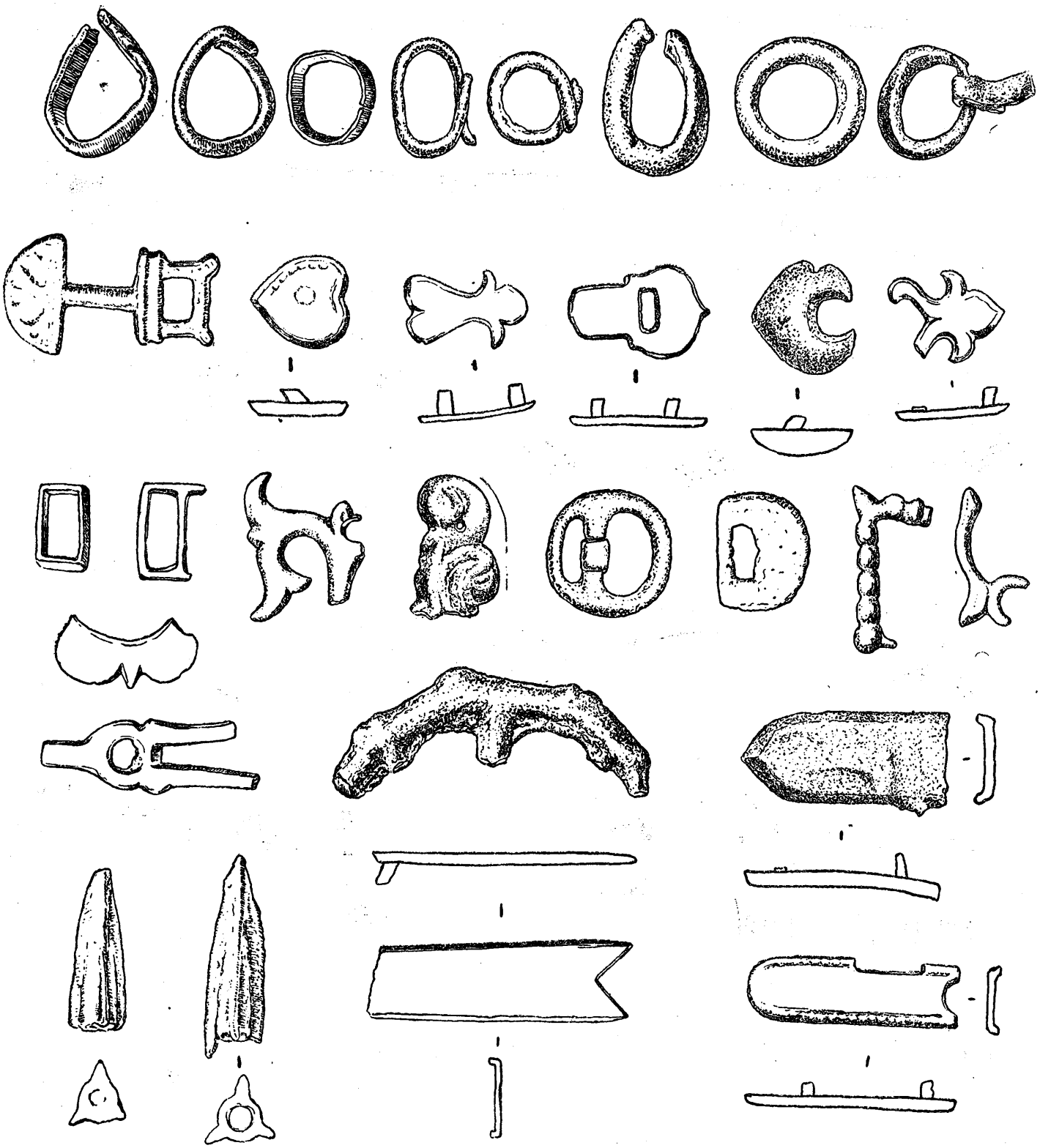


Рис. 74а. Парипджан-баба. Находки с такыров. Античное и афригидское время.

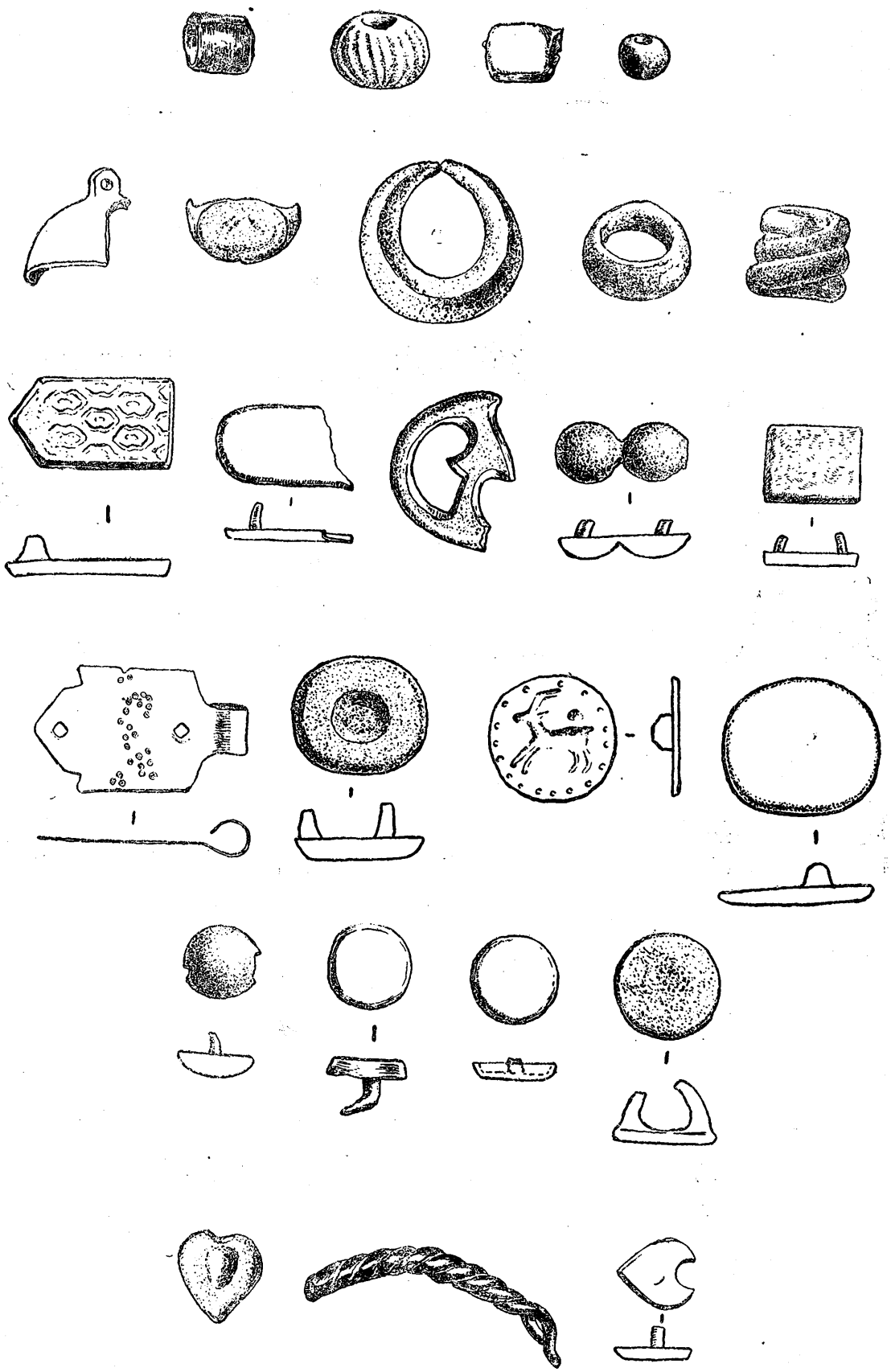


Рис. 74б. Наринджан-баба. Находки с такыров. Античное и афригидское время.

Маленькие замки афригидского времени являлись местом обитания остававшегося еще свободным земледельческого населения Хорезма, жившего большими семьями. Донжоны замков служили для этих семей в мирное время прежде всего своеобразными амбарами— местом хранения припасов и воды на случай осады. В этом отношении показательна раскопанная А. И. Тереножкиным в 1937 г. жилая башня «замка» № 4[1] (рис. 75). Вся площадь башни (около 13 м в квадрате) оказалась разбитой на 3 больших и 2 малых комнаты и загибающийся углом коридор, в который выходили 4 из 5 помещений. В одном из помещений обнаружен очаг, во всех—остатки запасов пищи: проса, сушеных груш, тыквы, хранившихся в закромах или ссыпанных кучами, или во всех комнатах, особенно в комнате № 2, большое количество хумов—огромных кувшинов для хранения воды (в комнате № 2 их оказалось 14). Весьма интересно отметить, что по обе стороны входа в комнату № 4 оказалась сложенная у стены куча комьев глины, на каждом из которых был оттиск печати с изображением сидящего человека (табл. 76).

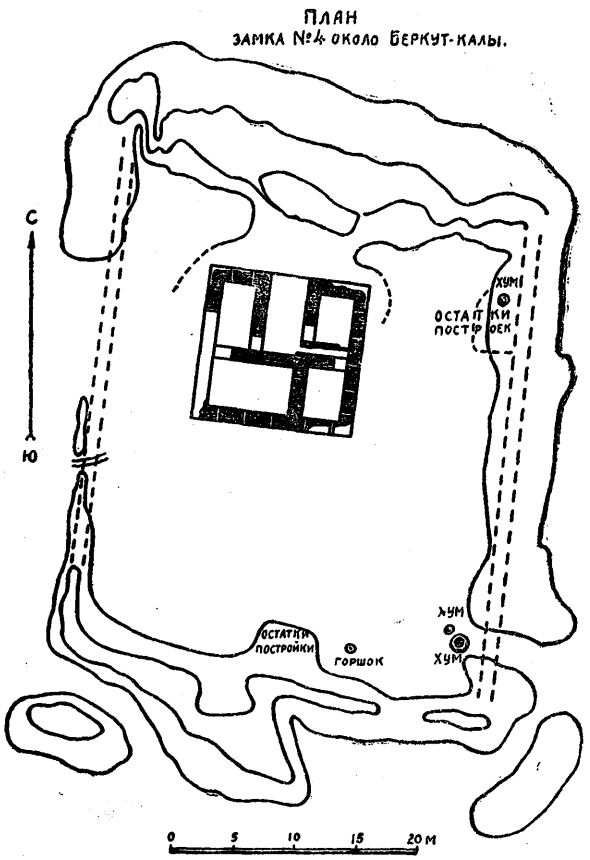


Рис. 75а. Замок № 4 (план усадьбы). Обмер А. Тереножкина.

Сейчас мы можем довольно точно характеризовать Большой Беркут-калинский канал и примыкающую к нему заселенную полосу. Канал начинается еще в пределах нынешней культурной полосы, километрах в двух к югу от развалин Гульдурсуна, где он в виде сухого глинистого русла, обрамленного двумя высокими валами, тянется параллельно нынешнему арыку Тазабагъяб, к востоку от последнего. По руслу древнего канала пролегает на этом участке дорога Тамды—Турткуль. На полях совхоза Гульдурсун за развалинами крепости русло канала теряется. Однако вслед за границей полей в начинающихся здесь песках вновь прослеживаются остатки русла канала в виде глинистого вала, местами проглядывающего между барханами, тянущегося на ССЗ по направлению к южной оконечности полосы Беркут-калинских такыров. После полосы дефляции такыров и тяжелых песков, отделяю-

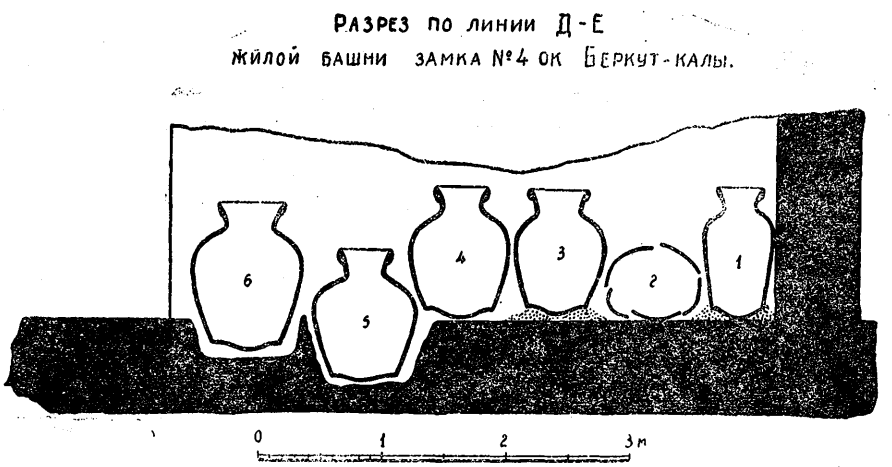


Рис. 75б. Разрез жилой башни. Обмер А. Тереножкина.

открытую площадку, своего рода верхний двор, вокруг которого располагаются вдоль стен небольшие помещения, открывающиеся наружу бойницами значительно меньших размеров и иной формы, чем в античных крепостях.

[1] СА VI, 1940, стр. 179—181, рис. 9.

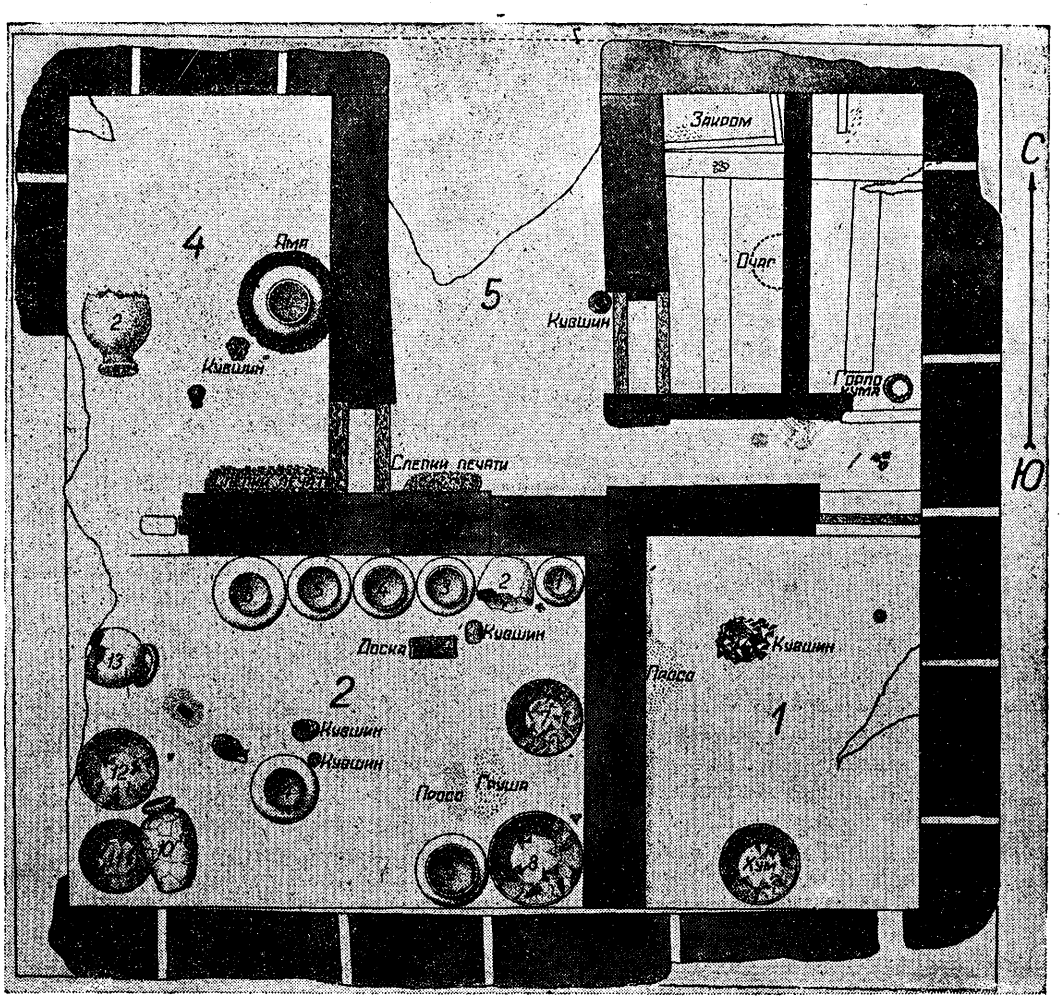


Рис. 75в. План жилой башни «замка» № 4. Обмер А. Тереножкина.

щих эти такыры от Гульдурсуна, русло канала выходит на поверхность такыра и тянется с юга на север в виде плоского глинистого возвышения, с мелкой керамической щебенкой на поверхности, шириной 40—60 метров и высотой 1—1,5 метра, окаймленного с обеих сторон грядой песков и местами занесенного ими. Как выяснилось, русла как этого канала, так и его ответвлений служат средоточием процесса аккумуляции подвижных песков на поверхности такыров, и пересекающие такыры в различных направлениях гряды тяжелых барханов во всех случаях, обследованных нами, скрывают под собой русла арыков большего или меньшего размера, глиняная поверхность которых местами может быть хорошо прослежена.

Такыры окаймляют канал с обеих сторон полосой общей ширины 1—3 км, более широкой с запада и более узкой к востоку. На востоке зона дефляции такыров и тяжелых песков тянется параллельно каналу вплоть до Уй-кала, близ которой полоса разрушенных такыров и котловины выдува пересекают канал, подходя почти вплотную к крепости.

Напротив, с запада граница такыров идет общим направлением на северо-запад, все далее отклоняясь от канала и к северу от Беркут-калы, уходит далеко на запад. К северу от Уй-калы площадь такыров, местами занесенных песками, уходит на север и на северо-запад, в направлении к Кырк-кыз, Аяз-кала и Кошпарсан.

К северу от Уй-кала систематическое обследование еще не осуществлено, однако во время посещения мною и Я. Г. Гулямовым в 1938 г. развалин крепостей Кырк-кыз и Кургашин-кала мы зарегистрировали русло большого канала хорошей сохранности в виде двойного вала с широкой ложбиной между ними, идущей от Уй-кала на Кырк-кыз-кала, перед последней поворачивающего на восток, орошавшего некогда своей хвостовой частью окрестности крепости Кургашин-кала к юго-западу от Кокчинской возвышенности.

Между Уй-кала и Кырк-кыз при осмотре как с той, так и с другой стороны нами была зарегистрирована в поле зрения бинокля цепь замков афригидского типа, вытянувшихся вдоль линии канала.

Во время маршрута 1939 г. из Аяз-кала в Джанбас-кала зона этого арыка с хорошо выраженными руслом и такырами с большим количеством культурных остатков была нами пересечена между Уй-кала и Кырк-кыз. Обследование этой части Беркут-калинского канала предстоит в дальнейшем.

Переходя к характеристике самих памятников канала между развалинами Кум-баскан и Уй-кала, мы должны прежде всего отметить, что эта зона была густо заселена уже в кангюйско-кушанское, а может быть и более раннее время. Свидетельством этого является большое количество античной, преимущественно красной керамики, в числе которой в обилии попадаются фрагменты сосудов характерных форм: донышки конических и пиалообразных чаш, ручки кувшинов, закраины хумов, а также античные статуэтки, печати, бусы и бронзовые стрелы скифского типа (рис. 75). Местами эти остатки образуют значительные скопления, сопровождающиеся следами построек,—на плоской поверхности такыра выступают в плане следы стен, зданий, срезанных на уровне поверхности такыра, врытые в землю хумы и т. д. По всем признакам эти поселения были разрушены и распаханы в афригидскую эпоху.

Некоторые крепости несут явные признаки того, что основание им было положено в кангюйско-кушанскую эпоху. Это относится прежде всего к крупнейшим крепостям Беркут-кала и особенно Уй-кала, на поверхности дворов которых обнаруживается большое количество античной керамики.

В Уй-кала античный период отразился и в самой постройке, некоторые части которой восходят к античному времени. Это же нужно отметить и в отношении Кум-баскан-кала.

Однако все эти крепости подверглись в афригидскую эпоху коренной перестройке, получив в конечном итоге тот вид, который столь характерен для памятников этого времени.

Расцвет жизни на Беркут-калинских такырах падает на VII—VIII столетия. К этому времени относится постройка или коренная перестройка большинства замков средней и южной части такыров. Однако налицо ряд замков, несомненно построенных значительно раньше, вероятно, в V—VI вв. и продолжавших в мало измененном виде жить до времени арабского завоевания.

К этому времени относится, повидимому, значительная часть замков в районе Уй-калы, замок № 9 к СВ от Беркут-калы и к северу от Тешик-калы—замок № 32. Эти замки отличаются прежде всего отсутствием высоких донжонов и рядом особенностей в типе керамики (сближающиеся с керамикой Топрак-калы) и строительной техники.

Однако вопрос установления относительной хронологии всех замков потребует еще значительной работы.

Анализ плана Беркут-калинского оазиса позволяет установить на его территории несколько групп мелких замков, объединяемых тяготением к определенным крупным замкам и группировкой по отдельным ответвлениям большого канала. Между этими группами располагаются более или менее значительные

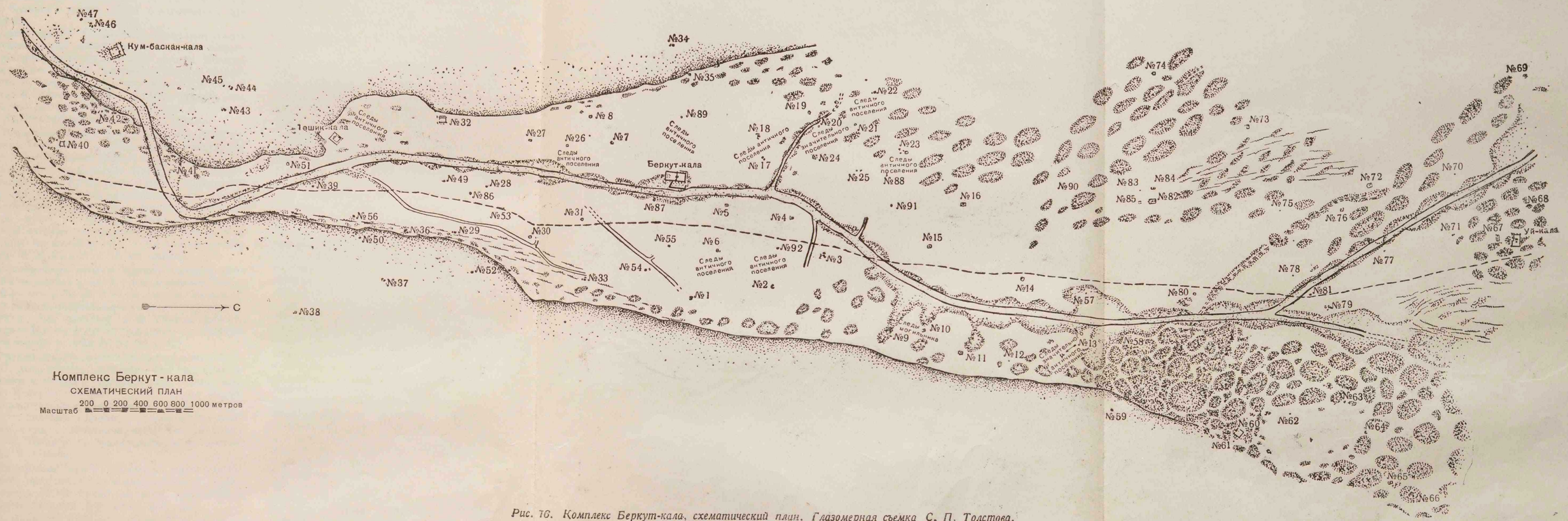


Рис. 16. Комплекс Беркут-кала, схематический план. Глазомерная съемка С. П. Толстова.

просветы. При этом большие замки имеют тенденцию располагаться близ голов ответвлений большого канала, на которых расположены тяготеющие к ним укрепленные усадьбы.

Идя с юга на север, мы на левом берегу канала видим группу Кум-баскан-калы (8 замков, считая и Кум-баскан), на правом—группу большого замка № 41 (сохранилось два замка).

Далее следует Тешик-кала, контролирующая крупное правое ответвление большого канала и объединяющая группу в 16 замков. Повидимому (здесь трудно говорить с полной уверенностью), замок № 32 являлся центром значительной левобережной группы замков, вытянутых в две линии с вершиной угла в № 32. Эта группа насчитывает 8 замков.

Возможно, впрочем, что сам замок № 32 тяготел к Тешик-кале, а предположительно связанные с ним замки—к Беркут-кале, хотя нам это кажется менее вероятным. Беркут-кала с прилегающим к ней небольшим посадом, зародышем городка, контролировала, повидимому, четыре ответвления канала (одно—выше Беркут-калы и три—ниже) и объединяла группу в 25 замков, в свою очередь разделяющуюся на четыре подгруппы по каналам—в 8, 7, 6 и 4 замка (между ними № 37 на юге и 16 на севере).

Повидимому, особую группу представляли 7 левобережных замков, расположенных между № 9 на юге и № 58 и 59 на севере. Какой из этих замков, отличающихся значительными размерами, был центром этой группы сказать трудно. На это могут претендовать по крайней мере четыре из них (9, 10, 11 и 13).

Трудно сказать, куда относились замки № 14 и 57, хотя весьма возможно, что они принадлежали к большой левобережной группе замков, центром которой являлся замок № 84, располагавшийся, повидимому, вдоль большого ответвления канала, которое прослежено нами лишь в хвостовой части (около замка № 74). Тогда́ в эту группу должны быть отнесены 9 замков.

На правом берегу, несколько ниже предыдущей, находится состоящая из 7 замков группа замка № 60, канал которого, повидимому, занесен песками (см. план, рис. 77).

И, наконец, крайнюю северную из обследованных групп представляет группа 14 замков по большому левому ответвлению основного арыка и по идущему параллельно ему небольшому каналу,—группа, центром которой является Уй-кала.

Впрочем, возможно, что 4 замка малого ответвления от 80 до 72 составляют отдельную маленькую группу.

Конечно, это только предварительная наметка, требующая еще своего уточнения, однако, основные контуры ее несомненны. Мы имеем от 8 до 13 групп замков, каждая из которых, как правило, базируется на определенное ответвление канала, контролирующегося одним из более значительных замков. Эти группы, по нескольку, тяготеют к четырем крупнейшим замкам Кум-баскан (группа замка № 40), Тешик-кала (группа замка № 32), Беркут-кала и Уй-кала.

В целом мы видим как бы намек на известную иерархию замков, отражающую, вероятно, элементы иерархического расчленения общества. Однако это, конечно, еще не феодальная иерархия, ибо отсутствует пьедестал таковой—крепостная деревня. Вероятно, перед нами отражение иерархического расчленения родовых общин, распадающихся на большесемейные домовые общины. Но зачатки, предпосылки формирования феодальной иерархии видеть здесь, мне кажется, уже можно, как в самом типе афригидского расселения мы можем видеть переход к типу, ставшему господствующим в средневековом Хорезме.

Арабское завоевание положило конец жизни Беркут-калинского комплекса. Вряд ли многие замки пережили IX столетие. Об этом говорит почти полное отсутствие керамических и монетных находок мусульманского времени в этом районе при исключительном обилии находок эллинистического и афригидского времени. Лишь немногие замки—№ 8, № 61, в их числе—продолжали жить в IX—XII в. Керамика XII века найдена в одной из башен замка № 60. Спорадичность этих находок говорит за то, что заселенность Беркут-калинских такыров в XI—XII веке носила особый характер, и вряд ли мы ошибемся, если предположим, что некоторые из наилучше сохранившихся замков были использованы для расквартирования пограничных военных постов, наблюдавших за пустыней и прикрывавших Хорезмский оазис со стороны Дженда (низовья Сыр-Дарьи) и Бухары. Аналогичные спорадические находки керамики XII—XIII века нами были сделаны в 1938 г. и на ряде развалин эллинистического времени, в результате чего мы, пожалуй, можем сейчас восстановить направление этой пограничной линии ранне-средневекового Хорезма. Она начиналась у Эрес-калы, тянулась к Кузы-крылган-кале и Ангка-кале, далее шла на замок № 8 близ Беркут-калы, далее на замок № 60, затем дальше на север по течению Беркут-калинского канала—в район развалин Кырк-кыз, далее на запад, к Аяз-кала. Расположенная на вершине 60-метрового холма крепость Аяз-кала № 1, воздвигнутая в кушанское время, была прочно обжита в XII—XIII столетии, в то время как никаких признаков культуры этой эпохи на

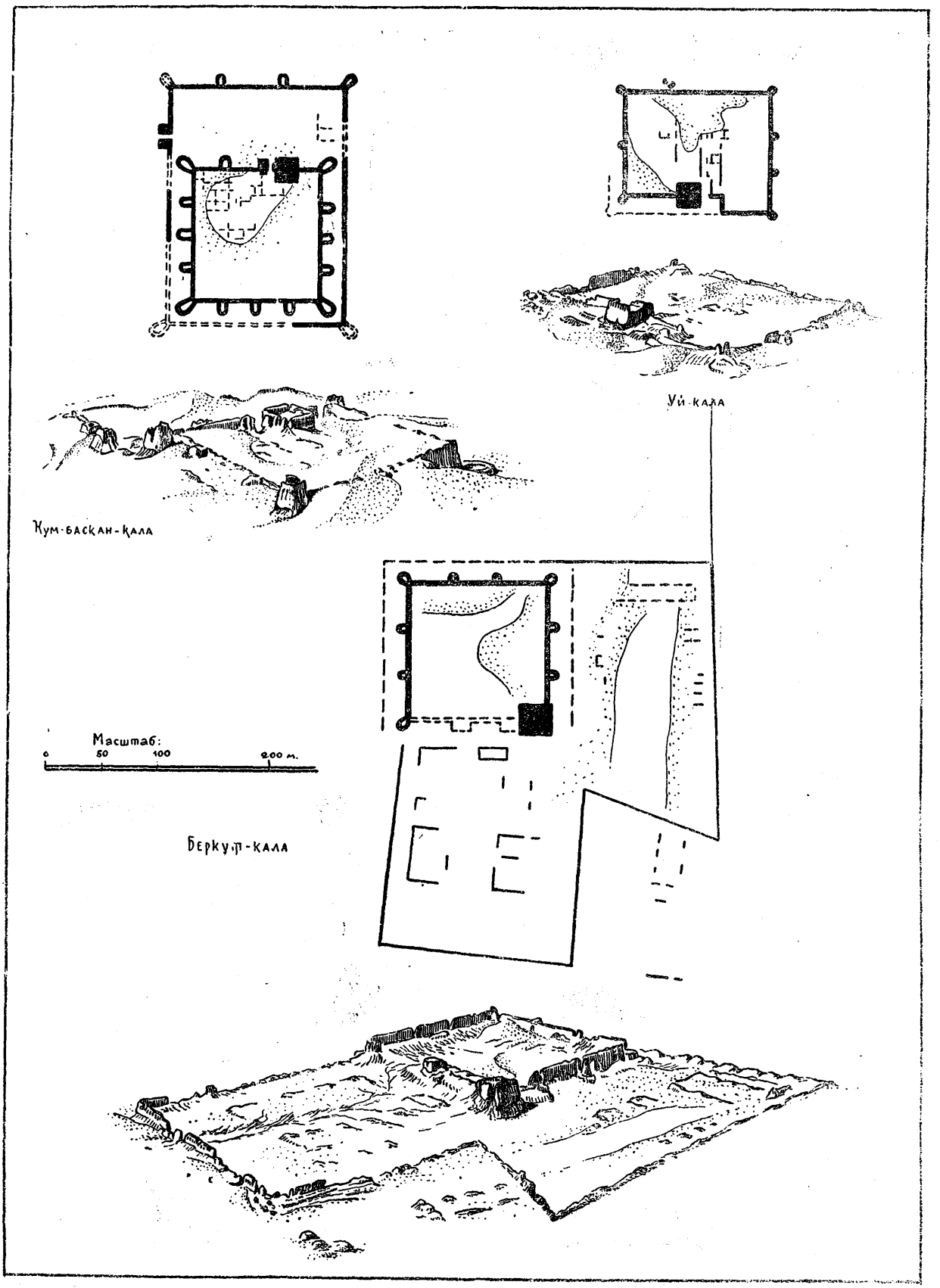


Рис. 77. Большие замки мертвого оазиса Беркут-кала. Обмеры С. П. и Н. П. Толстовых.

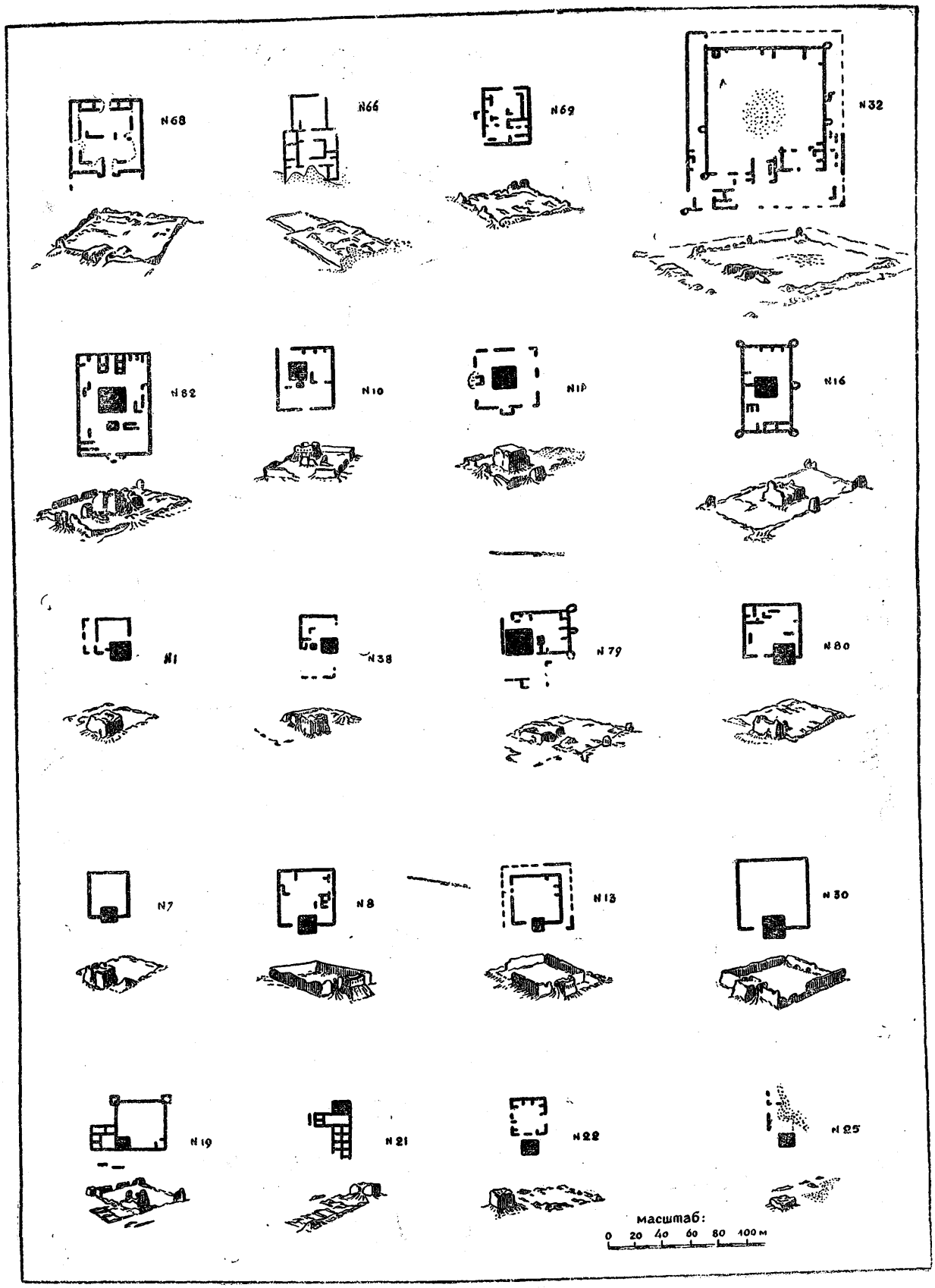


Рис. 78. Беркут-кала. Малые замки.

окружающих крепость такырах не найдено, что является серьезным аргументом в пользу нашей гипотезы о стратегическом характере этой линии ранне-средневековых населенных пунктов в зоне, бывшей в это время уже зоной мертвых земель и развалин.

2. ТЕШИК-КАЛА И ЗАМОК № 36

Основным объектом наших раскопок явилась Тешик-кала (рис. 79—83, табл. 39—46, 51—56).

Мощной глинобитной стеной, с овальными башнями по углам, обведена прямоугольная площадь свыше 10 000 кв. м. Стены эти когда-то имели наверху парапет с зубцами, прикрывающий бойцов. Следы этого парапета сохранились в некоторых местах стены. Тип стены резко отличен от типа стен крепостей античного времени. В отличие от античных крепостей, стены целиком (за исключением некоторых участков, отремонтированных при помощи кирпича) выложены при помощи глинобитной кладки («пахса»). Кирпич для постройки внешних стен крепости, как правило, не употреблялся. Башни овальные, ось их составляет продолжение диагонали крепости. Бойницы—невысокие, узкие, плоско-перекрытые, не рассчитанные, как античные бойницы, на навесный бой.

Внутри внешней стены расположена вторая стена, более тонкая, чем внешняя, но той же высоты. Учитывая, что эта внутренняя стена отстоит (особенно в северо-восточной части) лишь на несколько метров от внешней стены, с точки зрения фортификации она представляет собой совершенно бесполезное сооружение. Лишь раскопки позволили нам вскрыть историю этой внутренней стены.

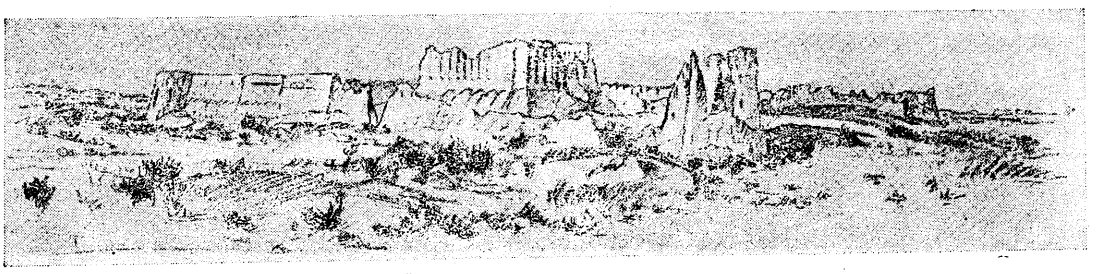


Рис. 79. Тешик-кала. Общий вид (рис. Н. П. Толстова).

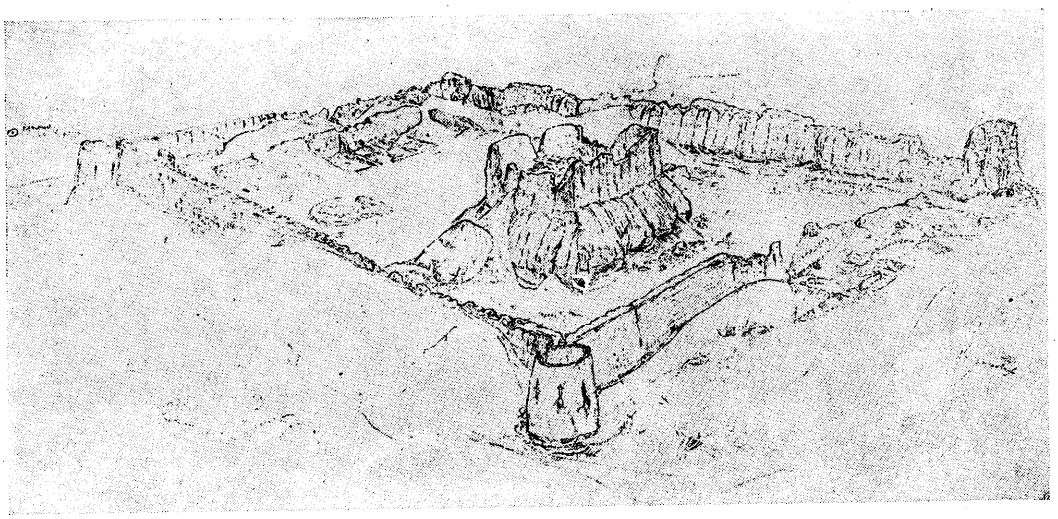


Рис. 80. Тешик-кала. Перспектива (рис. Н. П. Толстова).

Посредине юго-западной стороны этой внутренней стены располагается донжон или, если пользоваться древней среднеазиатской терминологией, «кёшк»—жилая башня замка, нижнюю часть которой составляет мощный цоколь—сплошная масса глинобитной кладки в форме усеченной пирамиды. Цоколь имеет высоту со стороны внутреннего двора 6,5 м, а со стороны внешнего двора, расположенного значительно ниже, 8 м.

На выравненной площадке вверху этого цоколя были возведены стены жилых и хозяйственных помещений—жилище владельца замка. Стены сложены из сырцового кирпича меньшего размера, чем кирпичи античного времени (35 × 35 × 8 см). С внешней стороны эти стены обработаны в виде ряда массивных полуколонн, соединенных вверху полукруглыми перспективными арочками. Поверхность каждой полуколонны декорована тремя ложными бойницами.

Вопрос о происхожении «гофрированных» полуколоннами зданий, ранее известных лишь

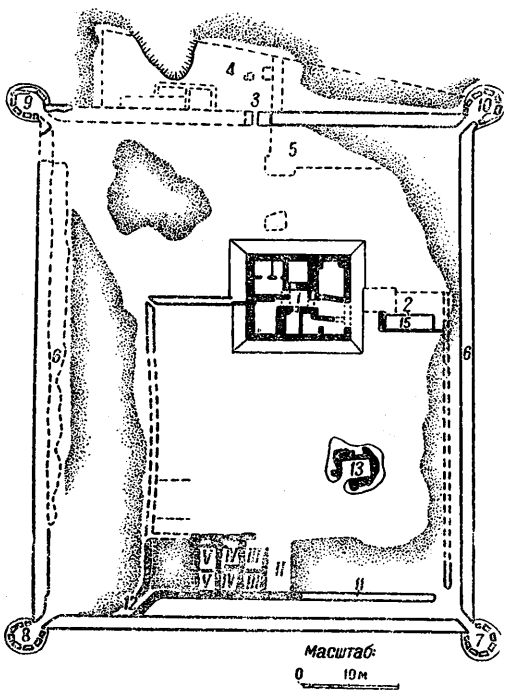


Рис. 81. Тешик-кала. Генеральный план. Обмеры арх. И. Н. Тихомировой.

по средневековым памятникам (Мерв, Кызкала[1], Рабати-Малик[2]) давно служит объектом внимания историков архитектуры. E. Diez[3], указывая на связь решения «гофрированного фасада» изображения замка на Аниковском блюде с ассиро-вавилонской архитектурой, одновременно считает возможным ассоциировать это решение с традициями индийской деревянной архитектуры. Джелаль Асад[4] пытается искать прототип средневековых «гофрированных» построек (мавзолей из Радкана, мавзолей Джелаледдина Руми в Конии) в... кочевнической юрте.

[1] См. Жуковский. Развалины старого Мерва. СПБ, 1894, стр. 121, 165.

[2] См. И. И. Умняков. Сб. в честь В. В. Бартольда. Ташкент, 1927, стр. 180, сл. и др.

[3] Die Kunst der Islamischen Völker Bere. 1915, стр. 61.

[4] Turk San'ati, Istanbul 1928, стр. 32.

А. И. Тереножкин, как мы указывали выше, пытается вывести «гофрировку» памятников афригидского времени из решения фасада, свойственного памятникам типа Аяз-калы № 1[1].

Я думаю, что здесь налицо более сложный процесс, и «гофрировка» полуколоннами имеет два прототипа, как результат скрещения которых она должна рассматриваться:

1) обработка стены прямоугольными пилястрами, связанными с бойницами—как в Топраккала и Кызыл-кала—непосредственных предшественниках афригидских памятников и

2) галлереи-аркады культовых и дворцовых зданий, хорошо нам известные по согдийским оссуариям.

По существу говоря, памятники типа Тешик-кала представляют собой трансформацию решения фасада Кызыл-калы и башен Топраккалы под влиянием принципа аркады.

Обращаясь к внутренности кёшка, мы начнем наш обзор со стороны входа, расположенного на его северо-западной стороне. Вход сильно разрушен большой промоиной. Есть основания предполагать, что он шел через подъемный мост из расположенной против входа небольшой башенки (рис. 81, а также реконструкции табл. 40).

Входя в кёшк, мы попадаем в предвходный коридор. Направо, налево и в конце его открываются двери. Слева расположена комната с кирпичной лежанкой у одной из стен, с двумя кирпичными вымостками посредине внешней стены этой комнаты, между которыми находилась большая мусорная яма.

В углу лежанки располагались два глиняных закрома, внутри которых была найдена мучнистая масса. В целом комната производит впечатление сочетания жилого помещения с хозяйственным хранилищем. Учитывая, что эта комната принадлежит к внешней части кёшка, можно предполагать, что здесь было помещение слуг владельца замка, находившихся на случай осады в пределах самой жилой башни, возможно—помещение охраны кёшка.

Направо от входа располагалась комната № 8. Это обширная комната, середина которой, к сожалению, разрушена большой промоиной. По стенам, вокруг всей комнаты, идет широкая лежанка. В противоположном входу фасаде комнаты в углах выступают массивные кирпичные пилястры, образующие нишу, возможно перекрытую когда-то полукуполом (как мы имеем в отмеченном ниже доме № 50 в окрестностях Тешик-кала).

Вдоль стен комнаты было найдено большое количество обломков глиняных фризов, укра-

[1] СА VI, стр. 184.

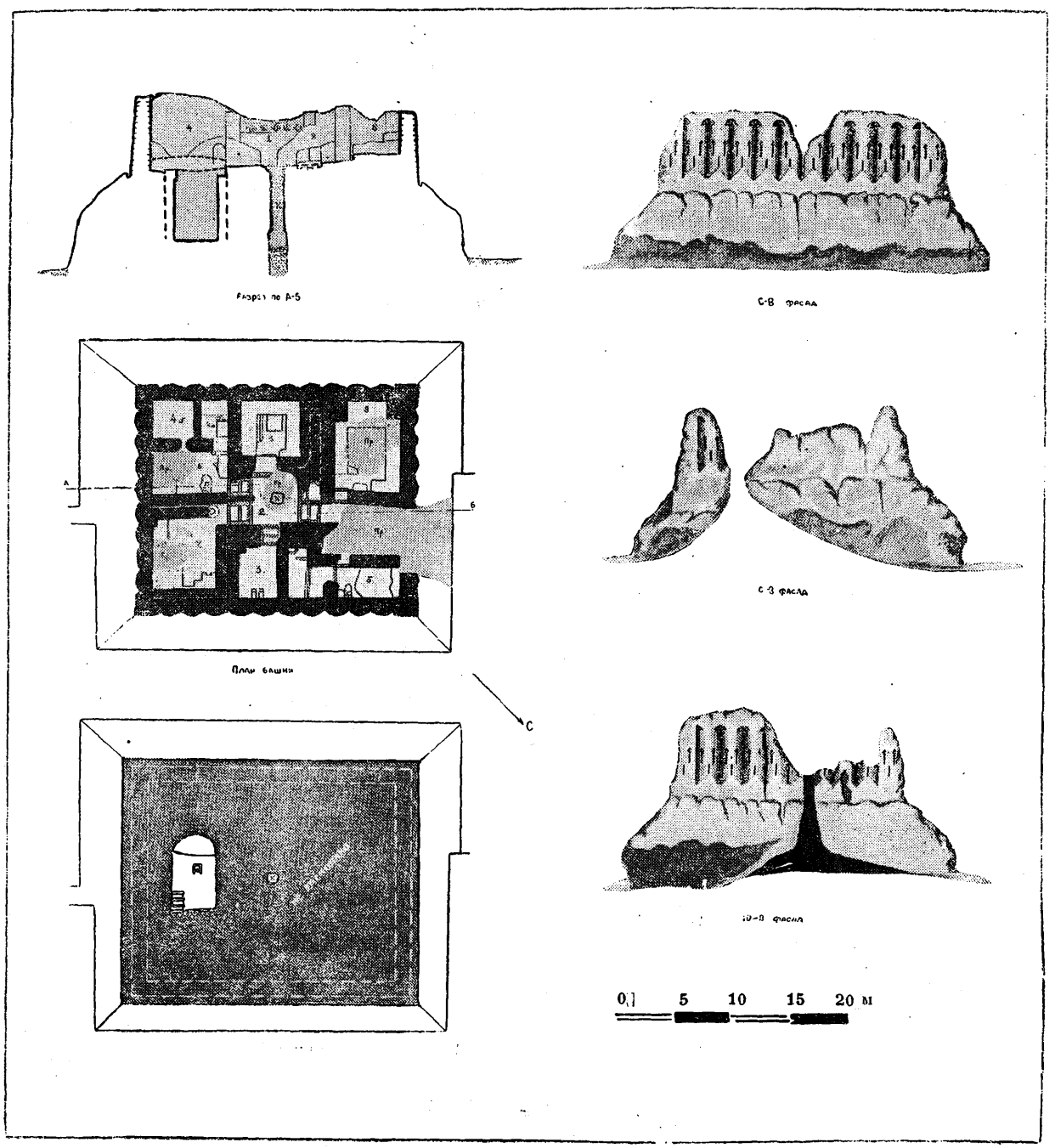


Рис. 82. Тешик-кала. План и разрез жилой башни.

шавших верхнюю часть стен. На полу возле лежанки был найден большой обрывок ковра с орнаментом, вытканным гобеленовой техникой.

По всему своему облику эта комната носит парадный, даже торжественный характер. Вероятно, она являлась парадной приемной комнатой владельца замка. Из входного коридора, через тройную дверь, нижняя часть коробки которой прекрасно сохранилась, мы попадаем в центральное помещение замка (комната № 2). При расчистке нижних слоев завала, покрывавшего эту комнату, мы обнаружили у дверей, ведущих из нее, правильно лежащие, рядами, поставленные на ребра кирпичи. Анализ расположения этих кирпичей с несомненностью привел к заключению, что входы в центральное помещение были покрыты небольшими коробовыми сводами, опиравшимися на продолжение стен смежных комнат и выдававшимися, в виде своеобразных порталов, внутрь центрального помещения. Когда это помещение было цело, оно, несомненно, имело эффектный и своеобразный вид (см. табл. 40а).

Посредине центрального помещения был обнаружен колодец — вертикальная шахта, уходящая в глубь цоколя замка, стенки которой выложены сырцовым кирпичом.

Направо и налево от этой комнаты такие же массивные тройные двери ведут в соседние помещения. Налево располагается небольшая вытянутая комната (№ 3), пол которой оказался покрытым слоем навоза. Вероятно, последний период жизни замка эта комната служила складом топлива.

Другая, противоположная комната, в которую мы попадаем, поднявшись по небольшому пандусу, являлась жилой комнатой владельца замка, по декорировке напоминая описанную мною приемную комнату. Она имела высокую лежанку и открытый, выложенный из сырцового кирпича очаг посредине. Верхняя часть стен была декорирована идущим кругом фризом из сырой глины, который на юго-западной стене прекрасно сохранился. Орнамент фриза состоит из чередующихся, чрезвычайно архаичных по типу восьмилучевых розеток и пятилистных пальметок (табл. 40 и 41). Этот фриз был нами снят и находится в настоящее время в Государственном Эрмитаже.

На противоположной от входа стене центрального помещения располагались две двери. Через левую из них мы попадаем в комнату № 7. Это большая комната, расположенная в восточном углу кёшка. У входа в эту комнату был расположен врытый в землю огромный хум (глиняная корчага), в котором свободно помещается человек (табл. 42, рис. 2).

По стенам комнаты были обнаружены груды обломков разрушенных хумов. По предварительным подсчетам черепков, корчаг было больше десяти. На полу были найдены косточки и зерна растений, в том числе косточки винограда, громадное количество зерен проса. Корчаги располагались на кирпичной вымостке, шедшей вокруг комнаты. Повидимому, эта комната представляла собой хозяйственное хранилище воды и пищевых запасов.

Правая дверь в передней стене центрального помещения вела также через невысокий пандус в жилое помещение, в комнату № 6, имеющую лежанку справа и выложенный из кирпича очаг слева от входа.

Через эту комнату мы попадаем в расположенные в южном углу замка комнаты. Одна из них оказалась пустой, а в другой была обнаружена кирпичная вымостка с вмазанным в нее большим глиняным сосудом. Перед вымосткой располагалось несколько ям. Повидимому, это помещение имело хозяйственное назначение.

При расчистке комнаты № 6 нам удалось выяснить ряд интересных деталей для истории планировки комнат афригидской эпохи. Более ранняя планировка характеризовалась лежанкой, идущей вокруг комнаты, в центре которой находился открытый очаг. Более поздняя планировка, относящаяся к моменту гибели замка, характеризовалась широкими лежанками, расположенными у одной из стен. Только в одной комнате № 8 лежанка в момент гибели замка шла вокруг всей комнаты, сохраняя старый принцип планировки.

Во время разборки стены между комнатой № 7 и № 6 был обнаружен любопытный факт. Три нижних ряда кирпичей северо-восточной стены, давшей сильную осадку в своей средней части, оказались содержащими в швах глиняные шарики небольшого размера, лежащие группами по 3—4 штуки. Эти шарики были только в нижних трех рядах кирпичей и никакой конструктивной роли не играли. В хорошо сохранившейся другой стене комнаты № 7 таких шариков обнаружено не было (табл. 43 рис. 2-3).

По гипотезе, выдвинутой одним из наших рабочих казахов, Серикбаем Оралбаевым, эти шарики были положены сюда с магической целью для предохранения стены от разрушения. Аналогичный способ колдовства при помощи наговоренных шариков, по словам Оралбаева, до недавнего еще времени применялся в казахском быту.

Любопытен самый факт наличия шариков в наиболее пострадавшей стене. Повидимому, строитель не был очень уверен в прочности сооружения, возводимого, как мы увидим ниже, над плохо забутованным древним помещением, и прибег в данном случае к помощи колдовства,

для того чтобы обезопасить выстроенную стену от оседания в это помещение.

Раскопки внутреннего двора показали, что двор был окружен со всех сторон каррэ построек, располагавшихся так же, как в средневековых медресе или караван-сараях. Вдоль каждой стены шли, подобно «худжрам» медресе, узкие длинные помещения, покрытые коробовыми сводами, обращенными торцом внутрь двора. Каждая худжра была разделена на два помещения—переднее и заднее. Некоторые имели хозяйственное назначение. Одна из этих

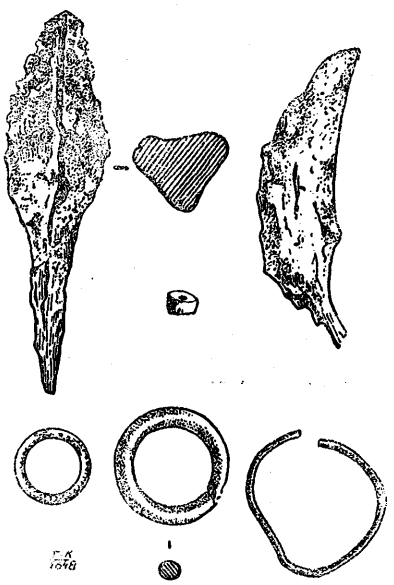


Рис. 83. Тешик-кала. Вещи.

комнат содержала большое количество жерновов, другая была почти сплошь уставлена хумами. Некоторые комнаты имели посредине открытый очаг и по стенам кирпичные нары такие же, как и в комнате № 1 и 6 в кёшке замка.

Большой интерес представляет небольшой, стоящий изолированно домик посредине двора. Он оказался имеющим чрезвычайно мощные кирпичные стены, значительно более толстые, что во всех остальных помещениях, угловой вход и интересную планировку.

Вдоль стен шла канавка, окружавшая возвышение посредине, срубленное при позднейшей перепланировке. Уже при раскопках эта планировка заставила нас заподозреть здесь здание культового значения. Сравнение этой планировки с планировкой «храма огня» в Шапуре сделало это предположение особенно вероятным. Это здание, вероятно, являлось своего рода домашней капеллой владельца замка.

Переходя к находкам, сделанным в Тешик-кале, отмечу прежде всего огромное количество разнообразной керамики, резко отличной от керамики античного времени. Мы встречаем здесь большое количество хумов с характерным венчиком, орнаментированным полосой косых рубцов (табл. 51), большое количество водоносных кувшинов с маленьким дном, выпуклыми стенками и с расширяющейся кверху плоской ручкой. Встречаем большое количество бытовой посуды, среди которой имеется значительный процент посуды, сделанной без гончарного круга (см. ниже).

Затем нами было найдено большое количество мелких обрывков тканей, два фрагмента деревянных гребней, изделия из кости (поясная пряжка, фрагмент гравированной пластинки и др.), детские игрушки, статуэтки барана, медные перстни, бусы (табл. 55).

Найдено огромное количество органических остатков, позволяющих предположить, что и в эту эпоху уже земледелие и скотоводство охватили все те породы растений (просо, ячмень, пшеница, бобы, виноград, персик, абрикос, хлопок, дыня, тыква, огурец) и животных (овца, коза, корова, лошадь, верблюд, осел, свинья, куры), которые употребляются и в настоящее время.

Наши знания об искусстве Хорезма этой эпохи были обогащены, с одной стороны, находкой описанного выше фриза, а с другой стороны, находкой в яме одного из помещений двора трех оттисков больших печатей на глиняных комьях. На двух оттисках находилось изображение четверорукого божества, на третьем оттиске была изображена сцена охоты, причем всадник на чрезвычайно изящно выполненной лошади стреляет из лука в убегающего от него дикого козла. Изображение по тонкости не уступает лучшим изображениям на сасанидских блюдах. Конь по своей трактовке напоминает коня на известном согдийском щите VIII в. из замка Дивастича на горе Муг (табл. 54).

Эти находки имеют двоякое значение. Прежде всего они подтвердили нашу гипотезу о хорезмийском происхождении серебряных чаш Эрмитажа и Британского музея с изображением четверорукого божества[1]. Находка изображения четверорукого божества в культурном слое Тешик-калы решает вопрос окончательно в пользу хорезмийского происхождения этих серебряных изделий.

Еще более важен самый факт наличия в хорезмийском пантеоне четверорукого божества; в котором нельзя не видеть несомненных признаков влияния образов индо-буддийской иконографии.

Самый факт этой находки говорит о том, что хорезмийская идеология этой эпохи еще в VII—VIII вв. н. э. отражала влияние каких-то индо-буддийских традиций. Эти связи с индобактрийским миром были прослежены нами раньше и на нумизматическом материале[2].

[1] См. ВДИ, 1938, № 4, стр. 139—144, рис. 1—4, а также ниже глава IV, I.

[2] См. ВДИ, 1938, № 4.

Таким образом наша находка позволила установить до сих пор неизвестный факт распространения влияния буддизма столь далеко на северо-запад, влияния этой религии на культуру древнего Хорезма[1]. Позднее это положение стало совершенно бесспорным в свете находок в Джанбас-кала.

Когда мы вскрыли обмазку пола в комнате № 7, то под ней открылся старый пол с рядом провалов. Одна из этих ям оказалась наполненной рыхлой глинистой массой, причем, углубившись на полтора метра, расчищавший яму рабочий не мог нащупать ее дна. Когда для выяснения этой загадочной ямы я начал расчищать это место, я обнаружил, что одну из стен ямы образует правильная кирпичная кладка, уходящая в глубь цоколя. Вскоре после этого мы обнаружили, что эта кладка переходит в оштукатуренную глиной и закопченную стену скрытой в цоколе замка комнаты. Раскопки этой комнаты заняли целый месяц. Помещение оказалось сплошь забито плотной глиняной кладкой. Ее пришлось рубить кетменями и кирками, соблюдая при этом большую осторожность, так как ни планировка, ни глубина комнаты нам не были известны, и было очень легко разрушить те или иные конструкции.

При дальнейших раскопках мы обнаружили внутри цоколя целиком сохранившуюся комнату, углубленную по сравнению с полом верхних комнат почти на 6 м, так что пол ее находился не намного выше уровня поверхности земли. Сохранились не только стены до уровня срубленного при закладке комнаты потолка, но и шедший выше их кирпичный парапет с бойницами. Этот-то парапет, кладка которого выступала на полкирпича внутрь комнаты по сравнению с оштукатуренной ее стеной, и был нами обнаружен при расчистке комнаты № 7 и привел нас в нижнее помещение (рис. 82, табл. 44).

Планировка нижнего помещения оказалась своеобразной. Оно имело угловой вход в северном углу в виде широкого и несколько расширяющегося кверху портала.

Юго-восточная стена комнаты плавной линией переходила в юго-западную, образуя вместе с последней полукруглый выступ. Посредине находился прекрасно сохранившийся открытый очаг.

Немногие находки, сделанные на полу, показали, что перед нами комната, относящаяся к той же афригидской эпохе, что и верхний замок, но к несколько более раннему времени, ибо керамика отличалась от керамики в верхнем помещении, но не настолько, чтобы предполагать между временем той и другой слишком сильный хронологический разрыв. Против такого разрыва говорила и прекрасная сохранность нижнего помещения, заставлявшая считать, что оно было обитаемо вплоть до того времени, когда его владелец нашел нужным его заложить.

Стены нижней комнаты толщиной 80 см были сложены из кирпича обычного для Тешик-кала размера. Снаружи к ним примыкает глинобитная кладка внешней оболочки цоколя Тешик-калы. Раскопки показали, что это была комната самостоятельного здания, оказавшегося замурованным внутри цоколя позднейшего замка. Стены его были возведены из кирпича непосредственно на земле или на низком фундаменте. Здание имело полукруглые выступы на углах и плоскую крышу, окруженную парапетом с бойницами.

Раскопки на дворе позволили также выяснить ряд важных фактов истории постройки Тешик-калы, прежде всего вопрос о происхождении внутренних стен двора. Очистка восточного угла двора от песка показала, что внутренняя стена имела первоначально круглые угловые башни, срубленные при постройке внешней стены. Все данные позволяют предполагать, что внутренняя стена современна замурованному в цоколе кёшка зданию. Таким образом перед нами восстанавливается в окончательных чертах первоначальный план Тешик-кала.

Для датировки замка решающим является нумизматический материал. В комнатах «верхнего замка» и в помещениях на дворе было найдено значительное количество медных монет, принадлежащих только к двум типам. Это домусульманские хорезмийские монеты, чеканенные двумя правителями. Одни из монет имели изображение царя в короне со ступенчатыми зубцами и легенду, тождественную с надписью на реверсе монет шаха Хорезма Шаушафара, правившего в половине VIII в. В центре реверса находилось изображение всадника, а слева, в поле, включенная в надпись обычная тамга Афригидов (см. ниже, стр. 170 сл.).

Другие монеты имели, на одной стороне, изображение другого царя, также в короне, со ступенчатыми зубцами, но несколько отличной от предыдущей, а,—на другой стороне,—в центре изображение тамги , окруженной несколькими знаками плохо сохранившейся надписи. Монеты эти я предположительно отношу к чеканке хорезмшаха Абдаллаха, который правил в конце VIII в. (см. ниже, стр. 189).

[1] О том же направлении культурных связей говорит найденный нами на развалинах современного Гешик-кале «замка» № 36 фрагмент (передняя часть) с большим реализмом выполненной статуэтки носорога.

Вся совокупность данных, которыми мы располагаем, заставляет предполагать, что этот замок кончил свое существование в конце VIII в., ненадолго пережив арабское завоевание. Наличие монет только двух правителей позволяет говорить о сравнительно ограниченном периоде жизни замка после перестройки, но вместе с тем этот период не мог быть особенно коротким, потому что верхний замок и внешние стены были подвергнуты нескольким перестройкам и ремонтам.

В силу этих соображений наиболее вероятно, что постройка верхнего замка и внешних стен произошла около начала VIII столетия. Вопрос о времени постройки нижнего замка и внутренних стен пока, за отсутствием монетных данных, вряд ли может быть решен с какой-либо определенностью.

Заслуживает серьезнейшего внимания самый факт коренной перестройки замка, самый факт перехода от здания, построенного непосредственно на земле, к зданию на высокой глиняной подушке.

Однако несмотря на новый тип укреплений, замок, бесспорно, погиб в результате нападения. Об этом говорят многочисленные признаки. Ряд комнат—особенно первая и восьмая нашей нумерации—несут явственные следы уничтожившего замок пожара. В комнате первой и в «помещении для слуг» обнаружены большие глыбы султануиздагского амфиболита, причем в первом случае эта глыба глубоко врезалась в лежанку. Единственным правдоподобным объяснением является предположение, что эти глыбы попали сюда в качестве снарядов метательных орудий. Такие же глыбы были найдены в ряде мест во дворе.

Раскопки Тешик-калы, дополнившие и расширившие вещественный материал, добытый в 1937 г. при раскопках замка № 4, позволяют дать довольно разностороннюю характеристику материальной культуры афригидского Хорезма. Ниже, в главе IV, мы подробно остановимся на характеристике нумизматических памятников, одежды, вооружения, изобразительного искусства афригидского Хорезма. Здесь ограничимся краткой характеристикой остальных материалов, в первую очередь—керамики.

Керамика Тешик-калы, типологически составляя единый комплекс, противостоящий достаточно отчетливо античному, может, вместе с тем, быть подразделена на два хронологических варианта, первый из которых, представленный в нижнем здании донжона (комн. № 1) и в нижних слоях помещений во дворе, очень близок к керамике верхних слоев городища Топрак-кала и, видимо, может датироваться временем около VI века н. э.

Второй комплекс, преобладающий в верхних комнатах донжона, почти тождественен с вещами из замка № 4 и очень близок к вещам из замка № 36. По приведенным выше монетным данным мы склонны датировать его с концом афригидского времени, вернее всего—VIII в. н. э.

При этом надо оговориться, что деление это отнюдь не носит абсолютного характера. Формы, свойственные «кушанско-афригидскому» периоду, часто переживают в слое «собственно афригидском». Да и различия касаются главным образом деталей.

Керамика ранне- и позднеафригидского времени[1], как и античная, разделяется на две группы: ремесленную, сделанную на ручном гончарном круге[2], и домашнюю грубую, сделанную без круга. Однако ремесленная посуда афригидского периода гораздо ниже качеством, чем античная, резко отличаясь от последней не только качеством выделки, но и качеством теста, формой, фактурой поверхности и окраски.

Наиболее характерной формой ремесленной гончарной посуды являются водоносные кувшины яйцевидной формы, с узким дном, выпуклыми стенками, хорошо выраженным низким горлом, иногда узким, чаще довольно широким, и слегка отогнутым, треугольным в сечении венчиком. Ручка широкая, плоская—в отличие от цилиндрических или цилиндрически-желобчатых массивных ручек античности. Она сильно расширяется снизу вверх.

Сосуды имеют плотный черепок желтовато-коричневого цвета. Желтовато-коричневый оттенок сохраняет и их поверхность, лишенная ангоба и окраски (табл. 52).

Хумы сделаны из грубого теста с сильной примесью толченой керамики и дресвы. В ранних хумах обжиг очень неравномерный—на изломе в середине видна черная полоса. Поверхность красноватая, иногда с зеленовато-белым ангобом. Ранние хумы имеют венчик, окаймленный полосой резко выступающих, вылепленных пальцами, рубцов, оконтуренных с двух сторон выпуклыми горизонтальными линиями, опоясывающими венчик[3] (табл. 51).

Этот же орнамент мы встречаем на ручках

---

[1] Подробную характеристику, без расчленения, одна на два периода, см. в работе А. И. Тереножкина. О древнем гончарстве в Хорезме, Изв. УзФАН, 1940, № 6, стр. 56—59, рис. 2—10, также табл. 1, рис. 3—17.

[2] А. И. Тереножкин ошибочно видит здесь продукт работы на ножном круге. Против этого говорит отмеченная и им (стр. 56) фактура доньев кувшинов, которые «покрыты мелкими неровностями и, как правило, не плоские, слегка выпуклые и неустойчивые». Сосуды явно не приклеивались к кругу с последующим срезанием ниткой, как античные, ставились на присыпке, что невозможно при быстроте вращения ножного круга.

[3] Цит. соч., рис. 8, стр. 58.

кувшинов и ободках глиняных блюд раннеафригидского времени[1].

Также в ранний период появляются хумы, горло которых опоясано двумя ребристыми выступами. Наиболее ранние из них имеют линию волнистого орнамента над или под упомянутыми выступами. В поздних формах этот орнамент исчезает[2] (табл. 51).

Хумы этого периода часто имеют стенки, сплошь покрытые линейно-волнистым аналогичным орнаментом.

Поздние хумы, относящиеся к VII—IX вв., имеют гораздо более ровное, лишенное или почти лишенное примесей тесто, равномерный обжиг, гладкую беловатую поверхность. Размеры их, как правило, гораздо более значительны. Орнамента нет.

Венчик, овальный в сечении, с орнаментом или в виде двойного ряда пальцевых вдавлений по его нижнему краю[3] или гораздо чаще в виде ряда глубоких косых насечек[4].

Хумы имеют яйцевидную форму, со слегка выпуклым дном, выпуклыми стенками и резко выраженным перегибом между плечиками и вертикальным, цилиндрическим горлом[5].

Сосуды ручной лепки составляют гораздо более значительный процент, чем в античных памятниках. Наиболее характерной формой являются грубые котелки и горшочки черновато-бурого цвета, с сильно закопченной обычно поверхностью, слегка выпуклым дном, слабо согнутым венчиком и одной или двумя ушкообразными ручками[6] (табл. 53).

Эти сосуды почти совершенно тождественны с ручной керамикой из Причирчикских городищ, обследованных Г. В. Григорьевым[7].

Из других материалов отметим крупные железные трехперые черешковые стрелы, несколько экземпляров которых найдено на памятниках афригидской эпохи: один—в культурном слое одного из помещений на дворе Тешик-калы, один—воткнутый в крепостную стену Беркут-калы и несколько—на поверхности окружающих эти развалины такыров (рис. 83). Этим афригидская культура резко отличается от античной, где, видимо, до самого конца продолжают господствовать бронзовые втульчатые стрелы.

Столь же характерно исчезновение античных продолговатых зернотерок, заменяющихся большими, тонкими, плоскими, вращающимися ручными жерновами.

В области украшений отметим появление медных перстней с круглым глазком, заменяющим овальный глазок античных перстней, и распространенных довольно крупных шаровидных сердоликовых и калцедоновых бус, вытесняющих античные мелкие квадратные, четочно-дисковидные и другие, преимущественно, стеклянные бусы (рис. 84, а также табл. 1).

Вернемся, однако, к характеристике основной категории исследуемых нами памятников—к самим замкам.

Произведенные в 1939 г. раскопки замка № 36 значительно дополнили наши данные по архитектуре, быту, искусству и религиозным верованиям афригидского Хорезма и позволили несколько уточнить датировку памятников афригидской культуры.

Большой интерес представляет структура донжона замка (рис. 84—86, табл. 47—9). Жилые его помещения подняты на мощный пахсовый цоколь высотой около 5 м, внутри которого находились два расположенных перпендикулярно друг другу сводчатых помещения, образующих вместе фигуру в виде буквы Т. Более длинный и очень высокий коробовый свод № 1 идет параллельно СВ стене донжона и открывается наружу на ЮВ у ее В угла низкой круглой аркой. Пол свода постепенно поднимается от арки к СЗ стене, где расположен высокий и узкий кирпичный закром.

Перекрытие свода, разрушенного в нескольких местах промоинами, имеет вытянуто-эллиптическое сечение.

На уровне перехода стен в свод расположена полоса балочных гнезд, служивших, повидимому, для связи стен сводчатого помещения и вместе с тем дававших возможность устроить под сводом нечто вроде палатей или антресолей.

Посредине свода № 1 от него отходил перпендикулярно ему более короткий и низкий, с более приближающимся к циркульному сечением свод № 2. Пол свода образовывает довольно круто поднимающийся пандус, загибающийся под прямым углом близ ЮЗ стены донжона на ЮВ, поднимающийся далее до половины высоты между нижним и верхним этажом и через круглую арку, заключенную между двумя массивными кирпичными пило-

---

[1] Цит. соч., стр., 57, рис. 3.

[2] Цит. соч., табл. 1 (стр. 55), рис. 14, 15, 16, а также рис. 7, на стр. 58.

[3] Цит. соч., рис. 5 на стр. 58, табл. 1, рис. 12.

[4] Цит. соч., табл. 1, рис. 13, а также рис. 6, на стр. 58.

[5] Цит. соч., стр. 57, рис. 4, СА № 6, 1940, рис. 10, а также А.

[6] Изв. УзФАН, 1940, № 6, рис. 10, на стр. 59, а также табл. 1, рис. 9—11.

[7] Г. В. Григорьев. Каунчи-тепа. Ташкент, 1940. Ср. стр. 17, рис. 19, стр. 40, рис. 50. Как и в отношении Тали-Барзу, мы вынуждены резко разойтись с Г. В. Григорьевым в датировке этих городищ. По нашему мнению, его культура Каунчи II, к которой принадлежат указанные вещи, датируется не серединой I тысячелетия до н. э., а серединой I тысячелетия н. э. Ср. также рецензию А. И. Тереножкина на работы Г. В. Григорьева в Изв. УзФАН, 1940, где он приходит, на наш взгляд, к совершенно правильным выводам по этому вопросу.

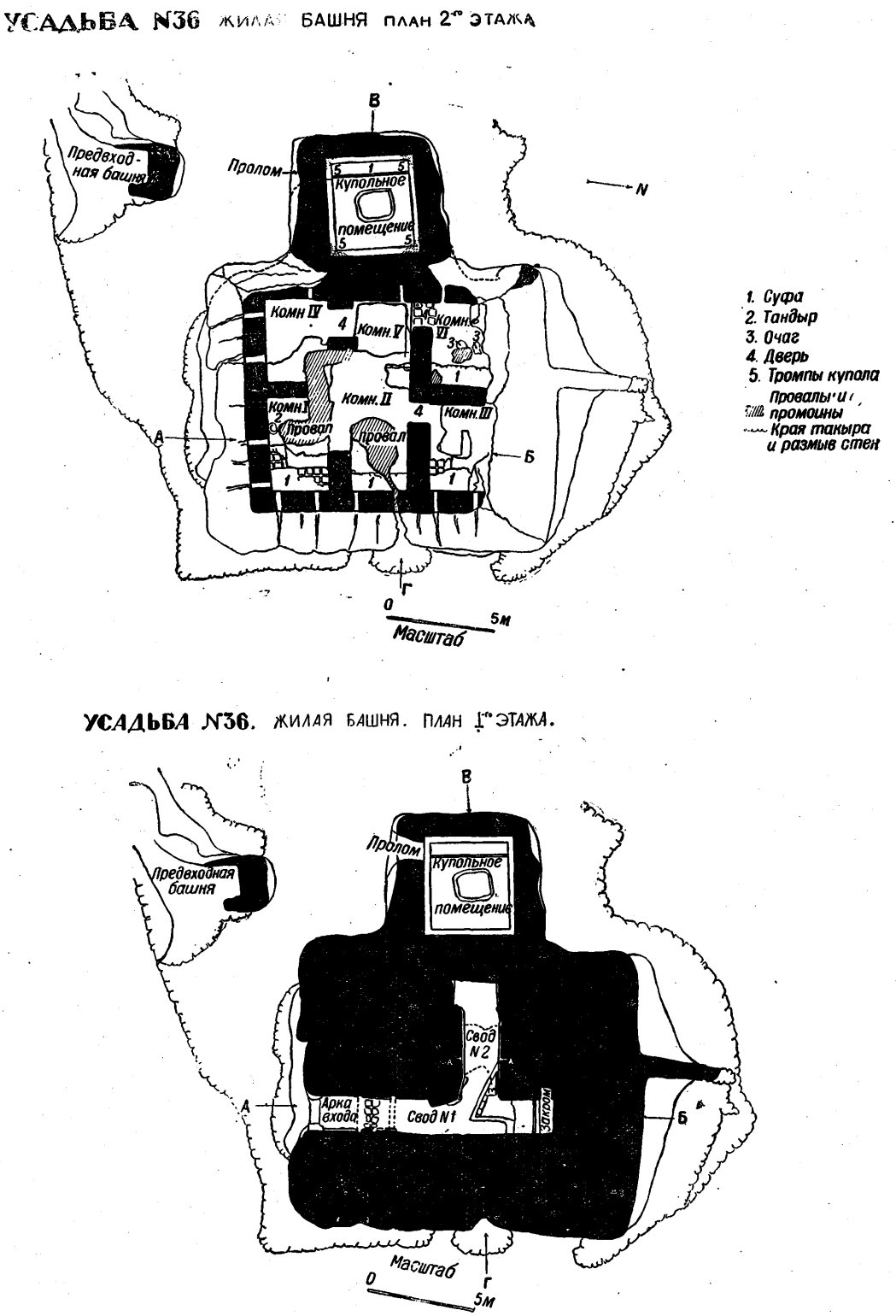


Рис. 84. Замок № 36. Планы двух этажей жилой башни. Обмер арх. В. И. Пилявского.

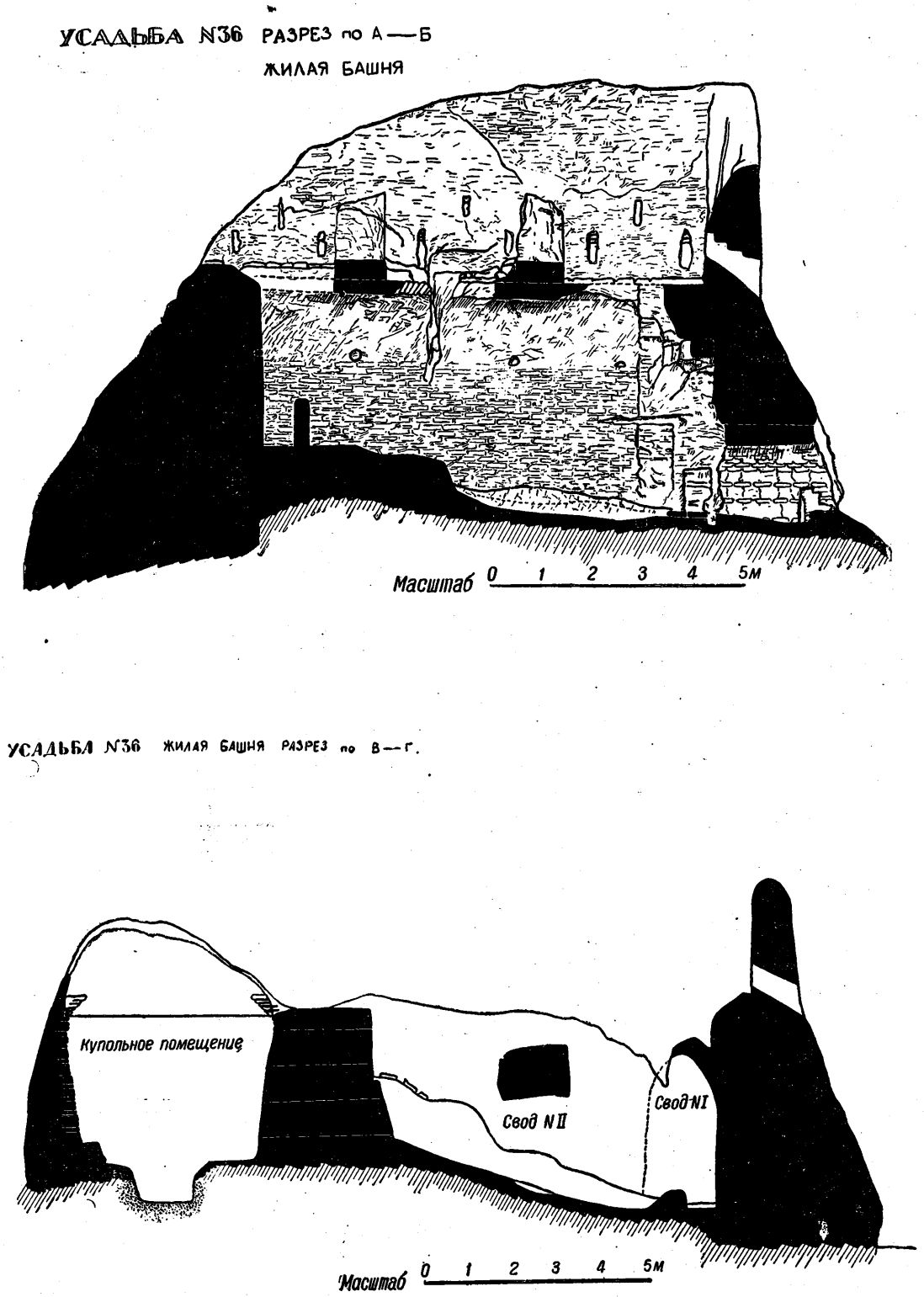


Рис. 85. Замок № 36. Разрезы жилой башни.

нами, ведущий в комнату № 4 верхнего этажа замка.

Верхний этаж состоял из пяти небольших, примерно одинакового размера, комнат бытового, судя по характеру находок, назначения. Вопрос о шестой комнате, располагавшейся под местом поворота пандуса второго свода к арке, ведущей в комнату № 3, остается неясным. Повидимому, под этим местом, где пандус выходит из-под перекрытия свода № 2, было деревянное перекрытие—об этом говорят сильные следы пожарища в этом месте, но форма этого перекрытия остается неизвестной. Неясна и граница между этой частью верхнего этажа и расположенной далее к СВ и занимающей среднюю часть СВ стены донжона комнатой № 2. Что касается пяти упомянутых комнат, то все они имеют сходный план. У СВ узкой стены их располагаются невысокие кирпичные лежанки. В комнате № 1, у ЮЗ стены, обнаружен небольшой глиняный тандыр. В комнате № 6, посредине, остатки открытого очага. Во всех комнатах полы перекрыты рядом слоев обмазок с культурными остатками между ними,—свидетельство достаточно длительной истории жизни замка.

Для датировки имеет значение находка двух монет: фрагмента медной мусульманской монеты, по всем признакам саманидского фельса, более точное определение затруднительно, на поверхности верхнего пола комнаты № 1, и серебряной хорезмийской монеты, принадлежащей хорезмшаху конца VIII века—Абдаллаху (см. ниже, IV, 1), на полу комнаты № 6.

Все в целом дает возможность датировать время жизни замка VIII—IX вв. н. э., т. е. самым концом афригидского периода, хотя, конечно, весьма вероятно, что постройка замка может быть отнесена и к несколько более раннему времени.

Хотя одна сильно стертая монета и не решает окончательно вопроса, однако, общие наблюдения над памятниками «земель древнего орошения» КККАССР заставляет нас скорее верить указанию, даваемому этой монетой, и, пока предположительно, считать, что а ф р и г и д с к а я к у л ь т у р а в м а л о и з м е н е н н о м в и д е д о ж и в а е т д о X в е к а, не раньше конца которого начинает складываться комплекс хорезмийской культуры XI—XIII вв., которую мы условно можем назвать х о р е з м ш а х с к о й к у л ь т у р о й. Ого-

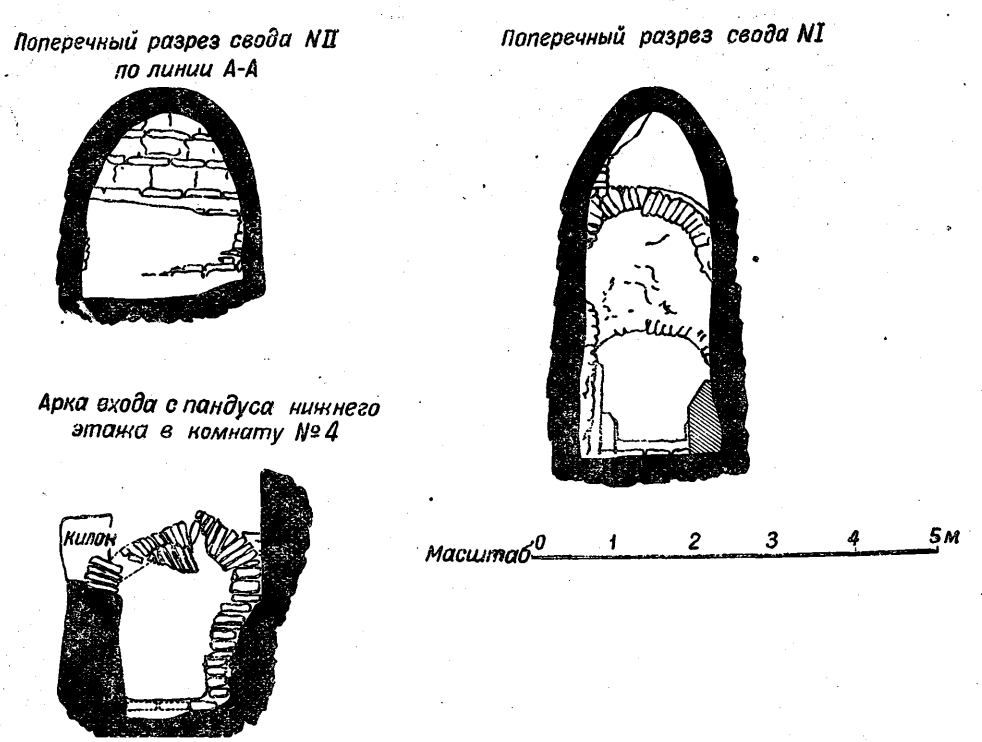


Рис. 86. Замок № 36. Разрезы сводов жилой башни.

вариваюсь, что в городах этот процесс мог итти и несколько быстрее, и характерная для хорезмшахского времени черная бытовая керамика с щипковым рельефным орнаментом могла получить распространение и в X веке. Отмечу, что в 1938 г. несколько фрагментов такой керамики нами было подобрано близ замка № 36, хотя в нем самом нам ее обнаружить и не удалось.

Большой интерес представляет перекрытая куполом низкая пристройка с ЮЗ стороны донжона замка № 36.

Она представляет собой квадратное помещение 4,5 × 4,5 м, образованное тремя пристроенными к ЮЗ стене замка стенами своеобразной кладки, в которой слои кирпича чередуются с прослойками пахсы, высотой в 20—30 см. Купол, образованный путем напуска кирпича, опирается на углах на трапецевидные тромпы.

Комната не имеет правильной двери. Вход в нее ведет через узкий неправильной формы проем у Ю угла ЮВ стены.

Внутри после раскопок комната оказалась совершенно пустой. Вдоль ЮЗ стены ее шла узкая кирпичная лежанка. Средняя комната была занята овальной ямой 1,5 × 1,8 м, прорубленной сквозь тонкий в этом месте такыр и доходящий до подстилающего его песка. На поверхности этого песка на дне ямы была обнаружена прослойка неправильно положенных кирпичей, поверх которых лежала тонкая прослойка золы и обугленных прутьев. Выше—над ямой и на полу лежал слой, состоящий из соломы, прутьев, овечьего помета, многочисленных кусков дерева—отрезков бревен и палок различной величины и комьев глины разного размера. Еще выше располагалась прослойка песчано-глиняного натека, над которой лежала куполовидная груда завала, состоящего из лежащих в беспорядке кирпичей рухнувшей верхней части купола.

Можно было бы предположить на основании содержания слоя, что пристройка являлась не чем иным, как овечьим хлевом. Однако это весьма мало вяжется с ее своеобразной архитектурой.

Отсутствие двери, вход через пролом, отсутствие какого бы то ни было архитектурного оформления, кроме ямы и узкой скамьи (кстати сказать, пролом входа ведет не на пол, а на эту скамью) в сочетании с подчеркнуто торжественным оформлением перекрытия комнаты приводит нас к выводу, пока, конечно, еще требующему проверки на других памятниках, что здесь мы имеем предусмотренное зороастрийским ритуалом помещение так называемого «ката» для еще неразложившихся трупов, если в силу каких-либо причин они не могут быть сразу вынесены на открытое место.

«В каждом доме, в каждом поселении пусть возведут три помещения для мертвых», говорит V фаргард Вендидада.

При наставлении о сооружениях таких помещений мы читаем в VIII фаргарде Вендидада: «В этом месте верующие пусть выроют ров глубиной в полфута, если земля тверда, и в половину человеческого роста, если она мягка, и затем положат на это место пепел или коровий навоз, а сверху кирпичи, камни или очень сухую землю; там поместят они бездыханное тело на две ночи, на три ночи, на месяц...»[1].

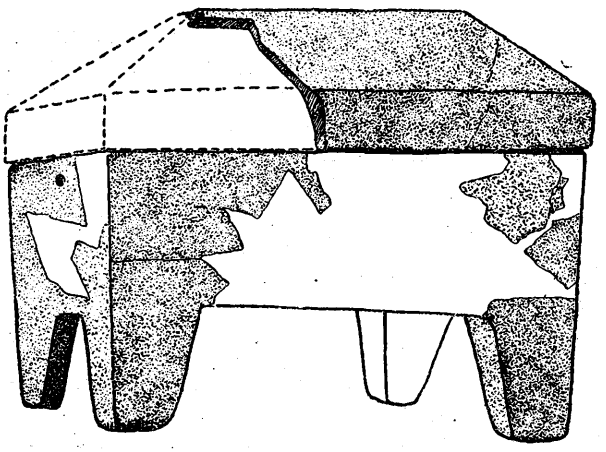


Рис. 87. Оссуарий из замка № 36.

Мне думается, что структура слоя купольной пристройки замка № 36 вполне увязывается с этим. Вырытая в середине яма соответствует «рву» Вендидада, поверх песка в ней лежит слой кирпича, слой золы, слой навоза, прутьев и камней, достаточно изолирующих покойника от священной стихии земли. «Скамья»—на деле место, где ходили и стояли принесшие труп люди, во избежание осквернения при прикосновении к полу, на котором лежали трупы.

Наконец, вход через пролом связан с известным зороастрийским обычаем (впрочем, распространенным в разных вариантах у самых различных народов и относящимся к очень древним слоям первобытных верований и объясняемым стремлением помешать покойнику найти дорогу домой) выноса трупа из дома через специально сделанный пролом в стене.

В пользу этой гипотезы говорит и другая деталь погребального ритуала позднеафригидского времени, выясненная раскопками замка № 36. Это—обнаруженное в комнате № 3 в северном углу верхнего этажа донжона целое кладбище крупных прямоугольных алебастровых оссуариев на высоких ножках.

[1] Цит. по К. Иностранцеву. О древнейших погребальных обычаях и постройках. ЖМНП, 1909, стр. 99—100.

Часть оссуариев и костей покойников провалилась через пролом свода внутрь сводчатого помещения № 1, образовав целую груду костей и алебастровых фрагментов на полу и в кирпичном завале. Повидимому, костяки умерших членов обитавшей в замке большесемейной общины складывались в оссуарии, которые ставились внутри замка, в комнате № 3.

Если мы вспомним, что огромное кладбище глиняных античных оссуариев в Топрак-кале находилось в черте города, с внутренней стороны его восточной стены, что несколько фрагментов таких же глиняных оссуариев мы нашли внутри городища Джанбас-кала, в том числе один внутри хода по стене, нетрудно найти объяснение этим захороненным внутри дома. Причина этого обычая—в стойкости общинно-родовых связей, в ощущении непрерывающейся связи между живыми и умершими членами общины. В древних укреплениях кангюйского времени и в античных хорезмийских городах это выражается в устройстве кладбищ внутри городской стены. В эпоху, когда основным типом расселения становится отдельная укрепленная усадьба и основной ячейкой общества большесемейная домовая община—эта связь находит свое выражение в помещении оссуариев внутри стены общинной усадьбы.

Наблюдение, сделанное в замке № 36, подтвердилось наблюдениями на других замках. Фрагменты оссуариев были найдены на территории больших замков Беркут-кала и Уй-кала и малых замков № 57 и 58.

Из бытовых находок в замке № 36, помимо афригидской керамики, костей домашних животных, косточек плодовых деревьев, разнообразных зерен культурных растений, пополнивших собранную в 1937—38 гг. коллекцию[1], нужно отметить находку целого кожаного башмака, деревянного веретена и, прежде всего, фрагмент тонкого белого войлока, покрытого сплошной вышивкой цветными шерстяными нитками со спиральным рисунком, открывающий перед нами еще новую область искусства афригидского Хорезма[2] (табл. 57).

3. ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИСТОРИИ

Уже сейчас материал афригидских памятников позволяет достаточно полно осветить ряд значительных вопросов социально-экономической истории Хорезма в VI—VIII вв. Находки хорошо сохранившихся в развалинах органических остатков с большой полнотой рисуют хозяйство изучаемой эпохи. Запасы проса, маша, винограда, хлопка, сушеных груш, тыквы и т. д. ярко рисуют состав сельскохозяйственных культур этого времени. Остатки ватного халата, овчинной одежды, войлока, овечьей шерсти дают представление об использовании продуктов земледелия и скотоводства в быту. В ряде мест найдена яичная скорлупа и целые высохшие внутри яйца. Если исследование этих данных позволяет говорить о том, что к шестому-седьмому веку сельское хозяйство Хорезма с технической стороны характеризовалось в основном теми же чертами, что и в средние века, то заключения из имеющихся данных по социально-экономическому строю говорят об очень значительных отличиях.

Наиболее существенным выводом, который может быть сделан из этих материалов, является то, что благодаря им решается окончательно большой дискуссионный вопрос о характере «замков» домусульманской и раннемусульманской Средней Азии, о которых так много говорят нам арабо-персидские авторы IX—X вв.

Обилие указаний о многочисленных замках («хысн», «каср»), разбросанных в окрестностях среднеазиатских городов, является одной из предпосылок для возникновения представления о господстве в домусульманской Средней Азии феодального общественного строя. «Замки» населялись писавшими об этом авторами «поземельным дворянством», эксплоатировавшим труд крепостных крестьян. Отсюда был один шаг до заключения о «разложении феодализма» в X в. н. э. или даже в первые века нашей эры[3] и неразрывно связанной с этим теорией господства в средневековой Средней Азии «торгового капитализма», господствующей роли в средневековых среднеазиатских государствах всесильного «мусульманского купечества».

Между тем, уже письменные источники дают все основания для сомнений в возможности населять древние среднеазиатские «замки» феодалами. Против этого говорят прежде всего данные о количестве этих замков.

Так, только по трем (из двенадцати) городским арыкам Бухары располагалось, по Истахри[4], четыре тысячи «замков». Семьсот «замков» по Нершахи[5] построили в окрестностях Бухары выселенные туда арабами кушанские купцы.

В небольшой области Осрушана, по Якуби, было 400 «замков»[6]. Наконец, Макдиси[7] говорит нам о «двенадцати тысячах замков»

---

[1] ВДИ №3, 1939, стр. 193.
[2] ВДИ № 1, 1941, стр. 176, рис. 13.
[3] Ф. Розенберг. Согдийские старые письма, ИОН, 1932, № 5.
[4] BGA, I, 311.
[5] Nerchakhy par Ch. Schefer, стр. 47—48.
[6] Бартольд. Туркестан, II, стр. 168.
[7] BGA, III, 288.

в окрестностях небольшого города Маздахкан в Хорезме.

Все это вместе с имеющимися в литературных источниках, особенно у Нершахи, данными о характере этих «замков» заставило нас еще несколько лет тому назад выступить с трактовкой этих замков как укрепленных усадеб большесемейных земледельческих домовых общин и отождествить упоминаемые в арабо-персидских источниках «замки» с упоминаемым теми же источниками понятием «кед» в смысле комплекса построек, заселенного членами такой общины, включавшей, помимо патриархального главы дома «кедхуда», и его близких и от-

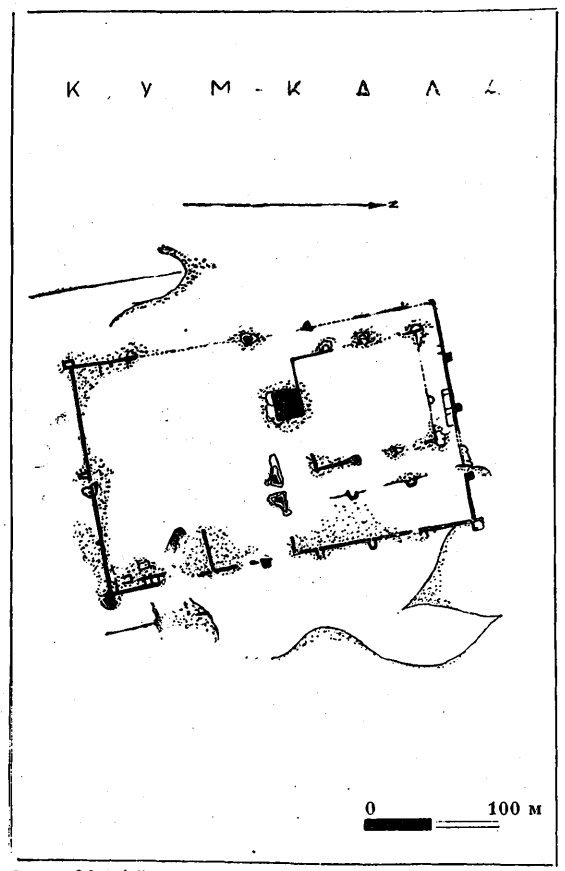


Рис. 88. Афригидский замок Кум-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

даленных родственников—также и адоптированных в «кед» на правах неравноправных его членов, обозначаемых Нершахи термином «кедивер», и рабов.

Тогда же мы пришли к выводу, что декханская аристократия древней Средней Азии, противостоя массе рядовых членов «кедов», как класс крупных землевладельцев и рабовладельцев, не противостояла еще ей, как класс-антагонист, хотя постепенное расслоение рядовых общинников создавало прослойку «бедняков и нищих» (Нершахи), легко попадавших в положение «слуг и кедиверов» аристократии, повидимому, через отношения кабалы, вуалировавшиеся переживающими из родового строя формами адопции бедняка в члены аристократического «кеда» (см. ниже, экскурс II), в чем можно видеть лишь первые зачатки феодальных отношений, не ставших еще господствующими.

Этот патриархально-рабовладельческий уклад, однако несущий в себе уже элементы становящегося феодализма, со всей отчетливостью рисуют нам памятники VI—VIII вв., открытые в Хорезме в 1937—1940 гг.

В 100 «замках», отстоящих друг от друга на 150—200 метров, жили (об этом ясно говорят результаты раскопок замков № 4, 34, 36) охарактеризованные выше большесемейные земледельческие общины.

Мощные укрепления этих усадеб исключают предположение о крепостной зависимости их обитателей от владельцев больших крепостей оазиса, видимо, принадлежавших к землевладельческой хорезмийской аристократии, «дихканам», о которых для Хорезма нам рассказывает Табари. Единство типа малых «замков» земледельцев и больших крепостей «дихканов» не оставляет сомнения в том, что между теми и другими еще не лежало резкой классовой грани, неизбежно возникающей в процессе сложения антагонизма между крестьянином и землевладельцем.

О принадлежности обитателей маленьких замков к слою свободного населения говорит нахождение упомянутых выше комьев с оттисками печати в башне усадьбы № 4.

Положение оттисков, сложенных грудами по обе стороны двери в хозяйственное помещение, позволяет предполагать, что при помощи их опечатывались кучи зерна,—способ, широко применявшийся в средневековой Средней Азии.

Материалы экспедиции разрешают вопрос о взаимоотношении понятий «кёшк» (замок, башня) и «ках» (замок, дворец), занимавший в свое время Бартольда[1].

Под «кёшком», в полном соответствии с этимологией слова, надо видеть внутреннюю жилую башню укрепленной усадьбы, под «кахом», в приложении по крайней мере к усадьбам аристократии,—самую усадьбу, взятую в целом.

Тогда станет понятным цитируемое Бартольдом выражение Нершахи, говорящего о том, что один из бухар-худатов был убит в «кахе» Варахши, в своем «кёшке»[2].

Ближе всего тип хорезмийского расселения и укрепленных усадеб, с мощными башнями, придающими облику культурного ландшафта Хорезма V—VIII века столь характерный вид, может быть сопоставлен с сохранившимся

[1] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 34—35.
[2] Цит. соч., стр. 35.

в целом ряде по преимуществу горных областей Европы и Азии типом расселения. Упомянем родовые башни Северного Кавказа и вольной Сванетии, аналогичные укрепленные типы усадеб родовых поселений горцев Афганистана, тибетцев, южных арабов.

Остатки этого типа большесемейных поселений мы найдем в типе расселения Прикарпатских украинцев[1] и балканских славян.

Повидимому, очень близкие по типу к древнехорезмийскому и вообще среднеазиатскому этого времени типу расселения формы мы найдем в оседлых поселениях домусульманской Аравии[2]. Арабский «дар» может считаться более или менее идентичным среднеазиатскому «каху» как «бейт»—«кеду».

Археологические исследования последних лет убедительно показывают, что установленный нами для Хорезма тип расселения афригидского времени был в эту эпоху типичен и для остальных районов Средней Азии, что дает нам еще большее право привлекать свидетельства письменных источников, не относящихся непосредственно к Хорезму, для освещения наших памятников.

Отмечу прежде всего многочисленные «замки» этого времени, открытые А. Н. Бернштамом в согдийских колониях и местных поселениях Семиречья и датируемые им V—VII вв. н. э. Анализ этих «замков» заставил А. Н. Бернштама примкнуть к нашей точке зрения на социальную природу этого типа расселения[3]. Типологически и социально тождественными с нашими замками являются и Ак-тепе близ Ташкента[4] и замок Диваштича на горе Муг в верховьях Зеравшана.

Примыкающие к замку Беркут-кала пристройки (см. рис.77), в значительной степени заселенные, видимо, ремесленниками, менее может быть определенно, но все же могут явиться подтверждением другого нашего положения, высказанного в цитированных выше работах, положения об отсутствии или незначительности в домусульманской Средней Азии слоя свободных ремесленников. Повидимому, к этим постройкам может быть отнесено выражение Нершахи о жилищах слуг и рабов, окружавших «замки» и их хозяев. Этот тип рабских ремесленных поселений в виде пережитка сохранился в XIX веке в Кафиристане, быт которого и во многих других отношениях является ключом к быту домусульманской Средней Азии.

[1] Украинский народ в его прошлом и настоящем. П., 1914, стр. 511—512.

[2] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 34, сл.

[3] А. Н. Бернштам. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 56—57.

[4] Изв. УзФАН № 3, стр. 58 и сл.

Тип жилищ X—XII вв. рисует нам постепенный процесс превращения свободных обитателей укрепленных «кахов», сохранивших пережитки семейно-общинного быта, но попадающих во все большую зависимость от аристократии, в феодальных крестьян. Отмирание «замковой» архитектуры—яркий показатель изменения социального положения земледельческого населения.

Сейчас трудно, конечно, с полной определенностью ответить на вопрос о причинах изменений в типе поселений, построек и фортификационных сооружений древнего Хорезма на протяжении периода, отделяющего IV—V вв., к которому относятся позднейшие памятники античного типа от VIII—IX в., когда прекращают свое существование памятники типа Тешик-калы.

Сопоставление наших материалов с имеющимися в распоряжении науки данными по гражданской истории этой эпохи позволяет, однако, наметить некоторые пути для решения этого вопроса.

III в. н. э. замыкает собою блестящий период гегемонии в Средней Азии могущественной среднеазиатско-индийской державы кушанов. В IV веке ослабленное и сократившееся в размерах Кушанское царство сходит на положение второстепенного государства неравноправного союзника империи сасанидов, наследники престола которой уже в конце III века присваивают себе, вместе с кушанскими владениями в Ариане и Бактрии, титул кушаншахов[1].

Мы ничего не знаем о темном периоде IV столетия. Во всяком случае, на протяжении этого века процесс упадка и распада Кушанского государства, обусловливаемый, вероятно, не только внешнеполитическими факторами, продолжается.

Вряд ли случайно врезалось в память потомков имя шаха Африга, правившего, по Бируни, в начале IV в. н. э., имя, стоящее первым в длинном списке приводимых великим хорезмийским ученым царских имен. Вряд ли случайно это имя ассоциировано в рассказе Бируни, с одной стороны, с преданиями об исключительно жестоком и деспотичном правлении Африга, которого Бируни сопоставляет «с персидским Ездегердом», с другой,—с преданием о постройке этим хорезмшахом огромного замка Фир близ столицы Хорезма—города Кята.

Сопоставление рассказа Бируни с нашими данными позволяет предполагать, что Африг, повидимому, первый вполне самостоятельный правитель Хорезма послекушанского времени правил в эпоху крупных социальных сдвигов.

Разрушение неподвижного общинного быта деревни, являвшегося пьедесталом рабовла-

[1] К. В. Тревер. Резной аметист из собрания Эрмитажа. Сообщения ГАИМК, 1931, № 2, стр. 20.

дельческой городской цивилизации эллинистического Хорезма, поднимает к власти новые слои господствующего класса—сельского землевладельца-рабовладельца, ослабляя традиционную гегемонию города. Город отступает перед замком, деревня распадается на укрепленные усадьбы оставшегося еще независимым крестьянского населения.

Башня Африга—символ наступления новых отношений.

Переход к замкам с массивным цоколем, падающий, если исходить из данных стратиграфии Тешик-калы, на VII—VIII столетие, представляет собой второй коренной перелом в системе фортификации послекушанского времени. Если общая планировка укрепленной усадьбы остается той же, что и в эпоху нижней Тешик-калы, характер кёшка резко меняется. Внешнее сходство с замками кызыл-калинского типа не может затемнить принципиальную разницу между тем и другим: основная часть здания кызыл-калинского типа превращается в массивную глинобитную подушку. Напротив, кровля здания с боковыми казематами превращается в основное помещение. Жилые помещения замка поднимаются над уровнем земли на 4—8 м.

Перед нами очень важное усовершенствование оборонительной техники: кёшк становится недоступным для стенобитных орудий и подкопов.

Так как очень трудно предположить существенные изменения в осадной технике, которые могли бы вызвать ответные улучшения системы обороны, объяснения этого переворота нужно искать вне военно-технической истории в собственном смысле.

Как башня деспота Африга, по характеристике Бируни, может осветить нам проблему изменения типа расселения, так, нам представляется, одно место у Табари может нам помочь разобраться во встающей сейчас перед нами проблеме.

Из описания событий 712 г., когда войска Кутейбы ибн-Муслима оккупировали Хорезм, мы узнаем, что предпосылкой арабского завоевания был глубокий политический кризис государства шахов Хорезма. Вся страна была охвачена гражданской войной.

Власть находилась в руках мятежников во главе с братом хорезмшаха Хурразадом и неким «царем Хамджердом».

Здесь, нам кажется, ключ к новому типу укреплений. Народные движения, вероятно, лишь достигшие своей кульминационной точки к началу VIII в., восходят хронологически к более раннему времени (вспомним еще раз восстание Маздака в конце V века н. э. и движение Абруя в 80-х годах VI в.)[1]. Жестокая гражданская война, борьба общинников против растущих элементов феодализма,—вот первопричина перехода к донжонам с массивным цоколем—высшему достижению оборонительной техники домусульманского Хорезма.

Другую сторону вопроса составляет проблема варварских движений, завоеваний кочевников. Ниже мы еще вернемся к поставленной Лерхом-Веселовским проблеме взаимоотношения Хорезма и эфталитов. Но уже здесь нельзя не отметить, что интересующий нас период был периодом не только внутренних социальных битв, но и варварских завоеваний. Движения эфталитов, достигающих вершины могущества в конце V в. н. э., тюрков, между 563 и 567 уничтоживших государство эфталитов, наконец арабов, первые отряды которых появляются в Хорезме уже в середине VII века и которые, как некогда тюрки и китайцы в Бухарском оазисе, вмешиваются в социальную борьбу в Хорезме на стороне аристократии,—дают нам достаточно показательную картину столь же напряженной, как и внутренняя, внешнеполитической обстановки, на фоне которой могучие донжоны хорезмийских «замков» афригидского периода еще более отчетливо вырисовываются, как закономерное проявление социально-политических процессов, переживаемых Хорезмом.

[1] О характере антифеодальных движений свободных общинников V—XI веков в Средней Азии см. ниже, экскурсы II стр. 247 сл. и III (раздел II стр. 319 сл.).

IV. ВРЕМЯ «ВЕЛИКИХ ХОРЕЗМШАХОВ»

«Большинство селений Хорезма—города, имеющие рынки, жизненные блага и лавки. Как редкость, бывают селения, в которых нет рынка. Все это при общей безопасности и полной безмятежности».

Якут, II. 481.

Как мы видели в предыдущем параграфе, арабское завоевание не сразу изменило тип поселений, свойственный афригидскому Хорезму. И слова ал-Макдиси (около 985 г.) о двенадцати тысячах замков в рустаке Маздахкана и результаты раскопок замка № 36 близ Тешик-калы с достаточной определенностью показывают нам, что древний тип афригидского расселения дожил до X века. И как слова ал-Бируни о постройке в начале IV в. замка тирана Африга являются свидетельством о появлении этого нового типа укрепленных жилищ, говорящего о начале переходного периода от рабовладения к феодализму, так и слова того же ал-Бируни о крушении замка Африга в 997 г., через 2 года после падения самой династии афригидов, свидетельствуют вместе с тем о завершении этого бурного и кровавого переходного периода, о наступлении времени господства зрелых феодальных отношений.

В дальнейшем нашем обзоре мы будем предельно кратки. Мы выходим здесь за рамки нашей темы. Но для того чтобы составить себе представление о том, куда в конечном итоге привели нас исследованные выше процессы, хотя бы самую сжатую характеристику хорезмийских поселений XI—XIII вв., изученных нами, дать все же необходимо.

Обследованные нами памятники мусульманского средневековья Хорезма охватывают время с X по XIV век. Следует отметить выявление еще одной переходной исторической ступени, афригидо-саманидской культуры IX—начала XI века, представленной замками Буран-кала № 2 (IX—X век), Наиб-кала № 1 и Буран-кала № 1 (X—XI век). (См. табл. 58).

Первый замок еще близок к обычным афригидским, хотя и дает, наряду с позднеафригидской, черную и в незначительном количестве поливную керамику саманидского типа. Расположенный близ него замок Буран-кала № 1 дает уже средневековую планировку, но как по керамическим данным (черная и поливная керамика X—XI вв., изредка встречающаяся рельефная керамика согдийско-саманидского

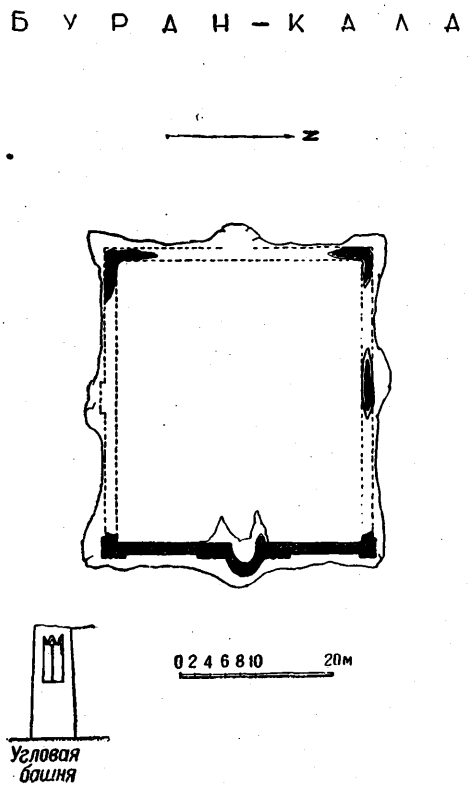


Рис. 89. Буран-кала № 1. План. Обмер В. А. Лаврова.

типа), так и по типу декоровки, где сохраняются афригидские пропорции полуколонн, украшающих своеобразное по своему плану предвратное сооружение с полукруглым башне-

образным выступом в центре, заставляют рассматривать эту культуру, как культуру, предшествовавшую оформлению классической хорезмшахской культуры.

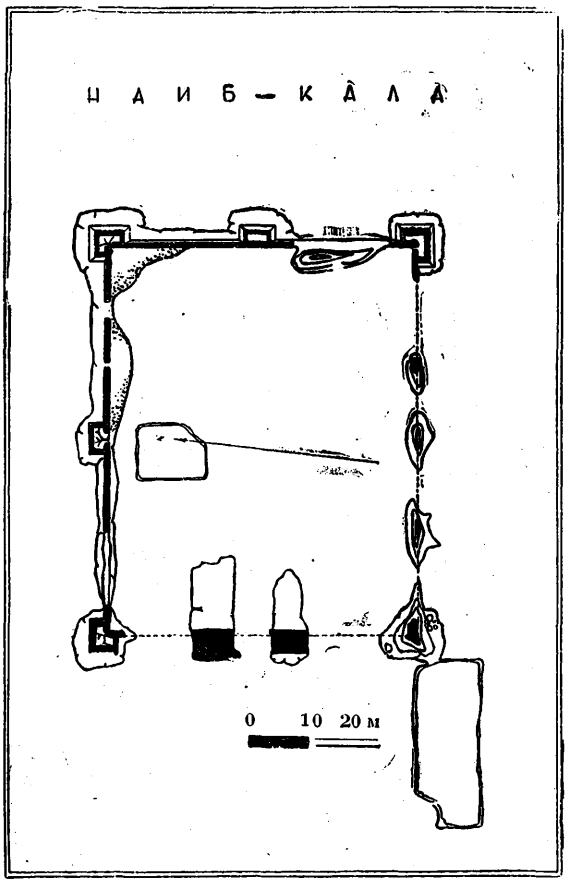


Рис. 90. Наиб-кала № 1. План. Обмер В. А. Лаврова.

К этому же периоду надо отнести замок Наиб-кала в низовьях канала Амирабад (рис. 90). Он отличается от замков времени расцвета средневековой культуры своими квадратными угловыми башнями с усеченно-пирамидальной цокольной частью и с гофрировкой полуколоннами еще близкого к афригидскому типа—в верхней части. По своему архитектурному облику угловые башни Наиб-калы очень близки к донжонам афригидских замков и являются как бы перенесением на угловые башни выработанного для исчезнувших уже донжонов декоративного оформления. Впрочем, надо отметить, что аналогичную декоровку угловых башен мы встречаем уже в афригидское время (Кум-кала, рис. 88, табл. 40, рис. 4).

Объектом длительных работ экспедиции из средневековых памятников явился мертвый оазис Кават-кала[1]. Здесь в 1940 г. нами были проведены следующие работы:

1) снят схематический план всего оазиса, площадью около 8 квадратных километров, и схематические планы 98 объектов на его территории;

2) раскопана крестьянская усадьба близ замка Кават-кала;

3) заложен разведочный шурф в самом замке Кават-кала;

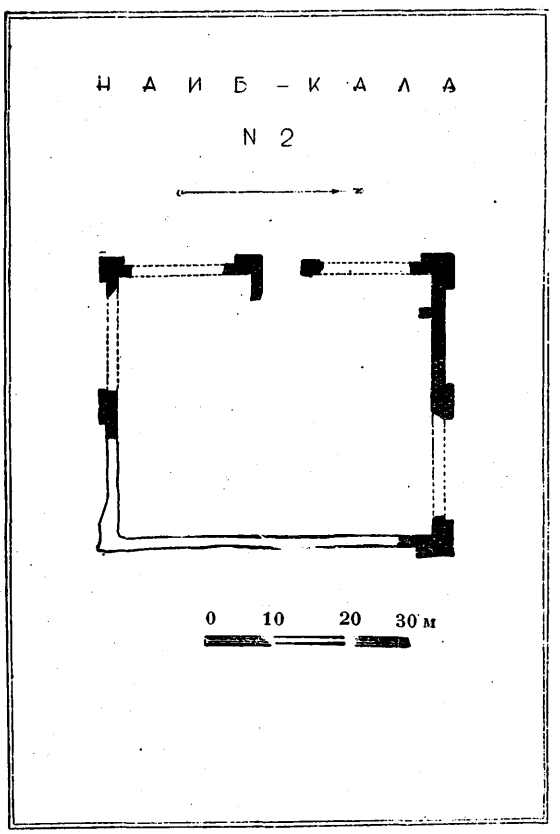


Рис. 91. Наиб-кала № 2. План. Обмер В. А. Лаврова.

4) проведены детальные архитектурные обмеры и описания восьми наиболее значительных объектов.

Снятие плана оазиса (рис. 95) и массовое обследование его замка и усадеб с большой полнотой выявили картину феодального сельского поселения Хорезма. Тип расселения оказался резко отличным от предшествующего афригидского. Прежде всего территория заселена значительно гуще. В то время как в Беркут-калинском оазисе около сотни укрепленных усадеб приходится на площадь около 35 кв. километров, здесь это же количество падает на 8 кв. километров.

В наиболее густо заселенных частях оазиса усадьбы теснятся одна к другой, образуя почти сплошное поселение.

[1] Рекогносцировочное описание оазиса в 1937 г. произвел А. И. Тереножкин (см. его работу «Жилые постройки X—XII вв. н. э. в Кара-Калпакской АССР», Изв. УзФАН, 1840, № 7, стр. 58—73).

Во-вторых, налицо резкая диференциация типа усадеб. Мы видели, что афригидские аристократические замки и земледельческие укрепленные усадьбы совершенно однотипны по плану и структуре, различаясь лишь размерами и отделкой.

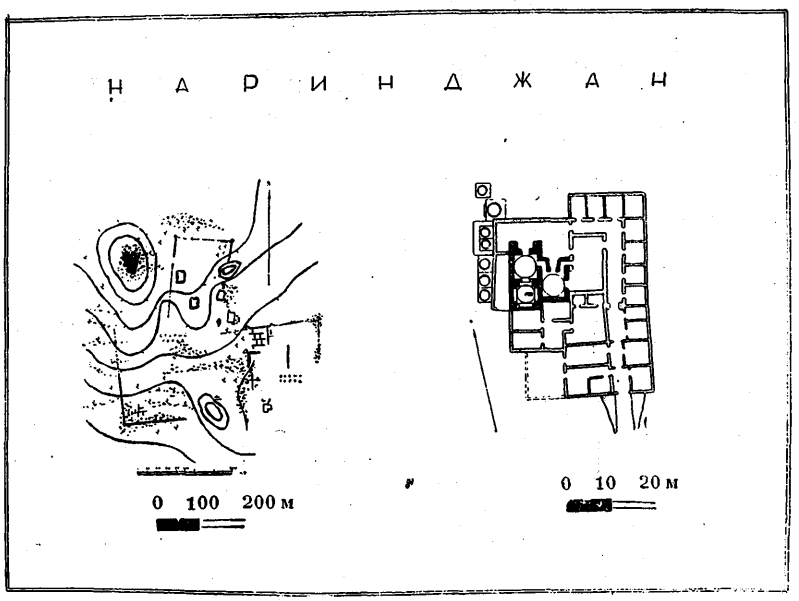


Рис. 92. Городище Наринджан. План. Обмер С. П. Толстова и В. А. Лаврова.

Слева—Общий план городища. Северо-западный бугор—тепе (остаток древнего замка, на котором расположен мавзолей). Прямоугольная планировка вверху в середине—«старый город» X—XI вв. Внизу—«новый город» XIII—XIV вв. Справа—План мавзолея и «каландар-хана»—общежития шейхор.

В поселении XII—XIII вв. картина совершенно иная. На площади оазиса мы имеем всего 5 феодальных замков (считая и громадный замок Кават-кала), к которым тяготеют свыше 90 крестьянских неукрепленных усадеб, отдельные группы которых, расположенные на различных ответвлениях пересекающего оазис с юга на север канала, связаны каждая с определенным замком. Перед нами таким образом законченно-феодальный тип расселения, с резиденцией князя (Кават-кала), замками его вассалов (замок I—IV) и многочисленными крестьянскими усадьбами.

Да и сами замки феодалов сранительно очень слабо укреплены, являясь крепостями скорее по плану и оформлению, чем по функции. Стены тонки, башни малы и лишены бойниц, внешняя поверхность порталов, ворот, стен и башен пышно декорирована изящными полуколоннами, резными панелями и пилястрами. Вокруг замков сохранились следы обширных садов с изящными постройками, также украшенными полуколоннами и резьбой по глине.

Общий мирный облик поселения, пышный и утонченный декоративизм архитектурного стиля резко контрастирует с военной суровостью архитектурного ландшафта афригидской эпохи. Эти два ландшафта ярко иллюстрируют две характеристики, данные Хорезму посетившими его арабскими путешественниками: ал-Макдиси в X веке, на исходе афригидского времени, и Якутом в XIII веке, накануне гибели Хорезмской империи.

Макдиси писал о хорезмийцах поздне-афригидского времени:

«Они люди разумения, науки, фикха, способностей и образования... но в них есть замкнутость и нет изящества, элегантности, блеска и тонкости.... Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою, у них есть способности и удивительные свойства»[1].

Якут, делясь своими впечатлениями о поездке в Хорезм в 1219 г., пишет:

«Я не видел никогда области более обитаемой, чем он (Хорезм)... Непрерывная заселенность, близкие друг от друга селения, много отдельно[2] стоящих домов и замков в его степях, редко падает твой взор в его волостях (рустак) на невозделанное место. Здесь множество деревьев. Большей частью это тутовые деревья и пирамидальные тополя. Они в них нуждаются для построек и кормления шелковичных червей. И нет разницы (в населенности), когда идешь по всем его волостям и когда идешь по базарам. И не предполагаю, что в мире есть область, по благосостоянию превосходящая Хорезм и более населенная, чем он... Большинство селений Хорезма—города, имеющие базары, много жизненных благ и лавок. Редко случается деревня, в которой нет

[1] BGA, 284—285. МИТТ I, 185.

[2] В переводе С. М. Богдановой-Березовской (МИТТ I, стр. 419) ошибочно «отделанных домов и замков». В тексте «отделенных», «обособленных», «отдельно стоящих домов», причем прилагательное «отдельный» относится к домам, а не к замкам.

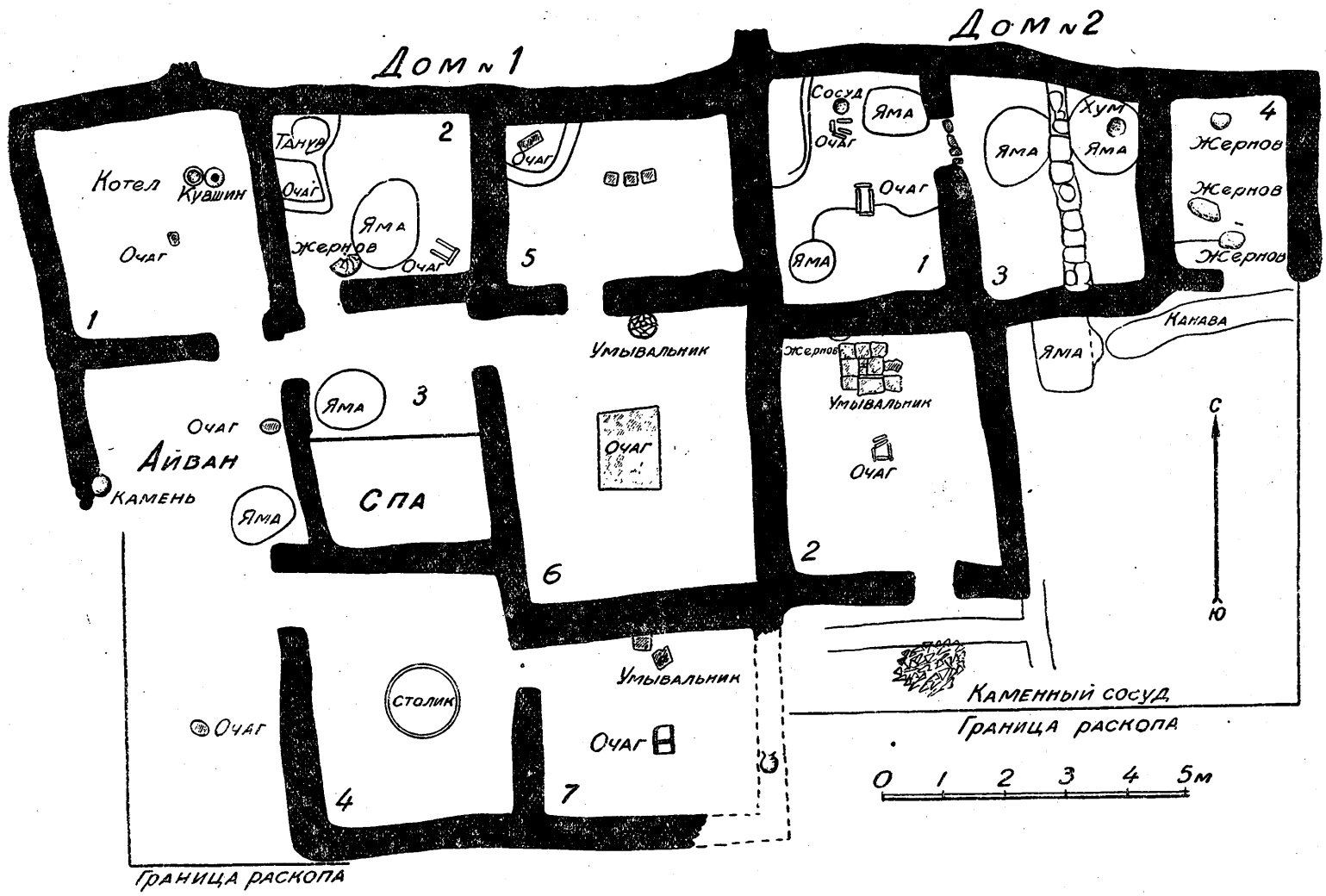


Рис. 93. Раскопки дома в Наринджане. Тип городской застройки X—XI вв. Обмер А. И. Тереножкина.

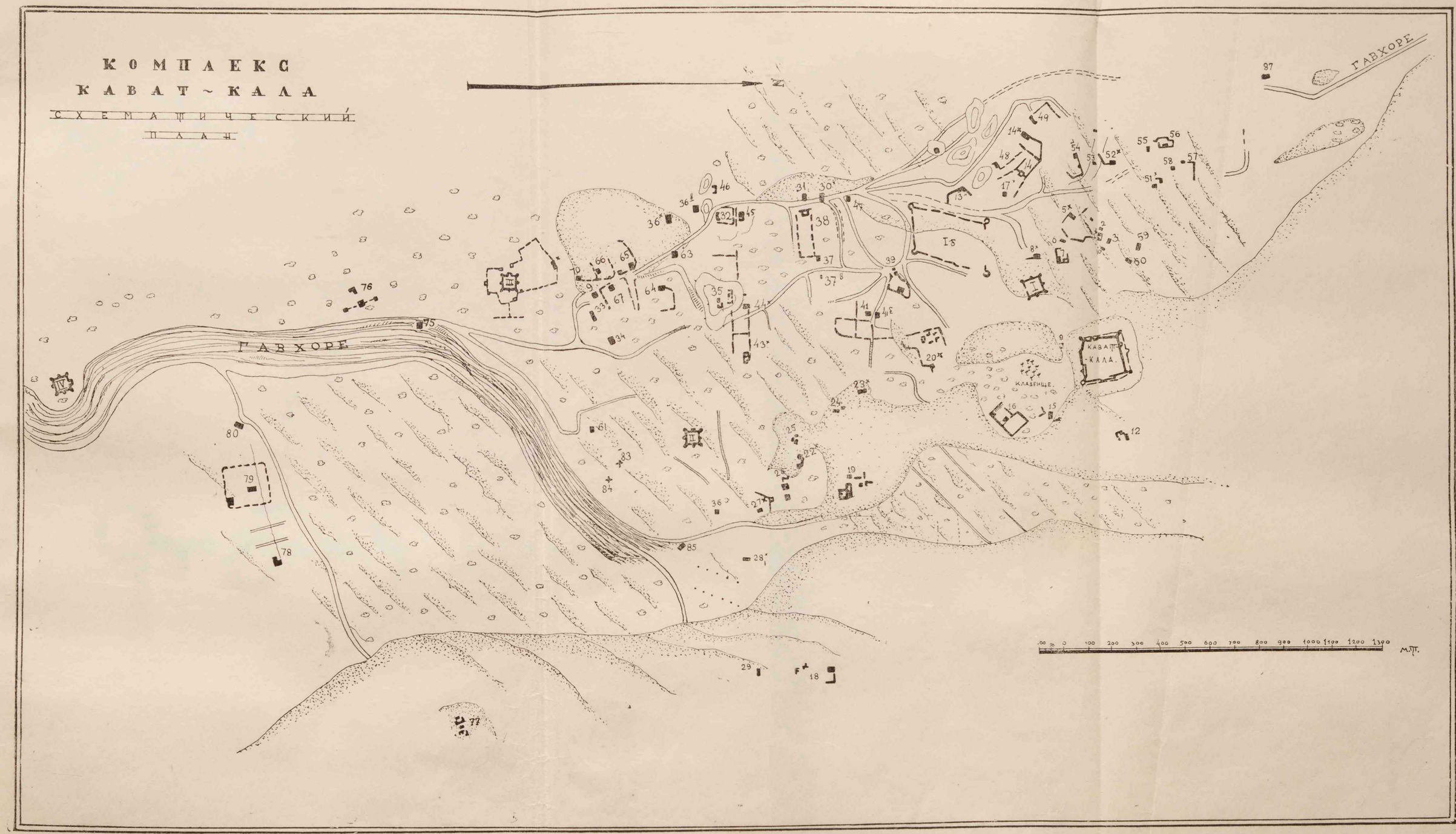

КОМПЛЕКС
КАВАТ~КАЛА
СХЕМАТИЧЕСКИЙ
ПЛАН
ГАВХОРЕ
ГАВХОРЕ
КАВАТ-КАЛА
КЛАДБИЩЕ
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
М.ПТ.

Рис. 95.

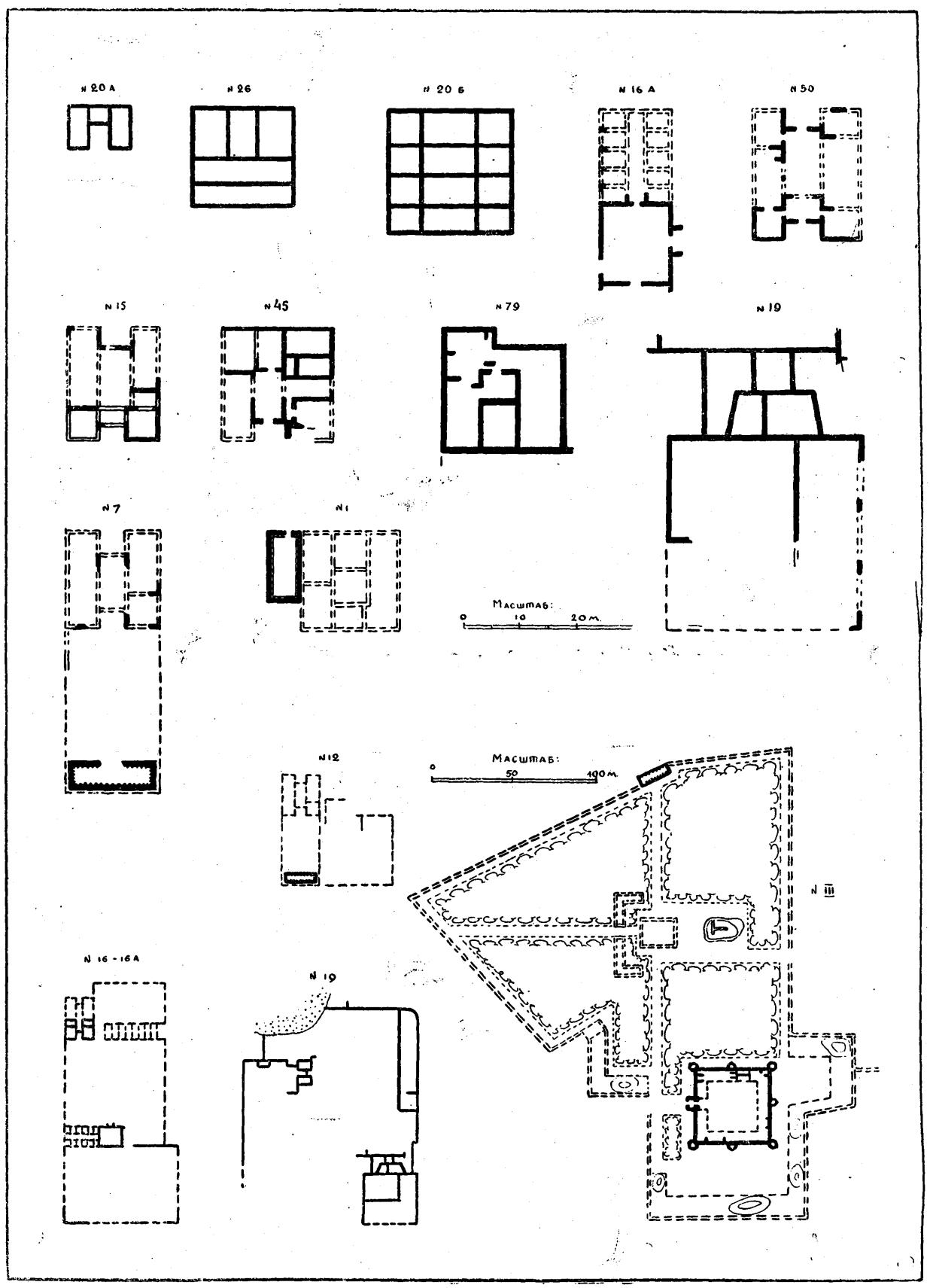


Рис. 95. Усадьбы Кават-кала. Обмер С. П. Толстова, В. И. Пентмана и В. А. Лаврова.

базара. Все это при общей безопасности и полной безмятежности»[1].

Могущественная империя Хорезмшахов, создавшая мощный централизованный военно-бюрократический аппарат, делала ненужными грозные стены феодальных замков. Господствующее положение Хорезма на Востоке, обусловленное тысячелетней традицией и исключительно выгодным местоположением, обеспечило общее повышение благосостояния населения центрального ядра империи. Не говоря уже о богатой хорезмийской феодальной знати, пожинавшей львиную долю плодов политической гегемонии Хорезма, раскопки и обследования крестьянских усадеб говорят об относительно высоком уровне благосостояния крестьянства.

Это создавало предпосылки для относительного притупления классовых противоречий, что вместе с обеспеченной сильной военной организацией внешней безопасности явилось условием сложения того типа поселения, который мы видим в Кават-кала. Это временное «социальное перемирие» в самом Хорезме резко контрастировало с обострением классовой борьбы и феодальных усобиц в периферических частях Хорезмийской империи—в Хорасане и Мавераннагре, на которых со всей силой сказывалась обратная сторона этой «Pax chorasmica», явившаяся одной из предпосылок крушения Хорезма в роковом для него столкновении с монголами. Раскопки и обследования крестьянских усадеб дали ряд интересных сведений о материальном производстве, социальном укладе и идеологии Хорезма эпохи Великих Хорезмшахов.

Крестьянская усадьба представляет собой в эту эпоху большую площадь, приближающуюся часто к размерам усадьбы кушанского времени, сильно варьирующую по форме (в силу тесноты расселения, заставляющей соседние усадьбы приспосабливаться друг к другу, к арыкам и дорогам), окруженную глинобитной стеной. Одну из сторон усадьбы занимает обычно большой многокомнатный дом (по планировке приближающийся к современному узбекскому дому Хорезма), в комплексе помещений которого особое место занимает так называемая «каптар-хана». Так местным населением именуются крайне своеобраз-

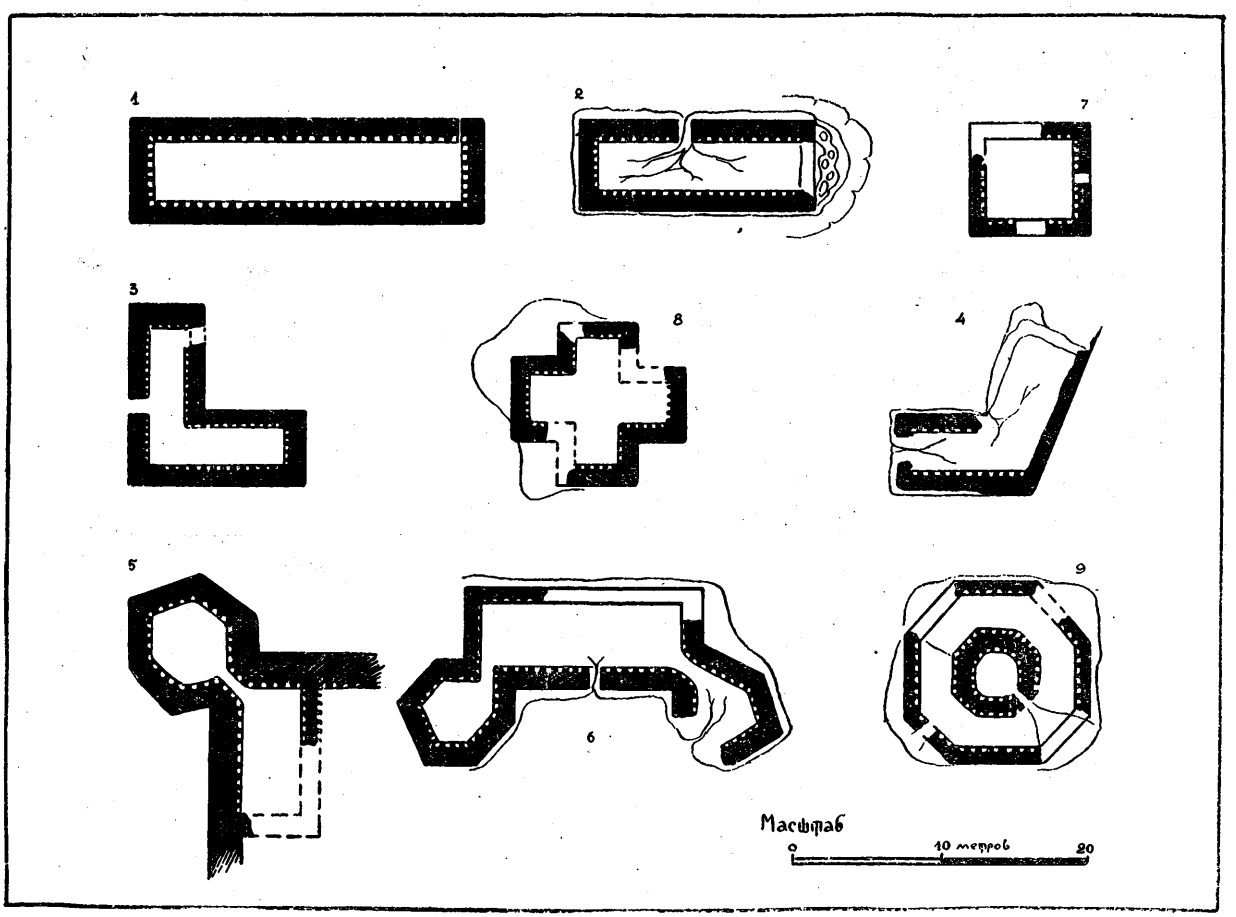


Рис. 96. Типы каптар-хана. Обмеры В. Пентмана, В. Лаврова, В. Пилявского. №№ 1—6—Кават-кала; № 7—9—окрестности Змухшира.

[1] Якут, изд. Wüstenfeld, II, стр. 482.

ные памятники, имеющие вид очень длинных коридорообразных построек, достигающих длины от 6—8 до 25—30 м при стандартной ширине около трех метров. Каптар-ханы и Кават-калы сильно варьируют в плане, в зависимости от своего места в системе усадьбы. Наряду с преобладающим, прямоугольным типом, есть каптар-ханы в виде двух сторон прямого или тупого угла, замыкающие один из углов усадьбы, каптар-ханы в виде буквы «Т» и еще более своеобразные, на которых мы остановимся ниже (рис. 96—97).

Стены «каптар-хан»—высокие и мощные, всегда несущие внутри следы наличия межэтажного перекрытия (балочные гнезда в боковых стенах и жолоба для концов жердей настила—в торцовых). Внутренняя поверхность стен сплошь покрыта небольшими (25 × 25 см. при глубине около 15 см), оформленными обычно в форме стрельчатых арочек, расположенными правильными рядами, нишками (табл. 66).

Постройки этого типа, встречавшиеся ранее единицами в различных частях Средней Азии и Восточного Туркестана, были истолкованы некоторыми исследователями, в соответствии со смыслом народного названия этих сооружений («каптар-хана»—значит буквально «дом голубей») как станции голубиной почты. Действительно, внешне они несколько напоминали античные и современные восточные, например афганские, голубятни.

Однако работы Хорезмской экспедиции позволяют пересмотреть эту точку зрения и окончательно решить вопрос об этих загадочных постройках. Против старой гипотезы говорит ряд аргументов, любого из которых, взятого в отдельности, достаточно для того, чтобы ее отвергнуть.

1. Нахождение таких «голубятен» во всех без исключения крестьянских усадьбах и феодальных замках Кават-калы.

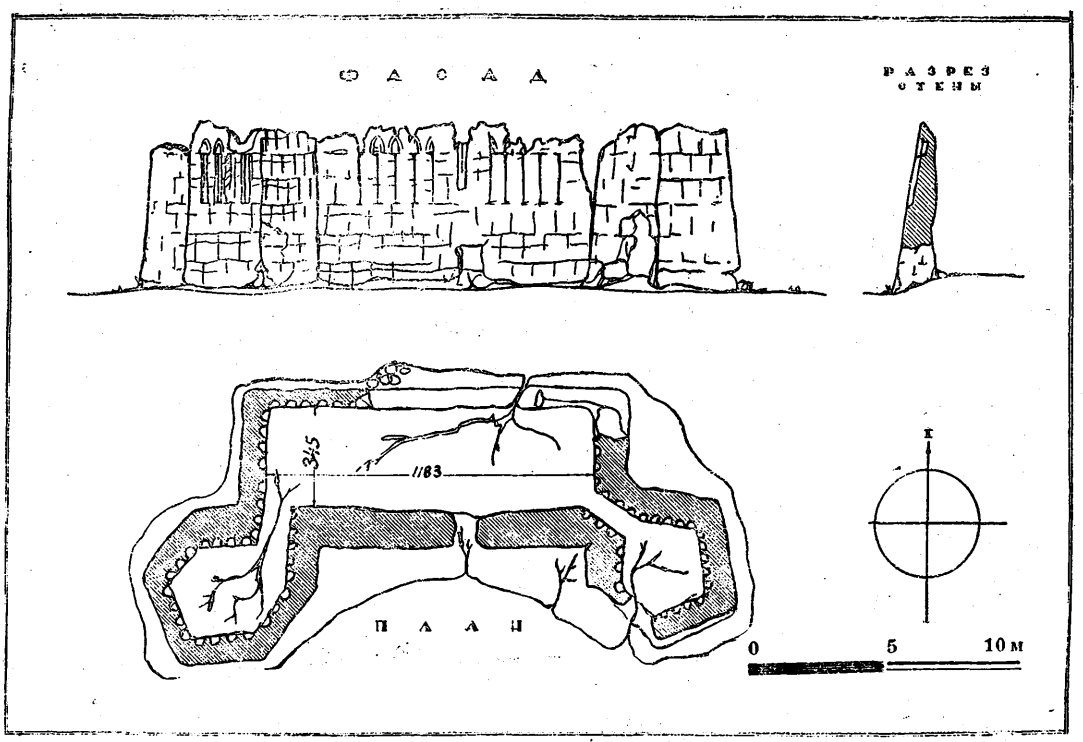


Рис. 97. Дом № 22 (Кават-кала). Обмер В. Пентмана.

2. Обследование нишек десятков «каптар-хана», показавшее, что повсюду они сохранили первоначальную фактуру внутренней поверхности, отражающую технологию их изготовления (налеп, вырезывание), что исключает самую возможность предположения, что там обитали какие-либо живые существа.

3. Полное отсутствие всяких следов голубиного помета в раскопках и шурфах и, наконец, содержание этих построек, выяснившееся благодаря проведенным нами раскопкам одной из них[1].

Раскопки усадьбы № 1 (нами была нарочито избрана одна из самых маленьких усадеб) показали, что «каптар-хана» не является отдельной постройкой, а входит как одна из комнат в комплекс пятикомнатного дома, замыкающего южную стену небольшого двора усадьбы, площадью около 300 кв. м (рис. 98, табл. 64, 65). Вхо-

[1] Ответственной за раскоп, под нашим наблюдением, была студентка МГУ Н. Н. Вакторская. Архитектурную фиксацию вел студент Арх. ин-та В. И. Пентман.

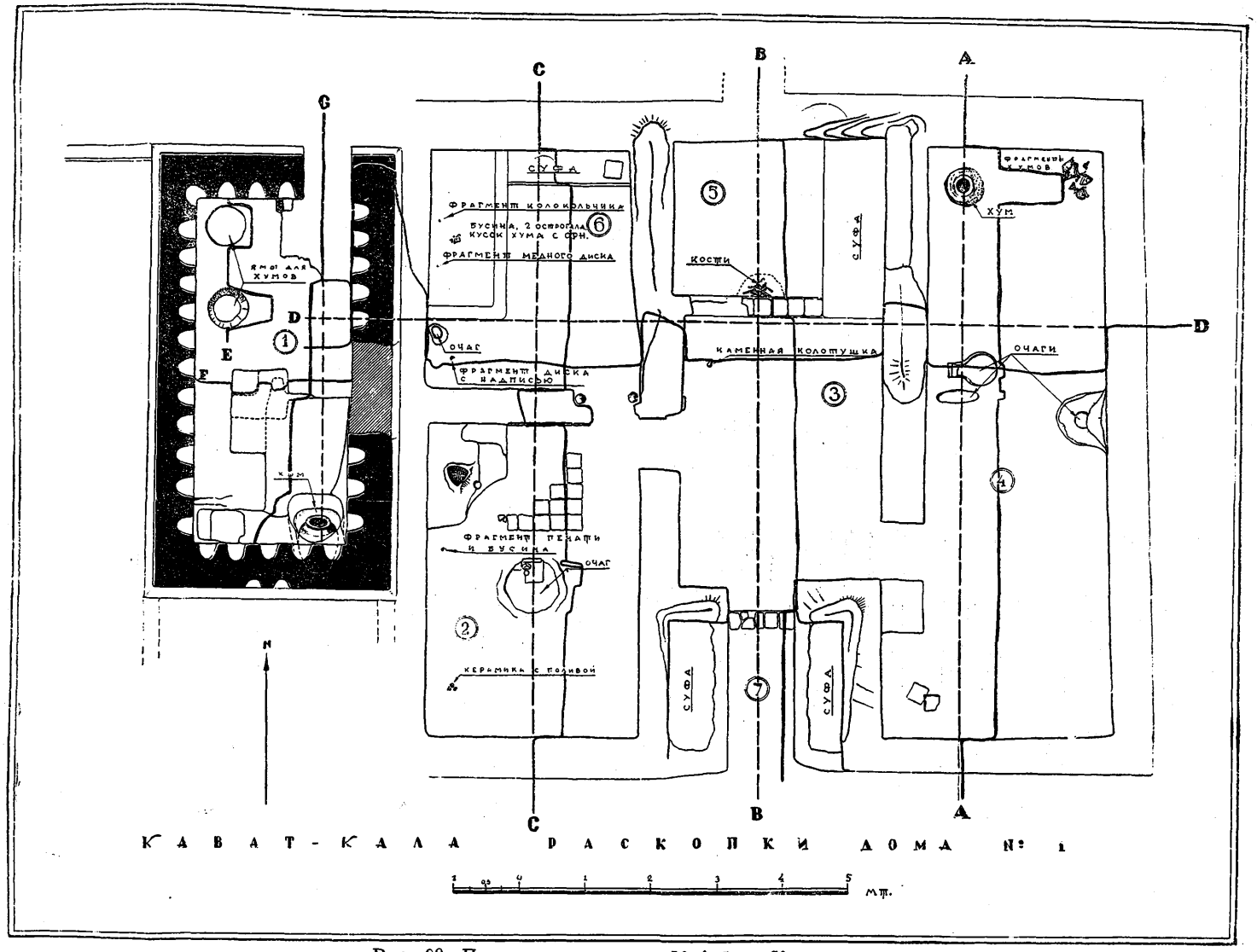


Рис. 98. План раскопок дома № 1 близ Кават-кала

ды в каптар-хану были с одной стороны со двора, а с другой—из смежной комнаты. Внутри каптар-ханы была обнаружена замыкающая южную и западную стену глинобитная суфа (лежанка). В яме под южной стеной каптар-ханы был обнаружен врытый в наклонном положении хум. На полу каптар-ханы в изобилии оказались фрагменты разнообразной хозяйственной и бытовой керамики, в том числе много фрагментов люстровой «рейской» посуды и остатки от трапез—косточки персика и абрикоса и многочисленные разбитые кости животных.

Все это позволяет заключить, что каптар-хана соединяла в себе функции жилого помещения, видимо (ввиду отсутствия кухонного очага), парадного характера, нечто вроде «михман-ханы»—«гостиной» современного узбекского дома, с функциями хозяйственного хранилища.

Что касается нишек, я склонен видеть здесь гипертрофированное декоративное развитие обычных нишек любого средневекового и современного среднеазиатского дома, служащих в качестве полок для хранения разнообразного бытового инвентаря—посуды, одежды, постелей, книг и т. д. И сейчас таких нишек в среднеазиатских домах десятки, а иногда и сотни, но разница в том, что они сильно варьируют по размерам, в зависимости от назначения и по расположению. В пользу того, что первоначально нишки хорезмийских домов были ближе по типу к современным, говорит обнаружение в стене комнаты донжона одной из афригидских усадеб в окрестностях Беркут-калы нескольких ниш различных размеров. В одной из комнат замка № 3 в районе Кават-калы также обнаружены большие и малые нишки.

Мода эпохи хорезмшахов подчинила утилитарные функции чисто декоративным, сделав нишки почти бесполезными, но зато эффектно и своеобразно оформляющими стены полутемных помещений «каптар-хана». Можно предположить, что в этих нишках стояла мелкая стеклянная и металлическая посуда и изящная, не уступающая фарфору люстровая керамика, что значительно усиливало эффект архитектурной декорировки.

Это находит подтверждение в относящемся к XIV веку описании жилища ургенчского кадия Абу-Хафса Омара у ибн-Батуты:

«По совершении молитвы я уходил с ним в его дом, находившийся близ мечети, и входил с ним в его приемную, одну из чудеснейших зал, в которой (разостланы) роскошные ковры, стены обиты сукном и с множеством углублений, а в каждом углублении серебряные позолоченные сосуды и иранские кувшины. Таков обычай у жителей этой страны убирать свои дома»[1].

Нет никакого сомнения, что «приемная» ургенчского кадия представляла собой одну из тех огромных и роскошных каптар-хана, тип которых описан нами в Кават-кала и ряд развалин которых зарегистрирован М. В. Воеводским, а впоследствии В. И. Пилявским и нами во многих пунктах хорезмского левобережья, где наблюдал их ибн-Батута.

Наша гипотеза целиком увязывается со всем характером развития хорезмийского стиля XII—XIII века. На смену суровому конструктивизму афригидской эпохи, так вяжущемуся с характером хорезмийцев этого времени, описанному Максиди, приходит утонченный, изысканный и пышный декоративизм эпохи хорезмшахов. Это сказывается в посуде, с ее полихромной росписью, с ее люстром. Неполивная посуда покрывается богатейшим лепным и резным орнаментом, превращающем некоторые хумы чуть ли не в архитектурные памятники, так богата горельефная орнаментация, спускающаяся в виде причудливых сталактитов с венчика на плечи сосуда (рис. 99). Военный функционализм укреплений замков сменяется чисто декоративным использованием ранее функционально важных деталей сооружений—башен, предвратных сооружений. Сами крепостные стены становятся лишь полем для изысканной орнаментации (табл. 61—63). Особенно характерны в этом отношении некоторые «каптар-ханы» богатых усадеб, имеющие крайне своеобразный план (рис. 97, табл. 63, р. 1).

Такие «каптар-ханы», замыкая передний фасад усадьбы, украшены по углам двумя маленькими гранеными башнями, образуя в плане странную фигуру в виде буквы «П», с расходящимися в стороны ножками и вытянутой перекладиной. Никакой военной функции, конечно, ни башни, ни сама «каптар-хана», закрывающая усадьбу лишь с одной стороны, не могли нести. Здесь налицо лишь стремление богатого землевладельца оформить парадный фасад своей усадьбы в виде «замка», не претендуя на соответствующее оформление ее задворков, где ограда усадьбы такого мелкого феодала ничем, видимо, не отличалась от оград усадеб крестьян. Здесь можно видеть истоки столь типичного как для современной сельской, так и для дореволюционной городской гражданской архитектуры Хорезма, оформления углов построек в виде декоративных башенок.

---

[1] Voyages d'Ibn Batoutah, texte arabe, accompagné d'une traduction, par C. Défremery et B. U. Sanguinetti. Paris. 1853—1858, III, 9. (Ср. В. Г. Тизенгаузен. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. I. Извлечения из сочинений арабских. СПБ, 1884, стр. 310).

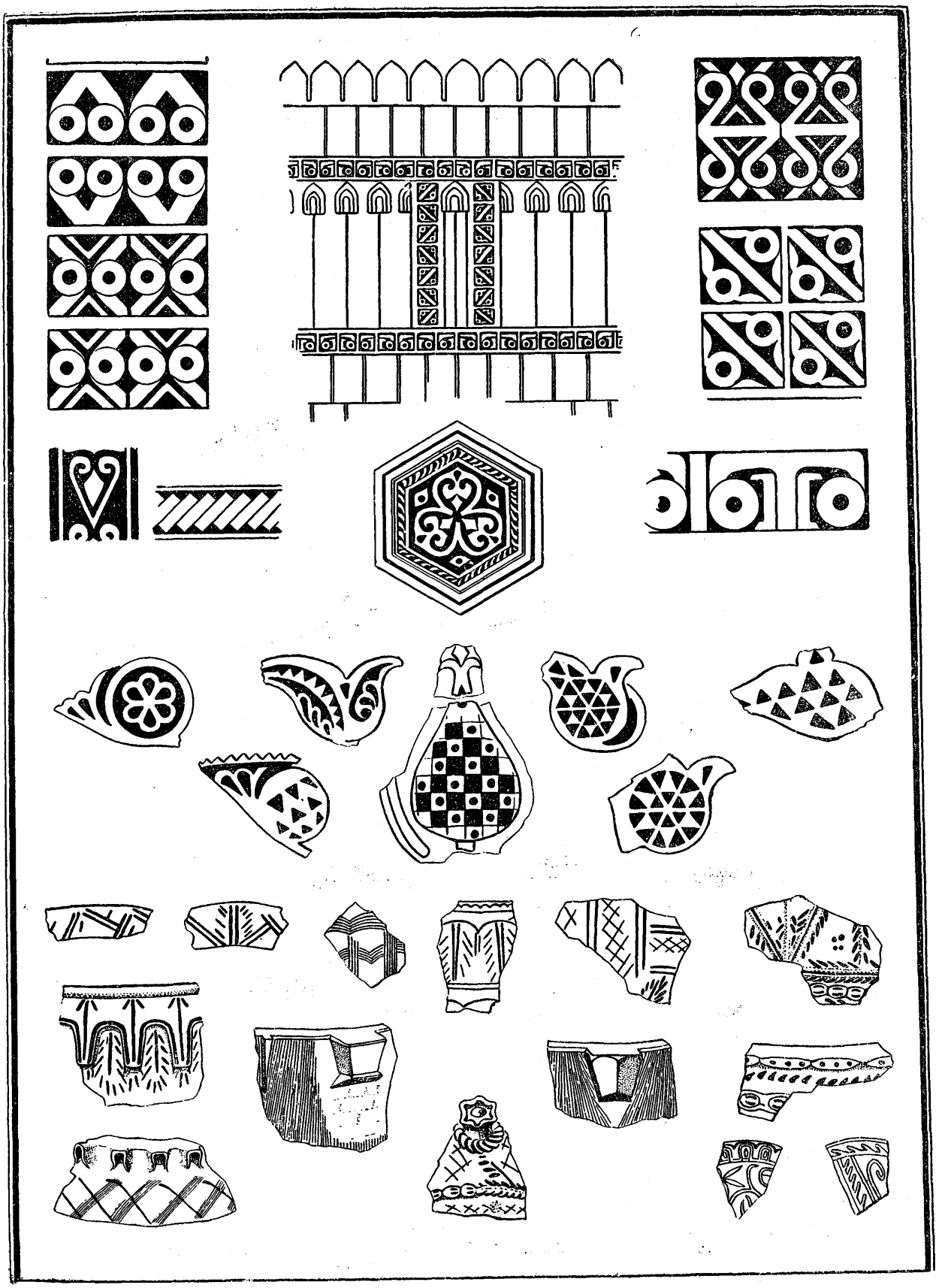


Рис. 99. Кават-кала. Архитектурные и керамические орнаменты.

Подводя итоги, можно сказать, что, видимо, в «каптар-хана» мы видим пережиток афригидских донжонов, полностью утративших к этому времени военную функцию и сохранивших лишь функцию амбара и парадного помещения. Двухэтажная «каптар-хана», включенная в комплекс многокомнатного дома-усадьбы, поднималась над ним в центре или с одной из сторон, или на углу, как своеобразная башня, придавая архитектурному ландшафту средневекового Хорезма специфический оттенок, несущий в себе отголоски афригидского архитектурного ландшафта, но уже без его функциональной обусловленности.

Возвращаясь к социально-экономической стороне хорезмийского быта, отметим, что семья хорезмшахского времени сохраняет свойственный афригидскому времени тип, оставаясь большой семьей. Нет никаких оснований говорить об уменьшении ее размеров, как это делает А. И. Тереножкин, ошибочно принявший «каптар-хана» за «дома», в то время как это лишь составные части действительных домов[1]. Что же касается этих последних, то они, как правило, значительно больше и диференцированней малых «замков» афригидских времен. Впрочем, как мы знаем, большая семья (еще в 1930 г. нередко до 60 человек) и большесемейная усадьба—«курганча» (крепостца) дожили в Центральном Хорезме вплоть до наших дней.

Огромные социально-экономические сдвиги, происшедшие в Хорезме за протекшие со времен афригидов столетия, изменив самый способ производства, разделив свободных «дикхан» патриархально-рабовладельческого Хорезма на эксплоататоров—феодалов и эксплоатируемых—крестьян, мало затронули эту неподвижную, консервативную, идущую из далеких исторических глубин сторону хорезмийского быта. И на всем протяжении истории феодального Хорезма именно большесемейная домовая община остается реликтом первобытнообщинного строя, который, неразрывно связанный с продолжающим жить и каждый день заново порождаемым самой этой общиной рабством, накладывает свой отпечаток на всю дальнейшую историю Хорезма вплоть до начала XX века.

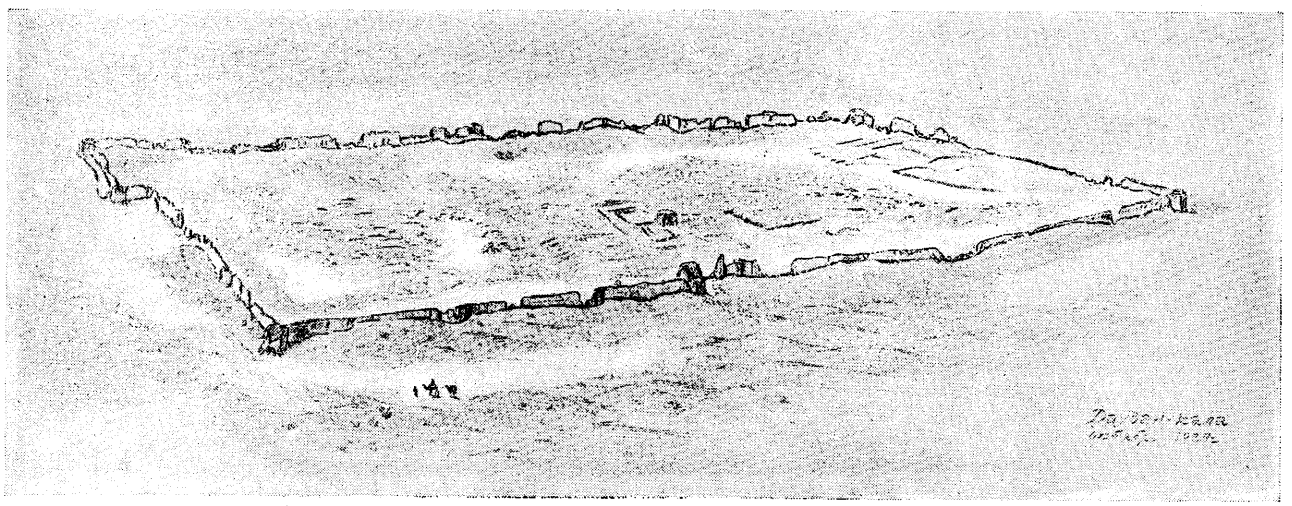


Рис. 100. Даудан-кала. Перспективная зарисовка худ. Н. П. Толстова.

Если, как мы видим, частная фортификация Хорезма переживает в хорезмшахскую эпоху глубокое декоративное вырождение, то этого отнюдь нельзя сказать про государственную фортификацию—укрепления пограничных крепостей и городов.

Помимо описанного в свое время М. В. Воеводским Змухшира, мы располагаем сейчас данными по целому ряду таких городов и крепостей. Отметим г. Наринджан (рис. 94—95), небольшой город на Чермен-ябе—Даудан-кала (рис. 100—101), городок Кават-кала—центр описанного выше оазиса (рис. 107), город Джанпык-кала на западной оконечности Султан-уиздага (рис. 103), город Дарган на правом берегу Аму-Дарьи, большие пограничные крепости Гульдурсун (рис. 106) и Кыз-кала (в правобережье Средней Аму-Дарьи) (рис. 104) и целый ряд небольших укреплений на южных коммуникациях Хорезма, выявленных во время аму-дарьинского маршрута 1939 года.

Как этот маршрут, так и маршрут по Чермен-ябу дают нам яркое представление о продуманных и систематических мероприятиях по укреплению границ и торговых и страте-

[1] См. Изв. УзФАН, 1940, № 7, стр. 73.

гических путей, осуществлявшихся правительством Хорезмшахов. Чермен-ябский маршрут кроме того дает нам убедительную картину экономического расцвета Хорезма XI—XII вв.,

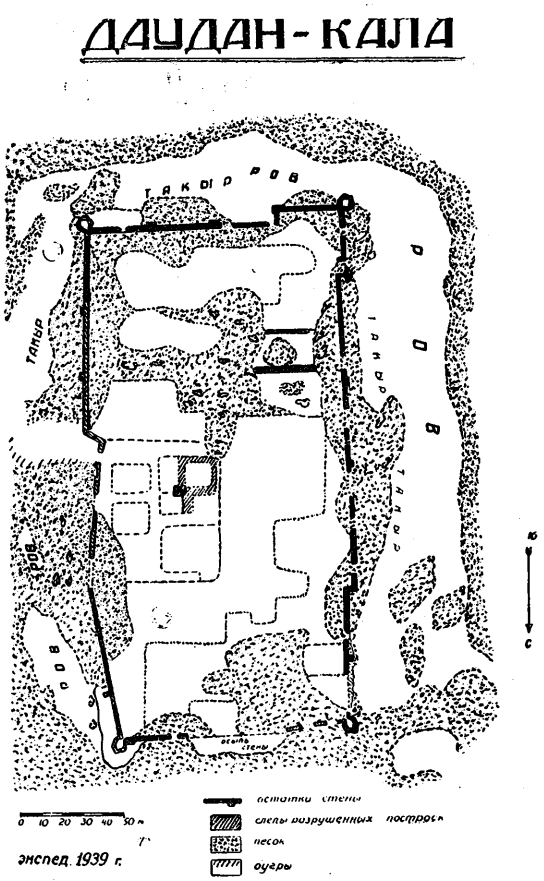


Рис. 101. Даудан-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

подготовившего подъем империи Хорезмшахов.

Эпоха расцвета афригидской культуры VII—VIII вв. н. э. ни в развалинах, ни в подъемном материале почти не представлена на Чермен-ябе. Повидимому, сокращение культурной полосы в эпоху раннего средневековья здесь носило значительно более катастрофический характер, чем на правобережье. Не связано ли это с переносом на Восток центра политической жизни Хорезма в афригидское время?

Нумизматические материалы Хорезма[1] позволили нам уже в 1938 г. поставить вопрос о связи раннеафригидской и эфталитской чеканки. Может быть, в свете этих данных не столь уже невозможна будет старая гипотеза Лерха—Веселовского о связи с Хорезмом первоначального ядра эфталито-кидаритского государства[2]. Правобережье Амударьи—«эфталитская сторона» par excellence у арабских авторов; левобережье—зона длительных войн между среднеазиатскими «гуннами» и сасанидским Ираном. Не в этом ли ключ и к тому, что на правом берегу, где, очевидно, более быстро и бурно шел процесс смены кушанской культуры афригидо-эфталитской, жизнь античных развалин обрывается на более ранней дате, но зато особенно пышно расцветает афригидская культура? Между тем на левом берегу, дольше сохраняющем традиции античного Хорезма, позднекушанская культура сменяется длительным периодом упадка и катастрофического запустения колоссальных площадей орошенных земель.

[1] С. П. Толстов, ВДИ, 1938, № 4, стр. 128.
[2] Н. Веселовский. Очерки историко-географических сведений о Хивинском ханстве. СПБ, 1877.

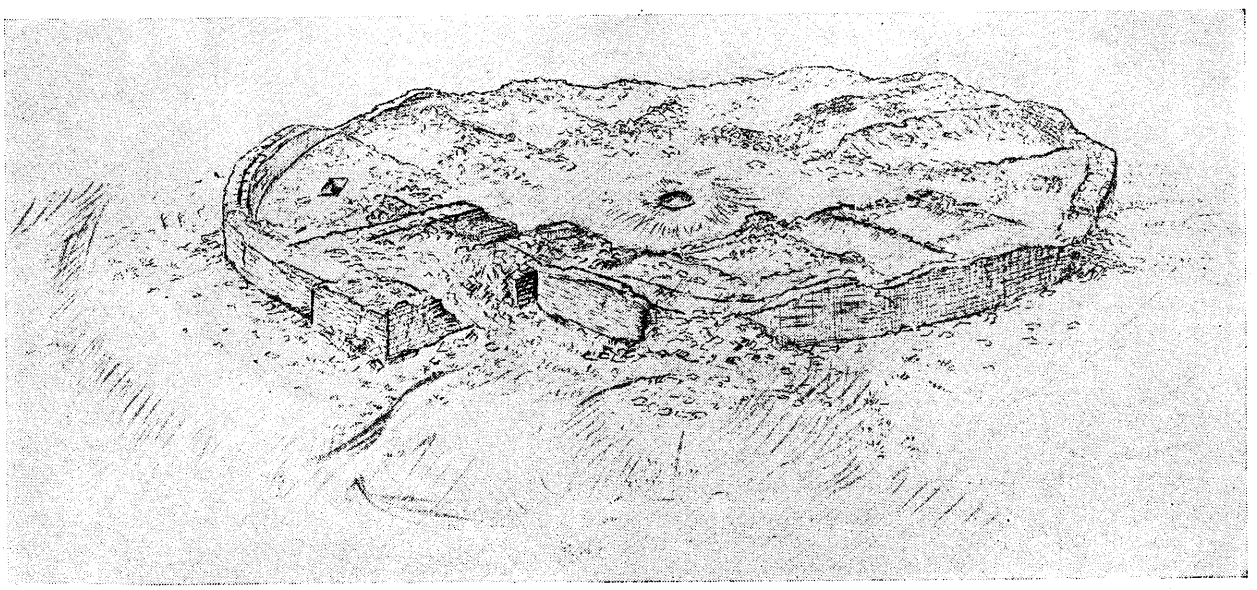


Рис. 102. Дэу-кала. Перспектива. Зарисовка Н. П. Толстова.

Но тем более бурным и мощным оказывается на левобережье подъем средневековой хорезмийской культуры XI—XIV вв. Русло Чермен-яба вновь наполняется водой. Культурная полоса не достигает, правда, своих античных пределов—крепости Гяур-кала, но включает ближайшие к ней развалины Шах-сенем. Древняя Шах-сенемская крепость подвергается перестройке и приспосабливается для нужд нового населения. Рядом с ней строится, частью из старого материала, эффектная укре-

В Кызылча-кала и Шах-сенем любопытны покрывающие на большую высоту стены близ ворот и внутренность башен многочисленные, часто повторяющиеся тамгообразные знаки. Наиболее частые—тройная развилка, крест с поперечными чертами на концах, круг, полукруг, знаки в виде «п» и др.

Повидимому, эти знаки должны быть отнесены к позднему средневековью, ко времени, когда крепости стояли уже в развалинах.

Думаю, что возможны и некоторые топони-

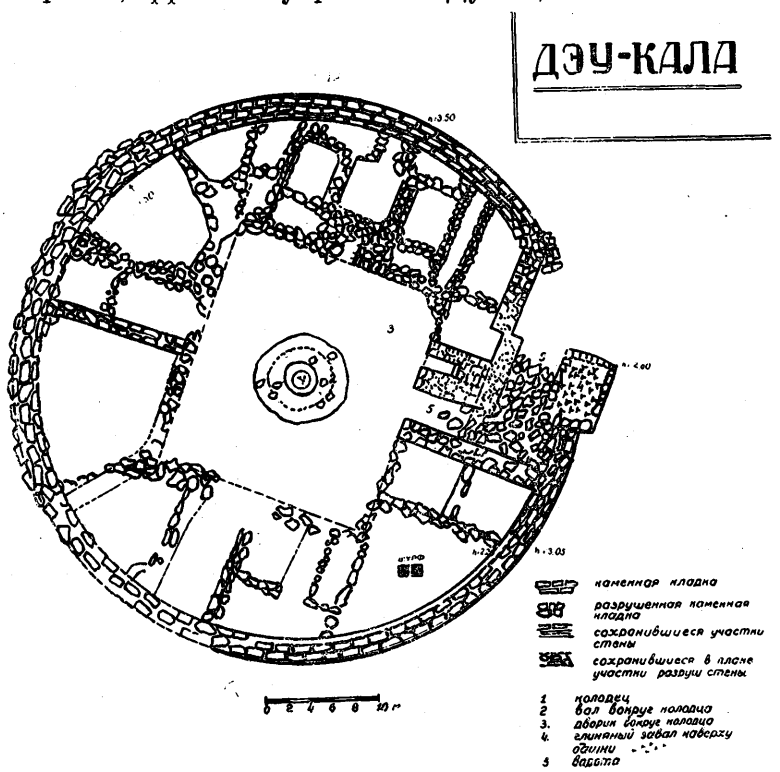


Рис. 103. Дэу-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

пленная усадьба Шах-сенем № 2. Заново строятся крепости Кызылча и Даудан, становящиеся, как и Шахсенем, центрами густо заселенных рустаков. Коренным образом перестраивается Змухшир. Жизнь расцветает на его такырах и на такырах Куня-уаза.

Последний из обследованных нами памятников Дэу-кала—крепость, датируемая хорезмийской керамикой XII—XIII вв. (рис. 102—103, табл. 71). Она представляет собой небольшой круглый форт (диаметр 51,5 м), окруженный мощной (до 2 м толщины) стеной из огромных (до 96 × 53, при толщине 16 см) плит тесаного камня. В середине дворик с колодцем, окруженный карэ каменных жилых помещений для гарнизона.

Расположение Дэу-кала заставляет видеть в нем форпост военной экспансии поднимающегося Хорезма против Центрального и Западного Хорасана.

мические заключения в отношении Чермен-ябской зоны развалин.

Арабские писатели X в. среди каналов левобережной части Хорезма называют—в порядке с Ю на С—каналы Хазарасп, Кардаран-хас, Хива, Мадра и Вадак[1]. Наибольший интерес для нас представляет канал Мадра, который, по Истахри, был «в два раза больше Гаухорэ». Истахри указывает дальше, что по этому каналу «плавают суда до Мадра»[2]. Трудно пока

[1] Истахри, 302—303, МИТТ, стр. 179.

[2] Никаких сведений о гор. Мадра, кроме приведенного выше упоминания, у арабских авторов нет. См. В. В. Бартольд. Орошение, стр. 81. Лишь у Сам'ани (МИТТ, стр. 399) мы встречаем вскользь упомянутый пункт с названием Мадри Кат, причем первое слово, ввиду отсутствия огласовки, может с одинаковым успехом читаться Мадра. В этом сочетании название ассоциируется с именем селения Батыр-Кент, близ Тахта, близ которого сохранились пока нами не обследованные раннесредневековые развалины.

локализовать этот последний пункт (может быть, одна из развалин к югу от Тахта), но в системе современных крупных каналов юго-западного Хорезма этому каналу соответствует ближе всего канал Газават, идущий сейчас далее Тахта, почти достигая Змухшира, и наиболее близко доходящий своими низовьями до прослеживаемых верховьев Чермен-яба.

Вполне возможно, что функционировавшая в X в. часть Чермен-яба носила название Мадра, по имени города, расположенного тогда в конце его судоходной части.

С несколько большей определенностью мы можем говорить о локализации одного из пунктов, часто называемых средневековыми географами и хронистами, несомненно расположенного в низовьях Чермен-яба. «При Якуте,—писал В. В. Бартольд,—на пути из Гурганджа в Шахристан и Неса (т. е. в среднюю часть южной Туркмении. *С. Т.*) последним местом Хорезма был населенный городок Субурна, находящийся от Гурганджа в 20 фарсахах»[1].

Якут упоминает этот пункт дважды под двумя вариантами названия: Субурна[2] и Субарни[3].

Под именем Субурли سوبرلى —явное графическое искажение سوبرى Якута—мы встречаем этот городок с указанием расстояния от Гурганджа в 20 фарсахов, у ибн-ал-Асира[4] под 1172—73 годом.

Последним населенным пунктом между Гурганджем и Шахристаном на основной караванной магистрали было в XI—XIII вв., по данным наших разведок, поселение, развалины которого известны ныне под именем Шах-сенем. Расстояние по прямой от Куня-Ургенча до Шах-сенем около 85 км (14 фарсахов). Если мы учтем, что расстояние это должно быть, конечно, увеличено за счет отступлений пути от прямой, что современная кратчайшая караванная дорога от Куня-Ургенча до Шах-сенем, вероятно, более короткая, чем средневековая, так как идет по пустынной местности, насчитывает около 100 км, разница в указанном у ибн-ал-Асира расстоянии Субурна—Гурганджа с расстоянием Шах-сенем—Куня-Ургенч будет уже не столь велика.

Разведки по правому и левому берегу Амударьи также дали значительные результаты для характеристики исторической динамики южных границ Хорезма (см. карту 1).

Прежде всего можно считать установленной южную границу античной хорезмийской культуры. На правом берегу она не поднималась выше развалин Топрак-кала (Аму-дарьинская) и небольшого квадратного античного городища Даш-кала № 2.

На левом берегу граница античного Хорезма спускается гораздо южнее. Самым южным памятником кангюйско-кушанской культуры здесь является одна из двух крепостей Коша-кала.

Согласно единогласному свидетельству арабских авторов, культурная полоса Хорезма на левом берегу в ранне-мусульманское время начиналась с города Тахирии. В. В. Бартольд отожествлял этот пункт с развалинами Кетменчи[1]. Но они оказались только укрепленным постом—рабатом или караван-сараем. С. А. Ершов вполне основательно идентифицирует с Тахирией развалины города Дая-хатын, уже существовавшего в раннемусульманское время[2].

Культура правого берега в эту эпоху началась от города Гарабхашна, расположенного ниже верховьев Гаухорэ[3]. Это положение как будто полностью подтверждается нашими материалами. Выше Тюя-Муюна нам не удалось обнаружить никаких следов поселений периода, отделяющего кангюйско-кушанское время от времени возвышения средневекового Хорезма.

Основная масса памятников как правого, так и левого берега относится ко времени XI—XIII вв., скорее даже к XII—XIII вв., времени «Великих Хорезмшахов».

Чаще всего это небольшие однотипные, как бы построенные по одному плану четырехугольные пахсовые крепости со слабыми остатками культуры. Таковы: Кок-огуз, Кукертли, Сартараш, Эшек-рабат.

Наиболее значительным, своеобразным и эффектным из развалин правого берега является комплекс Кыз-кала—Йигит-кала, на границе Узбекской и Туркменской ССР.

Плоскую вершину одной из останцовых возвышенностей, господствующей над прибрежной полосой, занимает громадная крепость Кыз-кала (рис. 104) неправильной подтреугольной формы. Длина 420 м, наибольшая ширина 180 м.

Стены крепости толщиной 1,5—2 м сложены из дикого камня, из неправильных глыб песчаника, положенных на глиняный раствор. Сохранившаяся высота стен не превышает 1,5—2 м. Однако, судя по сохранившемуся возле ворот останцу, первоначально стена до-

---

[1] Бартольд. Орошение, стр. 87.
[2] Якут, изд. Wüstenfeld III, 32, МИТТ, I, стр. 423.
[3] Якут III, 182, МИТТ I, стр. 424. Ср. Сам'ани у Бартольда, Туркестан, стр. 153.
[4] Ибн-ал-Асир, изд. Tornberg XI, 247, МИТТ, I, стр. 404.

[1] Орошение, стр. 79, «Туркестан», II, стр. 142.
[2] Еще раньше на возможность такой идентификации указывал А. А. Марущенко, «Туркменоведение», 1930, № 12, стр. 16.
[3] Бартольд, Туркестан, II, стр. 143. Орошение, стр. 81, МИТТ, I, стр. 179.

стигала высоты около 10 м. Ворота защищены закругленным предвратным сооружением. В крепость ведет высокая стрельчатая арка из жженого кирпича, наполовину разрушенная. За аркой опять идет изогнутый в виде спирали проход на двор крепости.

Вдоль стен крепости тянутся многочисленные помещения из дикого камня, очевидно для гарнизона. Особенно застроен северо-восточный конец городища. На южном выступе городища расположены развалины мечети.

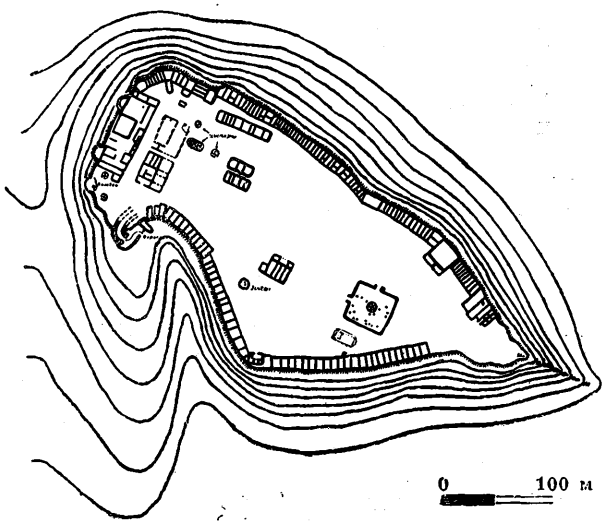


Рис. 104. Кыз-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

На площади городища расположено пять цистерн различных размеров, круглой и овальной формы, и высеченная в толще скалы, куполообразно расширяющаяся книзу подземная тюрьма—зиндан.

Стены крепости не имеют башен, за исключением северо-западной стены, где склон более пологий и низкий. Здесь имеются три башни—две из дикого камня и одна из жженого кирпича.

Расположенная по середине стены каменная башня с пятью бойницами имеет характерные для хорезмийской архитектуры этого времени, расположенные между бойницами, полукруглые полуколонны. Это первый случай гофрировки в каменном материале.

В кирпичной башне обнаружен выложенный из жженого кирпича колодец, засыпанный до глубины 16,25 м. От него к реке тянется полоса глиняных оплывших бугров, расположенных на расстоянии 40—50 м друг от друга. На большинстве бугров найдены фрагменты керамических водопроводных труб. Это позволяет заключить, что колодец Кыз-кала снабжался водой из подведенного от реки водопровода. Голова водопровода была защищена расположенной на берегу реки, сложенной из дикого камня прямоугольной крепостью Йигит-кала.

Комплекс Кыз-кала был, повидимому, важным стратегическим пунктом «Великих Хорезмшахов» в их наступлении на Мавераннагр.

Взятые в целом результаты работ по Средней Аму-Дарье, как и разведка в глубь Каракумов, дают нам в руки важные документы для истории политической экспансии средневекового Хорезма, подготовленной экономическим расцветом, явившимся предпосылкой для превращения Хорезма в центр величайшей из восточных империй XII—начала XIII в.

Из средневековых памятников, обследованных в 1940 г., отметим, как заслуживающее особого внимания, великолепное городище XII—XIV веков Джанпык-кала, расположенное

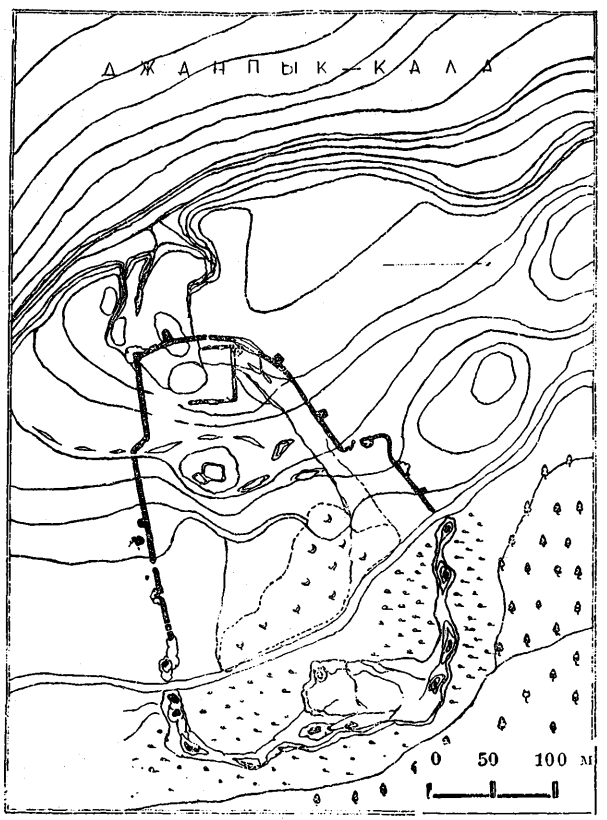


Рис. 105. Джанпык-кала. План. Обмер С. П. Толстова.

на крайней западной оконечности Султануиздагского хребта, в нескольких километрах от Аму-Дарьи. Это самая живописная из хорезмийских крепостей. Окружающий ее ландшафт резко выделяет ее из всего комплекса обследованных памятников. Голый хребет из зеленого султануиздагского амфиболита, рваные берега скалистых ущелий, ведущих к крепости, гребни и обрывы черных и темнозеленых скал сочетаются с окружающей крепостью с юга и запада желто-красной осенней листвой большого лесного массива Бадай-тугая, тянущегося до сверкающей на горизонте ленты

Аму-Дарьи,—все это оставляет незабываемое впечатление. Особенно эффектна Джанпык-кала с юго-востока вечером, когда дорога, долго идущая лесом, неожиданно выходит к горам и в рамке деревьев и скал на черно-зеленой вершине гор, на фоне заката, открывается причудливый силуэт стен и башен крепости, создавая впечатление почти сказочного ландшафта (табл. 68). Проникнув через ворота крепости во двор, мы видим не менее эффектное зрелище. Двор городища, поднимаясь по западному склону крайнего юго-западного отрога Султан-уиздага и спускаясь на западе до поросшей лесом равнины—на скалистой высокой площадке своего восточного края увенчивается живописными развалинами крупного здания, стены которого, декорированные изящными горельефными полуколоннами, связанными вверху стрельчатыми перспективными арочками, поднимаются над зеленой поверхностью скалы на 14 метров (табл. 69).

Здание, занимающее площадь 23 × 50 метров, очень интересно конструктивно. Стены его—пахсовые и на высоте двух метров едва достигают метровой толщины, что при высоте 14 метров, с учетом еще и того, что полуколонны прорезают почти всю толщу стены, создает потребность в специальных укрепительных сооружениях. И мы, действительно, видим, что на высоте 7—8 метров от земли внутрь стены заложены, параллельно ее поверхности, связывающие ее деревянные балки. Такими же балками были наискось связаны в своей верхней части углы здания. Впервые мы встречаемся здесь и с проложенным между рядами пахсовой кладки на высоте 1 метра слоем камыша, предохраняющим стену от разрушения влагой и приносимыми ею из земли солями—характерный прием позднейшего строительного искусства Хорезма.

Джанпык-кала—последняя к югу от гор средневековая крепость Хорезма, защищающая ворота, образованные прорывом реки через Султан-уиздагский хребет. С юга и запада к нему примыкает описанный Бадай-тугай, на север располагается замкнутая двумя отрогами гор долина. На противоположной стороне северного из отрогов, на равнине на берегу Аму-Дарьи располагаются развалины большой античной крепости Гяур-кала (рис. 55—56), видимо с кангюйского времени выполнявшей те же стратегические функции, что и в средние века Джанпык, прикрывая главные ворота Верхнего Хорезма с севера. На вершинах возвышенностей к северу от Джанпыка разбросаны развалины двух сигнальных башен, датируемых ранним средневековьем (X—XIII вв). Аналогичная башня имеется и к востоку от Султан-баба.

Так как башни построены с таким расчетом, чтобы их хорошо было видно со стороны культурных земель Верхнего Хорезма, видимо, они являлись маяками световой сигнализации, предупреждавшими о приближении из-за гор, со стороны Кердера или Гузских степей, военной опасности.

Переходя к характеристике фортификации хорезмшахского периода, мы должны прежде всего отметить, что она представляет собой закономерное развитие системы афригидской фортификации. Стены попрежнему возводятся из пахсовой кладки и увенчиваются наверху парапетом с зубцами. Башни—круглые, овальные или закругленно-подтреугольные, также из пахсы, бойницы той же, что и в афригидское время, формы и размеров, только в башнях.

Однако целый ряд явлений, едва намечавшихся в афригидское время, здесь получает свое полное развитие. Сюда прежде всего относятся низкие стены-барьеры, окаймляющие, на расстоянии 10—15 метров, подножие могучих стен крепости. Внешняя низкая стена явно рассчитана на задержку подступа противника после перехода им рва. Подступы к нижней стене простреливаются как с фронта—с зубцов высоких стен, так, особенно, с башен. Для усиления флангового обстрела башни основной стены дублируются системой расположенных против них башен, входящих в систему внешней стены. Эти выносные башни соединялись с основными при помощи подъемных мостов (рис. 106—107, табл. 59—60).

Внешние низкие стенки-барьеры, затрудняющие подступ к основным стенам крепости, мы встречаем и в афригидских памятниках—в Беркут-кала и в Кум-баскан-кала. Но полного развития, в виде сложной системы взаимно увязанных рвов, стен и двойного ряда башен, этот принцип достигает только в хорезмшахский период.

Усиливается и укрепление ворот. Наиболее характерной является предохраняющая ворота стена, большей частью образующая в плане как бы округленный выступ передней стены крепости, с входом, расположенным обычно с таким расчетом, что штурмующий ворота противник должен итти к воротам вдоль основной стены крепости, повернувшись к ней своим правым, не защищенным щитом, боком (табл. 60).

Размеры не только городов, но и пограничных крепостей государственной системы обороны часто весьма крупные. Характерной особенностью, отличающей и средневековые города и крупные крепости от античных, является (за редкими исключениями) неправильность планировки. Строители широко использовали рельеф местности и почти всегда утилизировали сохранившиеся остатки античных укреплений. Следы античной кладки в основании стен мы находим и в Змухшире, и в Кават-кала, и в Джанпык-кала. Особенно показательно в этом

отношении городище Гульдурсун, представляющее собой модернизированную в XII—XIII веке античную крепость. Внешние стены Гульдурсуна крайне интересны. Древняя двойная стена с частыми бойницами, простоявшая, видимо, целиком до средневековья, как ныне стоят стены Джанбас-кала или Аяз-кала № 1, была широко использована как основа новой стены города. Тонкая внутренняя стенка

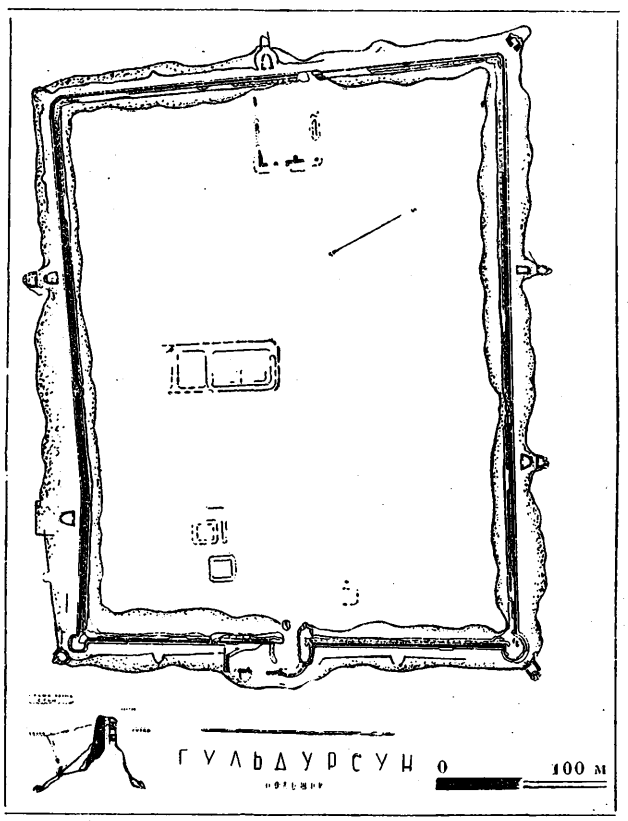


Рис. 106. Гульдурсун. План. Обмер М. Орлова и В. Пентман.

стрелковой галлереи была срублена, причем пахсовый цоколь был оставлен и до сих пор образует уступ на внутренней поверхности стены. Толстая внешняя стена была сохранена целиком и одета извне толстым панцырем пахсовой кладки. Бойницы, видимо, частично закладывались и замазывались, но без особой тщательности, и сейчас внутренний вид стен представляет любопытнейшую картину: внутрь крепости отовсюду смотрят щели античных бойниц, сохранившихся на внутренней поверхности стены (табл. 60, р. 3—4).

Осмотр бугров построек внутри городища и сбор подъемного материала убеждает нас в том, что эта большая крепость была значительным городом в кушанский период, но была очень мало обитаема в период своей модернизации—XII—XIII вв., когда играла, видимо, чисто стратегическую роль, являясь крепостью

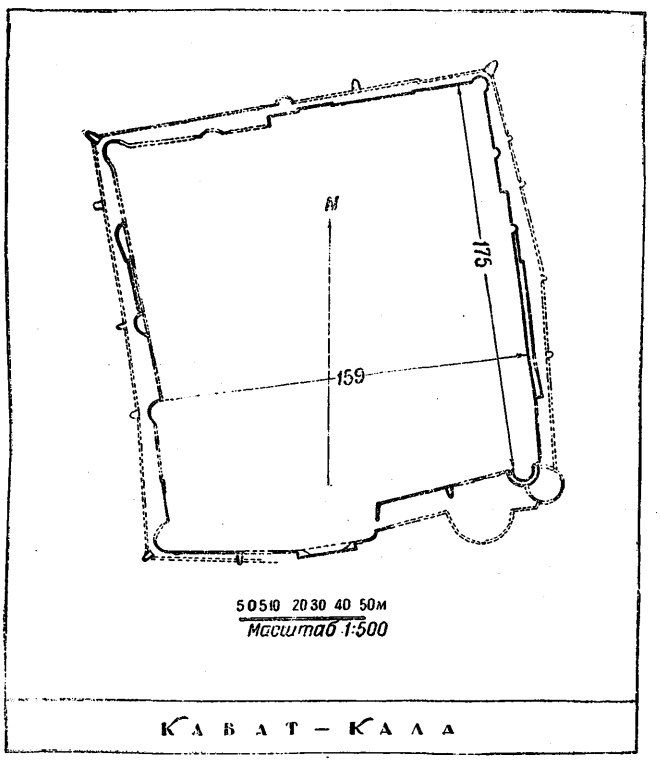


Рис. 107. Кават-кала. План. Обмеры М. Орлова и В. Пентман.

правительства Хорезмшахов на границе пустыни.

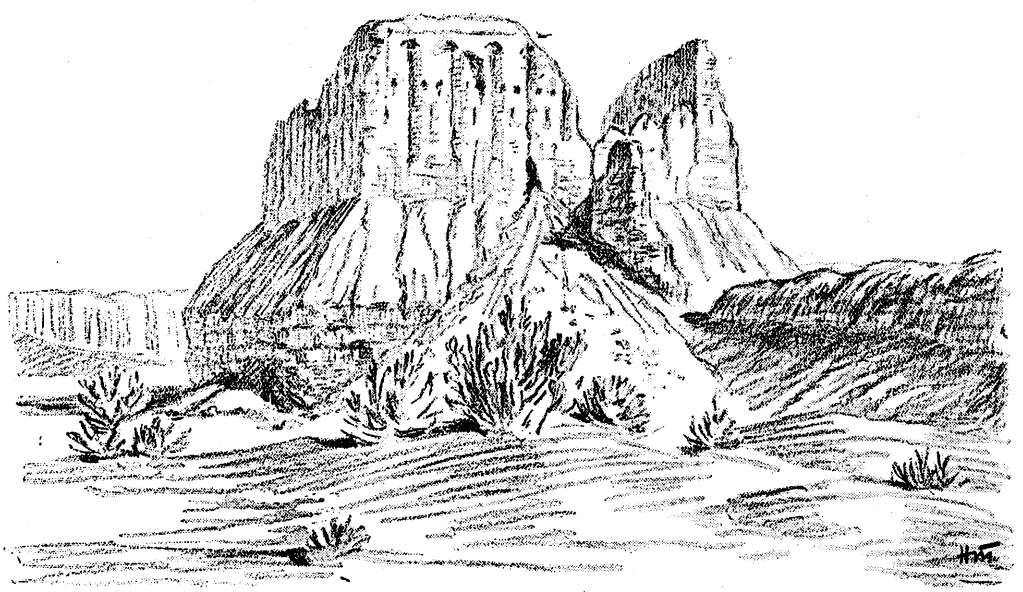
Так протягивается мост между двумя эпохами истории Хорезма—кушанской и хорезмшахской. В политической их жизни много общего. Широкое развитие государственной фортификации, неукрепленные, широко разбросанные деревни свидетельствуют о мощном централизованном государстве, берущем целиком на себя функцию защиты населения от внешних врагов. И то и другое—периоды хозяйственного и культурного расцвета. Но первая из этих эпох—кульминационный пункт развития античного Хорезма, вторая—расцвет Хорезма средневеково-феодального.

ГЛАВА IV

ХОРЕЗМИЙСКИЙ ВСАДНИК

«Погнал Сиявуш вороного коня,
Казалось—был создан тот конь из огня,
Завеса огней кругом поднялась—
Конь и шлем Сиявуша скрылись из глаз».

Шах-Наме, Mohl II, 236.



Тешик-кала

I. МОНЕТЫ СИЯВУШИДОВ-АФРИГИДОВ

«В это время в народе (Бухары) обращалась хорезмийская серебряная монета».

Нершахи. Тарихи-Бухара

I

В 1850 г. в I томе собрания сочинений H.K.E.Köhler'а была опубликована свинцовая(?) монета «неизвестного царя» из собрания одного коллекционера в Петербурге[1].

На лицевой стороне эта монета имела «бюст царя с большой бородой и длинной шевелюрой, повернутый вправо; тиара, увенчанная головой орла». На реверсе—надпись, которую Кёлер передал так: ΣGΞVΞVAZVΛΩIΩI' и «фигура царя на коне, идущем слева направо»[2].

Эта публикация долго оставалась одинокой. Лишь через 20 лет, в 1870 г. в «Numismatic Chronicle» вышла статья Edw. Thomas'а «Индо-парфянские монеты»[3], в которой было опубликовано и исследовано пять, хотя и отличных от опубликованной Кёлером, но, несомненно, принадлежащих к той же группе монет.

Как и в первом случае, эти монеты происходили из России, и репродукции их были присланы Томасу на определение нашим выдающимся ориенталистом и нумизматом В. Тизенгаузеном.

Четыре из этих монет были найдены «в маленькой бронзовой вазе в Пермской губернии»[4].

Опубликованные Томасом монеты имеют по сравнению с монетами Кёлера другого характера надпись. Отличен и головной убор. Лицо царя безбородо. Но на реверсе мы найдем ту же фигуру всадника вправо, хотя и несколько иначе трактованную, и, что самое главное, в поле реверса, влево от всадника, расположена тамга , тождественная той, которая налицо на том же месте на монете Кёлера[1].

Пятая монета в публикации Томаса оказалась отличной по типу реверса.

В центре его, вместо всадника, был тамгообразный знак в виде трезубца или трехсвечника, поставленного на горизонтальную черту.

Томас впервые определил арамейское происхождение знаков алфавита этих монет и сделал первую попытку их чтения; в надписи он в первых четырех знаках видел MRK', считая первый и четвертый знаки различными и видя здесь известную арамейскую идеограмму MLK'—«царь», заменявшую в древнеиранских текстах местный царский титул. В заключительных знаках надписи он видел знаки алфавита, отличного от шрифта первых четырех букв, и пытался, сближая их с пехлеви, читать их как Shahah или Shemach[2].

На оборотной стороне одной из монет над крупом коня была обнаружена отличная по характеру надпись, которая, по словам Томаса, в Петербурге, повидимому, Тизенгаузеном была прочитана как арабский термин «фадл»

---

[1] H. K. E. Köhlers gesammelte Schriften. Im auftrage der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaft. Herausgegeben fon Rudolf Stephani. Bd I. Serapis. Theil I. St. Petersburg. 1850. S. 1, tab. II, № 1.

[2] В транскрипции надписи, как мы увидим ниже, Кёлер попытался видеть искаженные греческие буквы не только в греческой части легенды, но и в хорезмийской, и плохо воспроизведенную тамгу царя принял за несколько знаков надписи.

[3] E. Thomas. Indo-Partihian Coins NC, 1870, New series, vol. X, p. 139—163. См. также J. RAS, vol. IV, New series 1870, p. 503—531, и E. Thomas. Records of the Gupta Dynasty. London, 1876, p. 39—43.

[4] В настоящее время все пять монет находятся в Гос. Эрмитаже.

[1] Мы уже отметили, что последний не заметил этой тамги, приняв ее за несколько знаков надписи.

[2] Records of the Gupta Dynasty, p. 39.

«excellence, wisdom». Это чтение Томас ставит под сомнение, считая более вероятным видеть здесь курсивную надпись на том же напоминающем пехлеви алфавите, который представлен в надписи против лица царя на лицевой стороне той же монеты[1].

Формальный анализ этих монет, произведенный Томасом, привел его к выводу, что эти монеты, характер изображений на которых ближе всего напоминает индийскую иконографию, чеканились индо-парфянскими царями.

Тринадцать лет спустя, в 1883 г., Томас вновь вернулся к этой группе монет[2]. В своей новой статье «О парфянских и индо-сасанидских монетах» он опубликовал репродукцию серебряной монеты из собрания Эрмитажа, полученную им, как и в первом случае, от Тизенгаузена.

По характеру изображений эта монета оказалась тождественной с монетой, опубликованной Кёлером. Тизенгаузен в письме, опубликованном Томасом, обратил внимание на сходство этой монеты с «индо-парфянскими» монетами Томаса и, вместе с тем, отметил характерную аналогию между этими монетами и вызвавшей большую дискуссию группой среднеазиатских эллинистических монет,—так называемых «монет Герая», как считает А. Н. Зограф[3], чеканенных в I в. до н. э. одним из кушанских правителей Северной Бактрии.

Это характерный ободок из продолговатых ромбовидных бус, отделенных друг от друга парными поперечными черточками.

Томас отметил, с одной стороны, сходство «орлиной короны» с головным убором, введенным Шапуром I (241—272)[4]. Остальные признаки—«хаотические следы» греческих букв, характер реверса и др. привели Томаса к выводу о близости этой монеты к монетам «бактрийской группы Азеса».

Надпись на реверсе Томас интерпретирует иначе, чем Кёлер: он видит здесь незамеченную Кёлером тамгу, греческие буквы видит лишь в верхней части надписи, читая их «A VΛOC—Azilisas?» (имя одного из индосакских царей I в. до н. э.). В надписи под ногами коня он видит арамейские знаки и пытается читать MLK'—«царь».

Через 9 лет этой группой монет занялся наш известный нумизмат А. К. Марков[5]. Им были опубликованы три монеты этой группы—две из собрания Гос. Эрмитажа, поступившие из коллекции Гранта в Бомбее, и одна из коллекции А. В. Комарова. Две из этих монет —серебряные драхмы, довольно близки к опубликованным Томасом в 1870 г., но лучшей сохранности и с несколько отличной легендой. Третья—медная, с тем же типом реверса, но с изображением на лицевой стороне царя в зубчатой короне, правильно сопоставленной Марковым с короной сасанида Варахрана V (420—438).

Марков отвергает предложенное Томасом определение этих монет как индо-парфянских, но, отмечая наличие признаков, связывающих эти монеты, с одной стороны, с индийской, с другой—с сасанидской нумизматикой и подчеркивая сходство проходящей через большую часть монет тамги с тамгой кушанских царей, особенно Хувишки, пытается видеть в них монеты последних представителей кушанской династии (как он предпочитает говорить—«династии Турушка»).

Следующая попытка дать новое определение этим монетам принадлежит известному французскому ориенталисту-нумизмату Э. Друэну и изложена в его рецензии на цитированную выше работу Маркова[1].

Он дает такую характеристику этих монет, как бы суммирующую все, что можно было извлечь из их формального анализа, не зная их происхождения:

«По типу реверса—царь на коне, напоминающему монеты Азеса, Сотера Мегаса, Азилиса, по монограмме, сближающейся с монограммой Хувишки, по царскому бюсту, эти монеты представляют смешение всех эпох и стран. Неизвестно, причислять ли их к монетам аршакидов, индопарфян, сасанидов Индии или правителей Туркестана. Легенда арамейским шрифтом, который, повидимому, является видоизменением халдео-пехлеви V в., может, когда она будет дешифрована, нам указать на национальность и эпоху этих странных монет. Во всяком случае, я не думаю, что они принадлежат к серии Турушка; я думаю, что они гораздо более поздние и что они были чеканены в Согдиане по типу монет Бахрама-гура. Рисунок, который г. Марков дает на стр. 35 и который представляет медную монету из коллекции Комарова, имея тот же реверс и ту же легенду, показывает, что есть связь между нашими серебряными монетами и согдийскими монетами, обращавшимися позднее в Бухаре[2]. Они могли

---

[1] NC, 1870, p. 143.

[2] Edw. Thomas. Parthian and Indo-Sassanian. Coins. JRAS. 1883, стр. 73, рис. № 3.

[3] А. Н. Зограф. Монеты Герая. Ташкент, 1937.

[4] NC, vol. XV, Old series, p. 180, табл. 3; vol. XII, New series, табл. III, рис. 3. Ср. И. И. Толстой и Кондаков. Русские древности, III, 1890, стр. 12, рис. 5.

[5] А. К. Марков. Неизданные арсакидские монеты. СПБ, 1892. (Отд. оттиск из ЗВОРАО, т. VI, № 32, 34, стр. 265—304. Ниже в ссылке даем пагинацию оттиска.)

[1] RN, 1893, p. 119—130. Об интересующих нас монетах—стр. 129—130.

[2] См. об этих монетах P. Lerch. Sur les monnais des Bukhar-Khoudads ou princes de Bukhara avant la conquête de Maveraunahr par les arabes. Travaux de la III session du Congrès International des Orientalistes. St. Petersbourg. 1876, v. II, p. 419—429. Его же. Монеты бухар-худатов, ТВОРАО XVIII, стр. 1—161.

быть чеканены эфталитами до их изгнания из Согдианы тюрками около 555 г. н. э.».

В 90-х годах эти монеты стали предметом рассмотрения еще ряда исследователей. Rapson, опубликовавший в 1896 г. монету этого типа из собрания генерала Эббота[1], приводит неопубликованные мнения о них Кэннингэма (к которому присоединяется сам) и Генри Говорса. Согласно последнему, эти монеты были чеканены тюркскими завоевателями эфталитских владений после 555 г. Кэннингэм и Рэпсон присоединяются к мнению Друэна об эфталитском происхождении этих монет, но отодвигают их дату к более позднему времени—вероятно, к VII в. н. э., и предполагают, что они могли быть чеканены в западной части эфталитских владений, где-то у Каспийского моря, где эфталиты могли сохранить свою независимость и после завоевания турками остальных владений эфталитов.

Суммируя все данные и заключения о наших монетах, имевшиеся налицо к 1937 г., мы можем отметить:

1. Большая часть известных до экспедиции 1937 г. монет происходила из пределов СССР—в том числе ряд монет, и как раз те, происхождение которых известно с точностью хотя бы до губернии,—из Прикамья.

2. Эти монеты по типу реверса связываются с индо-сакскими монетами группы Герая, Азеса, Азилиса и других варварских правителей Бактрианы и бассейна Верхнего Инда I в. до н. э. и первых десятилетий нашей эры.

3. Изображения на лицевой стороне одними признаками связываются с индийской, другими—с сасанидской иконографией.

4. Единство серии подчеркивается единством (за исключением одной монеты) тамги, сближающейся с тамгою кушанов (Хувишка).

5. Монеты одного из царей этой серии выделяются из нее характером изображений царя (длиннобородый в головном уборе в виде орла) и легендой, где, наряду с знаками арамейского происхождения, налицо «хаотические следы греческих букв» (однако тип изображения на реверсе и тамга не оставляют сомнения в принадлежности монет к этой серии).

6. На остальных монетах легенды сходны между собой и состоят из знаков арамейского происхождения.

7. На одной из монет, опубликованных Томасом, на лицевой стороне против лица царя имеется курсивная надпись, а на реверсе, над крупом коня, знаки, которые петербургский корреспондент Томаса, повидимому Тизенгаузен, рассматривал, как арабское слово «фадл». Однако это чтение было отвергнуто и Томасом и Марковым.

II

За четыре года работ Хорезмской экспедиции нами собран значительный нумизматический материал. Основная масса—около 1000, преимущественно медных монет, восходит к домусульманскому времени. Они собраны нами главным образом на городище Топрак-кала и в его окрестностях (это городище дало наиболее обильные сборы), в окрестностях Наринджана и Беркут-кала и примыкающих к ней замков, в Ангка-кала, Улы-Гульдурсун, Кош-парсан, Джильдык-кала, Аяз-кала. Несколько монет, как указано выше, найдено при раскопках Тешик-калы и замка № 36. Все монеты, за исключением нескольких кушанских и одной сасанидской, принадлежат только что описанной серии, обогащая ее рядом новых вариантов[2]. Мы думаем, что приведенного достаточно, чтобы решить вопрос о происхождении этих «странных», по выражению Друэна, монет. Это происхождение может быть только хорезмийским[1].

О том, что в домусульманском Хорезме чеканилась монета,—нам известно из показаний Нершахи[2], согласно которому хорезмийские диргемы в VIII в. даже вытеснили в Бухаре из обращения местную монету.

До сих пор под именем «хорезмийских монет» в литературе фигурировала одна из недатированных серий монет среднеазиатского происхождения с изображением жертвенника на реверсе. Это наименование введено было Друэном, попытавшимся расклассифицировать «туранские монеты» и отнесшим предположительно эту серию к Хорезму[3]. Это же опре-

---

[1] E. I. Rapson. On the attribution of sertain silver Coins of sassanidan fabrik. NC, 1896, p. 246.

[2] Предварительное сообщение о наших монетах см. в нашей статье: Основные вопросы древней истории Средней Азии. ВДИ, № 1 (2), 1938, стр. 190—191. Публикация сборов 1937 г. см. в нашей статье: Монеты шахов древнего Хорезма и древне-хорезмийский алфавит, ВДИ, № 4(5), 1938, стр. 120—145.

[1] Вскоре после нас к определению имеющихся в Ташкенте монет этого типа как хорезмийских пришел М. Е. Массон. См. его работу «К определению древне-хорезмийского алфавита», Сонат 1938, № 6, стр. 57—69. М. Е. Массону осталось неизвестным последнее определение А. К. Маркова (см. ниже) и значительная часть литературы, посвященной нашим монетам, в том числе и первая их публикация.

[2] Déscription topographique et historique de Boukhara par M. Nerchaky, Texte persan publié par Ch. Schefer. Paris, 1892, p. 34—36.

[3] E. Drouin. Les monnais touraniennes, RN 1891.

деление повторил недавно Allote de la Fuye[1].

Ни одной монеты этой серии хорезмская экспедиция за все 4 года работы не обнаружила, что заставляет также окончательно, и на этот раз отрицательно, решить вопрос о хорезмийском происхождении «хорезмийских монет» Друэна.

Характерно, что заключение о хорезмийском происхождении наших монет вовсе, как оказывается, не ново. Когда 22 марта 1938 года мы получили возможность ознакомиться с монетами этой серии, хранящимися в Гос. Эрмитаже, мы обнаружили, что они хранятся под этикеткой «монеты царей Хорасмии с тамгой ». Как удалось выяснить, это определение принадлежит, А. К.Маркову, изменившему таким образом в конце жизни свою датировку 1892 г. Об этом сообщает А. В. Шмидт, который пишет в своей работе «Туйский всадник»: «В 1892 г. А. К. Марков датировал эти монеты предположительно III—IV вв. и относил их к поздним Кушанам. После, повидимому, он изменил свое мнение, так как в Эрмитажном собрании они сопровождаются пометкой рукой Маркова же: «хорасмийские», причем последние из них отнесены к эпохе начала арабского господства в Хорезме»[2].

Видимо, А. К. Марков сделал это, руководствуясь новыми данными,—скорее всего значительным поступлением этих монет из Хорезма. Весьма возможно, что роль тут сыграли сборы известного коллекционера Вундцетеля, именем которого помечены некоторые из монет Эрмитажного собрания. Не знаем, считал ли Марков этот вывод не окончательным, или просто не успел опубликовать своего заключения, но, во всяком случае, этот факт является лишним доводом в пользу правильности нашего определения.

К монетам нашей коллекции, путем привлечения монет Гос. Эрмитажа (40 экз., большей частью серебряные) и Гос. Исторического музея (4 экз., серебро), слепки с которых мы имеем в нашем распоряжении благодаря исключительной любезности А. Н. Зографа, А. А. Быкова и Е. В. Веймарна, мы смогли прибавить значительный материал, в массе лучшей сохранности, чем собранный экспедицией. В целом мы располагаем сейчас серией свыше 1000 древнехорезмийских монет, являющейся уже довольно солидной базой для исследования. Вся серия может быть нами подразделена прежде всего на 2 основных группы:

Группа $AA_1\alpha$ (сиявушидские) тетрадрахмы с бородатым (в одном случае безбородым) изображением царя вправо; высокий рельеф изображения; на реверсе—вокруг традиционной фигуры всадника справа—надпись, замкнутая слева тамгой . Верхняя часть надписи греческая, нижняя хорезмийская, за исключением одной монеты, найденной в 1940 г. в Топрак-кала и имеющей легенду только греческими буквами и тамгу несколько иной формы . (Табл. 84, 1—13).

На медных монетах этой группы на реверсе—в центре та же тамга, окруженная иногда несколькими знаками хорезмийской надписи. Монеты—небольших размеров, но массивные. Рельеф изображений, как и на серебряных монетах, высокий.

По изображениям царей на серебряных монетах здесь может быть выделено пять правителей. По легендам—выделяются 4 имени. По медным монетам этой группы выделяется большее количество царей—по крайней мере 7—8.

Две серебряные монеты, одна из которых имеет бородатое, другая безбородое изображение царя, имеют одинаковую легенду. Они объединяются также и некоторым видоизменением тамги, приобретающей здесь вид S. (Эта тамга часто встречается на очень мелких медных монетах, не имеющих изображения на аверсе.)

Греческая надпись сильно деформирована. На наиболее поздних монетах этой серии она приобретает характер простого орнамента.

В наиболее полном виде она выглядит несколько иначе, чем ее изображал Томас: VΛΞVΛ⅂Λ.

Я склонен видеть здесь сильно деформированную имитацию греческого начертания ΒΑΣΙΛΕΩ(Σ). Надпись на монете с одними греческими знаками не поддается дешифровке. По плану расположения легенды и характеру сочетания букв мы заключаем, что это просто имитация греческой легенды монет Эвкратида, исполненная мастером, не знавшим греческого языка (см. ниже).

По типу реверса, по весу, фактуре, рельефу изображения, по отмеченному выше ободку из продолговатых бус монеты этой группы, несомненно, примыкают, как уже отмечалось Тизенгаузеном, Томасом и Друэном, к «сакско-бактрийской группе»—к монетам прежде всего Герая, а также Азеса, Азилиса, Сотера Мегаса, Гондафара, в свою очередь генетически связанной с греко-бактрийскими монетами Эвкратида с изображением Диоскуров на реверсе.

Ближе всего наши монеты примыкают к монетам Герая.

[1] Allote de la Fuye. Monnais incertaines de la Sogdiane et des contrées voisines, RN IV. IV serie, t. XXIX, 1926, p. 140 sq.

[2] ЗКВ, I, 1925, стр. 430.

Эта зависимость хорезмийской чеканки от греко-бактрийской имеет большое культурно-историческое значение, вскрывая новую сторону культурных связей древнего Хорезма. Одновременно она позволяет поставить на новом материале вопрос о политических связях Хорезма около начала н. э., поднимая, таким образом, большие вопросы политической истории Средней Азии в этот темный период.

Вместе с тем близость головных уборов царя в орлиной короне с убором Шапура I и, прибавим мы, Варахрана II (276—293) и, особенно, Гормизда II (303)[1] и сходство головного убора безбородого царя с одним из уборов Ардашира I (224—241)[2], вместе с тем фактом, что китайские хроники, лишь начиная с Бейши, охватывающей период с 386 по 618 г., говорят о коронах и престолах среднеазиатских царей в виде птиц, животных и рыб[3], заставляет предполагать, что большая часть монет нашей серии не восходит глубже III в. н. э., когда эти колоритные уборы получили широкое распространение в Средней Азии и Иране, сменив простые формы уборов парфянского и кушанского времени (исключение составляют монеты с одной греческой надписью, которые, видимо, восходят еще к I в. до н. э.).

Однако есть основания предполагать, что наши монеты являются не наиболее ранними хорезмийскими монетами, что им предшествовали не представленные пока в нашей коллекции типы.

Для решения вопроса о возникновении хорезмийской чеканки мы должны остановиться на имеющей уже большую литературу проблеме «монет Герая», в советской литературе исследованной А. Н. Зографом[4].

Работа А. Н. Зографа, посвященная публикации и исследованию относящихся к этой эпохе материалов советских нумизматических собраний Ленинграда и Ташкента, является ценным вкладом в разработку этого круга проблем.

Монеты «Герая», первая из которых была опубликована Гарднером в 1874 г.[5], имеет на лицевой стороне изображение бюста царя, обращенного вправо, с повязкой на волосах, одетого в характерный кафтан с отворотами, а на обороте—конную фигуру венчаемого Никой царя и греческую надпись, читаемую большинством исследователей:

ΤΥΡΑΝΝΟΥΝΤΟΣ ΗΡΑΟΥ
ΣΑΝΑΒΟΥ ΚΟΡΡΑΝΟΥ

Лишь Кэннингэм (1888)[1], а в последнее время Аллот де ля Фюй (1925)[2] читали иначе второе слово, видя здесь MIAOV и пытаясь отожествить «Миая» с индосакским царем Мауэсом.

Ольденбергу (1885)[3] принадлежит принятое с тех пор всеми истолкование слова KOPPANOV как племенное имя кушанов (KOPANO на монетах «Великих Кушанов»).

После публикации Гарднера эта серия монет была предметом анализа в работах Томаса[4] Саллета[5], Ольденберга[6], Кэннингэма[7], В. Отто[8], Рэпсона[9], Аллот де ля Фюй[10] и Г. Батайль[11], взгляды которых А. Н. Зограф детально анализирует в вводной части цитируемой работы.

Если ни у кого из перечисленных авторов не вызывает сомнения отнесение этих монет к территории, входившей в 250—140 гг. до н. э. в состав Греко-Бактрии, и к периоду, последовавшему за падением греко-бактрийского царства под ударами варваров-завоевателей, то в отношении более точной хронологической и географической датировки, как и в отношении чтения легенды монет, в литературе налицо весьма значительное разногласие.

Эти разногласия могут быть охарактеризованы словами А. Н. Зографа: «Даты, дававшиеся этим монетам, колеблются между 128 до н. э. и 100 г. н. э. Что касется территории, на которой они обращались, то и здесь можно отметить расхождение между районом к югу от Кабула, с одной стороны (Cunnigham), и северным Афганистаном—с другой»[12].

Публикуемый А. Н. Зографом материал значительно расширяет количество доступных для исследования монет, доводя число тетрадрахм до 15 вместо 9 ранее известных, и число оболов до 12 вместо 11. Вместе с тем работа А. Н. Зографа является значительным шагом вперед в разработке вопроса.

Заслуживает большого внимания сравнительное изучение веса, фактуры и типа монет[13]. Сопоставление с материалами греко-бактрий-

---

[1] Collection de monnaies sassanides de feu le lieut.-général I. de Bartholomae, publié par B. Dorn. 2 ed. SPB. I, 875, таблицы IV, VII, также дополнительная таблица, рис. 6—11 и др.

[2] И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М.—Л., 1935, табл. I; Толстой и Кондаков. Русские древности, III, 1890, стр. 12, рис. 4.

[3] Иакинф. Собрание сведений, III, стр. 147, 160, 162, 176, 183, 186, 188, 189, 197, 201 и др.

[4] А. Н. Зограф. Монеты «Герая». Ташкент, 1937.

[5] NC. 1874, стр. 161 сл.

[1] Records of the Gupta dynasty. L, 1876, стр. 35.

[2] Allote de la Fuye.-Mònnais incertaines, RN XXVIII, 1925, стр. 36 сл. К этому чтению уже в 1938 г. примкнул W. Tarn, см. ниже.

[3] Indian Antiquary, X, стр. 215 и др.

[4] Цит. соч., а также JRAS 1883, стр. 73 сл.

[5] Die Nachfolger Alex d. grossen. Zf. N. B. VI, 1879, стр. 373 сл.

[6] Цит. соч.

[7] N. C. 1888, стр. 47 сл.

[8] P. W. VIII, стр. 420.

[9] Indian Coins, стр. 9.

[10] Цит. соч.

[11] Arethuse, 1928, стр. 19 сл.

[12] Зограф, цит. соч., стр. 14.

[13] Цит. соч., стр. 15—27.

ской, парфянской, селевкидской и индо-сакской нумизматики приводят автора к убедительным заключениям, которые можно свести к нижеследующим основным положениям:

1. «Тетрадрахмы «Герая», как видно, по своим весовым данным примыкают к тетрадрахмам Орода I (57—37 гг. до н. э.) и к римской чеканке в Антиохии (47—20 гг. до н. э.)»[1].

2. По фактуре, отличаясь от греко-бактрийских и раннепарфянских тетрадрахм, «они находят близкие аналогии в парфянских тетрадрахмах, начиная с Санатрука (77—70 гг. до н. э.), и, в особенности, в тетрадрахмах Филлипа Филадельфа (92—83 гг.) и Тиграна Великого (83—66 гг.)»[2].

3. Типологически эти монеты—по наличию характерного ободка из продолговатых бус—примыкают к типу греко-бактрийских монет Эвкратида и Гелиокла, к монетам последних Селевкидов, в меньшей степени—к монетам парфянских правителей начала I в. до н. э.[3] По плану расположения надписи они примыкают теснее всего к монетам Эвкратида, резко отличаясь в этом отношении от монет индоскифских царей Пенджаба и индо-парфянских царей Арахозии и Сакастана. В последнем обстоятельстве А. Н. Зограф видит «главное доказательство, что эти последние (монеты «Герая».—*С. Т.*) прежде всего территориально не связаны с индо-скифской и индо-парфянской группами и восходят, независимо от них, к общему источнику—бактрийским монетам»[4].

По наличию фигурки Ники, венчающей царя, А. Н. Зограф, вслед за Томасом, связывает монеты «Герая» с монетами Фраата IV (37—4 гг. до н. э.) и (в меньшей степени) Орода I (57—37 гг. до н. э.). Однако автор не видит в этом причины снижать датировку монет «Герая», отмечая факт проникновения мотива венчания в парфянскую монетную типологию еще в первую половину I века до н. э.[5].

4. Появление квадратного О, проникающего в парфянскую нумизматику в правление Орода I, при сохранении Σ вместо появляющейся обычно вместе с квадратным О лунарной сигмы, позволяют автору притти к заключению, что «мы имеем здесь еще не установившуюся переходную стадию в развитии шрифта и позволяют не видеть в квадратной форме О решительного препятствия к тому, чтобы отнести монеты «Герая» ко времени около середины I в. до н. э., как это, повидимому, вытекает из перечисленных выше весовых, фактурных и типологических аналогий»[6].

[1] Цит. соч., стр. 24.
[2] Там же.
[3] Цит. соч., стр. 25.
[4] Цит. соч., стр. 27—28.
[5] Цит. соч., стр. 82.
[6] Цит. соч., стр. 30.

5. Опираясь, помимо приведенных выше соображений, также на данные новых находок в пределах Узбекистана (Ташкент, Термез), А. Н. Зограф приходит к общему выводу, что монеты «Герая» были чеканены около середины I в. до н. э. в северном Афганистане (к северу от Гиндукуша), наиболее приближаясь в этом отношении к датировке Аллот де ля Фюй (1925). Посредствующим звеном между монетами «Герая» и их ближайшим прототипом—монетами Эвкрадита и Гелиокла—А. Н. Зограф считает варварские подражания монетам последних, имевшие хождение в Средней Азии после падения Греко-Бактрии.

В отношении чтения легенды, вызвавшей, как мы видели, большие споры в литературе, А. Н. Зограф в основном примыкает к чтению и толкованию, данному в статье Батайля (1928) и приведенному нами в начале.

А. Н. Зограф склонен принять как наиболее вероятный перевод легенды: «Правящего (царствующего) Герая, властителя, Кушана».

Из четырех слов надписи первое не вызывает сомнения. В чтении и интерпретации второго—предполагаемого имени царя—А. Н. Зограф сохраняет чтение П. Гарднера, снабжая это, однако, серьезными оговорками[1]. Отмечая, что принимаемая за Р черточка между Н и А встречается на некоторых монетах между А и О, автор приходит к заключению, что «чтение имени «Герая» приходится принимать лишь как одно из наиболее вероятных», и соответственно этому везде замыкает его в кавычки.

Что касается третьего слова, А. Н. Зограф считает «единственным более или менее вероятным» предложенное Кэннингэмом и принятое Батайлем истолкование слова ΣANABOV «как греческой передачи туземного титула tsanyu» (в обычной русской транскрипции «шаньюй»), титул, даваемый китайскими источниками правителям хуннов. Однако А. Н. Зограф выдвигает, в качестве возможных, еще два варианта истолкования этого загадочного слова. Во-первых, он обращает внимание на наличие Σαν, Σαγα в начале большого количества иранских имен типа Санабар, Санатрук и др.[2]. Во-вторых, он считает возможным указать на то, что столица одного из юечжийских ябгу, в период между завоеванием юечжийцами Греко-Бактрии и образованием Кушанского царства, носила название Sang-bi (транскрипция de Groot'a, русская транскрипция—Шуанми). «Может ли это имя быть сопоставлено с нашим ΣANABOY (ΣANAB)?», задает он вопрос специалистам[3].

[1] Цит. соч., стр. 30—31.
[2] Цит. соч., стр. 30—31.
[3] Цит. соч., стр. 31, прим. 1.

В истолковании последнего слова KOPPANOV А. Н. Зограф примыкает к ольденберговскому чтению.

Переходя к анализу выводов А. Н. Зографа, мы должны целиком присоединиться к тем сомнениям и оговоркам, которыми он снабжает свое чтение и истолкование легенды—прежде всего второго и третьего ее слова. Чтение «Герая» может быть принято лишь как условное обозначение, своего рода «идеограмма» не поддающегося чтению и истолкованию слова, которое с одинаковым успехом может читаться HIAIOV~HPAPOV~HIAPOV, HTAIOV и т. д. А если учесть, что чтение второго знака—P—остается гипотетичным и что фонетически P=Š (в слове KOPPANOV), количество возможных вариантов еще возрастает. Ниже, в связи с нашими находками, я позволю себе еще вернуться к этому вопросу.

Не меньше сомнений возбуждает и третье слово. Я никак не могу присоединиться к А. Н. Зографу в оценке истолкования Кэннингэма. Чтение «шаньюй» или, как предпочитает писать А. Н. Зограф, tsanyu, мне представляется совершенно неприемлемым ни филологически, ни, особенно, исторически.

Нельзя, кстати, не отметить совершенно напрасного пиэтета наших исследователей (не синологов) к западноевропейским транскрипциям китайских слов, часто весьма далеких от действительной фонетики слова, и, я бы сказал, пренебрежительное отношение к русской транскрипции, также, конечно, условной, но по меньшей мере ничем не уступающей латинской.

Исторически титул «шаньюй» нигде не засвидетельствован у юечжи, а выступает как чисто хуннский титул. Правитель юечжи всегда именуется китайским словом «ван»—«царь». Совершенно невероятно, чтобы юечжи приняли титул правителей враждебных им хуннов. Больше того, титул юечжийских царей нам хорошо известен по индийским легендам кушанских монет,—это то же слово «ябгу» (yavuga), которым в форме хи-хэу (по Хирту-Шаванну yap-heou) китайцы именуют вождей юечжийских племенных союзов предкушанского периода. Если бы юечжи заимствовали в I в. до н. э. хуннский титул, якобы «обозначающий властителя или царя и иерархически стоящий выше титула jabgu соответствующего царю-вассалу»[1], было бы совершенно непонятно, почему «Великие Кушаны» вернулись к скромному титулу «царей-вассалов». Нельзя, конечно, при этом не учитывать и очень основательного соображения Кеннеди о скромном характере греческого титула, который мало бы вязался с претенциозным хуннским титулованием. Против отождествления ΣANABOV с названием владения одного из пяти юечжийских ябгу предкушанского времени говорит тот факт, что род Шуанми (Sang-bi) в списке пяти ябгу стоит рядом с родом Гуйшуан (Кушан), что совершенно исключает соединение этих имен и надписи. Принадлежность этих монет одному из представителей рода кушанов исключает возможность видеть в них результат чеканки какого-либо из остальных четырех юечжийских ябгу периода, предшествовавшего объединению их владений под властью кушанов. Данное выше толкование слова KOPPANOV вряд ли возбуждает сомнение. В качестве дополнительного аргумента в пользу кушанского происхождения изображенного на монетах «Герая» царя можно указать оставшиеся, насколько нам известно, до сих пор не отмеченными признаки искусственной деформации черепа Герая, аналогичные отмеченным Уйфальви для изображений на монетах кушанов.

Можно спорить лишь о третьем варианте истолкования, предложенном А. Н. Зографом,—о его сопоставлении слова ΣANABOV с иранскими личными именами на Sana, ближе всего с именем Санабар (нельзя, конечно, отсюда заключать о связи монет «Герая» с известными монетами Санабара). Возможное возражение, что этому противоречит очень скромное место (маленькие буквы между ногами коня), занимаемое этим словом, может быть отведено, если мы учтем, что на монетах Эвкратида—ближайшем прототипе анализируемых монет—личное имя царя занимает также нижнюю часть надписи, правда, не между ногами, а под ногами коней Диоскуров, место, которое на монетах «Герая» занято родовым именем. Мне представляется, что из всех предложенных пока вариантов истолкования этот является единственным правдоподобным.

Тогда, повидимому, в слове «Герая» нужно искать не личное имя, а что-то иное, вернее всего какую-то составную часть титулатуры.

Нам представляются вполне убедительными доводы о чеканке монет «Герая» или, если следовать только что рассмотренному толкованию, «Санаба», к северу от Гиндукуша. Однако находки этих монет на территории Узбекистана вплоть до Ташкента позволяют считать, по меньшей мере, спорным приурочение этой чеканки «северному Афганистану»[1].

Отнюдь не менее вероятным искать место чеканки монет «Герая» и на территории наших среднеазиатских республик.

В этой связи заслуживают внимания отмеченные в свое время Тизенгаузеном и Томасом черты сходства между монетами «Герая» и моне-

[1] Цит. соч., стр. 14.

[1] Цит. соч., стр. 31.

тами хорезмийского, как теперь установлено, происхождения.

Несмотря на ряд черт отличий между основной массой раннехорезмийских монет, датируемых нами временем начиная с III в. н. э., и монетами «Герая» (на всех хорезмийских монетах, в отличие от монет «Герая», мы находим пышный головной убор и бородатое изображение царя на аверсе, наличие тамги; на всех, кроме одной, двуязычность надписи на реверсе, круговой план и отсутствие венчающей царя фигурки Ники; для всех хорезмийских монет характерен более низкий вес), налицо значительное типологическое сходство, которое в 1938 г. заставило нас считать именно монеты «Герая» ближайшим прототипом тогда известных нам хорезмийских монет.

Если мы вспомним, что хорезмийские монеты до VIII в. сохраняют, при глубоких изменениях в весе и фактуре, неизменно традиционный тип, что свидетельствует о большом консерватизме в этой области, вопрос о генетической связи хорезмийских монет и монет «кушана Герая» («Санаба»?) приобретает крупное значение для династийной истории Средней Азии.

Мы знаем из данных хроник династий Суй и Тан, что правившие в VI—VII вв. н. э. в Хорезме, Шаше и городах-государствах Согдианы династии были кушанского (юечжийского) происхождения. Это подтверждается и близостью тамги хорезмийских афригидов, с одной стороны, к тамге согдийских царей на монетах, опубликованных Смирновой в № 1 ВДИ за 1939 г., с другой,—что в свое время отмечалось Марковым, Друэном и другими исследователями,—к тамге Великих Кушанов. Однако в интересующую нас эпоху, последовавшую непосредственно за падением Греко-Бактрийского царства, все эти области входили в состав не расположенных в Бактрии—Тохаристане—владений юечжийских ябгу, а в состав государства Кангюй, племена которого, в первую очередь племенной союз сакараваков (см. ниже, экскурс I), участвовали также в завоевании Греко-Бактрийского царства. Обстоятельство вхождения этих областей в кушанское царство и утверждение в них власти кушанских династов остаются пока темными, и не исключено, что именно монеты «Герая» могут пролить на них некоторый свет.

Данные о местах находок монет «Герая—Санаба» слишком незначительны, чтобы решить вопрос о более точном определении места их чеканки. Однако, несомненно, их связи ведут в Хорезм[1].

[1] М. Е. Массон в своей цитированной выше работе (стр. 68, прим. 13) признает возможным считать Хорезм местом чеканки монет Герая.

Эта гипотеза, к которой мы пришли в начале наших работ[1], полностью подтвердилась находкой в 1940 г. на Топрак-кале наиболее ранней, бесспорно хорезмийской, тетрадрахмы (вес 9,322) с изображением на аверсе бородатого царя в сложном головном уборе вправо. Сзади головы схематическая миниатюрная фигурка Ники, венчающей царя. На реверсе—всадник вправо, почти совершенно отождествленный с всадником монет Герая. Слева, в поле, как на всех афригидских монетах—тамга, несколько отличная от обычной афригидской и некоторыми особенностями (2 точки в средней части тамги), ассоциирующаяся с тамгой монет Дальверзинского клада, открытого Кастальским и пока не опубликованного (табл. 84, 2—3).

Надпись только греческими буквами, по плану восходящая к легендам монет Эвкратида:

верх: ITVIVE|OEΓIΛVI

низ: EIVΛ⊥⊥|

В том же 1940 г. Б. Н. Кастальский приобрел второй экземпляр такой же монеты, вывезенный из Хивы, с которым он любезно ознакомил нас. Надпись на его монете, почти тождественная нашей, отличается некоторыми деталями в расположении букв:

верх: IVIVE∩IEΠΓΛVI|

низ: EIΛVIΛ

Ни из греческого, ни из местных языков надпись расшифровать ни нам, ни специалистам по античной эпиграфике, к которым мы обращались, не удалось. Однако, сопоставляя наши два варианта с легендами монет Эвкратида, мы замечаем значительные совпадения в расположении букв:

монета Топрак-кала—верх: ITVIVEIOEΓIΛVI
внизу: EIVΛI⊥⊥

монета Кастальского—верх: IVIVE∩IEΠΓΛVI|
внизу: EIΛVIΛ

монеты Эвкратида—верх: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥ
внизу: ΕΥΚΡΑΤΙΔΟΥ

Расхождение между обеими нашими монетами еще более подтверждает, что надпись сделана не знающим ни языка, ни графики подлинника имитатором, воспринимавшим не отдельные литеры, а общий рисунок надписи.

Видимо, греческое начертание представляло своего рода идеограмму, как арамейское MR'(Y)MLK' на позднейших хорезмийских монетах, как мы увидим ниже.

Остальные особенности типа (ободок из ромбических бус и др.) также тесно увязывают эту монету и с монетами Герая и с остальной серией хорезмийских монет.

[1] ВДИ, 1938, № 4.

Монеты из Топрак-калы и собрания Б. Н. Кастальского, несомненно, являются связующим звеном между хорезмийским чеканом III—VIII вв. н. э. и монетами «Герая», однако генетические отношения их нам представляются достаточно сложными. Наши монеты, восходя непосредственно к монетам Эвкратида, не могут происходить от монет Герая—в этом случае больше оснований было бы для имитации надписи последнего. Я склонен скорее предполагать в монетах Герая боковую ветвь хорезмийской чеканки и видеть в хорезмийских монетах с тамгой и в монетах Герая параллельные и близкие по времени чекана формы, восходящие к общему прототипу—неизвестной пока кангюйско-хорезмийской монете II—начала I в. до н. э. Возможно, впрочем, что монета из Топрак-калы сама является прототипом «монет Герая». Мы должны, таким образом, внести известный корректив в гипотезу, высказанную нами в рецензии на работу Зографа[1]. Я позволю себе сейчас сформулировать наши выводы, дополнительную аргументацию которых читатель найдет ниже[2].

Хорезмийско-кангюйская чеканка начинается вскоре после падения Греко-Бактрийского царства или даже раньше, в период между 170 г.—временем потери Греко-Бактрийским царством Согдианы—и временем путешествия Чжанцяня, данные которого говорят об известном упадке могущества Кангюя под влиянием хуннов и бактрийских юечжи.

Именно символом перехода к Кангюю—Хорезму прав на греко-бактрийские владения—действительного или теоретического — могло явиться принятие ими типа и легенды последнего могущественного властителя Греко-Бактрийской империи. Может быть это, как обычно для этого времени, было закреплено брачным союзом с эвкратидидами. Хорезмийские монеты этого периода, возможно, скрываются среди разнообразных варварских подражаний монетам Эвкратида. Однако тип монет пережил глубокое принципиальное изменение: место греческих Диоскуров занял хорезмийский всадник—символ божественного предка династии Сиявуша.

Монеты Герая, видимо, чеканенные в Согде или в Бактрии в период, предшествующий подъему Индо-Бактрийских кушанов, чеканены юечжийско-массагетским вождем по образцу монет Кангюя, гегемония которого над Согдо-Бактрийскими кушанами, вероятно, уже номинальная, если верить Чжан-цяню, отражена в скромном титуле правителя. Монеты чеканились в стране, где греческий язык еще бытовал, что вряд ли имело место в Хорезме, для чеканщиков которого греческая надпись была не более, как идеограммой. Подъем империи кушанов в конце I в. до н. э. явился предпосылкой для введения в кушанском государстве новой чеканки, символизирующей разрыв с кангюйской традицией и имперский суверенитет новой династии[1].

Возвращаясь к основной группе наших монет, нельзя не отметить черт сходства между монетами с тамгой S нашей серии и монетами индийских эфталитов V—VI вв. В частности, на лицевой стороне монеты безбородого царя, слева, позади царя, мы имеем знак, близкий к тамге эфталитов, которая, в свою очередь,

[1] ВДИ, 1939, № 2.
[2] См. экскурс I.

[1] После выхода работы А. Н. Зографа вопрос о монетах Герая продолжал разрабатываться в литературе. Его касается В. Тарн в своей книге Greeks in Bactria and India (1938). По его мнению «Миай» (он предпочитает употреблять это чтение, хотя и не настаивает на нем—цит. соч., стр. 39)—кушанский ябгу современник и союзник Гермея (которого он, в согласии с Гутшмидом, отождествляет с узурпатором Инь-мофу Хоу-Хань-шу), правившего в Александрии—Капице в третьей четверти I в. до н. э. Миай, по мнению Тарна (стр. 342 сл.; ср. также App. 17, стр. 503 сл.), правивший где-то между Читралом и Пянджиширом, инспирированный старыми союзниками юечжи-китайцами, помог Гермею изгнать саков из Кабула и восстановить там на известное время греческую власть. За эту услугу Гермей якобы дал Миаю в жены свою дочь, чем и объясняется выпуск потомком Миая—Кадфизом I—«pedegree coins» в честь Гермея.

Монеты Герая чеканены, по Тарну, после описанных выше событий в Кабуле греческими мастерами (стр. 506).

Слово ΣΑΝΑΒ в надписи он оставляет необъясненным, решительно и убедительно возражая и против чтения шаньюй и против чтения «сака».

Гипотеза Тарна составляет часть его очень сложной и во многом крайне гипотетической конструкции истории греков в Индии в предкушанский период. Не берусь быть судьей в вопросе, требующем скрупулезнейшего специального исследования, к тому же весьма далеком от нашей темы. Скажу лишь одно: гипотеза Тарна, если отбросить голословную локализацию им резиденции Миая (здесь, бесспорно, прав А. Н. Зограф), ни в какой мере не противоречит моей.

Вторая новая работа, упоминающая монеты Герая, это посмертная «Wehrot und Arang» Маркварта, стр. 88, где автор пытается связать с Гераем передаваемую Бируни кабульскую легенду об основании неким بر متكين (Маркварт исправляет у текста Бируни на t) Кабульского царства. بر متكين Бируни, по Маркварту, восходит к ايره تكين Era tegin (тюркским титулом Тегин—«князь»—заменен юечжийский однозначный титул Σanaв).

несомненно, родственна и кушанской и тамге наших монет[1].

Может быть, в этой связи не мешает вспомнить и старую гипотезу Лерха—Веселовского[2] о роли Хорезма в формировании государства эфталитов в период, предшествующий распространению власти последних на всю Среднюю Азию и за ее пределы.

В свете этой гипотезы не совсем ошибочной может оказаться и гипотеза Друэна—Говорса—Кэннингэма—Рэпсона о происхождении наших монет.

Кроме типичных монет группы А мы встречаемся среди собранной нами хорезмийской меди с четырьмя подгруппами, несомненно, родственных ей типологически и близких хронологически монет, однако, несущих ряд черт отличия. Это, во-первых, подгруппа A_1—миниатюрные, но массивные медные монеты, напоминающие по размерам, весу и фактуре медные монеты царя в орлиной короне, но имеющие одну сторону чистой, а на другой—тамгу, варьирующую в начертании, но, несомненно, родственную тамге

Несомненно, к наиболее ранним образцам хорезмийской чеканки, хотя и более поздним, чем монеты Герая и царя, представленного на тетрадрахме из Топрак-кала, и, несомненно, предшествующим всем остальным, должны быть отнесены 2 найденные в 1937 г. близ Беркут-кала и в 1940 г. в Топрак-кала монеты—единственные представители подгруппы A_2, выделяющиеся из всей остальной серии.

Это миниатюрные медные монеты, несущие на аверсе изображение бородатого царя в лево, с характерной для парфянских царей прической и диадемой, но с типично хорезмийским очельем в виде полумесяца, а на реверсе—тамгу сиявушидов-афригидов (рис. 108, верхняя слева). Типологическая связь с чеканкой аршакидов в высшей степени примечательна, несомненно свидетельствуя о каком-то кратковременном, но важном политическом сдвиге.

Влияние аршакидской чеканки, бесспорно, довольно раннее—не позднее I в. н. э., во II веке простая диадема аршакидов, представленная на нашей монете, сменяется сложными головными уборами, некоторые из которых близки к раннеафригидским (короны Хосроя, Вологеза II, III и V). Против особенно ранней

Рис. 108. Медные хорезмийские монеты. Топрак-кала.

даты говорит тип тамги, видимо, более поздней, чем тамга тетрадрахмы из Топрак-калы. Я думаю, что возможно, пока мы не имеем более значительного материала, предположить, что эти монеты относятся ко времени политических потрясений, испытанных Кангюйско-Хорезмской державой в I в. н. э., и видеть здесь документ попытки кангюйско-хорезмских правителей опереться на помощь Парфии в борьбе с поднимающимся домом Индо-Бактрийских кушанов и датировать ее временем, предшествующим вхождению Хорезма в империю Канишки.

Третья подгруппа α—такого же размера медные монеты, одна из которых имеет чаще всего на лицевой стороне бородатое изображение царя вправо в трезубой короне, напоминающей одну из корон Шапура I, реже—фигуру всадника вправо, очень близкую к изображениям на реверсе наших монет. На обратной стороне эти монеты имеют разнообразные тамги, иногда близкие к обычной хорезмийской тамге ; иногда резко отличную от нее свастикообразную тамгу (крест с округло загнутыми концами).

Монета, тождественная последнему варианту монет нашей подгруппы α, была в 1880 г. опубликована Тизенгаузеном[1].

---

[1] См. например, A. Cunningham. Later Indo-Scythians, Ephtalites or with Huns, NC 1894 III Series, w. 53, p. 262 и на табл. IX (VII) № 1,6, 7, 11, 14, 15, X (VIII) № 14, 15, 16; XI (IX) № 1, 2, 6, 9 и др.

[2] Н. Веселовский. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве, СПБ, 1887.

[1] W. Tisenhausen. Notice sur une collection des monnais orientales de la comte S. Stroganoff. SPB 1880, 8 dw. № 161.

Некоторые монеты «царя в трезубой короне» имеют вместо тамги круговую надпись знаками местного алфавита вокруг выпуклой точки в центре, как упомянутые выше медные монеты «царя в орлином шлеме». Одна из монет из Топрак-кала, несколько большая в диаметре и отличающаяся по технике выполнения, имеет на аверсе несколько схематизированную голову того же «царя в трезубой короне», а на реверсе—обычного «хорезмийского всадника».

Четвертая подгруппа медных монет — представлена монетами, найденными главным образом в Топрак-кала и, видимо, более поздними, чем предыдущие. Эти монеты несут на реверсе изображение царя в головном уборе, близком к убору поздних афригидов: род шапки с выступающим вверх и вперед передним концом. На аверсе—трехконечная тамга иногда окруженная несколькими знаками трудночитаемой хорезмийской надписи (рис. 108, справа 3 нижние монеты).

Разнообразие и обилие типов медных монет, в частности, наличие, помимо ряда вариантов тамги сиявушидов-афригидов, по меньшей мере двух самостоятельных тамг, является, так же как и монета парфянского типа, свидетельством о каких-то существенных фактах в политической истории Хорезма этого времени. Видимо, около II—III вв. н. э. мы имеем проявление тенденции политического обособления отдельных частей Хорезма, под гегемонией местных династий, тенденции, против которой, в частности, возможно, и была направлена тирания Африга в начале IV в.

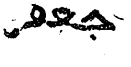
Вторая группа наших монет—$BB_1\beta$ (афригидские)—представлена значительно богаче. Именно к ней относятся те признаки, которые заставили Маркова и Друэна отодвигать нашу серию в сасанидское время. «Тетрадрахмы» исчезают. Серебряные драхмы более плоски, чем «тетрадрахмы» группы А, медные монеты крупнее, шире и площе монет группы $AA_1\alpha$ (табл. 84 и 85).

На лицевой стороне мы видим изображение безбородого царя вправо (на серебряных монетах видны усы), окруженное тем же венчиком типа монет Эвкратида и Герая. На реверсе—всадник вправо, трактованный более реалистично, чем на ранних монетах, на идущей торжественным шагом, реже—скачущей лошади. Слева—та же тамга. Кругом—легенда, состоящая целиком из хорезмийских знаков. Изображения царей различаются чертами лица и коронами.

Типов корон в основном четыре: 1) Округлая шапочка с полумесяцем впереди, напоминающая головные уборы эфталитских царей Индии и убор двух из царей группы А. 2) Такая же шапочка с полумесяцем спереди, сзади и сверху. Оба эти убора, несомненно, близки к уборам сасанидов Ездегерда I (399—420) и особенно Пероза (459—484), Кавада (488—531), Хосроя I (531—579), Ормизда (579—590) и Варахрана VI. 3) Убор в виде зубчатой короны с поднимающимися ступенями передним и задним краем, напоминающий, как отмечено, убор Варахрана V, но с тем же традиционным хорезмийским полумесяцем. 4) Убор в виде своеобразного тюрбана или шлема с поднятым вверх, слегка заостряющимся передним углом и с характерной орнаментацией верхнего края в виде ряда загибающихся вперед маленьких спиралей и также с полумесяцем на лбу. На серебряных монетах группы BB_1 представлены только варианты этого убора.

Количество правителей, носивших эти короны, значительно больше, чем число типов корон.

Подразделение на подгруппы этой группы мы основываем из характера легенды: 1) легенда целиком на реверсе; 2) царский титул располагается на лицевой стороне справа, против лица царя; на реверсе—имя; 3) обратно: титул на реверсе, на лицевой же стороне—имя царя, написанное характерным курсивом.

B_1 сохраняет то же отношение, но на реверсе над крупом коня появляется надпись миниатюрными арабскими буквами, в которой могут быть прочитаны имена: или и  —Фадл (ал-Фадл) и Джа'фар.

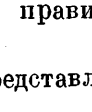
Оба эти имени позволяют точно датировать монеты B_1. Это имена арабских наместников Хорасана, правивших в конце VIII в. н. э.: ал-Фадл ибн Яхья из дома Бармекидов (787—795)[1] и один из его предшественников—Джа'фар ибн Мухаммед (787—789)[2]. Между этими наместниками правил известный Гитриф ибн Ата (792—793)[3], который, по Нершахи, впервые вмешался в чеканку монет в Бухаре, где, по этому автору, были выпу-

[1] Так, по Бартольду («Туркестан», II, стр. 207) И. И. Трофимов («Хронологическая таблица мусульманских династий». Ташкент, 1897, стр. 29) датирует правление ал-Фадла ибн Яхья 794—803 гг.; по Бартольду (там же, стр. 503) в 796—806—7 или 808 гг. в Хорасане правил Алий ибн Иса. В 783(782)—787 гг. в Хорасане правил (Бартольд, там же, стр. 503) Абул-Аббас Фадл ибн Сулейман ат-Туси. Имя на наших монетах может быть, хотя и с меньшим вероятием, отнесено и к нему.

[2] И. И. Трофимов, там же, стр. 28.

[3] Бартольд, там же, стр. 207; Трофимов (там же, стр. 29) дает дату 791—793.

щены так называемые диргемы «гитрифи»— монеты старого бухарского образца, но с именем наместника[1].

Таким образом наиболее поздние монеты нашей серии относятся к концу VIII в. н. э.— ко временам Харун-ар-Рашида. Как в группе AA_1, мы находим и в этой хронологически более поздней группе несколько монет (одна из которых была, как отмечено, опубликована Томасом), отличающихся по типам реверса. Это крупные, плоские медные монеты трех правителей, в своеобразных пышных головных уборах, имеющие в центре реверса не всадника, а тамгообразные знаки, меняющиеся от правителя к правителю (табл. 87, внизу). Чаще всего представлен знак  , реже На дефектной монете третьего царя видна лишь часть знака . Однако, так как титул царя в легенде на реверсе тождествен титулу монет группы BB_1, эти монеты, которые мы выделяем в группу β, несомненно связаны с Хорезмом. К определению их места в нашей серии мы вернемся ниже.

III

Выше, вслед за нашими предшественниками, мы отметили, что тамга сиявушидов-афригидов тесно связана с тамгами кушанов, эфталитов и Согда. Однако связи как основной тамги хорезмийских монет, так и отмеченные выше параллельные тамги на монетах Хорезма и тамги на хорезмийской керамике, особенно богато представленные в Кой-крылган-кала, имеют более широкий и вместе с тем четко очерченный круг аналогий. Из них наиболее близкими и исторически существенными являются параллели между хорезмийскими тамгами, в первую очередь основной тамгой сиявушидов-афригидов, и тамгами античного северного Причерноморья, в первую очередь тамгами Боспорской династии аспургианов I—III вв. н. э.

Царские знаки Тиберия Евпатора, Савромата II, Тоторса и других царей II—III вв. н. э., разнообразные знаки склепа 1872 г. в Керчи и других боспорских памятников чрезвычайно близки к хорезмийским.

Если кушанская тамга ближе всего к тамге сиявушидов своей «подставкой», резко отличаясь верхней частью, то тамга аспургианов—династии савроматского происхождения, пришедшей на Боспоре к власти около начала н. э.,—тождественна с хорезмийской по всему своему плану, отличаясь, и то не всегда, несколько большей угловатостью.

Характерно, что в асимметричных тамгах Тиберия Евпатора и др. налицо даже тот же тип асимметрии—сохранение правой ветви верхней части тамги при утрате левой.

Наряду с царскими знаками аспургианов, аналоги нашей тамги богато представлены на различных памятниках Керчи, Ольвии и других античных центров Северного Черноморья[1], датированных тем же временем (I—III вв. н. э. Шкорпил, Ростовцев). Особенно близкую парал-

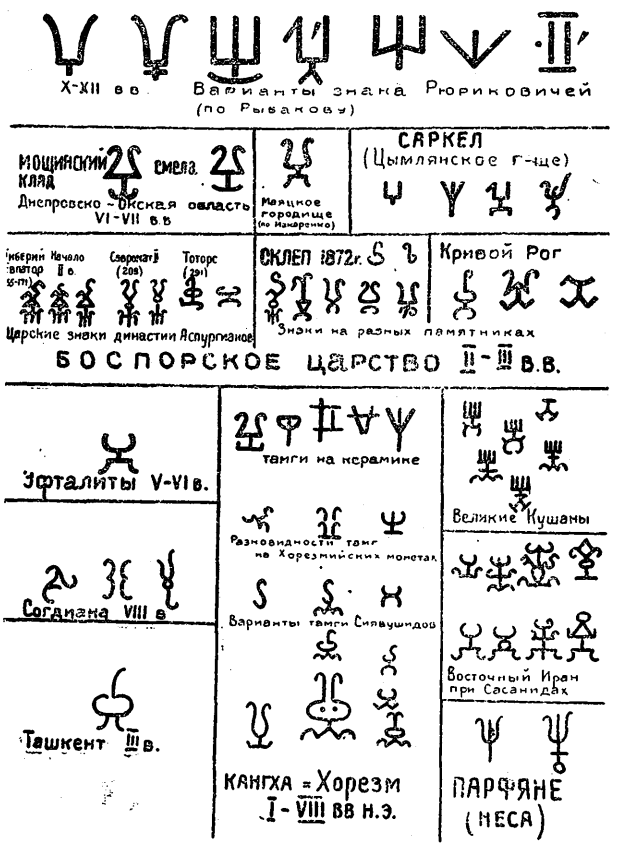
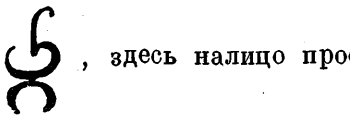


Рис. 109. Хорезмийские тамги и их аналогии в В. Европе, Ср. Азии, Иране и Индии.

[1] Nerchakhy, цит. соч., стр. 34—36; Лерх. Монеты бухар-худатов, стр. 59 сл.; Бартольд, там же, стр. 209. Еще несколько раньше в Хорасане, при наместнике Муссейибе ибн Зухейре (780—783), стали чеканиться так называемые диргемы Муссейиби (Бартольд, стр. 211).

[1] См. И. И. Мещанинов. Загадочные знаки Причерноморья. ИГАИМК 62, 1933, стр. № 6, рис. 3; В. Латышев. Древности юга России. М. А. Р.—9, 1892; В. Шкорпил. Заметка о рельефе на памятнике с надписью Евпатерия. ИАК, в. 37, 1940; Ростовцев. Дек. живопись, табл. XXXIII; E. Minns. Scythians and Greeks, табл. VIII, 26; A. Götze в Mannus 1, 1909, стр. 121—123, рис. 2—4, табл. XIX и мн. др.

лель одному из вариантов сиявушидской тамги на монетах «царя в трезубой короне» мы находим на лошадиной морде, изображенной на известном камне из Кривого Рога[1], в форме



, здесь налицо просто тождество.

Юргевич считает эти знаки аланскими. Скорее к этому определению склоняется и Шкор-

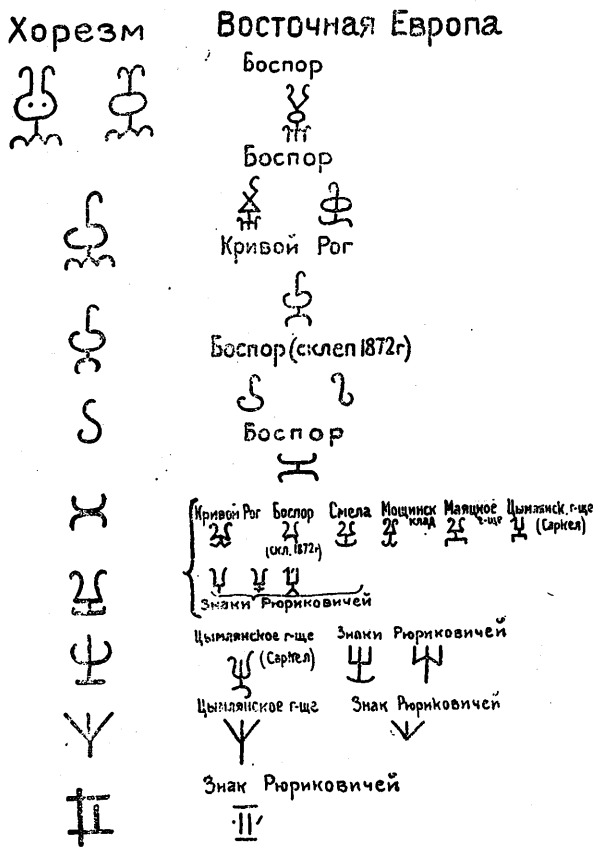


Рис. 110. Тамги Хорезма и В. Европы.

пил[2]. Ростовцев считает их сарматскими[3].

Делались многократные сопоставления этих знаков с тамгами более позднего времени—кабардинскими родовыми знаками, опубликованными Фелициным[4] (Юргевич, Мещанинов), раннесредневековыми (хазарскими?) знаками с Маяцкого городища, опубликованными Макаренко[1] (Мещанинов) и др. Сюда же бесспорно примыкают некоторые знаки с кирпичей Цымлянского городища[2]. Наконец, Б. А. Рыбаков очень убедительно попытался возвести к кругу боспорских тамг и царских знаков тамги Рюриковичей и некоторых более ранних памятников славяно-антской культуры (Киев, Мощинский клад)[3].

Эти поздние проявления исследуемого круга тамг представляют, бесспорно, первоклассный интерес, свидетельствуя о живости сарматской этнической традиции и политической традиции древних государственных центров Северного Причерноморья в раннесредневековой хазарской и славянской среде, протягивая одну из тех нитей между древней историей нашей родины и Киевской Русью, изучение которых, бесспорно, заслуживает самого пристального внимания[4].

На прилагаемых таблицах мы попытались наглядно дать очерченный выше круг параллелей к тамге сиявушидов и другим тамгам древнего Хорезма, круг, как мне кажется, совершенно этнически ясный: речь идет о сарматско-массагетской этнической среде и ее последующих исторических трансформациях.

Ниже нам придется не раз еще вернуться к установленному факту зависимости сармато-аланских, в частности боспорских, тамг династии аспургианов от тамги сиявушидов и общей тесной связи северочерноморских и хорезмийских родовых знаков, не могущей являться случайной и бесспорно отражающей реальную не только этнографическую, но и политическую связь.

Чтение семантики хорезмийских, боспорских и родственных им тамг сармато-массагетских династов первых веков нашей эры может быть дано с достаточной определенностью. Нам представляется, что исходной является ранняя форма хорезмийской тамги, представляющей собой сильно схематизированное изображение женской фигуры, имеющей тенденцию трансформироваться в изображение дерева, со слившимися с ней двумя протомами коней, повернутых головами в стороны.

Прекрасный образец этой композиции в виде миниатюрной бронзовой фигурки женщины, сидящей на соединенных протомах коней, найден в Армении (хранится в Бр. музее) и опу-

---

[1] В. Юргевич. Камень с загадочными знаками. Зап. Одесск. общ., XV, 1879.
[2] В. В. Шкорпил. Боспорские надписи, найденные в 1910 г. Изв. арх. ком., 40, 1911, стр. 113—114.
[3] Ант. дек. жив., стр. 298 сл.
[4] Зап. Одесск. общ., XV, 1889.

[1] Изв. Арх. Ком., 43, стр. 16—33.
[2] Артамонов. Средневековые поселения на Н. Дону, 1933, стр. 91—92.
[3] Б. А. Рыбаков. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси. СА VI, 1940, стр. 232.
[4] См. Пресняков. Задачи синтеза протоисторических судеб В. Европы. ЯС V.

бликован Герцфельдом[1] (рис. 111, 1). Я не склонен вслед за ним завышать возраст этой вещицы. Я думаю, что она датируется аршакидским временем и генетически восходит не к луристанским бронзам, во всяком случае—не непосредственно, а к неизвестным пока нам среднеазиатским прототипам, схематизацией которых является сиявушидская тамга.

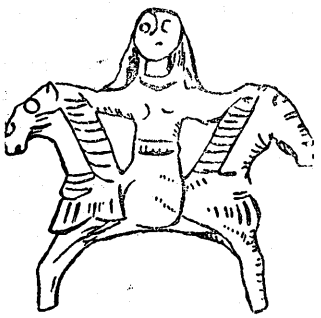


Рис. 111. Прототипы тамги сиявушидов.
1. Бронзовая фигурка из Армении. 2—3. Северо-русский орнамент.

Другими словами, наша тамга сюжетно и стилистически входит в круг блестяще исследованных В. А. Городцовым «сармато-дакских элементов», наложивших такой мощный отпечаток на все дальнейшее развитие народного орнамента народов Восточной Европы и, добавим мы, Средней Азии[2].

Среди сюжетов севернорусских и карельских[3] вышивок мы, в частности, находим и искомую композицию, явившуюся прототипом тамги сиявушидов,—женскую фигуру с двумя протомами коней (рис. 111, 2,3), композиционно тождественную с приводимой нами выше закавказской статуэткой.

В. А. Городцовым убедительно показано, что композиция женщины с конями (resp. всадниками) является центральным религиозно-политическим символом сарматских и дакийских племен, наследством которых она является в русской культуре. А так как нам еще неоднократно придется убедиться, что не только сарматская, но и фрако-дакийская среда отнюдь не кончается на Танаисе и даже Волге, и Средняя Азия в эту эпоху представляет собой прямое этнографическое продолжение В. Европы, то неудивительно, что этот образ в одном из его вариантов лег в основу царского родового знака сиявушидов Кангхи-Хорезма. А если мы вспомним, что вторым символом сиявушидов является всадник с поднятой в знак адорации рукой—непременный элемент исследованных Городцовым композиций—и что тот же всадник с вариантом той же тамги сочетаются на монетах и сиявушидов и аспургианов, мы убедимся, что элемент случайности может быть здесь исключен.

Боспорские знаки помогают нам прочесть ступени семантической эволюции исследуемой тамги, несмотря на свою схематизированность, сохранившую для среды, где они бытовали, всю полноту смысловой нагрузки. В нижней части тамги аспургианов читаются либо также протомы двух коней, либо она интерпретируется, как ясно видно на тамге Савромата II, как один повернутый влево конь. Голова правого коня трансформируется в хвост левого. Верхняя, асимметричная часть тамги, несомненно, воспринимается как птица. Если мы вспомним ту тесную связь и взаимные переходы фигуры женщины и ее атрибутов—птиц—в русской народной орнаментике, сармато-дакийские связи которой вскрыты Городцовым, нам будет понятна органичность этой трансформации.

Асимметричная тамга прежде всего результат обычной для эволюции родовых знаков всех народов графической модификации исходной формы в новом ответвлении рода.

Но так как тамга не просто условный знак, а знак, наполненный внутренним магико-мифологическим смыслом, графическое изменение влечет за собой семантическую переориентировку, в свою очередь влияющую на графику: место богини—центра композиции—занимает ее атрибут- птица, графически ассоциирующая с асимметричным рисунком тамги.

Итак, в хорезмийской тамге древних сиявушидов, представленной на тетрадрахме из Топрак-калы, мы видим наиболее древнюю, исходную форму, дериватом которой являются асимметричные тамги позднейших сиявушидов-афригидов, с одной стороны, и аспургианов—с другой. Тамга аспургианов не только входит в один круг родовых знаков с тамгой афригидов, они бесспорно принадлежат одному ответвлению древнего рода сиявушидов, ибо одинаково решена задача создания варианта исходного знака.

Иначе эта задача решена у кушанов, но, несомненно, это та же задача и отправляются они от той же исходной формы: сохраняется «подставка», т. е. соединенные протомы коней, верхняя же часть совершенно отрывается от первоначального образа, заменяющегося характерной кушанской гребенкой (дерево?).

Третье решение бесспорно той же задачи мы находим в Иране, где, в полном соответствии с хорошо прослеженной в русском орнаменте

[1] Herzfeld. Iran in the ancient East, p. 175, fig. 295 d.

[2] В. А. Городцов. Сармато-дакские религиозные элементы в русском народном творчестве. Труды ГИМ I. М. 1926.

[3] См. U. F. Sirelius. Die Vogel und Pferdmotive der karelische u. ingermanlandische Broderien. «Studia Orientalia» I, Helsinki 1925, стр. 385, рис. 39—42.

закономерностью трансформации исследуемого сюжета, мы видим переход женской фигуры в фигуру ветвистого дерева. Протомы коней превращаются в корни и ветви с сидящими иногда на них схематическими птицами, но и здесь связь с исходной формой остается несомненной.

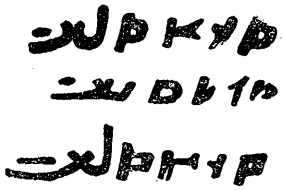
Подводя итоги, мы можем сделать пока предварительное заключение, к дополнительной аргументации которого нам еще придется вернуться ниже.

Хорезмийская тамга сиявушидов-афригидов, равно как и дополнительные династийные и фамильные знаки Хорезма, входя в круг массагето-сармато-аланских родовых символов, позволяют, вместе с тем, говорить и о более интимных генеалогических связях между хорезмийскими сиявушидами, с одной стороны, и массагето-сако-сарматскими династиями Боспора, кушанской и эфталитской империи и аршакидского Ирана, причем устойчивость именно хорезмской политической символики и непрерывность хорезмской династической традиции, уводимой Бируни в темные века позднего бронзового века, дают право думать, что именно здесь нужно искать древний центр распространения как символов, так и отраженных ими династических связей. Возвращаясь к первой главе нашего исследования, мы, я думаю, можем здесь видеть новое доказательство в пользу уравнения Хорезм-Кангюй. Ниже мы, на другом материале, попытаемся проследить возможные исторические пути распространения исследуемых символов и политические связи, им соответствующие (см. гл. IV, III, экскурс I).

IV

Мы переходим к самой сложной части нашей работы—к анализу хорезмийских легенд наших монет. Первым шагом в этом исследовании было выделение группы знаков, повторяющейся на всех без исключения монетах группы $BB_1\beta$.

Эта группа знаков выглядит на разных монетах так:



Не различая, как это делает Томас, первого и четвертого знаков в легенде $BB_1\beta$, мы читаем MR'—MLK'—сочетание двух арамейских идеограмм: MR' со значением «господин», «властитель» (ср. в согдийском MR'Y)[1] и MLK'—«царь»—вместо хорезмийского «шах» (в целом «господин-царь», может быть «властвующий царь»).

Алеф в таком чтении окажется близким к одному из начертаний алефа аршакидо-пехлевийских монет ( ), восходящего в свою очередь к наиболее архаической форме финикийского и арамейского начертания ∢.

Дешифровка титулов дала нам пять знаков древнехорезмийского алфавита (M, L, R, K'). Это дало возможность полнее выяснить генетические связи нашего шрифта и проследить его эволюцию.

Прежде всего мы смогли установить, что хорезмийский шрифт вплоть до VIII в. сохраняет крайне архаический облик, во многом более сближающий его с арамейскими шрифтами парфянского и даже ахеменидского времени, чем с сасанидским пехлеви и согдийским. При всей архаичности раннесогдийского, хорезмийский дает значительно больше черт сходства с исходными формами.

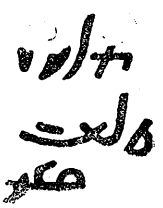
Затем анализ надписи на монетах разного времени позволил нам выявить три этапа развития хорезмийского письма. Первый представлен на монетах группы $AA_1\alpha$. Его знаки целиком укладываются в рамки вариаций арамейского шрифта как такового. Знаки пишутся раздельно, лигатуры почти отсутствуют. Второй представлен в надписях на реверсе всех монет группы $BB_1\beta$. Знаки приобретают здесь ряд местных особенностей. В частности «M» получает замкнутую снизу форму. Распространяются лигатуры при общей тенденции писать буквы раздельно. Третий этап представлен в надписях на лицевой стороне монет VIII в. группы $BB_1\beta$.

Это законченное связное курсивное письмо, знаки которого претерпели значительные изменения, во многом сблизившись со знаками согдийского (в том числе и позднесогдийского) алфавита. Наглядно видеть эти изменения можно из сопоставления начертания титула MLK' на разных этапах истории хорезмийского письма.

Раннехорезмийское

Среднехорезмийское

Позднехорезмийское



[1] А. А. Фрейман. Находка согдийских рукописей и памятников материальной культуры в Таджикистане. «Согдийский сборник», Л. 1934, стр. 13.

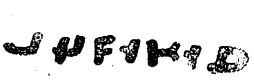
Значительно большие трудности представило чтение меняющихся легенд, в которых естественно было видеть личные имена царей. Однако здесь мы имели благоприятные условия, благодаря наличию списка 22 древнехорезмийских царей ал-Бируни, охватывающего период с начала IV по X в. н. э.[1].

Наиболее определенные результаты дала работа над чтением имен на монетах с курсивным начертанием имени царя на лицевой стороне. Здесь мы имели для одного из двух царей этой группы точную датировку, благодаря арабской надписи, что давало возможность довольно точно датировать и другого царя серединой VIII в. С другой стороны, облегчала дело и близость курсивных начертаний хорезмийских имен к согдийскому курсиву.

Курсивная надпись на упомянутых монетах царя середины VIII в. вероятнее всего может быть отнесена к царю Шаушафару شاوشفر единственному из списка домусульманских царей ал-Бируни, упоминаемому в иностранных — в данном случае китайских — источниках под именем Шао-ши-фынь; этот царь согласно Тан-шу в 751 г. прислал посольство с дарами к китайскому двору[2].

В нашей надписи, как и в имени царя, повторяются первый и четвертый знаки, которые могут быть сближены с согдийским s. Конечное r не подлежит сомнению. Знак второй может рассматриваться как сокращенное курсивное начертание алефа. Знак третий близок к согдийскому ваву, знак пятый может быть сопоставлен с согдийским «р».

В целом имя читается š'wšpr—Шаушафар. Это чтение нам представляется не возбуждающим сомнений.

Надпись на реверсе вслед за царским титулом 

Третий знак должен читаться, как алеф, в первом—вероятнее всего видеть подвергшееся влиянию курсива начертание р, второй и четвертый могут быть r или k. Последний знак вероятнее всего *n* (см. ниже). Пятый знак на других монетах (см. ниже) является одним из начертаний x[1]. Наконец, в знаке шестом я склонен видеть лигатуру двух знаков, в первом из которых надо видеть z или w, во втором r или k. В целом слово читается как pr'rx zr n, видимо, два слова, дополняющие титул. Первое восходит к среднеиранскому «farrak»: «облеченный благодатью», «благословенный», весьма обычному в сасанидской титулатуре[2]. К анализу второго мы вернемся ниже (см. стр. 189).

Менее определенно чтение имени царя на монетах с именем арабских наместников На это время по списку ал-Бируни должно падать правление либо преемника Шаушафара, имя которого ал-Бируни передает в форме ترکسبثه (Туркасбаса или Туркасбаса)[3], или его преемника, носившего мусульманское имя Абдаллах.

---

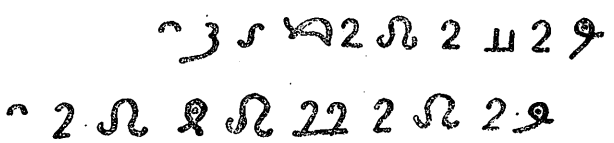
[1] Chronologie Orientalischer Völker von Albêrûni. Herausg. v. Dr. C. Eduard Sachau, Lpz. 1923 s. 35 (араб. текст). The Chronologie of ancient Nations. An english version of the Arabic text of the Athar ul Bâkiya of Albirûni. Trans. and edited by Dr. C. Eduard Sachau. Lond., 1879.

[2] Тан-шу, гл. 21 в., стр. 5а; Иакинф, Собр. сведений, III, стр. 246.

稍 施 芬

[1] Впрочем, здесь можно видеть и аршакидо-пехлевийское восходящее к арамейскому S, которое здесь может служить вероятнее всего для передачи звука č→c.

[2] H. Reichelt. Die soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museums II, Heidelberg 1931, 1, 5, 6. III, 9, 34, 10, 33; VI, 2. Ср. новоперс. افروز افروخته «сияющий», «блестящий», осет., фаерухс k*a* н V н (-ун «стать светлым». Ср. также в сасанидской титулатуре



pr'r Hrmizde-Farr Hormizd)
farraxu Sahpuhre

[3] Я думаю надо читать ترکستثه имя, известное нам в форме Τουρκσανθης из отчета Менандра, как имя одного из западно-тюркских вождей VI з.

Так как вторая часть имени является уже знакомой нам идеограммой MLK', а знак пятый тождествен с седьмым—стоящий перед ним знак четвертый может быть архаическим начертанием w, которое мы еще встретим на наших монетах, а знак второй очень близок к общеарамейскому, в частности согдийскому, начертанию b (согд. β), и я склонен видеть здесь именно имя Абдаллаха, рассматривая первый знак либо как а й н, употреблявшийся в хорезмийском (как и в согдийском), конечно, лишь для передачи семитических слов; либо может быть сокращенное написание а л е ф а, сходное с сокращенным а л е ф о м в конце титула на монетах группы А.

Если предположить в третьем знаке d, родственное некоторым начертаниям аршакидского пехлеви и тождественное d согдийских текстов, то имя в целом будет читаться 'bdwlMLK' или 'bdwlMLK'—Абдалл(ах)—шах.

Монеты группы А читаются с большим трудом. Как я уже отмечал, мы имеем здесь четыре начертания (см. табл. 84, р. 5, 7, 9—11, 13).

В первом ясны три последние буквы, дающие чтение m'r или m'k. Первая, если исходить из арамейских прототипов, может быть w, y или z, вторая—w, p, z или g. В целом имя может читаться wzm'r, yzmr', wpmr'wgm'r или, наконец, zgm'r. Во всяком случае в списке ал-Бируни подобного имени нет. Условно мы будем именовать этого царя Вазамаром.

Во втором имени первый знак а л е ф, четвертый, вероятнее всего, r. Во втором знаке я вижу арамейское p, в третьем—w, в пятом—арамейское г и м е л ь (g), в целом 'pwrg, где w, как в пехлеви и согдийском может служить для передачи редуцированного гласного. В таком случае это начертание будет передачей имени Африга افريغ — первого царя списка ал-Бируни.

Видимо, это же имя мы читаем в третьей (табл. 84, р. 13) надписи (изображение царя на аверсе этой монеты очень похоже на изображение «Африга»)—с той разницей, что здесь налицо лигатура rg и, в связи с общим более округленным рисунком знаков, иное начертание, весьма своеобразное, приобрел начальный а л е ф.

В четвертом имени (табл. 84, р. 9—11) первый знак w, второй—r, четвертый—w, пятый—m. Если видеть в шестом знаке, как и в надписи на реверсе монеты Шаушафара, одно из начертаний x[1] и в третьем знаке предположить хорезмийское t или ϑ (арам. тау.)[1], все имя будет читаться wrϑwmx, т. е. имя Арсамух, ارشموخ ал-Бируни[2]. Однако по типу монеты не могут принадлежать этому шаху, бывшему, по ал-Бируни, современником Мухаммеда, т. е. жившему в первой четверти VII в. Они, несомненно, восходят к значительно более раннему времени, и, может быть, принадлежат одному или двум шахам этого имени, либо правившим до Африга, либо почему-либо (нет ли ключа к этому в виде изменений тамги на этих монетах?) не попавшим в список Бируни.

Вероятнее, впрочем, что подтверждается и весовыми данными (см. ниже), Артамуха I (I и II?) мы должны относить ко времени более раннему, чем не только Африг, но и Вазамар. Напомню (см. выше гл. III, стр. 109), что многочисленные имитации кушанских монет, видимо, во II веке вытеснившие старую кангюйскую чеканку, несут часто надчеканку S, тождественную с тамгой в левом поле реверса монет Артамуха (Артамухов?). Тот же знак мы находим на кирпичах раскопанного нами дома близ Аязкала № 3, датированного монетами тем же временем. Возможно, что в чеканке Артамуха(-ов) мы имеем первую попытку после перерыва в несколько десятилетий вернуться к древнему кангюйскому типу еще в период гегемонии над Хорезмом Великих Кушанов, чем, мне представляется, можно объяснить отсутствие «подставки» под тамгой, видимо, имевшей какое-то отношение к идее политического суверенитета.

Довольно значительное количество надписей, весьма, впрочем, дефектных, дают нам и медные монеты группы $AA_1\alpha$. Оставляя требующую еще значительной работы публикацию этих надписей до подготавливаемого нами полного издания нашей нумизматической коллекции, отмечу лишь, что почти все надписи на

[1] Или č—c (см. выше, прим. к стр. 188).

[1] Сходные формы тау мы находим в старосирийском, эстрангелло, синаитском, в Иране—в сасанидском пехлеви и зендском.

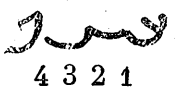
[2] Или Арсамуч (Арсамуц), так как خ близко к ج, которым č передавалось в арабском (в арабской транскрипции слов для č (c) мы имеем у ал-Бируни) چ, а в хорезмийских документах XIV в. خ легко предположить в данном случае описку у переписчиков ал-Бируни.

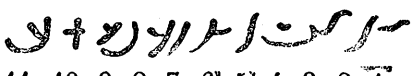
медных монетах состоят из уже знакомой нам идеограммы MLK' и меняющейся части—личного имени. По легендам мы можем констатировать, что орлиный шлем носили два царя—уже знакомый нам «Вазамар» и царь с другим именем, начинающимся на r или k, кончающимся на t, что имя царя с тамгой оканчивалось на rh, что легенда монет царя в трезубой короне не содержит MLK', а, повидимому, лишь личное имя, если не видеть титула во входящих в легенду знаках... MR...

Из палеографических особенностей отметим более раннее появление на меди лигатур, естественно, сильно затрудняющих чтение. Весьма сложно также чтение медных монет нашей коллекции, принадлежащих к группе B, как и серебряных монет этой группы, не имеющих курсивной надписи на аверсе. На одной из медных монет—с изображением царя в ступенчатой короне—можно пытаться видеть s'hr—имя царя, правившего в первой половине VIII в. н. э.:

Другая медная монета, найденная в 1937 г. в Беркут-кала и имеющая на аверсе голову царя в круглой шапке, украшенной тремя полумесяцами, на реверсе—обычного сиявшидо-афригидского всадника и обычную афригидскую тамгу—имеет надпись, расположенную в трех местах: на аверсе, против лица царя:

(MR)' MLK(').

Над затылком царя — 
4 3 2 1

На реверсе 
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Я читаю ее, исходя из вышеизложенного: 'Skwčwr prrk

Первое имя—тождественное с «Аскаджуваром» Бируни (около 700 г. н. э.). Второе—обычный эпитет сасанидской царской титулатуры (см. выше).

Большой интерес представляет отсутствующая на всех остальных монетах надпись позади головы царя. Надпись состоит из двух начертаний, первое из которых—лигатура, видимо, из трех букв. Первый знак—r или k. Последний z, w, p или g. Предпоследний вероятнее всего—n, хотя на этом месте лигатуры он может представлять любую букву «с хвостом»—например, k. Вторую букву, от которой осталась только толстая горизонтальная черта, определить совершенно невозможно.

Однако я позволю себе, совершенно гипотетически, предположить, что, поскольку титул-идеограмма дан перед лицом царя, а имя и эпитет на реверсе, в слове над головой видеть название государства и читать K'ng—Канг—древнее политическое имя Кангюйско-Хорезмской державы.

K'ng MR'MLK' 'Skwčwr prrk.

В целом легенда будет читаться:

«Господин царь Канга Аскачувар Благословенный»—почти точная калька согдийского титула, известного нам по документам с горы Муг:

Sγwδyk MLK' sm'rkuδč MR'Y δyw'styč.[1]

Если это чтение подтвердится—это будет новым серьезным аргументом в пользу нашего уравнения Кангюй—Хорезм.

Из двух «Аскуджуваров» списка ал-Бируни вероятнее относить нашу монету к первому, правившему, если исходить из расчетов Бируни, около середины V века. Второй «Аскаджувар»—дед Шаушафара, правивший во второй половине VII в., исключается,—ибо, как мы видели, этот период характеризуется совершенно иным типом монет.

Пять серебряных монет собрания Эрмитажа и ряд наших медных монет не несут на лицевой стороне имени царя. Они имеют на реверсе одну и ту же часть легенды, следующую за MR' MLK':

5 4 3 2 1; 5 4 3 2 1

Несомненно, чтение четвертого знака—M и второго—R. В третьем, имеющем тенденцию связываться с последующим, а иногда и предыдущим знаком, вероятнее всего видеть арамейское z. Если, придерживаясь в данном случае чтения Рэпсона[2], видеть в первом знаке заимствованную из сасанидского курсивного пехлеви лигатуру H и W, все слово в целом будет читаться Hwrzm, т. е. Хорезм, и тогда надпись в целом будет читаться: MR'MLK' Hwrzm—«господин шах Хорезма».

---

[1] Ср. «Согдийский сборник», стр. 40 и др.

[2] J. Rapson. On the attribution of certain silver coins... N C. III ser. XXVI 1926, стр. 246. Нашу легенду в целом он читает: Ta-r; ga-ta-sh Rhu-da, чтение в целом неверное, но интересующую нас лигатуру он читает правильно.

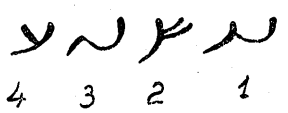
Вызывает сомнение, с одной стороны, тот факт, что на монетах всех других типов нашей серии имя Хорезма отсутствует, с другой— курсивная позднепехлевийская лигатура мало вяжется с архаическим обликом хорезмийского монетного алфавита. Однако так как чтение rzm не подлежит, как нам представляется, сомнению, а датировка этих монет, тесно примыкающих по всем признакам к монетам Шаушафара и Абдуллы и, несомненно, чеканенных одним из непосредственных предшественников первого, вероятно, в VII—начале VIII в. (здесь мы присоединяемся к сделанной на основании других данных датировок Кэннингэма), позволяет считать хронологически возможным воздействие поздних форм пехлевийской письменности— я считаю это чтение наиболее вероятным.

Исчезновение имени царя и замена его именем страны, вероятно, имеет свое историческое объяснение. Может быть это монеты правившего в 712 г., в период завоевания Кутейбы, Аскаджамука II, которого внутренние (гражданская война, описываемая Табари) и внешние политические обстоятельства (бурная эпоха арабского завоевания) заставляли особо подчеркивать свое право на единовластие в Хорезме.

Индивидуальная часть легенды одной монеты (из коллекции Эрмитажа) без имени на лицевой стороне, очень в остальном похожей на только что описанные, и если не чеканенной тем же царем, то очень близкой ко времени чеканки их хронологически, видна на рис. 20 таблица 84.

Легенда, как мы видим, крайне деформирована, буквы слились между собой в сложную лигатуру. Отчетливо выступает лишь последнее R (K?).

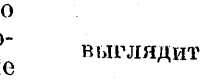
Ни в коей мере не претендуя на окончательное чтение, я считаю все же возможным пытаться раскрыть слившиеся в этой лигатуре знаки



4 3 2 1

и читать, как и на медной монете, приводимой нами выше, S'hr—Сахр (II)—имя царя, правившего в конце первой половины VII в.

Есть основания предполагать, что вообще в VII—VIII вв. установился обычай изображать царей на серебряных и на медных монетах в разных уборах. На последних уборы сильно варьируют, с преобладанием, однако, зубчатой короны Варахрана V—на первых устойчиво выступает тюрбанообразный убор. Видимо, сохранение однотипности изображений на серебряных монетах было важно в связи с ролью монет хорезмийской чеканки на среднеазиатском рынке для VII в., отмеченной Нершахи.

На монетах с трезубым знаком, где реконструированная при помощи сопоставления ряда дефектных монет индивидуальная часть легенды выглядит как  ; мы считаем возможным, сближая первую букву с арамейским[1] h, вторую с n, в третьей видеть близкий к пехлевийскому k, в четвертой r и в пятой—конечное y[2], читать xnkry или xnγry (см. табл. 85, р. 10, 12, 22).

Это имя будет соответствовать имени خامكرى (خامكرى) Хангири или Хамгири — имени шаха, по списку ал-Бируни, правившего в первой половине VI в. Однако так как в таком случае необъяснимым остается отличие реверса от обычного для монет афригидов, я склонен видеть здесь имя враждебного хорезмшаху — современнику Кутейбы — «Царя Хамджерда» ملك خام جرد, правившего где-то в западной части Хорезма, вероятно, в Нижнем Хорезме, и в 712 г. разбитого и казненного Кутейбой[3].

Заслуживает особого внимания отклонение от обычного хорезмийского шрифта на этих монетах, причем в направлении, позволяющем говорить о влиянии еврейского квадратного письма. Это невольно наводит на старую проблему о еврейских элементах в домусульманском Хорезме, неоднократно ставившуюся в литературе и основанную на среднеперсидской традиции об «основании» Хорезма сасанидом Нарсе, «сыном еврейки», и на крайне своеобразном наименовании хорезмийских ученых (времен арабского завоевания) у Табари—хабр (ахбар)—термин, применяющийся в арабской литературе только к еврейскому ученому[4].

Если наше чтение правильно, то движение Хамджерда могло носить и религиозную окраску. А тогда позволительно сопоставить дату разгрома этого движения и начала исламизации Хорезма (712) с вероятной датой юдаизации Хазарии—по расчетам М. И. Артамонова—

---

[1] Ср. начертание χ на ряде недатированных монет Средней Азии, изданных Allofe de la Fuye, RN 1910, p. 301; 1925, p. 31, 163, стр. 144—147. Прототипом здесь является арамейское ha ахеменидского периода. Ср. также начертание ha и хет в квадратном письме.

[2] Ср. конечный иод в сасанидском пехлеви.

[3] Табари, II, Ser. II, стр. 1238; ибн-ал-Асир, 4,451;

[4] См. Иностранцев, ЖМНП 1911.

между 731 г. и концом VIII века[1]. Мало вероятно принятие правящей династией воинственного полукочевого государства религии гонимых купеческих общин Причерноморья. Но религия таких же воинственных, как сами хазары, эмигрантов с востока, оттуда же, откуда позднейшая Хазария черпала свои лучшие воинские кадры, могла, бесспорно, стать господствующей религией формирующегося полуварварского тюрко-славянского государства.

Может быть в этих событиях нужно искать объяснение слова xzrn (Хазаран?) в титуле Шау-шафара (стр. 185).

Медные монеты со знаком в центре реверса, на первый взгляд этим признаком напоминая монеты «Хангири», однако должны быть не только включены в основную группу афригидских монет, ибо, как удалось установить на одной хорошей сохранности монете из Наринджана, они имеют слева, в поле, сиявушидскую тамгу. Больше того, сравнительный анализ изображения царя и непрочитанной пока надписи на реверсе убеждает в том, что эти монеты принадлежат хорезмшаху «Абдаллаху».

Мы сделали выше попытку чтения 10 имен, представленных на наших монетах. Пока непрочитанными остаются еще 5 или 6 имен на по большей части сильно дефектных медных монетах нашей коллекции.

Проделанная работа дает возможность с большей или меньшей долей вероятности подойти к чтению девятнадцати знаков хорезмийского алфавита, на разных этапах его развития: ', y, w, b (β), p, m, n, r, l, ḑ, s, š, ḥ, x, k, q, γ, g, c (č).

V

Наш анализ был бы неполным, если бы мы не привлекли к нему весовые данные. Эти данные полностью подтверждают выводы в отношении относительной хронологии, сделанные нами из анализа изображений и фактуры монет.

Наиболее полновесными (что, однако, связывается с низким процентом серебра в сплаве) являются тетрадрахмы группы A_1. Монета с безбородым царем имеет вес 11,75 г, с бородатым—11,60 г (причем край последней монеты обломан). Как мы знаем, тетрадрахмы Герая[2] имеют вес 11,95—15,56 г, в среднем—13,93 г.

Вес группы А значительно ниже. Монеты царя в орлином шлеме дают вес в 9,85, 8,00, 6,85 г; монеты «Африга»—9,10 г и 5,96 г. Последняя представляет собою крайне обесцененную тетрадрахму (каковой она остается по диаметру), по весу уже приближающуюся к полновесной драхме.

Серебряные монеты группы BB_1 дают не менее показательную картину. Монеты царей VII в.—полновесные драхмы, несколько превосходящие, в общем довольно устойчивый вес сасанидской драхмы, колебавшийся на всем протяжении четырехвековой истории сасанидов между 3,695 и 4,046 г[1].

Монета с легендой (S'hr)—4,55 г.

Четыре монеты с чтением MR'MLK'Hwrzm дают 4,67; 4,38; 4,37 и 4,36 г.

Вес, таким образом, высок и весьма устойчив, отличаясь в этом отношении от тетрадрахмы III—V вв.

Монеты Шаушафара дают резкое снижение веса; их вес—3,26; 3,20; 3,11 и 3,06 г—спускается ниже минимального веса сасанидских драхм.

Еще ниже падает вес монет «Абдаллаха».

Монеты «Абдаллаха» без арабской надписи имеют вес 2,44; 2,39; 1,97 г. Монеты с арабской подписью дают 2,05; 1,92; 1,44 и, наконец, 1,32 г, падая более чем втрое по сравнению с хорезмийскими драхмами VII в.—начала VIII в. и более чем вдвое по сравнению с драхмой Шаушафара.

Отражая общую закономерность, свойственную большинству нумизматических серий, наша коллекция отражает вместе с тем быстрый процесс политического упадка государства афригидов после арабского завоевания и особенно под властью аббасидских халифов.

VI

Работа над нашей нумизматической коллекцией позволила нам подойти к вопросу об определении не только не датированных монет, хранящихся в наших музеях, но и некоторых

[1] История СССР, изд. ИИМК, 1939, III:IV, стр. 410.
[2] А. Н. Зограф. Монеты Герая, стр. 5—6, 21.

[1] Furdoon D.Y. Paruck. Sāsānian Coins. Bombay, 1924, p. 38; ср. Mordtmann в ZDMG, 1880, S. 149.

памятников древней художественной промышленности. Определенные при помощи хорезмийских монет, они, в свою очередь, обогатили наш материал по древнехорезмийской письменности, позволили уточнить ряд определений древнехорезмийских буквенных знаков и, что самое главное, они явились первыми известными нам памятниками древнехорезмийского изобразительного искусства, открывая широкие перспективы изучения художественной культуры древнего Хорезма и, ввиду религиозной семантики ряда изображений, истории религии этой страны. В поисках памятников древнехорезмийской письменности мы обратились к просмотру непрочитанных надписей на серебряной посуде восточного происхождения, изданных Я. И. Смирновым[1].

Среди сосудов с надписями мы обратили внимание на семь серебряных чаш, изданных в атласе Смирнова под № 42, 43, 44, 45, 46, 47 и 286 (табл. 87).

По ободку этих чаш идут, как правило, тщательно выгравированные надписи, о которых Я. И. Смирнов в вводной статье к атласу пишет: «Надписи на группе чашек (42—47, 286), кончающиеся, повидимому, обозначением веса, не читаются, по словам академика К. Г. Залемана, так как писаны, по всей видимости, на каком-то неизвестном языке»[2].

Вместе с рядом других произведений, изданных в цитируемом атласе, его автор относит эти чаши предположительно к «позднейшему периоду индо-скифского царства III—VII вв. по Р. Х.», находя аналогии изображенным на некоторых из них божествам на индийских монетах династии Гупта[3].

Сопоставление знаков надписей на этих чашах с надписями наших монет убедило нас в крайней близости тех и других. Все знаки монет оказались представленными на чашах и лишь несколько знаков на последних отсутствует на монетных легендах.

Сравнительный анализ изображения на чашах и на монетах еще ближе убедил нас в правильности сделанного сопоставления. Помимо того, что те и другие роднила общая струя индо-бактрийских культурных влияний, сочетающаяся с чертами локального своеобразия, изображения дали ряд деталей, позволявших сделать наше сближение особенно определенным.

На чаше 286 мы видим изображение сидящего на ковре царя, опирающегося левым локтем на круглую подушку. В правой руке он держит трезубый скипетр, тождественный с трезубым знаком на реверсе анализированной нами выше своеобразной группы наших монет. Этого мало. Рогатая корона на голове царя, с развевающимися позади полосатыми лентами тождественна с короной царя монет с указанным знаком. И, наконец, лица обоих изображений несут ряд черт, позволяющих говорить о портретном тождестве царя монет и царя чаши. Характерная, не повторяющаяся на других монетах форма крупного носа, прорез глаз, одутловатые щеки—все это в сочетании с тождеством убора и символа не оставляет сомнения в том, что на чаше № 286 и на наших монетах изображено одно и то же лицо.

На чашах № 42, 43, 44 изображено сидящее на троне (42), поверженном льве (43) и леопарде (44) четверорукое божество, держащее в трех из рук скипетр, символ луны и символ солнца. На голове божества—корона со ступенчатыми зубцами, украшенная на лбу лунным серпом с тремя звездами, тождественная с зубчатой короной ряда монет группы В.

На чаше 45—стоящее божество с козлиной головой, с развевающимися назад с затылка полосатыми лентами, тождественными с лентами короны царя чаши 286 и наших монет.

Всадник вправо с плетью в опущенной правой руке, с колчаном на правом бедре, на коне, идущем торжественным шагом, с поднятой и подогнутой в бабке левой ногой (чаша 46), теснейшим образом примыкает к изображениям всадника на наших монетах.

А. И. Тереножкину удалось, отправляясь от другого материала, данных древнехорезмийской архитектуры, определить хорезмийское происхождение еще одного памятника художественной промышленности—серебряного блюда с замечательным изображением осады крепости[1].

К мотивам, выдвинутым А. И. Тереножкиным в пользу его определения, мы должны прибавить ряд новых аргументов. Отметим крайнюю близость в трактовке изображенных на блюде, на чаше 46 и на наших монетах всадников (особенно характерен поворот лица всадника в $^3/_4$ на чаше 46 и на блюде) и родство религиозной символики наших чаш и Аниковского блюда.

---

[1] «Восточное серебро». Атлас древней серебряной и золотой посуды восточного происхождения, найденной в пределах Российской империи. СПБ., 1909, табл. XVIII—XX и CXIV. А. В. Шмидт (цит. соч.), опираясь на близость письма на этих чашах к согдийскому, определяет среднеазиатское происхождение чаш 42, 44, 45, 46, 47, 72, а также блюд 68, 69, 36.

[2] «Восточное серебро», стр. 6.

[3] Там же, стр. 7.

[1] А. И. Тереножкин. К истории искусства Хорезма. «Искусство», 1939, № 2. Ср. также: И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М.—Л., 1935, табл. 20. Об этом блюде см. также F. Sarre. Die Kunst des alten Persiens. Berlin, 1925, S. 69, Tabl. 105.

В верхней части изображения на блюде мы видим изображение солнца и луны, обведенные полукругом, символизирующим небесную сферу. Мы уже отметили символы солнца и луны в руках четвероруких божеств наших чаш. Их трактовка на чашах и блюде не оставляет сомнения в общей, породившей эти произведения, культурной среде.

К этому нужно прибавить установленную нами при ознакомлении с чашами и блюдом в подлиннике тождественность венчика вокруг дна наших чаш и по краю блюда.

Таким образом группа серебряных изделий, хорезмийское происхождение которых мы определили, идя от палеографии и нумизматической иконографии, сомкнулась с произведением художественного ремесла, которое другой автор определил как хорезмийское, исходя из совершенно других данных—данных крепостной архитектуры.

Оставляя детальный анализ исследуемых памятников до подготовляемой нами специальной работы, отметим лишь, что наш анализ хорезмийских монет позволил сделать первые шаги дешифровки надписей на чашах.

Эти надписи построены по одному стандарту. Вначале идет слово, которое повторяется на всех чашах, и читается, исходя из установленного выше значения букв, как 'psϑnwy (?). За этим следует идеограмма MN—«от», «из». За ней идет индивидуальная часть надписи, повидимому, содержащая собственные имена.

Мы видим здесь хорошо знакомую по сасанидской эпиграфике молитвенную формулу—обращение за помощью к богам, имена которых следуют за MN.

На чаше 43 я читаю первые два слова после MN xwϑwsϑ'xn'xc[1].

Первое имеет в основе xwϑw—«господин». Последняя группа знаков n'xc, видимо, имя богини Анахиты—Нахич в хорезмийском по ал-Бируни.

На чаше 47 можно прочесть вслед за MN—wrmwwsϑk—слово, в состав которого входит имя Ормузда[2].

Все надписи заканчиваются группой знаков, несомненно, являющихся числительными, которым предшествует общее всем надписям слово, первый и четвертый знаки которого может быть z, n, w или y, а второй похож на m (цена, вес, название какой-то меры?)[3]. Дешифровка этих надписей в целом потребует еще значительной работы, в которой должны быть максимально использованы данные хорезмийского языка, подготовляемые к изданию А. А. Фрейманом.

VII

Из исторических выводов, которые уже сейчас можно было бы сделать из нашей работы, мы считаем необходимым отметить следующее:

1. Изучение тамг монет хорезмийских правителей I—VIII вв. н. э. подтверждает правильность показаний ал-Бируни о непрерывной преемственности власти в Хорезме на протяжении этого периода и позднее, до конца X в. (как мы знаем не только из Бируни, но и из других арабских источников) в руках одной династии сиявушидов-афригидов, причем, за исключением двух, повидимому, коротких периодов, конец III в.—канун тирании Африга—и время около арабского завоевания, когда какие-то части Хорезма, вероятно, прежде всего Нижний Хорезм, отделялись и их правители начинали чеканить свою монету,—династия сиявушидов-афригидов, по всей видимости, управляла всей культурной зоной Хорезма. Это позволяет высказать предположение, что политический строй Хорезма был несколько отличен от строя Согдианы, и здесь мы имели вместо типичной для последней конфедерации городов-государств единое политическое целое, больше, может быть, напоминавшее по своей организации деспотии классического Востока.

Это подтверждается и имеющимися письменными данными, в частности, китайскими хрониками, всегда рассматривавшими Хорезм как единое государство.

2. Исследование тех же тамг и характера изображений на монетах заставляет признать имеющей основание китайскую традицию об общем происхождении правившей в Хорезме, Согде и Шаше династий и позволяет истолковать противоречивые данные китайцев о юечжийском и одновременно кангюйском происхождении этой династии. Тамга афригидов связана с тамгой кушанов, а изображения на монетах восходят к кангюйской нумизматике I в. до н. э. Больше того, сопоставление хорезмийских монет с монетами Герая является важным аргументом в пользу того, что центром

[1] Для c ср. начертание согдийского č, которому в хорезмийском закономерно соответствует c.

[2] Ср. согдийское имя 'xwrmztkk (Ahuramazdaka). Reichelt, II, 45. (V, 30).

[3] Отметим близость некоторых из начертаний этого слова в наших (особенно чаша) с начертанием идеограммы ZWZN (драхма) в аршакидо-пехлевийском авраманском тексте (Herzfeld. Paikulu I, s. 82). Так как второй знак наших надписей неизменно отличается от M в идеограмме MN и других словах, может быть здесь возможно видеть лигатуру знаков WZ и читать также ZWZN—драхма.

древнего кангюйского царства был именно Хорезм, где традиция кангюйской чеканки удерживается до конца VIII в. Это положение станет неоспоримым, если подтвердится наше чтение надписи на монете хорезмшаха Аскачувара. Тождество сиявушидско-афригидской тамги и тамги аспургианской династии на Боспоре позволяет предполагать, что и на Боспоре в I—III вв. н. э. правила отрасль кангюйского дома сиявушидов.

3. Нахождение хорезмийских монет, как хорезмийских чаш и блюда в Прикамье, позволяет считать установленной древность тех очень значительных экономических связей Хорезма с Восточной Европой, которые освещены для IX—X вв. арабскими источниками, делая весьма вероятными сведения китайских хроник о политической гегемонии Кангюя (=Хорезма) над племенами Прикамья.

4. Сохранение хорезмийскими монетами вплоть до VIII в. древнего типа изображений говорит о большой самостоятельности и стойкости хорезмийских культурных традиций, сумевших преодолеть мощное влияние культуры сасанидского Ирана, наложившей сильнейший отпечаток на культуру остальных среднеазиатских стран, что нашло свое отражение в господстве на их монетах сасанидских символов. «Хорезмийский всадник», древний символ кангюйской государственности, сумел отразить победоносное наступление «сасанидского жертвенника».

II. ДРЕВНЕХОРЕЗМИЙСКИЕ ТЕРРАКОТЫ

I

Среди материалов, собранных нами за время работ экспедиции, особо должны быть отмечены разнообразные произведения мелкой глиняной пластики—терракотовые статуэтки и гончарные рельефы. Этот наиболее массовый материал по хорезмийскому искусству, вместе с нумизматическим материалом, определенными нами произведениями хорезмийской торевтики, небольшой, но характерной коллекцией по глиптике и, наконец, богатейшие данные по архитектуре, в значительной мере охарактеризованные в предыдущей главе, позволяют нам уже сейчас подойти вплотную к характеристике основных этапов развития хорезмийского художественного стиля на протяжении исследуемого периода.

Однако значение этого материала не исчерпывается его искусствоведческой ценностью. Больше того, в нашем исследовании мы думаем обратить значительно большее внимание на другие связи нашего материала, истолковав его, насколько это возможно, в качестве источника для изучения историко-культурных связей древнего Хорезма, проблемы этногенеза хорезмийцев и, особенно, проблемы истории хорезмийской религии.

Основным объектом нашего рассмотрения в данном параграфе явятся терракотовые статуэтки людей и животных, в изобилии находимые на городищах.

По мере возможности и необходимости к этому основному материалу мы будем привлекать и данные других видов изобразительного искусства, которыми мы располагаем.

II

Изображающие людей древнехорезмийские терракотовые статуэтки, основная масса которых происходит с Джанбас-калы, городища, датируемого периодом между IV в. до н. э.—I в. н. э., могут быть разделены на три основные группы, объединяемые, однако, важным общим признаком: все они плоски и односторонни. Задняя сторона представляет собой гладкую поверхность, окрашенную в тот же цвет, что и лицевая сторона статуэтки. Техника—штамповка в формах, иногда с последующей подправкой.

К первой группе относятся статуэтки, которые мы объединяем в группу хорезмийского архаического стиля и которая по всем данным восходит своими корнями к ахеменидской эпохе, во многом перекликаясь со стилем монументальной скульптуры европейской Скифии. Это женские статуэтки в длинных одеждах, богато убранных по подолу и ложащихся условно трактованными складками вдоль тела. Шея убрана несколькими рядами бус. Изображение фронтально и плоско. Орнамент одежды передан также в плоском рельефе, техникой гравировки. Особое внимание уделено изображению деталей орнаментировки одежды. Характерна трактовка рук, весьма далекая от реализма. Особенно типично изображение положенной на грудь под ожерелья левой руки, изгиб которой дан в виде одной плавной кривой, без всякой попытки передать локоть. Пальцы даны схематически (табл. 72, рис. 8).

Статуэтки этого типа, как правило, красной глины. Одна из них, пожалуй, наиболее архаическая по облику, покрыта черным ангобом.

Лучший образец скульптуры архаического типа найден нами в 1938 г. близ развалин раннеафригидского замка № 32 в районе Беркут-калы. Это заставило нас первое время сомневаться в ее датировке, так как условия нахождения ее противоречили крайнему архаизму стиля. Однако уже в 1939 г. мы

нашли такого рода статуэтки в самом нижнем горизонте Джанбас-калы и подъемном материале Базар калы, самого древнего из городищ кангюйско-кушанской эпохи, своими корнями уходящего в ахеменидское время, о чем говорят находки здесь, притом в значительном количестве, керамики, типичной для т. н. «городищ с жилыми стенами», датируемых нами V—IV вв. до н. э. Это не составляет сомнения в том, что статуэтки описанного типа восходят стилистически к ахеменидской эпохе Хорезма и в кангюйско-кушанский период выступают в качестве пережитка.

Вторая, значительно более многочисленная группа, представлена статуэтками мужчин и женщин, характеризующимися большим художественным реализмом и круглым рельефом лицевой стороны. Реалистически, возможно, портретно переданы лица. Реалистически даны головные уборы и одежда, причем в изображении последней на первый план выступает передача в объеме общей формы без того пристального внимания к орнаменту, который столь характерен для статуэток архаического стиля. Вместе с тем эти статуэтки попрежнему характеризуются подчеркнутой фронтальностью изображения, некоторой напряженностью позы (табл. 72, рис. 2).

Руки на женских статуэтках (табл. 75) вытянуты вдоль тела, на прекрасной мужской статуэтке с Джанбас-калы—правая вытянута вдоль тела, левая согнута в локте и положена на пояс.

Статуэтки покрыты красным ангобом.

Эта группа, характеризуясь большим художественным своеобразием, стилистически роднится все же с некоторыми иранскими статуэтками ахеменидской и, особенно, парфянской эпохи[1], равно как и с частью статуэток афрасиабского круга, датируемых наиболее ранним временем[2].

Значительный интерес представляет одежда, с большим реализмом переданная на наших статуэтках и позволяющая полностью охарактеризовать древне-хорезмийский костюм кангюйской эпохи.

У мужчины—это короткая куртка, покрывающая лишь верхнюю часть бедер, туго стянутая в поясе, с треугольным разрезом ворота и, видимо, меховой опушкой по борту и подолу. Штаны свободные, но не очень широкие, лежащие характерными складками по бедрам и ниже колен забранные, видимо, в высокие сапоги (табл. 72, рис. 2). Головной убор—род фригийской шапки с лопастеобразными наушниками, иногда с тремя рогообразными, нависающими вперед выступами (табл. 73, рис. 1).

Женская одежда, широкая и свободная, состоит из длинной рубашки, ниспадающей до земли, поверх которой надето доходящее до колен стянутое поясом платье. На плечи надет драпирующий тело с боков длинный плащ. Головной убор—также род фригийской шапки с лопастевидными наушниками, с плоским верхом (табл. 73, рис. 2—4).

По своему типу хорезмийская одежда этого времени прежде всего тесно примыкает к одежде хорезмийцев, изображенных на ахеменидских рельефах[1]. Пожалуй, в кангюйских статуэтках нужно отметить лишь бо́льшую подтянутость мужского костюма и более короткую куртку, что, впрочем, можно отнести за счет стиля изображений (ср. разницу в изображении скифских курток в ахеменидском и греко-скифском искусстве). Вместе с хорезмийской одеждой ахеменидского времени одежда наших статуэток входит в широкий круг скифских форм одежды и очень близких к ним по стилю одежд малоазийских и фракийских племен, изображаемых как на тех же рельефах[2], так и в скифском искусстве[3] и греческой вазовой живописи[4] и на хеттских скульптурах[5]. Это в одинаковой мере относится и к женским одеждам, также роднящимися со скифо-сарматскими формами, с одной стороны[6], и малоазийскими—с другой[7].

Особенно необходимо отметить весьма характерную параллель между отмеченным выше трехрогим головным убором хорезмийцев и совершенно аналогичным убором некоторых культовых статуэток воинов из пределов Боспорского царства[8].

Параллели с малоазийским и фракийским кругом народов чрезвычайно существенны для разработки проблем этногенеза народов Средней Азии, а особенно с интересными заключениями, к которым в этом вопросе приходит проф. Б. Грозный, в связи с его дешифровкой иероглифов Мохенджодаро[9].

---

[1] Exhibition of Persian Art. London, 1931, рис. 10 B. F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens. Berlin, 1923.

[2] C. Trever. Terracottas from Afrasib. Leningrad, 1934, табл. VII—VIII.

[1] P. Sarre und E. Herzfeld. Iranische Felsreliefs. Berlin. 1910, табл. на стр. 35, рис. второй справа в нижнем ряду (поправку в подписях к рисункам см. там же, стр. 252).

[2] Там же, стр. 37, первый справа в верхнем ряду, первый слева во втором ряду, стр. 39.

[3] E. H. Minns. Scythians and greeks. Cambridge. 1913.

[4] Г. Вейс. Внешний быт народов с древнейших до наших времен, т. I, рис. 179, а, б.

[5] O. Weber. Die Kunst der Hethiter. Orbis Pictus, ср. табл. 2.5.

[6] E. H. Minns, цит. соч., стр. 158, 128 и др.

[7] A. Götze. Hethither, Churziter und Assyrer. Oslo. 1935, табл. 19. Г. Вейс, Внешний быт, I, 1 рис. 182 на стр. 288.

[8] E. H. Minns, цит. соч., стр. 370, рис. 268 (статуэтка воина в трехрогом головном уборе с наушниками, держащего в руках поднятые вверх меч и щит, найдена в Керчи, Одесский музей).

[9] ВДИ, 1940, № 2, стр. 16, 17. Я должен обратить внимание на сохранение в современной женской одежде туркмен-теке почти в неизменном виде древнего комплекса хеттской женской одежды (ср. одежду женщины

Вхождение хорезмийцев в комплекс массагетских племен[1] при несомненной связи имени массагетов («великие геты»)[2] с именем фракийских гетов, с одной стороны, и более отдаленной, но вероятной связи с именем малоазийских хеттов—с другой, позволяет видеть в статуэтках кангюйского времени важный первоисточник для исследования проблемы древних малоазийско-фракийско-среднеазиатских связей, имеющий первостепенное значение для вопросов этногенеза индоевропейцев.

Вместе с тем мужской костюм во многом напоминает одежду на ранне-кушанских монетах[3].

Насколько можно судить по изображенной на монетах верхней части одежды, близок по покрою к хорезмийскому кафтан «Герая» на его тетрадрахмах[4].

Из более поздних комплексов продолжение этой традиции мы находим прежде всего в одежде хорезмийцев афригидской эпохи на чаше № 46 атласа Смирнова[5], на чаше № 286 в том же издании[6] (здесь мы видим тот же трехрогий головной убор, что и на кангюйских головках), на монетах афригидов[7]. Трехрогий головной убор, повидимому, являющийся особым знаком отличия определенных высокопоставленных лиц, мы находим и на «Аниковском блюде», хорезмийское происхождение которого доказано Тереножкиным[8].

Вместе с тем несомненна параллель между древнехорезмийским и афригидским костюмом, с одной стороны, и костюмом фресковых изображений буддийских культовых памятников второй половины I тыс. н. э. в Китайском Туркестане[1], говорящая нам об устойчивой культурной общности, сохраняющейся на всей территории бывшего кушанского царства в послекушанский период, вплоть до эпохи ислама, и противостоящей влиянию культуры сасанидского Ирана, резко отличной от этой среднеазиатской цивилизации[2].

Характерным отличием мужской одежды афригидской эпохи от одежды эпохи кангюйской является общее у афригидской культуры с культурой Восточного Туркестана появление отворотов у бортов куртки—одностороннего на восточно-туркестанских изображениях и двусторонних—на афригидских[3].

Куртка и фригийская шапка, как характерная форма одежды хорезмийцев, сохраняется, как мы знаем, по меньшей мере вплоть до X в.[4].

Гипотеза Ремюза—Клапрота—Франке, принятая и обоснованная новым аргументом нами[5], отождествляющая массагетов и «больших юечжи» (архаическое чтение иероглифов последнего слова «гветти»), заставляет еще раз вспомнить цитированную работу Грозного. Замечательный параллелизм между «гветти»—юечжи с их правящим родом Куш (ан), с одной стороны, и «хатту» с их правящим слоем, отложившимся в имени древнейшей хеттской столицы Куш(ар)—с другой[6], являясь важным звеном для решения проблемы индоевропейского (и, добавим мы, урало-алтайского) этногенеза, вместе с тем позволяет искать очень глубоких исторических корней культурных связей между Хорезмом и Восточным Туркестаном, позволяющих рассматривать империю кушанов, как исторически сложившееся, имеющее длинную предисторию объединения культурно-родственных народов. А если мы вспомним, что восточнотуркестанский неолит, открытый А. Стейном, тождественен с нашей кельтеминарской культурой,—эта культурная предистория получит еще более глубокую перспективу.

на табл. 19 у A. Götze. Hethither. Churriter und Assyrer. Oslo. 1936, с одеждой текинских замужних женщин и головной убор хеттской царицы с табл. 26 у B. Weber. Die Kunst der Hethiter. Orbis Pictus I с головным убором туркменских девушек. Если мы учтем, что массагетский этнический пласт наиболее крупную роль сыграл именно в туркменском этногенезе, а в теке мы можем видеть почти прямых потомков дахов (см. ВДИ, 1938, № 1), то это сохранение хеттского комплекса одежды у туркмен рядом с отмеченными нами хетто-фракийскими параллелями древнего хорезмийского костюма может существенно подкрепить наш тезис.

[1] Страбон, XI, 88.

[2] См. нашу работу «Средняя Азия во II—I вв. до н. э.», История СССР, I—II, изд. АН СССР. М.—Л., 1939, стр. 304, а также ниже, гл. IV—3 и экскурс 1,6.

[3] Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства. Л., 1940, стр. 86.

[4] А. Н. Зограф. Монеты «Герая». Ташкент, 1937, стр. 33, рис. 1. О связях монет Герая с Хорезмом см. выше, а также нашу рецензию в ВДИ, 1939, № 2.

[5] См. нашу статью в ВДИ, № 4, за 1938 г., стр. 142.

[6] Там же, стр. 140.

[7] Там же, табл. 1—8, см. особенно трехрогий головной убор на табл. III, рис. 9.

[8] И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М.—Л., 1935, табл. 20; ср. статью А. И. Тереножкина в «Искусстве», № 2 за 1939 г. Если аргументация А. И. Тереножкина, отправляющегося исключительно от архитектурных особенностей изображенного на блюде замка, который, несмотря на всю его близость афригидским замкам, мог, конечно, изображать и замок какой-либо другой области Средней Азии, и не является бесспорной, то бесспорным по стилистическим, типологическим и техническим признакам является вхождение этого блюда в группу хорезмийских изделий—чаш, определенных нами по палеографическим и иконографическим данным как хорезмийская.

[1] A. von Cog. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens. Berlin, 1925. Passim.

[2] См. автореферат нашего доклада «Хорезмийский всадник», КС ИИМК, 1, 1939, стр. 9, а также ниже, гл. IV, III.

[3] См. изображение всадника чаши—46 с изображениями атласа von le Cog'a, стр. 38, 39, 40 и сл.

[4] Истахри, BGA 1, стр. 304, МИТТ 1, стр. 180.

[5] См. нашу цит. работу «Средняя Азия в II—I вв. до н. э.», стр. 304—305, а также КС ИИМК, 1, 1939, стр. 8. См. также ниже, экскурс 1,6.

[6] Б. Грозный, цит. соч., стр. 31—32.

Перейдем к третьей группе наших статуэток. Она отличается прежде всего со стороны размеров и фактуры. Красного ангоба нет. Поверхность—желтоватая, в соответствии с желтоватым цветом самой глины. Среди статуэток встречаются очень крупные, достигавшие, видимо, около 25 *см* (судя по размерам фрагментов), наряду с очень мелкими (около 12 *см*).

Найденная в Джанбас-кале рука крупной скульптуры этого типа принадлежала, очевидно, изображению размером около ½ человеческого роста (табл. 76, рис. 8). Другими словами, в противоположность сравнительно однообразному размеру статуэток второй группы, стиль которых мы именуем кангюйским стилем, статуэтки третьей группы характеризуются весьма сильно варьирующими размерами.

Варьируют они и в отношении сюжета и формы. Сюда относятся:

1. Нагие женские статуэтки с характерным жестом Венеры Медичи, с руками, украшенными браслетами (табл. 74). Традиционная поза «нагой богини»—руки, поддерживающие груди, проходит через всю историю древневосточных цивилизаций, от архаических городищ Вавилонии до ахеменидского Ирана и даже Парфии[1]. Исключения из этого правила крайне редки. Луврская терракотовая статуэтка с Кипра, соединяющая египетский головной убор с жестом Афродиты Медицейской, несет на себе следы явного греческого влияния. Жест богини является, таким образом, важным датирующим признаком. Он, несомненно, восходит к греческим прототипам, будучи совершенно чуждым древневосточной художественной традиции. Между тем в самой греческой скульптуре этот образ Афродиты восходит лишь к концу IV в. до н. э. и на восточную почву мог проникнуть не ранее III столетия.

Однако в интересующем нас случае надо обратить внимание на украшенные запястьями руки. Эта деталь, чуждая греческому образцу, роднит наши статуэтки с традициями индийской скульптуры, что заставляет вести их в тот круг форм, в который они входят и технологически и характеристику и датировку которого мы даем ниже.

2. Мужские обнаженные стоящие статуэтки, с попыткой реалистической и вместе с тем условной, в духе античной скульптуры, передачи гениталиев. С античным искусством роднит эти статуэтки относительно очень малый размер половых органов (табл. 74, рис. 6).

3. Крупные статуэтки мужчин и женщин, изображенные в свободных позах, одетые в широкую, драпирующую свободными складками тело и перекинутую через плечи плащеобразную одежду. Характерна трактовка талии—тонкой, с типичным для древнеиндийского искусства перегибом тела в одну сторону. Грудь, в соответствии с формами того же искусства, широкая, выпуклая (табл. 75).

4. Статуэтки, изображающие сидящих, скрестив ноги или поджав одну ногу и поставив согнутую в колене вторую, очень близкие к аналогичным статуэткам гандхарского круга. Отметим совершенно тождественную трактовку живота и традиционно положенную на колено, украшенную браслетом руку[1] (табл. 76, рис. 1—3).

5. К этой же группе относится фрагментированная, найденная на такыре Кой-крылган-калы статуэтка всадника или, вернее, судя по характеру одежды, всадницы, сидящей на каком-то животном, повернувшем голову влево, куда повернута и всадница, спустившая ноги на одну сторону. Эта статуэтка находит близкую аналогию в индобуддийской иконографии[2] (табл. 76, рис. 5—6).

Эта группа в целом может быть названа и «гандхароидной», или кушанской, и датирована, в соответствии с общепринятой датой гандхарской скульптуры[3], временем не раньше I в. до н. э. Несомненная буддийская тематика большинства статуэток увязывается с нахождением в Джанбас-кале фрагмента миниатюрной глиняной буддийской ступы, характеризующегося той же обработкой поверхности. Индобуддийские связи этой группы подчеркиваются фактом нахождения в той же крепости двух сидящих статуэток обезьян,—сюжет, широко распространенный в гандхарском искусстве Индии, Афганистана и Восточного Туркестана. Исторически появление этой струи в хорезмийском искусстве может быть датировано временем вхождения Хорезма в состав великой среднеазиатско-индийской империи кушанов, событие, происшедшее не ранее конца I в. до н. э., к которому китайские хроники относят подчинение Кадфизом I других среднеазиатских и индийских владений[4].

Э. Герцфельд в своей периодизации истории художественных стилей Ирана видит в переходе от традиционных «древневосточных» поз изображений к разнообразию и свободе в выборе

---

[1] F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens. Berlin, 1923.

[1] Ср. гандхарскую статуэтку у von Le Coq'a, стр. 92, рис. 197.

[2] Ср. изображенную на одном из гандхарских рельефов богиню, сидящую на льве, опустив в одну сторону ноги у Grünwedel, цит. соч., стр. 101 (рис. 46, тип богини Сарасвати).

[3] Выдвинутая недавно К. В. Тревер более ранняя дата (II в. до н. э.) мало обоснована (Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 33—34). Впрочем, дата Гандхары сама по себе для нашей темы имеет второстепенное значение, так как трудно предположить возможность проникновения в Хорезм буддийских мотивов до включения его в царство кушанов.

[4] См. нашу заметку «К вопросу о монетах Герая», ВДИ, № 2 за 1939 г., а также выше, гл. IV, I.

положений изображаемого один из важных признаков процесса воздействия греческой традиции на местное искусство[1].

Несомненно, в нашем материале мы видим проявление того же процесса, однако дошедшего до Хорезма в преломлении через индобуддийскую культурную среду. В противоположность Согду, где по материалам Г. В. Григорьева, как, впрочем, и по данным старых сборов, мы можем говорить о сильном и непосредственном влиянии греческого искусства, в Хорезме проникновение эллинистических мотивов в искусство неотделимо от проникновения буддийских образов и в силу этого должно датироваться сравнительно поздним временем.

Необходимо остановиться на вопросе функций хорезмийских статуэток—вопросе, в сущности говоря, общем для Средней Азии, для всех археологически исследованных районов которой, включая и древние города Восточного Туркестана, одинаково свойственно нахождение многочисленных статуэток тех же категорий, что и хорезмийские, хотя и весьма отличных по своему художественному стилю.

Как известно, еще Нершахи[2] отмечает наличие в быту населения домусульманской Бухары идолов (but), которые раз в год, на специальном базаре в присутствии царя продавались изготовлявшими их ремесленниками и ставились жителями города и окрестностей на воротах своих укрепленных замков—усадеб (kösk).

В. В. Бартольд считает спорной имевшуюся в литературе тенденцию известия Нершахи и других авторов «об идолах» связывать исключительно с буддийскими элементами в религии домусульманской Средней Азии[3]. Действительно, если часть хорезмийских статуэток, как мы видим, по всем данным отвечает такой интерпретации, то налицо многочисленная группа, несомненно, добуддийских мужских и женских статуэток, требующих своего объяснения.

Г. В. Григорьев в добытых им во время раскопок в Тали-Барзу статуэтках добуддийского облика[4] хочет видеть в женских изображениях богини Анахиты, в некоторых, принимаемых им за мужские,—изображения «ахеменидских царей»[5].

Оставим на совести Г. В. Григорьева и титул и пол «ахеменидского царя», искать изображение которого на согдийских статуэтках поселения в Тали-Барзу, даже если верить дате Григорьева—значит весьма и весьма переоценивать верноподданнические чувства согдийцев, столь мало проявлявшиеся в дни Александра. Думаю, вместе с тем, что его гипотеза в отношении Анахиты является плодотворной. Восходящая еще к анаусской эпохе традиция культа женского божества плодородия Ардвисуры-Анахиты находит яркое отражение в Авесте, особенно в Ардвисур-Яшт.

Культ Окса-Вахша, долго сохранявшийся в средневековом Хорезме, огромная роль Аму-Дарьи в хозяйственной жизни страны, позволяет предполагать, что Хорезм, как и Бактры на верхнем Оксе, а может быть, и в еще большей степени, являлся важнейшим центром культа этой богини вод вообще и богини вод Аму-Дарьи в особенности.

Если прав Захау в своей идентификации авестийской Урвы с Ургенчем[1], а против его гипотезы возразить трудно, то не случайным окажется то место, которое Урва занимает в посвященном Ардвисуре Анахите Яшт V[2]. Мы не говорим уже о гипотезе Маркварта, искавшего легендарную Айрьянем Вэджо в Хорезме[3] и разделявшемся многими исследователями предположение, что море Вурукаша Авесты—Аральское море[4]. Если принять эти гипотезы, конечно, требующие еще очень много работы для того, чтобы стать научно доказанным фактом, почти все важнейшие места гимна Ардвисуре окажутся связанными с территорией Хорезма[5].

Анализ изображения четверорукого божества на чаше 42, 43, 44 атласа Смирнова и на двух оттисках больших печатей из Тешик-калы приводит нас к выводу, что здесь мы имеем образ хорезмийской Анахиты афригидской эпохи, прошедшей через этап синкретизации с индобуддийскими образами в кушанскую эпоху[6]. Могучая богиня, увенчанная царской короной, держащая в руках скипетр и символы солнца

---

[1] E. Herzfeld. Archeological History of Iran. London, 1936, стр. 71.

[2] Мухаммед Нершахи. История Бухары. Перевод Лыкошина под редакцией В. В. Бартольда. Ташкент, 1897, стр. 30—31.

[3] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л., 1927, стр. 48.

[4] С датировкой их Г. В. Григорьевым ахеменидским временем мы не можем согласиться и предпочитаем видеть в них, как и в наших кангюйских статуэтках, памятники III—I вв. до н. э.—I в. н. э.

[5] Труды Отдела Востока Эрмитажа, II, Л. 1940, и стр. 88—91, табл. 1, рис. 3 и 5.

[1] E. Sachau. Zur Geschichte und Chronologie der Khwarizm, стр. 2.

[2] Яшт, V, 54, 57.

[3] Ср. по этому поводу также работу Иностранцева в ЖМНП, февраль 1911, стр. 316. Трудно, конечно, принять во внимание совершенно не аргументированное утверждение, что теория Маркварта «кажется слабо обоснованной и исторически и географически не совсем понятной» и создание своей собственной, весьма мало доказательной гипотезы об Эранвеже—Согде, в новой работе К. В. Тревер. Труды Отдела Востока, II. Л., 1940, стр. 80.

[4] Ср. A. Hermann. Alte Geographie des unteren Oxusgebiets.

[5] Яшт, V, 3, 4, 38, 42, 104, 116.

[6] Первоначальную свою попытку искать в изображении на печатях в Тешик-кала образ одного из бодисатв (ВДИ, 1939, № 3, стр. 196) я склонен считать ошибкой. Отметим в этой связи, что A. Stein, также трактовавший первоначально изображение бородатого чет-

и луны, попирающая поверженного льва или леопарда[1]—этот образ, богато отраженный в афригидской торевтике и глиптике, являясь, повидимому, самым популярным их образом, говорит об исключительно крупном месте, занимаемом Анахитой в хорезмийском пантеоне. Естественно поэтому искать ее образ и в более раннем хорезмийском искусстве. Сюда, несомненно, надо отнести нашу всадницу кангюйско-кушанского типа, ассоциирующуюся, помимо индийских образов, с Анахитой бактрийского серебряного блюда, недавно исследованного К. В. Тревер[2], и женскими фигурами на грифоне и гиппокампе, изображенными на серебряных блюдах и чаше, типологически очень близких к хорезмийским и по всей видимости из Хорезма и происходящим[3].

Несомненно, сюда должны быть отнесены нагие женские статуэтки из Джанбас-калы, несущие черты, характерные для изображения богини плодородия, как древневосточного, так и античного мира. «Нагая Анахита»—образ, прошедший через греко-индийскую среду и на некоторое время вытеснивший местный образ богини, возможно, сосуществуя с ним. Этот древний, местный образ, я думаю, вероятнее всего видеть в строгих и торжественных фигурах в богатых одеждах, которые дают нам кангюйские и архаические хорезмийские женские статуэтки.

Мужские фигурки интерпретируются сложнее. В отношении во всяком случае некоторых из них можно предположить, что здесь мы имеем образ божественного царя, обычного в близко родственном Хорезму скифо-сарматском мире спутника великой богини. Я имею в виду ассоциирующиеся с некоторыми боспорскими статуэтками мужские головки в трехрогой фригийской шапке. Трехрогий головной убор вообще играет существенную роль в хорезмийской иконографии. Мы его встречаем на голове предводителя всадников на Аниковском блюде. Очевидно, его разновидность мы видим на голове царя чаши № 286 атласа Смирнова и на изображении того же царя на хорезмийских монетах. Строго говоря, мы здесь имеем не трехрогость, а просто рогатость, ибо средний рог—это просто обычное завершение фригийской шапки или шлема. Рогатый шлем или шапка являются таким образом характерной особенностью какой-то категории высокопоставленных лиц Хорезма. Я напоминаю в этой связи известное место из Магабхараты, посвященное описанию тохаров и канков: «У дверей его (царя Пандавы) среди других народов ожидали саки, тохары, канки, косматые люди солбами, украшенными рогами». Помимо того, что рогатый головной убор хорезмийских царей является лишним аргументом в пользу нашего отождествления Кангха-Хорезм и первоначальной локализации тохаров по соседству с Хорезмом (и саками)—на нижней Сыр-Дарье, его анализ позволяет нам раскрыть и некоторые более глубокие историко-культурные связи. Прежде чем перейти к ним, я должен обратить внимание еще на одну деталь головных уборов хорезмийских царей—на неизменно украшающий их очелье (вне зависимости от их формы) полумесяц. Я склонен предполагать, что в этом полумесяце мы должны также видеть рудимент украшавших первоначально очелье рогов, типологически близких к рогам, украшающим боевой головной убор воинов нага в Ассаме или рогов русских женских головных уборов (кичек).

Если это так, то рога будут не единичным, а массовым явлением царских головных уборов хорасмиев.

Помимо уже указанных территориально удаленных аналогий я должен указать еще на рогатые головные уборы кафирских женщин, описанных Робертсоном. Это звено делает цепь менее разорванной: нага северо-восточной Индии, кафиры северо-западной, хорезмийцы в Средней Азии, русские и восточные финны в Восточной Европе образуют ее довольно близко лежащие друг к другу звенья.

Если мы вспомним, что в Авесте (Яшт XIX, 43) среди врагов героя Крсаспы выступает «Снавидка из рогатого племени», то хронологическая перспектива нашего анализа может быть еще углублена.

Мне не представляется невероятным, что в традиционном рогатом уборе хорезмийских царей мы видим один из осколков древних индо-хорезмо-восточноевропейских связей, прослеживаемых нами со времен неолита.

Трехрогий головной убор, очень похожий на наши трехрогие шапки, мы находим на голове знаменитого Галичского идола, что может служить важным датирующим моментом для проникновения этого сюжета в В. Европу. Напомню одновременно замечательное изображение рогатого четверорукого бога из Мохенджодаро. Возможно, что в наших мужских статуэтках

верорукого божества из Дандан-Уйлык как образ одного из бодисатв, переломленный через иранскую художественную среду (как выражается Stein—„Persian Bodisatvah. Ancient Chotan. 1, стр. 279—280, II, табл. XI), то впоследствии, в связи со своими открытиями в Кух-и-Ходжа в Сеистане, он пришел к выводу, что в изображении в Дандан-Уйлык мы имеем сеистанского эпического героя Рустема, включенного в местный хотанский пантеон. См. A. Stein. On ancient Central-Asian Tracks. 1933, стр. 64—67, табл. 32. Видимо, индобуддийское оформление туземных божеств является достаточно характерным не только для Хорезма.

[1] Ср. образ «хеттской богини», постоянно изображаемой стоящей на льве. Weber, цит. соч., табл. 9.

[2] К. В. Тревер. Памятники, стр. 96, сл., табл. 28.

[3] И. Орбели и К. Тревер. Сасанидский металл, М.—Л. 1935, табл. 22; Смирнов. Восточное серебро, XXI—48 и CX—285.

отражено божество Вахша, почитавшегося в Хорезме еще в мусульманское время[1] и, может быть, тождественного с божественным культурным героем Хорезма Сиявушем, имя которого в даваемой Бундахишн (и сохранившейся местами в Шах-намэ)[2] форме Сиявахш سیاوخش ассоциируется (хотя, возможно, под влиянием «народной этимологии») с именем Аму-Дарьи и ее божества, а популярность его в качестве составного элемента теофорных имен домусульманских хорезмшахов у Бируни свидетельствует о крупном его месте в хорезмийской религии еще в мусульманское время.

Этот же образ, вероятно, отражен в изображении всадника на чаше № 46 атласа Смирнова. За плечами этого всадника выступает изображение луны—характерный символ богов-воинов в иконографии целого ряда народов ближнего, среднего и дальнего Востока[3].

Интерпретацию этого изображения на хорезмийской чаше как «бога-всадника, спутника великой богини» дал задолго до нашего определения хорезмийского происхождения этой чаши Ростовцев. В связи с проблемой отражения культа бога-всадника в хорезмийском искусстве стоит привести один из лучших памятников древнехорезмийской керамики, к сожалению, сильно дефектный. Я имею в виду фрагмент покрытого красным ангобом сосуда с рельефным изображением всадника на скачущем коне, наносящего удар копьем какому-то животному, следы изображения которого видны в правом верхнем углу черепка. Судя по очертаниям тела этого животного, это, вероятнее всего, кабан (табл. 82, рис. 1).

Всадник, поражающий копьем кабана, сюжет, достаточно характерный для фракийского культового искусства[4], снова вводит нас в круг хорезмийско-фракийско-малоазиатских связей. Да и сам образ бога-всадника проникает в греческое искусство, по Фуртвенглеру и Ростовцеву, из малоазийско-фракийской среды[5].

Образ бога-всадника характерен для хорезмийского искусства по меньшей мере в той же степени, как для фракийского[1], в качестве безраздельно господствующего образа хорезмийской нумизматической типологии на протяжении почти тысячелетия, являясь символом самого хорезмийского государства.

Среди памятников афригидской глиптики упомяну изящное изображение всадника в короне афригидов, сидящего на быстро скачущем коне и стреляющего из лука в бегущего по периферии круга печати козла или джейрана, найденное в 1938 г. в Тешик-кале (табл. 56).

Среди терракотовых статуэток налицо одна, несомненно представляющая отломленную от седла фигурку всадника.

Наконец, среди ранне-хорезмийских, датируемых кангюйским временем, резных печатей, собранных в окрестностях Беркут-калы, одна несет изображение бородатого всадника-копьеносца, на идущем вправо торжественным шагом коне (табл. 83, рис. 1). Борода хорезмийского всадника вводит его в круг образов, связанных с иконографией одного из популярных божеств оргиастических культов восточного Средиземноморья—Сабазия, аттрибуция которому некоторых северно-черноморских изображений конных охотников принадлежит тому же Ростовцеву[2].

Не безынтересно будет, я думаю, в свете наших данных снова вернуться к старому вопросу о самом имени Сабазия (Σαβάζιος, фриг. Σκουάζιος)[3]. Если правильно наше отождествление лунного бога-всадника хорезмийцев с Сиявушем (Сиявахш Бундахишна, Syāvaršan Авесты), то близость этих имен, особенно если мы учтем диффузность исходного консонанта основы имени фракийско-малоазийского бога в греческом написании (ξ), не может не броситься в глаза. Правда, в иконографии Сабазия это божество всегда имеет бороду, в то время как всадник на чаше 46 безбород. Однако это могло отразить тот же процесс, который мы можем проследить на хорезмийских монетах, на которых в период V—VI вв. бородатые цари сменяются безбородыми. Во всяком случае всадник-копьеносец на приведенной выше хорезмийской печати подчеркнуто бородат.

А так как имя Сиявуша-Сиявахша прозрачно ассоциируется с именем великой среднеазиатской реки Вахша~Окса, позволительно будет поставить вопрос о древнейшем очаге культа Сабазия-Сиявуша, который по отмеченной выше взаимосвязи приоксийских «великих гетов», придунайско-фракийских гетов и малоазийских хеттов может быть разрешен, мне думается,

---

[1] Chronologie Orientalischen Völker von Albêrûnî Herausg. v. Ed. Sachau.

[2] Ср. Шах-намэ изд. Wullers. II, стр. 596 и др.

[3] М. И. Ростовцев, Бог-всадник на юге России, в России, в Индо-Скифии и в Китае. Seminarum Kondakovianum 1, 1927, стр. 144. О лунном боге-всаднике и стрелке у народов ближнего, среднего и дальнего Востока см. Hentze. Les Myths et Symboles Lunairs. Anvers. 1930.

[4] М. И. Ростовцев. Святилище фракийских богов и надписи бенефициариев в Ай-Тодоре, Изв. имп. Археологической комиссии, 40, стр. 19 сл.

[5] Его же. Античная декоративная живопись, стр. 178—179.

[1] См. нашу статью «Хорезмийский всадник», КС ИИМК, № 1, 1939.

[2] М. И. Ростовцев. Античная декоративная живопись, стр. 430—431.

[3] Schaferr, статья «Sabazios» P. W. Zweite Reiche, 1,1541.

в более широком плане, чем он решался до сих пор[1].

Оставляя пока в качестве скорее постановки проблемы хетто-хорезмийскую линию, я думаю, что данный нами выше материал позволяет уже с большой определенностью утверждать о наличии фракийского пласта в этническом составе древней Средней Азии, выступающего, прежде всего, в массагетско-хорезмийском комплексе племен.

Ономастические параллели: масса+геты Приаралья и геты С.-З. Черноморья, дахи-даи Закаспия и даки (давы) Дакии, Балханские горы в Закаспии и Балканские горы, Томирис—царица массагетов и Тамирас—фракийский божественный певец, Спаргапис—имя сына Томирис и это же имя у приднестровских «скифов», Сиявуш и Сабазий дополняются в области духовной культуры культом бога-всадника, коня, богини-матери, в области социального строя—параллелями в общественной организации фракийских агатирсов Трансильвании и массагетов и исседонов Ср. Азии. Если мы вспомним многократно отмечавшийся сильный фракийский пласт в этнографии Боспора Киммерийского и также разделяемое большинством исследователей предположение о фракийских связях киммерийцев, то в свете установленных выше боспорско-хорезмийских связей наше утверждение о фракийском пласте в Средней Азии получает дополнительный историко-географический аргумент.

В эпосе Сиявуш выступает перед нами неизменно в образе юного прекрасного всадника в золотом шлеме, на черном коне[2]. Сюжет Сиявуша, как он рисуется в Шах-намэ, несомненно несет в себе все признаки сюжета умирающего и воскресающего бога.

Сиявуш—сын царя Кей-Кауса (Кава-Уса), рожденный от таинственной прекрасной девушки, найденной дружинниками царя в лесу на границе Турана и умершей при родах[3].

Юный Сиявуш, поражающий всех своей неземной красотой[1], воспитанный великим воином Рустемом в Забулистане[2], становится, по возвращении на родину, жертвой преследований его мачехи—Судабэ, домогающейся его любви (сюжет Ипполита)[3]. Отвергнутая пасынком, она дважды клевещет на него, обвиняя его в своем преступлении[4].

Сиявуш, чтобы очиститься от обвинения, проходит испытание огнем—на своем черном коне он должен промчаться через гигантское пламя[5].

После этого он становится во главе армии и ведет победоносную войну с Тураном[6]. По заключении мира он, спасясь от продолжающихся преследований отца, прибывает в страну царя Турана Афрасиаба, женится на его дочери, строит легендарный замок Кангдиз كنگدز или Канг-и-Сиявахш[7] и другую крепость—Сиявушгирд (سیاوشگرد)[8].

Оклеветанный перед тестем, он гибнет жертвой предательства. Но маленький сын его, Кей-Хосров, спасается бегством и, возмужав, возвращается, чтобы отомстить за отца. «Месть за Сиявуша» наполняет содержание значительной части эпоса Фирдауси[9].

Ритуал Сабазия-Сиявуша, представляющий собой несомненный вариант ритуала культа умирающего и воскресающего бога, хорошо описан для Бухары X в. Нершахи.

---

[1] Я не могу в этой связи не напомнить имя божества «индоевропейских хеттов», патрона города Nesaš, которое, в изданной в 1929 г. Б. Грозным надписи, звучит как Šiuši (miš) или šijuš (miš)—B. B. Hrozny, L'invasion des Indoeuropeens en Asie Mineure vers 2000 av. J. C. A. O. v. 1,1929, стр. 299. В тексте надписи строка 39 Šiušu(mmis) ilu Ši-u-šum-m, строка 47 ilu Ši—i—uš—mi—iš. Это имя одинаково близкое к имени хорезмийско-массагетского Сиявуша и фрако-фригийского Саобадза-Сабазия (miš несомненно лишь суффикс собственных имен), даже, пожалуй, более близкое к первому, позволяет прибавить к постоянно накапливаемой нами цепи хеттско-массагетских связей еще новое существенное звено. Еще более поразительным является совпадение теофорного, восходящего к имени Сиявуша—Шауша, имени хорезмшаха VIII в. н. э. Шаушафара с именем митаннийского царя Шаушатара.

[2] Шах-намэ, изд. Mohl II, 236.

[3] Там же, II, 197 сл.

[1] «Она родила дитя, прекрасное. как пери, лицо которого напоминало одного из идолов Азербайджана» (II, 200).

[2] Чрезвычайно характерная подробность, говорящая о большом архаизме мифа о Сиявуше. Отдача ребенка на воспитание посторонним людям—типичная черта народов, сохранивших материнско-родовую организацию, переживавшая у нас на Кавказе до недавнего времени в виде обычая аталычества.

[3] II, 208 сл., особ. 224—225, 226—227 сл.

[4] II, 270—271. Отмечу чрезвычайно интересную деталь рассказа о втором заговоре Судабэ—рассказ о рождении у колдуньи близнецов—детей Аримана (bačəč-i-Ahriman), вводящую рассказ о Сиявуше в круг близнечных мифов. На этом мы подробнее остановимся ниже (см. экскурс III, стр. 288 сл.).

[5] II, 236—237 сл.

[6] II, 248—249 сл.

[7] II, 338—339. Описание Кангдиза 340—341 сл. Важно отметить, что резиденция Афрасиаба также называется Канг.

[8] II, 348—349 сл.

[9] Как уже не раз отмечено выше, ал-Бируни помещает место действия Сиявуша в Хорезме. Это сохраняется и в позднейшей хорезмийской традиции. Еще в XIX в. персидский посол Риза-Кули-хан записал предание о происхождении названия Хорезм, связанное с легендарной битвой между мстителем за Сивуяша Кей-Хосровом и его дедом—убийцей Афрасиабом.

Этот автор рассказывает нам, ссылаясь на Абуль-Хасана ан-Нишабури: «Сиявуш, сын Кайкауса, бежал от своего отца, переправился через реку Джайхун и явился к Афрасиабу. Афрасиаб очень хорошо принял Сиявуша, выдал за него свою дочь и даже, говорят, отдал ему все свои владения. Сиявуш, получив таким образом во временное владение область Бухары, пожелал, чтобы здесь осталось какое-нибудь воспоминание о его владычестве; поэтому он выстроил эту крепость и там преимущественно жил. Завистникам удалось поссорить Сиявуша с Афрасиабом, и Афрасиаб убил Сиявуша. В той же крепости, около входа через восточные ворота, внутри ворот продавцов соломы, он был похоронен. Бухарские маги по этой причине относятся с большим уважением к этому месту; ежегодно в день нового года, еще до восхода солнца, каждый мужчина, по обычаю, закалывает здесь в память Сиявуша одного петуха. У жителей Бухары есть песни об убиении Сиявуша, известные во всех областях; музыканты сочинили к ним мотив и поют их; декламаторы называют эти песни «плачем магов». Со времени этих событий прошло более 3000 лет»[1].

Видимо, с ритуалом Сиявуша связан интереснейший обряд, описанный Вэй-цзе для Самарканда: «Первый день шестого месяца считается у них началом года; когда наступает этот день, царь и народ одевают новые одежды и подстригают волосы и бороды; на опушке одного леса, на восток от города, стреляют из луков с коня в течение семи дней; когда наступает последний день, в качестве цели выставляют золотую монету на листке бумаги; кто попадет, тот получает право быть царем в течение одного дня. Они имеют обычай поклоняться небесному богу и в высшей степени его почитают. Они говорят, что божественное дитя умерло в седьмом месяце и что кости его потеряны, люди исправляющие культ бога, каждый раз, когда приходит этот месяц, одеваются в черные одежды со складками; они идут босиком, ударяя себя в грудь и плача... мужчины и женщины числом от 300 до 500 расходятся по полям, чтобы искать тело божественного ребенка. На седьмой день обряд приходит к концу»[1].

Оба описанные здесь обряда представляют для нас одинаковый интерес. Если второй вводит нас в самое существо культа Сиявуша, как умирающего и воскресающего бога растительности, среднеазиатского двойника Озириса, Аттиса, Адониса, то первый указывает на наличие здесь весомненно связанного с тем же комплексом института временных царей, исследованного Фрэзером[2].

Сиявушидское происхождение самаркандской династии (как и бухарской, хорезмской и других династий древнего Кангюя)[3] делает этот обряд особенно интересным, позволяя предполагать, что и здесь, как в целом ряде районов древнего Востока и Запада, имел место обычай назначения временных царей-богов, долженствующих умереть в день смерти бога, заменяя некогда приносившего себя в этот день в жертву действительного царя—воплощения бога на земле.

Ритуальное состязание в стрельбе из лука, как способ избрания такого временного царя,

---

[1] Нершахи. Перевод Лыкошина, стр. 33. В пользу наличия не только в Бухаре, но и в Пейкенде, места культа Сиявуша, связываемого с его гробницей говорит показание Са'либи (перев. Zotenberg, стр. 685), о том, что по взятии Пейкенда Бахрам Чубином (ок. 589 г.), этот последний захватил, в числе прочей добычи, «сокровища Афрасиаба и Арджаспа и корону, пояс и серьги Сиявуша» (ср. Chavannes, Doc., стр. 243). Видимо, «гробниц Сиявуша» и мест, с которыми связывали арену его деятельности, было немало, и бухарская легенда ни в какой мере не противоречит неоднократно цитированному нами показанию ал-Бируни, связывающему место деятельности Сиявуша с Хорезмом. Решающим является вопрос об идентификации Кангхи-Кангдиза, которую связывает с Сиявушем древнейшая традиция, а также вопрос о центре происхождения династии Сиявушидов. Если мы правы, видя во всаднике хорезмийских монет Сиявуша—это существенный аргумент в пользу хорезмийского происхождения Сиявушидов и Хорезма как центра древней Кангхи-Кангюя.

[1] Цит. по Ed. Chavannes, Doc., стр. 132, прим. 5.

[2] Фрэзер сам приводит первую часть рассказа Вэй-цзе в главе своего труда, посвященной анализу этого института. См. «Золотая ветвь», русск. перев., изд. «Атеист», 1928, II, стр. 128.

[3] Стоит отметить передаваемое Танской историей предание о происхождении династии царства Кан (Самарканд, Бухара, Кабудан, Ташкент, Маймург, Кушания, Хорезм, Вардана, Кеш): «Они происходят от юечжи, которые некогда жили в городе Чжао-ву к северу от гор Цзилянь. Потерпев поражение от Тукюэ (в Суй-шу правильнее—хунну), они отступили постепенно на юг через горы Цунлин и вступили во владение этой территорией»... «Все (правители государств области Кан) из дома Чжао-ву». Китайские интерпретаторы, находящиеся под влиянием литературной традиции о юечжи, и в транскрипциях, упоминаемых в предании имен, и в их идентификации, ищут эти места в провинции Гань-су и других восточных областях. Я склонен придавать гораздо больше значения не китаизированным транскрипциям названий гор, а направлению движения—с севера на юг, подчеркнутого в тексте и, несомненно, восходящего к первоисточнику. В Чжао-ву—название легендарного города—я считаю наиболее вероятным видеть Канг-и-Сияв уш (или Сиявушгирд), а в имени царского дома Чжао-ву—имя фамилии Сиявушидов, пришедших в Согд и, в частности, в Самарканд с севера из-за гор (Нура-тау, Букан-тау), за которыми их предки вели длительную борьбу с кочевниками. Таково, видимо, историческое зерно этого китаизированного предания.

вводит нас в самые архаические и характерные обычаи, связанные с институтом царей-жрецов, resp. царей-богов, послужившие исходным пунктом для знаменитого исследования Фрэзера (Немейский жрец).

Описанный Нершахи[1] и отмеченный нами выше ежегодный бухарский базар идолов, происходивший в присутствии царя, неотделим от комплекса культа Сиявуша. Я напомню в этой связи разобранный Фрэзером для культа Адониса обряд[2] ежегодного уничтожения в день смерти бога его статуэток и замены их новыми, в день его воскресения.

Мы видим таким образом, что культ Сиявуша—божественного предка династии, умирающего и воскресающего бога растительности, имел исключительное значение в религиозном ритуале всех остальных центров древнего Кангюйского царства.

Образ бога-всадника на хорезмийских монетах и образ мужчины в трехрогой фригийской шапке в терракотах могут, нам кажется, быть истолкованы только как образы этого божества—мужского спутника хорезмийской Анахиты.

Видимо, с комплексом Сиявуша связан и сюжет Аниковского блюда. Внимательное его изучение показывает, что сцена, на нем изображенная,—не сцена осады крепости: крепость, судя по всему, уже взята.

Мы видим здесь, как установил А. И. Тереножкин, торжественный вынос из замка оссуария—астадана.

Я думаю, что в свете изложенного есть все основания предполагать, что замок, изображенный на блюде,—это легендарный Кангдиз, Канг-и-Сиявахш, а оссуарий, выносимый из замка,—это гроб Сиявуша.

Расположенный в правом верхнем углу сцены предводитель—Кей-Хосров (Кава Хусрава), сын Сиявуша.

Два трупа, повисшие на зубцах башни,—это убийцы Сиявуша. Женщина, простирающая руки из окна над воротами замка,—это жена Сиявуша, мать Кей-Хосрова, встречающая сына-мстителя.

А в целом сцена посвящена теме «мести за Сиявуша»—центральной теме древнего среднеазиатско-иранского героического эпоса. Мы видим здесь победоносное возвращение Кей-Хосрова в Кангдиз, его месть убийцам отца и вынос тела божественного основателя хорезмийской династии навстречу вернувшемуся сыну[1].

Я думаю, что с тем же комплексом связано изображение козлоголового божества на чаше № 47. Не надо забывать, что Сабазий-Сиявуш божество дионисийского круга, а козел является вряд ли не важнейшим атрибутом Диониса. Козлоголовый хорезмийский бог—или сам Сиявуш-Сабазий, или одно из его воплощений—спутников[2].

Подводя итоги, надо констатировать, что, повидимому, хорезмийские статуэтки являются изображениями двух наиболее почитаемых божеств древне-хорезмийского пантеона, вероятно (судя по обилию находок и по нахождению таких статуэток внутри жилых комнат), имевшимися у каждой семьи как «идолы» домусульманской Бухары в тексте Нершахи. Не исключено и использование этих статуэток в заупокойном культе. На эту мысль наводит анализ более обильного афрасиабского материала, где разнообразие лиц и одежд статуэток говорит о стремлении к их портретной индивидуализации, что вероятнее всего объяснить предположением, что мы видим здесь изображения умерших—нечто вроде египетских ушебти (в их первоначальном значении)—кстати и типологически довольно близких к среднеазиатским статуэткам. На наличие развитого культа умерших родственников в Хорезме указывает ал-Бируни[3]. Это, однако, отнюдь не противоречит нашей гипотезе, ибо оба исследуемые выше божества, входя в круг хтонических божеств Восточного Средиземноморья, постоянно выступают там в ритуале заупокойного культа, являясь излюбленными образами для представления умерших предков[4].

---

[1] Цит. соч., стр. 30—31.

[2] Фрезер, цит. соч., III, стр. 50.

[1] Наши выводы и заключения о связи мифологического и эпического образа Сиявуша с Кангхой и уже—с Хорезмом, как центром Кангхи, находят свое подтверждение, помимо свидетельства Бируни в чрезвычайно поучительном, хотя и одиноком сообщении ибн-Хаукаля (в одном из вариантов его перечня царских титулов Средней Азии, в другом варианте—хорезм-шах), что хорезмийские цари носили титул Хосров-и-Хорезм (خسرو خوارزم).

[2] Напоминаю в этой связи, что в пережиточно тотемических верованиях Средней Азии козел до сих пор является одним из наиболее популярных животных. Ярким свидетельством этого являются нагромождения рогов жертвенных козлов на каждом мазаре—в частности и на мазарах Хорезма—хотя бы в Нариндж-ан-баба и Султан-баба.

[3] Цит. соч., стр. 235.

[4] Ростовцев. Античная декоративная живопись, стр. 59 и особенно 179, прим. 3.

III

Очень значительное место среди хорезмийских терракот занимают разнообразные изображения животных. Это, прежде всего—конь[1] (табл. 78, 79, 80, рис. 1—2), затем верблюд[2] (табл. 81, рис. 1—2) (причем это должно быть интересно для истории животноводства—в джанбас-калинских статуэтках представлены оба типа верблюда—бактриан и дромадер), баран[3] (табл. 81, рис. 5—6), повидимому, свинья, наконец, столь экзотические для Хорезма животные, как обезьяны[4] (табл. 76, рис. 4), иносорог (табл. 80, рис. 4). Статуэтка этого последнего животного найдена на поверхности завала в купольном помещении замка № 36 в окрестностях Тешик-калы, относящегося к VIII в. н. э., что, впрочем, не является решающим для ее датировки, так как, несомненно, античные статуэтки очень часто встречаются на развалинах замков афригидского времени,—факт, понятный в условиях сохранившегося до сих пор изобилия находок античных вещей на окружающих такырах. Особо отметим ряд фрагментов фантастических животных, которые, по словам М. Е. Массона, в других районах Средней Азии обычно называются «аджахорами» (драконами). Здесь это чаще всего гротескные конеобразные фигурки с длинной, как у жирафа, шеей и украшенным рогообразным выступом лбом (табл. 80, рис. 3).

Кроме статуэток мы должны отметить изображение животных на ручках древнехорезмийских сосудов первых веков до н. э. Излюбленным здесь является лев, голова которого украшает верхний, повернутый кверху, край ручки сосуда—как на известном сосуде из аму-дарьинского клада[5] (табл. 77, рис. 2—6). Льва же мы встречаем прекрасно выполненным в плоском рельефе на стенке крупного сосуда (хум?) из Кургашин-калы (табл. 82, рис. 5).

Особенный интерес представляет фрагмент черного сосуда из Джанбас-калы, с грубым изображением покрытого желтой краской тигра и расположенного над ним джейрана, выполненного слегка выпуклой контурной линией. Вряд ли это не древнейший из гончарных рельефов, которыми мы располагаем. Во всяком случае, он не моложе III в. до н. э. (табл. 82, рис. 4).

Основная масса статуэток животных, как и человеческие, датируются кангюйским и раннекушанским временем (III в. до н. э.—I в. н. э.). Наибольшее количество дали городища Джанбас-кала и Базар-кала. Часть головок коней, изящно выполненных, но уплощенных с нанесенным гравировкой недоуздком, несомненно, стилистически примыкает к выделенной выше группе «архаического стиля» (табл. 72, рис. 1).

В меньшем количестве статуэтки животных (бык, баран), стилистически легко отличимые от античных, встречены нами и в культурном слое поздне-афригидских памятников в Тешик-кале. И. В. Воеводским в гончарной печи XI—XII вв. в хорезмийском городе Замахшаре в 1934 г. была найдена статуэтка быка[1].

Нами на том же городище было в 1939 г. найдено несколько аналогичных статуэток, несомненно относящихся к раннему средневековью.

Это говорит о стойкости данной традиции, видимо, объясняющейся первоначальной значительной ролью этих изображений в религиозно-бытовой жизни древних хорезмийцев.

О пережитках тотемизма в быту современных народов Средней Азии нам уже не раз пришлось писать[2].

Многочисленность находок статуэток животных на городищах античного Хорезма, нам думается, достовернее всего может быть разъяснена в свете предположений о сильных пережитках тотемических верований в быту древних хорезмийцев. Это целиком увязывается с общим архаизмом их общественно-бытового уклада, в частности с существованием общинных домов-кварталов, насчитывающих многие десятки и даже сотни комнат, и фактом сохранения дуально-родовой организации, отраженном в планировке поселений и в тамгах древних хорезмийских родов[3].

Первое место среди изображений животных принадлежит, как мы видим, коню. Изобра-

---

[1] Статуэтки коней с седлом и без седла и всадников очень широко распространены во всех областях Средней Азии (ср. C. Trever. Terracottas from afrasiab. Leningrad. 1934; Г. В. Григорьев, Труды Отдела Востока Эрмитажа, II, табл. 1,4; М. Е. Массон. ТАКЭ, стр. 74,77, 79 и др.), но нигде, насколько нам известно, они не образуют столь подавляющего большинства среди всех добытых статуэток, как в Хорезме.

[2] Ср. восточно-туркестанское изображение верблюдов у A. Stein'a Ancient Rhotan II, табл. XI, VII, B, 001, V. 009. V. 0012; М. Е. Массон, ТАКЭ, стр. 74, рис. 44.

[3] Ср. Григорьев. Археологическая разведка в Янги-Юльском районе Уз. ССР. Ташкент, 1934, стр. 32.

[4] Ср. Массон, ТАКЭ, стр. 75.

[5] Sarre. Die Kunst der alten Persian, Tabl.

[1] M. Voyevodsky. A summary Report of a Khwarizm Expedition. Bull. Amer. Inst. for Iran Art and Archeology. 5, 1938, № 3.

[2] См. нашу статью «Религия народов Средней Азии» в сб. «Религиозные верования народов СССР», I, М. 1931, и «Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен», ПИДО, 1935, № 9—10.

[3] См. КСИИМК, VI, 1940, стр. 72 и, особенно, нашу статью «Древности верхнего Хорезма», ВДИ, I, 1941, а также выше, глава III, II. Г. В. Григорьев правильно, на наш взгляд, связывает с тотемическими верованиями добытые им изображения животных из Каунчи, ошибочно им относимые к середине первого тысячелетия до н. э., а на деле—синхроничные нашим кангюйско-кушанским статуэткам. См. Г. В. Григорьев. «Археологическая разведка в Янгиюльском районе Уз. ССР», Ташкент, 1933, стр. 32.

жения коня в терракоте могут быть разделены на две категории:

1. Небольшие, как правило, довольно грубо сделанные статуэтки коня, трактованного схематически, с утончающимися книзу широко расставленными, толстыми цилиндрическими ногами-подставками. В одном случае (Базаркала) найдено миниатюрное схематическое изображение коня с высоким седлом на спине. Обычно эти статуэтки из отмученной чистой глины и покрыты сверху красной ангобой или лаком (иногда, впрочем, и без окраски) (табл. 81, рис. 79).

2. Крупные головки коней, изготовленные из совершенно другого теста, с сильной примесью кварцевой дресвы, при этом, обычно, излом дает характерную черную сердцевину—след неравномерного обжига статуэтки. Все находки дают только головы коней, причем ни разу не было найдено торса конской статуэтки соответствующих размеров и техники изготовления.

Выполнение изображения также резко отличается от статуэток первой группы. Крупные конские головки распадаются на два варианта:

А. Очень грубо выполненные плоские изображения голов коня, с почти прямым углом перехода от боковых сторон изображения к верхней и нижней, с изображенной насечкой гривой, часто с разинутой пастью, грубо моделированными ноздрями и характерным утолщением передней части морды (табл. 79, рис. 5—6).

Б. Изящные, с большим реализмом и экспрессией выполненные изображения, с плавной округлостью линий, с умелой передачей не только внешних форм, но и эмоций изображаемого животного—прижатые уши, прекрасная передача рта и губ в момент ржания и т. д. (табл. 78).

Встречаются и головки, занимающие промежуточное место между обоими вариантами.

Несмотря на различие внешнего вида обоих вариантов изображений, они и по материалу, и по сохранению только головок коней должны быть объединены в одну группу.

Одна находка в 1939 г. на Базар-кале дает возможность выяснить функцию этих головок. Это не часть статуэтки. Найденная в Базаркале головка сохранила продолжение и оказалось, что вслед за шеей коня, вместо ожидаемой линии спины, мы встречаем глубокую полукруглую выемку, а внизу вместо ожидаемых груди и ног передняя плоскость скульптуры уходит вниз плавной, слегка вогнутой линией (табл. 80, рис. 1—2).

В целом перед нами, несомненно, украшенная протомом коня ручка какого-то крупного сосуда, повидимому, об этом говорит сильная примесь кварца к гончарному тесту, рассчитанного на близость к огню. В то же время особая тщательность и тонкость выполнения некоторых из головок коней не позволяет здесь видеть обычную хозяйственную посуду. Я думаю, что у нас есть все основания предполагать здесь сосуды, имевшие какую-то культовую функцию, вернее всего, связанные с зороастрийским культом жаровни[1].

Особенное место коней в изобразительном искусстве Хорезма заставляет вспомнить о крупном, но до сих пор далеко не оцененном месте, которое конь занимает в древних домусульманских верованиях Средней Азии.

Уже Геродот (I, 215) в своей характеристике массагетов пишет: «Из богов массагеты чтут только солнце, которому приносят в жертву лошадей. Смысл жертвы этой тот, что быстрейшему из всех богов подобает быстрейшее животное».

Несмотря на лаконичность этого сообщения, оно дает право для ряда существенных заключений. Комплекс верований, связанный с жертвоприношениями коня, известен у ряда народов, локализация и этно-культурные связи которых поразительно соответствуют общему направлению древнейших, восходящих еще к неолиту, культурных связей хорезмийской цивилизации. Это, во-первых, древняя Индия, с ее знаменитым ритуалом жертвоприношения коня—«ашвамедха»; затем, это угорские племена Зауралья—маньси и ханты, у которых ритуал жертвоприношения коня дожил до революции; наконец, это—тюркские народы Алтая. Поднятие шкур убитых коней на высоких наклонных шестах у алтайцев прозрачно ассоциируется с солярными корнями этого культа, отмеченными Геродотом у массагетов. Индийский комплекс «ашвамедхи», следы которого мы находим в ритуале заклания коня и у упомянутых народов Севера, чрезвычайно характерен. Конь, специально воспитанный, в течение года бродит по стране, окруженный заботами и почестями; затем в торжественной обстановке он убивается, и царица, ложась рядом с трупом божественного животного, имитирует половой акт с ним.

Связь этого обряда с магией плодородия, с представлением о божественном происхождении царской династии от небесного коня, с исследованным Фрэзером в его «Золотой ветви», комплексом жертвоприношений людей и животных, обеспечивающим плодородие земли, размножение животных и людей, не подлежит сомнению.

Ближе всего типологически жертвоприношение коня у племен древнего и современного Среднего Востока от Индии до устьев Оби

[1] Как нам любезно указал В. Д. Блаватский, аналогичные украшения жаровен головками коней отмечены в ряде средиземноморских памятников римской эпохи.

стоит к медвежьему празднику народов Севера и особенно Дальнего Востока (Приамурья, Сахалина).

Культ «небесных коней» «тянь-ма» нашел богатое отражение в сведениях о верованиях народов Средней Азии кангюйско-кушанского периода, которое мы можем почерпнуть в китайских источниках. Сведения об этом культе мы находим в Ши-цзи и Цянь-Ханьшу, в отчете о путешествии Чжан-цяня.

От «небесных коней» информаторы Чжан-цяня вели происхождение знаменитых ферганских «потокровных» лошадей, бывших причиной первых китайских походов на Фергану в конце II в. до н. э.[1].

В Танской истории, в рассказе о Тухоло (Тохаристан), мы находим сведения о том, что культ небесного коня, якобы жившего в пещере на южном склоне горы Поли, имел здесь место еще в VII—VIII вв. н. э. Жители перегоняли кобылиц пастись к этой горе, в результате чего от этих кобылиц якобы родились драгоценные «потокровные лошади»[2].

В комментарии Инь-их-анской истории мы находим сходное сообщение об аналогичном обычае в Фергане II—I вв. до н. э., жители которой пригоняли своих кобылиц в горы для случки с «небесными конями»[3].

Пережитки культа коня сохранились в Средней Азии и до настоящего времени. Как нам сообщил М. Е. Массон, в Араване, в Фергане ему пришлось видеть старинный мазар, где перед высеченными на скале изображениями коней возжигали до недавнего времени светильники и сами изображения являлись предметом религиозного почитания.

В Средней Азии и, в частности, в Хорезме многочисленны почитаемые религиозными мусульманами места, связанные с легендарным конем четвертого халифа Алия—Дульдулем. Отмечу, в частности, теснину Дульдуль-атлаган—«Прыжок Дульдуля» на Аму-Дарье, близ южной границы Хорезма. Как сам Алий, так и его конь, несомненно, являются здесь лишь трансформацией домусульманских мифологических образов.

«Асп»—«конь»—необычайно распространенный составной элемент собственных имен древней Средней Азии и Ирана. Это слово входит в огромное количество как личных имен, так и географических названий. Упомянем, в частности, это слово как составную часть имен многочисленных героев Авесты, прежде всего каянидских царей.

Из географических названий упомянем Зариаспу, одно из имен древних Бактр и орошавшей область этого города реки,—имя, которое может быть переведено как «златоконная». Не менее характерно название Хазараспа—одного из древнейших городов Хорезма. Современная узбекская легенда связывает возникновение этого города, название которого этимологизируется как «тысяча коней» с именем пророка Сулеймана, который, подмешав к воде протекавшего здесь источника опьяняющий напиток, хитростью овладел тысячью прилетевших на водопой крылатых коней, отрезал им крылья и заставил служить человеку[1].

Легенда в высшей степени интересна, так как в исламизированной форме перед нами выступает, несомненно, древний хорезмийский миф о связанных с культом воды «небесных конях», ферганские и тохаристанские варианты которого дошли до нас в сухой передаче китайских хронистов. Стоит в связи с этим упомянуть «водяного коня» (asp-i-avi), фигурирующего среди других мифологических животных в Бундахишне[2].

В этой связи получает свое место и образ гиппокампа, крылатого коня-змея, который мы находим на некоторых древних хорезмийских печатях (табл. 83, рис. 10).

Место коня в древней среднеазиатской мифологии представляет особый интерес и заслуживает особого исследования, которому мы посвящаем значительную часть экскурса III нашей книги. Отмечу лишь важнейшие положения, являющиеся выводом из этого нашего исследования.

Конь связан с тотемическим культом одной из выступающих в Авесте фратрий древних племен Восточного Ирана и Средней Азии, фратрии Пурушаспа, противостоящей фратрии Атвья, тотемом которой является бык[3]. Анализ, даваемый нами в упомянутом экскурсе, показывает вместе с тем, что первоначально именно с фратрией коня был связан культ Ангро-Майнью—одного из врагов-близнецов авестийских дуалистических мифов, восходящих исторически к первобытному дуализму фратрий[4]. Конь является атрибутом Ангро-Майнью, и в образе черного коня он и сопровождающие его демоны нередко выступают в Авесте, Бундахишне и других зороастрийских произведениях[5].

---

[1] Ши-цзи, CXXIII, 3а.
[2] Тан-шу, CCXXI, в 4в.
[3] Ши-цзи, CCXIII, комментарий к стр. 3а.

---

[1] В. И. Масальский. Туркестанский край, под ред. Семенова-Таньшанского, т. XIX, СПБ, 1913, стр. 753.
[2] West, стр. 48 (Bnd. XIV,18), стр.18 (Bnd. IX, 16).
[3] Яшт, XX.
[4] О первобытных корнях авестийского дуализма см. нашу статью «Черты общественного строя Восточного Ирана и Средней Азии по Авесте», I т. академической «Истории СССР», стр. 185—187, а также ниже, экскурс III.
[5] Яшт, XIX, 38; Яшт, VII, 29; SBE V, стр. 27; SBE VII, 8.

Другим тотемом этой фратрии является змея, образ, также тесно связанный с комплексом Ангро-Майнью[1].

Это, возможно, проливает свет на распространенность в древнем среднеазиатском и родственном ему скифском изобразительном искусстве образа гиппокампа—коня-змея, который вряд ли можно нацело объяснить влиянием образов греческого искусства.

Во всяком случае, к ранее зарегистрированным среднеазиатским изображениям гиппокампа[2] надо прибавить изображение его на трех хорезмийских печатях, найденных в окрестностях развалин Беркут-калы.

Существенно отметить, что по своему типу отмеченный выше фрагмент статуэтки носорога, как и головки коней, должен быть отнесен к комплексу рукояток культовых жаровен.

Образ носорога в древней и средневековой иконографии постоянно ассоциируется с образом коня. Характерно, что в древнем среднеазиатском мифе об Огуз-кагане, носителе тотемического образа быка[3], в качестве первого подвига этого героя выступает убийство им чудовищного носорога. Несомненны связь этого сюжета с комплексом дуалистических мифов о борьбе тотемов двух фратрий. Это позволяет нам ассоциировать образ носорога с фратрией коня, противостоящей фратрии быка[4].

Большой интерес наша статуэтка представляет и с другой стороны. Трактовка носорога очень реалистична. Прекрасно передан экстерьер животного, характерный загривок, опущенная голова, торчащие в сторону уши, маленькие глаза. В полном соответствии с натурой расположен и трактован рог. Не уступая по реализму описанным выше изящным головкам коней, наше изображение носорога говорит, несомненно, о прекрасном знакомстве мастера если не с самим объектом, то с его изображениями, исходящими из хорошо знающей живого носорога среды. Это обстоятельство и прочность индо-хорезмийских связей и позволяет отнести эту статуэтку, как и описанную выше группу человеческих изображений, к кушанской эпохе, эпохе внедрения в Хорезм буддизма, интенсивных политических и культурных взаимоотношений между народами различных окраин кушанской империи[1].

Вместе с тем использование идущего из индо-буддийского круга образа носорога для оформления ручки традиционно хорезмийской культовой жаровни для священного огня говорит о быстрой ассимиляции индо-буддийских элементов туземной религией, проливая свет на одну из сторон процесса формирования сложного северобуддийского синкретизма и возникновения тех зороастрийско-буддийских образов, которые отражены в памятниках хорезмийского искусства афригидской эпохи, изображающих хорезмийскую четверорукую богиню[2].

В этой связи остановимся на найденных в той же Джанбас-кале двух статуэтках обезьян. Обе статуэтки сидячие, с вытянутыми вперед ногами и разведенными в стороны, к сожалению, отломанными у обоих статуэток руками. Обе статуэтки довольно схематичны, но соединение почти человеческого торса с тонкой талией и широкими бедрами с мордой животного не оставляет сомнений в том, что они изображают. Более грубые, чем изящные обезьяньи статуэтки Гандхары и Восточного Туркестана[3], они входят, несомненно, в широкий круг образов индийского происхождения, внедрение которых в среднеазиатское культовое искусство связано с кушанской эпохой.

IV

Стилистические особенности хорезмийских изображений животных, как грубых, так и изящных, позволяют выделять их, как и хорезмийские человеческие статуэтки, в особую группу, отличную и от согдийского и от восточнотуркестанского круга, несмотря на близость тематики изображений и несомненную идентичность их общественной функции. Хорезмийское искусство—более просто и скупо в своих выразительных средствах, вместе с тем более экспрессивно, чем изысканное искусство Согда и Сериндии. Резкие очертания хорезмийских статуэток, подчеркнутая экспрессия прекрасных головок коней, ясность и спокойствие линий человеческих изображений, строгих и подтянутых, внимание в первую очередь к

---

[1] Вендидад, 1,8.

[2] Гиппокамп в греко-бактрийском искусстве см. Я. И. Смирнов. «Восточное серебро», 1909, табл. CXX, рис. 47; К. В. Тревер. Проблема греко-бактрийского искусства, III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады. М.—Л. 1939, стр. 286. Гиппокамп в буддийском искусстве В. Туркестана см. von Le Coq, цит. соч.

[3] См. нашу работу в ПИДО, № 9—10, за 1935 г.

[4] См. изображение носорога в уйгурской миниатюре текста этой легенды, данное на стр. 8 издания Bang'a и Rachmati.

[1] В этой связи стоит упомянуть афрасиабскую статуэтку всадника на слоне, выполненную, впрочем, гораздо менее реалистично, чем наш носорог. C. Trever. Terracottas, 1,161.

[2] ВДИ, 1938, № 4, стр. 141—144, рис. 2 и 4; ВДИ, 1939, № 3, стр. 195—196, отс. 20.

[3] A. Stein. Ancient Khotan, табл. XVI—XVII. Ср. изображения обезьян и музыкантов на среднеазиатской чаше кушанского времени в атласе Смирнова, табл. XXXVIII, 67; см. также Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства. Л. 1940, стр. 81, табл. 19—21.

объемной трактовке формы, строгая традиционность поз резко контрастируют с плавными и вычурными очертаниями, вниманием к пышному, декоративному оформлению деталей орнамента, одежды, убранства, столь типичными как для Согда, так и для Восточного Туркестана. Разница хорезмийского, с одной стороны, и согдийского и восточнотуркестанского искусства, с другой—это разница между Дорикой и Коринфом. Перед нами две струи в художественной культуре одной исторической эпохи. Я склонен видеть объяснение этому явлению в различии общественного и политического укладов и исторических условий различных частей Средней Азии. Пышный, изысканный декоративизм согдийского и синцзянского искусства предкушанской и кушанской эпохи развился в условиях малых олигархических торговых городов-государств, в условиях непосредственных и очень сильных влияний со стороны сперва искусства бактрийских греков, затем искусства Индии. Простой и суровый конструктивизм хорезмийского искусства, его скульптурная четкость и экспрессия сложились в условиях аграрной страны, тесно этнографически связанной с окружающими кочевыми племенами, в условиях большой централизованной деспотии восточного типа, в условиях сохранения мощных пластов первобытно-общинного уклада[1]. Внешние влияния, доходившие до Хорезма долгими и опосредствованными путями, проникали в хорезмийскую художественную культуру лишь в порядке органического освоения их ею, полной их ассимиляции, подчинения их хорезмийской художественной традиции.

Эта линия развития хорезмийской художественной культуры, отраженная и в суровом и простом, воинственном облике строго конструктивной хорезмийской архитектуры античной и афригидской эпох и в традиционном образе Сиявуша на идущем торжественным шагом коне на реверсе хорезмийских монет, донесенном хорезмийской нумизматикой от времени сакско-массагетских движений II—I вв. до н. э. до арабского завоевания и даже до конца VIII в., вопреки мощным влияниям кушанской, сасанидской и китайской чеканок, против которых не могло устоять ни одно другое государство Средней Азии, продолжается до самого падения династии афригидов в последнем десятилетии X в. Суровый стиль и своеобразие культуры воинственных земледельцев Хорезма нашли свое выражение в той сжатой и яркой характеристике, которую дает хорезмийцам X века ал-Макдиси:

«Они люди разумения, науки, фикха, способностей и образования... Но в них есть замкнутость и нет изящества, элегантности, блеска и тонкости... Они люди гостеприимные, любители поесть, храбрые и крепкие в бою, у них есть особенности и удивительные свойства»[1].

---

[1] Ср. ВДИ, 1938, 4, стр. 145, 1939, стр. 190; КС ИИМК, VI, стр. 73—74.

[1] Ал-Макдиси, BGA, III, стр. 284—285; МИТТ 1, стр. 185.

III. КОННИЦА КАНГЮЯ

«Они хорошие конные и пешие воины, вооруженные луками, мечами, панцырями, медными топорами, в битвах носят золотые пояса и золотые повязки».

Страбон, XI, 8

I

В 701 г. от основания Рима, за 53 года до начала нашего летоисчисления, рим потрясла весть о страшной катастрофе, разыгравшейся на далеких восточных рубежах республики. Сорокатысячная армия триумвира Марка Лициния Красса, состоявшая из семи легионов, 4 тысяч всадников и стольких же метателей копий была уничтожена воинами Сурены, полководца царя парфян Орода. В Сирию вернулось не более четверти римлян, перешедших незадолго перед этим Евфрат. Около 20 000 пало в бою. Около 10 000 было уведено в плен на восточную границу Парфии и поселено в окрестностях Мерва[1]. Сам Красс и большинство его генералов и офицеров погибли.

Голова триумвира была доставлена в Арташату, столицу Армении, где царь Ород праздновал свадьбу своего сына Пакора с дочерью армянского царя. Послы Сурены прибыли в разгар торжеств, когда оба царя и гости наслаждались поставленной для них малоазийскими актерами трагедией Еврипида «Вакханки».

Надетая на тирс предводительницы вакханок, несущихся в дионисийской пляске, голова старого римлянина появилась перед победителем под звуки вакхической песни:

«Мы несем домой
Из далеких гор
Славную добычу—
Кровавую дичь!»

Так навсегда была остановлена экспансия Рима на Восток, в глубь среднеазиатско-иранского мира, западным форпостом которого непоколебимо стояла Парфянская империя, некогда созданная союзом воинственных кочевников южного Туркменистана—парнов и даев.

Победа при Каррах была не делом случая. Здесь, впервые в истории римского оружия, римской тактике—высшему достижению военной истории античного Средиземноморья—оказалась противопоставленной другая тактика, оказавшаяся, в условиях восточного театра, не только не менее, но более эффективной. Это была настоящая революция в военном деле античности. Линейной тяжелой пехоте, тактика которой в римском манипулярном строе достигла зенита своего развития, была противопоставлена линейная тяжелая конница, вооруженная в одинаковой мере для дальнего и ближнего боя, для обороны и для наступательного удара. Гоплиту, разновидностью которого являлся римский легионер, оказался противопоставленным новый тип воина—стрелок-катафрактарий.

Вот как описывает Плутарх («Красс», 23 сл.)[1] конницу Сурены и ее действия. Сурена противопоставил римскому боевому построению развернутый фронт катафрактариев, закованных в блестящие доспехи из «маргианского железа» на покрытых такими же доспехами конях и стоявших сомкнутым строем. Легкая пехота, шедшая, как обычно, впереди легионов, была опрокинута дождем непрерывно падавших парфянских стрел. Несравненно большая масса и плотность «огня» парфянских лучников заставила римских стрелков искать спасения в бегстве. Парфяне начали медленно охватывать с обеих сторон построенных в каре римлян, непрерывно осыпая их градом стрел и выбивая сотни воинов в самой глубине построения. Боевое питание парфянских стрелков осуще-

[1] Плиний, VI, 16, 46.

[1] М. Моммсен. История Рима, III, М. 1941, стр. 279—286. Ср. Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, I, Воениздат, 1936, стр. 354—356, который явно недооценивает значение боя при Каррах в истории тактики конницы (типичное для этого автора пренебрежение к военному искусству народов Востока).

ствлялось непрерывно подвозившими стрелы караванами верблюдов.

Попытка контратаки римских всадников, стрелков и части легионеров во главе с Публием Крассом потерпела крушение. Парфяне отступили, дали отряду Публия Красса оторваться от главных сил, а затем решительным контрударом остановили его натиск и охватили его с фланга и тыла. Напрасно бросались на пики катафрактариев молодой Красс и его конница. Его отряд был замкнут в кольцо и расстрелян. Из 6 000—5 500 было убито, остальные взяты в плен.

Узнав о гибели сына полководца и его отряда, лагерь римлян пришел в полное расстройство. Только тот факт, что парфяне дали римлянам целую ночь передышки, видимо, не будучи до конца уверенными в сокрушительной силе своей тактики, отсрочил гибель войска Красса, отступившего за укрепления Карр, бросив на поле боя 4 000 человек раненых и отставших. Но голод выгнал римлян из Карр. Началось отступление на север, в Армению, представлявшее в сущности агонию армии. Парфяне спокойно следовали за остатками легионов, ни на минуту не давая им остановиться. Римляне отступали, по существу бежали, бросая сотни и тысячи ослабевших, теряя целые части, отбивавшиеся от главных сил и попадавшие в окружение. При Сеннаке деморализованные римляне согласились на переговоры с парфянами, предложившими, как известно, весьма умеренные условия мира. Последующие обстоятельства не вполне ясны. Видимо, длительное нервное напряжение и совершенно расшатанная дисциплина римлян вызвали панику среди них во время переговоров. Один из римских офицеров заколол парфянского конюха. В ответ на это началось истребление остатков римлян, во время которого были убиты все римские командиры и покончил самоубийством сам Красс. Но это был лишь эпилог. По существу, дело сделано было уже при Каррах[1].

II

Чрезвычайно существенно, что применение парфянами новой тактики при Каррах было настолько неожиданным для римлян, что вызвало катастрофический разгром армии Красса, оказавшейся совершенно неспособной противостоять тактике Сурены. Следовательно, многолетний опыт войн на ближнем Востоке против Митридата и Тиграна, против малоазийских династов, против народов Кавказа и Боспора, против самих парфян, наконец, не мог ни в какой мере подготовить римлян к этой тактике. И действительно, все, что мы знаем из истории Митридатовых войн и предшествующих военных столкновений с самими парфянами, не дает нам ничего, хотя бы отдаленно напоминающего парфянскую тактику, примененную ими впервые в 53 г. до н. э.

Важно отметить при этом, что попытки широкого применения конницы против римской пехоты делаются в это же самое время, как справедливо отметил еще Моммсен, борющимися с Римом народами на разных границах республики.

«Неоспоримое превосходство римской пехоты в рукопашной схватке,—пишет этот ученый,—повидимому, надоумило противников Рима, совершенно чуждых друг другу, одновременно и с одинаковым успехом в самых противоположных частях света противопоставить ей конницу и борьбу на расстоянии. То, что вполне удалось Кассивелавну в Британии, отчасти—Верцингеториксу в Галлии, то, что в известной степени пытался сделать Митридат Эвпатор, в большем масштабе и с большей полнотой выполнил визирь Орода»[2]. Однако сопоставление тактики Сурены с тактикой Кассивелавна, Верцингеторикса и Митридата может быть принято весьма и весьма cum grano salis. Кассивелавн применяет по-новому весьма архаический строй боевых колесниц, и сходство здесь лишь в том, что ему удается использовать их как орудие дальнего боя[3].

Верцингеторикс использует широко массы конницы для господства над коммуникациями Цезаря[4], но нигде не противопоставляет на поле боя линейную конницу римской пехоте. То же самое надо сказать о тактическом применении конницы Митридатом[5]. По существу, во всех трех приводимых Моммсеном случаях мы имеем тактику, целиком вытекающую из принципов древней «скифской стратегии», тактику, в которой мы можем видеть лишь первые делаемые ощупью шаги для выработки приемов борьбы с римской линейной пехотой.

Наоборот, тактика Сурены производит впечатление чего-то весьма законченного, разработанного во всех деталях, чего-то, что имеет позади длительную предисторию удачных и не-

---

[1] Нельзя, конечно, не учитывать в каррской катастрофе и ряда второстепенных факторов, определивших поражение римлян—непривычные и тяжелые природные условия, переход арабов Абгара на парфянскую сторону, наконец, посредственные способности самого Красса как полководца. Но решающим моментом, безусловно, остается тактика тяжеловооруженных конных стрелков.

[2] Цит. соч., стр. 281—282.

[3] Цит. соч., стр. 219.

[4] Цит. соч., стр. 228—229.

[5] Цит. соч., стр. 62—63.

удачных опытов, проверок, усовершенствований. Новая тактика, сочетаемая с новой стратегией, во многом принципиально отличной от старой, «скифской», с новым типом наступательного и оборонительного вооружения воина, делающим необходимым новый тип боевого коня—все это является слишком сложным и вместе с тем слишком гармоническим комплексом, чтобы приписать его создание индивидуальному творчеству хотя бы и гениального полководца и думать о возможности быстрого его создания. Переворот был настолько значителен и настолько неожидан здесь, на западноиранском театре, что мы не можем, конечно, ни приписать изобретение новой тактики Сурене, ни предположить ее постепенное развитие на западе Ирана.

Правда, первое тактическое применение тяжелой конницы в ответственный момент боя мы находим уже у Александра Македонского[1], причем совершенно несомненным является тот факт, что эта реформа конницы, введение тяжеловооруженных копейщиков, стоит в непосредственной связи с подготовкой похода против персов, иррегулярным конным массам ополчения которых Александр впервые противопоставил регулярную тяжелую кавалерию, которой он был обязан целым рядом своих побед[2]. Однако тактика Александра (фланговый удар тяжеловооруженных конных копейщиков) почти ничего общего не имела с тактикой Сурены. Да, кроме того, как справедливо отметил Энгельс, «после смерти Александра мы уже больше не слышим об этой блестящей греческой и македонской коннице. В Греции снова получила преобладание пехота, а в Азии и Египте конница быстро выродилась»[3]. Правда, тяжелую конницу мы эпизодически встречаем в дальнейшем не раз. В частности, термин «катафрактарии» впервые применяется для обозначения тяжеловооруженной конницы войска Селевкидов (Полибий, XXXI, 3, 9; Ливий, XXXVII, 40: equites loricati, cataphractos ipsi appelant). Однако, видимо, эти катафрактарии являлись лишь эпигонским сохранением традиций Александра, мало содействовавшим борьбе Антиоха III против регулярной пехоты Рима[4]. Есть свидетельства и более ранние, чем походы Александра. На тяжело вооруженных всадников у ахеменидских персов указывает еще Ксенофонт (Киров. VI, 4, I; VII, 1,2). Однако и здесь это упоминание скорее эпизодическое. Почти никакой роли в описанных античными авторами битвах персов эта тяжелая конница не играла[1]. К тому же, как мы увидим, пестрый состав персидской армии делает не невероятным, что ахеменидские катафрактарии пришли оттуда же, откуда несколько веков спустя привел свою тяжелую конницу Сурена.

Прямые свидетельства археологических памятников говорят нам за то, что этот тип вооружения и тактики был новостью не только для римлян, но и для самих парфян.

Памятники ранне-парфянского искусства, в частности изображения Аршака на реверсе аршакидских монет, дают нам образ легковооруженного лучника как основной образ парфянского воина[2]. Этот образ держится до самого конца аршакидской династии[3]. Этот же образ мы находим на изображающих парфянских воинов терракотах[4]. Тактика Сурены производит впечатление целиком перенесенной откуда-то издалека, из-за пределов ближайшей сферы информации римлян[5], оттуда, где она прошла тот многовековый предварительный путь развития, пока не отлилась в те законченные формы, в которых она выступает при Каррах. Небезынтересно в этой связи вспомнить, кто такой был сам Сурена—этот блестящий аристократ, всемогущий визирь и победоносный главнокомандующий Орода.

Синтез исследования истории дома Суренов,

---

[1] Ср. Дельбрюк, цит. соч., стр. 155.

[2] Ф. Энгельс. Кавалерия. В сб. «Избранные военные произведения», I, Госвоениздат, М. 19. 6, стр. 225.

[3] Энгельс, цит. соч., стр. 226.

[4] Ср. Дельбрюк, цит. соч., стр. 324. Катафрактарии, употребленные Тиграном II против Лукулла, также никакой тактической роли в битве под столицей Армении не сыграли.

[1] В битве при Кунаксах, когда схватка катафрактариев решила исход войны между Киром младшим и Артаксерксом, тяжелая конница входит в бой как личная охрана обоих вождей, располагаясь в центре боевого порядка впереди линии фронта. По существу, здесь мы имеем дело с весьма архаическим типом построения, восходящим к традиции первобытных поединков вождей, решающих бой. Так в действительности и произошло при Кунаксах.

[2] Ср. J. de Morgan. Manuel de Numismatique orientale, t. I. Paris 1923—1936, стр. 136, рис. 140.

[3] Там же, стр. 171, рис. 184. Монеты Артавазда (227—228 н. э.).

[4] F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens, табл. 54.

[5] Дальнейшая история войн Рима и Парфии подтверждает наш тезис о решающей роли момента неожиданности применения новой тактики в исходе боя при Каррах. Уже в 38 г. до н. э. римлянам при помощи союзных аланских контингентов—таких же катафрактариев—удается нанести поражение парфянам. В дальнейшем римляне разрабатывают ряд тактических мероприятий, ослабивших парфянскую тактику: действие против катафрактариев развернутым строем, усиление удельного веса стрелков и пращников, применение разнообразных маневров и военных хитростей, мешавших их противникам полностью использовать положительные качества тяжелой конницы. В этом отношении особенно показательны события, связанные с борьбой римлян против роксоланской тяжелой конницы в Мизии в 51 г. н. э. В предшествующем году роксоланские катафрактарии уничтожили римское войско. Тогда римляне, выждав, когда роксоланы рассыпались по стране для грабежа и когда распутица сделала затруднительным маневрирование катафрактариев, напали на них и почти всех уничтожили (Тацит, История, 1, 79).

проделанного Эрнстом Герцфельдом в его «Sakastan», мы находим в недавнем очерке этого автора—«Archeological History of Iran»[1]. Согласно Герцфельду, Сурены—один из знатнейших княжеских домов Парфии и сасанидского Ирана—происходят от рода вождей (которых Герцфельд, конечно, именует в соответствии с обычной для современной европейской историографии модернизаторством «feudal lords») саков, поселенных Митридатом II между 123 и 111 гг. до н. э. на юго-востоке парфянских владений—в Сакастане (древняя Дрангиана, нынешний Сеистан). Глава этого полунезависимого сакского царского дома, резидировавшего в Сеистане и пришедшего сюда с севера, из прихорезмийских кочевий, в период наступления приаральских сакараваков на восточные области Парфии (между 130 и 123 гг. до н. э.)[2] и выступает в качестве руководителя вооруженных сил Парфянской империи, через 70 лет после бурных событий между смертью Митридата I и вступлением на престол Митридата II.

Действительно, индопарфянские и индосакские правители I в. до н. э.—I в. н. э., исторически связанные с домом Суренов и дрангианскими саками, изображают себя на своих монетах, в противоположность парфянам собственно, в тяжелом вооружении.

На монетах Вонона (конец II в. до н. э.) мы видим катафрактария-копейщика в пластинчатом доспехе[3]. Такого же копейщика в длинной пластинчатой броне дают монеты Аза I (середины I в. до н. э.)[4] и Аза II (ок. 15 г. до н. э.—20 г. н. э.)[5].

Итак, Сеистан—резиденция Суренов в I в. до н. э. или далекий северо-запад Средней Азии, откуда сакараваки пришли за 70 лет до этого, повторяя, видимо, путь, некогда пройденный дрангами,—вот две вероятные области сложения тактики, стоившей Крассу головы, а Риму—его претензий на господство над Парфией.

Против Сеистана мы можем выдвинуть сразу два существенных аргумента.

Сеистан занимал в эту эпоху слишком второстепенное место в среднеазиатско-иранском политическом концерте. Лишь значительно позднее, в I в. н. э., после покорения бассейна Нижнего Инда, потомки Суренов Сакастана становятся «царями царей», соперничающими с Аршакидами.

Правда, Сеистан являлся важным узлом культурных, экономических и политических связей между Ираном, Средней Азией и Индией. Но для того чтобы создать новую тактику со всем связанным с ней материальным комплексом, нужны были другие условия. Нужна была достаточно могущественная держава, в рамках военной организации которой мог бы развиваться в обстановке длительных войн этот процесс.

История Дрангианы, насколько мы ее знаем, не дает для этого материала. Она политически ничем не выделяется до образования здесь в конце II в. до н. э. сакаравакского княжества Суренов, из остальных сатрапий ахеменидской, селевкидской, парфянской монархий. Никаких специфических условий для развития здесь принципиально иного, чем в других, смежных областях Ирана и Индии, типа вооружения и связанной с ним тактики, мы не имеем. Вряд ли и условия сакского княжества конца II в.—начала I в. до н. э. соответствовали этой задаче.

В самом тексте Плутарха мы находим косвенное указание на то, что не из Сеистана пришло новое оружие. «Шлемы и брони парфян,—говорит он,—были сделаны из маргианского железа» («Красс», 24). Так как никакого «мервского железа» нет и, конечно, не было и во времена Орода, речь здесь явно идет о том, что вооружение армии Сурена было изготовлено мервскими оружейниками. А это сразу выводит нас из узких рамок Сеистана в более обширный круг хорасанско-среднеазиатских связей.

Видимо, не с юго-востока, а с северо-востока надо начинать генеалогию интересующего нас комплекса. И здесь, мне думается, наш материал и выводы, к которым мы пришли в предыдущем изложении, позволят нам по-новому осветить этот интересный вопрос военной истории античного мира.

Образ всадника, встречаемый на хорезмийских монетах, чаше № 46, Аниковском блюде, находимый нами среди терракотовых статуэток, на гончарных рельефах, на геммах, является центральным образом хорезмийского изобразительного искусства и политической символики хорезмийских монет.

Мы попытались показать выше, что это—символ самого Хорезмско-кангюйского государства, образ легендарного предка правящей династии Кангхи-Хорезма—Сиявуша, хорезмийской ипостаси Сабазия, не только иконографически, но и исторически тождественный богу-всаднику фракийского мира.

Мы показали, что отсюда, из Кангхи-Хорезма, этот образ пришел в сакскую чеканку I в. на Нижнем Инде, ибо массагетское племя сакараваков, вторгшееся сюда из Сеистана, начало свой путь от Хорезма и вожди его, как и вожди парфян, вероятно, были связаны родственными узами с домом Сиявушидов[1].

Сейчас нас интересует другая сторона вопроса, также, впрочем, связанная с политиче-

[1] London. 1935, стр. 63 сл.
[2] См. ниже экскурс I.
[3] de Morgan, цит. соч., стр. 375, рис. 471 в.
[4] Там же, стр. 377, рис. 474А.
[5] Там же, стр. 379, рис. 476В.

[1] См. также ниже, экскурс I, стр. 230—231.

ской историей — наступательное и оборонительное вооружение хорезмийских воинов, анализ которого поможет нам, как я надеюсь, не только нащупать некоторые существенные линии и внешнеполитической и внутренней социально-экономической истории Хорезма, но и разрешить поставленную нами в начале этой главы более широкую военно-историческую задачу.

B. Laufer в своем интереснейшем исследовании о китайских глиняных статуэтках блестяще показал, что в ханьскую эпоху происходит резкое изменение типа вооружения, а соответственно и тактики китайских войск, причем это сопровождается параллельным процессом у народов Сибири, устанавливаемым археологически[1]. На первый план на место доханьской пехоты и колесниц выдвигается тяжеловооруженная конница, закованная в пластинчатую броню и вооруженная луками, длинными копьями и мечами.

По мнению Лауфера, это результат влияния иранского вооружения и тактики, проникшего в Китай в III в. до н. э., сперва через гуннскую культурную среду[2], а затем, в результате известных походов китайцев в Среднюю Азию в конце II в. до н. э., а позднее—и непосредственно. Этот взгляд развивают в дальнейшем многие авторы (М. Ростовцев[3], A. von Le Coq[4], Ф. Розенберг[5] и др.).

Мы не можем не возразить здесь против крайне расширительного употребления термина «Иран», «иранцы». Как мы не раз подчеркивали, историческое развитие западных областей Ирана (Мидия, Персида), с одной стороны, и населенных иранскими по языку народами стран Средней Азии, включая Бактрию и Хорасан, шло во многом разными путями. Конечно, нельзя игнорировать и взаимодействия между обеими этими областями, тем более существенное, что на протяжении истории они не раз входили в рамки общих политических образований. Но все же второй из рассматриваемых нами историко-культурных районов имел весьма отличную от Ирана в собственном смысле историческую судьбу, развиваясь самостоятельными путями, входя в сферу иных культурно-исторических связей, из которых важнейшими являются восточно-европейские, индийские и восточно-туркестанско-китайские.

Для того чтобы решить, о каком конкретно из этих двух комплексов мы можем говорить как о первоисточнике революции военной техники Китая на рубеже архаического и ханьского периодов, обратимся непосредственно к нашему материалу и посмотрим, что для интересующей нас проблемы могут дать военно-археологические памятники древнего Хорезма.

Наиболее полно представлено вооружение хорезмийских воинов на Аниковском блюде[1] (табл. 86).

Воины одеты в перетянутую золотым поясом, покрывающую все тело пластинчатую или чешуйчатую броню (видимо, это длинная кожаная одежда, на которую нашиты металлические пластинки довольно крупного размера; форма пластинок сильно варьирует, сохраняя однако однообразие в доспехе каждого воина), полы которой спускаются до щиколоток. У одного из всадников (правый нижний) пластинчатой броней покрыт весь корпус коня.

На головах у всадников округло-конические шлемы, увенчанные высокими столбообразными, закругленными сверху шишаками. У предводителя—шлем более сложной формы, трехрогий (вернее, по обе стороны шишака расположены два рогообразных выступа). Очелья шлемов посредине спускаются вниз на лоб треугольным выступом. Шлемы имеют назатыльники, видимо (это хорошо видно у среднего всадника с левой стороны), сделанные из кольчужной сетки. Щиты небольшие, круглые, с изображением на одном из них, повернутом внешней стороной (у воина на башне) пальметки, тождественной с пальметкой в руках у царя на чаше 286 атласа Смирнова. У некоторых воинов щиты висят за спиной.

Мечи длинные, прямые, с крестообразным эфесом. Некоторые воины вооружены палицами. У нижнего справа—палица с шаровидным навершьем. У второго снизу—навершье тяжелое, фигурное, загнутое на одну сторону. Обе палицы, видимо, метательные, причем вторая примыкает к кругу бумерангообразных орудий, находя параллели в этнографическом материале Индии. Предводитель вооружен кроме меча боевым чеканом, характерной формы, с ромбоидальным боевым концом.

Тот же тип длинной чешуйчато-пластинчатой брони мы видим на другом блюде (найденном в д. Кулагыш Кунгурского у. Пермской губ.) из эрмитажной коллекции, с изображением поединка двух пеших воинов[2]. Трехрогие шлемы, характерная форма боевого топора-чекана и остальные детали вооружения этих бойцов делают весьма вероятным, что Кулагышское

[1] Laufer. Chinese Clay Figures, p. 1. Prolegomena on the History of Defensive Armour. 1914, pp. 215 сл.

[2] Ср. публикацию археологических находок из Монголии гуннского времени. Archeologia Orientalis N. Series vol. I Inner Mongolia and the Region of the Great Wall. Tokyo and Kyoto 1935, стр. 62—63.

[3] M. Rostovtzeff. The animal style in south Russia and China. Primeton univ. Press 1929, стр. 107, пр. 14.

[4] A. von Le Coq. Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mittelasiens, Berlin, 1925.

[5] Ф. Розенберг. ИОН, 1932, № 5, стр. 453.

[1] И. А. Орбели и К. В. Тревер. Сасанидский металл. М.—Л. 1935, табл. 20; F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens, табл. 105; А. И. Тереножкин. К истории искусства Хорезма. «Искусство», 1939, № 2.

[2] Я. И. Смирнов. Восточное серебро, XXIII, 50.

блюдо, как и Аниковское—хорезмийского происхождения. Знамя с тремя треугольными фестонами и туги-бунчуки на длинных пиках и длинные, слегка изогнутые трубы-рога дополняют характеристику материальной части снаряжения хорезмийских войск. Воины сидят на седлах с высокими луками, приспособленных для тяжеловооруженных всадников.

Чрезвычайно характерно стрелковое вооружение, которое мы видим у всех всадников, кроме вождя—твердые колчаны в виде песочных часов, закрытые сверху крышками, висящие справа—и мягкие чулкообразные налучья, рассчитанные на хранение спущенного лука—у левого бедра, под ножнами меча.

Кони—высокие, стройные с длинным мощным корпусом, с длинной красиво изогнутой шеей. Несомненно, это кони той же породы, что изображенный на оттиске большой печати из Тешик-кала со сценой охоты на дикого козла, где тонкая с красивым лебединым изгибом шея и небольшая сухая голова коня говорят о его высокопородности и близости к лучшим представителям современного текинца. Из хронологически и территориально близких памятников конь с хорезмийской печати больше всего напоминает коня с известного согдийского щита из замка на горе Муг.

Весь комплекс вооружения ничего общего не имеет с вооружением сасанидского Ирана. Этот тип вооружения катафрактария лишь один раз встречается на сасанидских изображениях—на знаменитом рельефе с конным изображением Хосроя II (которое, впрочем, в последнее время есть тенденция относить к Перозу)[1].

Сасанидское вооружение не знает ни этого типа брони, ни налучья—лук, когда не был в употреблении, вешался на шею[2].

Колчан сасанидов—очень длинный, широкий и плоский, имеет весьма характерную, заостряющуюся книзу форму[3].

Исторически тип сасанидского колчана и способа ношения лука восходит к древней переднеазиатской традиции, унаследованной обитателями позднеантичной Персиды от их предков ахеменидской эпохи, где этот тип длинного, широкого, слегка суживавшегося снизу колчана, носившегося за спиной, и лука, носившегося без налучья, отражен на великолепных изображениях знаменитого фриза стрелков во дворце в Сузах[4].

[1] F. Sarre und E. Herzfeld. Iranische Felsreliefs, табл. XXXVII. В обоих случаях перед нами—царь, более чем тесно связанный с народами Средней Азии.

[2] F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens, табл. 86.

[3] Там же, а также табл. 104, 107, 108 и др.

[4] F. Sarre. Die Kunst der alten Persiens, табл. 38. Ср. также табл. 19 (дворец Дария в Персеполе), 27 (дворец Ксеркса), 52 (изображения воинов на геммах).

Как известно, наряду с этим типом стрелкового вооружения персы иногда применяли и скифский тип колчана-налучья, нося его иногда на левом бедре, иногда—по обычному своему способу — за спиной[1].

Ахеменидо-сасанидский комплекс уходит своими корнями в глубокую переднеазиатскую древность. Уже на изображении Нарамсина Аккадского налучье отсутствует. Лук держится непосредственно в руках. Этот же способ ношения лука мы находим и на позднейших месопотамских рельефах, так же как и на сирийских[2], на одном из которых мы видим лук, надетым через плечо, а широкий и плоский колчан перекинут на перевязи за спину. Лишь изредка[3] мы встречаем у ассирийцев, видимо, под влиянием кочевников-иранцев, использование колчана в качестве налучья, но носился он по преимуществу за спиной.

Напротив, исследуемый тип брони, шишака и, особенно, колчана и налучья, крайне широко распространен в I и в начале II тысячелетия н. э. в Центральной Азии. Таков колчан на всех изображениях воинов на фресках пещерных монастырей Восточного Туркестана[4]. Этот же тип мы встречаем и на статуэтках, происходящих оттуда же, и в танских рельефах[5] как вооружение северо-китайских воинов.

Этот тип характерен для изображения всадников на древнетюркских и кыргызских писаницах[6] и для синхроничных погребений Алтая и Минусинского края[7] в XII—XIII вв. переживает в половецком и монгольском вооружении и поныне сохраняется у лоло-туземцев юго-западного Китая[8]. Этот тип, связанный с иным расположением стрел в колчане (остриями вверх) и ношением на правом боку, резко отличается от древних и ранне-средневековых форм как скифского треугольного горита, носившегося на левом боку и зарегистрированного в древнейших скифских памятниках, так и передне-азиатского колчана, носившегося, как правило, за спиной и близкого по форме описанному выше для сасанидского периода.

Свойственный хорезмийским воинам тип на-

[1] Толстой и Кондаков, II, стр. 147, рис. 124.

[2] Ebert Rd. Vorgesch., II, стр. 51, табл. 19а. Там же, табл. 21.

[3] Там же, табл. 19в.

[4] A. von Le Coq, цит. соч., passim, особенно рис. 32 и 33

[5] Ср. B. Laufer, цит. соч. von Le Coq, рис. 99.

[6] Ср. изображения всадников на писаницах г. Сулек у H. Appelgren—Kivalo. Alt altaische Kunstdenkmäler. Hels. 1931. Ср. также A. M. Tallgren. Inner asiatic and Siberian Rock Pictures E. S. A. VIII, 1933, стр. 184, рис. 12с, стр. 199, рис. 37.

[7] См. вооружение всадников, изображенных на бронзовых бляхах конского убора из Копенского Чаатаса. Л. А. Евтюхова и С. В. Киселев. Десятый сезон Саяно-Алтайской экспедиции. КСИИМК III, 1940, рис. 12.

[8] A. von Le Coq, цит. соч., рис. 97.

лучья мы опять находим на изображениях воинов на восточно-туркестанских фресках, на изображении согдийского всадника на щите с горы Муг[1], на известном изображении древнетюркского всадника из Минусинского края, где мы находим и описанный выше тип колчана[2].

Если мы прибавим сюда колчан и покрой кафтана на чаше 46[3], то мы убедимся, что комплекс древнехорезмийского, так же как и согдийского, вооружения и одежды, являясь независимым от культуры сасанидского Ирана, входит в более широкую культурную общность, объединяющую народы Средней и Центральной Азии.

Основной ареал распространения этого комплекса вооружения, взятого в целом (ибо отдельные его элементы, как мы увидим ниже, встречаются и за его пределами), весьма интересен в историко-культурном отношении. Он полностью совпадает с ареалом распространения массагетов, с одной стороны, и юечжи — с другой, что является новым аргументом в пользу теории Клапрота-Ремюза о тождестве этих народов.

К сожалению, монеты «Великих кушанов» не дают нам интересующего нас образа всадника, который помог бы нам выяснить тип вооружения кушанской конницы. Но зато мы имеем замечательную статую Канишки, длинный кафтан которого, доходящий до щиколоток, тяжелые сапоги со шпорами и длинный тяжелый меч, на рукоять которого опирается царь, не оставляют сомнения в том, что и кушанские всадники, по своему вооружению, примыкали к изучаемому нами комплексу[4].

Он, напротив, совершенно чужд скифам, что лишний раз показывает несостоятельность гипотезы Германна, Юнге и др. авторов, считающих массагетов лишь подразделением саков.

Скифское, в том числе и сакское вооружение весьма характерно. Скифы—легковооруженные лучники на маленьких степных конях, с небольшими сложными луками, носимыми в горите—треугольном колчане-налучьи, в натянутом виде на левом бедре.

Оружие близкого боя—это короткий меч-кинжал—«акинак»—и короткое метательное копье. Защитного доспеха нет вовсе. Как показала В. В. Гольмстен[1], в рукопашном бою скифы, как правило, сражались пешими. Как конники, они выступают лишь в виде легкой и регулярной конницы, действующей в рассыпном строю и, осыпав врага стрелами, уносящейся в степь, чтобы подготовиться к новому, столь же неожиданному налету. Тактика, как видим, весьма отличная от тактики Сурены.

Судя по раннепарфянским изображениям воинов—тот же тип вооружения и тактики был характерен и для парфян до Сурены[2].

Интересно отметить, что индо-сакские воины сохраняют некоторые черты скифского комплекса. В частности, мы видим у них скифский горит с левой стороны[3].

Всадники как индо-сакских, так и индо-парфянских монет, включая описанных выше катафрактариев, все сидят на низкорослых, коренастых скифских коньках, столь отличных от стройных длинноногих коней всадников древнего Хорезма, Согда и Восточного Туркестана.

Таким образом не в сакско-скифской в собственном смысле слова культурно-этнической среде мы можем искать истоков интересующего нас комплекса.

Крупную проблему представляет вопрос о происхождении того типа коня, который неразрывно связан с анализируемым типом вооружения и оказывается в одинаковой степени чуждым и скифам, и гуннам, и западному Ирану, где сасанидские серебряные блюда дают нам образ низкорослой коренастой лошади,

---

[1] А. Я. Якубовский. Культура и искусство Средней Азии. Л. 1939, стр. 27. Я должен обратить внимание, что при всем сходстве вооружение всадников Аниковского блюда, согдийского щита и восточно-туркестанских фресок однотипно, но нетождественно, что еще раз подчеркивает не согдийское и не синцзянское происхождение нашего блюда и является лишним аргументом в пользу его хорезмийского происхождения. Панцырь согдийского воина не чешуйчатый и не пластинчато-наборный, как панцыри хорезмийские, а состоит из горизонтально расположенных полос металла или, возможно, твердой кожи. Налучье более широкое и свободное и совсем иначе орнаментированное. Обращает внимание характерное украшение на голове коня—отсутствующее у аниковских коней и т. д. Да и стилистически согдийский всадник, исполненный с характерным для искусства Согда утонченным изяществом, резко отличен от более лапидарных, напряженных и суровых образов аниковских всадников, прекрасно вяжущихся со всем стилем «древневосточного» по своему облику хорезмийского изобразительного искусства (см. выше IV, 2).

[2] A. von Le Coq, цит. соч.

[3] Я. И. Смирнов, Восточное серебро. № 46; ВДИ, 1938, № 4, стр. 142.

[4] Следует отметить, что уже Ростовцев обратил внимание на сходство кушанского, известного по изображениям на монетах и скульптуре, и северочерноморского сарматского вооружения (особенно конический шлем, конская сбруя и др.), Animal style, стр. 60, прим., стр. 107, прим. 2, стр. 111, прим. 15. Ср. A. Foucher. L'art greco-bouddhique du Gandhara. II, 1918, табл. C, p. 15 и 17.

[1] В. В. Гольмстен, К разработке приемов исследования вещественных памятников (меч и сабля). Сообщение ГАИМК 1932, № 11—12.

[2] Парфянские графитти из Дура Европос, изображающие катафрактариев, относятся к более позднему времени и, весьма вероятно, изображают воинов из восточных областей Парфии.

[3] См., например, монеты Djihunia или Zeionises'а сатрапа Таксилы около 10 г. н. э., который изображен легковооруженным всадником с натянутым луком в горите с левой стороны, de Morgan, цит. соч., стр. 380, рис. 477.

весьма мало похожей на высокого боевого коня нашего комплекса.

В конце II в. до н. э. восточную границу распространения этой породы, переживающей до сих пор в великолепных текинских и иомудских конях, мы можем провести в Фергане, «небесные потокровные лошади» которой были основным предлогом двукратного похода китайцев на Давань[1]. В Средней Азии эти кони в поздне-эллинистический период были достаточно распространены, как можно судить по замечательной поздне-эллинистической бактрийской чаше с изображением коней[2].

Исследования современных иппологов, посвященные конским породам древнего Востока, выводят высокопородную лошадь конца II и начала I тысячелетия до н. э. с дальних восточных окраин древневосточного мира. Как известно, уже во времена Геродота по всему античному миру гремела слава замечательных коней Нессеи (Νησαιον), которую большинство авторов отождествляет с Нишапуром[3]. При этом, однако, В. О. Витт совершенно справедливо отмечает:

«Уже во времена Геродота своим коневодством славилась не только Нессея, но и ряд других местностей к северу и востоку, по большей части подвластных Персии или граничащих с нею. Большую известность приобрели кони массагетов— кочевого народа, с которым Персии приходилось не раз вести не всегда победоносные войны»[4].

Мы оставим, конечно, в стороне сложный и интересный вопрос о происхождении пород древневосточных лошадей, выступающих перед нами в хеттских, митанийских и ассирийских памятниках[5]. В свете выводов предыдущей главы нашего исследования, постановка вопроса о среднеазиатских, уже—о массагетских, связях была бы, нам кажется, небесплодной, хотя, пока памятники бронзового века Средней Азии остаются почти неизученными, здесь нельзя, конечно, достигнуть чего-либо большего, чем рабочей гипотезы[6].

Во всяком случае подчеркнем отмеченные выше слова В. О. Витта, чтобы вспомнить их в конце этого параграфа.

[1] О проникновении среднеазиатской породы боевого коня в Китай, начиная с конца II в. до н. э., см. исследование W. Perceval Jetts. The Horse; a factor in Early chinese History E. S. A. IX, 1934, стр. 231—255.

[2] К. В. Тревер. Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 90 сл., табл. 25, 26. Ср. В. О. Витт. Лошадь древнего Востока, стр. 20, рис. 8—9.

[3] В. О. Витт, цит. соч., стр. 18.

[4] Там же, стр. 19—20.

[5] См. по этому вопросу B. Hrozny. L'entaînement de chevaux chez les anciens indo-européens d'après un texte mitannien hittite prevenant du XIX siécle av. J. C. A. O. v. III, № 3, 1931, стр. 431 сл.

[6] Впрочем, кое-кто уже дает схематическое изображение всадника среди наскальных знаков Хорезма, датируемых нами бронзовым веком.

Как Аниковское блюдо, так и восточнотуркестанские и согдийские его аналоги датируются VI—VIII вв., временем, достаточно далеко отстоящим от интересующего нас периода.

Но есть один археологический источник, который дает нам почти непрерывную линию истории комплекса вооружения хорезмийского конного воина на протяжении восьми столетий.

Это — древнехорезмийские монеты. Самые ранние из них датируются второй половиной I в. до н. э., т. е. временем, очень близким к битве при Каррах.

На всех этих монетах реверс занимает изображение бога-всадника, легендарного прародителя династии Сиявушидов, сидящего на идущем вправо медленным, торжественным шагом боевом коне. Правда, не все детали вооружения здесь ясны. Но тип стрелкового оружия, с одной стороны, и тип коня—с другой, не оставляют никакого сомнения, что исследуемый нами комплекс Аниковского блюда в своих основных чертах в это время в Хорезме уже сложился.

Прежде всего мы видим висящим на правом боку всадника длинный, тяжелый расширяющийся книзу колчан. Положение и очертание колчана не оставляют сомнения в его типе. Это хорошо знакомый нам колчан Аниковского блюда, центрально-азиатский колчан в виде песочных часов. Натянутого лука в горите с левого бока, как на многих боспорских монетах, как на некоторых индо-сакских монетах, мы не видим. Есть все основания думать, что и лук с налучьем здесь соответствуют формам анализируемого комплекса. Колчан того же типа, неизменно висящий справа, мы потом видим на всех без исключения изображениях всадников на хорезмийских монетах, вплоть до VIII в. н. э.

Особенный интерес представляет в этой связи серебряная чаша из б. собрания гр. Строганова, ныне в Эрмитаже, с изображением охоты на тигров и львов[1]. Одежда и головные уборы всадников, трактовка их лиц, характерная деформация головы,—все это тесно связывает их с монетами Герая[2] и не составляет сомнения в том, что эта чаша датируется концом I в. до н. э. или началом н. э. и происходит из Хорезма или, во всяком случае, из северной части Средней Азии. Правда, это не военная сцена, и поэтому участники ее лишены оборонительного доспеха. Но наступательное оружие налицо, и оно весьма показательно. Крупный боевой конь, чулкообразное налучье, длинный лук,

[1] Смирнов Я. И. Восточное серебро. XXXIX, 68; Тревер К. В., цит. соч., стр. 87—90, табл. 22—24.

[2] Тревер, цит. соч., стр. 89. Впервые это сопоставление было выдвинуто нами в докладе «Хорезмийский всадник» на декабрьском пленуме ИИМК 1938.

длинная пика и длинный прямой меч являются признаками того, что анализируемый нами комплекс вооружения уже вступил в свои права.

О раннем появлении этого типа вооружения свидетельствует датированное II—I вв. до н. э. рельефное изображение всадника на фрагменте сосуда из Джанбас-калы, держащего наперевес длинную пику, и, наконец, статуэтка коня из Базар-калы, типологически и технически восходящая ко времени вряд ли позднее III в. до н. э. Высокое тяжелое седло на спине коня не оставляет сомнения в том, что оно было рассчитано на катафрактария.

Арриан, при описании визита Фарасмана хорезмийского к Александру, говорит о сопровождавших царя 1 500 хорезмийских всадниках. Он ничего не говорит, к сожалению, об их вооружении, однако косвенные указания на него мы можем получить в другом месте у этого автора.

При описании столкновения Александра со скифами на берегу Сыр-Дарьи Арриан упоминает, что, когда македоняне открыли стрельбу по собравшимся на противоположном берегу скифам из стрелометных машин, «один, сраженный ударом наскозь через щит и латы, даже упал с лошади» (IV, 4). Так как никаких сведений о тяжелом вооружении скифов мы в других местах, несмотря на обилие описаний сражений, не встречаем, не исключено, что в составе скифов, противостоящих Александру на Сыр-Дарье, были и кангюйско-хорезмийские всадники и что бронированный наездник, пораженный стрелометной машиной, падение которого вызвало, по Арриану, смятение в рядах скифов, был один из хорезмийских военачальников. Напомню при этом, что одновременно с хорезмийцем Фарасманом для переговоров с Александром прибывает посольство заяксартских скифов (IV, 15), что, несомненно, указывает на известную согласованность действий между тем и другими.

Однако мы располагаем еще более древним свидетельством, позволяющим возводить зарождение вооружения хорезмийских катафрактариев к гораздо более раннему времени.

Древнейшее историческое свидетельство о тяжеловооруженной коннице в Средней Азии мы находим у Геродота и в восходящем к Гекатею тексте Страбона о массагетах, к которым, как известно, Страбон относил хорасмиев. При этом любопытно, что доспех массагетских катафрактариев изготовляется еще из меди.

«Сражаются они верхом на лошадях и пешие, знают оба способа войны; сражаются луками и копьями, вооружены обыкновенно и секирами. Все предметы у них из золота и меди: все, что требуется для копий, стрел и секир, приготовляется из меди; головные уборы, пояса и повязки украшаются золотом[1]. Также из меди делают они грудные панцыри для лошадей»,—читаем мы у Геродота (I, 215).

«Они хорошие конные и пешие воины, вооруженные луками, мечами, панцырями, медными топорами, в битвах носят золотые пояса и золотые повязки»,—пишет Страбон (XI, 8)[2].

Если таким образом применение тяжелой конницы в западном Иране имеет лишь эпизодический характер и получает широкое распространение в середине I в. до н. э. под явным влиянием с Востока, в то время как в приаральских степях этот род оружия зарождается по меньшей мере в VI—V вв. до н. э., большой интерес представляет история смены типов вооружения в степях Восточной Европы, известная нам гораздо лучше и связанная с переходом от «скифского» к «сарматскому» периоду их истории[3].

Интересующий нас комплекс, в не совсем впрочем полном виде, мы находим достаточно широко распространенным у народов северного Причерноморья в этот последний период.

Особенно богато представлены изображения воинов-катафрактариев на высоких стройных конях типа наших «небесных коней» на керченских фресках склепа, открытого Ашиком, и склепа 1872 г.[4]. Прекрасный образец этого типа вооружения мы видим и на знаменитом рельефе Трифона[5].

Особенно близки к хорезмийским катафрактариям панцырные всадники из склепа Ашика, броня которых доходит так же, как и у нас, до щиколоток. Некоторые из всадников имеют броню не из полуциркульных чешуй, а из квадратных бляшек, как и у некоторых хорезмийских всадников. Все эти памятники датируются первыми веками н. э. Однако Ростовцев прослеживает проникновение доспеха катафрактария

---

[1] Золотой пояс—характерная особенность воинского убора всадников Аниковского блюда. По данным арабских источников, в VIII веке, золотые пояса были отличительным признаком дихканской аристократии Согда и вербующегося из ее среды конного ополчения.

[2] На массагетскую «аристократию бронированных воинов на бронированных конях» указывает В. В. Тарн (цит. соч., стр. 181), используя эти данные для своей тенденциозной «феодальной» теории.

[3] См. M. Rostovtzeff. Iranians and Greeks in South Russia, Oxford 1922, стр. 121. Его же. Античная декоративная живопись на юге России. СПБ, 1914, стр. 328 сл.; В. В. Гольмстен, цит. соч.; В. М. Равдоникас. Пещерные города Крыма и готская проблема в связи со стадиальным развитием Северного Причерноморья. Готский сборник, ИГАИМК, XII, в. 1—8, 1932, стр. 79; История СССР, изд. ИИМК. М.—Л., 1939, стр. 332.

[4] Ростовцев. Античная декоративная живопись, табл. XXIX, XXXI, рис. 2, XXXVIII, рис. 2.

[5] Ростовцев. Античная декоративная живопись, табл. XXXIV, рис. 3.

в виде чешуйчатого панцыря в Боспорскую область с Востока, вместе с сарматскими племенами уже с конца IV в. до н. э.[1], придавая, однако, особое значение в распространении этого типа вооружения движению аланов I в. до н. э. и начала I в. н. э.[1].

Конец IV в.—дата весьма интересная в общем хронологическом контексте. Не надо забывать, что именно к этому времени и последней трети IV в. относится не раз цитированное нами свидетельство Арриана о западной экспансии Хорезма, царь которого распространил свои владения до границ колхов и амазонок. Начало I в. н. э.—это период, когда образование кушанского царства заставляет Кангюй-Хорезм активизировать свою северо-западную политику, распространив свое господство на страну аорсов-аланов, собирая в частности дань пушниной с племен Приуралья (см. выше гл. I—2).

Анализируя северно-черноморское вооружение, мы не можем не отметить рядом с чертами сходства и существенные черты отличия.

Панцырные всадники Причерноморья—это, как правило, копейщики. Ни на одной из росписей мы не увидим их вооруженных луками, как хорезмийские катафрактарии. А в тех случаях, когда мы встречаем лучников, то, уже помимо их легкого вооружения, мы видим их вооруженными традиционным скифским горитом—колчаном-налучьем, подвешенным с левой стороны[2]. Горит слева мы находим и на изображениях всадников на боспорских монетах[3].

Следовательно, центральноазиатский комплекс представлен здесь лишь частично. Привычный способ употребления стрелкового оружия взял верх, что и понятно для народа лучников, который меньше всего был способен, конечно, отказаться от традиционной техники стрельбы. Однако хорезмийский тип стрелкового оружия все-таки проник в Причерноморье. И тот факт, что здесь мы его встречаем эпизодически и как раз в то время, когда получает широкое распространение доспех катафрактария, особенно убедительно демонстрирует направление распространения всего комплекса.

Я имею в виду, во-первых, эпизодически встречающийся на изображениях сарматского времени твердый, длинный, прямой колчан особого типа, носимый с правой стороны.

Таковы всадники на двух надгробных стелах из Керчи, изданных В. В. Шкорпилом в 1914 г. и датируемых—первая I в. н. э., вторая—более

---

[1] Ростовцев. Античная декоративная живопись, стр.334. Золотая пластинка с изображением сармат из Геремесовского кургана, табл. XXXV, рис. 2; панцырная рубашка из кургана близ Мокиевки, раскопанного Бранденбургом, рис. 63 и 64 на стр. 335—336 и остатки аналогичных панцырей в др. погребениях (библиографию см. Декоративная живопись, стр. 335).

В другой работе М. Ростовцев (The Animal Style in South Russia and China. Princeton. 1929, стр. 45) на основании близости элементов сарматского звериного стиля с таковыми Бактрии (Аму-дарьинский клад), Северной Индии времен Чандрагупты и Ашоки (Таксила, Пенджаб, Гандхара), и поздне-ахеменидских памятников Суз (цит. соч., стр. 41—44, стр. прим. 3, стр. 59), приходит к существенному для нас заключению, выводя сармат из Средней Азии, из тесно связанного с Бактрией района. Это в одинаковой мере относится и к первой (конец IV—III вв. до н. э.) и к второй устанавливаемой им волне (II в. до н. э.) сарматского движения.

Согласно гипотезе Ростовцева сарматы—это «саки, обитавшие у Аральского моря и между Аралом и Каспием», которых Ростовцев отождествляет с массагетами и дахами греческих источников и которые начали вторгаться в «скифскую империю» Северного Причерноморья в конце IV—III вв. до н. э. в результате ударов, нанесенных им на их родине Александром, ранними селевкидами и ранними бактрийскими и парфянскими царями. Вторая, гораздо более массовая сарматская миграционная волна, окончательно разрушившая «скифскую империю», была, по Ростовцеву, вызвана ударом, нанесенным приаральским сакам с востока движением юечжи, в свою очередь сдвинутыми с места гуннами.

Эта реконструкция предпосылок движения, которую дает Ростовцев и которую он и не пытается аргументировать, является, конечно, чистым домыслом, и, как мы показываем ниже, исторически не подтверждается. Однако весьма убедительной остается археологически обосновываемая этим исследователем первая часть его построения: о Приаралье как исходном центре сарматского движения и о массагетско-дахском (но отнюдь не сакском, в собственном смысле) их происхождении. В сущности говоря, Ростовцев стоял на правильном пути и в постановке второй части своей гипотезы, пытаясь найти причину движения в политических событиях в Средней Азии IV—II вв. до н. э. Но не подвергнув свидетельства об этих событиях самостоятельному анализу, он оказался в плену упрощенной и, как мы увидим, глубоко неверной концепции самого характера этих событий.

Большой интерес представляет вместе с тем и другая сторона теории Ростовцева (Animal Style, стр. 100—106), его заключение о первоначальных носителях и создателях «нового» или «сарматского» «звериного стиля» в искусстве ханьского Китая и Северного Причерноморья. По его мнению, таковыми были юечжи: «If not the inventors, the Jue-Chiwere certainly the carriers of the new animal style, and it is probably the Jue-Chi-who, brought this style to South Russia» (Animal style, стр. 105). Территориальная экспансия этого стиля делает гипотезу Ростовцева весьма правдоподобной, с той, однако, поправкой, что в юечжи нужно видеть не чуждый сарматам народ с высоких плоскогорий Тибета, а, как мы не раз пытались выше и ниже показать, тех же самых массагетов, одной из иранизированных ветвей которых были хорасмии.

[1] Цит. соч., стр. 342.

[2] См. склеп 1875 г. Декоративная живопись, табл. XXIII, рис. 4; Керченская стела, Декоративная живопись, табл. XXXIV, рис. 1—2; расписной саркофаг 1900 г., там же, табл. XCIII, рис. 2 и 1. Ср. E. H. Minns. Scythinus and Grecks, стр. 67.

[3] Ср. монеты Котиса II (124—132 н. э.), Толстой и Кондаков. Русские древности. II, стр. 28, рис. 2.

поздним временем[1]. Таков ряд изображений всадников, изданных Watzinger'ом[2].

Насколько можно судить по этим изображениям, лук носился в спущенном виде, в особом цилиндрическом кармане на поверхности колчана.

Во-вторых, я имею в виду изображение на реверсе одной из групп боспорских монет (предположительно относимой Миннзом к фанагорийской чеканке) предметов вооружения, в числе которых слева виден спущенный лук, вставленный в узкое цилиндрическое налучье[3].

Характерно при этом, что именно со второй намечаемой нами волной хорезмийских влияний на северное Причерноморье хронологически связана смена династий на Боспоре (видимо, 70-е годы I в. н. э.), причем, судя по именам (Аспург, Савромат, Рескупорид, Котис), не подлежит сомнению ее связь с сарматскими элементами[4]. При этом, вместе с этой династией, как, почти одновременно, в Сакастане и сакских княжествах Индии, в тип боспорских монет входит изображение всадника[5]. Этот символ кангхско-хорезмийской государственности становится не менее характерным символом боспорской государственности I—III вв. н. э., и, наконец, что особенно существенно, как мы показали уже выше[6], в политическую символику этой новой, савроматской (аспургианской) династии Боспора прочно входит один из вариантов кангюйско-хорезмийской тамги дома Сиявушидов , что позволяет нам сейчас, в свете всего вышеизложенного, уже не условно и гипотетично, а достаточно твердо выдвинуть тезис о том, что сфера господства различных ветвей кангюйских сиявушидов, больше того, одного из ответвлений именно хорезмийской ветви, охватывает в I—III вв. н. э., а частью и позднее, также и Боспорское царство, что, в свою очередь, проливает свет на смысл краткого сообщения хроники Младших Хань о далеких северо-западных данниках Кангюя.

Античные авторы отмечают целый ряд этнографических особенностей савроматов, резко выделяющих их из окружающего комплекса народов. Сюда прежде всего относится прочная традиция о комплексе гинекократических учреждений у савроматов, о происхождении их от амазонок (Геродот, IV, 110), о господствующем положении, которое у них занимали женщины (Диодор, II, 43) Николай Дамаскин, 122, Помпоний Мела (I, 116), III, 39: «amazones sed quas sauromatides appelant»; об активном участии женщин в военном деле и связанных с этим брачных обычаях (Геродот, IV, 117: «относительно брака соблюдается у них следующее правило: ни одна девушка не выходит замуж, прежде чем не убьет врага»; Помпоний Мела, I, 114: «у них женщины занимаются тем же, чем и мужчины, и не чужды даже войны. Мужчины служат в пехоте и сражаются стрелами; жены выезжают в битву на конях и не сражаются мечами, но, поймав арканом, умерщвляют врагов. Они вступают в брак, но у них правило для выхода замуж не по возрасту, а для тех лишь, которые убили врага, иначе они остаются незамужними»). Все это, резко выделяя савроматов из окружающих их скифских племен с доминирующими патриархальными обычаями, тесно сближает их с массагетско-хорезмийским кругом народов с его резко выраженным матриархальным комплексом. Нимфодор (Fr. 9) подчеркивает особую роль культа огня у савроматов, сравнивая их по этому признаку с персами и выделяя из прочих причерноморских племен. Этот признак также ведет нас в сферу приаральского очага культа огня—к древнейшему из священных огней зороастризма, помещенному Йимой в Хорезме. Туда же ведут нас известия о жертвоприношениях коней у сармат, ассоциирующиеся с описанными Геродотом для массагетов. Наконец, Диодор (II, 43) прямо указывает на «мидийское» происхождение савроматов, якобы выведенных скифскими царями из Мидии на Танаис. Мидию, думаю, здесь нужно понимать в обычном для времен Диодора, широком смысле слова—как всю территорию ахеменидского царства и связывать это предание не с геродотовскими мидийскими походами скифов, а с его же традицией о движении скифов из-за Аракса под давлением массагетов, в качестве западного авангарда которых их, может быть, и надо рассматривать. Думаю, что на это же указывает и показание Помпония Мелы (III, 34), на этнографическую близость сарматов и парфян—юго-западного ответвления того же дахско-массагетского комплекса племен, северо-западной ветвью которого являлись савроматы.

Нам уже пришлось в свое время выдвинуть гипотезу о тождестве имени туркменского племени йомудов с именем сармат (Уо-mut←*Уor-mut, отождествление, одобренное Н. Я. Мар-

[1] В. Шкорпил. Боспорские надписи, найденные в 1913 г. ИАК, в. 54; 1914 г., стр. 72, рис. 2, стр. 75—76.

[2] Watzinger. № 574, 591, 626, 627, 650; ср. Толстой и Кондаков, II, стр. 73, рис. 55.

[3] См. Minns, цит. соч.; табл. IX, 21.

[4] История СССР, изд. ИИМК, М.—Л. 1939, I—II, стр. 347.

[5] См. Ростовцев. Представление о монархической власти в Скифии и на Боспоре. ИАК, в. 49, стр. 22 сл., табл. IV, 4,6, 7, 9, 11.

[6] См. выше, гл. IV, § 1.

ром)[1]. Сейчас я хотел бы связать с этим спирантно-шипящим вариантом имени сармат самоназвание предков савроматов—амазонок по Геродоту (IV, 110)—Ойорпата. O+yor+pat. Оставляя в стороне напрасно всерьез принимаемую многими исследователями[2] народную этимологию этого имени, я вижу в pat закономерный вариант mat («народ» от *mand), который нередко проявляется как раз при спирантизации первого элемента (ср. Kar-pat), а в первом, основном этнониме ту самую форму yor, которую в 1935 году я под звездочкой реконструировал как основу yo-mut←*yor-mut. Начальное O—префикс, обычный в этнонимике Приаралья (ср. mardoi∼a+mardoi) в закономерном окающем произношении. Следовательно, в ойорпатах-амазонках, от смешения которых со скифами якобы произошли, по Геродоту, прикубанские савроматы, нужно видеть тех же савроматов, в одном из вариантов восточного, спирантизованного, оформления их этнического имени, до сих пор сохраненного в местах обитания гинекократических савроматов, массагетов, «скифов» царицы Аккагас византийского путешественника VI в. и тех «семи девушек», которые были беками огузова племени» по Абуль-Гази, у отдаленных потомков амазонок—йомутов.

Геродотом фиксируется таким образом начало движения на Запад иранизирующихся хорезмийских массагетов-савроматов, постепенно внедряющихся в этнографическую среду Северо-Восточного Причерноморья и ассимилирующихся с местными племенами, не теряя, видимо, все же какой-то формы политической связи с родиной, отраженной в словах Фарасмана Александру.

Не исключено, что в рассказе Геродота сохранены и некоторые детали пройденного ойорпатами-савроматами пути. Я имею в виду рассказ об их сперва морских, а затем конных скитаниях, предшествующих их смешению с прикубанскими скифами. Нам представляется возможным видеть в этом отголосок морского пути через северный Каспий от Черных Гор—Мангышлака, легендарной родины йомудов—на северо-восточное Предкавказье. У Геродота этот путь, увязанный им с греческой традицией об амазонках, получил, естественно, иную локализацию.

В этой связи представляет большой интерес этимология имени сармат (Σαρμαται, Sarmatae)—несомненно, представляющем (в первом элементе) стяжение более древней формы савромат Σαυρομάται→Συρμάται→Σαρμάται.

Скилакс (с. 68) различает сирматов (Σοράται) и савроматов, помещая первых на западном, вторых на восточном берегу Танаиса. Автор Перипла Понта Эвксинского различает сарматов и савроматов.

В монетных надписях Боспора имена царей Савромата I и II транскрибируются CAVPOMATHC, CAVPOMAT(OV).

Имя Савромат, как показал уже Маркварт[1], представляет собой вариант того же имени, которое отражено в Авесте (Яшт XIII, 143, XXI, 52) в форме çairima (противопоставляемой именам Arya и Tura) и впоследствии перешло в иранскую эпическую традицию в форме Salm с закономерным перебоем r //.

У нас нет никаких оснований следовать, как это делает Ростовцев[2], за автором Перипла и примыкающими к нему источниками и видеть в савроматах Геродота и сарматах позднейших авторов разные народы: в первых—местных аборигенов Северо-Восточного Черноморья, во вторых—иранскую народность, пришедшую около IV века из Средней Азии. Не надо забывать, что для методологически неприемлемой для нас концепции Ростовцева крайне важно подчеркиваемое им якобы существующее между савроматами и сарматами резкое этнографическое различие. По его мнению, только первым присущи матриархальные учреждения, якобы чуждые ариоиранцам-сарматам. Источники говорят другое, распространяя систему гинекократических учреждений на тех и других.

В целом мы можем установить вероятное первоначальное звучание исследуемого имени в форме S^wAYR^i+mat, причем второй элемент имеет непосредственную яфетидо-иранскую этимологию «народ», следовательно—«народ S^wAYR^i». Восстанавливая всю цепь вариаций имени, мы можем изобразить ее как Sār←Sawr°←Swar^i(∼Sayr^i)←(*S^wayr^i), видя в архетипе основу: начальный свистящий с губной артикуляцией, закономерную в свистящей ветви акающую огласовку, в исходе—гласный R, предшествуемый слабым спирантом и, при переходе в согласный, получающий в свою очередь огласовку—иррациональное i∼o.

Африкаты S^w, закономерно противостоящей X^w (←K^w), не знает индоевропейской консонантизм. Однако следы этого чередования, видимо, восходящего к доиндоевропейскому субстрату, бесспорно могут быть констатированы: ср. лат. equus (←*a ek^{w}u)—скр. açva., лит. asva (*as^{w}a) «лошадь», ир. x^{w}are→xūr←(←*k^{w}ar^i)—«солнце» скр. suriya—svarē «солнце» (ср. çvarga—«небо» *S^w ar^i), откуда и сол+нце и т. д.

---

[1] С. П. Толстов. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен. ПИДО, 1935, № 9—10.
[2] PW BIA стр. 254 2 сл. (K. Kretschmer, Sarmatae).

[1] Eranšahr.
[2] Iranian and Greeks, стр. 113—114.

Переход $S^{w}aY^{i}$→Sawr°—вполне закономерен при диссимиляции африкаты S^{w}→SW под влиянием избегания стечения согласных в начале слова и элементов губной гармонии: i→o под влиянием смежного W.

Восстановление этого ряда не может не повести за собой сопоставления только что рассмотренного ряда Sār←sawr°←swayr^{i} с совершенно тождественным рядом в спирантной ветви: $\sqrt{}$Xār←$X^{w}ar^{i}$←$X^{w}aYr^{i}$ в слове X^{w}ayrizem.

Помимо полного, до малейших деталей тождества обоих основных элементов, поражает необычное для нормальной этнонимики и топонимики интересующей нас эпохи оформления обоих слов. В первом случае этноним дополняется словом «н а р о д», во втором топоним—словом «земля», «страна». Такое оформление, как известно, явление сравнительно редкое. В подавляющем большинстве случаев как этнонимический, так и топонимический термин выступает в чистом виде.

Семантические ассоциации исследуемого нами комплекса приводят нас к уже отмеченному скр. surya «солнце» (←скр. $S^{w}ar$→svarga—«небо», слав. С в а р о г —бог солнца←→неба (в иранском, с закономерным переходом древнего S^{w}→X^{w}—xwaria, xurr—«солнце» (хорезмийское axīr («солнце»), н. перс. xur «солнце», xwār—«восток» и слав. Х о р с—«б о г с о л н ц а».

Форма Х о р с проливает, может быть, свет на природу исходного плавного исследуемого имени. Видимо, здесь нужно искать африкату, обозначаемую Мейе для древнеперсидского через Θ^{r}, африкату, которую можно, пожалуй, назвать шепелявым R; R с шипящим или свистящим призвуком.

В диссимиляции она дает rš (rs)→š (s); ср. Kušan←KOPANO, KOPPANO, KOPCANO монетных надписей, Ašk←Aršak. Напомню, что Якут отмечает специфичность R в слове Xwarizm, говоря, что оно произносится как бы «под таждидом» (с удвоением) и приводя отрывок из Асади, где употреблена форма Xwarirazm, еще более подчеркивающая эту особенность.

В этой связи напомню приводимое Плинием (Ест. ист., VI (19), 17) указание, что «скифы называют персов хорзарами». Этот этноним в устах кочевников мог означать земледельцев в значении «народ солнца» (от Хорс—«солнце»+ар—долго держащийся в Приаральи суффикс образования этнических имен) и повидимому в сакском словоупотреблении первоначально связанное специально с ближайшим к сакам центром агрикультуры—Хорезмом, а затем перенесенным и вообще на оседлые народы, откуда и выступающее в сасанидское время Хорас+ан с другим суффиксом этнических имен—an←gan.

Анализируя наше слово в тотемическом плане мы сталкиваемся с н. перс. axūr—«конюшня» — от *xur—«конь» —ср. н. перс. har—«осел» xarbašak «кузнец», «коновал» и скр. hari—«конь» и одновременно одно из имен бога Вишну. Имя Хорезма открывается таким образом включающим в состав своей семантической нагрузки и имя основного тотема хорезмийских массагетов, так богато отраженного в монетной типологии в терракотовой пластике кангюйской эпохи—коня.

В мифологическом плане существенно вспомнить имя патрона хорезмийцев и мифического предка их династии Сиявуша—Syavarš (+an) Авесты. Оно тождественно с сибирянтной формой имени народа Swayr^{i}+mat и страны Xwayri +zem, имея патронимическое оформление+an (Сияварш+ан ср. славянское Сварож-ич!). Соответственно этому—закономерная связь Сиявуша с конем,—неизменным его атрибутом и солнцем—resp. огнем: огненная инициация Сиявуша, «второе рождение» от его истинного отца с о л н ц а.

Этому на первый взгляд противоречит установленная нами в предыдущей главе ассоциация Сиявуша с комплексом фратрии змея-коня.

Однако не нужно забывать сложного процесса мифологической циклизации, исследование некоторых элементов которой мы пытаемся дать в экскурсе III. Эпоха кристаллизации мифа о Сиявуше много позднее эпохи классического первобытного дуализма, время быстрого роста удельного веса с о л н е ч н ы х воинственных богов, поглощающих и ассимилирующих родственные образы противоположной фратрии. Первоначальный хтонический характер славянского Сварога также имеет определенные указания: Ипатьевская летопись недвусмысленно сопоставляет Сварога с Гефестом[1], богом подземного огня, нижнего, ночного неба. Мы видим, таким образом, что сарматская этнонимика, как и переживающий в славянском сарматский пласт мифологической ономастики, ведет нас туда же, куда ведут археологические и исторические свидетельства—в хорезмийско-массагетскую среду.

---

[1] ПСРЛ, II, 5. Ср. Фамицын. Божества древних славян, Спб. 1884 г., стр. 144, ср. также стр. 183, где намечается некоторая ассоциация между культом Сварога и культом Сабазия—другого двойника Сиявуша.

III

Остановимся теперь на вопросе о возникновении входящего в комплекс оружия среднеазиатского катафрактария стрелкового вооружения, пути распространения которого мы таким образом проследили. Напомню его элементы: длинный, в спущенном виде—почти прямой, во всяком случае, слабо изогнутый, лук, в чулковидном, носимом на левой стороне, рядом с мечом, налучьи, и твердый колчан в форме песочных часов с крышкой, рассчитанный на расположение стрел остриями вверх и носимый на правом бедре.

Этот тип генетически не может быть выведен из скифского типа вооружения. Наиболее вероятным является его выведение из древнего типа вооружения оседлых среднеазиатских народов, кое-какие данные о котором мы можем почерпнуть у Геродота:

«Головной убор бактрийцев был очень похож на мидийский, но луки у них тростниковые, бактрийские, и копья короткие... Арии имели луки мидийские, а остальное вооружение бактрийское... Парфяне, хорасмии, согды, гандарии и дадики имели во время похода такое же вооружение, как и бактрияне... каспии одеты были в сисирны (тулупы), имели туземные луки из тростника и акинаки (скифские мечи—кинжалы)» (VIII, 64—67).

Таким образом в начале V в. до н. э. оседлые и полуоседлые племена Средней Азии, включая и интересующих нас хорасмиев, сражались, по преимуществу, в качестве лучников, вооруженных простыми тростниковыми луками. Сложный лук, столь характерный для скифских племен, был этим народностям неизвестен.

Этот-то простой, тростниковый длинный лук—с соответственно длинными тростниковыми стрелами без оперения расположенными в длинном цилиндрическом колчане остриями вверх и, вероятно, отравленными—отсюда крышка колчана—и может рассматриваться как исходная форма, которая породила интересующий нас комплекс вооружения. Из этнографических материалов мы знаем, что сложный лук в походном положении всегда носится натянутым. Напротив, простой лук, теряющий упругость от длительного пребывания в натянутом состоянии, носится, обычно, спущенным. Длинный деревянный «сарматский» лук, усиленный обвиванием жилами (см. рисунок поверхности лука всадника на щите с горы Муг) и, видимо, костяной обкладкой на концах, являлся усовершенствованием этого древнего оружия, не менявшим, однако, способа употребления. Лук можно и нужно было, как и простой, носить спущенным, введение оперения стрел создало расширение нижней части колчана, получившего форму песочных часов.

Этот своеобразный, совершенно индивидуальный тип вооружения мог возникнуть только в совершенно определенных историко-культурных условиях—в условиях скрещения оседло-охотничье-рыболовческих традиций древней речной земледельческой культуры—с влияниями сложившихся в условиях кочевой степи форм стрелкового оружия.

Кангха-Хорезм дает нам оптимальные условия для этого скрещения.

Роль Хорезма в истории стрелкового вооружения древней Средней Азии отражена и непосредственно в источниках. Так, «География», приписываемая Моисею Хоренскому[1], и относящаяся, видимо, к VIII в. н. э., отмечает среди объектов вывоза из Хорезма «замечательные луки». Эту роль Хорезма как выдающегося центра производства луков подчеркивают и показания ранне-средневековых арабских источников. Так, как уже отмечал Маркварт, указания «Географии» Хоренского повторяет Макдиси, говорящий, что здесь изготовляются «луки, которые могут натянуть только самые сильные люди»[2].

Мы знаем, что в условиях зарождения рабовладельческого общества, в городских общинах Востока и Запада неизменно складывалась, как наиболее адэкватная гражданскому ополчению полиса, форма тактики—тактика фаланги, сомкнутого строя копейщиков-щитоносцев. Это мы видим в городах Сумера, в Египте, в Греции, в Италии. Боевые колесницы неизменно сопровождают первые этапы этого развития—всюду, впрочем, по мере развития тактики тяжелой пехоты отступая на второй план. Конница здесь всюду играет второстепенную роль.

Г. Дельбрюк[3], нам думается, прекрасно отразил сущность этого явления. Гражданское ополчение—не профессиональное войско, а тактика фаланги—единством действия сомкнутого строя целиком покрывает недостаточную профессиональную сноровку отдельного бойца. (Это не противоречит, конечно, тому, что впоследствии развивающаяся тактика фаланги потребовала также специальной, преимущественно физкультурной выучки.) Боевые колесницы,

---

[1] Marquart. Eranšahr, стр. 141, 155; Иностранцев, ЖМНП, 1911, стр. 195.

[2] BGA III, стр. 325; МИТТ, I, 202.

[3] Г. Дельбрюк. История военного искусства в рамках политической истории, 1, М. Воениздат, 1936, стр. 115.

бой которых требовал высокой индивидуальной выучки, неизменно отступает на второй план по мере отмирания старой родовой аристократии, создавшей и развившей этот вид боя. Кавалерия, развиваясь медленно, в этих условиях никогда не получает той роли, как некогда колесницы, сохраняя значение вспомогательного рода войск.

Иной характер приобретает развитие в условиях Кангхи—Хорезма, «плодородного земледельческого острова среди кочевнической степи», как именует его В. В. Тарн. Здесь с первых шагов развития земледельческо-городской культуры оазиса житель последнего на каждом шагу сталкивается с окружающими его со всех сторон конными кочевниками, в борьбе с иррегулярной кавалерией которых протекает значительная часть его жизни. Чтобы защитить свой домашний очаг от набега, древний хорезмиец не мог полагаться только на глиняные стены своих городов и селений. Он должен был уметь остановить и разбить врага в степи, не дав ему разграбить его поля. Но он не имел тех веков и даже тысячелетий, которыми располагал обитатель Египта или Месопотамии, чтобы противоставить иррегулярной коннице сложившуюся военную организацию и выработанную тактику линейной пехоты. Да и культурные традиции тесно связывали его с кочевниками, принадлежавшими к той же этнографической группировке, как и он. Оседлый массагет все же оставался массагетом. В результате мы видим создание массагетско-хорезмийского эквивалента античной фаланги—сомкнутого строя всадников-копейщиков и всадников-лучников в панцырных рубашках, на бронированных конях. И мы видим, что уже в конце VI в. массагетская конница оказывается уже в состоянии принять и решить в свою пользу бой с войском Кира—победителя в битве при Сардах.

Военное дело в другом из доахеменидских политических центров Средней Азии—в Бактрии, повидимому, развивается несколько иным путем. Правда, бактрийская конница фигурирует в описании войск Ксеркса у Геродота (VIII,67). Однако ни здесь, ни в других источниках мы не найдем ни намека на ее особую тактическую роль. Наоборот, она фигурирует наряду с несомненно легкой конницей саков.

Роль, которую в массагетско-хорезмийской военной эволюции играют с самого начала катафрактарии, здесь, повидимому, как и в других странах древнего Востока и архаического Запада, играют боевые колесницы, поддерживаемые легкой конницей. В этом отношении характерно описание Аррианом действий союзных контигентов войск Дария III в битве при Гавгамелах:

«На помощь Дарию пришли индийцы, пограничные с бактрийцами, сами бактрийцы и согдийцы, над всеми ими начальствовал Бесс, сатрап бактрийской земли. Их сопровождали саки, одно из живших в Азии скифских племен. Они не были подданными Бесса, а лишь союзниками Дария. Вождем их был Мавак, и сами они были конными стрелками... Сатибарзан, арийский сатрап, привел ариев. Фратаферн привел парфян, гирканцев и тапуров; все они были на лошадях... Положение войска Дария было следующее: левое крыло занимали бактрийские всадники с даями и арахотами... на правом крыле стояли мидяне, рядом с ними парфяне и саки, затем тапуры и гирканцы... впереди, на левом крыле—скифские всадники и около тысячи бактрийцев со ста серпоносными колесницами» (Арриан, Анаб. Алекс. III, 8—11).

Золотая модель боевой колесницы из Амударьинского клада является археологическим документом бактрийской тактики IV в. до н. э., в своей более ранней стадии выступающей перед нами в текстах Авесты (особенно в Михр-яшт) и в термине «ратхаеста»—«колесничие», которым в Авесте именуется военная каста.

Если, как мы видим, исследуемый нами комплекс исторически разъясняется из условий местного развития приаральских народов и является совершенно самостоятельным по отношению как скифскому, так и западно-иранскому и даже к бактрийскому, восходя в своих элементарных формах к массагетскому вооружению VI в. до н. э., мы, однако, не можем игнорировать возможных исторических влияний извне, отразившихся на его развитии.

И исходный пункт этих влияний мы видим не в Иране и не в Скифии, а в достаточно удаленной стране, взаимоотношения которой с народами Средней Азии до сих пор остаются темными.

Я имею в виду Ассирию. Роль этой могучей военной державы в мировой истории военного искусства до сих пор оценена в ничтожной мере. Между тем, памятники материальной культуры свидетельствуют о могучем развитии военной техники, о сложной структуре тактически дифференцированной армии, включавшей тяжелую (в том числе тяжеловооруженных стрелков) и легкую пехоту, тяжелую и легкую конницу, боевые колесницы, метательные и стенобитные машины—предвосхищавшие все основные средства греческой и римской полиоркетики[1].

[1] Ф. Энгельс (Избранные военные произведения 1, М., 1936, стр. 223—224) отмечает роль ассирийской конницы в истории военного искусства древнего мира. Однако, нам думается, что в этом вопросе можно итти несколько дальше Энгельса, считавшего, что все же Ассирия обладала лишь иррегулярной конницей (это повторяет и Е. Разин. История военного искусства, 1, стр. 37). Не надо забывать, что почти единственным источником, из которого мы узнаем о действиях асси-

В частности, стрелок-катафрактарий, как и катафрактарий, вооруженный длинной пикой[1],—широко распространенная фигура на ассирийских рельефах.

И, если не считать типа стрелкового оружия, восходящего здесь и в массагетско-хорезмийском комплексе к разным местным традициям, в вооружении ассирийского и массагетско-хорезмийского катафрактария мы находим много общего.

Такова длинная, доходящая до щиколоток пластинчатая броня[2] (встречающаяся рядом с короткой, спускающейся лишь до бедер)[3]. Такова характерная форма округленно конического шлема с притупленным шишаком—столь характерного ассирийского шлема, имитацией которого являются аланские шлемы склепа Ашика[4], и как дериват которого мы должны рассматривать шлемы Аниковского блюда[5]. Сюда же, наконец, могут быть возведены и маленькие круглые щиты аниковских всадников[6].

Таким образом, целый ряд элементов хорезмийского вооружения может быть возведен к ассирийским прототипам.

Это сопоставление не представляется мне невероятным. Ассирийское воздействие на изобразительное искусство азиатской и европейской Скифии общеизвестно. Я думаю, что несмотря на тенденции новейшей историографии, указания Ктесия на ассирийские походы в Среднюю Азию, и особенно, на участие среднеазиатских народов, скифов и бактрийцев, в борьбе сперва на стороне Мидии против Ассирии, а затем—против унаследовавшей ассирийскую гегемонию Мидии—не могут быть сброшены со счетов.

Если бы наш тезис можно было считать окончательно доказанным, хорезмийско-массагетское вооружение само по себе могло бы стать аргументом в пользу наличия в рассказах Ктесия исторически достоверного ядра. Пока мы на это не претендуем. Но все же гипотеза, согласно которой на развивающуюся под давлением местных военно-исторических условий массагетско-хорезмийскую тактику и связанное с ней вооружение оказала одновременно влияние наиболее передовая военная техника этой эпохи, мне представляется отнюдь не невероятной[1].

В своем развитии интересующая нас массагетско-хорезмийская тактика, видимо, проходит два этапа: 1) Этап раздельного существования катафрактариев-копейщиков и катафрактариев-лучников (как мы видим и в Ассирии).

Видимо, этот тип сложился уже к VI—V вв. до н. э. Вместе с хорезмийской экспансией в конце IV столетия этот комплекс проникает впервые в северное Причерноморье.

2) Этап господства катафрактариев-лучников, вооруженных одновременно и для дальнего и для ближнего боя.

Этот последний этап, нам представляется, исторически неразрывно связан с появлением на границах Средней Азии армии Александра Македонского. Александр, не удовольствовавшись усовершенствованием пехотного строя, на западе проделывает то же, что во мраке истории создается в эту же эпоху на далеком Востоке Персидской державы. С пехотой он сочетает линейную конницу копьеносцев, способную не только противостоять конным массам персов и их союзников, но и, во взаимодействии с фалангой, уничтожить их. И когда фаланги и илы Александра появляются в степях Средней Азии, оседлое население этих стран оказывается перед новой задачей: неуязвимая для иррегулярной кочевой конницы конница хорезмийских катафрактариев оказывается бессильной перед македонским войском, ибо последнее обладает не только такой же тяжелой конницей, но и великолепной пехотой, сомкнутый строй которой оказывается непреодолимым для конных копейщиков Средней Азии.

Из этого противоречия, нам кажется, и рождается поистине блестящее его разрешение: сочетание воедино лучника и тяжеловооружен-

---

рийской армии, являются рельефы, которые, естественно, не могут дать представления о действиях целых подразделений и о боевом порядке в целом. Однако все же из них мы можем заключить, что ассирийская армия была разделена на правильно организованные подразделения разных родов оружия, действовавшие в строгом взаимодействии между собой, причем это распространяется не только на пехоту (что признает и Е. Разин), но и на коннипу, делившуюся на тяжелую, среднюю и легкую, на лучников и копейщиков, причем каждая группа была однообразно вооружена и обмундирована.

[1] P. Handcock. Mesopatamian archeology. London 1912, стр. 355, рис. 107.

[2] Там же, цит. соч., табл. XVII.

[3] Там же и possia.

[4] Декоративная живопись, табл. XXXVIII, рис. 2.

[5] В этой связи интересно поставить вопрос о возможном посредничестве аланско-хорезмийской среды в переносе ассирийского типа шлема в комплекс русского вооружения.

[6] Handcock, стр. 356, рис. 108, и др.; O. Weber. Assyrische Plastik. Orbis Pictus. B. XIX., табл. XXV.

[1] Конечно, встает вопрос, чем объяснить распространение этого вооружения и тактики на далеком Востоке, в то время как в западном Иране в непосредственном соседстве с Ассирией эта тактика не привилась? Я думаю, что объяснение здесь лежит в том, что в Персии и Мидии не было столь сильных предпосылок для развития этого типа вооружения, как в хорезмийско-массагетской среде. В Персии основным видом войск были пешие легкие стрелки и копейщики и союзная кочевническая иррегулярная конница, игравшая вспомогательную роль. Мнение о персах, как о народе конников (ср. Е. Разин, цит. соч., стр. 40), глубоко ошибочно. Катафрактарии, вероятно, типа ассирийских, были, по Ксенофонту, в составе лейб-гвардии персидского царя в очень небольшом количестве (1000 человек) и тактической роли почти не играли.

ного всадника, переход к дальнему бою регулярной тяжелой кавалерии.

Сомкнутый строй одетых в тяжелые панцыри лучников на бронированных конях оказывается способным противостоять не только иррегулярной коннице, но и македонским копейщикам катафрактариям, и фаланге, и, как показала дальнейшая история, даже римскому манипулярному легиону. Наступательный порыв тяжелой пехоты парализуется и боевой порядок ее расстраивается градом стрел еще прежде, чем она достигнет железного строя всадников, но и достигнув его, она оказывается в невыгодном положении, наткнувшись на острия длинных пик и на бронированные груди коней.

Так родился тот тип лучника-катафрактария, который сыграл свою роль в битве при Каррах и многократно впоследствии проникал на Запад и Восток, накладывая свой отпечаток на историю позднеантичной и раннесредневековой конницы сасанидского Ирана[1], Византии[2], арабского халифата[3], Китая[4].

Первый же его крупный исторический дебют, остававшийся до сих пор скрытым от нас темным рядом немых столетий,—это выступление массагетов-юечжи, опрокинувших господство греко-македонян в Средней Азии и создавших великую Кушанскую империю от Хорезма до Хотана и от Арала до Бенареса,—империю, которая, несомненно, достойна занять почетное место в ряду четырех великих империй поздней античности, рядом с Римом, Парфией и Китаем.

---

[1] См. по этому вопросу интереснейшее исследование К. А. Иностранцева. Сасанидская военная теория в его книге «Сасанидские этюды», СПБ. 1909, стр. 41—81, особенно 78 сл.

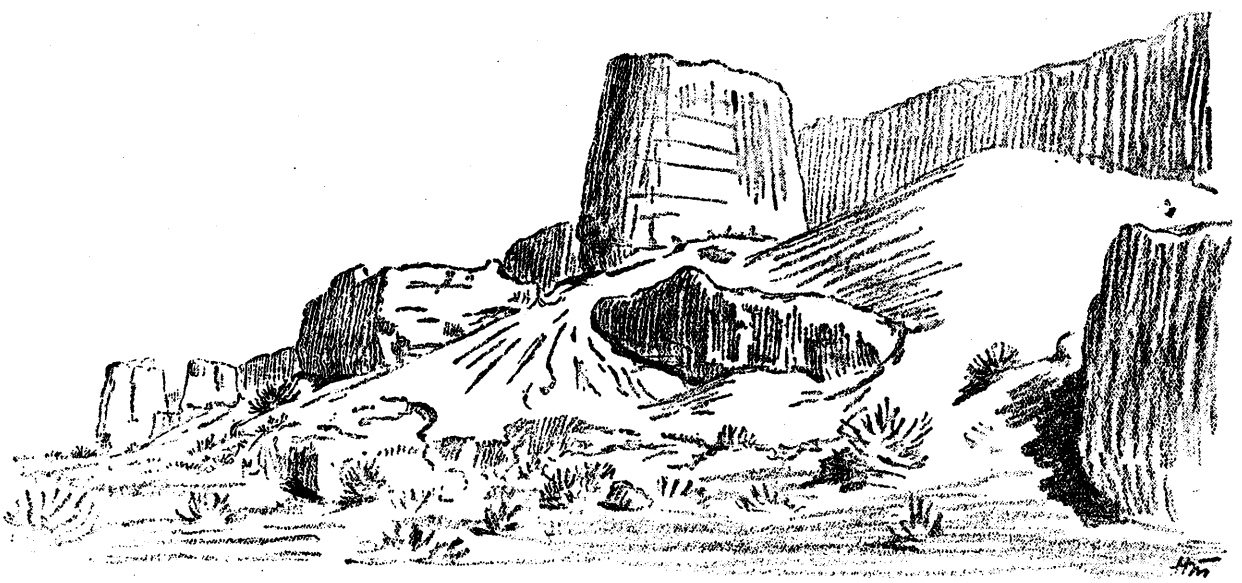
[2] Там же. Видимо, через Византию, где строй лучников-катафрактариев впервые был широко применен Велизарием, военная школа которого сложилась в борьбе с северо-черноморскими варварами—наследниками сармато-аланской, resp. хорезмийско-массагетской традиции, эта традиция оказала влияние на развитие тяжеловооруженной конницы Средневекового Запада. Впрочем, не исключено и непосредственное влияние сармат и алан на западно-европейских варваров. В эпоху поздней империи военные поселения сармат зарегистрированы даже на территории Англии. См. J. A. Richmond, The Sarmatae, bremetennacum veteranorum and the Regio Bremetennacensis. Journ. of Roman Sludies XXXV, 1945. А движение алан вплоть до Испании и Северной Африки в эпоху великого переселения—общеизвестно.

В еще большей мере хорезмийская военная традиция, не только через отдаленное посредство европейских сарматов, но и непосредственно в раннесредневековый период, вероятно, через тесно связанных с Хорезмом хазар и ранних кочевников южнорусских степей (печенегов и др.) оказала влияние на развитие древнерусской конницы. Тяжеловооруженный конный дружинник домонгольской Руси, панцырный лучник-копейщик в «ассирийском» шлеме, с твердым, закрывающимся крышкой колчаке у правого бедра—почти тождественен хорезмийскому всаднику с Аннковского блюда.

[3] См. цит. соч. Иностранцева, стр. 51, прим. 4.

[4] См. B. Laufer и von Le Coq, цит. соч.

ЭКСКУРСЫ I—III



Б. Гульдурсун

ЭКСКУРС I

УГРОЗА ЕВТИДЕМА

«Долго говорил так Евтидем и, наконец, просил Телею оказать ему услугу в мирном посредничестве и убедить Антиоха оставить за ним царское имя, Если Антиох не исполнит его просьбы, то положение обоих становится небезопасным. На границе, продолжал он, стоят огромные полчища кочевников, угрожая им обоим, если только варвары перейдут границу, то страна наверное будет завоевана ими».

Полибий XI, 34.

1. ГРЕЧЕСКАЯ КОЛОНИЗАЦИЯ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Первый этап греческой колонизации Средней Азии, Восточного Ирана и северных рубежей Индии связан с деятельностью Александра и его полководцев. На территории будущего греко-бактрийского царства в двадцатых годах IV века до н. э. была основана серия «Александрий» — опорных пунктов военной греко-македонской колонизации. Отметим Александрию Арианскую (Герат), две Александрии в Арахозии (одна, видимо, Кандагар), Александрия Кавказская у подножья Гиндукуша, Александрия Эсхата на Сыр-Дарье (Ленинабад), Александрия Оксианская, Александрия у Бактры, Александрия Маргианская (Мерв или Мерверруд). По данным Юстина (XII, 5) в Согдиане и Бактрии было основано Александром 12 городов. Страбон говорит о восьми. Ко времени смерти Александра число греко-македонских военных колонистов в «верхних сатрапиях» было не менее 23000. Однако кризис, последовавший за смертью завоевателя, едва не привел к потере этих сатрапий. 23000 воинов, расквартированных в восточных «Александриях» (20000 пехотинцев и 3000 всадников), сделали попытку вернуться на родину и были на пути встречены и истреблены регентом Пердиккой.

Мы не знаем, сколько воинов осталось на местах и не приняло участия в этом восстании. Вряд ли их было много. Нельзя, конечно, с уверенностью принять утверждение источников о полном истреблении восставших. Вполне вероятно, что значительная часть их была насильственно возвращена Пердиккой в колонии, из которых они бежали. Но так или иначе, надо полагать, что и в эпоху войн диадохов, и, в особенности, в начале селевкидского периода, потребовалась значительная дополнительная колонизация восточных сатрапий, чтобы обеспечить господствующее положение греков в этой с немалым трудом подчиненной ими стране.

По данным Трога Помпея и других источников, верхние сатрапии были по смерти Александра закреплены за назначенными им наместниками. Источниками упоминаются следующие сатрапии Востока: Бактрия (Аминта), Согдиана (Стасанор Солийский), Парфия (Филипп), Гиркания (Фратаферн), Ария и Драангиана (Стасанор Кипрский)[1]. С.-З. Индия (Питон, сын Агенора), область Паропамисадов (Оксиарт бактриец). Таксил, Пор и другие индийские цари сохранили свои области. Впрочем, Пор вскоре был убит греком Эвдамом, овладевшим его царством.

Повидимому, в период борьбы диадохов вообще шла острая борьба между восточными сатрапами. Об этом свидетельствует факт расхождения источников в отнесении отдельных областей к тем или иным полководцам. Так, один и тот же Диодор относит Бактрию и Согдиану сперва к владениям Филиппа, а затем — Стасанора Солийского, первоначально владевшего Арией и Драангианой. Филипп же оказывается уже правителем Парфии, первоначально принадлежавшей Фратаферну.

Восточные сатрапы в качестве союзников Эвмена принимают участие в его борьбе против Антигона Сирийского. Диодор упоминает в составе войска Эвмена 1200 пехотинцев и 400 всадников Андробаза, полководца Оксиарта, 1500 пеших и 1000 конных воинов Стасанора, правителя Арии, Драангианы и Бактрии, 3000 пехотинцев, 500 всадников и 120 слонов Эвдама Индийского.

После того как борьба диадохов завершилась переходом большей части азиатских владений Александра в руки Селевка I Никатора, основателя династии селевкидов, последний по словам Трога (XV—4), «завоевал Бактрию», положив, видимо, предел растущему

[1] Весьма вероятно, впрочем, что оба Стасанора — одно и то же лицо.

могуществу Стасанора. Однако индийские владения Александра оказались потерянными для селевкидов. Борьба против македонских завоевателей явилась толчком к политическому объединению индийских княжеств под властью Чандрагупты Маурья. Селевк около 305—303 г. потерпел поражение в борьбе с первым Магадхским императором и был вынужден отказаться от претензии не только на индийские владения сатрапов Александра, но и на страну Паропамисадов, Арахозию, Гедрозию и даже Ариану, уступленные им Чандрагупте, договор с которым был скреплен брачным союзом (видимо, Чандрагупта получил в жены дочь Селевка).

Есть все данные предполагать, что именно время войн Селевка с непокорными восточными сатрапами и Чандрагуптой было использовано народами Средней Азии для новых попыток освободиться от власти греков.

О том, что не только греческие сатрапы и гарнизоны Востока волновались в эпоху кризиса Македонской империи, что освободительная борьба среднеазиатских «варваров» отнюдь не прекращалась после страшных карательных экспедиций Александра — мы имеем прямые свидетельства.

Так, Плиний сообщает, что «когда Александрию (Маргианскую) разрушили варвары, то Антиох, сын Селевка, построил Селевкию на том же месте, по течению Марга, впадающего в Зоталу. Но он предпочел назвать ее Антиохией» (VI, 18). Видимо, это событие падает еще на царствование Селевка (до 280 г.). Конец этого царствования и время правления Антиоха I Сотера (280—261 гг.) являются периодом нового укрепления греческой власти в Средней Азии. Антиох ведет энергичную колонизационную и военную деятельность по северо-восточной границе своих владений. Помимо возобновления разрушенной Александрии Маргианской под именем Антиохии, он укрепляет Маргиану против кочевников, окружив Мургабский оазис системой длинных стен, достигавших в окружности, по Страбону (XI,10,2), 1500 стадий (ок. 240 километров). Это первое упоминание «длинных стен» в истории фортификации Средней Азии, явно свидетельствующее о напряженности положения на северных границах греческих владений в Средней Азии.

На это же указывают и походы Демодама — полководца обоих великих селевкидов — Селевка I и Антиоха I, на крайний северо-восток, в бассейн средней Сыр-дарьи, которую Демодам пересек, основав на правом ее берегу «Антиохию за Яксартом». Ниже мы еще вернемся к анализу обоих направлений наступательной и оборонительной стратегии Антиоха I в Средней Азии, связанных, видимо, с политической консолидацией независимых племен севера под гегемонией Кангхи—Хорезма, представлявшей серьезную угрозу для восточных сатрапий селевкидской империи.

Мы не имеем прямых свидетельств об остальных сторонах селевкидской политики в Средней Азии и Восточном Иране. Здесь нам приходится исходить из общего характера политики этой династии, ведущим элементом которой являлось, в противоположность египетским Птолемеям, быстро превратившимся в фараонов Египта, резкое подчеркивание грани между греками и эллинизированными малоазийцами и сирийцами, с одной стороны, и прочим «варварским» населением—с другой.

Военная селевкидская колонизация, насаждение густой сети военных греческих колоний, воспроизводящих политическое устройство эллинских городов и составляющих каркас разноплеменной империи наследников Селевка, охватила, несомненно, и среднеазиатские греческие владения, создав здесь достаточно многочисленное греческое и эллинизированное малоазиатско-сирийское население, включившее в свой состав потомков колонистов Александра и послужившее впоследствии базой для подъема греко-бактрийской монархии[1].

2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ГРЕКО-БАКТРИЙСКОГО И ПАРФЯНСКОГО ЦАРСТВА

Внешнеполитические неудачи Антиоха I Сотера и Антиоха II Теоса (261—247 гг.) в их многолетней борьбе с птолемеевским Египтом способствовали расшатыванию политического единства огромной, но слабо сколоченной селевкидской империи.

Страшное поражение, нанесенное Птолемеем II Антиоху Теосу, потеря последним ряда владений на финикийском и малоазийском побережье, тяжелая борьба с мидийским князем Атропатены на северных границах царства создают благоприятную ситуацию для отпадения восточных сатрапий.

[1] О характере селевкидской колонизации см. W. W. Tarn. The Greeks in Bactria and India. Cambridge 1938, стр. 5—35. В последующем изложении мы широко используем для изображения общего хода событий с греческой стороны новейшее обобщение греко-бактрийской и парфянской истории, принадлежащее этому автору, и данное в цитированном сочинении и в разделе Парфии в Cambridge Ancient History. Однако в целом ряде вопросов, в том числе в трактовке основной темы нашего исследования, мы коренным образом расходимся с Тарном. См. по этому поводу нашу работу «Подъем и крушение империи эллинистического Дальнего Востока» в ВДИ № 4 за 1940 г., посвященную критике концепции Тарна. Первоначальный вариант даваемой нами ниже концепции см. в нашей работе «Народы Средней Азии под властью греко-македонских завоевателей». История СССР, изд. ИИМК, М.—Л., 1939, ч. I—II, стр. 274 сл., особенно 285—290, 297—311.

Источники дают отрывочные и во многом противоречивые сведения о том, как произошло это событие. Видимо, время конца правления Антиоха I и, особенно, Антиоха II способствовало укреплению роли бактрийских наместников, как гегемонов над всем комплексом восточных сатрапий. Толчком к отпадению, по единогласному показанию источников, были неудачи и трудности внешней и внутренней политики селевкидов на западе—борьба с Мидией (Страбон, XI, 9, 2), усобицы между Селевком II Калиником и Антиохом II Теосом, поражение Селевка II галлами в Малой Азии (Трог, XII, 4). Видимо, первоначально имеет место провозглашение независимости сатрапами отдельных провинций. Так, Помпей Трог говорит, что в 250 году от селевкидского государства отложились парфяне, видимо, наместник—грек Андрагор (другие источники называют его Фереклом и Агафоклом), причем ввиду усобиц между Селевком и Антиохом «это прошло безнаказанно». Археологическим свидетельством об этом событии являются имеющиеся в небольшом количестве в нумизматических собраниях монеты Андрагора.

«В это же время, — продолжает Трог, — отпал и Теодот (Диодот), наместник тысячи бактрийских городов, и принял титул царя, следуя его примеру, отложились от македонян все народы Востока».

По Страбону, «наместники взбунтовали прежде всего Бактриану, а друзья Евтидема всю окрестную область».

Анализ всей совокупности текстов заставляет предположить, что Диодот Бактрийский сумел объединить под своей гегемонией греческих наместников Восточных сатрапий, выступления которых, видимо, происходившие не вполне одновременно, были использованы им для укрепления своей власти. В качестве крупнейшего — наряду с Диодотом — вождя этого движения восточных наместников Страбон упоминает и будущего царя Бактрии Евтидема из Магнезии, бывшего, по мнению Дройзена (к которому присоединились впоследствии де Вале-Пуссен и Груссе), сатрапом Согдианы, а по мнению Лассена — сатрапом Маргианы и Арии.

Вряд ли можно согласиться с В. Тарном, выдвинувшим в последнее время гипотезу, согласно которой при Диодоте I по существу имело место не отпадение Бактрии от Селевкидской Азии, а лишь ослабление политических связей при сохранении Диодотом лойяльности по отношению к Селевку Калинику[1]. Источники прямо говорят против этой гипотезы, а построенная В. Тарном на данных Помпея Трога о союзе Диодота (в конце его правления) и Селевка против парфян и на монетах-медалях Агафокла и Антимаха (см. ниже) остроумная, но неубедительная конструкция вряд ли может перевесить единогласное показание того же Трога и всех других источников. Та часть монет Диодота, которая позволяет говорить о сохранении остатков лойяльности к селевкидам, несет на себе изображение Диодота и имя Антиоха (несомненно, Антиоха II) и, следовательно, должна быть датирована временем между 261 и 247 годами, вероятнее всего — временем раньше 250 года, когда, вероятно, начинается чеканка монет самого Диодота. Никаких намеков на сохранение суверенитета Селевка II над Бактрией нумизматический материал не дает.

Сближение между Селевком II и Диодотом I, последовавшее после отпадения последнего, имело своей предпосылкой появление новой грозной опасности, общей и для селевкидов и для бактрийских греков. Я имею в виду захват власти в Парфии вождями скифского племени парнов — Аршаком и Тиридатом. Страбон приводит две версии о происхождении Аршакидов. По одной, согласно с показаниями Арриана и Помпея Трога, их выступление было направлено против нанесшего им личную обиду наместника Парфии. «Другие, — добавляет, однако, Страбон, — считают его (Аршака) бактрийцем, который, желая избежать господства Диодота, поднял Парфию к восстанию».

Я думаю, что здесь не две версии, а две стороны одного и того же события, причем в тексте Трога мы находим и данные для раскрытия характера этого события: восстание Аршака и Тиридата было направлено не против Селевкидов, власть которых в Парфии уже пала, а против принявшего бактрийскую ориентацию и признавшего власть Диодота, греческого наместника Парфии, т. е., другими словами, против самого Диодота Бактрийского. Движение Аршака и Тиридата — событие исторически куда более серьезное, чем отделение и до того полунезависимой части селевкидских владений под властью принявших царский титул прежних наместников этих владений. Восстание «скифских» племен южной Туркмении и Хорасана имело не антиселевкидский и не антибактрийский только, но и антимакедонский вообще характер, и не могло не явиться предпосылкой для нового сближения правителей обеих половин распавшейся селевкидской монархии на базе общей политической задачи — борьбы с освободительным движением среднеазиатских и восточно-иранских племен.

Скифы, составившие ядро будущего парфянского государства, представляли смешанную в этническом отношении группу. Если основное ядро их составляли даи (дахи) и парны южной

[1] Tarn, цит. соч., стр. 74.

Туркмении[1], то, по показаниям Помпея Трога (XII, 1), в их состав вошли и разнообразные эмигранты из более удаленных скифских племен, откочевавшими в пустыни между Гирканией и Маргианой из «Скифии» в результате «междоусобий». Повидимому, на это указывает одно из показаний Страбона, в числе этих эмигрантов были и группы бактрийцев и, возможно, согдийцев, враждебных греческой власти.

Я склонен думать, что и цитированное только что место Трога нужно толковать прежде всего именно как указание, что кочевья парнов и даев стали местом концентрации всех недовольных греко-македонским режимом местных элементов, и видеть в восстании Аршака и Тиридата не локальное выступление, а решающее звено широкого фронта борьбы среднеазиатских народов за независимость.

Повстанцы не только завладели Парфией, но сумели быстро овладеть и Гирканией, создав в короткий срок значительное государство от Теджена на востоке до Каспия на западе и сконцентрировать крупные военные силы.

В. В. Тарн[2], на наш взгляд, убедительно показал, что около 246 г. Селевк II выдал свою сестру за Диодота I. Однако это ни в какой мере не значит, как хотел бы этого В. В.Тарн, что в это время «Диодот был еще селевкидским сатрапом». Наоборот, мы должны видеть в этом акте проявление сближения двух уже независимых друг от друга государств, военного союза против парфян, закрепленного, как обычно бывало в таких случаях, браком. Не исключено, что в этом акте (как впоследствии было с браком Деметрия и дочери Антиоха III) сочеталось признание Селевкидами нового государства и признание Диодотом верховного суверенитета Селевкидов над Азией, хотя прямых доказательств этому привести нельзя.

[1] Парны, видимо, являлись лишь подразделением более широкой конфедерации племен, известной под именем дахов (Dahae) или даев (Δαάι). Эти племена в III в. до н. э. занимают территорию от юго-западного угла Каспия, где они граничат с Гирканией, до области расселения массагетов (Страбон, XI, 511), в основном—область южной Туркмении. К концу IV в. восходит сообщение Арриана (Анабазис III, 28, 8, 10, ср. также Страбон XI, 515) о локализации их на Нижней Яксарте, близ Арала—примерно там же, где Птолемей локализует тохаров. Hermann [Alte Geographie, стр. 44 сл. P. W. Massagetai (2129)] считает это результатом происшедшего в это время крупного этнического передвижения, приведшего к тому, что двинувшиеся на юг дахи оттеснили массагетов на восток. Я не вижу надобности в столь смелой гипотезе. Дахи в IV веке были, видимо, в обоих районах, о чем свидетельствует наличие их в войске Дария III, куда они не могли попасть от устьев Яксарта, так как лежащий на пути Хорезм от Персии не зависел и в войне не участвовал. Думаю, что сопоставление имен даев Арриана и тохаров Птолемея наводит на другую мысль—на старую увязку обоих имен (второе—с суффиксом этнических имен r(←ar)..

[2] Цит. соч., стр. 74.

Однако этот союз не дал ощутимых результатов. К тому времени, когда Селевком II был заключен мир с Египтом, развязавший ему руки для активности на Востоке, и когда он смог в 228 г.[1] двинуть на Парфию крупные военные силы — престол умершего Диодота I занимает уже его сын Диодот II. Молодой царь резко изменил внешнеполитическую ориентацию, заключив, по показанию Трога (XII, 4), союз с Тиридатом — братом и преемником основателя парфянского государства.

Трудно разобраться в темной и сложной истории этих событий, почти совершенно не освещенных источниками. Наиболее вероятной для объяснения поворота бактрийской политики при Диодоте II является, на мой взгляд, гипотеза, что в этом отразилась попытка молодого царя найти более широкую базу для своей власти, чем греко-македонские военные колонисты, вожди которых и прежде всего Евтидем из Магнезии могли сами претендовать на престол Диодота I — претензия, которую Евтидем впоследствии и осуществил. Внутриполитические причины толкали, таким образом, молодого Диодота навстречу Тиридату, союз с которым, вождем антигреческих сил Средней Азии, должен был привлечь на сторону Диодота туземную бактрийскую родовую аристократию, хранившую до того по отношению к царю бактхийских греков в лучшем случае враждебный нейтралитет. Тиридат, в свою очередь, сейчас, когда всерьез надвинулась угроза вторжения Селевка, был крайне заинтересован в этом союзе.

На первых порах кампания была удачна для Селевка. Тиридат вынужден был покинуть Парфию и Гирканию и искать убежища у племени апасиаков, обитавших, видимо, к северу от старого русла Аму-Дарьи—Узбоя, на границах Хорезма (Полибий X, 48) и по аральскому Приморью, до устьев Сыр-Дарьи.

Характерно, что Страбон, описывая этот факт, проводит параллель между бегством Тиридата к апасиакам и бегством Спитамена к хорасмиям.

Эта параллель является вполне закономерной. В обоих случаях вожди антигреческих движений опираются на северные народности, как на свой глубокий тыл. В обоих случаях Кангха-Хорезм, оставшаяся независимой и от Александра и от Селевкидов и от бактрийских греков, стоит за спиной этих движений.

Весьма вероятно, что связь основателей Парфянской империи с правящими кругами Канхи-Хорезма была и еще более прочной. Местная традиция генеалогически связывает парфянский и хорезмийско-кангюйский дом. Цари

[1] О дате см. Cambr. Anc. Hist. 722, Grecks in Bactria and India, 74.

Хорезма, по ал-Бируни, возводили свою генеалогию к Сиявушу, сыну Кей-Кауса (Кава-Уса Авесты) и его сыну Кей Хосрову. Сиявуш, (Сиявахш), аграрное божество бассейна Аму-Дарьи, среднеазиатский вариант умирающего и воскресающего бога растительности, видимо, ономастически и мифологически близкий к фракийско-фригийскому Сабазию, изображен на монетах царей Хорезма-Кангюя с I по VIII в. н. э.

Между тем, тот же Бируни[1] возводит генеалогию Ашканиев-Аршакидов к Ашку[2], сыну Кей-Хосрова, сына Сиявуша. Имя Ашк (Аск) входит как составной элемент в имена четырех хорезмийских царей списка ал-Бируни (два Аскахамука и два Аскахвара или Аскаджувара). Напомню, что и армянская традиция (Моисей Хоренский, Агафангел, Фавст Византийский и др.) подчеркивает генеалогическую связь аршакидов Ирана и династии кушанов, именуемой также «аршакидами»[3]. Династическая связь кангюйско-хорезмийского и кушанского домов, подтверждаемая нумизматическими данными и китайскими хрониками, не подлежит сомнению. Весьма вероятно, что независимое показание мусульманских и армянских источников, оставлявшееся до сих пор без внимания, раскрывает перед нами гораздо более сложный и организованный характер «скифского» движения Аршака и Тиридата, за спиной которого стояла независимая держава Среднеазиатского севера.

Не исключено, что братья-вожди были связаны узами родства с кангюйско-хорезмским домом сиявушидов и на первых порах выступали в качестве его полководцев.

В этой связи интересно отметить наличие опубликованной впервые П. Гарднером в 1879 г. монеты, найденной в составе Аму-дарьинского клада вместе с отмеченной выше монетой Андрагора и чрезвычайно близкой к ней по типу, весу, фактуре и т. д. Однако на лицевой стороне она имеет не бородатое изображение грека в диадеме (Зевс?), как монета Андрагора, а изображение туземца в скифском уборе, а на реверсе квадригой управляет не Ника, а повидимому, тот же «скиф». Вместо греческой надписи мы имеем здесь арамейскую. Надпись на реверсе не возбуждает сомнений. Аллот де ля Фюй правильно прочел ее: «Вахшу». Надпись на лицевой стороне читается тем же автором WRYWR.

Не имея возможности здесь подробно аргументировать наше положение и развертывать дискуссию с Гарднером, Ховорсом, Кэннингхэмом и Аллот де ля Фюй по поводу атрибуции этих монет, ограничусь ссылкой на поразительный параллелизм с хорезмийскими монетами, несущими на одной стороне изображение царя, а на другой—конное изображение Сиявуша, в образе того же царя. Я склонен видеть здесь как бы прототип монет сиявушидов (с использованием типа монет Андрагора), а в «Вахшу»—имя известного по ал-Бируни божества Аму-Дарьи «Вахш» (ОАХРО кушанских монет), мифологически тождественного с Сиявушем (Сиявахшем).

Характерно, что уникальная монета (халк), опубликованная Бартоломеем (1848)[1] и несущая на лицевой стороне бородатую голову царя вправо, а на реверсе надпись ΒΑΣΙΛΕΩ(Σ) ΑΡΣΑΚ(ΟΥ), имеет в центре реверса тождественное с монетами с надписью «Вахшу» изображение «Сиявуша» на колеснице.

Тогда перед нами будут монеты Аршака или Тиридата, чеканенные вслед за низложением Андрагора во имя божественного предка династии, с использованием имеющейся уже на монетах Андрагора колесницы в качестве атрибута этого бога, впоследствии изображаемого в виде всадника.

Вернемся, однако, к прерванному обзору политических событий.

Удача Селевка была непрочной. Поддержка со стороны Диодота II дала Тиридату возможность перейти в наступление и нанести поражение войскам Селевка. Вспыхнувшее, по свидетельству Трога Помпея, в тылу Селевка новое восстание вынудило сирийское войско очистить оккупированную область и вернуться на запад.

На три десятилетия Парфия и Бактрия оказываются предоставленными самим себе. На эти годы падают укрепление парфянского царства, завершение политической консолидации его основного ядра и сложение тех специфических черт своеобразной скифско-иранской монархии, которые затем красной нитью проходят через историю парфянской империи.

Тиридат, принявший родовое имя Аршак и известный обычно под именем Аршака I (248—214), вновь восстанавливает свою власть

---

[1] Chronologie der orientalischen Völker, 113.

[2] Видимо, как и в имени кушанов, Š в имени Ашк восходит к африкате rš, откуда и P=Š в кушанской графике и два варианта имени основателя аршакидской династии. См. выше, стр. 223.

[3] Агафангел (цит. по Н. Эмину. Всеобщая история, М., 1864, стр. 249) сообщает о разделении аршакидов на четыре ветви: персидских, армянских, индийских, или кушанских, и маскутских (массагетских), под которыми вероятнее всего скрываются первоначально цари Кангюя-Хорезма (впоследствии этот термин переносится на эфталитов). Эта классификация, сохраненная династийной традицией армянских аршакидов, весьма интересна для нас, подтверждая наш тезис о династийной связи кушанской, аршакидской и хорезмско-кангюйской династий, обосновываемой выше нумизматически.

[1] Memoires de la société d'archéologique et Nunismatique de St. Pétersburg II, 1848, стр. 17, табл. 1, рис. 2.

над Парфией и Гирканией. Столицей государства при нем становится Гекатомпил,—город, расположенный на иранской стороне нынешней советско-иранской границы, к югу от Астрабада, вероятно, в окрестностях нынешнего Дамгана, но резиденцией царей оставалась Дара, на территории их родных кочевий, неподалеку от нынешнего Каахка. И впоследствии, как Дара, так и Неса к западу от Ашхабада, теперь величественное городище в окрестностях туркменского аула Багир, исследуемое в течение ряда лет ашхабадскими археологами, оставались резиденциями аршакидов, несмотря на то, что центр тяжести политической жизни страны был перенесен в западную часть парфянских владений. Как установил руководитель раскопок в Неса, т. Марущенко, здесь находились в соответствии с данными античных авторов родовые усыпальницы аршакидов, по старой скифской традиции возвращавшихся после смерти в места, где некогда кочевали их предки.

С именем Артабана I (214—196) связано новое расширение пределов Парфии. Он оккупирует Экбатаны, древнюю столицу Мидии, простирая свою власть, таким образом, на северо-западный Иран. Парфянские отряды появляются на границах Верхней Месопотамии.

3. ЕВТИДЕМ ИЗ МАГНЕЗИИ И АНТИОХ III

Мы почти ничего не знаем о том, что происходит в это время в Бактрии. Несомненно одно: проаршакидская политика Диодота II потерпела здесь крушение, и дворцовый переворот привел к власти Евтидема из Магнезии, уже упоминавшегося нами выше в связи с историей отложения Бактрии.

Это событие, вероятно, имело место уже вскоре после похода Селевка II, может быть и явившегося для этого непосредственной предпосылкой. Разгром селевкидами союзника Диодота II Тиридата мог развязать руки противной партии в Бактрии.

По подсчетам Тарна[1], около 227 г. Евтидем женится на дочери Диодота I и селевкидской принцессы (дочери Антиоха II) — брак, от которого родился будущий завоеватель Индии Деметрий.

Весьма вероятно, что этот брак последовал непосредственно за переворотом Евтидема, брачной связью с Селевкидами и домом Диодота, пытавшегося легитимизировать узурпацию власти. Думаю, что Тарн прав в том, что в этом перевороте могла сыграть известную роль и сама вдовствующая царица Бактрии — дочь Антиоха II, вместе с претендентом Евтидемом возглавлявшая дворцовый заговор против своего пасынка Диодота II и нанесшая этим удар в спину бактрийско-парфянской коалиции.

Вряд ли первые десятилетия власти Евтидема были связаны с особенным подъемом политического могущества Бактрии. Из его слов во время переговоров с Антиохом III в 206 г. (см. ниже) можно заключить, что этот период был наполнен жестокой оборонительной борьбой бактрийских греков против народов северной части Средней Азии, весьма вероятно действовавших в союзе с парфянами (см. ниже).

К 209 году относится новая — последняя — попытка селевкидской монархии возвратить власть над утраченными Восточными сатрапиями. Антиох III Великий (223—187) в этом же году разбивает захватившего было Экбатаны Артабана I. Войска Артабана отбрасываются за Каспийский проход, и царь Парфии оказывается вынужденным признать верховную власть Селевкидов. В следующем 208 году Антиох занимает Арию и наносит решительное поражение передовым заслонам Евтидема на Герируде — десятитысячной конной армии бактрийцев. В 207 г. селевкидские войска осаждают Бактры.

Осада была тяжелой и длительной. В 206 году после долгих переговоров между Антиохом и Евтидемом был заключен мир и союз, причем мотивы этого решения весьма показательны. Евтидем в беседе с представителем Антиоха Телеей «высказал, что Антиох действует несправедливо, стараясь лишить его царства. Не он первый, продолжал Евтидем, восстал на царя, напротив, он достиг владычества над Бактрией тем, что истребил потомство нескольких других изменников. Долго говорил так Евтидем и, наконец, просил Телею оказать ему услугу в мирном посредничестве и убедить Антиоха оставить за ним царское имя; если Антиох не исполнит его просьбы, то положение обоих становится небезопасным. На границе, продолжал он, стоят огромные полчища кочевников, угрожая им обоим: если только варвары перейдут границу, то страна наверное будет завоевана ими» (Полибий XI, 34).

Ниже мы попытаемся показать, кто были варвары, угрожавшие Евтидему и Селевку. Во всяком случае мир был заключен. Евтидем, признав верховную власть селевкидов, сохранил свой титул и владения, закрепив союз с Антиохом браком сына Евтидема — Деметрия и дочери Антиоха. Последний, получив от Евтидема припасы и боевых слонов, двинулся на юг, через перевалы Гиндукуша в Индию. После заключения союза с царем Северной Индии Субха-

[1] Цит. соч., стр. 73.

гасеной (Сафагасен Полибия) Антиох повернул в обратный путь, подчинив своей власти Арахозию и Драангиану, ранее входившие в сферу политического влияния государства Маурья.

Союз с Антиохом и ослабление Парфии создали исключительно благоприятные шансы для политического подъема греко-бактрийского царства. У нас есть все основания полагать (см. ниже), что Евтидему удалось найти союзников среди самых кочевников в лице хуннов, восточных соседей распространившей к этому времени свою гегемонию на Восточный Туркестан массагетской конфедерации. 206 г. — год союза Евтидема и Антиоха — является годом начала наступления хуннов против массагетов (юечжи китайских источников)[1]. Видимо, этот союз с хуннами и послужил основанием для слов Страбона (XI,II,I) о том, что «бактрийские цари простерли свои владения до «серов» (китайцев) и фаунов (хуннов)[1]. Действительно, годы высшего подъема Бактрии — это годы, когда союзник Евтидема-Деметрия, хуннский шаньюй Модэ, разгромив массагетов-юечжи, развертывает успешное наступление против Китая. Однако эта сторона политики Евтидема-Деметрия имела чисто оборонительный характер, и воевали здесь бактрийские греки, главным образом, чужими руками, натравливая друг на друга различные конфедерации степных племен. Политические устремления евтидемидской Бактрии были направлены в другую сторону — за Гиндукуш.

4. ПУШЬЯМИТРА, ЯВАНЫ И НАСЛЕДНИКИ МАУРЬЯ

Немногим более столетия отделяет начало правления наиболее блестящего представителя династии Маурья — основателя могущества буддийской империи Индии — Ашоки от дней, когда государство Чандрагупты, поднятое Ашокой на вершину могущества, пало под ударами внутренних смут и вторжения извне.

Столетнее господство буддизма, отражавшее глубоко прогрессивные тенденции развития индийского общества, тенденции разрушения племенной и кастовой замкнутости, выводившего народы Индии из узких рамок примитивных племенных и городских княжеств на широкую дорогу имперского объединения, не смогло до конца разрушить могущественное влияние хранителей традиций старого индийского общинно-рабовладельческого уклада — высшей касты брахманов, отодвинутой в империи Маурья союзом прогрессивных элементов касты кшатриев с городскими общественными слоями на второй план. База нового строя оставалась попрежнему очень узкой.

Индийская деревня, сохранявшая свой традиционный общиннородовой уклад и связанную неразрывно с ним древнюю религию, служила мощным резервом сил для антибуддийских элементов. Старые династии, особенно в южных полудравидских и дравидских княжествах, ущемленные и оттесненные централизаторской политикой императоров Маурья, всегда готовы были поддержать оппозиционное движение адептов брахманизма. Брахманская реакция и связанный неразрывно с нею процесс политического распада и упадка империи Маурья сказываются задолго до 184 г. до н. э. (конечная дата 137-летней эпохи Маурья по пуранам, дата смерти последнего Маурья — Брихадратхи от руки своего военачальника, основателя династии Шунга, Пушьямитры).

Повидимому, уже к последним десятилетиям III века реальная власть императоров Маурья не выходит за пределы их наследственного царства Магадха, и брахманы стоят за спиной местных раджей, восстания которых против установленного Ашокой режима наполняют историю Индии III века.

Положение осложняется появлением на севере крупной политической силы, которой в дальнейшем суждено сыграть в событиях последних веков истории античной Индии кратковременную, но выдающуюся роль. Мы имеем в виду достигшую к этому времени апогея своего могущества грекобактрийскую монархию Евтидема-Деметрия. Правители Бактрии не могли, конечно, безразлично относиться к происходящему за Гиндукушем. Тяжелая и рискованная борьба за расширение пределов монархии бактрийских греков на север и восток должна была отступить на второй план по сравнению с теми широкими перспективами, которые открывал перед хищническим государством потомков греко-македонских завоевателей Средней Азии упадок государства Маурья.

Выбор между опасной борьбой с суровыми варварами-кочевниками севера и свободолюбивым населением обнесенных могучими глиняными стенами родовых деревень обитателей еще не покоренных окраин Средней Азии и возможностью легкого захвата богатейших культурных земель на юге не мог, конечно, быть предметом колебаний для потомков бактрийских эпигонов Александра.

---

[1] По поводу этой идентификации см. наши работы в ВДИ 1938, № 1, КСИИМК 1, История СССР, изд. ИИМК I—II, стр. 304—305, а также ниже § 6.

[1] Мы не можем следовать за Германном и Тарном (цит. соч., стр. 85—111), в рискованных гипотезах отождествляющих серов с усунями, а фаунов с оседлыми народами кашгаро-яркендской и хотанской областей и остаемся на почве твердо установленной Томашеком, Марквартом и др. старыми исследователями идентификации.

Есть основания, вместе с тем, предполагать, что на своей бактрийской родине потомки греко-македонских завоевателей чувствовали себя недостаточно прочно, и перспектива возможности переноса на юг центра своих государственных интересов давала им почетный и выгодный выход из борьбы с освободительным движением среднеазиатских племен. Сопоставление трагической угрозы Евтидема Антиоху III — с общим направлением политики Деметрия — делает это предположение весьма вероятным.

Уже непосредственно вслед за заключением селевкидо-бактрийского союза, около 206 г. Евтидем оккупирует долину Кабула[1], обосновываясь в стране Паропамисадов.

Видимо, к ближайшим десятилетиям надо относить постепенный переход под власть Евтидема и остальных индо-иранских областей Дрангианы и Арахозии, областей, судя по данным Полибия о походе Антиоха III, уже не связанных с империей Маурья в конце III века.

Еще при жизни Евтидема греки оккупируют верхний Пенджаб, и Шагала (Сиалкот) получает, по свидетельству Птолемея, имя этого царя.

Занявший, видимо, около 190 года престол Бактрии сын и преемник Евтидема Деметрий круто поворачивает фронт своей политики против Индии. Между 190 и 180 гг. он вторгается в бассейн Нижнего Инда, подчиняя Паталену (Патала, дельта Инда), Сураштру (Катхиавар) и Сигертис.

Ко времени около 190 года надо относить постройку им города Деметрии в Арахозии — на подступах к долине Инда. Деметрий вскоре вслед за этим распространяет свои владения на юго-западе до устьев р. Нербудды.

Я не склонен следовать за В. В. Тарном в его попытках реконструировать гигантский стратегический план Деметрия, согласно которому якобы этот царь наносит одновременно удар против разрушающегося царства Магадха в двух направлениях на юго-запад, на Нижний Инд, где он руководит якобы операциями сам, вместе со своим братом Аполлодотом, и на юго-восток, против центрального ядра царства, где в качестве полководца Деметрия выступает Менандр. Судя по всему, экспансия Менандра на юг, в область Магадха, относится к значительно более позднему времени, к 50-м годам II века. Первые Шунга, по показанию Калидасы, ведут борьбу с «яванами» на берегах Инда.

В. В. Тарн вместе с тем удачно подметил характерные черты политики Деметрия, отличающие его от его предшественников и кладущие начало новой полосе взаимоотношений правителей восточной греко-македонской империи с подчиненными ей народами. Выступая на обширное поприще южных завоеваний, Деметрий делает попытку воскресить политические традиции великого основателя македонского могущества Александра. В противоположность Селевкидам и первым греко-бактрийским царям, Деметрий (Тарн приписывает это еще Евтидему, политику которого он сопоставляет с политикой Филиппа II, что вряд ли верно) пытается порвать с характерным для селевкидской политики противопоставлением рафинированного эллинства завоевателей культуре туземных «варваров». Он, как Александр, ищет путей сближения с местным населением, во всяком случае с его классовой верхушкой, путей синтеза греческих и индийских форм политической и культурной жизни. Это ярко отразилось в нумизматике Деметрия. В противоположность своим предшественникам, он изображен на монетах не в традиционной греческой диадеме, а в своеобразном головном уборе в виде скальпа слона — уборе, воспроизводящем формы индийских туземных царских уборов. Наряду с серебряной греческой он первым из греческих правителей Востока начинает чеканить квадратную медную монету индийского образца с надписью на индийском языке, где именует себя титулом магараджи. Заслуживает внимания высказывавшаяся неоднократно и развитая в 1938 г. Тарном[1] гипотеза, усматривающая в политике греческих завоевателей Индии попытку объявить себя законными наследниками императоров Маурья, обоснованную династическими связями.

Я имею в виду гипотезу о брачной связи дома Маурья и Селевкидского дома, ответвлением которого по женской линии (см. выше) считали себя Евтидемиды.

Во всяком случае, наиболее вероятно, повидимому, что на первом этапе своего продвижения способствуя окончательному обессилению и распаду государства последних Маурья — после смерти Брихадратхи от руки Пушьямитры, косвенной причиной которой они явились, Евтидемиды объявили себя законными наследниками Маурья и продолжателями их политической и идеологической традиции против возглавляемой Пушьямитрой брахманской реакции. Пробуддийская политика греко-индийских царей — не подлежит сомнению.

5. ЕВКРАТИД И ГЕЛИОКЛ

Гигантская империя Деметрия, распростершаяся от р. Нербудда до Сыр-Дарьи и от Арахозии до Памира, самым фактом своего подъема подготовила свою гибель. Слишком узка была социальная база власти Деметрия, слишком значительны были в его деятельности

[1] Тарн, цит. соч.

[1] Цит. соч., стр. 152 сл., 174,

элементы политического авантюризма, чтобы созданное им государство могло быть сколько-нибудь прочным. Лучшие, преданные власти завоевателя силы греческих колонистов были брошены в Индию, ибо, несомненно, рассчитывать на одну поддержку местных буддистов и северо-индийских племен было невозможно. Оккупационные армии Аполлодота в Синде и Менандра в Пенджабе оттянули, видимо,—об этом можно судить по некоторым данным Трога (см. ниже)—столь значительные силы бактрийских греков, что небольшие гарнизоны в бактрийских владениях сократились до немногих тысяч людей, разбросанных к тому же по различным колониям. А так как столь значительное военное предприятие, как индийский поход Деметрия, требовало, конечно, огромных средств, есть все основания полагать, что налоговый пресс в бактрийских владениях был завинчен до предела, что не могло в свою очередь не вызвать нового роста недовольства местного населения, которое в силу военного ослабления греков на Севере получало все шансы для успешного восстания. Снова вспоминается параллель Тарна: Деметрий — Александр. Как персидский поход Александра, так и индийский поход Деметрия были предприятиями, связанными с огромным политическим риском. И тот и другой оставляли позади себя неспокойный тыл. И тот и другой рисковали ударом в спину. Но если в глубоком тылу Александра, позади волнующейся Эллады, лежала Македония, сильная своей полуварварской сплоченностью, то за спиной Деметрия, в его глубоком тылу, за Гиндукушским хребтом, было лишь враждебное грекам бактрийское и согдийское население, сдерживаемое горстью греков, на преданность которых сыну узурпатора Евтидема особенно рассчитывать было трудно. Слишком недавней была политическая традиция династии, слишком памятен был пример ее основателя, чтобы не нашлись новые подражатели этому примеру,—люди, готовые поставить под страшную угрозу самое существование греческой власти на «Дальнем Востоке» эллинизма для достижения личных целей. И такой человек, действительно, нашелся.

Авантюра Деметрия родила авантюру Евкратида. Гипотеза Тарна, желающего видеть в Евкратиде селевкидского «генерала», связанного с селевкидской династией узами родства по женской линии и посланного в 169 г. своим кузеном Антиохом IV Епифаном против Деметрия — явно несостоятельна.

Единственными аргументами в ее пользу являются:

1) Принятие Антиохом IV титула «Спасителя Азии», что по Тарну должно означать ликвидацию огромной опасности, которая якобы нависла с Востока над селевкидской Сирией в результате побед Деметрия в Индии.

2) Наличие бактрийских монет, несущих на одной стороне портрет Евкратида, на другой портреты некоего Гелиокла и Лаодике, причем последняя увенчана царской диадемой. По мнению Тарна, это родители Евкратида, селевкидский генерал Гелиокл и царевна Селевкидского дома, носящая традиционное в династии имя.

3) Наличие на некоторых монетах Евкратида тех же символов, что и на селевкидских монетах.

Однако: 1) деятельность Антиоха IV на Западе была столь разнообразна, что в ней найдется не мало моментов, когда этот царь, вообще в своей монетной титулатуре и символике не отличавшийся скромностью, мог присвоить себе претенциозный титул «Спасителя Азии». Вспомним хотя бы успешный (до вмешательства Рима) поход Антиоха против Египта. Разгром традиционного африканского врага Селевкидов является гораздо более правдоподобным предлогом для происхождения увлекшего Тарна на путь рискованных гипотез титула.

2) Уже Саллет очень давно и очень убедительно (за него и портретное сходство изображений) показал, что Гелиокл монет-медалей, привлеченных Тарном,—не отец, а сын Евкратида, исторический Гелиокл, о котором речь пойдет ниже. Если Лаодике — что, конечно, не исключено — и селевкидская царевна, то появление ее портрета на бактрийских монетах означает нечто совсем иное, чем думает Тарн.

3) Типологическое родство монет Евкратида и Селевкидов ничем не больше родства последних с монетами Евтидемидов.

Наконец, и это самое главное, ни один источник, рассказывающий об авантюре Евкратида, ни слова не говорит о его связи с Селевкидами. А с точки зрения военно-политической обстановки — поход в Бактрию с оставлением столь растянутой коммуникации, на всем протяжении угрожаемой с севера Парфянским царством Митридата I, находящимся на стадии подъема и, несомненно, являющимся весьма реальной угрозой для селевкидской Сирии — просто невероятен, более того — политически нелеп.

«В это же время (речь идет о времени воцарения в Парфии Митридата I—174 г. до н. э.) в Бактрии начал царствовать Евкратид, столь же великий, как в Парфии Митридат, но более счастливая судьба парфян довела их при этом вожде до высшего могущества. Бактрийцы же, пройдя через множество войн, потеряли не только государство, но и свободу. Утомленные войнами с согдийцами, арахозийцами, дрангами, ариями, индами они, наконец, словно истощив свою кровь, были побеждены

парфянами. Все же Евкратид провел храбро много войн и, хотя и обессиленный, выдержал осаду Деметрия царя Индов, делая постоянные вылазки с 300 солдат против 60.000 врагов, победил его и покорил всю Индию. Он был убит своим сыном, с которым он делил власть, не таившим убийства, но убившим в нем не отца, а врага, проехавшим в колеснице по трупу и оставившим его непогребенным».

Так рассказывает нам о царствовании Евкратида Помпей Трог (XII, 5).

Этот текст и данные нумизматики позволяют нам так в основных чертах восстановить ход событий:

Около 174 года, один из военоначальников северных провинций греко-бактрийской империи, возможно, возглавлявший те элементы греко-бактрийского войска, которые были вынуждены нести тяжелую и опасную гарнизонную службу на северных границах, не участвуя в дележе индийской добычи, произвел военный переворот в Бактрах и с горстью соучастников (вспомним слова Трога о трехстах воинах Евкратида) захватил власть. Этот переворот явился сигналом к немедленному отпадению Согдианы, Дрангианы, Арахозии, Арианы. В некоторых из этих областей, видимо, пытались удержать власть князья Евтидемидского дома, может быть бывшие там и ранее наместниками, вероятнее же просто бежавшими из Бактр. С юга, с индийской армией, с возможной быстротой двинулся Деметрий. Вероятно, даваемые Трогом цифры соотношения сил преуменьшены для Евкрадита и крайне преувеличены для Деметрия. Выведение в Бактрию шестидесятитысячной армии из Индии означало бы потерю последней. Вряд ли и в Индии Деметрий располагал такой армией. Вероятнее видеть здесь не цифры соотношения сил в боях под Бактрами, а соотношение сил бактрийского узурпатора со всеми силами Деметрия, включая и оккупационные армии Аполлодота и Менандра, основная масса которых оставалась в Индии.

Видимо, Деметрий мог реально опереться лишь на гарнизоны страны паропамисадов, вряд ли намного превосходившие силы Евкратида. Столкновение кончилось победой узурпатора и, видимо, гибелью Деметрия. Это событие привело к окончательному распаду политических связей империи. Где-то в северо-западных провинциях провозглашают себя царями Евтидемиды Антимах и Агатокл, видимо, младшие братья Деметрия, начинающие чеканить генеалогическую монету со своими изображениями и надписями, и одновременно, с именами Александра, Антиоха, Диодота и Евтидема, явно подчеркивая этим легитимность своей власти, противопоставляемой незаконной власти военного узурпатора. В С.-В. Индии власть захватывает Менандр, сохранивший в своих руках основные военные силы Деметрия и закрепляющий свою связь с Евтидемидами браком с царевной Агатоклеей, вероятно, сестрой Деметрия и Агатокла.

На юго-западе индийских владений начинает чеканить монету провозгласивший себя также царем Аполлодот.

Нумизматика этой эпохи рисует нам яркую картину политической борьбы между многочисленными конкурирующими между собой правителями.

Агатокл и Антимах, легитимные евтидемиды северо-запада, видимо, державшие в своих руках власть в провинциях от Дрангианы на юго-западе до Согдианы на северо-востоке (так рисуют нам сферу их деятельности основные места находок их монет)[1], чеканят монеты-медали отмеченного выше типа, причем для подчеркивания своей роли как носителя старомакедонской традиции Антимах изображает себя в старомакедонском головном уборе, так называемой каусии, широкополой войлочной шляпе. В этом же уборе изображает себя сын погибшего царя Великой Бактрии, Деметрий II, видимо, удерживающий на короткий срок власть в стране паропамисадов. Евкратид изображает себя в военном шлеме, подчеркивая свою связь со своей главной социальной опорой—войском. Он выпускает золотые монеты-медали гигантских размеров, долженствующие продемонстрировать его величие и могущество.

Вместе с тем доля истины в построении Тарна все же есть—Евкратид стремится, видимо, закрепить свои права на престол какой-то формой союза с Антиохом IV, скрепленного браком сына узурпатора Гелиокла и селевкидской царевны Лаодике.

Менандр выступает то в евтидемидской диадеме, то в шлеме, как Евкратид. В шлеме же изображает себя впоследствии и его жена Агатоклея и их сын Стратон. Воинственные изображения женщины и ребенка подчеркивают важность этого символа в глазах греческого вой-

[1] См. по этому поводу нашу рецензию на книгу В. Тарна в ВДИ, 1940, № 3—4. Предложенная недавно К. В. Тревер новая гипотеза об Антимахе, якобы согдийском или ферганском мятежнике, захватившем власть в Согдиане при Евтидеме II или Деметрии III (Памятники греко-бактрийского искусства, стр. 7, 125—128), на наш взгляд, неубедительна. Сближение головного убора Антимаха с «более поздними китайскими» не выдерживает критики, так как помимо того, что в ханьскую и последующие эпохи в Китае ничего подобного нет, головной убор этот—обыкновенная, хорошо известная македонская и северо-греческая каусия. Тип лица Антимаха (по определению специалистов антропологов, к которым я обратился, чтобы проверить себя, именно Г. Ф. Дебеца и Н. Н. Чебоксарова) никак не туземный, как думает К. В. Тревер, а типично южноевропейский, средиземноморский. А никаких других аргументов в пользу этой гипотезы К. В. Тревер не приводит.

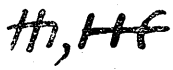
ска, рождение новой политической концепции, противопоставляющей право меча возведенных армией императоров праву рождения легитимных евтидемидов.

И Трог и нумизматическая география позволяют заключить, что основной фронт борьбы, длительной и тяжелой, лежал в пригиндукушских странах, на рубежах Бактрии и Индии, и на первом этапе борьбы победа досталась снова Евкратиду. Вместе с жаждущим участия в дележе индийской добычи войском он вторгается около 162 г. на территорию Северной Индии, видимо, оккупируя владения Аполлодота и оттесняя Менандра на восток.

Попытка евтидемидов удержаться на западе рушилась в результате вмешательства Парфии. Митридат I оккупирует одну из наиболее цветущих областей Греко-Бактрийского царства — Маргиану, попутно подчиняя себе и Арию и, одновременно развертывая наступление в направлении Нижнего Инда (см. ниже). Западные провинции оказываются безвозвратно потерянными для бактрийских греков. Падение власти Антимаха в Мерве, видимо, явилось предпосылкой окончательной эмансипации Согда от ставшей после 174 г. призрачной власти бактрийских греков. Это политическое обособление Согдианы, о подчинении которой Евкратиду и его сыну Гелиоклу мы не имеем никаких сведений, нашло свое яркое отражение в появлении многочисленных варварских имитаций монет Евтидема с греко-арамейской надписью и монет с изображением местных царей в характерных головных уборах и с надписью, нанесенной знаками арамейского алфавита, но с типом (сидящий Геркал) монет Евтидема и, иногда, с крайне неграмотной имитацией его имени, нанесенной греческими буквами[1]. Основной район находок этих монет — долина Зеравшана. Видимо, это тоже своего рода монеты-медали, и царь, чеканивший их, имел реальную или фиктивную евтидемидскую генеалогию (вероятно через брак с представительницей павшего дома, заключенный вскоре после 174 года в ознаменование союза с одним из представителей евтидемидских претендентов — скорее всего Антимахом, в сферу распространения монет которого входит Согдиана, и резиденция которого—я склонен здесь принять гипотезу Тарна—находилась в Мерве).

Видимо, очень скоро после этого Согд входит в состав Кангхско-хорезмской державы. В пользу ранней даты этого говорит тот факт, что в 20-х годах II века, во время путешествия Чжан-Цяня, Согдиана еще входила в состав Кангюя, находившегося, однако, уже в состоянии упадка и в своих южных владениях, как раз в Согдиане, делившего свою власть с властью бактрийских юечжи. Вероятно, впрочем, что имитации монет Евтидема и являются первыми образцами массагетско-юечжийской чеканки.

Возможно, что принятое чтение туземной легенды этих монет MaH'TaSa YaVUGa, MaH' TaSa MaLK'N MaLK' надо исправить MaZaH' TaSa YaVUGa, MaZaH'TaSa MaLK'N MaLK':

первый знак  , вероятно, не М—

арамейское а лигатура MZ.

Тогда перевод этого титула может читаться, «царь-царей массагетов» или «ябгу массагетов». Если это так, то эти монеты будут рассматриваться, как дополнительное эпиграфическое свидетельство тождества массагетов и юечжи.

Трудно пока выяснить отношение этих монет и монет Герая и их предполагаемых хорезмско-кангюйских прототипов. Возможно, что здесь отражены различные этапы борьбы двух центров массагетско-юечжийской конфедерации старого—кангюйско-хорезмского и нового, формирующегося на юго-востоке, сперва в Согде, откуда в значительной своей части происходят монеты «массагетского ябгу», а затем—в Бактрии.

6. МИТРИДАТ I, МАССАГЕТЫ-ЮЕЧЖИ И ПАДЕНИЕ ГРЕКО-БАКТРИЙСКОГО ЦАРСТВА

Сложившаяся к 60-м годам политическая ситуация в Средней Азии как нельзя более благоприятствовала Парфии.

Митридат I начал свою политическую карьеру с использования междоусобиц в Бактрии, оккупировав Маргианское царство Антимаха и покончив, таким образом, с эфемерным северным государством последних среднеазиатских евтидемидов. Видимо, на протяжении 60-х годов Митридат подчинил себе все западные сатрапии Бактрии—Маргиану, Дрангиану, Арахозию, Арию, сделав Южные Каракумы и западные отроги Гиндукуша границей между Парфией и государством Евкратида. Эта граница становится восточной границей Парфии вплоть до падения династии аршакидов. Приобретение богатой Маргианы, одной из наиболее цветущих провинций греко-бактрийского царства, явилось предпосылкой для быстрого роста хозяйственной и военной мощи царства парфян.

Смерть Антиоха IV (163 г.), оборвавшая кратковременную и непрочную экспансию царства селевкидов против непокорных восточных сатрапий, Мидии и Элимаиды, позволила Митридату оккупировать обе эти провинции, сделав Тигр почти на всем его течении временным ру-

[1] J. de Morgan, цит. соч., стр. 421—422.

бежом своего наступления на Запад. Персида также входит в сферу господства поднимающейся империи, смыкая цепь западных и восточных приобретений Митридата. Вавилонские документы показывают нам, что около 142 г. Митридат аннексирует Вавилон (один вавилонский контракт датирован 108 г. аршакидской эры — 141—140 гг.; последняя дата правления Селевкида Деметрия II вавилонских документах — февраль 142 г.).

Последняя попытка Деметрия II возвратить Вавилонию связана с созданием союза ранее действовавших изолированно друг от друга противников Митридата: Бактрия, где у власти стоял последний из греко-бактрийских царей Гелиокл, выступает в конце 141 г. на восточной границе Парфии, отвлекая силы Митридата на северо-восток, восстают Элимаида и Персида, и войска Деметрия II вновь занимают Вавилон.

Однако Митридат быстро справляется с коалицией. Разбив и отбросив Гелиокла на восток, он наносит решительное поражение Деметрию, который попадает в плен и отвозится в Гирканию. Элимаида и Персида вновь входят в состав Парфии.

Для понимания быстрой и решительной победы Митридата I над селевкидско-бактрийской коалицией мы должны учесть, что Парфия в этой борьбе также имела весьма серьезных союзников — родственные основному этническому ядру парфянского государства племена северной части Средней Азии, обрушившиеся на растянутый правый фланг бактрийских греков и уничтожившие государство Гелиокла. II век был веком больших событий во внутренней истории народов Средней и Центральной Азии,—событий, лишь слабые отголоски которых донесли до нас источники. При этом, ввиду того, что наиболее значительные сведения об этом времени мы черпаем из источников китайских, дошедших до нас несравненно полнее, чем сохранившиеся в ничтожных отрывках источники античные, мы больше осведомлены о том, что происходило на далеких восточных окраинах Центральной Азии, на восточных рубежах Монголии и Китайского Туркестана, чем о событиях в бассейне Окса и Яксарта.

Это положение немало способствовало сложению господствующей в литературе концепции, согласно которой именно события, имевшие место на протяжении конца III и первой половины II столетия до н. э. на западных границах Китая, целиком определили события второй половины II века в Средней Азии, в частности такой фундаментальный исторический факт, как падение греко-бактрийского царства.

Ход исторических событий в традиционной схеме, опирающейся на хронику Сы-ма-цяня, рисуется так:

В III веке над кочевыми племенами Монголии господствует племенной союз Больших Юечжи, кочевья которых располагаются между Дуньхуаном и горным хребтом Циляньшань в провинции Ганьсу.

Подъем другого государства Монголии, государства Хунну, центр которого был локализован далее к востоку, на север и запад от Хуанхэ, связанный с именем основателя этого государства — Модэ (206—174) обусловил падение могущества юечжи. В 165 г. шаньюй (верховный вождь) хуннов Ляошань разбил окончательно юечжи. Царь последних был убит в бою, череп его был превращен Ляошанем в чашу для питья. Юечжи были отброшены на запад, за Тяньшань.

«Итак, юечжи удалились на запад, пройдя через Давань (Фергана), напали на Дахя (Бактрия) и покорили это государство; столицу основали на северной стороне Гуйшуй (Окс—Аму-Дарья)», так говорит об этом событии Цяньханьшу (Хроника старшей династии Хань).

Имя больших юечжи на протяжении XIX века было объектом многочисленных и разнообразных гипотез [1]. Интересно, что наиболее ранние авторы — Абель-Ремюза, Клапрот, а за ними— Григорьев, еще неискушенные в хитросплетениях этнолого-филологических конструкций по вопросам этногенеза Центральной Азии, исходя из непреложных фактов исторической фонетики китайского языка, выдвинули гипотезу о том, что «большие юечжи»—массагеты[2].

В самом деле, имя юечжи 月氏 в ханьскую эпоху читалось гветти или гоатти (ср. чтения первого иероглифа в современном японском «гетсу», в южно-китайском «иет»[3], а «мas»[4]

---

[1] Новейшие авторы пытаются видеть здесь или имя кушанов («куши»—Бартольд. История культурной жизни Туркестана, Л. 1927 г.), или имя arsi—одного из народов, оставивших памятники мертвых ныне языков Восточного Туркестана (F. W. K. Müller и др.), который одновременно отождествляли с асиями~асианами античных авторов, или имя саков, под которым, якобы, надо разуметь тохаров (Haloun. Zur Ue tsi Frage ZDMG. XCI, 1937).

[2] Abel Remusat: Nouveaux Melanges asiatiques 1. 220; Klaproth. Tableaux Historiques de l'Asie. p. 287—288; Григорьев. О скифском народе саках, стр. 136—139.

[3] Удвоение ś в греческом Μασσαγέται представляет, как нам думается, существенный интерес, являясь, повидимому, попыткой изобразить какой-то диффузный сибилянт средствами греческой графики. В этой связи стоит вспомнить, что сейчас на территории расселения древних массагетов, у их наиболее непосредственных потомков—туркмен (см. нашу работу в ВДИ, 1938, № 1—2), господствует так наз. «шепелявое s»— близкое к английскому th (Θ в аналитическом алфавите Н. Я. Марра)—соответствующее в туркменском консонантизме общетюркскому s.

[4] В транскрипции Карлгрена (Analitic Dictionary of Chinese and Chino-Japanese) ngjwät-zie. Характерно,

прозрачно этимологизируется в свете сравнительного изучения индоиранских языков, как «большой», «великий»[1].

Характерно, что античные авторы, рассказывая о падении греко-бактрийского царства, нигде не упоминают имя юечжи и связывают это событие с движением с севера целого ряда племен. По Трогу Помпею—это «саравки и асианы», по Страбону—«асии, пасианы, тохары, сакаравлы». «Саравки» и «сакаравлы», несомненно, тождественны, и, по общему мнению всех исследователей, означают сакараваков, в которых, несомненно, надо видеть «сака хаумаварга» ахеменидских надписей и «скифов амюргиев» Геродота.

В свою очередь ахеменидские надписи совсем не знают массагетов, которым так много уделяют внимания античные авторы. А так как Ктесий, пользовавшийся непосредственной персидской информацией, переносит предания о событиях, связанных у Геродота с массагетами, на амюргийских скифов («скифы царя Омарга»), есть все основания предполагать, что ахеменидские персы знали массагетов под разными названиями, не употребляя известного грекам, видимо, от европейских скифов их собирательного имени, причем сака хаумаварга, вероятно, самое значительное из массагетских племен, выступает в надписях на первый план[1]. Бактрийские греки, соприкасавшиеся с массагетскими племенами также более

что почти все современные ученые принимают это чтение с различными оттенками транскрипции (Marquart, Eranšahr, стр. 206 *get (goât)-ti, Wehrot und Arang-goat-ti; Hermann, Massagetai в P. W II R XII H. B. 1634 Guat-si), однако вопреки самим собой напрашивающемуся решению, пытаются видеть здесь искажение какого-то другого имени. Так, Маркварт видит здесь производное *Γασιανοι<Πασιανοι, отождествляемое им с Ασιοι~'Ιασιοι, а Германн видит либо тех же Ασιοι Страбона (XI, 511), либо носителей языка toγri турфанских фрагментов, именовавших себя Arsi.

[1] Название массагетов Томашек, а за ним Маркварт (Eranšahr. стр. 156, Unters. zur Gesch. von Iran. II, 78) пытались этимологизировать (в связи с даваемой им Страбоном характеристикой), как «рыбоеды»—от авест. masyo=«рыба», отсюда masyaka~masyaga с осетинским суффиксом множественного числа. По существу, эта гипотеза стоит на уровне вульгарной «народной этимологии». Против нее выступил с возражением целый ряд авторов. (Ср. F. W. R. Müller в Sitzb. der Preuss Ak. Wiss. 1918, стр. 567. Hermann P.W. XXVIII, стр. 2124, а также Alte Geographie des unteren Oxusgebiets, стр. 14 сл.) В последнее время выдвигается гипотеза, выводящая имя массагетов из mas-saka-t'ä, т. е. первый элемент расшифровывается по Клапроту, последний—по Томашеку—Маркварту, в целом слово этимологизируется как «великие саки», «великая сакская орда». Так смотрит Junge в Saka Studien (1939). К этой точке зрения примыкает и Тарн (Greeks, стр. 80—81). Эта гипотеза на первый взгляд производит подкупающее впечатление, но решительно против нее говорит тот существенный факт, что в многочисленных именах, производных от «с а к а»; мы нигде не встречаем суффикса множественного числа—ни этого, ни другого, как и вообще во всех известных нам среднеазиатских этнических именах этой эпохи. Наоборот, комплексы имен, производных от γέται через присоединение в начале слова определений (тирагеты—«днестровские геты», тиссагеты—«чусовские геты») имя массагетов занимает строго закономерное место. Приведенный нами выше материал, особенно глава IV—2 и 3, бесспорно устанавливает наличие в хорезмийской культуре близкого к фракийскому пласта, с которым, видимо, и связано это имя. Анализ Кушанской, resp юечжийской ономастики, не оставляет сомнения в правильности нашего уравнения: юечжи=массагеты=геты.

Из известных нам царских имен кушанов имена обоих Кадфизов: ΚΑΔΦΙΖΟ(C), ΚΑΔΑΦΕC, ΚΑΔΦΙCΗC монетных легенд имеют тот же второй элемент, что и имя сына царицы массагетов Томирис—С п а р г а п и с, и имя одного из приднестровских «скифских» (вероятно, тирагетских) царей по Геродоту—Спаргапис и другого—Ариапис. Сопоставление имени Спаргапис с именем царицы амюргиев (=массагетов) у Ктесия—Спаретра позволяет сделать и дальнейшее заключение: основу обоих, мужского и женского имен, составляют родственные слова: sparga и spara—ср. скр. s v a r(~surya) «солнце», «свет», «небо» и svarga—«небо», «небесное блаженство». Видимо, и здесь мы имеем ту же основу с тем же значением (ср. то же чередование в скр. açva=ир. asp). Что же касается вторых элементов обоих имен, то я склонен видеть здесь в первом случае—«сын» (ср. скр. put⌈ra⌋, ав. puϑ'⌈rō⌋, в перс. pus, pis ⌈ar⌉белудж. pus⌈af⌉), во втором—характерный суффикс, образования степеней родства tar-tra в женской его форме (ср. скр. duhi-tar др.-сл. дъштер, арм. dustr «дочь»; скр. yā-tar, др.-сл., я-тры, лит. jen-ter «золовка» и т. п.; др.-сл. сес-тра при скр. svās-ar лат. sor-or «сестра»).

В первом случае таким образом смысл имени будет в массагетском—«сын неба», во втором—«родственница (дочь?, сестра?) солнца».

Это же, специфически массагетское (и гетское!) оформление личного имени (характерно, что оно не совпадает с тохарским!) мы находим в имени Кадфиза~Кадафеса. Окончание ška, характерное для остальных царей кушанов: Kaniška (ΚΑΝΗΡΚΙ), Huviška (ΟΟΕΡΚΙ) ведет нас также в западноскифскую, resp. тирагетскую среду, где мы находим это окончание в знаменитой триаде сколотских прародителей Арпоксаиса, Липоксаиса и Колоксаиса Геродота.

Как уже не раз отмечалось, в греческом ξ мы должны видеть туземное šk.

Параллели в области массагетской и фракогетской лексики отразились в различных областях сохранившихся более чем скромных остатках массагетского словаря. Сюда бесспорно относится, как мы отмечали выше, Сабазий—Сиявуш, закаспийские горы Б а л х а н ы и европейские Б а л к а н ы—этнонимы дахов Закаспия и даков Дакии, выступающих рядом с массагетами и гетами, tagroi Плиния на Днестре и тохары Сыр-Дарьи и т. д. Возвращаясь к личной ономастике, вспомним фракийского певца Тамира и массагетскую царицу Томирис.

[1] A. Hermann (PW XXVIII, стр. 2127) видит массагетов в «сака тиграхауда» ахеменидских надписей. Той же точки зрения держится J. Junge, Saka-Studien. Der ferne Nordosten im Weltbild der Antike «Klio». 1939. Однако эта гипотеза ни на чем не основана. Наоборот, есть все основания локализовать сака тиграхауда за Як-сартом. За это говорит и этнографическое их сходство с европейскими скифами на ахеменидских рельефах.

Локализировать амюргийских скифов на Памире, как делает это Hermann (статья Sakai в PW, стр. 1791), можно только, поддаваясь столь свойственному современным этногоническим конструкциям немецких авто-

чем близко, могли так же, как авторы ахеменидских надписей, писать о каждом из них в отдельности, в то время как китайцы II в., как греки во времена Геродота, знали их под собирательным именем «великих гетов».

По Гарну[1], следующему в основном Германну[2], в состав массагетской конфедерации входило пять племен—дербики (Δέρβικες, Δερβίκκαι Δερισσοι Стеф, Визант.; Δερκέβιοι, Птолемея VI 10, 2, Derbices Мелы III, 39, Dribyces Плиния VI, 48)[3], аугасии или аугалы (Αυγάσσιοί Стеф. Визант., Αὔγαλοι Птолемей VI 12, 4), аттасии (Αττασιοι Страбона XI, 513; Германн считает аугасиев, аугалов и аттасиев одним племенем), апасиаки ('Απασιάκαι Страбона XI, 513 и Полибия X, 48, Paesicae или Pestici Мелы III, 39, 42, Πασικαι Птолемея VI; Стеф. Византийский 254, ставит апасиаков рядом с аорсами (аланами) и прямо относит их в число массагетских племен: 'Απασιακαί Μασσαγετῶν ἔθνος) и хорасмии.

В основном мы можем принять эти положения с некоторыми уточнениями. Во-первых, как уже сказано выше, первое место в этом перечне должны занять сакараваки и тохары (см. ниже). Во-вторых, хорасмии вряд ли могут считаться племенем, скорее это результат слияния различных массагетских племен, в первую очередь, видимо, сакараваков, втянутых в систему хорезмийской государственности. В-третьих, вероятно прав Германн в отождествлении атасиев и аугасиев. В-четвертых, вариантом имени апасиаков является и имя пасианов Страбона. В-пятых, к упомянутым Германном вариантах имени дербиков нужно прибавить упоминаемых Птолемеем IV, 12 дрибактов («за Согдийскими горами») и дрепсиан к востоку от хорасмиев и названия городов, видимо, этнического происхождения, Дреспу и Трибактру, расположенные в дельтовой области Зеравшана и Кашка-Дарьи. Наконец, видимо, помимо пяти основных племен, составлявших базу конфедерации, в ее состав входили многочисленные более мелкие племенные единицы, возможно являвшиеся осколками более древних крупных племен, а иногда подразделениями пяти основных. Я имею в виду оксидранков (за Согдийскими горами), оксиан—соседей хорасмиев, аристеев (может быть, тождественные ариакам. Птолемей VI, 12) Нижнего Яксарта и кирродеев у Окса (Птолемей IV, 12), напастов (Птолемей VI, 14, может быть, напаи Плиния VI, 17), соседей сакараваков, наконец, рибиев у Окса (Птолемей VI, 14) и мардов у устьев Окса, рядом с апасиаками (Мела).

Первоначальная локализация тохаров, которых значительная часть современных авторов пытается поставить на место юечжи[1], хотя, на деле, мы можем говорить о них лишь как об одном из племен массагетско-юечжийской конфедерации, представляет все же существенный интерес.

Птолемей (IV, 12) помещает их «близ Оксийских гор» на северном отрезке Яксарта (Сыр-Дарья). Под Оксийскими горами надо, несомненно, понимать всю систему гор водораздела Аму- и Сыр-Дарьи, от Султан-уиздага на северо-западе через возвышенности центральных Кызыл-Кумов до Туркестанского хребта. Впрочем, весьма вероятно, что в это понятие включался и Чинк—юго-восточный обрыв Устьюрта.

роз неудержимому фантазированию. Никаких данных на это нет. Наоборот, источники говорят нам, во-первых, об амюргийской равнине ('Αμύργιοι Πεδίον), которые вернее всего локализовать в Каракумах и Кызылкумах, а уже никак не на Памире, во-вторых, то, что Геродот рассказывает о войне Кира с массагетами, Ктесий (Фотий XXII, 29, 6, 106) переносит частью на дербиков с их царем Амореем, частью на саков, с их царем Аморгом. Хотя у Ктесия это и разные лица, но, я думаю, у нас есть все основания для их отождествления и для того, чтобы видеть у Ктесия не одну, а две версии гибели Кира. Любопытно, что Германн привлекает рассказ Ктесия для идентификации (правильной) с массагетами дербиков, но игнорирует этот рассказ, когда дело касается «аморговых» или амюргийских скифов. Это достаточно типичный прием обращения с источниками, не имеющий, конечно, ничего общего с их исторической критикой. Напомню, что именно сакарауки, в отождествлении которых с сака-хаумаварга вряд ли есть сомнение, выступают в качестве основной группы «варваров», вторгающихся около 130 г. до н. э. в Маргиану и Арию и ведущих борьбу с Фраатом II на восточной границе Парфии.

Напомню, что, как показал еще Аристов (ЖС, III, IV, 1896, стр. 416), потомки сакарауков, видимо, сохранились под своим именем (в форме «сакар») среди средне-аму-дарьинских туркмен.

Напомню, наконец, убедительное отождествление сакарауки=кангюй (не надо забывать при этом, что Кангюй—название страны, а не племени), сделанное еще Гутшмидом (Geschichte Irans, 1888, стр. 58, 70—73) и принимаемое и сейчас рядом исследователей, с оговоркой и Тарном. Если это так и если верно наше отождествление Кангюй=Хорезм, то надо вспомнить Страбоновский тезис хорасмии=массагеты и видеть в сакарауках ⤳ сакараваках ⤳ саках амюргиях ⤳ сака хаумаварга основное ядро массагетских племен, сыгравшее ведущую роль в образовании хорезмско-кангхского государства.

Напомню, что Птолемей (VI, 4) локализует сакараваков (Σαγαραῦκαι) к северу от «Оксийских гор», между Оксом и Яксартом, ближе к первому, видимо, на восточной периферии Хорезма.

[1] Цит. соч., стр. 80—81.

[2] P. W. XXVIII, стр. 2127.

[3] Это обосновывается сопоставлением геродотовской и ктесиевской версии гибели Кира, на локализации дербиков на ЮЗ участке Каспийского рукава Окса (Страбон XI, 514, Плиний VI, 48, Мела III, 39), наконец, на сходстве погребальных обрядов у массагетов и дербиков по Страбону.

[1] Это отождествление, выдвинутое еще в 1756 г. Дегинем, в настоящее время отстаивается Haloun'ом (цит. выше работа в ZDMG XCI 1937, стр. 243—318). Новейший критический обзор огромной литературы, посвященной тохарской проблеме, см. в статье И. Умнякова. Тохарская проблема, ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 181—193.

Рядом с тохарами Птолемей упоминает ятиев, а перед ними живущих, повидимому, в районе между чинками Усть-урта и Сыр-Дарьей пасиков. Вероятнее всего здесь и надо видеть первоначальную локализацию первых трех из четырех упомянутых Страбоном племен, ибо тождество пасиков и пасианов[1] и тех и других и апасиаков не подлежит сомнению, а тождество ятиев и асиев-асианов весьма вероятно[2].

Трудно предполагать, что здесь Птолемей дает вторичную локализацию интересующих нас племен. Китайские источники говорят нам о движении юечжи в Согдиану и в Бактрию, т. е. на юг от «Оксийских гор», и если бы здесь шла речь о прохождении из восточного Туркестана преследуемого хуннами племени, вряд ли можно было бы предполагать широкое его расселение, притом в областях, по китайским хроникам, составлявшим территорию государства Кангюй, да еще ту его часть, которая находилась под влиянием врагов юечжи—хуннов.

Вероятнее видеть здесь оставшиеся на месте, на местах своих древних поселений, части племен массагетов-юечжи, другие части которых вторглись на территорию Бактрии, куда был перенесен и центр массагетско-юечжийской конфедерации, первоначально, вероятно, зависимой от Кангюя-Хорезма.

Таким образом, в целом завоевание Бактрии «варварами» рисуется как движение племен прежде всего Приаралья в южном направлении против их традиционных врагов.

Большой интерес представляет показание того же Птолемея (VI, 13), основанное, видимо, на свежих данных его информатора (Марина), о нахождении массагетов в верховьях Яксарта, в местности Аскатанка, т. е. в Притяншаньи. Это показание полностью совпадает с показанием истории старшей династии Хань, что «между усунями находится поколение племен сэ (саки) и юечжи (массагеты)»[3].

Это свидетельство является важным дополнительным аргументом в пользу отождествления массагетов и юечжи и вместе с тем проливает свет на проблему взаимоотношения древних массагетов V века, твердо локализуемых античными авторами в Закаспии, и юечжи III века, столь же твердо локализуемых китайскими источниками в восточном Туркестане, вплоть до провинции Ганьсу.

Наиболее вероятным на наш взгляд является предположение, уже высказанное в свое время Франке[1], что ганьсуйские юечжи—восточная ветвь массагетов.

Если мы не можем не учитывать значения для истории кочевников Средней Азии событий II в. до н. э., разыгравшихся у Китайской стены, то столь же ошибочно было бы игнорировать события, разыгравшиеся с конца IV по начало II века в самой Средней Азии—для истории центрально-азиатских народов.

Политическая консолидация порубежных племен северных окраин Бактрийского царства, толчком к которой явилась борьба с греко-македонскими завоевателями, могла иметь своим последствием широкую экспансию кангхско-массагетской конфедерации в глубь степи на восток[2], тем более, что здесь кочевали близко родственные массагетам исседонские племена, вероятно и раньше находившиеся в известной связи со своими западными сородичами[3].

Тогда и походы Евтидема-Деметрия на Восток «до серов и фаунов» приобретут свое исторически закономерное место, как интегральная часть оборонительной политики Греко-Бактрийского царства против северных кочевников, в первую очередь именно массагетов, не только отрезавших Греко-Бактрию от источников скифского золота, но, и это самое главное, грозивших охватить ее сплошным полукольцом сплоченного «варварского» фронта с запада, севера и востока.

Серы и фауны, китайцы и хунны (будем следовать и здесь за старой гипотезой Томашека-Маркварта, а не за новейшими весьма

---

[1] Ср. F. C. Andreas P. W. Статья Amardoi и A. Hermann. Alte Geographie, стр. 47

[2] Гипотеза Дегиня (Mém. de l'Acad. des Inscr. XXV, p. 28) и Григорьева (О скифском народе саках, стр. 139—140), отождествляющая усуней и асианов, мне представляется весьма вероятной. Однако, я думаю, как и в отношении тохаров, их первоначальное местообитание нужно искать на Нижней Сыр-Дарье.

[3] Характерно, что Германн (PW XXVIII, 1930, стр. 2124, а также Alte Seidenstrassen Zwischen China und Syrien III), отвергая гипотезу Клапрота-Рюмюза, вместе с тем признает возможным видеть в этих Μασσαγέται Птолемея греческую транскрипцию имени Больших юечжи китайских источников, в его транскрипции * Mas-Ngetsi с иранской этимологией Mas—«большой». Однако это совершенно справедливое сопоставление автор обесценивает, не видя возможности сопоставлять притяньшаньских Μασσαγέται=Mas-Ngetsi=Большие юечжи и Μασσαγέται Закаспия (Mit unseren Massagetai hat also diese Angabe des Ptolomaios sachlich nichts zu tun, пишет он). Здесь перед нами красноречивый образец того, как некоторые новейшие исследователи приносят факты, против которых они сами не в силах возражать, в жертву предвзятым псевдонаучным конструкциям.

[1] O. Franke. Beiträge aus chinesischen Quellen zur Kenntniss der Türkvölker und Skythen Zentralasiens. Berlin. 1904. Стр. 25.

[2] Важным на наш взгляд документом сильного движения среднеазиатских племен около III в. до н. э. на восток является типично среднеазиатская порода коня, открытая в захоронении скифского вождя в Пазырыкском кургане на Алтае. Ср. В. О. Ритт. Лошадь Древнего Востока в сб. «Конские породы Средней Азии», М. 1937, стр. 24, а также рис. 11 на стр. 23.

[3] Ср. сходство брачных и погребальных обычаев исседеонов и массагетов. Напомню, что этот аргумент явился одним из решающих для включения Германном дербиков в состав массагетов.

искусственными построениями) должны были рассматриваться бактрийскими греками как естественные союзники против общих врагов—массагетов-юечжи.

Характерно хронологическое совпадение движения Евтидема и Деметрия на восток и хуннов на запад. Подчеркнем некоторые даты:

207 год. Над северной границей Бактрии нависает угроза варварского вторжения, о которой говорит Евтидем Антиоху III, вторжения настолько серьезного, что оно может угрожать всему эллинистическому Востоку. На границах Монголии—период высшего подъема могущества «больших юечжи», облагающих данью хуннов и господствующих над оазисами восточного Туркестана.

206 год. Заключается, в связи с угрозой варварского вторжения, союз между Антиохом III и его недавним врагом Евтидемом. Видимо, за этим следует начало наступления Евтидема на север и восток. Тот же 206 год. В результате военного переворота и отцеубийства, в Монголии к власти приходит шаньюй хуннов Модэ, до того находившийся в качестве заложника у юечжи. Модэ реорганизует и перевооружает хуннское войско, руководствуясь, как мы показали выше, массагетскими (по Лауферу—иранскими) образцами. Между 206 и 204 годом Модэ наносит юечжи первый удар с востока.

176 год. Время высшего подъема греко-бактрийского царства Деметрия. Второй поход Модэ-шаньюя на запад против юечжи, в бассейн Тарима и в Семиречье против подданных юечжи усуней.

Сопоставление достаточно показательно. На наш взгляд нет ни малейшего сомнения, что Модэ и его преемники с самого начала выступают как союзники Евтидема и Деметрия, координируя свои выступления с выступлениями бактрийских царей. Весьма вероятно, что и его бегство около 206 года от юечжи на родину, и последующий заговор против его отца, и захват власти определяются теми перспективами, которые открывались перед хуннским царевичем в связи с начавшимся наступлением греков против ненавистных юечжи. А если учесть, что император Китая Ву-ди посылает Чжан-цяня в Бактрию для заключения союза с победоносными юечжи против хуннов, я не вижу ничего невероятного в том, что агенты Евтидема вступили в сношения с молодым хуннским вождем, находившимся в качестве заложника у соседей и врагов Бактрии, массагетов-юечжи, для того чтобы получить себе ценного союзника, способного ударить массагетам в тыл, когда греки начнут свое наступление против них.

Дальнейшая история восточной экспансии массагетов нам известна из китайских источников.

165 год. Время, соответствующее победе Евкратида в Греко-Бактрии. Хунны во главе с Ляошанем вновь выступают против юечжи. Царь последних гибнет в бою. Остатки восточных массагетов отбрасываются на запад за Тянь-шань. Опять совпадение столь же показательное как и прежние — последняя большая победа хуннско-бактрийской коалиции против массагетской конфедерации.

Полная историческая нелепость положения кабинетных исследователей, за чистую монету принимавших сообщения китайских источников о том, как разгромленные хуннами и бежавшие за Тянь-шань юечжи в течение 25 лет завоевывают Фергану, Согд и, наконец, самую Бактрию и устанавливают господство над южной частью Кангюя,—ясна для всякого, знакомого с реальными условиями кочевого хозяйства и кочевых войн. Разбитый в боях, растерявший скот, бежавший за тысячи километров от родины кочевой народ—труп с политической точки зрения. Никакой иной судьбы, кроме либо окончательного истребления туземцами, либо ассимиляции ими, он ждать не может. Все без исключения исторически достоверные факты аналогичных событий не дают нам ничего другого.

Совершенно иной будет картина, если исходить из нашей гипотезы. Как бы тяжелы ни были поражения конфедерации массагетов на востоке и, вероятно, на юге, они затрагивали лишь периферию этой примитивной кочевой империи, ее Hinterland—степи Приаралья и цветущие оазисы Кангхи-Хорезма и нижней Сыр-Дарьи оставались недоступными для врагов. 25 лет при таких условиях были временем вполне достаточным, чтобы оправиться от поражения 165 года, и, залечив, раны, в союзе с Парфией, возглавляемой родственной Кангхскому дому сиявушидов династией, нанести сокрушительный удар по ослабленному длительными междоусобиями греко-бактрийскому государству. Я не вижу никаких оснований итти вслед за Тарном в снижении даты юечжийского завоевания Бактрии. 140 год, дата, принятая большинством исследователей для юечжийского завоевания Бактрии, совпадает с датой последнего союза между селевкидами и бактрийскими греками против парфян. Одновременность разгрома селевкидов парфянами и Гелиокла юечжи, вытекающая из общепринятых датировок обоих событий—в свете предшествующего анализа, более чем понятна. Это не два события, а одно: победа парфяно-массагетской коалиции над селевкидо-бактрийской.

Митридат I умер около 138 г. Уже царствование его сына Фраата II было связано с крупными испытаниями для только что основанной империи,—испытаниями, подготовленными самим подъемом Парфии.

Антиох VII Сидет (139/13 —129) воспользовался смертью основателя могущества Парфии Митридата I, чтобы сделать новую попытку возвратить Вавилонию. Около 136 года он перешел Тигр, в трех боях разбил полководцев Фраата II и оккупировал Вавилон. Подчинение Мидии ему также удалось. Военный разгром парфян на западной границе был настолько значителен, что Антиох претендует на то, чтобы Фраат II признал себя данником селевкидов, как некогда Артабан при Антиохе III, и возвратил Антиоху все владения, кроме Парфии и Гиркании. Однако зима 130—129 г. решила вопрос иначе. Вынужденный расположить свои войска на зимние квартиры в различных городах Мидии, Антиох предоставил благоприятные шансы парфянам, которым удалось использовать ослабление сирийцев и быстрым ударом на Экбатаны нанести Антиоху решающее поражение. Антиох был убит, сын его Селевк, как незадолго до этого Деметрий II, попал в плен к парфянам.

Однако непосредственно вслед за этой победой события развернулись весьма неблагоприятно для Фраата II. Призванные им в начале кампании в качестве наемных контингентов «скифы», в которых я склонен видеть отнюдь не просто мигрирующие с севера на юг беспорядочные орды кочевников, а союзные части массагетской конфедерации, состоявшие, вероятно, из сакараваков и, возможно, апасиаков, не получили, ввиду якобы опоздания, обусловленной платы (Трог XIII, II, I). «Недовольные тем, что даром прошли такой путь, они потребовали либо оплаты за проторы, либо нового врага. Оскорбленные надменным ответом, они начали грабить парфянскую землю».

Попытка Фраата II двинуть против них не только парфянские части, но и только что взятых в плен греческих солдат Антиоха, стоила ему жизни. По показанию Трога, греки в решительный момент перешли на сторону скифов, парфяне были разбиты и Фраат был убит.

Восточная граница Парфии была прорвана. Преемник Фраата II, его дядя Артабан II, был вынужден выдержать тяжелую борьбу с тогарами (тохарами), видимо утвердившимися в это время в Бактрии и наступающими на Маргиану, в результате которой, он, как и его предшественник, потерпел поражение и пал в бою (около 124 года). В этих тохарах надо, несомненно, видеть основное ядро оккупировавшей Бактрию отрасли массагетов-юечжи. Однако, видимо, основные контингенты оккупировавших восточные сатрапии Парфии юечжийских войск состояли из кангюйских сакараваков, с именем которых, вероятно, связано последующее образование сакского государства в Сакастане (Сеистане).

Исидор Харакский сообщает нам, что саками была занята также Траксиана и Тапурия—прикопетдагские области, граничащие с Каракумами. Отдельные группы саков прорвались на запад через Гирканию до верхнего Тигра и Армении[1].

Массагетское наступление на севере и востоке Парфии сочеталось с военными неудачами и усобицами на западе. Судя по показаниям Диодора и нумизматическим данным в Мидии и Вавилонии, власть захватил назначенный еще Фраатом II наместник Гимер, разграбивший Вавилон и уведший многочисленных пленных в Мидию. На 127—126 гг. падает кратковременный захват власти в Вавилоне правителем Харакены—маленького царства в низовьях Тигра и Евфрата. Видимо, это и явилось причиной страшной расправы Гимера.

Парфия находилась на краю гибели, когда к власти пришел сын Артабана II Митридат II (124/123—87 г. до н. э.).

Этот царь, справедливо рассматривающийся как второй основатель могущества Парфянской империи, решительными мерами сумел восстановить разрушающееся государство и закрепить власть Парфии над восточными и западными сатрапиями, подчинив своей власти оставшиеся на территории восточной Парфии сакские племена.

Но история этих событий лежит уже за пределами нашей темы. Угроза Евтидема воплотилась в жизнь. Эллинистическая империя «Дальнего Востока» рухнула под ударом «варваров», заложивших основы двух империй позднеантичного Востока—Парфии и будущей державы Кушанов, империй, в которых среднеазиатская эллинистическая культура достигла своего расцвета. Это событие не было результатом стихийных переселенческих движений кочевых племен. Оно завершило организованную, многовековую борьбу свободолюбивых народов Средней Азии против греко-македонских поработителей,—борьбу, в которой на протяжении двух веков организующую роль играло единственное сумевшее сохранить свою независимость государство Средней Азии—Кангха-Хорезм.

---

[1] См. статью E. Herzfeld'a и A. Keith'a в I томе Survey of Persian Art A. U. Pope'a.

ЭКСКУРС II

ТИРАНИЯ АБРУЯ

(Из истории классовой борьбы в Согдиане и тюркском каганате во второй половине VI в. н. э.*

I. ЛЕГЕНДА ОБ АБРУЕ

В текст дошедшего до нас и восходящего к караханидскому времени[1] сокращенного персидского перевода знаменитого исторического труда среднеазиатского автора X в.[2] Мухаммеда Нершахи «История Бухары»[3] включен содержащий краткое изложение древнейшей истории этого города отрывок из книги «Сокровищница знаний» Абу-л-Хасана Абд-ар-Рахмана Мухаммеда ан-Нишабури (автора, писавшего, по мнению Лерха[4], не позднее V в. хиджры).

Наряду с другими сведениями[5] мы находим в этом отрывке рассказ, мало до сих пор привлекавший внимание исследователей, но представляющий незаурядный интерес для истории общественных отношений и классовой борьбы в дофеодальной Средней Азии.

Этот отрывок, завершающий в книге Нершахи главу «О людях, бывших казиями в Бухаре», начинается с описания того, как на месте болотистой низины, постепенно заносившейся отложениями несомой горными потоками почвы, образовался плодородный оазис, куда начали собираться со всех сторон люди и где впоследствии возникла Бухара.

Дальнейшее изложение, являющееся для нас особенно интересным, я позволю себе привести полностью[1].

«Люди, приходившие сюда из Туркестана, селились здесь, потому что в этой области было много воды и деревьев, были прекрасные места для охоты, все это очень нравилось этим людям. Сначала они жили в юртах и палатках, но потом стало собираться все больше и больше людей и стали возводить постройки. Собралось очень много народа, и они выбрали одного из своей среды и сделали его эмиром. Имя его было Абруй ابروى [2]. Самого города еще не было, но уже было несколько деревень, каковы: Нур, Харканруд, Вардана, Таравджа, Сафна, Исвана.

Большое селение, где жил сам царь, называлось Пейкенд, а городом называли Кала-и Дабуси. По прошествии некоторого времени власть Абруя возросла, он стал жестоко править этой областью, так что терпение жителей истощилось. Дихканы и богатые купцы[3] ушли

---

* Первая редакция настоящего экскурса напечатана нами в ИЗ 1938, III.

[1] Первоначальный арабский текст до нас не дошел. Переводчик Абу Наср Ахмед б. Мухаммед-ал-Кубави закончил свой труд в 522 г. хиджры (1128—1129 г. н. э.). В 1178—1179 г. н. э. он был вновь сокращен Мухаммедом б. Зуфером. До нас труд Нершахи дошел, подвергнувшись еще одной переделке неизвестным автором, доведшим его до монгольского времени. См. В. В. Бартольд. Туркестан в эпоху монгольского нашествия, 1900. II, 15.

[2] Умер в 348 г. хиджры—959 г. н. э.

[3] Description topographique et historique de Boukhara par Mohammed Nerchakhy. Texte persan publié par Ch. Schefer. Paris. 1892, стр. 4. Есть русский перевод Н. Лыкошина под ред. В. В. Бартольда. Ташкент, 1897, стр. 11 сл.

[4] Н. Лерх. Монеты Бухар-Худатов. ТВО, XVIII, 58. Ср. В. В. Бартольд. Туркестан, II, 16.

[5] Ставшими в частности объектом исследования Лерха в цитированной работе.

[1] В приводимом отрывке мы придерживаемся в основном перевода Лыкошина, корректируя его по подлиннику в существенных для нашей темы местах.

[2] Вамбери в своей рукописи читает ابرزى. Захау предлагает читать Abrizi. См. ниже.

[3] Сохраняя перевод слова توانكر, данный

из этой области в сторону Туркестана и Тараза, где выстроили город и назвали его Хамукат, потому что великий дихкан, бывший главою переселившихся, назвался Хамук, что на языке бухарцев обозначает «жемчуг», а «кат» значит «город»; таким образом название это означало «город Хамука». Вообще бухарцы «хамуками» называют вельмож[1].

Оставшиеся в Бухаре послали к своим вельможам послов и просили защитить их от насилий Абруя. Вельможи и дихканы обратились за помощью к царю турок по имени Кара-Джурин-Турк (قرا جورین ترک), которого за его величие народ прозвал Биягу (بیاغو). Биягу тотчас послал своего сына Шири-Кишвара (شیر کشور) с большим войском. Тот прибыл в Бухару, в Пейкенде схватил Абруя и приказал, чтобы большой мешок наполнили красными пчелами и опустили туда Абруя, от чего он и умер.

Шири-Кишвару очень понравилась завоеванная им страна, и он послал своему отцу письмо, в котором просил назначить его правителем этой области и разрешить ему поселиться в Бухаре. Вскоре он получил ответ, что Биягу отдает ему область.

Шири-Кишвар отправил посла в Хамукат, чтобы он уговорил вернуться на родину всех бежавших из Бухары с их женами и детьми. Он написал грамоту, в которой обещал, что все возвратившиеся по его приглашению в Бухару станут его ближними людьми. Это обещание было вызвано тем, что все богатые купцы и знатные дихканы выселились, а нищие и бедняки[2] оставались в Бухаре.

После этого бежавшие в Хамукат возвратились на родину в Бухару, а оставшиеся в Бухаре бедные люди (bīčarə) стали слугами (xidmatgārān) возвратившихся из Хамуката. Среди последних в то время был один великий дихкан, которого называли Бухар-худат, потому что он происходил из древнего дихканского рода. Земельные участки большей частью принадлежали ему, и большинство этих людей были кедиверами (kedīverān)[1] и слугами (xidmatgārān) его[2].

Дальше текст повествует о том, что Шири-Кишвар основал город Бухару и ряд селений—Мамастин, Сакматин, Самтин и Фараб, о том, что он царствовал 20 лет и его сменил другой царь, также основавший ряд селений.

Вслед за этим идет интересное упоминание о том, что «когда в Бухару привезли в качестве невесты дочь китайского царя, с ней привезли из Китая «бутхане» («дом идолов») и это «бутхане» поместили в Рамтине».

Непосредственно за этим следуют сведения о том, что в правление халифа Абу-Бекра в Бухаре впервые стали чеканить серебряную монету. Эти сведения были объектом специального исследования П. Лерха, цитированного нами выше.

На первый взгляд приведенный нами рассказ звучит как легенда, повествующая об отдаленных временах первого заселения бухарского оазиса.

Так его и расценивает Eduard Sachau в своем специальном этюде[3], где он сопоставляет этот рассказ с передаваемой ал-Бируни[4] хорезмской легендой о царе Африге[5] и трактует героев обоих рассказов (давая их именам одну этимологию «der Wassergiesser» от «apa—Wasser und $\sqrt{\text{rić}}$—giessen») как чисто мифические фигуры, в которых персонифицируются реки обеих областей Зеравшан в бухарской и Аму-Дарья в хорезмской легенде. К этому же мнению присоединяется К. Иностранцев[6]. Последний, наряду с мифическим, по его мнению, ядром рассказа обращает внимание и на его реалистические подробности, относя, впрочем, их, следуя и в этом Захау, к глубочайшей древности, и так заключает свой разбор обеих легенд: «Общим в этих преданиях является основа—заселение Согдианы и Хорезма ирап-

---

Лыкошиным. Точнее было бы «богачи», «могущественные люди». Ср. словарь Steingass'a под этим словом.

[1] Согласно мнению большинства исследователей, «хамук» надо читать «джамук». Ср. В. Бартольд. Туркестан, II, 183.

[2] В переводе Лыкошина «бедные и низшее сословие», буквально «дервиши и бедняки» (dervīšān va faqirān)—термин «дервиши» в ту эпоху еще не получил позднейшего специфического значения.

[1] Этот термин Лыкошин (стр. 13) переводит как «крестьяне»; Бартольд в работе «Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии», «Среднеазиатский Вестник», июнь 1896 г., Ташкент, стр. 22—как «крепостные», а в «Истории культурной жизни Туркестана», Л. 1927, стр. 37, оставляет его без перевода. Ниже нам еще придется к нему вернуться.

[2] Texte, стр. 6. Перев. стр. 14.

[3] Eduard Sachau. Conjectur zu Vendidad I, 34 Zeitschrift der Deutcshen Morgenlandische Gesellschaft. Leipzig 1874. XXVIII. 448—452; об интересующем нас предании см. стр. 450.

[4] Chronologie des Orientalischen Völker v. Alberuni. Herausg. V Dr. S. E. Sachau. Leipzig. 1923, стр. 35, 10.

[5] Также характеризуемом как тиран, которого ал-Бируни сравнивает с прославленным деспотизмом своего правления сасанидом Ездегердом.

[6] К. А. Иностранцев. О домусульманской культуре хивинского оазиса. ЖСМНИ, 1911, февраль, стр. 303.

скими (?!) кочевниками с Востока, первые этапы иранской оседлости»[1].

Вамбери начинает этой легендой свою «Историю Бухары»[2] и рассматривает ее как «сагу», не пытаясь подвергнуть исторической критике. Краткое изложение рассказа Нишабури-Нершахи, не подвергая его дальнейшему анализу, дает в своей «Согдиане» В. Томашек[3].

Оценку рассказа о тирании Абруя как исторического факта мы впервые находим у Маркварта. Он склонен относить это событие к 60-м годам VI века и видеть в имени Абруя имя, вернее титул, последнего представителя в эфталитской династии, правившего в Пейкенде (который Марквартом не без основания отождествлялся с Бадиянь—столицей эфталитского государства по данным китайских хроник), которого Табари называет Wazr, что Маркварт исправляет на Wariz, титул, возводимый Марквартом к гипотетически восстанавливаемому им самоназванию эфталитов War, Warič.

Маркварт, помимо сходства имени Абруй в одной из версий (приведенной, в частности, у Вамбери), звучащей как Аберзи и имени Wariz, основывается также на свидетельстве Менандра Протектора о том, что непосредственным поводом тюркского вторжения в Согд была жалоба одного из эфталитских вельмож кагану на последнего эфталитского царя, якобы захватившего его жену[1].

Этот рассказ, несмотря на внешнюю анекдотичность, весьма интересен, и ниже мы к нему вернемся. Однако вся остальная совокупность деталей рассказа Нишабури-Нершахи, в частности, имена остальных его действующих лиц, не могут быть без грубой натяжки сопоставлены с действующими лицами событий 60-х годов VI века. Надо при этом отметить, что и имя Абрези-Вариз ← Варич, по мнению Маркварта, не собственное имя, а титул эфталитских царей. А если это так, то аргументация Маркварта еще более ослабляется, ибо этот титул мог, как мы покажем ниже, сохраняться за правителем Пейкенда и после падения эфталитов. Поэтому, несмотря на всю заманчивость этой идентификации, как мы увидим ниже, есть все основания относить это событие к несколько более позднему времени.

В одной из новейших работ по истории раннего средневековья в Средней Азии Г. А. Р. Гибб[2] говорит об интересующем нас отрывке как «о полулегендарном рассказе, даваемом ан-Нишабури о тюркском завоевании Бухары, в котором Бухар-Худат представлен как главный дихкан (chief dihqān) под тюркским управлением». Тем самым Гибб, как и Маркварт, проявляет большее, чем перечисленные выше авторы, доверие к нашему источнику, и хотя и не пытается видеть в нем что-либо большее, чем «semi legendary account», однако приурочивает его ко времени тюркского завоевания Согдианы, т. е. к VI в. н. э.

2. АБРУЙ И АБО КАГАН

Даже если сохранить разделяемую большинством авторов оценку рассказа Нишабури-Нершахи как легенды, не отражающей непосредственно конкретных исторических событий, а являющейся лишь своего рода эпическим обобщением, мимо него не может пройти советская историография Средней Азии.

Однако предпринятое нами исследование текста заставляет и нас, как Маркварта, притти к выводу, что за легендарным рассказом источника скрываются вполне конкретные исторические факты, и герои легенды об Абруе—конкретные исторические лица, действовавшие во вполне определенный и притом крайне важный период истории дофеодальной Средней Азии, хотя это и не те лица, которые хочет видеть здесь Маркварт.

Действующие лица рассказов Нишабури-Нершахи—во вяком случае, три главных действующих лица—вполне поддаются идентификации с историческими лицами, известными из китайских и арабских источников, а это дает возможность не только точно датировать события, но и осветить их с новой стороны.

Мы начинаем наш анализ с наиболее крупной в политическом отношении фигуры легенды, которая может явиться пробным камнем

---

[1] К. А. Иностранцев. О домусульманской культуре хивинского оазиса, ЖСМНП 1911, февраль, стр. 303.

[2] Vambery. Geschichte Bochara's 1 сл.; ср. русский перевод Г. Вамбери, История Бухары. Спб. 1873, 1, стр. 1 сл.

[3] W. Tomaschek. Centralasiatische Studien I, ogdiana, Wien, 1827, 105.

[1] Eranšahr 1899—1901, стр. 309. Ср. также Das Reich Zabul und der Got Žun vom 6—9 Jahrhundert. Festschr. Ed. Zachau. Berlin, 1915, стр. 254. Более развитая аргументация тезиса Маркварта дана в его посмертной работе Wehrot und Arang. Leiden, 1938, стр. 147 и др., вышедшей одновременно с первой редакцией нашей работы в ИЗ 1938. III.

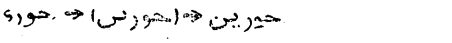
[2] H. A. R. Gibb. The Arab Conquests in Central Asia. London, 1923, стр. 4.

для выяснения исторической достоверности исследуемого рассказа. Ибо, если за рассказом скрывается исторический факт, эта фигура не могла остаться вне поля зрения китайских источников. Речь идет о Кара-Джурин-Тюрке Биягу.

Среди тюркских каганов, упоминаемых Суйской и Танской историями, мы находим трех, имена которых могут быть сопоставлены с интересующим нас именем. Это: 1) Ше-ху Чу-ло-хэу (Che hou Tchou-lo-heou) 葉護處羅侯, правивший в качестве общетюркского кагана в 587—588 гг[1]; 2) Чу-ло (處羅), каган западных тюрков, правивший с 600 по 618 гг.[2] и 3) Чу-ло, каган восточных тюрков, правивший в 619—620 гг[3].

Собственное имя героя легенды Žurin, восходящее к вероятному тюркскому архетипу Čuryn вполне может в китайской транскрипции приобрести форму Чу-ло. Гипотетическое архаическое чтение слагающих имя Чу-ло иероглифов восстанавливается Карлгреном[4] как 't'si^{w}o-la. Более близкое ко времени написания текстов Суй-шу и Тан-шу употребление второго иероглифа для транскрипции иностранных слов восстанавливается из китайской транскрипции санскритских текстов, ср. 羅目侯 —Raha или 羅 как конечный иероглиф в слове Râdjapura[5].

Еще более сблизятся анализируемые имена, если вместо не встреченного нами в древнетурецких текстах личного имени Ĉuryn, мы предположим весьма незначительное графическое искажение первоначальной формы



и будем читать имя турецкого кагана Čury (ср. древне-тюркское Čuri (Čury)[1].

Из трех каганов, носивших это имя, по целому ряду соображений, излагаемых ниже, именно первый может быть с наибольшим вероятием отождествлен с Кара-Джурин Биягу. Во-первых, именно он носит титул Ше-ху (собственно E-xy,* ep-hu 葉護[2]), который, как установлено, является китайской транскрипцией тюркского титула jabγu (орхонское [3], обычная арабская транскрипция yafγu)[4].

Этому титулу соответствует «лякаб» интересующего нас кагана biyāγu—несомненное и очень незначительное искажение полногласной формы, yabāγu (ближе, чем общепринятая арабская транскрипция, передающая фонетику оригинала), сводящееся к неправильной расстановке диакритических точек. Наличие такой полногласной формы подтверждается текстом Гардизи, упоминающего о племени «ябагу халлухов»[5], с чем Бартольд вполне основательно сопоставляет титул карлукских ханов у Сам'ани и того же Гардизи «джабгуйе» и орхонское «ябгу»[6].

---

[1] Ed. Chavannes. Documents sur les Tou-kine (turcs) occidentaux. Сб. «Труды Орх. эксп.» Спб. 1903, VI, стр. 4, 14, 48 и др. (в дальнейшем цитировании—«Doc.»)—Иакинф. Собр. свед. 1, отд. II, стр. 282—283 (в дальнейшем цитировании «Собр. свед.»).

[2] Doc., p. 4, 4, 22 sq; Собр. свед., стр. 292—293.

[3] Doc., p. 174; Собр. свед., стр. 340—346.

[4] B. Karlgren. Analytic Dictionary of Chinese and Sino-Japanese под № 1256 (стр. 356) и 569 (стр. 184).

[5] Ernst. J. Eitel Handbook of Chin. Buddism being a Sanskrit Chinese Dictionary II ed., Hongkong, 1888, стр. 127. На несторианском памятнике 681 г. в Сиани группой иероглифов 阿羅本 передается имя «Рувим», т. е. интересующий нас иероглиф «ло» служит для передачи слога «ру».

[1] Radloff. Uigurische Schprachdenkmäler, Len. 1928. стр. 54.

[2] Ср. Doc., стр. 321.

[3] 2K14, I; 12, 10 и др.

[4] W. Bartold. Die historische Bedeutung der Alttürk. Insch., стр. 17. У Махмуда Кашгарского (III, 24, 13).

[5] В. Бартольд. Отчет о поездке в Среднюю Азию. «Зап. Академии Наук по ист.-филл. отд.», т. I, № 4, СПБ, 1897, текст Гардизи, 81—82; перев. 104—105.

[6] Там же, прим. на стр. 104.

Нельзя не отметить также встречаемого у того же Гардизи и других авторов титула «пейгу» (peyγu), может быть, также графическое искажение yabγu[1]. Маркварт дает следующие варианты арабской транскрипции этого титула جَبْغُويه, يَبْغو и بياغو и يبغو, причем отмечает факты искажения двух последних форм в peyγu и biyāγu. (Ср. Wehrot und Arang стр. 143, 147)[2]. Во-вторых, китайские и арабские источники—Суй-шу, Табари и Са'алиби, сведенные вместе, дают нам возможность идентифицировать и двух других главных действующих лиц рассказа Нишабури-Нершахи с историческими лицами, которые упоминаются указанными хрониками и время действия которых падает также на 80-е годы VI в.

Уже Маркварт[1] сделал попытку идентифицировать Чуло-хэу с Šaba (شابه) «верховным царем тюрков»[2], который, согласно Табари, в 588 г. во главе 300 000 воинов вторгся в Восточный Иран и достиг Бадгиса и Герата одновременно с вторжением в иранские пределы византийского императора—через Сирийскую пустыню и хазарского царя—через Дербентский проход.

Действительно, данные Табари, говорящего о смерти Шабы в 588 г. «от раны стрелой» во время сражения с иранским полководцем Бахрам-Чубином[3], совпадают с показаниями Суй-шу[4] о смерти Чу-ло-хэу в 588 г. во время похода на запад «от раны стрелою».

Однако необходимо отметить важные для нас подробности о военных действиях Шабы и Бахрам-Чубина, сообщаемые Са'алиби[5]. Вслед за убийством Шабы Бахрам-Чубин осадил сына Шабы Barmoûdha в городе Пейкенде, захватил этот город, взял Barmoûdha в плен и захватил богатейшую добычу, в частности огромное количество драгоценностей, среди которых упоминаются «сокровища Афрасиаба и Арджаспа и корона, пояс и серьги Сиявуша»[6].

Но прежде чем перейти к анализу этих свидетельств, необходимо вернуться к ономастическому материалу рассказа Нишабури-Нершахи: к имени второго действующего лица этого рассказа—сына Кара-Джурина Шири-Кишвара. Это явно иранское имя, несомненно, является переводом тюркского имени Il-Ars-

---

[1] Бартольд, указ. соч., текст, стр. 102.

[2] Не исключено, что заключительное «хэу» 侯 (архаическое чтение этого иероглифа, восстанавливаемое Карлгреном, B. Karlgren, цит. соч. № 79, стр. 57). 'γəu имени кагана может скрывать за собой тюркское qara («черный»). Иероглиф имеет в китайском языке значение «князь», что, конечно, не исключает возможности использования этого иероглифа для фонетической передачи части имени тюркского князя, имеющей совсем иную семантику. Это особенно вероятно в связи с тем, что ни предшественники Чуло, ни последующие восточно-тюркские каганы не носят титула «хэу». Не невероятно и иное толкование: 侯 могло заменить (подобного рода замены, как мы знаем, в практике китайской бюрократии довольно часты) одно из нескольких созвучных с «хэу» китайских слов со значением «черный», например, «хэй» 黑 «черный». Именно эта двусмысленность иероглифа могла обусловить передвижение его на конец имени, так как из определения к имени он в сознании китайского редактора текста превратился в определяемое именем слово. Характерно, что титул «ябгу», который должен был бы по законам тюркского (как и китайского) синтаксиса стоять в конце (как он и стоит к имени известного западно-тюркского кагана Туншеху, правившего в 10—20-х годах VII в.), в китайской передаче имени оказался в начале, т. е. слово, воспринимаемое как часть варварского личного имени, встало на место воспринимаемого как китайский титул и обратно. При таком предположении мы можем гипотетически восстановить все имя Хэу-Чу-ло-Ше-ху, т. е. Qara-Čury-jabγu.

[1] J. Marquart. Historische glossen zu den alttürkischen Inschr., стр. 188—189.

[2] В Šaba нужно видеть транскрипцию одного из вариантов произношения титула «ябгу». Дальнейшие заключения Маркварта, пытающегося видеть в «Шаба» Истеми-Кагана, основателя Западно-Тюркской империи (W. и A., стр. 147), ничем не подтверждается, если не принять его идентификацию Абруй-Вариз, в свою очередь основанную лишь на весьма отдаленном созвучии.

[3] Tabari, op. cit Noldeke. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden aus d. arab. Chr. d. Tabari. Überzetzt. v. Nöldeke, Leyden, 1879, стр. 271,

[4] Суй-шу LI, LXXXIV, стр. 4 в Doc. 243.

[5] Tha'âlibi. Trad. Zotenberg, стр. 653—655.

[6] Характерно, что арабы в Пейкенде также берут особенно крупную добычу, в том числе большое количество ценного оружия. Al Tabari II, p. 1189; Бартольд, Туркестан, II, стр. 184.

lan с тем же значением «лев страны», «лев государства», «лев племени»[1].

Между тем имя сына Шабы, отождествляемого Марквартом с Чуло-хэу, в свою очередь идентифицируемого нами с Кара-Джурином Биягу, как передает Динавари[2], было Yertegin — يرتكين или Yeltegin (тюркское Yer «земля» Iel←äl←→il «союз племен», «государство»).

Тип тюркских имен этой эпохи заставляет предпочитать из двух вариантов, даваемых Динавари, именно Iel (resp Il)-tegin.

Все имя переводится как «князь страны», «князь государства». Первая часть имен сына Шабы и сына Кара-Джурина—Iel←→il «страна», «государство» — таким образом совпадают. Однако весьма вероятно, что в арабской передаче выпала средняя часть имени, которое могло звучать как Il-Arslan-tegin—князь лев страны (государства).

Однако, помимо чисто филологических соображений, наше отождествление, опираясь на отождествление Маркварта, в свою очередь поддерживает его, ибо в свете рассказа Нишабури-Нершахи становится ясным, почему именно Пейкенд оказался резиденцией этого тюркского князя, и отпадает единственное возражение Шаванна против гипотезы Маркварта[3]: Mais Tch'ou-lo-heou appartenait à la branche des Turcs septentrionaux et ne devait pas avoir sa residence à Baikand (заметим в скобках, что деятельность Чуло-хэу относится к периоду, когда только начинается распад тюркского каганата на восточный и западный).

Однако вернемся к третьему и наиболее интересному для нас персонажу рассказа Нишабури-Нершахи—Абрую.

Суй-шу содержит рассказ о борьбе Ше-ху-Чу-ло-хэу против Або-кагана, происходящей где-то на западе и заканчивающейся взятием в плен и, повидимому, казнью Або (阿波).

Фонетическая близость этого имени с интересующим нас именем пейкендского узурпатора[4] заставляет обратиться к данным биографии Або, содержащимся в Суй-шу и Тан-шу.

Согласно этому источнику, Або является не собственным именем, а титулом Далобяня (大邏便), сына общетюркского кагана, правившего между 566 и 572 гг., Мугаяя, младшего брата основателя тюркского государства Тумыня (Бумынь орхонских текстов) и Исиги (Истеми орхонских текстов)[1].

Весьма вероятно, что в определении происхождения титула Абруй=*Аварич, тождественного, как мы видим, с китайским Або—*Ā-βar, прав Маркварт. Как титул ябгу являлся титулом кушанско-юечжийского происхождения, так титул *Aβarwi или *Aβarič—мог быть титулом эфталитским, принятым занявшим резиденцию эфталитов Пейкенд тюркским вождем. Больше того. Как мы попытаемся показать ниже, социальная политика Абруя во многом перекликается с социальной политикой эфталитских правителей. Весьма возможно поэтому, что принятие Далобянем эфталитского титула являлось своего рода политическим символом, отражающим обязательство со стороны Далобяня продолжать социальную политику его эфталитских предшественников.

Далобянь был трижды обойден при престолонаследии, что объясняется, по Тан-шу (момент, который нам особенно важно отметить), тем, что «мать его была низкого происхождения», в результате чего съезд тюркских вождей воспротивился его избранию[2]. Вероятнее всего

---

[1] Ср., например, имя хорезмшаха Иль-Арслана (1156—1172) и многочисленные тюркские имена, сложные как с «Иль», так и с «Арслан». Отождествление перс. Шири-Кишвара с тюркск. Иль-Арслан впервые дает Ch. Schefer. Chrest. persane I, 15, n. 1.

[2] Abu-Hanifa, ad Dīnaweri. Kitab al Ahbār wa t-Tivâl, publié par Wb. Quirgass. Leipzig, 1888, стр. 84.

[3] Doc., стр. 243, note 3.

[4] Имя, читаемое из современного китайского А-бо, при восстановлении архаического чтения слагающих его иероглифов, которое дается Карлгреном (№ 1, стр. 35 и № 753, стр. 229) читается как â-puâ. Фонетическая часть иероглифа 波 восстанавливается как b'jie, что дает возможность предполагать и еще более близкую к персидской передаче форму. Впрочем, еще вероятнее сопоставление интересующего нас иероглифа с современным нашим событиям употреблением иероглифа 波 при транскрипции чужеземных имен для изображения слога par-bar, ср. 波斯 для передачи слова Parsa (совр. 波剌斯 ср. Eitel, op. cit. p. 116).

[1] Doc., стр. 219.

[2] Иакинф дает такой перевод интересующего нас отрывка Тан-шу: «Когда он (Тобо-хан) скончался, то в орде хотели поставить Далобяня, но, так как мать его была низкого происхождения, то собрание чинов воспротивилось сему» (Собр. свед. 1, отд. II, стр. 276). St. Julien (стр. 354—355) придает отрывку совершенно иной смысл: «Les grands de la nation voulurent

предположить, что матерью Далобяня была рабыня—наложница Мугань-кагана, что ставило сына последнего вне господствующей касты.

В борьбе против сменившего Янло (опять минуя Далобяня) кагана Шаболио он терпит жестокое поражение и вынужден бежать на запад к своему дяде Дату-хану, бывшему «ханом западной страны». Здесь группируются многочисленные беглецы из прежних владений Або-Далобяня и других враждебных Шаболио родов. Эти возглавляемые Або-Далобянем враждебные господствующей группировке ка-

---

placer Talo-pien sur le tron; mais comme sa mère était d'une famille obscure, le peuple ne voulait point se soumettre à lui». Chavannes переводит так: «Les gens du pays, considerant que la mère de ce dernier était de basse extraction ne voulurent pas lui (Talopien) donner le pouvoir. В тексте Тан-шу CCXV, стр. 6а мы читаем:

совершенно противоположный тому, который придает Жюльен. Так, Бэй-ши, XCVIII, 5а, рассказывает о приходе к власти правившего после 414 г. кагана жуань-жуаней Датаня, говорит:

«Датань... прежде управлял отдельным подразделением войска и, охраняя западную границу, сумел привлечь к себе множество (людей). (Поэтому) люди государства возвели его на престол под именем Мухань Гешенгай кагана».

佗鉢死先令戒其子菴羅必立大
邏吏國人以其母賤仁肯立而卒立菴羅

大檀先統別部鎮於西界能得衆心國人推
戴之號年汗統弁益可汗

что в буквальном подстрочном переводе значит следующее: «Тобо каган перед (своей) смертью завещал своему сыну Янло обязательно поставить (каганом) Далобяня. Люди государства (го-жень 國人) по причине того, что его (Далобяня) мать была низкого происхождения (буквально—«по причине низости, презренности, 賤 его матери»)—«и ци му цзянь» не согласились (его) поставить, а в конце концов поставили Янло». 國人 редко встречающееся сочетание слов, которое, однако, никак нельзя перевести «peuple». В современном тексте мы бы еще могли ожидать 國民, в текстах же исследуемой эпохи в этом смысле мы встречаем просто 民. Мы встречаем это сочетание в тех случаях, когда необходимо подчеркнуть, что речь идет о жителях определенного государства, противопоставляемых жителям других государств. Слову «го» в таком случае предпосылается то или иное определение («люди такого-то государства», «люди нашего государства» и т. д.). Например, в Ши-цзи (CXXIII, 7 в.):

大夏國人日吾國人往市之身毒

«люди государства Дахя (Бактрии) сказали (Чжан-Цяню): «люди нашего государства ездят торговать в Шэньду» (Индия).

В тех случаях, когда сочетание «го жень» употребляется без определения к «го», указывающего, о каком государстве идет речь, термин приобретает оттенок,

Иакинф (Собр. свед., 1, стр. 212) здесь совершенно правильно переводит «го жень» термином «вельможи». В CCXXI главе Тан-шу, стр. 2а, при описании событий в Самарканде в конце VII и начале VIII в. мы находим термин «го жень» опять в том же контексте: 國人立突昏爲王

«(после смерти правителя Самарканда Ни-не-ши-ши) люди государства поставили царем Тухуня (Тархуна)» Шаванн переводит, как и в нашем случае: Quand il mourut les gens du pays donnerent le titre de roi à Touhoen (Doc., p. 136). И здесь вновь более прав Иакинф, переводя «по смерти сего старейшины поставили владетелем Тухуня» (Собр. свед. III, стр. 240). 國 «государство», в качестве определения к имени, большей частью придает последнему особый оттенок определенного превосходства, причастности к государственной власти—ср: 國子 «наследник престола», 國書 «Го-шу — «государственное письмо» в двойном значении «государственной грамоты» (документа) или «государственной (официальной) письменности», 國弓

ганата элементы ведут в период между 581 и 584 гг. активное наступление против Шаболио. Последний был вынужден в 584 г. обратиться за помощью к Суйскому правительству Китая, приславшему в ответ на это вспомогательное китайское войско, при помощи которого Шаболио удалось разбить Або[1].

Этот поход, происходивший между 584 и 587 гг., возглавлял ябгу Ше-ху Чуло-хэу (являясь, вероятно, ябгу «Западного края», поставленным центральным правительством переживавшего глубокий политический кризис каганата)[2].

Необходимо отметить, что описание этих событий Суй-шу противоречиво. Повествуя о событиях царствования Шаболио между 584 и 587 гг., Суй-шу говорит о взятии Або в плен войсками Шаболио. При описании событий царствования Чуло-хэу (587—588 гг.) вновь рассказывается о походе его на запад и пленении им Або[3]. Это заставляет нас предполагать, что речь здесь идет об одном походе, происходившем в 585 или, вероятнее, 586 г., и Чуло-хэу возглавлял этот поход, действуя как полководец Шаболио.

Это становится особенно вероятным, если мы обратим внимание на то, что, по Са'алиби, Бахрам-Чубин, восставший против Хормизда и разбитый его сыном и преемником Хосровом Первизом, заключает союз с тюркским каганом—сыном своего недавнего врага Barmoûdha[1].

Между тем в Суй и Тан-шу мы находим, что после смерти Далобяня каганом Запада стал сын Ян-со-тегина Ниликаган, который правил во время восстания Бахрам-Чубина[2].

Имя Ян-со может являться транскрипцией турецкого имени Арслан[3]. При принятии этого положения для интерпретации рассказа Са'алиби нужно будет, как это делает Шаванн[4], прибегать к допущению, что под «каганом тюрков» надо понимать какого-то местного князя.

Тексты арабского и китайских источников взаимно подкрепляют таким образом друг друга и делают нашу идентификацию еще более вероятной.

В свете этих положений становится на свое место и рассказ Нишабури о прибытии в Бухару дочери «китайского царя» в роли невесты.

Если китайские хроники не содержат абсолютно никаких сведений о браке китайской царевны с каким-то бухарским князем, то нам хорошо известно, что сын отождествляемого нами с Barmoûdha (Иль-Арслан-Тегином) Ян-со Тегина был женат на китаянке[5].

Принимая эту идентификацию, мы должны предположить, что Нишабури допустил ошибку, говоря о том, что Шири-Кишвар правил 20 лет. Но зато подтверждается его рассказ о двух царях, правивших в Бухаре после смерти Далобяня, и становится понятным, почему непосредственно вслед за рассказом об их правлении идет повествование о событиях правления халифа Абу-Бекра (начал править в 632 г.).

го-шоу—буквально «государственная рука» в смысле «выдающийся мастер». В силу этого нам представляется более основательным сохранить дословный перевод 國人 «люди государства», со значением, близким к обиходному русскому выражению «государственные люди». Перевод Жюльена должен быть совершенно отброшен как полностью искажающий действительный смысл. Перевод Шаванна ближе к смыслу подлинника, но «pays» должно быть заменено «état», ибо слово «го» имеет более политический, нежели территориальный оттенок. Наконец, всего ближе к смыслу подлинника перевод Иакинфа—«собрание чинов», т. е. «причастные к управлению государством люди»—вельможи, старейшины.

[1] Собр. свед., стр. 279—281.

[2] Титул «ябгу», представляющий для нас особый интерес, исторически, повидимому, связан именно с западно-тюркским каганатом, являясь специальным титулом его правителя и лишь впоследствии, во втором тюркском каганате, получая более расширительное употребление.

Неоднократно указывалось на генетическую связь этого титула с титулом кушанских, т. е. юечжийских царей, зафиксированных нумизматическими данными в форме yavuga (kušanayavugasa).

См. E. Drouin. Chronologie et numismatique des rois indo-skythes R. N. (extrait), Paris, 1888, стр. 35, 39; ср. Rapson. Indian coins. Strassburg 1896 Pl 11 № 7 и китайскими источниками в форме хи-хэу—по Шаванну hi heou—yap.-heou, (ср. Ed. Chavannes. Les Pays d'orient d'après le Heu Hau Chou, стр. 43, mob. 31 J. Kennedi. The Secret of Kanishka J. R. a S. 1912, Juli, стр. 668—669.

A. Gutschmitd. Gesh. Irans. Tübingen. 1888. стр. 114.

[3] Собр. свед., стр. 282.

[1] Tha'âlibi trad. Zotenberg, стр. 653. Ср. Doc., стр. 245.

[2] Суй-шу, XXXIV, стр. 7а. Тан-шу; CCXV в., стр. 2. Doc., стр. 14, 49—50.

[3] Хотя для VIII в. мы имеем иную, более близкую к подлиннику транскрипцию этого имени А-си-лань (ср. Doc., стр. 317), однако, вполне вероятна более ранняя транскрипция этого имени. Использование иероглифов «ян-со» для фонетической передачи интересующего нас имени вполне допустимо.

[4] Doc., стр. 245. Ср. также стр. 243.

[5] Суй-шу, там же.

Сын и преемник Нили-кагана (согласно нашей идентификации, сына Barmoûdha и внука Чуло-хэу) Чуло-каган правил до 618 г., и с ним пресеклась эта линия западно-тюркских каганов[1].

Вполне понятно, что наш источник, остановившись на правлении имевших резиденцию в Пейкенде и Бухаре «падишахов», переходит к событиям, связанным уже с правлением бухархудатов, и отмечал наиболее важные из них, отделенные от даты падения Чуло-кагана очень небольшим сроком.

Все изложенные выше соображения можно свести к следующему: 1) близость собственных имен трех главных действующих лиц бухарской легенды и китайских хроник и хроник Табари, Са'алиби и Динавари, 2) факт бегства Або на запад и пленения его Чуло-хэу, передаваемый китайскими хрониками, 3) совпадение передаваемых Са'алиби сведений о Пейкенде, как о резиденции сына Шабы, с рассказом легенды о передаче Пейкенда Кара-Джурином (resp. Шабой) своему сыну Шири-Кишвару, 4) совпадение устанавливаемой этим путем датировки описанных в легенде событий серединой 80-х годов VI в. н. э. с извлекаемыми из текста легенды сведениями, что между этими событиями и 632 г., т. е. на протяжении около 45 лет, в Бухаре правили два царя, первый из которых правил 20 лет; это позволяет считать установленным, что события, описанные в рассказе Нишабури-Нершахи, являются историческим фактом, имевшим место около 585—586 гг. н. э.

Исторические факты, скрывающиеся за «легендой об Абруе», в свете предшествующего анализа далеко перерастают рамки случайного эпизода из истории домусульманской Бухары. Увязанные с показаниями китайских хроник данные Нершахи-Нишабури становятся важным источником для истории обширной территории от Китайской стены до границ сасанидского государства. Однако выяснение содержания этих событий наталкивается на весьма значительные трудности.

Мы оказываемся здесь в положении, обычном при работе над вопросами древней истории Средней Азии и сопредельных стран. Анализ конкретных исторических событий, развертывающихся на определенном отрезке времени, тормозится крайней неудовлетворительностью разработки вопросов истории смежных периодов, полной неясностью того исторического «заднего плана», на фоне которого разыгрывается исследуемый общественный конфликт. Это вынуждает нас несколько выйти за рамки поставленной нами темы и попытаться в пока еще скудном и слабо освещенном материале по истории этого периода нащупать те данные, которые позволят нам подойти к решающему вопросу нашей темы,—вопросу о движущих силах анализируемых событий.

III. КРИЗИС ТЮРКСКОГО КАГАНАТА В 80-х ГОДАХ VI В. Н. Э. И ВОССТАНИЕ АБО-КАГАНА

События, составляющие предмет нашего исследования, произошли в десятилетие, являющееся критическим в истории тюркского каганата. Достигнув в 70-х годах VI века апогея своей мощи, в 80-х годах он вступает в полосу политического кризиса, приведшего его к распаду на восточный и западный каганаты. Через несколько десятилетий, после краткого периода нового подъема, обе части государства попадают в зависимость от Китая.

Если мы сопоставим события в каганате с датами китайской истории, то увидим, что подъем политической мощи каганата относится к тридцатилетию 552—582 гг., совпадающему с периодом глубокого политического кризиса после распада Юань-Вэйской империи (534 г.) и до нового объединения Китая под властью династии Суй (581 г.).

Датой, которой начинается обычно история тюркского каганата, является 552 г., год, когда Тумынь-каган (Бумынь-каган по орхонским надписям), основатель династии тюркских каганов, возглавивший восстание северо-западных племен—данников каганата жуань-жуаней или жужаней, разбил главу последнего, Анахуаня, и захватил политическую гегемонию в Центральной Азии в свои руки.

Государство жуань-жуаней, на смену которому пришел тюркский каганат, представляет крайне интересное историческое образование. Оно явилось одним из своеобразных проявлений классовой борьбы в государстве Тоба-Вей, одним из продуктов революции рабов в Китае, происходящей здесь, как и на Западе, в неразрывной связи с завоевательными движениями варварских племен.

[1] Единственным аргументом Шаванна (цит. соч., стр. 3) в его попытке отождествить Ян-со с сыном Дату кагана Ту-леу является глухое упоминание китайского текста о том, что сын Ту-леу Шегуй был младшим братом Нили-кагана. Если мы учтем, что они действительно были четвероюродными братьями, причем Нили—членом старшей восточной линии, это возражение отпадает само собой, тем более, что контекст обеих китайских хроник (Doc., 18—21, 51) резко противопоставляет линию Ян-со в лице Чуло-кагана и линию внуков Дату в лице Шегуя.

Кризис рабовладельческого хозяйства Китая, первые признаки которого выступают уже в реформах Ван-мана и восстании «желтых тюрбанов» и который приводит к разрушению политического здания Ханьской империи в III в. н. э., приобрел крайне затяжной, сложный и противоречивый характер. Хотя варваризация Китая, начавшаяся задолго до крушения Ханьской империи и приведшая в IV в. к превращению Северного Китая в совокупность варварских государств, подготовляет в конечном итоге торжество феодальных отношений, однако анализ общественного строя этих варварских государств, в частности интересующей нас Вэйской империи, показывает, что эта конечная тенденция отнюдь не мешала тому, что варварские завоевания нередко вели к своеобразному омоложению рабовладельческих отношений, в военно-демократическом строе варваров-завоевателей получавших новую базу для своего развития[1].

В частности в Вэйской империи, включившей, помимо Северного Китая, также и значительную часть старых западных владений Ханей, рабовладельческие отношения выступают в весьма развитом виде.

О степени их распространения говорит известный аграрный закон 564 г., когда наряду с установлением норм землевладения была сделана попытка регламентировать рабовладение, причем нормой количества рабов в хозяйстве, в зависимости от социального ранга рабовладельца, была установлена цифра от 60 до 300— последняя для хозяйств ближайших родственников правителей[2]. Общая уравнительная тенденция закона, нормы которого отражают скорее известную политическую программу, чем реальное положение, позволяет предполагать, что амплитуда колебания количества рабов в отдельных хозяйствах была значительно больше. В частности нет никаких сомнений в том, что наряду с крупными и мелкими рабовладельцами налицо был достаточно мощный слой мелких производителей, вовсе не эксплоатировавших рабского труда и, как показывают нам данные по истории Китая этого периода, стоявших на пути к полному разорению и пауперизации. Аграрное законодательство, начиная с младшей династии Хань, и ставит своей задачей смягчение последствий этого процесса, пагубно отражавшегося на фискальных интересах государства. Во всяком случае, однако, закон отражает типично рабовладельческую систему хозяйства, и свободный мелкий сельский хозяин-налогоплательщик выступает перед нами отнюдь не как крестьянин феодального общества, а как один из действительных или потенциальных носителей рабовладельческой собственности. Эта высокая степень развития рабства определяет и путь развития классовой борьбы, продуктом которой, как мы отметили, являлось образование государства жуань-жуаней.

По данным Бэй-ши, основателем государства был раб-кочевник 奴…后本姓名, бежавший из вэйских владений и начавший свою политическую карьеру во главе вооруженного отряда, состоявшего примерно из сотни беглых рабов. Уже при сыне и преемнике его Гюйлухое этот отряд, значительно разросшийся, становится ядром своеобразного кочевого военно-рабовладельческого государства[1], ведущего, начиная с последнего десятилетия IV в., с переменным успехом борьбу против Тоба-вэй.

В начале V в., после завоевания культурной полосы Восточного Туркестана, каганат жуань-жуаней превращается в обширное политическое объединение, правящая верхушка которого господствует над территорией от Харашара на западе до границ Кореи на востоке и от Забайкалья до Великой китайской стены.

Весьма существенным моментом является тот отмечаемый «северной историей» факт, что ставка жуань-жуаньского кагана находилась

---

[1] Это характерно не только для истории Китая. См. по этому вопросу наши работы «Военная дипломатия и проблема генетической революции» в № 7—8 «Проблемы ИДО», стр. 210 сл., а также в «Изв. ГАИМК», вып. 103, стр. 182 и 383—384 и в «Советской Этнографии», 1932, № 2, стр. 58—59 и 77—78.

[2] K. Penghua Lee. The Economic History of China. Studies in History Economics and Public Law, edited by Columbia University V. XCIX, New York 1921-22, стр. 225.

[1] Бэй-ши, XCVIII, стр. 1 сл. О строе государства жуань-жуаней, стр. 3а. Собр. свед., I, стр. 205 сл.; Doc., стр. 221.

Известны и другие примеры возникновения рабовладельческих государств в результате удачного восстания рабов. Таково было, в сущности, просуществовавшее около 15 лет государство рабов-зинджей, возникшее в результате рабского восстания на нижнем Тигре (Th. Nöldeke. Ein Sklavenkriegen im Orient. Orientalische Skizzen, стр. 153 след.).

Шурц называет много государств, основанных беглыми рабами в Африке; в Того (сел. Бомбата), «государство Кабьюна, которое было основано, по словам Чекки, одним изгнанным из соседнего государства претендентом на трон и благодаря притоку рабов, авантюристов и преступников достигло страшной силы».

Особенно интересно государство Гоша, возникшее таким же путем, где каждый беглый раб принимался в среду свободных, но граждане сами имели рабов, приобретаемых путем войны и покупки. «История первобытной культуры», пер. Смирнова, СПБ (год не указан), стр. 168; там же см. о новозеландском племени, образовавшемся из беглых рабов. О туркменских племенах, образовавшихся из восставших и беглых рабов, см. Абуль-Гази. Родословная туркмен, Асхабад, 1897, стр. 67—70.

близ Дунь-хуана[1], являвшегося, как известно, одним из древних центров согдийской колонизации на границах Китая[2].

Каганат жуань-жуаней, возникший таким образом в процессе классовой борьбы в Вэйской империи, как бы восстанавливает в обстановке кризиса и распада рабовладельческого Китая древнее государство восточных хуннов, также объединявшее под своей гегемонией территорию от земледельческих оазисов и торгово-ремесленных городов Центральной Азии до кочевых и охотничьих племен Южной Сибири.

Образовавшееся в середине V в. в бассейне Аму-Дарьи сильное государство эфталитов[3], сменившее Кушанское царство, переживавшее период распада, превращается в серьезного врага жуань-жуаней на западе.

Наряду с завоеванием Согдианы, Тохаристана и Чаганиана, эфталиты, по данным Лян-шу[4], в начале VI в. подчинили себе города-государства Восточного Туркестана— Карашар, Кучу, Кашгар, Хотан и другие. Именно с этого момента падение жуань-жуаньского каганата движется особенно быстро. Мы должны особенно подчеркнуть этот момент: анализ истории как предшествующих, так и последующих центрально-азиатских государств с гегемонией кочевников показывает, что связь северных ставок кочевых царей с городами юга является одной из важнейших предпосылок самого существования центрально-азиатских кочевых империй. Если даже очень крупные поражения, понесенные в степи, отнюдь не всегда влекут за собой распад государства, то потеря городов Восточного Туркестана оказывается, как правило, ударом, от которого кочевым царствам уже не удается оправиться. Вслед за потерей городов, через более или менее продолжительный срок, наступает политический распад кочевых царств и либо подчинение Китаю, либо переход гегемонии в руки другого политического объединения кочевников[5].

Факт перехода восточного Туркестана под власть эфталитов требует, однако, объяснения, которое мы и находим в ожесточенной борьбе внутри правящей группировки каганата жуань-жуаней. Борьба эта является прототипом борьбы в тюркском каганате, памятником которой являются анализируемые тексты танской и суйской хроник и кошоцайдамские надписи.

От периода правления Фугудунь-кагана Дэулуня (конец 80-х—начало 90-х годов V в.) до нас дошли сведения о наличии двух партий при дворе кагана: «Дэулунь был человек жестокий, склонный к убийствам. Именитый вельможа его Шилохэу несколько раз из преданности увещевал его; еще советовал ему заключить мир с домом Вэй и не производить нападений на Срединное государство. Дэулунь рассердился, оклеветал Шилохэу, будто он замышлял бунт, казнил его и истребил род его в трех коленах»[1]. Мы видим, с одной стороны, военную партию, представленную каганом, с другой,— партию, стоящую за мир с Китаем (последнее означало в исторической обстановке того времени известную зависимость от Китая), причем ее представляет один из «именитых вельмож» каганата.

В то время как за спиной кагана стояла основная масса свободных воинов-кочевников, Шилохэу выступал от лица таких же, как он, «знатных вельмож», крупной скотовладельческой аристократии, искавшей во вновь усилившейся, правда, на короткое время, Вэйской державе опоры для господства над своими соплеменниками[2]. Военно-демократический и аристократический элементы кочевого государства выступают здесь так же, как и в позднейших социальных конфликтах в Центральной Азии[3].

Вэйский Китай наносит каганату, ослабевшему из-за внутренней борьбы и переплетающихся с ней династийных распрей, удар за ударом. В 506 г. вэйский император имеет основание заявить: «Ныне жужаньский дом упал; и в непродолжительном времени он потеряет свои земли»[4]. Это «пророчество» вполне оправдывается ходом дальнейших событий. Последний жуань-жуаньский каган Анахуань уже признает себя вассалом Китая и лишь при его поддержке побеждает сильную враждебную партию в каганате и приходит к власти.

В этой обстановке не прекращаются восстания кочевых племен-данников[5] против ослабевшего каганата. Подобное восстание племен северо-западных окраин каганата, которых Анахуань еще в 546 г. презрительно именует

---

[1] Собр. свед., 209; Doc., стр. 221. Бэй-ши, XCVIII, стр. 3в.

[2] H. Reichelt. Soghdischen Handschriftenreste des Britische Museum II, Heidelberg, 1931, стр. 4 сл.

[3] Doc., стр. 223.

[4] Лян-шу, LIV, стр. 3а; Doc., стр. 224.

[5] Эту тесную взаимосвязанность кочевников и земледельцев ярко подчеркивает, в преломлении через общественное сознание кочевой аристократии, приводимая Махмудом Кашгарским (II, 224) тюркская пословица: tatsyz türk bolmas, bašsyz bürkbolmaz: «нет тюрка без тата (т. е. оседлого данника), нет шапки без головы». О термине tat см. ниже.

[1] Собр. свед., I, стр. 221.

[2] О характере классовой борьбы в центрально-азиатских кочевых государствах античности и раннего средневековья см. нашу работу в «Проблемах ИДО» № 7—8 за 1935 г., стр. 207. См. также нашу работу в «Известиях ГАИМК», вып. 103, стр. 179—180.

[3] Развернутую аргументацию этого положения—см. наши цитированные работы.

[4] Собр. свед., стр. 222.

[5] Ср., например, восстание племени Толас, около 546 г.

«своими рабами-кузнецами»[1], принесло Анахуаню гибель и привело к возникновению нового мощного политического образования тюрок ту-кюэ на смену государств жуань-жуаней и эфталитов. Оно (правда, очень не надолго) за 650 лет до Чингис-хана сумело объединить в одно политическое целое огромную территорию от Каспия до Великой китайской стены.

Тюркский каганат является крупным и сложным политическим объединением[2]. Основное ядро этого объединения составляет союз кочевых племен, получающий в орхонских надписях имя «эля тюркского народа» (türk budunyäli)[3].

Термин «эль» (äl~il)[4] переводится Радловым как Stammgemeinschaft, а Мелиоранским «племенной союз», причем последний автор добавляет: «Из многих мест надписей видно, что äl'ем называлось далее и «государственное устройство» и «самостоятельная государственная жизнь» той или иной группы кочевников».

Нам представляется наиболее адэкватным перевод термином «государство» в античном понимании этого слова в политическом, а отнюдь не территориальном значении. Точнее «гражданская община», или, по прекрасному определению Маркса, «община активных граждан»[5].

По своему смыслу, видному из его употребления, слово äl очень близко к греческому πόλις или среднеперсидскому šahr (значение последнего именно как «община активных граждан» отчетливо выступает при анализе среднеперсидского ânšâhrîk[6] «раб»—с буквальным значением—стоящий вне šahra)[7]. С термином äl соотносителен термин budun «народ»[8], также наиболее адэкватно переводимый латинским термином «populus».

«Гражданская община тюркского народа», сложившаяся как объединение целого ряда различных племен[9], социально неоднородна. В ней отчетливо выступает слой родоплеменной знати, во многом напоминающий по своему социальному профилю ранне-античных базилевсов, с которыми вполне основательно сопоставляет В. В. Бартольд царей древней Согдианы[1]. Это прежде всего—беги (bäg)[2]—имя, которое, вероятно, корреспондирует с термином baγ, известным главным образом из енисейских надписей[3], со значением «подразделение народа», «племя»[4].

Рядом с ними, повидимому, несколько ниже на социальной лестнице стоят tarqan'ы[5]—своеобразный патрициат каганата.

Выше стоят высшие магистраты каганата—jabγu[6] и šad[7], наместники кагана в покоренных областях. Обычно эти обязанности выполняли ближайшие родственники кагана. Так, титул ябгу носил, управляя западной частью каганата, брат основателя династии Истеми[8], Бильге-каган-Могилянь, герой и автор орхонских текстов, в юности был шадом над народом Тардуш. Шадом был и его младший брат Кюль-Тегин[9].

---

[1] Чжеу-ши, стр. 1 в., 222. Об этой форме отношений см. ниже.

[2] Общественный строй древних тюрков был объектом анализа в моих работах: «Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах», «Изв. ГАИМК», в. 103, 1934 г., стр. 179 сл. «Военная демократия и проблема генетической революции», «Проблемы ИДО», № 7—8 за 1935 г..

[3] I, 19—21 и мн. др.

[4] Памятник в честь Кюль-Тегина, ЗВО, XII, с. 82.

[5] «Немецкая идеология», т. IV, стр. 12.

[6] Chr. Bartholomae. Zum Sasanidischen Recht III, Stzb der Heid. Akad. der Wiss. Phil. Hist. Kl. 18, Abh. Heidelberg, 1920, стр. 20.

[7] Интересна и заставляет серьезно задуматься судьба обоих слов—греческого и иранского, получающих впоследствии значение «город», уже без представления о «городе-государстве».

[8] Budun несомненно связано с тюркским bütün «все»—в смысле «совокупность».

[9] По китайским источникам, западные тюрки составляли союз десяти, восточные—девяти племен (ср. название toqur oγuz—«девять огузов»); Chavannes, цит. соч., стр. 219. В. В. Бартольд совершенно прав, когда пишет: «Можно признать по меньшей мере вероятным, что слово «тюрки» было политическим термином» (Очерк истории туркменского народа, «Туркмения» I, стр. 10). В специальном исследовании в ВДИ, 1938, № 1 (2), «К истории древне-тюркской социальной терминологии», мы пытаемся доказать, что термин «türk» долго не имел конкретного этнографического содержания, оставаясь социально-политическим термином и покрывая самые разнообразные этнографические группы.

[1] Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии. «Средне-азиатский вестник», Ташкент, июнь 1896 г., стр. 22.

[2] Напр. Ka, 1, 22 и др.

[3] Напр. Ujta, 2, II kk 5, 7; мм II, 3, 1 и др.

[4] Радлов (Ajam, III, Lief., s. 347) переводит «die Volksabteilung (das Geschlecht)».

Мы, однако, предпочитаем перевод «племя», так как, во-первых, baγ является подразделением budun'a (ср. Ujta 2,11—alty baγbuduna bäg ärtim), а во-вторых, для рода в древнетюркском языке существует другой термин uruγ (ср. K 10, 14—ср. K 10, 14—ср. uruγ соврем. туркм., узб. uruq с буквальным значением «семя».

[5] Кв. 12, 23, Ke 3, Xa 12, 7 и др.

[6] K 14, 1, X, 12, 10 и др.

[7] X 15, 7; Xa 7, 13 и др.

[8] Doc., стр. 219, 227 и сл. и др. Marquart, Historische glossen zu den alttürkischen Zuschriften. стр. 183. Термин ябгу, встречающийся в тексте Нишабури, повидимому, как мы показывали выше, первоначально был связан именно с западной частью каганата. Несомненно его юечжийское происхождение.

[9] K 17; X 15: «tanri jaryldagy ärmiš ärinč tört jašymγa Tarduš budun šad ärtim» ср. X 21 «äki šad inim Kül-tägin birlä sözlaštimiz».

Термин шад, как и термин ябгу—западного, средне-азиатского происхождения и, видимо, принесен на восток массагетами-юечжи. Несомненна его связь с согд. ixšid, др. иранск. Xšāyaθiya, откуда и позднейшее «šah» (впервые появляющееся в кушанских надписях).

В орхонских текстах встречается термин tudun[1]. Этот титул носили наместники менее значительных покоренных областей, притом не являющиеся родственниками кагана, основной функцией которых было наблюдение за сбором дани и контроль над местными правителями, при которых tudun'ы представляли правительство кагана[2]. Аналогичной была функция tudun'ов в Хазарском каганате, исторически связанном с первым тюркским каганатом и заимствовавшем у него ряд черт политического строя. Весьма возможно, что вариантом этого титула являлся зафиксированный как орхонскими[3], так особенно енисейскими надписями титул tutuq[4].

Правители подчиненных племенных союзов нередко носят местные титулы—ältäbär[5], ydyqut[6] и др.[7].

Анализируя социальную терминологию каганата, мы видим, что в своем иерархическом расчленении она отражает иерархическое расчленение гражданской общины, являющейся сколком с традиционной родоплеменной организации.

Вожди родов (тарканы), вожди племен (беги) и военный вождь конфедерации (каган) явственно проступают за персонажами орхонских текстов[8].

---

[1] X, 40, 10.

[2] Собр. свед., стр. 346 «Тун шеху-каган... простер власть на весь западный край. Владетелям дал титул сылифа и отправил тутуней для надзора за ними и сбора податей. Ср. Doc., стр. 24.

[3] Ср. К 38 (если принять толкование В. В. Бартольда) или К 31.

[4] Ujta 2, 3; КК 6, 5, 11, 2, 2 и др.; оба титула происходят от глагольной основы tut «держать».

[5] Кв. 3; К III и др.

[6] X, 25, 18 и др.

[7] Характерно же разнообразие титулов местных князей и для Согдианы. См. ниже IV.

[8] О пережитках родоплеменных отношений в каганате ср. А. Н. Берштам. Родовая структура Ту-Гю VI—VIII вв. «Изв. ГАИМК», 100 л., 1933, стр. 560; ср. также работы в «Изв. ГАИМК», 103, стр. 179, сл.; в «Изв. ГАИМК», 148, сс. 141—143.

Мы не можем не отметить имевшего место в недавние годы, но несущего на себе печать отмеченной выше модернизаторской тенденции, стремления толковать аристократию каганата как «феодалов». См. А. Н. Берштам. К вопросу о возникновении классов и государства у тюрков VI—VIII вв. Сб. «50 лет книги Ф. Энгельса «Происхождение семьи»...», изд. АН СССР, Л. 1936, стр. 871 и др.

Не считая необходимым вступать здесь в развернутую полемику с А. Н. Берштамом, под влиянием новых археологических материалов отказавшимся от этой точки зрения, мы должны, однако, констатировать, что никаких данных о феодальных формах собственности и феодальных формах эксплоатации, кроме военной дани, автор привести не был в состоянии. Взимание же дани Маркс, как известно, считает одинаково типичным и для римлян и для турок («К критике политической экономии», ГИЗ, 1930, стр. 66, ср. также «Капитал», 1930, I, стр. 106 и др.). «Türk budun»—народ тюрков—остается в эту эпоху

Однако эта традиционная оболочка оказывается наполненной новым содержанием.

Рабство накладывает свой отпечаток на все стороны жизни тюркского каганата, так же как и предшествующих ему центрально-азиатских государственных образований—каганата жуань-жуаней и, идя глубже, государств хуннов, усуней и др.

Орхонские тексты полны упоминаний о рабстве[1].

Одной из основных задач войн является захват в плен и обращение в рабство неприятелей, наряду с захватом имущества: «Taŋut budunuγ buzdum, oγlyn jotazyn jylqysyn barmyn anda aldym»—«Народ тангутов я разбил, их сыновей, их йотазов, их скот, их имущество я тогда взял»,—читаем мы в надписи Бильге-кагана[2].

Там же, несколькими строками ниже, мы находим: «Tabγač atlyγ süsi bir tümän artuki jäti biŋ süg ilki kün ölürtüm. Jadaγ süsin akinti kün qul...»

«Китайское конное войско, семнадцать тысяч человек, я в первый день умертвил. Их пешее войско на второй день рабами (я сделал)»[3].

В обеих кошо-цайдамских надписях мы читаем: Bars-bäg ärti, qaγan atyγ bunda biz bärtimiz, siŋlim qunčujuγ bärtimiz; özi jaŋylty qaγaŋylti, buduni küŋ-qul boldy».

«Был Барс-бег. Титул кагана мы тогда ему дали, мою младшую сестру в жены ему дали; он провинился (перед нами). (Поэтому) каган умер, народ стал рабынями и рабами»[4].

Особенно красноречиво выражают идеологию этого относительно весьма еще примитивного военно-рабовладельческого общества два известных места из кошо-цайдамских надписей, которые нам уже не раз приходилось цитировать[5].

Говоря о тяжелой судьбе тюрков в период подчинения их Китаю, автор надписей пишет: Tabγač budunqa bägilik ury oγlyn qul boldy (x. qy ldy) silik qyz oγlyn küŋ boldy (x. qyldy)».

«Китайскому народу бегские сыновья сделались рабами, дочери благородных сделались рабынями»[6].

В качестве антитезы этому автор надписей

народом свободных воинов, очень еще далеким от превращения в крепостное крестьянство. Здесь весьма не мешает вспомнить исключительно важные для понимания интересующей нас эпохи замечания тт. Сталина, Кирова и Жданова к конспекту учебника по истории СССР: «В конспекте свалены в одну кучу феодализм и дофеодальный период, когда крестьяне не были еще закрепощены», «Правда» от 17 января 1936 г.

[1] Термины «раб» qul и «рабыня» kün см. К 7, 9; 20, 14, 21, 18; 24, 17 и др. X 17, 12; 20, 15; 18, 8 и мн. др.

[2] З. X, 24.

[3] X, 41.

[4] К, 20; X, 17.

[5] «Изв. ГАИМК», 103, ст. 179—180.

[6] К 7; X 7. Обоснование этого перевода см. «Изв. ГАИМК», 103, стр. 180.

говорит, характеризуя время возрождения-каганата, после восстания Кутлуга и победоносных походов Капаган-кагана: ol ödkä qul qulluγ bolmuš, küŋ küŋlüg bolmuš ärti.

«В то время (наши) рабы рабовладельцами стали, (наши) рабыни стали владелицами рабынь»[1].

Идеология рабовладельца встает здесь во весь рост. Пусть это гипербола, но идеалом общественного благополучия является захват такого количества рабов, которое превратило бы даже прежних рабов тюрков в рабовладельцев[2].

Не меньшее количество данных о захвате тюрками пленных и обращения их в рабство мы находим в китайских хрониках[3]. Мы ничего не узнаем из орхонских текстов о формах эксплоатации рабов, мы узнаем лишь о путях пополнения их количества и о значительности того места, которое рабство занимало в общественном быту каганата.

Крайне интересное указание по этому поводу мы находим в Тан-шу. При описании западной части владений каганата хроника говорит следующее:

«...Город Гюйлосы, в котором также вместе живут торговцы и кочевники. Малых городов считается до трехсот. Они населены китайцами, которых тюрки увели в плен. Пленники еще говорят китайским языком»[4]. Мы видим здесь ясное указание на одну из характерных форм рабовладельческой эксплоатации, получающую особое значение в тех рабовладельческих обществах, в развитии которых война играет ведущую роль[1]. Причина возникновения этой формы рабства коренится в том, что огромный приток рабской силы не дает возможности хозяйствам победителей перестроиться в том направлении, которое позволило бы освоить труд рабов внутри самих этих хозяйств. Это противоречие между относительной примитивностью хозяйства рабовладельцев и обилием рабской силы еще более обостряется в том случае, как это имеет место в Центральной Азии, если рабовладельцы, в данном случае кочевники-скотоводы, заинтересованы в развитии у себя тех отраслей сельскохозяйственного и ремесленного труда, которые не свойственны или мало свойственны кочевому хозяйству и трудно примиримы с ним. Результатом этого и является возникновение обособленных поселений военнопленных рабов, приведенных из культурной полосы и обслуживавших своим земледельческим и ремесленным трудом выросшие потребности кочевой аристократии.

Эта форма рабства прослеживается в Центральной Азии уже со времени хуннов, когда в центре хуннских кочевий возникают земледельческие поселения военнопленных китайцев[2]. Особенно интересные выводы позволяют сделать материалы, которыми мы располагаем для анализа общественного строя усуней (их территория в значительной мере служила базой для формирования государства западных тюрков). Как и у хуннов, у усуней войны ставили своей важнейшей задачей пополнение кадров рабов. Так, в истории первой Ханьской династии, под 71 г. до н. э., мы читаем: «Гуньмо (титул правителя усуней) со своими князьями и 50 000 конницы вступил в земли хуннов с западной стороны и прошел до стойбища Лули князя. Он увел в плен до 40 000 человек, в числе которых были шаньюевы родственники

---

[1] К, 21; X, 18. Я сохраняю предложенное Радловым и Мелиоранским толкование («Тр. Орх. Эксп.», VI, стр. 22)—именно, как и они, добавляю в скобках («наши»). Однако возможно и иное толкование, оправдываемое предыдущим контекстом (ср. К, 7, X, 7), а также К, 13; X, 11 о тюркском народе во время 50-летнего господства Китая говорится küŋdämüs quldamyš—budun. Отсюда можно предположить, что в К, 21, X, 18 под словами «ставшие qulluγ и küŋlüg, разумеются сами тюрки, бывшие «рабы» китайцев, ставшие рабовладельцами.

[2] Интересно, что в древнеегипетской литературе мы встречаемся с той же формулой: «Рабы стали господами рабов» (Лейденский папирус № 344, VII, 9—10. В. В. Струве. Речения Ипувера, М.—Л., 1935, стр. 28). Однако эта формула получает обратный оттенок и должна, по мнению автора текста, подчеркнуть всю глубину падения, которого достиг Египет в результате кризиса «Среднего царства».

[3] Ср. Собр. свед., I, сс. 274, 296 о том, что Хели-каган при вторжении в Китай уводит в плен 5000 мужчин и женщин. Ср. также Собр. свед. I, стр. 353, где особенно интересно указание, что Дулу-каган «соединенными силами ударил на Кангюй и Даами, и, как скоро разбил их, то всех пленных взял себе, а не уделил подчиненным. Полководец его Нишу-Чжо рассердился и отнял свою часть». Дальше рассказывается, что на почве дележа военнопленных возникает междоусобица, приводящая в конечном счете к падению Дулу (события происходят, по Гань-Му, в 641 г.).

[4] Собр. свед., III, сс. 223—224.

[1] Такова Спарта с ее илотами и периойками, такова Фессалия с ее пенестами, государства инков и ацтеков с их посаженными на землю и обязанными оброком военнопленными, масаи с их кастой рабов-ремесленников el-gono, живущих отдельными деревнями, таково фиджийское примитивное государство начала XIX в. Мбау с их «вакаута ни вере»—военнопленными, оставленными на своей бывшей земле, которую они обрабатывают для завоевателей, ряд полинезийских (особенно маори Новой Зеландии) и африканских народов и др. Социальный профиль илотов см., напр., Струве. Плебеи и илоты, «Изв. ГАИМК», Р. В. Шмидт. Из истории Фессалии, «Изв. ГАИМК», 101, стр. 75 сл. и особенно А. М. Золотарев. Общественный строй Спарты в свете этнографии (рукопись, докладывалась в МОГАИМК в 1936 г.) Ср. также у нас в «Изв. ГАИМК», 103, стр. 183. Ср. A. de Préville. Les sociétés africaines. Paris, 1894, стр. 75. D. Steinen. Das Stänke wesen der Polynesier in seine Wirtschaftlichen Bedeutung. Ztschr. für vergleichende Rechtwissenschaft, 1925, стр. 162. Об «илотах» Камеруна см. Goldstein. Die Sklaverei in Nordafrika und in Sudan. Ztschr. f. Socialwissenschaft, 1908, стр. 357.

[2] Собр. свед., I, стр. 72.

и множество знатных предводителей, получил в добычу более 700 000 голов лошадей, рогатого скота, верблюдов и ослов. Всю эту добычу усуньцы взяли себе и возвратились»[1].

Для характеристики социального строя кочевых племен северо-востока Средней Азии, бассейнов верхней Сыр-Дарьи, Чу, Таласа и озера Иссык-куль в первые века до и после начала н. э., т. е. именно в тех районах и в ту эпоху, когда китайские источники говорят об усунях, интересный материал дают исследователи кочевнических погребений этой эпохи и в этих районах М. В. Воеводский и П. М. Грязнов (в 1928—1930 гг.)[2], А. И. Тереножкин (в 1929 г.)[3] и А. Н. Бернштам (1936—1941 гг.)[4].

Резко выделяются два типа погребений. Первый—цепочки больших курганов, до 100 *м* в диаметре и до 10—15 *м* вышиной, состоящие обычно из 10—15 насыпей одной высоты. Цепочки всегда вытянуты с севера на юг. Высота и размеры курганов в различных цепочках различны. Изредка встречаются огромные одиночные насыпи, имеющие вид высоких холмов. Они всегда располагаются в местах больших скоплений курганов. Под каждой насыпью бывает иногда одна, чаще 2—3 ямы, в каждой из которых заключено по одному погребению (мужскому или женскому). При погребениях, к сожалению всегда ограбленных, находится много вещей—глиняная посуда (до 30 штук), золотые бляшки—иногда художественной, повидимому, бактрийской работы, оружие в виде остатков мечей и трехперых наконечников стрел, остатки от китайских лаковых вещей.

Раскопки курганов близ развалин города с башней Бурана к югу от Токмака дали полусферическую хорошо обожженную посуду, остатки китайских лаков, электронные бляхи с китайскими драконами и эллинистическими головками. Судя по данным раскопок у Бурана и близ Каракола, каждая цепочка представляла собой родовое кладбище аристократического рода, а каждый курган—могилы отдельной семьи-поколения. Характерно, что цепочки имеются лишь в долинах, на местах зимовок; в горах, на летних пастбищах, их нет. Это хорошо увязывается с данными китайских и античных источников о погребальных обычаях древних кочевников, говорящими об обязательной доставке покойников для захоронения на родовом кладбище, вне зависимости от того, где застигла их смерть.

В целом инвентарь погребений характеризуется интенсивными связями с греко-бактрийским миром и Китаем и наличием богатого вооружения. Прямую противоположность этому типу представляет синхроничный с ним по определению цитируемых исследователей второй тип: большие курганные поля, иногда из сотен мелких курганов, расположенных густо и беспорядочно.

Под очень небольшой земляной насыпью лежат 1—2 каменных кольца из небольших камней и узкая одиночная могила. Погребения бедные с 3—4 глиняными или деревянными сосудами и изредка бронзовыми украшениями. Оружия нет совсем, так же как и золота и китайских лаков. Нет никаких следов скопления курганов по родам. Чрезвычайно важно, что погребения второго типа встречаются, в противоположность первым, не только в долинах, но и на джайляу, в виде небольших групп из трех—пяти курганов. Это говорит о том, что покойники этой группы погребались поблизости от места смерти и, следовательно, традиция погребения на родовом кладбище здесь отсутствовала.

Нам думается, что совершенно прав А. И. Тереножкин[1], рассматривая эти «сарматские» (по установившейся «рабочей» терминологии, базирующейся на синхроничности и во многом на культурной близости этих погребений с культурой «сарматских» могильников Восточной Европы и северо-западного Казахстана) погребения как погребения населения государства усуней.

Мы считаем, что сопоставление приводимой выдержки из истории первой Ханьской династии с археологическим материалом позволяет нам выдвинуть гипотезу о характере производственных отношений в усуньском государстве. Археологический материал дает нам два социальных слоя: 1) слой, сохранивший родовые традиции в погребальном ритуале, одинаково обладающий вооружением, но имущественно диференцированный на богатых и бедных, и 2) слой производителей, утративших эти традиции и, что также важно подчеркнуть, не имеющих оружия.

Нам думается, весьма мало правдоподобным было бы предположить, что мы видим в последнем слое свободных мелких производителей—усуней. Во-первых, свободный усунь, как и хунну, рисуется китайскими источниками как конный воин, а здесь мы встречаем безоружное, занимающееся одновременно скотоводством и обработкой земли население (о чем говорит наличие остатков проса и ручных мельниц).

---

[1] Собр. свед., III, стр. 69.

[2] Пользуюсь случаем принести благодарность М. В. Воеводскому за ознакомление с приводимым ниже материалом до его опубликования в ВДИ 1938, № 3/4.

[3] См. А. И. Тереножкин. Археологические разведки на р. Чу в 1929 г. «Пробл. истории докапиталистического общества», 1935, № 5—6, стр. 138 и сл.

[4] А. Н. Бернштам. Археологический очерк северной Киргизии. Фрунзе. 1941, стр. 3—4—44.

[1] А. И. Тереножкин, цит. соч., стр. 140.

Во-вторых, это население чуждо родовой организации, которая, как известно, до самого последнего времени была характерной для свободных (хотя бы номинально) производителей этой территории. Повторяем, было бы весьма маловероятным предположение, что население, в массовом масштабе утратившее родовую организацию во II—I вв. до н. э., в дальнейшем по неизвестным причинам вновь ее получило и сохранило до XX в. Объяснить это противоречие можно было бы лишь при помощи универсальной отмычки—миграционной теории, которая, однако, здесь оказывается мало пригодной: как уже установлено, потомки усуней до сих пор под тем же именем существуют и в тех же местах как один из важнейших составных элементов казахов Большой Орды[1].

Единственным вероятным объяснением этого факта является признание массовых, неродовых, лишенных оружия погребений страны древних усуней погребениями многочисленных рабов усуней, о путях пополнения кадров которых говорит нам цитированный отрывок истории старших Хань[2].

Наконец, ретроспективный свет на наш материал проливают гораздо более обильные и прочные данные, которыми мы располагаем для суждения о характере рабовладельческой эксплоатации в более поздних центральноазиатских государствах с доминирующей ролью кочевников. Сюда относятся государства киданей (собственно кытаев)[3], чжурчженей и особенно монголов как предшествующего Чингис-хану периода, так и первых этапов формирования империи Чингис-хана, т. е. государства, непосредственной исторической преемственностью связанные с тюркским каганатом.

Чрезвычайно интересно, что сила Абао-цзи (Амбагяня), давшая ему возможность к началу X в. захватить власть над всеми племенами киданей и объединить их в одно политическое целое, базируется на том, что он насаждает в своих владениях земледельческое, ремесленное и горнорудное (железо и соль) хозяйство, используя труд многочисленных китайских военнопленных, захваченных им в предшествующих войнах[4].

[1] Ср. Н. Аристов. Заметки об этническом составе тюркских племен, «Живая старина», 1896, вып. III—IV.

[2] Эту гипотезу, высказанную впервые нами в наших докладах 1937 г. (см. ВДИ 1938, № 1/2 и ИЗ 1938, III), приняли и авторы первых систематических раскопок этих памятников, М. В. Воеводский и М. П. Грознов (см. ВДИ, 1938, № 3/4, стр. 178). Против нее недавно высказался А. И. Тереножкин (Изв. Уз. ФАН № 2 1941), однако его аргументация мало убедительна.

[3] Известных уже из орхонских надписей, как один из народов-данников тюркского каганата (Ср. К, 4, 17—14, 17, 28, 15 и мн. др.).

[4] В. П. Васильев. История и древности восточной части Средней Азии. «Зап. Арх. о-ва», Спб., 1859, т. III, стр. 178. Ср. там же, стр. 13—14.

История династии Ляо (киданей) рассказывает, например, о том, что в 902 г. Абао-цзи, вернувшись в Хэ-дунь и Хэ-бэй, взял девять больших городов и увел в плен 95 000 человек и большое количество скота. В 903 г. он берет в плен 300 семей чжурчженей и присоединяет их к 7000 семей, уведенных еще его отцом Салади и поселенных им на реке Цин-хэ[1].

Характерно, что после победы чжурчженей над киданями цзиньские императоры составили из освобожденных от киданей рабов особое войско, носившее название цай-цзюнь («освобожденные») и поселенное военной колонией в Тай-чжоу[2].

Массовый захват в плен ремесленников и увод их в Каракорум, где они образовали особый слой рабов монгольской аристократии и, в первую очередь, familia самого Чингис-хана—достаточно хорошо известный исторический факт, чтобы нужно было на нем здесь останавливаться[3].

Анализ всех этих данных позволяет притти к следующим выводам:

1. Главной пружиной развития рабства в обществах кочевников Центральной Азии (начиная с хуннской эпохи) являлось оформившееся к тому времени стремление кочевой аристократии найти наиболее выгодный для себя путь удовлетворения возросших потребностей в продукции земледельческого и ремесленного производства оседлых районов, с которой варварские кочевые племена познакомились первоначально благодаря росту обмена. Война, превращаемая на этом этапе в своеобразную форму обмена, вырастающую на базе разделения труда между кочевниками и земледельцами, открывает такой путь.

Рядом с примитивной формой простого грабежа (захвата готовой продукции, перерастающего затем в более или менее регулярно взимаемую дань) вырастает другая форма, выражающаяся в переносе (путем обращения производителей—ремесленников и земледельцев в рабство и переселения их в глубь степных владений кочевой аристократии) земледельческого и ремесленного производства в хозяйство самой кочевой аристократии.

2. Противоречие между кочевым типом хозяйства рабовладельцев и характером земле-

[1] Gabelentz. Geschichte der Grossen Liao aus dem Mandschu übersetzt, SPB 1877, 55, 3—4.

[2] В. П. Васильев, цит. соч., стр 117. О развитии рабовладения у чжурчженей см. там же, стр. 115, прим. 106 и стр. 116, прим. 107.

[3] См. Бартольд. Туркестан. II, стр. 443, 446, 470 и др. Владимирцов. Общественный строй монголов, сс. 115, 119. Плано-Карпини. История монголов, пер. Малеина, стр. 36. Рубрук. Там же, стр. 76, 79. Путешествие Чан-Чуня, сс. 293, 404 и др.

дельческого и ремесленного производства рабов, требовавшим оседлости, обостряемое обилием поступавшей в результате постоянных войн рабской силы, находило свое разрешение в господстве особой формы рабства, связанной с созданием особых рабских поселений. Рабовладельческое хозяйство кочевников шло таким образом по спартанскому (военно-рабовладельческому) пути развития.

Рабы эксплоатировались, несомненно, и в скотоводческом хозяйстве и в хозяйстве домашнем. Мы находим ряд указаний на это по преимуществу, однако, во второстепенных, главным образом эпических, источниках.

Необходимо наряду с этим отметить ту особую форму, в которую выливаются рабовладельческие отношения, возникающие из войн одних кочевых племен против других.

Малая трудоемкость кочевого хозяйства и нерациональность (при достаточном поступлении рабской силы из оседлых районов) использования рабов-кочевников в качестве земледельцев, или, тем более, ремесленников, породили крайне своеобразную форму так называемого «наследственного рабства». Этот институт нам особенно хорошо известен благодаря работе акад. Владимирцева, для дочингисхановской Монголии. Он выступает под именем института unagan boγol.

Военнопленные кочевники, являясь формально рабами своих победителей, фактически представляли собой нечто среднее между илотами и неравноправными союзниками и были обязаны уплачивать дань и поставлять вспомогательные военные контингенты по требованию своих господ[1]. Весьма вероятно, что эта своеобразная модификация рабства была известна уже не только в эпоху тюркского каганата (известные намеки на что мы можем найти в суйской и танской хрониках и в орхонских надписях)[2], но и значительно раньше, так как указание на включение членов покоренных племен в войско победителей восходит еще ко времени хуннов.

Косвенным указанием на это является возникновение в Китае в период усиленного процесса его варваризации (в Хоу-хань-шу, Сань-го-чжи, Бэй-ши, Тан-шу) института так называемых «буцюй»—рабов, находившихся в коллективном владении какого-либо рода и обязанных, помимо других повинностей, нести и военные функции[3].

«Буцюй»—институт, сформировавшийся под несомненным влиянием варваров-кочевников, интересен тем, что иероглифы 部 族 могут служить для передачи варварского термина bu-γul, т. е. само название, появляющееся в Китае в начале н. в., весьма близко к монгольскому наименованию «раба».

Наиболее вероятной этимологией этого термина, если искать его прототип в тюркском лексическом материале, будет boγol ←→ buγul ← *baγ-qul(y)—«раб племени», «раб рода» (с утратой сознания этимологии слова в языковом мышлении говорящих—ассимиляции звонким γ глухого q и регрессивная ассимиляция, под влиянием губной гармонии, огласовки первого слога). Как мы видели, в качестве таких «наследственных рабов» жуань-жуаней выступают сами «тюрки» до 552 г.

Таким образом, знать каганата выступает перед нами как военно-рабовладельческая аристократия, опирающаяся на военно-демократическую организацию кочевых племен, как на орудие своей политики, направленной на увеличение количества рабов и расширение пределов областей, обязанных данью. Данные надписей проливают свет и на другую сторону общественной жизни каганата. Это—структура самого кочевого хозяйства аристократии, тарханов и бегов. Господствующий класс каганата, во многом напоминая дихханов Средней Азии, выступает в качестве глав крупных патриархальных семей, характеризуемых многоженством[1], развитым институтом адопции и — что особенно важно—сильно развитой клиентелой; oγuš[2] по совершенно правильному переводу Радлова и Мелиоранского—«клиент»[3], стоит в торжественных обращениях надписей вслед за родственниками лица, от имени которого пишется текст[4].

Огуши как бы составляют таким образом периферию семьи, выступая в качестве дружинников и преданных слуг кочевого аристократа[5].

---

[1] Владимирцов, цит. соч., стр. 64.

[2] Ср. взаимоотношение тюрков и жуань-жуаней. Doc., 222.

[3] Андреев. Институт рабства в Китае, «Проблема Китая» № 1, 1929, стр. 267 сл.

[1] Ср. К, 9 наряду с «моей матерью катун» (ögäm qatun) также и ulyju ögälärim—термин, который Радлов и Мелиоранский переводят «сводные матери», т. е. «другие жены моего отца». Сб. «Труды Орх. экспедиции», VI, 34; там же (мои жены). Ср. этот же пример в ряде енисейских надписей.

[2] Ка, 6, 10; Хв, 4, 34 и др. Нам представляется наиболее вероятным производить oγuš от oq ←→ uq—«род» и переводить как «присоединившийся к роду» (resp. фамилии).

[3] См. П. М. Мелиоранский. Памятник в честь Кюль-Тегина. Спб. № 1899, стр. 79, где автор, на наш взгляд, совершенно справедливо не соглашается с В. В. Радловым, заменившим старый перевод «klient» (стр. 298) совсем неудачным «vassal» (стр. 1), хотя и дает, нам представляется, неверную этимологию, выводя oγuš от глагола oq'—«слушать».

[4] Ср. Ка, Хв, 1.

[5] Характерно, что клиентела является институтом вообще крайне типичным как для периода становления классового общества, так и для раннерабовладельческих обществ. О клиентеле меланезийских вождей см. С. А. Токарев. Общественный строй меланезийцев, «Этнография», 1929, № 2, стр. 30. По Турнвальду, слуги вождя на о-вах Адмиралтейства, составляющие его

Весьма вероятно, что клиенты-дружинники вербовались теми же путями, как и в раннемонгольское время[1], т. е. за счет отдачи обедневшими лицами себя или своих детей в рабство тому или иному аристократу. При этом oγuš'и могли образовывать общественный слой, занимавший как бы промежуточное место между адоптированными членами семьи и рабами.

Еще более близкое к рабам положение занимает другая категория лиц, также образующих периферию древнетюркской семьи. Это— «таты». В контексте надписей «таты» стоят после членов семьи[2]. (Ср. выражение oγlyŋa tatyŋa tägi — «до ваших сыновей и татов»). Радлов[3], опираясь на данные чагатайско-тюркского словаря изд. Вельяминова-Зернова, дает такие варианты значения слова «тат»: 1) класс народа, подданных, не живущих в городе, живущие и служащие у вельмож, исключая рабов; 2) праздношатающийся сброд, из которого набирают волонтеров; 3) человек или люди, отбившиеся от своего племени, принужденные стать в зависимость от кого, «жалкий бедняк».

Сопоставление терминов oγuš и tat позволяет видеть в них как бы две ступени одного типа общественных отношений. Контекст орхонских надписей употребляет, как правило, первый термин для обозначения клиентов правящей (каганской) familia. Напротив, второй термин употребляется в обращении кагана к народу, причем речь идет о сыновьях и татах слушателей обращения.

Если в «огушах» мы должны сообразно самой этимологии слова видеть адоптированных членов аристократической familia, занимающих, как это можно видеть из контекста цитированных надписей, часто довольно высокое общественное положение, то относительно «татов» приходится заключить, что, находясь в определенной связи с родами и семьями полноправных граждан «эля», они занимали положение, близкое к кабальным рабам, составляя как бы низший слой клиентелы.[4]

Характерно, что, как и слово «qul»—«раб», слово «tat»—«клиент» получило и более распространенное значение. «Татами», «клиентами» тюркского эля, взятого в целом, считались общины оседлых данников каганата в Восточном Туркестане и в Средней Азии. Именно это значение акцентирует Махмуд Кашгарский в своем обяснении слова «tat»[1].

Социальные отношения в кочевых районах каганата роднятся, как мы увидим, целым рядом черт с отношениями, устанавливаемыми нами ниже для городов-государств Согдианы.

Перед нами сложный конгломерат занимающих по отношению к господствующему «элю» различное положение общественных объединений, взаимоотношения которых к «элю»—гегемону, по существу, являются как бы проекцией отношений, господствующих в нем самом,— отношений рабства и клиентелы.

Как и их предшественники, тюрки основной задачей своей политики с первых же шагов образования нового каганата ставят подчинение себе культурных областей восточного Туркестана и Средней Азии[2]. Уже между 563[3] и 567 гг. государство эфталитов постигает судьба государства жуань-жуаней. Средняя Азия входит в состав каганата, а тюркские отряды появляются на границах государства сасанидов.

Период истории Китая, предшествующий приходу к власти династии Суй, заполненный непрерывной войной между отдельными княжествами, на которые распалась Вэйская империя, сопровождаемой рядом народных восстаний, создавал исключительно благоприятную почву для политического подъема каганата. Военно-рабовладельческое государство кочевников получало с первых же шагов своей истории широкий простор для военно-грабительских предприятий на территории северного Китая, потерявшего всякую способность к сопротивлению.

Преемник Бумыня и Истеми, Муюй-каган Кигинь энергично вмешивается во внутреннюю борьбу в Китае, выступая на стороне то одного, то другого враждующего китайского княжества. Тюркские всадники проникают далеко в глубь китайской территории и неизменно возвращаются с богатой добычей.

В начале 70-х годов значительная часть северного Китая фактически переходит на положение tat'ов—данников каганата. Чжэусские правители обязуются уплачивать кагану ежегодно 100 000 кусков шелка[4].

Есть все основания предполагать, что значительная часть китайской продукции, и в первую очередь именно шелка, попадала в руки тюрков и служила для головокружительно быстро богатевшей тюркской аристократии средством к получению путем меновой торговли продукции Запада—Ирана и Византии. Посредниками в этом обмене были согдийские купцы,

---

личную дружину, состоят из военнопленных и их потомков. О клиентах и рабах-дружинниках, как опоре власти галльских вождей, см. Фюстель-де Куланж. История общественного строя древней Франции, СПБ, 1901, I, стр. 44 сл., особенно 48—50.

[1] См. Владимирцов, цит. соч., стр. 88 и др.

[2] Ср. Ка 12, II; Хв 15, 3.

[3] Радлов. Сл. 899—900.

[4] И. А. Жузе («Изв. АзГНИИ», I, вып. 3, Баку, 1930, с. 15) устанавливает первоначальное значение слова «тат»—«клиент», «подчиненный», «раб», «низший класс».

[1] М. К., II, 224.

[2] См. выше.

[3] По данным Менандра, Fragm. hist. graec. IV, стр. 205, 225; Doc., стр. 226.

[4] Собр. свед., I, стр. 274.

получившие в политической гегемонии каганата неисчерпаемый источник для обогащения.

Именно в этом мы видим объяснение того конфликта, который возникает в 60-х годах между ябгу западных тюрков и сасанидским государством. Непосредственной предпосылкой этого конфликта явились, по данным Земарха, препятствия, которые чинило согдийской торговле шелком сасанидское правительство Ирана. Активное вмешательство ябгу Западного края в конфликт между Хосровом Ануширваном и согдийскими купцами показывает, насколько серьезной была заинтересованность каганата в согдийской торговле, и является веским аргументом в пользу нашей гипотезы.

Насколько серьезны были военные планы тюрков, показывают переговоры правительства каганата и Византии о совместном выступлении против Ирана: тюркское посольство во главе с согдийцем Маниахом в Константинополь в 567 г. и византийское посольство Земарха к ябгу Западного края, за которым вновь следует ответное посольство тюрков, в 576 г. византийское посольство Валентина, позднее— посольства Геродиена и Павла Сицилийского[1].

Впервые в истории мы видим, как в сложные военно-дипломатические комбинации оказываются втянутыми одновременно Центральная Азия, Иран, Византия, ее аравийские и восточно-европейские (хазары) союзники[2].

Однако прежде чем подготовляемые византийскими и западно-тюркскими дипломатами планы были реализованы, в восточной части каганата положение резко изменяется. Именно это, вероятно, было причиной того, что начавшиеся в 567 г. дипломатические переговоры лишь в 588 г. дали свои практические результаты в виде совместного военного выступления тюрков, хазар и византийцев против Ирана.

Этими событиями являются приход в Китае к власти династии Суй и обостренная этим внутренняя борьба в каганате.

Уже при преемнике Кигиня Тобо-кагане (в 572 г.), когда Китай становится данником каганата и набеги тюркских отрядов на китайские княжества оказываются неизменно победоносными, появляются первые признаки китаизации правящей верхушки каганата. Я имею в виду успехи буддийской пропаганды при дворе Тобо. По приходе к власти династии Суй, знаменовавшем выход Китая из длительной полосы политического кризиса, попытки Шаболио-кагана продолжать набеги на территорию Китая терпят полный крах. Военный разгром, который нанесли тюркам суйские войска, был, повидимому, очень серьезен, потому что китайская хроника вслед за рассказом о поражении тюрков говорит: «В ту пору у неприятелей был голод; вместо хлеба употребляли растертые в порошок кости; свирепствовали повальные болезни, от которых великое множество людей умерло»[1].

После этого следует отметить крутой поворот в политике правящей аристократии каганата. От военнорабовладельческой экспансии в сторону Китая она переходит к сделке с суйским правительством. Шаболио признает себя вассалом Китая, посылает китайскому двору «дань из местных произведений», и каганат превращается фактически в данника Суйского государства.

Для аристократии, не желающей отказаться от уже укрепившейся привычки к китайской роскоши, создавался таким образом новый, менее «почетный», но более надежный (речь шла не о распавшемся на составные элементы и непрерывно лихорадившем внутренними смутами Китае, а о таком сильном противнике, каким неожиданно оказался Суйский Китай в 80-х годах VI в.) способ поддержания и дальнейшего развития достигнутого благополучия. Этого далеко нельзя было сказать о массах мелких производителей-кочевников, составлявших ядро каганата.

Приведенные нами сведения о сильном голоде, повальных болезнях и массовом вымирании населения каганата чрезвычайно показательны. Существует совершенно превратное представление о неуязвимости кочевников, о легкости, с которой они переносят результаты военного разгрома. Между тем на деле народ, основное богатство которого заключается в скоте, при удачно направленном ударе врага может чрезвычайно легко очутиться на краю гибели, так как, в противоположность земледельцу, он легко может потерять не только продукцию своего хозяйства, но и основное средство производства—скот, для восстановления которого требуются долгие годы[2].

В связи с этим особый интерес получает хронологическое совпадение голода и мора в тюркском эле (факт, относящийся по китайским данным к 583 г.)[3] с сообщением рассказа Нершахи-Нишабури о том, что накануне прихода Абруя к власти в Бухаре туда переселилось много «людей из Туркестана»[4].

Сильный голод, полное отсутствие средств к существованию и невозможность после только что пережитого военного разгрома восстановить путем войны уничтоженное скотовод-

[1] Менандр. Fragm. hist. graec. IV, стр. 245a; Doc., стр. 239.
[2] Doc., стр. 234.

[1] Собр. свед., 1, стр. 278.
[2] Характерно, что после рассказа о разгроме хуннов Ханьской империей мы в ханьской истории также находим сведения о голоде и море среди хуннов. Собр. свед., I, стр. 64.
[3] Собр. свед., I, стр. 277.
[4] Nerchakhy, стр. 4.

ческое хозяйство были достаточно мощной пружиной, чтобы толкнуть тысячи обнищавших кочевников за тысячи километров в знакомые по прежним походам оазисы Средней Азии в поисках элементарных средств существования, хотя бы на правах клиентов—«кедиверов» бухарских купцов и дикханов[1].

Несомненно, иммигранты-кочевники могли явиться для городской и сельской бедноты оазисов, «дервишей и факиров» Нишабури-Нершахи тем ферментом, который ускорил и усилил развитие демократического движения в оазисе, завершившегося эмиграцией верхушки согдийской знати нижнего Зеравшана в бассейн Таласа.

Однако бегство обнищавших кочевников на запад и оседание их в бассейне Зеравшана было лишь одним из проявлений кризиса каганата. Вторым, еще более важным, было крайнее обострение классовой борьбы в тюркском эле, приведшей его в конце концов к гибели.

Автор кошо-цайдамских текстов дает исключительно интересную характеристику процесса упадка первого тюркского каганата.

Ввиду значения ее для нашей темы я позволю себе привести весь текст, охватывающий интересующий нас период—эпоху первого каганата до подчинения его Китаю:

Когда возникли голубое небо вверху,
Темная земля внизу,
Между ними возникли дети людей.
Над детьми людей сел мой предок Бумынь-каган, Истеми-каган.
Сев, держал, укреплял народа тюрков эль и закон.
Четыре угла[2]—все были врагами.
Войско послав, народы четырех углов
Все покорил, все подчинил.
Имеющих головы—заставил склонить их,
Имеющих колени—заставил согнуть их.
Вперед[3], до Кадырканской черни,
Назад до железных ворот[4],
Расселил.
Между ними,
Не имея господских родов,
Так жили голубые[5] тюрки.
Он был мудрый каган,
Он был храбрый каган.
Все буюруки его были мудры,
Были храбры.
Все его беги, весь его народ были прямы[6].
Оттого
Он так держал эль,
Держа эль, укреплял закон.
Он умер.
Плакали и стонали
Спереди, с восхода солнца—
Эль боклийской степи,
Китайцы, тибетцы, парпурумы,
Киргизы, учь-курыканы, отуз-татары,
Кытаи, татабийцы.
Столько народов, придя, стонали, плакали,
Таким знаменитым каганом он был.
После него стал каганом его младший брат,
Стал каганом его сын.
Потому что
Младший брат не был подобен старшему брату,
А сын не был подобен отцу—
Сели неразумные каганы,
Сели трусливые каганы,
Все их буюруки были неразумны, были трусливы.

Следующий отрывок прямо вводит в интересующие нас события:

Из-за непрямоты бегов и народа,
Из-за подстрекательства и шпионства китайского народа,
Из-за прельщений (с его стороны),
Из-за вражды младших братьев со старшими,
Из-за вражды между бегами и народом[1]
Народ тюрков расстроил свой эль,
Погубил правившего им кагана.
Китайскому народу бегские сыновья сделались рабами,
Дочери благородных сделались рабынями.
Тюркские беги сложили с себя тюркские имена
И, приняв китайские имена, как китайские беги
Подчинились китайскому кагану[2].

Несмотря на то, что к моменту написания орхонских текстов прошло больше ста лет после интересующих нас событий, автор текста блестяще уловил основные моменты кризиса каганата в конце VI и начале VII вв. н. э.[3].

Автор текстов видит причину силы каганата при Бумыне и Истеми в отсутствии «господствующих родов» (idi uq). Этого не надо, конечно, понимать буквально; здесь скорее перекинутая в прошлое социальная утопия автора, который хотел бы видеть в каганате своего

---

[1] Массовое оседание кочевников после крупных военных разгромов—факт, достаточно хорошо известный хотя бы из истории взаимоотношений печенегов с Русью и Византией.

[2] Народы четырех стран света.

[3] На восток.

[4] Т. е. до прохода Бузгала к югу от Кеша, на границе Согдианы и Чаганиана.

[5] Resp. «небесные».

[6] Верны каганату.

[1] inili ačili käŋäsürtükin üčün, bägli budunlyγ joŋyšurtuqun üčün.

[2] X 2—7, K 1—8. О встречающихся в тексте социальных терминах (каган, эль, буюрук, бег) см. выше.

[3] Мы поймем это, если учтем, что обстановка классовой борьбы в каганате начала VIII в. в основных чертах повторяла обстановку конца VI и начала VII вв., и исторические легенды были наполнены для авторов текста весьма актуальным содержанием.

рода «общину равных». Автор объясняет также силу каганата отсутствием вражды между бегами и народом и прочностью тюркского эля и тюркского закона (törü), т. е. старого, основанного еще на архаических родовых нормах, обычного права.

Причину падения каганата он видит в обострении классовой борьбы между бегами и народом и борьбы внутри правящей фамилии—между старшими и младшими братьями.

При этом, помимо «шпионства и подстрекательства» китайцев, текст недвусмысленно подчеркивает «прельщения» со стороны китайцев и тягу тюркской аристократии к китайским обычаям, в частности, к китайской титулатуре[1].

Есть все основания предположить, что для бегов в этот период характерна тенденция компенсировать неудачи военно-грабительской эксплоатации населения Китая усилением использования традиционных прерогатив родовых вождей. Это делалось с целью поработить разоренных неудачными войнами мелких скотоводов-воинов, с одной стороны, кабальными ссудами скотом (явление, весьма характерное для кочевых племен на самых различных этапах их истории)[2], с другой,—путем превращения их в клиентов—огушей и татов, фактически кабальных рабов бегских фамилий.

Ответом на это и является взрыв внутренней борьбы в каганате в середине 80-х годов, отраженной в китайских хрониках. И как эти хроники, так и цитированные выше строки кошо-цайдамских стел позволяют утверждать, что эта борьба была классовой и отражала противоречие между вошедшей в сделку с Китаем аристократией и разоренными, вынужденными или эмигрировать, или итти в кабалу к тем же бегам мелкими скотоводами-воинами. Вождем последних и становится Абруй-Або, сын рабыни, обойденный претендент на престол каганата.

Взрыв происходит вскоре после описанного выше военного разгрома тюрков, причем, повидимому, Шаболио сумел предупредить Далобяня и нанести ему удар первым. Тогда Далобянь, которого, как сообщает китайский хронист, «Шаболио не взлюбил за храбрость и отважность»[3], бежит на запад к Дату-хану, правителю Западного края.

Шавани убедительно показал, что уже со времени завоевания тюрками эфталитских владений можно говорить о западно-тюркском каганате, где утвердилась линия потомков Истеми, как о почти независимом государстве[4]. Однако он, несомненно, несколько переоценил эту независимость, так как показания китайских источников да и весь ход исторических событий доказывают единство политической жизни каганата в предшествующий кризису 80-х годов период.

Тот факт, что Дату, во всяком случае на первых порах, поддерживает Далобяня в борьбе против Шаболио, объясняется тем, что правящая группировка западных тюрков (как и тесно связанная с нею верхушка согдийских городов) была кровно заинтересована в сохранении военно-грабительской политики по отношению к Китаю, от которой вынуждена была отказаться аристократия восточных тюрков.

К Або присоединяются, по словам Тан-шу, 100 000 восточных тюрков. К нему бегут также представители восточно-тюркской аристократии, обиженные Шаболио[1]. Все перипетии этой войны нам неизвестны; но поскольку первый акт ее происходит «на Востоке», куда возвращается после своего первого бегства Або во главе войска из беглецов с востока и отряда, данного ему Дату[2], а заключительный акт—«на Западе»[3], можно предположить, что Шаболио вышел победителем из первого тура войны.

Вероятно, это и явилось предпосылкой для перенесения Або своей базы в Мавераннахр, и Пейкенд—«город купцов», крупнейший центр транзитной торговли между Востоком и Западом был избран, конечно, не случайно. Дату уже не фигурирует в последнем туре войны. Традиционный союз ябгу Западного края с согдийскими купцами оказывается разрушенным. Да и ябгу западного края оказывается, как мы попытались доказать в начале нашей работы, представитель восточных тюрков—ябгу Кара Чуры—Шеху-Чуло-хэу, очевидно назначенный в противовес непокорному Дату.

Нам, повторяю, неизвестны перипетии борьбы; но этот факт позволяет предположить, что северная степная полоса Средней Азии, во всяком случае ее восточная часть, уже оказалась к этому времени в руках Чуло; это, вероятно, облегчилось переходом известной части западно-тюркской аристократии на сторону каганата.

Перенесение базы борьбы в Согдиану являлось для Або в этих условиях единственным выходом[4]. То, о чем молчат китайские источники, мы узнаем из рассказа Нишабури-Нершахи. Согдийская знать, вовсе не заинтересованная в борьбе с правящей верхушкой каганата, и,

[1] Ср. еще большее подчеркивание разлагающей роли китайских обычаев и желательности восстановления древних тюркских нравов в Малой надписи.
[2] См. нашу работу в ИГАИМК, 103.
[3] Собр. свед., I, стр. 278.
[4] Doc, p. 219.

[1] Doc., p. 278.
[2] Там же.
[3] Там же, pp. 281—282.
[4] Надо отметить, что нам известны случаи бегства в Согдиану вождей борющихся группировок каганата. Ср. Собр. свед., стр. 348 (о Сыби кагане), стр. 349 (о Сышеху-кагане).

несомненно, весьма много терявшая из-за гражданской войны в центральной Азии (война делала почти невозможной не только транзитную, но и местную торговлю), не могла служить социальной опорой для Або.

Такой опорой явились плебейские слои в согдийских городах, значительную часть которых, как мы видим, составляли недавние тюркские иммигранты, жертвы хозяйственного кризиса каганата.

IV. СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА ДВИЖЕНИЯ АБО-АБРУЯ В НИЖНЕЙ СОГДИАНЕ

Общественный строй домусульманской Согдианы до недавнего времени казался не возбуждающим сомнений. Подавляющее большинство авторов рассматривало его как вполне развитый феодальный строй, не затрудняя себя доказательством этого никогда и никем недоказанного положения, воспринимаемого как аксиома. Некоторые авторы, как например Ф. Розенберг[1], даже усматривали в общественных отношениях Согдианы II в. н. э. явные признаки разложения феодализма и развития буржуазно-капиталистических отношений (!).

Другие, как К. В. Тревер и А. Ю. Якубовский[2], подходили к вопросу несколько осторожнее, но все же и последний искал «разложение феодализма» в Средней Азии X в.[3]

Здесь, несомненно, сказалось влияние сильной в современной буржуазной исторической литературе модернизаторской тенденции, примером которой могут служить хотя бы труды известного католического ориенталиста Лямменса, ищущего и обретающего в Мекке VI—VII вв. н. э. развитой «финансовый капитал»[4]. Мы уже не раз отмечали господствующую в европейской литературе «феодальную» концепцию древнеиранского, парфянского и даже ахеменидского общественного строя, утверждения о господстве феодализма у бактрийцев, согдийцев и даже массагетов, нашедшие яркое отражение в работах В. В. Тарна[5], следующего в этом отношении за циклистской конструкцией Ростовцева.

Однако и в буржуазной литературе мы встречаемся со взглядами иного характера. Например, автор весьма содержательной работы по истории арабского завоевания Средней Азии, английский ориенталист Г. А. Р. Гибб, так характеризует общественно-политический строй доисламской Согдианы: «The former, which as a whole is called Sogdiana on distinction from the smaller principality of Sughd, was of this period divided between a number of small states, each independent of the others, but forming together a loose confederacy in a manner striklingly reminiscent of the Hellenic city-states»[1].

В. В. Бартольд в своем напечатанном в 1896 г. этюде «Несколько слов об арийской культуре в Средней Азии»[2] характеризует царей Мавераннахра в домусульманский период: «Подобно своим подданным, они назывались дикханами и вообще более напоминают древних греческих базилевсов, чем азиатских деспотов». Эта мысль вполне уживается в трудах Бартольда вообще, и в данной статье в частности, с господствующей «феодальной» концепцией. И это неудивительно, если мы учтем доминирующую в буржуазной историографии и в свое время находившую отклики в советской литературе[3] «теорию гомеровского феодализма»; последняя составляет органическую часть циклической концепции, нашедшей свое наиболее полное развитие в трудах Эдуарда Мейера.

Однако для исследователя-марксиста цитированные замечания Бартольда и Гибба получают совсем иной смысл. Они показывают, что в «феодализме» доарабской Средней Азии выступают такие черты, которые роднят его с общественными отношениями, весьма далекими от средневеково-феодальных отношений, мимо которых не позволило Бартольду пройти, вопреки его концепции, его тонкое историческое чутье[4].

---

[1] Ср. Ф. Розенберг. Согдийские старые письма, ИОН, 1932, № 5, стр. 451.

[2] C. Trever. Terracottas from Afrasiab, pp. 15—16, где цитируется определение общественного строя домусульманской Средней Азии из неопубликованной работы А. Ю. Якубовского, с которым К. В. Тревер солидаризируется.

[3] А. Ю. Якубовский. Городище Миздахкан, ЗКВ, V, 1930, стр. 555. В дальнейших работах, впрочем, А. Я. Якубовский отходит от этой точки зрения, видя в результатах наших работ в Хорезме «новый серьезный аргумент для решения вопроса об определении социального строя Хорезма и Согда в V—VII вв., как строя рабовладельческого». См. статью А. Ю. Якубовского в КСИИМК VI (1940), стр. 20.

[4] Ср. P. H. Lammens S. I. The Mecque à la veile de l'Hégire. Beirouth, 1924, стр. 231 сл.

[5] W. W. Tarn. Grecks in Bactria and India, стр. 31—33, 81, 410 сл. и др.

[1] H. A. R. Gibb. The Arab conquests in Central Asia. London, 1923, стр. 5.

[2] «Среднеазиатский вестник», Ташкент, июнь 1896 г., стр. 22.

[3] Ср., например, С. Лурье. История античной общественной мысли, 1929, стр. 23 и сл.

[4] Характерно, что в аргументации феодального характера отношений древнего (ахеменидского и парфянского) Ирана та же противоречивость проскальзывает в работе A. Chirstensen. L'Empire de Sassanides. Kobenhavn 1907 г., стр. 8. Здесь ахеменидская и аршакидская аристократия, с одной стороны, выступает в качестве вождей кланов и племен, а с другой, рассматривается как носительница «des germes d'un féodalisme qui existaient en temps des Achémenides» и которые «atteignait leur plein développement aussitôt que l'Empire Parthe s'est formé».

Новейшие работы советских историков Древнего Востока, с одной стороны, проливают свет на общественный строй ахеменидского Ирана[1], составной частью которого Средняя Азия являлась в течение двух столетий, с другой,—вскрывая многообразие путей рабовладельческого развития, позволяют подходить к анализу исторического процессса домусульманской Средней Азии с иным мерилом, чем прежде.

Политическая организация оазисов Средней Азии и восточного Туркестана может быть, думается нам, наиболее точно, как это и делает Гибб[2], охарактеризована термином «город-государство». Каждый город образовывал обособленную политическую общину вместе с примыкающими к нему «рустаками»—небольшой земледельческой областью, ограниченной узкими пределами оазиса и нередко окруженной кольцом «длинных стен»; последние отделяют городскую общину и связанное с ней оседлое сельское население от степи, откуда постоянно нависала угроза нападения кочевых племен[3]. Но «старушечьи стены» имеют ворота, через которые кочевник получает доступ в оазис, как мирный продавец продукции своего хозяйства и покупатель земледельческой продукции и изделий городского ремесла.

Картина города, восстанавливаемая на основании показаний Нершахи[4] и других авторов, рисуется в следующих основных чертах. Это еще не хорошо известный нам средневековый среднеазиатский город с его характерным тройным делением на арк (цитадель), шахристан (собственно город) и рабад (ремесленные предместья).

В кольце городских стен, вокруг «каха», укрепленного дворца городского царя, и базара, на обширном, пересеченном оросительными каналами пространстве были раскинуты укрепленные усадьбы больших семей патрициата города (дикханов и купцов). Вокруг них, в свою очередь, группируются жилища рабов и клиентов, Нершахи[5]. Важным составным лементом эгород ского комплекса являются буддийские, зороастрийские или манихейские храмы и монастыри[1].

Политически каждый такой город-государство, охваченный кольцом длинных стен, представлял собой монархию, сильно ограниченную городским советом, состоящим из глав аристократических фамилий[2].

Власть царя, носившего в различных государствах различные титулы (бухар-худат—в Бухаре, ихшид—в Самарканде, афшин—в Фергане, хорезм-шах—в Хорезме и т. д.), имела заметный сакральный оттенок. И мы вряд ли ошибемся, если в применении к городам Средней Азии будем говорить о «царях-жрецах». В официальных обращениях царь, как правило, именуется «богом»[3]. Китайские хроники сохранили нам ряд деталей, позволяющих заключить, что цари играют крупную роль в аграрно-календарных обрядах. Так, в Фергане[4] царь выступает в качестве организатора ритуальных состязаний, служивших для определения будет ли год счастливым. Аналогичное сообщение мы имеем в отношении Кучи[5]. Там царь даже не имел права обрезать себе волосы[6]. Эта любопытная деталь в свете исследованных Фрезером этнографических параллелей позволяет заключить, что в особе царя как бы персонифицировалось благосостояние города, вследствие чего даже такой незначительный факт, как обрезание волос, мог, по представлению подданных, повлечь за собой губительные для города последствия[7].

Цари согдийских городов-государств носили, по китайским источникам, титул 昭武 Чжао-ву, причем это особенно важно подчер-

---

[1] В. В. Струве. История Древнего Востока, стр. 109 и сл.

[2] op. cit., p. 5

[3] Ср. В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 17—27.

[4] Nerchakhy, стр. 49.

[5] Таковы были, по описанию Нершахи, «замки кушанов», богатых купцов, которые, не желая делить своих жилищ с завоевателями, выселились из Бухары после арабского завоевания и обосновались в окрестностях города (Nerchakhy, стр. 49).

Рассматривать «кёшки» не как «замки феодалов», а как укрепленные усадьбы больших семей согдийских «азатов» (о термине ср. Reichelt, цит. соч.), заставляет нас также и огромное их количество, упоминаемое в источниках. К 700 кёшков кушанских купцов в той же Бухаре, по Истахри (Bibl. Geogr. Arab. 1, стр. 311—ср. Бартольд, Туркестан, II, стр. 107), мы должны прибавить 2000 замков и садов по городскому арыку Фашидизе, 1000 садов и замков по городскому арыку Джуйбар Бекар и 1000 садов по арыку Рабах и др. Это те самые «замки», которые мы видим в мертвом оазисе Беркут-калы и зародыш которых регистрируем в Топрак-кале.

[1] Ср. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 38 сл.

[2] О роли родовитой аристократии 曾人 в политической жизни Ферганы в эпоху Чжанцяня см. Ши-цзи, CXXIII, стр. 15а сл., ср. Собр. свед. III, стр. 23 сл., ср. стр. 27 сл.

[3] Ср. «Согдийский сборник», Л. 1934, стр. 38, 39, 40 и др. Обычная формула 't βγw γwβw prmnd'r.. *MN*—γγrδ βntk «богу царю повелителю... от его раба». Ср. интересное сообщение ибн-аль-Асира (ed. Tornberg VI, p. 366) о том, что на процессе афшина Хайдера ибн-Кауса ему было инкриминировано, что его соотечественники обращаются к нему в письмах: «богу богов от раба его имя рек» (цит. по Лерху. Монеты Бухар-Худатов, стр. 146).

[4] Тан-шу. CCXXI, в с. 8а Doc., p. 148. См. ниже экскурс. III

[5] Doc., p. 115.

[6] Там же.

[7] См. у Фрезера. Золотая ветвь. Пер. изд. «Атеист», 1, 36, стр. 12 сл.

кнуть, генеалогически связывали себя с кушанскими и кангюйскими царями[1]. Танская история говорит о девяти княжеских фамилиях этого происхождения, правивших в Средней Азии, и соответственно о девяти важнейших среднеазиатских полисах[2]. Эти наиболее значительные центры группировали вокруг себя большее или меньшее количество городов и селений, признававших их политическую гегемонию.

Анализ свидетельств китайских и раннемусульманских источников показывает, что резкой грани между городом и селением в эту эпоху констатировать еще нельзя[3]. Китайские авторы, как правило, говорят о «больших» и «малых» городах (城), причем количество последних в отдельных районах исчисляется десятками и даже сотнями[4]. В арабских источниках мы также нередко видим, что один и тот же населенный пункт именуется то «городом» (madinat), то «селением» (qaryat)[5].

Речь явно идет об укрепленных селениях. И действительно, у арабских авторов мы находим описание целого ряда «селений», имевших не только внешние укрепления, но и цитадели и отличавшихся от городов, очевидно, с одной стороны, размерами, с другой,—и это особенно существенно, своим местом в политической системе среднеазиатских оазисов. В бухарских рустаках таковы, например, «укрепленное селение» Рамтин, имевшее большую крепость селение Варахша, также с «сильной крепостью»[1] Вардана[2], Баркад[3], Зандана и др. Эти «селения» (deh), как и города, имели маздеистские храмы[4], базары, привлекавшие купцов из разных стран[5].

«Селения» эти также славятся ремесленной продукцией (медь и бумажные ткани в селении Шарг, бумажные ткани в селении Искиджакт и особенно Зандана и др.)[6], в них живут купцы[7]. О некоторых из «селений» есть сведения, что они имели своих царьков (например, Вардана с ее вардан-худатами, до VIII в. соперничавшими с бухар-худатами)[8]. Все это даёт нам основание видеть в «селениях» (deh, qaryat, сяо-чэн китайцев) своего рода уменьшенные копии городских общин. Видимо, в период арабского завоевания в Согде также сказывается отмеченный нами выше (гл. III, 3) процесс упадка городов, многие из которых превращаются в селения. В этом, вероятно, ключ к сбивчивости терминологии арабских источников.

Своеобразный специфически «городской» облик древней цивилизации среднеазиатских оазисов, несомненно, находит своё объяснение в исключительно крупной роли связей кочевников и земледельцев. Эта роль, с одной стороны, определяет огромное значение торговли в жизни среднеазиатских полисов при относительно примитивном характере общественной организации и господстве натурально-хозяйственных отношений; с другой,—постоянную опасность замены мирной формы обмена набегами и грабежами, диктующими необходмость возведения сложных оборонительных сооружений.

Социальный облик аристократии среднеазиатских городов-государств, «дихканов», о которых, объединяя их вместе с «богатыми купцами», говорит анализируемый нами текст Нишабури-Нершахи как о классовом слое, против которого была направлена политика Або-Абруя, определяется именно теми чертами, которые отра-

---

[1] Тан-шу, CCXXI, в с. 1а. Собр. свед. III, 182. Doc., стр. 10, 26, 133 сл.

[2] Тан-шу, CCXXI, в стр. 1а. Doc., стр. 134. Шаванн идентифицирует семь из перечисленных Тан-шу восьми княжеств с Бухарой, Кабуданом, Ташкентом, Маймургом, Кушанией, Хорезмом и Кешем и считает, что в списке опущен Самарканд «qu'étai la mètropol des autres».

Он оставляет открытым вопрос о княжестве Моуди, который Макрварт (Chr. der alttürk. Inschr. 62) идентифицирует с Вардана к западу от Бухары.

[3] О генезисе среднеазиатских городов см. гл. III, 2.

[4] Например, уже Чжан-цяню говоря о Фергане, называет «70 больших и малых городов» (Ши-цзи, CXXIII, с. 3а; ср. Собр. свед. III, стр. 41). Тан-шу говорит о 6 больших и 100 малых городах в Фергане (Тан-шу, CCXXI, с. 8а, ср. Doc., p. 148). При характеристике района Кеша говорится о 500 укрепленных городах. В окрестностях г. Гюйлосы упоминается 300 «малых городов» (Собр. свед. I, стр. 223).

[5] Ср., например, сведения о Замахшаре у Макдиси (BGA III, 347), Сам'ани (Бартольд. Туркестан, I, стр. 58, II, стр. 148).

[6] Nerchakhy, стр. 14.

[1] Nerchakhy, стр. 15.

[2] Там же, стр. 14.

[3] Там же.

[4] В отношении Рамтина см. там же, стр. 6. В отношении Рамуша там же, стр. 14—15, а также Бируни. Chronologie Orient. Völk. Herausg. v. E. d. Sachau. Lpz., 1923, 315.

[5] Nerchakhy, стр. 15.

[6] Там же, стр. 13.

[7] Там же.

[8] Бартольд. Туркестан, II, стр. 117.

жены в цитированном выше замечании Бартольда. Перед нами в дихкане выступает та же весьма по существу примитивная фигура, которую вслед за В. В. Бартольдом мы не можем не сопоставить с базилевсами и эвпатридами древней досолоновской Эллады, лукумонами древней Этрурии, аристократией доримской Галлии и т. д. Они, как и перечисленные нами их аналоги, сочетают в себе рабовладельцев и родоплеменных вождей. Согдийские дихканы—главы больших патриархальных семей с деспотической властью главы семьи, отца—kedhuda (patria potestas), включающих в себя, помимо жен и наложниц с их потомством, также и адоптированных членов семей, периферию которых составляют клиенты — кедиверы и рабы[1].

Термин «кедивер», встретившийся нам выше, связан с термином ked «дом», не в смысле постройки, а в смысле социального коллектива, заселяющего единый комплекс построек, семейной домовой общины. В это понятие кроме собственного жилища главы дома входили жилища его женатых сыновей и других родственников, хозяйственные постройки и т. п., причем все эти постройки находились внутри общей стены. «Кедиверы были членами и обитателями кеда», — пишет об этом термине Бартольд[2]. «Кедиверами» бухар-худата и других аристократов Бухары, как следует из контекста анализируемого нами рассказа Ниша Бури, стала большая часть бедняков оазиса после подавления движения Абруя. Следовательно, перед нами особая категория людей, включаемых в состав «кеда», но не являющихся родственниками «кедхуда»—главы обитающей в ней патриархальной фамилии и зависимых от него. Наиболее точным поэтому является перевод интересующего нас термина словом «клиент». В пользу этого перевода говорит и цитированный нами выше текст того же Нершахи, где в совершенно аналогичном парном сочетании вместо термина «кедивер» употреблено арабское слово, буквально означающее «следующие (за кем-либо)».

Власть согдийской аристократии опирается на отряды вооруженных рабов—чакиров (шакиры арабских хроник, чжэкиэ китайских источников) и привилегированное конное ополчение аристократической молодежи[1].

Характер наших источников, к сожалению, таков, что о формах рабства в Согдиане в интересующий нас период мы располагаем весьма скудными сведениями. Однако, во всяком случае, китайские летописи дают достаточно указаний на то, что захват рабов составлял не только для кочевников[2], но и для оседлых общин Средней Азии и восточного Туркестана одну из главных, если не основную задачу их войн между собой. Так, Тан-шу[3], описывая оседлые поселения бассейна Средней Сыр-Дарьи (в районе Ташкента), гово-

---

[1] Nerchakhy, стр. 49. Анализ характера согдийских общественных отношений, в частности доказательства рабовладельческого характера согдийской семьи, см. у В. Яроцкого. Социально-экономические отношения в Средней Азии в эпоху сасанидов («Соц. наука и техника», Ташкент, 1934, № 1—2, стр. 13—33). Автор основывается, правда, на косвенных данных—на материале сасанидского судебника Matikan-i hazar Datestân, не имеющего в виду конкретно Среднюю Азию. Но благодаря этому судебнику отрывочные данные о рабстве, собственности и семье в Согдиане, которыми мы располагаем, получают более полное освещение. Ср. Chr. Bartholamae. Zum Sasanidishen Recht, I—V, Heidelberg, 1918—1923 гг. О форме семьи, patria potestas, праве родителей продавать в рабство детей, о праве мужа передавать другому жену и т. д., см. V, стр. 22, 24, 25, 29.

[2] История культурной жизни Туркестана, стр. 37.

[1] Tabari II, 1159; Тан-шу, CCXX, стр. 2а

拓羯 Сюань-цзан (Hiuen-tsang Memoires 1,19)

赭羯 ср. Doc., стр. 137, 313. Идентификация этого слова с персидским «čakar»—раб (servus, famulus) принадлежит Маркварту (Chr. d. altlürk. Inschr. s. 63). Важно отметить, что этот тип организации дружин вождей характерен и для Ирана парфянского времени. Рабы (δοῦλοι, servi) как основной контингент армии парфянской аристократии отмечены Плутархом (Красс, XXI), Помпеем Трогом (Юстин. X, 1, 2). Эта рабская «гвардия», отнюдь таким образом не являющаяся чем-то исключительно парфянским и потому вызывающим сомнения (см. по этому вопросу полемику между Адонцем, Армения в эпоху Юстиниана, Спб, 1908, стр. 385, и Манандяном, Заметки о феоде и феодальном войске Парфии и Аршакидской Армении, Тифлис, 1932), получает особое гипертрофированное развитие при аббасидах, саманидах и газневидах, когда ее начальники, недавние рабы, становятся фактическими вершителями судеб халифата и сложившихся на его развалинах государств, пока при сельджуках ей на смену не выступает военно-ленная организация, основанная на институте «икта».

[2] См. выше.

[3] Тан-шу, CCXXI в стр. 4.

耕者皆擐甲相掠爲奴婢

Собр. свед., стр. 245. Doc., p. 144; ср. Бартольд. О христианстве в Средней Азии в домонгольский период, ЗВОРАО, VIII, 1893, стр. 7.

рит: «Землепашцы вообще ходят в латах и захватывают друг друга в неволю».

Термины «раб» βntk (чит. bandak, ср. средне-персидское [illegible] «раб») и δ'yh «рабыня» хорошо известны согдийским текстам, начиная со «старых писем», относящихся ко II в. н. э.[1], причем они противостоят свободным «азатам» ''z'tč[2]. Характерным является отмечаемый Ф. Розенбергом[3] факт, что собственные имена азатов и рабов (βntk) имеют в этих текстах совершенно различный облик, причем только первым присущ иранский характер. Это вместе с приведенными свидетельствами Таншу дает право считать, что перед нами рабы—военнопленные или потомки военнопленных.

Согдийские «старые письма», совершенно специфический по своему характеру документ, отражающий, с одной стороны, частно-семейные отношения, с другой,—торговую деятельность согдийских колонистов на границах Китая, говорят лишь об одной из форм эксплоатации рабов—выполнении ими коммерческих поручений своих хозяев. Эта форма, хорошо известная из истории греко-римской и особенно восточной античности (в частности широко распространенная в древней Аравии), конечно, не исчерпывала рабовладельческих отношений в городах Согдианы. Материалы о сасанидском Иране, близком по характеру своего общественного строя к интересующей нас стране, позволяют предполагать, что труд рабов использовался и в земледелии[4].

Археологические источники заставляют предполагать значительное использование рабского труда в создании ирригационной сети Средней Азии. Огромные размеры ирригационных сооружений, построенных в дофеодальную эпоху[5], заставляют предполагать большое количество вложенного в их создание труда, который не мог быть ни свободным ни крепостным трудом. Достаточно указать, что, как мы показали выше (гл. II), на всем протяжении средневековья не удалось восстановить разрушенную и пришедшую в упадок на рубеже средневековья и античности ирригационную сеть[1], и простое поддержание сохранившейся сети в порядке требовало огромного труда[2]. Осуществление строительства этой сети силами крестьян при имевшихся в распоряжении древних согдийцев и хорезмийцев технических средствах должно было оторвать от сельского хозяйства такое количество рабочей силы, которое сделало бы невозможным сколько-нибудь нормальное функционирование этого хозяйства. Выводы В. В. Струве об организации строительства ирригационной сети в странах древнего Востока[3] должны быть распространены и на древнюю Среднюю Азию, иначе мы не сумеем дать сколько-нибудь удовлетворительного ответа на интересующий нас вопрос[4].

Перефразируя известные слова Энгельса[5], мы можем сказать, что если бы не было рабства, богатая ирригационная культура Востока не могла бы возникнуть[6].

---

[1] H. Reichelt. Die Soghdischen Handschriftenreste des Britischen Museum II, Heid. 1931, напр. II, 42 (ss. 16—17); II—51.

[2] Там же, стр. 8—9, (1,1).

[3] ИОН, 1932, № 5, стр. 456.

[4] Ср. главы о рабах, используемых в земледелии, в сасанидском судебнике. Matikan-i hazar Datestân, Chr. Bartholomae. Zum sasanidischen Recht, III. Heid. 1926, стр. 31—32.

[5] «Арабы, как мы увидим, застали здесь ту же ирригационную систему, которая потом сохранилась без существенных изменений до русского завоевания»,—пишет В. В. Бартольд о бассейне Зеравшана (К истории орошения Туркестана, Спб., 1914, стр. 13—14, ср. там же стр. 105 сл.). Об огромной оросительной сети Хорезма в ранне-мусульманский период см. там же, стр. 80 сл. Ср. его же, Туркестан, II, стр. 143 сл. Археологические данные, см. выше, гл. II.

[1] Строительство новых каналов путем применения принудительного труда крестьян расценивалось современниками как народное бедствие. Ср. Бартольд, История орошения, стр. 23—24.

[2] По данным среднеазиатского Водхоза за 1924—1925 гг. затрата труда населения Хорезма на очистку арыков и ремонт головных сооружений выражалась (в среднем по Хорезму) в 17,8 человеко-дней на 1 десятину земли, доходя в отдельных районах (Кият-Кунград, Шах-абад) до 27,2 и даже 27,7 человеко-дней. Материалы по районированию Средней Азии, кн. 2, ч. 2, стр. 15.

[3] «Известия ГАИМК», в. 77, стр. 37 сл. и другие работы того же автора.

[4] Характерно, что у туркмен, в докапиталистической экономике которых удельный вес рабства был особенно значителен, труд по созданию ирригационных сооружений (кяризов) и колодцев в пустыне был возложен на военнопленных персиян. Ср. Л. Н. Цимбаленко. Кяризы (водопроводы) Закаспийской области, Спб., 1898; Ср. нашу работу в «Изв. ГАИМК», вып. 103, стр. 176.

[5] Анти-Дюринг, Соч., т. XIV, стр. 183: «Без рабства не было бы греческого государства, греческого искусства и науки; без рабства не было бы и Рима».

[6] Характерно, что древнейшие, восходящие к родовому обществу поселения (типа Анау), тяготеют к местам выхода из гор небольших горных речек, использование которых для орошения было значительно менее сложно. Интересно также отметить, что расцвет ирригационного земледельческого хозяйства кыргызов-хакасов падает как раз на период политического подъема хакасского государства, и вслед за падением последнего постепенно приходит в упадок также ирригационная культура, следом которой остаются до сих пор так называемые «чудские канавы». Да позволено нам будет к многочисленным теориям, объясняющим это явление (высыхание Центральной Азии, отклонение торговых путей и т. д.), прибавить еще одну: ирригационная культура держалась на труде военнопленных, и из прекращения массового притока рабов—при существовавших в распоряжении кыргызов весьма примитивных технических средствах—неизбежно вытекала невозможность дальнейшего существования ирригационного хозяйства и его постепенный упадок.

Те же выводы мы должны сделать и в отношении ремесла. При полном отсутствии для древней, доарабской Средней Азии указаний на наличие ремесленников как особой группы населения мы находим большое количество сведений о ремесленной продукции среднеазиатских городов и селений, восходящих к первым шагам арабской экспансии в Средней Азии. Нам представляется наиболее вероятным разрешением этого противоречия гипотеза, что молчание источников о ремесленниках обусловлено отсутствием или крайней незначительностью прослойки свободных ремесленников. Города и селения Средней Азии давали богатую ремесленную продукцию (прекрасные образцы которой мы можем видеть в наших музеях)[1]. Но производителями этой продукции— стеклодувами, ювелирами, оружейниками, ткачами и т. д. были рабы, скрытые от глаз иностранца-наблюдателя глинобитными стенами «замков дихканов и купцов». Это предположение целиком подтверждается анализом планировки Топрак-кала (см. выше, гл. III, 2), значительного города, дожившего до V—VI вв. н. э., давшего прекрасные образцы разнообразной ремесленной продукции, но, вместе с тем в своей планировке не оставляющего никакого места для особого слоя свободных ремесленников, живущих за пределами 8—10 семейно-родовых домов усадеб города.

Ремесленным трудом занималась известная часть bandak'ов и čakar'ов, рабов, живших, по приведенному выше свидетельству Нершахи, вокруг кёшков своих господ[2]. На это указывает и приводимое Нершахи в другом месте его труда[3] свидетельство о наличии в Бухаре в раннемусульманский период большой ткацкой мастерской, производившей такое количество ценных тканей, что ими якобы уплачивалась некогда вся поземельная подать (харадж) Бухары правительству халифата. Судя по контексту, во времена Нершахи мастерская давно уже не работала, но здание сохранилось и являлось одной из достопримечательностей города, предание о которой и сообщает автор.

Так как совершенно немыслимо для того времени предполагать мануфактуру, основанную на свободном труде, единственным вероятным объяснением этого археологического уже во времена Нершахи памятника, размеры которого поражали современников, будет гипотеза, что мы имеем дело с очень значительной рабовладельческой мастерской, принадлежавшей, вероятно (на это указывает фраза об уплате хараджа продукцией мастерской), царю города[1].

Косвенным, но весьма веским подтверждением кастово-рабовладельческого расчленения среднеазиатского общества интересующей нас эпохи является получивший к этому периоду довольно широкое распространение (мы находим сведения о наличии его у эфталитов[2], в Хорезме[3], в ряде городов восточного Туркестана[4]) обычай искусственной деформации черепов и, особенно, интерпретация этого обычая, даваемая Макдиси и Якутом. Рассказ последних, ставящий происхождение упомянутого обычая в Хорезме в непосредственную связь с хорезмийской легендой о происхождении населения Хорезма от брака 400 изгнанников с тюркскими невольницами, основным мотивом деформации голов делает стремление хорезмийцев избежать обращения своих детей в рабство[5]. Звучащий явно анахронистически в дошедшем до нас изложении рассказ этот несомненно является пережитком эпохи господства ранних форм рабовладельческого общества, переплетающихся с еще неизжитыми родоплеменными традициями, когда свободнорожденный стремился и в физическом облике подчеркнуть свое отличие от раба. Характерно, что именно период военной демократии и ранне-рабовладельческие общества дают наибольшее количество деформированных черепов (ср. Перу, Северное Причерноморье и др.)[6].

Текст Нишабури-Нершахи, перечисляя эмигрантов, бежавших от тирании Абруя, называет рядом «знатных дихканов» и «купцов». Между теми и другими разница была весьма незначительной[7] и заключалась, повидимому, в наличии у первых наследственных прерогатив, которыми не обладали вторые.

---

[1] Ср. В. Л. Вяткин. Городище Афрасиаб. Ташкент, стр. 16, 20 сл., Trever, цит. соч., стр. 19, сл. и др.

[2] Характерно, что у кафиров Гиндукуша, являющихся в подлинном смысле слова осколком домусульманской Бактрии, уцелевшим благодаря особым историческим условиям, существует наряду с домашними рабами особая каста рабов-ремесленников, потомков военнопленных. См. G. S. Robertson. The Kofirs of Hindu-Kush. London., p. 100 sq. Cp. ibid., p. 82 sq.

[3] Nerchakhy, p. 18.

[1] Роль царских и храмовых хозяйств, как форм античной общинной собственности для рабовладельческих обществ Востока, достаточно вскрыта акад. В. В. Струве. См. «Известия ГАИМК», вып. 77, стр. 37 сл.

[2] Ch. de Ujfalvy. Mémoire sur le Huns Blancs. L'Anthropologie, t. IX, № 3, 1893, Mai—Juin, p. 259, sq.

[3] Якут, II, стр. 483.

[4] Сюань-Цзянь у St. Julien. Histoire de la vie etc. Собр. свед., III, стр. 218, 224. Doc., стр. 121.

[5] См. у Якута, II, стр. 483.

[6] Ср. Д. Н. Анучин. О древних искусственно деформированных черепах. Протоколы «Известий Об-ва люб. естеств. антр. и этн.», т. XIX, в. IV, М. 1887, стр. 380.

[7] См. В. В. Бартольд. Туркестан, II, сс. 183—184: «рассказ Нершахи о бухарских купцах показывает, что они владели обширной недвижимой собственностью, жили в замках и по своему положению мало чем отличались от дихканов».

Как китайские, так и арабские источники дают огромный материал о торговле среднеазиатских городов,—материал настолько значительный, что за ним часто скрывается от исследователя характер общественных отношений населения среднеазиатских оазисов.

Было бы величайшей ошибкой видеть в городской цивилизации оазисов Средней Азии продукт развития только земледельческих оазисов. Лишь исходя из «первого значительного разделения труда» между кочевниками и земледельцами, можно объяснить ранний расцвет среднеазиатских городов, возникших и развивавшихся как связующее звено между обеими главными отраслями экономики древней Средней Азии—скотоводческим хозяйством степей и земледельческим хозяйством оазисов.

Этим объясняется тот исключительный расцвет торговли в дофеодальных среднеазиатских городах, который единогласно констатируют и китайские и позднейшие арабские источники.

Транзитная торговля, развивавшаяся позднее и занявшая в экономике среднеазиатских городов очень заметное место, является лишь дополнением к этой основной отрасли обмена, создавшей среднеазиатские города и обусловившей их дальнейшее существование. Зачатки, из которых вырастает среднеазиатский город, это, с одной стороны, refugium, с другой, базар, причем и то и другое очень рано освящается божественным авторитетом.

Город как торжище—святилище, столь хорошо нам известный из истории раннеарабских городов, развивавшихся в весьма сходной обстановке, оказывается типичным и для истории Средней Азии[1].

Уже Маркс подчеркивает ту роль, которую кочевники играли в истории развития обмена на ранних этапах: «Кочевые народы первые развивают у себя денежную форму, так как все их имущество находится в подвижной, следовательно, непосредственно отчуждаемой форме, и так как образ их жизни постоянно приводит их в соприкосновение с чужими общинами и тем побуждает к обмену продуктов»[2].

Это положение подтверждается для истории Средней Азии всем имеющимся у нас материалом. И роль кочевников в формировании среднеазиатского города и самого его населения, в которое оседающие кочевники входят как весьма существенный составной элемент, может быть прослежена на большом материале.

[1] Ср. роль культа Анахиты в истории древнейшего Балха и позднейшее превращение этого города в один из крупнейших буддийских центров и вообще роль буддийских и вороастрийских храмов и монастырей (позднее к ним прибавляются манихейские и несторианские), в истории городов Средней Азии. См. В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана, стр. 38—48.

[2] К. Маркс. Капитал. 1936, I, стр. 49.

В китайских хрониках, описывающих государства «западного края», мы можем найти немало упоминаний о том, что в том или ином городе «вместе живут и торговцы и кочевники»[1].

Характерна также и заметная, начиная с эпохи юечжи, тенденция к постепенному переносу центра крупных государственных объединений кочевых и оседлых районов из степи в города и настолько прочное слияние городской и кочевой аристократии, что во времена арабского завоевания имя кушанов прилагается в Бухаре к торговой аристократии города, а согдийские правящие фамилии (чжаову) выводят свой род от юечжи.

Мы должны еще отметить одну черту, роднящую согдийские города с городами-государствами античности. Это—энергичная колонизационная деятельность согдийских городов долины Зеравшана, создание ими колоний до восточных предгорий Тянь-шаня, до Лобнора и даже Дунь-хуана[2]. Пельо установил на основании китайских рукописей, найденных А. Стейном во время его экспедиции, что в начале VII в. колония согдийцев из Самарканда существовала на юге от Лобнора. На основании другой рукописи он выяснил, что еще в VIII в. эта колония имела некоторую автономию[3].

Археологические исследования экспедиции А. Н. Бернштама в Семиречье раскрывают перед нами яркую картину широкой колонизационной деятельности согдийцев в этой области, начиная с III—V вв. н. э. и особенно в конце VI и в VII столетии, т. е. как раз в интересующую нас эпоху[4].

Анализируемый нами текст Нишабури собственно рисует перед нами случай создания такой колонии, причем и здесь мы не можем не отметить близкого совпадения с хорошо известной формой античной колонизации—эмиграцией одной из враждующих партий полиса, в данном случае аристократической. Таким образом один из общественных полюсов городов-государств Средней Азии занимала родовая и купеческая аристократия, а другой,—рабы и близкие к ним по положению клиенты—кедиверы. Основную массу населения составлял промежуточный слой мелких производителей, живших в своих «кедах» и занимавшихся земледелием и в какой-то мере ремеслом и торговлей[5].

[1] Собр. свед. III, стр. 223—224 и др., Doc., стр. 144.

[2] Reichelt, op. cit., стр. 4 сл.

[3] Revue d'histoire et de littérature religieuse, 1911, p. 10—11. Ср. R. Gauthiot. Essai de Grammaire Sogdienne. Paris, 1914—1923, стр. 5.

[4] См. А. Н. Бернштам: Согдийская колонизация Семиречья. КСИИМК, VI, 1940, стр. 34—43, особенно 41. Его же. Археологический очерк Северной Киргизии. Фрунзе, 1941, стр. 55 сл.

[5] Китайские источники при описании ряда городов упорно говорят о том, что все жители занимаются торговлей. Ср. Doc., 134. Близки к этому сведения Нершахи о деревнях Бухары, приведенные нами выше.

Материал, которым мы располагаем, и в частности тот же рассказ Нишабури, позволяет заключить, что наряду с общинной формой земельной собственности имеет место и частная собственность на землю, концентрация значительной части «земельных участков» в руках знати. Как показывает контекст рассказа, это сопровождалось превращением «тех людей»—очевидно, прежних владельцев участков, в слуг и кедиверов представителей купеческой и родовой аристократии. Тем не менее, как и у кочевых племен, входивших в состав тюркского каганата, общинно-родовые пережитки в быту населения оазисов Средней Азии в эту, да и в позднейшую, эпоху были еще очень сильны.

Ниже (экскурс III) мы подробнее разберем вопрос об архаических элементах в быту населения дофеодальной Согдианы. Отметим сейчас лишь наличие пережитков мужских домов[1] и связанных с ними коллективных трапез[2] (в известной мере напоминающих спартанские сисситии), а также пережитков группового брака, сосуществующих с патриархально-рабовладельческой familia аристократии[3]. В частности нужно отметить пережитки полиандрии среди массы населения.

Противоречие двух форм брака—полигамии аристократии, с одной стороны, и группового брака и полиандрии (являющейся формой разложения группового брака) масс, с другой,—является одним из выражений противоречия между господствующими рабовладельческими familia (включающими на правах адоптированных членов и наложниц значительную часть женщин общины) и стоящими вне аристократической верхушки разоряющимися членами общества.

Все вместе взятое позволяет считать вероятным, что в интересующий нас период Согдиана, и в частности район Бухары и Пейкенда, представляла собой совокупность весьма архаических по своему облику рабовладельческих городов-государств. Господствующими в них являлись слои общинно-родовой знати—дихканы, главы крупных рабовладельческих фамилий, и очень близкая к ним по своему социальному облику купеческая верхушка. Они противостояли, с одной стороны, рабам, с другой,—свободным мелким производителям, членам территориальной общины, разрушаемой развитием частной собственности на землю и углублением внутри ее имущественной дифференциации. Насколько далеко зашел этот процесс, говорит упоминание нашего Нершахи о «бедняках и нищих» derwīšān, faqirān, bīčarə, которые, по Нершахи, не присоединились к эмигрантам, а после смерти Абруя и возвращения бухарской знати стали ее кедиверами и слугами. В этом смысл раскрываемого текстом Нишабури-Нершахи классового конфликта в его внутреннем, бухарском аспекте.

Однако помимо этого аспекта и разобранного нами выше аспекта тюркского мы должны оценить эти события с третьей стороны—в контексте предшествующей истории и нижнезеравшанского оазиса и Средней Азии в целом. В этой связи огромное значение приобретают темные страницы истории Средней Азии V—VI столетий, связанные с подъемом и падением империи эфталитов.

V. ЭФТАЛИТЫ, МАЗДАК И АБРУЙ

Имя эфталитов, или «белых гуннов», само по себе представляет для нас значительный интерес. Китайское «и-да» или «е-да» 揖 怛 嚈 噠, греческое Ἐφθαλῖται, арабское xaytāl дает нам возможность реконструировать звучание этого имени в устах носившего его народа, как gwta→gwta-äli при тюркской семантике[1] второго составного элемента имени «народ gwta». Право на дешифровку второй, нарицательной части имени, исходя из тюркского лексического материала, дает нам вся совокупность эфталитской ономастики, позволяющей утверждать, что если эфталиты говорили и не на сложившемся тюркском языке,—язык их был весьма близок к тюркским и, вернее всего, может быть отнесен к той

[1] Мы сопоставляем «дома огня» (alav xona) современных горных таджиков (М. С. Андреев в сб. «Таджикистан», стр. 163—165; Арандаренко в «Военном сборнике», 1923, № 12, стр. 310; Н. А. Кисляков. Следы первобытного коммунизма у горных таджиков Вахиоболо. М.—Л. 1936, стр. 115—119), являющиеся несомненным пережитком мужских домов, с buyut nīrān раннемусульманского Согда, описываемым Бируни (цит. соч., стр. 234—235), как места коллективных трапез зороастрийского населения Согдианы.

[2] Albêrûni, там же.

[3] Ср. описываемый Nerchakhy (стр. 73) групповой брак последователей Муканны, близость которого к форме группового брака у древних массагетов (Геродот, I, 216; Страбон, XI, 6) несомненна. См. ниже, экскурс III.

[1] В этой связи большой интерес представляет чтение титула на монетах Тегины—одного из позднейших эфталистских князей Хорасана (начало VIII в.): Sri Hitivičâ Airanča Paramešavara srisah Tigin devajarita (по Кэннингэму): «Повелитель Hitivi и Ирана, великий вождь, благородный Шахи Тегин, богорожденный (J. de Morgan. Manuel de Numismatique Oriental. Paris, 1923—36, стр. 459—955). Форма Hitivi еще более подкрепляет наш тезис в массагетском происхождении эфталитов.

группе палеотюркских языков, средневековыми представителями которой были болгарский и хазарский, а современным—чувашский язык. Так, теофорное имя царя индийских эфталитов Михиракулы, имея в основе средне-персидский вариант имени Митры, второй частью имеет слово qula~gula, которое поддается дешифровке лишь из тюркских языков, восходя либо к oγul «сын», либо к qul «раб» (в целом «сын Митры» или «раб Митры»). Имя Тораманэ дешифруется из Tora—чувашск. torə «бог»+man—характерный, уже мертвый в современных тюркских языках суффикс образования собственных имен, отраженный в этнониме türk+man, ko-man и др.

Восстанавливаемое таким образом звучание самоназвания эфталитов позволяет видеть в них ответвление массагетов (goatsi, gwetti), с которым их не двусмысленно сопоставляют и китайские хроники[1]. Видимо, эфталитское движение может рассматриваться, как восстание сохранивших еще военнодемократические традиции и полукочевой уклад постепенно тюркизирующихся в процессе скрещения с хуннами, массагетских племен Трансоксании против ослабевшей власти кабульских кушаншахов и реальной экспансии претендующих на этот титул сасанидских царей.

Для нас большой интерес представляет гипотеза П. И. Лерха[2], поддержанная Н. Веселовским[3], связывающая одно из имен эфталитов—кидариты Приска Панийского с городами Кердер (Макдиси называет два Кердера) и Кердеранхас, расположенными в нижнем Хорезме, в дельте Аму-Дарьи[4] и с именем рода Кердери, казахского племени Джетыру (Малая Орда).

В пользу гипотезы Лерха говорит тот факт, что еще в XIII в. население области Кердер в дельте Аму-Дарьи представляло обособленную группу и говорило на своем «не тюркском и не хорезмском» языке[5] и в период арабского завоевания Кердер составлял особое владение[6].

Установленная нами связь хорезмийской и эфталитской чеканок (головной убор царей, способ деформации черепа, форма тамги, представляющей вариант хорезмийской)—все это говорит также в пользу этой гипотезы.

Согласно армянским данным[1], Теталы (эфталиты) выступают в конце IV века и покоряют «бактрийских аршакидов» (кушанов). Видимо, эти сведения соответствуют действительности, так как по согласному свидетельству китайских, византийских и персидско-арабских источников, в середине V века эфталитское государство уже охватывает огромную территорию от Хотана до Гурганского limes и от Кангюя до Северной Индии, по существу почти достигая границ старой кушанской империи.

Монеты эфталитов весьма интересны. В них скрещиваются влияния кушано-сасанидской и хорезмийской чеканки, несомненно отражая круг их политических претензий и историко-политических традиций.

Если Лерх прав, то движение эфталитов не только этнически, но и географически повторяет движение массагетов—юечжи. И на этот раз, политически связанные с независимым от сасанидов северным приаральским царством, кочевые массагетские племена поднимаются против западных завоевателей и создают среднеазиатское имперское объединение.

Мы не будем останавливаться на подробном анализе тех скудных сведений, которыми мы располагаем об эфталитах. Отметим лишь одно: настойчивое подчеркивание источниками нарушения эфталитскими царями господствующих семейно-бытовых норм, приводящее их к столкновению с согдийской аристократией и к внешней интервенции сперва Пероза, затем Хосрова Ануширвана и тюрков.

В первом случае речь идет о развратном поведении эфталитского царя, заставившем будто бы «лучших людей» государства обратиться к помощи Пероза, который был сперва разбит, а затем убит эфталитами[2]. Во втором—тюрки призваны против эфталитов одним из последних Катульфом, жену которого якобы обесчестил их царь[3].

Мы не можем не ассоциировать этого, с одной стороны, с показаниями китайских источников о полиандрии у эфталитов[4], с другой,—с показаниями тех же источников о том, что интервенция тюрков была связана со смутами в эфталитском государстве[5].

А все вместе взятое приводит нас к установ-

---

[1] «Царство Еда—из племени Больших Юечжи ханьской эпохи» Тан-шу CCLXXI в, стр. 5а. Ср. M. Vivien de Saint Martin. Les Huns blancs ou Ephtalites des historiens byzantins. Paris, 1849, стр. 67—68.

[2] P. Lerch. Rhiva oder Kivarizm, seine Hist. und Geogr., Verh., стр. 30.

[3] Н. Веселовский. Очерки историко-географических сведений о Хивинском ханстве, Спб. 1877, стр. 13.

[4] Кердер (Курдер), видимо, находился в районе нынешнего Чимбая, в правобережьи дельты. Курдер (Бартольд. Аму-Дарья, стр. 89) вместе с тем в Средние века имя нынешнего главного русла Аму-Дарьи ниже Бий-Базара. Второй Кердер и Кердеран-хас—в левобережной части дельты.

[5] Якут, изд. Wüstenfeld, IV, 257, МИТТ, I, 481. «Кердер—местность, в области хорезмской или на границе ее с областью тюрок, язык ее не хорезмский и не тюркский; в области множество селений; у них стада и животные, но это презренные люди...»

[6] МИТТ, I, 146. Ср. ибн-Хордадбег, BGA VI, стр. 38.

[1] К. П. Патканов в ТВО XIV, 17.

[2] Th. Nöldeke. Geschichte der Perser und Araber zur Zeit der Sasaniden, стр. 123 сл.

[3] Табари I, стр. 795, ср. Marquarv, Eranšal, стр. 216, 308.

[4] Бэй-ши, в Собр. свед. III, 178: «Братья имеют одну жену».

[5] Суй-шу, Собр. свед. III, стр. 203.

лению несомненной параллели между особенностями семейно-брачной политики эфталитов, видимо, составлявшей лишь одну из сторон их социальной политики и социальной программой того широкого народного движения, которое охватывает в это время Иран и которое не только хронологически, но и политически, видимо, связано с движением эфталитов. Я имею в виду восстание Маздака.

Эти указания источников, сами по себе темные и малозначительные, получают смысл в свете сравнительного анализа данных о семейно-бытовых лозунгах социальной программы народных антифеодальных движений Средней Азии и всего Среднего и Ближнего Востока V—XI вв., начиная с Маздака и кончая карматами. Я имею в виду выступающий во всех этих движениях лозунг разрушения патриархальной полигамии аристократии и возвращения к общинно-групповым формам брака, прослеживаемое у маздакитов, последователей Муканны, карматов[1]. В свете этих данных более скупые сведения о групповом браке у эфталитов, о покушении их правителей на устои патриархального брака, как повода для интервенции Пероза, а затем Ануширвана, о том, что Кавад, изгнанный в результате его промаздакитской политики аристократией Ирана, находит приют и военную поддержку у эфталитов—получают особый интерес[2].

Видимо, есть основания предполагать, что социальная политика эфталитов, историко-этнографически связанных с основателями кушанской империи, резко отличалась от политики их преемников—тюрков, опиравшихся, как мы видим, на иные социальные силы в Согде, чем эфталиты. Если последние опирались на поддержку народных масс, борющихся против растущих феодальных элементов, то правительство тюркского каганата, как и его союзник в период борьбы с эфталитами—сасанидское правительство Ануширвана с самого начала базируется на феодализирующуюся аристократию Средней Азии.

Движение Абруя выступает, таким образом, перед нами, как продолжение эфталитской политики, связанной с маздакитским движением в Иране. И принятый им титул эфталитских царей в связи с этим отнюдь не случаен.

Разоренные и закабаленные купцами и дихканами, теряющие землю и обреченные на превращение в клиентов и кабальных рабов аристократии, мелкие производители искали в движении, приведшем Абруя к власти, выхода из того невыносимого положения, в которое они попали, в результате победы аристократии, связанной с тюркской интервенцией. Хотя подробности деятельности Абруя нам неизвестны, но, несомненно, получив в derwīšan, fakirān, bīčārə социальную опору, он проводил политику, резко бившую по интересам бухарской знати и вызывавшую ее эмиграцию. Контекст позволяет предполагать, что здесь в какой-то форме проявилась тенденция к возвращению отошедших к представителям аристократии участков земли их прежним владельцам, к превращению кедиверов и слуг вновь в полноправных граждан.

На это указывает подчеркивание Нишабури того, что бухар-худат владел большей частью земельных участков и «те люди» были его кедиверами и слугами, а также и дальнейшая судьба бедняков, ставших кедиверами и слугами возвратившейся аристократии.

Правление Абруя в нижней Согдиане явилось таким образом диктатурой или, если употребить термин, наиболее отвечающий содержанию анализируемых событий, «тиранией» (в античном смысле этого слова) союза разоренных свободных воинов—тюрков, беглецов из каганата, и низших слоев населения оазиса, разоряющихся и закабаляемых мелких производителей города и рустаков.

Своим острием она была направлена, с одной стороны, против господствующей аристократии каганата, с другой,—против союзников этой знати: дихканов и богатых купцов трансоксанских городов.

Заключительный акт этой социальной трагедии нам уже известен. Чуло-хэу, не сумевший, повидимому, разбить своего противника при помощи дружин тюркской аристократии, прибегает к помощи Китая, дающего ему вспомогательное войско[1]. Эта интервенция Суйской империи на далеком Западе решает дело, одновременно усиливая активность враждебных Або элементов в самой Согдиане (очевидно, не эмигрировавшей части согдийской знати и купечества). Або-Абруй попадает в плен и погибает, а поддерживавшие его бедняки становятся «слугами возвратившихся из Хамуката»[2].

В самом каганате борьба еще продолжается. Одновременно с кровавой развязкой борьбы в Бухаре приверженцы Абруя нападают на ставку Шаболио и берут в плен его семью[3]. Однако это уже последние вспышки движения.

Власть каганата над всей страной—от «Великой песчаной степи», которую Шаболио «положил границей с Китаем», до границ Ирана—оказывается восстановленной. В следующем году верховный «царь» тюрков Шаба-Чуло-хэу выступает в союзе с Византией против Ирана.

---

[1] См. ниже, экскурс III, II, 2.

[2] В этом свете и данные о семейно-бытовой политике Хурразада в Хорезме в 712 году также получают первостепенное значение для решения вопроса о социальной программе этого движения. Подробнее см. ниже, экскурс III, II, 2.

[1] Собр. свед. I, стр. 280—282.

[2] Nerchakhy, стр. 5.

[3] Собр. свед., там же.

Весьма характерен тот факт, что перенесший тяжелую гражданскую войну (и далеко, конечно, не оправившийся от ее последствий) каганат так быстро решается на то, на что не решались ябгу западного края в течение более чем двух десятилетий.

Однако изложенное раньше помогает понять этот кажущийся парадоксальный факт. Поход Шаба-Чуло-хэу на Иран, помимо международных соображений, диктовался самим кризисом каганата. Разбив Або, Чуло-хэу не мог, конечно, положить конец острой классовой борьбе в каганате, так как вызвавшие ее причины продолжали действовать. Правящая группировка каганата видела в удачном западном походе (ибо восточный был невозможен) путь для выхода из кризиса. Грабеж богатых иранских земель должен был несколько смягчить раздиравшие каганат внутренние противоречия. Это была последняя ставка в политической игре, которую вела правящая верхушка каганата. И эта ставка была бита. За первыми успехами последовал разгром тюркских войск армией Бахрам-Чубина, вторжение ее в Согдиану и гибель самого Чуло-хэу «от раны стрелою».

Собственно с этого момента (588 г.) можно датировать распад каганата на Восточный и Западный. Исторические судьбы обоих развиваются своими путями. Оба они переживают новый период подъема в годы нового кризиса Китая, сопровождающего падение династии Суй. Но по существу период расцвета каганата остается уже позади, и с выходом Китая из кризиса и Восточный и Западный каганаты оказываются под властью Танской империи[1].

Причина этого неуклонно развивающегося процесса упадка каганата, к которому привело подавление демократического движения Абруя, может быть понята лишь в свете учета как внутренних, коренящихся в самом характере общественного строя тюркского государства, так и внешних, связанных с его международным положением, моментов. Усиление Китая при Суях и особенно Танах явилось, конечно, весьма важным условием для ускорения этого процесса, но только для его ускорения, ибо уже в правлении Тобо-кагана наметились признаки, свидетельствующие о начале кризиса каганата.

Основная причина вскрыта с большой эмоциональной силой автором кошо-цайдамских надписей. Это—разложение тюркского эля, разрушение в процессе быстро развивающейся в результате победоносных походов имущественной дифференциации старых, традиционных военно-демократических учреждений, забвение «тюркского törü».

Тюрки перестали быть «idi uqsyz», «незнающими господствующих родов». «Господствующие», усилившиеся в процесе грабежа Китая, встали на путь превращения свободных воинов-кочевников в своих дружинников—клиентов, кабальных рабов. Этим разрушалось главное условие существования военно-рабовладельческого государства кочевников, которым являлось конное войско свободных общинников. Расшатывалась та «естественно выросшая форма ассоциации», которую рабовладельцы должны принять перед лицом рабов,—коллективная государственная собственность активных граждан рабовладельческого государства. «Поэтому все основывающееся на этом фундаменте строение общества, а вместе с ним и власть народа, приходят в упадок в той же мере, в какой развивается преимущественно недвижимая частная собственность»[1].

И именно эта внутренняя закономерность развития «элей» центрально-азиатских народов, являющаяся лишь одним из проявлений общей всем без исключения рабовладельческим обществам закономерности, обуславливает неизбежность перехода политической гегемонии к другому, более молодому, сохранившему в большей неприкосновенности военно-демократические традиции элю, неизбежно обреченному, однако, рано или поздно на ту же участь. На смену кушанам выдвигаются эфталиты, на смену жуань-жуаням—тюрки, и после подчинения Китаю и возрождения каганата Бумыня во втором каганате Кутлуга этот второй каганат разделяет судьбу первого, уступая гегемонию уйгурам, кыргызам и т. д.

Эта смена элей-гегемонов в непрерывном процессе исторического развития народов центрально-азиатских степей и оазисов типична отнюдь не только для данной страны. «Там, где рабство является господствующей формой производства, там труд становится рабской деятельностью, т. е. чем-то бесчестящим свободных людей. Благодаря этому закрывается выход из подобного способа производства, в то время как с другой стороны требуется устранение его, ибо для развития производства рабство является помехой. Всякое покоящееся на рабстве произ-

[1] Интересно отметить, что хотя, как показал Шаванн (цит. соч., стр. 49—50), Дату-каган, сын Истеми, продолжает жить и править и в 590-х и в начале 600-х годов и даже около 601 г. пытается объединить под своей властью и Восток и Запад, рядом с ним существует династия западно-тюркских каганов. Шаванн (цит. соч., стр. 8) считает, что последняя происходит от Дату. Но, как мы показали во II главе настоящего экскурса, династия эта происходит от Кара-Чуры (Чулохэу), внук которого, сын правителя Пейкенда—Иль-Арсланд-Тегина, Нили-каган, является первым западным каганом этой линии. Следовательно, по существу, можно для этого периода говорить фактически о трех враждующих между собой тюркских каганатах, пока власть в западном каганате не объединяется в руках внука Дату Шегуя (613 г.).

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. IV, стр. 12—13.

водство и всякое основывающееся на нем общество гибнут от этого противоречия. Разрешение его дается в большинстве случаев насильственным покорением гибнущего общества другими, более сильными. Греция была покорена Македонией, а позже—Римом. До тех пор пока эти последние, в свою очередь, покоятся на рабском труде, происходит лишь перемещение центра, и весь процесс повторяется на высшей ступени, пока, наконец (Рим), не был покорен народом, введшим вместо рабства новый способ производства»[1].

И на территории огромного внутреннего бассейна Средней Азии ту роль, которую в Европе сыграли германские, славянские и другие варвары, сыграли сельджуки и караханиды в XI в. Но это лежит уже за пределами нашего исследования.

Наш материал кажется нам достаточно убедительным для утверждения, что исторические судьбы кочевых и оседлых народов Средней Азии неотделимы одни от других, что перед нами неотъемлемые части одного социально-экономического целого. И пытаться понять одну из этих частей в отрыве от другой значит стать на совершенно ложный путь.

Каганат как государство может быть определен как орудие господства блока кочевой аристократии и аристократии городов над рабами и плебсом в кочевье и оазисе. И движение Абруя, его демократическая «тирания» встает перед нами как движение объединенных для борьбы против общих врагов плебейских элементов оазиса и кочевья.

В условиях конкретно-исторической обстановки VI века эта борьба могла иметь только один смысл. Это была борьба традиционного общинно-рабовладельческого строя с бурно растущими феодальными отношениями, для окончательного торжества которых понадобились, однако, еще четыре столетия упорных классовых битв, варварских нашествий и чужеземных интервенций.

---

[1] Ф. Энгельс. Диалектика природы. Соч., т. IV, стр. 450.

ЭКСКУРС III

ПУТЬ КОРИБАНТОВ

(Архаические элементы в общественном строе дофеодальной Средней Азии)

«Некоторые говорят, что корибанты пришли из Бактрии».

Страбон X, 3, 19.

Одним из бесспорных завоеваний марксистско-ленинской исторической науки является установление той роли, которую пережитки первобытно-общинного строя играют в истории рабовладельческих античных и особенно восточных обществ. Общеизвестно то значение, которое Маркс и Энгельс придавали факту сохранения на Востоке сельской общины, существование которой в рамках сперва рабовладельческого, а затем феодального общества наложило специфический отпечаток на характер исторического процесса в тех странах, в которых это явление имело место. Общеизвестно то значение, которое Маркс и Энгельс придавали пережиткам родового строя в греческом и римском обществе, и та роль, которую основоположники марксизма отводили древне-германской общине в процессе перехода западного мира от рабовладельческого строя к феодальному.

Учение Ленина об общественных укладах теоретически вооружило нас для понимания той огромной роли, которую играл и играет в историческом развитии всех без исключения народов факт сосуществования в сложном диалектическом единстве, в рамках одного общественного организма, элементов прошлого, настоящего и будущего общества. Товарищ Сталин своим определением общественных укладов отсталых народов СССР дал нам в руки конкретный путь использования в наших исторических исследованиях этого положения Ленина[1].

Однако мы, советские историки, до сих пор не можем похвастаться тем, что путь, намеченный в этом вопросе классиками марксизма-ленинизма, использован нами в достаточной мере.

К сожалению, приходится сказать, что наши историки древнего мира, за редкими исключениями, ни на шаг не продвинулись по этому пути по сравнению с тем, что уже было сделано более полувека тому назад Марксом и Энгельсом, ограничиваясь, как правило, лишь общеизвестными цитатами из основоположников марксизма и нисколько не задумываясь о том, что и в этом вопросе, как и во всяком другом «марксизм—не догма, а руководство к действию».

Если Маркс и Энгельс, работая над проблемами древней истории, внимательно следили за движением этнографической науки, немедленно реагируя на вновь открытые факты, если они неоднократно подчеркивали, что именно новейшие энтографические открытия—в частности, открытия Моргана, Бахофена и др. дали им возможность глубже проникнуть в предисторию греческого, римского и германского обществ, глубже раскрыть сокровенные стороны сложного процесса становления классового общества, советские историки античной и восточной древности, на которых в нашей стране лежит ответственная и почетная задача итти дальше по пути, намеченному Энгельсом, как правило, весьма мало интересуются новейшими этнографическими открытиями, а их сделано немало с тех пор, как не стало автора «Происхождения семьи, частной собственности и государства». Больше того, и старые открытия, известные уже Марксу и Энгельсу и широко использованные ими, остаются по существу очень мало освоенными нашими историками древности, лишь в редких случаях берущими на себя задачи энгельсовским методом разрабатывать свой исторический материал, подменяя это введением в текст своих работ готовых определений Энгельса, сделанных на другом материале и на другом этапе

[1] И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1934, стр. 70.

общего развития исторической и этнографической науки.

Проблема роли пережитков первобытнообщинного строя в античных и восточных обществах разрешена Марксом и Энгельсом в своих основных, наиболее важных чертах. Восточная сельская община раскрыта ими прежде всего как экономическое явление, принципиально новое по отношению к первобытному роду, хотя и выросшее из него. Однако остаются многие черты восточной общины, совсем или почти совсем не затронутые основоположниками марксизма—с одной стороны потому, что в их время не было еще накоплено достаточного материала, с другой,—потому, что в первую очередь было естественно остановиться на самом существенном.

Я имею в виду такие явления, как связанные с восточной общиной формы семейно-брачных отношений, как вопрос о пережитках родовой организации, матриархата и связанных с ним архаических общественных институтов родового общества, сосуществующих в разных странах в разной мере—с сельской общиной, в зависимости от чего последняя в разных странах выступает в различных конкретно-исторических проявлениях, что не остается без влияния не только на быт и нравы, но и на процессы социально-экономической и политической истории каждой из стран.

Переживание глубинных пластов первобытнообщинной организации, от родимых пятен которых нигде и никогда не освобождалась сельская община и которые иногда переживали ее, играя не малую роль в конкретной истории различных стран восточного и античного мира, отнюдь не новость.

Напомню римский род, продолжавший жить вплоть до эпохи империи,—род, без учета которого нельзя понять многих специфических особенностей римской истории. Напомню роль весьма архаических форм первобытных верований, продолжавших жить у народов античного Средиземноморья (тотемизм, матриархальный миф о «непорочном зачатии» и т. п.), в формировании идеологии первоначального христианства. Напомню, наконец, и тот крайне существенный факт, что основоположник теории матриархата, Бахофен, построил эту теорию по существу почти целиком на античном материале, на материале переживания матриархальных форм родовой идеологии в условиях классической античности.

Вульгарный меньшевистский схематизм, идущий от «интерпретаторов», resp. вульгаризаторов и исказителей Энгельса из среды сперва немецких «катедер социал-демократов» типа Каутского, Кунова и многих других, а потом и из среды наших отечественных схематиков школы Покровского, шел по пути выхолащивания богатства и сложности конкретно-исторического процесса, подменяя его всесторонний анализ готовыми и пригодными всюду и везде худосочными формулами.

Так было и с интересующим нас вопросом. Между тем — вне анализа этого круга вопросов во всей его полноте—мне представляется совершенно невозможным понять целый ряд первостепенных явлений истории древнего и раннесредневекового Востока, в частности разобраться в такой важной проблеме, как история крестьянских общинных движений в Средней Азии и Иране в V—XI вв. н. э., в эпоху становления феодализма. Я имею в виду движения Маздака, Муканны, карматов и целый ряд родственных им движений, без раскрытия сущности которых невозможно до конца уяснить себе условия сложения феодального общества ряда стран Ближнего и Среднего Востока.

В предлагаемых вниманию читателя этюдах я не берусь решать эту проблему. Моя задача уже и скромнее. Она заключается в сборе материалов к решению этой проблемы, в выявлении тех фактов древней и раннесредневековой общественной жизни народов Средней Азии, которые в свете этнографических материалов могут помочь разобраться в сложном клубке противоречивых данных, которыми мы располагаем об этих движениях.

Если мне это в какой-то мере удалось, я могу считать свою задачу выполненной.

I. КАВИ И КАРАПАНЫ

(Пережитки дуально-родовой организации и первобытных тайных союзов в древней и раннесредневековой Средней Азии)

1. Ферганский науруз

В посвященном описанию Ферганы параграфе «Истории династии Тан» мы находим любопытный отрывок, в котором рассказывается о характерном обычае, связанном с празднованием Нового года в этой области Средней Азии.

«В начале каждого года царь и вожди разделяются на две партии. Обе партии избирают:

каждая одного человека, который одевается в доспехи и сражается (с другим), его толпа помогает ему кирпичами и камнями. Когда один из них убит, останавливаются, и по этому определяют, будет ли год хороший или плохой»[1].

Этот рассказ представляет значительный интерес, так как в описанном обряде ритуальной борьбы между двумя половинами населения города с полной уверенностью можно видеть отражение чрезвычайно широко распространенного обычая первобытных народов: ритуального состязания двух фратрий.

Вопроса о переживаниях дуальной организации у народов Средней Азии нам уже приходилось касаться[2], однако, в отношении главным образом кочевых народов. Новогодний ритуал домусульманской Ферганы проливает свет на переживание этого важнейшего элемента социальной организации первобытнообщинного строя у оседлого населения Среднеазиатских оазисов.

Ритуальное состязание фратрий—один из наиболее долго сохраняющихся элементов комплекса дуальной организации. Так, Морган, характеризуя фратрии ирокезов, у которых они лишились уже основного своего признака—экзогамности[3], в качестве первой функции фратрии описывает организацию имевшей ритуальное значение общественной игры в мяч, причем «фратрии составляют противоположные партии и держат друг против друга за исход игры. От каждой фратрии выставляются лучшие игроки, обыкновенно от шести до десяти с каждой стороны, а члены каждой фратрии собираются вместе, однако на противоположных концах поля, на котором происходит игра. Игра ведется с жаром и энтузиазмом и возбуждает в зрителях захватывающий интерес»[4].

Ритуальная борьба между фратриями в разнообразных вариациях распространена и за пределами ирокезской конфедерации, являясь, по существу, одним из важнейших признаков дуальной организации у народов почти всех частей света.

А. М. Золотарев прослеживает ее помимо племен Северной Америки, также в древнем Перу, в Меланезии—на архипелаге Бисмарка и на Банксовых островах, у арунта в Австралии и др.[5] Из областей, более близких к Средней Азии, отметим племена нага в СВ Индии, две

[1] Тан-шу, CCXXI в, стр. 8а.
[2] ПИДО. 1935, № 9—10.
[3] L. H. Morgan. Ancient Society. Chicago (Ch. H. Kerr and C°), стр. 90.
[4] Цит. соч. стр. 94, ср. L. H. Morgan. League of the Iroqois, стр. 294.
[5] См. обзор у А. М. Золотарева. Родовой строй и религия ульчей. Хабаровск, 1939, стр. 145—148. Ср. там же пережитки соревнования фратрий у негидальцев, связанные с медвежьим праздником. Стр. 138.

половины каждой деревни которых раз или два в год сходятся на ритуальное побоище[1].

Ферганский новогодний ритуал не стоит одиноко и в Средней Азии.

В Ахман-ат-Такасим фи-Марифат ал-Акалим ал-Макдиси (конец X века) мы находим любопытные сведения о ритуальной борьбе в Гургане (Джурждане), приуроченной к мусульманскому празднику жертвоприношений (Курбан-байрам).

«Видишь их (жителей главного города Гургана), как они в день заклания двумя группами ссорятся из-за головы верблюда—израненные, избитые и расстроенные»[2].

Эти данные повторены Макдиси несколько ниже в другом контексте:

«В Джурджане происходят междоусобия из-за толка и между ними и жителями Бекрабада (бывает) бой из-за головы верблюда в день праздника»[3].

Речь идет о борьбе между жителями двух разделенных рекой с мостами половин столицы Гургана—Шахрастана и Бекрабада[4]. Если в данном контексте перед нами с полной несомненностью выступает архаический ритуальный характер состязаний, своими корнями уходящий в местную религиозно-бытовую традицию, и лишь позднее приуроченного к мусульманскому празднику, то как у того же Макдиси, так и у других авторов мы находим немало сведений о традиционной вражде и жестоких столкновениях между двумя половинами целого ряда среднеазиатских городов.

Так Макдиси нам рассказывает о борьбе в Мерве между жителями города (Медины) «и старого базара», в Несе между обитателями квартала ал-Хана и «началом базара», в Абиверде между Карри и «началом города». Любопытна приводимая Макдиси абивердская пословица: «никто не выпьет воды его (Абиверда), чтобы не вступить во вражду на стороне одной из партий», свидетельствующая о глубокой традиционности этой борьбы[5].

Характерно, что указанные распри не связываются Макдиси с описанными им несколько выше распрями на почве религиозных (в рамках ислама) разногласий. Та же несвязанность борьбы такого рода со столкновениями различных мусульманских толков подчеркивается им и для ряда других городов:

[1] W. Crooke. Natives of Northern India. London, 1907, стр. 40.
[2] BGA III, 358; МИТТ I, стр. 208.
[3] BGA III, 371; МИТТ I, стр. 209.
[4] О Бекрабаде см. BGA III, 358; МИТТ, 208: «Бекрабад соприкасается с ним (Шахрастаном), между ними река и мосты, это нечто вроде города».
[5] BGA III, 336; МИТТ I, 205.

«И в Балхе вражда не из-за толка, и также в Самарканде, и мало городов, в которых нет распри»[1].

Не исключено, впрочем, что и «дикие распри из-за толка», о которых рассказывает Макдиси для других городов, коренятся в традиционной домусульманской вражде двух половин города. Особенно любопытно в этом отношении его показание о такого рода вражде в Нишапуре, изменившей свое содержание уже в рамках ислама:

«Там вражда между западной половиной Нишапура, а это верхняя (половина), которая называется по Манишаку (название квартала), и другой (половиной), которая называется по Хире (название квартала), это дикая вражда из-за толка, а теперь она стала (враждой) между шиитами и керрамитами».

Под «враждой из-за толка» Макдиси, по всем данным, разумеет борьбу между так называемыми «правоверными толками» суннизма, по существу очень мало между собой различающимися (ср. его показания о распрях в Серахсе между ханафитами и шафиитами), сменившуюся затем борьбой между резко враждебным правоверному суннизму шиизмом, и также достаточно обособленным и весьма враждебным шиизму керрамитским течением.

Этот факт позволяет с достаточным основанием предположить, что и окраска борьбы между двумя частями Нишапура (как и Серахса) догматическими разногласиями между суннитскими толками не является первичной, что это лишь позднейшая трансформация традиционной ритуальной вражды между двумя половинами города, отраженной в рассказе «Таншу» и еще очень прозрачно выступающей в «борьбе за голову верблюда».

Характерно, что представляющий прямую параллель анализируемому нами ферганскому обычаю мы находим в описании в той же хронике династии Тан, относящемся к обычаям восточно-туркестанского города-государства Кучи:

«В новый год семь дней увеселяются боем баранов, лошадей и верблюдов, чтобы по их драке отгадать, урожаен или неурожаен будет год»[2]. Этот обычай прокладывает прямой путь между «боем за голову верблюда» Макдиси и «ферганским Наурузом».

Другую, также очень близкую параллель мы находим в исследованном Фрэзером[3] древне-римском обычае осеннего жертвоприношения коня. Ритуал начинался с состязания колесниц. Правый конь победившей колесницы убивался копьем, ему отрезали голову и украшали ожерельем из снопов. Жители двух кварталов Священной дороги и Субуры устраивали после этого борьбу между собой за голову коня. «Если голова доставалась обитателям Священной дороги, они прикрепляли ее к стене царского дома, если она доставалась жителям Субуры, они привязывали ее к Мамилийской башне».

Окропление кровью коня порога царского дома, хранение этой крови до весны, подмешивание этой крови в кровь жертвенных телят и сжигание смеси для охраны стад—все эти признаки вводят римский ритуал в круг аграрных обрядов—как и ферганский, кучинский и средневековый хорасанский, подчеркивают роль царя в этом ритуале, как и в анализируемых среднеазиатских обрядах. Параллелизм, как видим, полный и, несомненно, римский обряд позволяет дешифровать многое в слишком кратко описанных среднеазиатских обрядах.

Между прочим в «борьбе за голову верблюда» можно видеть исторический прототип исключительно широко распространенного в Средней Азии обычая «козлодрания»—в своем генезисе очень архаического ритуала, тотемические корни которого и связи с дуальной организацией я уже пытался вскрыть в одной из моих работ[1]. Центральным моментом моей аргументации является связь туркменского варианта козлодрания (gök-böri) с свадебным обрядом.

В этом обряде невеста, скачущая на коне с козленком или ягненком на руках и преследуемая женихом с его товарищами, стремящимися вырвать козленка, выступают как представители двух фратрий, связанных между собой взаимными брачными отношениями (крос-кузенный брак)—фратрий «голубого волка» и фратрии козла. Архаичность этого ритуала подчеркивается его несомненной связью с явлениями полового тотемизма, переплетающегося здесь с тотемизмом секционным. Если туркменское «gök-böri» дает нам несомненную увязку с брачными отношениями, то обычная для других народов форма козлодрания проецирует эти отношения в область интересующей нас ритуальной борьбы фратрии, не имеющей уже прямой связи с брачными отношениями, хотя, по нашему мнению, исторически и восходящей к ним.

Борьба двух половин Нишапура за голову верблюда, повидимому, может рассматриваться нами как прототип позднейших состязаний за козла, связь которых с фратриальным делением общества уже утрачена.

Особенно интересен факт деления каждого города на две части, находящиеся между собой в ритуальной вражде. Аналогии этому явлению мы найдем в многочисленных примерах пла-

[1] BGA III, 336; МИТТ I, 205.
[2] Иакинф, Собр. свед. III, стр. 218.
[3] «Золотая ветвь». М. 1928, III, стр. 194—198.

[1] ПИДО. 1935, № 9—10.

нировки поселений у целого ряда первобытных и стоящих на рубеже классового общества народов. Каждая из фратрий занимает определенную часть деревни, отделенную от квартала другой фратрии улицей, площадью или рекой.

Это наблюдается у многих племен Австралии (арунта по Штрелову[1], племена Центральной, Южной и С.-З. Австралии по Элькину)[2], у меланезийцев острова Сан-Кристобаль[3], у некоторых племен Новой Гвинеи[4], у бороро[5], у канелла Восточной Бразилии[6] и многих других южноамериканских племен[7].

В этой связи заслуживает, как нам кажется, внимания выясненная нами планировка древних хорезмийских городов и укрепленных поселений эллинистически-кушанской эпохи.

Из целого ряда древне-хорезмийских поселений, обследованных нами в 1937—1940 гг.[8], в четырех нам удалось выяснить внутреннюю планировку. Это—городище Джанбас-кала[9] и Топрак-кала[10] на землях древнего орошения Турткульского района ККАССР (на правом берегу Аму-Дарьи) и городища Куня-уаз[11] и Гяур-кала[12] на хвостовой части мертвого канала Чермен-яб в Ташаузской области ТАССР (левый берег Аму-Дарьи). Джанбас-кала относится к кангюйскому времени (IV в до н. э.—I в. н. э.), Гяур-кала и Куня-уаз—к кушанскому (первые века нашей эры), Топрак-кала к I в. до н. э.—V в. н. э., вплотную, следовательно, подходя ко времени, отраженному в рассказе хроники династии Тан.

В Топрак-кала, являющейся довольно значительным городом, главная улица делит городище на два квартала, каждый из которых состоит из 4—5 гигантских коммунальных домов размером примерно 100 м на 30—40 м.

Однако анализ этой планировки ставит перед нами ряд новых вопросов, выходящих за пределы намеченной «ферганским новогодним ритуалом» узкой проблемы, но неразрывно связанных с выяснением той более широкой исторической темы, которую мы сформулировали во введении к нашей работе.

Отнеся поэтому разбор их планировки в целом ниже, ограничимся сейчас констатированием лишь одной ее особенности. В трех случаях центральная улица, идущая по длинной оси городища и в одном случае (Куня-уаз)—стена, делящая городище поперек, делят каждое из этих поселений на две половины, представляющие собой каждая замкнутый, сплошь застроенный квартал.

С моей точки зрения, ничего нельзя привести против того, что здесь мы имеем дело с древним прототипом того деления раннесредневековых городов Средней Азии и Восточного Ирана на две находящиеся между собой в традиционной, имеющей ритуальную окраску, вражде части. Характерно при этом, что и в планировке средневековых городов Хорезма мы находим пережитки того же деления на две равные части—в частности, планировка обследованного сотрудником нашей экспедиции С. А. Ершовым[1] г. Даргана очень напоминает планировку Куня-уаза. То же надо сказать относительно обследованного Г. В. Григорьевым совсем другой части Средней Азии и по существу тождественного плану Куня-уаза и Даргана раннесредневекового городища Югон-тепе в окрестностях Ташкента[2].

В обоих последних случаях мы имеем городища, относящиеся непосредственно ко времени Макдиси и несколько более позднему.

Таким образом планировка городов средневековой Средней Азии также доносит до эпохи Макдиси архаичную традицию дуального деления поселений, как обычай «вражды не из-за толка» между двумя половинами города, доносит традицию, отраженную в «Ферганском Наурузе».

В пользу связи этого явления с архаическими институтами первобытно-общинного строя говорит и соединение его в общем комплексе планировки древнего среднеазиатского поселения с другими не менее архаическими чертами, которые мы попытаемся вскрыть ниже.

Сейчас вернемся вновь к начатой нами разработкой стороне вопроса—к проблеме исторических корней традиционной борьбы двух половин населения древних и раннесредневековых среднеазиатских городов.

---

[1] C. Strehlow. Aranda und Loritja. Hamburg, 1917, I, стр. 6.
[2] Oceania, II, 1931, стр. 54, III, стр. 453.
[3] C. E. Fox. The Threshold of the Pacific. L. 1924, стр. 35.
[4] G. Robertson. Social structure of the Jatmül people of the Sepic River. Oceania II, стр. 156.
[5] C. Levistrausse. Contribution a l'étude de l'organisation sociale des Indiens Bororo. Journ. de la Soc. des Americanists de Paris. XXVIII, 1936, стр. 269.
[6] American Authropologist 39, 1937, стр. 565 сл.
[7] J. Haeckel. Zweiklassensystem, Männerhaus und Totemismus in Sudamerika. Zt. f Ethn. B. 70, H. 6, стр. 442.
[8] См. ВДИ № 3, 1939, ср. также КС ИИМК 1940 г., № 6 и ВДИ № 1 за 1941 г. и выше, гл. III, § 2.
[9] ВДИ. 1941 № 1, стр. 162. См. выше рис. 29.
[10] См. выше гл. III, § 2, рис. 62.
[11] ВДИ 1941, № 1, стр. 178, а также выше, рис. 53.
[12] Там же, стр. 179, а также выше, рис. 60.

---

[1] См. статью С. А. Ершова, ВДИ, 1941 г., № 1, стр. 190.
[2] Г. В. Григорьев: Отчет об археологической разведке в Янгиюльском районе УзССР в 1934 г. Ташкент, 1935, рис. 9 (стр. 11).

2. Агура-Мазда и Ангро-Майнью

Ритуальный характер ферганских новогодних состязаний и их более поздних хорасанских аналогов заставляет нас обратиться к источникам, освещающим тот комплекс идеологических явлений, с которым они связаны—комплекс домусульманской среднеазиатской религии.

Средняя Азия—область, где зороастрийская религия проявила наибольшую стойкость перед победоносным наступлением ислама[1], область зороастрийской ортодоксии, ничуть не пострадавшей от мощных влияний буддизма, манихейства и христианства,—наконец, несмотря на старые и новые попытки ревизовать это положение, наиболее вероятный древнейший центр оформления зороастризма в законченную религиозную систему.

В. В. Бартольд, до сих пор остающийся непревзойденным авторитетом в области древней и средневековой истории Средней Азии, неоднократно подчеркивал эти положения.

По его мнению, несмотря на возражения Нольдеке[2], теория Маркварта[3] о Хорезме, как о родине легендарного Заратуштры, легендарной Айрьянем-вэджо зороастрийской традиции, «имеет многое за себя»[4].

Исторические корни иранского эпоса, материал которого неразрывно связан с зороастрийской мифологией, лежит, по мнению В.В. Бартольда, на территории Восточного Ирана и Средней Азии[5]. Новейшие исследования советских археологов снова и снова указывают на восточно-иранские и особенно среднеазиатские области, как древнейшие центры зороастрийской религии[6].

По существу все попытки перенести на Запад—в Мидию—генезис Авесты и родину Зороастра опираются на весьма далекий от непосредственной критики авестийского текста и связанного с ним комплекса традиций материал. Они исходят по преимуществу из общих соображений по вопросам истории расселения арийской ветви индоевропейцев и связываются с имеющим сейчас, после работ Н. Я. Марра, более чем сомнительное значение вопросом, шли ли арийцы с северо-запада на юго-восток или обратно, и являлись ли восточно-иранские и среднеазиатские области искони арийскими.

[1] Ср. Г. В. Григорьев. Зороастрийские костехранилища в кишлаке Фринкент. ВДИ, 1939, № 2, стр. 144 сл. Материал Г. В. Григорьева говорит о сохранении зороастрийской религии в окрестностях Самарканда до XIII века.

[2] ZDMG LVI, стр. 434 сл.

[3] J. Marquart. Eranshahr 1901, стр. 155.

[4] W. Barthold. Khwarizm. Enz. d. Islam II, стр. 974.

[5] ЗВО. XXII, вып. III—IV, 1915, стр. 257 сл. ИРАИМК II, 1922, стр. 365 сл.

[6] К. Тревер. Гопатшах—пастух-царь. Труды Отдела Востока Эрмитажа. II, 1940, стр. 85.

В. В. Бартольд[1] совершенно прав, выражая сомнение в том, что открытие черт индоевропеизма в языках богазкейского архива может явиться серьезной базой как для широких миграционистских построений новейших авторов, так и вообще для решения в пользу запада вопроса о первоначальном центре зороастризма[2].

Не менее прав В. В. Бартольд, не считая для данного вопроса решающими сами по себе очень интересные и важные новые факты, говорящие в пользу того, что Иран, в том числе Восточный Иран, а также и Средняя Азия вплоть до В. Туркестана включительно, первоначально был населен народностями кавказской, т. е. по терминологии Н. Я. Марра, яфетической группы[3]. Это очень важное положение, подкрепляющееся сейчас установлением наличия хетто-кавказско-тохарских языковых корреспонденций[4] и высказывавшееся рядом исследователей значительно раньше, в свете яфетической теории Н. Я. Марра получает совсем новый смысл и никак не может быть использовано для подкрепления новейших европоцентрических построений истории индоевропейских народов.

Попрежнему остаются непоколебленными основные факты, вытекающие из непосредственного анализа текста Авесты и связанной с ним традиции, а именно:

1) География Вендидад I связана с областями Средней Азии и В. Ирана; 2) отраженные в Авесте эпические мотивы неразрывно связаны с восточно-иранской (как убедительно доказал В. В. Бартольд) resp. среднеазиатской эпической традицией, наложившей[5] свой отпечаток на все позднейшее развитие иранского эпоса и входящей к передаваемым Ктесием Книдским (V в. до н. э.) эпическим преданиям, действие которых вращается вокруг Бактрии и Среднеазиатских степей; 3) все без исключения восходящие непосредственно к местной традиции источники, говорящие о месте деятельности Зороастра, связывают ее с Бактрией, хотя и расходятся в вопросе о родине легендарного пророка Авесты[6]; 4) и в Авесте и в позднейшей зороастрийской традиции среднеазиатские области характеризуются как особенно изобилующие почитаемыми зороастрий-

[1] ИРАИМК II, стр. 364—365.

[2] Там же, стр. 363. Новейшее открытие Б. Грозного, установившего наличие черт индоевропеизма (наряду с яфетическими—субарейскими элементами) в языке носителей культуры Мохенджодаро (ВДИ 1940, № 2) указывает скорее на приоритет Востока.

[3] Там же, стр. 364.

[4] Hüzing. Völkerschichten in Iran. MAGW. 1916.

[5] ЗВО, XXII, 157 сл. На этом тезисе В. В. Бартольд настаивает и в ИГАИМК, II, 366.

[6] W. Jackson. Zoroaster. New Iork, 1899, стр. 205, сл.

скими святилищами[1]; 5) язык Авесты, в том числе и Гат, резко отличается от юго-западного иранского языка ахеменидских надписей, относясь к восточной группе иранских языков, и религиозная терминология Авесты гораздо архаичнее ахеменидской[2].

Конечно, проблема происхождения зороастризма остается еще во многом спорной, но для нас несомненно одно положение, которое и является решающим для данной работы: зороастризм теснейшим образом связан со среднеазиатской почвой, и историко-этнографические факты, почерпнутые на этой почве, могут быть истолкованы в свете зороастрийской мифологии и, в свою очередь, пролить свет на многие ее темные стороны.

Традиционная в исторической и историко-культурной востоковедной литературе точка зрения рассматривает зороастризм как высокую этическую религию, основанную на противопоставлении абстрактных начал добра и зла. Не говоря уже об авторах тенденциозных компиляций по истории религий[3], даже наиболее квалифицированные и критически мыслящие авторы[4] не поднимаются, за редкими исключениями[5], над этим традиционным обобщением, считая все столь многочисленные черты авестийской религии, говорящие об ее примитивности и противоречащие этому определению, следами дозороастрийского «язычества», осквернившего чистую ткань этического дуализма Авесты.

Не говоря уже об образе патронессы Бактр—Анахиты, которой очень многие склонны отказать даже в праве считаться иранской богиней[1], и Митра[2] и другие зороастрийские боги и духи, не раз «разоблачались» в качестве представителей этого «язычества», приспособленных к дуалистической системе зороастризма и исказивших эту систему.

Уже достаточно давно, в лагере другой исторической специальности, начал мобилизовываться обширный материал, показывающий, что зороастрийский дуализм отнюдь не столь уже неповторимое явление, что аналогии ему находятся далеко за пределами не только Ирана и Индии, но и за пределами Старого Света и что его исторические корни уводят нас неизмеримо глубже предполагаемой эпохи Заратуштры.

Уже достаточно давно исследователи, работавшие над историей первобытных религий, представители этнографической науки, обратили внимание на родство самого авестийского дуализма—этой основы основ зороастрийской системы—с весьма архаическими верованиями первобытных народов.

Так, уже Э. Тейлор в своей «Первобытной культуре» сопоставляет зороастрийские дуалистические мифы с мифами и верованиями ирокезов—тускарора о борьбе врагов—близнецов Енигорио (букв. «добрый разум») и Енигонгагетгея («злой разум»), с которой связаны космогонические представления ирокезов; с верованиями гуронов о божественных врагах—братьях Иоскеге («светлом») и Тавискароне («темном»); с аналогичными мифами индейцев Макуз, ботокудов, муисков Боготы, индейцев Чили, кондов Индии.

Несмотря на всю осторожность Э. Тэйлора—обычную для него, когда от анализа первобытных верований он переходит к материалу «великих религий», он делает из своих сопоставлений достаточно недвусмысленный вывод:

«Верования дикарей показывают нам первоначальные концепции этого рода, которые, будучи развиты в систематическую форму и приведены в связь с нравственными идеями, со временем находят себе место в высших религиозных системах, типом которых может служить учение Зороастра»[3].

Л. Я. Штернберг не раз обращается к зороастрийскому дуализму.

Наибольшее внимание ему он уделяет в связи с анализом так называемых «близнечных культов» первобытных народов, бывших объектом одной из его монографий. Неоднократно возвращается он к этой теме и в своих исследованиях

---

[1] К. Иностранцев в ЖМНП, 1911, 1—2, стр. 296 сл.

[2] А. А. Фрейман. Средне-персидский язык и его место среди иранских языков. «Восточные Записки» ЛИЖВЯ, I, Л., 1927, стр. 49—50, 53. Автор приходит к выводу, что для утверждения о западном, мидийском происхождении Авесты «нет достаточных оснований; напротив, по своим чертам язык Авесты должен быть отнесен к восточно-иранским языкам и вся культурно-географическая обстановка, как она рисуется в Авесте, скорее указывает на Восток, как на арену деятельности Заратуштры, чем на Запад».

[3] Ср. Э. Леманн. Персы в «Иллюстрированной истории религий» Шантепи-де-ла-Соссей, русск. пер. М., 1899, т. II, стр. 182. Рогозина. История Мидии. Спб., 1903, стр. 120 и т. п.

[4] Lommel. Die Religion Zarathustras, стр. 93 сл., Ch. Autran, Mithra, Zoroastre et la préhistoire aryenne du christianisme. Paris, 1935, стр. 149—150 и др.

[5] J. Goldziher. Der Mythes heiden Gebräern. Leipzig, 1876, стр. 17, подчеркивающий вторичный характер этического осмысления дуализма в авестийской религии и связывающий зороастрийский дуализм вслед за Тэйлором с первобытными представлениями. Следует отметить, что как в работах Гольдциэра, так и в упоминаемых ниже работах Дармстетера сказалось сильное влияние открытий и теорий цитируемой ниже этнографической литературы. Заслуга Гольдциэра заключается также в том, что он блестяще доказал единство древнейшего пласта арийской (индоиранской) и семитической мифологии, опровергнув претензию многих иранистов и представителей индоевропейской филологии вообще, рассматривавших параллели в той и другой мифологии как результат персидского влияния.

[1] Леманн, цит. соч., стр. 191.

[2] Там же, стр. 189.

[3] Тэйлор Э. Первобытная культура. Русск. перевод под ред. Коропчевского. Спб. 1897, II, стр. 355—366. Ср. новое однотомное издание. М., 1939, стр. 451—456.

и лекциях, посвященных общим вопросам истории первобытной религии.

Л. Я. Штернберг убедительно показал, что не только дуалистическое мировоззрение характерно для большинства первобытных народов, но и вскрыл за величественным мифом об Ормузде и Аримане—братьях-близнецах и одновременно непримиримых врагах, из борьбы между которыми возникает мир—отражение архаических, повсеместно распространенных среди как первобытных, так и цивилизованных народов, близнечных мифов.

Общий анализ зороастрийского дуализма приводит Л. Я. Штернберга к вполне определенным заключениям о глубоких первобытных корнях этого явления. «Между верой в добрых и злых духов у «дикарей» и грандиозной концепцией Ормузда и Аримана у персов разница только в степени»,—таково общее заключение, к которому приводят Л. Я. Штернберга его исследования[1].

Однако ни Э. Тэйлор, ни Л. Я. Штернберг не дали убедительного объяснения исторических корней первобытного дуализма.

Это объяснение этнографическая наука нашла благодаря развернувшемуся за последние десятилетия широкому исследованию одного из наиболее древних и универсальных институтов первобытного общества — так называемой дуальной организации[2], т. е. деления племени на два первоначальных рода или фратрии. Диффузность первобытного мышления, не проводящего непроходимой грани между человеческим обществом и окружающей его природой, простирающего обобщения, сделанные в одной из этих сфер—на другую, не могла не явиться предпосылкой для перенесения на природу столь фундаментального явления общественной жизни первобытных людей, как дуализм фратрий, проходящий красной нитью через все стороны производственной, общественной, бытовой практики первобытных племен.

Совместная собственность и хозяйство, совместная жизнь, решающая роль в организации брака—исключенного в пределах своей фратрии, все это получило в примитивном сознании наших предков гипертрофированное отображение. Фратрии каждого племени осознавались не изолированно, как локальное явление. Напротив, деление людей на две фратрии мыслилось столь же присущим самой природе человека, как, например, деление на два пола. Не случайно в этой связи мы часто видим, что в своем мифологическом преломлении дуализм фратрий переплетается с дуализмом полов[1]. Определенной фратрии данного племени соответствовали определенные фратрии всех других близких и далеких племен, и не случайно одним из первых вопросов, который австралийцы или меланезийцы задают приехавшим к ним европейцам—это вопрос, к какой фратрии их гость принадлежит. Названия фратрий в языках соседних племен—часто перевод одного и того же слова, и весьма обычным фактом является широкое распространение одних и тех же названий, как правило, уже утративших смысл в языковом сознании их носителей—вне границ не только племен, но и лингвистических групп, на протяжении тысяч километров, среди десятков племен и народностей[2]—факт, позволяющий первобытному человеку, среди любого, самого далекого племени, найти своих «братьев по крови» и своих потенциальных «супругов». Универсализм фратрий в рамках человечества перерастает в первобытном сознании в универсализм их в рамках вселенной. Не только все люди, но и все явления природы оказываются распределенными между двумя фратриями[3].

Отсюда единство первобытного этногонического и космогонического мифа. Происхождение людей и происхождение мира неотделимы друг от друга и создатели-праотцы каждой фратрии являются одновременно создателями-праотцами соответствующей половины мира.

Этот факт первобытного космогонического дуализма, вырастающего из дуальной организации, позволил нам несколько лет назад, в нашем анализе генезиса зороастрийского мировоззрения, притти к заключению, что зороастрийский дуализм является развитием

---

[1] Л. Я. Штернберг. Первобытная религия. Л. 1936, стр. 525.

[2] Rivers. Social Organization. L. 1926, стр. 15. Советскими этнографами за последнее десятилетие были открыты пережитки дуальной организации у народов самых различных частей СССР—у туркмен (Толстов, 1935), у эвенков (Анисимов, 1936), у обских угров-хантов и маньси (Чернецов, 1938), у ульчей (Золотарев, 1939). Эти работы, как и многие работы зарубежных исследователей, полностью опровергают проповедуемое школой культурных кругов представление о географической ограниченности дуальной организации рамками «двуклассового» культурного круга.

[1] Nienwenhuis A. W. Sexual totemismus als Basis der Dualistischen kulturen und derer Exogamie in Ozeanien. Int. Arch. für Ethnographic. Leiden, 1931. (Suppl. zu Band XXXI), стр. 17—18.

[2] Matteri и Kirarava у племен Урабунна, Диери, Вонкамала, Воиганкуру, Нгамени и многих других, занимающих восточную половину Южной Австралии и смежную часть Квинсленда, Mukwara и Kilpara на большей части территории Н. Ю. Уэльса, Gamatu и Gurogita у племен от Северной Виктории до Западной Австралии и т. д. А. И. Максимов. Материнское право в Австралии, М.—Л. 1930, стр. 20 сл.

[3] См. материал, заимствованный у Nienwenhuis'a (Int. Arch. für Ethnographie, XVII, стр. 23—26), Frazer'a (Totemizm and Exogamy, I, 567), J. Matew (Two representative tribes of Queensland. 1900, стр. 144) и других источников в нашей работе «Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен». ПИДО, 1935, № 9—10, стр. 22, 30.

первобытной дуальной мифологии, восходящей своими корнями к дуализму фратрий[1].

Здесь мы должны обратить внимание на другую сторону вопроса—на связь дуалистической космогонии с первобытной мифологической концепцией двух братьев-врагов, почти универсально распространенной и, как не раз отмечалось в этнографической литературе, тесно связанной с дуализмом фратрий[2].

В последнее время над проблемой связи первобытного дуалистической мифологии и близнечного мифа, как варианта мифа о двух братьях, успешно работал А. М. Золотарев, с большой убедительностью вскрывший корни близнечного мифа в дуалистических представлениях, связанных с фратриями[3].

Это дает новые аргументы в пользу нашего тезиса, ибо две линии связей между первобытными религиями и зороастризмом, которые были вскрыты Штернбергом, могут рассматриваться как стороны одного явления, как проявление единого комплекса первобытного дуализма.

Как уже отмечено Э. Тейлором, теогония и космогония зороастризма обнаруживает поразительную близость, вплоть до самых незначительных деталей, к близнечно-дуалистическим космогоническим мифам первобытных народов, в первую очередь индейских племен северо-востока Северной Америки — ирокезов тускарора, могавков, онондагов, гуронов и др.

Согласно ирокезскому мифу[4], небесная женщина, зачавшая от хозяина ветров близнецов Отеронгтонгнию, или Иоскегу («светлый»), и Тавискарона («темный»), падает из верхнего мира в нижний на спину черепахи, превращающейся в земную сушу. Первым должен родиться Иоскега. Однако Тавискарон разрывает тело подмышкой матери и, убивая ее этим, выходит первым. Уже по рождении он резко отличается от брата. Тело его состоит из кремня и на его темени находится острый, как нож, кремневый гребень, при помощи которого он разорвал тело матери.

Бабка близнецов—Ataentsic, или Atacnsic, «Великая Земная Мать», отсекает голову своей убитой дочери и вешает ее тело и голову на ветви деревьев. Тело становится солнцем, голова—луной.

Близнецы, выросши, вступают друг с другом в жестокую борьбу. Иоскега устраивает и улучшает мир на пользу людям. По его слову расширяются тесные пределы земли-черепахи и новые земли покрываются молодым кленовым лесом; он приводит в порядок мир животных. По его слову на земле появляется расщелина, полная маслом. Он вызывает к ней зверей, спрашивая их, чем они могут быть полезны людям, и изменяя их природу в соответствии с их назначением. По его слову к расщелине являются бык, за ним медведь, затем олень, затем мелкие животные: енот, сурок, дикобраз и скунс, куница, выдра и др. Волк, пантера и лисица, пришедшие последними, вовсе не получают места у масляного источника.

Тавискарон, подражая брату, противопоставляет его деятельности свою. Однако, не владея искусством брата, он создает чудовищные сочетания: в частности, из его попытки сотворить птицу получается летучая мышь. Тогда Тавискарон со своей бабкой, выступающей в дальнейшей борьбе братьев на стороне матереубийцы, запирают зверей Иоскеги в недрах земли, завалив их огромной скалой. Однако Иоскега находит и освобождает их за исключением тех «гигантских зверей, которые и теперь живут в недрах земли», так как выход им Тавискарон и его злая бабка вновь успели завалить.

Далее следует целая цепь действий обоих братьев, каждый из которых стремится уничтожить или нейтрализовать творения другого.

Иоскега приносит от своего небесного отца маис и научается приготовлять из него пищу. Однако из-за действий Тавискарона и его бабки, чтобы пользоваться маисом, люди должны выполнять тяжелую работу. Иоскега орошает безводную землю, создавая источники, реки и озера. Тавискарон создает, однако, чудовищную лягушку, которая проглатывает всю воду и делает землю такой же сухой, как прежде. Иоскега, в свою очередь, посылает куропатку, которая прокалывает своим клювом тело лягушки и выпускает воду наружу.

Космогония ирокезов завершается грандиозной картиной жестокой борьбы между братьями. Иоскега вооружается рогами оленя, Тавискарон же—ветвями шиповника, так как брат хитростью внушил ему, что это растение для него гибельно. Тавискарон гибнет, из крови

---

[1] С. П. Толстов. Черты общественного строя восточного Ирана и Средней Азии по Авесте. История СССР, изд. АН СССР, М.—Л., 1939, ч. I—II, стр. 186—187.

[2] F. Graebner. Ethnologie. Kultur d. Gegenwart (III, 5, 1923, стр. 453, 486, 556) подчеркивает связь дуалистической мифологии и мифа о культурных героях-близнецах и их борьбе между собой с двуклассовым культурным кругом. См. также: J. Haeckel. Zweiklassensystem, Männerhaus und Totemism in Südamerica. Zft. f. Ethn. B. 70, H. 6, стр. 442, где автор показывает вхождение мифа о двух братьях в систему связанных с фратриями представлений.

[3] А. М. Золотарев. Родовой строй и религия ульчей, стр. 143.

[4] Hewitt. Iroquoian Cosmogony. Annual Report of the Bureau of American Ethnology. XXI, 1903, стр. 141 сл., 284 сл. и др. W. Krickeberg. Indianermärcken aus Nordamerika. Jena, 1924, стр. 92 сл. The Mythology of All Races, ed. L. H. Gray. and G. F. Moore, X, «American» by H. B. Alexander 1916, стр. 34—39.

его образуются кремни и высокие горы, замыкающие мир на западе.

Миф тускарора, записанный в 1825 г., дает в общем ту же картину, что рассказанные нами мифы онондага и могавков. Характерно, однако, что враги-близнецы выступают здесь под именами Енигорио—«Добрый Разум» и Енигонгатетгея—«Злой Разум». Енигорио приписывается создание из тела и головы матери луны и солнца, создание рек и озер, больших и малых животных и рыб и людей. Енигонгагетгею—гор, водопадов, круч, вредных пресмыкающихся. Из попытки создать людей получаются обезьяны.

Рассказ о попытке «Злого Разума» запереть полезных животных в недрах земли и о страшной конечной борьбе братьев тождественен в обеих версиях[1].

Уже древнейшая часть Авесты дает нам указания на близнечный характер мифа об Агура-Мазде и Ангро-Майнью:

«Два духа, два близнеца в начале провозгласили от себя чистое и нечистое мыслей, речей и поступков» (Яшт, XXX, 3).

Наиболее подробные данные о теогонических представлениях маздеизма мы находим в сведениях армянских авторов V столетия[2].

«Пока, говорят, не было ничего, ни неба, ни земли и каких-либо творений как на небе, так и на земле, был некто по имени Зруан, что в переводе значит «судьба» или «слово» (фактически—«время». *С. Т.*). В течение 1000 лет он делал жертвоприношения, чтобы у него родился сын по имени Ормизд, который сотворил бы небо, землю и все, что на них; после 1000 лет жертвоприношений задумался он и говорит: «Какая польза от жертвы, которую я приношу, будет ли у меня сын Ормизд или, может быть, напрасно тружусь». А пока он так думал, Ормизд и Арhмн зачались в утробе матери своей. Ормизд по причине жертвоприношений, а Арhмн—сомнения. Когда же Зруан узнал об этом, сказал: «У меня во чреве два сына, кто из них раньше явится ко мне, того я сделаю царем». Ормизд, узнав о намерении отца, сообщил об этом Арhмну и сказал: «Отец наш Зруан задумал сделать царем того из нас, кто раньше предстанет пред ним». Услыхав об этом, Арhмн проколол чрево Зруана, вышел и предстал перед отцом своим. Увидел это Зруан и не узнал, кто он такой. Спросил: «Кто ты такой?» Тот ответил: «Я сын твой». Сказал еще Зруан: «Сын мой светел и ароматен, ты же мрачен и зловонен». А пока они говорили между собой, своевременно родился Ормизд и придя предстал перед Зруаном светозарный и благовонный. Зруан при виде его узнал, что он сын его, Ормизд, для которого и приносил жертвы; жезл, который держал в своей руке и которым приносил жертвы, вручил Ормизду и сказал: «До сих пор я для тебя приносил жертвы, а теперь ты должен мне приносить». В то время как Зруан вручал жезл Ормизду и благословлял его, Арhмн предстал перед ним и сказал ему: «Ты разве не поклялся, что кто из двух моих сыновей раньше явится ко мне, того и сделаю царем». Зруан, чтобы не отступить от клятвы, сказал Арhмну: «О ты, лжец и злодей. Да будет тебе дано царство на девять тысяч лет, Ормизд же да будет царем над тобой; после девяти тысяч лет да воцарится Ормизд, и все, что он захочет сделать, пусть сделает. Тогда Ормизд и Арhмн стали создавать творения; все, что ни творил Ормизд, было добрым и правильным, а что делал Арhмн—злым и несовершенным»[1].

Зерванистский теогонический миф по существу в важнейших чертах тождествен с ирокезским. Характерен лишь комплекс двуполости: Зерван (Зруан) выступает здесь сразу в виде отца и в виде матери (братья зачинаются «в утробе матери», но выходят «из чрева отца»).

Последовательно матриархальное начало мифа замещается здесь переходной формой, столь типичной для раннепатриархальных представлений, формирующихся еще в недрах материнско-родового общества. На комплексе двухполости нам еще придется остановиться ниже.

Вендидад и Бундахишн дают нам далее грандиозную картину творения мира врагами-братьями и их жестокой борьбы. В фаргарде I Вендидада[2] мы читаем, как Агура-Мазда последовательно создает шестнадцать плодородных, богатых водами и стадами стран для человека. В противовес каждому творению брата Ангро-Майнью создает чудовищ, враждебных человеку животных, стихии и пороки: 1) речную змею и зиму, дело дэвов, продолжающуюся 11 месяцев в году; 2) муху Скайтья, убивающую скот; 3) греховную похоть; 4) рогатого муравья Бравата;

---

[1] Уже А. Н. Веселовский обратил внимание на близость ирокезского космогонического мифа как к иранской, так и восточноевропейским и сибирским дуалистическим космогониям, также ассоциирующимся с сюжетом о двух братьях. Им же отмечена параллель между указанным кругом мифов и мифом меланезийцев о близнецах-демиургах Ту-Кабинана и Ту-Кавувура. См. сб. Отд. русск. языка и словесности АН, III.

[2] Езник. Опровержение ересей. Кн. 1, гл. 1, стр. 1113. А. Туманян. Дуализм персов. Армянские писатели о маздаизме. Ал-Шаркий ат. Восточный сборник в честь А. Н. Веселовского, М. 1914, стр. 401—402.

[1] Ср. также Егише. История, стр. 24. Туманян, цит. соч., стр. 405—406. В основных чертах тот же миф излагает более сжато арабский историк религии и философии ал-Шахрастани (Asch-Scharastâni's Religions Parteien und Philosophenschulen, überzetzt v. dr. Theodor Haarbrücker. 1, 277—278.

[2] SBE, IV, стр. 4—10.

5) грех неверия; 6) москита; 7) пери Кнатхайти и др.

Из других мест Авесты и Бундахишна мы узнаем о создании Агура-Маздой первозданного быка (ср. ирокезский миф, согласно которому первым из животных, пришедших к масляному источнику Иоскеги, был бык) и первого человека Гайомарта[1].

Первозданный бык гибнет от принявшего образ змея Ангро-Майнью, но из его семени и тела возникают животные и растения[2]. Ангро-Майнью в противовес этому населяет мир вредными животными—змеями, скорпионами, лягушками, ящерицами, волками и др.[3]. В свою очередь Агура-Мазда в противовес каждому виду вредных животных и демонов создает полезных животных, борющихся против творений Ангро-Майнью. Так, собака создана в противовес волку, ихневмон в противовес змее, лиса в противовес демону Кхава и т. д.[4].

Мы ниже еще вернемся к творениям братьев-врагов. Сейчас ограничимся пока общим выводом: зороастрийская дуалистическая теогония и космогония представляет в своей основе весьма типичный, почти совершенно тождественный с ирокезским, дуалистический близнечный миф, почти универсальный, как показал Штернберг, для первобытных народов всего мира.

Характерно при этом, что даже у ирокезов мы встречаемся с теми чертами известной абстрактности образов братьев-врагов и элементами этического дуализма, которые исследователями маздеизма трактуются как признаки высокого уровня зороастрийской религии. Не говоря уже о «Добром» и «Злом Разуме» тускарора и «Светлый» и «Темный» могавков, онондага и других ирокезских племен являются не только по существу, но и терминологически прямой параллелью «Великому Агуру» (или Святому, resp. «Светлому Духу»—Спента Майнью) и «Злому Духу» Авесты.

Дуализм зороастризма выступает перед нами, таким образом, не как трансформация древнейшего арийского политеизма, как обычно рисуют нам исследователи этот процесс, а как отражение несравненно более древней, чем политеизм, анимистической ступени развития первобытной идеологии[5]. Индийская религия ведийского и, тем более, брахманского периода, обычно рассматривающаяся, как более примитивная, чем авестийская, как индо-иранская религия, предшествующая религиозной «революции», якобы утвердившей дуализм и низведшей древних богов в ранг демонов, на деле продукт стадиально более позднего этапа идеологического развития. Авестийская религия еще не знает богов. Она насквозь анимистична, и оттенок морального дуализма, ей свойственный признак, отнюдь не дающий права видеть в ней явление высшего порядка по сравнению с ведийским политеизмом. Дэвы, могущественные божества Вед, только зарождаются в Авесте. В ней еще целиком царят духи-агуры и культурные герои первобытной мифологии. Не случайно азуры в Индии—это побежденные, древние божества или демоны. Победа агуров над дэвами в зороастризме, как и победа дуализма—это формально-идеологическая реакция, возврат к старому, архаическому анимизму. Это реакция против зарождающегося политеизма, расцветшего полным цветом на индийской почве.

Но зороастризм—лишь формально реакция. Он, как и политеистический брахманизм, является, в иных исторических условиях, новым этапом в развитии древней среднеазиатско-иранско-индийской религии. Обращаясь к анализу традиции о миссии Заратуштры и к позднейшей религиозной истории Средней Азии и Ирана, особенно к деятельности сасанидских мобедов, мы видим совершенно иную тенденцию—тенденцию монотеистическую, тенденцию субординации, как первобытных духов (агуров), так и архаических божеств всемогущему Агура-Мазде и оттеснения на второй план мифологических образов цикла Ангро-Майнью, вырождающихся, по существу, в обычных для всякого монотеизма демонов.

В этом отношении совершенно прав Вест, в своем введении к Бундахишну указавший, что «если для дуализма необходимо, чтобы злой дух был вездесущим, всезнающим, всемогущим или вечным, тогда персидская религия не дуализм»[1].

Дуализм первобытной арийской религии выступает с полной силой, хотя и в деформированном виде, лишь в учениях враждебных официальному зороастризму, опирающихся на народные общинные движения сект, причем выступает в связи с целым рядом других архаических явлений, на которых мы остановимся ниже.

---

[1] К. В. Тревер (Труды Отд. Востока Эрмитажа, II, стр. 85) приходит к правильному на наш взгляд выводу, что первоначальное значение этого имени «быко-человек»—gavo-mared.

[2] Бнд, III, 14, 17, 18; IV, 1; X, I, особенно XIV, 1, 3 и XXVII, 2, где говорится о возникновении из тела и семени быка растений и животных и др.

[3] Бнд, III, 15.

[4] Бнд, XIX, 26 сл.

[5] Ср. определение Л. Я. Штернберга (ПР., стр. 520), возводящего корни авестийского дуализма к раннему анимизму.

[1] SBE, V, стр. XIX.

3. Ажи-дахака и Трэтаона

Если таким образом в мифах об Агура-Мазда и Ангро-Майнью мы можем прощупать первобытный миф о братьях демиургах, близнецах-врагах, все же в Авесте и тем более в пехлевийской литературе эти образы выступают достаточно модифицированными. Перед нами персонажи первобытного мифа, уже имеющего тенденцию перерастания в новое качество, превратившееся, с одной стороны, в могущественного бога, творца мира, и в его вечного врага -злобного сатану. Если в мифе о них мы находим немало элементов, восходящих к первобытному анимистическому дуализму как системе мировоззрения, мы все же не можем непосредственно из данного мифа почерпнуть доказательств связи его с дуальной организацией, как таковой. Хотя, конечно, это и можно доказать косвенным путем—путем вскрытия взаимосвязи мифа о близнецах-врагах, дуалистической космогонии и дуализма фратрий у первобытных народов, однако, если бы нам удалось найти эту непосредственную взаимосвязь на нашей почве, наши выводы были бы значительно более прочны.

Близнечно-дуалистический генеалогический миф, тесно связанный с делением народа на две ритуально-враждебные между собой территориально обособленные половины, первоначально связанные перекрестным браком, мы находим живущим до настоящего времени в легендах двух маленьких княжеств гиндукушских яфетидов—буришков, или йешкунов, опубликованных Биддельфом.

Согласно этим легендам буришкские княжества Хунза и Нагер, главные селения которых расположены одно против другого на двух берегах реки, первоначально составляли одно владение. Правитель этого владения Майру-хан имел двух сыновей близнецов—Моглота и Гиркиса. «Близнецы начали враждовать друг с другом с самого раннего возраста. Отец их, видя это и не зная как решить вопрос о престолонаследии, разделил ханство между обоими, дав Гиркису северный берег реки, а Моглоту южный». В дальнейшем Гиркис погибает от руки подосланного Моглотом убийцы, и княгиней Хунзы становится его дочь. Она и сын Моглота Камал-хан полюбили друг друга, и любовник являлся к княгине по ночам, тайно переплывая реку. От этой связи и ведут свой род нынешние правители Хунзый. «Вражда двух братьев», сообщает далее Биддельф, передавалась следующим поколениям до настоящего времени и почти обратилась в религиозный догмат как среди народа, так и правителей обоих владений[1].

Архаические корни этого мифа более чем прозрачны. Единственный из народов области древней Бактрии, сохранивший доиндоевропейский тип речи, сохранил, вместе с тем, и первобытную генеалогическую традицию, в которой все элементы зрелой дуалистической генеалогии первобытных народов сочетаются в органическом единстве с живой традицией ритуальной вражды двух половин, resp. фратрий народа. Близнецы-враги, разделение единого народа в связи с этой враждой, брак потомков врагов между собой, матрилокальность брака, две смежные области, управляемые ветвями одной династии, заселенные одним народом, вражда между половинами которого «обратилась в религиозный догмат»,—все это звенья одной цепи.

Анализ авестийских легенд и восточно-иранского эпоса позволяет и здесь найти мотивы, отражающие взаимосвязь близнечного не только космогонического, но и генеалогического мифа, традиции о происхождении ритуальной вражды двух половин народа, сочетающейся с сюжетом о брачной связи враждебных героев обеих половин. Рядом с сильно абстрагированными фигурами братьев-врагов Агура-Мазды и Ангро-Майнью выступают гораздо более конкретные и менее подвергнувшиеся теологической обработке фигуры культурных героев—врагов—Ажи-дахака, с одной стороны, и убитого им Йимы, за которого отомстил его потомок Трэтаона—с другой.

«Йима, блистающий, богатый стадами»[2], сын Виванхао—Джемшид иранского эпоса—типичная фигура первобытного культурного героя, связан с образом Агура-Мазды, в качестве первого пророка которого он выступает в авестийской традиции, «воспитатель, кормитель, хранитель и хозяин земных существ», в царстве которого нет «ни ледяного ветра, ни жгучей жары, ни смерти»[3], «владелец золотого плуга и золотого бодила»[4].

Йима был первым, кто, выйдя в полдень и «следуя путем солнца», взрезал землю своим золотым сошником[5]. Под его мудрым руководством земля заполнилась «стадами, людьми, собаками, птицами и огнями, блистающими и жаркими»[6], он своим плугом раскрыл для людей, когда им стало тесно, «новые земли для поселения», наконец, когда над миром простер-

---

[1] Биддельф. Народы, населяющие Гиндукуш. Перев. П. Лессара, Асхабад, 1886, стр. 36—37.
[2] Вендидад, II, 4.
[3] Там же, 13, 15.
[4] Там же, 16, 18.
[5] Там же, 32.
[6] Там же, 24.

лась угроза страшной, все уничтожающей ледяной зимы, заменяющей в ирано-среднеазиатской мифологии всемирный потоп, Йима построил первое укрепленное селение—Вара[1], о котором мы еще будем ниже говорить, где укрыл «семя людей, животных, растений и огней, ярких, пылающих».

В Шах-намэ он выступает как культурный герой, научивший людей употреблению оружия и ткацкому искусству, скотоводству, установивший деление общества на жрецов, воинов, земледельцев и ремесленников, открывший людям сведения об употреблении драгоценных камней, металлов, лекарств, благовоний, установивший ритуал Нового Года (Науруз) в день весеннего солнцеворота и т. д.[2].

Большой интерес для нашей темы представляют обстоятельства гибели Йимы. Мы оставляем в стороне благочестивые объяснения причины его падения нарушениями законов Агура-Мазды—это, вероятно, является позднейшим морализирующим искажением мифа. Согласно Шах-намэ, он пал от руки Даххака (выступающего в Авесте под именем Ажи-Дахака), чудовищного змея (Авеста) или чудовищного человека с двумя приросшими к плечам змеями, питавшегося мозгом детей (Шах-намэ).

Как отметил уже Дармстетер, образ змея в Авесте тесно связан с образом Ангро-Майнью, которого этот автор считает лишь трансформацией древнего змея—Ажи[3]. «Речная змея»—это первое создание брата-антагониста Агура-Мазды, созданное в противовес первому творению последнего—родине авестийского человечества Айрьянем-вэджо. Любопытно, что одновременно с этим Ангро-Майнью создает зиму, положившую конец жизни людей в Айрьянем-вэджо, зиму, с наступлением которой связан последний подвиг Йимы.

«Речная змея» I фаргарда Вендидада может быть таким образом увязана с Ажи-Дахака последующих частей Авесты[4].

Но в Авесте гибель Йима описана несколько иначе, чем в Шах-намэ. После своего грехопадения он был убит своим родным братом Спитйурой, распилившим его пополам[5].

Характерно, что в перечне слуг Ангро-Майнью в цитируемом месте Яшт XIX Спитйура поставлен рядом с Ажи-Дахака.

Я склонен думать (за это говорит приписывание им нашими источниками одного и того же дела, а потом я попытаюсь доказать это некоторыми другими аргументами), что Спитйура тождественен Ажи-Дахака, вернее это параллельные персонажи двух параллельных мифов, контаминировавшихся в Авесте в процессе общей циклизации мифологических представлений различных среднеазиатских и иранских племен[1]. Весьма характерно, что Бундахишн рассматривает Даха́ка как довольно близкого родственника Йимы, возводя обоих к общему предку Фраваку[2].

Итак, миф об Йиме и Спитйуре—Ажи-Дахака раскрывается перед нами как вариант уже знакомого нам первобытного мифа о двух культурных героях, близнецах-врагах.

Но этим дело не ограничивается. В версии Шах-намэ выступает пока еще не встречавшаяся нам сторона исследуемого мифологического комплекса: связь рассказа о братьях-врагах с формами организации брака—Даххак, убийца Джемшида (и как мы видим, первоначально его брат) женится на двух сестрах Джемшида—Шехрназ и Эрневаз, как бы реализуя этим действующее в первобытном обществе право супружества мужчины одной фратрии на женщин противоположной фратрии. Нас не должно, конечно, смущать, что если принять нашу идентификацию—сестры Джемшида будут одновременно и сестрами Даххака. Сам термин «сестра», выступающий в Шах-намэ в своем новейшем смысле, связанном с описательной системой родства новоперсидского языка, звучал, конечно, в первоначальном варианте мифа совершенно иначе. Важно, что речь идет здесь о родственницах Джемшида, о женщинах, близких ему не только телесно, но и духовно, resp. социально, что выявляется во всем их поведении в момент столкновения Даххака и Феридуна. Это прежде всего женщины враждебной Даххаку общественной группы и одновременно его жены. Не надо забывать, что близнецы первобытных мифов, являясь братьями, являются одновременно представителями разных фратрий—факт, с точки зрения обычных норм первобытного строя, невозможный, но мифологически вполне законный. Бундахишн дает нам не менее характерные данные. Оказывается, и Йима и его сестра сочетались браком с дэвами[3], что позднейшая жреческая морализация рассматривает как одно из грехопадений Йимы. На деле перед нами снова отражение брака представителей фратрии Агура-Мазды (Йима и его сестры) с представителями фратрии Ангро-Майнью.

Обратимся ко второму комплексу—комплексу Ажи-Дахака и Трэтаоны.

Ажи-Дахака—тотемическая ипостась Ангро-

---

[1] Вендидад, II, 6, 61 сл. См. выше, гл. III, 2.
[2] Brown LHP I, стр. 114.
[3] I. Darmsteter. Ormazd et Ahriman, стр. 337—338.
[4] Darmsteter, цит. соч., стр. 272.
[5] Яшт, XIX, 47. По Бундахишну (XXXI, 5) «Спитйур был тот, кто вместе с Дахаком убил Йима».

[1] О контаминации в иранском эпосе параллельных местных циклов см. E. Herzfeld, Archeologische Mitteilungen aus Iran, I, стр. 142.
[2] Бнд, XXXI, 6.
[3] Бнд, XXIII, 1—2.

Майнью—чудовищный змей или человек, наделенный чертами змея, связанный, как мы показали, с «речной змеей» Вендида I, корреспондирует, как Йима с Ямой, с Ахи, облачным драконом индийской мифологии[1].

Итак, перед нами комплекс мифологической змеи, связанной с источниками влаги, в первую очередь влаги небесной. Ему противостоит Трэтаона, также связанный с комплексом воды. Трэтаона—Феридун, сын Атвья, тождественного с ведийским Трита (Траитана) Аптья—«сыном воды»[2], по Бундихишну, потомок Йима в 9 колене. Но если в лице Ажи-дахака перед нами выступает в качестве хозяина вод чудовищная змея, то Трэтаона и Атвья связаны с другим животным образом. Это—бык. В Авесте род Атвья характеризуется как «богатый быками».

«Будь богат быками, как потомки Атвья, богат конями, как Пурушаспа»,—читаем мы в Яшт XX (к этому тексту мы еще вернемся ниже).

В Шах-намэ бычьи черты Феридуна выступают еще резче. Он, после того как отец его (Аптья-Йима?) погиб от рук Даххака, вскормлен нашедшей его коровой Бермая. Она также погибает от руки Даххака, и, выросши, Феридун является мстить Даххаку, вооруженный железной палицей, увенчанной головой быка:

«Он станом кипарис, с лицом как у царей
И опоясан он и ходит с видом царским,
В руке же палица с бычачьей головой»[3].

Поразив Даххака, Феридун приковывает его к горе Демавенду, где чудовище остается до конца мира[4].

В дальнейшем быкоглавая палица выступает как символ власти каянидских царей и как распространенное вооружение древне-иранских воинов[5].

Любопытно указать, что быкоглавая палица Феридуна переживает в персидском вооружении вплоть до конца Средневековья[6].

Не менее характерен быкоглавый посох среднеазиатских дервишей (один экземпляр такого посоха хранится, между прочим, в Московском Музее истории религии).

В Бундахишне бык—первое творение Агура-Мазды, выступает, как мы видели, в качестве одного из важнейших действующих лиц космогонической мифологии зороастризма. Из частей тела убитого Ангро-Майнью первозданного быка возникают растения. Из семени быка зарождаются животные. На спине священного быка Сарсаока 9 родов людей переправляются через море Вурукаша, чтобы заселить вновь созданные земли—Киршвары[1].

«Духу быка» посвящен ряд гимнов Авесты[2].

В свою очередь, речная змея—первое творение Ангро-Майнью, и образ змеи как враждебного миру Агур-Мазды существа, проходит через всю мифологию Авесты и Бундахишна.

Перед нами выступает таким образом весьма характерный комплекс борющихся между собой мифических героев, тотемический образ каждого из которых совершенно прозрачен. Бык и змея, враги-антагонисты и, в архетипе, братья-близнецы выступают перед нами как два, пожалуй, наиболее фундаментальных образа среднеазиатско-восточно-иранской мифологии.

Отмеченная нами связь этого проявления дуалистической мифологии на изучаемой нами территории с явлениями брачной жизни ярко выступает и дальше. Нам уже пришлось отмечать[3] наличие отражения первобытного генеалогического мифа в красивом романе о любви Заля—потомка Феридуна и Рудабэ—дочери Даххакида Михраба, плодом которой явился величайший из героев восточно-иранско-среднеазиатского эпоса Рустем. Интересно, что и с самим Рустемом связано сказание о женитьбе его на дочери одного из князей враждебного Турана. Здесь в исследуемом мифе вплетается третий комплекс братьев-врагов, связанный со сказанием о сыновьях Феридуна. Здесь речь идет о трех братьях, но один из них, Сельм, является в достаточной мере бледной фигурой. Действительными действующими лицами выступают Иредж и его убийца—Тур. И вот потомок Иреджа Рустем приезжает в город потомка Тура—Семанганского царя и вступает в брак с его дочерью Техминэ. У них родится Сохраб, впоследствии неузнанный и убитый в сражении отцом.

В сказаниях о Рустеме мы соприкасаемся еще с одним мифологическим циклом, записанным, правда, на другой территории, но в близко родственной населению Средней Азии этнографической среде—в Причерноморской Скифии.

Я имею в виду записанные Геродотом генеалогические сказания скифов, со всей убедительностью показывающие, что в первоначальном варианте мифа о Рустеме, как и в мифах о Трэтаоне и Йиме, выступали одни и те же элементы, и лишь позднейшая циклизация на почве Восточного Ирана и Средней Азии, увязав искусственной генеалогической связью параллельные генеалогические мифы различных племен, вошедших в состав ранних государственных образований этой территории, элиминировала многое, моно-

[1] I. Darmsteter. Ormazd et Ahriman, стр. 102 сл.
[2] I. Darmsteter, цит. соч., стр. 105, прим. 3.
[3] Перевод Соколова, стр. 46. Текст в изд. Вуллерса, т. I, стр. 46, 1877.
[4] Бнд, XXIX, 9.
[5] Шах-намэ, изд. Mohl II, 242—243, 256—257 и др.
[6] Bushan. Illustrierte Völkerkunde, Stuttgart, 1910, стр. 313.

[1] Бнд, XVII, 4 и др.
[2] Гата, XXXIX и др.
[3] ПИДО № 9—10, 1935, стр. 17.

тонно повторяющееся во всех этих мифах, выпятив в одних одни элементы, в других—другие.

Я уже отмечал близость скифских преданий с циклом Даххака—Феридуна—Заля—Рудабэ[1].

Сейчас мне представляется возможным пойти еще несколько дальше и попытаться показать, что в скифских мифах мы видим хотя и неполное, но более близкое к архаическому прототипу отражение первоначального мифа, одинаково нашедшее отражение и в мифе о Йиме и Спитйуре-Ажи-Дахаке, и в мифе об Ажи-Дахаке и Трэтаоне с его продолжением в легенде о Зале и Рудабэ, и мифе о сыновьях Феридуна с его продолжением в рассказе о Рустеме и Техминэ.

Напомню содержание скифской традиции. Геродот[2] рассказывает два варианта этой легенды: «скифский» и «эллиноскифский». Оба они по существу передают одно и то же, выпуская в одних случаях одни, в других другие детали и меняя имена. Весьма вероятно, что здесь два параллельных мифа, восходящие к мифологии двух различных скифских племен.

Прародителем скифов выступает по эллинской версии Геракл,—конечно, греческая замена скифского имени, почему-либо ассоциировавшаяся с именем аргосского героя. Скифская версия дает нам это скифское имя—это Таргитай—сын Зевса (опять греческая подстановка) и дочери реки Борисфена. Геракл-Таргитай (далее берем из эллинской версии) прибывает в страну, называемую Гилеей, где вступает в половую связь с обитавшей в пещере полудевушкой-полузмеей (мотив Заля—Рудабэ), которая нашла его пропавших коней (мотив Рустема). Однако Геракл, идя в Гилею, «гнал перед собой быков Гериона» (что позволяет в свете разнообразных преданий о тотеме-путеводителе видеть в образе скифского Геракла-Таргитая антропоморфизацию быка, связанного через свою мать, дочь Борисфена, со стихией воды—мотив Трэтаоны). Мною уже отмечалась связь этого мотива с тюркским мифологическим образом прародителя тюрков Огуза—слово, синонимически означающее в тюркских языках «быка» и «реку» и специально Аму-Дарью[3]. Уходя от девушки-змеи, Таргитай-Геракл оставляет ей лук и пояс с подвешенной к нему золотой чашей, чтобы их получил достойнейший из сыновей (мотив Рустема).

Они достаются младшему из трех сыновей. Старшие изгоняются из страны (отголосок, более полно представленный в комплексах Йимы—Спитйуры и сыновей Феридуна кровавой борьбы трех, resp. двух братьев). В скифской версии братья мирно уступают младшему упавшие с неба золотой плуг, ярмо (мотив Йимы), секиру и чашу (в целом близко к мотиву Огуза)[1]. Таким образом в скифском мифе перед нами выступают черты, связывающие его не только со всеми тремя звеньями генеалогического цикла Авесты—Шах-намэ, но и с тюркским циклом Огуз-кагана, позволяя видеть именно в скифском варианте дошедшую до нас в наиболее полном виде хотя и с деформацией (может быть и не в мифе, а лишь в его передаче Геродотом) очень важного звена—убийства брата братом или братьями.

Составными элементами общего прототипа всех вариантов (не считая более архаичного компонента огуз-кагановского цикла в уйгурском варианте) являются:

1) мотив о трех (двух) братьях-врагах, представителях тотемов быка и змеи;

2) о браке между представителями этих двух враждебных тотемов;

3) о золотых орудиях земледелия и скотоводства, которые получил младший (пострадавший впоследствии) брат.

В качестве также общего и очень важного элемента и скифского рассказа и мифов о Зале и Рустеме выступает матрилокальность брака и матрилинеальность наследования фратрий, отраженная во враждебной встрече с отцом—сюжет, вошедший, вероятно, из скифской среды в русскую эпическую традицию (Илья Муромец и Сокольник).

Несколько слов о сюжете трех братьев.

Если мы в Йиме признаем воплощение быка, а в Спитйуре (resp. Ажи-дахака) змеи, то тотемическое обличье третьего из братьев выступает перед нами непосредственно из самого текста Авесты. Третий брат Йимы Тахма-Урупа выступает в образе «сильной и быстрой лисицы», побеждающей Ангро-Майнью, принявшего образ коня, оседлав которого Тахма-Урупа гонял 30 лет через весь мир[2]. Наконец, Бундахишн упоминает и четвертого брата—Нарсе[3].

Таким образом сюжет трех братьев может быть расширен до сюжета о многих братьях, однако решающую роль в комплексе всегда играет конфликт двух из них, в котором остальные выступают в роли молчаливых статистов, или конфликт одного из братьев против всех остальных.

Я думаю, помочь нам здесь может сопоставление с комплексом мифов об Огуз-кагане, как мы видели в древнейшей скифской мифо-

[1] ПИДО № 9—10, 1935, стр. 17.
[2] Геродот, IV, 5—10.
[3] ПИДО № 9—10, 1935, стр. 16.

[1] ПИДО № 9—10, стр. 28.
[2] A. Christensen. Le premier homme et le premier roi dans l'histoire légendaire des Iraniens. I. Stockholm 1917, стр. 183 сл.
[3] Бид, XXI, 3.

логии переплетающимся с интересующим нас сюжетом.

Этот миф я привожу в одной из своих работ[1], поэтому ограничусь кратким резюме:

Прародитель огузов, Огуз-каган, соединяющий в себе черты ряда тотемов (быка, волка, соболя, медведя)[2], вступает в брак с двумя девушками: одной, спустившейся с неба в голубом луче и ассоциирующейся со стихией света, и другой, найденной в дупле дерева и ассоциирующейся со стихией воды, земли, неба (трех небес—нижнего, среднего и верхнего, по терминологии Марра). От каждой родятся по три сына, причем первые три получают имена—«Солнце», «Луна», «Звезда», а вторые три—«Небо», «Гора», «Море».

Уже от этих шести олицетворяющих стихии сыновей родятся 24 внука—предки конкретных огузских родов.

Далее миф рассказывает нам о том, как Огуз-каган прячет в степи золотой лук и три золотых (серебряных) стрелы и посылает сыновей на охоту. Три старших сына находят лук, который отец разламывает на три части и отдает им, младшие—три стрелы. Как в уйгурском варианте, так и у Абульгази этот рассказ указывает на преимущество старших братьев. «Лук пускает стрелы, вы поэтому подобны стрелам», — говорит Огуз младшим братьям в уйгурском варианте. В варианте Абульгази Огуз говорит: «Прежде жившие народы считали лук ханом, а стрелы послами... Так же и ныне, после моей смерти следует народу ханом избрать достойнейшего из поколения Бузук (нашедших лук.—*С. Т.*)... До кончины мира они (нашедшие стрелы.—*С. Т.*) пусть довольствуются своим подчиненным положением».

Это, несомненно, поздний мотив, связанный не только с господством патриархата, но далеко зашедшим процессом формирования классов и государства. И в архетипе, нужно полагать, имело место что-нибудь близкое к скифскому варианту, где в соответствии с ирокезским и авестийским мифом преимущество достается младшему из братьев, опереженному его антагонистом.

Нам важно здесь основное, архаическое ядро мифа—миф о двух женщинах-прародительницах двух фратрий, уже среди потомков которых разыгрывается характерная для близнечных мифов борьба за преимущество.

Отголосок сходных представлений мы встречаем в некоторых шаманских легендах Сибири.

Л. Я. Штернберг, со слов Г. Н. Прокофьева, передает селькупское верование, согласно которому «каждый туземный шаман имеет двух жен—духов. Одна из этих жен—дочь хозяина леса, другая—дочь хозяина воды»[1].

Аналогичные сведения сообщает о маньси Гондатти[2], а о юкагирах—Иохельсон[3].

У ряда племен, в частности у чукоч, мы встречаем другой вариант этого верования, согласно которому шаман имеет двух жен—одну, так сказать, земную, обычного человека, и другую—духа[4].

Тот же Л. Я. Штернберг, со слов Б. Я. Владимировцова, сообщает интересную легенду о происхождении южно-урянхайского рода Бо-ханаки. Бо-хан, великий шаман, сходится на вершине горы с небесной девой, дочерью Хормуста-тенгри, которую он обманывает, уверяя, что земной жены у него нет. После столкновения между земной женой шамана и небесной девой последняя проклинает шамана и его жену, и они проваливаются сквозь землю, а небесная дева родит мальчика, от которого происходит упомянутый род[5].

Здесь мотив о двух женах выступает в непосредственной связи с генеалогическим мифом.

Однако сам мотив о двух женах, resp. двух женщинах-прародительницах, составляя более архаичный пласт, чем близнечный миф, не является первичным. Более древним является тип генеалогического мифа, в котором в качестве прародительницы выступают непосредственно тотемические животные.

Таков тип древнейшего пласта генеалогической мифологии обских угров, представляющих для нас особый интерес в связи с их тесной исторической связью с ирано-скифским миром. У маньси и хантов фратрия «pór» ведет свое происхождение от медведицы, родившей первую женщину «pór». Медведь—основной тотем этой фратрии. Фратрия «mós» происходит от «женщины» Kaltas, имеющей образ зайца или гуся»[6].

В обско-угорской мифологии мы можем проследить и взаимосвязь обоих сюжетов. На древнейший, тотемически-матриархальный миф о прародительницах фратрии земли (pór)—медведице, родившей первую женщину «pór», и фратрии неба (mós)—гусыне-зайчихе, наслаивается миф о двух братьях-богатырях, сохраняющих тотемический облик—Mir—susnexum (гусь) и kēm-woš ǫ̣ika (медведь)[7]. При этом процессе развития первоначального ядра мифа медведица-прародительница замещается небесным медведем Numi tərūm, Kaltas пре-

---

[1] ПИДО № 9—10, 1935, стр. 28—29.
[2] Там же, стр. 17.

[1] Л. Я. Штернберг, цит. соч., стр. 156.
[2] Следы язычества у инородцев северо-западной Сибири, стр. 35, 88, 89. Штернберг, там же.
[3] Материалы по языку и фольклору юкагиров, стр. 114, 115, 120, 123.
[4] Штернберг, там же.
[5] Штернберг, ПР, 155, 156.
[6] Чернецов, «Сов. Этнография», II, стр. 29—30.
[7] Там же, стр. 36.

вращается в его сестру и одновременно жену, мать братьев-богатырей.

Миф развивается и дальше, устраняя непримиримое противоречие образа жены-сестры с нормами экзогамии, замещает Kaltas другой, эпизодически появляющейся женой Нуми-Торума (характерно, что это—«русская женщина»—достаточно явный признак для определения позднего внедрения в миф этого, по существу, подставного лица), в то время как за Kaltas сохраняется роль воспитательницы братьев. В целом в обско-угорском мифе еще ярче, чем в огузском, отразилась контаминация двух анализируемых сюжетов—сюжета тотемов—матерей фратрий, постепенно вытесняемого сюжетом двух братьев.

Это дает нам право притти к существенным заключениям более общего порядка.

Близнечный космогонически-генеалогический миф, отраженный в представлении об Ормузде и Аримане, не может рассматриваться как первичная форма дуальной генеалогии и космогонии. Он предполагает наличие по меньшей мере двух предпосылок, возникающих на сравнительно позднем этапе первобытной истории— на этапе высшего расцвета материнско-родовой оганизации, в обществах типа ирокезов. Это, во-первых, осознание отцовства, возникающее в результате длительного существования сравнительно устойчивой парной семьи. Во-вторых, это возникновение представления о начале мира, о творении, о возникновении природных и общественных явлений. Для подлинно примитивных идеологий, в частности для австралийской, такое представление вообще не характерно. Мир существовал извечно. Незапамятные времена альчеринга, глубже которых не идет австралийская космогония—это тот же реальный мир, который окружает и сейчас австралийца, рисуемый лишь с большим сгущением тех диффузных образов, в которых австралиец рисует себе отношения людей и живой и неживой природы. Деление мира на две фратрии также не возникает, оно дано, и если, например, у урабунна в генеалогии в начале выступают зеленая и коричневая змея, создатели фратрий Кирарава и Маттури, то глубже этих змей «времен альчеринга», сразу выступающих в мифе парой, мифотворчество урабунна не идет.

В других мифах австралийцев земля эпохи альчеринга населяется, правда, наделенными сверхъестественными способностями, но все же людьми, относящимися не только к определенным племенам и фратриям, но и к определенным тотемическим родам. Близнечный миф уже существует в это время, он, как и все явления мира, преломляется сквозь призму дуальной идеологии, но он еще не связан с генеалогией (братья—культурные герои—члены уже существующих фратрий) и роль его в космогонии—весьма ограничена.

Но к этому мы еще вернемся ниже.

Лишь дальнейший исторический этап создает предпосылки для крушения этого первоначального представления о вечности и неизменности мира. Космогония формуется по принципу примитивного диалектизма—прямого противопоставления существующего тому, что было вначале. Всякое явление истолковывается как превращение начального состояния в свою полную противоположность. Отсюда, в частности, идет представление об исходной двуполости, о матери—отце, или отце, рождающем детей, как в австралийском мифе. Отсюда представление о братьях родоначальниках или устроителях фратрий—положение, прямо противоречащее экзогамной практике, но тем более уместное в мифе о ее генезисе. Однако вряд ли и на этом этапе близнечный миф занимает сразу свое позднейшее место. Миф о двух прародительницах—антропоморфизирующихся и теряющих постепенно тотемные черты, развиваясь и дополняясь, перерастает в одну сторону—в миф о двух женах, в другую—в миф об известном количестве братьев, но всегда большем, чем два, детей этих двух жен, причем группа детей одной жены противостоит группе детей другой (сюжет Огуз-кагана, сюжет Иосифа и братьев).

Если исследование А. М. Золотарева показало неотделимость близнечного мифа от развитых дуальных генеалогий и космогоний, то это нам не дает еще права полностью отбросить концепцию Л. Я. Штернберга, правда, не усмотревшего этой чрезвычайно важной связи, но зато весьма убедительно и на очень большом материале раскрывшего другие корни близнечного мифа, которые, на наш взгляд, являются первоначальными. Это—этиологическое истолкование самого явления близнечества, органически входящего в тот общий процесс развернутого мифотворчества, который связан с упомянутым выше переломом в первобытном понимании истории мира. Сам факт близнечества, достаточно поражающий сознание первобытного человека, властно требовал своего истолкования, и концепция двух отцов—человека и духа (может быть и, как думает А. М. Золотарев, двух духов—ср. сюжет о двух женах шамана) была естественным решением проблемы в эпоху, когда понимание отцовства явилось крупным новым завоеванием познания мира человеком.

Но уже отмеченный нами выше факт мощного влияния порожденного фратриальным устройством дуалистического представления о мире на осмысление всех явлений природы, особенно—естественно парных (свет и мрак, солнце и луна, земля и небо и т. п.) не мог не проявиться в ассимиляции близнечного мифа дуалистической космогонией и идеологией.

А раз включенный в эту систему он неизбежно вступил в столкновение с более архаичным мифом о двух матерях-тотемах и их мужском потомстве, иногда сосуществуя с ним, иногда вытесняя его, чаще же всего контаминируясь с ним. Это рождение нового, связанного с ростом элементов патриархата в недрах матриархального общества, мифа, хорошо видного на комплексе Иосифа. Шесть сыновей Лии противостоят здесь двум сыновьям Рахили (Бытие, XXXV, 23—24; я оставляю в стороне сыновей рабынь Иакова—это несомненно позднее напластование. Вероятно, в первоначальном мифе шесть сыновей одной матери противостояли шести сыновьям другой, как в Огузкагановском цикле).

Однако фактическим героем оказывается Иосиф, в «благословении Моисея» явно выступающий в образе быка[1]. Его единственный единоутробный брат Вениамин не участвует в заговоре против него и играет особую роль и в дальнейшем развитии конфликта. Да и с противоположной стороны—фигура Иуды заслоняет остальных братьев. В дальнейшем, как мы знаем, его имя становится этнонимом одной из двух половин еврейского народа.

При всей сложности и полистадиальности еврейской генеалогии, дошедшей до нас в версии, сложившейся в эпоху становления классового общества, несомненно одно: в комплексе Иосифа и братьев перед нами запечатлена ступень развития дуалистического генеалогического мифа, соответствующая этапу вытеснения мифа о двух матерях (двух тотемах) и их потомстве мифом о двух братьях.

Характерно при этом, что в генеалогии евреев есть рудимент и близнечного мифа, как такового, причем одной чертой очень напоминающего зороастрийский и ирокезский—я имею в виду рассказ о рождении близнецов у Тамари от Иуды—ее свекра, причем, как в упомянутых мифах, младший близнец Фарес родился раньше Зары, первоначально отмеченного как старший (Бытие, XXXVIII).

Это преимущество младшего, смысл которого неясен из зороастрийского мифа, где он скрывается за концепцией матери-отца, вполне раскрывается в библейском мифе об Иуде и Тамари, причем в духе теории Штернберга. Тамарь—жена умершего сына Иуды—Ира. От него она, видимо, и зачала Зару—первого из близнецов. Он уступает дорогу зачатому от божественного предка иудеев—Иуды, прозрачно ассоциирующегося в Библии с тотемом льва[2].

[1] Второзаконие, XXXIII, 17.

[2] Бытие, X, IX, 9. Характерно здесь наличие комплекса двуполости, исторически восходящее к матриархальному мифу о тотеме-прародительнице: Иуда одновременно выступает «как лев и львица».

Процесс контаминации обоих сюжетов—комплекса Иосифа и комплекса Тамари—остался незавершенным, но наличие близнечных генеалогических мифов у древнееврейских племен, выступающее в последнем комплексе, наложило свой отпечаток на сделавшийся каноническим более архаический миф.

Характерно, что несмотря на универсальность близнечного мифа, он слабее всего представлен именно в мифологии наиболее примитивных народов. Так, в классическом исследовании Л. Я. Штернберга материал почерпнут, помимо народов античного мира и древнего Востока (включая Индию и Китай) и народов Сибири, в древнем Перу, у племен С.-З. Америки, у народов банту—в том числе особенно у овагереро. Из Австралии, что особенно показательно, привлечен лишь один пример, причем пример этот касается убийства близнецов, которых убивают, считая их опасными, без дальнейшей мотивировки или объяснения[1]. Здесь еще примитивный страх перед непонятным и уже поэтому опасным явлением, без всякой попытки его истолкования.

У более развитых народов обычай убийства близнецов также широко распространен, но здесь он уже истолковывается в духе теории Штернберга. Убивается или младший близнец, рассматриваемый как дитя «чорта», или оба близнеца, если это представление еще не сложилось.

Нужен был долгий путь, чтобы от страха перед близнецами перейти к культу их, чтобы тот самый младший близнец, который у значительной части первобытных народов становится жертвой суеверия, превратился в предмет особого почитания, как в авестийской религии и ее аналогах.

Характерно, что и близнечная космогоническая мифология распространена у относительно более развитых народов, находящихся на стадии расцвета или распада материнского рода, или на стадии патриархата. А. М. Золотарев берет примеры у меланезийцев, бакаири, араваков, перуанцев. Лишь один пример приводится им из Австралии[2], и взят он у племен кулин одного из племен Южной Виктории, характеризовавшихся до вторжения англичан наиболее высоким уровнем хозяйственного, социального и культурного развития[3].

Да и здесь, как мы видели выше, братья-

[1] Штернберг, ПР, стр. 99.

[2] Цит. соч., стр. 147.

[3] Dixon (MAR IX, стр. 302) подчеркивает ограниченность ареала сюжета двух братьев в Австралии, известные аналогии которому он находит лишь в некоторых квинслендских мифах и рассказах туземцев Н.-Ю. Уэльса о «двух Брам». Для Центральной и Северной Австралии господствующим он считает миф о тотемических предках.

демиурги еще не становятся прародителями фратрий или их творцами. Они лишь классифицируются по двум фратриям, как и все явления природы.

Гораздо более распространенный в Австралии сюжет о двух не являющихся братьями духах или культурных героях, творцах людей (или, вернее, демиургах, «доделывающих» неоформленных людей времен альчеринга), ассоциирующийся с многими дуалистически-анимистическими верованиями различных наиболее примитивных народов (тасманийцы, андаманцы), являясь одним из источников мифа о двух братьях — отнюдь не тождественен с ним и должен рассматриваться как комплекс более древний, чем близнечный, но более молодой, чем тотемический.

Миф о близнецах-врагах, развиваясь первоначально как самостоятельный в рамках единой дуалистической космогонии, в дальнейшем выступает в качестве заместителя первоначального матриархального генеалогического мифа о «двух женах», в архетипе «двух прародительницах», еще раньше двух тотемах, во многих случаях несет на себе следы своей исторической взаимосвязи с этим более древним пластом генеалогий, которые и выражаются в сюжете о трех, шести, двенадцати братьях—первоначально представителях-эпонимах родов двух фратрий. Хронологические отношения обоих пластов даны в огуз-хановском мифе, где более древняя форма организации—фратрии—имеют женских предков, а более поздние рода—мужских.

Сюжет борьбы змея и быка и брака представителей этих тотемов, столь мощно представленный в Авесте и прослеженный нами в скифском мире и на северной периферии Скифии, широко распространен и за пределами индо-иранской и скифской групп народов.

Очень яркий образец этого сюжета мы находим в древнееврейской мифологии. Я имею в виду замечательный рассказ книги «Исход» о золотом (resp. солнечном) тельце и медном (хтоническом) змее[1].

Два брата, Аарон и Моисей, ассоциируются здесь—в полном противоречии с их обычным идиллическим содружеством, имеющим явно позднейшее происхождение, с двумя враждебными тотемами—золотого быка—Аарон и медного змея—Моисей.

Как известно, Моисей уничтожает золотого тельца Аарона и истребляет при помощи левитов три тысячи человек его поклонников. В этой связи интересно, что Гольдциэр подчеркивает связь колена Левия со змеей, к древнееврейскому имени которой он сводит этноним левитов[1].

Связь колена Левия с тотемом змеи тем более для нас интересна, что в Бытии, XLIX, 6, Иаков проклинает Симона и Левия за то, что «они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца».

Таким образом авестийский конфликт в полном объеме развивается перед нами в библейской генеалогии, с той, однако, разницей, что в конечном счете тотем-змея выступает здесь в мифе о Моисее на первый план в качестве доброго начала, и жрецы змея—левиты становятся общеизраильской жреческой кастой, в то время как в Авесте преимущество отдается быку и его жрецам.

Насколько прочное место в древнееврейской религии занимает культ змея, можно судить по тому, что уничтожение культа медного змея, «которого сделал Моисей», IV кн. Царств (XVIII, 4) относится лишь ко времени Езекии, сына Ахаза, царя иудейского. Он наряду с другими идолами уничтожает и медного змея, «потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан».

Интересное преломление конфликта змея и быка с тем же разрешением столкновения в пользу первого, как в Библии, я склонен видеть в афинском мифе о Тезее и Минотавре. Эпоним Афин, девственная Афина-Паллада, нераздельно связана с тотемом змеи. Священный хтонический змей Эрихфоний, сын богини земли Геи, спутник Афины и важнейший атрибут ее изображений, змеиный скальп (ср. Афину Пэртенос Фидия) на голове богини, живые священные змеи, содержавшиеся в ее храме, эгида с головой змееволосой горгоны, все это с неоспоримостью доказывает это положение. В соответствии с этим в образе человека-змеи выступает и основатель Афин—Кекропс.

Тезей, афинский культурный герой, покровительствуемый богиней города, убивает марафонского быка и, проникнув в Критский лабиринт, выходит победителем из борьбы с быкоглавым чудовищем — Минотавром. Сочувствие здесь явно на стороне «змеиного» героя.

Отметим, в этой связи, что на Крите, с его мифами о Минотавре, с его бесчисленными изображениями быков, с его тавроболиями—рядом с культом быка существует культ женского божества, символом которого являются змеи[2].

---

[1] Исход, XXXII, Числа, XXI, 6—9.

[1] Goldziher, цит. сочинение, стр. 212—214. Между прочим Гольдциэр считает первоначально относящимся к Левию библейский гимн о змее (Быт. XLIX, 17), который в дошедшей до нас редакции связан с Даном (впрочем, эта связь также вряд ли случайна).

[2] Мы не останавливаемся здесь на другом круге параллелей—кавказском, где сюжет борьбы быка и змеи, связанных с культом воды, является почти универсальным.

Как показали исследования Г. Н. Потанина, интересующий нас комплекс чрезвычайно широко распространен у тюркских, монгольских и тибетских народов Центральной Азии[1]. Особенно интересна тибетская легенда о быке-царе Ландарме. Согласно этой легенде, бык, участвовавший в постройке храма царем Сронцзан-Гамбо, был обойден упоминанием в молебствии по поводу завершения постройки. Поклявшись отомстить, бык возрождается под видом нечестивого царя Ландармы, имеющего бычьи рога на голове. Он организует гонения на буддийскую веру. Среди прочих преступлений он, призывая по очереди юношей и девушек народа, чтобы брить ему голову, затем приказывает казнить их, чтобы они не выдали его тайну. Когда, наконец, одна из жертв, случайно избегшая казни, выдает тайну нечестивого царя, некий Бал-Дорчжи, одевшись в церемониальный наряд религиозных плясок, танцует на городской площади. Когда же царь призывает его во дворец, Бал-Дорчжи, вынув из рукава лук и стрелу, убивает Ландарму[2].

Потанин при этом указывает на тождество Ландармы со злым божеством ламаизма—Эрликом, изображаемым обычно с бычьей головой.

Этот же сюжет зарегистрирован в узбекской сказке, где место Ландармы занимает Искандер Зулькарнейн, Александр Македонский—явный перенос имени македонского царя под влиянием ономастического притяжения (Зулькарнейн—«рогатый», от рогов Аммона на монетах Александра) на древний мифический образ.

Перед нами, несомненно, как бы зеркальное отражение мифа о нечестивом царе Дахxаке, также по Шах-Намэ поочередно приглашавшем к себе юношей из народа, чтобы, убив их, питать их мозгом выросших у него на плечах змей. Перед нами лишь сюжет, вышедший из недр мифологии другой фратрии—фратрии змеи; в качестве злобного духа выступает антагонист змеи—бык.

Характерно при этом, что убийца Ландармы вынужден бежать и, скрывшись в пещере, не окаменевает. Здесь снова перекличка с сюжетом прикованного к горе Демавенду быкоубийцы Даххака.

Заслугой Г. Н. Потанина является установление связи комплекса мифологического быка с исследованным А. Н. Веселовским космогоническим мифом о двух братьях—антагонистах и прослеживание как этого мифа, так и его тотемической ипостаси—комплекса легенд о царе-быке и боге-быке, далеко за пределы Центральной Азии до Египта на Ю.-З. (где в рассказе о двух братьях один из них в конечном итоге оказывается божественным быком—Аписом) и до Западной Европы на СЗ.

Г. Н. Потанин вскрывает вместе с тем связь этого комплекса мифов с дуалистическими космогоническими мифами Восточной Европы, исследованными А. Н. Веселовским[1] (миф о боге—творце и его помощнике-антагонисте—дьяволе) и им же прослеженными в мифологии бурят, эвенков, якутов. Трудно, однако, согласиться с А. Н. Веселовским и Г. Н. Потаниным в их попытке выводить этот характерный комплекс представлений о боге—творце и его помощнике—враге с крайнего Востока ареала распространения этого сюжета—из Прибайкалья. Мало вероятно вести его и через манихейско-богумильскую среду. С одной стороны, он, несомненно, восходит повсюду к местным очень древним корням, а с другой, поскольку в нем выступает знакомый нам сюжет быка и змеи, его нельзя не связать специально с комплексом первобытной дуалистической космогонии народов Среднего и Ближнего Востока—с кругом индо-иранских, скифских и, как мы видели выше, восточно-средиземноморских мифов[2].

Особенно существенно то, что Г. Н. Потанин обратил внимание на связь исследуемого им комплекса мифов и кавказских сказаний о Амиране[3]—несомненное искажение имени Аримана, армянское Arhmn, авестийское Ангро-Майнью.

В осетинских легендах об Амиране с большей силой выступает более архаический, чем авестийский, пласт среднеазиатско-скифского дуалистического мифа.

Амиран осетинских легенд связан тесно с близнечным мифом. Правда, он не близнец,—но брат близнецов, рожденных первой женой его отца. Как мать близнецов, так и мать Амирана при их рождении погибают. По одному из вариантов легенды он сын «племян-

---

[1] Г. Н. Потанин. Восточные мотивы в средневековом европейском эпосе. М. 1899, стр. 141—142, 365, 471—472, 712 и др.

[2] Цит. соч., стр. 712.

[1] А. Н. Веселовский. Дуалистические поверья о мироздании в «Разысканиях в области русского духовного стиха» в сб. Отд. русск. яз. и слов. АН, т. XVI, гл. XI, стр. 1—117, 360—366, т. III, стр. 105—136. Потанин, цит. соч., 366 сл.

[2] Подчеркивание связи исследованного Веселовским и Потаниным комплекса дуалистических мифов с зороастрийской дуалистической мифологией см. Uno Holmberg, Siberian Mythology, MAR IV, стр. 315—316. Отметим попутно, что дуалистическая классификация тенгриев—богов и духов у монголов и бурят на белых (западных) тенгриев и черных (восточных) тенгриев ассимилировала имя Агура-Мазды (Хормуста-Тенгри), прошедшее через систему северно-буддийского синкретизма, как имя главы белых (добрых) духов.

[3] Потанин, цит. соч., стр. 384. См. там же литературу, ср. также «Амран», перев. Дз. Гатуева. М.—Л. Academia, 1932.

ницы Хцауа (бога)» и сам «племянник Хцауа»[1]. По другому варианту—он сын Ростома (Рустема среднеазиатских—иранских мифов) и чудовищной клыкастой женщины. Ростом, сочетавшись с ней, от этого погибает. По сванскому варианту при родах погибает «доль»—женщина с медными клыками, причем кузнец Дарджеган рассекает ей живот и вынимает оттуда Амирана, которого кладет у источника. В варианте Дз. Гатуева—отец Амирана рассекает живот умирающей «племянницы Хцауа», вынимает Амирана и бросает его в море. Во всех случаях перед нами отголосок сюжета о рождении злого близнеца—демиурга, убивающего мать при рождении (см. выше ирокезский миф). В следующих эпизодах Амиран появляется в качестве выходящего из моря мальчика, который «морских буйволиц, морских лошадей, быков одной рукой кверху бросает и ловит другой»[2]. Эпизод о встрече близнецов и Амирана и о том, как они, соблазнив его побриться, прикосновением железа к его голове лишают его возможности вернуться в непринимающее его больше море—представляет большой интерес.

Культ железа как культ, враждебный фратрии змеи, ярко выступает в сюжете Даххака, победителем которого, наряду с Третаоной, выступает кузнец Каве, носящий фартук из бычьей кожи и имя очень близкое к иранскому имени быка (Gavo). Любопытно, что и в комплексе исследованных Потаниным мифов герои-змееборцы постоянно оказываются связанными с железом.

Амиран, положительный герой кавказских легенд, выступает в качестве убийцы «морского быка»[3], одев шкуру которого он обманывает чудовищную птицу Пакондзи, принявшую его в свой дом, где он ее убивает. Сюжет змееборства также налицо в комплексе Амирана, но он осложнен представлением о прохождении героя через утробу змеи (комплекс Ионы), видимо, являющимся трансформацией мифа о рождении героя от змеи. Аналогичный мотив мы найдем в крымско-татарской сказке о дровосеке Асане, который встречает борющихся между собой прекрасную змею и чудовищного быка и, вступаясь за первую, убивает второго. Змея—дочь дивов—в награду проводит его за чудесным талисманом в страну дивов через утробу гигантских царицы змеи и царя-змея—символ вторичного рождения героя от тотема для приобщения к его таинствам (комплекс инициации)[4]. Что для нас самое интересное, Амиран неизменно выступает в качестве богоборца. Борьба его с богом, в качестве племянника (resp. брата) которого он выступает в мифе, заключительный эпизод комплекса его подвигов. Пораженный в этой борьбе Амиран закован «святыми» в пещере железными цепями, причем, чтобы эти цепи не порвались, грузинские кузнецы в страстной четверг трижды ударяют молотом по наковальне[1]. Здесь прямая параллель мифу о Даххаке и кузнеце Каве.

Уже Потанин счел возможным связать имя Амирана с названием летающего змея Абыргана (у монголов, бурят, алтайцев, урянхайцев)[2], дериваты которого он прослеживает в именах мифических чудовищ ряда народов Сибири и Восточной Европы.

Если это так, то тем более вероятным является наше сопоставление Амиран~Ариман (←Ангро-майнью←→Даххак).

Как и в Тибете, следовательно, герой змеиной фратрии выступает здесь перед нами в качестве положительного героя, картина прямо противоположная авестийской концепции.

Географический ареал прослеживаемого А. Н. Веселовским и Г. Н. Потаниным комплекса дуалистических мифов о творении, мифа двух братьев, мифа об Амиране и др. весьма примечателен. Германцы на Западе, где этот комплекс отражен в ранне-средневековых легендах, финны на северо-западе, где он налицо в Калевале, монгольские племена на Востоке—в центре татары Восточной Европы, восточные славяне, племена Сибири—это северная периферия Великой Скифии древних и вместе с тем северная половина ареала распространения того комплекса древних этнических имен, на анализе которого мы остановимся ниже.

Древний, тотемистический пласт авестийской генеалогии, ассимилируемый близнечным мифом, помимо основной линии—линии Трэтаоны—Ажи-Даххака представлен в Авесте и пехлевийской традиции многочисленными побочными линиями, рудиментами процесса слияния тождественных мифов различных протоарийских племен.

Наиболее важным здесь является сюжет Митры[3] быка и одновременно быкоубийцы, в мифе о котором отложилась вся сложность и противоречивость тотемического мировоззрения. Роль Митры, как быкоубийцы, ничего общего не имеет с аналогичной ролью Ажи-Даххака. Если последний змей, то Митра—сам

[1] Амиран, стр. 27, 37.
[2] Там же, стр. 35.
[3] Там же, стр. 132.
[4] Сказки и легенды татар Крыма. Алупкинский гос. музей, Фольклорный сборник I, Госиздат, Крым. АССР, 1936, стр. 168—170.

[1] Потанин, стр. 390.
[2] Там же, стр. 404—405.
[3] F. Cumont. Texts et monuments figurés relatifs au mystères de Mithra. I, стр. 306 сл. A. Christensen. Les types du premier homme et du premier roi dans l'histoire legendaire des Iraniens. I, Stokholm, 1917, стр. 110.

бык и, являясь разновидностью мифа об умирающем и воскресающем боге растительности— его миф, как показано рядом исследователей[1], восходит не к связанным с борьбой фратрий представлениям, а к комплексу интихиумы— ритуального убийства своего тотема[2] и причащения тотему с двойной целью—получить из общения с ним новую силу и содействовать его размножению.

Думаю, что тот же комплекс, но преломленный через идеологию другой фратрии, выступает в многочисленных мифах о героеде драконоубийце, особенно, если он выступает в виде всадника или в другой форме ассоциируется с конем (см. об этом ниже, § 4). Нужно в этом вопросе, как и в вопросе о Митре, быть чрезвычайно осторожным в отношении опасности схематизации. Весьма вероятно, что таким, параллельным Йиме—Трэтаоне героем фратрии Змеи является Крсаспа — змееубийца, убивший змея, после того как совершил на его спине жертвенное возлияние[3].

Уже этот момент важен для нас, связывая драконоубийство Крсаспы с религиозным ритуалом и резко отличая его от драконоубийства Трэтаоны. Столько же важно само имя Крсаспы, ассоциирующееся с конем (aspū)— образ, на связи которого с образом змея мы остановимся ниже. Весьма важно и то место, которое Крсаспа занимает среди героев авестийского цикла, находясь в немилости у Агура-Мазды и священного огня Атара, не допускающих его душу в рай: Крсаспа был, согласно традиции, рожден бессмертным, но потерял бессмертие из-за своих грехов.

Анализ образа Крсаспы приводит нас к заключению, что маздеистская религиозная традиция ассимилировала этот, видимо, чрезвычайно популярный среди народа образ героя тотемистических мифов фратрии змеи и трансформировала его, поставив в несвойственные ему первоначально отношения с тотемом другой фратрии. Этим объясняется и роль «души быка» (Гошурван)[4], защищающей Крсаспу перед Агура-Маздой и спасающей его от ада, и предстоящая роль Крсаспы в дни конца мира, когда он, воскреснув, должен будет принять

[1] Ср. Дж. Фрезер. Золотая ветвь. Русск. перев. в изд. «Атеист», 1928, III, стр. 93.

[2] Ср. В. Богораз. Миф об умирающем и воскресающем звере. «Худ. фольклор». I, М., 1926.

[3] Яшт. XIX. 40, A. Christensen. Les Kayanides. Köbenhavn. 1932, стр. 99 сл. MAR VI, 322 сл. Наша трактовка рассказа Яшт XIX, как описание жертвенного возлияния змею, подтверждается тем, что разведение огня на спине змея и приготовление на нем похлебки, вылившейся затем на спину дракона, инкриминируется пехлевийской традиции Крсаспе, как главное его преступление, хотя за ним и следует убийство дракона Крсаспой.

[4] A. Christensen. Les Kayanides, стр. 101.

участие в борьбе с Ажи-Дахакой[1], с которым он первоначально вряд ли не был тождественен. Контаминация параллельных мотивов мифов разных племен и их генеалогическая циклизация и деформация, как характерная особенность иранской мифологии, не раз отмечалась исследователями[2]. Этим объясняется и крайняя запутанность, неясность и противоречивость генеалогических отношений Крсаспы с легитимными героями Авесты и поздней зороастрийской традиции. Характерно, что Фарр— символ божественной царской власти переходит после потери его Йимой к быкоубийце—быку Митре, змееубийце — быку Трэтаоне и Крсаспе (змееубийца = змей), в то время как царем на деле становится Ажи-Дахака, а Крсаспа нигде не фигурирует в качестве царя. Характерно, что враги Крсаспы — Гандарва и Хитаспа наделяются «золотой косой»—символ Солнца—Митры — быка. А в ведийской мифологии Гандарвы прямо ассоциируются с солнцем. Характерно, что убитый им Снавидка с «каменными руками», обещавший, достигнув совершеннолетия, превратить небо в свою колесницу и землю в колесо ее, принадлежал к «рогатому племени», с которым Крсаспа ведет героическую борьбу и вряд ли (ср. образ колесницы и рождение Митры из камня) не был тождественным Солнцу-Митре-Гандарве-Трэтаоне.

Однако образ Крсаспы входит в круг еще более сложных историко-культурных ассоциаций, требующих специального рассмотрения. И прежде всего мы должны остановиться на его имени, вторая часть которого вводит его в круг образов, связанных с тотемом коня.

Эпопея Крсаспы завершается тем, что он, околдованный соблазнившей его чародейкой Хнадаити, засыпает сном смерти на восточной окраине Иранского мира, где его гигантское тело должно пребывать до конца света (Венд. V, IX). Этот сюжет вводит его в комплекс героев-богоборцев—Даххака, Амирана, Прометея, неразрывно связанных с мифами фратрии змеи.

Наконец, интересна крайне противоречивая генеалогия Крсаспы. Он сын Триты (Атрат) Атвья и брат Урвахшая (Яшт IX, 31, Агурвахш в Бундахишн XXXI, 22,30). Бундахишн возводит род этих братьев к Саму, Туру (Туг, Тус) и Трэтаоне. Однако авторы специальных исследований давно обратили внимание на крайне запутанные генеалогические отношения Крсаспы с остальными героями Авесты и эпоса, являющиеся, по общему признанию, продуктом очень поздних генеалогических построений зороастрийских жрецов. Феридунидская генеалогия Крсаспы выступает лишь в поздней пехлевийской традиции. Авеста о ней ничего не

[1] A. Christensen. Les Kayanides, стр. 60, 103.

[2] A. I. Carnoy. цит. соч., стр. 350. E. Herzfeld, цит. соч., стр. 142.

знает. Шах-намэ делает Крсаспу современником Феридуна[1].

A. J. Carnoy[2] считает, что Трита Атвья тождественен с Атвья—отцом Трэтаоны. Оба героя выступают тогда в качестве б р а т ь е в.

По мнению Э. Герцфельда[3], Крсаспа — сын убитого им, по Авесте, Гандарвы, водяного демона и брат страшного врага иранских героев Афрасиаба и праведного Агрерата, являющегося, по Бундахишну, отцом мифологического человека-быка Гопатшаха. По A. J. Carnoy[4] Агрерата и Гопатшах — тождественны. В связи с гипотезой Герцфельда нельзя не подчеркнуть близость имени Крсаспы и Крсвазды (Kərəsvazdah), брата Афрасиаба и Агрерата, согласно традиции.

Вряд ли мы ошибемся, если реконструируем первичную генеалогию Крсаспы в следующем виде:

Трита Атвья = Гандарво

Трэтаона = Агурвахш Крсаспа = Крсвазда.
Агрерата = Гопатшах.

Мы снова попадаем таким образом в круг образов мифа о двух братьях. Мотив отцеубийства, борьбы отца и сына, выступающий здесь параллельно с мифом о двух братьях, как показал уже Потанин, является лишь вариантом последнего и не исключено, что между Трита Атвья, Гандарвой и Трэтаоной нужно поставить знак равенства[5].

4. Змей и конь

Если универсальность образа быка и змеи, господствующей пары тотемов Средней Азии и окружающих ее стран, получает объяснение в дуальной мифологии, отражающей архаический дуализм фратрий, то остается пока неясным место в системе древних среднеазиатских тотемистических представлений третьего животного, хотя и уступающего по своей роли в мифологии анализируемой выше паре, но все же занимающего место намного более значительное, чем прочие тотемы древней Средней Азии, не исключая и собаки, играющей в зороастризме столь заметную роль.

Асп «конь» — излюбленное окончание топонимических и личных имен древней Средней Азии и Ирана. Упомянем прежде всего это слово как составную часть имен многочисленных героев Авесты —прежде всего Каянидских царей. Из географических названий упомянем З а р и а с п у, одно из имен древних Бактр и орошавшей область этого города реки,—имя, которое может быть переведено как «златоконная». Не менее характерно название Х а з а р а с п а — одного из древнейших городов Хорезма. Современная узбекская легенда связывает возникновение этого города, название которого этимологизируется как «тысяча коней», с именем пророка Сулеймана, который, подмешав к воде протекавшего здесь источника опьяняющий напиток, хитростью овладел тысячью прилетавших на водопой крылатых коней, отрезал им крылья и заставил служить человеку[6].

Легенда в высшей степени интересна, так как в исламизированной форме здесь перед нами выступает весьма архаический и широко распространенный сюжет. Как мы отмечали выше, культ «небесных коней» («Тянь-ма») нашел богатое отражение в сведениях о верованиях народов Средней Азии кангюйско-кушанского периода, которые мы можем почерпнуть в китайских источниках. Сведения об этом культе мы находим уже в Ши-цзи и Цянь-Хань-шу, в отчете о путешествии Чжан-цяня. От «небесных коней» информаторы Чжань-цяня вели происхождение знаменитых ферганских «потокровных лошадей», бывших причиной первых китайских походов на Фергану в конце II в. до н. э.

В Танской истории в рассказе о Тухоло (Тохаристан) мы находим сведения о том, что культ небесного коня, якобы жившего в пещере на южном склоне горы Поли, имел здесь место еще в VII—VIII вв. н. э. Жители пригоняли кобылиц пастись к этой горе, в результате чего от этих кобылиц якобы родились драгоценные «потокровные» лошади[7].

В комментарии Инь-и Ханьской истории мы находим сходное сообщение об аналогичном обычае в Фергане II — I вв. до н. э., жители которой пригоняли своих кобылиц в горы для случки с «небесными конями». Конь — излюбленный образ древнехорезмийского изобразительного искусства, отразившийся в десятках статуэток и т. п.[8].

Наконец Авеста дает нам также небезынтересный материал, освещающий, как нам кажется, и вопрос об отношении образа коня к двум анализированным нами выше образам.

К о н ь в А в е с т е и Б у н д а х и ш н т е с н о с в я з а н с А н г р о-М а й н ь ю.

Напомню замечательный рассказ о Ангро-

[1] A. Christensen. Les Kayanides, стр. 132.
[2] A. I. Carnoy. Iranian Mythology MAR. VI, стр. 324.
[3] E. Herzfeld. Archeolog. Mitt. aus Iran I, 1929, стр. 142.
[4] Carnoy, цит. соч., стр. 333.
[5] Ср. Darmsteter, цит. соч., стр. 105, прим. 3.
[6] В. И. Масальский. Туркестанский край. «Россия» под ред. В. И. Семенова-Тяньшаньского, т. XIX, Спб., 1913, стр. 753.
[7] Собр. свед., III, стр. 4.
[8] ВДИ 1939, № 3, 1941, № 1.

Майнью, принявшем образ черного коня и побежденном в этом образе братом Йимы — Тахма Урупой, выступающим в виде «сильной и быстрой лисицы»[1]. Напомню рассказ о тесно связанном с Ангро-Майнью демоне Апаоша, в образе черного коня[2], побежденном Тиштрией-Спрнусом, наиболее характерным образом которого является образ быка с золотыми рогами[3].

Иконографическая связь коня и змея ярко выступает на малоазийских рельефах с изображением «великой богини», где змей является несомненным атрибутом всадника — спутника богини и самой богини[4].

В эллинской мифологии крылатый конь Пегас, тождественный с крылатыми конями хазараспской легенды, рождается из крови змееволосой Горгоны.

Напомню еще раз текст, противопоставляющий «богатого быками» Атвья и «богатого конями» Пурушаспа—представителей двух родов, resp. фратрий. Это противопоставление коня и быка как фратриальных тотемов в свете предыдущего изложения заставляет говорить о тождестве фратрий змея и фратрии коня, о принадлежности коня к комплексу тотемов змеиной фратрии.

В этой связи, возможно, лежит объяснение генезиса образов гиппокампа, крылатого (или бескрылого) коня-змея, образа, широко распространенного в среднеазиатском[5] и близко родственном ему скифском изобразительном искусстве[6] и вряд ли являющегося прямым заимствованием из Греции.

Не исключено, что в самом греческом искусстве этот образ является заимствованием с Востока, ибо в Передней Азии он имеет достаточно глубокие исторические корни.

Во всяком случае на монетах Тира Мелькарт, держащий лук и стрелы, изображен сидящим верхом на крылатом гиппокампе, летящем над волнами[1]. Крылатый гиппокамп выступает перед нами также на монетах Библоса[2].

Широкое распространение образа гиппокампа в искусстве Средней Азии делает позволительным предположение, не этот ли образ скрывается за «водяным конем» asp-i-âvî, упоминаемым Бундахишном[3].

Во всяком случае, конь, как и змей, связанные с культом воды, противостоят в мифологии древней Средней Азии быку, также хранителю вод (ср. образ Гопатшаха, человека-быка, хранителя вод)[4]. И грандиозная картина борьбы за мировые источники воды быка — Тиштрии и коня — Апаоша, рисуемая нам Тир-Яшт, ассоциируясь с ирокезским мифом о борьбе за воду представителя Иоскеги-куропатки и представителя Тавискарона — гигантской лягушки, вводит нас в комплекс тотемически-фратриальных космогонических мифов.

Тотемический дуализм идет дальше, раскрывая перед нами классификацию остальных явлений природы, в первую очередь животных, между двумя фратриями. Здесь нам немного может дать жреческая классификация мира в Бундахишне, где поздняя концепция прагматического дуализма довлеет над древними пластами дуализма фратриального, стремясь повсюду строго провести линию подразделения на полезные и вредные для человека явления природы, относя первые к миру Агура-Мазды, вторые к миру Ангро-Майнью.

Лишь отдельные осколки старой классификации мы можем нащупать в мифологических отрывках, содержащихся в Авесте и пехлевийской литературе. Так, из Шах-намэ мы узнаем о принадлежности барана, в образе которого выступает Фарр Ардашира, к фратрии быка и враждебности его воплощению тотема змеи, чудовищному червю — Керму[5].

К этой же фратрии относится помимо собаки и лисица — отнюдь не полезное животное.

Напротив, волк классифицируется неизменно с фратрией змея, вместе со всеми представителями класса пресмыкающихся.

Если баран один из тотемов фратрии быка, то есть немало оснований в козле (козе) видеть представителя тотемов противоположной

---

[1] Яшт XIX, 29.

[2] Яшт VIII, 21, 27.

[3] Яшт VIII, 16. То, что в последнем из своих воплощений Тиштрия выступает в образе «блистающего коня с алыми ушами, золотой уздечкой» (Яшт VIII, 18, 20) надо рассматривать как результат контаминации мифологических циклов фратрий различных этнических объединений. Мотив борьбы двух коней, восходя к мотиву борьбы двух змей (см. ниже), является мифом, параллельным мифу о борьбе быка и змея-коня.

[4] Н. Я. Марр. О лингвистической поездке в Восточное Средиземноморье. ИГАИМК 89, М.—Л., 1934, стр. 74—77.

[5] Гиппокамп в греко-бактрийском искусстве см. Я. И. Смирнов. Восточное Серебро 1909, табл. CXX, рис. 47, К. В. Тревер. Проблема греко-бактрийского искусства. III Международный конгресс по иранскому искусству и археологии. Доклады. М.—Л., 1939, стр. 286. Гиппокамп в буддийском искусстве В. Туркестана см. A. Grunwedel. Altbuddishen Kultstätten in Chinesisch Turkestan. Berl., 1912, стр. 106—107, рис. 237в—238в. Изображение гиппокампа мы имеем на трех античных хорезмийских печатях, найденных нами в окрестностях развалин Беркут-кала.

[6] Гиппокамп в скифо-сарматском искусстве см. E. H. Minns. Scythians and Grecks, стр. 426 и др.

[1] G. Contenau. Manuel d'Archeologie Orientale III. Paris, 1931, стр. 1495, рис. 915 (наиболее древние монеты датируются 400—350 г. до н. э.).

[2] R. Pietschmann. Geschichte der Phönizier. Berlin, 1889 (в серии Allgemeine Geschichte W. Onken'a, т. III, Н. П.), стр. 173.

[3] SBE. V, стр. 48 (Бнд XIV, 18), стр. 181 (ЗС, IX, 16).

[4] К. Тревер. Гопатшах, пастух—царь. Труды Отд. Востока Гос. Эрмитажа. II. Л. 1940.

[5] Ср. образ Индры в виде топчущего змею барана в Риг-Веде.

фратрии. За это говорит тесная связь культа козла (козы) в античности с кругом хтонических змеиных богинь — Афины, Артемиды, Кибелы.

Нам уже приходилось писать о тесном взаимоотношении двух дуалистических систем первобытной идеологии — системы, основанной на дуализме фратрий, и системы, основанной на дуализме полов[1]. Мы не можем здесь возвращаться к вопросу об их хронологическом взаимоотношении. Отметим лишь, что в мировоззрении современных первобытных народов они, как правило, сливаются воедино — и одна фратрия,— а вместе с тем все ассоциирующиеся с ней явления мира — рассматривается, как мужская, а другая как женская[2]. Элементы этой классификации мы уже отмечали вскользь в анализируемых выше мифах. Афина, богиня-змея, ассоциируется с землей, ночью (сова, как атрибут богини). Коза является тесно связанным с Афиной животным[3]. Бык—Минотавр, олицетворяет мужское начало и ассоциируется с солнцем, как и бык Митра.

Аполлон, мужское божество, змееубийца, ассоциируется с солнцем. Он богат стадами коров, из-за которых он ведет борьбу с ловким ребенком-вором, Гермесом, об имени и змеином кадуцее которого мы говорили выше.

Девственница Артемида, его сестра, ассоциируется с луной. Атрибутом ее является олень[4].

Бык — Геракл, убивающий еще в колыбели змей, присланных Герой[5], победитель Лернейской гидры, ассоциируется с кругом солнечных божеств, в скифском мифе женится на деве-змее и гибнет по греческому мифу от яда гидры, в результате посмертной мести убитого им коня-человека—кентавра, невольным орудием которой является жена Геракла.

Потомок быка Феридуна — Заль женится на происходящей от Змея Даххака Рудабэ.

Всадник и конь — неизменный атрибут великой богини Скифии и Восточного Средиземноморья. Змей является ее другим атрибутом. Змея, конь и женщина в характерном иконографическом сочетании выступают в изображении древневавилонской хтонической богини Лабарту (изображаемой стоящей на спине коня, в свою очередь стоящего на змее, и держащей в руках пару змей)[6].

[1] ПИДО, 1935, № 9—10, стр. 20—22.

[2] Nieuwenhuis A. W. Int. Arch. f. Ethnographie, 1931 supp. zu Band, XXXI, стр. 17—18.

[3] Е. Кагаров. Культ фетишей, растений и животных в древней Греции, Спб., 1913, стр. 265.

[4] Там же, стр. 265—267.

[5] Ср. там же, стр. 266.

[6] A. Jeremias. Handbuch der Altorientalische Geistkultur. Leipzig, 1913, стр. 68—69 (рис. 45—47).

А. В. Збруева обратила наше внимание на наличие почти тождественного иконографического образа (обнаженная женщина на крылатом коне, стоящем на спине змея) в памятниках Прикамья Ананьинской эпохи.

В комплекс явлений живой и неживой природы, классифицируемых с первой фратрией, входило солнце, день, мужское начало, золото, позднее — железо, тотемы барана, собаки и лисицы. В комплекс явлений, классифицируемых со второй фратрией, входили луна, ночь, земля, женское начало, медь, тотемы коня, оленя, козла, видимо, волка, ящерицы, лягушки, рыбы[1].

Стихия воды классифицировалась по обеим фратриям, и бык и змея в своем позднем оформлении выступают как водные божества. Видимо, это связано с представлением о нижних и верхних, земных и небесных водах.

По этим двум фратриям распределяется с большей или меньшей последовательностью большинство божеств и героев Восточного Средиземноморья.

Однако было бы ошибкой пытаться искать полной последовательности в этой классификации. Тотемы, духи и герои первобытной мифологии прошли, чтобы превратиться в могущественных богов античного мира, достаточно долгий путь разнообразных трансформаций и контаминаций образов, сложной синкретизации мифов разных племен, чтобы эта первоначальная классификация сохранила свою последовательность. По существу можно говорить лишь об определенной тенденции каждого образа, его большей связи с одним из исследуемых нами комплексов, что, конечно, не исключает проникновения в его сложный состав элементов, связанных с образами другой фратрии.

Не составляет исключения и иранско-среднеазиатская мифология, где эта классификация проведена наиболее последовательно. И если в древних мифах мы находим отголоски первоначальной классификации, весьма далекой от критерия «полезности человеку» того или иного явления, то Бундахишн, по существу отражающий уже монотеистическую тенденцию, сильно склоняется в своей классификации явлений мира к этому тривиальному критерию. И в частности конь, атрибут Ангро-Майнью в первоначальной мифологии, находит себе место среди «чистых животных», творений Агура-Мазды[2].

Некоторые стороны этого процесса трансформации первоначального дуализма в его более позднюю и модифицированную систему мы смо-

Средой, через которую этот образ проник в Прикамье из Месопотамии, вероятнее всего является Средняя Азия—resp. Хорезм.

[1] Вопрос о тотеме льва является весьма сложным, благодаря той очень значительной деформации, которую пережил образ этого животного в религиозных представлениях культурных народов Востока. Думаю, что первоначально он был связан с комплексом фратрии змеи.

[2] Бундахишн XXIV, 6. Здесь подчеркивается, впрочем, что творением Агура Мазды является белая (arus) лошадь, очевидно, противостоящая черному коню Ангро-Майнью.

жем проследить, анализируя историческую эволюцию той организации, которая явилась базой для самого возникновения дуалистического мифа Авесты.

Нельзя, впрочем, не учитывать и другой стороны вопроса—наличия более древнего пласта дуалистических мифов, в которых бык, как фратриальный тотем, вообще отсутствует, и тотемами обеих фратрий выступают различные виды змей. Для ранних дуалистических тотемистических генеалогий вообще характерен выбор тотемов обеих фратрий из сферы родственных животных—в Австралии и Океании это чаще всего птицы и змеи. Так, у целого ряда племен юго-восточной Австралии, имеющих фратрии, носящие имена Мукварра и Кильпарра, фратриальными тотемами являются длиннохвостый орел и ворона[1], у меланезийцев южной и средней части Новой Ирландии фратрии Пикалаба и Малаба (Марамара) имеют тотемами два местных вида коршуна[2]. У полинезийцев острова Пасхи мы встречаем два вида священных животных, повидимому, фратриальные тотемы — курицу и черную морскую ласточку[3]. Наряду с птицами очень отчетливо выступают у тех же племен в качестве иногда прямо фратриальных тотемов, иногда, в тех случаях, когда фратрии утрачены, наиболее почитаемых тотемов, с которыми связан миф о происхождении человека-змеи или их довольно обычная трансформация — черви. Так, у урабунна генезис фратрий связывается с деятельностью двух змей времен альчеринга, устроительниц мира. Одна из них, зеленая, принадлежала к фратрии Кирарава, другая, коричневая — к фратрии Маттури.

Самоанцы и тонганцы считают себя происшедшими от червей — видимо, первоначально змей (трансформация понятная, если мы учтем отсутствие змей на этих островах)[4].

У меланезийцев Сан-Кристобаля тотем одной фратрии неизвестен, тотемом другой фратрии является змея[5].

В индоарийском мире в генеалогическом эпосе Магабхараты враждующие между собой Куру и Панчала — явно реминисценция древней вражды фратрий, имеют тотемами «змею» (Куру, Криви) и «пять водяных змей» (Панчала).

Мотив борьбы двух змей, чаще всего—красной и белой, широко распространен в ирано-арабском фольклоре, отраженном в сказках «1001 ночи»[1]. На северо-западе Евразии этот сюжет выступает в кельто-германской мифологии. Напомню борьбу красного и белого драконов на дне колодца в древне-британских мифах, отраженных в цикле сказаний об Артуре, причем тотемная основа мифа ярко выступает в связи красного дракона с «туземцами», белого с «пришельцами», в позднем оформлении первого с кельто-британцами, а второго с саксами.

Дуалистический характер мифа делает несомненным тотемную связь обеих змей первоначально с фратриями[2].

Мотив «змеиного народа» — очень близкий к тотемистическим мифам индейцев—хопи, широко распространен в индийской мифологии, где сказания о «змеином мире» и народе Нага, людях-змеях, с их могущественным царем Васуки, занимают очень крупное место[3].

Параллельные самоанскому мифу о происхождении целых народов от червей (resp. змей) мы находим широко распространенными в Средней и Центральной Азии. Так, китайские хроники рассказывают о таком происхождении жуженей[4]. Сопоставляемые Марквартом с жуженями Кермихионы Феофана и Юстина носят имя, этимологизирующееся, как показал тот же автор, из иранского kerm — «червь» (об этом термине см. ниже)[5].

Процесс вытеснения одного из змеиных фратриальных тотемов быком, нам представляется, связан с осознанием значения отцовства, с осознанием роли мужского семени в процессе воспроизводства — явление, как мы знаем, в первобытной истории сравнительно позднее.

В связи с этим один из ранее второстепенных клановых тотемов — бык, один из универсальных символов мужской силы, сперва ассимилируется с фратриальным тотемом, а затем вытесняет его. Следом этого процесса является возникновение древнего и очень широко распространенного (вплоть до Северной Америки, где, как мы видели, у ирокезов бык играет в дуалистической космогонии сходное с авестийской космогонией место) образа рогатой змеи, разновидностью которой является и «рогатый змей Срувара» мифа о Крсаспе. Может быть это дает право несколько сложнее, чем мы сделали выше, трактовать этот миф, видя в борьбе

---

[1] Максимов, цит. соч., стр. 22—23.
[2] Reckel. Religion und Zauberei auf dem Mittleren Neumechlenburg, стр. 7 сл.
[3] P. H. Buck. (Te Rangi Hiroa). Vikings of the Sunrise. New York, 1938, стр. 228—330.
[4] P. H. Buck, цит. соч., стр. 288, 290.
[5] C. E. Fox. The Threshold of the Pacific. London. 1924, стр. 35. Самое название этой фратрии—Amvea Фоксом связывается с Mwā—«змея».

[1] См. «Книга Тысячи и Одной Ночи», пер. Салье, изд. «Academia», IV, 1933, стр. 124 сл., где народ белых змей, одного из членов которого спас «Абу-Мухаммед—лентяй» от нападения красной змеи, помогает Абу-Мухаммеду в поисках его похищенной маридом (демоном) жены.
[2] I. A. Mac-Cullock. Celtic Mythology. MAR III, 1918, стр. 24—25, 47, 107—108, 130.
[3] A. B. Reith. Indian Mythology. MAR VI, стр. 154 сл.
[4] Собр. свед. I, стр. 205 сл.
[5] J. Marquart. Historische Glossen, стр. 196—197.

Крсаспы со змеем скрещение двух мифов фратрии змея: комплекса интихиумы (возлияние) и комплекса борьбы змея-коня и змея-быка (рога Сруварры)[1]. Может быть и в рыбах (resp. змеях) — быках — вишапах мы должны видеть эту переходную форму между древней и новой формой тотема бычьей фратрии.

Вытеснение образа змея образом быка идет, однако, как правило, гораздо быстрее, чем аналогичный процесс в отношении змея-коня, чем и обусловлена раскрытая выше и хронологически восходящая, видимо, к энеолиту (Мохенджодаро, Анау, Крит, Элам)[2], противоположность фратрии быка и фратрии змея, вытеснение которого второстепенным тотемом той же фратрии — конем протекает значительно позднее.

Впрочем, это положение нельзя считать вполне универсальным. В некоторых случаях, повидимому, фратриальные тотемы змеи оба трансформируются в коней, и тогда перед нами выступает мотив борьбы двух коней—белого и черного (Тиштрия—Апаоша) и мотив близнецов-коней (Ашвины — Диоскуры).

Таким образом мы можем подвести итог: под ранне - анимистическим близнечно-дуалистическим мифом Агура-Мазды и Ангро-Майнью мы можем раскрыть более древний, доанимистический тотемно-дуалистический миф о двух тотемах—демиургах, эволюционный ряд которых раскрывается, как переход от мифа о двух змеях, о змее и быке к мифу о коне и быке.

5. Кави и Карапаны

Среди врагов зороастрийской религии, «духов и людей», список которых монотонно повторяется в заклятиях поздних частей Авесты, после Яшу, Пайрика, Сатра, неизменно стоят два имени, представляющих для нас особый интерес в виду того места, которое они занимают в Гатах и памятниках пехлевийской литературы (Бахман-Яшт, Дадистан-и-Даник и некоторые другие). Это — Кави и Карапаны («kik» и «karap» пехлевийских текстов)[3].

Сочетания в этих списках-заклятиях имен кави и карапанов с именами заведомых духов побудило некоторых старых и новых интерпретаторов Авесты считать и их представителями мира демонов[4].

Однако в древнейшей части Авесты, в Гатах, они рисуются несомненными людьми — наиболее враждебными к учению Заратуштры представителями дозороастрийских жреческих корпораций Средней Азии и Восточного Ирана[5].

Анализ авестийских текстов позволяет притти к выводу, что ритуальная деятельность обоих жреческих объединений была связана с оргиастическим культом священного напитка Хомы и жертвоприношениями животных (в частности с кави связываются жертвоприношения рогатого скота — Гата XXXII, 14[6]). Так в Гата XLV, II мы читаем: «Карапаны и кави объединили свои силы, чтобы погубить своими преступными делами род людской. Их собственная душа, их собственная природа их так ожесточили, что они идут к месту, где находится мост Синват, чтобы стать навсегда жителями обители лжи («друдж»). Гата XXXII, 12, говорит: «Мазда проклял того, кто учит убивать скот, того, благодаря кому карапаны соблазнились, удалились от истины и могущество стало уделом тех, кто любил ложь. Через это могущество соблазнитель заставил их притти во владения порочного духа, разрушителя мира».

В Гата L, II мы читаем: «Кто друг святейшего Заратуштры, о Мазда? Кто просит его об истине? Какова святая чистота? Кто тот справедливый, кто проповедует на благо Доброму Духу? 12. Они не дружественны ему, Заратуштре святому, педераст и последователь кави, разрушители земли... 14. Своим учением и своим законом, своими делами и своими словами, карапаны не дают произрастать обильным произведениям пастбищ для процветания стад».

В Гата XLIII, 20 автор обращается к Агура-Мазде, говоря: «Я спрашиваю тебя, что (должно быть) для тех, которые противятся (закону Мазды), при помощи которых карапаны, усихи[1] предали стада Аешме[2], благодаря кому кави достигли могущества?».

Отметим попутно, что в Гатах более конкретно выступают карапаны, своими действиями препятствующие процветанию скотоводства. Облик кави гораздо менее ясен, хотя стоит — это важно будет в дальнейшем—подчеркнуть, что им приписываются обладание могуществом, властью и жертвоприношения рогатого скота.

В пехлевийской литературе мы сталкиваемся со сходным явлением. Кави (kik) там только

---

[1] Характерно, что и кавказский Амран выступает одновременно в роли быкоубийцы (комплекс борьбы тотемов) и драконоубийцы (комплекс интихиумы).

[2] О быке и змее как тотемических божествах дозороастрийского пласта религиозных верований Ближнего и Среднего Востока и о хронологическом отнесении их к энеолиту (халколиту) см. Autran, цит. соч., стр. 94—95.

[3] Яшт IV, 8; V 26, 46, 50; X, 34; XIV; 62; XIV, 62, XIX, 26, 3. J. Jackson. Die Iranische Religion y W. Geiger u. E. Kuhn. Grundrij d. Iranische Philologie II. Strassburg. 1894—1904, стр. 647.

[4] Ср. A. Hovelaque. L'Avesta, Zoroastre et le Mazdeisme. Paris, 1880, стр. 322—323.

[5] Chr. Bartholomae A. I W., 442, 454.

[6] A. Christensen. Die Iranier, стр. 220.

[1] Дозороастрийские жрецы. Ср. Chr. Bartholomae. AIW. 406.

[2] Имя одного из демонов.

упоминаются, причем всегда, как в поздней Авесте, рядом с карапанами, в то время как о последних мы узнаем ряд очень важных подробностей.

Так, в Зад-Спарам 15.3. 17 I (SBE XLVII, 143—147) перед нами выступают пять братьев-карапов — Братрухш, Братройшин, Братреш Тур (он же Тур-и-Братарвахш, впоследствии убийца Заратуштры)[1], Хазан и Вадаст в качестве жестоких врагов Заратуштры, преследующих его от колыбели до смерти[2].

Облик кави и карапанов (←karpan) выступает перед нами яснее, если мы обратимся к анализу самих терминов. Начнем со второго из них. Он находится в несомненной связи с целым рядом чрезвычайно близких к нему, особенно если отбросить конечный суффикс (-an), религиозных терминов, бывших предметом специального анализа в ряде работ Н. Я. Марра[3].

Я имею в виду установленный Н. Я. Марром семантический ряд «kar-p || kur-p→kərup→kerp» — в новоэламском kur-p «бог»[4] и в грузинском ker-p «идол», в феодально-армянском ker-p «икона». С сохранением носового аффикса, которым завершается имя karpan, мы видим в некоторых формах почти тождественного ему арм. qurm им. мн. qurmunq, р. qərman-ϑ «жрец», которому соответствует усеченное груз. qurum—«жрец»[5]. Наконец, в сибилянтной разновидности мы находим это имя уже непосредственно в индоиранской лингвистической среде—в др. инд. sraman→*sar-man «буддийский жрец» (откуда и «шаман»). В этот ряд с зубными суффиксом t в армянском karape-t—«Иоанн предтеча», давно раскрытое Н. Я. Марром как перенос на христианского святого названия древнего божества, а с назализацией исходного губного консонанта основы чанское ğor+mo-ϑ, грузинское ğrmerϑ, сванское ğer-me-ϑ и, наконец, поволжское яфетическое—удмуртское, марийское имя злого божества Keremet, восточно-европейская параллель Ангро-Майнью[6]. Отсюда в одну сторону — путь к Гермесу античной мифологии с его символом—обвитом змеями кадуцеем и к Керму — «змею—червю» из Шах-намэ и сасанидского эпического произведения «Кар-намак-и-Артахшир-и-Папакан»[1] — ср. новоперсидское kerm «червь» ←→ сибилянтная основа ser-p (ser-pen+t) «змея» в романских языках (откуда и наше «сер-п»).

Связь этой основы с культом змея-дракона, отраженном в широко распространенном в Восточном Средиземноморье изображении дерева или колонне, обвитой змеей, давно уже установлена Н. Я. Марром[2].

Так, интересующий нас термин раскрывается палеонтологически последовательным рядом значений «тотем змеи» — «бог», «жрец».

Следует отметить эпитет brat ∾ bratar — «брат», входящий как составной элемент в имя трех из пяти карапанов, и позволяющий видеть в них не столько братьев по крови, сколько членов одного братства. Не безынтересно и число пять. Оно ассоциируется с последовательным пятиричным делением племен позднейшей Средней Азии. Я имею в виду 5 племен-членов массагетской конфедерации[3], пять ябгу (князей) больших юечжи, пять кангюйских княжеств II в. до н. э.[4].

Имя убийцы Заратуштры Тур-и-Братарвахш позволяет предполагать, что в лице 5 карапанов выступают главы карапанских корпораций (resp. фратрий) пяти племен. «Тур» указывает на происхождение из Турана, т. е. из Средней Азии, а «вахш» (ср. Сиявахш — Сиявуш, кангюйско-хорезмийский герой среднеазиатско-иранского эпоса) ассоциируется с одним из имен Аму-Дарьи и именем ее божества, позволяет гипотетически видеть в нем вождя карапанов Хорезма — наиболее вероятной родины пророка в древнейшем варианте зороастрийской легенды.

Итак, смысл загадочного названия одной из групп противников Заратуштры — карапанов, разъясняется как имя «членов жреческого братства бога-змея» первоначально просто «членов фратрии змея», отсюда и весь ряд значений — «жрец», «бог», «брат», «змей» и употребление имени в качестве широко распространенного этнонима (обычный путь фратриальных имен, благодаря своему межплеменному распространению чрезвычайно часто вытесняющих в качестве обозначения широких этнических общностей более узкие племенные имена).

Однако и наша гипотеза может опереться

---

[1] Дадистан-и-Даник LXXII, 8, West. Pahl. Texts II, SBE XVIII.

[2] W Jackson. Zoroaster. New York, 1899, стр. 28, 128—129. Geieger u. Kuhn Gr. d. I. Ph. II, стр. 666—667.

[3] Н. Я. Марр. Вишапы, стр. 45.

[4] ЗВО, XXII, стр. 17, 48.

[5] «О числительных», Избр. работы III, 260.

[6] О месте Keremet в дуалистических космогонических мифах Поволжья, вполне соответствующем месту Ангро-Майнью в иранском мифе, см. цитированную выше работу Веселовского.

---

[1] Th. Noldeke. Geschichte des Artachšîr Pâpakân aus dem Pehlevi überzetz. Göttingen, 1879, стр. 49 сл.

[2] «О лингвистической поездке в Восточное Средиземноморье» ИГАИМК, 89, М.—Л. 1934, стр. 74—77.

[3] W. W. Tarn. Greeks in Bactria and India. Cambridge 1938, стр. 81.

[4] См. нашу рецензию на книгу Тарна. ВДИ, 1940, № 3—4, стр. 207, прим. 1.

не только на эти довольно сложные лингвистико-мифологические сопоставления. Мы располагаем и другим материалом, непосредственно отображающим социально-культовую сущность исследуемого нами явления. Я имею в виду широко распространенную в античном Восточном Средиземноморье религиозную корпорацию — братство корибантов (Κορυβάντοι).

Корибанты — служители малоазийско-фракийской матери богов—Кибелы и ее спутника многоликого Диониса — Сабазия[1]. Это религиозное братство, проникшее в эллинский мир с Востока, характеризуется оргиастическим характером культа, сопровождаемым экстатическими танцами, аккомпанируемыми ударами оружием в щиты или звуками тамбуринов. В иконографии корибантов, среди прочих символов, вряд ли не центральное место занимает змей. Весьма характерно в этом отношении изображение на пантикапейской фреске так наз. «гробницы 1905 года» или «склепа сабазиастов» (римское императорское время) фигур пляшущих корибантов, держащих в каждой руке по змее[2].

Змей является одним из важнейших атрибутов Сабазия[3], с культом которого связано, как показал Ростовцев, описанное изображение танцев корибантов. Другим его атрибутом является конь, а изображение этого бога в виде конного лучника вводит его в круг лунных богов-всадников — образ, широко распространенный в мифологии Ближнего, Среднего и Дальнего Востока[4].

Весьма интересно, что близко родственная корибантам организация идайских дактилов, о которой у древних авторов мы видим лишь легендарные данные («куретов и корибантов считают потомками идайских дактилов», пишет Страбон, X, 3, 22) возводилась к 5 «первым мужчинам», культурным героям Фригии — прямая параллель пяти братьям — карапанам зороастрийской традиции. Любопытно и тесно связанное с этим представлением само название дактилов — «пальцы» —символ пятиричности, ярко отраженный в пережиточных религиозных верованиях и ритуале шиитских сект Средней Азии и Ирана, на связи которых следуемым комплексом мы остановимся ниже особо.

Сходство между вскрытым нами выше ритуально-мифологическим комплексом, ассоциирующимся с карапанами, жреческим братством фратрии змеи и комплексом корибантов, при полном тождестве имен, само по себе настолько убедительно, что его было бы вполне достаточно, чтобы считать историческую взаимосвязь обеих корпораций прочно установленной. Однако мы располагаем и прямым показанием античного автора, которое, будучи взято изолированно от нашего материала, звучало мало правдоподобно, но, увязанное с ним, получает значение первоклассного исторического свидетельства. Я имею в виду слова Страбона: «Некоторые говорят, что корибанты пришли из Бактрии»[1].

Я далек от того, чтобы понимать это свидетельство буквально. В нем, вероятно, мы имеем лишь туманный отголосок представлений о некогда существовавших корпоративных связях малоазийско-фракийских союзов корибантов с их далекими восточными двойниками[2].

Как мы покажем ниже, этнографический материал делает весьма вероятным факт столь широкого территориального распространения организаций этого типа, объединяемых общим именем и сознанием единства.

Перейдем ко второму интересующему нас имени kavi (ср. скр. — kavi—«поэт», «мудрец») — имени, замечательному своей близостью с именем царей полулегендарной бактрийской династии kava∼kavi→kai (отсюда «кайяниды»), при одном из которых—праведном Кави (Кава)-Виштаспе подвизался Заратуштра. Этимология этого имени раскрывается перед нами из сопоставления с древнеиранским ◡ava в усечении ◡av→ (санскр. go — «бык», «крупный рогатый скот» новоперс. gāw ср. английское→kow, немецкое→kuh, «корова», позволяющее говорить о закономерности сопоставления kava ⟋ ◡ava.

Мы уже говорили выше о быкоглавой палице, как символе власти каянидских царей, прозрачно указывающей на их связь не только по имени с религиозной корпорацией, ассоциирующейся с образом тотема—быка. Видимо, можно предполагать первоначальную связь царей—кави со жреческой корпорацией к а в и. В этом объяснение и тождества имен и постоянное упоминание Гат о «могуществе кави» и, наконец, весьма характерная двойственность отношения авторов зороастрийских текстов к кави — в противоположность последовательно враждебному отношению к карапанам.

Впрочем, об этом ниже.

Особое значение получает в этой связи имя параллельного с Трэтаоной героя бычьей фрат-

---

[1] J. Poerner. De Curetibus et Corybantibus. Halis. Sax 1913. Ср. Swenn, Korybanten, P. W. XI 1441 сл. О связи культа Сабазия со среднеазиатским культом Сиявахша (Сиявуша) см. выше гл. IV, 2.

[2] М. Ростовцев. Античная декоративная живопись на юге России. Спб., 1914, стр. 427—428.

[3] PW I[a] 1540—1551.

[4] Ростовцев. Там же.

[1] Страбон, X, 3, 19.

[2] О хетто-фракийских связях древних среднеазиатских культур см. выше, гл. IV, 2.

рии, змееборца-кузнеца Каве (Kaveh). Этот одетый в фартук из кожи быка, ставший потом знаменем царей Ирана, сохранившимся до конца сасанидской эпохи, вождь восстания против нечестивого царя-змея Даххака, является ономастически истинным праотцем Каянидов, вытесненным, видимо, в процессе циклизации различных мифов, образом другого быка-змееубийцы—Третаоны. Весьма вероятно, что в ранних среднеазиатско-восточно-иранских мифах присутствовала концепция священного царя — кузнеца — образ, вполне объяснимый в свете этнографических данных, ибо у первобытных народов железного века, особенно у африканцев, мы постоянно встречаемся с кузнецом-жрецом, в одних случаях высоко почитаемым, в других, наоборот, презираемым, но вызывающим страх.

В связи с нашим сопоставлением карапаны—корибанты, я думаю, уместно будет вспомнить, что как карапаны в Средней Азии имеют в качестве своих двойников кави, так и корибанты в Восточном Средиземноморье имеют двойников—кавиров, организация, часто смешиваемая с корибантами[1].

Если история корпорации корибантов раскрывалась перед нами, как развитие на средиземноморской почве древней, связанной с фратрией змея—коня — луны и хтонической сферы среднеазиатско-малоазийской культовой организации карапанов, то и среднеазиатская корпорация кави, связанная с фратрией быка-солнца, дала свое развитие на средиземноморской почве в корпорациях, связанных с культом кавиров.

Однако этим дело не ограничивается. Гораздо более фундаментальным проявлением влияния жреческой корпорации фратрии быка-солнца на средиземноморской почве является более позднее историческое движение, связанное с организацией митраистов, культ и устройство которых известны нам несравненно лучше, и это дает нам возможность ретроспективным светом осветить и остающиеся пока темными черты устройства древних союзов фратрии змеи и фратрии быка.

Чтобы не повторять общеизвестные вещи[2], ограничусь кратким резюме:

1. Корпорация последователей Митры — тайное общество, с иерархическим расчленением на семь ступеней посвящения со сложной обрядностью инициаций, сопутствующих приему в состав общества и движению по ступеням посвящения.

2. Некоторые из ступеней посвящения носят имена животных (ворон, лев) и представители этих ступеней носят во время религиозных церемоний маски этих животных[1].

3. Основным обрядом общества является интихиума — ритуальное убийство тотема и причащение ему, проливающее свет и на генезис митраистического мифа.

4. Жизнь общества концентрируется вокруг тайных святилищ — митреумов, сочетающих в себе храм быка — Митры и место для общественных собраний и коллективных трапез.

Все эти черты позволяют нам подойти к пониманию исторических корней обеих исследуемых нами организаций, развитием одной из которых, несомненно, является корпорация митраистов, развитием второй — менее широко распространенная, но все же достаточно внушительная корпорация сабазиастов.

Обе корпорации с их связью с фратриями, с их тайными культами, сложной системой инициаций, сложной градацией членства по степеням посвящения, своими танцами в масках, своими коллективными трапезами и целым рядом других, не менее характерных признаков, исторически раскрываются перед нами, как проявление одной из чрезвычайно типичных для эпохи расцвета и упадка материнского родового строя общественно-культовых организаций. Я имею в виду генетически тесно связанные с фратриями первобытные объединения, известные в литературе под названием тайных союзов[2].

Так индейцы хопи из области Пуэбло утратили сейчас архаическое деление на две фратрии. Они распадаются на 60 родов, объединяемых в 12 фратрий, каждая из которых имеет свой тотемический культ и свои религиозные союзы. Однако у хопи существуют два религиозных объединения, играющие ведущую роль во всей культовой жизни их пуэбло. Это — «союз змеи» и «союз антилопы» (характерно само сочетание, почти тождественное авестийскому). На этих союзах, несомненно, являющихся производным древнего дуального деления племени и генетически восходящих к первичным фратриям, лежат все важнейшие ритуальные действия, связанные с жизнью всего племени или одного пуэбло[3].

---

[1] Poerner, цит. соч., стр. 385—391. Ср. Страбон X, 3, где говорится о том, что некоторые «отождествляют их (корибантов) с кавирами».

[2] F. Cumont. Les Mystères de Mythra. Bruxelles, 1902 (2me ed.), стр. 125.

[1] F. Cumont, цит. соч., стр. 127; Кюмон указывает, что под именем медведя, льва и др. животных посвященные выступают и в мистериях других культов Греции и М. Азии.

[2] Классическим исследованием на эту тему остается книга H. Schurtz. Altersklassen und Männerbünde. Berl., 1902. См. также H. Webster. Primitive Secret Societies. N. I. 1908.

[3] H. B. Alexander. North American Mythology. MAR X, стр. 197 сл. Тотемическая мифология союза змеи см. стр. 198.

«Медицинские ложи» сенека-ирокезов являлись основной религиозной организацией племени. Как говорит Морган, «поддержание Medicine Lodges было равносильно соблюдению их важнейших религиозных обрядов и отправлению важнейших мистерий». Этих «лож» было две, по одной в каждой фратрии.

На островах Меланезии тайные союзы как будто бы не имеют прямой связи с фратриями. Однако, как правило, повсюду их два, что с несомненностью указывает на первоначальную связь их с дуальной организацией. Так, на архипелаге Бисмарка мы имеем два тайных союза—Дук-дук и Инниет[1]. На островах Бэнкса — тоже два — Сукве (Кат) и Тамате[2]. Количество примеров может быть беспрепятственно умножено.

Выдающаяся роль тайных союзов в жизни первобытных народов, особенно на поздних этапах материнско-родового строя и позднее, общеизвестна. Тайные союзы генетически связаны с союзами мужчин и системой возрастных классов и инициаций — явлениями, возникающими на ступени расцвета материнского рода, когда мужчины создают свои организации, ведущие борьбу за закрепление в обществе господствующего положения мужчин, оттесненных на второй план по сравнению с женщинами системой матрилинейной филиации и матрилокального брака и ведущей ролью женщин в общинном домашнем хозяйстве. Мужские союзы отражают первые шаги движения по пути к патриархату.

Зарождение на последних этапах матриархально-родового строя рабства и имущественной дифференциации, подготавливающих крушение первобытно-общинного строя, возлагает на мужские союзы новые функции, содействуя их трансформации в «тайные общества», террористические организации, осуществляющие примитивные функции публичной власти, охраняющие зарождающуюся собственность, обуздывающие межплеменные распри мерами религиозного, а иногда и физического террора, обеспечивающие подчинение непосвященных, рабов и женщин[3].

Отдаленный отголосок тайных союзов дожил в Средней Азии до недавних дней.

Я имею в виду своеобразные представления узбеков и таджиков, казахов, киргиз, населения В. Туркестана и других областей о так называемых «чильтанах»—сорока «тайных святых» или «сокровенных людях» («риджаль-альгайб»). Это представление, как показало исследование М. С. Андреева, имеющее длительную историю, прослеживаясь в литературных источниках вглубь по меньшей мере до XIV века и переплетаясь с другими верованиями суфийского и исмаилитского круга, несет на себе ряд черт, позволяющих установить тесную его связь с традициями тайных союзов первобытных народов.

В представлениях о чильтанах могут быть отчетливо выделены два пласта. Один — суфийско-исламистский, отделяющийся сравнительно легко, являясь лишь внешней оболочкой глубоко архаического ядра. Для нас интереснее второй, более древний пласт, отраженный прежде всего в верованиях широких народных масс, особенно — в глухих уголках Средней Азии. Согласно верованиям этого круга, чильтаны — это сорок людей, днем пребывающих в виде людей обычных, так что никто не подозревает об их принадлежности к корпорации, а ночью собирающихся вместе[1], в пещере, в горах[2]. По представлению жителей долины Ях-су (Вост. Бухара), чильтаны похищают у людей скот, уводят его в свои горные убежища, режут и питаются им. Таджики этого района зовут их «чильтан-каракчи»—«воры-чильтаны», что не мешает им почитать их как «святых».

В Туркестанском районе М. С. Андреев записал рассказ, одним из эпизодов которого является коллективная трапеза чильтанов, причем пищей их здесь служит рыба[3]. Деятельность чильтанов, по представлениям народа, разнообразна, но не вполне ясна. Они, с одной стороны, выступают в роли защитников людей от злых сил, помогают одиноким путникам находить дорогу в пустыне, помогают людям при помощи магических действий избавиться от той или иной опасности или достигнуть успеха в том или ином деле. Вместе с тем их следует опасаться. Ни в коем случае нельзя начинать какое нибудь дело или отправляться в путь, повернувшись в ту сторону, где в данный момент находятся чильтаны. Существуют даже специальные рукописные таблицы, которые служат для того, чтобы узнать, в какой стороне горизонта они находятся в данный день месяца, чтобы избежать табуированного направления в их сторону. По одной таджикской легенде, записанной в Северном Афганистане[4], чильтаны нагими вторгаются в город, захватывают у жителей фрукты и другие продукты и поедают. Когда же народ добивается у их руководителя, чтобы они ушли, они ухо-

[1] Schurtz, цит. соч., стр. 369 сл.
[2] Там же, стр. 382, 383.
[3] См. нашу работу в ПИДО. 1935, 7—8, стр. 202—203.

[1] М. С. Андреев. Чильтаны в среднеазиатских верованиях. Сб. «В. В. Бартольду». Ташкент, 1927, стр. 334 сл.
[2] Записано в Матче, в верховьях Зеравшана, Андреев, 341.
[3] Записано в с. Пангаз, Ферг. области и в Ташкентском районе. Андреев, 342.
[4] Андреев, 334.

дят, но зато на город, на людей и животных обрушивается мор, от которого жители избавляются, лишь умилостивив чильтанов.

Характерно, что с представлением о чильтанах были связаны оргиастические радения — мужские и особенно женские, связанные с ночными плясками и ритуальным гомосексуализмом, на которых мы остановимся ниже. Число участников этих радений, как и чильтанов, должно было быть ровно сорок. Здесь явная параллель как с оргиастическим характером организации корибантов-карапанов, так и с секретными церемониями первобытных союзов.

Чильтаны имеют иерархическую организацию, возглавленную «одним» (як-тан) «гроссмейстером» этого своеобразного ордена. Ниже стоят «четыре», имеющие название «кутб» — «полюс», и управляющие четырьмя странами света. По другим представлениям, видимо, как правильно отмечает М. С. Андреев, сложившимся под влиянием древнеиранского представления о семи высших духах, охраняющих семь кешваров (областей), за «одним» следует «семь» (хафт-тан). Для нас интересно первое, более, видимо, специфичное для чильтанов, как таковых, представление об «одном» и «четырех». Эти 5 высших представителей чильтанской иерархии, видимо, соответствуют 5 «братьям-карапанам» пехлевийской традиции, во главе с их предводителем Тур-и-Братар-Вахшем.

Особенно важен для нашей темы способ пополнения числа чильтанов. В случае смерти одного из сорока, чильтаны выбирают среди людей того, кто им внушает доверие и нравится, и похищают его. По некоторым представлениям они похищают взрослых людей, но несравненно более часто поверье, что они похищают юношей и особенно маленьких детей. Дети постоянно находятся под угрозой их похищения чильтанами, и матери защищают их от этого магическими действиями и жертвоприношениями чильтанам. Смерть ребенка связывается во многих районах Средней Азии с представлением о похищении чильтанами.

Я подчеркиваю этот момент особо, ибо представление о смерти как этапе посвящения в таинства является одним из важнейших элементов верований, связанных с инициацией детей и юношей в первобытные союзы.

Так союз Ндембо в низовьях Конго имел следующий ритуал инициации. Юноши имитировали смерть. Их уносили в специальное место в лесу, носившее название Вела, где собиралось единовременно 20—50 таких «мертвецов» и где они пребывали определенное время. Родители и сородичи должны были верить жрецам, что юноши умерли и похоронены. Затем, наконец, колдуны союза «собирали кости» «умерших» и «воскрешали» их. Юноша, уже посвященным в таинства, возвращался домой и в течение долгого времени притворялся, что забыл все о своей прошлой жизни, в том числе и умение говорить на родном языке, объясняясь лишь на тайном языке союза, пока вновь не «научался» обычной речи[1].

Интересен термин, который казахи (и татары) употребляют наряду с термином «шильтан» для обозначения этой корпорации. Это «гайбиран», слово, поддающееся арабо-персидской этимологии из «гайб йар ан»—«скрытые друзья»[2]. Однако позволительно предположить в силу несомненной близости «гайбиран»—к «карапан»~«корибан (т)», не имеем ли мы здесь дело с искажением древнего названия под влиянием идущей из суфийских кругов арабо-персидской «народной этимологии»;

Трудно, конечно, сказать имеем ли мы здесь дело с поверьем о несуществовавших уже в то время, когда собирал свой материал М. С. Андреев, тайных религиозных корпорациях — или с реальной, местами сохранившейся организацией, за внешней тонкой оболочкой ислама сохраняющей нетронутые пласты первобытных верований и ритуальной практики. Думаю, что живость представлений и реалистические подробности некоторых, передаваемых М. С. Андреевым рассказов, заставляют предполагать скорее второе и видеть здесь, правда, почти исчезнувшую форму общественно - культового объединения.

«Тайные союзы» являются организацией, историческая роль которых в процессе становления классового общества учтена еще в ничтожной мере[3]. Если в цитированной выше нашей работе мы попытались подчеркнуть их значение как общественной силы, организованно выступающей в процессе преобразования общества, переходящего от доклассовой к классовой, рабовладельческой стадии своего развития, здесь я считаю особенно важным подчеркнуть их роль в процессе межплеменной консолидации, в процессе перехода от племени и конфедерации племен — к народу как новой форме этнографической общности.

Весьма характерен в этом отношении союз Пурра у племен Фульха - Сузус в южной части Сиерра-Леоне. Он объединяет пять племен[4], в каждом из которых имеется своя

---

[1] Schurtz, цит. соч., стр. 434.

[2] Андреев, 344.

[3] О пережитках мужских союзов в Греции и Восточном Средиземноморье вообще см. J. E. Harrison. Themis. Cambridge, 1927 и С. Я. Лурье. История античной общественной мысли. М.—Л., 1929 г., стр. 29 сл.

[4] Характерно самое число.

племенная организация Пурра. В составе племенных отделений союза члены его пребывают от 30 до 50 лет. Члены, достигшие 50 лет, имеют право вступать в стоящий над пятью племенными Пурра «Великий Пурра», причем для этого нужно было уплатить очень крупный вступительный взнос и пройти через длинную и чрезвычайно жестокую систему испытаний, включавших физические истязания и терроризирование кандидата реальными и фантастическими опасностями. Союз обладал железной дисциплиной. Нарушавший вступительную присягу, обязывающую к беспрекословному подчинению, подлежал смерти от руки замаскированного исполнителя воли Великого Пурра, препятствовать которому не смел никто.

Союз являлся верховным судилищем для всех племен, с которыми он был связан. Любой человек или целое селение и даже племя могли пожаловаться в трибунал Пурра на своего обидчика и, если истец признавался правым — ответчик не мог не подчиниться страшному авторитету союза, если же обвинение оказывалось ложным, клеветник нес в свою очередь тяжелое наказание.

В случае, если имел место межплеменной конфликт, и одно или оба племени обращались в союз, верховный трибунал Пурра разбирал дело и против признанного виновным племени приводился в движение мощный карательный аппарат. Члены Пурра всех нейтральных племен, вооруженные и одетые в устрашающие маски, выступали ночью против виновного племени и производили полный разгром его поселений. Награбленное имущество делилось пополам, причем одна половина шла в казну Великого Пурра и на вознаграждение участников карательной экспедиции, а другая отдавалась тому племени, которое было обижено жертвой расправы[1].

Межплеменным объединением является мощный союз Мумбо-Джумбо у мандингских племен, также выполняющий роль межплеменных блюстителей порядка.

Союз Эгбо («Союз пантеры»), охватывающий обширную область побережья между Калабаром и Камеруном, имеющий 11 степеней посвящения, играет крупнейшую роль во внутренней жизни племен в качестве орудия господства имущественной аристократии над свободными бедняками и рабами и мужчин над женщинами и вместе с тем —не менее крупную роль в межплеменных общениях, в частности в охране сильно развитой торговли между Калабаром и Камеруном, без защиты союза оказывающейся под постоянной угрозой со стороны независимых друг от друга и часто враждебных племен[2]. Купец, чтобы быть в безопасности, должен стать членом Эгбо и, по возможности, достичь высших ступеней посвящения. Как и Пурра, союз распадается на низшие и высшие звенья. Глава «Великого Эгбо» одновременно является царем страны. Главы местных Эгбо держат в своих руках власть вождей районов и селений[1].

Таковы же в основных чертах функции других широко разветвленных союзов Западной Африки — Ора, Огбони, Эгунгун, Синдунго, Зангбето и др.[2].

Ту же роль надплеменной и межплеменной силы, регулирующей взаимные отношения и внутреннюю жизнь племен, выполняют тайные союзы меланезийцев, из которых особенно типичен Дук-дук, охватывающий своими ответвлениями весь обширный архипелаг Бисмарка[3]. В той или иной мере это относится вообще ко всем тайным союзам, являющимся повсеместно, где они распространены—в Южной Азии, Океании, Северной и Южной Америке, наиболее широкой по территориальному охвату и наиболее авторитетной в общественной жизни организацией.

Эта роль «тайных союзов» и их связь с фратриями, являющаяся по существу одной из важнейших предпосылок их межплеменного значения, является, на наш взгляд, крайне важным моментом для понимания этногенетических процессов.

Уже Мейе обратил внимание на лингвистический факт, имеющий первостепенное историко-этнографическое значение, и сделал попытку на наш взгляд единственно правильного его объяснения:

«Устойчивость древних терминов религиозной и юридической лексики в индо-иранском и итало-кельтском, повидимому, объясняется тем, что жреческие коллегии, составлявшие замкнутые группы, сохранились на территориях распространения этих языков, и только на них»[4].

Напомню, что Н. Я. Марр в своих палеонтологических исследованиях древних общесредиземноморских, яфетических пластов речи также выявил исключительную мощность и экстенсивность, почти универсальность лексического слоя, связанного с первобытной религиозной терминологией, что даже, одно время, заставило его искать в коллективных культовых действиях и сопровождающих их выкриках первичные формы человеческой речи[5].

Наконец, сам автор классического исследо-

[1] Schurtz, цит. соч., стр. 411—412.
[2] Цит. соч., стр. 420 сл.

[1] H. Webster, цит. соч., стр. 115—116.
[2] См. Schurtz, стр. 408 сл., Webster, цит. соч., стр. 117.
[3] Webster, стр. 110 сл.
[4] А. Мейе. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.—Л., 1938, стр. 401.
[5] Н. Я. Марр. Избр. раб., II, стр. 85 сл.

вания о тайных союзах, Г. Шурц[1] отметил факт поразительной близости терминологии, связанной с возрастными классами, инициациями, мужскими домами и тайными союзами на чрезвычайно обширной территории — от Западной Африки до Океании — и иногда даже до Ю. Америки. Так для названий тайных союзов, мужских домов, храмов в Индонезии, Меланезии, Австралии, Полинезии, Западной Африке Шурц отмечает ряд терминов и восходящей к основе b—l, b—r, m—l, m—r: «бале» на Суматре, «велу» на Новых Гебридах, «фале» на Самоа, «бора» в Австралии, «марае» ~ «малае» в Полинезии, «булу», «бурри», «пурра», «белли» — в З. Африке.

Аналогичную картину он устанавливает и в отношении ряда других корней r—m~l—m~l—b; t—b~ t—p~s—p; k—r+b—r.

Этот последний корень для нас особенно интересен, так как к нему восходят оба имени наших среднеазиатских тайных союзов. В качестве примеров Шурц приводит:

korroborri — религиозный танец австралийцев и филиппинских негритосов,
kabar — народное собрание, Мадагаскар,
kawarra — место церемоний обрезания, Ю-З Австралия,
karewari — юношеский дом у жителей залива Гумбольдта, Н. Гвинея[1].

Нам думается, что отмеченный нами факт связи тайных союзов с фратриями, межплеменного, крайне экстенсивного, теоретически универсального характера того и другого (ибо фратрии мыслятся первобытному человеку, как универсальное деление не только человечества, но и мира, а союзы генетически неотделимы от фратрий) позволяет нам нащупать то организационное звено, которое определило возникновение этого слоя. А если мы учтем при этом, что одной из характерных особенностей тайных союзов является наличие тайных языков[2], так же, как и сами союзы, межплеменных, для нас во многом станет понятнее и сам механизм глоттогонического процесса на стадии позднего материнского рода, на стадии возникновения широких межплеменных объединений.

6. Атеш-кеде

Широкая улица, разделяющая городище Джанбас-кала на два фратриальных жилых массива, начинаясь от хорошо укрепленных ворот этого древнего селения, упирается противоположным концом в развалины высокого здания с мощными глинобитными стенами и сейчас еще, хотя ветры и дожди и превратили его в оплывший глиняный холм, господствующие над обширной площадью городища.

Нами раскопана лишь лучше сохранившаяся половина здания. Но и ее достаточно, чтобы решить вопрос о его назначении (см. рис. 31—33).

Поднявшись по глиняному пандусу, мы попадем сперва в узкий предвходный коридор, из которого налево ведет дверь, некогда закрывающаяся створкой, опиравшейся на каменную пяту.

Через комнату, назначение которой определить не удалось—слишком сильно она была разрушена промоиной, мы попадаем в небольшое помещение в с.-з. углу дома, являвшееся главной комнатой раскопанной части здания. Комната трижды перепланировалась. В древнейшем своем виде она представляет весьма характерную картину: в центре поднимается тщательно сложенное из крупного сырцового кирпича овальное возвышение с плоской поверхностью, покрытой гладкой глиняной обмазкой. Кругом комнаты идет узкая (в 1,5 кирпича) и низкая (в 1 кирпич) вымостка, расширяющаяся у противоположной входу короткой стены в широкую кирпичную платформу. Между центральным возвышением и вымосткой остается неширокая канавка, со всех сторон окружающая овальное возвышение.

Через некоторое время комната была перепланирована. Был настлан новый глиняный пол, перекрывший прежнюю вымостку. Центральное возвышение стало ниже, сохранив, однако, свою форму. Вместо старой широкой вымостки вокруг комнаты была воздвигнута скамья той же ширины, где и прежняя вымостка (в 1,5 кирпича), но гораздо более высокая (ок. 40 см). Вся комната оказалась сплошь заполненной белой минерализованной золой,— золой от топлива, а не от пожара, золой, характер которой говорит о полном сгорании топлива.

После того как золы накопилось слишком много, ибо она не выбрасывалась из помещения, пол был снова нивеллирован поверх уплотненной золы. А так как центральное возвышение оказалось ниже пола, посредине последнего было оставлено овальное углубление, повторяющее очертания возвышения, оказавшегося таким образом на дне своеобразной овальной ванны.

Анализ всего изложенного привел нас к выводу, что в исследуемой комнате мы должны видеть зороастрийское святилище изучаемого поселения, святилище, где горел неугасимый огонь, вероятно, на металлическом жертвеннике, поставленном на овальном алтаре.

Зола священного огня не выбрасывалась из помещения и, по мере новых нивеллировок,

[1] Schurtz, цит. соч., стр. 439 сл.

[1] Там же, стр. 450.
[2] См. Schurtz, цит. соч., стр. 413, 434 и др.

жертвенник оказывался все ниже, пока не ушел на дно углубления в середине пола.

По своей первоначальной планировке святилище огня в Джанбас-кала очень близко к святилищу в храме огня в Шапуре и к маленькому храму огня VI—VII вв. н. э., раскопанному нашей экспедицией в 1938 г. в Тешик-кала[1].

Не меньший интерес представляет другая комната нашего здания, расположенная между тремя описанными и стеной городища.

Это—огромное (14×8 метров) помещение с совершенно гладким полом, на котором в изобилии лежали фрагменты бытовой керамики и раздробленные кости животных—остатки пищи. Перед нами, несомненно, место каких-то многолюдных собраний и трапез.

В целом—перед нами не что иное, как общинный «дом огня», один из тех «домов огня», которые для более позднего времени описывает у жителей Согдианы ал-Бируни. По ал-Бируни «дома огня» были в каждом селении. В этих домах во время многочисленных годовых праздников древние согдийцы собирались для общественных трапез[2].

Скудные данные ал-Бируни и материалы раскопанного нами памятника первых веков до н. э. становятся ясными в свете этнографических данных.

«Дома огня», под тем же именем («алау-хона»), до сих пор сохранились в деревнях горных таджиков[3]. Это—специальная постройка при мечети (след древней роли этих сооружений в культовой жизни отдаленных предков современных таджиков), где мужчины селения собираются для решения общественных дел и проводят большую часть свободного от работы времени, совместно доставляя дрова для постоянно горящего здесь большого очага и продукты для совместных трапез. Это же помещение служит местом, где находят себе приют прибывшие в селение чужеземцы.

По существу тождественны с «алау-хона» горных таджиков «михмон-хона»—«дома для гостей» ягнобцев, о которых описавший их А. Н. Кандауров пишет: «Это, во-первых, место, где собираются сельчане мужчины для решения совместных дел (ремонт и работы по ирригационной сети, пользование общественными пастбищами, ремонт дорог, дела, касающиеся сельсовета и т. д.), где даются также советы односельчанину по делам семьи и хозяйства, где, наконец, просто проводят время за совместной беседой, слушают выступления местных музыкантов, певцов и сказочников; во-вторых, место, где собираются мужчины селения или квартала вечером, осенью и зимою для традиционной совместной трапезы (это особенно характерная черта ягнобской михмон-хоны); в-третьих, место, где оказывают гостеприимство путнику, лицу, постороннему для данного селения, остановившемуся по каким-либо делам в селении на некоторое время или на одну ночь»[1].

«Алау-хона» горных таджиков через ягнобскую «михмон-хона» связывается с еще одним бытовым явлением, несравненно более широко распространенным в Средней Азии.

Исключительно крупная общественно-бытовая роль среднеазиатской чай-ханы, мне представляется, позволяет и в этом, на первый взгляд, весьма непервобытном учреждении, видеть упрямо прошедший через эпоху ислама осколок того же доисламского общественно-культового учреждения.

Чай-хана—не только гостиница и место, где за деньги можно получить питье и пищу. Это—место, где мужское население городов и селений Узбекистана и Таджикистана проводит значительную часть свободного времени, место общественных собраний и деловых встреч.

Обычно в каждой «махалля» среднеазиатского города есть своя, постоянно посещаемая жителями этого квартала, чай-хана, где протекает значительная часть их досуга.

При этом именно с чай-ханами связан характерный институт складчинных угощений, широко распространенных главным образом среди мужской молодежи, совместно приготовляющей в своей квартальной чай-хане традиционное мужское блюдо—плов.

Обособленность мужской и женской кухни (даже дома плов, как правило, готовят мужчины), столь типичная для быта оседлого населения Средней Азии—явление глубоко архаичное, восходящее еще к ступени охотничье-собирательного и, позднее, мотыжно-земледельческого хозяйства и связанного с ними межполового разделения труда (мужчина—охотник, женщина — собирательница, позднее — земледелец и гончар).

Г. Кунов прослеживает это характерное разделение мужской и женской кухни, при котором каждый пол приготовляет продукты своего производства — у северо-американских индейцев (мужчина приготовляет мясную, женщина—растительную пищу), у меланезийцев (мужчина в мужском доме жарит мясо и печет таро и ямс, женщина дома варит пищу), и, наконец, у наиболее близко стоящих к общественному укладу древней Средней Азии—полинезийцев (мужчины вообще становятся главными поварами—в связи с тем, что из-за

[1] ВДИ, № 3, 1939.

[2] Chronologie Orientalischer Völker von Albêrûni, Hrsg. v. E. Sachau, Leipzig, 1923, стр. 234—235.

[3] См. нашу работу в ИЗ, № 3, 1938, стр. 35.

[1] Кандауров А. Н. Патриархальная домашняя община и общинные дома у ягнобцев. ТИЭ АН СССР III, в. I, М.—Л. 1940, стр. 23.

утраты керамики искусство варки пищи было почти утрачено. Женской сферой становится приготовление напитка—кава)[1].

Вообще разграничение мужской и женской сферы труда и быта, закрепляемое табуацией для обоих полов всего связанного со сферой противоположного пола, вплоть до почти полной бытовой изоляции обоих полов—явление весьма характерное для первобытных народов всех частей света.

Элементы такой табуации несомненно были налицо в быту народов Средней Азии еще в очень недавнем прошлом. Выяснение исторических корней института затворничества женщин не может пройти мимо этой стороны вопроса. Являясь, в своей средневековой форме, в основном порождением патриархально-рабовладельческого уклада семьи, многими своими конкретно-бытовыми чертами этот институт уходит еще в матриархальную эпоху, с ее бытовой изоляцией полов.

В Средней Азии до недавнего прошлого сохранялись не только сферы труда и быта, запретные для женщин, но и сферы, запретные для мужчин. Было бы большой ошибкой предполагать, что женщины были замкнуты в четырех стенах семейных домов. Женщины имели свои, недоступные для мужского пола формы объединения, наличием которых как бы компенсировалось отстранение их от общественной жизни мужчин.

В этом отношении особенно характерно женское скотоводство горных таджиков. Скот на летовках обслуживается исключительно женщинами, причем в течение первых семи дней по выходе на летовку доступ туда для мужчин табуирован[2].

Генетические связи таджикских «алау-хона» и ее дериватов «михмон-хона» и «чай-хона» resp. «атеш-кеде» в древней и средневековой Средней Азии совершенно прозрачны. Это не что иное, как мужские дома,—столь широко известные для Меланезии, Микронезии, Индонезии, Индокитая, Северной и Южной Америки, в модифицированных формах—для Полинезии, Африки, Южной Азии и в виде пережитков—для Индии, Передней Азии, Средиземноморья, Европы[3].

Почти постоянное местопребывание мужчин[4], коллективно организующих свое питание[5], место решения всех общественных дел[1], место остановки приезжих[2], наконец, место общественного культа[3], танцев и театрализованных действий и календарных праздников[4]—эти признаки делают идентичность «домов огня» и «мужских домов» несомненной. Характерно, что в тех районах Индонезии, одной из классических областей «мужских домов», где общественное развитие шагнуло дальше и где, в частности, получили распространение ислам и христианство, «мужские дома» проделывают совершенно ту же эволюцию, как и у народов Средней Азии, причем у соседних «языческих» племен «мужские дома» полностью сохраняют свои функции, что исключает всякую возможность сомнения в непосредственной связи дериватов с их архаическим прототипом.

Так, в деревнях исламизированных западных яванцев имеется здание, называемое «бале» (название тождественное с названием «мужских домов» у баттаков Суматры), служащее для общественных собраний, мусульманских богослужений (ср. алау-хона при мечетях) и празднеств[5].

В христианизированных деревнях филиппинцев помещающийся близ церкви «мужской дом» носит название «трибунал» и служит местом общественных совещаний и гостиницей для приезжих[6].

Впрочем, и в Средней Азии, вернее, в непосредственном соседстве с ней, на южном склоне Гиндукуша, мы встречаем мужские дома в полном расцвете, лишенные какого бы то ни было налета зороастризма или ислама.

Я имею в виду «громмы», «танцевальные дома» кафиров Гиндукуша, прекрасно описанные Робертсоном, посетившим в 1888 г. деревни кафиров, тогда еще не обращенных огнем и мечом афганцев в ислам.

Этнография Кафиристана вообще имеет совершенно исключительное значение для истории дофеодальной Средней Азии. Кафиры, сумевшие до конца XIX века сохранить независимость от бесчисленных, в течение тысячелетий сменявших друг друга феодальных владык соседних долин, сочетавшие во времена Робертсона примитивные рабовладельческие отношения с полнокровной родовой организацией, патриархальной в основных чертах, но в билатеральной экзогамии сохранившей пережиток матриархальной стадии,—это живой осколок домусульманского Тохаристана, причудливым ходом истории доживший до наших дней.

Их укрепленные прямоугольные деревни,

---

[1] Г. Кунов. Всеобщая история хозяйства I, М.—Л. 1929, стр. 353—355.

[2] Е. М. Пещерева. Молочное хозяйство горных таджиков. Сб. По Таджикистану. Ташкент, 1927, стр. 42 сл.

[3] Schurtz, цит. соч., стр. 202 сл. О пережитках мужских домов у народов Средиземноморья и З. Европы см. стр. 287, 288, 314—315 (Спарта, Крит, Афины), 315 (кельты), 316 (современное население Альп).

[4] Цит. соч., стр. 206.

[5] Цит. соч., стр. 206.

[1] Там же.

[2] Цит. соч., стр. 209: «Чужеземцы, прибывающие в деревню, должны по обычаю здесь останавливаться и получать питание».

[3] Цит. соч., стр. 208.

[4] Цит. соч., стр. 206.

[5] Цит. соч., стр. 272.

[6] Цит. соч., стр. 274.

обращенные во вне глухими вертикальными деревянными стенами двух- или трехэтажных домов, ступенями спускающихся к центральной площади или улице, живо напоминают нам, несмотря на различие материала, с одной стороны, пуэбло Новой Мексики, с другой,—нашу Джанбас-калу. Как подземное святилище—«кива» в пуэбло и «дом огня» в Джанбас-кала, средоточием деревни является «громма»—дом для церемониальных танцев, общественных празднеств, храм местных божеств и место для гостей. Так, громмы деревень кафиров Пресун (Вирон)—«очень велики, так как служат как дома для гостей и должны вмещать большое количество людей. В одном углу обычно имеется небольшое святилище, содержащее грубо вырезанный идол какого-то божества»[1]. Доступ женщинам внутрь громмов запрещен. Они могут только наблюдать за церемониями через отверстия между редкими балками стен[2].

Уже Шурц, основываясь на данных Робертсона[1], сопоставил эти «танцевальные дома» кафиров с мужскими домами первобытных народов[2].

Мы можем сделать из вышеизложенного весьма существенный вывод: мужские дома в домусульманской Средней Азии были одним из широко распространенных и общественно значительных бытовых явлений. Они были связаны с общественными трапезами и ритуальными плясками, являясь центрами архаических оргиастических культов. И как везде мы можем проследить на этнографическом материале, именно в них нужно искать наиболее глубокие исторические корни тех неотделимых от мужских домов, «тайных resp. мужских союзов» Средней Азии, анализ которых является объектом нашей работы.

7. Кави, Каяниды и цари-жрецы домусульманской средней Азии

Образ пророка Авесты, Заратуштры, тесно связан с комплексом фратрии быка gava∾kava∾kavi. Мать Заратуштры Dughdhāvō[3] связывает с этим комплексом его своим именем, довольно прозрачно раскрываемым как «дева-корова» или «дочь коровы». Она зачинает пророка не от его «отца »Пурушаспы, играющего в зороастрийской традиции двусмысленную роль «старца Иосифа» Евангелия, а от коровьего молока и священного растения Хомы.

Перед нами последовательно матриархальный и крайне архаический миф, отражающий верования, наблюдаемые у наиболее отсталых народов—в частности, у австралийцев. Заратуштра принадлежит таким образом к материнской фратрии, фратрии Kava или Kavi, к фратрии быка. Отец его, точнее, в архаическом слое мифа—муж матери, Пурушаспа принадлежит к другой фратрии—фратрии «змея-коня», к фратрии карапанов. Его собственное имя, Пурушаспа, мы видели выше в Авесте противопоставленным, как имя фратрии коня, имени фратрии быка Атвья. Это дает основание думать, что в имени отца пророка мы встречаем лишь синоним одного из названий его фратрии. Фратриальная принадлежность Пурушаспы сказывается в его поведении во время первых покушений карапанов, когда он оказывается их сообщником, непосредственным выполнителем покушения[3].

Спасается младенец-пророк в бычачьем хлеву, под покровительством своего тотема[4].

В этой связи можно вернуться к противоречивому отношению Авесты к кави. Кави, как таковые, как мы видели, выступают в тексте как враги Заратуштры, рядом с карапанами. Однако Кави Виштаспа, да и вообще вся династия каянидов—бактрийских кави выступает в качестве положительных образов Авесты. Мне думается, вряд ли здесь можно видеть простой результат изменения отношения Заратуштры к «царям-кави», связанное с победой его учения.

Я склонен рассматривать само имя кави в двойственном значении. С одной стороны, это параллельная жрецам змеи, карапанам, организация жрецов быка. С другой,—это титул главы корпорации быка, совмещающего этот пост с политической властью в качестве царя-жреца.

Религиозные реформаторы, атраваны, учение которых персонифицировано в Гатах в образе Заратуштры, как будто, на первый взгляд одинаково враждебны обоим древним культовым союзам—и кави и карапаны клеймятся авторами Гат как враги Заратуштры.

Однако зороастрийская традиция не остав-

---

[1] J. Robertson. The Kafirs of Hindu-kush. London, 1896, стр. 496.

[2] Цит. соч., стр. 491.

[3] Вар. Dughdōvā, Dūkdar, Duk tāūb'o., нов. пер. Dughdū. West. S. B. E XXIV, 302, XXXVII, 444, 469, 48 Шахрастани, у Jackson, Zoroaster, app. IV, стр. 199; см. там же, стр. 18 и 20.

[1] Geogr. Journal. 1894.

[2] Schurtz, цит. соч., стр. 284.

[3] Данкард VII, 3,7—8. Зад-Спарам XVI, 3—4. Jackson стр. 29. West. Pahlavi Literature у W. Geiger и E. Kuhn. Gd. I. Ph. II, стр. 95. В том же томе Jackson. Die Iranische Religion, стр. 523.

[4] Ср. аналогичный мотив в христианском мифе: бегство матери Христа от покушения Ирода, роль яслей как первой постели Иисуса, поклонение пастухов.

ляет сомнений в том, что именно вожди религиозного союза фратрии быка объединили под своей властью племена древней Бактрии, став, следовательно, над обеими фратриями. Этим можно объяснить и проникновение культа Ангро-Майнью в образе черного коня в официальную религию окружения К а в и Виштаспы, и само имя этого царя, и наличие при его дворе карапанов. Вероятность этого тем значительнее, что и у первобытных народов—в частности—у хопи и цуньи, мы сталкиваемся с взаимосвязью культов обеих фратрий: члены братства антилопы активно участвуют в ритуальном «танце змей»—важнейшем элементе аграрного культа индейцев пуэбло.

Эта тенденция синкретизации обоих фратриальных культов нашла полное выражение и завершение в индо-арийской мифологии и культе. Бык и змея—важнейшие священные животные почти всех народов Индии. Бык и змея вместе являются важнейшими атрибутами одного из величайших божеств Индии—Шивы, не говоря уже о Вишну, змеиная символика которого имеет резко выраженный характер.

Мы уже отмечали тенденцию синкретизации обоих фратриальных комплексов в образе Крсаспы. Видимо, еще ярче эта тенденция проступает в образе Сиявуша-Сиявахша, рисуемого Шах-намэ в образе всадника на черном коне, ассоциирующегося с Сабазием (комплекс змеи) и вместе с тем своей огненной инициацией связанного с кругом солнечных божеств.

Вместе с тем реформаторское движение, с его монотеистической тенденцией, сформировавшееся, видимо, как оппозиционное крыло в недрах более могущественной «корпорации быка», восстает против этого развивающегося в процессе трансформации первобытного анимизма политеистического синкретизма. «Кави, достигшие могущества, благодаря объединению с карапанами», оказываются, по Гатам, в лагере врагов Заратуштры. Тенденции монотеизма сочетаются таким образом здесь с ортодоксальностью фратриального культа кави. Адептам Заратуштры враждебны не кави вообще—они сами кави, а «кави, объединившиеся с карапанами». «Религиозная революция» зороастризма выступает таким образом формально, как реакция, как борьба за чистоту древнего фратриального культа кави. Не случайно первыми делами Заратуштры при дворе Виштаспы являются уничтожение культа черного коня[1] и изгнание посрамленных карапанов. Пришедшие к власти атраваны—это те же кави, но кави-монополисты, кави, находящиеся не в условной, ритуальной, а в фактической, непримиримой вражде с карапанами.

Так из подготовленной, в процессе сопровождающей трансформацию первобытной «военной демократии» в примитивно-рабовладельческое общество социальной борьбы, переходом политической власти в руки вождей фратрии кави окончательной победы религиозной корпорации кави над ее соперниками карапанами, рождается принципиально новая форма религии, зороастрийский маздеизм, религия уже не первобытно-общинного, а архаического рабовладельческого строя.

Наша интерпретация двойного смысла термина «кави» позволяет нам вновь вернуться к тексту, послужившему отправным пунктом нашего исследования. Ритуальное состязание фратрий в домусульманской Фергане возглавляется царем и служит обеспечению урожая. Эта роль царя в связанном с фратриями ритуале аграрной обрядности заставляет нас поставить вопрос—можно ли считать царей-жрецов, совмещавших светскую власть с постом главы общественно-культовой корпорации, институтом, характерным и для Средней Азии лишь отдаленного, авестийского времени?

Обратимся к тем немногим фактам, которые сохранили для нас источники, рисующие политический строй Средней Азии в эпоху, непосредственно предшествующую арабскому завоеванию. Уже в исходном тексте нашего исследования царь Ферганы танского времени возглавляет ритуальную церемонию новогоднего состояния фратрий. Эта роль древних среднеазиатских царей, как руководителей общественного культа, выступает и в других источниках. Так, по Нершахи, царь домусульманской Бухары ежегодно возглавлял ритуал продажи новых идолов на специальном рынке[1]. Как мы пытаемся показать в другом месте, этот «базар идолов» был одним из важных звеньев культа умирающего и воскресающего божества Средней Азии—Сиявуша, среднеазиатского Сабазия, причем статуэтки этого божества ежегодно уничтожались, чтобы, в знак воскресения бога, быть замененными новыми, как это имело место в античном мире с изображениями бога Адониса[2].

Фрэзером была блестяще показана связь культа умирающего и воскресающего бога растительности с институтом царей-жрецов, одинаково типичным и для древнего Средиземноморья и для Африки и для Южной и Восточной Азии. Отметим важные для нас черты исследованного Фрэзером комплекса «священных царей». 1) Представление о царе, как о персонификации племени, физическом носителе

[1] Только так, на наш взгляд, можно толковать темный рассказ Заратушт-нама и других поздних источников о черном коне Гуштаспы «Le livre de Zoroastre» publié par F. Rosenberg. 1904, стр. 49 сл.

[1] Нершахи, перев. Лыкошина, стр. 30—31.

[2] Дж. Фрэзер. Золотая ветвь, III, стр. 50.

его безопасности и благополучия, в частности связь физического состояния царя и плодородия почвы; 2) связанное с этим ритуальное убийство царя, своей болезнью, слабостью или старостью ставящего под угрозу персонифицированное в нем благосостояние страны; при этом такое убийство нередко принимает архаическую форму ритуального единоборства царя и претендента; 3) божественное происхождение царской династии; 4) роль царя как жреца, прежде всего как жреца умирающего и воскрешающего бога растительности и одновременно как воплощения этого бога[1].

Все эти элементы мы находим отраженными в институте царской власти домусульманской Средней Азии и зафиксированными в китайских и, частично, арабских источниках.

Мы уже отметили два факта роли царя, как верховного жреца календарно-аграрного культа в Фергане и Бухаре. Налицо и остальные элементы интересующего нас комплекса. Хорезмийская царская династия возводила свой род к Сиявушу-Сабазию[2]. Теофорное имя, связанное с этим богом, было употребительным именем хорезмшахов этой династии (шестой и четырнадцатый шахи списка аль-Бируни)[3]—так же, как имя Аттиса, мы видим частым среди фригийских и лидийских царей[4]. Весьма вероятно, что передаваемое китайцами в форме Чжао-ву фамильное имя царей Хорезма, Бухары, Кабудана, Ташкента, Маймурга, Кушании, Кеша, Варданы[5]—является транскрипцией имени Сиявуша[6]. Царь носил титул бога. Так он, по данным согдийских документов VIII века и сведениям, даваемым ибн-ал-Асиром о процессе афшина Хайдера ибн-Кауса, титуловался в обращенных к нему письмах[7].

Физическая особа царя была священна и, по крайней мере в некоторых царствах, он не имел права «стричь, а иногда даже показывать волосы, чтобы не навлечь этим неурожая на свое государство»[8].

---

[1] Фрэзер, цит. соч. passim., а также Lectures on the Early History of the Kingship. London. 1905, passim.

[2] Albêrûni, цит. соч., стр. 35.

[3] Там же.

[4] Фрэзер. Аттис. М. 1924, стр. 53, по В. М. Рамзею, Перро и Шипье. Ср. Геродот 1,94.

[5] Тан-шу CCXXI в., стр. Iа.

[6] А не титула ягбу, как вслед за Маркварттом (Die Chronologie der alttürk. Inschr. Lpz. 1898, стр. 68 сл.) мы полагали ранее (ИЗ 1938 № 3, стр. 13). Гипотезу о связи этого имени с именем Сиявуша высказал еще в 1877 г. Томашек (Sogdiana, стр. 136—137).

[7] ИЗ 1938 № 3, стр. 26. См. выше, экскурс II.

[8] В отношении Кучи см. Собр. свед. III, 218, в отношении Хотана III, 202: «Есть поговорка: если увидят волосы государя, то будет скудный год». Ср. даваемые хрониками династий Суй и Тан сведения о почти всех среднеазиатских царствах, согласно которым цари, в противоположность остальному населению, носили длинные волосы.

Большой интерес представляет один текст из записок о Западных Варварах Вэй Цзы, относящийся к Самарканду Танского времени:

«Первый день шестого месяца считается у них началом года. Когда приходит этот день, царь и народ одевают новые одежды и подстригают волосы и бороды у опушки леса к западу от столицы и в течение семи дней состязаются в стрельбе из лука с коня. Когда приходит последний день, в качестве мишени помещают золотую монету на листок бумаги. Кто попадет, тот получает право быть царем в течение одного дня»[1].

Этот ритуал, на связь которого с исследуемым им комплексом обратил внимание уже Фрэзер[2], является, несомненно, переживанием обычая замещения места вождя путем ритуального состязания, первоначально, вероятно, поединка.

Бесспорно, к этому же комплексу входит описанный Табари (II, 1146) согдийский обычай, согласно которому в Самарканде ежегодно ставился стол с угощением кушаньями для храбрейшего воина Согда. Прикоснувшийся к угощению этим вызывал на бой своего предшественника. Победитель в поединке, убивший своего противника, в течение года сохранял почетное звание первого героя Согда, но в установленный срок должен был ждать у стола с яствами нового претендента[3].

У кочевых соседей среднеазиатских земледельческих государств, кочевников тюрков VI—VIII вв. н. э. пережитки обычая ритуального убийства кагана по китайским сведениям были еще живыми. Вот что пишет по этому поводу хроника династии Тан:

«При возведении государя на престол ближайшие важные сановники сажают его на войлок и по солнцу кругом обносят девять раз. При каждом разе чиновники делают поклонение перед ним. По окончании поклонения сажают его на верховую лошадь, туго стягивают ему горло шелковой тканью, потом, ослабив ткань, немедленно спрашивают: сколько лет он может быть ханом?»[4]

Тот же институт мы находим у хазар (в связь с исследуемым им циклом божественных царей хазарский обычай поставил сам Фрезер)[5], политический строй которых является сколком с политической организации западно-тюркского каганата, с которым неразрывно связан подъем Хазарии[6]. Сакральный характер власти хазар-

---

[1] Цит. по Ed. Chavannes. Documents etc., стр. 133 (прим.).

[2] Золотая ветвь, II, 128—129.

[3] Бартольд, Туркестан II, 184.

[4] Собр. свед. I, 267.

[5] Фрэзер. Золотая ветвь, I, стр. 21.

[6] М. И. Артамонов. Очерки древнейшей истории хазар, Л. 1937, стр. 50 сл.

ских каганов, рядом с которыми правили фактические цари-беги—общеизвестен.

Вывод, нам кажется, ясен. На всем протяжении домусульманской истории Средней Азии царская власть в ее государствах сохраняла архаический сакральный характер, цари являлись воплощением божества и верховными его жрецами.

В этом, нам думается, ключ к тому своеобразному характеру отношений между среднеазиатскими царями и теми, возглавленными, как увидим ниже, древними тайными союзами, народными движениями, которые развертываются в Средней Азии в эпоху арабского завоевания. Но об этом ниже.

Сейчас отметим лишь то, что если для VIII века н. э. институт царей-жрецов являлся живым институтом среднеазиатской действительности, тем более понятно, что на заре среднеазиатской истории, в темную эпоху Авесты этот институт выступает еще более мощно.

И если в VI—VIII вв. ферганский царь возглавляет ритуальное состязание фратрий, тем более понятно, что в первой половине первого тысячелетия до н. э. в эпоху формирования древнейшей Авесты, главы тайного союза фратрии быка, кави, возглавляли процесс консолидации древнейших государственных образований Средней Азии.

* * *

Нам остается подвести некоторые итоги. Зороастризм с его дуалистической мифологией, с его близнецами—врагами, грандиозная борьба которых формует мир, с его мифами о борьбе выросших в космические образы тотемов быка и змеи—тотемическая ипостась тех же братьев-врагов, в ряду великих религий евразийской цивилизации сохраняет наиболее архаический характер. Древние, дуалистические, близнечно-тотемические мифы, неотделимые от самой фундаментальной организации первобытного общества — дуально-родовой организации, присутствующие во всех религиях древности в редуцированной форме, оттесненные на второй план политеистическим пантеоном стихийных божеств, в своем соподчинении отражающих новую, патриархально-рабовладельческую фазу истории общества—здесь выступают на поверхность, пронизывая собой всю ткань религиозной идеологии. Элементы формирующегося политеизма еще подчинены здесь мощному комплексу первобытного анимистического и тотемического дуализма.

И это понятно, ибо мы видим, анализируя «ферганский науруз» и планировку Джанбас-калы и их переживания в средневековой Средней Азии, что дуальная организация, создавшая эту древнюю систему религии, продолжала здесь жить, каждодневно питая корни религиозного дуализма, что по крайней мере в народных массах жили все те элементы первобытной религиозной организации, которые обеспечивали стойкость первобытных верований.

А большие общинные дома-кварталы Джанбас-калы раскрывают перед нами и «сокровенную тайну» этой устойчивости, ибо продолжало в рамках примитивно-рабовладельческого строя жить общинно-родовое хозяйство, в котором коллективистический быт не мог не соединяться с общинным характером сельскохозяйственного производства. Сила продолжающей свое историческое существование в рамках рабовладельческого строя общины неизбежно накладывала свой отпечаток на форму политической организации. Государство как орудие власти рабовладельцев над рабами и свободными общинниками, в качестве средства господства над последними, широко использовало религиозные традиции предшествующего исторического периода. Так формировался и закреплялся образ носителя политического суверенитета патриархально-рабовладельческих государств Востока—неограниченного владыки, поддерживающего свою власть всеми средствами военно-полицейского террора—по отношению к рабам и покоренным иноземцам, и верховного вождя-жреца, власть которого была освящена древней религиозной традицией—по отношению к свободным соплеменникам.

II. СКВЕРНА МУКАННЫ

(Пережитки группового брака и матриархата в древней и ранне-средневековой Средней Азии)

I. Текст Нершахи

В книге бухарского историка X века Мухаммеда Нершахи—«Тарихи Бухара» («История Бухары») в конце рассказа о восстании Муканны, охватившем в 775—837 гг. н. э. значительную часть Средней Азии и поставившем под серьезную угрозу власть арабов в Мавераннахре, приведены весьма существенные данные о нравах и обычаях последователей Муканны, сохранявшихся еще в X в. в Кашка-дарьинском и Бухарском районах.

В виду большого интереса этого текста приведу его полностью:

«Ахмад, сын Мухаммада, внук Насра, говорит, что и теперь секта Муканны осталась в области Кеша и Нахшеба и в некоторых селениях Бухары, каковы, например, замок Умара, замок Хыштыван, селение Зармаз. У них нет никаких сведений о самом Муканне, но они продолжают держаться его веры. Их секта такова, что они не молятся, не держат поста в месяце Рамазане, не совершают полного омовения после сношений с женщиной, но никому не причиняют вреда, а все обычаи свои хранят в тайне от мусульман и притворяются мусульманами. Говорят, что жен своих они считают дозволенным для всех мужчин в своей среде, и утверждают, что женщина все равно, что цветок: сколько бы цветок ни нюхали, его оттого не убудет. Когда мужчина приходит к женщине, чтобы остаться с ней наедине, то он помещает знак на дверях дома, чтобы муж этой женщины, когда придет домой, мог узнать, что к его жене вошел другой мужчина, и уходил бы прочь. Когда чужой мужчина оканчивал свое дело, муж входил в свой дом. У них есть раис в одном селении и все ему подчиняются.

Рассказ. Говорят, что у них в каждом селении есть один человек, который имел право лишать невинности каждую девицу, назначенную в замужество тому или другому жителю селения. Потом уже лишенная невинности девица передавалась мужу. Ахмад, сын Мухаммада, внук Насра говорит: «Я спрашивал у стариков селения, почему они столь великое наслаждение предоставили одному человеку, а всех остальных лишили того? Мне отвечали, что обычай их таков, что каждый юноша, достигший половой зрелости, до тех пор пока не возьмет женщину в замужество, удовлетворяет свои потребности с этим человеком, а взамен того на первую ночь оставляет ему свою жену. Когда такой человек достигал преклонного возраста, на его место выбирали другого, и все люди этого селения постоянно имеют сношения с этим человеком. Такого человека называют Сукана

نگانه Однако за справедливость сказанного я не ручаюсь, я слышал этот рассказ от древних стариков-крестьян и от жителей деревень. Сохрани нас бог от этого!»[1].

Прежде чем перейти к разбору этого рассказа по существу, обратим внимание на одну немаловажную его деталь. Это—указание, что «секта Муканны» в X веке не имела «никаких сведений о самом Муканне». Это заставляет думать, что по существу речь идет не о секте, а об обычаях жителей деревень, сохранивших, под покровом внешне-принятого ислама, домусульманские формы брака и связанных с ним обрядов, причем взгляд на это явление, как на «сектантство», должен быть отнесен за счет самого автора информации или той среды, представителем которой он являлся. Этот взгляд вряд ли, впрочем, был совсем ошибочным. Есть все основания предполагать—на этом мы остановимся ниже—что в программу Муканны входила борьба за сохранение тех черт древнего уклада, о которых идет речь в тексте. Но не он являлся их создателем и не жители бухарских и кашкадарьинских деревень X века были последователями Муканны, а сам Муканна был борцом за древние обычаи их предков.

II. Массагетский обычай

Перейдем теперь к существу текста.

В нем можно выделить 3 основные момента:

1. Свидетельство о наличии группового брака у согдийского крестьянства, сочетающегося с парной семьей и сопровождающегося характерными обычаями (знак на дверях дома).

2. Свидетельство об обычае добрачной дефлорации девушек и юношей.

3. Свидетельство о том, что эта функция лежала на специальном представителе общины—думаю, что его можно назвать жрецом, выступавшим одновременно в функции мужчины по отношению к девушкам и в функции женщины по отношению к юношам.

Все три элемента рассказа находят свои параллели, с одной стороны, в относящихся к более раннему времени рассказах древних авторов о нравах народов древней Средней Азии и сопредельных и родственных народов, с другой,—в нравах и обычаях разнообразных первобытных народов различных частей света. Древние авторы, античные и китайские, сохранили нам ряд свидетельств о групповом браке и его деформации—полиандрии у народов Средней Азии.

К V веку до н. э. относится известный, привлеченный в свое время еще Морганом[2], рассказ Геродота о групповом браке у массагетов[3]:

«Обычаи их таковы: хотя каждый из них женится на одной женщине, но женами они пользуются сообща... Если какой-нибудь массагет пожелает иметь сношение с женщиной, он вешает колчан свой перед ее повозкой и сообщается спокойно».

На рубеже древней и новой эры эти сведения о массагетах повторяет Страбон[4]. Отметим аналогичное свидетельство древних об исседонах, родственном массагетам народе, по нашему мнению, восточной отрасли массагетов, обитав-

---

[1] Description topographique et historique de Boukhara par Mohammed Nerchakhy. Texte persan publié par, Ch. Schefer. Paris, стр. 73—74, перев. Лыкошина, стр. 95—96.

[2] Ancient Society, стр. 439.

[3] Геродот, I, 216.

[4] Страбон, XI, 8.

шей, по мнению большинства исследователей, в Восточном Туркестане [1].

Бэй-ши, описывая обычаи государства хунно-эфталитов, в V и первой половине VI века н. э. господствовавших в Средней Азии, рассказывает: «Братья имеют одну жену. Жена мужа, не имеющего братьев, т. е. одномужняя, носит шляпу с одним углом; многомужняя же умножает число углов по числу братьев; на одеянии нашивает такое же число кистей» [2].

Этот же рассказ, но с отнесением к жителям Тухоло, т. е. Тохаристана, соответствующего древней Бактрии и заключавшего почти всю территорию Таджикистана, ЮЗ Узбекистана (на ЮВ от Гиссарского хребта) и СВ Афганистан (на север от Гиндукуша) повторяет Суй-шу: «Братья имеют одну жену. Сыновья от нее принадлежат старшему брату» [3].

Перечисленные рассказы, относящиеся к различным периодам и различным кочевым и оседлым народам Средней Азии, говорят о большой стойкости брачно-групповых отношений, имеющих, однако, в более поздний период, тенденцию трансформироваться в отношения полиандрии.

Как мы знаем, полиандрия, как живой институт, сохранилась до наших дней в тесно исторически связанном с Средней Азией Тибете [4].

Очень сходные формы полиандрии (в частности здесь лук и стрелы играют роль, сходную с тем, что мы имеем в сказании Геродота о массагетах) [5], мы находим у скотоводов тода, в Нальгирийских горах Южной Индии (отметим в скобках, что здесь, как и в Средней Азии, доминирующую роль в религии играет культ быка) [6].

Для более западных областей отметим рассказ Страбона о полиандрии в Аравии, где роль колчана рассказа о массагетах и знака на дверях рассказа о Муканне играет посох [7]. Наконец, тот же комплекс мы находим в описании брачно-групповых обычаев секты маздакитов V—VI вв. в Иране [8].

[1] Minns, Scythians and Greeks 110—111, там же Map I и VI, ср. Ebert. Issedones P. W.

[2] Собр. свед. III, 178.

[3] Собр. свед. III, 202.

[4] Сопоставление исседонско-массагетских брачных обычаев с полиандрией тибетских племен см. Minns, цит. соч., стр. 84, 100, 111.

W. H. R. Rivers. The Todas. London, 1906, стр. 515: у тода тот из братьев, участвующих в полиандрическом браке, который признается отцом ребенка, оформляет свое отцовство передачей ребенку лука и стрел. Передача лука и стрел в качестве символа заключения брака имеет место у веддов Цейлона.

[6] W. H. R. Rivers, цит. соч.

[7] Страбон, XVI, 4—25. W. Robertson Smith. Kinschip and Marriage in Early Arabia. London, 1903, стр. 158, где автор, анализируя арабскую полиандрию, сопоставляет ее с тибетской.

[8] См. тексты Фирдауси, Низам-ул-Мулька, Шахрастани и ибн-ал-Асира в переводах М. Дьяконова, Б. Заходера и В. Трутовского в сб. «Литература Ирана X—XV вв.» в серии «Восток», Сб. II, Academia, М.—Л. 1935, стр. 152, 153, 155, 159, 163, 171, 173. См. также

Описание формы брака у маздакитов, даваемое Низам-уль-Мульком, стоит привести:

«Жены—тоже ваше имущество,—говорил он,—(Маздак), да будет разрешено каждому познать женщину. Пусть никто не будет в этом мире обделен удовольствиями и наслаждениями, двери желания да будут открыты перед всеми людьми».

«Народ развратился от соблазна общности имущества и жен. Образовался среди простого люда такой обычай: приводил кто к себе в гости двадцать человек, и вот, откушав хлеба, мяса, вина, сладостей, послушав музыку, шли гости один за другим в женские покои, и это не считалось зазорным. Было даже правило: вошедший к женщине оставлял у дверей помещения шапку; когда другой сластолюбец видел положенную шапку, он должен был дождаться, пока его предшественник не выйдет из двери» [2].

Если оставить в стороне тон этого глубоко враждебного маздакизму автора, то никак нельзя согласиться с автором введения к цитированным выше переводам текстов о Маздаке, утверждающим, что «рассказ о проведенной Маздаком реформе брака принимает здесь форму грязного анекдота о шапке у дверей женской спальни» [2], и пытающимся объяснить сходство между этой деталью рассказа Низам-уль-Мулька и рассказом Геродота о массагетах... литературной традицией [3]. Этот прием критики источника, хорошо знакомый нам, например, по тенденциозным исследованиям общественного строя скифов Ростовцевым, сводящим, как известно, все античные свидетельства о групповом браке и первобытно-общинных отношениях в скифском мире к литературной традиции, восходящей к произведениям греческих моралистов [4].

Разница, пожалуй, только в том, что Ростовцев делает это более тонко и наукообразно, в то время как предположение о литературной преемственности Геродота и Низам-уль-Мулька просто нелепо, не говоря уже о том, что сопоставление данных разнообразных исторических источников, говорящих о разных народах, с объективными данными этнографических наблюдений, не оставляет сомнения в истинности приводимого Низам-уль-Мульком факта [5].

Бахофен. Das Mutterrecht. Stuttgart. 1861, стр. 21 388—89.

[1] Цит. в перев. Заходера, см. выше, стр. 159—160.

[2] Цит. соч., стр. 147.

[3] Там же, стр. 146.

[4] Ростовцев. Скифия и Боспор, стр. 89 сл., 113 и др.

[5] Вообще стоит отметить, что большинство наиболее критических исследователей становится втупик перед «противоречием» между данными о групповом браке у представителей разнообразных общинных движений V—XI вв. н. э. и данными о строгости их нравов, проповеди полового воздержания и т. д.

Традиция группового брака выступает таким образом и в маздакитском движении и в движении Муканны. Отметим, что эта традиция выступает в качестве составного элемента и ряда других народных движений ранне-средневековой Средней Азии и Ирана. Так, Табари[1], рассказывая нам о завоевании арабами Хорезма в 712 г., передает, что в это время страна была охвачена восстанием, во главе которого стояли некие Хурзад (Хурразад) и Хамджерд. Восстание было подавлено призванными хорезмшахом на помощь арабами, причем над участниками была учинена жестокая расправа: все пленные в количестве 4 000 были перерезаны арабами[2].

Из очень кратких данных Табари о характере движения прежде всего им подчеркнут факт захвата восставшими женщин.

Он пишет о вожде движения Хурразаде: «И если он узнавал, что у кого-либо из них красивая дочь, или сестра, или жена, он посылал к нему и отнимал ее и брал что хотел и захватывал кого хотел, и не противился ему ни один и не препятствовал ему царь»[3].

«Общинный брак» выступает как один из важных составных элементов социально-бытовой программы карматов (см. ниже). Групповой брак, в частности, его поздняя форма—полиандрия, является широко распространенным в соседних с Средней Азией странах—в Тибете, полиандрические формы брака которого общеизвестны, и в Индии. Полиандрия ярко выступает в Магабхарате в рассказе о пяти сыновьях Панду, имеющих общую жену Дропади[1].

«Гостеприимный гетеризм», обязанность мужа предоставлять жену гостю—весьма характерный пережиток группового брака—до недавнего времени сохранялся у горцев Дардистана (где в Хунзе его отмечает Биддельф) и хазарейцев Афганистана[2].

Брачно-групповая организация на матриархальной основе, соединенная с весьма архаическим типом расселения, сохранялась до недавнего времени у дравидийской народности наиров (наяров) в западной Индии, на Малабарском побережьи[3].

На территории Ирана, древнем Эламе, отраженные в царских надписях генеалогические сведения рисуют нам общество с господством матриархата и группового брака. Цари на первом месте своей генеалогии ставят мать, за именем которой следуют имена нескольких отцов[4]. Ниже мы еще раз вернемся к вопросу об историческом соотношении группового брака и полиандрии с другими формами брака древней Средней Азии, в частности с полигамной патриархальной семьей.

Ограничимся сейчас констатацией на наш взгляд бесспорного положения: вплоть до X века в Средней Азии как у кочевых, так и у оседлых народов в быту сельского населения были широко распространены отношения группового брака как в чистом виде, так и в форме полиандрии.

3. Сукана и Энареи

Перейдем ко второму элементу комплекса сведений рассказа о Муканне.

Обычай добрачной дефлорации девушек является столь распространенным среди первобытных народов обычаем, что вряд ли стоит останавливаться на приведении этнографических параллелей этому элементу брачных обычаев «последователей Муканны».

Не столь редким является и другой обычай: обязательное добрачное половое сношение юноши, носящее ритуально-магический характер, причем такое половое сношение немедленно следует вслед за обрезанием и, как мы показали в другой работе[5], следуя в этом за Краулеем, составляет вместе с дефлорацией элемент комплекса предохранительной магии, оберегающей юношу и девушку от грозных последствий нарушения полового табу.

Отметим лишь географически наиболее близкие параллели. Добрачная ритуальная дефлорация широко распространена среди народов Индии и Индокитая. Этот обычай Барбоза описывает для уже привлекавшихся нами выше наиров, у которых мать ищет для своей дочери человека «que ce desvirguen aquella hija, parque lo an entre sy por cosa sucia y casi vileza a desvirgar mugeres»[6].

Мандельсло в своем изданном Олеарием

(ср. M. Y. de Goeje. Mémoirs sur le carmathes du Bahrain et les Fatimides. Leide 1886, стр. 177). Нужно ли говорить, что групповой брак отнюдь не равнозначен разврату, как это кажется не только представителям аристократии раннего средневековья, но и представителям буржуазной историографии XIX—XX вв. Рассказ Макризи о Фатимиде Моиззе, рекомендовавшем карматам воздерживаться от многоженства, чтобы беречь силу тела и духа, нужную для борьбы за дело карматов, отнюдь не противоречит рассказу Новаири о групповом браке у тех же карматов, ибо многоженство—явление, ничего общего с групповым браком не имеющее.

[1] Табари, стр. 1236—1241.

[2] Табари, стр. 1233. См. выше, гл IV, I и экскурс II, V.

[3] Табари, 1237.

[1] J. Bachofen. Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861, стр. 155.

[2] Биддельф. Народы, населяющие Гиндукуш, стр. 102.

[3] Bachofen. Там же.

[4] E. Herzfeld and A. Keith. Iran as a prehistoric centre. A Survey of Persian Art. I. London—New York, 1938, стр. 48.

[5] ПИДО № 9—10, 1935, стр. 33.

[6] Description of the coasts of East Africa and Malabar. London, 1886, стр. 126.

в 1668 году описании путешествия на Восток рассказывает о широко распространенном в Индии, и особенно в Каликуте, обычае, согласно которому выходящая замуж девушка дефлорируется брамином, причем жених обязан оплатить «святому отцу» его работу.

В Камбодже jus primae noctis (чин-чан) принадлежит буддийским жрецам. «Каждый год,— пишет Ремюза,—во время, которое соответствует четвертому месяцу в Китае, начальник местности назначает день, который избирается для чин-чана и предлагает тем, кто собирается выдавать замуж дочерей, предварительно заявить ему об этом. В назначенный день жрец дефлорирует девушек при помощи пальца. Он затем обмакивает этот палец в вино и смазывает им себе лоб. По некоторым сообщениям, этим вином затем причащаются родители и родственники жениха»[1].

Жиро-Телон упоминает о существующем «в некоторых местах Индии» обычае дефлорировать девушек, причем акт дефлорации совершается матерью девушки при помощи особого инструмента[2].

Ius prima noctis, как прерогатива местных князей, зарегистрирована Биддельфом в Хунзе и Нагере в Дардистане[3].

Своеобразным в исследуемом комплексе является лишь возложение производства первого обрядового полового общения как с юношами, так и с девушками на одно лицо—на «сукану», своеобразного двуполого жреца.

Здесь мы вступаем в сложный комплекс явлений первобытной религии, связанной с представлением о двуполом существе и неотделимого отсюда и также достаточно распространенного первобытного института «превращенных мужчин», наиболее яркие примеры которых мы найдем у северо-восточных палеозиатов в лице камчадальских «коэкчучей»[4], чукотских jirkā—laul[5], коряцких kewew, «превращенных мужчин» острова Кадьяка[6], в явлениях «травестизма» у подавляющего большинства племен Америки[7] в переодевании в женскую одежду шаманов целого ряда народов Севера—тех же чукчей, якутов, ненцев, гольдов[8].

Штернберг связывает этот комплекс в шаманстве с открытым им мотивом полового избранничества[9]. Связь тут несомненна, но наиболее верное объяснение генезиса травестизма, как комплекса, дал, нам представляется, Фрэзер, связавший уподобление жрецов женщинам с процессом перехода от матриархата к патриархату, с процессом перехода жреческих функций из рук монопольно ими распоряжавшихся женщин в руки мужчин.

Думаю, что это объяснение проливает свет и на генезис института «суканы». Жрица, искусственно дефлорировавшая девушек и, после обрезания или заменявшего его предохранительного обряда, имевшая первое сношение с достигшими половой зрелости юношами—заместились в комплексе «суканы» двуполым жрецом, коэкчучей—шаманом древних согдийцев.

Для того чтобы найти исторические параллели институту «суканы», двуполого жреца, не нужно, однако, отправляться в СВ Азию, Америку, Австралию или в область среднеземноморских оргиастических культов. Скифский мир, неразрывно связанный со Средней Азией, с одной стороны, и не менее связанная с ней Северная Индия, позволяют считать рассказ о последователях Муканны отнюдь не изолированным, а этнографические данные говорят о наличии его отголосков в недавнем прошлом народов Средней Азии. Геродот[1] и Псевдо-Гиппократ говорят о наличии у скифов так наз. энареев—«гадателей», или жрецов, получивших, по их словам, искусство гадания «от Афродиты». Эти женоподобные мужчины носили женское платье, «говорили женским языком» и выполняли женские работы.

Комплекс двуполости ярко выступает в индийских и севернобуддийских распространенных и в Тибете оргиастических культах шакти, родство которых с аналогичными явлениями в шаманстве доказано Штернбергом[2].

Пережитком родственного шактизму оргиастического культа двуполости мы находим в недавнем прошлом у узбеков Ташкента в женских радениях (чильтан-базм), связанных с отмеченным нами выше культом чильтанов, во время которых одна из участвующих женщин со сделанной из кожи имитацией мужского полового члена в руках ловила других участниц и имитировала с пойманной совокупление[3].

Наконец, в Средней Азии до недавнего времени (зарегистрированный факт относится к 1907 г.) мы встречаемся с прямой параллелью скифских энареев. Я имею в виду приведенное в хроникальной заметке в «Этнографическом обозрении» сообщение о шаманах (порхан) хивинских туркмен-чаудоров.

«Порхан—это мужчина или женщина, приводящие себя в исступление причитаниями

---

[1] Цит. по R. Schmidt'y. Liebe and Ehe in Indien. Berl., стр. 227.
[2] Цит. по R. Schmidt'y, стр. 225.
[3] Биддельф, цит. соч., стр. 102—103.
[4] С. Крашенинников. Описание земли Камчатки, III, стр. 35.
[5] Богораз, Чукчи, II, стр. 131.
[6] Там же II, стр. 135.
[7] Штернберг ПР, стр. 158.
[8] Там же, стр. 159.
[9] Там же.

[1] Геродот, IV, 67.
[2] Штернберг, ПР, стр. 162 сл.
[3] А. Андреев. Сб. «В. В. Бартольду», Ташкент, 1927 г., стр. 343. См. также цит. выше сб. «Религиозные верования» I, стр. 333.

под удары в бубен (без колотушек) и в таком состоянии изгоняющие из больных нечистого духа или предсказывающие будущее... Автор видел мужчину, одетого в женское платье, и с красным платком на голове»[1].

Важно, в связи с теорией Фрэзера о происхождении травестизма, упомянуть, что еще недавно у значительной части населения Средней Азии, в частности у потомков бухарцев X века, узбеков и таджиков, шаманство являлось, как правило, занятием женщин[2].

Если мы вспомним, что основной район распространения «пр вращенных мужчин» СВ Азия—район недавнего господства материнского права, находившегося еще в полном расцвете у камчадалов времен Крашенинникова, то наличие института «сукана» в бухарских селениях X века является несомненным свидетельством живости матриархальных традиций. Однако не только этот факт дает нам право на заключение о том, что традиция группового брака сочеталась в домусульманской Средней Азии с традициями матриархата.

4. Yavanânîs

Среди изображенных на гандхарских рельефах персонажей обращают на себя внимание фигуры вооруженных женщин. Это, как отмечает А. Грюнведель, женская лейбгвардия индийских царей кушанского и послекушанского времени, «которых хорошо знают античные историки и которые в индийской литературе известны как yavanânîs—«гречанки», т. е. девушки из стран с господством греков»[3].

Гвардия девушек-лучниц, носящая столь характерное имя, институт, несомненно, введенный индогреческими царями II—I вв. до н. э. и вместе с тем вполне чуждый самим грекам, может быть объяснен генетически лишь если мы признаем, что в странах, откуда пришли в Индию сподвижники Деметрия, Эвкратида, Менандра и Гелиокла, этот институт имел широкое распространение и глубокие местные корни.

Этнографический материал дает нам ряд примеров женского войска и специально женской гвардии царей, неизменно сочетающейся с господством матриархального рода и сильными элементами гинекократии.

Классическим примером является Дагомея XVI—XIX вв., могущественные цари которой были окружены пятитысячным корпусом женской гвардии, участницы которой носили титул «жен царя» и которая являлась наиболее преданной и боеспособной частью дагомейских войск. Наряду с этим, в Дагомее господствовали материнская филиация и своеобразная форма матриархальной большой семьи.

Дагомея—лишь одно из серии матриархальных государств Африки. Матриархат выступает как господствующая форма семейно-брачных отношений в государстве Ашанти, царь которого до XIX века носил титул «нане»—«мать матерей»[4] и рядом с которым находилась женщина-соправительница, сестра, тетка или жена царя.

Гинекократический характер имело государство Лунда, высшая власть в котором была сосредоточена в руках «лукокеши», незамужней сестры царя, занимавшего подчиненное положение военачальника.

Женщина-соправительница, мать царя, играла огромную роль в политической жизни «государств вагумов»—Уганды и особенно Униоро.

Факт переноса греками из Средней Азии в Индию института гвардии амазонок представляет в этой связи исключительный интерес, сигнализируя о правомерности предположения, что на создавшей его почве он сочетался с мощными пластами матриархата и гинекократических учреждений.

Действительно, представление о патриархате, как о вполне господствующей форме семейного уклада как «арийских» земледельцев-пастухов, так и «туранских» кочевников, почерпнутое в основном из нормативных указаний иранских и индийских священных книг и юридических руководств, с другой—из поздних этнографических данных, мало вяжется со сведениями, которые дают нам объективные наблюдатели, древние путешественники, не заинтересованные в том или ином направлении развития описываемого народа и с интересом отмечавшие непривычные для восприятия выходца из более передовых стран архаические явления быта.

---

[1] Религиозные верования народов СССР. М. 1931, том I, стр. 298.

[2] Там же, стр. 301—309.

[3] A. Grünwedel. Buddhistische Kunst in Indien, 2. Aufl. Berlin, 1900, стр. 109, а также рис. № 6 на стр. 121. Ср. Калидаса. Драмы. Перев. К. Бальмонта, М. 1916, стр. 325.

[4] В этой связи большой интерес получает один из наиболее распространенных в Средней Азии царских титулов—афшин* (зарегистрирован в Самарканде и в Осрушане). В близко родственном древне-согдийскому языку осетинском это слово (аефсін) значит «свекровь», «хозяйка» (В. Ф. Миллер. Осетинско-немецкий словарь. Л. 1927, I, стр. 236). На эту связь обратил внимание уже Лерх (Монеты Бухар-худатов, ТВО XVIII, Спб. 1875, стр. 151, 154, 157, где он, ссылаясь на осетинский перевод Евангелия, прибавляет и третье значение: «теща»). Однако Лерх на наш взгляд совершенно произвольно считает согдийское значение слова «властитель, владетель» более древним, чем осетинское. На деле, последнее, несомненно, архаичнее, и в свете приводимых ниже данных о гинекократии у народов титул Согда и Осрушаны первоначально означал: «хозяйка, владетельница», «госпожа» и лишь затем стал употребляться в значении «владетель», «царь».

Свидетельство китайских хроник говорит нам о поражающем китайского наблюдателя высоком положении женщины в домусульманской Средней Азии.

В Ши-цзи Сы-ма-цяня в описании Давани (Фергана) и областей, расположенных к западу от нее, мы читаем: «Уважают женщин. Что скажет женщина, мужчина не смеет не выполнить». То же повторяет Цянь-Хань-шу[2].

Армянский автор Псево Бардесан сообщает о кушанах: «жены кушанцев не имеют никакого страха перед мужьями своими, ибо кушанцы жен своих считают высшими себя»[3].

Для несколько более позднего времени ярким свидетельством самостоятельного и относительно очень высокого положения женщины является знаменитая переписка между согдийской девушкой из Дунь-хуанской колонии и ее матерью в Самарканде, свидетельствующая о том, что согдийские женщины—представительницы высших слоев общества, не только были грамотны, но и вели самостоятельные торговые операции наравне с мужчинами[4].

Элементы гинекократии сохраняются в Согдиане вплоть до арабского завоевания. Напомню царицу «Хатун», правившую Бухарой, по Нершахи, в течение 15 лет после смерти Бухархудата (Бидуна) и на правление которой падает начало завоевания Бухары арабами. «Говорили,—пишет Нершахи,—что в ее время не было человека мудрее ее; она мудро управляла, и подданные ее были ей преданы»[5].

Что это не было исключительным явлением, видно из того, что, по свидетельству того же Нершахи, во время восстания Муканны, «правительницей селения Нершах была женщина» (напомню, что это был один из основных центров восстания, героически выдержавший длительную осаду и, в конечном счете, взятом арабами штурмом. Правительница была при этом зверски убита: «Джабраиль приказал разрубить женщину надвое»)[6].

С еще большей редкостью высокое положение женщин выступает у кочевников; несомненно в этом нужно искать источник сказаний об амазонках.

Геродотовы массагеты возглавляются «царицей» Томирис[7]. Северо-западные соседи массагетов и, видимо, их родичи, савроматы Нижнего Поволжья, рассматриваются скифской традицией как результат союза скифских юношей с амазонками. «С того времени женщины савроматов ведут нынешний образ жизни: вместе с мужьями и без них ездят верхом на охоту и на войну и одеваются так же, как и мужья их... Относительно брака соблюдается у них следующее правило: ни одна девушка не выходит замуж, прежде чем не убьет врага» (Геродот, IV, 116—117).

Народ исседонов—восточная отрасль массагетов—«считается справедливейшим, женщины у него пользуются одинаковым положением с мужчинами»[1].

Во главе союза юечжийских (resp. массагетских) племен в период завоевания Бактрии (II в. до н. э.) стоит женщина-царь[2]. Гинекократия соединяется у юечжи с пережитками матрилинейной филиации[3].

В сакаравакском государстве, основанном, как мы видели, выходцами из хорезмийских степей в Сеистане (Сакастан), в парфянское время, следовательно, примерно одновременно с жизнью исследуемой нами выше Джанбас-калы, сын сестры царя был его обычным наследником и соправителем[4], т. е. наследование строго следовало матриархальным нормам.

В передаваемой Ктесием версии похода Кира на скифов во главе скифского (resp. массагетского) войска выступает «царица» Спаретра с войском из 300 000 мужчин и 200 000 женщин[5].

Ктесий же сохранил нам прекрасную эпическую повесть о скифской царице Зарине, мужественной воительнице и правительнице, строительнице городов, правившей в своей столице Роксонаке и ведшей упорную борьбу против мидийских завоевателей, лично участвуя в битвах.

Об участии женщин саков в бою сообщает Климент Александрийский. По Эллану, сакские девушки выходят замуж лишь после того, как жених победит их в поединке.

Матриархально-гинекократические установления сохраняются у кочевников Средней Азии и в значительно более позднее время.

Посетивший в 575 году приаральские степи византийский посол Валентин пересек владения Аккагас—«имя женщины, которая управляла этой частью скифов»[6].

Потомки массагетов-юечжи и «скифов» Аккагас—туркмены огузы еще в XVII веке сохраняли воспоминание о «семи девушках, бывших беками огузова племени»[7].

И. И. Железнов передает любопытное преда-

---

[1] Собр. свед. III, 22.
[2] Собр. свед. III, 51.
[3] Григорьев. О скифском народе саках, стр. 80, прим. 2.
[4] H. Reichelt. Die Soghdischen Handschriften reste des Britischen Museum II, Heidelberg. 1931.
[5] Нершахи, стр. 15.
[6] Там же, стр. 91.
[7] Геродот, I, 205.

[1] Геродот, IV, 116—117.
[2] Цянь-Хань-шу, LXI, стр. 2а.
[3] «Имя или прозвание отца и матери служит названием роду». Иакинф. История Тибета и Хухунора. I, Спб., стр. 66.
[4] E. Herzfeld. Saka und Suren in Sakastan. Archeologische Mitteilungen aus Iran IV, 132, стр. 91 сл.
[5] Фотий, XXII, 106.
[6] Chavannes, Documents, B. 240.
[7] Абульгази. Родословная туркмен, стр. 73—74.

ние уральских казаков о столкновении атамана Харко, легендарного сподвижника Степана Разина, на низовьях Яика с «ордой», которой «повелевала девка, воин-девка. У этой девки и гвардия была из девок. В старину такие оказии были не в диковину»[1].

Этот рассказ мог проникнуть в казачий фольклор из преданий кочевников Северного Прикаспия, территории, очень недалекой от области гинекократических «скифов» VI века н. э. и туркмен XVII столетия.

Античный цикл преданий об амазонках связан с территорией Северного Кавказа, Задонских степей, т. е. с территорией, географически близкой с ареной деятельности «девки-воина» Железнова, а этнографически—с сармато-аланскими и массагетскими кочевниками западной Средней Азии.

Таким образом мощный пласт гинекократических учреждений выступает в истории среднеазиатских и части восточноевропейских кочевников V в. до н. э.—VI в. н. э. и позднее, правда, уже в виде фольклорного мотива, доживающего до наших дней.

Существует ходячий предрассудок, навеянный неправильно понятыми библейскими преданиями, что кочевое хозяйство неотделимо от патриархального общественного уклада. Наш материал показывает, что это далеко не так. Но и не один наш материал. Я напомню этнографические данные о бытовом укладе тангутско-тибетских как оседлых, так и кочевых племен, исторические связи которых с исследуемыми нами среднеазиатскими племенами несомненны.

Полиандрия, т. е. несколько деформированный групповой брак, сочетается у тибетцев с отсутствием сложившегося патриархального рода, пережитками матрилокальности брака и матрилинейной филиации, прекрасно выявленными в исследовании Н. Мацокина.

Б. Барадийн описывает для лавранских тангутов форму брака, связанную с побегом жениха навсегда из дома родителей в дом невесты. Ахмадшах говорит о том, что в Малом Тибете, «согласно обычаю страны», муж переходит в дом жены. Иезуит Дезидери и Орацио делла Пенна в XVIII в., а Сарат-Чандра-дас в начале XX в. единогласно свидетельствуют о тибетском обычае, согласно которому муж проводит первое время после брака в доме жены. Шмидт указывает на обычай возвращения жены в дом ее родителей для родов. Наконец, в языке тибетцев существует даже специальный термин для зятя, живущего в семье жены.

Авункулат, т. е. особые права и обязанности дяди с материнской стороны по отношению к племянникам, отражен в тибетской пословице, приводимой Сарат-Чандра-дасом: «дядя с материнской стороны владелец половины племянницы или племянника, так же как половина материи платья приходится на рукава»[1].

Согласные свидетельства Рокгиля, Бако, Пржевальского, Барадийна, Цыбикова, Лэндона, Дезидери и др. говорят об исключительно высоком положении женщины в семье[2].

«В этой стране жены — главные хозяйки дома; они управляют больше чем мужья, которые обыкновенно живут в большой зависимости и уважении к ним»,—говорит Дезидери[3]. «Жена должна заведывать всем хозяйством, как исключительно ей принадлежащим, а муж в своем распоряжении имеет лишь своего коня и ружье, кинжал и пику, с которым он может итти на разбой»,—говорит Барадийн о тангутах[4].

Характерно, что женщина рассматривается как существо неприкосновенное во время войн, которые ведутся одними мужчинами[5].

Древний Тибет был, как и кочевые племена Средней Азии, гинекратичен. Китайские хроники Бэй-ши и Суй-ши рассказывают нам о «женском царстве» Нюй-го, локализуемом в юго-западном Тибете.

Во главе государства по этим сведениям стояли две правительницы: «царица» и «малая царица». Мужья цариц не вмешивались в управление государственными делами. Мужчины занимались только военным делом. Царский двор состоял из нескольких сот женщин. Характерно при этом, что обе хроники (Суй-шу по существу повторяет текст Бэй-ши) подчеркивает то, что в этом царстве «женщины низко думают о мужчинах, но вообще не ревнивы»—деталь, видимо, свидетельствующая о сохранности брачно-групповых отношений[6].

Особый интерес представляет современный тибетский род—«гжюд». Обладая целым рядом характерных признаков рода — общность имени, представление об общем происхождении, обязанность кровомщения за родича, тибетский род не имеет основного признака родовой организации — экзогамии. Даже у лучше других сохранивших «гжюд» кочевников-тибетцев докпа брак регулируется индивидуальными

---

[1] Железнов И. И. Уральцы. Спб., 1910, т. III, стр. 39 сл.

[1] Н. Мацокин. Материнская филиация в Восточной и Центральной Азии, вып. 2, Владивосток, 1911, стр. 9—15.

[2] Там же, стр. 43—45.

[3] Цит. соч., стр. 45.

[4] Б. Б. Барадийн. Путешествие в Лавран. ИРГО XIV, вып. IV. Спб., 1908, стр. 202. Мацокин, цит. соч., стр. 44.

[5] Там же, стр. 55.

[6] Собр. свед. III, 184, 198. Сведения относятся к 586 г. н. э., когда в Китай прибыло посольство из этого царства.

запретами, причем запрещается брак между родственниками первых трех (по Гренару четырех) степеней. Брак внутри рода широко практикуется. Брачные запреты билатеральны. Однако то, что «гжюд» исторически восходит к экзогамному роду, выступает в обычае, согласно которому глава рода обязательно должен брать жену за его пределами[1].

Чрезвычайно близкую к этому форму родовой организации мы находим в Средней Азии у современных туркмен, потомков юечжи-массагетов и гинекократических «скифов» VI века. Туркменский род не экзогамен[2]. Брак внутри рода по меньшей мере столь же обычен, как и вне рода. Брачные запреты индивидуальны, касаются лишь ближайших родственников, и билатеральны[3]. Вместе с тем все остальные функции рода у туркмен в недавнем прошлом налицо: общее название, генеалогическая общность, общее владение землей и водой, кровная месть, родовые вожди, общая тамга для окота, пережитки общинного владения скотом[4].

Традиционность отсутствия экзогамии у туркмен показывает поздний вариант легенды о Огузхане, передаваемый Абульгази. Огуз женится на двух дочерях брата своего отца[5]. Факт невозможный ни при матрилинеальной, ни при патрилинеальной экзогамии.

Патриархальный уклад туркменской семьи, патрилинеальность наследования и патрилокальность брака сосуществуют с существенными пережитками матриархального брака.

Так, за несколько дней перед свадьбой юрту, которую отец жениха сооружает для сына, везут в аул невесты и ставят близ ее юрты. В привезенной юрте невеста с девушками своего рода проводит последние два дня перед свадьбой. Во время свадебного шествия эту юрту перевозят обратно в аул жениха и во время свадьбы невеста сидит в ней за занавеской[6].

У туркмен-йомудов немедленно после свадьбы жена возвращается в дом своего отца и живет там. Муж имеет право видеться с ней только тайно, условным знаком вызывая ее ночью из юрты. Лишь после того как жена забеременеет, она переезжает окончательно в дом мужа[1].

Характерную форму билатеральной экзогамии при патрилинеальном наследовании мы встречаем у кафиров Гиндукуша.

По Робертсону, кафир не имеет права брать жену из своего рода (= род отца), из рода своей матери и из рода матери своего отца[2].

Все вышеизложенное заставляет нас притти к выводу, что как неэкзогамный род туркмен, тибетцев (как и арабов)[3], так и билатерально-экзогамный род кафиров (как и динка) являются формами организации, закоснувшей на одной из стадий перехода от материнского рода к так до конца и несложившемуся патриархальному роду.

Как у туркмен, так и у тибетцев и у арабов об этом говорит нам сопоставление фактов их социально-политической истории с датами изменения форм линеальности наследования и исчезновения гинекократии — патриархальный род не успел сложиться, так как параллельно с разложением чрезвычайно стойких форм матриархального рода шел быстрый процесс разложения первобытно-общинного строя и сложения классов и примитивных форм государства.

Что такое явление вовсе не представляет чего-то экстраординарного, мы видим из факта переживания классического матриархального рода у многих народов Африки и Ю. Азии, очень далеко зашедших по линии формирования классов, а иногда и достигших стадии государства. Я имею в виду малайское население Менангкабау, древнейшего государства Суматры, возникновение которого относится к раннему Средневековью, в то время как среди основного населения его территории до сих пор господствует матриархальный род, матрилокальный и даже еще более архаический дислокальный брак, причем матриархат проявляется не только в сфере брачных отношений, но и в экономике (матриархальные домовые общины «кумпуланрума»)[4].

Я имею в виду упоминавшихся уже выше наиров, являвшихся военной кастой

---

[1] Н. В. Кюнер. Описание Тибета, ч. II, вып. I, Владивосток, 1908, стр. 79—80.

[2] Н. Б. Брюллова-Шаскольская. Пережитки древних форм брака у туркмен. Известия Средазкомстарис III, Ташкент, 1923, стр. 218. П. Ф. Преображенский. Разложение родового строя у туркмен-йомудов. «Этнография», 1930, № 4, стр. 14. С. П. Толстов. Пережитки тотемизма и дуальной организации у туркмен. ПИДО, 1935, № 9—10, стр. 39 сл. А. Поцелуевский. Племя нохурли. «Туркменоведение», 1931, № 5—6. Йомудская-Бурунова. Женщина старой Туркмении. Ташкент, 1931.

[3] Ломакин. Обычное право туркмен. Асхабад, 1897, стр. 93.

[4] См. цит. выше работы.

[5] Aboul-Ghazi. Ed. par Desmaitsons, текст, стр. 15.

[6] Брюллова-Шаскольская, стр. 220.

---

[1] Брюллова-Шаскольская, стр. 211.

[2] G. S. Robertson. The Kafirs of Hindukush. London, 1896, стр. 86. Сходная форма, как показал Зелигман, существует у верхненильских скотоводов—динка, у которых род патрилокален, но мужчина не может брать жену не только из своего рода, но и из рода своей матери. Ср. также со свидетельством китайских хроник о наследовании рода у юечжи, приведенном выше.

[3] E. W. Robertson Smith. Kinship and Marriage, стр. 74 сл., 215, 260 сл., 273. Отсутствие экзогамии сочетается еще в большей мере, чем у туркмен, с мощными пережитками материнитета, стр. 191 сл.

[4] Г. Кунов. Всеобщая история хозяйства I. М.—Л., 1929, стр. 412 сл. (по A. Wilken).

малабарских государств и целиком сохранивших групповой брак на матриархальной основе. Я имею в виду хасиев северо-западного Индокитая, сохранивших дуальную организацию и матриархальный род наряду с резкой классовой дифференциацией, рабством, наследственными кастами и строем мелких государств с деспотической властью царя[1].

Я имею в виду упомянутое выше население западно-африканских негрских государств типа Ашанти и Дагоме, где даже несколько гипертрофированное рабство и деспотический монархический строй сочетались с материнским родом, матриархальной домовой общиной и с сильными элементами гинекократии.

И, наконец, особенно близким к нашему материалу и особенно ярко подчеркивающим неправильность уравнения: кочевое скотоводство = патриархат, является матриархальный род кочевников Сахары—туарегов. Их общественный строй характеризуется резким классовым и даже кастовым расслоением, сильным развитием рабства, являющегося основой хозяйства туарегской аристократии, большой ролью данническихотношений. Все это позволяет говорить об их обществе, как о развитой военно-рабовладельческой демократии. И все это сочетается с устойчивой материнско-родовой организацией: матрилинеальностью наследования, элементами матрилокальности брака, исключительно высоким положением женщины. Любопытный курьез, показывающий всю противоречивость туарегской общественной организации: женщины туарегов почти сплошь грамотны (туарегский язык имеет свою письменность на основе собственного алфавита), в то время как грамотность среди мужчин — явление сравнительно редкое.

Я думаю, что все вышеизложенное, вместе с неоспоримым фактом переживания многочисленных матриархальных институтов вплоть до стадии сложения государства у весьма многих других народов (Египет, малоазийские государства, Элам, многие государства Индии, древние германцы Тацита, кельты и др.), позволяет поставить, не претендуя, конечно, разрешить в рамках нашего исследования, преследующего специальные цели, — вопрос о том, насколько патриархальный род является вообще обязательным в качестве длительно существующей последней стадии родового строя? Не является ли переход к классовому обществу непосредственно со ступени материнского рода вообще более типичной и закономерной формой процесса разрушения первобытно-общинного строя? Не является ли вообще патриархальный род формой, в которой последнюю стадию родового строя проходят варварские народы, близкой и удаленной периферии больших античных и восточных цивилизаций, соседство и экономические и культурные взаимоотношения с которыми, форсировав техническое и отчасти экономическое развитие этих народов, все же не создали предпосылок для перехода на ступень классового общества? Географическое распределение патриархального рода (Южная и часть Восточной Африки, часть малайских и индокитайских народов, большинство тюрко-монгольских кочевых народов, большая часть народов Сибири, народы Северного Кавказа и горно-грузинские племена, наконец, некоторые группы южных славян) как будто говорит в пользу этого. И, пожалуй, понятными в свете этой гипотезы станут и регистрируемые современными этнографами факты наличия патриархальных форм рода у части австралийских и американско-индейских племен, стоящих на резко различных ступенях развития, и, наоборот, существование матриархата у одних и патриархата у других соседних и стоящих на близком уровне развития племен[1]. Длящиеся в течение многих десятилетий, а то и веков, взаимоотношения с передовыми цивилизациями, и, особенно, с европейскими колонизаторами, могли здесь сыграть роковую роль, преждевременно взорвав архаическую матриархальную организацию и тем самым дав возможность полностью выявиться тенденциям развития патриархата без одновременного перехода к классовому обществу, снимающего эту тенденцию.

Напомню, что Энгельс тесно связывает возникновение патриархата с первым значительным общественным разделением труда (отделе-

[1] H. Blah. Notes on the Khasis and Synfengs. Census of India. 1931., v. I. P. 3. Ethnographical. Dehli-Simla, 1935, стр. 140.

[1] Больше того, в Индонезии и Индокитае мы наблюдаем любопытную картину, когда у народов, давно вступивших на стадию примитивного государства, мы встречаемся с устойчивыми матриархально-родовыми учреждениями (менангкабау, хасии), в то время как их соседи, сохранившие еще родоплеменную демократию, имеют патриархальный род (баттаки, нага). Сходную картину—в более широком территориальном масштабе—мы можем наблюдать и в Африке, где патриархальный род у военно-демократических племен ЮВ Африки существует параллельно с матриархальным родом в рабовладельческих деспотиях западного побережья. Объяснить этот парадокс можно лишь исходя из гипотезы, что патриархальный род слагается как законченная и длительно существующая форма общественной организации лишь у отставших в своем развитии племен, в то время как передовые народности, перейдя непосредственно с матриархальной стадии на ступень ранне-классового общества, сохраняют матриархальные учреждения в виде своего рода социальной окаменелости, ибо, в противоположность их отсталым соседям, родовая организация которых продолжает развиваться, у этих передовых народов основная линия общественного развития связана с другими сторонами их социально-экономического строя.

ние скотоводов от прочих варваров) и с первым разделением общества на классы (рабовладельцев и рабов). Больше того, в этой связи патриархат выступает у Энгельса как следствие разделения труда и классового расслоения[1]. Естественно предположить, что в тех случаях, когда процессы экономического развития общества шли особенно быстро, приводя к быстрому завершению создания предпосылок перехода от рабства патриархального к «восточному» и античному и от родоплеменного строя к государству (а так именно было с древнейшими рабовладельческими обществами, базировавшимися на интенсивном ирригационном земледелии, и с значительной частью кочевых народов, принимавших непосредственное участие в том первом великом разделении труда между кочевниками и земледельцами, которое лежит у истоков древневосточных государств) патриархальные тенденции развития семьи и рода не успели полностью реализоваться и сохранившиеся в рамках классового строя очень значительные пласты первобытнообщинного уклада, являясь наиболее застойным, консервативным элементом древневосточного рабовладельческого общества, сохранили матриархальные формы.

Оставим, однако, эту тему, заслуживающую, безусловно, специального и не малого исследования, и возвратимся к нашему материалу.

Мы видим, что как у кочевой, так и оседлой части населения Средней Азии, на рубеже новой эры и в течение первых веков нашего летоисчисления разнообразные элементы материнско-родового уклада были чрезвычайно сильны, и вряд ли есть серьезные основания для утверждения, что у какого-либо из народов Средней Азии этой эпохи имела место сколько-нибудь сложившаяся патриархально-родовая организация.

В этой связи да позволено будет нам вновь вернуться к покинутой нами в первом из наших этюдов Авесте и вспомнить ту форму брака, которую зороастрийская религия считает наиболее благочестивой. Я имею в виду кровосмесительный брак между родными братом и сестрой.

Уже в Авесте мы находим характеристику этой формы брака как высшей, ставящей супругов в особое привилегированное положение. Так, в ритуале очищения после соприкосновения с трупом, фаргард VIII, 36—37, Вендидада рекомендует для омовения мочу таких супругов наравне со священной коровьей мочей. В Висперед III, 232, мужчина, женившийся на своей сестре, фигурирует в качестве представителя зороастрийского благочестия, рядом с людьми, знающими священные слова, и со жрецами областей. Пехлевийская литература постоянно подчеркивает особую зороастрийскую ортодоксальность этой формы брака[1].

Он являлся широко распространенным как в Иране, так и в Средней Азии уже в ахеменидское время и сохранял свое значение вплоть до арабского завоевания, а в зороастрийской среде и позднее.

При этом, как правило, наши сведения относятся в первую очередь к аристократической среде, особенно к царским фамилиям. Смысл этого типа брака на материале истории царских династий Средиземноморья был раскрыт Фрэзером. Брак между братом и сестрой, являвшийся постоянным в царских семьях, является, по мнению этого автора, результатом стремления царей закрепить престол за своими сыновьями при господствующей матрилинеальной филиации[2]. Эта форма выступает, таким образом, на смену той форме наследования царской власти, которая была столь же типична для древнего Средиземноморья Европы и при которой престол переходил в соответствии с законами материнитета не к сыну царя, а к его племяннику — сыну его сестры[3].

Переходный матриархально-патриархальный характер кровосмесительного зороастрийского брака отмечают и Герцфельд и Кис[4]. По их мнению, здесь «два обычая взаимно компенсировались. Собственный сын мужчины становился наследником как сын его сестры». Однако Герцфельд и Кис иначе, чем Фрезер, освещают причины возникновения этой формы, видя здесь не стадиальное явление перехода от матриархата к патриархату, а результат скрещения между двумя формами наследования—«арийским», «импортированным», мужским и туземным, женским наследованием.

Трактовка эта, в свете как исследований Фрэзера, показавшего универсальность матриархального наследования в прошлом индоевропейских народов, так и в свете наших, приведенных выше, материалов явно несостоятельна, ибо единственным аргументом в пользу гипотезы Герцфельда—Киса является то, что такой институт... «не мог быть введен арийцами». Эта тенденция рисовать «арийцев» как «исконно патриархальный» народ, который «не мог» иметь матриархальных учреждений[5], и объяс-

[1] Соч. XVI, ч. I. стр. 137.

[1] См. К. А. Иностранцев. Сасанидские этюды. Спб. 1909, стр. 117 сл.

[2] Фрэзер. Золотая ветвь III, стр. 47.

[3] Frazer. Lectures. on the Early History of the Kingship, стр. 229 сл., где прослеживается матриархальное наследование в Риме времен царей, в Этрурии, в архаической Греции, Лидии, древней Швеции, Дании, Англии, у кантабров в Испании, у древних германцев Тацита и др.

[4] E. Herzfeld and Sir Arthur Keith. Iran as a prehistoric Centre. SPA. v. I, стр. 48.

[5] Ср. например, такие же рассуждения у W. W. Tarn. Greeks in Bactria and India, стр. 81, 115—116.

нять таковые у заведомых «арийцев» лишь результатом смешения с инорасовыми элементами, базируется на чисто априорных основаниях и резко противоречит тому бесспорному факту, что у всех без исключения индоевропейских народов существование матриархальных учреждений в прошлом, часто совсем не очень давнем, прочно и окончательно доказано.

Таким образом кровосмесительный брак домусульманской Средней Азии вместе с другими фактами показывает нам, что вплоть до времени ислама, патриархально родовые отношения там не сложились и слагающийся уже в рамках примитивно-рабовладельческого общества патриархально-семейный уклад аристократии вынужден был приноравливаться к материнско-родовым нормам наследования.

Подводя итоги нашего исследования, мы можем констатировать, что в рассказе о «последователях Муканны» сохранился комплекс крайне архаических брачных и связанных с браком религиозных обычаев, свидетельствующих о том, что ходячее представление о господстве в домусульманской и ранне мусульманской Средней Азии как у кочевых, так и у оседлых племен сложившейся патриархальной семьи является совершенно несоответствующим действительности.

Напротив, матриархальные традиции и брачно групповые отношения были широко распространены, и сам факт неизменного их появления в качестве составного элемента оппозиционных официальному маздеизму, а впоследствии исламу, сект типа маздакитов, последователей Муканны и, наконец, карматов, является достаточно интересным и симптоматичным.

Нам уже пришлось в другой работе сформулировать наше истолкование этого явления, обещав при случае вернуться к этой теме[1]. Сейчас, пожалуй, наиболее уместно вспомнить это обещание.

5. Маздак, Муканна, Карматы

(Роль пережитков первобытно-общинных и ранне-рабовладельческих отношений в общественных движениях V—XI веков)

Анализ ряда сторон общественной организации домусульманской Средней Азии приводит нас к заключению, которое может быть сформулировано с достаточной определенностью:

1. Вплоть до арабского завоевания сосуществующая с рабовладельческими отношениями общинно-родовая организация базируется на принципах матриархата. Отмирание экзогамии и распад рода как у земледельцев, так и у кочевников не ведет к окончательному сложению патриархального рода. Именно этим объясняется широкое распространение зороастрийского брака братьев и сестер, свидетельствующего о конфликте растущего патриархального уклада с господством матриархальных институтов. Положение женщины высоко, налицо, особенно у кочевников, значительные элементы гинекократии.

2. Групповой брак, иногда перерождающийся в полиандрию, продолжает существовать и у земледельцев и у кочевников как живой общественный институт.

3. Сохраняется деление на две фратрии как у земледельцев, так и у кочевников.

4. Сохраняется роль мужских домов, как важнейших центров общественной жизни поселений.

5. Крупную роль продолжают играть выросшие из мужских союзов, сохраняющие связь с фратриями первобытные тайные союзы с оргиастическими культами и сложной системой инициаций.

6. Вместе с тем процесс разложения рабовладельческих отношений восточного типа, консервировавших общину со всеми связанными с нею и перечисленными выше архаическими особенностями, приводит, начиная с II—III веков н. э., к распаду общинных поселений на патриархального типа большесемейные домовые общины, среди которых выделяются мощные familia аристократии, включающие многочисленных рабов и клиентов, в том числе адоптированных в familia и находящихся на положении полурабынь, многочисленных женщин, отрывающихся, таким образом, от общины[2].

7. Наконец, царская власть сохраняет сакральный характер, свойственный начальным стадиям развития политической организации, не порвавшей еще с первобытно-общинной традицией.

Изложенные обстоятельства проливают свет на те специфические особенности, которыми характеризуются ранне-средневековые народные движения в Средней Азии, в частности, та острота, с которой в них ставятся семейно-бытовые вопросы и те элементы их идеологии и особенно организации, которые резко выделяют их из стихийных народных движений,

[1] «Исторические Записки» III, 1938, стр. 35—36.

[2] Изложенное в п. 6 положение, аргументированное археологическим и литературным материалом, см. в наших работах в ИЗ 1938, 3, в ВДИ 1939, № 3, в КС ИИМК 1940, VI и ВДИ 1941, № 1. См. выше, гл. III, 2—3, экскурс II.

сопутствовавших зарождению феодальных отношений в других странах.

Мы уже касались выше социальной программы восстания Маздака в конце V, начале VI в. н. э. Возникнув в юго-западном Иране, это движение широко распространилось на Восток, охватив ряд районов Средней Азии. Уже после арабского завоевания маздакитские общины регистрируются на территории Самарканда, Илака и Чача (Ташкент).

Этот факт позволяет предполагать непосредственную—не только идеологическую, но и организационную преемственность между маздакитскими и теми уравнительно-коммунистическими движениями общин, которые отмечены в Средней Азии VI—VIII столетий[1].

Мы, к сожалению, ничего не можем сказать о семейно-бытовой программе и религиозной идеологии движения Абруя в Нижнем Согде в 80-х годах VI века, бывшего объектом нашего специального исследования[2]. Вся дальнейшая история народных движений в этой области заставляет предполагать, что и в движении Абруя должны были наличествовать характерные элементы маздакитской программы.

В начале VIII века Хорезм оказывается охваченным жестокой гражданской войной, причем в качестве одного из главных преступлений вождя восстания, младшего брата хорезмшаха Хурразада (интересна параллель с Абруем—также представителем каганской династии и с ролью царя Кавада в маздакитском движении), ему инкриминируется захват женщин из гаремов хорезмийской аристократии,—факт, несомненно, роднящий восстание Хурразада с движениями маздакитского направления (см. выше).

Гораздо богаче наши сведения о большом среднеазиатском восстании 775 г., связанном с именем Муканны, семейно-брачная программа которого охарактеризована нами выше. Это восстание, генетически связанное с теми мессианистскими движениями «носящих белые одежды», которые руками сподвижников Абу-Муслима привели к власти династию Аббасидов, охватило значительную часть Средней Азии, особенно районы Кеша, Нахшеба и Бухары (Кашкадарья и Нижний Зеравшан), втянув как оседлое население, так и тюркские кочевые племена.

Самым крупным как по территориальному охвату, так и по историческому значению из интересующих нас движений, несомненно, является движение карматов или батинитов, начавшееся во второй половине IX века и втянувшее в себя локальные движения, несущие маздакитские традиции[3].

[1] В. В. Бартольд. История культурной жизни Туркестана. Л. 1927, стр. 45.

[2] ИЗ 1938, III, стр. 3 сл., а также выше, экскурс II.

[3] Источники и литература, см. L. Massignon. Enz. d. Islam. II, 821 сл.

Начавшись с восстания части арабского населения Нижней Месопотамии непосредственно после «войны рабов зинджей» (869—983 гг.) грандиозного рабского восстания, потрясшего до основания всю систему аббасидского халифата и явившегося в конечном счете предпосылкой его окончательной феодализации — движение карматов за короткое время охватило всю гигантскую территорию халифата от берберов Северной Африки на западе до Согдианы и Северной Индии на Востоке. Это движение, сумевшее создать мощную и гибкую политическую организацию, обеспечивающую строжайшую дисциплину ее членов, централизованность руководства, то поднимаясь, то затухая, не прекращалось более двух, почти три века и лишь с одиннадцатого столетия начало итти на убыль, дав, однако, яркую вспышку в XI—XIII вв. в СВ Иране и Сирии, где широкое распространение получила секта ассасинов — последователей Хасана Саббаха, имя членов которой стало во Франции (после крестовых походов) нарицательным именем убийцы (assasin), выродившуюся впоследствии в переживающий до наших дней исмаилизм горного Таджикистана, Северной Индии и других областей Востока. Уже первая полунезависимая карматская община-государство, сложившаяся на Евфрате в конце IX века, характеризуется последовательным проведением старой маздакитской социально-бытовой программы, кладя в основу своей организации общность земли, имущества, включая рабов («никто не имел более в собственности ничего, кроме своего меча и доспехов») и жен, т. е. групповой брак. Общность жен рассматривалась, как «высшая форма дружбы и братского единения»[1]. Важно отметить, что в описании Абу-Мухсина-Новаири есть указание, что в основе брачно-групповых отношений лежала общность жен у группы братьев[2].

На протяжении своей истории, как массового движения, батинитские восстания не раз завершались победой и переходом власти в государствах халифата в руки карматских вождей. Таково происхождение фатимидской династии в Египте (909—1171 гг.), таково происхождение интереснейшего карматского государства в Бахрейне, в Восточной Аравии, также осуществившего практически старую программу маздакитов, в частности, располагая еще в XI веке

[1] Показания Аху-Мухсина (Абу-л-Хасана Мухаммед б. Али, представитель алидов, живший по С. де Саси в начале X века и по своему положению свободный от подозрения в «клевете» на карматов) у Новаири, выдержка из которого приведена в труде Sylvestre de Sacy. Exposé de la Religion des Druzes. I. Paris 1838, стр. Introd. стр. 61. CLXXXVI—CXC, о форме брака—CXC. Ср. M. C. Defrémery в J. A. 1856, стр. 371—372 и M. J. de Goeje, цит. соч., стр. 29—30.

[2] de Sacy, цит. соч., стр. CXC: «Часто муж доставляет свою жену одному из своих братьев, если это доставляет последнему удовольствие».

тридцатью тысячами общинных рабов, на которых лежала вся работа по полеводству и садоводству, в то время как основным занятием свободных членов карматской общины была война[1]. Даваемое Насири-Хосровом описание республики бахрейнских карматов настолько существенно для понимания социально-экономической сущности этого движения, что мы считаем необходимым привести его в важнейших выдержках[2].

«Ляхса — это город, вместе с его округою, деревнями и крепостью. Она обведена четырьмя крепкими стенами, идущими одна вокруг другой. Стены построены из прочной глины, и между каждыми двумя стенами пространство приблизительно в один фарсанг (ок. 6 км. *С. Т.*)... В середине этой укрепленной ограды построен роскошный город, снабженный всякими принадлежностями больших городов. В городском населении имеется, пожалуй, что и свыше двадцати тысяч мужчин, способных носить оружие... Он (Абу-Сеид, вождь карматов IX—X вв., основатель бахрейнской республики. *С. Т.*) завещал своим детям: «Всегда шесть человек из моих потомков пусть сохраняют за собой власть»... У них есть обширный дворец — правительственная палата с престолом, на котором эти шесть царей восседают, чтобы, в согласии, совместно рядить и судить. Сзади этих шести царей, восседающих на одном престоле, помещаются шесть визирей, сидящих на другом престоле. И какое бы ни было дело, решается ими в общем совете... Вышеназванные правители именуются «сейййды» (господа), а визири—шаиры» (советники)...»

...«У них в это время было тридцать тысяч рабов (sī hazār bandə), купленных за деньги, негров и абиссинцев, занятых в земледелии и садоводстве. С подданных (ra'yyat) не требуют десятины ('ušr) с чего бы то ни было, а когда кто-либо впадает в бедность, или задолжает, то ему дают вперед пособие, пока не поправятся его дела; и взыскиваются деньги с задолжавших их не более, чем в размере основной выданной ссуды. И даже каждому чужаку, попадающему в Ляхсу и знающему какое-нибудь ремесло, дают достаточную для него сумму, чтобы он мог купить предметы и орудия, необходимые в его ремесле, а затем, когда захочет, мог бы вернуть им их деньги в том самом количестве, какое получили в долг. Если у кого-нибудь из местных владельцев разоряется имение или мельница и нет средств для поправки, правители отряжают к нему нужное количество своих рабов, которые, явившись, и приводят в порядок имение или мельницу; с владельца за эту помощь ничего не спрашивают. В Ляхсе существуют мельницы, которые, составляя собственность правительства, служат подданным для бесплатного размола их зернового хлеба. Содержание этих мельниц и плата мельникам выдается из правительственной казны. Сделки по куплепродаже, по всякой торговле, совершаются в этом городе при посредстве свинца, заключенного в кошели-плетенки, весом каждая в 6000 диргемов. При торговых сделках отсчитывают соответствующее количество плетенок и их увозят; вне Ляхсы этих денег никто не вывозит».

Перед нами типично рабовладельческое государство с ведущей ролью коллективного государственного рабовладения, наряду с которым налицо и индивидуальное[1]. Полное освобождение свободного населения от налогов (правительство пополняет свою казну за счет труда государственных рабов и 50-процентного сбора с жемчужных промыслов и военной добычи) сочетается с запретом ростовщического процента и своеобразной денежной системой, смысл которой, как средства ограничения внутриобщинной имущественной дифференциации, раскрывается из сопоставления с железными деньгами Спарты, олигархически-республиканская организация, возглавленная своеобразной «коллегией двенадцати»—все эти черты с большой убедительностью раскрывают перед нами историческую тенденцию карматского движения, — движения общинно-рабовладельческой реакции против растущего феодализма.

С этими же движениями связано происхождение карматского государства в Мультане, в Северной Индии, которое не удалось уничтожить до конца даже страшному врагу карматов Махмуду Газнийскому и которое просуществовало до победы в Мультане Гуридов (1175—1176).

В ряде пунктов Средней Азии карматские движения, правда, на короткое время, были также победоносны.

Карматская пропаганда из Рея уже в начале X в. распространяется на Хорасан, проникая в Мерв, Мерверруд, Нахшеб, Бухару, где к карматам примыкает саманидский эмир Насрибн-Ахмед, вынужденный, однако, вскоре под давлением враждебно настроенных к новой

---

[1] Nassiri-Khosrau. Sefer Nameh. Ed. par Ch. Schefer. Paris 1881, texte, стр. 82 сл., русск. перев. Крымского «История Персии» I,4 М. 1915, стр. 502 сл. В новый русский перевод Е. Э. Бертельса (Насир-и-Хусрау, Сафар-намэ. Книга путешествия. «Academia». 1903, стр. 180) вкралась грубейшая, совершенно искажающая весь смысл текста, ошибка. Вместо «тридцать тысяч рабов» подлинного персидского текста здесь стоит «тридцать рабов».

[2] Цит. в переводе Крымского с некоторыми уточнениями согласно тексту в важнейших местах, подчеркнутых нами.

[1] de Goeje, цит. соч.

религии предводителей войска отречься от престола в пользу своего сына Нуха[1].

Еще в XI—XIII вв. батинитские общины в Хорасане играют крупную политическую роль, удерживая за собой не только укрепленные замки в горах, просуществовавшие до походов Гулагу-хана в 1257, но и значительные территории—Турайсис (Туршиш), Бейхак, Кугистан, Заузан и др.

Помимо социальной программы карматов, для нас большой интерес представляют те организационные формы, которые приобретает с самого начала их движение. Это, как и восстание Муканны, отнюдь не стихийное возмущение аморфной народной массы. Восстания в различных частях халифата руководятся централизованной организацией, все звенья которой обязаны беспрекословно повиноваться распоряжениям, исходящим из центра.

Организация имеет семь или девять ступеней инициации, причем в полном соответствии с практикой первобытных тайных союзов, в процессе перехода от низшей ступени к высшей, происходит постепенное разоблачение догматов и ритуала не только официальной религии—ислама шиитской ветви, от которой учение секты карматов на первой ступени инициации почти не отличалось, но и самого сектантского вероучения. Они раскрываются посвященным в таинства высших степеней лишь как приемы уловления умов масс, как низведенные до их сознания вульгаризированные символы абстрактных философско-мистических истин. И, наконец, на высшей ступени, освобожденная от ритуальной и этической оболочки, от всяких реминисценций ислама, древняя дуалистическая религия выступает в форме философского пантеизма с сильным налетом агностицизма. Дуализм ярко окрашивает ткань религиозной идеологии карматов, как и манихейцев, маздакитов, последователей Муканны и других родственных сект первых веков ислама.

В основе карматско-исмаилистского вероучения лежит представление о добром начале, выступающем в виде троицы: Мирового Разума, Мировой Души и служащего связью между ними Высшего Женского Начала (для масс—Мухаммед, Алий и дочь Мухаммеда, жена Алия Фатима). Этой троице противостоит Даджжаль — воплощение Мирового Зла. Представление о переселении душ, перевоплощении, генетически, как и дуализм, восходящее к наиболее первобытным верованиям (ср. комплекс верований, связанных с чурингами у австралийцев), и, несомненно, гораздо более архаическое, чем официальная зороастрийская и мусульманская (как и иудео-христианская) концепция загробного воздаяния, является составным элементом всех идеологий исследуемого круга. Дуализм в идеологии этих течений, как и учение о воплощенном божестве, генетически неотделимое от исследованного Фрэзером комплекса божественных царей, в условиях социальной борьбы был могучим оружием в руках руководителей движений, поднимая народные массы на вооруженную беспощадную борьбу с «миром зла» и создавая идеологическое обоснование железной дисциплины в среде сектантов, ибо каждое распоряжение, исходящее от руководителей движения, было в сознании исполнителей прямым приказом воплощенного божества.

В этой связи мы должны остановиться на одной из сторон историографии ранних карматско-исмаилитских движений. Я имею в виду широко распространенное в литературе и стоящее в полном противоречии с большинством показаний источников представление о том, что исмаилизм явился идеологией «иранских феодалов» в их борьбе против централистических тенденций мусульманских правительств.

Несмотря на то, что это представление подкреплено именем В. В. Бартольда[1], мы не можем не признать, что оно совершенно неверно и основывается на полном непонимании характера общественных отношений интересующей нас эпохи.

Ничего «феодального», как мы видим, в идеологии карматов, с их уравнительно-общинной программой, конечно, нельзя искать. Мусульманские авторы — Низам-уль-Мульк, Шахрастани[2] и др. гораздо лучше понимали сущность движения, чем многие новейшие историки, видя в нем не только страшную опасность для слагающегося феодального строя, но и рассматривая его как прямое продолжение движения маздакитов, видеть в котором «идеологию феодалов» никому, конечно, не придет в голову. Однако мы не можем не отметить того, несомненно, явившегося исходным для указанного ошибочного положения, факта, что особенно в ранних движениях как маздакитского, так и карматского круга часто принимают активное участие цари — подчеркиваю, не аристократия как класс, а именно цари как крупных государств, так и отдельных городских княжеств.

Перечень может быть приведен достаточно внушительный. Кавад и маздакиты, сын тюркского кагана Абруй-Далобянь—и «нищие и бедняки» Бухары; брат шаха Хорезма Хурразад и хорезмские повстанцы 712 г., бухархудат и Муканна, наконец, Наср-ибн-Ахмед

[1] Бартольд. Туркестан II, стр. 253 сл. Б. Н. Заходер, Мухаммед Нахшеби, УЗ МГУ, XI, 1940, стр. 88 сл.

[1] В. В. Бартольд. К истории крестьянских движений в Персии. Сб. «Из далекого и близкого прошлого». П.—М. 1923, стр. 60 и др.

[2] Abou-l-Fath Muhammed asch-Schahrastâni's Religionspartheien und Philosophen Schulen, ü'bers. v. Dr. Th. Haarbrücker. I, стр. 280.

саманидский и мавераннагрские карматы— этого перечня достаточно, чтобы видеть здесь не просто случайные комбинации политических сил, а проявление определенной закономерности.

Я думаю, что ключ здесь в раскрытом выше архаическом характере царской власти домусульманской и раннемусульманской Средней Азии и Ирана, тесно связанной с патриархально-рабовладельческим общественным строем, неотделимым от традиций общинно-родового быта. Растущая феодальная аристократия была одинаково враждебна и разрушаемой ее ростом общине свободных земледельцев, некогда основного класса рабовладельческого государства— и опирающимся на эту общину патриархальным царям-жрецам, терявшим с ростом феодальных отношений почву под ногами.

И поэтому во главе народных антифеодальных движений V—XI в., наряду с «бедняками и нищими», с презренными «мужиками и чесальщиками шерсти»[1], красильщиком Муканной, крестьянином Хамданом-Карматом, торговцем мукой Абу-Саидом, нищими интеллигентами Хасаном Саббахом и Насири-Хосровом мы видим и знатных представителей сходящих со сцены дофеодальных династий.

Для понимания древних корней ранне-средневековых карматских и родственных им движений большое значение имеют этнографические данные относительно тех осколков этих организаций, которые в горных трущобах Передней Азии, Ирана, Средней Азии и Северной Индии дожили до наших дней. Я имею в виду современных исмаилитов[2], али-илахов[3], нусайриев[4], друзов[5], иезидов[6], кызыл-башей[7]. Мы далеки от того, чтобы анализировать всю сложную синкретическую систему верований и ритуала этих сект, на протяжении веков и тысячелетий впитавшую в себя разнообразные элементы древневосточных религий, гностицизма, развитого зороастризма, христианства, ислама. Нас интересует только та часть этого сложного комплекса, которая ассоциируется с исследованным нами выше кругом верований.

В культе нусайриев, генетически являющихся ответвлением исмаилитско-карматского движения IX в., ярко выступает тотемическая его основа. Алий, воплощение мировой души, выступает в образе «льва, князя пчел»[1], что позволило нам еще в 1932 году[2] предположить связь этого образа с древними переднеазиатскими образами божеств, восходящих (через комплекс интихиумы) к тотему змея-коня-льва. Само имя нусайриев связывает их с древним переднеазиатским тайным союзом Назиров, героем которого в библии выступает Самсон. Инкорпорация этих, доживших, видимо, до средневековья переднеазиатских тайных союзов в систему карматского движения достаточно симптоматична, демонстрируя тесную историческую взаимосвязь с их восточно-иранскими и среднеазиатскими двойниками.

Тотемический пласт Льва-Алия, всадника змееборца апокрифических сказаний[3], восходящего к образу Крсаспы, свойственен и всем остальным сектам алидского круга. Изображенное на таблице 1 в книге Минорского Али-Илахское треугольное знамя, с рукой Алия, разрывающей пасть дракона, является ярким материальным документом этого слоя верований алидских сект.

З м е й выступает в качестве одного из важнейших религиозных символов Иезидов. Огромное рельефное изображение змея украшает вход в главное их святилище в Шейх-Али. Интересна иезидская легенда о спасении Ноя змеей, заткнувшей своим телом отверстие ковчега, пробитое подводной скалой, являющаяся попыткой объяснения роли культа змеи в иезидских верованиях[4].

Рядом со змеем в иезидском культе особое место занимает Малик-Таус, «царь Павлин», изображение павлина, в образе которого почитается сатана — «дух зла, который однако может делать добро»[5].

Иезиды—это наиболее последовательно-дуалистическая секта из всей анализируемой серии, наиболее, повидимому, типологически соответствующая празороастрийским верованиям Ирана и Средней Азии. Равноправие бога и сатаны и даже большее почитание последнего позволяет предполагать, что здесь с наибольшей полнотой выявились тенденции жрецов фратрии змеи, оставшихся до конца последо-

---

[1] Усама ибн-Мункыз. Книга назидания. Перев. М. А. Салье. Птб.—М. 1922, стр. 126—127.

[2] А. А. Бобринский. Секта Исмаилья в русских и бухарских владениях Ср. Азии. 1902; А. А. Семенов. К догматике памирского исмаилизма, 1902. Его же статья в Бюл. Ср.-Аз. Ун-та 9, 1925 и в «Мир Ислама» № 4 и др.

[3] В. А. Жуковский. Секта Людей Истины, ЗВО II, 1877, стр. I, сл. В. Ф. Минорский. Материалы для изучения персидской секты Людей Истины или Али-Илахи. М. 1911.

[4] R. Dussaud. Histoire et Religion des Nosairis. Paris 1900. A. Gobineau. Trois ans en Asie. Paris ist 1859, стр. 337 сл.

[5] S. de Sacy, пит. соч.

[6] J. Ménaut. Les Yézides. Episodes de l'histoire des adorateurs du Diable. Paris 1892.

[7] В. А. Гордлевский. Из религиозных исканий в Малой Азии. «Русская Мысль» 1916, № 11, стр. 78 сл. Его же. Из религиозной жизни кызылбашей Малой Азии. Новый Восток, № 1, 1926, стр. 259.

[1] E. Salisbury. The Book of Salaimân's First Pipe Fruit discluding the Misteries of the Nusairian Religion. Journ. of Amer. Orient. Soc. VIII 1886.

[2] «Советская этнография», 1932, № 2, стр. 69 сл.

[3] В. Мединский. Апокрифические сказания о священных войнах Магомеда. М. 1900.

[4] Ménaut, цит. соч., стр., 85—86. Ср. также табл. против стр. 124 и текст на этой странице.

[5] Там же, стр. 95 и сл.

вательными проводниками первобытного дуализма.

Характерной чертой общественной организации иезидов является наличие у них двух вождей: «эмира» и «вождя молитв»[1]. Хотя функции их разделены и в то время как один является светским, другой духовным главой объединения, но весьма вероятно, что генетически мы здесь имеем переживание архаического института двух вождей (→царей), отражающего дуальную организацию.

В цитированной выше нашей работе 1932 г. мы подчеркнули связь алидского цикла с близнечным мифом[2], ярко выступающим в образе братьев-мучеников шиитской традиции — Хасана и Хусейна. Связь их с Ашвинами—Дискурами особенно подчеркивает конь (иногда «крылатый» Зу-ль-Джинах), символизирующий Хусейна во время мохарремских мистерий в Иране и в Турции[3].

Помимо сложной системы инициаций у большинства сект, строго мужского характера общины посвященных у нусайриев, свойственного всем им дуализма и учения о реинкарнации, отмечу характерные для друзов, нусайриев, кызылбашей пережитки оргиастических радений, до сих пор живущие в виде строго законспирированного от непосвященных коллективных культовых плясок, и, наконец, несомненные, хотя и тщательно скрываемые сектантами и, напротив, раздуваемые окружающим не сектантским населением, традиции получивших уже ритуальный характер брачно-групповых отношений[4].

Из характерных деталей отмечу также типичное для нусайриев и али-илахов представление о пяти божественных руководителях посвященных (воплощенный бог и его четыре ангела)[5]. С этим связан и универсальный для всех шиитских сект образ кисти руки, пять пальцев которой символизируют пять общественных руководителей. Цифру пять мы помним по тексту Бундахишна о пяти братьях-карапах и, наконец, одним из наиболее существенных для нас моментов является анализ географического распространения сект этого типа, сохранившихся везде только там, где сохранился и архаический общинный уклад — в горах Ливана и Малой Азии, в удаленных долинах Памира и Гиндукуша. Здесь эти осколки некогда мощного движения общин, сохраняя питательную среду в самом общественном строе этих районов, смогли просуществовать века, выродившись в уродливые и глубоко реакционные сектантские организации, являющиеся оружием в руках полуфеодальной верхушки общин, представляя нередко благоприятную почву для политических интриг империалистических держав.

Однако это лежит уже за пределами нашей темы.

Самое имя кармат о в заслуживает большого внимания. Мусульманская традиция пытается объяснить его из прозвища одного из ранних деятелей движения, крестьянина арамейца, Хамдана, якобы носившего прозвище «Курмат», что значит «безобразный лицом». Несостоятельность этой этимологии более чем ясна. Однако само ее возникновение показывает, что термин «кармат» не имел в IX веке явной этимологии, являясь словом неизвестного происхождения, неожиданно вынесенным из народных глубин на гребне массового движения.

Данный нами выше в первом из наших этюдов опыт палеонтологического анализа имени карапанов∼корибантов дает, мне кажется, нить для понимания генетических связей и этого термина. Ряд арм. qərmanθ, чанск. ǧormoθ, сванск. ǧermeθ, удм. мар. keremet∼ qarpan← qorband [Κορίβαντ (οι)] закономерно включает в себя, в качестве разновидности qarmat (←-qarmand←→qarband↘qarpan).

Перед нами таким образом не что иное как юго-западная разновидность имени древнего тайного союза карапанов—корибантов, наиболее архаический тип которого, сохранивший диффузность исходного зубно-носового консонанта и звонкую начальную губную второго элемента, дает фригийская форма, в то время как среднеазиатско-восточно-иранская сохраняет лишь носовой компонент исходного nd↘nt, ослабляя *b* в *p*, а иракская — зубной элемент nd ∨ d↘t, утрачивая его назализацию за счет назализации первого консонанта второго элемента.

Традиция культа червя-змея Керма в Фарсе, в непосредственном соседстве с родиной карматского движения, сохранившаяся еще в сасанидскую эпоху, делает эту гипотезу особенно вероятной. Первобытный тайный союз карматов, связанный с фратрией змеи, западноиранское ответвление восточно-иранских карапанов, пережив в глуши деревень, в глубине архаических сельских общин, ахеменидскую, парфянскую и сасанидскую эпоху, вышел в IX веке, разбуженный громом великой войны рабов, из недр забвения и стал мощным организационным оружием в руках восстающих во имя первобытно-общинного прошлого древних общин земледельцев. В своем победоносном шествии он ассимилировал родственные ему и столь же древние, восходящие к библейским временам передне-азиатские союзы типа сирийских назиров-нусайриев или малоазийских ответвлений

[1] Ménaut, цит. соч., стр. 56—58.
[2] Цит. соч., стр. 73.
[3] Там же, стр. 74.
[4] Гордлевский, «Новый Восток», 1922, № 2, стр. 262, 270.
[5] Ср. Минорский, стр. 62.

корибантов и превратился в неизвестную ни одному из крестьянских движений Запада мощную и разветвленную политическую организацию, охватившую территорию от Северной Африки до Памира и в течение трех веков заставлявшую трепетать могущественных халифов и султанов Востока.

* *
*

Резюмируя социальные программы всех отмеченных выше движений, мы можем наметить ряд общих черт, позволяющих рассматривать их, как проявление единого процесса.

Общими для всех их программными социальными требованиями являются: обобществление земли, уравнительный раздел движимого имущества, установление практики группового брака, обобществление рабов.

Общей организационной формой руководства движениями является широко разветвленная тайная организация с инициациями, рядом ступеней посвящения и строжайшей централизацией и дисциплиной.

Общей идеологией всех движений является доведенная до своих крайних форм дуалистическая религия.

Данный нами в предыдущих главах анализ ряда сторон первобытно-общинного уклада в социальном строе древней и ранне-средневековой Средней Азии показывает, нам думается, историческую обусловленность именно этих, а не каких-либо иных социальных требований, организационных форм и идеологий движений закрепощаемого крестьянства в эпоху усиленного развития феодализационного процесса. Хотя мы ограничивались почвой Средней Азии и Восточного Ирана, однако нас и выше сам материал заставлял не раз выходить за пределы этой территории. Средняя Азия, при всей специфичности своих исторических судеб, не составляла какого-то исключения на Среднем и Ближнем Востоке и, в основном, те же формы первобытно-общинного быта, сосуществующего на протяжении тысячелетий с развитыми рабовладельческими отношениями, имели место в Юго-западном Иране, где был очаг восстания Маздака, и в Азербайджане, где знамя восстания поднял Бабек, и в Ираке, где началось движение карматов, и в Северной Африке, где к власти пришла карматская династия фатимидов.

Если программа «уравнительного коммунизма» и сохранения общности владения землей является совершенно естественной реакцией первобытной общины на наступление разрушающих ее феодальных отношений и вряд ли требует особых комментариев, то в свете изложенного выше становится ясной и семейно-бытовая программа движений. Социальная роль полигамии и различных форм адопции женщин общины в familia феодализирующейся аристократии была весьма значительна, резко ударяя не только по семейно-бытовым, но и по хозяйственным интересам рядовых членов общины, лишавшейся женских рабочих рук, что в корне разрушало тысячелетиями сложившуюся систему внутриобщинного разделения труда. Жестокий удар по гаремам аристократии, являвшимся, по существу, своего рода женскими эргастулами, неизменно наносившийся победившими восстаниями, являлся столь же закономерно необходимым, как и захват восставшими общинами земель аристократии. Это был возврат общиной того, что ей принадлежало из века, того, что являлось непременным условием ее существования—основного средства производства—земли и значительной части основной производительной силы общины—женских рабочих рук.

Особо следует остановиться на вопросе об обобществлении рабов, требование, на первый взгляд резко диссонирующее с первобытно-общинными корнями остальной программы исследуемых движений.

Стоит вспомнить в этой связи одно, незаслуженно забываемое, место из той характеристики индийской сельской общины, которую дает Маркс.

«Мы не должны забывать,—писал Маркс в 1853 г. в статье «Британское владычество в Индии»,—что эти маленькие общины были осквернены кастовыми различиями и рабством...»[1].

Анализируя общественные отношения у современных горных племен Северной Индии и Афганистана, мы можем убедиться в глубокой правильности этой характеристики. В высшей степени характерно, что именно «свободные», в наименьшей мере зависимые от соседних феодальных князей, горские общины характеризуются наиболее значительным удельным весом рабства[2]. Первобытные общины гиндукушских кафиров, настолько успешно и долго отстаивавшие свою независимость от соседних феодальных князей, что вплоть до конца XIX века сумели в окружении фанатического ислама сохранить свою древнюю религию, имели многочисленных рабов, делившихся на 2 категории: домашних рабов, живших в домах хозяев, и общинных рабов — ремесленников, занимавших особые кварталы кафирских селений[3]. Туркмены, меньше всех других народов Средней Азии втянутые в систему феодальных отношений среднеазиатских ханств, в наибольшей мере сохранившие политическую автономию и первобыт-

[1] Соч., т. IX, стр. 351.
[2] Биддельф. Народы, населяющие Гиндукуш. Перев. Лесара, Асхабад, 1886, стр. 21, 24.
[3] Robertson, цит. соч., стр. 82 сл., 100 сл.

ные родовые учреждения, являлись одновременно народом, у которого вплоть до XIX века рабство имело наиболее массовое распространение[1].

Если борьба за уклад первобытной общины как в экономике, так и в быту, и сочетавшиеся с ним элементы рабовладельческого строя дала конкретное содержание программ движений Маздака, Хурразада, Муканны, карматов, то этот же уклад дал ту организационную форму, которая сделала эти движения столь широкими, длительными, мощными и, нередко, победоносными, несмотря на их исторически предопределенную обреченность. Первобытные тайные союзы, это самая могущественная организация поздних этапов родового строя, продолжавшая жить веками в рамках рабовладельческих государств Востока, снова выступила на историческую арену, окрасив в свои цвета события целого полутысячелетия, протекшего от восстания Маздака до крушения движения карматов—отдаленных тезок и продолжателей дела карапанов - карибантов, некогда боровшихся против зороастрийских реформ.

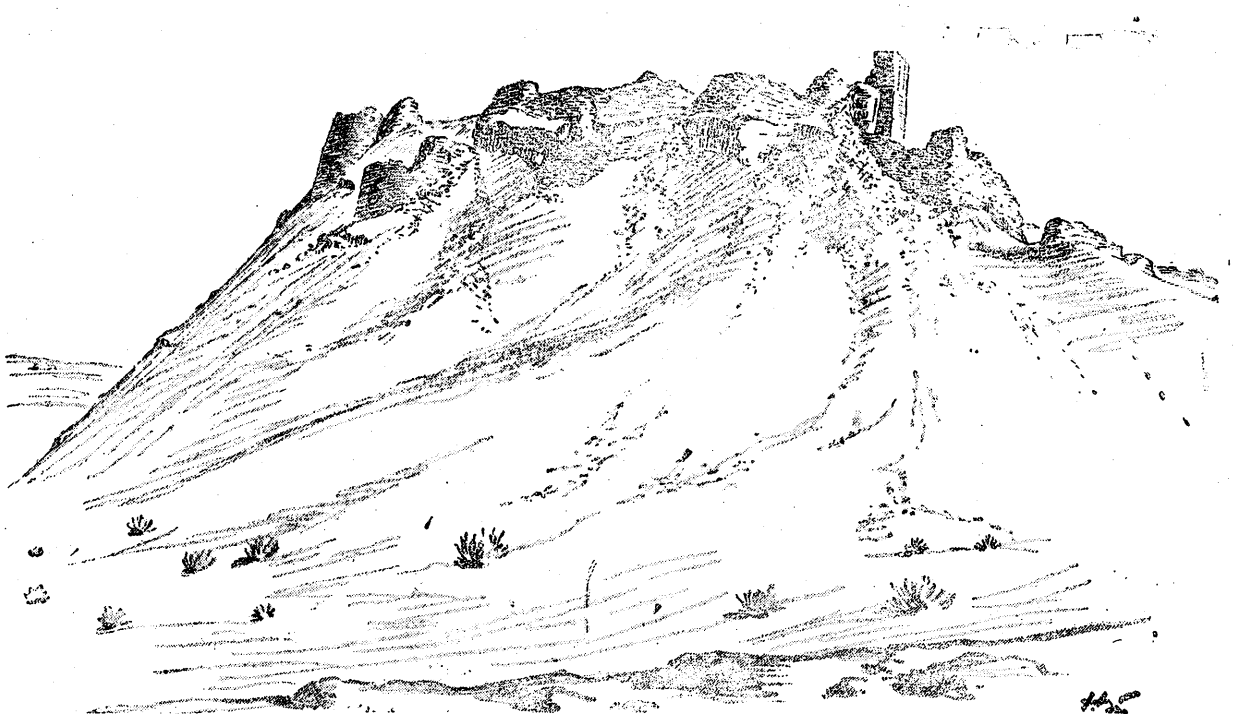
И не случайно удар кинжала карматского убийцы положил конец жизни злейшего врага этих движений, великого везира сельджукских султанов Низам-уль-Мулька, в труде которого впервые нашла развернутое отражение завершившая феодализацию стран халифата бенефициальная система сельджуков-«икта».

В этом акте—последние отзвуки борьбы уже разбитого и обессиленного движения общин против торжествующего крепостничества. Но это торжество было относительным и ограниченным. Ближний и Средний Восток никогда не узнал тех завершенных форм крепостной зависимости, которые знал феодальный Запад. И ключ к этому—в той многовековой, упорной борьбе свободных крестьян-общинников, в которой значительную роль сыграли те широко разветвленные и строго дисциплинированные, общественно-политические объединения земледельцев, которые средневековый Восток унаследовал от далеких эпох первобытности.

[1] ИГАИМК, 103, 1934, стр. 175—178.

ГЛАВА V

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА



Кыз-кала.

ОПЫТ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА

Мы приходим к концу нашего исследования. Читатель видит, насколько еще неполны наши сведения по истории древнего Хорезма. Но, несмотря на их неполноту и фрагментарность, он не может не видеть, что на многие вопросы, гипотетически поставленные нашими предшественниками, может быть дан более или менее твердый ответ, что многие разделы истории древнего Хорезма, совершенно немые еще недавно, начинают постепенно наполняться конкретным историческим содержанием, что, наконец, многие спорные вопросы древней истории Средней Азии в целом в свете вновь добытых хорезмийских материалов могут быть значительно продвинуты к своему разрешению.

Старая и большая, поставленная в свое время Марквартом проблема об Айрьянем-вэджо-Хорезме, еще далека, конечно, от разрешения.

Но мы можем сейчас твердо сказать, что, начиная уже с неолита, Хорезм и, видимо, все юго-восточное Приаралье занимают особое место в истории развития народов Средней Азии, в этногоническом процессе на ее территории.

Приаралье—связующее звено между миром северо-евразийских степей, гористыми странами Передней и южной части Средней Азии и северно-индийской низменностью, узел скрещений восточно-средиземноморских, индийских и северноевразийских элементов, один из важнейших узловых пунктов индоевропейского этно- и глоттогенеза.

Детали еще далеко неясны, но мы все же можем с большим основанием предполагать, что не только иранский, но и более древний этап индоевропейского этногенеза, связанный с образованием хеттоидных и фрако-киммерийских палеоиндоевропейских групп, имеет в Хорезме и Приаралье в целом один из важнейших территориальных узлов. Целый ряд сигналов языкового и культурно-исторического порядка делают эту гипотезу более чем вероятной.

Археологические данные, параллели в доскифской культуре Северного Кавказа и Хорезма (амирабадская и кобяковская культуры) и результаты нашего анализа истории хорезмийского вооружения позволяют нам считать не менее вероятным, что слова Фарасмана Хорезмийского Александру о его соседстве с колхами имели немало оснований, что гипотезы Маркварта, Тарна и других исследователей о большом доахеменидском политическом объединении, с центром в Хорезме, охватывавшем Согд, Сыр-Дарью и простиравшем свою гегемонию на северо-каспийские степи и южную Туркмению и часть Хорасана, — сейчас становятся более вероятными, чем тогда, когда они были высказаны. И вряд ли случайно указание Гекатея на то, что хорезмийские владения начинаются на восток от Парфии, и Геродота — о включении хорасмиев в одну податную провинцию ахаменидской Персии с согдами, ареями и парфянами. Эта провинция, видимо, и конституировалась на базе доахеменидского Хорезмийского царства, точнее военно-демократической конфедерации племен, постепенно переставшей в государственное объединение, с родом сиявушидов во главе. Корни этого процесса, по единогласному свидетельству Бируни и археологии, уходят еще в XIII—XIV вв. до н. э., в эпоху больших конфедераций племен, стоящих у истоков индоевропейского этногенеза.

Завершение этого процесса падает, видимо, на VIII—VII вв., следовательно, хронологически совпадает с началом сложения иранской государственности на границах Двуречья. Именно тогда была создана великая ирригационная сеть Хорезма.

Я думаю, что уравнение Кангха ≐ Хорезм может быть решено в положительном смысле. Кангха Авесты, великое Хорезмийское царство Маркварта и Тарна и Кангюй китайских источников тождественны между собой, связаны цепью непосредственной исторической преем-

ственности. Северное политическое объединение древней Средней Азии оказывается устойчивым, способным вынести всю сложность многократно менявшейся внешне-политической обстановки. Оно сумело, после полуторавекового господства Ахеменидов, самостоятельно вернуть себе к началу IV века политическую независимость, вести самостоятельную политику по отношению к Александру, на протяжении всего периода от Македонского завоевания до падения Греко-бактрийского царства, сохраняя свою роль плацдарма борьбы за независимость среднеазиатских народов. Сюда спасались бегством великий Спитамен и Аршак I Тиридат. Под эгидой Кангхи-Хорезма сложилось основное ядро парфянской империи, возглавленное одной из ветвей хорезмийских сиявушидов. В период гражданской войны в Бактрии в связи с приходом к власти Евкратида — Согд возвращается под власть Кангхи-Хорезма. Кочевые племена политической периферии Кангхи-Хорезма — массагеты, сакараваки, апасиаки Аральского Поморья, тохары Нижней Сыр-Дарьи разрушают Греко-бактрийское царство и кладут основание новому Бактрийскому царству юечжи-кушанов, в I—II вв. н. э. превращающемуся в могучую Среднеазиатско-индийскую империю, включающую в свой состав и древнюю Кангху.

Но еще раньше, на рубеже нашей эры, Кангха-Хорезм восстанавливает политическую традицию IV века, традицию Фарасмана Хорезмийского. Гегемонию Хорезма признают аорсы—аланы Северного Прикаспия и Предкавказья. Отраслью хорезмийских сиявушидов оказывается новая «савроматская» династия Аспургианов на Боспоре. По древним, проторенным еще в неолите, путям Хорезм простирает свою гегемонию на далекое Прикамье, собирая дань пушниной с народа «ари», отдаленных предков удмуртов.

Так приобретает новые контуры древняя история нашей родины. Она выступает перед нами не как совокупность изолированных, спонтанных местных процессов, лишь случайными стихийными связями воздействовавших друг на друга, а как единый процесс, находящий свое выражение в образовании единой, могучей системы скифо-массагетских поздне-эллинистических государств, управлявшихся ветвями единой династии сиявушидов, традиция единства которой находит свое отражение в армянской концепции «четырех аршакидских домов».

Боспор и Иберия, Армения и Парфия, Кангха-Хорезм и Индоскифская империя великих кушанов — вот тот консолидировавшийся к началу нашей эры политический каркас, вокруг которого шла группировка далеких и близких племен Великой Скифии, во многом подготовившая последующие процессы консолидации огромной территории нашей страны в средние века.

Таковы встающие сейчас перед нами основные, еще очень грубые контуры политических событий древней истории Средней Азии и сопредельных стран.

Контуры социально-экономической и культурной истории древнего Хорезма и его соседей также еще во многом туманны, но основные их черты выступают со значительно большей отчетливостью.

Перед нами весьма примитивное в своей основе общинно-рабовладельческое общество с мощными пережитками родового строя — матриархата и других элементов первобытнообщинной формации (дуальная организация, мужские дома и союзы и т. д.). Перед нами архаическая восточная деспотия со многими чертами древней авестийской военной демократии. И вместе с тем, это общество, сумевшее достигнуть сравнительно высокого уровня общественного разделения труда, сумевшее развить интенсивную городскую жизнь, ремесло, торговлю — внутреннюю и внешнюю, широко развернуть колонизационную деятельность.

Культура античного Хорезма несет в себе типологические признаки древневосточных цивилизаций. Лишь некоторые из этих черт могут быть объяснены культурными реминисценциями, исторической традицией. Большей частью это результат тождества социальной базы, на которой воздвигалось здание хорезмийской цивилизации. И если укрепления Хорезма эллинистического времени ведут нас в Шумер XXV в. до н. э. или архаический Египет, если облик могучего акрополя Топрак-калы и простертого у его подножия города вызывает перед нами образы храмов и дворцов Великой Ассирии, если стиль статуэток Джанбас-калы так живо напоминает нам пластику Древнего Востока, то в этом мы не можем не видеть результата исторической жизнедеятельности общества, которое в совсем иную эпоху, и почти совершенно самостоятельно, воспроизвело на далеком Приаральском Севере основные черты древневосточного социального строя и древневосточной цивилизации.

И эта, выросшая из хорезмийских болот, культура «Среднеазиатского Египта», оказывает мощное влияние на еще более далекие страны Севера.

Древние, восходящие к неолиту узы культурных связей со степями и лесами Восточной Европы и Зауралья получают теперь новое содержание. Как под влиянием колоний Согда развиваются области далекого восточного Туркестана, так в далеком Прикамьи скрещиваются влияния Хорезма и эллино-скифского Причерноморья.

Здесь, в Кангхе-Хорезме, происходит та вели-

кая революция в военном деле поздней античности, возникает тот синтез скифской и греческой тактики, который накладывает свой отпечаток на всю дальнейшую военную историю Средневекового Запада и Востока. И пути распространения этой новой тактики — в Парфию, в Сарматию, через Фергану — в Китай отражают основные направления культурных влияний античной кангхско-хорезмийской цивилизации.

Здесь, в Кангхе-Хорезме, лежит один из древнейших очагов зороастрийской религии, уходящей своими глубочайшими корнями в неолитический культ неугасимого очага, в дуализм фратрий быка и змея-коня, в борьбу фратриальных жреческих корпораций кави и карапанов. Дважды — в незапамятные времена племенных союзов бронзового века — и в дни парфянской религиозной реставрации, Кангха-Хорезм оказывает сильное влияние на развитие религиозной идеологии Ирана.

Археологические данные раскрывают перед нами обогащенную многими деталями картину позднейшей истории Хорезма и Средней Азии в целом. Мы видим намечающийся уже в IV—V вв. кризис античной системы: отраженный в керамике упадок городского ремесла, отраженный в нумизматике политический распад кушанской империи, отраженное в планировке сельских поселений разложение родовой общины, распадающейся на большесемейные патриархальные фамилии, из среды которых начинает уже во II веке расти слой землевладельчески-рабовладельческой аристократии — будущих дихканов времен арабского завоевания. Это время, когда воздвигается замок деспота Африга—символ наступления новой системы общественных отношений, новой полосы политического развития — периода переходного от общинно-рабовладельческого к феодальному строю.

Если в IV—V вв. мы видим лишь симптомы грядущих перемен, грань V и VI вв. и в Хорезме, и в Средней Азии в целом, и в Иране является гранью двух социальных эпох—античности и средневековья.

Движение Маздака в Иране неотделимо от тех пока еще не вполне ясных движений антифеодального порядка, которые связаны в Средней Азии с попыткой реставрации Кушанской империи, осуществленной под гегемонией кидаритско-эфталитских гуннов, государство которых, как некогда государство кушановюечжи, на первых этапах своего развития складывается под влиянием политических традиций Кангхи-Хорезма. Отсюда начинается длинная полоса народных движений маздакитского порядка, в которых растущей в сторону феодализма поземельной аристократии противостоит антифеодальное движение общин, часто блокирующееся с живущей еще древними общинно-рабовладельческими традициями, государственной властью царей-жрецов старых городских царств, управляемых отпрысками династии сиявушидов. Древнее имя Кан, память о древнем хорезмийском центре страны, традиционная чеканка хорезмийских монет, сохранявших до конца VIII века эллинистический тип и образ Сиявуша, — все это свидетельствует нам о том, как сильны еще были античные политические традиции в эпоху арабского завоевания.

Маздак, эфталиты, Абруй, Хурразад, Абу-Муслим, Муканна, карматы — вот неполный перечень звеньев этой цепи народных антифеодальных войн, проходящих через полутысячелетнюю эпоху борьбы двух миров, завершающуюся к XI в. победой феодализма, обузданного, однако, пятисотлетней борьбой общин и никогда не отлившегося в законченно-крепостнические формы, как на Западе.

Археологические свидетельства этой эпохи — в упадке городской жизни и переносе центра тяжести общественной жизни в деревню, в замок аристократа, в продолжающемся упадке городского ремесла, в резком сокращении ирригационной сети. Новые социальные отношения ярко выступают в образе укрепленного замка с могучим донжоном. Политическая раздробленность встает перед нами в пестроте монетной чеканки Средней Азии, всюду, за исключением Хорезма, отражающей иноземные влияния—китайцев в Согде, сасанидов в Бухаре и т. д. Культурная раздробленность отчетливо рисуется в том многообразии форм материальной культуры различных частей Средней Азии, ярче всего отраженном в керамике, которое приходит на смену относительно однотипному материалу античного Хорезма, Ферганы, Шаша, Согда, Термеза.

Бури внутренней истории проходят в неразрывной связи с цепью внешних интервенций — тюрков и персов, разрушивших государство эфталитов, тюрков и китайцев, подавивших движение Абруя, арабов, раздавивших движение Хурразада в Хорезме, Муканны — в Согде, наконец, караханидов и сельджуков, с движениями которых связано завершение процесса феодализации Средней Азии. Эти столетия бурь проносятся над Хорезмом, отодвигая его на второй план в политической жизни Средней Азии, но не мешая ему укреплять и развивать хозяйственные и политические связи с далеким севером, не упуская, при благоприятной ситуации, вновь вмешаться в хорасанские, мавераннагрские, хазаро-болгарские и даже русские дела.

И когда проходит это бурное время становления феодализма, далекий Хорезм, с его прочными, традиционными политическими связями, с его закаленным в войнах в степях Туркмении, Казахстана, Поволжья войском, с накопленны-

ми вековой торговлей со степью и тайгой богатствами, — вновь поднимает голову. Его правители — шаг за шагом политически консолидируют тяготеющие хозяйственно к Хорезму земли, активно вмешиваются в политические смуты Мавераннагра и Хорасана, умело используют тяжелую ситуацию кара-китайского нашествия. Так строится Хорезмская Средневековая империя, так закладываются основы хорезмшахского ренессанса. Старый сиявушидский всадник появляется на монетах Великих Хорезмшахов, символизируя этот ренессанс. Цепи укреплений, вытянувшихся по границам Хорезма и далеко на юг по военным и торговым путям в Хорасан и Мавераннагр, развалины сигнальных башен выступают перед нами как остатки скелета этого могучего государства. А внутри развалины селений и городов, декоративно переродившаяся частная фортификация, новое расширение ирригационной сети, богатый расцвет художественных ремесел рисуют перед нами эпоху хозяйственного и культурного расцвета, политической стабилизации, общего подъема.

И лишь страшная катастрофа монгольского погрома обрывает эту восходящую линию развития феодальной Средней Азии под гегемонией шахов Хорезма. Эта катастрофа, пронесшаяся и над другими странами нашей родины, одновременно с Средней Азией переживавшими полосу хозяйственного, политического и культурного подъема, — над Владимиро-Суздальской Русью, над Болгарами, над цветущей Грузией Тамары, снова роднит эти страны, связывая их общей судьбой, единой героической миссией спасения европейской цивилизации от монгольского варварства.

Если вглядеться в дальнейшую историю Средней Азии, то мы увидим, что достижения тысячелетий истории Хорезма не прошли для нее даром. В золотоордынской империи Узбека реализуются политические тенденции последних афригидов и ургенчских эмиров X в. Пути походов хорезмийцев на Булгар и Итиль, и древние хозяйственные связи с Восточной Европой воспроизводятся в огромных масштабах. Сарай-Берке — этот отпрыск Хорезма на восточно-европейской почве становится столицей огромной Восточно-европейско-аральской империи, прообраз которой заложен уже в царстве хорезмийца Фарасмана, соседа колхов и амазонок.

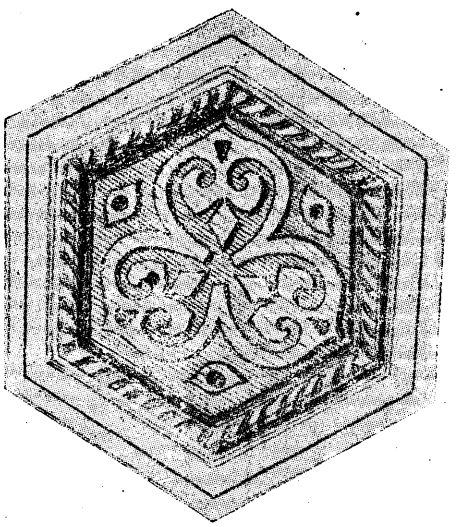
В государстве Тимура—могучей попытке возрождения политической централизации, обуздания силами абсолютной монархии развязанных монголами разрушительных тенденций феодальной раздробленности — мы, в свою очередь, видим довершенным многое, начатое Атсызом, Текешем и Мухаммедом. Хорезмские мастера возводят мощные архитектурные сооружения, в которых в гигантских масштабах воспроизводятся творения художественного гения архитекторов Великих Хорезмшахов. Как некогда Мухаммед перенес свою резиденцию в Самарканд, в центр своих новых владений, Самарканд избирает своей столицей и шахрисябзец Тимур. Да и политические границы основного ядра империи Тимура почти полностью повторяют границы империи Мухаммеда.

Так невольно, вопреки своей политической доктрине, потомки монголов, Узбек и Тимур, становятся продолжателями дела хорезмшахов IX—X и XI—XIII вв. Но дорогой ценой заплатил за это сам Хорезм, многократно разгромленный полчищами великого среднеазиатского полководца. Создание нового центра в Самарканде в свое время привело и Мухаммеда к конфликту со старохорезмийской партией Туркан-хатун. Этот конфликт в расширенном виде воспроизводится в эпоху Тимура. Противоречие между феодально-племенной аристократией кочевых и полукочевых кыпчакско-канглийских племен, возглавляемой Туркан-хатун и опирающейся на прогрессивные группы феодалов оседлых районов партией Мухаммеда, сыгравшее столь значительную отрицательную роль в период борьбы Хорезмшахов с монголами, с неизмеримо большей остротой выступает в период жестокой социальной борьбы в Чагатайском государстве, не говоря о государстве Джучидов. Отсталые военно-феодальные элементы полукочевых тюрко-монгольских племен являлись движущей силой того процесса политического распада и нарастания феодальной анархии, который окрашивает в свои цвета историю Средней Азии последующих столетий. Как расположенный в IX—X вв. на периферии политических ураганов эпохи становления феодализма, Хорезм мог использовать это положение для накопления сил для широкой экспансии XII—XIII столетий, так, попав в XIV веке в самый центр жестокой борьбы золотоордынских и самаркандских наследников Хорезмшахов— Хорезм стал жертвой этой борьбы, последствия которой остались неизжитыми на всем протяжении позднего Средневековья. Хотя феодальный Хорезм и знал еще два периода относительного подъема—во второй половине XVII в. при Абуль-Гази и в первой половине XIX в. — при первых кунгратах, хотя, как и в других частях Средней Азии, XVI—XIX вв. являются и здесь периодом значительного развития ирригации, градостроительства, подъема торговли, связанного с ростом политической централизации, вновь и вновь обуздывавшей тенденции феодальной раздробленности,— Хорезм все же не был в состоянии подняться над уровнем отсталого провинциального угла Средней Азии, своеобразного осколка раннего Средневековья. То, что было источником

силы Хорезма на заре феодализма — живость общинно-рабовладельческих традиций, торговля со степью, как база расцвета хорезмийских городов, закалявшие хорезмийских воинов походы против кочевников,—стало теперь базой отсталости и застойности общественного уклада Хорезма.

Только Великая Октябрьская социалистическая революция открыла перед народами Хорезмского оазиса—узбеками, туркменами, каракалпаками—широкую дорогу хозяйственного и культурного возрождения, навсегда ликвидировав мрачные последствия монгольского нашествия, разрушительных походов Тимура и последующих феодальных междоусобий.

Русский народ, возглавивший победоносную борьбу народов России против феодально-капиталистического и национального гнета, призвавший все народы Советского Союза к равноправному участию в строительстве нового, социалистического общества, новой, социалистической цивилизации будущего, ставшего для нас настоящим, сторицей оплатил исторический долг народов Европы перед народами Востока, которым европейцы столь многим обязаны в развитии своей культуры, в чем не малая роль принадлежит пока еще недостаточно известной, но уже не мало рассказавшей нам цивилизации древнего Хорезма.



ADDENDA

К стр. 14—Вопрос о хорезмско-хазарских отношениях в VIII—X вв. подробно разработан нами в нашей статье «Новогодний праздник «каландас» у хорезмийских христиан XI века», СЭ, 1946, № 2, где мы пытаемся обосновать тезис о роли хорезмийских иудействующих эмигрантов в юдаизации Хазарии и о кратковременном политическом объединении Хазарии и Хорезма в середине VIII в. н. э., традиции которого сохранялись и позднее. (См. ниже дополнения к стр. 17, 185—189 и 318—319).

К стр. 17—Цитируемое свидетельство венгерских хронистов специально разобрано нами в статье «Хорезмийская генеалогия Самуила Абы» (СЭ, 1947 № 1), где мы обосновываем дополнительными аргументами наше положение о хорезмийском происхождении «каваров» Константина Багрянородного, в которых мы видим потомков упомянутых в доп. к стр. 14 хорезмийских эмигрантов, бежавших в Хазарию в VIII в. В рассказе о браке «сына Аттилы» Хабы с хорезмийкой мы видим попытку увязать хорезмийскую генеалогию каварских вождей, один из которых, Самуил Аба, в середине XI в. стал королем Венгрии, с книжной традицией об Аттиле.

Историческим ядром сказания о бегстве апокрифического сына последнего Хабы из «Паннонии» в «Скифию» является, по нашему мнению, бегство предков каварских князей из Хорезма в Хазарию после 712 г. н. э., что находится в полном соответствии с абсолютной хронологией событий, даваемой Кезаи, относящего события царствования Аттилы к началу VIII века.

К стр. 23—Во время наших работ 1945—46 гг. (см. ниже дополнение к стр. 32) по изучению староречий Сыр-Дарьи в Северных Кзыл-Кумах—Жаны-Дарьи и Куван-Дарьи, нам удалось выяснить, что эта территория, как мы и ожидали, в древности не представляла собой единого хозяйственного и культурного массива, который мог бы быть противопоставлен Хорезму, как возможный центр Кангюйского царства. Мы можем четко выделить здесь 5 комплексов античных памятников, один из которых, древнейший, видимо, принадлежит культуре массагетов (овальное городище Чирик-рабат); два—один к западу (Барак-там), другой—к СВ (Бабиш-мулла) от Чирик-рабата—представляют собой варианты хорезмийских памятников кангюйско-кушанского времени; один, позднеантичного и афригидского времени, принадлежавший гуннотюркским племенам Восточного Приаралья (к югу от Казалинска), испытал сильное влияние как позднекушанской, так и афригидской культуры Хорезма; только один—расположенная на верхнем отрезке Куван-Дарьи группа развалин Джеты-Асар—оставлен оседлым земледельческим народом, стоявшим на том же уровне, что и хорезмийцы кангюйского времени, но имевшим значительные черты своеобразия в своей культуре, по некоторым признакам тяготеющей к античной культуре области Ташкента и Ферганы.

К стр. 31—Со времени сдачи настоящей книги в печать нами было издано еще несколько публикаций материалов экспедиции 1937—40 гг. и статей, связанных с этими материалами. Отметим:

Топрак-кала (к истории позднe-античного хорезмийского города) ИОИФ 1944, № 4.

К истории Хорезмийских сиявушиков (новые данные по нумизматике древнего Хорезма) ИОИФ, 1945, № 4.

Древний Хорезм (тезисы). КСИИМК, 1946, XIII.

Новые материалы по истории культуры Древнего Хорезма, ВДИ, 1946, № 1.

Хорезмская археолого-этнографическая экспедиция АН СССР, 1945 г. ИОИФ, 1946, № 1.

On the Deserts of Khwarizm. The Asiatic Revien vol. XL № 144, October 1944.

A Khwarizm City of the Classical Period. Idem vol. XLII, № 150, April 1946.

The Early Culture of Khwarizm. Antiquity № 78, June 1946.

Некоторые вопросы, касающиеся археологических памятников Хорезма, затронуты нами в нашей брошюре «Древняя культура Узбекистана», Ташкент, 1943, узбекский перевод: Узбекистоннинг кадимги маданияти, Тошкент, 1944.

Посланный МОИИМК по запросу Информбюро в 1941 году в Америку мой отчет о работах 1940 года был переведен на английский язык и опубликован H. Field-ом и E. Prostov'ым в American Journal of Archaeology за 1943 год.

К стр. 32—(1). Полевые работы экспедиции, прерванные Великой Отечественной войной, возобновились в 1945 г. и продолжались в 1946 г.

В 1945 г. экспедиция (Нач. С. П. Толстов, заместитель нач-ка Я. Г. Гулямов), организованная институтами Истории Материальной Культуры и Этнографии АН СССР с участием Истфака МГУ, Академии Наук Уз. ССР и Кара-Калпакского научно-исследовательского института, работала в течение 4 месяцев (август—ноябрь) в составе одного археологического и трех этнографических отрядов (двух—по изучению каракалпаков—руководители Т. А. Жданко и А. С. Морозова, и одного по изучению русского старожилого населения дельты, руководитель Е. Э. Бломквист).

Археологические работы экспедиции развернулись в трех направлениях: 1) было продолжено изучение памятников первобытной культуры Хорезма в районе Джанбас-кала и по линии маршрута Джанбас-кала—Топрак-кала. В районе Джанбас-кала было открыто 11 новых стоянок, в том числе несколько принадлежащих новой культуре позднебронзового века, названной нами Су-ярганской (см. ниже, дополнение 2 к

стр. 32). Были завершены раскопки неолитической стоянки Джанбас-кала № 4 (см. ниже, дополнение к стр. 62) и начаты раскопки стоянки Су-Ярганской культуры Джанбас-кала № 6. 2) Были продолжены рекогносцировочные раскопки античного городища Топрак-кала (заложены 2 раскопа на верхней площадке дворца-замка города—см. ниже доп. к стр. 120 сл.). 3) Было начато рекогносцировочное обследование Северо-Восточной окраины Кара-Калпакии, между г. Тахта-Купыром и низовьями старого русла Сыр-Дарьи—Жаны-Дарья. Здесь было открыто, помимо нескольких местонахождений бронзового века, два комплекса позднеантичных памятников: Курганча-кала (в 20 км к В от Тахта-Купыра и «Барак-Там» в 150 км от Тахта-Купыра, в урочище Джетым-Сенгир, близ СВ границы Каракалпакии. (Краткую информацию об итогах работ см. в нашей статье «Хорезмская арехолого-этнографическая экспедиция Академии Наук СССР 1945 г., ИОИФ, 1946, № 1).

В 1946 г. (начальник экспедиции С. П. Толстов, заместители нач-ка экспедиции М. А. Орлов и Я. Г. Гулямов) работы были развернуты в очень широком масштабе. Экспедиция, организованная теми же учреждениями, что и в 1945 г., работала в составе двух археологических (руководители С. П. Толстов и Я. Г. Гулямов) и трех этнографических отрядов (двух по изучению узбеков—руководители К. Л. Задыхина и М. В. Сазонова, и одного по изучению каракалпаков—руководитель Т. А. Жданко) с общим составом научных и научно-технических сотрудников в 29 чел., в течение четырех месяцев (июль—октябрь).

Работами 1946 г. можно считать открытым новый этап работ экспедиции (работы 1945 г. являлись, по существу, подготовкой работ 1946 г.), связанного с 1) постановкой больших раскопок отдельного крупного памятника, в качестве какового была, после трех сезонов рекогносцировочного изучения (1938, 1940, 1945), избрана Топрак-кала (см. выше стр. 120 сл.).

2) Выходом в разведочных работах на дальние окраины Хорезма и смежные территории (Устюрт, Северные Кзыл-Кумы, Нижняя Сыр-Дарья).

Раскопкам 1946 года на Топрак-кала был подвергнут дворец-замок правителя города. Из 9 000 кв. м. площади дворца было вскрыто около 2 000, причем было раскопано 28 комнат, расположенных в трех этажах. Культурный слой датируется кушанским временем (III в. н. э.). В большинстве комнат были открыты многокрасочные стенные росписи (см. ниже, дополн. стр. 120 сл.).

Параллельно раскопкам Топрак-кала отряд под руководством Я. Г. Гулямова завершил раскопки Су-Ярганской стоянки Джанбас-кала № 6 (см. ниже, дополн. 2 к стр. 32).

Разведочные работы, впервые в практике экспедиции построенные на базе широкого применения авиации, охватили 4 района:

1) Земли древнего орошения Турткульского и Шаббасского районов КК АССР, являвшиеся основным объектом наших работ с 1937 г.; здесь была произведена авиасъемка ранее обследованных памятников, а также окончательно выяснены некоторые, остававшиеся после наземных работ неясными, детали структуры древней ирригационной сети (см. ниже дополн. к стр. 46).

2) Юго-Западная часть плоского-горья Устюрт до развалин Алан-кала на запад и развалин Белеули на север: работы велись с базы в районе мыса Урга у ЮЗ угла Аральского моря, откуда был сделан ряд вылетов в глубь плато и вдоль Восточного Чинка (обрыв Устюрта) с посадками в районах наиболее интересных памятников.

Важнейшими достижениями экспедиции здесь надо считать открытие: 1) сложной системы каменных крепостей и сигнальных башен X в. вдоль Чинка Устюрта, образовавших сильный оборонительный рубеж Хорезма, 2) двух торговых путей X—XI вв., один из которых шел обходя с юга шор Барса-Кельмес на Мангышлак, второй—через развалины Белеули на ССЗ на Среднюю Эмбу, Урал и Волгу. Этот последний путь, по которому в начале X века ехал Ибн-Фадлан, был во второй половине того же столетия оборудован великолепными караван-сараями из тесаного камня и колодцами, облицованными камнем, на расстоянии друг от друга примерно в 25 км—нормальный переход каравана. Развалины Белеули являются наиболее выдающимся памятником этой группы. Это—укрепленный караван-сарай конца X—XI века, построенный из прекрасно отесанного светложелтого ракушечника. Помещения внутри расположены в 2 этажа. По углам—круглые башни, вход оформлен в виде высокого портала со стрельчатой аркой. В тимпанах портала—два изображения львов, выполненные в плоском рельефе и в сасанидской манере. Этот наиболее ранний памятник средневековой каменной архитектуры Средней Азии и один из наиболее ранних памятников зданий портальной конструкции, являясь как в отношении конструкции, так и скульптурного оформления уникальным, представляет исключительный интерес.

В целом устюртские работы выявили факт исключительной активности Хорезма во второй половине X века в направлении Хазарии. Характер сооружений, которые могли быть созданы только государством, подтверждает указание ал-Макдиси о подчинении Хазарии первым хорезмшахом Ургенчской династии ал-Мамуном, причем эта «дорога Хорезмшахов», не уступающая знаменитым «царским дорогам» ахеменидов, свидетельствует о значительно большем масштабе политической активности Хорезма в Хазарии, чем это можно было ранее предполагать.

Вилимо, лишь завоевания газневидов и сельджуков в XI веке, нанесшие жестокие удары Хорезму, помешали созданию Хорезмско-Хазарского государства. В этой связи небезынтересно пересмотреть вопрос о причинах ухода Святослава с Нижнего Поволжья. Думаю, что не в «трудностях печенежского соседства» тут дело, как думает А. Ю. Якубовский (О русско-хазарских и русско-кавказских отношениях в IX—X вв., ИОИФ, 1946, № 5, стр. 472). Печенеги, центр которых в это время передвинулся на Запад и борьба с которыми стоила в конце концов Святославу жизни, не помешали ему предпринять грандиозную попытку завоевания бассейна Нижнего Дуная. Вероятнее, в свете наших материалов, искать причину этого «ухода Святослава» в активном выступлении Хорезма в борьбе за «хазарское наследство».

3) Северная окраина Ташаузской области Туркмении и примыкающий отрезок Чинка Устюрта (к В от Куня-Ургенча). Работы велись с базы в г. Нукусе, откуда был сделан ряд вылетов. Был вновь обследован, на этот раз с воздуха (с посадкой в Шах-Сенем и авиасъемкой памятников), район древнего канала Черменяб.

Из открытий, связанных с этой работой, наиболее важным является определение положения города Везира, позднее-средневекового центра Западного (Сары-Камышского) Хорезма, посещенного в XVI в. английским путешественником Дженкинсоном. Это—городище Дэв-Кескен на ЮВ мысу Устюрта, топография и планировка которого в точности, до мелких деталей, совпадают с описанием Дженкинсона.

4) Жаны-Дарья и Кувен-Дарья.—Наиболее крупным был этот последний маршрут, в котором авиационные работы были соединены с наземными (автомашины экспедиции прошли на Восток до развалин Джан-кала, где была создана основная база работ). Отсюда были проведены авиамаршруты вдоль Жаны-Дарьи до границ культурной полосы в районе Кзыл-Орды и на север, в урочище Джеты-Асар и г. Джусалы, откуда на запад, через Казалинск—в район, примыкающий к этому городу с юга—район

древней дельты Сыр-Дарьи, с возвращением вдоль Куван-Дарьи.

В процессе этих работ было открыто около 200 памятников различных эпох, от середины I тысячелетия до нашей эры—до начала XIX века. Для наземного обследования памятников было сделано 44 посадки в исключительно трудных условиях.

Памятники могут быть разделены на 6 групп:

1) массагетские городища середины I тысячелетия до н. э. в районе Чирик-Рабат.

2) Хорезмийские античные укрепления и поселения первых веков до н. э. в районе Бабиш-Мулла.

3) Памятники античной культуры Нижней Сыр-Дарьи первых веков до н. э. в урочище Джеты-Асар—20 укрепленных родовых домов-массивов, типа, сходного с такими памятниками, как Кюнерли-кала, древнейший Шах-сенем, Ак-тепе и др. (см. выше стр. 102, рис. 36—37) и 3 города.

4) Позднеантичные и ранне-средневековые городища восточного Приаралья, керамика которых в своей основной массе обнаруживают черты сходства с керамикой памятников тюркских племен Семиречья и Южной Сибири, наряду с чем представлена в небольшом количестве типичная хорезмийская керамика кушанского и афригидского периодов.

Эти крупные укрепленные поселения в болотистой древней дельте, стены и постройки которых возведены из сырца, но отличаются от Хорезмийских крайней нерегулярностью планировки, видимо, должны быть отнесены к гунно-тюркским племенам Приаралья, впоследствии выступающим под именами огузов и печенегов.

Если обилие костей мелкого рогатого скота, лошадей и верблюдов говорит о крупнейшей роли скотоводства в хозяйстве этих племен, то грандиозные укрепленные поселения с сырцовыми постройками и расположение их в дельте по берегу моря свидетельствуют если не о полной оседлости, то о полуоседлости этих племен, видимо, имевших комплексное скотоводческо-рыболовческо-земледельческое хозяйство, впоследствии в наибольшей мере сохраненное каракалпаками. Таким же городищем, укрепленным в X в. по хорезмийскому образцу, является ранне-средневековый город Янгикент (городище Джанкент), бывшее, по данным письменных источников, столицей огузов в Сыр-Дарьинский период их истории.

5) Обширный комплекс средневековых памятников, центром которого являются развалины средневекового города Дженда—ныне развалины Джан-кала, в 140 километрах к западу от Кзыл-Орды, на среднем отрезке Жаны-Дарьи. Это—развалины крупного города XII—XIV вв. с рядом сохранившихся сырцовых зданий (постройки из жженого кирпича были разобраны кочевниками-казахами для сооружения их гробниц). Сохранившееся значительно западнее Дженда, недалеко от Чирик-рабата, сооружение того же времени—мавзолей Сарлы-Там, благодаря своему положению в густом саксаульном лесу избегнувший разрушения, по типу очень близок к ранним памятникам Куня-Ургенча, что позволяет предполагать тот же тип архитектуры в Дженде.

Керамика и другие находки в Дженде ничем не отличаются от таковых с памятников средневекового Хорезма (Кават-кала, Куня-Ургенч и др.) и относятся к хорезмшахской и хорезмийско-джучидской культурам нашей классификации. Это подтверждает сведения письменных источников о том, что Дженд являлся одним из восточных форпостов Хорезма.

6) Каракалпакские памятники XVIII—XIX вв.—Это, прежде всего, грандиозная система ирригации, созданная каракалпаками совершенно заново, т. е. древние каналы ко времени их поселения на Жаны-Дарье и Куван-Дарье уже не функционировали. Это—огромные плотины, возведенные из глины и саксаула, крупные магистральные каналы, тянущиеся на десятки километров, густая оросительная сеть и многочисленные остатки поселений—кольцевые валы, окружавшие подножия юрт, развалины глинобитных хозяйственных построек, иногда—довольно крупные укрепленные усадьбы родовых старшин-полуфеодалов, из которых наиболее крупными и эффектными являются развалины большой укрепленной усадьбы Каракалпак-кала, примерно в 50 км к западу от Чирик-рабата. Старые каракалпакские орошенные земли охватывают весь бассейн Жаны-Дарьи и Куван-Дарьи. В особенности густы остатки каракалпакской культуры в междуречьи среднего течения обоих старых русел. Эта территория в целом значительно превосходит современную основную территорию каракалпакского земледелия, являясь величественным памятником трудовых подвигов предков каракалпаков, дважды за несколько столетий построивших огромные ирригационные системы и освоивших обширные территории для земледелия, крайне трудные для освоения при тех технических средствах, которыми каракалпаки располагали.

Авиаразведки производились летной группой экспедиции в составе начальника С. П. Толстова, научных сотрудников М. А. Орлова и В. И. Пентмана, на которых была возложена и аэросъемка, художника Н. П. Толстова (в некоторых полетах первого и третьего циклов принимал участие Б. В. Андрианов), пилотов: ведущие пилоты зам. начальника Нукусского авиаотряда Узбекского Управления Гражданского Воздушного Флота Е. В. Поневежский (первый и второй циклы), И. И. Ялавкин (второй, третий и четвертый циклы); пилоты вторых самолетов А. П. Белей (первый и второй цикл), М. Расулев (третий цикл) и Н. Д. Губарев (третий и четвертый циклы) и бортмеханики П. Кокорин и В. Щербак, шоферы автомашин И. Н. Иванов и Н. С. Горин.

Всего авиамаршрутами было покрыто около 10 000 километров.

К стр. 32 (2)—Сейчас классификационная таблица этапов развития первобытной культуры Хорезма должна быть дополнена открытой в 1945—46 гг. культурой поздне-бронзового века, су-ярганской культурой, которая должна быть поставлена между тазабагъябской и амирабадской, вероятно, частично сосуществуя с первой, и датируется последними столетиями II тысячелетия до н. э.

Су-ярганская культура характеризуется лощенной и раскрашенной в красный, желтый и черный цвета плоскодонной глиняной посудой, изредка с черной росписью по красному фону и грубыми каменными орудиями макролитоидного облика, сделанными из песчаника. Были и медные орудия, но пока найден лишь один небольшой фрагмент такого орудия, так что судить об их форме пока нельзя.

По находкам в раскопках стоянки этой эпохи можно заключить, что обитателям ее были известны земледелие (поирригационного, каирного типа) и скотоводство.

Жилище имело значительные размеры, овальный план и столбовую конструкцию, сближаясь в этом отношении с постройками кельтеминарской культуры. В противоположность кельтеминарскому дому, постройка была возведена на древнем погребенном такыре (см. ниже, дополнение к стр. 40—42).

Отличаясь значительным своеобразием, эта культура имеет вместе с тем некоторые черты сходств с культурой Анау (южная Туркмения), больше всего—с т к наз. Анау II, и может рассматриваться как хорезмийский вариант земледельческих «культур крашеной керамики» ближнего и среднего Востока. Этот факт имеет существенное значение, т. к. ранее открытые кельтеминарская и тазабагъябская культуры характеризуются иными традициями и связями, ведущими прежде всего на Север—в Прикамье, Приуралье, Казахстан и Сибирь.

Отмечавшиеся нами ранее (см. выше, стр. 69) в Кельтеминаре и Анау признаки, говорящие о взаимодействии народов—носителей этих культур, находят в откры-

тии Су-ярганской культуры новое подтверждение. Это открытие позволяет предположить, что на территории Хорезма сталкивались племена различных культурных областей—южной древнеземледельческой и северной — рыболовно-скотоводческой. Из синтеза этих элементов формируется впоследствии хорезмийский народ и на базе скрещения северной и южной культур (первым этапом которого является уже культура амирабадская, одними элементами восходящая к тазабагъябской, другими—к су-ярганской традиции) создается цивилизация античного Хорезма (см. там же ниже, дополнение к стр. 65 и 69).

К стр. 40—42—Открытие памятников су-ярганской культуры, особенно раскопки стоянки Джанбас-кала № 6 (см. выше, доп. к стр. 32 (2), равным образом как дальнейшее исследование топографии и стратиграфии памятников кельтеминарской и тазабагъябской культур позволяет внести существенное дополнение в наши выводы, касающиеся истории окружавшего древних хорезмийцев ландшафта.

Во-первых, как выяснилось из дополнительного изучения перекрывающих стоянку Джанбас-кала № 4 песчано-глинистых отложений, лежащих между культурным слоем и такыром, стоянка была затоплена вскоре после того, как была заброшена, т. е. около рубежа IV и III тысячелетий.

Во-вторых, вновь открытые стоянки тазабагъябской культуры частично расположены на такырах того же типа, что и перекрывающий кельтеминарскую стоянку.

И, наконец, в третьих, на таком же такыре расположена су-ярганская стоянка Джанбас-кала № 6, затем засыпанная песком и перекрытая новым слоем такыра.

Все это позволяет притти к заключению о двух периодах затопления на протяжении IV—I тысячелетий до н. э., первый из которых, судя по мощности отложенных такыров, значительно более длительный, падает на III тысячелетие; второй, сравнительно кратковременный, на рубеж II и I тысячелетий до н. э.

Сопоставление этих дат с абсолютной хронологией климатической истории Европы позволяет связать первое затопление с рубежом атлантического и суббореального периодов (ок. 2500 до н. э.); второй—с заключительной фазой последнего.

Если для Европы, степень влажности климата которой зависит от влияния атлантического бассейна, атлантический и субатлантический периоды были периодами повышения влажности, то естественно ожидать обратной картины для Средней Азии, количество осадков которой определяется прежде всего режимом Ледовитого океана. Резкое повышение влияния Арктики на климат Евразии в начале суббореального периода не могло не вызвать: 1) изменения направления ветров—если в кельтеминарскую эпоху, соответствующую субатлантическому периоду, преобладали сухие южные ветры, то теперь начинают преобладать влажные, северные; 2) сильное повышение влажности климата, откуда затопление района верхней дельты Аму-Дарьи.

Дальнейшие колебания уровня вод в изучаемом районе могут быть объяснены уже историей русла реки, видимо, незадолго до максимума суббореального периода прорвавшейся через западный отрезок Султан-Уиз-дага, проложив современное главное русло, неизбежным следствием чего было временное осушение Су-Ярганских такыров, вновь затопленных, на этот раз на короткое время, в период максимума суббореального периода, соответствующего последней Аральской трансгрессии.

Весьма вероятно, что именно период, падающий на вторую половину II тысячелетия до н. э., период освобождения верхней дельты Аму-Дарьи от озерных вод, создало благоприятные условия для движения на север, по всей вероятности, по системе Мургаба, южных земледельческих племен, занявших освободившееся от вод пространство и пришедших в соприкосновение с древними насельниками Хорезма, носителями кельтеминарских традиций—тазабагъябцами, державшимися на окраинах и островах древнего озерного водоема и также начавших заселение освободившейся территории. Это встречное движение предгорных, южных и равнинных (приозерных), северных племен, видимо, имевшее место не только в Хорезме, но и на всей территории Средней Азии, нашло свое отражение в двух легендарных традициях: 1) иранской традиции о приходе мифического первочеловека Йимы с севера, о переходе его с древнейшими людьми через Море Вурукаша (озера древней дельты Аму-Дарьи) и о Хорезме, как о месте первого зажженного Йимой священного огня; 2) хорезмийской традиции о приходе основателя Хорезмийского государства Сиявуша с юга, причем дата прихода Сиявуша и дата первоначального заселения Хорезма в передаваемой Бируни традиции, падают на XIII в. до н. э.—весьма вероятно, совпадая с действительной датой переселения в Хорезм носителей су-ярганской культуры.

К стр. 46—Авиаразведки 1946 года (см. выше, доп. к стр. 32) позволили окончательно уточнить вопрос о структуре древней ирригационной сети в правобережье Верхнего Хорезма.

В частности, окончательно решен вопрос об остававшемся неясным верхнем отрезке Гавхорэ (южнее Джильдык-кала), крайне трудном для наземного исследования в связи с сильным разрушением такыров сбросовыми водами современной ирригационной сети.

Гавхорэ хорошо прослеживается по линии: низовья современного канала Амирабад, Думан-кала, Джильдык-кала, Кават-кала. Таким образом, окончательно подтвердилось наше положение о том, что древняя ирригационная сеть повторяет в расширенном виде современную.

Такыры к северу от Базар-кала оказались совершенно лишенными каких бы то ни было следов ирригации. Хорошо прослежен канал, орошавший Джанбас-кала и также заканчивавшийся в ее окрестностях. Он ответвлялся от Базыр-калинского канала недалеко от Ангка-кала. На всем протяжении прослежены канал, шедший от Гульдурсуна на Беркут-кала-Кырк—Кыз—Кургашин-кала и его крупное левое ответвление, шедшее от Гульдурсуна на Наринджан и Якке-Парсан.

К стр. 60—Более подробно итоги обработки Г. В. Никольским ихтиологических материалов стоянки Джанбас-кала № 4 см. в статье: Г. В. Никольский и Д. В. Радаков. К истории ихтиологической фауны Средней Азии. Зоологический журнал. 1946, № 1, стр. 61—64.

К стр. 62—Раскопки 1945 г., завершившие исследование общинного дома стоянки Джанбас-кала № 4, внесли существенный корректив в нашу характеристику его планировки. Как выяснилось, это жилище имело не овальную, а яйцевидную форму с острым концом, повернутым на ЮЗ. Очаг находился не посредине продольной оси, а ближе к тупому ССВ концу, где (как мы и предполагали) находился вход с небольшим камышевым навесом над ним. Это еще более подкрепляет наш тезис о противоположном современному направлении ветров в IV—начале III тыс. до н. э., так как, во-первых, как можно судить по этнографическим данным, дверь сооружений подобного типа всегда обращена в противоположную господствующим ветрам сторону, а во-вторых, ассиметричность конструкции может быть объяснена только стремлением строителей подставить ветру длинный, относительно пологий скат и узкий «фасад», чтобы предохранить высокое и легкое сооружение от разрушения.

Изучение расположения хозяйственных очагов в доме, взятом в целом, позволило притти к выводу, что хозяйственные очаги были сконцентрированы в юж-

ной и западной частях дома. Налево от входа, вдоль стены было лишь несколько очень слабо выраженных кострищ, с небольшим количеством находок. Между центральным очагом и этими слабыми кострищами располагалась обширная площадка, почти лишенная культурных остатков.

Все вместе взятое позволяет предположить, что в то время как направо и против входа (позади неугасимого очага) располагались семейные очаги населения дома, налево от входа было место сна мальчиков-подростков и неженатых юношей, а между этим местом и неугасимым очагом была площадка для религиозных обрядов и церемониальных танцев, как это имеет место в представляющих и в остальных отношениях прямую аналогию кельтеминарскому дому больших общинных хижинах андаманцев (см. указанные сочинения Мэна и Р. Броуна).

К стр. 65—В XI, 2 выпуске BSOS (1934) стр. 328—356 опубликована интересная работа T. Burrow, Dravidian Studies, IV, где автор вновь пытается обосновать генетическую связь уральских и дравидийских языков на сопоставлении названий частей тела у дравидийских и уральских народов (72 термина с их многочисленными дериватами, прослеживаемый каждый в ряде дравидийских и финно-угорских и самоедских языков).

Автор считает, вместе с тем, гипотезу Hevesy совершенно не заслуживающей внимания («... is deserving only of being passed over in silence») и выражает сожаление, что F. O. Schrader в своей статье в BSOS VIII, 751—762, On the «Uralian» element in the Dravida und Munda Languages, отступая под влиянием Hevesy от своей прежней точки зрения, предполагает, что не только дравидийцы, но и мунда находились в тесной исторической связи с уральскими народами. Шрадер в этой статье выдвигает гипотезу о двух волнах уральской иммиграции в Индию, одна из которых повлияла на дравидов, другая—на мунда.

Я не думаю, чтобы были серьезные основания для гипотезы о переселении «уральцев» в Индию, будет ли речь итти только о дравидах или о дравидах и мунда (если не говорить о палеолитических временах, о послеледниковом расселении человечества—ср. нашу статью «Проблема происхождения индо-европейцев и современная этнография и этнографическая лингвистика», КСИЭ, I, 1946, когда ни об «уральцах», ни о дравидах и мунда, как таковых, говорить еще, конечно, не приходится). Оставляя в стороне вопрос о мунда-уральских связях, еще недостаточно разработанный специалистами-языковедами, в отношении дравидов, во всяком случае, мы имеем немало оснований утверждать о значительно более северных, чем современные, границах их расселения. Общепринято отнесение к дравидийским языка брагуев Белуджистана, антропологические особенности которых также свидетельствуют об их связях с южно-индийскими народами. А территория расселения брагуев лежит как раз на полпути между областью современных дравидийских языков и Хорезмом.

Hüsing (Volkerschichten in Iran, MAGW XLVI, 220 сл.), F. Bork (RLV III, стр. 75 сл., Der Mitanibrief und Seine Sprache. Altkaukasische Studien, 1, 1939, стр. 108 сл. и др.), G. W. Brown (The Possiblity of Connection between Mitani and the Dravidian Languages. Journal of the Amer. Orient. Soc. New Haven 1930, стр. 273 сл.), и другие убедительно вскрыли следы влияния дравидийских языков и антропологического типа на ряд древних яфетических народов передней Азии—эламский, митанийский и др. Б. А. Куфтин (Археологические раскопки в Триалети, Тбилиси, 1941, стр. 126 сл.) усматривает следы древнего дравидийского влияния в современном грузинском и даже армянском языках. Тесно связанные с антропологическими типами Южной Индии веддоидные группы и ныне регистрируются далеко на западе и северо-западе—вплоть до северного побережья Персидского залива, а также не только среди брагуев, но и среди ираноязычного населения всей обширной территории Белуджистана, вплоть до Гамунского озера (C. S. Coon, the Races of Europe, NY, 1939, стр. 431). Все это позволяет говорить, что в период, предшествующий появлению индоевропейцев в Иране и Индии, дравидийские или родственные дравидийским племена сидели в непосредственном соседстве со Средней Азией, в условиях широких возможностей культурного контакта с народами Аральского бассейна. Думаю, что нет никаких оснований отвергать возможность наличия здесь и других групп древнеиндийского населения, в частности, родственных мунда, сейчас, как известно, расселенных севернее дравидов, а ранее, по общепринятому мнению, распространенных и значительно далее на север. Открытие кельтеминарской культуры, с ее сильными связями с протоуральским севером и несомненными, хотя и менее отчетливыми, с индоокеанским югом, мне кажется, восстанавливает недостающее звено исторической цепи, объясняющей возникновение лингвистических связей между уральскими и древнеиндийскими языками. Я думаю, что не последняя гипотеза Шрадера о двух волнах уральской миграции в Индию, а более ранняя и более осторожная его формулировка (с возможным распространением ее намунда), что «между дравидийской семьей с одной стороны и уральской, т. е. финно-угро-самоедской—с другой, существует известная историческая взаимосвязь, которая, однако, должна быть объяснена не столько общностью происхождения, сколько доисторическим соседством и весьма тесными односторонними или взаимными влияниями» (Ztschr. f. Ind. u. Sranistik III, стр. 83) становится после открытия кельтеминарской культуры на прочную историческую почву.

К стр. 66—В № 2 (5) «Вестника Казахского Филиала АН СССР» за 1945 г. (стр. 6 сл.) опубликована интересная статья А. А. Формозова «Об открытии кельтеминарской культуры в Казахстане». Речь идет о найденной в 1938 г. геологом А. Л. Яншиным в 8 км к северу от ст. Саксаульская Оренбургской ж. дор. стоянке, обследованной автором в 1944 году. Материал поступил в Исторический Музей.

Кремневый инвентарь очень близок к кельтеминарскому. Орнамент керамики обнаруживает также значительные черты сходства.

Однако большая грубость керамики и особенно наличие обильных находок костей домашних животных —коровы и овцы или козы (80% всех находок, остальные—кости дикой лошади джегетая) позволяют относить ее к поздней фазе кельтеминарской культуры. Так как дату Джанбас 4, в свете последних исследований, мы должны были отодвинуть (по сравнению с нашей статьей 1941 г.) на время никак не позднее рубежа IV и III тысячелетий, стоянка близ Саксаульской может быть отнесена к середине последнего.

Открытие стоянки кельтеминарской культуры к северу от Аральского моря подкрепляет (как это правильно отмечает А. А. Формозов, цит. соч., стр. 8) наш тезис о влиянии Кельтеминара на развитие энеолитических культур Приуралья.

К стр. 69—По вопросу истории климатических колебаний в Хорезме IV—I тысячелетий до н. э. см. дополнение к стр. 40—42.

К стр. 86 (примечание 1)—О времени культуры Каунчи-Тепе см. мою рецензию на работы Г. В. Григорьева «К вопросу о датировке культуры Каунчи». ВДИ, 1946, № 1, стр. 173 сл.

К стр. 107—Большой интерес представляют вскрытые в 1946 г. субструкции жилых этажей дворца в Топрак-кала. Цоколь здания, поднимающийся на высоту около 10 метров, имеет внешнюю кирпичную стену и пространство внутри которой заполнено взаимно-перпендикулярными пахсовыми стенами около 1 метра толщиной. Оставленные между этими стенами клетки разных размеров заполнены кладкой из сырцо-

вого кирпича без раствора, с толстыми прослойками песка, в котором кирпичи лежат свободно. Поверх них лежит, на прослойке глиняного мусора, довольно тонкая глиняная обмазка полов. Стены возведенных над субструкцией комнат не связаны с пахсовыми стенами субструкции, идя то вдоль над ними, то пересекая их, то—параллельно с ними, прямо над кладкой из кирпича и песка, что, однако, нимало не повлияло на их сохранность.

К стр. 118, рис. 60—Куня-Уаз, памятник, по своей конструкции, планировке и найденному археологическому материалу довольно резко выделяющийся из остальных памятников Хорезма, что вызывало значительные трудности в его хронологическом и культурном определении, сейчас, в свете работ 1946 года, получает свое освещение. Ряд типов керамических изделий, найденных на Куня-Уазе, оказались тождественными с керамикой относительно поздних слоев восточноаральских гунно-тюркских городищ (см. дополнения к стр. 23 и 32 (1)). Такие же черты сходства можно усмотреть и в планировке Куня-Уаза и восточноаральских памятников.

Все это в целом позволяет рассматривать его как памятник гунно-тюркских племен западной окраины Хорезма и датировать его временем от поздних кушынов до X—XI вв.

К стр. 120 сл.—В 1945—46 гг. дворец-замок правителя Топрак-кала был подвергнут стационарным раскопкам. Было вскрыто около 2 000 кв. метров (несколько менее $\frac{1}{4}$ площади замка), СЗ четверть центральной площадки и часть СЗ башни, всего 28 хорошо сохранившихся сводчатых комнат, расположенных в трех этажах.

Помимо обычных находок—кушанской керамики III в. н. э., составляющей (вместе с несколькими сиявушидскими медными монетами того же столетия) основной датирующий комплекс, костей домашних животных (остатки пищи)—козы, овцы, крупного рогатого скота, лошади, семян и косточек культурных растений—проса, ячменя, хлопчатника, винограда, абрикоса, персика,—надо отметить ряд ценных находок, как-то: длинный четырехгранный железный втульчатый наконечник копья, пояс из бронзовых вызолоченных прямоугольных пластинок с вставленными крупными прямоугольниками из прекрасного по выделке и великолепно отшлифованного белого и цветного стекла, крупная алебастровая статуэтка обнаженной женщины.

Наибольший интерес представляют многочисленные остатки художественной монументальной росписи стен, сохранившиеся частью на стенах, частью в мощном завале на полу почти во всех комнатах замка.

Роспись по глиняной (с саманом) штукатурке и тонкой алебастровой подгрунтовке, земляными красками на каком-то клеящем веществе. Стиль и техника росписей весьма разнообразны, свидетельствуя об единовременном существовании в Хорезме III в. н. э. нескольких художественных школ. Подавляющая часть из сотен добытых фрагментов росписей имеет орнаментальный (растительный и геометрический) характер, но вместе с тем открыты одна целая картина и ряд крупных фрагментов росписей изобразительного характера, из которых надо отметить изображение арфистки и два фрагмента женских головок в одной из комнат второго этажа, панно в полуциркульной нише с изображением двух сидящих в торжественных позах лицом друг к другу человеческих фигур (мужской и женской) в натуральную величину и, наконец, большой фрагмент изображения женщины, собирающей в фартук фрукты—персики и виноград—в комнатах первого этажа.

Изображение арфистки, являющееся живописной репликой знаменитого айртамского фриза, выполненное в желтоватой гамме, несет на себе отпечаток той же школы, что и упомянутый фриз. Трактовка женского лица, несколько манерное решение изящно исполненных рук, лежащих на струнах, листья аканфа, все это вводит нас в круг привычных художественных средств «гандхарской» школы. Поясное изображение арфистки было вписано в ромб, окаймленный широкой черной орнаментальной полосой, украшенной розетками и сердечками. Как показывают другие фрагменты, на ряд таких ромбов, содержащих изображения других музыкантов (сохранилось изображение маленького двойного барабана), была композиционно разбита площадь стены.

Фрагмент изображения женского лица в фас (верхняя часть) из той же комнаты—выполнен в совершенно иной манере, близко напоминая стиль росписей Керченских катакомб римского времени и являясь свидетельством другого направления связей Хорезма с эллинистическим миром—северо-каспийско-черноморского пути.

Изображение сборщицы фруктов, выполненное в широкой живописной манере, в багряно-красной гамме, резко стилистически отличается от обоих упомянутых изображений и характеризует самостоятельную струю в художественной культуре Хорезма.

Элементы орнамента и орнаментальные композиции поражают своим своеобразием и обнаруживают многочисленные черты сходства с современным народным искусством Средней Азии (набойки—особенно хивинские, сюзане и другие виды декоративных вышивок, узорные кошмы и т. д.).

Кроме росписей добыт ряд фрагментов глиняных рельефных орнаментов (с примесью к глине верблюжьей шерсти) в виде гирлянд из листьев и плодов, раскрашенных в зеленый, оранжевый и красный цвет, и фрагмент (рука) крупного рельефного человеческого изображения в $1^1/_2$ натуральных величины.

К стр. 163—Собранный Хорезмской экспедицией материал позволяет внести существенные уточнения в историю развития средневекового среднеазиатского города. Этому вопросу мы посвятили наш пока неопубликованный доклад на сессии исторического факультета Московского Университета—23—24 мая 1945 года (краткий отчет о сессии см. В. Стоклицкая-Терешкович. Средневековый город—Научная сессия Истфака МГУ. «Вопросы Истории», 1945, № 2, стр. 144—146).

Основные положения этого доклада сводятся к следующему.

Как известно, В. В. Бартольду («К истории Мерва», ЗВО, XIX, стр. 116 сл.) принадлежит общепринятая сейчас концепция исторического развития средневекового города Ср. Азии (ср. А. Ю. Якубовский. Феодальное общество Средней Азии и его торговля с В. Европой в X—XV вв. МИУТТ, I, Л. 1933, стр. 4—5), сводящаяся к тому, что город развивается близ замка (кухендиз, арк) и что первоначальный город, шахристан, или медина, постепенно обрастает ремесленными предместьями (рабад), куда в X—XI вв. переходит центр городской жизни.

Сейчас можно определенно утверждать, что схема Бартольда, взятая в целом, применима только к наиболее крупным городам, непрерывно существовавшим с эпохи античности. Как мы видели выше, подавляющее большинство античных городов в V—VI вв. прекращают свое существование.

Характерны некоторые цифровые данные о количестве городов раннесредневекового Хорезма, которые можно извлечь из арабских источников.

Табари при описании событий начала VIII в. говорит о наличии в Хорезме трех городов; Хазараспа, Кят (Фир) и, видимо, Ургенч: Истахри (начало X века) перечисляет тринадцать городов Хорезма. Макдиси (конец X века) перечисляет уже тридцать четыре города.

Хотя цифры эти и не вполне, конечно, точны, но археологические данные подтверждают выявленную в них историческую закономерность: между VIII и X вв. мы имеем очень медленный прогресс в отношении роста

количества городов, на X же век падает резкое увеличение этого количества, отражающего, несомненно, очень значительный социально-исторический сдвиг. При этом мы можем отметить следующее: города, вновь возникающие между VIII и X веком, как правило, развиваются в виде ремесленных посадов у подножия крупных замков. Образцами таких городов являются городок Беркут-кала (VIII век, см. выше, рис. 76) и, особенно, «Старый город» Наринджана (рис. 92). Напротив, города, возникшие в X—XII вв., имеют совершенно иную структуру: они не связаны с замками, имеют относительно регулярную планировку и производят впечатление построенных сразу, по определенному плану.

Образцами таких городов могут служить Дауданкала (рис. 101), Б. Гульдурсун (рис. 106), Кават-кала (рис. 107), Змухшир, «Старый город» Хивы и др.

При этом в подавляющем большинстве случаев эти города используют в качестве основы своей оборонительной системы бывшие до того много веков заброшенными античные укрепления. Город в этих случаях состоит из одного шахристана, к которому иногда примыкают неукрепленные рабады. При этом важно отметить следующее: именно к X веку относится массовое появление ремесленной, сделанной на ножном круге, поливной керамики, быстро вытесняющей грубую, домашнего производства, керамику афригидской эпохи. Керамика—наиболее массовый археологический материал—отражает, бесспорно, общий процесс бурного развития ремесленной промышленности, который и нужно рассматривать как основу для столь же бурного роста городов, выступающих, таким образом, прежде всего, как центры ремесленного производства.

Географическое распространение вновь возникающих в X веке городов наглядно убеждает в несостоятельности широко распространенной точки зрения о транзитной караванной торговле, как основе развития городской жизни средневековой Средней Азии.

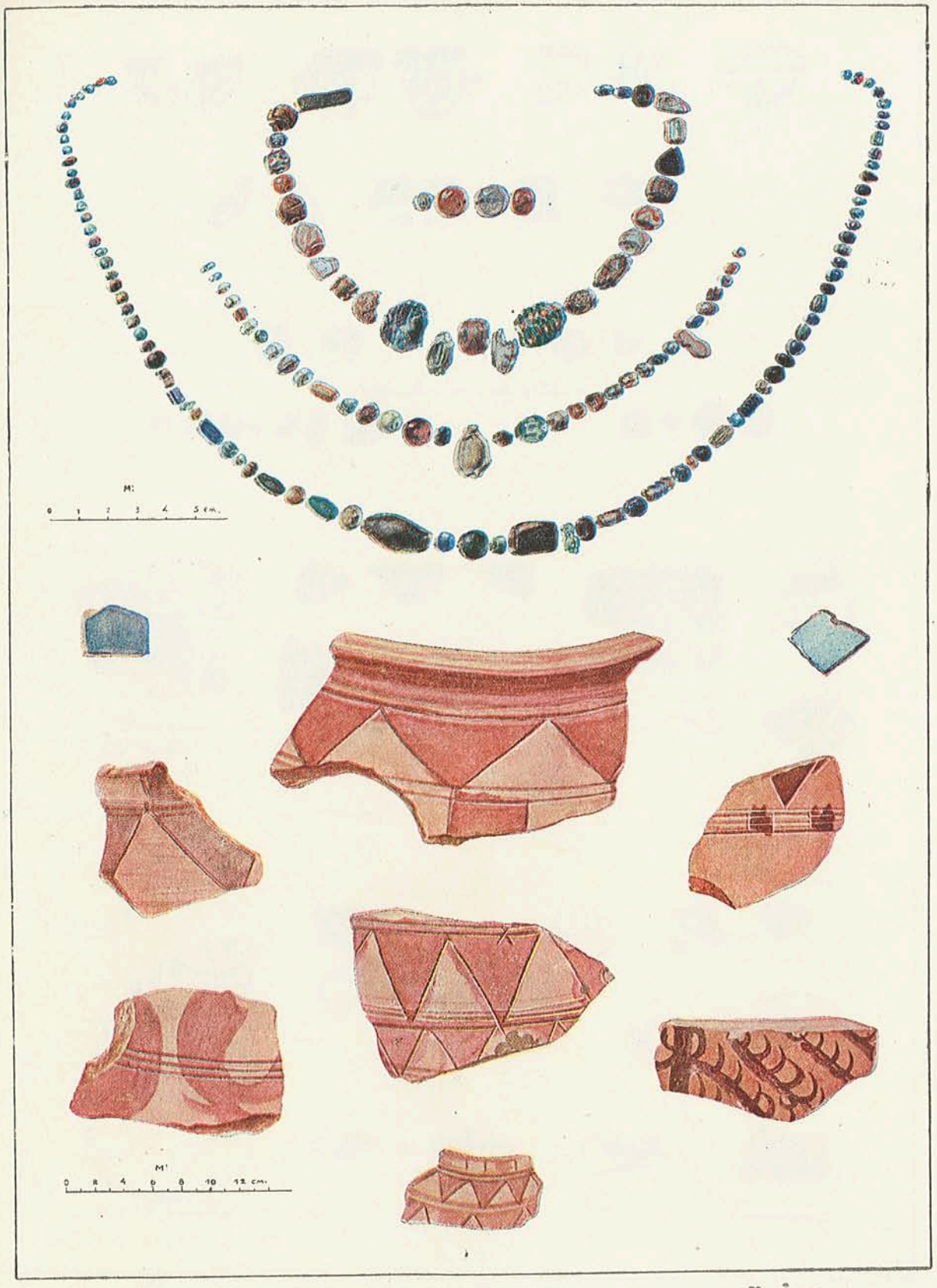
Подавляющее большинство городов не имеет никакого отношения к торговым путям и являются естественно развивающимися центрами земледельческих районов (рустаков).

К стр. 178—Публикацию новой тетрадрахмы Герая (Feitzwilliam Museum) со ссылками на работы А. Н. Зографа, В. В. Тарна и нашу (ВДИ, 1938. № 4) см. в работе R. B. Whitehead. «Notes on the Indo-Greeks» Num. Chronicle, XX, 1940, стр. 120—122.

К стр. 187, 191—192—Чтение легенд на реверсе монет Шаушафара MR'MLK'pr'rxzrn находит свое разъяснение в свете нашего цитированного выше исследования «Новогодний праздник Каландас» СЭ, 1946, № 2, стр. 102 сл. Эти монеты являются важным документом кратковременного политического объединения Хорезма и Хазарии в середне VIII века н. э., подготовленного обстановкой общей борьбы против арабских завоевателей и имевшей место незадолго перед этим массовой эмиграции в Хазарию иудействующих сектантов-повстанцев из Хорезма, после их разгрома Кутейбой в 712 году.

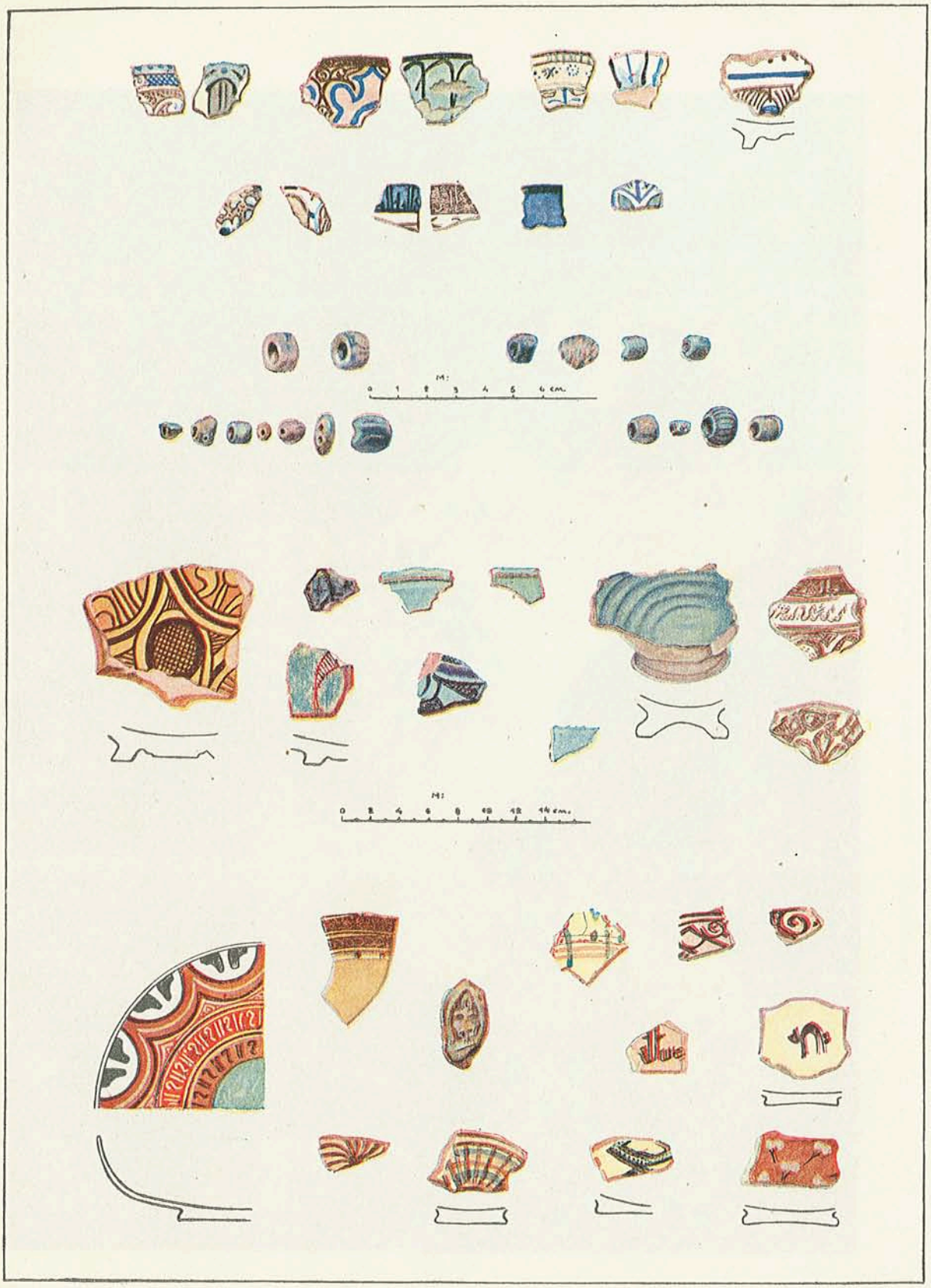
К стр. 320—В выше цитированной нашей статье в СЭ, 1946, № 2, стр. 99—102, мы приходим к выводу о хорезмийском происхождении хазарского «двоевластия». Анализ рассказа Табари о завоевании Хорезма Кутейбой и двух текстов Бируни о двух типах власти—«шахийат» и «вилайат» в Хорезме и описание праздника «фагбурийа»—«выход царя», Бируни, текст 236, приводит нас к выводу о том, что в Хорезме начала VIII века существовало разделение власти между сакральным царем—«хорезмшахом», или «хосрови-Хорезмом», с одной стороны и царем-правителем—«хурзадом» (титул, а не собственное имя) или «багпуром», происходившими оба из династии сиявушидов—афригидов. Столкновение между «хорезмшахом» и «хурзадом», в которое вмешивается Кутейба, имеет, однако, характер не простой внутридинастийной распри. «Хурзад» становится во главе антифеодального движения общин, окрашенного идеологически в цвета сектантства, развивающегося под влиянием юдаизма. После разгрома этого движения арабами иудействующие сектанты (кавары—халисии византийских источников) бегут в Хазарию, где захватывают власть в свои руки, кладя основание династии хазарских бегов (багпуров), являющейся ответвлением афригидской династии Хорезма. Старая династия каганов, по хорезмскому образцу, превращается в династию сакральных царей (сведения о «двоевластии» у хазар появляются лишь в начале IX века).

ТАБЛИЦЫ



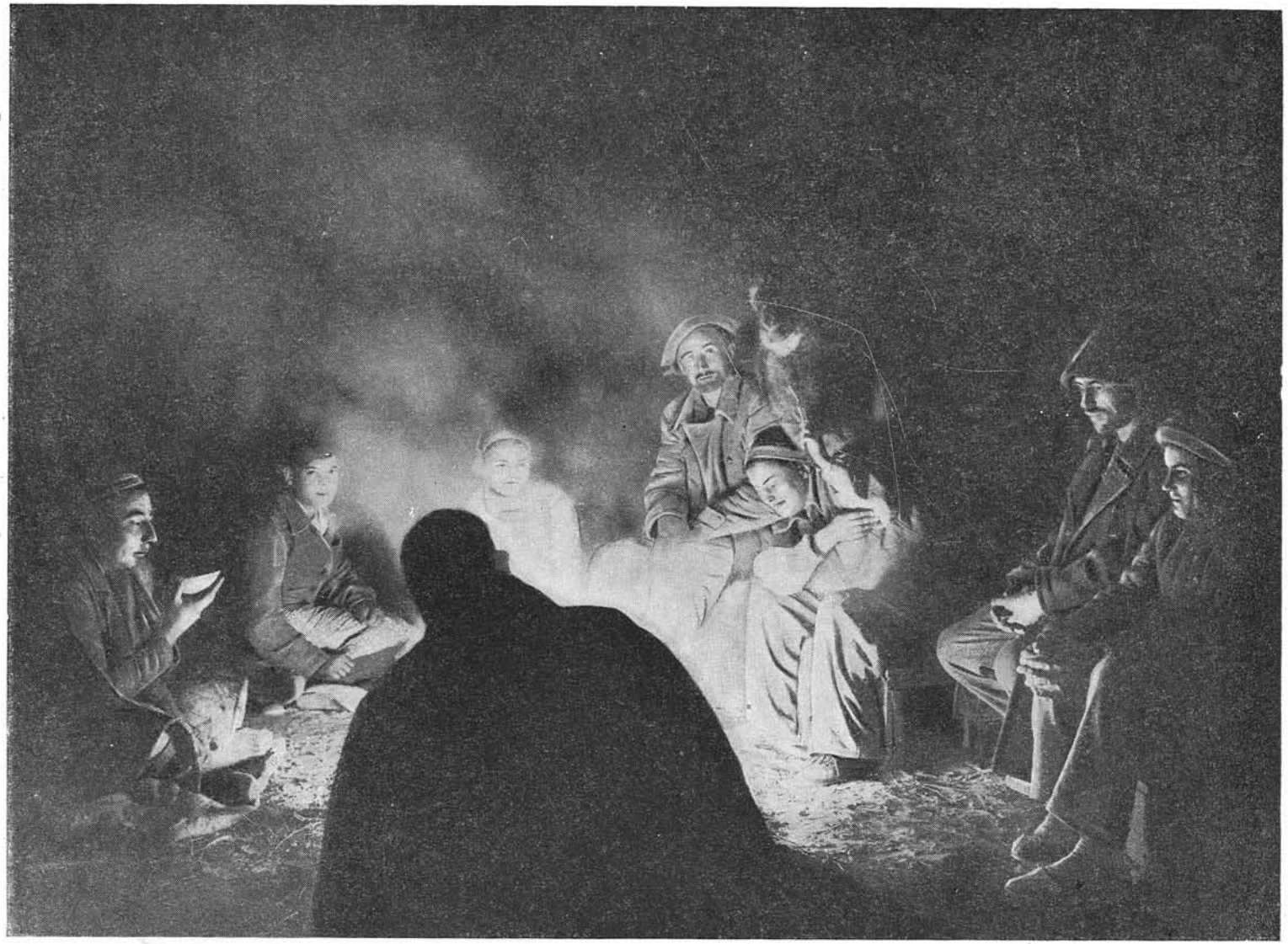
Расписная керамика и бусы из античных и афригидских памятников Хорезма.

(Снизу вверх: справа – два фрагмента из Базар-кала; нижние в середине и слева – Джанбас-кала. Остальные 3 расписные фрагмента – Кой-крылган-кала. В среднем ряду, по краям, два фрагмента поливной античной керамики из Ангка-кала и Аяз-кала. Бусы – снизу вверх: 1) Джанбас-кала; 2) Аяз-кала; 3) Топрак-кала; 4) Тешик-кала.)



Поливная керамика и бусы из средневековых памятников Хорезма.

Снизу вверх: 1) слева – чаша из Змухшира, остальные – «старый город» Наринджан-баба (X–XI вв.); 2) Кават-кала (XII–XIII вв.); 3) XIII–XIV вв.; разные памятники.

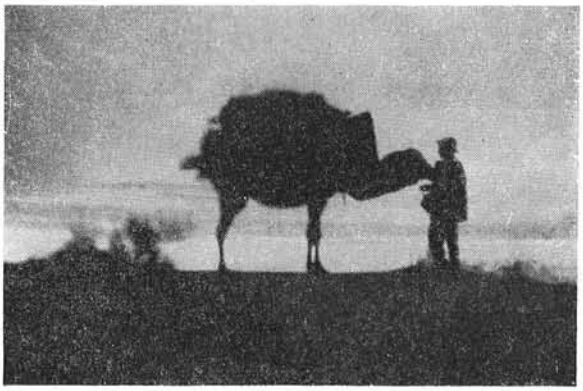


Экспедиция у лагерного костра. Стоянка Джанбас-кала № 4. 1940.

1. Погрузка верблюда экспедиции. 1940 г.

2. Экспедиция в песках близ Кум-кала. 1940 г.

1. Караван экспедиции на маршруте близ Думан-кала. 1940.

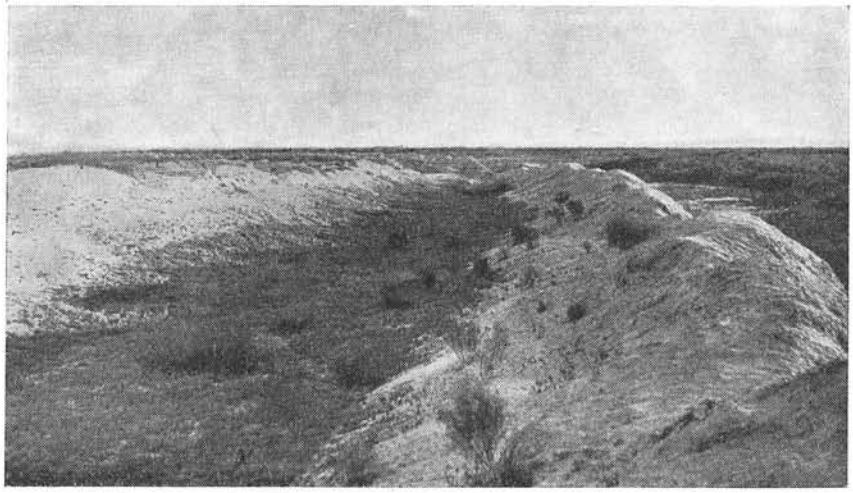


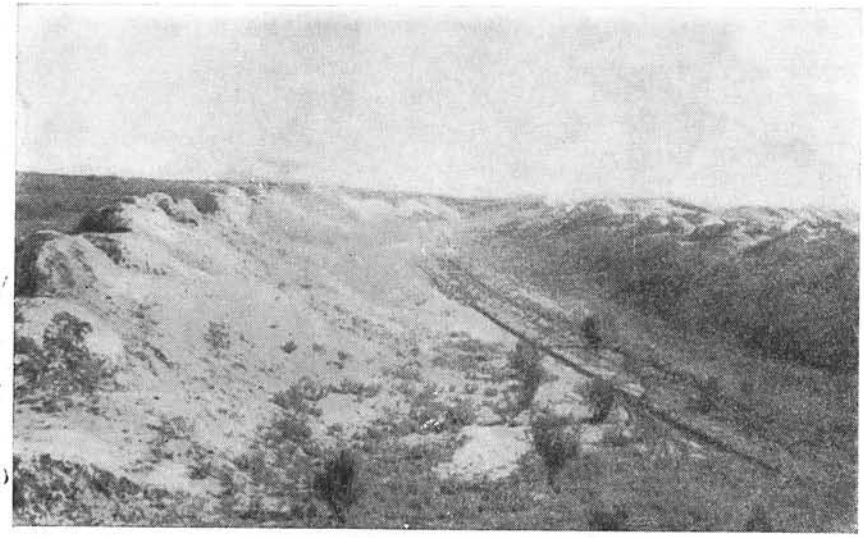
2. Один из верблюдов экспедиции на озере близ Базар-кала. 1940.

3. Возвращение из разведки (Джанбас-кала). 1940.

1. Лодки экспедиции во время разведки правого берега Аму-Дарьи. 1939 г.

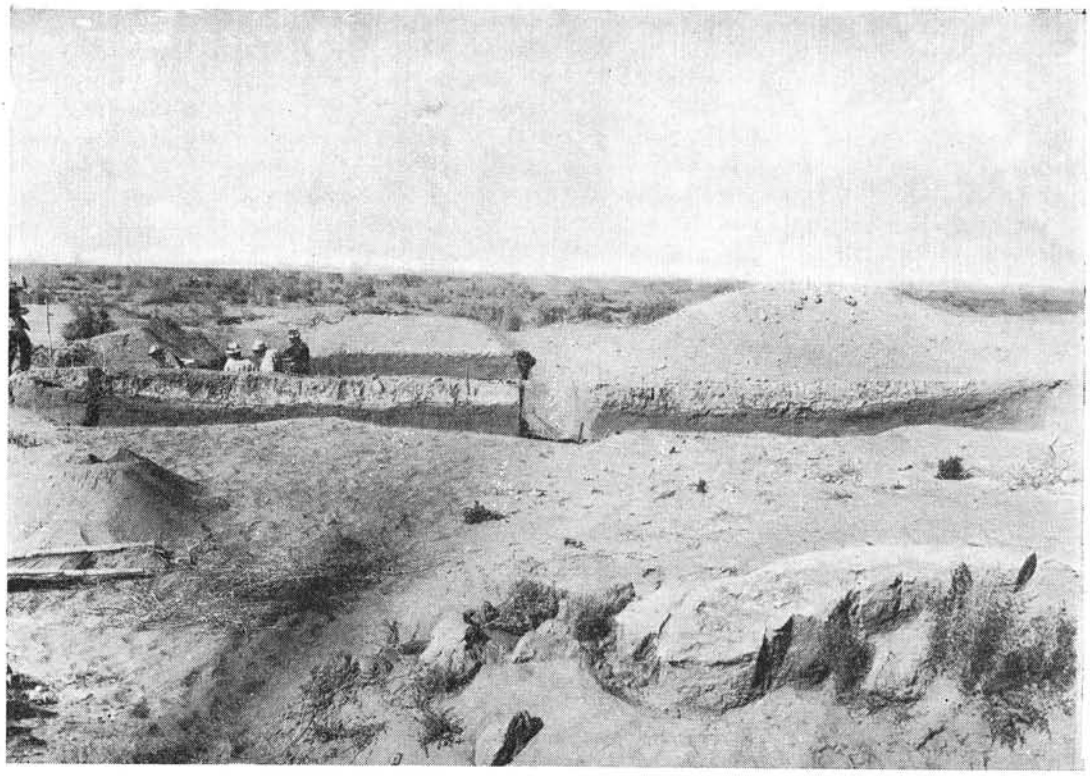
2. Привал экспедиции во время того же маршрута.



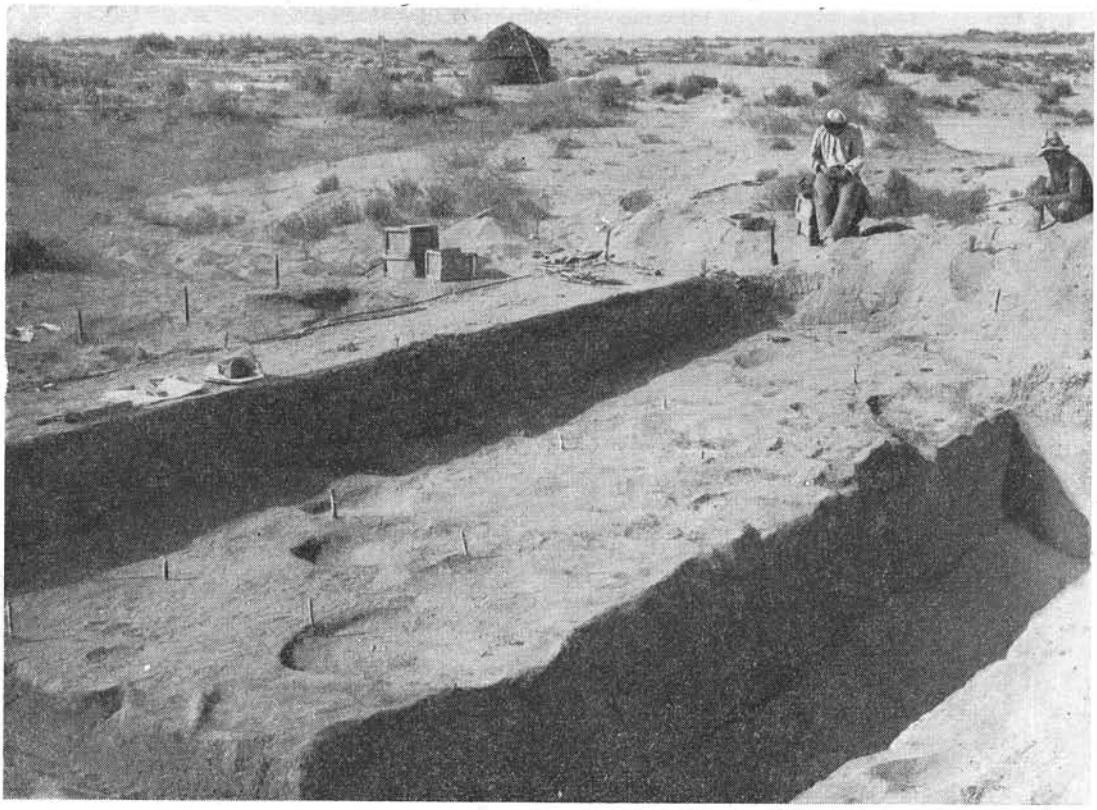


1—3. Русло мертвого канала за развалинами Гульдурсуна.

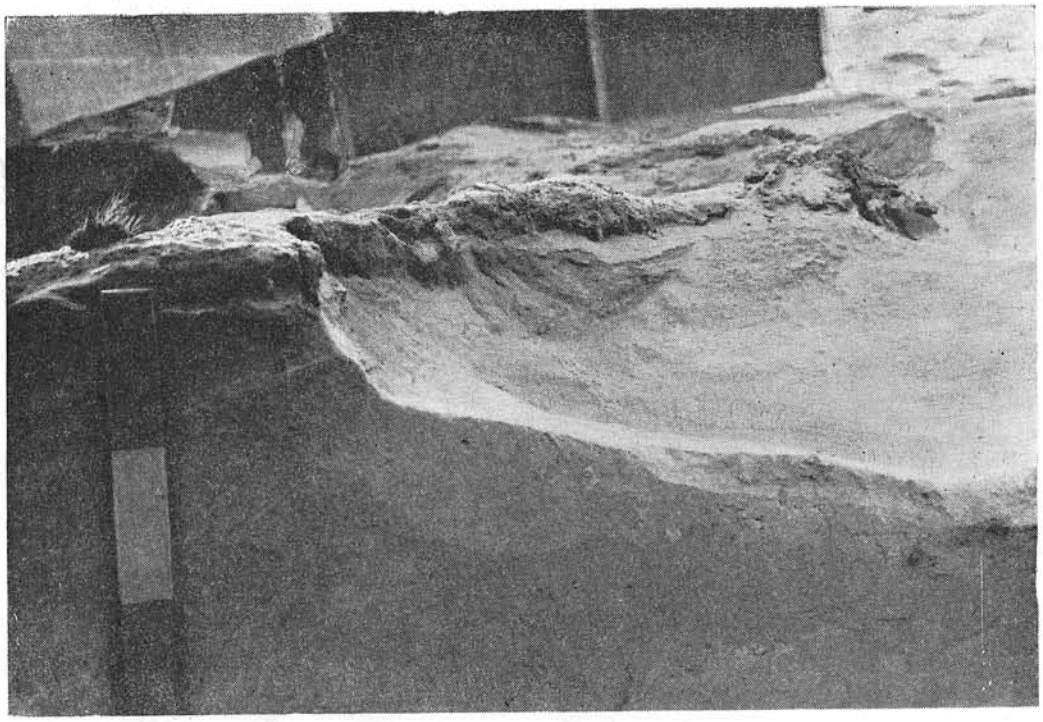
Район стоянки Джанбас-кала № 4. На заднем плане справа развалины Джанбас-кала.



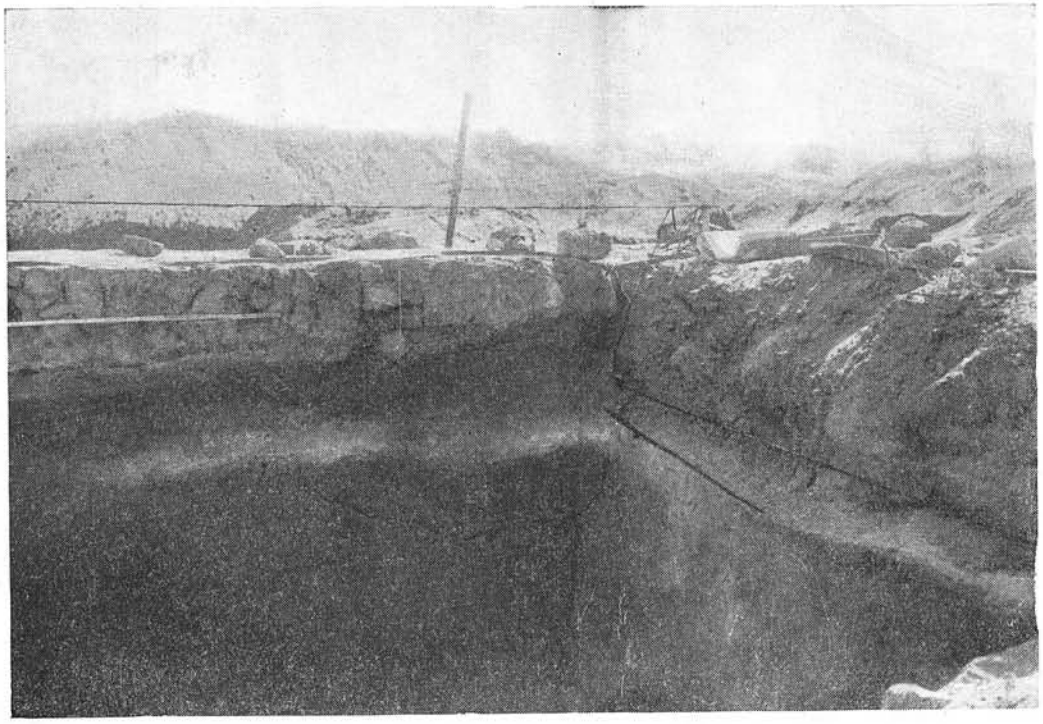
1. Разрез стоянки Джанбас-кала № 4. Виден перекрывающий слой такыра и культурный слой.



2. Раскопки стоянки Джанбас-кала № 4. На первом плане расчищенные бытовые очаги.

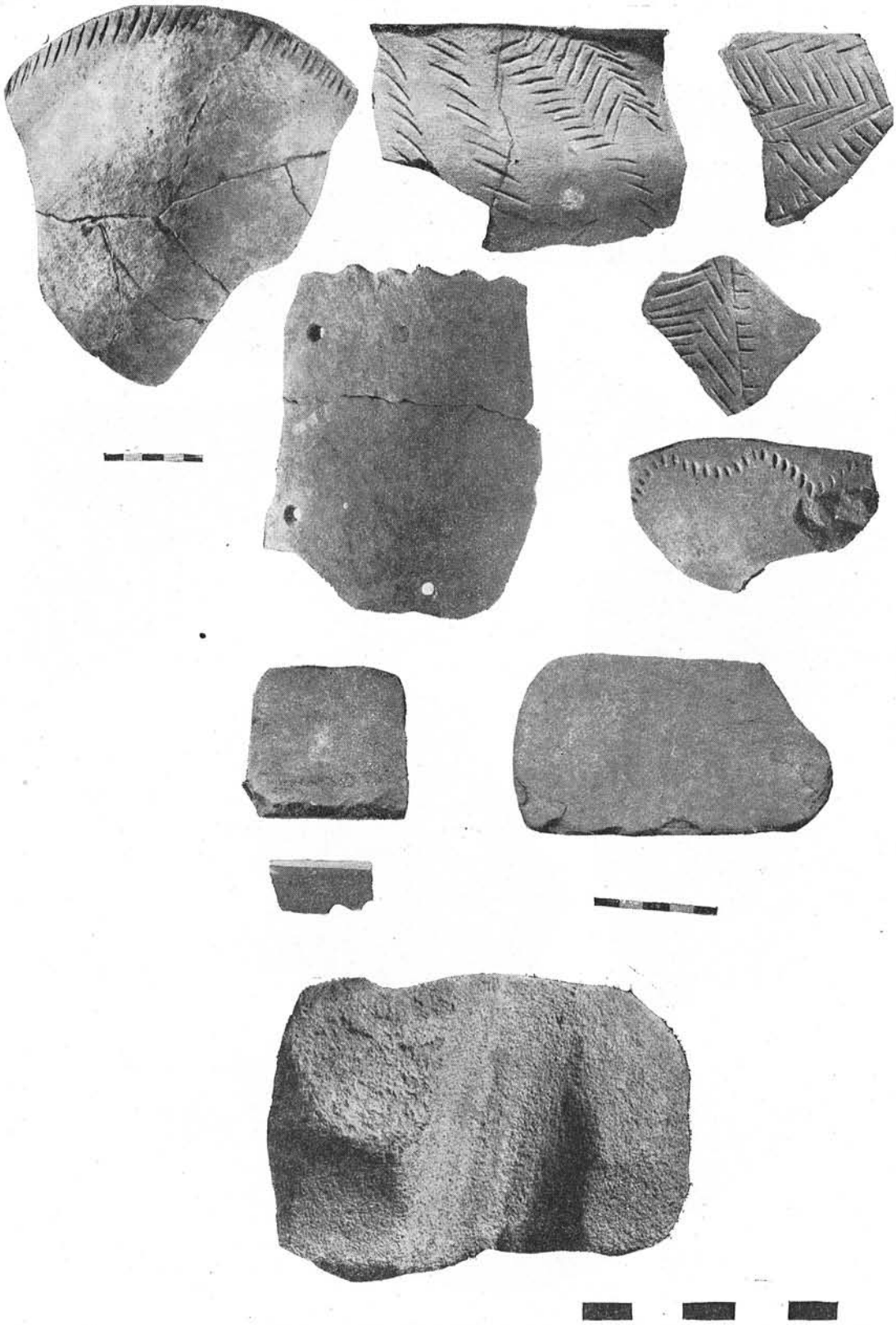


1. Стоянка Джанбас-кала № 4. Разрез центрального очага после расчистки.

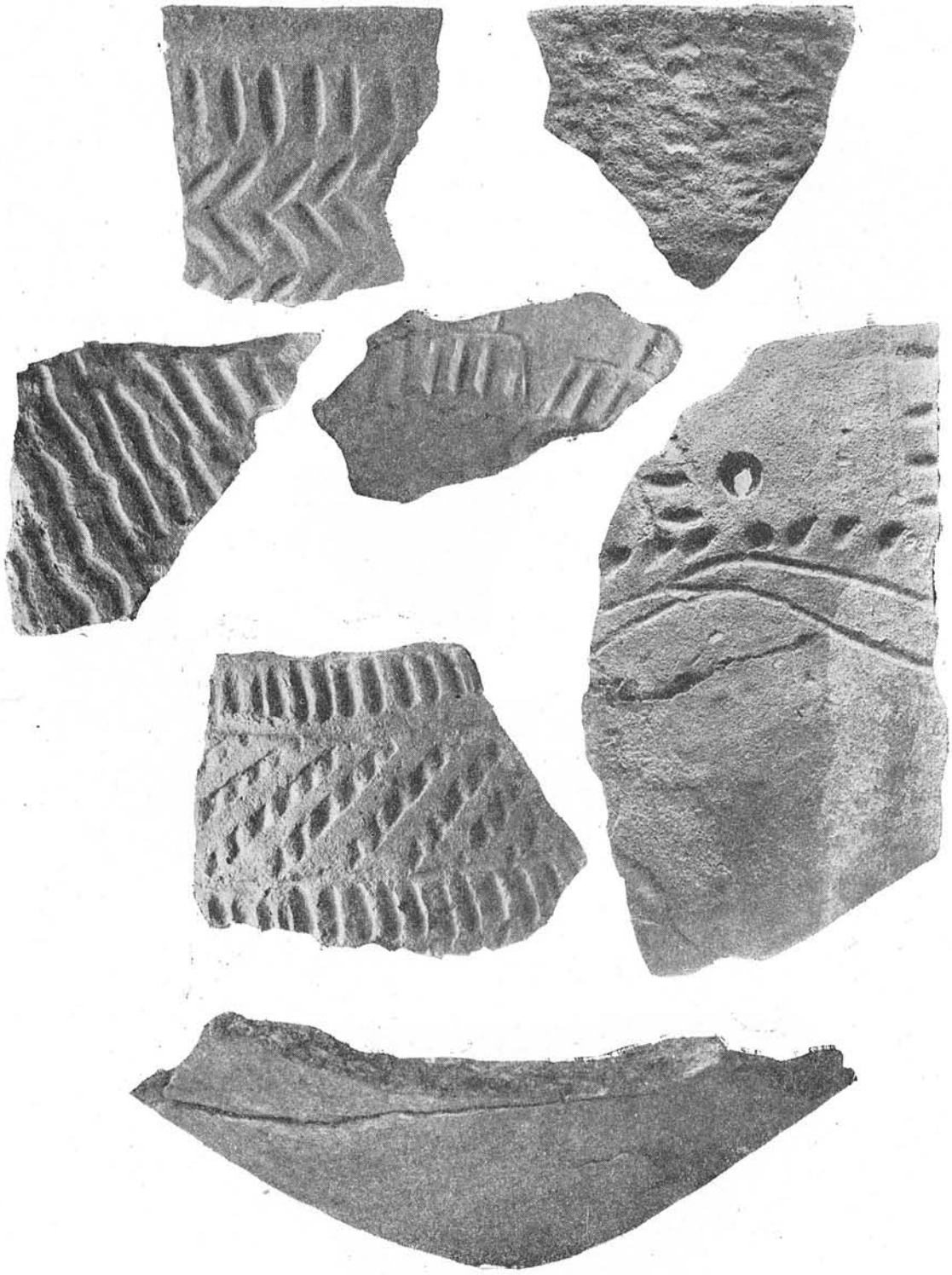


2. Разрез центрального очага. Очерчена подстилающая линза красного песка. Направо— ямы от столбов, наполненные золистым слоем.

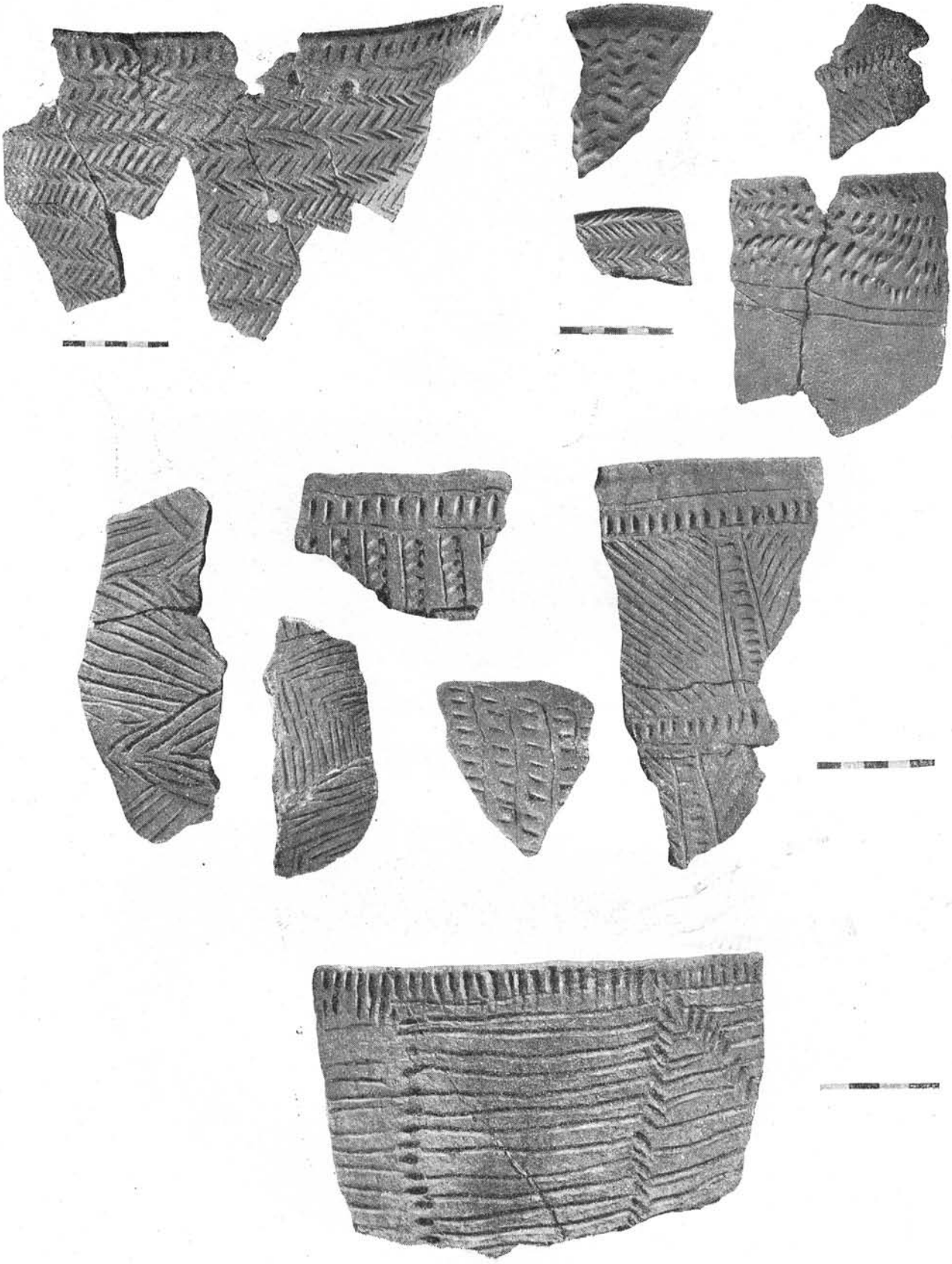
Стоянка Джанбас-кала № 4. Кремневые и костяные орудия.



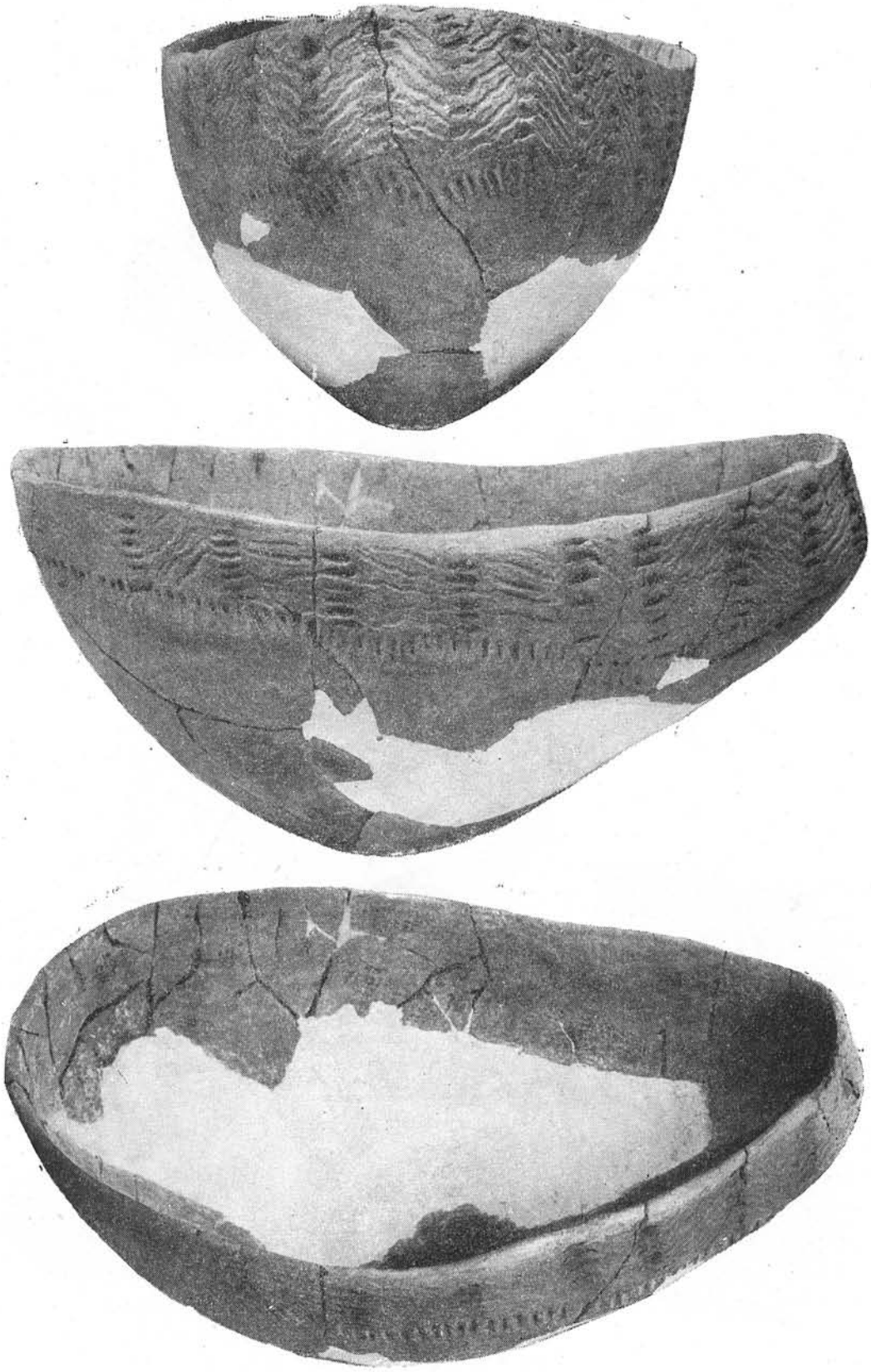
Стоянка Джанбас-кала № 4. Керамика, фрагменты шлифованных орудий, шлифовальный камень.



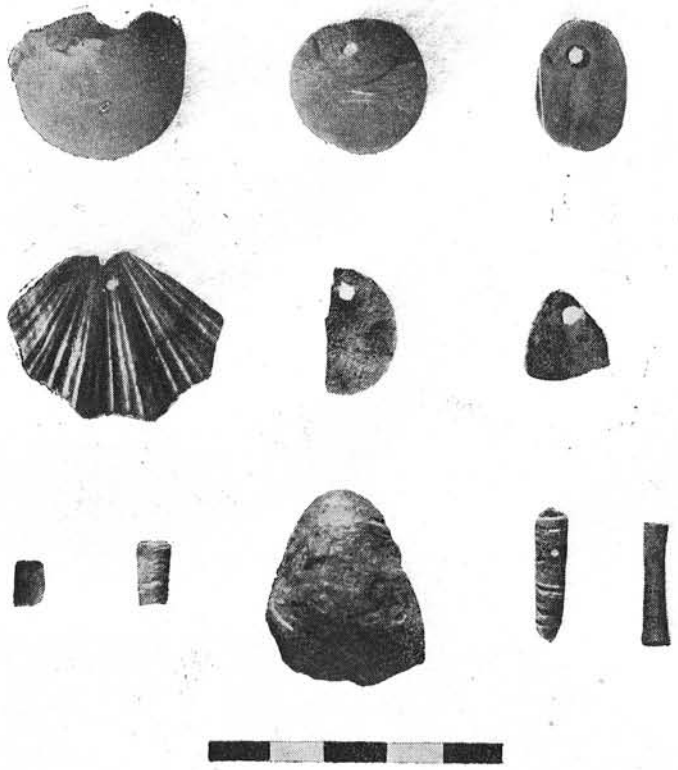
Стоянка Джанбас-кала № 4. Образцы керамики. Внизу типичное днище крупного сосуда.

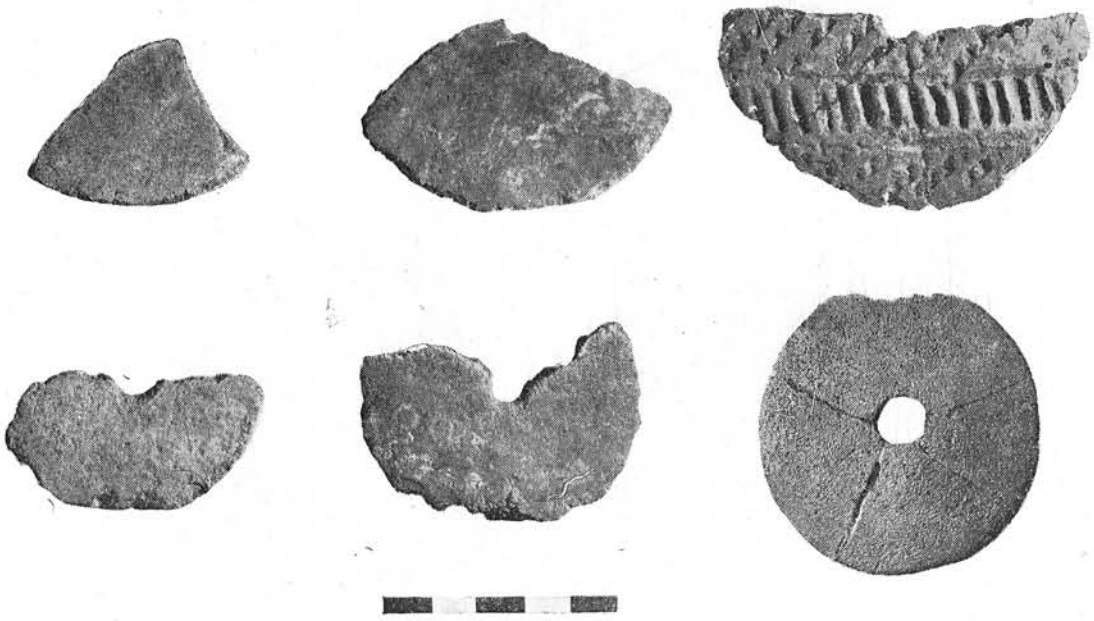


Стоянка Джанбас-кала № 4. Образцы керамики.

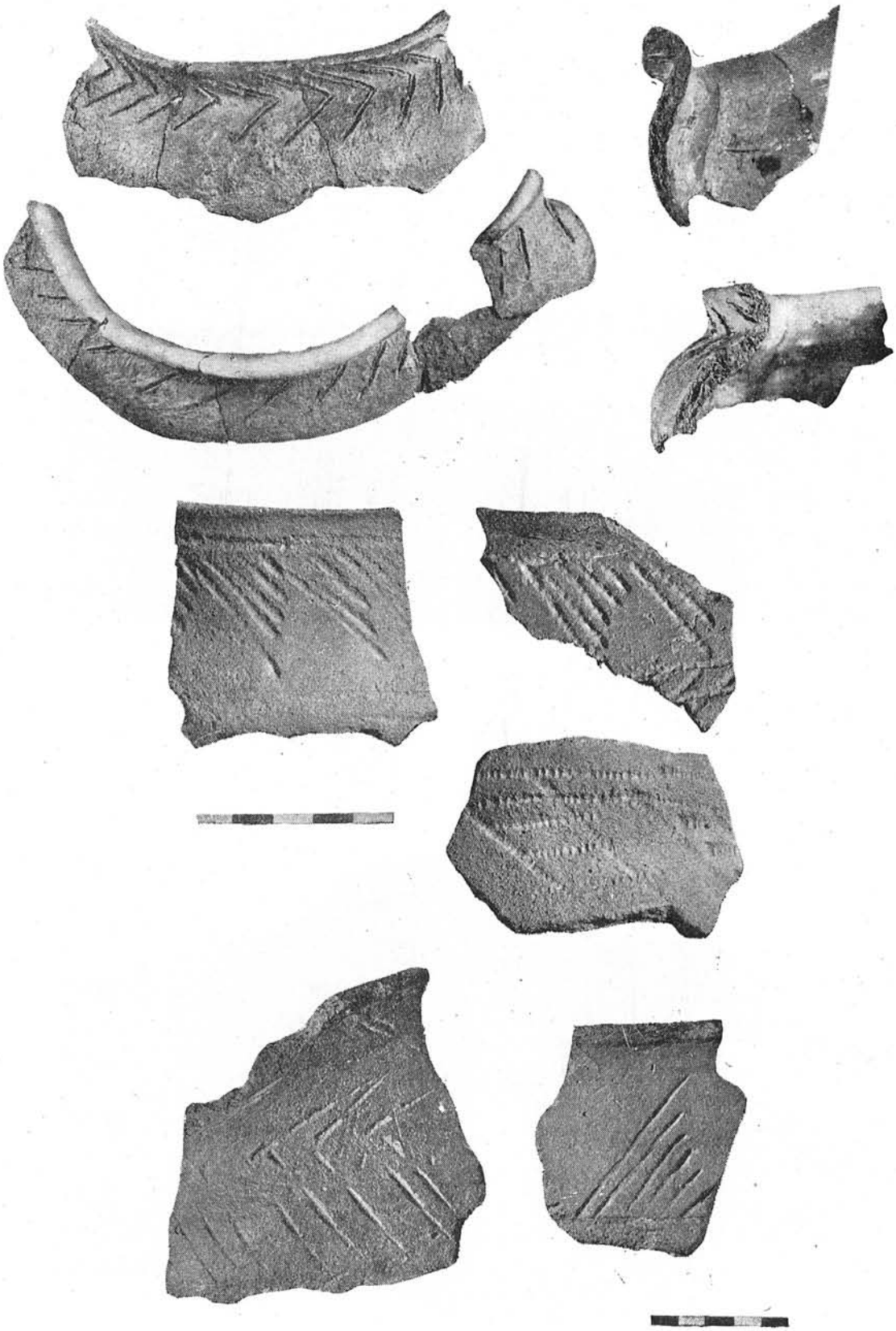


Стоянка Джанбас-кала № 4. Ладьевидный сосуд.

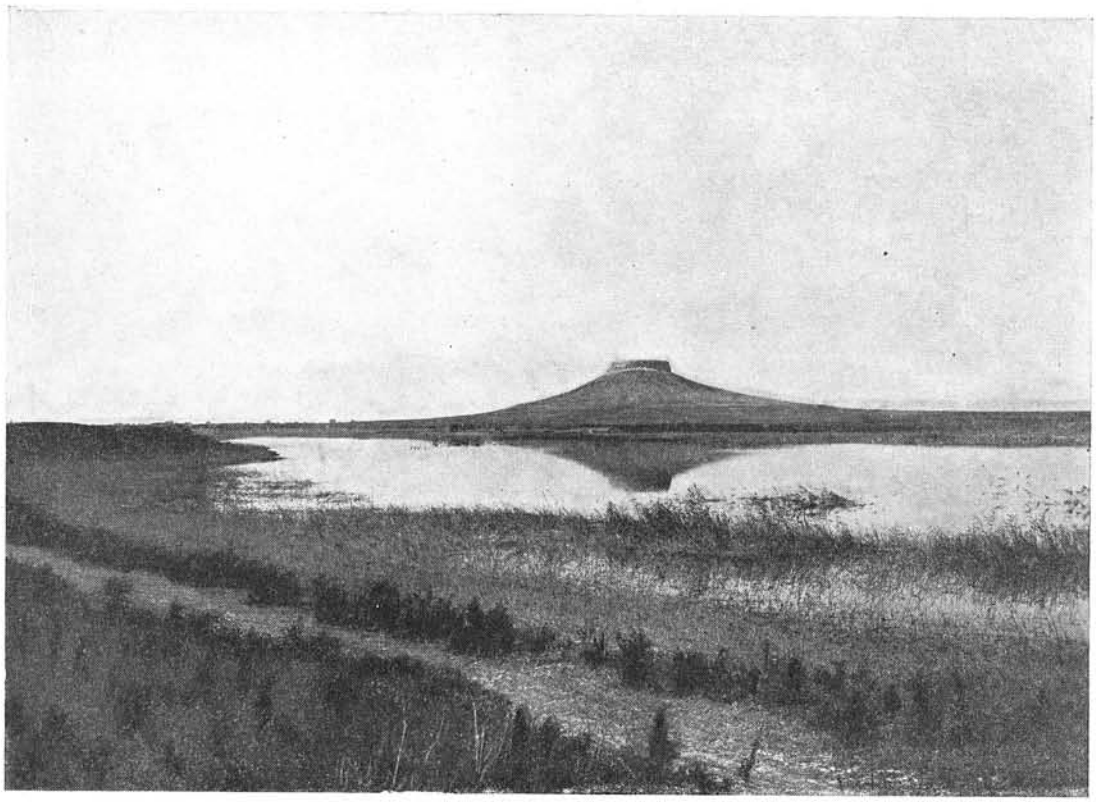


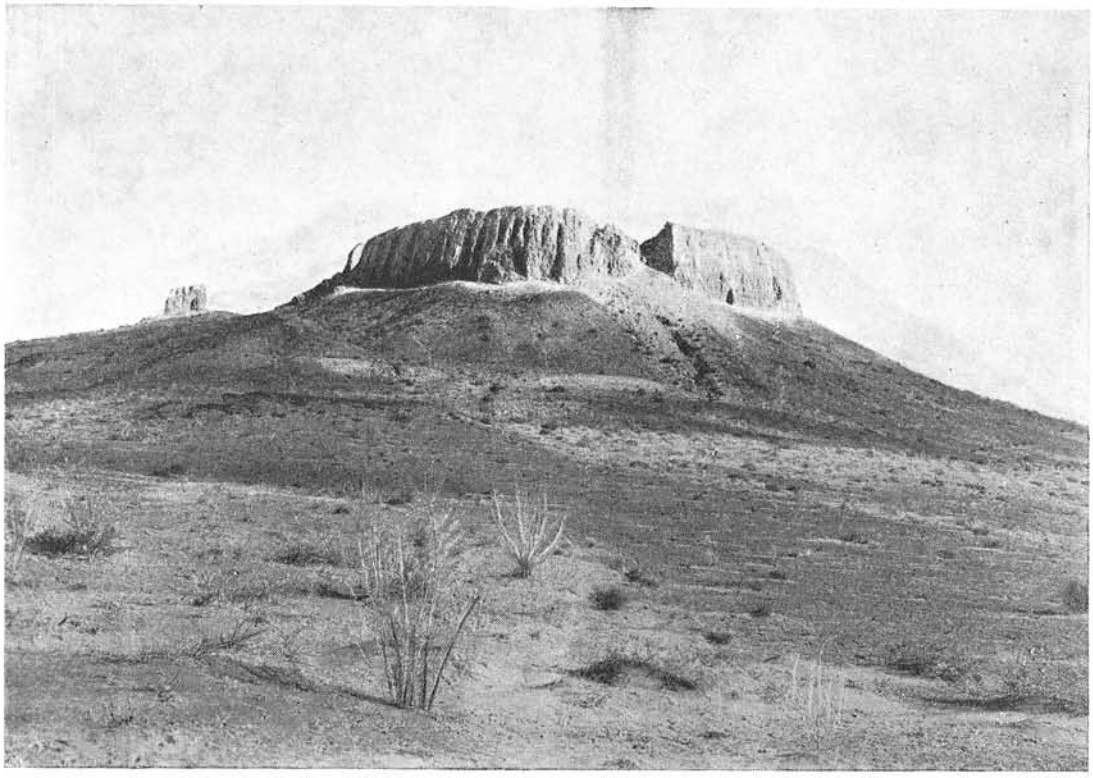


Стоянка Джанбас-кала № 4. Подвески и бусы из раковин и камня. Внизу—керамические диски. Внизу направо—костяной диск.

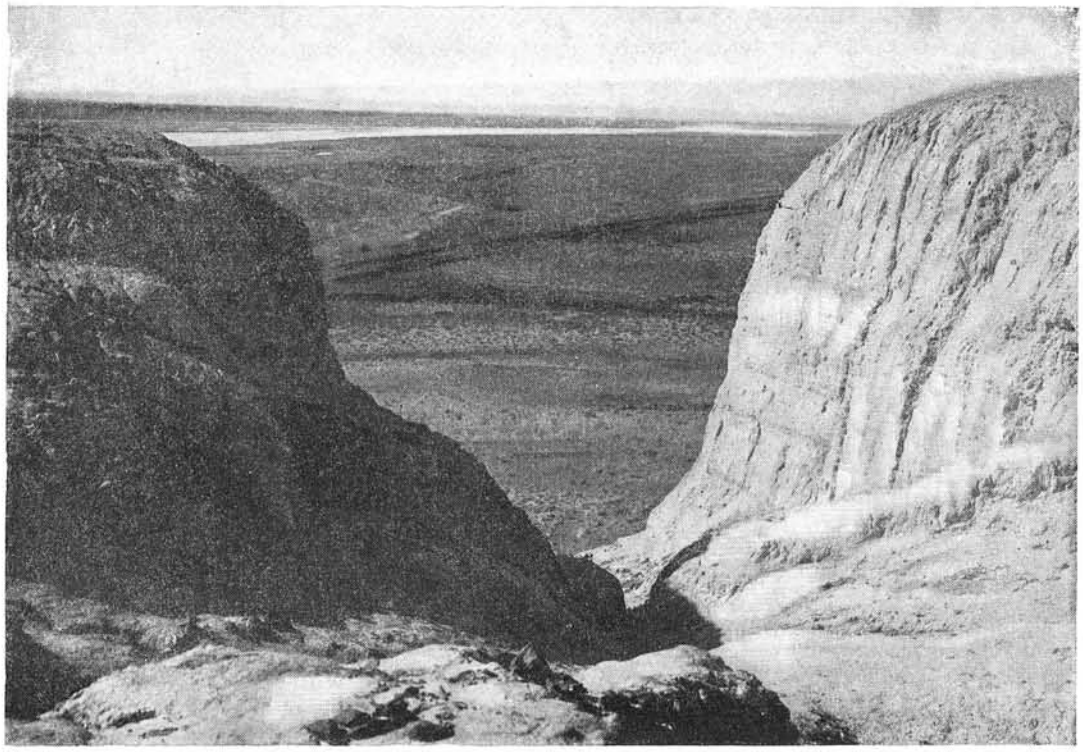


Пять нижних фрагментов—стоянка Ангка-кала № 1. Наверху—фрагменты сосуда амирабадской эпохи такыра близ Джанбас-кала.



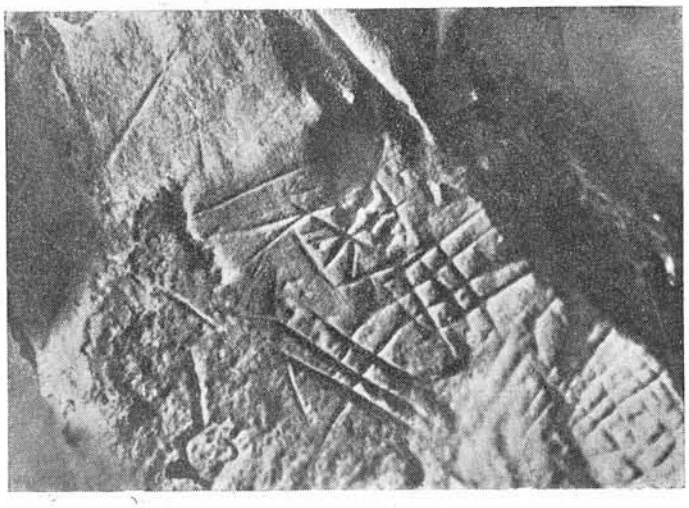


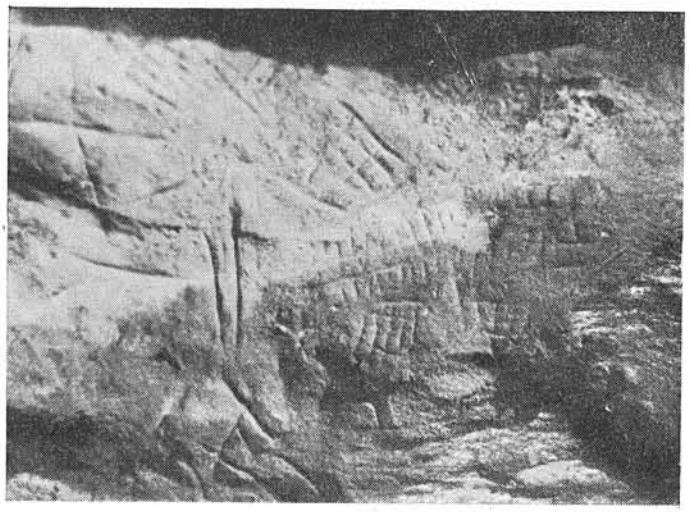
1—2. Укрепление Чильпык.



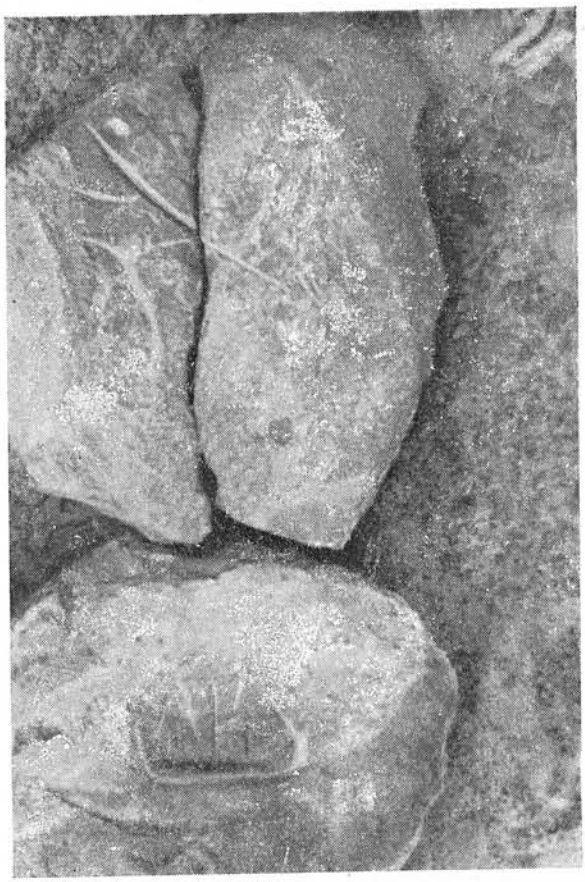
1. Вход (пандус) в укрепление Чильпык.

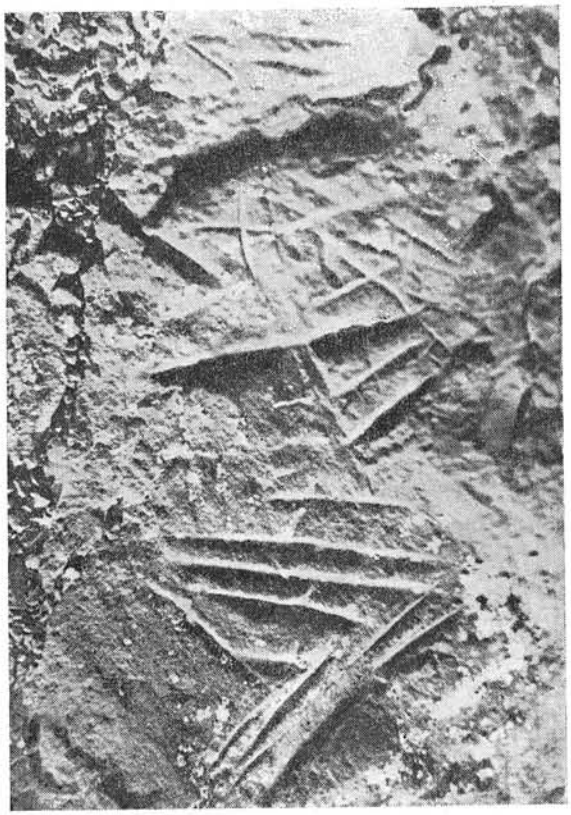
2. Чильпык. Камни со знаками.

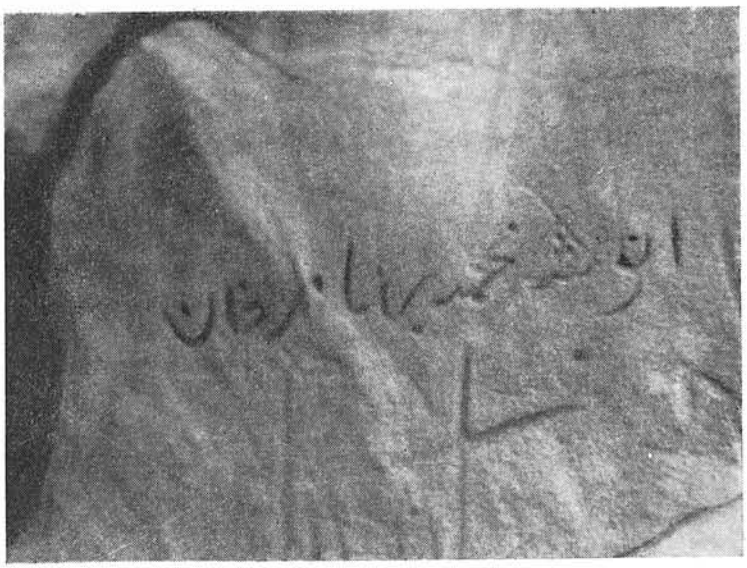




1—3. Кара-тюбе. Наскальные знаки.

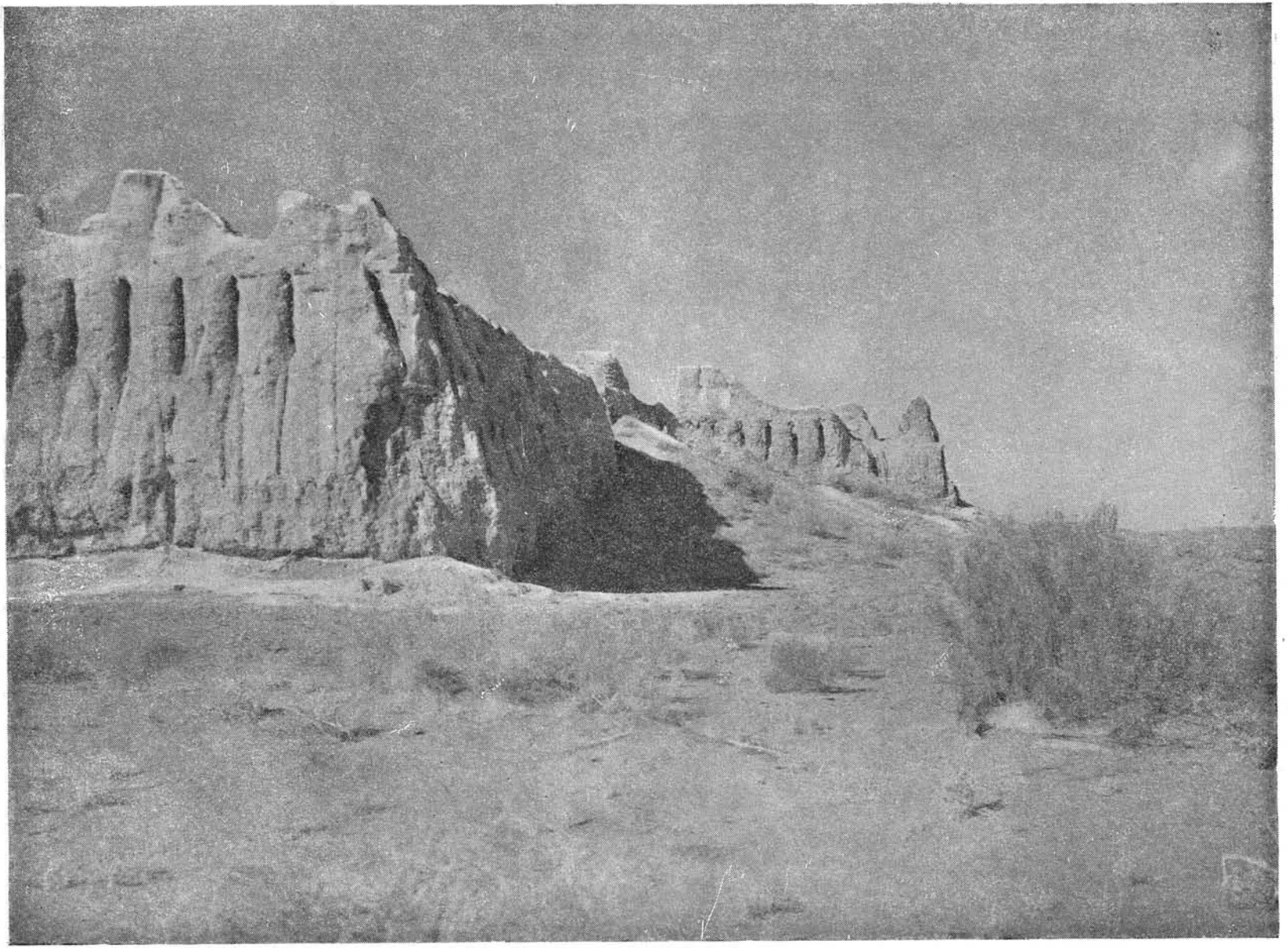




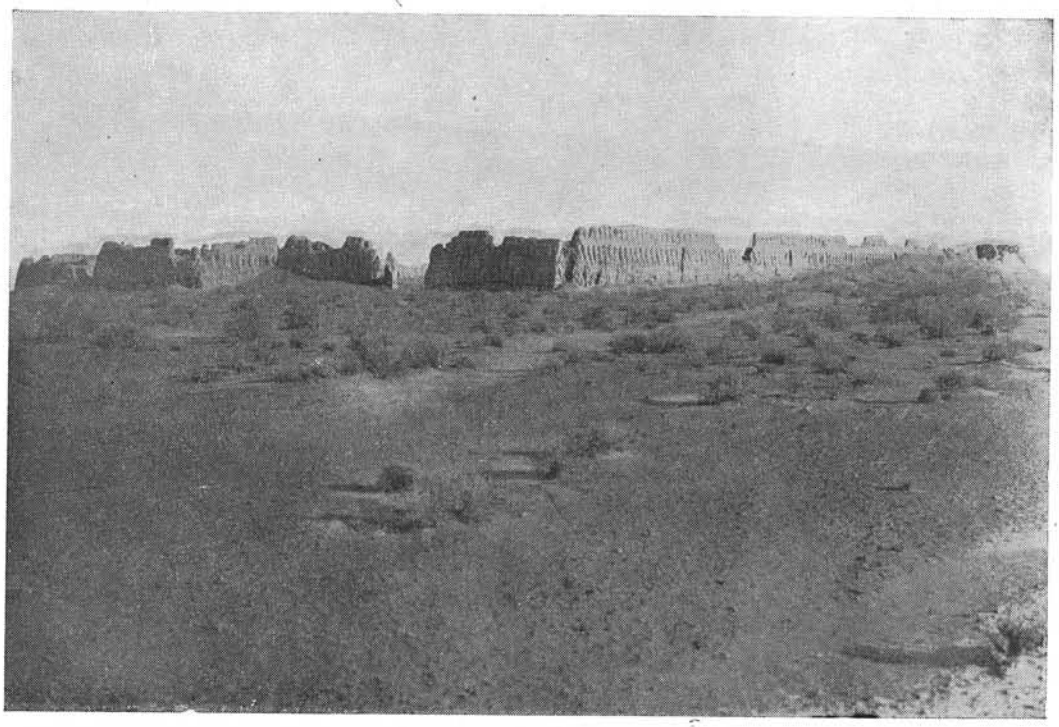


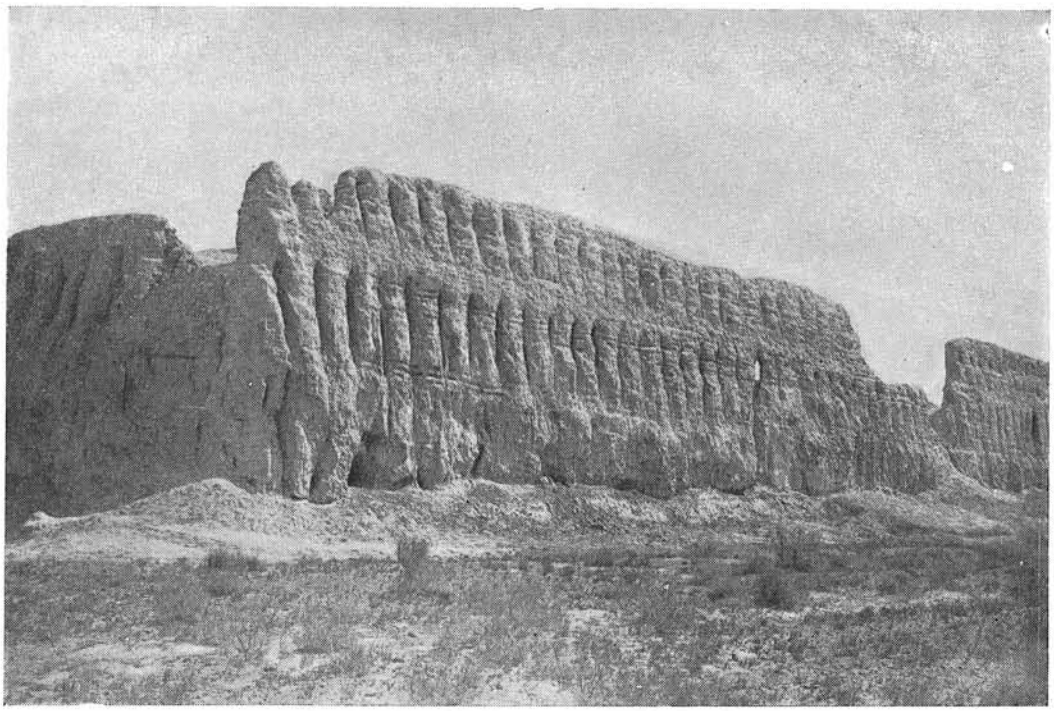
1. Беш-тюбе. Камень с изображением лодки. 2. Кара-тюбе. Наскальные знаки. 3. Надпись Ануша-хана.

Кара-тюбе. Группа наскальных знаков.

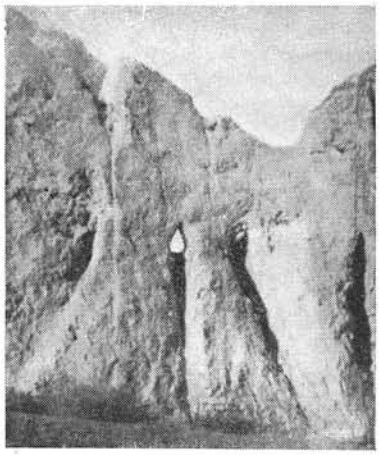


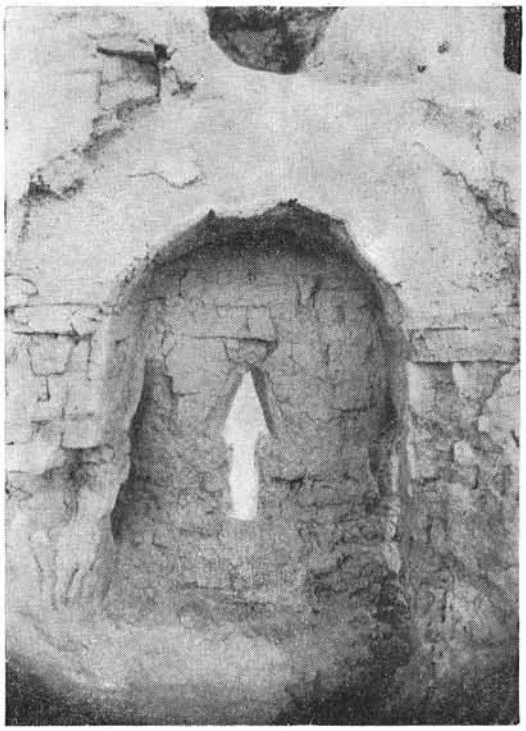
Джанбас-кала. Вид с севера на предвратный лабиринт.

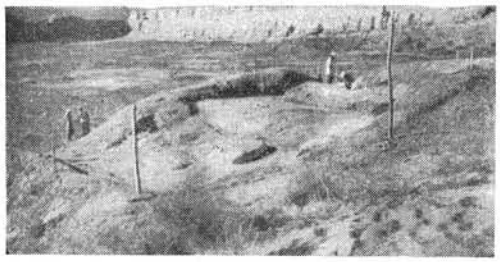




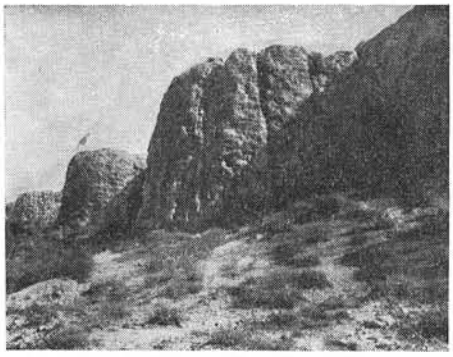
Джанбас-кала. 1) Общий вид. 2) Часть стены с бойницами.

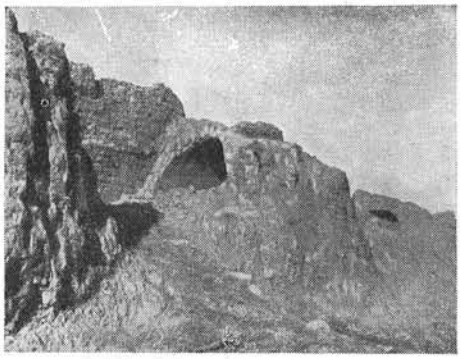


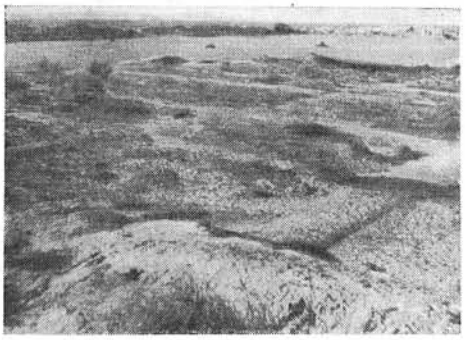


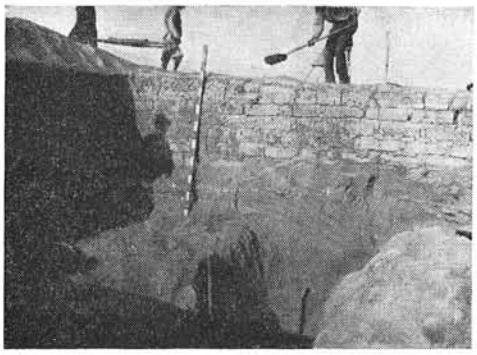


Джанбас-кала. 1. Тройная бойница. 2. Общий вид раскопок Дома огня. 3. Внутренняя ниша тройной бойницы.

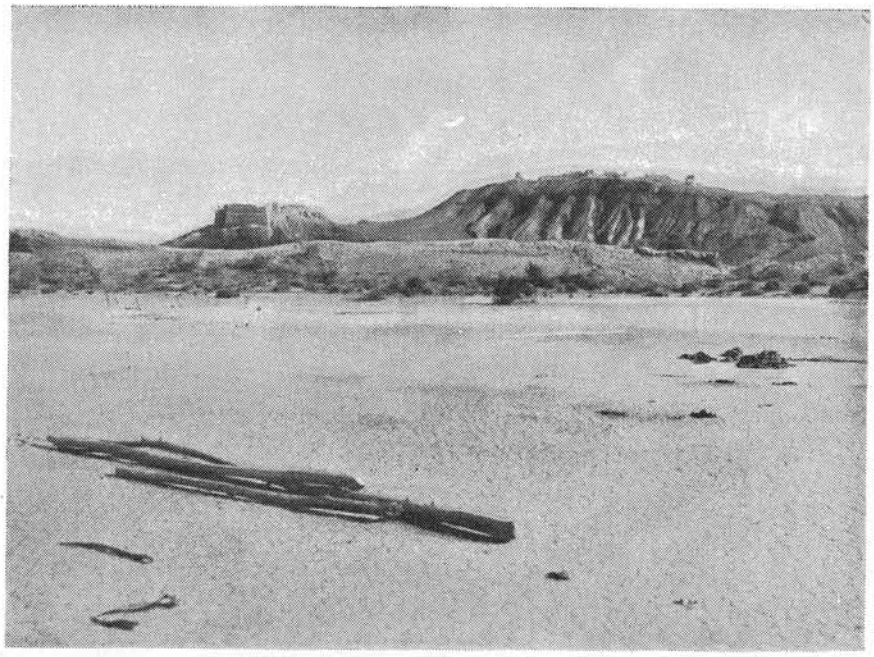


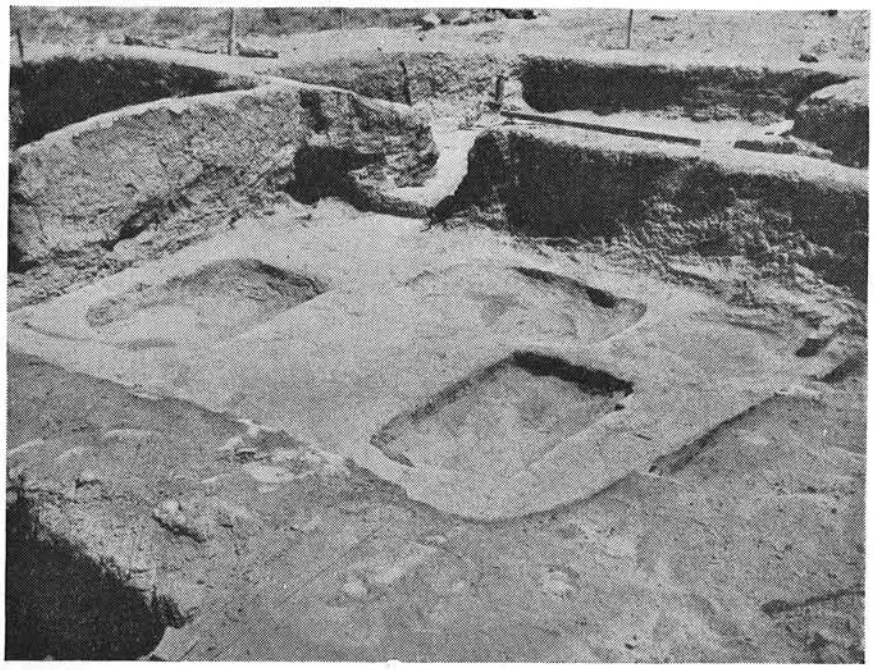




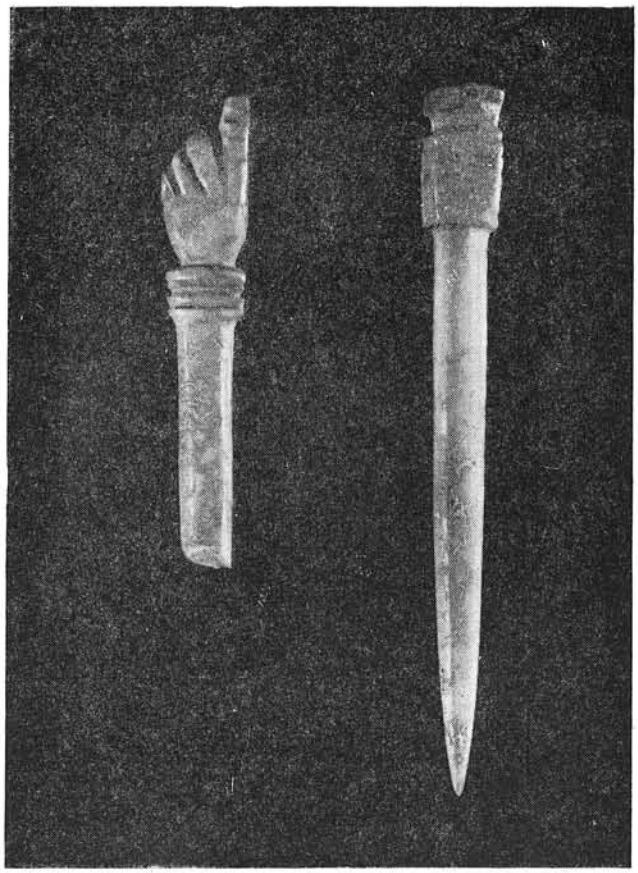


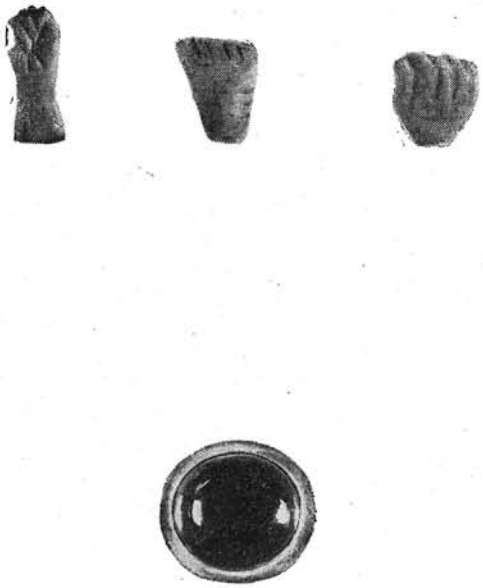
4. Аяз-кала № 1. Башни северной стены. 5. Своды в стенах Аяз-кала № 1. 6. Поверхность развалин большого дома в Аяз-кала № 3. 7. Раскопки фундамента дома в Аяз-кала № 3.

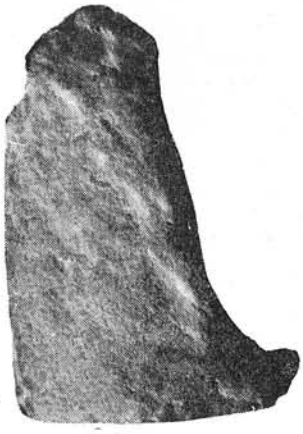




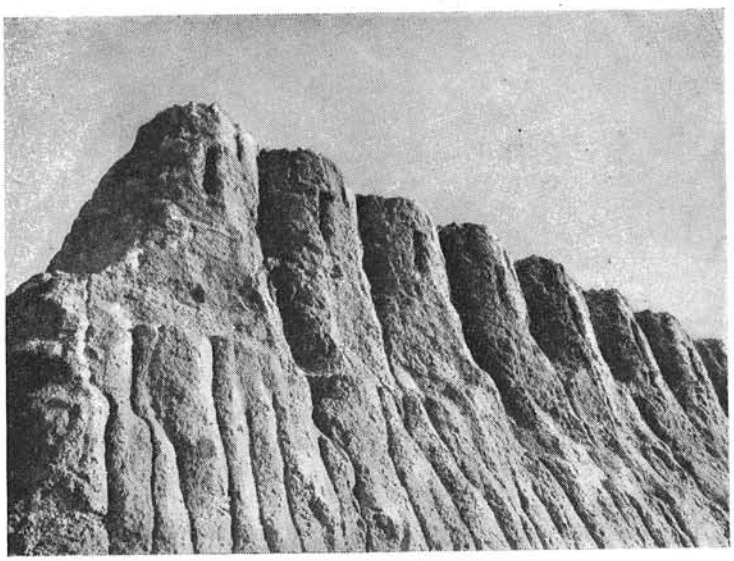
1. Общий вид комплекса Аяз-кала. 2. Общий вид раскопок дома № 1 близ Аяз-кала № 3. На первом плане—зерновые ямы.

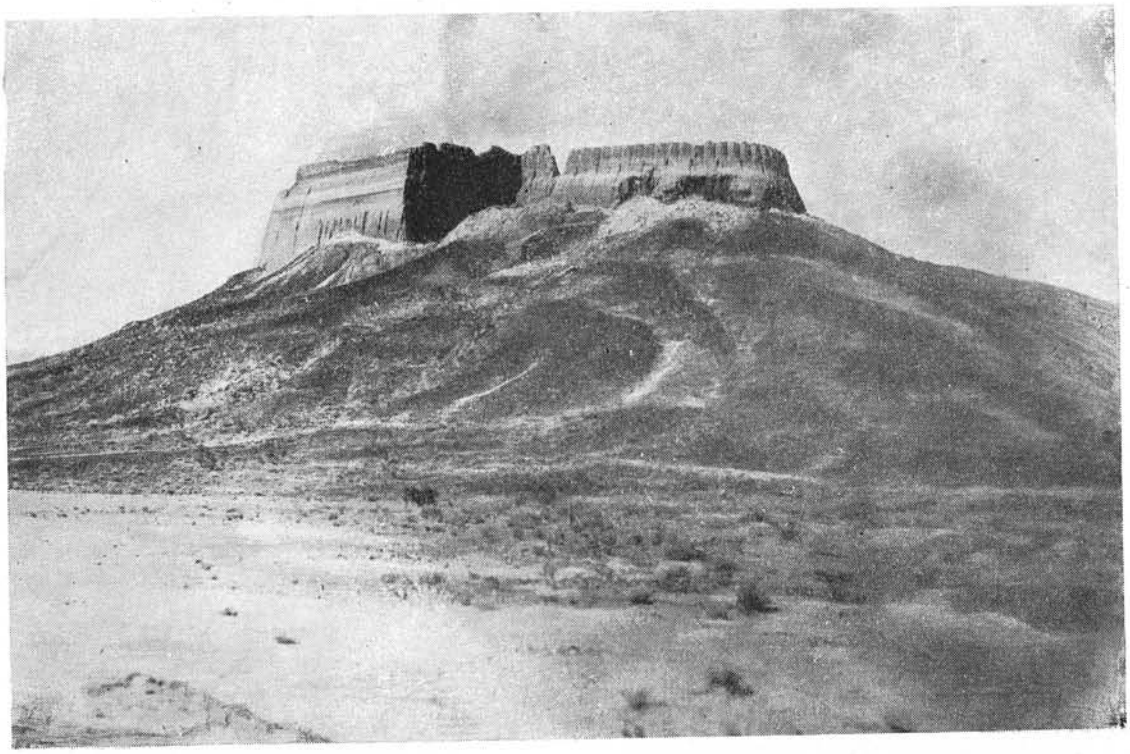




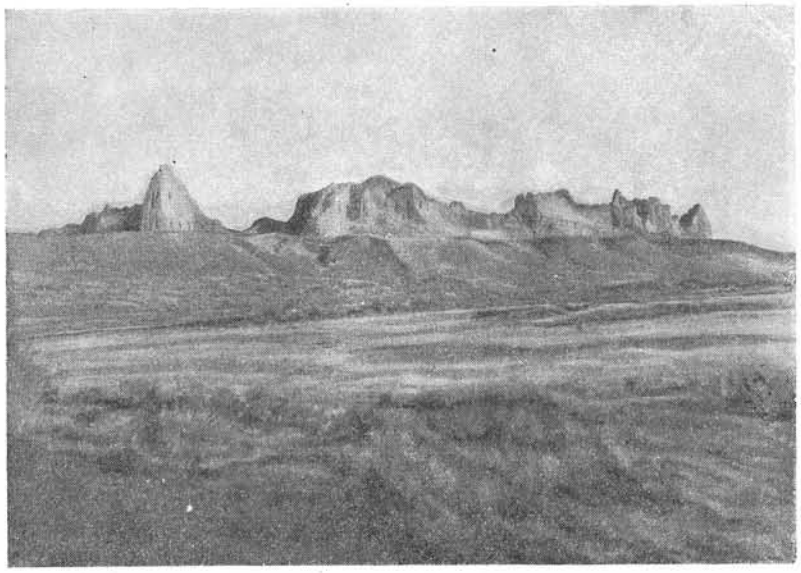


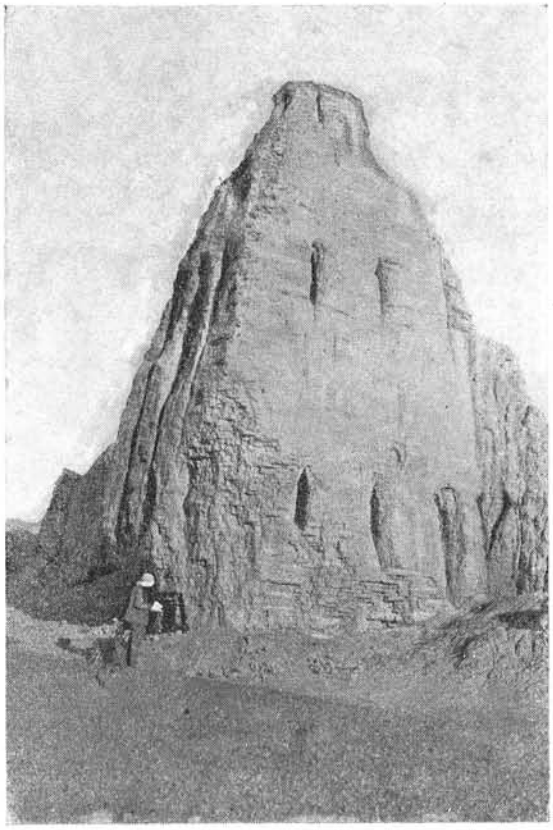
Вещи из раскопок в доме № 1 и с такыра близ Аяз-кала № 3.
1. Костяные стили (дом № 1)
2. Золотая бляшка с индийским альмандином (дом № 1)
3—5. Вотивные подвески. С такыра.
6—8. Фрагменты алебастрового сосуда с женской фигурой. С такыра.

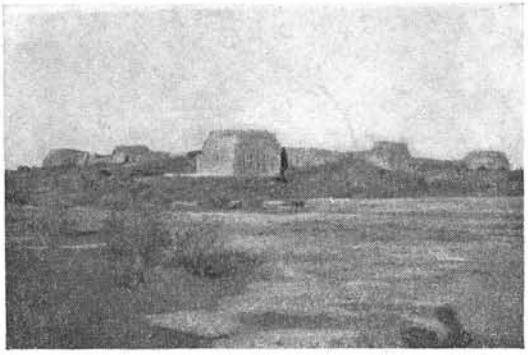




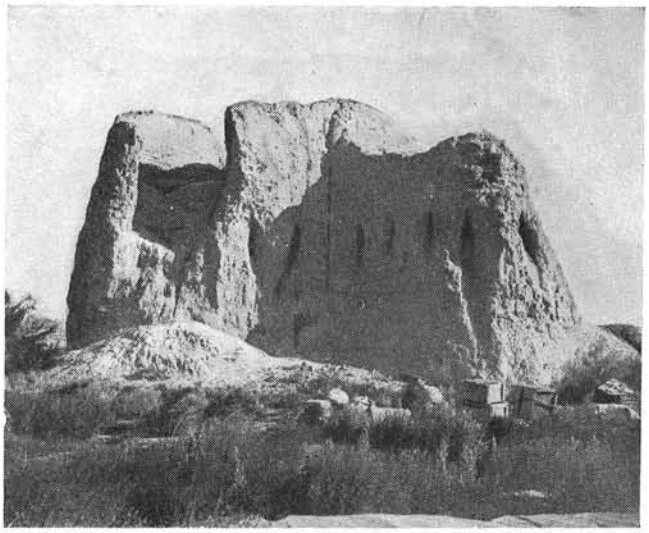
1. Полуколонны Аяз-кала № 2. 2. Аяз-кала № 2. Общий вид.

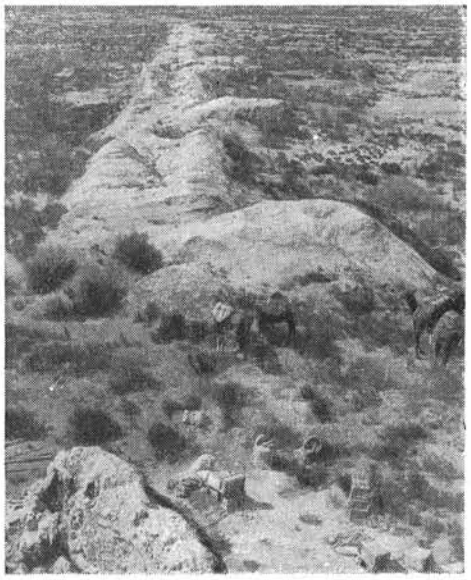


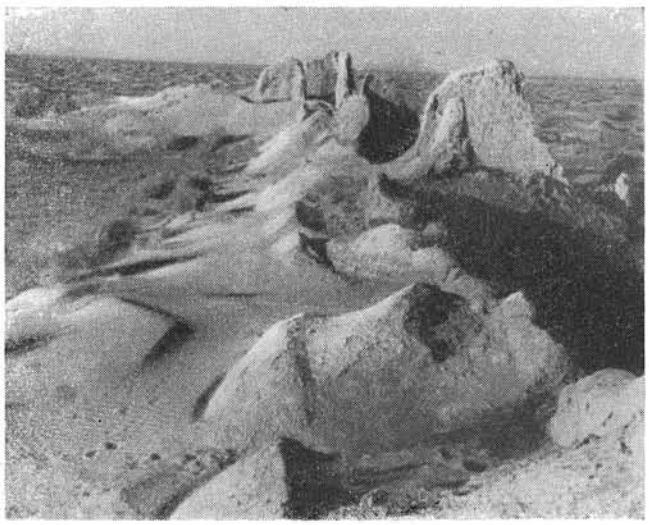




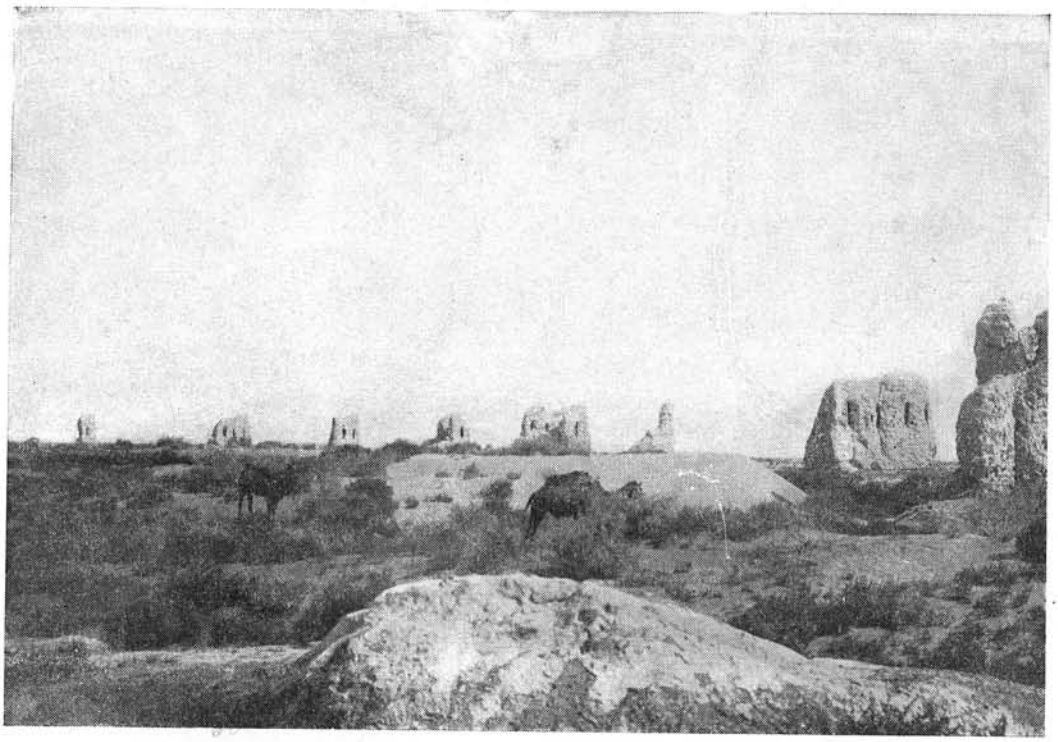
1. Кургашин-кала. Общий вид. 2. Кургашин-кала. Башня. 3. Ангка-кала. Стрелковая галлерея. 4. Ангка-кала. Общий вид.

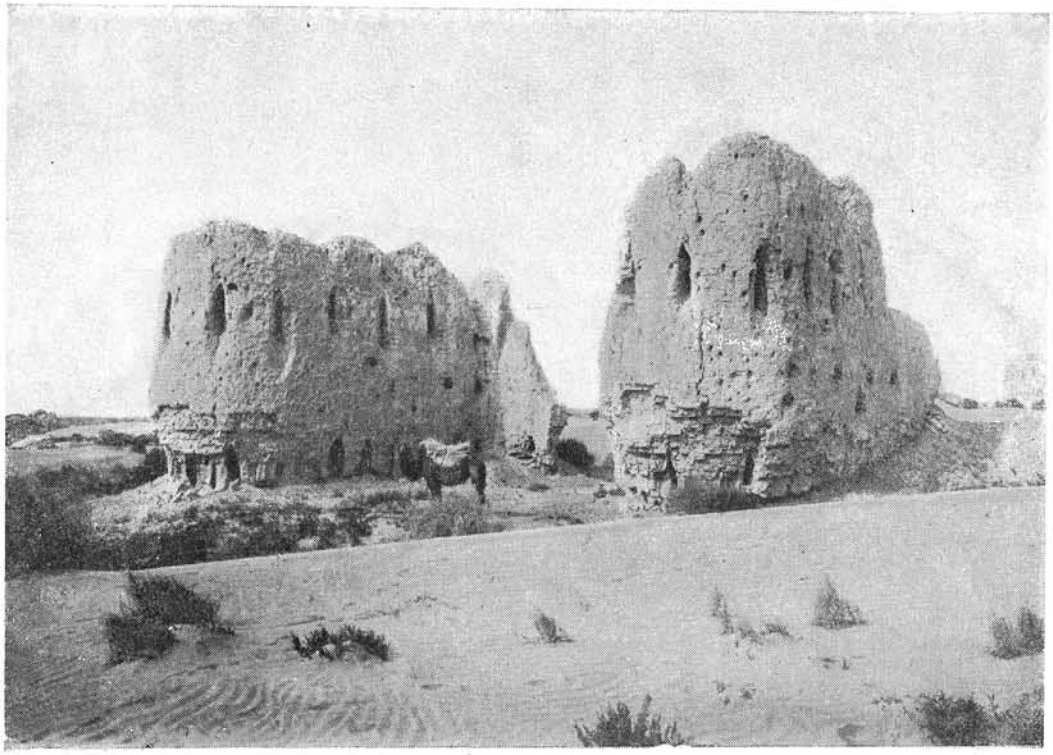




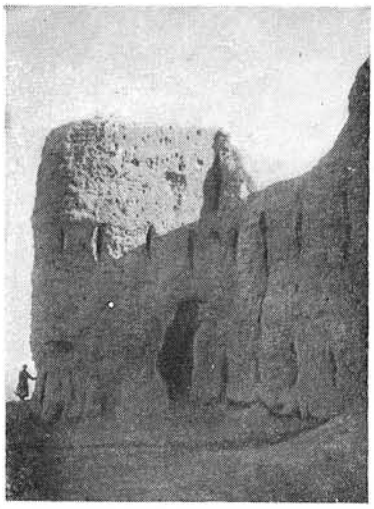
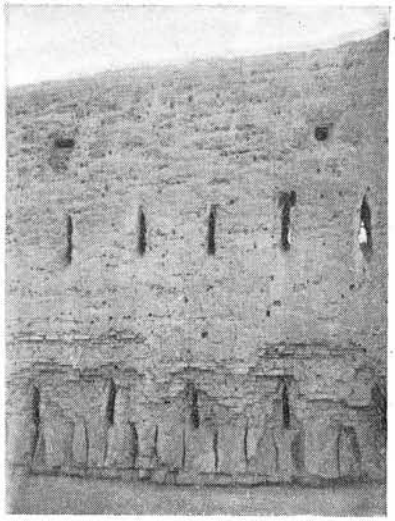
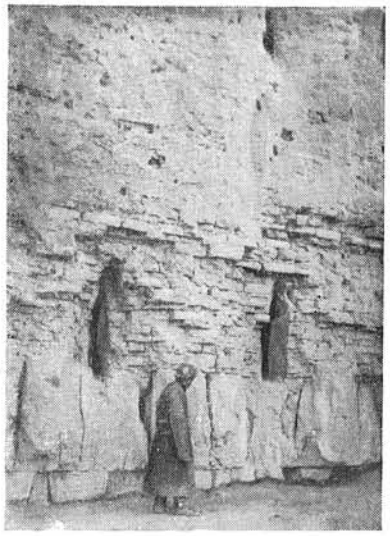


Базар-кала. 1. Арка входа в башню. 2. Угловые башни («ласточкин хвост»). 3—4. Вид на стены и башни.

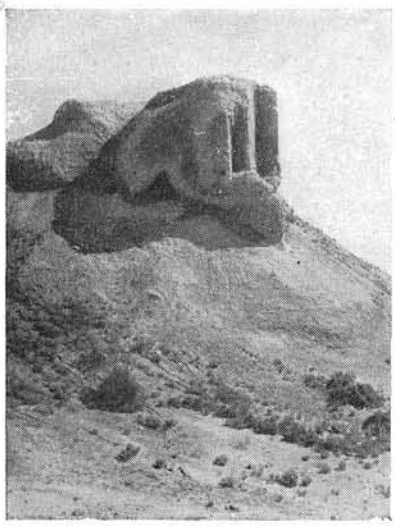
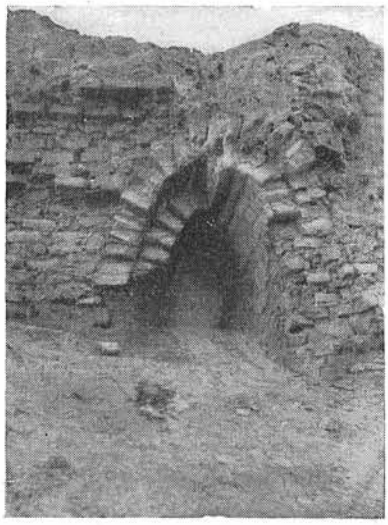
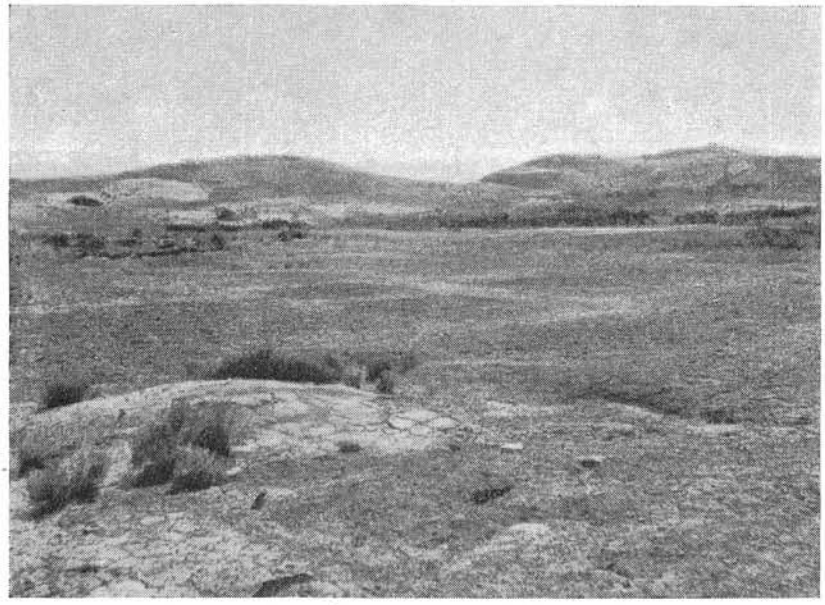




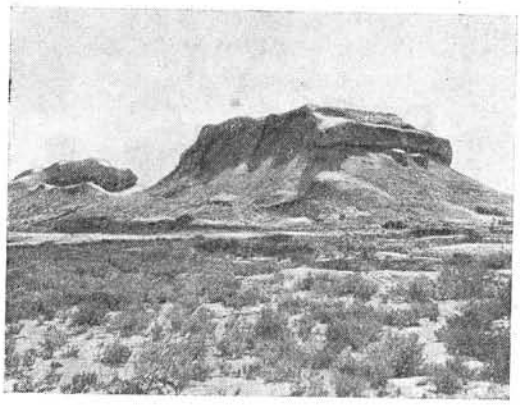
Эрес-кала. 1. Общий вид. 2. Две башни.

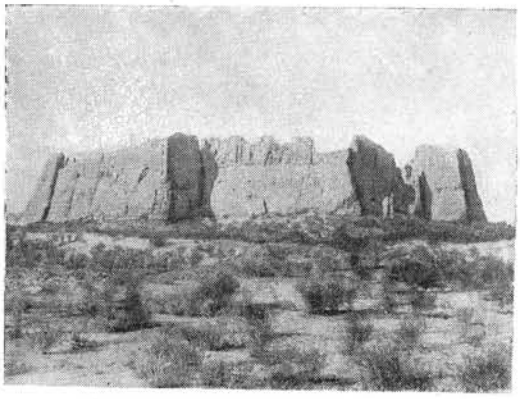
1—3. Гяур-кала на Султан-Уиздаге. Башни и стены с бойницами.

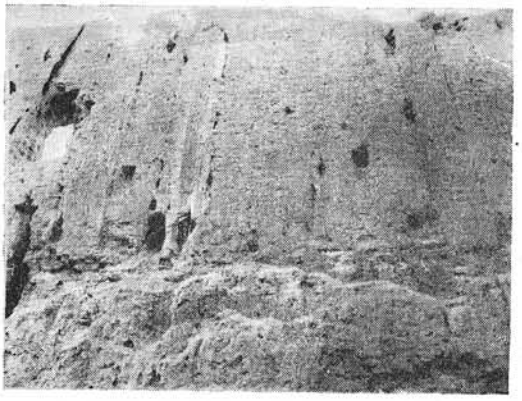




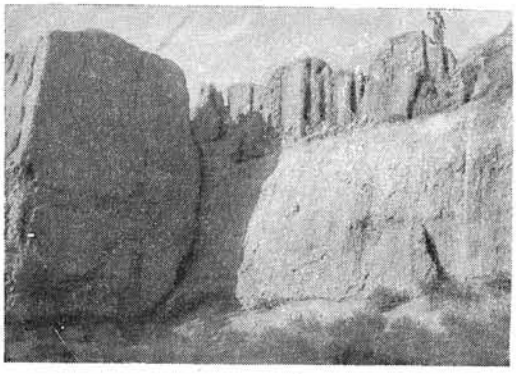
Топрак-кала. 4. Угол замка правителя.
5. Свод в замке правителя.
6. Общий вид площади городища. Видна планировка комнат одного из жилых массивов.

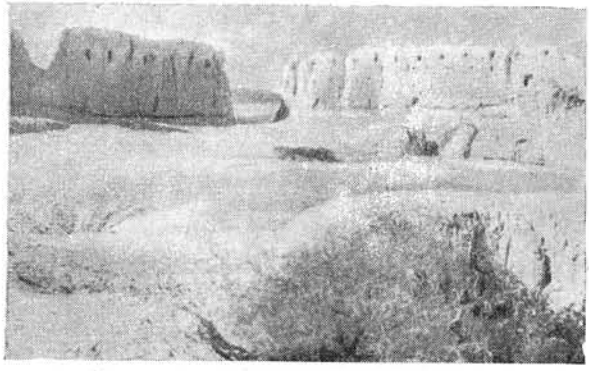


Топрак-кала. 1. Общий вид замка правителя. 2. Оссуарий. 3. Своды замка правителя. 4. Тамги на кирпичах.

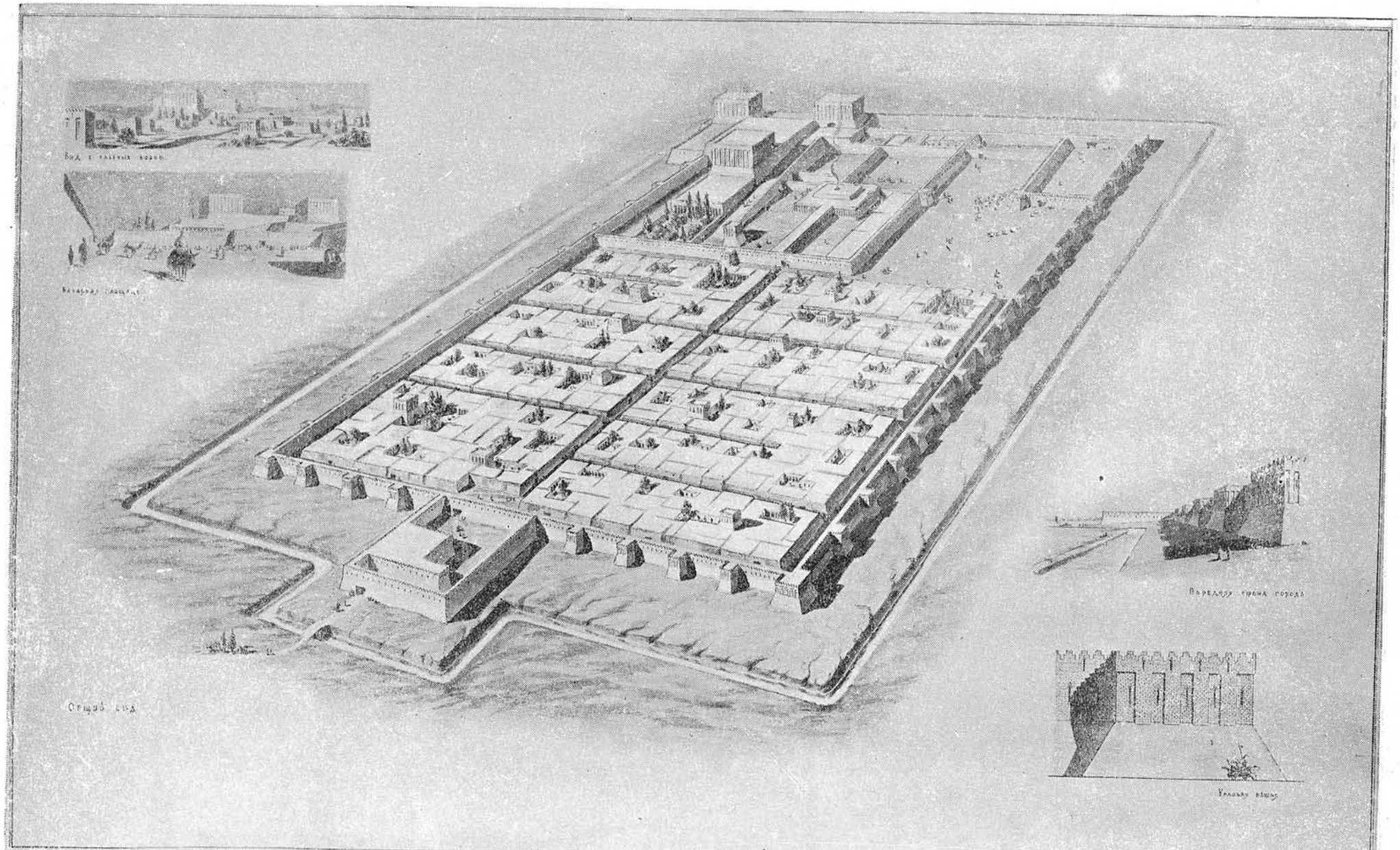






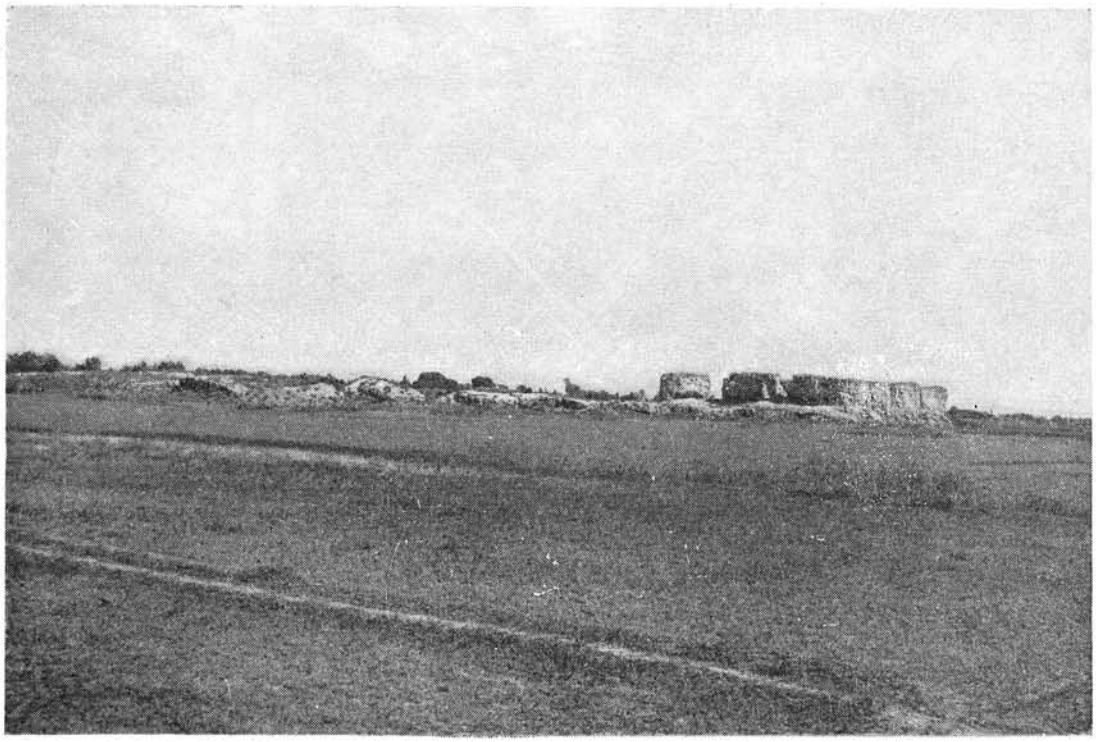


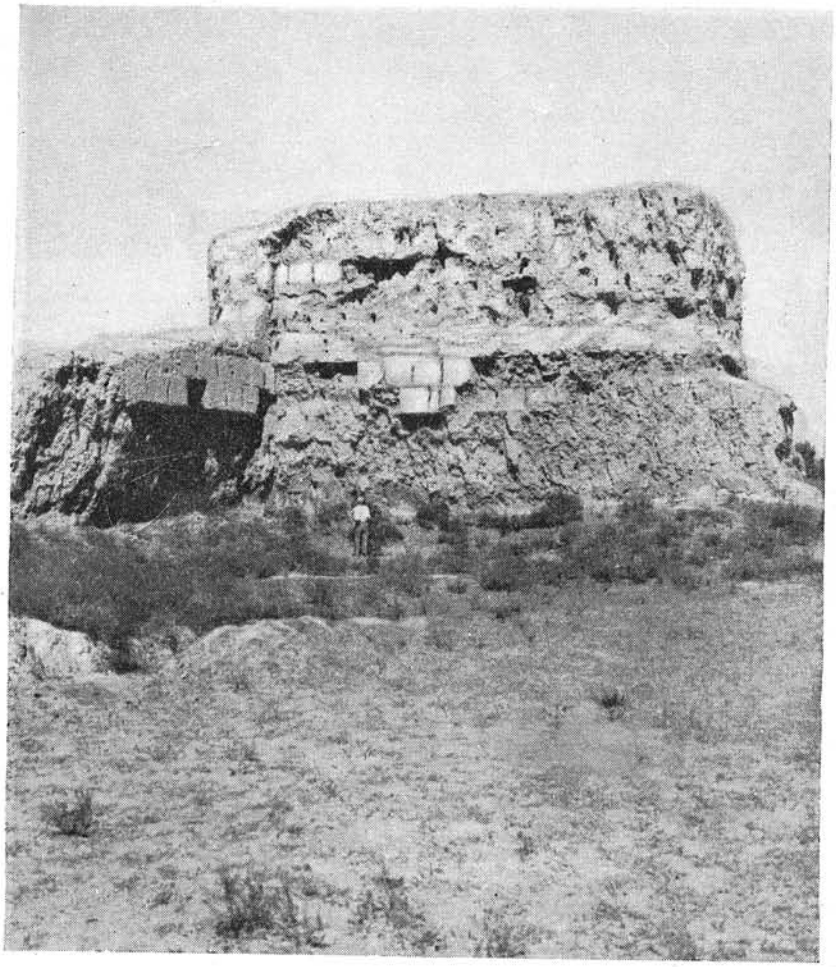
Кызыл-кала. 5. Общий вид. 6. Фигурная кладка стены. 7. Часть стены с пилястрами. 8. Верхняя площадка.



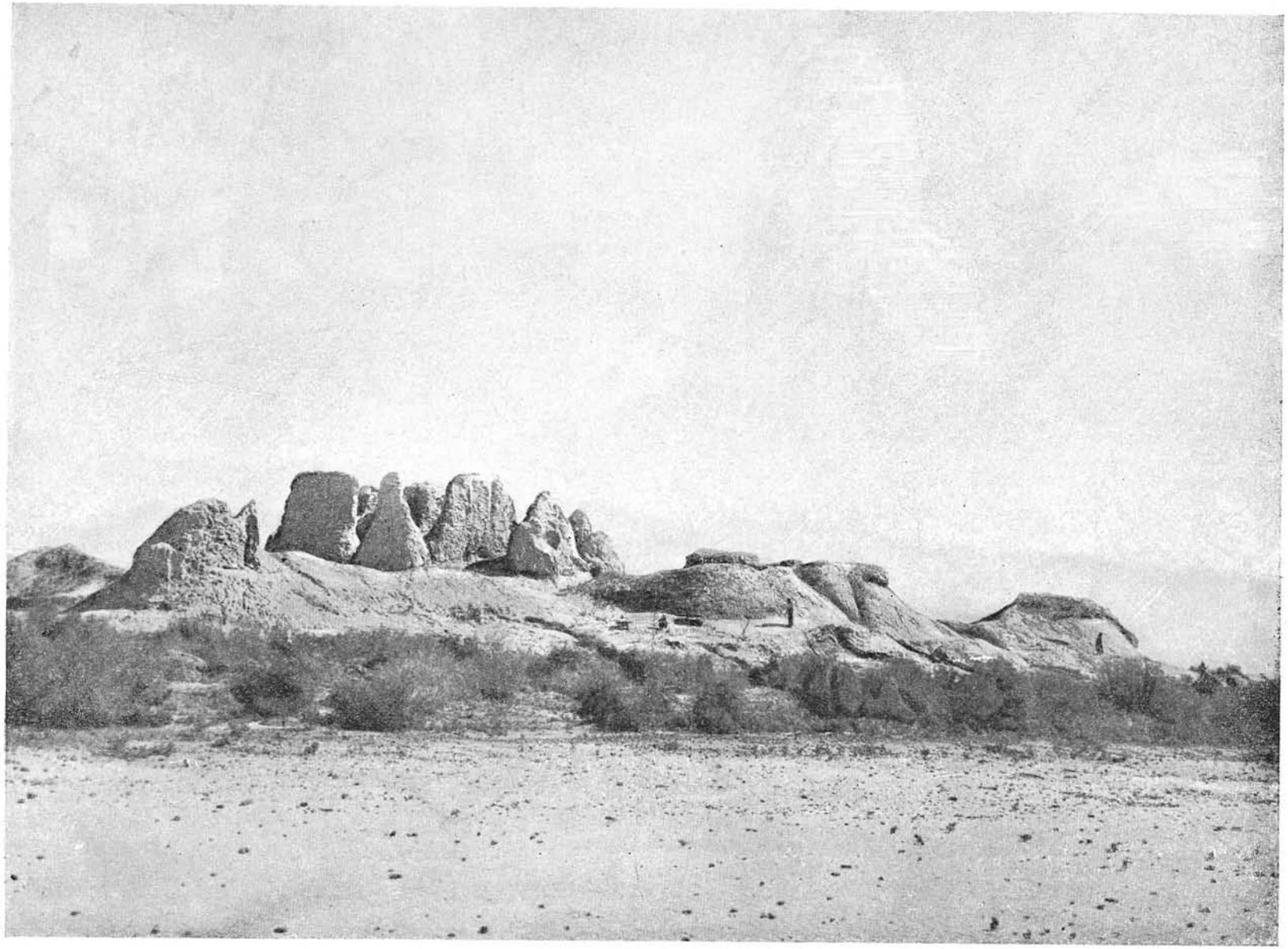
Топрак-Кала
Реконструкция
Эскиз II

16 x 22 см

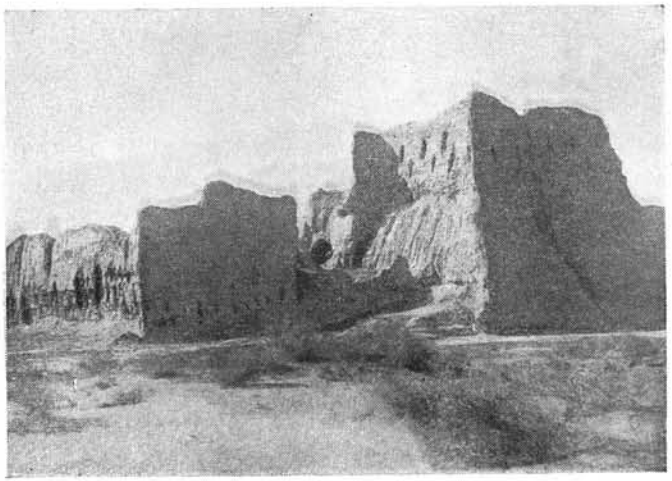


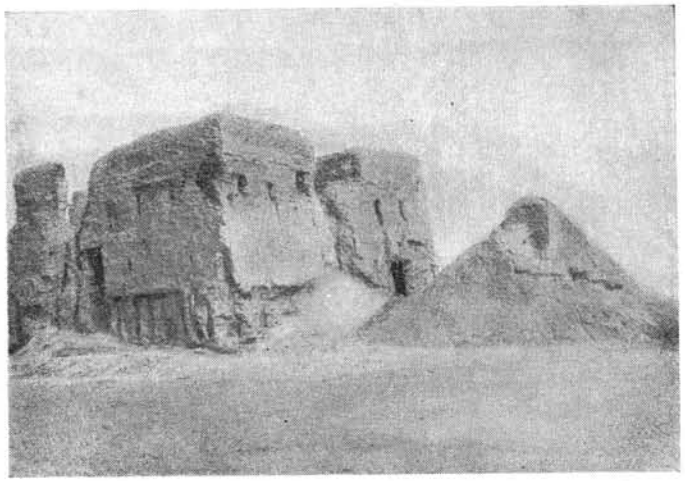


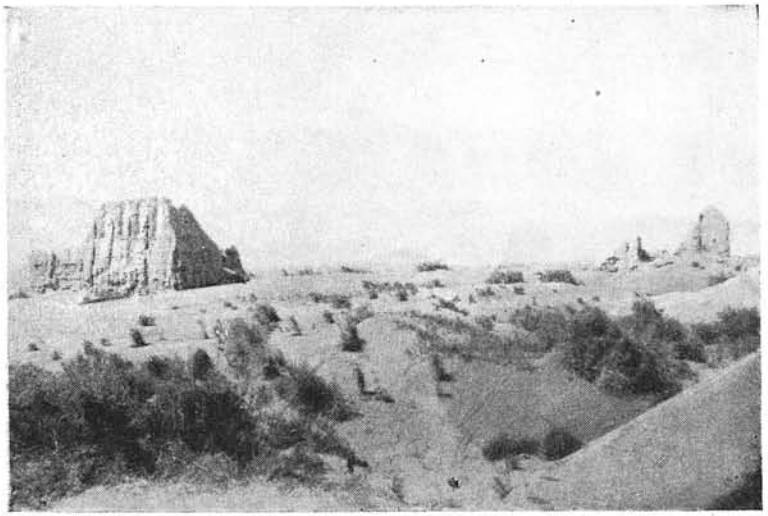
Пиль-кала. 1. Общий вид. 2. Кладка стен цитадели.



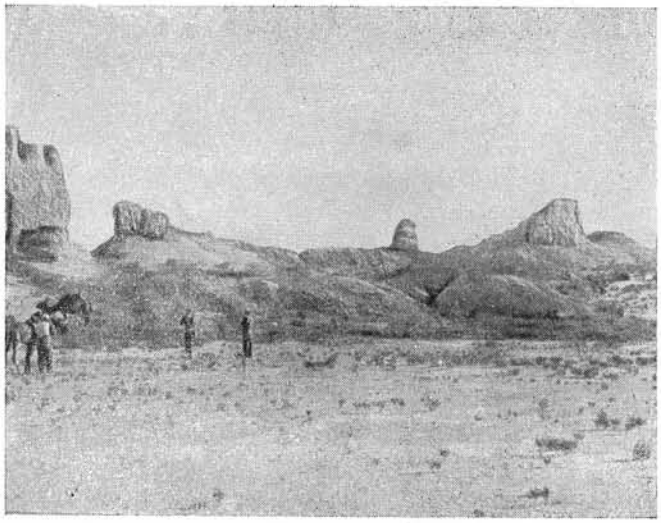
1. Якке-парсан. Общий вид.

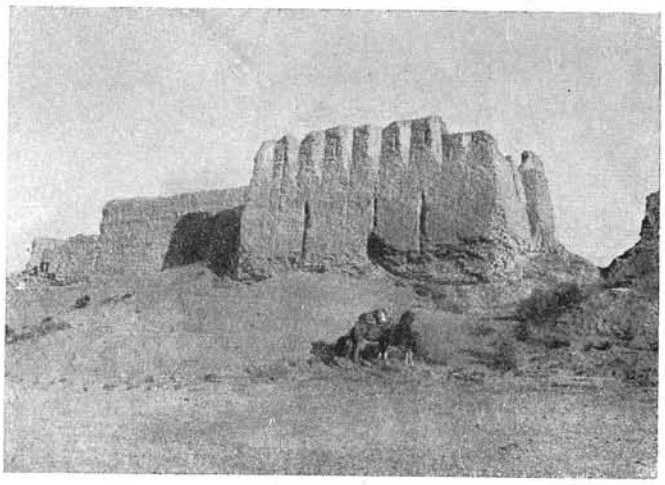


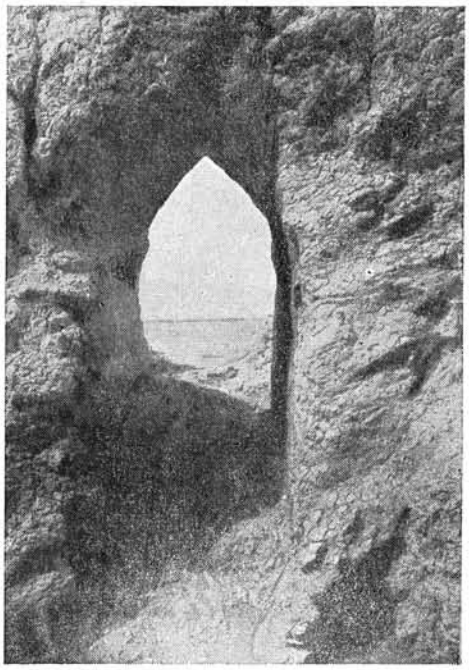


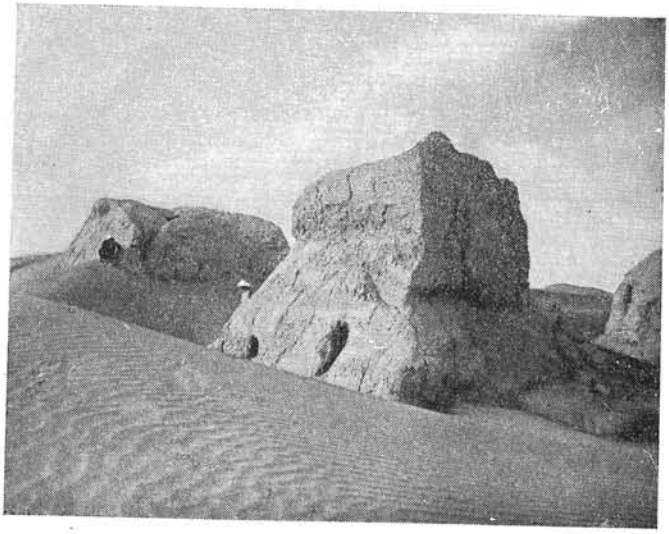


Замки афригидского времени. 1—3. Мертвый оазис Беркут-кала. 1. Замок № 8. 2. Замок № 7. 3. Замок № 13. 4. Замок Кум-кала.

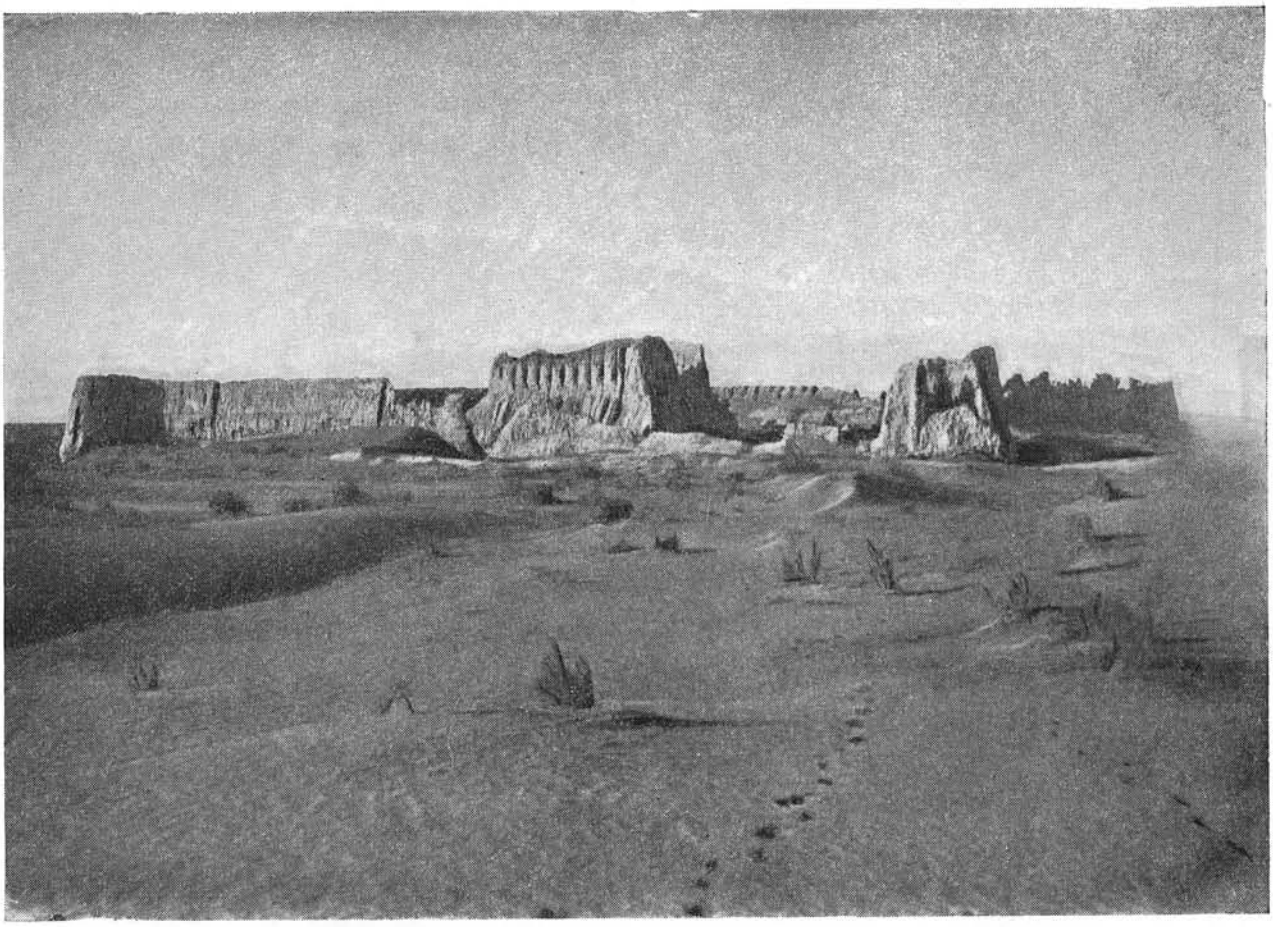


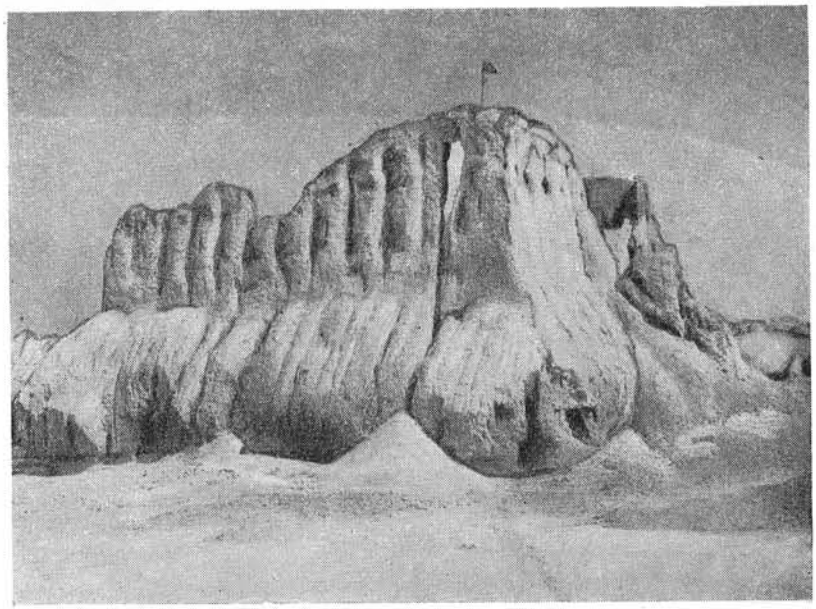




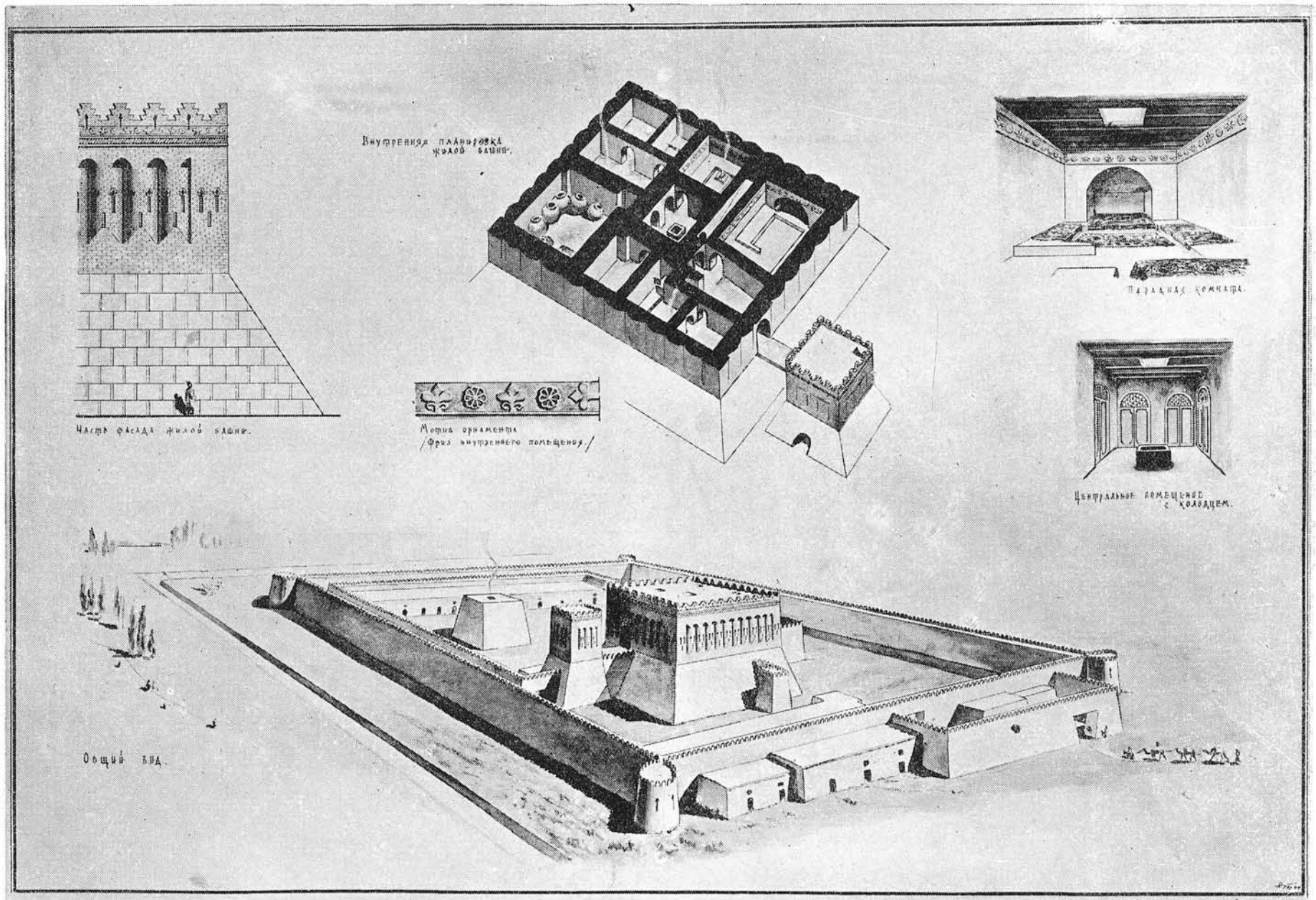


Замки афригидского времени. 1. Уй-кала. Внутренний двор. 2. Уй-кала, донжон. 3. Пилоны внешних ворот Кум баскан-кала. 4. Угловая башня Беркут-кала. 5. Арка входа в башню в замке № 40.

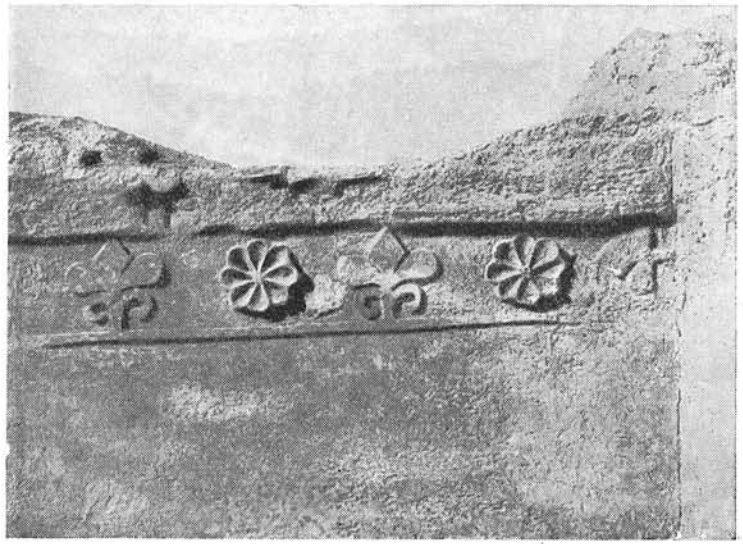




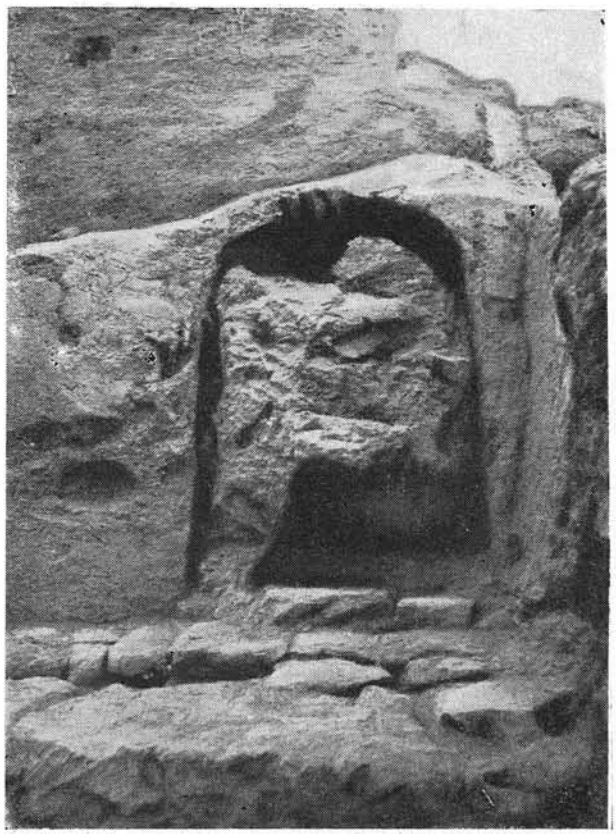
Тешик-кала. 1. Общий вид с юга. 2. Жилая башня.

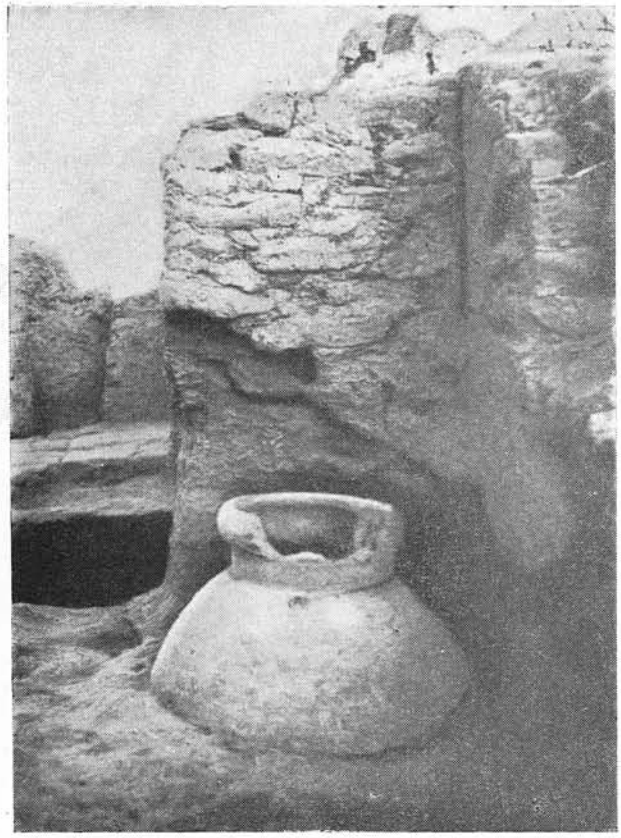


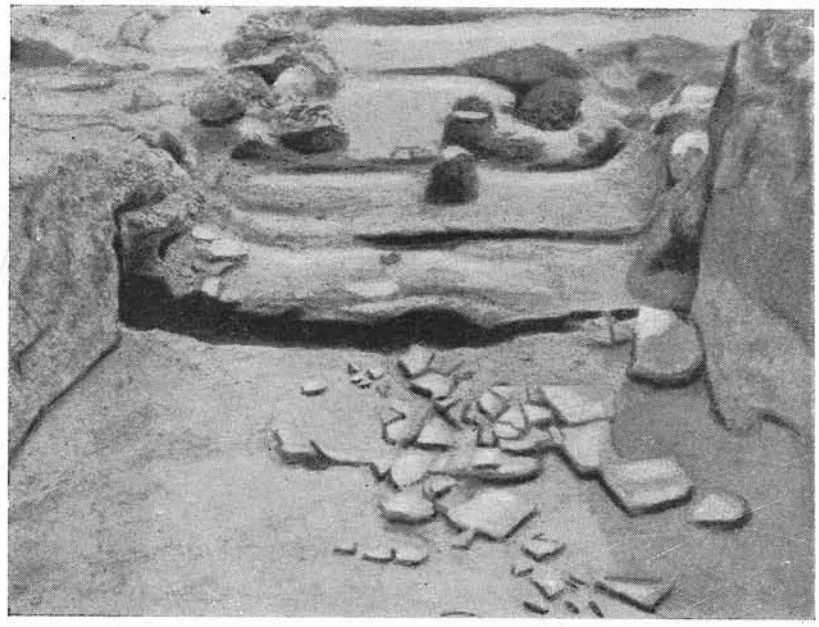
Тешик-кала
Реконструкция



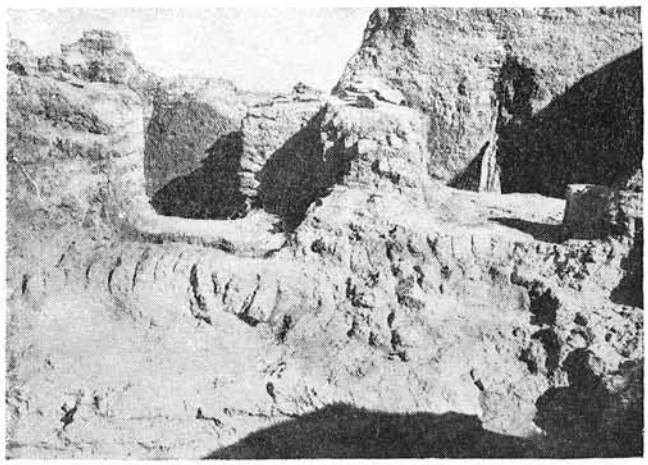
Тешик-кала. Раскопки наверху жилой башни. 1. Общий вид из комнаты № 7. 2. Кладка стен комнаты № 7. 3. Комната с фризом. 4. Фриз.



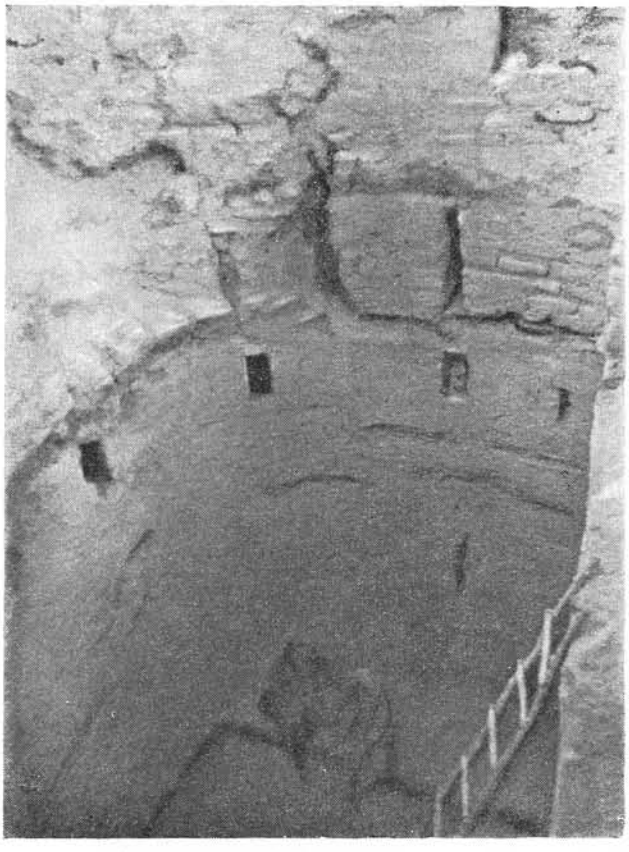




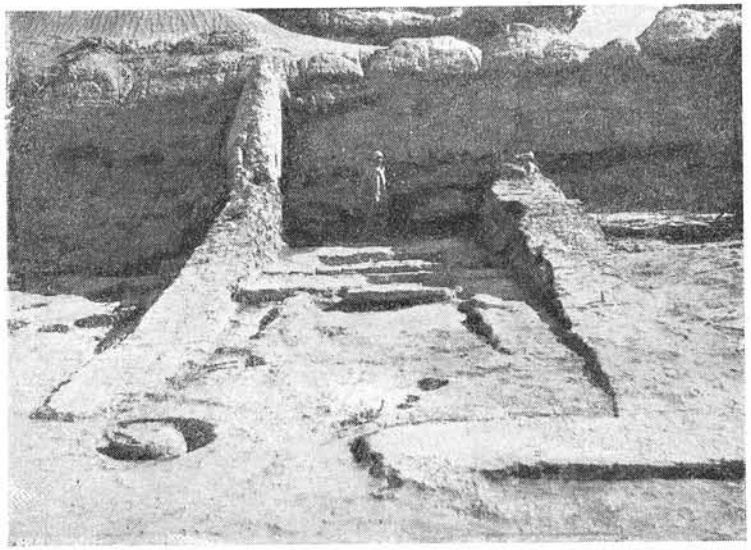
Тешик-кала. Раскопки наверху жилой башни. 1. Арка входа из комнаты № 4 в комнату № 1. 2. Хум (пифос) врытый у двери комнаты № 7. 3. Дверные коробки входа в центральное помещение с колодцем.

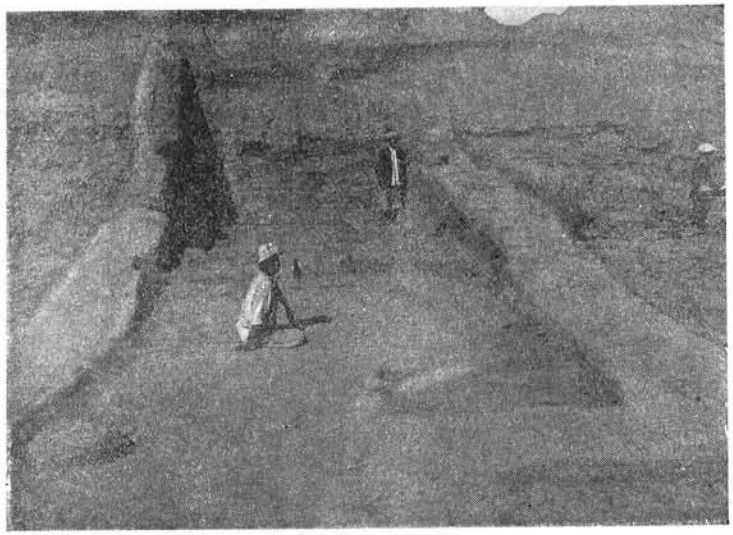


Тешик-кала. Раскопки наверху жилой башни.
1. Рухнувшие арки входов в центральное помещение из комнат №№ 7 и 4. 2—3. Кладка стен над древним помещением в основании донжона. 4. То же—видна деформация стены.

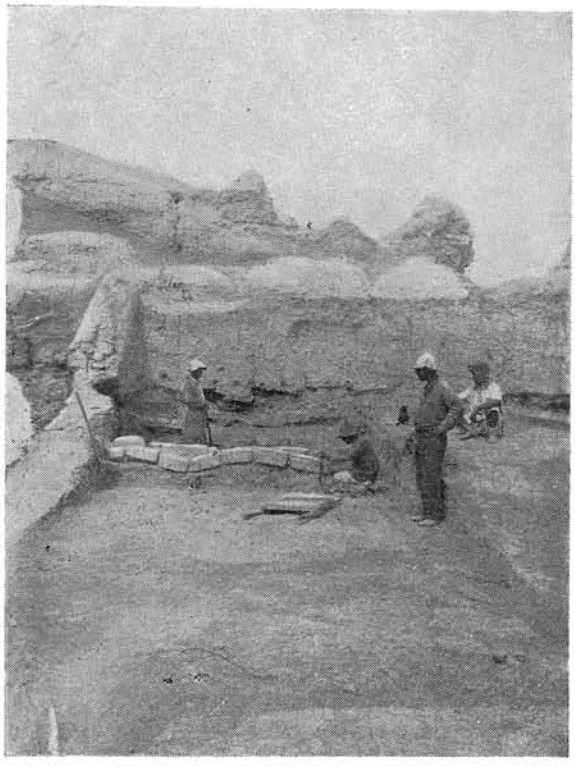


Тешик-кала. 1—3. Комната в древнем здании в основании жилой башни после расчистки.

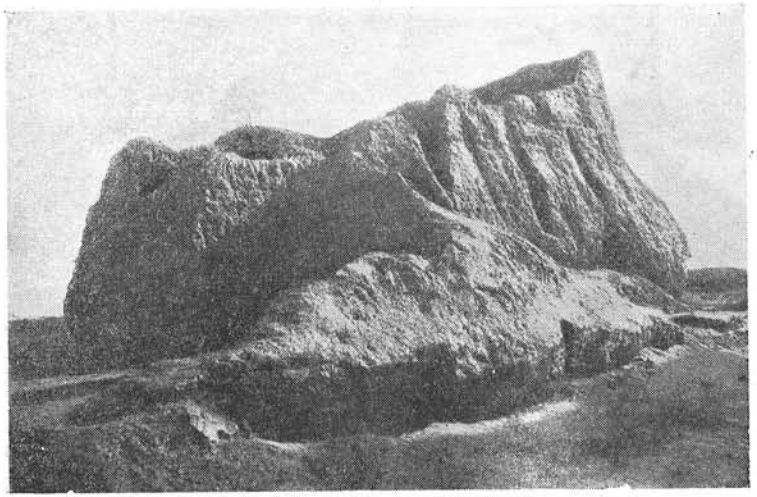


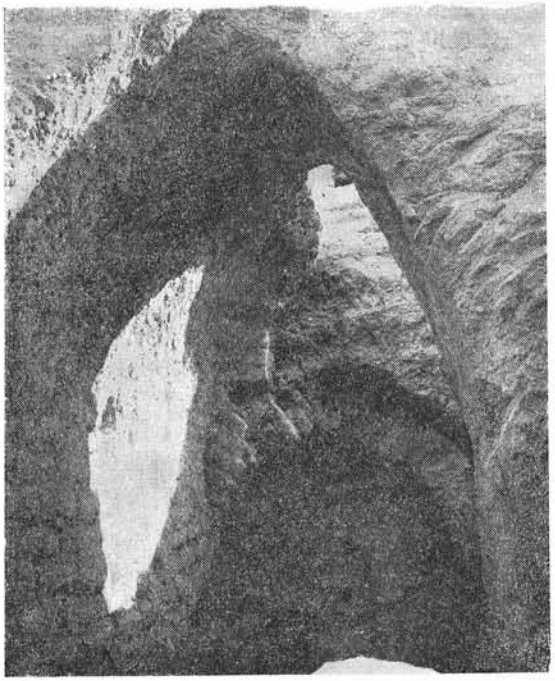


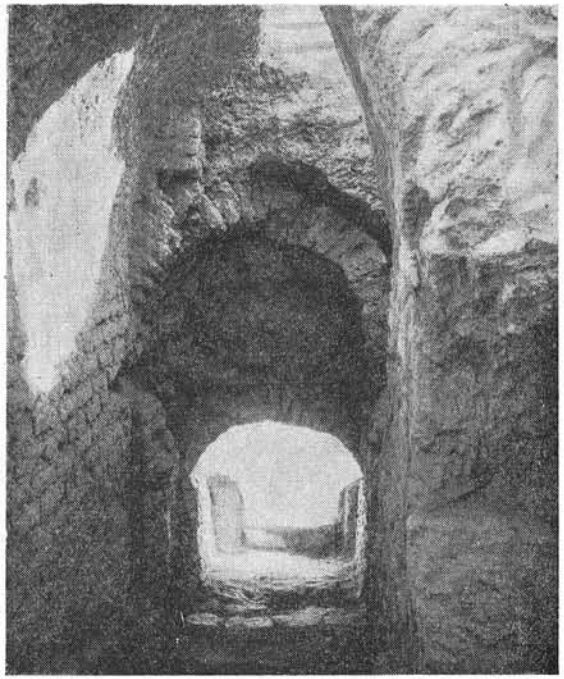
1—4. Тешик-кала. Раскопки помещений во дворе крепости



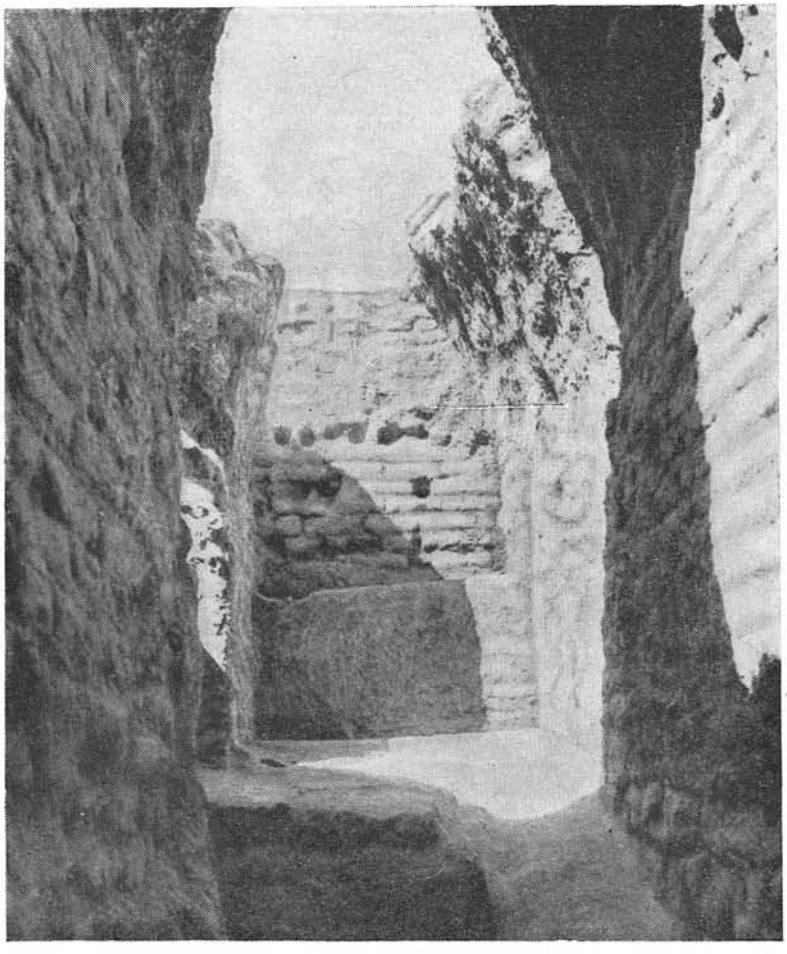
1—3. Тешик-кала. Раскопки помещений во дворе крепости (2—3—рухнувшие своды).

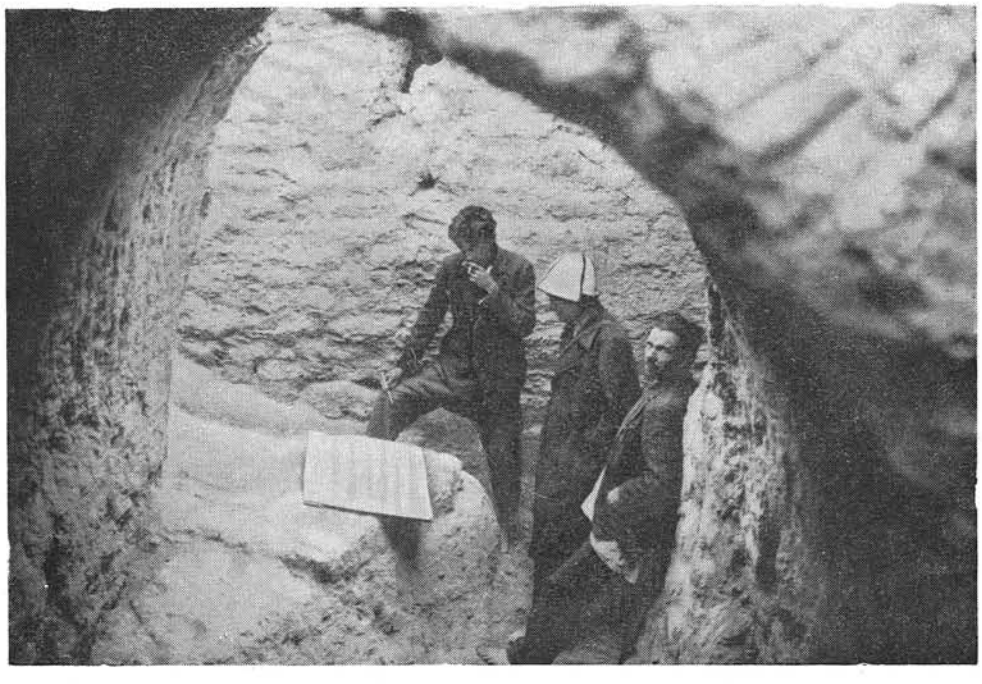




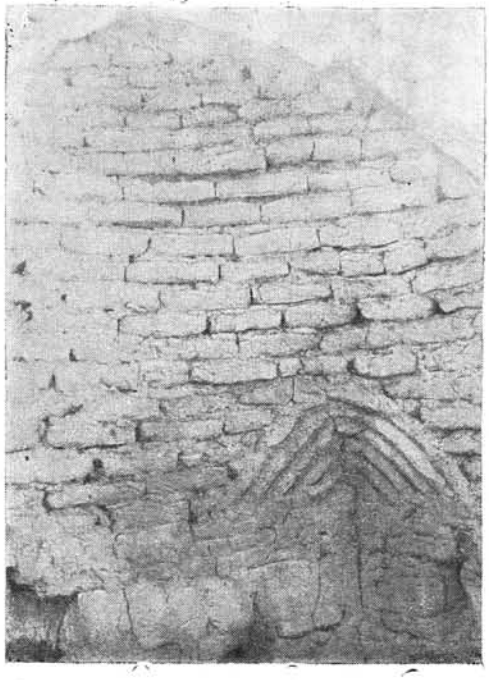


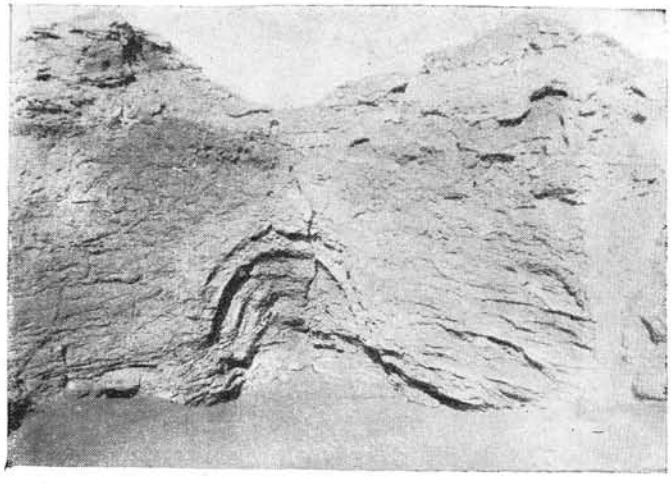
Замок № 36. 1. Общий вид. 2. Скамья в купольном помещении. 3—4. Своды.



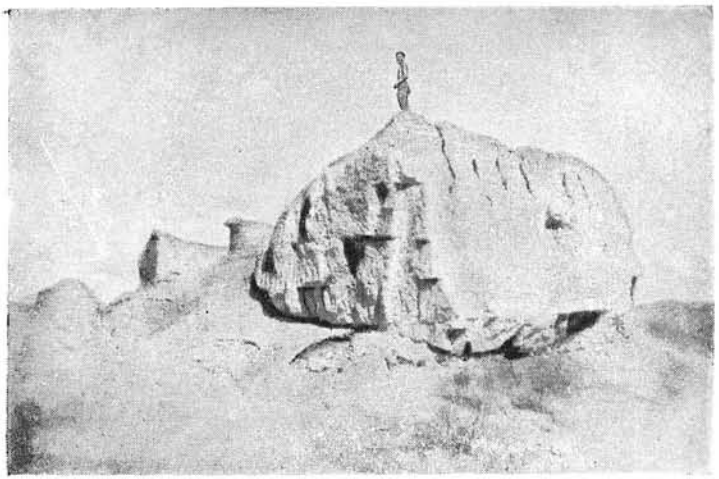


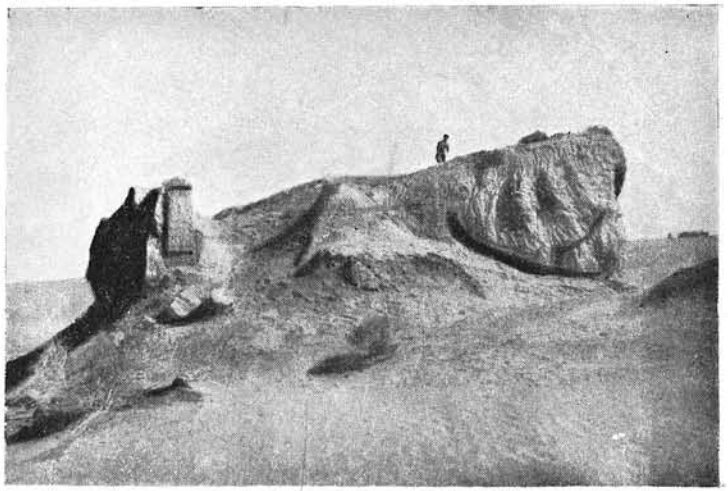
Замок № 36. 1—2. Своды.

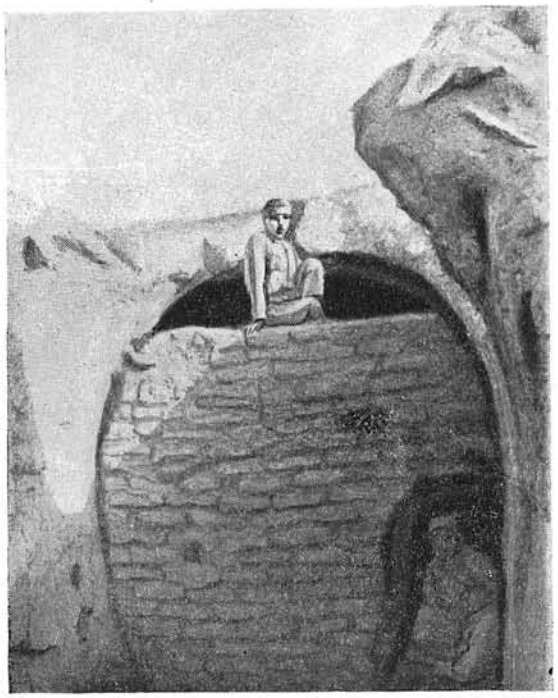




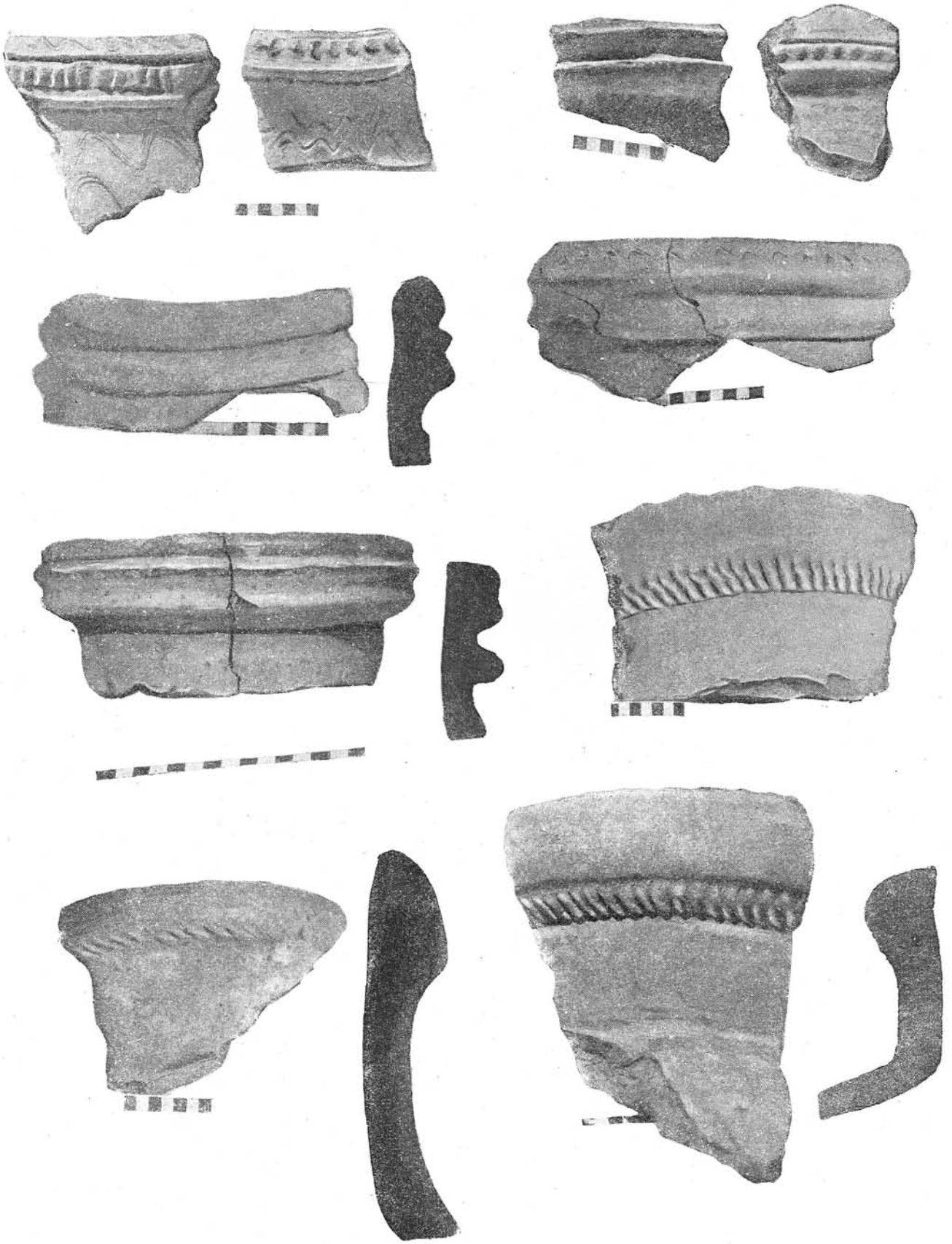
Замок № 36.
1. Раскопки на верху жилой башни. 2—3. Парус основания купола. 4. Парус купола замка № 50.



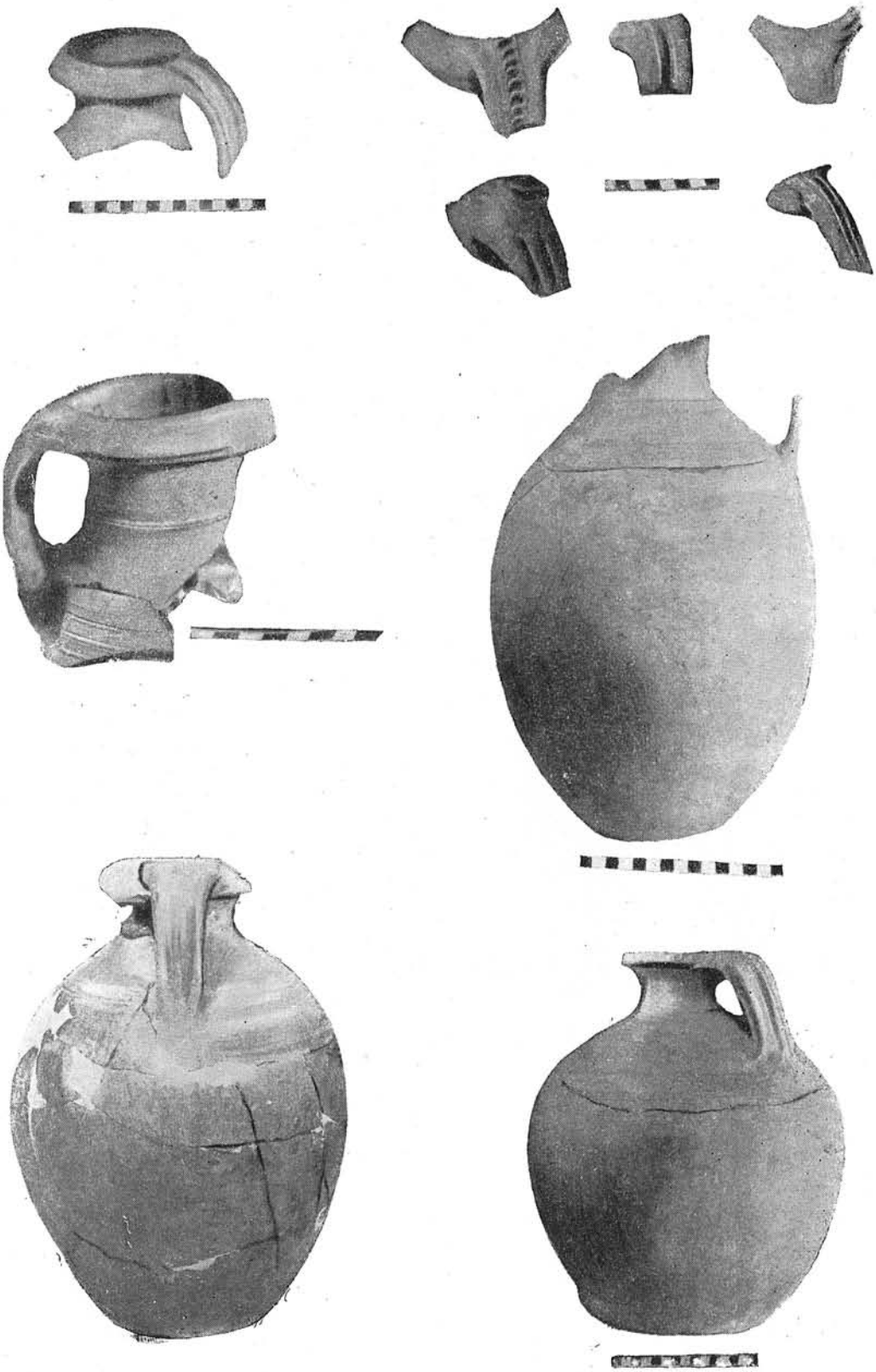




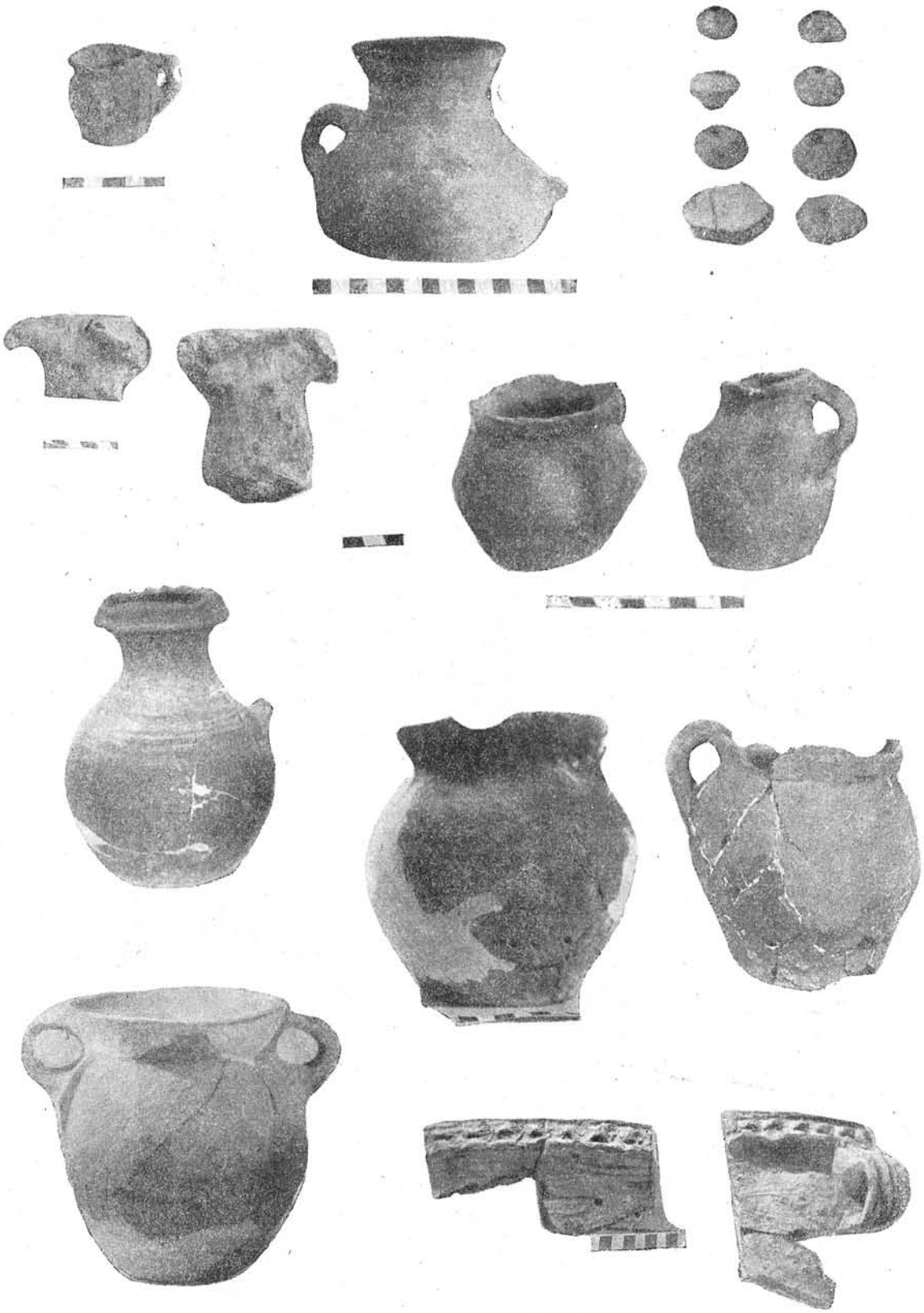
1—4. Раскопки замка № 34. 1—2. Общий вид.
3. Поперечная стенка сводчатого помещения. 4. Арка входа из одного сводчатого помещения в другое.



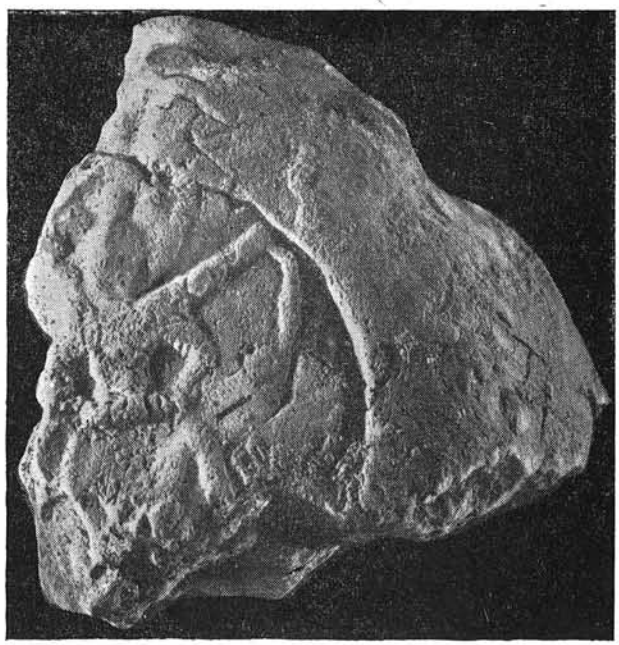
Тешик-кала. Фрагменты хумов.

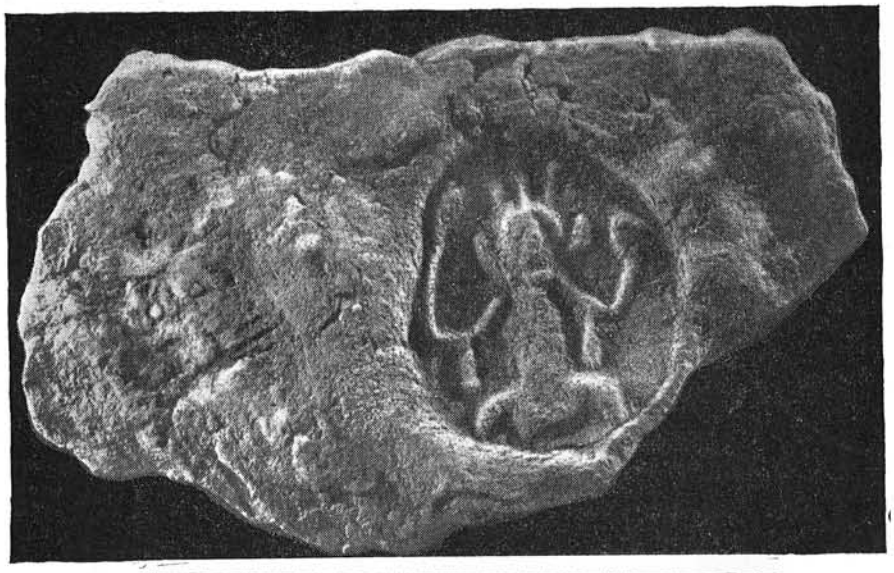


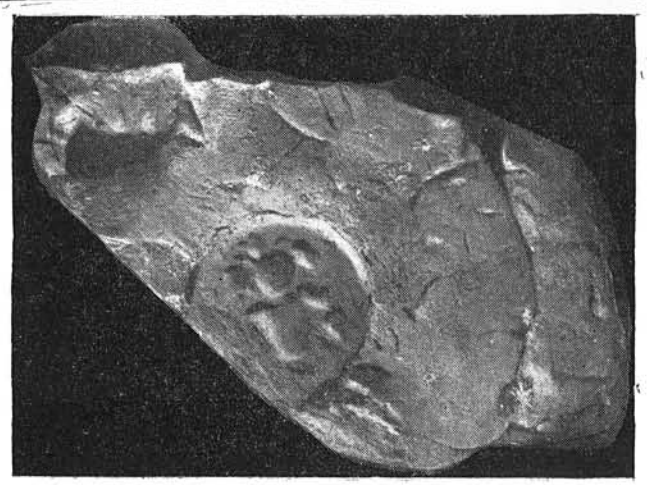
Тешик-кала. Водоносные кувшины.



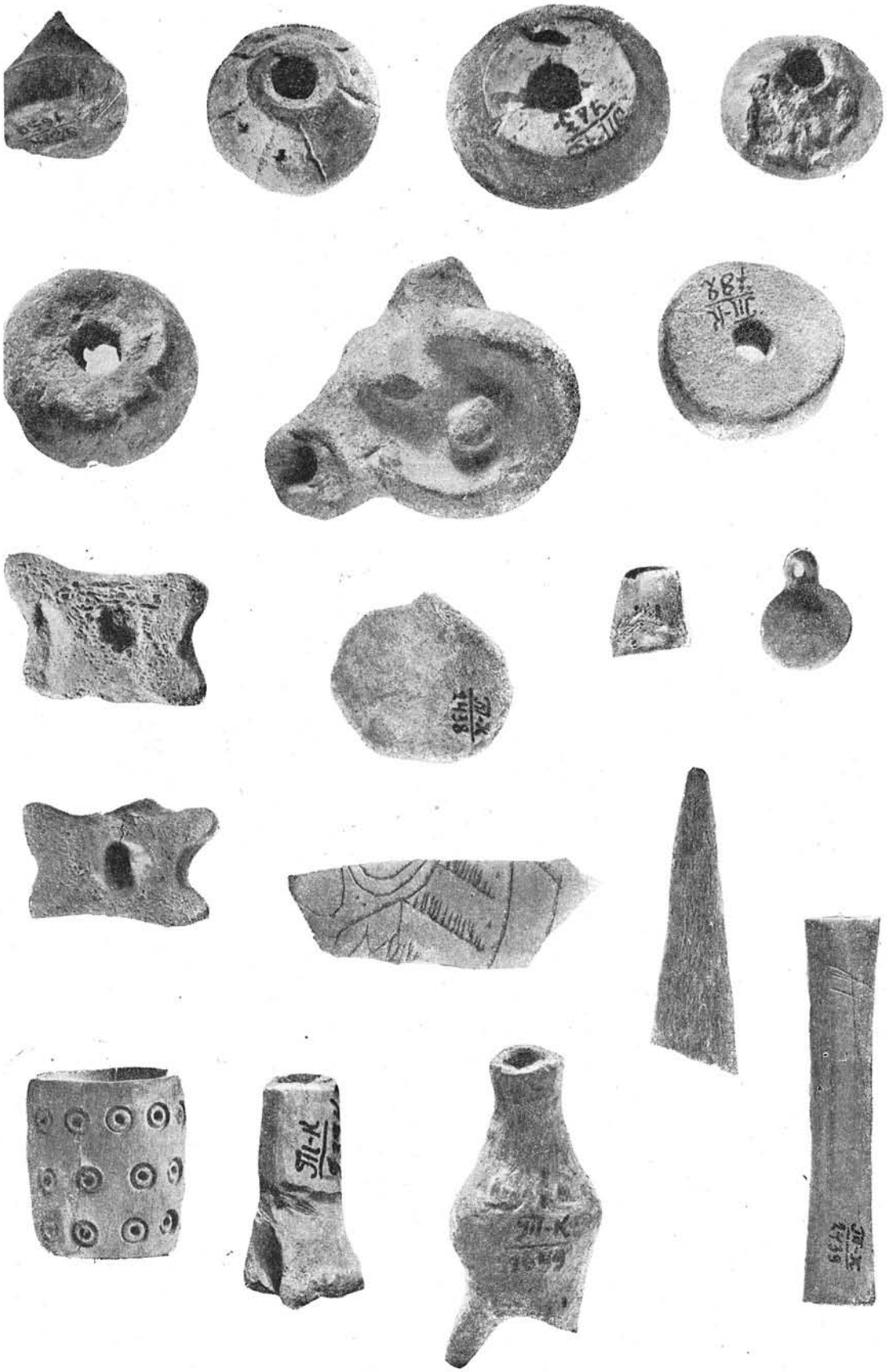
Тешик-кала. Мелкие сосуды, подставки под котлы и пряслицы.



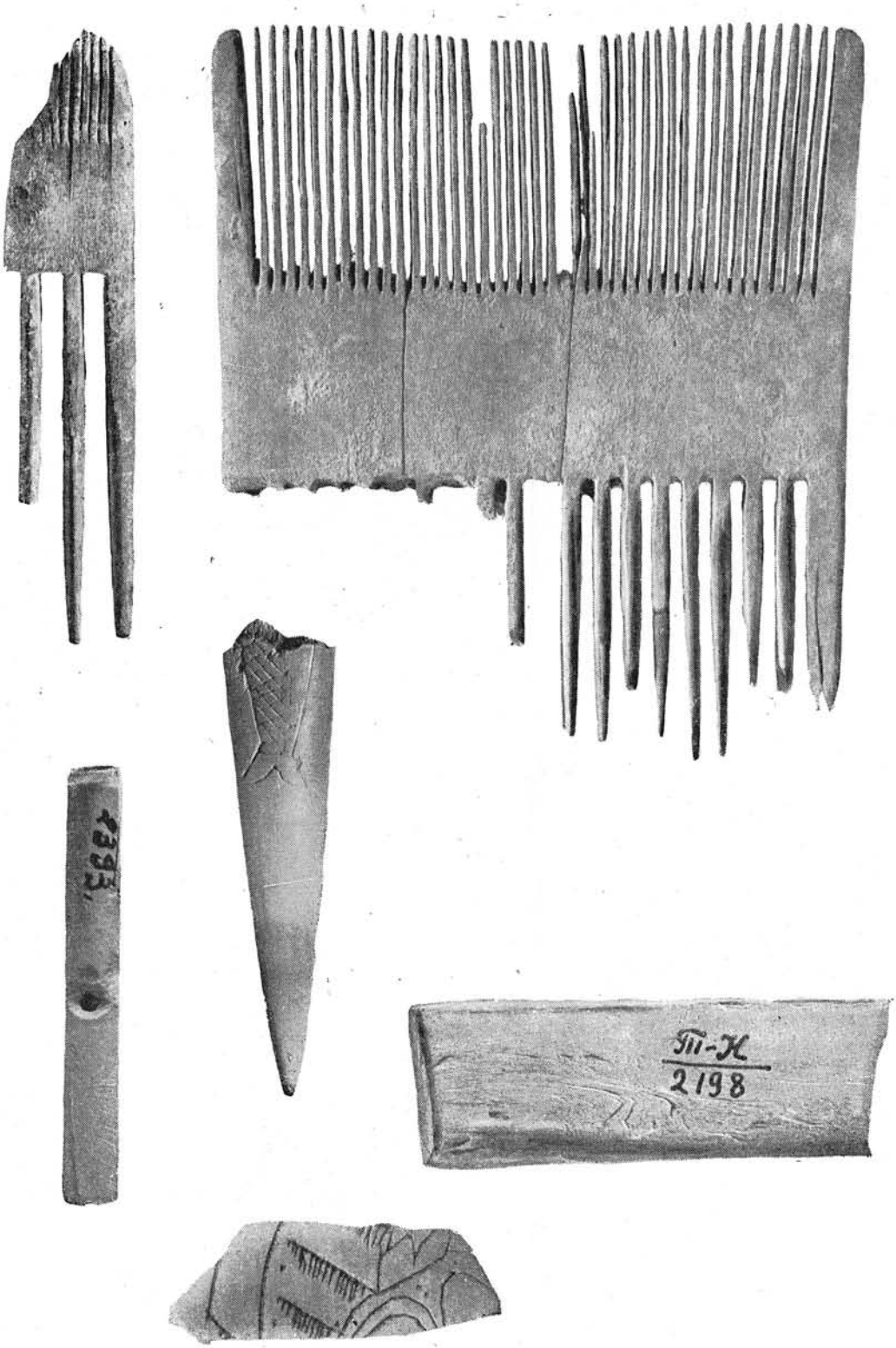




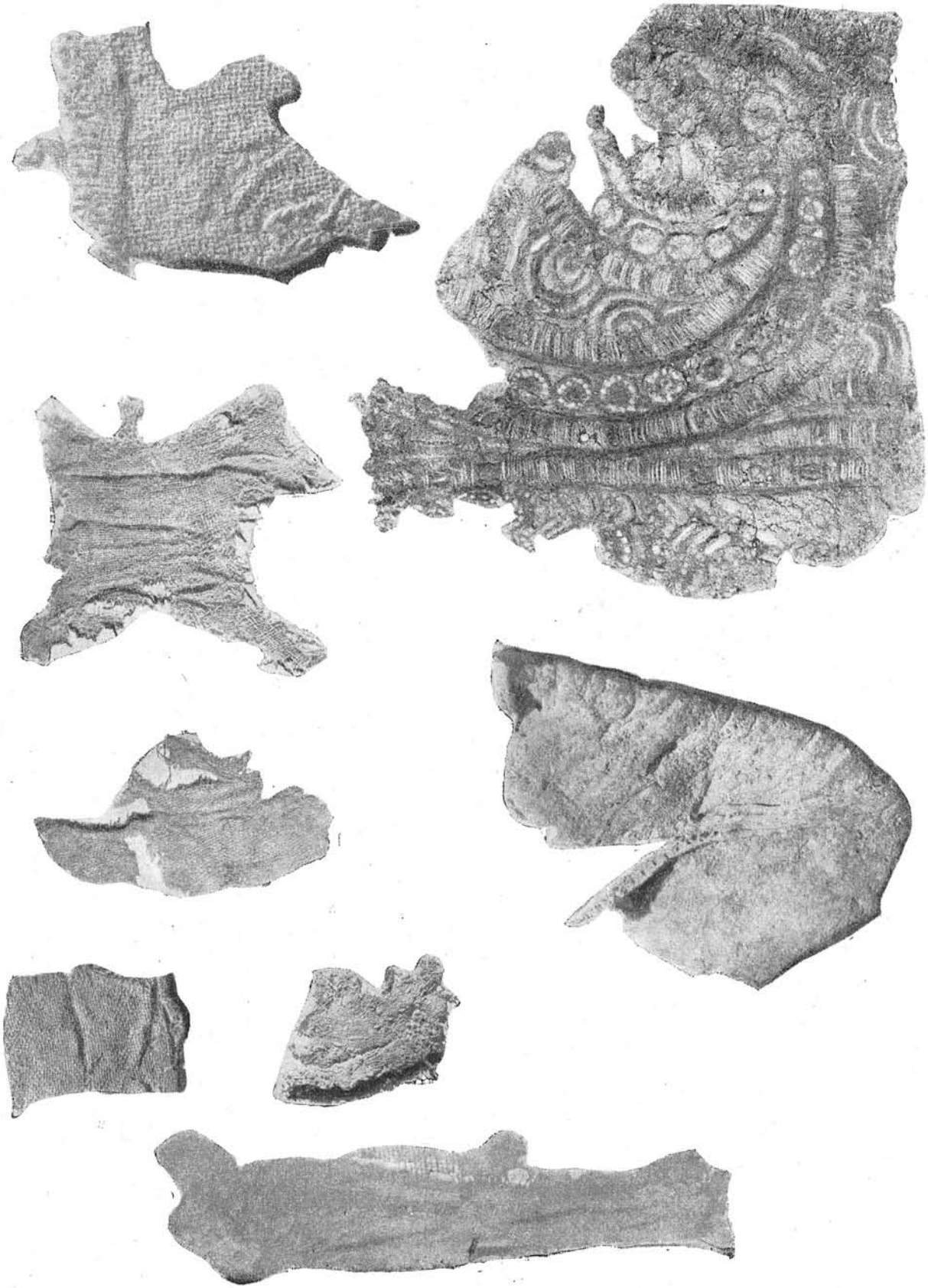
Оттиски печатей на сырой глине. 1—3. Тешик-кала. 4. Замок № 4.



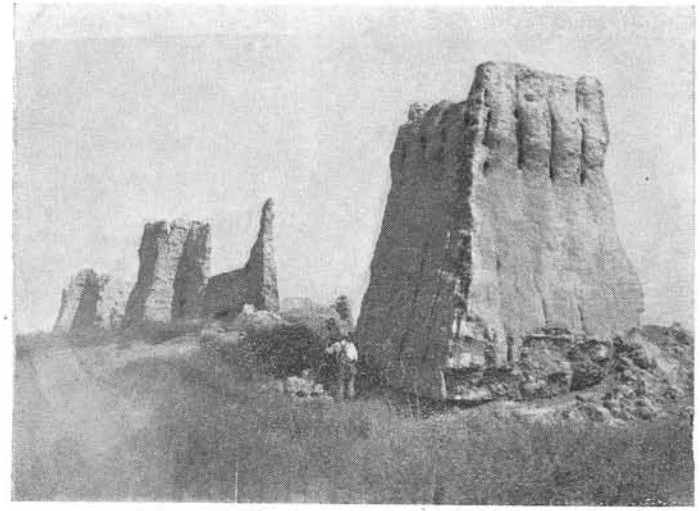
Тешик-кала. Различные предметы из кости и глины.

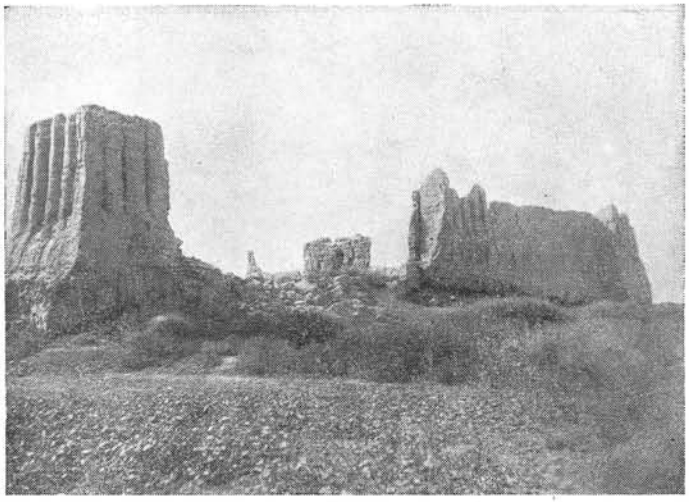


Тешик-кала и замок № 36. Различные предметы из дерева и кости.



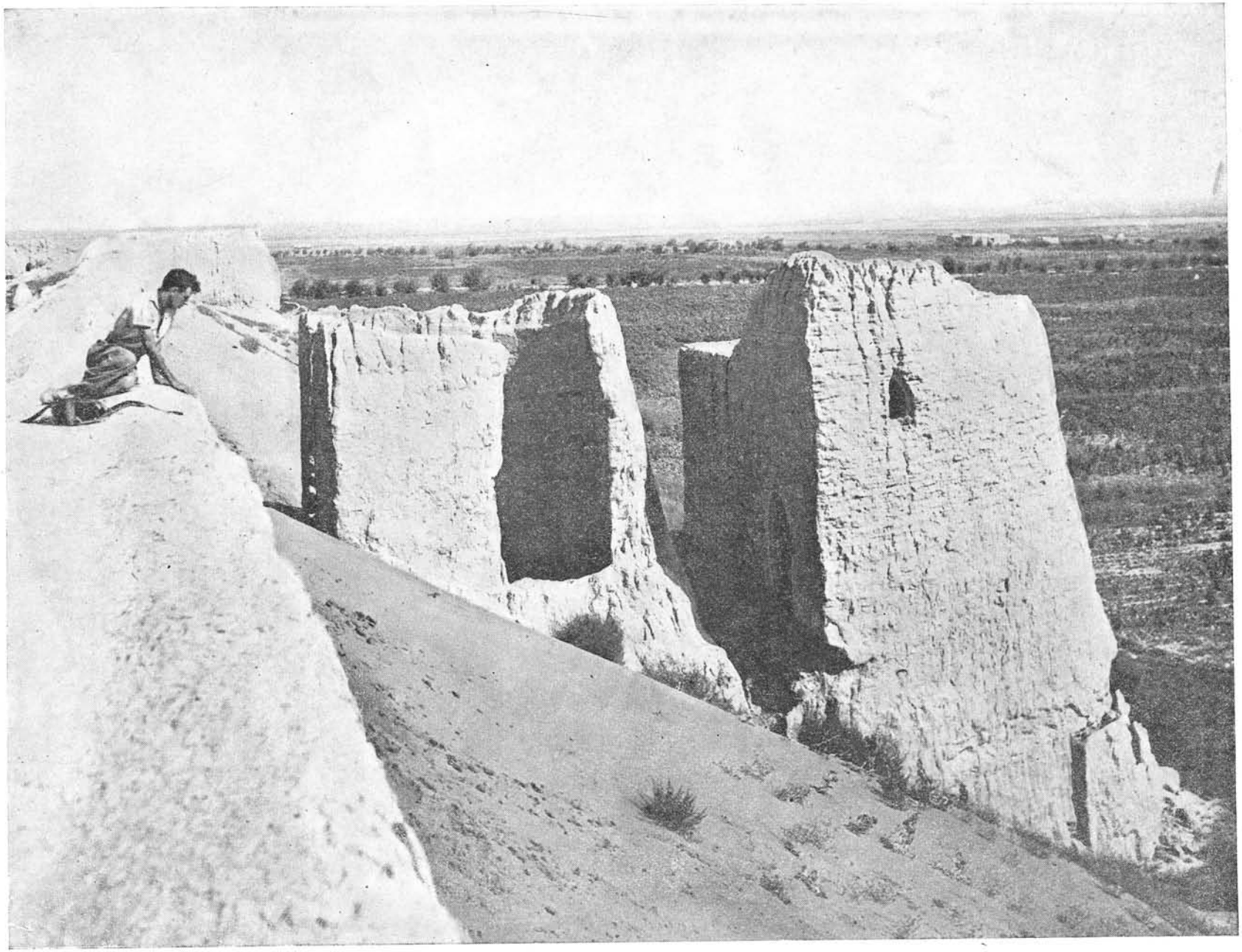
Замок № 36. Вышивка на кошме, фрагменты ткани, фрагменты кожаной обуви.



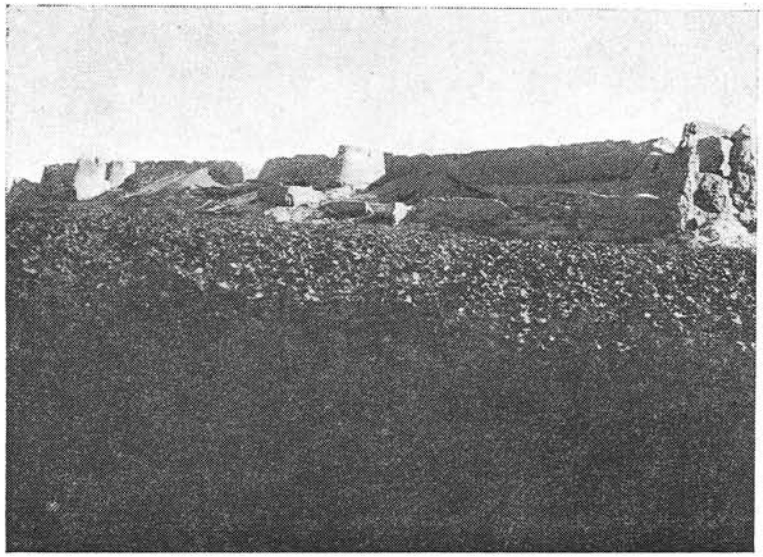


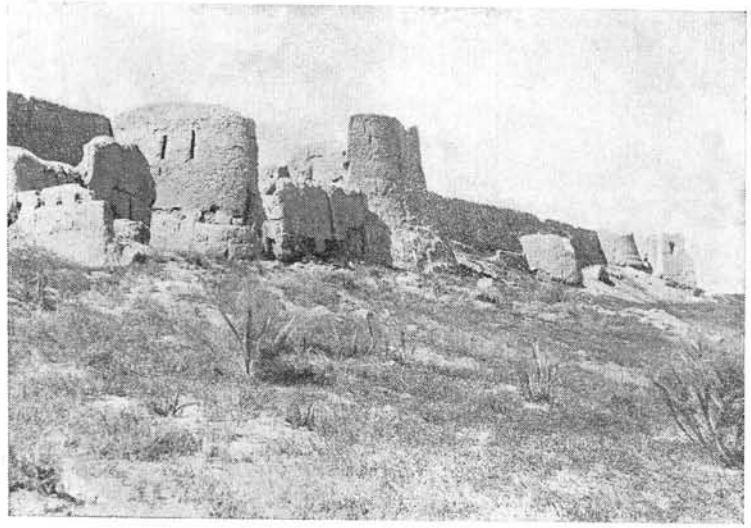
1—2. Наиб-кала № 1.

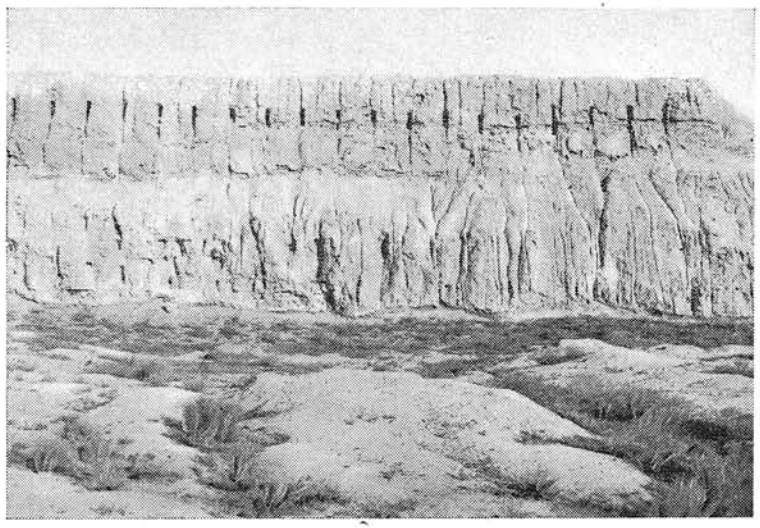
3. Большой Гульдурсун. Вход в крепость.

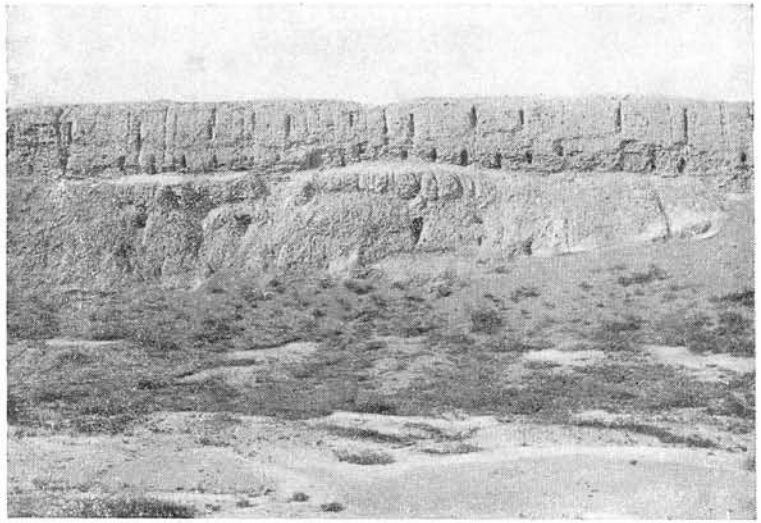


Оборонительная система Большого Гульдурсуна. Двойные башни.

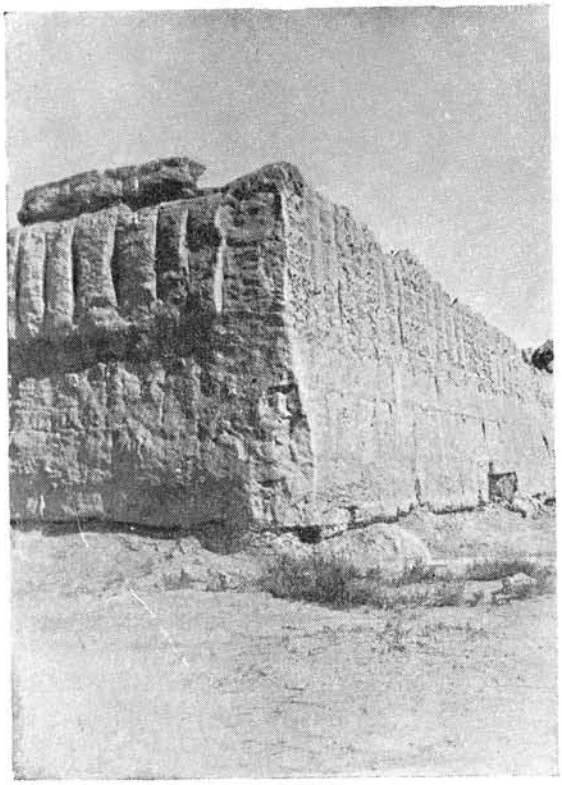


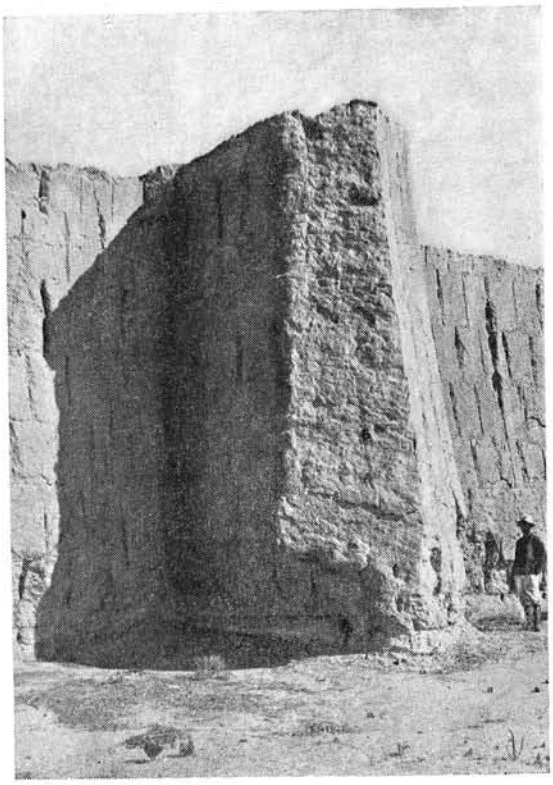


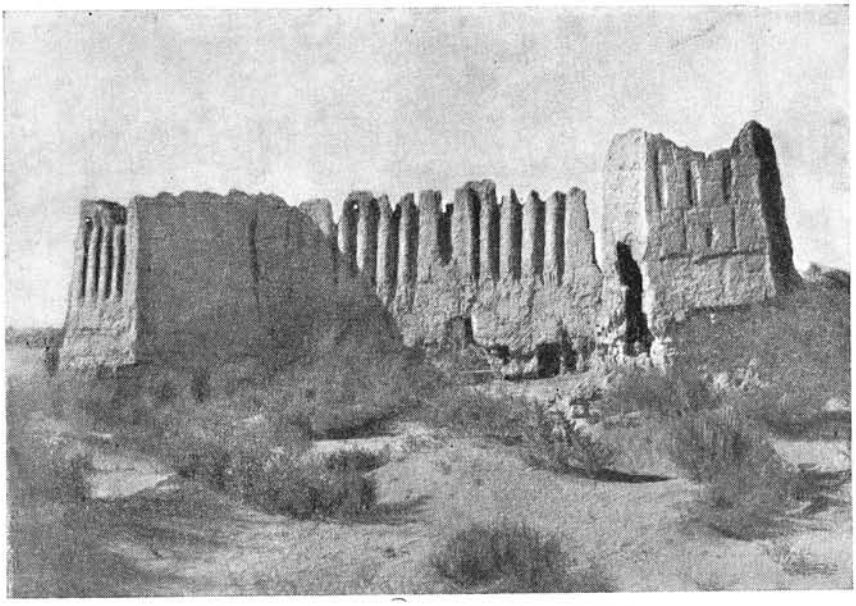




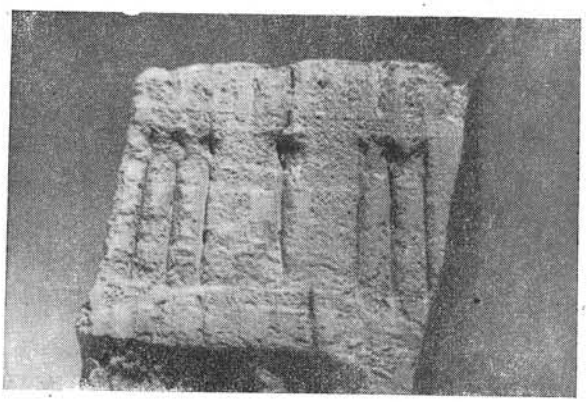
Большой Гульдурсун. 1—2. Средневековая оборонительная система. 3—4. Вид на стену изнутри городища. Видны античные бойницы.



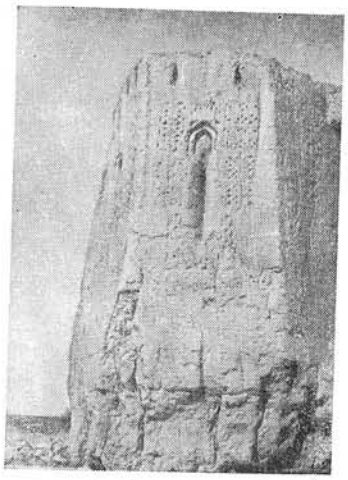




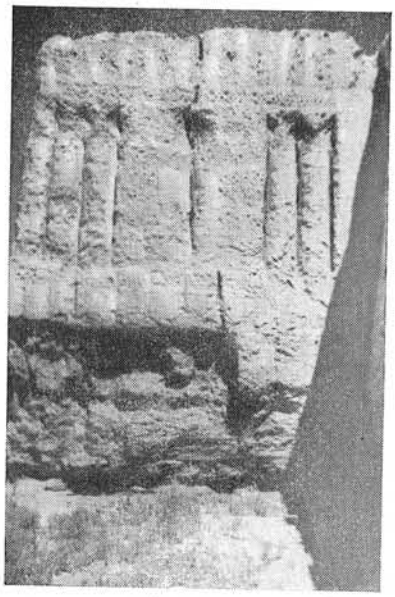
1—3. Мертвый оазис Кават-кала. 1. Каптар-хана с резьбой по глине. 2. Декоративная башенка замка № 4. 3. Дом № 22 с декоративными башенками.



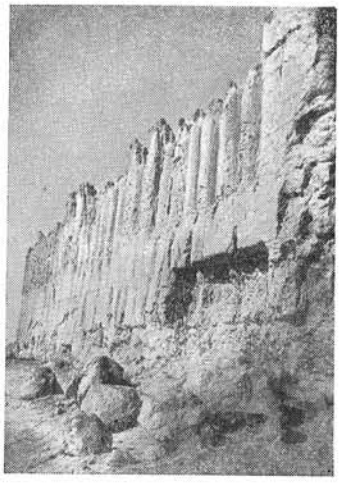
1



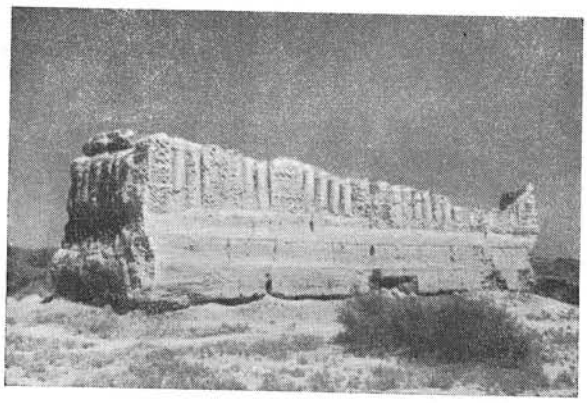
2



3

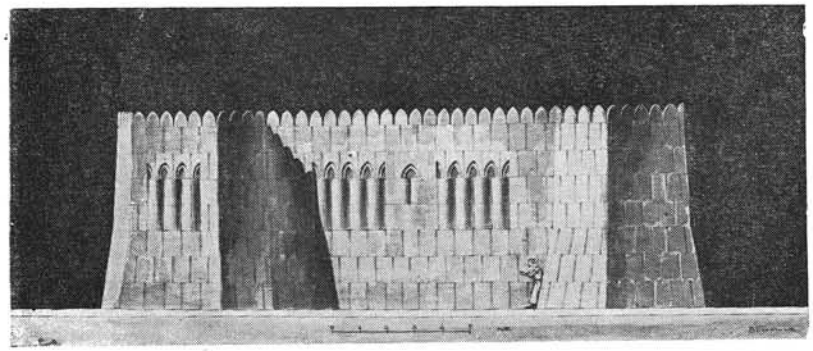


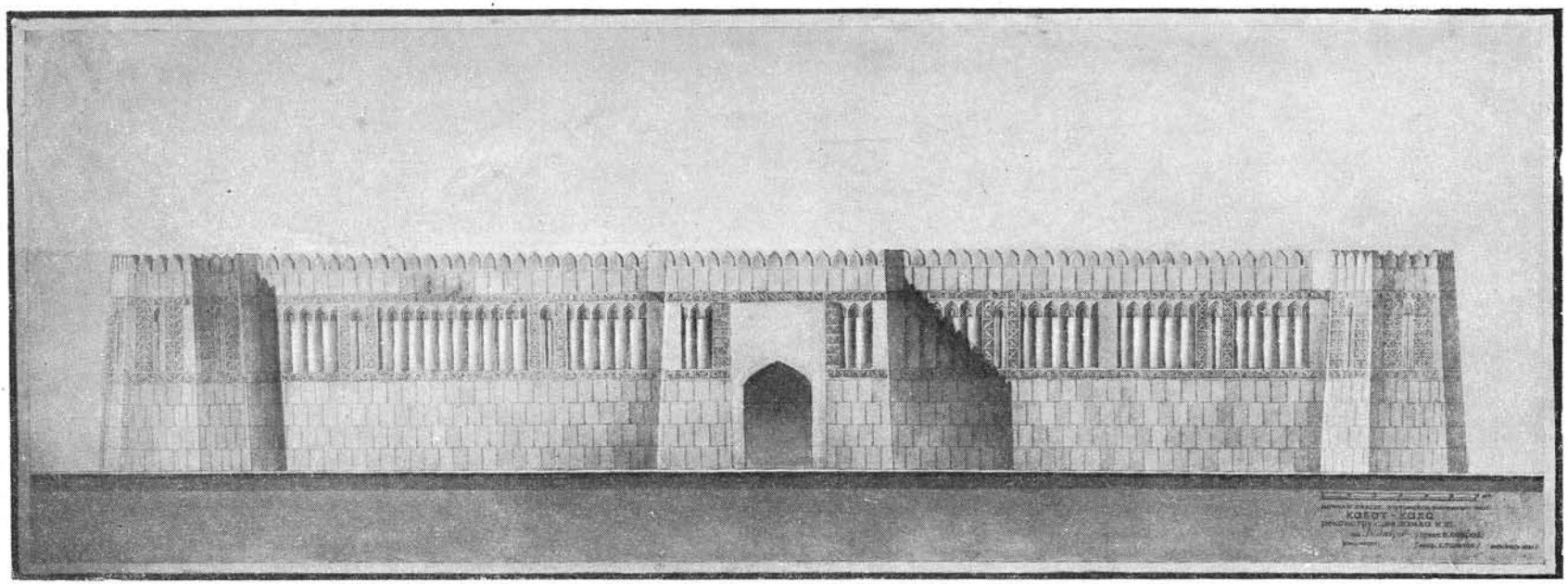
4



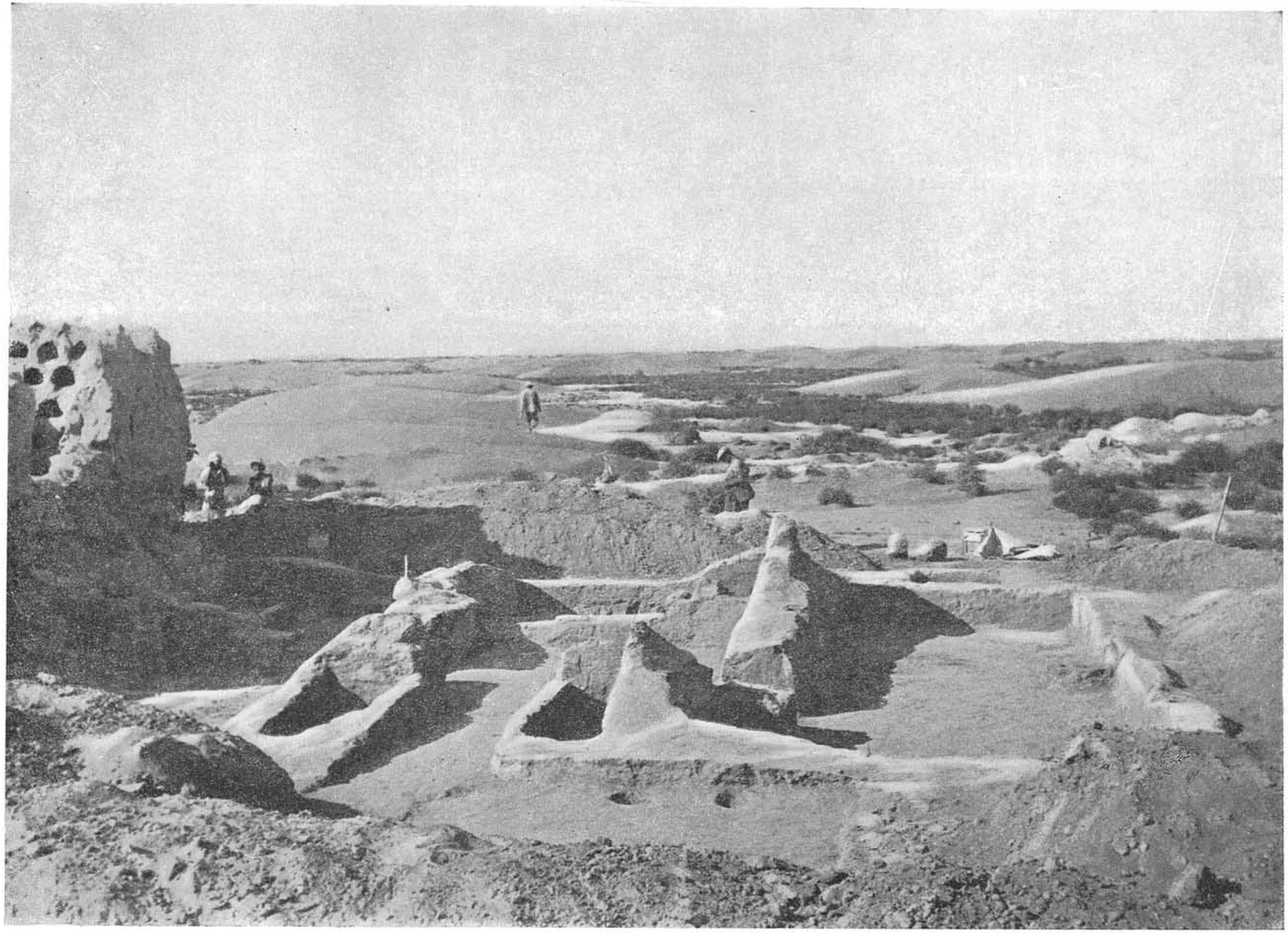
5

1—5. Мертвый оазис Кават-кала. 1—2. Детали декоровки одной из башен замка № 2. 3. Декоровка угловой башни замка № 3. 4—5. Декоровка каптар-хана.

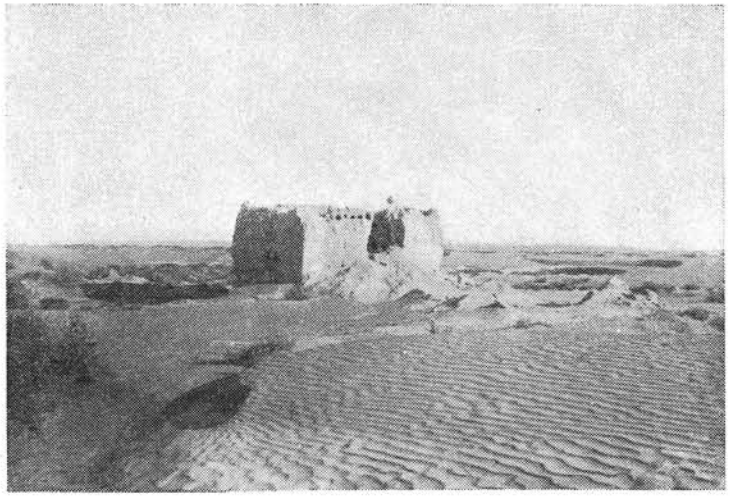


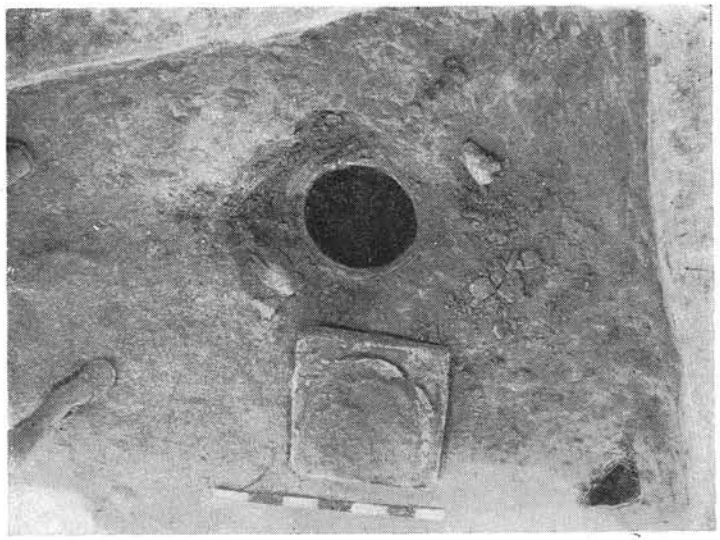


Кават-кала.
1. Реконструкция фасада дома № 22 (арх. В. И. Пентман).
2. Реконструкция фасада замка № 3 (арх. В. А. Лавров).

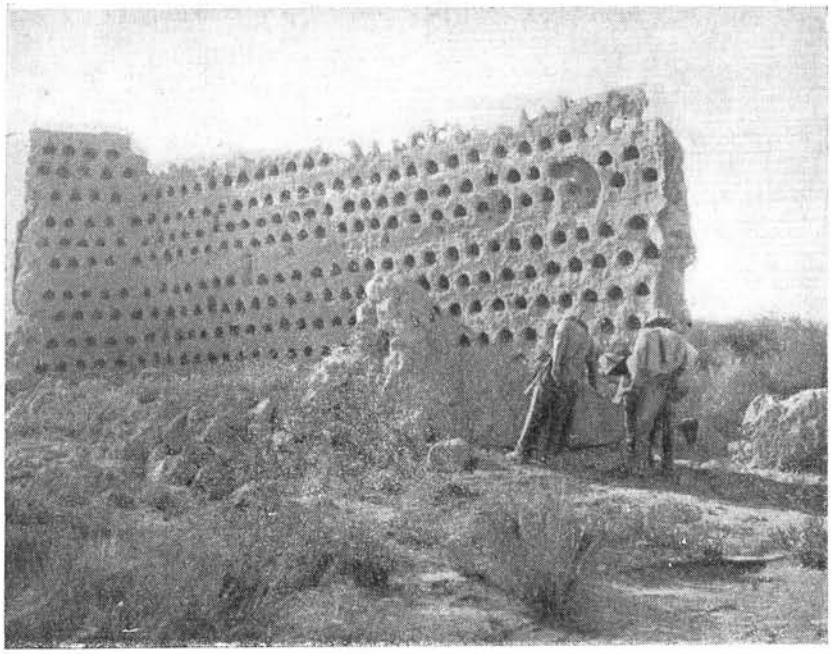


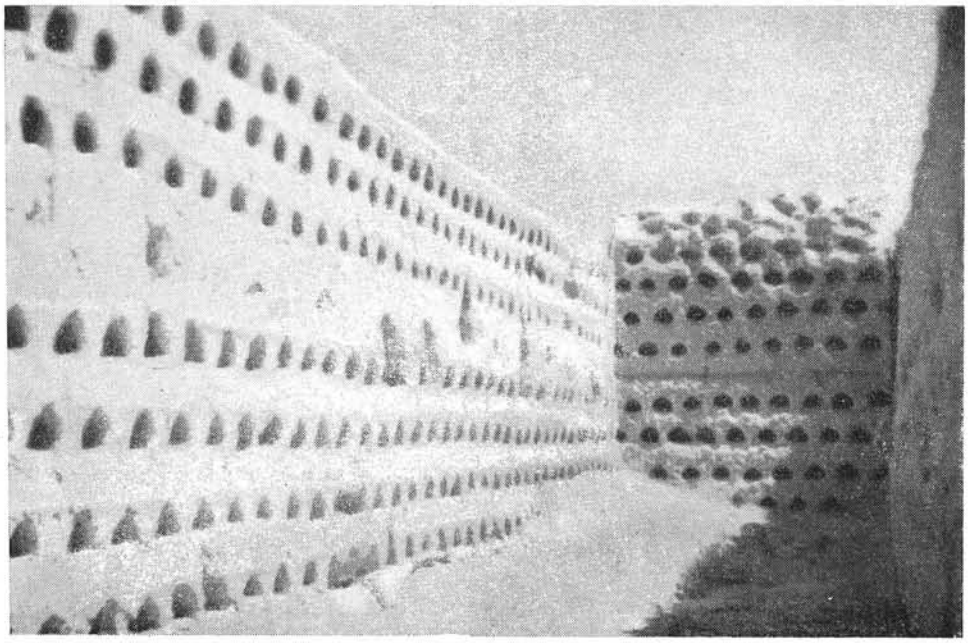
Кават-кала. Общий вид раскопок дома № 1.





Кават-кала. Дом № 1. 1. Каптар-хана. 2. Общий вид раскопок. 3. Раскопки внутри каптар-ханы. 4. Отверстие врытого в землю хума в каптар-хана.

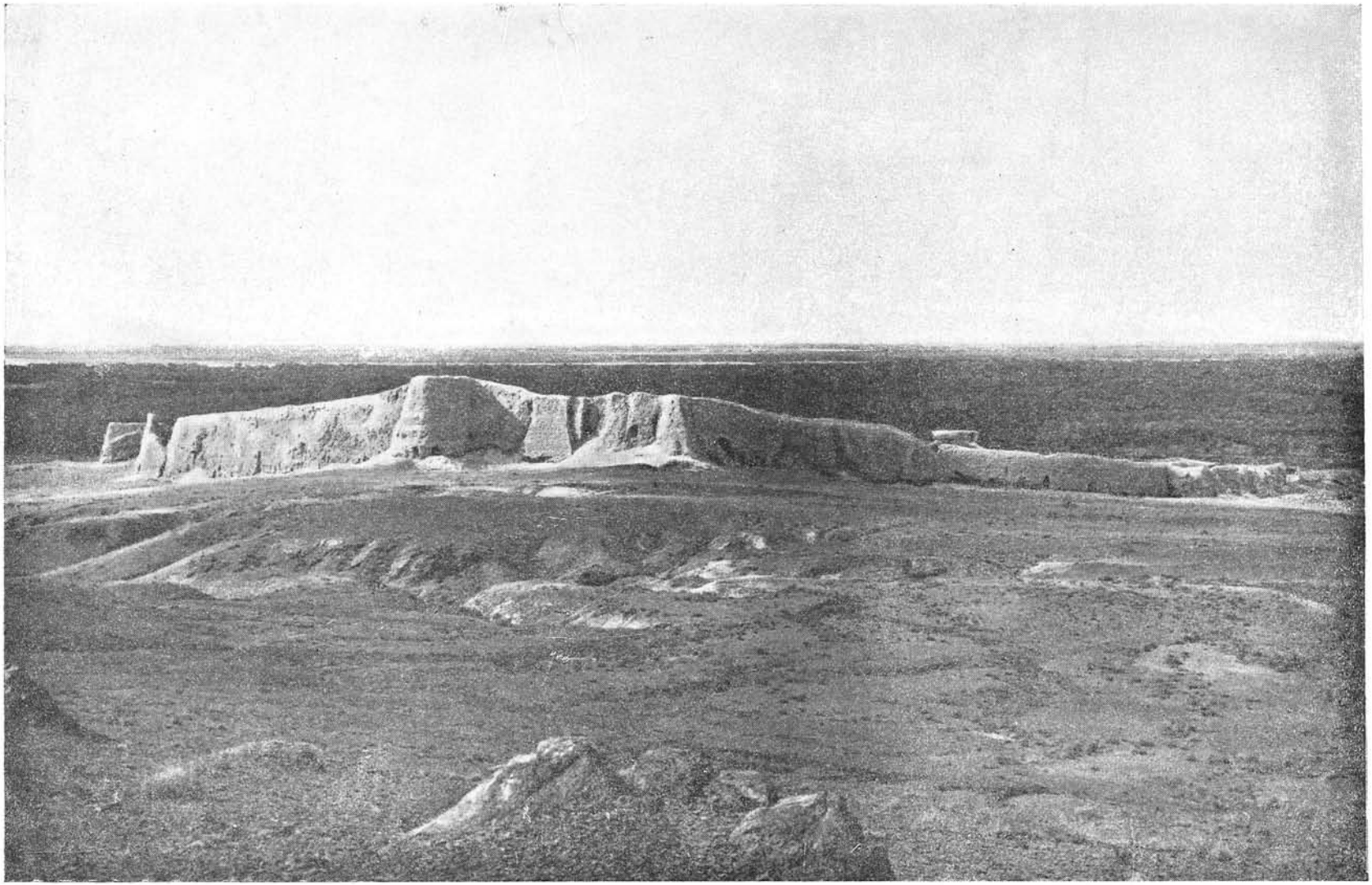




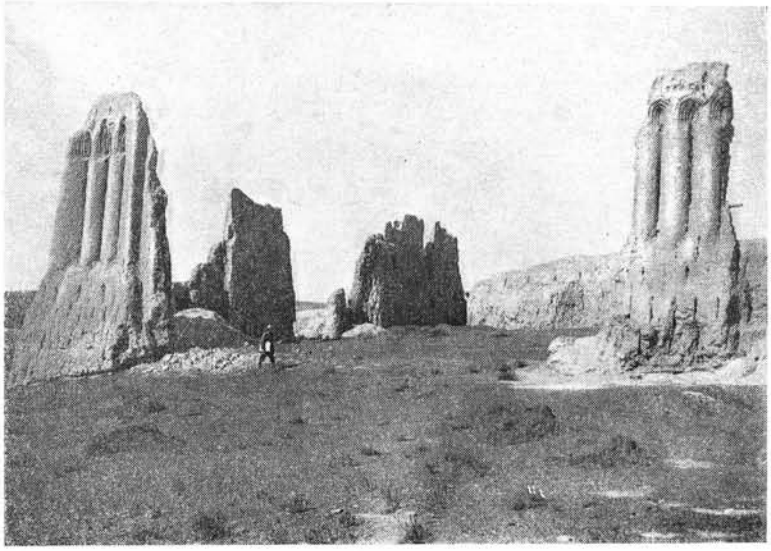
Кават-кала. Внутренний вид двух каптар-хана.

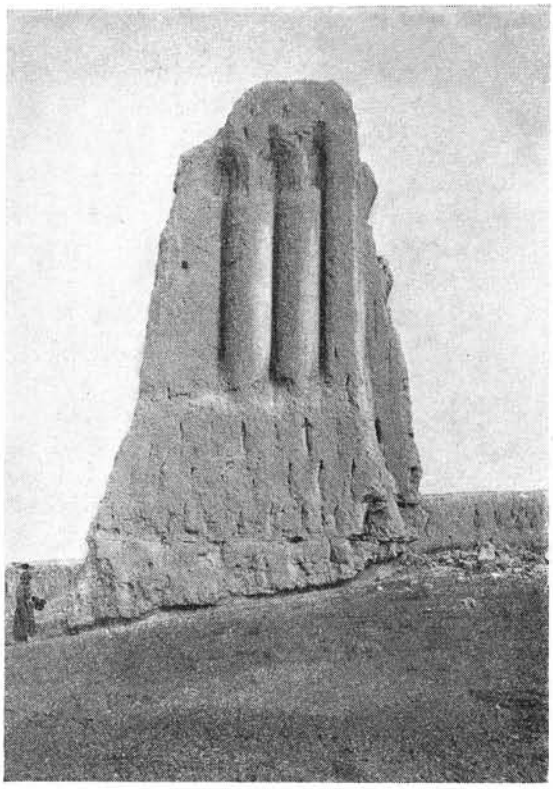
Кават-кала. Остатки дворца. 1—2. Фрагменты штуковой облицовки.

3. Розетка резной деревянной двери.

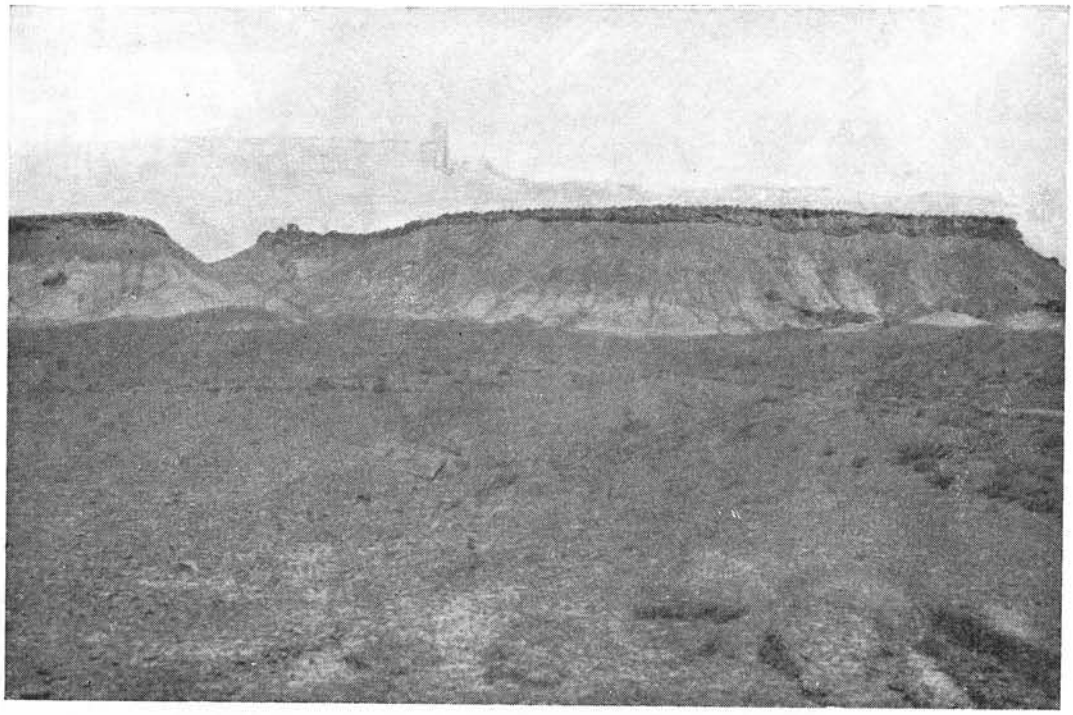


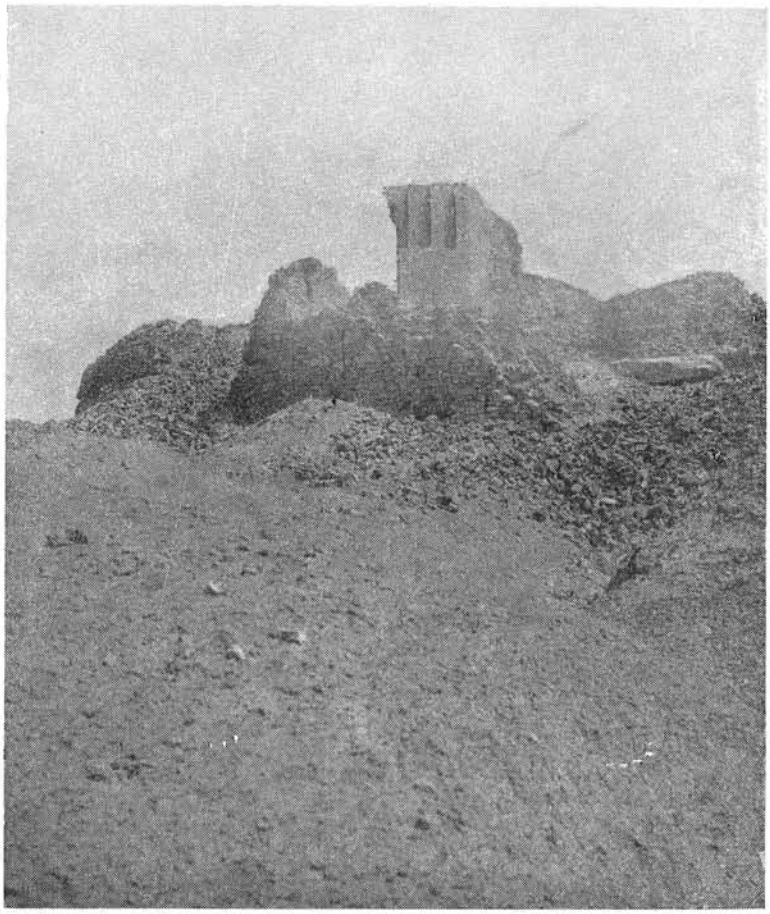
Джанпык-кала. Общий вид.



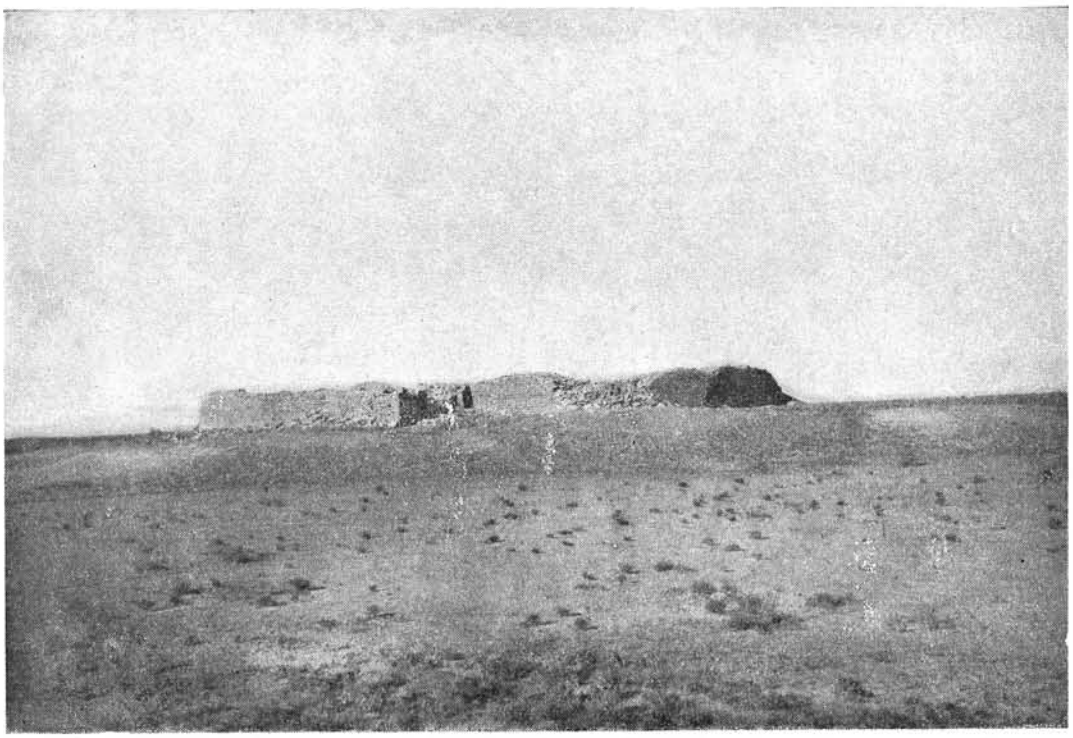


Джаннык-кала. Главное здание.

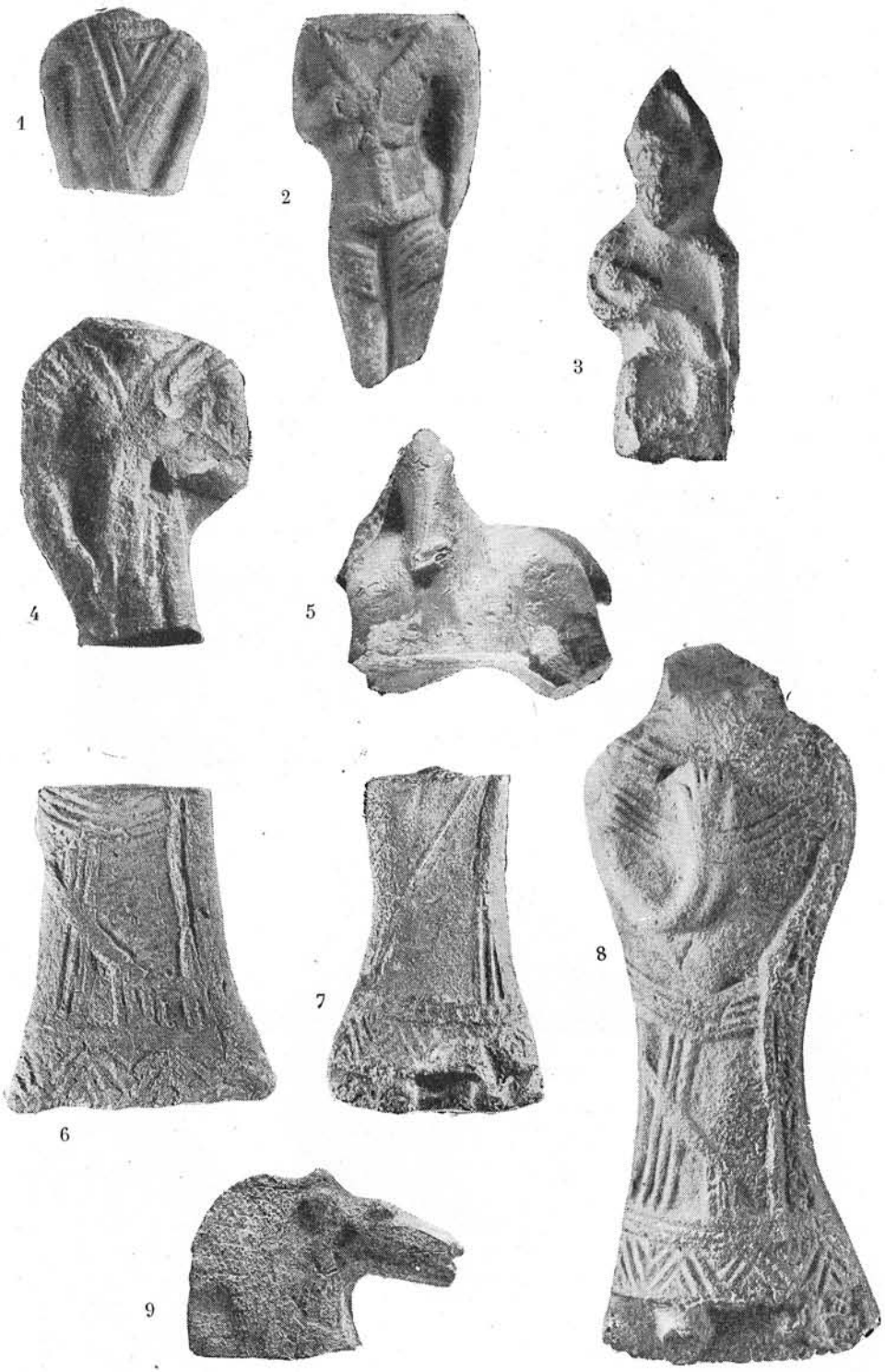




Кыз-кала. 1. Общий вид. 2. Ворота.

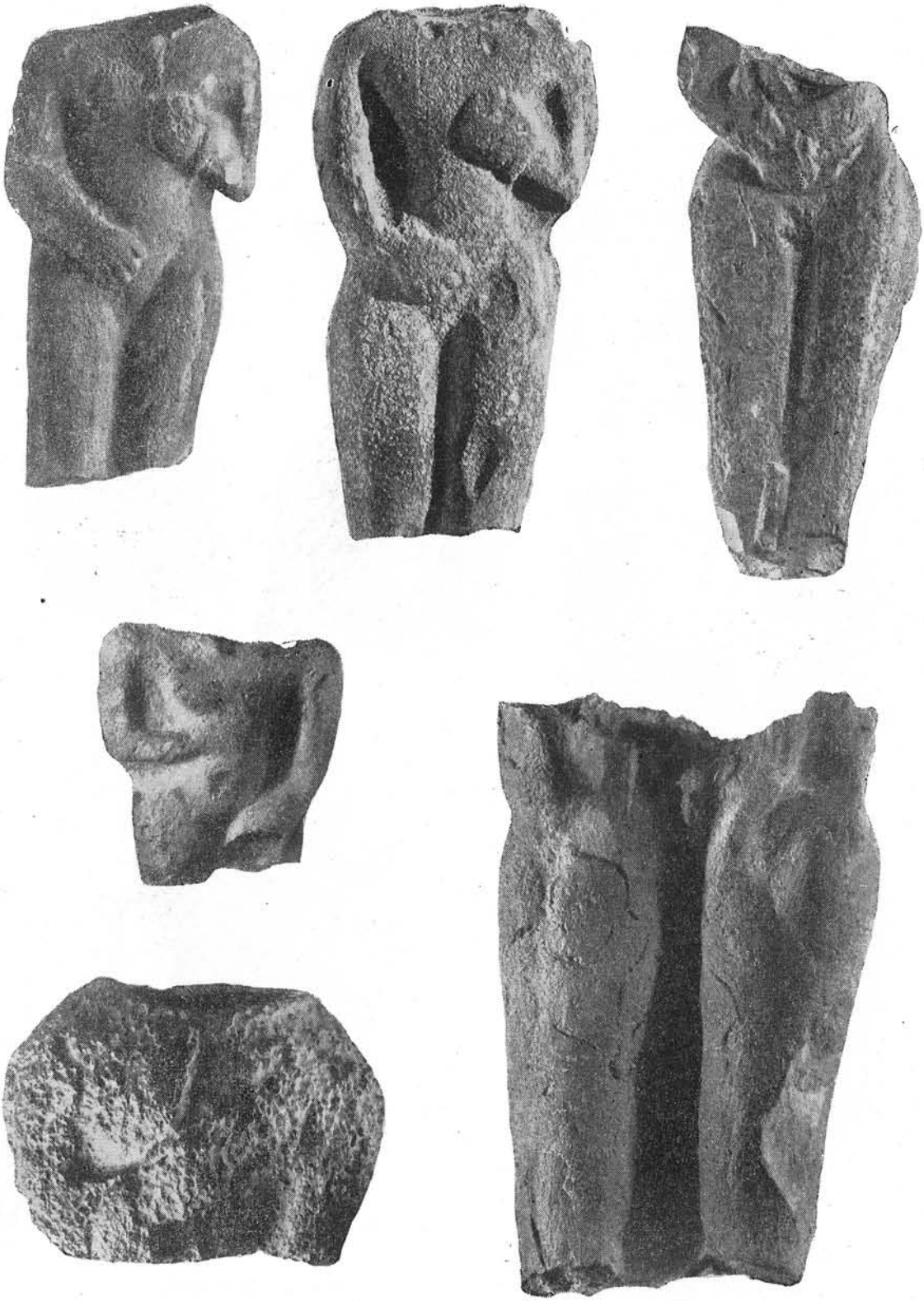


Дэу-кала. 1. Общий вид. 2. Кладка стены.



Статуэтки архаического (6—9) и кангюйского (1—5) стиля. 1, 2, 4, 6—Джанбас-кала; 3, 7, 9—Базар-кала; 5—Кой-крылган-кала; 8—Такыр близ замка № 36, Беркут-кала.

Головки статуэток. Кангюйский стиль. Джанбас-кала, Базар-кала, Беркут-кала. Натур. вел.



Женские статуэтки. Кушанский стиль. Джанбас-кала. Натур. вел.

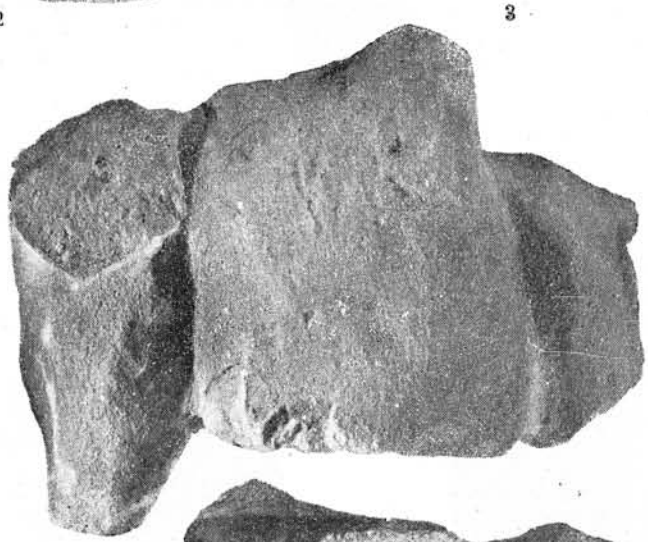
Женские статуэтки. Кушанский стиль. Джанбас-кала. Натур. вел.

1

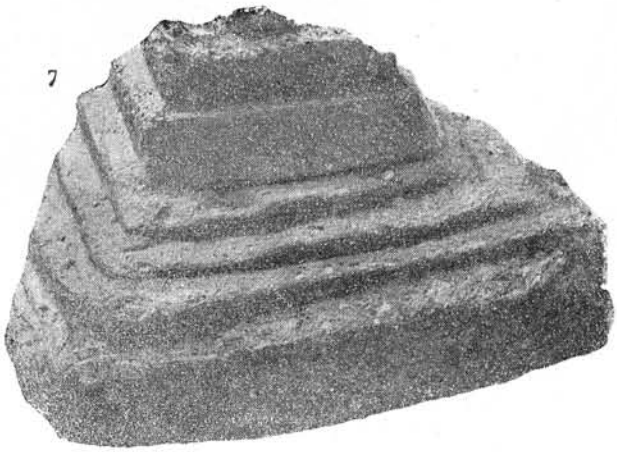
2

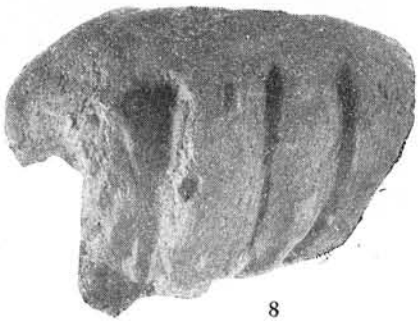
3

4

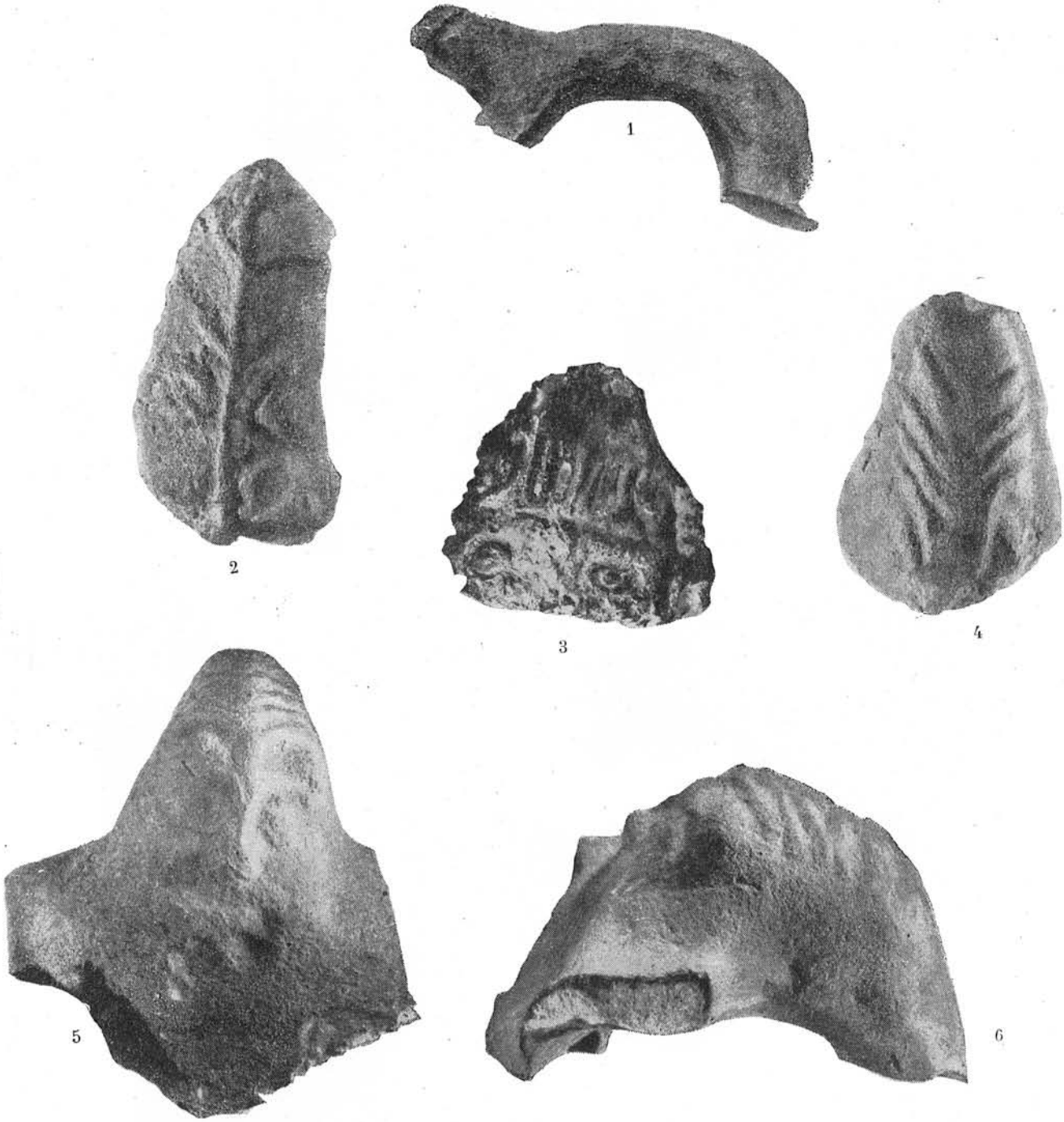

5

6


7


8

Кушанский стиль. 1—3. Буддийские статуэтки (1—2. Джанбас-кала. 3. Кой-крылган-кала).
4. Статуэтка обезьяны. (Джанбас-кала).
5—6. Изображение всадницы (Кой-крылган-кала).
7. Ступа. 8. Рука крупной буддийской статуэтки (Джанбас-кала) Натур. вел.



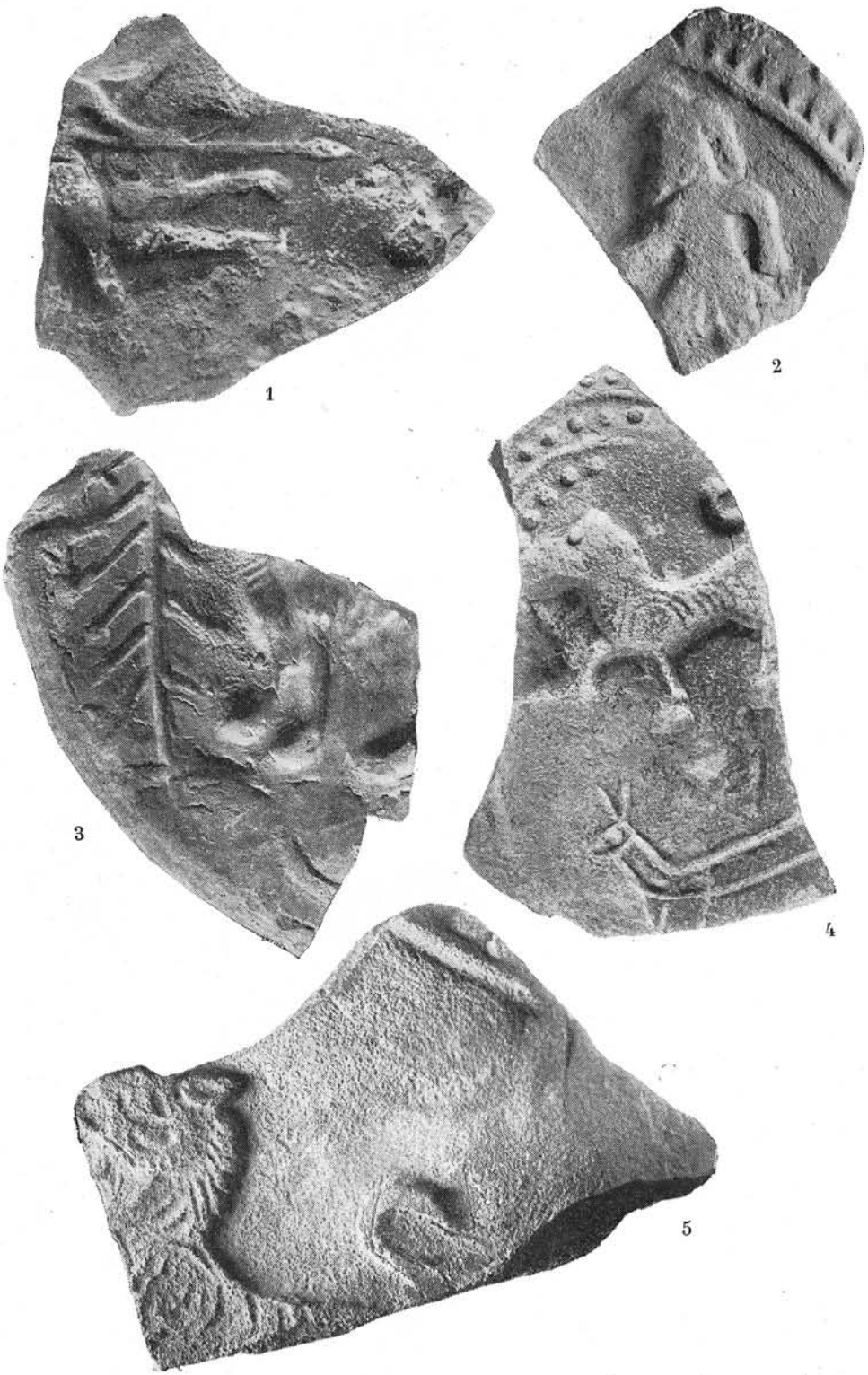
Ручки сосудов с изображениями животных. 1. Неизвестный хищник (античное поселение близ замка № 13 Беркут-кала). 2—6—головы львов (Джанбас-кала). Натур. вел.

Головки коней. Джанбас-кала. Натур. вел.

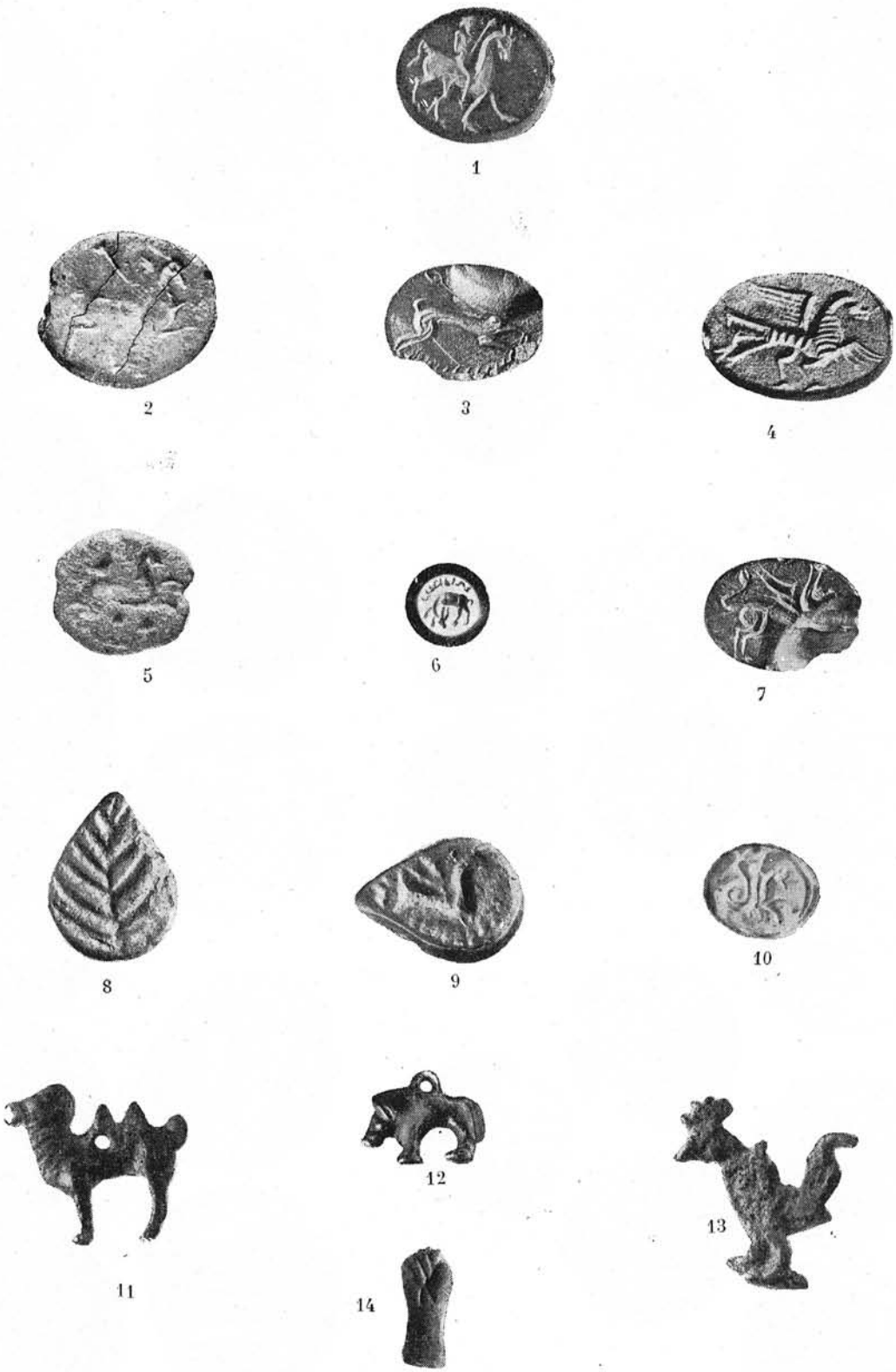
Головки коней. Джанбас-кала.

1—2. Ручки сосудов в виде головок коней. Базар-кала.
3. Голова «дракона» («аджахор»). Джанбас-кала. 4. Голова носорога. Замок № 36 (Беркут-кала). Натур. вел.

1—3. Головки верблюдов (Джанбас-кала). 4. Головка птицы (?) (Джанбас-кала). 5. Головка животного (Джанбас-кала). 6. Головка барана (Джанбас-кала). 7 и 9. Торсы коней (Джанбас-кала). 8. Конь с высоким седлом (Базар-кала).



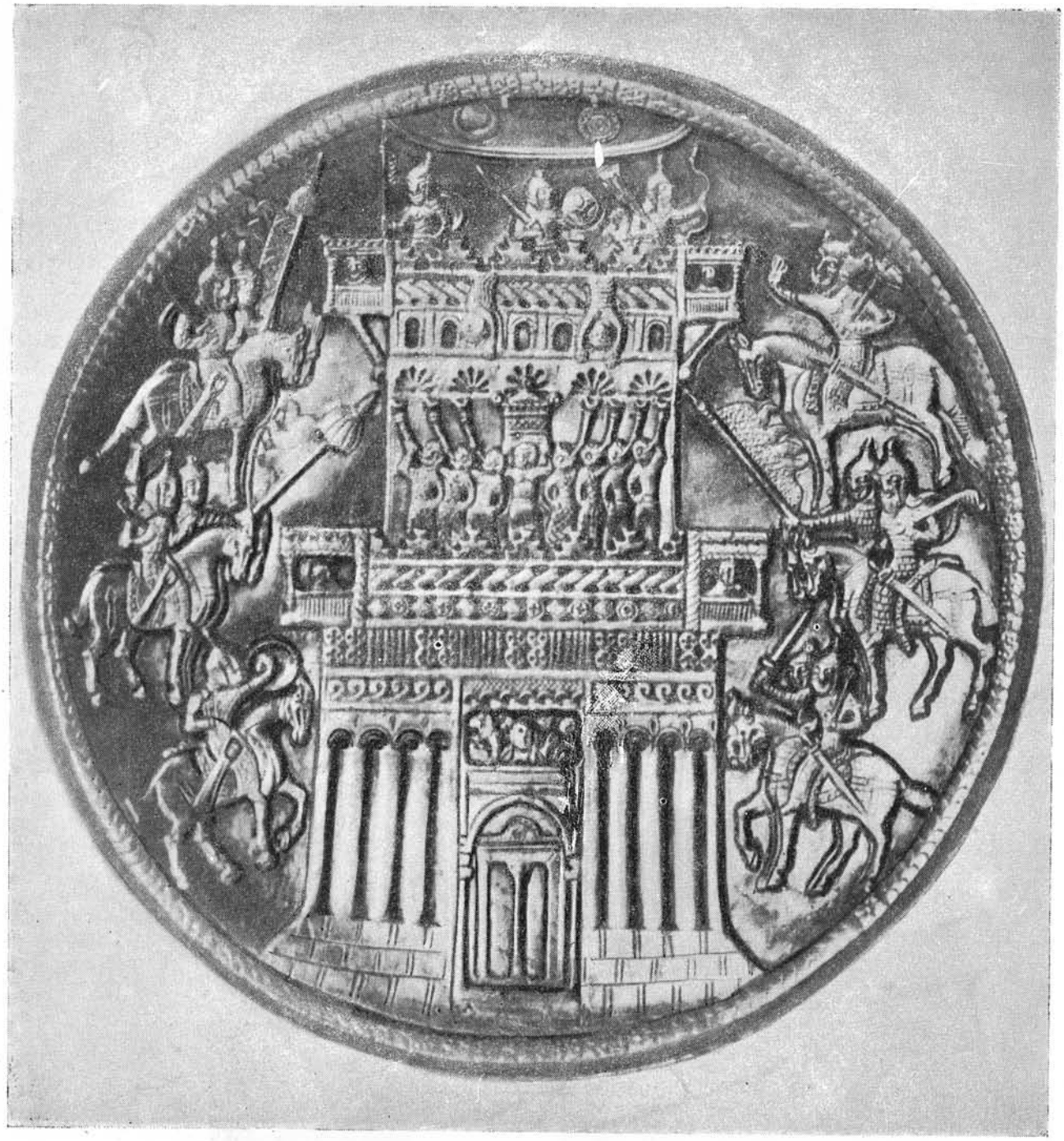
Рельефы с сосудов. 1—4. Джанбас-кала. 1—3 с красной, 4 с черной окраской.
5. Кургашин-кала.



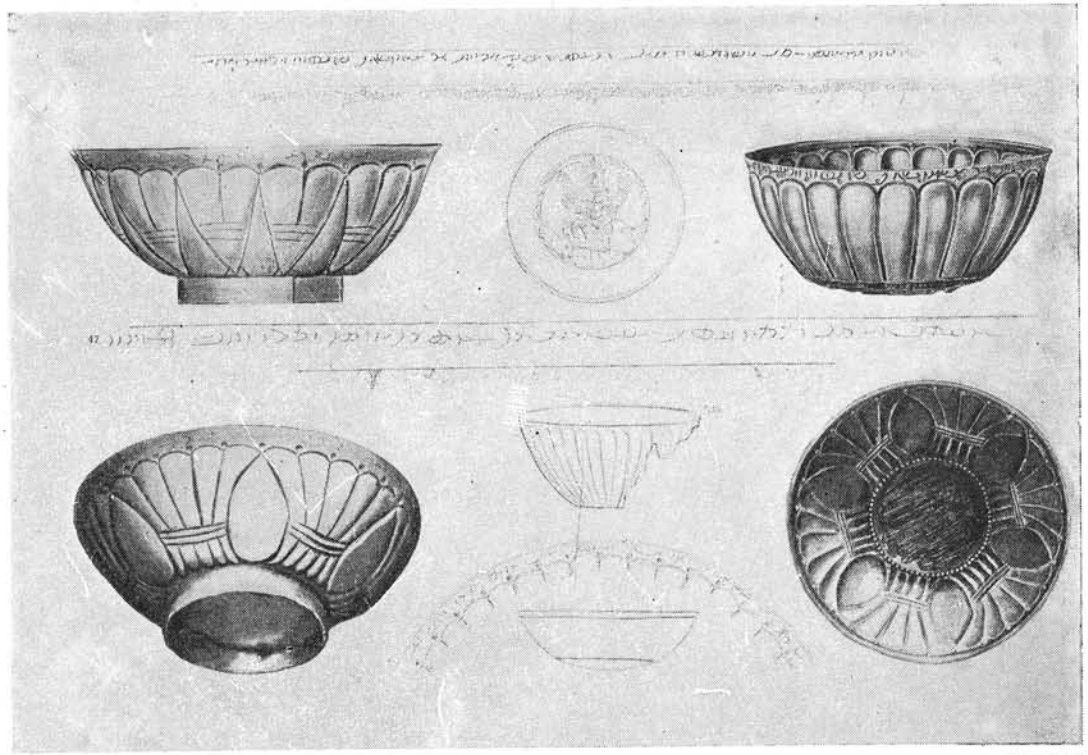
Античные печати и вотивные подвески.
1—5 и 7—10. Каменные печати с такыров. Беркут-кала. 6. Ранне-афригитская печать с пехлевийской надписью из Кырк-кыз-кала. 11—13. Бронзовые вотивные подвески. 11—12—Аяз-кала. 13—такыры. Беркут-кала. 14. Каменный амулет. Беркут кала.

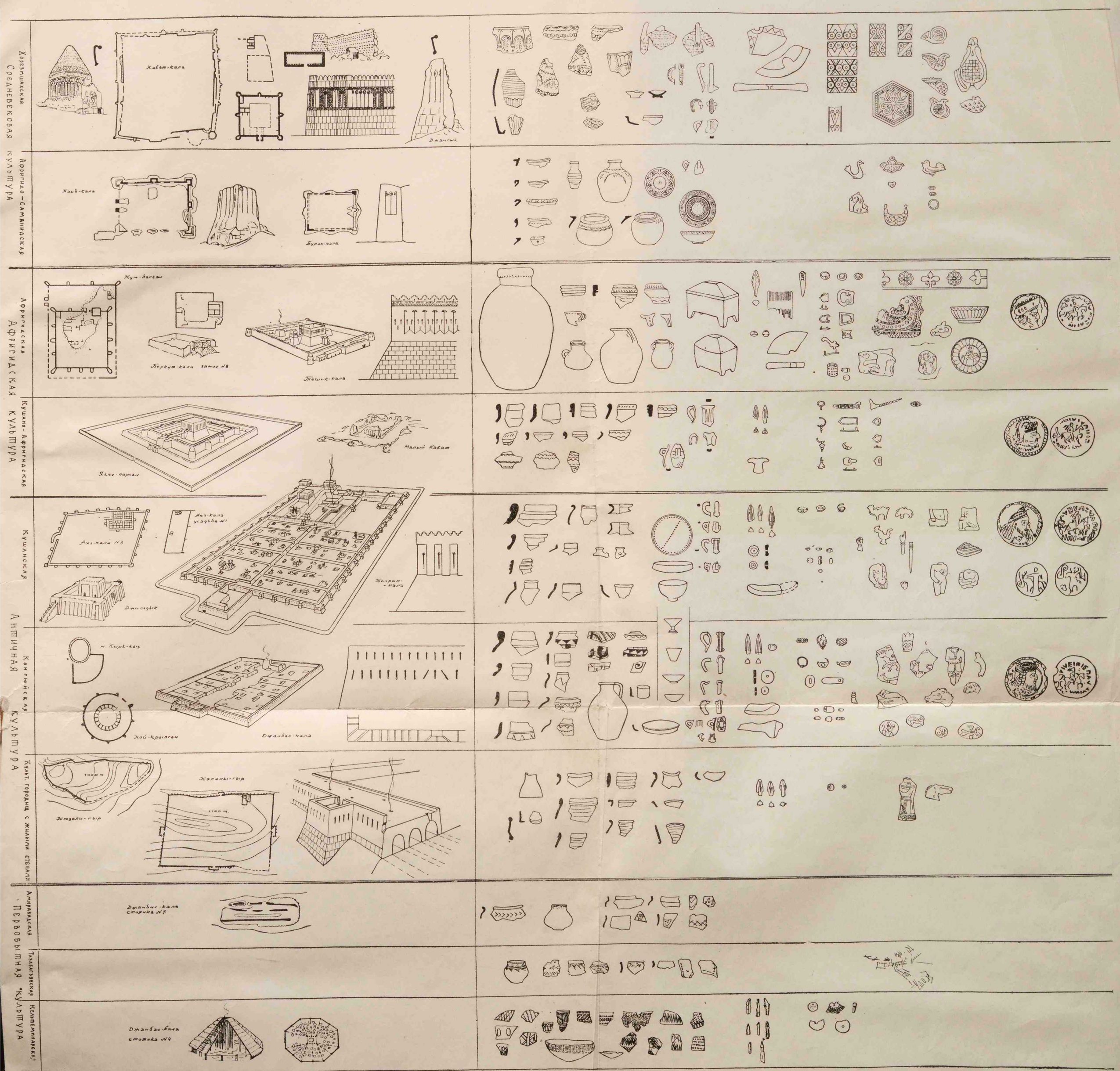
Серебряные хорезмийские монеты. Группа А (верхние 2 ряда, нумерация слева направо). 1. «Безымянный царь», коллекция Кастальского. 2—3. «Безымянный царь», Топрак-кала. 4—5. «Вазамар». 6—7. «Африг». 8—9, 10—11. «Артамух». 12—13. «Африг» (?). (4—13—Гос. Эрмитаж). Группа В (нижние 3 ряда) 14, 15, 16, 21, 22. Шаушафар (Гос. Истор. Музей). 19—20. «Сахр» (?). 25—26. «Царь Хорезма». Остальные—«Абдаллах».

Медные хорезмийские монеты (группа В). Нумерация по столбцам, сверху вниз: 3—4 (левый столбец, вторая сверху пара)—«Аскаджувар». 13—14, 15—16, 17—18 (правый столбец, три верхних пары)—«Царь Хорезма». 9—10, 11—12, 21—22—«Хангири». 23—24, 25—26—медный чекан «Абдаллаха».



Аниковское блюдо. Эрмитаж.



Хорезмийские чаши.

Опыт хронологической классификации памятников древнего Хорезма.